

- [Метьюрин Чарлз Роберт](#)

- 

---

# Метьюрин Чарлз Роберт

## Мельмот скиталец

Чарлз Роберт Метьюрин

Мельмот скиталец

Перевод А. М. Шадрина

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава I

Он жив еще? Так покажи мне, где он,

Я тысячи отдам, чтоб только глянуть.

Шекспир {1}

Осенью 1816 года Джон Мельмот, студент Дублинского Тринити колледжа {2}, поехал к умирающему дяде, средоточию всех его надежд на независимое положение в свете. Джон был сиротой, сыном младшего из братьев; скудных отцовских средств едва хватало, чтобы оплатить его пребывание в колледже. Дядя же был богат, холост и стар, и Джон с детства был приучен смотреть на него с тем противоречивым чувством - притягательным и вместе с тем отталкивающим, когда страх смешивается с желанием: так мы обычно смотрим на человека, который, по уверению наших нянек, слуг и родителей, держит в руках все нити нашей жизни и в любую минуту властен либо продлить их, либо порвать.

Джона вызвали в усадьбу, и ему пришлось незамедлительно отправиться в путь.

Красота местности, по которой он проезжал, - это было графство Уиклоу {3} - не в силах была отвлечь его от тягостных мыслей: иные из них были связаны с его прошлым, большинство же относилось к будущему. Причуды дяди, угрюмый его нрав, странные слухи, ходившие по поводу его многолетней затворнической жизни, ощущение собственной зависимости от этого человека все это стучалось в его мозг тяжелыми, назойливыми ударами. Для того чтобы отогнать их, он старался приободриться, выпрямлялся на своем месте в почтовой карете, где он был единственным пассажиром, выглядывал в окно, смотрел на часы; ему казалось, что на какое-то мгновение он освобождается от всех этих неотвязных мыслей, но образовавшуюся вдруг пустоту нечем было заполнить, и тогда ему невольно приходилось снова приглашать их себе в спутники. Когда человек так настойчиво сам зазывает к себе врагов, то неудивительно, что они очень скоро одерживают над ним победу. И чем ближе он подъезжал к Лоджу - так именовалось поместье старого Мельмота, - тем тяжелее становилось у него на душе.

Воспоминания об этом страшном дяде начинались с самого раннего детства, когда мальчику то и дело приходилось выслушивать бесчисленные наставления: ничем не докучать дядюшке, не подходить слишком близко, не задавать никаких вопросов, ни при каких обстоятельствах не перекладывать с раз и навсегда отведенных для них мест табакерку, колокольчик и очки, не допускать, чтобы блеск золотого набалдашника дядюшкиной трости ввел его в смертных грех взять ее в руки, и, наконец, быть до чрезвычайности осторожным и, совершая опасный переход - до середины комнаты и обратно, не натолкнуться на груды книг, глобусы, кипы старых газет, болванки для париков, трубки и табакерки, не говоря уже о подводных камнях в виде мышеловок и нагромождений покрытых плесенью книг под креслами, и не забыть отвесить последний почтительный поклон, уже стоя в дверях, после чего осторожно и неслышно закрыть их и спуститься вниз по лестнице, едва касаясь ногами ступенек.

Вслед за тем ему вспоминались школьные годы, когда на рождество и на пасху за ним посылали лохматого пони, над которым потешалась вся школа, и он без всякой охоты ехал в

Лодж, где ему целые дни приходилось просиживать наедине с дядюшкой, не говоря ни слова и не шевелясь до тех пор, пока фигуры их не начинали походить на дона Раймонда и на призрак Беатрисы из "Монаха" {4}, а потом - смотреть, как тот вылавливает тощие бараньи кости из миски с жиденьким супом, остатки которого он протягивал племяннику с совершенно излишним уже предостережением "не есть больше, чем захочется". После этого Джона поспешно отправляли спать еще засветло, даже в зимнее время, чтобы понапрасну не жечь огарка свечи, и ему приходилось лежать без сна, терзаемому голодом, пока не било восемь часов и дядюшка не уходил к себе, чтобы лечь; это служило сигналом для управительницы, ведавшей незатейливым хозяйством старика, и та прокрадывалась к мальчику, чтобы поделиться с ним крохами своего жалкого обеда, причем после каждого куска шепотом предостерегала его, чтобы он как-нибудь не проговорился дяде об ее щедротах.

Потом потянулись воспоминания о жизни в колледже, в низенькой, расположенной в глубине двора каморке под самой крышей: жизни, которая ни разу даже не была скрашена приглашением приехать в усадьбу; тоскливые летние дни, когда он бродил по пустынным улицам, - ибо дяде совсем не хотелось тратить лишние деньги и брать его на лето домой. Старик напоминал о себе только приходившими раз в три месяца письмами, в которых наряду со скудным, но регулярно посылаемым вспомоществованием содержались жалобы на то, что обучение племянника обходится очень дорого, предостережения против всякого рода расточительности и сетования на то, что арендаторы не платят вовремя податей и что цены на землю падают. Все эти воспоминания нахлынули на него сейчас, а вслед за ними живо вспомнился и последний разговор с отцом, когда тот, умирая, наказал ему во всем полагаться на дядю.

"Джон, бедный мой мальчик, я оставляю тебя; господу угодно прибрать к себе твоего отца, прежде чем он успел сделать все то, что облегчила бы теперь его последние часы. Джон, во всех делах тебе придется слушаться дяди. У него есть свои странности, и он человек больной, но ты должен привыкать мириться со всем этим, да и со многим другим, как тебе вскоре доведется увидеть. А теперь, бедный мой мальчик, да утешил тебя в твоём горе отец всех сирот и да пошлет он тебе расположение дяди".

Едва только Джон вспомнил свое прощание с отцом, как глаза его наполнились слезами. Он поспешил утереть их; в это время карета остановилась у ворот усадьбы.

Он вышел из нее с узелком в руке - там была смена белья, единственное, что он захватил с собой, - и, подойдя к воротам, увидел, что сторожка привратника окончательно развалилась. Из соседнего помещения выскочил босоногий мальчишка и отворил то, что некогда было воротами а теперь всего-навсего несколькими досками, державшимися на единственной петле и сбитыми так небрежно, что при сильном ветре они хлопали точно вывеска. Эти неподатливые доски, уступившие наконец силе Джона и его босоногого помощника, тяжело проскрежетали по гравию и грязи оставив после себя глубокую и топкую борозду. Путь был открыт. Джон стал шарить в кармане, ища какую-либо мелкую монету, чтобы вознаградить мальчишку за его труды, но, ничего не нащупав, пошел вперед, мальчишка же в это время прокладывал ему дорогу, прыгая то в одну, то в другую сторону, окунаясь в грязь как утка, находя в этом удовольствие и, вероятно, не менее гордый своим лихачеством, нежели тем, что "сослужил службу" джентльмену. Идя в молчании по грязной дороге, некогда бывшей въездом во двор, при тусклом свете осенних сумерек Джон заметил, до какой степени все переменилось с тех пор, как он был здесь последний раз: на всем лежала печать крайнего запустения; с каждым шагом он все больше убеждался, что это уже не просто скудость, как то было раньше, а беспросветная нищета. Никакой ограды или изгороди вокруг тянулась стена, сложенная из ничем не скрепленных камней со множеством щелей, из которых торчали колючки и дрок. Ни деревца, ни кустика на

газоне; да и самый газон превратился в пастбище, где овцы отыскивали себе жалкое пропитание среди камней, комьев глины и чертополоха и где только изредка пробивались пожелтевшие хилые травинки.

Господский дом резко выделялся даже на фоне вечернего сумрачного неба; по бокам не было ни флигелей, ни служб, ни кустарника, ни деревьев, которые давали бы тень и сколько-нибудь смягчали суровые очертания фасада. Печально посмотрев на заросшие травой ступеньки и заколоченные окна, Джон собрался с духом и решил постучать в дверь, однако молотка на месте не оказалось {5}. Вокруг в изобилии были разбросаны камни; взяв один из них, Джон принялся изо всей силы колотить в дверь пока в ответ не послышался неистовый лай сторожевого пса, который, казалось, вот-вот сорвется с цепи. Его дикие завывания, горящие глаза и оскал зубов, в которых угадывались и голод, и ярость, заставили Джона снять осаду двери и вместо этого избрать иную, хорошо знакомую ему дорогу, которая вела на кухню. В окне горел огонек. Джон нерешительно приотворил дверь, но стоило ему бросить взгляд на собравшуюся на кухне компанию, как он сразу же направился вперед уверенным шагом человека, который не сомневается, что его приветливо встретят.

В очаге ярким пламенем полыхал торф, и одно это говорило уже о том, что хозяин дома занемог, ибо он скорее бы сам бросился в огонь, чем допустил, чтобы туда кинули сразу целый киш {6}; вокруг очага сидели старая управительница и несколько прихлебателей, людей, которые привыкли есть, пить и бездельничать на каждой кухне в округе, приключись в доме какое горе или радость, и все ради "их милости" и в знак "уважения" к хозяину дома и его семье, и старуха, в которой Джон сразу узнал лекарку округа. Эта иссохшая Сивилла {7} поддерживала свое жалкое существование, извлекая выгоду из суеверий, невежества и мучений существ, столь же жалких, как и она сама. Попадая к людям знатным, - а ей иногда удавалось проникнуть в их семьи через прислугу, - она применяла известные ей целебные травы и, будучи довольно искусна в своем ремесле, порою кого-нибудь и вылечивала. Когда же ей приходилось иметь дело с простолюдинами, она пускалась обычно в продолжительные разглагольствования касательно "дурного глаза" {8}, хвастая тем, что знает против него надежное средство; при этом она трясла своей седой головой, и развевающиеся волосы делали ее до такой степени похожей на ведьму, что ей всякий раз удавалось передать наполовину запуганным, наполовину поверившим ей людям некую долю воодушевленности, качества, которым она в значительной степени была наделена, притом, что сама она, разумеется, понимала, что это обман; когда же положение больного становилось безнадежным, терпению доверчивых людей наступал предел и надежда уходила вместе с угасавшей жизнью, она заставляла своего несчастного пациента признаться, что "у него есть грех на душе", и, как только добивалась от него этого признания, - что стоило ей не очень большого труда, ибо чаще всего это был человек темный и бедный и притом изнемогавший от мук, - она принималась кивать головой и так таинственно что-то нашептывать, что у присутствующих не оставалось сомнения в том, что она действительно столкнулась с такими трудностями, одолеть которые смертному не под силу.

А когда больных не было и у нее не находилось предлога посещать ни господскую кухню, ни лачугу бедняка, когда несокрушимое здоровье всех ее земляков угрожало ей голодом, в ее распоряжении оставалось еще одно средство: если нельзя было укоротить ничью жизнь, можно было предсказывать людям будущее, прибегая для этого к заклинаниям и всякого рода чудодейственным средствам, к тем, что находятся за пределами нашего разума {9}. Никто не умел так, как она, сплести магическую нить {10} и положить ее потом в яму, где гасят известь, на краю которой стоял тот, кто хотел узнать свое будущее, дрожа от страха и не зная, чей голос ответит ему на вопрос: "Кто это держит нить?", - любимой ли девушки или самого дьявола.

Никто не знал так, как она, место, где сливаются четыре потока и куда глубокою ночью

надо было окунуть рубашку, а потом развесить ее перед огнем (во имя того, кого мы не осмеливаемся поминать в "благовоспитанном обществе") {11}, дабы под утро из-под этой рубашки объявился суженый. Никто, кроме нее, - так она утверждала сама - не ведал, в какой руке надо держать гребень, пока другою подносишь яблоко ко рту чтобы в это мгновение в зеркале, в которое глядится девушка, промелькнула призрачная тень жениха. Никто так искусно и так старательно не удалял все железные изделия из кухни, где жертвы ее колдовских чар, запуганные ею и легковверные, обычно исполняли весь этот ритуал, - дабы вместо привлекательного юноши с золотым перстнем на белом пальце возле кухонного стола не появилась фигура без головы, не схватила длинный вертел, а если бы такового не оказалось, лежавшую возле очага кочергу и не стала бы безжалостно измерять рост спящей, чтобы сколотить для нее гроб. Словом, никто лучше нее не умел истерзать и напугать свои жертвы, вселив в них веру в таинственную силу, которая может самых крепких людей превратить в самых хилых и слабых, и не раз уже превращала. Ведь именно под действием этой силы лорд Литтлтон {12}, человек высокообразованный и скептически настроенный, перед смертью корчился, и стонал, и скрежетал зубами, совсем как та несчастная девчонка, которой померещилось, что к ней забрался вампир {13}, которая кричала, что по ночам ее собственный дед высасывает из нее кровь, и в конце концов умерла, не вынеся ужасов, которые сама же себе внушила.

Вот какова была та, кому старый Мельмот поручил все заботы о себе наполовину из легковверия, но главным образом - из скупости. Джон оглядел собравшихся на кухне людей: кое-кого он узнал. Они по большей части были ему неприятны, и он понимал, что ни на кого из них нельзя положиться. Старая управительница встретила его сердечно: он и теперь, по ее словам, оставался для нее "белокурым мальчиком" (кстати сказать, волосы его были черны как смоль), и она попыталась поднять свою изрытую морщинами руку, то ли чтобы благословить его, то ли чтобы ласково погладить, что оказалось делом чрезвычайно трудным: она убедилась, что с тех пор, как она последний раз гладила его по голове, голова эта поднялась дюймов на четырнадцать.

Едва только Джон показался на пороге, как сидевшие на кухне мужчины с присущей ирландцам почтительностью по отношению к лицам высокого звания все как один поднялись с мест; табуретки их, раздвигаясь, загрохотали о разбитые плиты пола, и они приветствовали "их милость" пожеланием "здоровствовать тысячу лет и еще долго потом" и спросили, не выпьют ли "их милость" малую толику, "чтобы тоску разогнать". При этих словах к нему сразу же протянулось пять или шесть красных и костлявых рук со стаканами виски. Тем временем иссохшая Сивилла сидела молча в пустынном углу возле очага и только из ее трубки потянулись еще более густые клубы дыма. Джон учтиво отказался от предложенного ему горячительного, очень сердечно выслушал все излияния управительницы и недоверчиво посмотрел на старую каргу, занявшую весь угол у очага, после чего перевел взгляд на стол, где на этот раз стояла совсем иная еда, нежели та, какую он привык видеть, когда "их милость" распорядился всем в доме. На деревянном блюде картофеля было навалено столько, сколько старый Мельмот ухитрился бы растянуть на целую неделю. Рядом красовалась соленая лососина, роскошь в те времена недоступная даже для Лондона (см. повесть мисс Эджворт "Помещик в отъезде") {14}.

Была там также свежая телятина, соседствовавшая с рубцами, и в довершение всего - еще омары и жареный палтус. Последнее может служить подтверждением того, что автор рассказывает suo periculo {На свой страх и риск (лат.)} о своем деде, который был деканом в Киллале {15}: когда старику приходилось нанимать в дом служанок, те ставили непременно условием, чтобы палтусом и омарами их кормили не чаще двух раз в неделю. Стояли там также бутылки уиклоуского эля, загодя и тайком извлеченные из погреба "их милости". Это было

вообще их первое появление на кухне, и они бурно выражали свое нетерпение, пенясь и шипя от близости огня, который подстрекал их на бунт. Виски же - явно незаконный самогон, припахивающий сорными травами и дымом и отдающий духом презрения к акцизным чиновникам, было, казалось, настоящим Амфитрионом этого пиршества {16}; каждый расточал ему похвалы и с не меньшим восторгом его вкушал.

Когда Джон оглядел находившееся перед ним общество и подумал об умирающем дяде, ему невольно припомнилась сцена, следовавшая за кончиною Дон Кихота, когда, сколь ни была велика печаль, причиненная смертью достойного рыцаря, племянница его, как мы узнаем из романа, "съела, однако, все, что ей было подано, управительница выпила за упокой души умершего, и даже Санчо и тот усладил свое чрево" {17}. Ответив, как мог, на приветствия всей компании, Джон спросил, как себя чувствует дядя.

"Хуже некуда", "Куда лучше, благодарствуем вашей милости", - выпалили собутыльники столь стремительно и таким нестройным хором, что Джон только и делал, что поворачивался от одного к другому, не зная, кому и верить.

- Хворь-то у них, говорят, началась с перепугу, - прошептал парень футов шести ростом; шепот этот перешел потом в рев и прозвучал уже над головою Джона, дюймов на шесть повыше.

- Да к тому же их милость, сдается, простыли, - добавил один из мужчин, спокойно опрокидывая стакан виски, от которого отказался Джон. При этих словах Сивилла, сидевшая у очага, не спеша вынула изо рта трубку и повернулась к говорившим: будь то сама Пифия на треножнике {18}, и то движения ее не могли бы вызвать вокруг такого суеверного страха и погрузить всех в столь глубокое молчание.

- Не тут, - сказала она, прижимая высохший палец к изрытому морщинами лбу, - не тут и не там. - И она простерла руку ко лбам тех, кто сидел ближе к ней и кто почтительно склонил перед ней голову, как будто принимая благословение, однако в ту же минуту снова принялась за спиртное, словно желая этим усилить действие своих слов.

- Вот тут все, у самого сердца, - при этих словах она прижала пальцы к своей впалой груди с такой силой, которая всех потрясла, - все вот тут. - добавила она, повторяя те же движения (может быть, воодушевленная тем действием, которое успела произвести), а потом снов; поднесла ко рту трубку и, опустившись на табурет, больше уже не сказал: ни слова.

В ту минуту, когда Джон не успел еще опомниться от невольно охватившего его суеверного ужаса, а все сидевшие, трепеща от страха, молчали, раздался какой-то странный звук. Все вскочили, как будто слышали выстрел из мушкета: это звонил старый Мельмот, только колокольчик его звучал на этот раз как-то очень уж странно.

Прислуги у старика было совсем мало, и она обычно не отходила от него ни на шаг; поэтому сейчас звон этот поразил всех, как будто старик созывал народ на собственные похороны.

- Раньше он всегда стучал, когда надо было меня позвать, воскликнула управительница, выбегая из кухни, - он все говорил, что, "когда часто звонишь, перетирается шнур".

Звонок в полной мере возымел свое действие. Управительница кинулась в спальню старика, а вслед за нею еще несколько женщин (ирландских *graeſicae* {Плакальщиц (лат.)}) из тех, что всегда готовы и облегчать последние минуты умирающего, и плакать по покойнику, - они всплескивали своими жесткими руками и утирали сухие глаза. Все эти ведьмы столпились вокруг кровати старика, и надо было слышать, как громко, с каким неистовым отчаянием они вопили: "О, горе нам, они отходят, их милость отходят, их милость отходят!". Можно было подумать, что жизни их неразрывно связаны с его жизнью, подобно тому как то было в истории Синдбада-морехода, когда женам надлежало быть погребенными заживо вместе с их умершими мужьями {19}.

Четыре из них ломали руки и завывали вокруг постели, в то время как одна с ловкостью

миссис Куикли принялась шупать ноги "их милости", а потом "еще выше и еще выше", и присутствующих оповестили, что он "холодный, как камень" {20}.

Старый Мельмот отдернул ноги так, что старуха не смогла удержать их, пронизательным взглядом (пронизательным, несмотря на приближавшийся уже предсмертный туман) сосчитал собравшихся у его постели, приподнялся на остром локте и, оттолкнув управительницу, пытавшуюся поправить его ночной колпак, который во время этой схватки съехал на бок и придавал его мрачному, мертвеющему уже лицу грозный и вместе с тем нелепый вид, прорычал так, что все вокруг обомлели:

- Какого черта вас всех сюда принесло?

Услыхав слово "черт", все бросились было врассыпную, но тут же опомнились и стали шепотом совещаться между собою, то и дело крестясь и бормоча:

- Черта! Господи Иисусе, спаси нас, черт - вот первое слово, что мы от него услышали.

- Да, - что есть мочи закричал больной, - и первый, кого я тут вижу, черт!

- Где? Где? - в ужасе вскричала управительница, припадая к умирающему и словно пытаясь уткнуться в складки одеяла, которое она меж тем немилосердно стаскивала с его дрыгавших голых ног.

- Там, там, - повторял он (стараясь в то же время не дать ей стащить с него одеяло), показывая на столпившихся вокруг испуганных женщин, ошеломленных тем, что их гонят вон, как нечистую силу, - ту самую, которую они собирались изгонять.

- Господь с вами, ваша милость, - сказала управительница уже более мягким голосом, когда первый испуг миновал, - вы же всех их знаете, эту зовут так, а эту так, а эту вот так, не правда ли? - и, показывая на женщин, она называла одно за другим их имена, перечислением которых мы уже не станем докучать читателю. (Чтобы он мог оценить нашу заботу о нем, достаточно сказать, что последнюю, например, звали Котхлин О'Муллиген).

- Врешь, шлюха проклятая, - завопил старый Мельмот, - имя им легион, потому что их много {21}. Гони их вон из комнаты! Вон из дома!.. Уж коли они завоюют, так будут выть от души, умру ли я, буду ли навеки проклят. Только по мне-то они и слезы не проронят, - а вот по виски... уж они бы непременно украли его, доведись им только до него добраться (тут старый Мельмот схватил лежавший у него под подушкой ключ и торжественно потряс им перед носом у старой управительницы; впрочем, торжество его было напрасным: та давно уже нашла способ доставать из шкафа напитки без того, чтобы "их милость" об этом знал), - да по той снеди, которой ты их тешила.

- Тешила! О господи Иисусе! - вскричала управительница.

- А чего ради это у тебя столько свечей горит, все четыре, да еще, верно, внизу одна. Креста на тебе нет! Срамница! Ведьма старая!

- Правду говоря, ваша милость, их целых шесть горит.

- Шесть! А какого черта ты жжешь шесть свечей? Ты, стало быть, решила, что в доме уже покойник? Так, что ли?

- Нет, что вы, ваша милость, нет еще! - хором ответили старые гримзы. У господина на все свой час, и ваша милость это знают, - продолжали они тоном, в котором звучало плохо скрываемое нетерпение. - Ах, лучше бы уж ваша милость о душе подумали.

- Вот первое человеческое слово, что я от тебя слышу, - сказал умирающий, - дай-ка мне молитвенник, там вон, под разувайкой; паутину-то смахни, сколько лет уже, как я его не раскрывал.

Управительница подала ему молитвенник; старик укоризненно на нее посмотрел.

- И чего это ради ты шесть свечей на кухне жгла, мотовка несчастная? Сколько лет ты у меня в доме живешь?

- Да уж и не знаю, ваша милость.

- Видела ты хоть раз, чтобы тут что-нибудь зря тратили?

- Нет, что вы, что вы, ваша милость, никогда такого не бывало.

- А на кухне у меня когда-нибудь больше одной грошовой свечки горело?

- Никогда такого не было, ваша милость.

- Разве тебя не держали здесь в страхе божьем, не стесняли всегда в деньгах как только можно было, скажи-ка?

- Ну разумеется, ваша милость; все мы это знаем, все мы вас почитаем, и каждый видит, что во всей округе ни дома нет такого крепкого, как у вас, ни хозяина такого расчетливого, как вы, так оно всегда и было, и есть.

- А как же вы смеее отпирать мой шкаф раньше, чем смерть вам его открыла? - воскликнул несчастный скряга, потрясая высохшею рукой. - Я почуял запах мяса, слышал голоса, слышал, как ключ то и дело поворачивается в двери. Эх, кабы я только мог на ноги встать, - добавил он, раздраженно ворочаясь в кровати. - Кабы я мог встать и увидеть, как меня разорили, как все прахом пошло. Но ведь это меня бы убило, - продолжал он, снова опуская голову на жесткий валик: он никогда не позволял себе спать на подушке, - это бы убило меня, одна мысль об этом убивает меня сейчас.

Женщины, растерявшиеся и смущенные, многозначительно поглядев друг на друга и пошептавшись, столпились у двери, собираясь уйти, как вдруг нетерпеливый голос старого Мельмота окликнул их и заставил вернуться.

- Куда это вы все потянулись? Опять на кухню, опять обжираться да опиваться? Не грех бы одной из вас побыть у меня да молитвы почитать! Настанет день, когда и вам в этом нужда придет, ведьмы старые.

Испуганные этими речами и угрозами, женщины вернулись и в молчании обступили постель старика, меж тем как управительница, хоть сама и была католичкой, спросила, не хочет ли их милость позвать священника, чтобы тот напутствовал их по обычаю их церкви. При этих словах в глазах умирающего вспыхнуло недовольство.

- Зачем? Только чтобы он ждал потом, когда на похоронах ему дадут шарф да траурную повязку на шляпу? Сама изволь молитвы читать, шлюха старая, так мы хоть что-нибудь сэкономим.

Управительница попробовала было читать, но вскоре отказалась под тем предлогом, что, с тех пор как господин ее занемог, ее слепят слезы.

- Это все от виски, - сказал больной со злобной усмешкой, которую предсмертные корчи превратили в отвратительную гримасу. - Неужто же среди вас всех не найдется никого, кто бы мог почитать молитвы и отогнать нечистую силу? Или все вы способны только выть да зубами скрежетать?

После этих слов одна из женщин предложила свои услуги. О ней поистине можно было сказать, как о недалеком стражнике Догберри, что "читать и писать ее научила сама природа" {22}. В школу она никогда не ходила и до этого дня ей никогда не случалось не только открывать, но даже видеть протестантский молитвенник. Тем не менее она не сробела и взялась читать, и при этом весьма выразительно, однако без должного понимания. Она прочла почти все очистительные молитвы после родов, которые в наших молитвенниках идут следом за похоронной службой; может быть, она вообразила, что именно это больше всего подстать положению старика.

Читала она очень торжественно, - к сожалению, два раза чтение это пришлось прервать: первый раз по вине старого Мельмота, который вскоре после начала молитв повернулся к управительнице и неподобающе громко сказал: "Поди закрой поплотнее заслонки на кухне, да



дверь запири, \_да чтобы я слышал, что ты ее заперла\_. До тех пор я ни о чем и думать не могу". Второй раз чтение прервалось оттого, что прокрадывшийся в комнату Джон Мельмот, едва только он услышал, что эта бестолковая женщина читает вовсе не то, что надо, стал возле нее на колени, спокойно взял из ее рук молитвенник и приглушенным голосом принялся читать ту часть торжественной службы, которая по правилам англиканской церкви предназначена для утешения умирающего.

- Это голос Джона, - сказал старик. Ему припомнилось, как он всегда бывал холоден с несчастным юношей, и его черствое сердце смягчилось. Он увидел, что и его самого окружают теперь бессердечные и жадные слуги, и, как ни слабы были узы, связывавшие его с племянником, с которым он всегда обращался как с чужим, в эту минуту он вдруг почувствовал, что это как-никак его кровь, и ухватился за него, как утопающий за соломинку.

- Джон, славный мой мальчик, хоть ты здесь. всю жизнь я тебя держал далеко от себя, а теперь вот умираю и вижу, что нет у меня человека ближе, чем ты. читай, Джон, \_читай\_.

Джон, до глубины души удрученный тяжелым положением, в котором он нашел старика среди всех богатств, которые его окружали, и тронутый его торжественной просьбой облегчить ему последние минуты жизни, продолжал читать. Но вскоре голос его сделался невнятным от ужаса, в который его повергла начавшаяся у больного непрерывная икота. Умирающий, однако, продолжал бороться с нею, а в наступавшую порой минуту покоя умудрялся еще раз спросить управительницу, закрыты ли все заслонки. Обладавший чувствительным сердцем Джон встал с колен: он был глубоко взволнован.

- Как, и ты тоже покидаешь меня, как и все остальные? - сказал старый Мельмот, пытаясь приподняться на кровати.

- Нет, сэр, - ответил Джон и, заметив перемену во взгляде умирающего, добавил, - мне думается, что вам надо бы чем-нибудь подкрепиться, не так ли, сэр?

- Да, надо, надо, только кому же я могу доверить принести мне еду? \_Им\_ (тут он угрюмым взглядом обвел всех присутствующих), - да ведь \_они же\_ меня отравят.

- Доверьтесь мне, сэр, - сказал Джон. - Я схожу к аптекарю или куда вы прикажете.

Старик схватил его за руку, притянул к постели, бросил грозный, но в то же время испуганный взгляд на всех собравшихся и сдавленным голосом прошептал:

- Я хочу выпить стакан вина, это прибавит мне несколько часов жизни, только я никому не могу доверить сходить за ним - \_они стащат бутылку и окончательно меня разорят\_.

Слова эти совершенно потрясли Джона.

- Ради самого Создателя, сэр, позвольте мне принести вам стакан вина.

- А ты что, знаешь, где оно спрятано? - спросил старик, и лицо его приняло какое-то особое выражение, которого Джон не мог понять.

- Нет, сэр, вы знаете, я ведь здесь ничего не касался.

- Возьми вот этот ключ, - сказал старый Мельмот после нового жестокого приступа икоты, - возьми этот ключ, там в кабинете у меня есть вино. Мадера. Я им всегда говорил, что там ничего нет, только они мне не верили, иначе бы они так не обнаглели и меня не ограбили. Раз как-то я им, правда, сказал, что там виски, и это было хуже всего - они стали пить вдвое больше.

Джон взял ключ из рук дяди; в это мгновение старик пожал его руку и Джон, видя в этом проявление любви, ответил ему таким же пожатием, Но последовавший за этим шепот сразу охладил его порыв:

- Джон, мальчик мой, только смотри не пей этого вина, пока ты будешь там.

- Боже ты мой! - вскричал Джон и в негодовании швырнул ключ на кровать; потом, однако, вспомнив, что на этого несчастного не следует обижаться, он дал старику обещание, на котором тот настаивал, ивошел в кабинет, порога которого, кроме самого владельца дома, по меньшей

мере лет шестьдесят никто не переступал. Он не сразу отыскал там вино, и ему пришлось пробыть в комнате достаточно долго, чем он возбудил новые подозрения дяди. Но он был сам не свой, руки его дрожали. Он не мог не заметить необычного взгляда дяди, когда тот позволил ему пойти в эту комнату: к страху смерти примешивался еще ужас перед чем-то другим. Не укрылось от него также и выражение испуга на лицах женщин, когда он туда пошел. И к тому же, когда он очутился там, коварная память повела его по едва заметному следу и в глубинах ее ожила связанная с этой комнатой быль, полная несказанного ужаса. Он вдруг со всей ясностью осознал, что, кроме его дяди, ни один человек ни разу не заходил туда в течение долгих лет.

Прежде чем покинуть кабинет, он поднял тускло горевшую свечу и оглядел все вокруг со страхом и любопытством. Там было много всякой ломаной мебели и разных ненужных вещей, какие, как легко себе представить, нередко бывают свалены и гниют в комнатах старых скряг. Но глаза Джона словно по какому-то волшебству остановились в эту минуту на висевшем на стене портрете, и даже его неискушенному взгляду показалось, что он намного превосходит по мастерству все фамильные портреты, что истлевают на стенах родовых замков. Портрет этот изображал мужчину средних лет. Ни в костюме, ни в наружности его не было ничего особенно примечательного, но в глазах у него Джон ощутил желание ничего не видеть и невозможность ничего забыть. Знай он стихи Саути, он бы потом не раз повторял эти вот строки:

Глаза лишь жили в нем,  
Светившиеся дьявольским огнем.  
Талаба {23}

Повинуясь какому-то порыву чувства, мучительного и неодолимого, он приблизился к портрету, поднес к нему свечу и смог прочесть подпись внизу: "Дж. Мельмот, anno {Год (лат.)} 1646". Джон был по натуре человеком неробким, уравновешенным и отнюдь не склонным к суевериям, но он не в силах был оторвать глаз от этого странного портрета, сам не свой от охватившего его ужаса, пока, наконец, кашель умирающего не вывел его из этого состояния и не заставил поспешно вернуться. Старик залпом выпил вино. Он как будто немного оживился: давно уже он не пробовал ничего горячительного, и на какое-то мгновение его потянуло к откровенности.

- Джон, ну что ты там видел в комнате?
- Ничего, сэр.
- Врешь! Каждый старается обмануть или обобрать меня.
- Я не собираюсь делать ни того ни другого, сэр.
- Ну так что же ты все-таки там видел, на что обратил внимание?
- Только на портрет, сэр.
- Портрет, сэр! Оригинал до сих пор еще жив.

Несмотря на то что Джон был весь еще под действием только что испытанных чувств, он отказывался этому верить и не мог скрыть своего сомнения.

- Джон, - прошептал дядя, - говорят, что я умираю то ли от того, то ли от другого; кто уверяет, что я ничего не ем, кто - что не принимаю лекарств, но знай, Джон, - и тут черты лица старика чудовищно перекосились, - я умираю от страха. Этот человек, - он протянул свою исхудавшую руку в сторону кабинета, как будто показывая на живое существо, - я знаю, что говорю, этот человек до сих пор жив.

- Быть не может! - вырвалось у Джона. - Портрет помечен 1646 годом.

- Ты это видел, заметил, - сказал дядя, - ну так вот, - он весь затрясся, на мгновение облокотился на валик, а потом, схватив племянника за руку и очень странно на него посмотрев, воскликнул: - Ты еще увидишь его, он жив.

И, опустившись снова на валик, он не то уснул, не то впал в забытие. Открытые глаза

продолжали недвижно глядеть на Джона.

В доме воцарилась полная тишина, и у Джона были теперь и время и возможность обо всем поразмыслить. Он не в силах был справиться с множеством нахлынувших на него мыслей, но отделаться от них никак не удавалось. Он стал думать о привычках и характере дяди, снова и снова возвращался к тому же и сказал себе: "Я не знаю человека, менее склонного к суеверию. Если он о чем-нибудь и думал, то разве что о ценах на акции, и о разменном курсе, и об издержках на мое образование, его это особенно тяготило. Можно ли представить себе, что такой, как он, умирает от страха, от нелепого страха, что человек, живший полтора столетия назад, до сих пор еще жив, - и тем не менее он умирает".

Поток его мыслей прервался: факты всегда таковы, что могут опровергнуть самую упрямую логику. "Как ни трезвы ум его и чувства, он все-таки умирает от страха. Я слышал это на кухне, слышал от него самого тут уж не может быть никакого обмана. Если бы мне когда-нибудь довелось проведать, что у него не в порядке нервы, расстроено воображены или что он склонен к суевериям, но в характере его нет ни одной из этих черт. Чтобы человек, который, как говорит наш бедный Батлер в своем "Антиквари" {24}, готов был продать Христа еще раз за сребреники, как это сделал в свое время Иуда, - чтобы такой человек умирал от страха. - И, однако, он умирает", - подумал Джон, в ужасе глядя на втянуты ноздри, остекленевшие глаза, отвисшую челюсть и на все страшные признаки *facies Hippocratica* {Лица умирающего {25} (лат.)}, отчетливо выраженные, но уже близкие к тому чтобы перестать что-либо выражать.

В эту минуту старый Мельмот был, казалось, погружен в глубокое оцепенение, во взгляде его больше не было ужаса, и руки его, которые перед этим судорожно перебирали одеяло короткими, прерывистыми движениями, застыли теперь и недвижно лежали на нем, точно лапы умершей от голода хищной птицы, - такие высохшие, пожелтевшие, так далеко раскинувшиеся вширь. Джон, которому ни разу не приходилось видеть смерть, решил, что старик просто засыпает, и, движимый неким безотчетным порывом, схватил огарок свечи и еще раз отважился проникнуть в запретную комнату, которая среди обитателей дома известна была под именем голубой. Шорох его шагов разбудил умирающего; тот приподнялся на постели. Джон не мог этого видеть, ибо уже находился в это время в кабинете, но он услышал стон, скорее даже какой-то сдавленный клокочущий хрип, который возвещал, что наступила ужасающая борьба охваченного судорогами тела и смятенного духа. Он вздрогнул, повернул назад и тут же, заметив, что глаза портрета, от которых он не мог оторваться, обращены на него, опрометью кинулся назад к постели старика.

Старый Мельмот умер этой же ночью, и умер так, как жил, одержимый бредом скупости. Последние часы его являли собою ужас, которого Джон не мог себе даже представить. Он осыпал всех проклятьями и богохульствовал по поводу трех полупенсовых монет, пропавших, по его словам, несколько недель назад, - сдачи, которую ему не отдал конюх, покупавший сено для едва волочившей ноги от голода лошади. Потом он схватил руку Джона и попросил племянника дать ему причаститься.

- Если я пошлю за священником, - сказал он, - то придется ему платить, а я не могу, не могу. Они считают, что я богат, а ты только погляди на это одеяло; я, правда, не пожалел бы и денег, если б только был уверен, что спасу душу.

- Право же, ваше преподобие, - добавлял он уже в бреду, - я человек очень бедный. Никогда мне раньше не случалось беспокоить священника, и я хочу только, чтобы вы исполнили две мои маленькие просьбы, для вас это сущий пустяк: спасти мою душу и, - тут он перешел на шепот, - добиться, чтобы гроб мне заказали за счет прихода. Того, что останется после меня, на похороны не хватит. Я всегда всем говорил, что беден, но чем больше я твердил об этом, тем меньше мне верили.

Слова эти произвели тягостное впечатление на Джона; он отошел от кровати больного и сел в дальнем углу. Женщины снова вернулись в комнату; было очень темно. Окончательно обессилевший Мельмот не мог больше произнести ни слова, и на какое-то время все погрузилось в тишину, напоминавшую о близости смерти. В эту минуту Джон увидел, как дверь вдруг открылась и на пороге появилась какая-то фигура. Вошедший оглядел комнату, после чего спокойными, мерными шагами удалился. Джон, однако, успел рассмотреть его лицо и убедиться, что это не кто иной, как живой оригинал виденного им портрета. Ужас его был так велик, что он порывался вскрикнуть, но у него перехватило дыхание. Тогда он вскочил, чтобы кинуться вслед за пришельцем, но одумался и не сделал ни шагу вперед. Можно ли было вообразить большую нелепость, чем приходиться в волнение или смущаться от обнаруженного сходства между живым человеком и портретом давно умершего! Сходство, разумеется, было бесспорным, если оно поразило его даже в этой полутемной комнате, но все же это было не больше, чем сходство; и пусть оно могло привести в ужас мрачного и привыкшего жить в одиночестве старика, здоровье которого подорвано, Джон решил, что уж он-то ни за что не даст себя вывести из состояния равновесия.

Но в то время, как в душе он уже гордился принятым решением, дверь вдруг открылась и фигура появилась снова: она, казалось, манила его с какой-то устрашающей фамильярностью. Джон вскочил, на этот раз преисполненный решимости погнаться за нею, но вынужден был остановиться, услышав слабые, но пронзительные крики дядюшки, боровшегося одновременно и с наступавшей агонией, и со своей управительницей. Несчастливая, заботясь о репутации своего господина, а заодно и о своей собственной, пыталась надеть на больного чистую рубашку и ночной колпак; Мельмот же чувствовал только, что у него что-то хотят отнять, и совсем слабым голосом восклицал:

- Они грабят меня, грабят в последние минуты жизни, грабят умирающего. Джон, помоги мне, я умру нищим, они снимают с меня и последнюю рубашку, я умру нищим.

И скупец испустил дух.

Глава II

Ты, что стонешь, бродишь тенью

Вкруг былых своих владений.

Рау {1}

Спустя несколько дней после похорон завещание покойного было, вскрыто в присутствии надлежащих свидетелей, и Джона провозгласили единственным наследником состояния дяди, которое, хоть поначалу и было невелико, в силу страсти старика к стяжательству и бережливой его жизни превратилось в весьма значительное.

Закончив чтение завещания, стряпчий добавил:

- Тут еще на уголке приписаны какие-то слова. Они, должно быть, не относятся к завещанию, ибо не введены в него по форме в качестве приписки и не скреплены подписью завещателя. Однако, насколько я могу судить, приписка сделана рукою покойного.

Он показал эти строчки Джону, который тут же признал, что они написаны почерком дяди (этим прямым и тесным почерком - таким, что, казалось, писавший стремился елико возможно полнее использовать каждый листик бумаги, бережно сокращая каждое слово и даже не оставляя полей), и не без некоторого волнения прочел следующие слова: "Приказываю племяннику и наследнику моему, Джону Мельмоту, убрать, уничтожить самолично или велеть уничтожить портрет с подписью "Дж. Мельмот, 1646", висящий у меня в кабинете. Приказываю ему также отыскать рукопись: полагаю, что он найдет ее в третьем, самом нижнем левом ящике бюро красного дерева, над которым висит портрет, - она лежит среди всяких ненужных бумаг, писанных от руки проповедей, брошюр о благосостоянии Ирландии и тому подобных. Он узнает

ее по черной тесьме, которой она перевязана, по выцветшей и покрытой плесенью бумаге. Он может, если захочет, прочесть эту рукопись; только пусть лучше не читает. Во всяком случае заклинаю его, если заклинание умирающего может иметь силу, ее сжечь".

После прочтения этой странной приписки собравшиеся вернулись к обсуждению существа дела, и так как воля старого Мельмота была выражена вполне ясно и по узаконенной форме, то все было очень скоро закончено; официальные лица и свидетели уехали, оставив Джона Мельмота одного.

Следует упомянуть, что опекуны, назначенные наследнику по завещанию (ибо он не достиг еще совершеннолетия), советовали ему возвратиться в колледж и в надлежащий срок завершить там свое образование; однако Джон решил остаться, сославшись на то, что считает себя обязанным почтить память дяди и провести известное время в доме покойного. В действительности побуждения его были иными. Любопытство, а может быть, и некое более высокое чувство, неистовое и страшное, преследование некоей смутной цели захватило его безраздельно. Опекуны его - а это были соседние помещики, люди весьма уважаемые, в чьих глазах, после того как было прочтено завещание, Джон сразу вырос, - настоятельно предлагали ему какое-то время прожить у них, прежде чем он вернется в Дублин. Юноша поблагодарил их за приглашения, но ответил решительным отказом. Тогда они велели подать лошадей и, распроставшись со своим подопечным, разъехались по домам, Мельмот остался один.

Всю вторую половину дня он провел в тревожном и мрачном раздумье; он расхаживал из угла в угол по комнате покойного дяди, подходил к двери кабинета, а потом отступал назад, глядел на свинцовые тучи и прислушивался к завыванию ветра, как будто то и другое могло не усугубить, а, напротив, развеять его тяжелое настроение. Наконец, под вечер уже он вызвал старую управительницу, рассчитывая, что она так или иначе объяснит ему необыкновенные происшествия, свидетелем которых ему довелось стать в доме дяди. Старухе польстило то, что он обратился к ней, и она тут же явилась на его зов. Однако рассказать она могла очень мало. (Мы не станем докучать читателю, передавая ее бесчисленные разглагольствования, ирландские слова и выражения, которые она употребляла, и частые паузы, вызванные тем, что она прикладывалась к табакерке и пила приготовленный из виски пунш, который Мельмот распорядился ей подать). Вот примерно то, что она сообщила.

Она рассказала, что их милость (так она привыкла называть покойного) очень пристрастились к маленькой комнатке, примыкавшей к спальне, и последние два года любили проводить там время за чтением; что люди, знавшие, что их милость богаты, пробрались в эту комнату (то есть попросту покушались их ограбить), однако, увидев, что там ничего нет, кроме бумаг, убежали; что господин ее был так всем этим напуган, что велел заложить кирпичом окно, но что она твердо убеждена: в комнате не только одни бумаги, \_а кое-что еще\_. Ведь стоило ее господину недосчитаться полупенса, как он подымал шум на весь дом; когда же окно комнаты заложили кирпичом, он больше ни слова не промолвил; потом их милость стали часто запирались у себя в кабинете, и, хотя раньше они никогда не любили читать, теперь, когда им приносили обед, их часто заставляли склоненными над какой-то бумагой, которую они тут же прятали, стоило только кому-нибудь войти. И один раз даже очень забеспокоились по поводу портрета, боялись, как бы кто-нибудь его не увидел; что, зная, что \_в семье приключилось что-то недоброе\_, она всячески старалась узнать правду и даже наведывалась к Бидди Браннинген (врачевавшей всю округу Сивилле, о которой у нас уже шла речь), но та только покачала головой, набила трубку, произнесла какие-то слова, которых нельзя было понять, и закурила; все это было за два дня до того, как на их милость немочь нашла. Сама она стояла во дворе (в прежнее время он был окружен конюшнями, голубятней и другими строениями, как то водится в господских усадьбах, но теперь от всего остались лишь полуразрушенные стены находившихся

там некогда служб, и место это поросло чертополохом и сделалось прибежищем свиней), когда их милость велели ей запереть дверь, - их милость всегда требовали, чтобы двери запирались рано; она поспешила исполнить их приказание, но тут они вдруг стали вырывать из ее руки ключ и принялись ее ругать (они ведь очень беспокоились, чтобы двери были заперты, замки-то никуда не годились, а ключи все проржавели и когда их поворачивали в скважине, то скрипели они так, что казалось, будто это стенают души грешников). Она постояла с минуту, видя, что господин ее рассержен, и отдала ему ключ, как вдруг он вскрикнул и упал на порог. Она кинулась поднимать его, подумала, что ему просто худо стало, но оказалось, что он весь похолодел и не может пошевелить ни рукой ни ногой. Тогда она стала звать на помощь, и прибежали люди с кухни; от ужаса и отчаяния она совсем растерялась, но все-таки помнит, что, как только люди подняли его, он пошевелил рукой и на что-то показал, и тут она увидела, что по двору идет какой-то высокий мужчина и уходит невесть куда: наружные-то ворота всегда заперты и их уже много лет не открывали, а вся прислуга толклась в это время возле их милости в другом конце двора. Она видела этого человека, видела его тень на ограде, видела, как он медленными шагами прошел по двору, и в ужасе закричала: "Держите его!", но никто не обратил внимания на ее крик, все суетились возле господина; когда же его перенесли в спальню, то все опять-таки думали только о том, чтобы привести его в чувство. Больше она ничего не могла рассказать. Их милость (это относилось уже к молодому Мельмоту) знает столько же, сколько она: он ведь был при дяде во время последней болезни, при нем господин и умер, откуда же ей знать больше, чем их милости.

- Все это верно, - сказал Мельмот, - я, конечно, видел, как он умер, но вы говорите, что в семье приключилось что-то недоброе, так вот знаете ли вы что-нибудь об этом?

- Ровно ничего, хоть я и стара, все ведь это было давным-давно, когда меня еще и на свете не было.

- Ну конечно, так оно и должно было быть; только скажите, дядя мой был когда-нибудь суеверен, любил фантазировать? - Мельмоту пришлось употребить несколько синонимических выражений, прежде чем собеседница его поняла, чего он от нее хочет. Когда он этого наконец добился, он услышал сказанные решительно слова:

- Нет, никогда, никогда. Случалось, что их милость сживали с нами зимой на кухне, чтобы не тратиться на дрова и не топить у себя в спальне, так не выносили они, чтобы старухи при них судачили. Уж так они не терпели их рассказней, что те втихомолку курили и не смели шептаться ни о том, как на ребенка порчу напустили, ни о парне, который днем выглядел уродцем горбатым, а чуть ночь, так отправлялся танцевать с порядочными людьми на вершину соседней горы, и зазывали его туда волынкой, что, как вечер, так беспрерывно играла.

От этого рассказа мысли Мельмота сделались еще мрачнее. Если дядя его не был суеверен, то не было ли за ним какой-нибудь вины и не было ли причиной его странной и внезапной смерти и даже того странного посещения, которое ей предшествовало, некое зло, которое он жадностью своей причинил какой-нибудь вдове или сиротам? Он стал расспрашивать об этом старуху, начав разговор осторожно, обиняками. Но ответы ее полностью обелили покойного.

- Человек-то он был скупой, черствый, - сказала она, - но чтобы он на что чужое позарился, так этого никогда не бывало. Он целый свет мог голодом уморить, но никого ни на грош не обманул.

Последнее, что оставалось Мельмоту, - это послать за Бидди Браннинген, которая все еще была в доме и от которой он во всяком случае надеялся услышать о том недоброе, что приключилось в семье. Та явилась, и, когда она здоровалась с Мельмотом, любопытно было видеть на ее лице выражение властности, смешанной с подобострастием, к которому ее приучила жизнь, сочетающая в себе постыдное нищенство с наглым, но вместе с тем искусным

плутовством. Придя, она остановилась на пороге, почтительно присела и пробормотала какие-то невнятные слова, которые, очевидно, должны были выражать благословение, но которые резкий тон и весь ее зловещий облик делали похожими на проклятие. Однако, как только речь зашла о самом важном деле, во всем облике ее появилась какая-то значительность, и она вся вытянулась и преобразилась наподобие вергилиевской Алекты {2}, которая за одно мгновение из слабенькой старушки превращается в грозную фурию. Размеренным шагом она прошлась по комнате, села, или, лучше сказать, опустилась на пол у очага, как припадает к земле заяц, простерла свои костлявые морщинистые руки к огню и некоторое время молча раскачивалась из стороны в сторону, прежде чем приступить к рассказу. Когда она кончила говорить, Мельмот долго не мог опомниться, ошеломленный всем тем, что узнал; поразило его и то, что такую дикую, неправдоподобную, больше того, совершенно невероятную историю он слушал со все возрастающим волнением, охваченный то любопытством, то страхом, и в конце концов ему стало стыдно своего легковерия и безрассудства, с которыми он не в силах был совладать. И он решил в тот же вечер пойти в голубую комнату и прочесть рукопись.

Решение это оказалось, однако, невозможно осуществить, ибо, когда он потребовал, чтобы ему принесли свечи, управительница призналась, что все, что оставалось, сожгли у гроба их милости; тогда босоногому мальчишке приказано было сбегать в соседнюю деревню за свечами, да поскорее.

- Да хорошо бы еще попросить у кого-нибудь пару подсвечников, добавила управительница.

- Неужели в доме нет подсвечников? - удивился Мельмот.

- Как же, есть, мой дорогой, сколько угодно, да только не время сейчас старый сундук открывать, серебряные-то все на самом дне упрятаны, ну а медные, те в ходу, да толку в них нет, потому у одного верх отломан, у другого низ.

- Так как же вы без них обходились? - спросил Мельмот.

- Да в картофелину воткнешь свечу и ладно, - ответила управительница.

Итак, мальчишка побежал со всех ног. Начинало темнеть, и Мельмот, оставшись один, мог снова предаваться раздумьям.

А вечер был такой, что располагал к ним, и Мельмот успел вкусить их сполна, прежде чем посланный вернулся. Было холодно и темно; тяжелые тучи предвещали полосу непрерывных осенних дождей; одна за другой они заволакивали небо подобно темным знаменам надвигающихся полчищ врага, который сметает все на своем пути. Мельмот приник к окну; покосившиеся рамы, потрескавшиеся и разбитые стекла сотрясались при каждом порыве ветра. Перед глазами его расстилалась самая безотрадная картина - пустынный сад, в котором все говорило о скупости покойного хозяина: обвалившаяся ограда, тропинки, заросшие чем-то очень мало походившим на траву, хилые, шаткие деревья с осыпавшейся листвой и густые колючие заросли крапивы и сорняка там, где некогда были цветы; всполошенные ветром плети клонились долу бесформенно и неприютно. Все это походило на кладбище, на сад мертвых. Джон вернулся к себе в комнату, надеясь, что ему станет легче, однако и там не испытал ни малейшего облегчения. Деревянные панели стен почернели от грязи и во многих местах потрескались и обвалились; решетка камина так давно уже не имела дела с огнем, что теперь только клубы унылого дыма могли пробиться между ее закопченными прутьями; соломенные сиденья на шатких стульях совершенно уже провалились; из локотников большого кожаного кресла вылезал войлок, а по краям одиноко торчали гвозди, под которыми не осталось и следа от обивки; пострадавший не столько от копоты, сколько от времени камин украшала пара щипцов, потрепанный альманах 1750 года, давно уже остановившиеся часы, которых никто не собрался починить, и ржавое ружье без замка. Неудивительно, что вся эта картина запустения вернула Мельмота к его собственным мыслям, тревожным и неотступным. Он припомнил рассказ

Сивиллы слово в слово и, казалось, подвергал теперь свидетельницу перекрестному допросу, стараясь уличить ее в противоречиях.

Первый из Мельмотов, обосновавшийся в Ирландии, по ее словам, был офицером армии Кромвеля; конфисковав земельный надел, он получил имение одного ирландского рода, приверженного королю. Старший брат его уехал за границу и так долго жил на континенте, что семья успела совершенно его позабыть. Родные не питали к нему любви, которая одна помогла бы сохранить в памяти его образ, ибо о путешественнике этом ходили странные слухи. Говорили, что он, подобно "проклятому чародею, знаменитому Глендауру" {3} занимался какими-то таинственными делами.

Не следует забывать, что в то время, да, впрочем, и позднее, вера в астрологию и колдовство была очень распространена. Даже в самом конце царствования Карла II Драйден составлял гороскоп своего сына Чарлза {4}, нелепые сочинения Гленвила были в большом ходу {5}, а Дельрио и Виерус были настолько популярны {6}, что один из драматургов (Шедуэл) обильно цитировал их {7} в примечаниях к своей занятой комедии о ланкаширских ведьмах. Рассказывают, что еще при жизни Мельмота путешественник посетил его, и, хотя в то время он должен был уже быть в годах, к удивлению семьи, он нисколько не постарел с того времени, когда они видели его в последний раз. Пробыл он очень недолго, ни словом не обмолвился ни о прошлом своем, ни о будущем, да и родные ни о чем его не спрашивали. Говорили, что им было как-то не по себе в его присутствии. Уезжая, он оставил им свой портрет (тот самый, который Джон Мельмот видел в голубой комнате и который был помечен 1646 годом), и с тех пор они его больше не видели. Спустя несколько лет из Англии прибыл некий человек; он направился в дом Мельмота, разыскивая скитальца, и с удивительной настойчивостью добивался хоть что-нибудь о нем узнать. Семья не могла сообщить ему никаких сведений, и, проведя несколько дней в волнении и непрестанных расспросах, он уехал, оставив в доме то ли по рассеянности, то ли намеренно рукопись, содержащую удивительный рассказ о тех обстоятельствах, при которых автор ее повстречал Джона Мельмота Скитальца (как называли этого человека).

И рукопись, и портрет сохранились, что же касается оригинала, то распространился слух о том, что он все еще жив и что его много раз видели в Ирландии, даже и в нынешнем столетии, но что он появлялся не иначе, как перед смертью кого-либо в доме, но и тогда лишь в тех случаях, когда последние часы умирающего бывали омрачены страшной тенью зла, которое он причинил людям своими дурными страстями или привычками.

Поэтому появление этого зловещего человека перед смертью старого Мельмота, действительное или только мнимое, никак нельзя было счесть хорошим предзнаменованием для пути, уготованного его душе.

Вот что поведала Бидди Браннинген, добавив к этому, что готова поклясться, что у Джона Мельмота Скитальца за все это время не выпало ни единого волоска на голове, а на лице не появилось ни единой морщины, что ей доводилось говорить с видевшими его людьми и что, если понадобится подтвердить все сказанное ею, она готова принять присягу; что она ни от кого не слыхала, чтобы он с кем-то говорил, или что-то ел, или заходил в чей-либо дом, кроме как в свой родной, и, наконец, что сама она убеждена, что последнее появление его не предвещает ничего хорошего ни живым, ни мертвым.

Джон продолжал раздумывать обо всем, что услышал, когда свечи наконец были принесены. Не обращая внимания на бледные от страха лица слуг и на их предостерегающий шепот, он решительными шагами вошел в кабинет, запер за собой дверь и принялся разыскивать рукопись. Он вскоре ее нашел, ибо указания старого Мельмота были точны и он их твердо запомнил. Рукопись, старая, разорванная и выцветшая, действительно лежала в упомянутом



ящике бюро. Выгаскивая испачканные чернилами листы, Мельмот почувствовал, что руки его холодны как у мертвеца. Он сел и принялся читать; в доме была мертвая тишина. Мельмот в мрачной сосредоточенности посмотрел на свечи, снял нагар, однако и после этого ему казалось, что горят они тускло (может быть, ему мерещилось, что они горят голубоватым пламенем, но в этом он не хотел себе признаться). Во всяком случае, он несколько раз менял положение и, наверное, переменял бы и место, но в кабинете было одно-единственное кресло.

Он погрузился на несколько минут в какое-то забытье и очнулся, только когда часы пробили двенадцать. Это были единственные звуки, которые он слышал за последние несколько часов, а в звуках, издаваемых неодушевленными предметами в то время, как все живое словно вымерло, есть что-то неопишимо страшное. Джон словно с неохотой посмотрел на рукопись, раскрыл ее, остановился на первых строчках, и, в то время как за стенами опустевшего дома завывал ветер, а дождь уныло стучал в дребезжащие стекла, ему захотелось - чего же ему захотелось? Только одного, чтобы звук ветра не был таким печальным, а звук дождя таким мучительно однообразным. Его можно за это простить; когда он начал читать, было уже за полночь и на десять миль вокруг все живое давно забылось сном.

### Глава III

Apparebat eidolon senex {\*}

{\* Появлялся призрак старика {1} (лат.).}

### Плиний

Рукопись оказалась выцветшей, стершейся, попорченной и как будто была создана, чтобы испытывать терпение того, кто попытается ее прочесть. Даже самому Михаэлису {2}, корпевшему над мнимым автографом святого Марка в Венеции, не приходилось сталкиваться с подобными трудностями. Мельмоту удавалось разобрать только отдельные фразы - то тут, то там. Автором этих записок был, судя по всему, англичанин, некий Стентон, который вскоре после Реставрации отправился путешествовать за границу. Путешествовать в те времена было далеко не так удобно, как в наши дни, когда улучшились средства сообщения, и ученые и писатели, люди образованные, праздные и любопытные, годами колесили по Европе подобно Тому Кориету {3}, хотя оказывались все же достаточно скромны, чтобы назвать результаты своих многочисленных наблюдений и трудов всего-навсего "сырыми плодами".

Году в 1676 Стентон был в Испании. Подобно большинству путешественников своего времени, это был человек начитанный, просвещенный и любознательный. Но он не владел языком страны, по которой ездил, и ему нередко приходилось пробираться из монастыря в монастырь в поисках того, что именовалось "приютом". Это означало, что он получал питание и ночлег, а в уплату за это должен был оспаривать первенство у того из монахов, кто пожелал бы состязаться с ним в учености по части теологии или метафизики, а поелику теология была католической, а метафизика - аристотелевской, то Стентон порою даже тосковал по жалкой харчевне, где ему доводилось ночевать и откуда его выпроваживали грязь и холод. Надо сказать, что, хотя его досточтимые противники неизменно обличали его веру и, даже когда он побеждал в споре, утешали себя мыслью, что он все равно обречен на муки ада - и не только как еретик, но и как англичанин, они тем не менее вынуждены бывали признать, что латынь его безукоризненна, а доводы неопровержимы; поэтому чаще всего дело кончалось тем, что они предоставляли ему и ужин и ночлег. Не так, однако, сложилась его судьба в ночь на 17 августа 1677 года, когда он оказался в валенсийских равнинах и когда трусливый проводник его, напуганный видом распятия, поставленного на месте, где было совершено убийство, украдкой соскочил со своего мула и, крестясь на ходу, постарался удрать от еретика, оставив Стентона среди ужасов приближавшейся бури и опасностей, неминуемо подстерегавших его в незнакомой стране. Величественная и вместе с тем мягкая красота природы наполняла душу Стентона

радостью, но он вкушал ее как истый англичанин, ничем не выказывая своих чувств.

Великолепные руины двух вымерших династий {4}, развалины римских дворцов и мавританских крепостей обступали его со всех сторон и возвышались над его головой. Медленно надвигавшиеся тяжелые темные тучи стлались по небу, словно саваны этих призраков былого величия, напоздали на них, но развалины все еще никак не давали им себя одолеть и укрыть, и казалось, что природа на этот раз преисполнилась благоговейным страхом перед могуществом человека; а далеко внизу, лаская взгляд, валенсийская долина рдела и пламенела в закатных лучах солнца, как новобрачная, на устах которой избранник ее перед наступлением ночи запечатлевал жгучий свой поцелуй. Стентон огляделся кругом. Его поразило различие между римской и мавританской архитектурой. Первая обращала на себя внимание развалинами театра и, по-видимому, места общественных собраний. Что же касается второй, то тут были лишь остатки крепостей с зубчатыми стенами, башнями, укрепленными сверху донизу; нигде не открывалось ни единой отдушны, через которую могла бы проникнуть радость жизни: все отверстия были предназначены только для стрел; все говорило о военной силе и деспотическом подчинении а l'outrance {Доведенных до предела (франц.)}. Различие это могло бы заинтересовать философа; погружившись в размышления, он, возможно, пришел бы к мысли, что, хотя древние греки и римляне и были дикарями (а по мнению д-ра Джонсона {5}, все народы, не знающие книгопечатания, - дикари, и он, разумеется, прав), это все же были удивительные для своего времени дикари, ибо они одни \_оставили следы своего пристрастия к наслаждениям\_ в завоеванных ими странах в виде великолепных театров, храмов (которые тоже в какойто мере посвящались наслаждениям) и бань, тогда как другие победоносные орды дикарей оставляли после себя всякий раз лишь следы своей неистовой жажды власти. Так думал Стентон, глядя на все еще отчетливо обозначавшийся на фоне неба, хотя и слегка затененный темными тучами, огромный остов римского амфитеатра, его гигантские арки и колоннады, то пропускавшие луч заходящего солнца, то сливавшиеся воедино с окрашенной в пурпур грозовой тучей, а вслед за тем на тяжеловесную мавританскую крепость с глухими стенами, непроницаемыми для света, - олицетворение силы темной, самовластной, неприступной. Стентон позабыл уже о трусливом проводнике, о своем одиночестве, о том, сколь опасна встреча с надвигающейся бурей в отнюдь не гостеприимных краях, где стоило ему только назвать себя и сказать, откуда он родом, чтобы все двери захлопнулись перед ним, и где каждый удар грома мог легко быть приписан дерзкому вторжению еретика в страну древних христиан, как испанские католики нелепо называют себя для того, чтобы их не смешивали с принявшими крещение маврами.

Все это он позабыл, созерцая открывавшуюся перед ним величественную и страшную картину, где свет боролся с тьмой, а тьма грозила ему другим, более страшным светом и возвещала эту угрозу свинцово-синей густою тучей, которая неслась подобно ангелу-истребителю, чьи стрелы готовы разить неведомо кого. Однако все эти мелкие опасности местного характера, как было бы сказано в героическом романе, сразу вспомнились ему, едва только он увидел, как первая же вспышка молнии, размашистая и алая, точно знамена полчищ захватчиков, девиз которых "Vae victis" {Горе побежденным {6} (лат.)}, осыпает развалины римской стены; расколотые камни покатались вниз по склону и упали к ногам Стентона. Он стоял, охваченный страхом и ожидая, чтобы ему бросила вызов сила, в глазах которой пирамиды, дворцы и черви, создавшие их своим трудом, равно как и другие черви, те, что корпят под их тенью или под их гнетом, одинаково жалки и ничтожны; он преисполнился решимости и на какое-то мгновение ощутил в себе то презрение к опасности, которое опасность сама пробуждает в нас, когда столкновение с ней повергает в восторг, когда нам хочется, чтобы она обернулась врагом из плоти и крови, и мы просим ее "быть беспощаднее", понимая, что все самое худшее, что мы сейчас испытываем, со временем обернется нам во благо. И тут он увидел

еще одну вспышку, озарившую ярким, мгновенным и недобрым светом развалины былого могущества и роскошь расцветшей вокруг природы. Какой удивительный контраст! Остатки созданного человеком погибают навеки, а круговорот природы несет в себе вечное обновление. (Увы! Ради чего же совершается это обновление, как не ради того, чтобы посмеяться над бренными творениями рук человеческих, которыми смертные понапрасну стараются ее превзойти). Пирамиды и те рано или поздно должны будут погибнуть, тогда как пробивающаяся меж их разъединенных камней трава будет возрождаться из года в год.

Стентон погрузился в раздумья, но мысли его самым неожиданным образом оборвались: он увидел двоих мужчин, которые несли тело молодой и, должно быть, очень хорошенькой девушки, убитой молнией. Стентон подошел к ним и услышал, как оба они повторяли: "Здесь некому по ней горевать!"

"Некому по ней горевать", - повторяли шедшие за ними следом двое других - те несли обезображенное и почерневшее тело мужчины, который недавно еще был и привлекателен и красив.

- Некому по ней теперь горевать!

Это были двое влюбленных; когда ее убило ударом молнии, он кинулся оказать ей помощь, и в ту же минуту новый удар поразил и его.

Когда тела уже должны были унести, подошел некий человек - очень спокойной и размеренной походкой, как будто только он один не сознавал опасности положения и страх был над ним не властен; какое-то время он взирал на мертвецов, а потом вдруг разразился смехом, столь громким, неистовым и раскатистым, что крестьяне, которых смех этот ужасал не меньше, чем завывания бури, поспешили поскорее убраться, унося с собою тела убитых. Даже Стентон был до такой степени поражен этим смехом, что удивление в нем взяло верх над испугом, и, обернувшись к незнакомцу, который стоял все на том же месте, он спросил его, кто дал ему право глумиться над человеческими чувствами. Незнакомец не спеша повернулся к нему и, открыв лицо, на котором... (тут в рукописи шло несколько строк, разобрать которые не было возможности)... сказал по-английски... (в этом месте был большой пропуск, и следовавшие затем записи, которые можно было разобрать, хотя они и были продолжением начатого рассказа, не имели ни начала ни конца).

\* \* \* \* \*

Ужасы этой ночи заставили Стентона упорно и неотступно стучаться в дом; и ни пронзительный голос старухи, повторявшей: "Еретика, англичанина, ни за что! Матерь божья, защити нас! Отыди, сатана!", ни тот особый стук оконных створок, столь характерный для валенсийских домов, который раздавался, когда она открывала их, чтобы излить на пришельца весь поток ругательств, и снова закрывала при каждой вспышке молнии, врывавшейся в комнату, - не в силах были удержать его от настойчивых просьб впустить его в дом: ночь выдалась такая, что все мелкие житейские страсти должны были притихнуть и уступить место одному только трепету перед силой, которая посылала эти ужасы людям, и состраданию к тем, кому приходилось их испытывать.

Однако Стентон чувствовал в возгласах старухи нечто большее, нежели свойственный этой нации фанатизм: то было особое избирательное отвращение к англичанам, и чувство это его не обмануло; но от этого не ослабевало упорство, с которым он...

\* \* \* \* \*

Дом был обширный и красивый, но печать грусти и запустения...

\* \* \* \* \*

У стены стояли скамейки, но на них никто не сидел; в помещении, которое некогда служило залом, стояли столы, но, казалось, что много лет уже никто не собирался за ними;

отчетливо били часы, но ничей веселый смех, ничей оживленный разговор не заглушал их звука; время давало свой страшный урок одной только тишине; в каминах чернели давнымдавно прогоревшие угли; у фамильных портретов был такой вид, будто это они - единственные хозяева дома; казалось, что из потемневших рам слышатся голоса: "Некому смотреть на нас", и эхо от шагов Стентона и его дряхлой спутницы было единственным звуком, доносившимся между раскатами грома, столь же зловещими, но уже далекими, - теперь они все больше походили на глухие шумы изношенного сердца. Проходя одной из комнат, они вдруг услышали крик. Стентон остановился, и ему сразу представились страшные картины опасностей, которым путешествующие по континенту подвергаются в пустынных и отдаленных замках.

- Не обращайтесь на это внимания, - сказала старуха, тусклою лампой; освещавшая ему путь. - Просто он...

\* \* \* \* \*

Убедившись воочию, что у ее английского гостя, даже если это был сам дьявол, нет ни рогов, ни копыт, ни хвоста, что крестное знамение не приводит его в содрогание и что, в то время как он говорит, изо рта его не извергается горящая сера, старуха немного осмелела и наконец приступила к своему рассказу, который, как ни был Стентон устал и измучен, он...

\* \* \* \* \*

- Все препятствия были теперь устранены; родители и вся родня перестали противиться, и влюбленные соединились. Они составляли прелестную пару; казалось, что это ангелы во плоти, всего лишь на несколько лет упредившие свой вечный союз на небесах. Свадьбу справили очень торжественно, и несколько дней спустя было устроено большое празднество в том самом обшитом панелями зале, который, как вы помните, показался вам очень мрачным. В тот вечер стены его были увешаны роскошными шпалерами, изображающими подвиги Сида {7}, а именно сожжение нескольких мавров, которые не захотели отречься от своей проклятой веры. На шпалерах этих было великолепно изображено, как их пытали, как они корчились и вопили, как из уст их вырывались крики: "Магомет! Магомет!", когда их жгли на костре, - вы как будто слышали все это сами. На возвышении под роскошным балдахином, на котором красовалось изображение Пресвятой девы, восседала донья Изабелла де Кардоса, мать невесты, а возле нее на богато вышитых подушках - сама невеста, донья Инее; напротив нее сидел жених, и, хотя они ничего не говорили друг другу, две пары медленно поднимавшихся и стремительно опускавшихся глаз (глаз, которым свойственно смущаться) делились одна с другой своим упоительным и тайным счастьем.

Дон Педро де Кардоса пригласил на свадьбу дочери много гостей; в числе их оказался англичанин по имени \_Мельмот\_, путешествовавший по стране; никто не знал, кем он был приглашен. Он сидел, как, впрочем, и все остальные, в молчании, когда гостям подносили холодные напитки и обсахаренные вафли. Ночь была очень душной; полная луна горела, точно солнце над развалинами Сагунта {8}; вышитые занавеси на окнах тяжело колыхались, и казалось, что ветер все время пытается поднять их, а они противятся его силе...

(В рукописи был снова пробел, но на этот раз очень незначительный).

\* \* \* \* \*

Гости разбрелись по бесчисленным аллеям сада; по одной из этих аллей прогуливались жених и невеста; восхитительный аромат апельсиновых деревьев смешивался с запахом цветущих мирт. Вернувшись в зал, оба стали спрашивать собравшихся, слышали ли они удивительную музыку, звучащую в саду перед тем, как им уйти оттуда. Но оказалось, что никто ничего не слышал. Их это удивило, и они сказали об этом гостям. Англичанин все это время не выходил из зала; говорят, что, услышав эти слова, он улыбнулся необычной и странной улыбкой. Его молчание было замечено еще и раньше, но все приписали его незнанию испанского языка,

обстоятельству, к которому сами испанцы, как правило, остаются равнодушны: они не подчеркивают его, когда им случается говорить с иностранцем, но вместе с тем и ничем не облегчают своему собеседнику его трудного положения. К разговору об удивительной музыке больше не возвращались до тех пор, пока все не уселись за ужин; в эту минуту донья Инее и ее юный супруг, обменявшись улыбкой, в которой сквозили удивление и восторг, воскликнули оба, что слышат те же самые восхитительные звуки. Гости прислушались, но ни один из них ничего не услышал, и каждый ощутил странность происходящего. "Тсс!" - произнесли все одновременно. В зале воцарилась мертвая тишина; в каждом взгляде чувствовалось такое напряжение, что можно было подумать, что все хотят вслушаться в наступившую тишину глазами. Это глубокое безмолвие никак не вязалось с великолепием праздника, и свет факелов, которые держали слуги, выглядел зловеще: временами можно было подумать, что в зале пируют мертвецы. Тишина эта была нарушена, хотя всеобщее удивление отнюдь не улеглось, когда появился отец Олавида, духовник доньи Изабеллы, которого еще до начала торжества вызвали в один из соседних домов напутствовать умирающего. Это был священник, известный своей праведной жизнью, которого любили в семье и уважали по всей округе, где он выказал особое рвение и искусство в изгнании злых духов. Действительно, ему это необыкновенно удавалось, и он этим гордился по праву. Дьяволу никогда не доводилось еще попадать в худшие руки. Если он оказывался настолько упрям, что не смирялся перед латынью и даже первыми стихами Евангелия от святого Иоанна по-гречески, к которым, надо сказать, отец Олавида прибегал только в тех особо трудных случаях, когда противник его проявлял крайнее упорство (здесь Стентон вспомнил историю английского мальчика из Билдсона {9} и даже теперь, в Испании, покраснел за своих соотечественников), - то священник этот непременно обращался за помощью к Инквизиции. И как ни были перед этим упорны дьяволы, все-таки они в конце концов вылетали из бесноватых, и как раз тогда, когда под их отчаянные выкрики (разумеется, кощунственные) людей этих привязывали к столбу, чтобы сжечь живыми. Были среди бесов и такие, которые не покидали своих жертв и тогда, когда их лизали уже языки пламени; но даже самые упорные должны были перебираться в другое место, ибо бесы не могут жить в куче золы, рассыпчатой и липкой. Таким образом, молва об отце Олавиде распространилась очень далеко, и семейство Кардоса было весьма заинтересовано в том, чтобы заполучить его в духовники, чего им и посчастливилось добиться.

После только что исполненного долга лицо доброго пастыря помрачнело, но мрачность эта рассеялась, как только он очутился среди гостей и был им представлен. Ему тут же нашли место за столом, и случайно он оказался как раз напротив англичанина. Когда ему поднесли вина, отец Олавида (который, как я уже говорил, был человеком исключительного благочестия) приготовился произнести про себя коротенькую молитву. Вдруг он замешкал, весь задрожал, а потом совершенно обессилел; поставив бокал на стол, он утер рукавом проступивший на лбу пот. Донья Изабелла сделала знак слуге, и ему тут же подали другое вино, высшей марки. Губы священника зашевелились, словно для того, чтобы благословить и поданное вино и всех сидящих за столом, но ему это снова не удалось. Он так изменился в лице, что присутствующие это заметили. Он почувствовал, что обратил на себя внимание всех своим необычным видом, и еще раз попытался сгладить это тягостное впечатление и поднести бокал к губам. Все общество взирало на него с такой тревогой, что в этом наполненном людьми зале слышны были только шорохи его рясы, в то время как он сделал еще одну напрасную попытку выпить вино. Пораженные гости сидели молча. Стоял один только отец Олавида. В эту минуту сидевший напротив англичанин поднялся с места и, казалось, задался целью воздействовать на священника своим колдовским взглядом. Олавида зашатался, у него закружилась голова; он ухватился за плечо стоявшего сзади пажа и наконец, на мгновение зажмурил глаза, как бы для

того чтобы уйти от страшных чар этого непереносимого света (все присутствующие заметили, что глаза англичанина с минуты его появления в зале излучали ужасный, неестественный блеск), воскликнул:

- Кто это среди нас? Кто? Я не в силах произнести слов благословения, пока он здесь. Я не чувствую благодати. Там, где он ступает, земля сожжена! Там, где он дышит, в воздухе вспыхивает огонь! Там, где он ест, яства становятся ядом! Там, куда устремляется его взгляд, сверкает молния! \_Кто это среди нас? Кто?\_ - повторял священник, уже слабеющим голосом произнося последние слова заклинания; капюшон его откинулся назад, редкие волосы вокруг тонзуры пришли в движение от охватившего его ужаса, вытянутые руки, высунувшиеся из рукавов рясы, были простерты к незнакомцу и делали его похожим на охваченного страшным наитием прорицателя. Он все еще стоял, а англичанин спокойно стоял напротив него. Окружающие были потрясены, и их смятенные позы резко контрастировали с суровой неподвижностью этих двух людей, в молчании воззрившихся друг на друга.

- Кто знает этого человека? - воскликнул Олавида, словно пробуждаясь от забытья. - Кто его знает? \_Кто его\_ сюда привел?

Раздались голоса, заверяющие, что тот или другой знать не знают англичанина, и каждый шепотом спрашивал соседа: "\_Кто же\_ все-таки привел его в дом?". Тогда отец Олавида, поочередно указывая на каждого из гостей, стал расспрашивать каждого в отдельности: "Вы знаете его?".

- Нет! Нет! Нет! - послышались решительные ответы.

- Ну а я его знаю, - сказал Олавида, - я узнаю его по этим холодным каплям, - и он вытер лоб, - по этим скрюченным суставам, - и он снова сделал попытку перекреститься, но не мог. Он возвысил голос и с большим трудом проговорил:

- По этому хлебу и вину, которые для исполненного веры суть плоть и кровь Христовы, \_но\_ которые его\_ присутствие превращает в нечто столь же нечистое, как пена на губах порешившего с собою Иуды; по всем этим признакам я узнаю его и заклинаю его сгинуть! Это... это... - при этих словах он наклонился вперед и посмотрел на англичанина взглядом, который был ужасен, оттого что в нем смешались ярость, ненависть и страх. Все поднялись с мест, собравшиеся как бы разделились сейчас на две части: с одной стороны это были пришедшие в смятение гости и хозяева дома, которые все сбились вместе и спрашивали друг друга: "Кто же он, кто?", а с другой - стоявший неподвижно англичанин и Олавида, который упал и, мертвый уже, все еще продолжал указывать на врага...

\* \* \* \* \*

Тело священника вынесли в другую комнату; исчезновения англичанина никто даже не заметил до тех пор, пока все опять не вернулись в зал. Там все засиделись далеко за полночь, обсуждая необыкновенное происшествие, и в конце концов решили остаться до утра в доме, дабы злой дух (а они были убеждены, что англичанин не кто иной, как сам дьявол) не надругался над телом покойного, что было бы нестерпимо для ревностного католика, тем более что умер он без последнего напутствия. Едва только это похвальное решение было принято, как всех подняли на ноги крики ужаса и предсмертные хрипы, донесшиеся из спальни новобрачных.

Все кинулись к двери, и первым отец. Они распахнули ее, и глазам их предстала новобрачная, лежавшая бездыханной в объятиях своего юного супруга...

\* \* \* \* \*

Рассудок к нему больше уже не вернулся; семья покинула замок, в котором ее постигло столько горя. В одной из комнат до сих пор живет несчастный безумец; это он кричал, когда вы проходили по опустевшим покоям. Большую часть дня он пребывает в молчании, но в полночь всякий раз начинает кричать пронзительным, душераздирающим голосом: "Идут, идут!", после

чего снова погружается в глубокое молчание.

Во время погребения отца Олавиды произошло нечто странное. Хоронили его в соседнем монастыре; доброе имя этого праведника и необычные обстоятельства, при которых он умер, привлекли на похороны много народа. Произнести надгробную проповедь поручили монаху, который славился своим красноречием. А для того чтобы придать больше убедительности его словам, покойника положили в боковом приделе на возвышении с непокрытым лицом. В основу проповеди своей монах положил слова одного из пророков "Смерть вошла во дворцы наши". Он пространно говорил о смерти, чей приход, будь он стремителен или медлен, в равной мере ужасен для человека. Он вспоминал о превратностях судьбы - о крушении империй, и в словах его были и ученость и сила, однако незаметно было, чтобы все это произвело особенное впечатление на слушателей. Он цитировал различные места из житий святых, где описываются исполненное славы мученичество и героизм тех, кто проливал кровь и горел в огне за Христа и Пресвятую мать божью, но собравшиеся, казалось, ждали, что он скажет еще нечто другое, что растрогает их больше. Когда он грозно обрушился на тиранов, оставивших по себе память кровавыми преследованиями этих святых, слушатели его на какое-то мгновение словно очнулись от забытья, ибо всегда бывает легче пробудить в человеке страсть, нежели нравственное чувство. Но когда он заговорил о покойном и выразительно простер руку, указуя на лежавшее перед ним холодное и недвижимое тело, все взгляды обратились на него и все насторожились. Даже влюбленные, которые, делая вид, что окунают пальцы в святую воду, умудрялись передавать друг другу записки, прервали на какое-то время свое увлекательное занятие и прислушались к словам проповедника. Он с большим жаром говорил о добродетелях покойного, утверждая, что тот находился под особым покровительством Пресвятой девы, и перечислил все, что с его кончиной теряло братство, к которому он принадлежал, все общество в целом и христианская вера. Он даже разразился по этому поводу инвективою, обращенной к богу.

- Господи, как ты мог, - воскликнул он, - так поступить с нами? Зачем ты отнял у нас этого великого праведника, ведь добродетелей его, если должным образом употребить их, несомненно хватило бы, чтобы искупить отступничество святого Петра, противодействие апостола Павла (до его обращения) и даже предательство самого Иуды! Господи, почему ты отнял его у нас?

И вдруг из толпы глухой и низкий голос ответил:

- Потому что он этого заслужил.

Шепот одобрения, донесшийся со всех сторон, почти заглушил эти неожиданно прозвучавшие слова, и хотя среди тех, кто стоял ближе всех к человеку, который их произнес, и произошло некоторое замешательство, все остальные продолжали внимательно слушать.

- За что, - продолжал проповедник, указывая на мертвеца, - за что наказали тебя этой смертью, раб божий?

- За гордость, невежество и страх, - ответил тот же голос, сделавшийся еще более страшным.

Смятение охватило теперь всех. Проповедник умолк, и в расступившейся толпе предстала фигура монаха того же монастыря...

\* \* \* \* \*

После того, как были испробованы все обычные способы - увещания, внушения и взыскания, - и местный епископ, которому доложили об этом чрезвычайном происшествии, прибыв в монастырь, потребовал, чтобы строптивый монах объяснил ему свое поведение, но так ничего и не добился, было решено предать виновного суду Инквизиции. Когда несчастному сообщили об этом, ужас его был безграничен, и он готов был снова и снова повторять все то, что может рассказать о смерти отца Олавиды. Но все его самоуничтожение и повторные просьбы исповедовать его пришли слишком поздно. Его передали в руки Инквизиции. Существо процессов, которые ведет этот суд, редко становится известным, но имеются некие тайные

сведения (за достоверность которых я не могу ручаться) касательно того, что он говорил на суде и какие пытки ему пришлось вынести. На первом допросе он обещал рассказать все, что может. Ему ответили, что этого недостаточно и что он обязан рассказать все, что знает...

\*\*\*\*\*

- Почему ты пришел в такой ужас, когда хоронили отца Олавиду?

- Не было человека, который не испытал бы ужаса и тоски при виде смерти этого чтимого всеми священника, который оставил после себя добрую славу. Поступи я иначе, это могло бы служить доказательством моей вины.

- Почему ты прервал надгробное слово такими странными возгласами? На вопрос этот не последовало ответа.

- Почему ты продолжаешь упорствовать и навлекаешь на себя опасность своим молчанием? Взгляни, заклинаю тебя, брат мой, на распятие, что висит на стене, - с этими словами инквизитор указал на большой черный крест, висевший позади кресла, на котором он сидел, - одна капля пролитой им крови может смыть все грехи, какие ты когда-либо совершал; но вся эта кровь вместе с заступничеством царицы небесной и подвижничеством всех мучеников, больше того, даже отпущение, данное самим папой, не сможет избавить тебя от проклятия, которое тяготеет над нераскаяшимися грешниками.

- Но какой же я совершил грех?

- Самый тяжкий из всех возможных грехов: ты отказался отвечать на вопросы, заданные судом пресвятой и всемилостивой Инквизиции, ты не захотел рассказать нам, что тебе известно о смерти отца Олавиды.

- Я уже сказал вам, что, как я полагаю, гибель его есть следствие его невежества и самомнения.

- Чем ты можешь доказать это?

- Он пытался постичь то, что скрыто от человека.

- Что же это такое?

- Он считал себя способным обнаружить присутствие нечистой силы.

- А сам ты владеешь этой тайной?

Подсудимый весь затрясся в волнении, а потом совсем слабым голосом, но очень внятно сказал:

- Господин мой запрещает мне говорить об этом.

- Если бы господином твоим был Иисус Христос, он бы не мог запретить тебе слушаться приказаний Инквизиции или отвечать на ее вопросы.

- Я в этом не уверен.

В ответ на произнесенные монахом слова все разразилось криками ужаса. После этого следствие продолжалось.

- Если ты считал, что Олавида виновен в том, что занимается тайными науками, осужденными матерью нашей церковью, то почему же ты не донес о нем Инквизиции?

- Потому что я не считал, что занятия эти могут принести ему какой-нибудь вред; он оказался слишком слаб духом, он изнемог в этой борьбе, - очень решительно сказал узник.

- Ты, значит, считаешь, что у человека должна быть сила духа, для того чтобы хранить эти постыдные тайны, когда он занят исследованием их природы и целей?

- Нет, он прежде всего должен быть крепок телом.

- Сейчас мы это испытаем, - сказал инквизитор, давая, знак приступить к пытке...

\*\*\*\*\*

Узник выдержал первое и второе истязания мужественно и стойко, но когда была применена пытка водой {10}, которую человек не в силах перенести и которая слишком ужасна,



чтобы ее можно было даже описать, как только наступила передышка, он тут же закричал, что во всем признается. Тогда его отпустили, дали ему прийти в себя и немного окрепнуть, и день спустя он сделал следующее примечательное признание...

\* \* \* \* \*

Старуха-испанка открыла потом Стентону, что...

\* \* \* \* \*

...и что англичанина несомненно видели потом в округе и видели даже, как ей сказали, в ту же самую ночь.

- Боже праведный! - вскричал Стентон, вспомнив незнакомца, чей демонический смех так напугал его в ту минуту, когда он взирал на бездыханные тела двух влюбленных, убитых и испепеленных молнией.

----

После нескольких вымаранных и неразборчивых страниц рукопись сделалась более отчетливой, и Мельмот продолжал читать ее, сбитый с толку и неудовлетворенный, не понимая, какая же связь между этими происшедшими в Испании событиями и его предком: он все же узнал его в англичанине, о котором шла речь; Джона удивляло, как это Стентон мог найти нужным последовать за ним в Ирландию, исписать столько листов, рассказывая о том, что случилось в Испании, и оставить рукопись в руках семьи самого Мельмота, для того чтобы, по выражению Догберри, можно было "проверить недостоверное" {11}. Когда он вчитался в последующие строки, разобрать которые было нелегко, удивление его улеглось, но зато любопытство еще более возросло. Теперь Стентон находился уже, судя по всему, в Англии...

\* \* \* \* \*

Около 1677 года Стентон был в Лондоне; мысли его все еще были заняты таинственным соотечественником. Человек этот, на котором теперь сосредоточились все его интересы, оказал даже заметное влияние на его внешность; в походке Стентона появилось сходство с описанной Саллюстием походкою Катилины {12}; у него были такие же foedi oculi {Омерзительные глаза (лат.)}, как у того. Каждую минуту он говорил себе: "Только бы напасть на след этого существа, человеком его назвать нельзя!". А минуту спустя он уже спрашивал себя: "А что бы я тогда сделал?". Довольно странно, что в таком состоянии он все же продолжал бывать в театрах и на балах, но так оно действительно было. Когда душа охвачена одной всепоглощающей страстью, мы особенно остро ощущаем нужду во внешнем возбуждении. И наша потребность в светских развлечениях возрастает тогда прямо пропорционально нашему презрению к свету и тому, чем он занят. Он часто посещал театры, которые были модны \_тогда\_, когда

Скучая, ждали зрители развязки

И за вечер остепенялись маски {13}.

Лондонские театры того времени являли собою картину, при виде которой должны были бы навсегда умолкнуть безрассудные крики по поводу возрастающей порчи нравов, - безрассудные даже тогда, когда они выходили из-под пера Ювенала, а тем более, когда они вылетали из уст современного пуританина. Порок во все времена находится на некоем среднем уровне: единственное различие, которое стоит проследить, это различие в манере, обычаях и нравах, и в этом отношении у нас есть явные преимущества перед нашими предками. Говорят, что лицемерие - это та дань уважения, которую порок платит добродетели, соблюдение же правил приличия есть та форма, в которую это уважение облачается; а если это так, то приходится признать, что порок за последнее время на редкость присмирел. Что же касается царствования Карла II, то в его пороках было какое-то великолепие и хвастливый размах. Об этом говорил уже самый вид театров тогда, когда Стентон усердно их посещал. У дверей их с одной стороны выстраивались лакеи какого-нибудь знатного дворянина (с оружием, которое они прятали под

ливреями) и окружали портшез известной актрисы {1\* Миссис Маршалл, первой исполнительницы роли Роксаны {15} и единственной добродетельной женщины из всех, что в те времена появлялись на сцене. Ее действительно увез описанным образом лорд Оррери, который, после того, как все его притязания были отвергнуты, инсценировал фиктивную свадьбу, где священника заменял переодетый слуга. - Здесь и далее примечания, обозначенные цифрой со звездочкой, принадлежат самому Метьюрину (Ред.)}, которую они должны были увозить *vi et armis* {Силой и оружием (лат.)}, как только она садилась в него по окончании спектакля. По другую сторону ожидала карета со стеклами {16}, приехавшая, чтобы после окончания пьесы увезти Кинестона {17} (Адониса тех времен), переодетого в женское платье, куда-нибудь в парк и выставить его там на потеху во всем великолепии женственной красоты, которая его отличала и которую еще больше подчеркивал его театральный костюм.

Спектакли начинались тогда в четыре часа и оставляли людям много времени для вечерних прогулок и полуночных встреч в масках при свете факелов, - встреч, которые происходили обычно в Сент-Джеймском парке, отчего становится понятным название пьесы Уичерли "Любовь в лесу" {18}. В ложах, которые оглядывал Стентон, было много женщин; их обнаженные плечи и груди, которые верно запечатлели картины Лели {19} и мемуары Граммона {20}, могли бы удержать наших современных пуритан от многих назидательных стенаний и хвалебных гимнов былым временам. Все они, прежде чем посмотреть ту или иную пьесу, посылали на первое представление сначала кого-нибудь из родственников-мужчин, дабы тот мог сообщить им, пристало ли смотреть ее женщинам "порядочным и всеми уважаемым"; однако, несмотря на эту предосторожность, при некоторых репликах, - а надо сказать, что из них чаще всего состояла добрая половина пьесы, - им ничего не оставалось, как раскрывать веера или играть тогда еще бывшими в моде длинными локонами, развенчать которые оказалось не под силу даже самому Принну {21}.

Сидевших в ложах мужчин можно было разделить на две категории. К первой относились "веселящиеся городские остряки", которых отличали галстуки из фламандских кружев, перепачканные нюхательным табаком, перстни с алмазами, выдававшиеся за подарки королевских любовниц (будь то герцогиня Портсмутская {22} или Нелл Гуинн {23}), нечесанные парики с кудрями, ниспадавшими на грудь, развязность, с которой они во всеуслышание поносили Драйдена {24}, Ли и Отвея {25} и цитировали Седли и Рочестера {26}.

Другую категорию составляли изящные любовники, "дамские кавалеры", их можно было отличить по белым, украшенным бахромой перчаткам, по церемонным поклонам и по тому, что каждое свое обращение к даме они начинали неуместным восклицанием: "Господи Иисусе!" {2\* Смотри Поп (взято из Донна):

Свое "Иисусе", дурни, не твердите,  
Не то еще в паписты угодите {27}.},

или более мягким, но столь же бессмысленным: "Умоляю вас, сударыня", или: "Сударыня, я весь в огне" {3\* Смотри "Старый холостяк" {28}, где Араминта, устав от этих повторяющихся фраз, запрещает своему возлюбленному начинать ими свою речь.}. Своеобразие нравов того времени" сказывалось в одном очень необычном для нас обстоятельстве: женщины не заняли еще тогда надлежащего положения в жизни; их то чтили, как богинь, то честили, как потаскух; мужчина мог говорить со своей возлюбленной языком Орондата, боготворящего Кассандру {29}, а минуту спустя осыпать ее потоком самых отборных ругательств, которые вогнали бы в краску даже выдающую виды площадь Ковент-Гарден {4\* Смотри любую старую пьесу, на которую хватит терпения, или, наместо всего, прочти историю галантной любви Родофила и Меланты, Паламеда и Доралии в "Mariage a la Mode" ["Брак по моде" (франц.)] Драйдена {31}.} {30}.

Партер представлял собою зрелище более разнообразное. Там можно было увидеть

критиков, вооруженных с ног до головы всей премудростью от Аристотеля до Боссю {32}; люди эти обедали в двенадцать часов, диктовали в кофейне до четырех, потом мальчишка чистил им башмаки, и они отправлялись в театр, где до поднятия занавеса сидели в мрачном бездействии и в ожидании вечерней добычи. Были там и адвокаты, щеголеватые, развязные и болтливые; кое-где можно было увидеть и какого-нибудь степенного горожанина; он сидел, сняв свою остроконечную шляпу и пряча скромно завязанный галстук в складках пуританского плаща, а в это время глаза его, глядевшие искоса, но с явным волнением на какую-нибудь женщину в маске, укрытую капюшоном и кутавшуюся в шарф, не оставляли сомнения насчет того, что завлекло его в "шатры Кидарские" {33}. Сидели там и женщины, но на лицах у всех были маски, и хотя маски эти успели уже обветшать, как у тетушки Дины в "Тристреме Шенди" {34}, они все же скрывали красавиц от молодых вертопрахов, которых те хотели завлечь, да и от всех остальных, за исключением продавщиц апельсинов, которые громко их окликали у входа {5\* Смотри "Оруноко" Саутерна {35}; я имею в виду комические сцены.}. На галереях теснились счастливицы, ожидавшие исполнения обещания, которое давал Драйден в одном из своих прологов {6\* Прелесть, песнь, убийство, привиденье. Пролог к "Эдипу".}; им было все равно, являлся ли на сцену призрак матери Альмансора {36} в промокшем насквозь плаще или дух Лайя {37}, который, в соответствии с указаниями, написанными для сцены, выезжает вооруженный на колеснице, а за спиной у него призраки трех убитых слуг, - шутка, которую не оставил без внимания аббат Леблан {7\* Смотри письма Леблана {38}.} в своем руководстве к писанию английской трагедии. Иные из зрителей требовали, правда, время от времени "сожжения папы" {39}, но, хотя пьеса,

Всех океанов одолев преграду,  
Начавшись в Мексике, вела в Элладу,

не всегда оказывалось возможным доставить им столь милое развлечение, ибо действие широко известных пьес чаще всего происходило в Африке или в Испании; сэр Роберт Хауерд, Элкене Сетл и Джон Драйден - все единодушно остановили свой выбор на испанских и мавританских сюжетах {40}. В этой веселой компании было несколько светских дам в масках; они втайне наслаждались свободой, которой не решались пользоваться открыто, и подтверждали характерные слова Гея, хоть и написанные много лет назад, что

На галерее Лора смело может  
Смеяться шутке, что смущает ложи {41}.

Стентон взирал на все это как человек, "в котором ничто не может вызвать улыбки". Он посмотрел на сцену: давали "Александра" {42}, пьесу, в которой участвовал сам автор ее, Ли, а главную роль исполнял Харт {43}, с такой божественной страстностью игравший любовные сцены, что зрители готовы были поверить, что перед ними настоящий "сын Аммона" {44}.

В пьесе этой было достаточно всяческих нелепостей, которые могли вызвать возмущение - и не только зрителя с классическим образованием, но и вообще всякого здравомыслящего человека. Греческие герои появлялись там в башмаках, украшенных розами, в шляпах с перьями и в париках, доходивших до плеч; персидские принцессы - в тугих корсетах и с напудренными волосами. Однако иллюзию было чем подкрепить, ибо героини оказались соперницами не только на сцене, но и в жизни. Это был тот памятный вечер, когда, если верить рассказу ветерана Беттертона {8\* Смотри "Историю сцены" Беттертона {45}.}, миссис Барри, исполнявшая роль Роксаны, поссорилась с миссис Баутел, исполнительницей роли Статиры, из-за вуали, которую костюмер, человек пристрастный, присудил последней. Роксана подавляла свой гнев вплоть до пятого акта, когда же по ходу действия ей надлежало заколоть Статиру, оплатила сопернице ударом такой силы, что острие кинжала пробило той корсет и нанесло ей рану, хоть и не опасную, но глубокую. Миссис Баутел лишилась чувств, представление было

прервано, большинство зрителей, в том числе и Стентон, взволнованные всем происшедшим, повставали с мест. И вот как раз в эту минуту в кресле напротив он неожиданно обнаружил того, кого искал столько лет, - англичанина, некогда встреченного им на равнинах Валенсии, который, по его убеждению, был главным действующим лицом рассказанных ему необыкновенных историй.

Как и все остальные, он поднялся с места. В наружности его не было ничего примечательного, но выражение его глаз не оставляло никаких сомнений, что это именно он, - забыть его было нельзя. Сердце Стентона сильно забилося, в глазах у него потемнело, - безымянный и страшный недуг, сопровождающийся зудом во всем теле, на котором проступили капли холодного пота, возвестил, что...

\* \* \* \* \*

Прежде чем он успел окончательно прийти в себя, послышались звуки музыки, тихой, торжественной и пленительно нежной; они доносились откуда-то из-под земли и, распространяясь вокруг, постепенно нарастали, становились сладостней и, казалось, заполнили собою все здание. В порыве восторга и удивления он спросил кого-то из присутствующих, откуда доносятся эти звуки. Однако отвечали ему все так, что было совершенно очевидно, что его считают рехнувшимся, да и в самом деле, происшедшая в его лице перемена могла только подтвердить это подозрение. Ему припомнился рассказ о том, как в роковую ночь в Испании такие же сладостные и таинственные звуки послышались жениху и невесте и как молодая девушка погибла в ту же самую ночь.

"Неужели следующей жертвой должен стать я? - подумал Стентон, - и неужели назначение этой божественной мелодии, которая словно создана для того, чтобы подготовить нас к переходу в иной мир, только в том, чтобы возвестить этими "райскими песнями" присутствие дьявола во плоти, который насмехается над людьми благочестивыми, готовясь излить на них "дыхание ада"?". Очень странно, что именно в эту минуту, когда воображение разыгралось до крайнего предела, когда существо, которое он так долго и так бесплодно преследовал, за одно мгновение сделалось, можно сказать, осязаемым и доступным и для тела и для души, когда злему духу, с которым он боролся во тьме, пришлось бы наконец себя обнаружить, Стентон испытал какое-то разочарование, перестал верить в смысл того, чего так упорно добивался; нечто подобное испытал, вероятно, Брюс, открывши истоки Нила {46}, или Гиббон, завершив свою "Историю" {47}. Чувство, которое столько времени владело им, что сделалось для него своего рода долгом, в сущности было самым обыкновенным любопытством; но есть ли страсть более ненасытная или более способная окутать ореолом романтического величия все совершающиеся во имя ее странности и чудачества? В известном отношении любопытство походит на любовь, оно всегда сводит воедино предмет и чувство, которое он вызывает; и если чувство это достаточно сильно, то предмет может быть и ничтожен, и это не будет иметь никакого значения. Ребенок, пожалуй бы, улыбнулся при виде необычайного волнения Стентона от неожиданной встречи с незнакомцем, но любой мужчина в расцвете сил содрогнулся бы от ужаса, обнаружив, что ему грозит катастрофа и конец близок.

После окончания спектакля Стентон простоял еще несколько минут на пустынной улице. Ярко светила луна, и неподалеку от себя он увидел фигуру, тень от которой, достигавшая середины улицы (в те времена еще не было вымощенных плитами тротуаров, единственной защитой пешеходов были стоявшие по обе стороны каменные тумбы и протянутые между ними цепи), показалась ему невероятно длинной. Он так давно уже привык бороться с порожденными воображением призраками, что победа над ними всякий раз наполняла его какой-то упрямой радостью. Он подошел к поразившей его фигуре и увидел, что гигантских размеров достигала только тень, тогда как стоявший перед ним был не выше среднего человеческого роста; подойдя

еще ближе, он убедился, что перед ним именно тот, кого он все это время искал, - тот, кто на какое-то мгновение появился перед ним в Валенсии и кого после четырехлетних поисков он только что узнал в театре...

\* \* \* \* \*

- Вы искали меня?

- Да.

- Вы хотите что-нибудь у меня узнать?

- Многое.

- Тогда говорите.

- Здесь не место.

- Не место! Несчастный! Ни пространство, ни время не имеют для меня никакого значения.

Говорите, если хотите что-то спросить меня или что-то узнать.

- Мне много о чем надо вас спросить, но, надеюсь, мне нечего от вас узнавать.

- Ошибаетесь, но вы все поймете, когда мы встретимся с вами в следующий раз.

- А когда это будет? - спросил Стентон, хватая его за руку, - назовите время и место.

- Это будет днем, в двенадцать часов, - ответил незнакомец с отвратительной и загадочной улыбкой, - а местом будут голые стены сумасшедшего дома; вы подыметесь с пола, грохоча цепями и шелестя соломой, а меж тем над вами будет тяготеть проклятье здоровья и твердой памяти. Голос мой будет до тех пор звучать у вас в ушах и каждый предмет, живой или неживой, будет до тех пор отражать блеск этих глаз, пока вы не увидите их снова.

- Может ли быть, что наша новая встреча произойдет при таких ужасных обстоятельствах? - спросил Стентон, стараясь уклониться от блеска демонических глаз.

- Никогда, - глухо сказал незнакомец, - \_никогда я не оставляю друзей в беде\_. Стоит им низвергнуться в глубочайшую бездну уничижения и горя, как \_они могут быть уверены, что я явлюсь их проведать\_...

\* \* \* \* \*

Когда Джону вновь удалось разобрать страницы рукописи, на которых продолжался рассказ, он прочел о том, что случилось со Стентоном спустя несколько лет, когда тот очутился в самом плачевном положении.

Его всегда считали человеком со странностями, и это убеждение, усугублявшееся постоянными разговорами его о Мельмоте, безрассудной погоней за ним, странным поведением в театре и подробным описанием их необыкновенных встреч, которое делалось с глубочайшей убежденностью (хотя ему ни разу не удавалось никого убедить, кроме себя же самого, в том, что встречи эти действительно имели место), - все это привело кое-кого из людей благоразумных к мысли, что он рехнулся. Может быть, правда, ими руководило не только благоразумие, но и злоба. Эгоистичный француз {9\* Ларошфуко {48}.} говорит, что мы находим удовольствие даже в несчастьях наших друзей, а уж тем более - наших врагов, а так как человека одаренного, разумеется, каждый почитает своим врагом, то известие о том, что Стентон сошел с ума, распространялось с невероятным рвением и возымело свое влияние на людей. Ближайший родственник Стентона, человек бедный и лишенный каких-либо нравственных устоев, следя за распространением этого слуха, убеждался, что жертве его ничего не стоит попасться в ловушку. И вот однажды он приехал к нему поутру в сопровождении степенного на вид человека, в наружности которого было, однако, что-то отталкивающее Стентон был, как обычно, рассеян и тревожен; поговорив с ним несколько минут, родственник его предложил ему поехать за город покататься, уверяя, что прогулка эта его подбодрит и освежит. Стентон стал возражать, ссылаясь на то, что трудно будет достать наемный экипаж (как это ни странно, в то время собственных экипажей, - хоть, вообще-то говоря, их было несравненно меньше, чем в наши дни, - было все же

больше, чем наемных), и сказал, что предпочел бы поехать кататься по реке. Это, однако, совершенно не входило в расчеты его родственника, и тот сделал вид, что послал за экипажем, - на самом же деле карета уже дожидалась их в конце улицы. Стентон и оба его спутника сели в нее и отправились за город.

В двух милях от Лондона карета остановилась.

- Пойдем, братец, - сказал младший Стентон, - пойдем, поглядим, какую я сделал покупку.

Стентон, мысли которого были где-то далеко, вышел из кареты и пошел вслед за кузеном по небольшому мощеному двору; незнакомец последовал за ними.

- По правде говоря, дорогой мой, - сказал Стентон, - выбор твой мне что-то не очень нравится; дом какой-то мрачный.

- Не спеши, братец, - сказал тот, - я постараюсь, чтобы он тебе понравился, надо только, чтобы ты тут немного пожил.

У входа их ожидали слуги; одеты они были плохо и не внушали доверия. Все трое поднялись наверх по узенькой лестнице, которая вела в очень убого обставленное помещение.

- Подождите меня здесь, - сказал Стентон-младший приехавшему с ними незнакомцу, - а я схожу пока за теми, кто должен будет скрасить здесь моему кузену его одиночество.

Они остались вдвоем, Стентон не обратил внимания на сидевшего рядом человека и по обыкновению схватил первую попавшуюся ему на глаза книгу и принялся читать. Это была переплетенная рукопись, каких в то время было гораздо больше, нежели в наши дни.

Первые же строки поразили его, ибо сразу видно было, что автор не в своем уме. Это было странное предложение (написанное, по-видимому, после большого пожара Лондона) построить город внове из камня, причем автор приводил дикие, неверные, однако порою все же не лишённые смысла расчеты, указывая, что для этой цели можно было бы воспользоваться огромными глыбами Стонехенджа {49}, которые он рекомендовал перевезти в город. К рукописи прилагались затейливые чертежи машин, с помощью которых можно будет волочить эти гигантские глыбы, а на уголке была сделана приписка: "Я бы начертил все это гораздо точнее, но мне не дали ножа, чтобы очинить перо".

Другая рукопись была озаглавлена "Скромное предложение касательно распространения христианства в различных странах, с помощью которого, как надеется автор, можно будет охватить им весь мир". Это скромное предложение сводилось к тому, чтобы обратиться в христианскую веру турецкое посольство (которое существовало в Лондоне несколько лет назад), поставив каждого из турок перед дилеммой: либо быть задушенным тут же на месте, либо сделаться христианином. Разумеется, писавший рассчитывал, что все изберут более легкую участь, но даже тем, кто давал свое согласие, ставилось особое условие, а именно: они должны были дать властям обязательство, что по возвращении в Турцию каждый из них будет обращать в христианскую веру не менее двадцати мусульман в день. Проект этот заканчивался в некотором роде в стиле капитана Бобадила {50}: каждый из этих двадцати обязан в свою очередь обратиться еще двадцать других, а четыре сотни новообращенных должны будут поступить точно так же и обратиться соответствующее число турок, и таким образом вся Турция окажется христианской страной прежде, чем об этом успеет узнать султан. После этого произойдет *coup d'etat* {Государственный переворот (франц.)}: в одно прекрасное утро со всех минаретов в Константинополе вместо криков муэдзинов раздастся колокольный звон, и имам, вышедший из дома, чтобы узнать, что случилось, неминуемо столкнется с епископом Кентерберийским *in pontificalibus* {В полном облачении (лат.)}, совершающим соборное богослужение в Айя-Софии {51}; этим все и должно будет завершиться.

Тут, однако, возникало возражение, которое предвидел хитроумный автор проекта: "Люди, в которых желчь берет верх над умом, - пишет он, - могут подумать, что, коль скоро архиепископ

будет проповедовать по-английски, слова его не очень-то дойдут до турецкого народа, который, придерживаясь старинки, продолжает лопотать на нелепом своем языке". Однако возражение это, по его словам, "устраняется": автор весьма здраво замечает, что всюду, где богослужение велось на непонятном языке, благочестие паствы еще более возросло; так было, например, в римской церкви, когда Блаженный Августин со своими монахами вышел навстречу королю Этельберту {52}, распевая литании (на языке, которого его величество безусловно не мог понять), и сразу же обратил в свою веру и короля и весь его двор; что сивиллины книги... {53}

\_Приводилось и много других примеров\_.

\* \* \* \* \*

Между листами рукописи были вложены вырезанные из бумаги изображения упомянутых выше турецких послов; бороды их были вырисованы пером с большим изяществом и мастерством, но страницы эти заканчивались жалобой художника на то, что у него отняли ножницы. Он, однако, утешал и себя и читателя уверением, что, когда настанет ночь, сумеет поймать проникший сквозь решетку лунный луч и, наточив его о железную ручку двери, сотворит им настоящие чудеса. На следующей странице можно было увидеть печальное доказательство того, что это был некогда человек могучего ума, ныне уже совсем ослабевшего. То были строки безумных стихов, которые приписывались поэту-драматургу Ли и начинались так:

О, если б мог мычать я, как горох {54}

и т. п.

Нет никаких доказательств в пользу того, что автор жалких этих строк действительно Ли, разве только, что написаны они модными тогда четверостишиями. Примечательно, что Стентон читал все это, не подозревая о грозившей ему опасности, совершенно поглощенный альбомом приюта умалишенных и даже не сообразив, в какое место он попал, хотя обнаруженные им труды не оставляли на этот счет никаких сомнений.

Прошло немало времени, прежде чем он огляделся кругом и заметил, что спутника его уже и след простыл. Никаких звонков тогда не существовало. Он кинулся к двери - она была заперта. Он стал громко кричать - и тут же послышались еще чьи-то крики, но такие душераздирающие и разноголосые, что его охватил безотчетный ужас и он умолк. Поелику время шло, а к нему так никто и не приходил, он попытался открыть окно и тут в первый раз заметил, что на нем была решетка. Окно это выходило на узкий, мощный плитками дворик, где не было ни одного живого существа, да если бы и нашлось хоть одно, оно бы, верно, не выказало никаких человеческих чувств.

Сраженный невыразимым ужасом, он не то чтобы сел, а, обессилев, свалился на койку под этим злосчастным окном и стал с нетерпением дожидаться рассвета.

\* \* \* \* \*

В полночь он очнулся от забытья, чего-то среднего между обмороком и сном, которое, впрочем, вряд ли могло длиться долго - до того жестка была койка и сколоченный из сосновых досок стол, к которому он приткнулся головой.

Все было окутано густым мраком; Стентон сразу ощутил весь ужас своего положения; была минута, когда мало что отличало его от обитателей этого дома. Он ощупью добрался до двери, принялся дергать ее с неистовой силой, испуская отчаянные крики, одновременно и моля о помощи, и требуя, чтобы ему вернули свободу, На крики эти тут же отозвались сотни голосов. Сумасшедшим свойственно совершенно особое коварство и необычайная острота некоторых чувств, и в частности слуха, всегда позволяющая им узнать голос незнакомца. В криках, которые раздавались со всех сторон, слышалось какое-то безудержное, сатанинское ликование по поводу того, что в этой обители скорби стало одним постояльцем больше.

В изнеможении он замолчал: в коридоре послышались стремительные и гулкие шаги. Дверь распахнулась - на пороге стоял свирепого вида человек, за его спиной из полумрака выглядывали еще двое.

- Выпусти меня, негодяй!

- Потише, дружок, чего это ты буянишь?

- Где я?

- Там, где тебе положено быть.

- Вы что, собираетесь держать меня здесь? Да как вы смеете?

- Мы и кое-что еще смеем, - ответил наглый страж порядка и принялся хлестать несчастного ремнем по спине и плечам до тех пор, пока его подопечный не упал на пол, корчась от ярости и от боли. - Ну что, теперь ты видишь, что попал туда, куда надо, - повторил негодяй, потрясая над его головой бичом, - вот что, послушай-ка лучше дружеского совета и больше не шуми. Тут у этих ребят кандалы приготовлены, живехонько они их на тебя наденут. Или еще мало тебе того, что сейчас получил?

Сподручные его вошли в камеру с кандалами в руках (смирительные рубашки тогда еще не вошли в употребление). Страшные лица их и сжатые кулаки говорили о том, что они не замедлят привести в исполнение свою угрозу. Когда Стентон услышал лязг цепей, которые они волочили по каменному полу, кровь в его жилах похолодела. Однако ужас, который он испытал, пошел ему на пользу. У него хватило духа признать, что он находится в жалком положении (или что положение его должно считаться жалким), и вымолить снисхождение у жестокого зрителя, обещав со своей стороны, что безропотно подчинится всем его требованиям. Этим ему удалось смягчить наглеца, и тот удалился.

Стентон напряг всю свою волю, чтобы ночь эта его не сломила; он понимал теперь, что его ждет, и призвал себя выдержать единоборство с судьбой. После долгих размышлений он решил, что самым лучшим для него будет прикинуться покорным и спокойным в надежде, что с течением времени он либо умиловит негодяев, в чьих руках он сейчас оказался, либо, убедив их в том, что он человек безобидный, добьется себе таких поблажек, которые в дальнейшем, может быть, облегчат ему побег. Поэтому он решил вести себя елико возможно смирно и не допускать, чтобы голос его был слышен в доме; принял он и еще кое-какие решения, причем обнаружил в себе такое благоразумие, что даже испугался, не есть ли это уже первое проявление той хитрости, какая бывает у сходящих с ума, или первое последствие приобщения к омерзительным повадкам обитателей этого дома.

В ту же ночь выводы эти подверглись жестокому испытанию. У Стентона оказались два пренеприятных соседа. Соседом его справа был ткач-пуританин; его свела с ума одна-единственная проповедь, произнесенная знаменитым Хью Питерсом {55}, и он был отправлен в сумасшедший дом, после того как проникся идеей предопределения и осуждения всего на свете, насколько вообще может проникнуться этим человек и даже еще того больше. С самого утра он без конца повторял \_пять пунктов\_ {56}, воображая, что проповедует на тайном собрании пуритан и что те восторженно его слушают. С наступлением сумерек бред его принимал все более мрачный характер, а к полуночи он разражался ужасающими, кошунственными проклятиями. Соседом Стентона слева был портной-монархист, разорившийся оттого, что много шил в кредит роялистам и их женам (ибо в те времена, да и значительно позднее, вплоть до царствования королевы Анны {57}, женщины заказывали портным даже корсеты, и тем приходилось их подгонять потом по фигуре); портной этот сошел с ума от пьянства и верноподданнических чувств, когда сжигали "Охвостье" Парламента {58}, и с той поры оглашал стены сумасшедшего дома куплетами песенок злосчастного полковника Аавлеса {59}, отрывками из "Щеголя с Колмен-стрит" {60} и забавными сценами из пьес миссис Афры Бен, где кавалеров



называют героями и где представлено, как леди Лемберт и леди Десборо {61} идут на религиозное собрание, причем впереди пажи несут огромные Библии, и как дорогой обе влюбляются в двух изгнанников-монархистов.

- Тавифа, Тавифа! - закричал голос {62} полуторжественно, полунасмешливо, - ты пойдешь с завитыми волосами и обнаженной грудью, - и потом проникновенно добавил: - И я ведь Канарский {63} плясал, жена.

Слова эти всякий раз возмущали чувства ткача-пуританина, вернее, пробуждали в нем вражду, и он тут же отвечал:

- "Полковник Гаррисон {64} из райских куш прискачет верхом на муле небесно-голубом и знак подаст" {10\* Смотри "Щеголь с Колмен-стрит"}.}

- Бреешь, круглоголовый! - взревел портной-кавалер {65}, - твоего полковника Гаррисона спровадят в преисподнюю, и не видать ему небесноголубого мула, - и заключил эту гневную тираду куплетом одной из направленных против Кромвеля песен:

Дожить бы только мне,  
Чтоб вздернуть на сосне  
Нам Нолла самого  
И всех друзей его;  
И пусть их видит каждый,  
О будь он проклят дважды! {66}

- Люди добрые, я могу вам много всего поиграть, - пропищал сумасшедший скрипач, привыкший играть в тавернах сторонникам короля и припомнивший слова подобной же песенки, которую некогда исполнял для полковника Бланта {67} в Комитете.

- Ну тогда поиграй мне "Мятеж был, дом разнесли" {68}, - вскричал портной, пустившись плясать по камере, насколько ему позволяли цепи, в такт воображаемой музыке.

Ткач не выдержал:

- Доколе же, господи, доколе, - воскликнул он, - враги твои будут осквернять святилище, где ты сподобил меня быть пастырем? И даже то место, где я поставлен проповедовать заточенным в темницу душам? Обрушь на меня лавиной могущество свое, да разразится буря и валы накроют меня с головой; дай мне среди ревущих волн призвать тебя так, как пловец подымает вдруг над водою руку, дабы товарищ его увидал, что он тонет. Сестра Руфь, зачем открываешь ты груди, обличая слабость мою? Господи, да будет с нами всеильная десница твоя, как то было тогда, когда ты сломал щит и меч и положил конец битве, когда стопы твои окунались в кровь твоих врагов, а язык псов твоих был красен от этой же крови. Омочи одежды свои в крови и позволь мне выткать тебе новые, когда ты их запятнаешь. Когда же святые твои начнут попирать ногами тяжкий камень твоего гнева? Крови! Крови! Святые призывают пролить ее, земля разверзается, чтобы принять ее, ад ее жаждет! Сестра Руфь, молю тебя, прикрой груди свои и не будь такой, как суетные женщины сего века. О, узреть бы нам такой день, когда явился господь с сонмом ангелов своих и когда рушились башни! Пощади меня в битв ибо я плохой воин; оставь в стане врага, дабы я мог проклинать проклятьями Мероза {69} тех, кто не призывает господу помочь им справиться с властью имущими, хотя бы даже для того, чтобы осыпать проклятьям этого мерзкого портного, да, самыми жестокими проклятьями. Господи, я шатрах Кидарских {70}, ноги мои спотыкаются в темноте на горных тропах. Падаю, падаю!

И несчастный ткач, измученный бредом, упал и некоторое время ползал потом по соломе.

- О, какое это горестное падение, сестра Руфь! О, сестра Руфь! Н радуйся моей беде! О, враг мой! Ничего что я падаю, я подымусь снова.

Как бы ни обрадовали все эти уверения сестру Руфь, если бы только она могла их услышать, ткачу они причинили в десять раз больше радости, чем ей; его любовные излияния мгновенно

сменились воинственным: призывами, где в хаосе смешалось все, что он помнил.

- Бог - это воин, - кричал он, - посмотрите на Марстон-Мур! {71} Посмотрите на город, на этот возгордившийся город, полный тщеславие и греха! Посмотрите на воды Северна {72}, красные от крови, как воды Чермного моря! Власть имущие все гарцевали и гарцевали и переломали себе копыта. Это было твоим торжеством, господи, и торжеством твои; святых - заковать их царей в цепи, а вельмож - в железные кандалы.

Теперь настал черед коварного портного:

- Благодарю вероломных шотландцев и их торжественный союз и до говор и Керисбрукский замок {73}, ты, окорнавший себя пуританин, - про ревел он. Если бы не они, я бы снял мерку с короля да сшил ему бархатную мантию высотой с Тауэр, и стоило бы только взмахнуть ее полой, и Красноносый {74} был бы в Темзе, поплыл по ней вниз прямо в ад

- Врешь ты и не краснеешь, - отозвался ткач, - никакого оружия мне не надо, я и так тебе это докажу, у меня будет челнок против твоей иглы, и я повалю тебя наземь, как Давид повалил Голиафа {75}. Это его {76} (так пуритане непозволительно выражались о Карле I), это именно его плотское, своекорыстное, мирское духовенство заставило людей благочестивых искать слов утешения в горе у их же собственных пасторов; тех, что по справедливости отвергли всю эту бутафорию папистов - все эти батистовые рукава, паскудные органы и островерхие дома. Руфь, сестра моя, не искушай меня этой телячьей головой {77}, из нее струится кровь; молю тебя, брось ее на пол, не пристало женщине держать ее в руках, даже ежели братья пьют эту кровь. Горе тебе, мой противник, неужто ты не видишь, как пламя охватывает этот проклятый город, в котором царствует сын арминиан {78} и папистов? Лондон горит! Горит! - вопил он, - и подожгли его полупаписты, полуарминиане, словом, проклятый народ. Пожар! Пожар!

Последние слова он прокричал ужасным голосом, но и этот голос был просто детским писком в сравнении с другим, который подхватил эти стенанья и прогремел их так, что все здание зашаталось. Это был голос безумной женщины, потерявшей во время страшного пожара Лондона мужа, детей, средства к существованию и, наконец, разум. Крик "пожар" со зловешей неизменностью воскрешал в ее памяти все пережитое. Женщина эта забылась тревожным сном, но стоило ей услышать этот крик, и она мгновенно вскочила, как в ту страшную ночь. К тому же была суббота, а она всякий раз больше всего боялась именно субботней ночи, приступ безумия по субботам всегда возобновлялся у нее с особенной силой. Стоило ей только проснуться, как ее тут же начинала преследовать мысль, как ей поскорее, сию же минуту, убежать от огня; и она с таким потрясающим правдоподобием разыгрывала всякий раз эту сцену, что Стентон был гораздо больше перепуган ею, нежели ссорой между двумя своими соседями \_Законником\_ и \_Буйной головой\_. Все началось с криков, что она задыхается от дыма, затем она спрыгнула с койки, стала просить зажечь свечу и пришла в неподдельный ужас от озарившей окно вспышки света.

- Судный день, - вскричала она. - Судный день! Небо и то в огне!

- Нет, не настанет он, надо еще сначала убить Великого Грешника, закричал ткач, - ты вот все вопишь про свет да про огонь, а сама-то ведь пребываешь в кромешном мраке. Мне жаль тебя, несчастная сумасшедшая.

Женщина уже ничего не слышала, она воображала, что карабкается по лестнице в детскую. Она кричала, что ее опалило, обожгло огнем, что она задыхается от дыма; потом присутствие духа, казалось, оставило ее, и она отступила.

- Дети мои там! - кричала она голосом, исполненным невыразимого страдания, и словно пытаясь собрать последние силы. - Я тут, я пришла, я спасу вас. О боже! Они уже в огне!.. Держи меня за руку, нет, не за эту, она обожжена и совсем слабая... Ничего, все равно за какую, за платье держись... Ах, и оно пылает!.. Пусть лучше я сама сгорю дотла... А как потрескивают их

волосики!.. Только капельку воды для самого маленького..., для моего малютки... для моего малыша, а там пусть я сгорю!

Она умолкла, и это было страшное молчание: ей чудилось, что падает горящая балка, та, что должна была сокрушить лестницу, на которой она стояла. - Крыша валится мне на голову! - вскричала она вдруг.

- Земля ослабела и ослабели все, кто на ней живет, - провозгласил ткач, - я держу опорные столбы на своих плечах.

Женщина высоко подпрыгнула и пронзительно вскрикнула, - это означало, что площадка, на которой она стояла, обрушилась: вслед за тем она спокойно смотрела, как дети ее скатываются вниз по горящим обломкам и исчезают в бушующем внизу пламени.

- Гибнут, один... другой... третий... все! - тут голос ее перешел в невнятное бормотание, и она уже больше не корчилась в судорогах, а лишь слабо вздрагивала; это были далекие завывания стихающей бури; ей мнилось, что "ушла опасность и осталось горе", что она стоит среди тысяч несчастных бездомных людей, что толпятся в предместьях Лондона в ужасные ночи после пожара, - без пищи, без крова, полуголые, взирающие в отчаянье на пепелища, в которые превратились их дома со всем, что в них было. Она, казалось, прислушивалась к их жалобам и даже проникновенно повторяла какие-то слова, однако неизменно отвечала тем же: "Но ведь погибли все мои дети... все!".

Примечательно было, что, как только она раздражалась этими неистовыми криками, остальные все умолкали. Крик глубокого человеческого горя заглушал все остальные крики: она была единственной во всем этом доме чье помешательство не было связано ни с политикой, ни с религией, ни с пьянством или какой-нибудь извращенной страстью; поэтому, как ни страшны бывали вспышки ее безумия, Стентон всякий раз ждал их как некоего избавления от несообразного, нелепого и унылого бреда всех остальных.

Но собранных с таким трудом сил его уже не хватало, чтобы справиться с ужасами этого дома. Все, что он видел там, угнетало его чувства, начавшие брать верх над разумом; он не мог не прислушиваться к пронзительным ночным воплям, раздававшимся вновь и вновь, и к шелканью бича, которым их умирляли. Он начал уже терять надежду, заметив, что безропотная покорность (которая, как он рассчитывал, вызовет к нему снисхождение и, может быть, тем самым облегчит потом побег или просто убедит надзирателя в том, что он здоров) была истолкована этим черствым негодяем, который привык иметь дело только с различными формами сумасшествия, как утонченная разновидность хитрости этих больных, с которой ему часто приходилось сталкиваться и которой он всячески старался противодействовать.

Вначале, как только Стентон осознал свое положение, он решил сделать все от него зависящее, чтобы сохранить в этих условиях здоровье и не повредиться умом, ибо в этом он видел единственную надежду на спасение. Но, начав терять эту надежду, он стал с небрежением относиться и к способам, которыми добивался своей цели. Первое время он вставал рано, непрерывно ходил взад и вперед по комнате и пользовался малейшей возможностью побыть на свежем воздухе. Он усердно заботился о том, чтобы быть всегда в чистоте и одеваться опрятно, и, был у него аппетит или нет, он заставлял себя съедать жалкую пищу, которую ему подавали. Все эти усилия доставляли ему даже, пожалуй, какую-то радость, ибо впереди была надежда на лучшее. Но теперь он стал проникаться равнодушием ко всему. Он проводил половину дня на своем жестком ложе; там же он нередко принимал пищу; он перестал бриться и менять белье, и, когда луч солнца заглядывал к нему в камеру, он только печально вздыхал и в безнадежном отчаянии поворачивался к стене. Первое время, когда сквозь решетку проникала струя свежего воздуха, он всякий раз говорил: "Благословенный воздух неба, я еще буду дышать тобою на воле. Сохрани же всю свежесть свою до того восхитительного вечера, когда я буду вдыхать тебя, такой

же свободный, как и ты". Теперь же, ощутив эту струю, он только молча вздыхал. Теперь он уже не замечал ни чириканья воробьев, ни шума дождя, ни завываний ветра - звуков, к которым он, сидя на своем убогом ложе, прислушивался всегда с радостью, ибо они напоминали ему о природе.

Иногда он находил вдруг какое-то мрачное и зловещее наслаждение в криках своих товарищей по несчастью. Он зарос грязью, сделался невнимательным, ко всему равнодушным, и на него неприятно было смотреть...

\* \* \* \* \*

В одну из таких унылых ночей, когда он метался на своем ненавистном ложе, еще более ненавистном оттого, что, когда он его покидал, ему становилось еще тягостнее от охватывавшей его тревоги, он вдруг увидел, что едва горевший в очаге огонь заслонен каким-то темным предметом. Словно в полусне он повернулся к огню, не испытав при этом ни любопытства, ни волнения, а одно только желание, чтобы мрачное однообразие его жизни было хоть чем-нибудь нарушено, пусть даже случайным мимолетным смещением теней в окружавшем его сумраке. Между ним и тлеющим в очаге огнем стоял Мельмот, в точности такой, каким он видел его в первый раз: та же фигура, то же выражение лица - холодное, каменное и неподвижное, те же глаза, сверкавшие ослепительным, дьявольским светом.

Снедавшая Стентона страсть вскипела в нем с новой силой. Появление это он воспринял как предвестие грозной, роковой встречи. Он услышал, как сердце его застучало, и мог бы воскликнуть вместе с несчастной героиней Натаниэла Ли:

Оно томится так, как трусы перед битвой;

Прислушайся: уже трубит труба! {80}

Мельмот приблизился к нему с тем ужасающим спокойствием, которое как бы насмехается над вызванным им страхом.

- Пророчество мое сбылось; ты поднимаешься мне навстречу, гремя цепями и шурша соломой. Ну что, разве я не оказался пророком? - Стентон молчал. Разве не горестно положение, в которое ты попал?

Стентон продолжал молчать; он начинал уже верить, что все это привиделось ему в бреду. "Как мог он пробраться сюда?" - подумал он.

- Так неужели тебе не хочется освободиться? - Стентон заворочался на своей подстилке, и шорох этот был, казалось, ответом на вопрос пришельца. В моей власти освободить тебя.

Мельмот говорил очень медленно и тихо, и мелодичная мягкость его голоса составляла разительный контраст с каменными чертами его лица и сверхъестественным блеском глаз.

- Кто вы и откуда вы явились? - спросил Стентон голосом, который он хотел сделать вопрошающим и властным, но который дни жалкого прозябания в этих стенах сделали одновременно и слабым, и жалобным. Унылый, гнетущий вид всего, что его окружало, повлиял на его рассудок, как то случилось с другим человеком, попавшим в такую же обстановку: когда того привели к врачу на осмотр, было обнаружено, что он оказался совершеннейшим альбиносом {81}: "Кожа его побледнела, глаза стали белыми; он не мог выносить света и отворачивался от солнца. Судорожные движения его, в которых были и слабость и беспокойство, походили больше на метания больного ребенка, а не на действия способного постоять за себя мужчины".

Таково было и положение Стентона. Он совсем ослабел, и ни тело его, ни дух не могли противостоять силе его врага.

\* \* \* \* \*

Из всего состоявшегося между ними страшного разговора в рукописи можно было прочесть только следующие слова:

- Теперь ты знаешь меня.

- Я всегда вас знал.

- Это ложь, ты вообразил, что знаешь, и это стало причиной всех диких...

\* \* \* \* \*

- ...со стороны того...

\* \* \* \* \*

- ...что тебя в конце концов поместили в эту обитель скорби, где только я один могу оказать тебе помощь.

- Ты дьявол!

- Дьявол! Что за грубое слово! Так кто же это, интересно, дьявол или человек водворил тебя сюда? Послушай, что я тебе скажу, Стентон; нет, не прячь голову в это жалкое одеяло, оно не заглушит моих слов. Поверь, даже если ты начнешь кутаться в грозовые тучи, тебе все равно придется меня выслушать! Подумай только, Стентон, в какое бедственное положение ты попал. Взгляни на эти голые стены! Что они могут сказать уму или сердцу? Кругом одна только известка; глазу не на чем остановиться, кроме каракуль, которые твои счастливые предшественники нацарапали углем или кирпичом. Ты любишь рисовать, ну так тебе будет чем поразвлечься. А вот решетка, сквозь которую солнце смотрит на тебя искоса, как на пасынка, а ветер дует так, как будто хочет истерзать тебя, воскрешая в памяти твоей вздохи сладостных уст, поцелуем которых тебе никогда уже не придется насладиться. А что случилось с твоей библиотекой, ты же человек просвещенный, немало поездивший по свету? повторял он с язвительной усмешкой. - А где твои друзья, твои хилые земляки {82}, как сказано у твоего любимца Шекспира? Тебе приходится привыкать к другому обществу, смотреть, как вокруг твоей соломенной подстилки ползает паук, слушать, как скребется крыса! Я знаю, что они заводили дружбу с узниками Бастилии и те их прикармливали, - подумай, не пора ли заняться этим и тебе? Я видел, как паука приучили доползать по руке до кончика пальца, а крысу - приходить как раз в те часы, когда приносили обед, который делил с ней ее собрат по тюрьме! Какая же это радость, когда в гости к тебе являются ползучие твари! Ну а если им не приготовлено угощенья, они принимаются за своего кормильца! Дрожишь! Ничего, ты не первый, кого пожирала нечисть, что гнездится в камере! Вот уж пир, так пир, когда не ты что-то ешь, а когда едят тебя самого! {83} Единственно, чем гости твои выкажут раскаянье, когда начнут тебя пожирать, - они будут скрежетать зубами. И ты это услышишь, а может быть, и почувствуешь тоже! Ну а уж раз речь зашла о еде, то, надо сказать, кормят тебя отменно! Суп, который до тебя лакала кошка, а может, вместе с ней отведали и котята, чем же это не суп? А чего стоят часы одиночества, которое ты здесь вкушаешь, скрашенные голодными воплями, безумными криками, шелканьем бичей и безутешными рыданиями тех, кто, подобно тебе, сочтены сумасшедшими или доведены до сумасшествия преступными действиями других! Неужели ты еще думаешь, Стентон, что ты не повредишься в уме от всего, что здесь видишь? Но представь себе даже, что рассудок твой не ослабеет и здоровье окажется достаточно крепким, - представь себе - хоть это и невозможно вообразить, - как же должны воздействовать все эти картины ужаса, которые повторяются без конца, на все человеческие чувства. Настанет ведь время, - и это будет скоро, - когда, повинувшись одной только силе привычки, ты и сам начнешь вторить крикам каждого несчастного безумца, живущего бок о бок с тобой; потом ты умолкнешь, обхватишь руками гудящую голову и в тревоге и страхе начнешь вслушиваться в эти крики, пытаясь решить, исходят они от них или от тебя самого. Придет время, когда, ничем не занятому, угнетенному страшной пустотой, от которой некуда будет деться, тебе неудержимо захочется слышать эти крики, от которых тебя сначала бросало в дрожь, когда тебе захочется следить за беснованьями твоего ближайшего соседа с тем же вниманием, с каким ты следишь за

ходом пьесы на сцене. Все человеческое в тебе будет убито. Бред этих несчастных станет одновременно и забавой твоей, и мукой. Ты будешь прислушиваться к каждому его звуку, чтобы потом передразнивать их, щерясь и завывая с дьявольской злобой. У человека есть способность применяться к обстоятельствам, в которых он живет, и ты испытаешь на себе эту горькую долю с ужасающей силой. Вслед за тем явится мучительное сомнение в том, что ты в здравом уме, страшное предвестие того, что это сомнение перейдет потом в \_страх\_, а этот страх превратится в уверенность. Может статься, - что еще ужаснее, - \_страх этот\_ в конце концов перейдет в \_надежду\_, - отверженный обществом, всецело зависящий от произвола грубого надзирателя, страдающий от собственного бессилия в стараниях овладеть собой, лишенный всякой связи с людьми и их сочувствия, имеющий возможность обмениваться мыслями лишь с теми, кого наместо мыслей осаждают призраки - исчадия утраченного разума, и успевший забыть, что такое ласка и человеческий голос, - ибо все, что может показаться ими, не что иное, как те же зловещие вопли, и, убедившись в этом, хочешь только поскорее зажать себе уши, - может статься, что в конце концов страх твой превратится в еще более страшную надежду: тебе захочется стать одним из них, чтобы спасти себя от муки понимания происходящего. Как человека, склонившегося над пропастью и долго в нее глядящего, охватывает в конце концов желание броситься вниз, чтобы наконец избавиться от нестерпимого головокружения {11\* Случай, рассказанный мне человеком, который, оказавшись в подобном положении, едва не покончил с собой, лишь бы избавиться от того, что он называл нестерпимой пыткой головокружения.}, так и ты, услышав, как в разгар неистовых приступов люди эти вдруг начинают хохотать, скажешь: "Конечно же, у этих несчастных есть утешение, а у меня нет никакого; в этой обители ужасов самое большое проклятие для меня - это мой здравый ум. Они с жадностью поедают убогую пищу, которую нам дают, а мне противно даже смотреть на нее. Они подчас крепко спят, а мой сон тревожнее, чем их пробуждение. Каждое утро им придают силу какие-нибудь новые иллюзии: в безумии своем они измышляют различные хитрости и способны тешиться надеждой бежать, ускользнуть от надзирателя или как-нибудь поиздеваться над ним; мой здравый ум лишает меня этой надежды. \_Я знаю, что мне никогда не удастся бежать отсюда\_, и способность думать, которой я не потерял, только усугубляет мои страдания. Я разделяю здесь с другими все тяготы, но у меня нет тех утешений, которые есть у них. Они смеются - я слышу их смех; о если б я мог смеяться так, как они". Ты попытаешься вторить им и самим усилием этим призовешь демона безумия прийти и завладеть тобой с этой минуты навеки.

(В этом месте рассказывалось подробнее о тех угрозах, к которым прибегал Мельмот, и о тех средствах, которыми он пытался искушать Стентона, но подробности эти слишком ужасны, чтобы о них здесь упоминать. Одна из них может служить примером).

"Ты думаешь, что умственные способности человека есть нечто отличное от жизненной силы его души, или, иными словами, что, даже если разум твой будет поврежден (что в действительности почти уже и случилось), душа твоя сможет в полной мере насладиться блаженством, которое создает развитие ее возросших и возвысившихся дарований, и все тучи, которые заволакивали их, рассеет Солнце Справедливости, и лучи его будут ласкать тебя до скончания века. Так вот, не вдаваясь в метафизические тонкости касательно различия разума и души, скажу тебе, что нет такого преступления, которое бы не соблазнило сумасшедших и на которое бы они не пустились; занятие их - причинять другим вред, привычка жить во зле; убийство для них - всего лишь забава, а кощунство - истинное наслаждение. Может ли в этом положении душа надеяться на спасение, суди сам; но только мне кажется, что с потерей рассудка, - а в этих местах невозможно долго сохранять трезвый ум, - ты лишаешься также и надежды на бессмертие. Послушай, - немного помолчав, сказал искуситель, - послушай

несчастливого, который тут вот, рядом с тобою, бредит и извергает такие кошунства, от которых содрогнулся бы и сам дьявол. Когда-то это был выдающийся пуританский проповедник. Полдня ему все кажется, что он стоит на кафедре, и он осыпает проклятьями папистов, арминиан и даже инфральяпсариев (сам он принадлежит к числу субляпсариев) {84}. Он обличает их с пеной у рта, корчится, скрежещет зубами; можно подумать, что сам он спустился в ад, о котором он столько говорит, и что огонь и сера, на описание которых он не жалеет красок, изрыгаются из его открытого рта. Ночью \_вера его обращается против него самого\_; ему чудится, что сам он - один из тех нечестивцев, которых он весь день обличал, и он проклинает бога как раз за то самое, за что славил его днем.

Тот, кого он в течение двенадцати часов провозглашал "лучше десяти тысяч других" {85}, становится теперь предметом его дьявольской вражды, и он осыпает его проклятьями. Он впивается в железные прутья своей койки и кричит, что вытаскивает крест, вкорененный в глубины Голгофы; и примечательно, что насколько утренние его проповеди полны живительной силы и красноречивы, настолько ночные кошунства оскорбительны и ужасны. Слышишь! Он уже опять вообразил себя злым духом; вслушайся же в эти потоки дьявольского красноречия!". Стентон прислушался и содрогнулся...

\* \* \* \* \*

- Беги отсюда, спасай себя, - воскликнул Искуситель, - вырвись к жизни, свободе, здоровью. Благосостояние твое, умственные способности, может быть даже бессмертие, зависят от выбора, который ты сделаешь в эту минуту. Вот дверь, ключ от нее у меня в руке. Выбирай же, выбирай!

- А как же это ключ мог попасть в ваши руки? И на каких условиях вы хотите освободить меня? - спросил Стентон...

\* \* \* \* \*

Объяснение занимало несколько страниц, но как ни мучался над ними юный Мельмот, он не в силах был ничего разобрать. Как будто все же Стентон отказался от свободы, которую ему предлагали, с гневом и ужасом, ибо в конце концов Джон разобрал слова: "Прочь от меня, чудовище, дьявол! Убирайся отсюда восвояси! Даже эта обитель ужаса и та боится твоего появления; стены ее покрываются потом, а каменный пол содрогается под твоими ногами"...

\* \* \* \* \*

Заключительная часть этой необыкновенной рукописи была в таком состоянии, что из пятнадцати полуистлевших и покрытых плесенью листов Мельмот едва мог разобрать какие-то несколько строк. Должно быть, ни один археолог, развертывая дрожащей рукой окаменевшие свитки рукописи, найденной в Геркулануме {86}, и воодушевленный надеждой отыскать утраченные стихи "Энеиды" {87}, начертанные рукою самого Вергилия, или хотя бы непристойные строки Петрония или Марциала {88}, проливающие свет на таинства Спинтрий или на фаллические оргии {89}, никогда не вглядывался так внимательно в текст и не качал потом головой с таким безнадежным отчаянием. То, что он мог извлечь из этих страниц, не только не утоляло его любопытства, но, напротив, еще больше его разжигало. В рукописи больше не было речи о Мельмоте, но говорилось, что Стентон в конце концов освободился из своего заточения, что он продолжал преследовать Мельмота непрерывно и неутомимо; что сам он понимал, что сделался маньяком и что величайшая страсть всей его жизни обернулась ее величайшей мукой. Он снова отправился на континент, потом еще раз вернулся в Англию, ездил, выведывал, выслеживал, подкупал людей, - но все было напрасно. Существа, которое он трижды встречал при таких удивительных обстоятельствах, ему больше уже ни разу не суждено было увидеть. В конце концов узнав, что Мельмот родом из Ирландии, он решил отправиться туда и осуществил это намерение, но и там все его усилия оказались напрасными, и он так и не получил ответа на мучившие его вопросы. Родные Мельмота ничего о нем не знали, во всяком

случае если даже что-то и знали или предполагали, то не сочли возможным сообщить это незнакомому человеку, и Стентон уехал неудовлетворенный. Любопытно заметить, что и он сам, как то явствовало из многих наполовину стершихся страниц рукописи, никогда ни одной живой душе не обмолвился о содержании их разговора с Мельмотом в стенах сумасшедшего дома; даже малейший намек на это обстоятельство вызывал в нем приступ бешенства и повергал потом в мрачное настроение, причем и то и другое необычностью своей вызывало тревогу во всех окружающих. Он, однако, оставил рукопись в руках семьи, считая, может быть, что, коль скоро это люди нелюбопытные и совершенно равнодушные к своему родственнику и вообще непривыкшие что-либо читать, будь то даже книги, рукопись его будет в полной сохранности. В действительности же, должно быть, поступок этот был вызван отчаянием, какое бывает у гибнущих на море, когда они вкладывают предсмертные свои послания в бутылку и, запечатав, вверяют ее потом волнам. Последние строки рукописи, которые оказалось возможным прочесть, были довольно странны...

\* \* \* \* \*

Я ищу его повсюду. Желание еще раз встретиться с ним превратилось в страсть, которая все разгорается, - без этого для меня больше нет жизни. Тщетными оказались и последние мои поиски, когда я поехал в Ирландию, узнав, что он родом оттуда. Быть может, последняя наша встреча будет в ...

\* \* \* \* \*

На этом кончалась рукопись, которую Мельмот нашел в кабинете дяди. Дочитав ее, он в изнеможении опустил голову на стол и застыл, дав волю круговороту обуревавших его чувств; мысли его были напряжены и вместе с тем словно оцепенели. Так прошло несколько минут. Очнувшись словно от толчка и подняв голову, он увидел глядевшие на него с холста глаза; отделенные от него какими-нибудь десятью дюймами, они показались ему еще ближе от осветившего их внезапно яркого света и оттого, что это было единственное в комнате человеческое лицо. На какое-то мгновение Мельмоту даже почудилось, что губы его предка зашевелились, словно тот собирался что-то ему сказать.

Он посмотрел ему прямо в глаза: в доме все было тихо, они остались теперь вдвоем. Наконец иллюзия эта рассеялась, а так как человеку свойственно бросаться из одной крайности в другую, Джон вспомнил вдруг о том, что дядя приказал ему уничтожить портрет. Он впился в него, рука его сначала дрожала, но пришедший в ветхость холст не стал ей противиться. Он выдрал его из рамы с криком, в котором слышались и ужас и торжество. Портрет упал к его ногам, и Мельмот содрогнулся от этого едва слышного звука. Он ждал, что совершенное им святотатство - сорвать портрет предка, более века провисевший в родовом доме, - исторгнет из этой тишины зловещие замогильные вздохи. Он прислушался: не было ни отклика, ни ответа, но когда измятый и разорванный холст упал на пол, то черты лица странно искривились и на губах как будто заиграла усмешка. Лицо это на мгновение словно ожило, и тут Мельмот ощутил неопиcуемый ужас. Подняв измятый холст с полу, он кинулся с ним в соседнюю комнату и там принялся рвать и кромcать его на мелкие куски: бросив их в камин, где все еще горел торф, он стал смотреть, каким ярким пламенем они вспыхнули. Когда последний клочок догорел, он кинулся в постель в надежде забыться крепким сном. Он исполнил то, чего от него требовали, и теперь чувствовал сильнейшее изнеможение, как физическое, так и душевное. Однако сон его оказался далеко не таким спокойным, как ему хотелось. Он ворочался с боку на бок, но ему никак не давал покоя все тот же красный свет, слепивший глаза и вместе с тем оставлявший всю обстановку комнаты в темноте. В эту ночь был сильный ветер, и всякий раз, когда от его порывов скрипели двери, казалось, что кто-то ломает замок, что чья-то нога уже на пороге. Но во сне или наяву (определить это Мельмот так и не мог) увидел он в дверях фигуру своего



предка? Все было так же смутно, как и тогда, когда он видел ее в первый раз - в ночь, когда умер дядя; так и теперь он увидел, как человек этот вошел в комнату, подкрался к его кровати, и услышал, как он прошептал:

- Что же, ты меня сжег, только такой огонь не властен меня уничтожить. Я жив; я здесь, возле тебя.

Вздвогнув, Мельмот вскочил с кровати - было уже совсем светло. Он осмотрелся: в комнате, кроме него, не было ни одной живой души. Он почувствовал легкую боль в правом запястье. Он посмотрел на руку: место это посинело, как будто только что его с силой кто-то сжимал.

#### Глава IV

К оружию, ребята, все, скорее

Рубите ванты и крушите реи!

Фолконер {1}

На следующий вечер Мельмот решил лечь спать пораньше. После полубессонной ночи его клонило ко сну, а день весь был такой сумрачный и тоскливый, что оставалось только хотеть, чтобы он поскорее окончился. Осень была на исходе; тяжелые тучи с утра до вечера медленно и уныло тянулись по небу и такой же тоской отзывались в душе человека и в каждом часе прожитой им жизни. Не упало ни одной капли дождя; тучи уходили прочь, затаив угрозу, как военные корабли, проведавшие, что противник сильнее, чем можно было думать, и возвращавшиеся за подкреплением, чтобы нанести потом новый удар, который неминуемо его сломит. Угроза эта скоро была приведена в исполнение; стемнело раньше обычного; новые тучи, еще более черные и, казалось, сулившие миру еще один потоп, заволокли небо. Гулкие, неожиданно налетавшие вихри время от времени сотрясали дом, а потом столь же внезапно стихали. К ночи буря разразилась со всею силой; кровать Мельмота сотрясалась при каждом порыве ветра, и уснуть было немислимо. Сам он, правда,

...любил, когда качались стены {2},

но ему не доставляло ни малейшей радости ожидать, пока начнут падать трубы, пока с грохотом обвалятся балки, и видеть вокруг себя осколки разбитых стекол, которые уже начинали сыпаться на пол. Он встал и отправился на кухню, где, как он знал, разведен огонь; собравшиеся там перепуганные слуги, слыша, как ветер завывает в трубе, все наперебой уверяли, что им в жизни не доводилось слышать такой бури, и всякий раз, когда порыв затихал, дрожа, шептали молитвы за тех, кто "в эту ночь в море". А так как дом Мельмота стоял у самого берега над скалистым обрывом, им было чего бояться и о чем молиться.

Очень скоро, однако, Мельмот заметил, что в ужас их приводила не одна только буря. Недавняя смерть его дяди и посещение дома странным пришельцем, в реальность которого все они твердо верили, неразрывно сочетались в их представлении не то с причиной, не то с роковыми последствиями этой бури, и, ступая по ломаным плитам, которыми был устлан кухонный пол, Мельмот слышал, как они шепотом сообщали друг другу свои предположения, одно ужаснее другого. Страху свойственно сблизать в сознании людей далекие друг от друга события. Мы любим связывать бушевание стихий с превратностями нашей судьбы, и, наверно, не было ни одного порыва ветра и ни одной вспышки молнии, которые не претворились бы в чьем-то воображении в картины близящейся беды, не вызвали бы желаний отворотить ее или покориться стихии и не определили бы судьбу человека или участь души после смерти. Страшная буря, потрясшая Англию в ночь, когда умер Кромвель {3}, дала его пуританским капелланам повод заявить, что Всевышний забрал его к себе на небеса в поднятой вихрем огненной колеснице наподобие того как он некогда вознес пророка Илию. Меж тем партия сторонников короля истолковала то же событие совершенно иначе и во всеуслышание высказала

свое убеждение, что это Князь тьмы отстаивает свои права и уносит тело жертвы своей (чья душа давно уже стала его достоянием). Таким образом, дикие завывания и яростное торжество бури могли быть совершенно различно, причем в одинаковой степени справедливо, истолкованы каждой из двух сторон на благо ей самой и "на горе противнику. Нечто подобное (*mutatis mutandis* {Изменив то, что требует изменения (лат.).}) происходило и в той компании, которая сидела на кухне Мельмота возле сотрясавшегося от наскоков шквала очага, огонь в котором то разгорался, то снова гас.

- Уйдет он с этой бурей, - прошептала одна из старух, вынимая изо рта потухшую трубку и тщетно пытаясь снова зажечь ее от горящих углей, которые порыв ветра разбросал как пылинки, - уйдет он вместе с бурей.

- Вернется еще, вот увидишь! - вскричала другая, - вернется! Нет ему покоя! Все бродит тут вокруг да стонет, пока не изрекут то, чего он сам за всю свою жизнь не мог изречь. Господи, спаси нас, - завопила она прямо в трубу, как будто обращая свои слова к разгневанному богу, - скажи нам, чего ты хочешь от нас, и укроти эту бурю! Слышишь!

Порыв ветра, словно удар грома, ворвался в трубу; старуха вздрогнула и отшатнулась.

- Если тебе надо вот это... и еще вот это... и еще..., - вскричала молодая женщина, которой Мельмот до тех пор не замечал, - на, возьми!

Она стала яростно вытаскивать какие-то спрятанные у нее в волосах бумажки и кидать их в огонь. Тут Мельмот вспомнил нелепую историю, рассказанную ему накануне, о девушке, которая, как она говорила, "на свою беду" сделала себе папилютки из каких-то бумаг старого Мельмота, а теперь вообразила, что существа, навлекшие на ее голову несчастье, больше всего рассержены тем, что она до сих пор держит на себе достояние покойного. Она стала срывать с себя эти клочки бумаги и швырять их в огонь, громко приговаривая:

- Ради всего святого, не сердчайте на меня, угомонитесь! Вы получили все, что хотели, чего вам еще надо?

Мельмота все это смешило, и ему трудно было подавить смех, но тут он вдруг встрепенулся от звука, который можно было ясно различить среди завываний бури.

- Чу! Пушка! Тонет корабль!

Все притихли и стали слушать. Как мы уже сказали, дом Мельмотов стоял у самого берега. Близость к морю приучила обитателей его ко всем ужасам кораблекрушений и гибели людей. К чести их надо сказать, что они всегда воспринимали эти выстрелы как призывы, как жалостную безысходную мольбу, обращенную к их человеческим чувствам. Людям этим был неведом варварский обычай, существовавший на берегах Англии: прикреплять к трупам лошади фонарь и пускать этот труп в море, где волны кидали его из стороны в стороны: несчастные утопающие устремлялись к нему с надеждой, приняв его за маяк, и когда обман открывался, ужас надвигающейся смерти становился еще неодолимей.

Все находившиеся в ту минуту на кухне внимательно вглядывались в выражение лица Мельмота, как будто на нем можно было прочесть "все тайны, скрытые в седой пучине" {4}. На несколько мгновений буря стихла и воцарилась глубокая и исполненная какого-то зловещего ожидания тишина. Тот же раскатистый звук повторился снова - теперь уже ни у кого не могло быть сомнения, что это выстрел.

- Стреляют из пушки, - закричал Мельмот, - они тонут! Он выбежал из кухни, зовя за собой мужчин. Те сразу же вскочили и стали деятельно готовиться к встрече с опасностью.

Разгул стихия все же лучше переносить на море, нежели в четырех стенах. Там человеку есть с чем бороться; здесь уделом его становится страдание. Самая жестокая буря, побуждая жертву свою бороться с нею из последних сил, ставит все же перед человеком определенную цель и дает удовлетворение его гордости. Меж тем ни того, ни другого нет у тех, кто сидит,

забившись в угол, когда сотрясаются стены, и кто готов принять любое страдание, лишь бы избавиться от безысходного страха.

В то время как слуги кинулись искать плащи, сапоги и шляпы своего покойного господина, которых без числа было разбросано по самым разным углам дома; когда один из них срывал плащ с окна, которое им прикрывалось, ибо стекла давно уже были разбиты, а ставни - сломаны, другой стаскивал с палки шляпу, давно уже служившую для подметания пыли, а третий сражался с кошкой из-за пары старых сапог, которые та облюбовала, чтобы произвести на свет потомство и где теперь копошились котята, - Мельмот поднялся в верхнюю комнату дома. Стекла там были выбиты, и в светлое время дня оттуда можно было увидеть и море, и все побережье. Он высунулся из окна и, поддавшись охватившей его тревоге, стал слушать. Ночь была темная, но постепенно в этой непроглядной тьме глаза его различили проблески света. Порыв ветра заставил его на минуту отойти от окна, но тут же, кинувшись к нему снова, он увидел, как вдалеке вспыхнуло едва заметное пламя, и до слуха его донесся еще один пушечный выстрел.

Медлить было нельзя, и спустя несколько минут Мельмот со своими людьми был уже на берегу. Это было совсем близко, к тому же они спешили как только могли. Однако ветер был настолько силен, что пробираться им было нелегко, а тревога и нетерпение их все возрастали, и им казалось, что движутся они еще медленнее, чем на самом деле. Время от времени только слышны были их прерывающиеся тихие голоса:

- Позовите людей... видите там домики... в одном окне свет... они не спят... и нет ничего удивительного... Может ли кто спать в такую ночь... Держите фонарь пониже... Никак не устоять на ногах...

- Опять стреляют, - вскричали несколько человек, в то время как на какое-то мгновение едва заметная вспышка света пробилась сквозь густой мрак и тяжелый раскат огласил воздух; он звучал, как прощальный салют над могилою погибших страдальцев.

- Скала! Держитесь крепче, не отставайте. Они взошли на скалу.

- Великий боже! - вскричал Мельмот, взобравшись одним из первых, тьма-то какая! И какой это ужас! Подымите же фонари... слышите, как кричат? Отвечайте им... Крикните, что мы идем им на помощь, пусть не теряют надежду.. Погодите, - добавил он, - дайте-ка я взберусь на этот камень, оттуда они услышат мой голос.

Он ринулся туда, пробираясь прямо по воде; едва переводя дыхание, отпрянувшие от соседней скалы волны накрывали его с головою кипящей пеной, добрался он до цели и, ободренный своей удачей, крикнул что было мочи. Но грохот бури так заглушал его голос, что даже сам он его почти не слышал. Это были совсем слабые, жалобные звуки, больше походившие на скорбные стоны, нежели на зов, который должен был воодушевить людей надеждой. В ту минуту, когда встревоженные тучи стремительно проносились по небу, точно бегущие врассыпную солдаты разбитой армии, неожиданно выглянула луна и озарила море ослепительным светом. Глазам Мельмота предстал корабль, и он ясно увидел, что тому грозит. Накренившееся судно ударилось о скалу, над которой набегавшие буруны вздымали столбы пены футов в тридцать высотой. Это был уже один только остов, наполовину погружившийся в воду, грот-мачта была сломана, и всякий раз, когда волна захлестывала палубу, Мельмот явственно слышал предсмертные крики тех, кого она уносила с собой или, может быть, тех, чьи истомившиеся тела и души уже немели и переставали держаться за жизнь и за надежду, которая до тех пор давала еще им силы; он был уверен, что только что раздавшийся крик исходил именно от них и, может быть, стал уже последним в их жизни. Вид человеческих существ, погибающих совсем близко от нас, вселяет такой ужас, что мы порой понимаем, что достаточно сделать всего один шаг, достаточно нашей твердой руки, чтобы спасти хотя бы одного из многих, и не знаем, куда направить этот шаг, и бываем не в силах протянуть руку, которая вдруг цепенеет. Все

чувства Мельмота пришли в смятение, и были минуты, когда он вторил завываниям ветра, испуская безумные крики. Меж тем окрестные жители, узнав о том, что судно потерпело крушение у самых скал, в тревоге высыпали целой толпой на берег. Те, кого прошлый жизненный опыт, твердая убежденность или даже самое обыкновенное невежество беспрерывно заставляли повторять: "Спасти их нельзя, погибнут все до единого", невольно ускоряли в это время свои шаги, как будто торопясь увидеть исполнение этого предсказания, в то время как другим казалось, что они действительно спешат оказать помощь погибающим и тем самым не дать ему осуществиться.

Особенно обращал на себя внимание один человек, который бежал к берегу и, запыхавшись, продолжал уверять всех остальных, что "оно пойдет ко дну прежде, чем они до него доберутся". Слыша восклицания: "Упаси боже! Не говори таких слов! Даст господь, мы чем-нибудь им поможем", он только раздражался торжествующим смехом. Когда все добежали до места, человек этот, рискуя жизнью, взобрался на скалу и, глядя на корабль, принялся убеждать оставшихся внизу, что конец близок: "Ну что я вам говорил? - кричал он. Видите, что я был прав?". Буря усилилась, но все еще были слышны его слова: "Видите, я был прав!". И когда вопли погибавших матросов отчетливо донеслись до берега, он в промежутках все еще повторял: "Видите, я был прав!". Это была какая-то исключительная гордыня, кичащаяся своими трофеями - над чужою могилой. В таком духе даем мы советы тем, кто страдает от жизни, так же как и от стихии; и когда мы слышим, что сердце жертвы разрывается, мы успокаиваем себя, восклицая: "\_Разве я все это не предсказывал?\_ Разве я не говорил вам, к чему это приведет?". Примечательно, что человек этот погиб в ту же самую ночь, сделав отчаянную и напрасную попытку спасти жизнь одному из матросов с корабля, который плыл в расстоянии шести ярдов от него.

Люди заполнили весь берег, они взбирались на вершины и выступы скал; сознавая свое бессилие, все только взирали на этот поединок между морем и сушей, между отчаянием и надеждой. Невозможно было ничем помочь утопавшим: никакая лодка не смогла бы выдержать натиска волн, - и все же до самой последней минуты то с одной скалы, то с другой слышны были крики, страшные крики, возвещавшие, что помощь близка - и уже невозможна. Высоко поднятые фонари с разных сторон освещали все вокруг: глаза несчастных видели берег, на котором суетились люди, но их отделяли от него ревущие неодолимые волны; утопавшим бросали веревки, старались ободрить и воодушевить их громкими криками; кое-кто из барахтавшихся в воде в порыве отчаяния пытался ослабевшей рукою уцепиться за конец брошенной в море веревки, но вместо этого хватался только за воду, а потом не успевал разжать окоченевшие пальцы, как новая волна накрывала его с головой и всплыть он уже был не в силах. В эту минуту Мельмот, выйдя из состояния оцепенения, в которое повергла его эта страшная картина, и оглядевшись вокруг, увидел внизу сотни озабоченных, бегавших и суетившихся людей, и, хотя все усилия их оказывались, по-видимому, напрасными, у него сделалось радостно на душе.

- Сколько всего хорошего пробуждается в человеке, - вскричал он, когда чувство долга призывает его облегчить страдания ближнего!

У него не было тогда ни времени, ни желания вдумываться, что именно он называл словом "хорошее", и разлагать это понятие на составные части, выделив из него любопытство, крайнее возбуждение, гордое ощущение силы в теле или просто сознание того, что сам ты сейчас находишься в относительной безопасности. У него действительно не было времени подумать: как раз в эту минуту он заметил в расстоянии нескольких ярдов от себя чуть выше на скале фигуру, вид которой не мог внушить ему ни симпатии, ни страха. Незнакомец не произнес ни единого звука и никому не пытался помочь. Мельмот с трудом удерживался на скользком и шатком камне; человека же этого, находившегося еще выше, казалось, нимало не волновала ни буря, ни гибель экипажа. Как Мельмот ни старался закутаться в плащ, ветер срывал его и

раздирал в клочья, в то же время на плаще незнакомца ни одна складка не шелохнулась. Но не столько это поразило Мельмота, сколько полнейшее безразличие его к людям, терпевшим бедствие, и к окружавшему его ужасу, и он воскликнул:

- Милосердный боже, возможно ли, что существо, всем видом своим похожее на человека, стоит здесь недвижно, не сделав ни малейшего усилия, чтобы помочь этим несчастным, и даженисколько им не сочувствует?

Последовало молчание, а может быть, порыв ветра заглушил его слова, однако спустя несколько мгновений Мельмот отчетливо услышал:

- Пусть погибают.

Он посмотрел наверх: незнакомец стоял по-прежнему недвижимо, скрестив руки на груди, выставив одну ногу вперед, как бы бросая всем видом своим вызов подымавшимся ввысь столбам пены, и обращенное и профиль суровое лицо его, которое на несколько мгновений озарял колеблющийся и смутный свет луны, равнодушно взирало на все, что происходило внизу, причем во взгляде его было что-то чужое, неестественное, зловещее. В это мгновение чудовищная волна обрушилась на палубу корабля, и крик ужаса вырвался из груди всех тех, кто это видел; это был словно отзвук других криков, исходивших от несчастных жертв, чьи обезображенные и бездыханные тела через несколько минут были выброшены к их ногам.

Когда крик этот умолк, Мельмот услышал вдруг раскаты смеха, от которого кровь у него похолодела. Смеялся стоявший наверху над ним незнакомец. Словно молнией озарило вдруг его память: внутреннему взору его предстала ночь в Испании, когда Стентон впервые повстречал странное существо, чья опутанная колдовством жизнь, над которой "не властно пространство и время", оказала такое влияние на его собственную, и когда он впервые ощутил сатанинскую злобу в этом торжествующем смехе при виде гибели двух сожженных молнией влюбленных. Эхо этого хохота все еще звучало в ушах Мельмота; он подумал, что в нескольких шагах от него сейчас не кто иной, как этот таинственный пришелец. Разум его, разгоряченный всеми неистовыми попытками его разыскать и вместе с тем омраченный их неудачей, отяжелел, как тяжелеет воздух от нависшей грозовой тучи; он уже больше не в состоянии был что-либо выведывать, строить новые предположения или расчеты. Мельмот сразу же стал взбираться на скалу; неподвижная фигура находилась теперь всего на несколько футов выше того места, где он стоял, - тот, о ком он думал целые дни и кто снился ему по ночам, был здесь, рядом, он мог взглянуть в него, коснуться его рукой; он почти что его ощущал. Даже сами Клык и Силок {5} при всем свойственном их профессии рвении и те не произнесли бы с такой решимостью слов: "Попадись он хоть раз мне в лапы", как про себя произнес их Джон. Он стал карабкаться по крутой и опасной тропинке к уступу скалы, на котором стояла неподвижная темная фигура. Изнемогая от яростного ветра, от безмерного душевного напряжения и от трудности задачи, которую он себе поставил, Мельмот столкнулся теперь лицом к лицу с тем, кого он стремился найти; забывшись, он ухватился за наполовину отколовшийся от скалы камень; камень этот, который был настолько мал, что, упав, вероятно, не мог бы ушибить даже ребенка, оказался шаткой и ненадежной опорой для рослого мужчины: Мельмот сорвался вместе с ним и упал вниз, в ревушую пучину, которая, казалось, готова была вцепиться в него тысячами щупалец и его поглотить. Падая, он не успел даже почувствовать головокружения; он только ощутил удар, плеск и услышал рев. Волна накрыла его с головой, а потом тут же выбросила на поверхность. Он пытался бороться с ней, но ему было не за что ухватиться. Тогда он стал погружаться все глубже, движимый смутной мыслью, что, если он доберется до дна и сможет ухватиться там за что-нибудь твердое, он будет спасен. В ушах у него гудели тысячи труб; глаза его слепил свет. "Ему казалось, что он приходит сквозь огонь и воду". Больше он ничего не помнил. Очнулся он только несколько дней спустя: он увидал, что лежит в постели и старая управительница стоит у

его изголовья.

- Какой ужасный сон! - воскликнул он и, в изнеможении откинувшись на подушки, добавил:

- И до чего он меня довел!

Глава V

- Я слышал, - сказал оруженосец, - что от ада нет спасения.

Сервантес {1}

После этого Мельмот пролежал еще несколько часов, не произнеся ни слова: память постепенно возвращалась к нему, чувства просветлялись по мере того, как повелитель их, разум, постепенно утверждался вновь на покинутом им престоле.

- Я все теперь вспомнил, - воскликнул он, вскакивая с кровати так порывисто, что ухаживавшая за ним старуха-няня перепугалась, решив, что он снова бредит; однако, когда она подошла к его кровати со свечою в руке, старательно заслоняя другой глаза от света, и поднесла эту свечу к лицу больного, ярко его озарив, во взгляде его она увидела пробудившееся сознание, а в движениях - силу, которая говорила о том, что наступает выздоровление. Ей пришлось удовлетворить его желание и ответить на все его вопросы касательно того, как он был спасен, чем завершилась в тот день буря и остался ли в живых хоть один из потерпевших кораблекрушение. Она, правда, понимала, как он ослабел, и ей было строго наказано ничем не утомлять его, пока к нему не вернется рассудок. Условие это она старательно выполняла в течение нескольких дней, - и это было для нее ужасным испытанием: она чувствовала себя, как Фатима в "Кимоне" {2}, которая в ответ на угрозу колдуна лишить ее дара речи восклицает: "Варвар, не довольно ли с тебя моей смерти?".

Она начала говорить, и рассказ ее подействовал на Мельмота так, что он крепко уснул, раньше чем она успела довести его до половины; он имел случай убедиться на себе, сколь благотворно может такая вот неторопливая речь действовать на больных, о которых Спенсер говорит {3}, что они нанимали ирландских рассказчиков и, когда просыпались после целительного сна, замечали, что эти неутомимые люди все еще продолжают свой рассказ. Первое время Мельмот слушал с напряженным вниманием; однако очень скоро он оказался в положении человека, описанного мисс Бейли, который

Сквозь дрему слышит еле-еле

Рассказ, что льется у постели {4}.

Вскоре по его глубокому ровному дыханию она почувствовала, что только

... тревожит попусту того, кто сном забылся {5}

а когда она задернула занавеску и заслонила свечу, картины, навеянные ее рассказом, казалось, ожили вновь и бледные тени их проплывали теперь в его снах, все еще с трудом отличимых от яви.

Утром Мельмот приподнялся, оперся на подушку и, оглядевшись вокруг, мгновенно вспомнил все, что с ним произошло, И хоть воспоминание это было смутным, он ощутил сильнейшее желание увидеть чужестранца, спасшегося при кораблекрушении, который, по словам управительницы, все еще памятным ему (хоть слова эти, должно быть, доходили только до порога его непробудившихся чувств), был жив и находился теперь у него в доме, но еще не оправился после полученных им тяжелых ушибов, перенесенного страха и крайнего изнеможения. Мнения домочадцев касательно этого человека разделились. Узнав, что он католик, они как будто успокоились; а он, едва только пришел в себя, попросил послать за католическим священником и в первых же сказанных им словах выразил удовлетворение, что находится в стране, где исполняются все обряды его родной церкви. Таким образом, с этой стороны все обстояло хорошо; однако в его манере себя держать было какое-то странное

высокомерие и сдержанность, которыми он отталкивал от себя тех, кто за ним ухаживал. Он часто разговаривал сам с собою на языке, которого они не понимали; они надеялись, что вызванный в дом священник разъяснит их сомнения, но тот долго простоял у двери, слушая эти обращенные к самому себе речи, и решительно объявил, что это никакая не латынь, а потом, вступив с больным в разговор, длившийся несколько часов, отказался разъяснить, на каком языке говорил чужестранец, и не позволил слугам расспрашивать себя о нем. Это одно уже не предвещало ничего хорошего, но еще хуже было то обстоятельство, что чужестранец легко и свободно изъяснялся по-английски и поэтому, как утверждали все домочадцы, был не вправе терзать их слух словами незнакомого языка, которые, как бы четко и красиво они ни звучали, были, по их мнению, заклинаниями, обращенными к некоему незримому существу.

- Все, что ему надо, он просит у нас по-английски, - сказала недоумевающая управительница, - он просит по-английски, например, чтобы ему принесли свечу, он говорит по-английски, что хочет лечь спать, так почему же, черт бы его побрал, ему надо непременно о чем-то еще говорить на непонятном нам языке? Да и молиться он тоже может по-английски на тот образец, что он прячет на груди, хоть, помяните мое слово, то никакой не святой (мне раз удалось поглядеть на него украдкой), а скорее всего сам дьявол. Господи Иисусе, спаси нас!

Такие вот странные толки и множество других шепотом передавались Мельмсту, и все это делалось с такой быстротой, что он не успевал хорошенько в них разобраться.

- А что, отец Фэй у нас? - спросил он наконец, уразумев, что священник каждый день навещает чужестранца. - Если он сейчас здесь, попросите его зайти ко мне. - Отец Фэй тут же явился на его зов.

Это был человек серьезный и благопристойный, о котором "ходила добрая молва" даже среди людей, исповедовавших иную веру. Когда он вошел в комнату, Мельмот не мог удержаться от улыбки, вспомнив пустые сплетни, которые передавали ему слуги.

- Благодарю вас за внимание к несчастному, который, насколько я понимаю, находится сейчас у меня в доме, - сказал он.

- Я только исполнил свой долг.

- Мне рассказывают, что он говорит иногда на незнакомом языке.

- Да, это действительно так.

- А вы-то знаете, откуда он родом?

- Он испанец, - ответил священник.

Этот прямой и ясный ответ возымел свое действие на Мельмота: он поверил ему и понял, что чужестранец не делает из своего происхождения никакой тайны и она существует только в воображении глупых слуг.

Священник стал рассказывать подробности гибели корабля. Это было английское торговое судно, направлявшееся то ли в Уэксфорд, то ли в Уотерфорд {2}; на борту было много пассажиров. Бурей его отнесло к уиклоускому берегу, где оно и потерпело крушение в ночь на 19 октября. В полной темноте, среди которой разразилась буря, оно наскочило на риф и разбилось. Экипаж и все пассажиры погибли, спасся один только испанец. Поразительно, что не кто иной, как он, оказался спасителем Мельмота. Стараясь добраться до берега, он увидел, как тот упал со скалы, и, как сам он ни был изможден, собрал последние силы, чтобы спасти человека, которого, как он понял, постигла беда из-за того, что он кинулся оказать помощь утопающим. Испанцу удалось вытащить его из воды, причем сам Мельмот ничего об этом не знал: утром их нашли обоих на берегу; они крепко впились друг в друга, но оба совершенно заоченели и были в глубоком обмороке. Их стали приводить в чувство и, когда обнаружили в том и другом слабые признаки жизни, обоих перенесли в дом Мельмота.

- Вы обязаны ему жизнью, - сказал священник и замолчал.

- Я сейчас же пойду и поблагодарю его, - вскричал Мельмот, но в эту минуту старая управительница, помогавшая ему подняться с постели, в ужасе шепнула ему на ухо:

- Ради всего святого, не говорите ему, что вы Мельмот! Ради бога! Он так взъярился, как сумасшедший стал, когда вчера кто-то произнес при нем это имя.

Мельмоту невольно вспомнилось прочитанное в рукописи, и он испытал какое-то тягостное чувство. Однако он совладал с собой и прошел в комнату, отведенную чужестранцу.

Испанцу было лет тридцать. Он имел вид человека благородного и манерами своими располагал к себе. Помимо свойственной его нации серьезности на всем его облике лежала печать глубокой грусти. Он бегло говорил по-английски, и когда Мельмот стал расспрашивать, откуда он так хорошо знает этот язык, он только вздохнул и сказал, что прошел тяжелую школу, где и научился ему. Мельмот тут же переменял предмет разговора и стал горячо благодарить испанца за то, что тот спас ему жизнь.

- Сеньор, - ответил испанец, - простите меня, но если бы вы так же мало ценили свою жизнь, как я, то не стоило бы за это благодарить.

- Да, но вы употребили, однако, все силы на то, чтобы ее спасти, сказал Мельмот.

- Это было какое-то безотчетное побуждение.

- Но пришлось же выдержать борьбу, - сказал Мельмот.

В эту минуту я не отдавал себе отчета в том, что делаю, - сказал испанец. Вслед за тем тоном, исполненным какой-то особой изысканности, он добавил: - Вернее, побуждение это было внушено мне моим добрым гением. Я никого не знаю в этой чужой мне стране, вы приютили меня, без вас мне было бы здесь очень худо.

Мельмот заметил, что собеседнику его трудно говорить, и очень скоро тот действительно признался, что, хоть он и не получил тяжелых повреждений, но до такой степени избит камнями и изранен об острые выступы скал, что ему тяжело дышать и стоит большого труда пошевелить рукой и ногой. Закончив свой рассказ о буре, кораблекрушении и всей последовавшей за этим борьбе за жизнь, он воскликнул по-испански:

- Господи, скажи, почему Иона остался жить, а моряки погибли? Вообразив, что он произносит слова какой-нибудь католической молитвы, Мельмот собрался было уже удалиться, но испанец не дал ему уйти.

- Сеньор, - сказал он, - я знаю, вас зовут...

Он умолк, задрожал и, сделав над собою усилие, от которого лицо его перекошилось, выговорил имя Мельмота.

- Да, я действительно Мельмот.

- Скажите, был ли у вас предок, далекий, очень, очень давно, в такие времена, о которых в семье не сохранилось преданий... нет, не к чему даже и спрашивать об этом, - сказал испанец и, закрыв руками лицо, громко застонал.

Мельмот слушал его с волнением, к которому примешивался страх.

- Говорите, говорите, может быть, я и смогу вам ответить...

- Был ли у вас, - спросил испанец с видимым усилием, отрывисто и скороговоркой, - был ли у вас родственник, который лет сто сорок тому назад ездил в Испанию?

- Насколько я знаю, был, боюсь, что был.

- Довольно, сеньор, оставьте меня... может быть, завтра... оставьте меня сейчас.

- Я не могу вас сейчас оставить, - сказал Мельмот и, видя, что он совсем ослабел, кинулся, чтобы не дать ему упасть. Но это не было обмороком; зрачки испанца дико вращались, в глазах его был ужас, и он пытался выговорить какие-то слова. Кроме них, в комнате никого не было. Мельмот не решался уйти и закричал, чтобы принесли воды; когда он пытался расстегнуть ему ворот и облегчить дыхание, рука его наткнулась на медальон с портретом, хранившимся у



самого сердца. Прикосновение это подействовало на больного как самое сильное возбуждающее. Он схватил медальон своей холодной рукой с силой, какая бывает только у смерти, и пробормотал глухим, но возбужденным голосом:

- Что вы сделали!

Он принялся ощупывать ленточку, на которой висел медальон и, убедившись, что его страшное сокровище цело, с ужасающим спокойствием в глазах посмотрел на Мельмота.

- Так, значит, вы все знаете?

- Я ничего не знаю, - неуверенно ответил Мельмот.

Едва не упавший на пол испанец теперь поднялся, высвободился из его рук и, хоть с трудом держась на ногах, стремительно кинулся за свечой (было уже совсем темно) и показал медальон Мельмоту. Оказалось, что это миниатюрный портрет все того же страшного существа. Это было написанное грубой кистью любительское изображение, но сходство поражало: можно было подумать, что создала эту миниатюру не рука человека, а сама душа.

- Значит, он, значит, оригинал этого... ваш предок? Значит, вы владеете страшной тайной, которая..., - он повалился на пол, корчась в судорогах; Мельмоту, который сам был еще очень слаб, пришлось уйти к себе.

Прошло несколько дней, прежде чем ему довелось снова свидеться со своим гостем; на этот раз тот был спокоен и отлично владел собой - до тех пор, пока не вспомнил, что должен извиниться перед хозяином дома за причиненное ему прошлый раз беспокойство. Он начал было говорить, но сбился и замолчал; напрасно пытался он привести в порядок свои спутанные мысли, вернее, бессвязную речь: усилия эти привели его в такое волнение, что Мельмот почувствовал, что должен как-то помочь ему, и, пытаясь его успокоить, очень неосмотрительно стал расспрашивать, с какой целью тот предпринял поездку в Ирландию.

Испанец долгое время молчал, а потом наконец ответил:

- Сеньор, еще всего несколько дней назад никакая сила не заставила бы меня это сказать. Я считал, что мне все равно никто не поверит и поэтому я не должен открывать этой тайны. Я думал, что одинок на земле, что мне неоткуда ждать ни сочувствия, ни помощи. Поразительно, что случай столкнул меня с единственным человеком, который может понять меня и мне помочь, больше того, может даже, если не ошибаюсь, пролить свет на обстоятельства, которые поставили меня в столь необычное положение.

Это вступление, сделанное в сдержанной форме, но потрясающее по своей значительности, произвело сильное впечатление на Мельмота. Он сел и приготовился слушать, а испанец начал уже было говорить, но потом, после минутного колебания, сорвал висевший у него на груди портрет и принялся топтать его ногами с поистине континентальным упорством, крича:

- Дьявол! Дьявол! Ты душишь меня, - а когда портрет вместе со стеклом был разбит на куски, вскричал: - Ну вот, легче стало.

Они сидели в низкой полутемной скудно обставленной комнате; за окном бушевала буря, и когда окна и двери сотрясались под порывами ветра, у Мельмота было такое чувство, что он слушает вестника "рока и страха". Волнение говорившего было так мучительно и глубоко, что тот весь затрясся, а во время продолжительной паузы, предшествовавшей рассказу испанца, Мельмот слышал, как у него бьется сердце. Он привстал и, протянув руку, пытался удержать своего собеседника, но тот принял это за признак нетерпения и тревоги и начал свой рассказ, в котором, щадя читателя, мы опустим бесчисленные вскрикивания, вопросы, проявления любопытства и вздохи ужаса, которыми его прерывал Мельмот.

## РАССКАЗ ИСПАНЦА

- Вам уже известно, сеньор, - начал он, - что я уроженец Испании, так знайте же, что я происхожу из очень знатного рода, одного из самых знатных в стране, которым она могла бы

гордиться в дни своей славы, - из рода Монсада. Я сам этого в детстве не знал, помню только, что обращались со мной очень нежно, но жить мне пришлось в очень убогой обстановке и в большом отчуждении от людей. Жил я в жалкой лачуге в предместье Мадрида, и воспитывала меня старуха, чья привязанность ко мне была, как видно, не бескорыстна. Каждую неделю ко мне приезжал молодой дворянин вместе с очень красивой дамой; они ласкали меня, называли милым мальчиком, и я, восхищенный изяществом, с которым мой юный отец завертывался в плащ, а моя мать прикрывала лицо вуалью, и неопишным превосходством их над теми, кто меня окружал, был сам с ними очень ласков и просил их взять меня к ним ломай; слыша эти слова, они всякий раз плакали, делали какой-нибудь ценный подарок старухе, у которой я жил и которая, предвкушая его, всегда в их присутствии старалась быть особенно услужливой, и - уезжали.

Я заметил, что приезжали они всегда поздно вечером и очень ненадолго; таким образом, детство мое было окутано тайной, наложившей неизгладимую печать на весь мой характер и на чувства и стремления, владеющие мною сейчас.

Потом в жизни моей произошла внезапная перемена: однажды за мной приехали, переодели меня в роскошное платье и посадили в великолепную карету, находиться в которой мне было так удивительно и непривычно, что у меня закружилась голова, - и привезли во дворец, стены которого, как мне тогда казалось, поднимались к самому небу. Меня поспешно провели сквозь анфиладу покоев, роскошь которых слепила глаза, где множество слуг встречало меня низкими поклонами, в кабинет, где восседал благородного вида старец; поза его была столь величественна и его окружало такое торжественное молчание, что мне захотелось пасть на колени и поклониться ему, как мы поклоняемся какому-нибудь святому, чье изваяние мы видим, пройдя через приделы огромного храма, где-то в глубине его, в уединенной нише. Мои отец и мать стояли тут же, и оба были преисполнены благоговейного страха перед этим бледным и величественным старцем. Увидав их, я стал еще больше его бояться, и когда они подвели меня к его стопам, то у меня было такое чувство, что меня словно приносят ему в жертву. Он все же поцеловал меня, но неохотно, и лицо его сделалось при этом еще более суровым; когда же вся эта торжественная церемония, во время которой я дрожал, закончилась, слуга провел меня в отведенные мне покои, и все прочие слуги были почтительны ко мне, как к сыну вельможи; вечером мои отец и мать пришли ко мне, оба они целовали меня и плакали, но мне казалось, что слезы их вызваны не только печалью, но и любовью. Все окружающее выглядело настолько необычно, что и во мне самом пробудилось, должно быть, что-то новое. Сам я настолько переменялся, что мне хотелось видеть изменившимися и окружающих меня людей, и если бы этого не произошло, меня бы это до крайности поразило.

Одна перемена следовала за другой с такой быстротой, что меня это опьяняло. Мне было тогда двенадцать лет, и образ жизни, который я вел в раннем детстве, непомерно развил мое воображение, подавив все другие способности. Всякий раз, когда открывалась дверь, что бывало нечасто и лишь для того, чтобы возвестить, что наступил час мессы, обеда или занятий, я ждал, что непременно должно произойти нечто необычайное. На третий день после прибытия моего во дворец Монсада дверь отворилась в неурочное время (одно это повергло меня в дрожь от предчувствия того, что будет) и вошли родители мои в сопровождении многочисленных слуг. С ними был мальчик; будучи выше меня ростом и обладая уже сложившейся фигурой, он выглядел старше меня, хотя в действительности был на год моложе.

- Алонсо, - сказал мне отец, - обними своего брата.

Я кинулся к нему со всем простодушием и нежностью детства, которое радуется каждой новой привязанности и, может быть, даже хочет, чтобы она длилась вечно. Однако неторопливые шаги моего брата, та сдержанность, с которой он на какое-то мгновение протянул

обе руки и склонил голову мне на левое плечо, чтобы потом тут же вскинуть ее и уставиться на меня пристальным взглядом своих светившихся высокомерием глаз, оттолкнули меня и обманули мои ожидания. Тем не менее, исполняя желание отца, мы обняли друг друга.

- А теперь возьмитесь за руки, - продолжал отец, и, казалось, ему доставляло радость видеть нас вместе. Я протянул брату руку, и мы провели так несколько минут, а отец и мать стояли поодаль и глядели на нас. В течение этих \_нескольких минут\_ я имел возможность переводить взгляд с родителей на брата и судить о том чувстве, которое испытывали тогда они, видя нас рядом и сравнивая друг с другом. Сравнение это было отнюдь не в мою пользу. Хотя я и был высокого роста, брат мой оказался гораздо выше меня; в выражении лица его была уверенность, вернее даже сказать, торжество; его блестящей внешности был подстать и блеск его темных глаз, которые попеременно глядели то на меня, то на родителей и, казалось, говорили: "Выбирайте же одного из нас, и пусть это буду не я, если у вас хватит на это смелости".

Отец и мать подошли к нам и обняли обоих; я ласково к ним прильнул; брат мой принял эти изливания нежности с каким-то гордым нетерпением, словно ждал от них подчеркнутого признания своего превосходства.

Больше я их не видел; вечером все домочадцы, которых было, вероятно, не меньше двухсот, погрузились в скорбь. Герцог Монсада, весь облик которого был страшным предвестием смерти и которого мне довелось видеть всего лишь раз, скончался. Со стен были сняты шпалеры; все комнаты заполнились духовными лицами. Приставленные ко мне слуги перестали обращать на меня внимание, и я бродил один по огромным покоям, пока нечаянно не приподнял край черной бархатной занавеси и не увидел картины, которая, как ни был я еще юн, повергла меня в оцепенение. Родители мои, одетые во все черное, сидели возле неподвижно лежавшей фигуры, в которой я узнал моего деда. Я решил, что старец спит, только очень глубоким сном. Там же находился и мой брат, который был тоже в черном, но как ни причудлив и ни странен был его вид, выражение лица его говорило, что ему вовсе не по душе этот маскарад, а в сверкающих глазах его сквозило высокомерие: казалось, он нетерпеливо ждал скорейшего окончания той роли, которую ему приходилось играть.

Я кинулся к ним - слуги не дали мне подойти.

- Почему же меня не пускают туда, а младшему брату моему все позволено?

Один из священников подошел ко мне и увел меня прочь. Я начал отбиваться и спросил его с заносчивостью, которая выражала мои притязания, но, как видно, отнюдь не была оправдана моим положением:

- Кто же я такой?

- Внук покойного герцога Монсады, - последовал ответ.

- Тогда почему же со мной так обращаются?

Ответа я не получил. Меня отвели в мои покои и приставили к дверям слуг, которым было строго наказано никуда меня не выпускать. Мне не было позволено присутствовать на похоронах герцога Монсады. Я видел, как пышная и печальная процессия выезжала из ворот дворца. Я перебежал от окна к окну, чтобы посмотреть на торжественное шествие, но мне не дали к нему присоединиться.

Через два дня мне сказали, что у ворот меня ждет карета. Я сел в нее, и меня отвезли в монастырь экс-иезуитов {1} (все хорошо знали, что они существуют, и при этом ни один человек в Мадриде не смел высказать это вслух); было заранее условлено, что они примут меня на содержание и воспитание и что по приезде я сразу же останусь у них. Я стал прилежно заниматься, учителя мои были довольны мною, родители часто посещали меня, выказывая по-прежнему свою любовь, и все шло хорошо до тех пор, пока как-то раз, когда они уходили, я не услышал, как старый слуга из их свиты сказал, что находит странным, что старший сын

теперешнего герцога де Монсады воспитывается в монастыре и готовится к монашеской жизни, в то время как младший пользуется всей роскошью, живя во дворце, и имеет таких учителей, которых приличествует иметь его званию. Слова "монашеская жизнь" поразили меня: они объяснили мне не только то снисходительное отношение, которое я встретил в монастыре (снисхождение, отнюдь не свойственное присущей ему строгой дисциплине), но и те необычные выражения, с которыми всегда обращались ко мне настоятель, вся монашеская братия и воспитанники монастыря. Из уст настоятеля, с которым я виделся раз в неделю, я слышал самые лестные отзывы о достигнутых мною успехах в ученье (похвалы эти заставляли меня краснеть, ибо я знал, что учусь далеко не так хорошо, как иные из воспитанников), после чего настоятель благословлял меня, причем всякий раз добавлял:

- Господи, ты не потерпишь, чтобы сей агнец был исторгнут из твоего стада.

Братья всегда старались выглядеть при мне спокойными и выигрывали от этого гораздо больше, нежели от всех цветов красноречия. Все мелкие монастырские ссоры и интриги, непрестанные и ожесточенные столкновения различных привычек, характеров и интересов, старания всех этих пребывающих в заточении душ хоть чем-нибудь себя приободрить, борьба за то, чтобы любым способом скрасить серое однообразие и возвысить безнадежную посредственность, - все это делает монастырскую жизнь похожей на изнанку шпалеры, где заметны только торчащие в беспорядке концы нитей и грубые контуры изображений, где нельзя увидеть ни ярких красок, ни всей роскоши самой ткани, ни великолепия вышивки, словом, того, что делает лицевую сторону такой ослепительно красивой. Вся красота жизни тщательно от меня скрывалась. Иногда, правда, мне доводилось кое-что услышать, и, как я тогда ни был молод, я не мог надивиться тому, что люди, принесшие в обитель из мирской жизни самые худшие свои чувства, могли вообразить, что в ее стенах смогут найти спасение от снедающей их злобы, угрызений совести и кошмарных мыслей. Таким же притворством встретили меня и воспитанники монастыря; у меня было такое чувство, что с момента моего появления все обитатели его стали ходить в масках. Стоило мне подойти к кому-нибудь из них в минуту досуга, как они прерывали дозволенные им игры и напускали на себя тоскующий вид, как будто вся эта тщета лишь напрасно отвлекает их от более возвышенных занятий, которым они себя посвятили. Кто-нибудь из них, подойдя ко мне, мог сказать: "Как жаль, что нам приходится все это делать в угоду нашей немощной плоти! Как жаль, что мы не можем безраздельно отдать наши силы служению господу!". Другой восклицал: "Самое большое счастье для меня это петь в хоре! Какое восхитительное надгробное слово произнес настоятель, когда хоронили брата Иосифа! Какой потрясающий реквием! Когда я слушал его, казалось, что небеса разверзлись и ангелы спустились, чтобы взять к себе душу усопшего!". Подобные речи, да еще и куда более ханжеские, мне приходилось слышать изо дня в день. Теперь я начинал понимать, что за этим скрывалось. Они, верно, думали, что имеют дело с человеком очень слабым; однако неприкрытая грубость их действий только насторожила меня; я стал видеть с ужасающей ясностью все хитросплетения лжи.

- Вы готовите себя к монашеской жизни, не так ли? - спросил я нескольких воспитанников.

- Да, мы надеемся на это.

- А ты ведь жаловался, Олива, \_как-то раз\_ (ты не знал тогда, что я слышу твои слова), что тебе до смерти надоели все проповеди на жития святых.

- Должно быть, это во мне говорил злой дух, - ответил Олива, а он был одного со мной возраста. - Сатане иногда позволяют вводить в соблазн тех, кто находится в самом начале послушания и кого он поэтому больше всего боится потерять.

- А ты, Балькастро, говорил, что у тебя нет ни малейшего влечения к музыке, а уж коли это так, то хоровая музыка меньше всего может прийтись тебе по вкусу.

- Господь с тех пор вразумил меня, - ответил юный лицемер, осеняя себя крестным знамением, - ты ведь знаешь, свет моих очей, нам обещано, что глухие услышат {2}.

- Где же это обещано?

- В Библии.

- В Библии? Так нам же не позволяют ее читать.

- Верно, дорогой мой Монсада, но с нас довольно и слов настоятеля и братьев.

- Ну, разумеется, наши пастыри должны взять на себя полную ответственность за то состояние, в которое они час повергли, захватив в свои руки право поощрять нас и наказывать. Только скажи, Балькастро, неужели ты собираешься как в этой жизни, так и в грядущей полагаться на их слова и отречься от жизни прежде, чем тебе доведется ее испытать?

- Дорогой мой, ты говоришь это только для того, чтобы соблазнить меня.

- Я говорю не для того, чтобы соблазнить, - возразил я и, возмущившись, собрался было уйти, но как раз в эту минуту зазвонил колокол, и звон его подействовал на всех как обычно. Товарищи мои напустили на себя еще более благочестивый вид, а я старался вернуть себе самообладание. По дороге в церковь они перешептывались между собою, стараясь, однако, чтобы я услышал то, что они сообщают друг другу. До меня долетели слова:

- Напрасно он противится благодати; призвание его совершенно явно. Это победа господина нашего. В нем и сейчас уже можно узнать избранника небес: у него монашеская походка, глаза опущены долу; движением рук он невольно подражает крестному знамени, и сами складки его одежды по какому-то божественному наитию располагаются так, как на монашеской рясе.

Все это говорилось невзирая на то, что я ходил шатаюсь, лицо мое горело и, в то время как взгляд нередко бывал устремлен ввысь, руки торопливо подбирали полы рясы, которая от волнения моего спадала у меня с плеч; беспорядочно свисавшие складки делали ее похожей на все что угодно, только не на монашеское одеяние.

С этого самого вечера я стал замечать грозившую мне опасность и думать о том, как ее избежать. У меня не было ни малейшей склонности к монашеской жизни, однако после вечерни в церкви и вечерней молитвы у себя в келье мне начинало казаться, что само отвращение мое к ней есть уже грех. Чувство это становилось еще острее, когда наступала ночь и все погружалось в тишину. Долгие часы лежал я в кровати, был не в силах уснуть и молил бога вразумить меня, сделать так, чтобы я не противился его желанию, и вместе с тем дать мне со всею ясностью почувствовать, чего же он от меня хочет, и если ему неудобно призвать меня к монашеской жизни, то пусть он поддержит мою решимость пройти сквозь все испытания, которые на меня наложат, лишь бы не профанировать эту жизнь исполнением вынужденных обетов и отчужденностью души. Для того чтобы молитвы мои оказались более действенными, я обращал их сначала к Пресвятой деве, потом - к святому-покровителю нашего рода и, наконец, - к святому, в канун дня которого я родился. От волнения я так и не сомкнул глаз до самой утренней мессы. Но к утру я ощутил решимость, во всяком случае мне показалось, что она наконец пришла ко мне. Увы! Я не знал, с чем мне придется столкнуться. Я был похож на человека, который вышел в открытое море, взяв с собою однодневный запас провианта, и вообразил, что вполне себя обеспечил и сумеет теперь добраться до полюса. В тот день я с необычным для меня прилежанием исполнил все так называемые упражнения для духа. Я уже начал ощущать потребность накладывать на себя какие-то обязательства - роковое последствие монастырских установлений. Обедали мы в полдень; вскоре после обеда отец прислал за мною карету, и мне было позволено покататься в течение часа по берегу Мансанареса {3}. К моему удивлению, в карете оказался мой отец, и хоть он поздоровался со мною на этот раз несколько смущенно, я был счастлив его увидеть. Он во всяком случае был мирянином и, может быть, человеком с сердцем.

Меня огорчили сдержанные слова, с которыми он обратился ко мне; услышав их, я весь похолодел и сразу же принял твердое решение быть и с ним настороже, как со всеми, с кем мне приходилось общаться в стенах монастыря.

- Нравится тебе жить здесь, в обители? - спросил отец.

- Очень нравится, - ответил я (в ответе моем не было ни слова правды, но страх быть обманутым неизбежно толкает на ложь, и нам приходится только благодарить за это наших наставников).

- Настоятель очень тебя любит.

- Кажется, да.

- Братья очень внимательны к твоим занятиям, они могут руководить ими и должным образом оценить твои успехи.

- Кажется, да.

- А воспитанники принадлежат к самым знатным испанским семьям, они все довольны своим положением и хотят воспользоваться теми преимуществами, которые оно дает.

- Кажется, да.

- Дорогой мой мальчик, почему ты три раза ответил мне тою же самой ничего не значащей фразой?

- Потому что я подумал, что все это мне только \_кажется\_.

- Так как же ты говорил, что все благочестие этих праведных людей и глубокое внимание со стороны учеников, чьи занятия в равной мере благодетельны для человека и умножают славу церкви, которой они служат...

- Папенька, я ничего не говорю о них, но я \_осмеливаюсь\_ говорить о себе: я никогда не смогу быть монахом, и если вы хотите добиться именно этого, презирайте меня, прикажите вашим лакеям вытащить меня из кареты и оставить на улице. Лучше пусть я буду собирать милостыню и кричать "огонь и вода" {1\* Огонь для сигар и ледяная вода для питья. Крик, который часто можно услышать в Мадриде.}, только не заставляйте меня стать монахом.

Отец мой был поражен. Он не сказал ни слова в ответ. Он никак не ожидал, что я раньше времени узнаю тайну, которую он собирался мне открыть. В эту минуту карета свернула на Прадо {4}; глазам моим предстало множество великолепных экипажей, запряженных украшенными перьями лошадьми в роскошных пополах; красавицы кланялись кавалерам, которые несколько мгновений стояли еще на приступке кареты, а потом отвечивали прощальный поклон своим "дамам сердца".

В эту минуту я заметил, что отец мой оправил свою роскошную мантию и шелковый кошель, в который были убраны его длинные черные волосы, и сделал лакеям знак остановить карету, собираясь выйти и смешаться с толпой. Я воспользовался этой минутой и ухватился за край его мантии.

- Папенька, вам, значит, нравится этот мир, так почему же вы упорно хотите, чтобы я, ваш сын, от всего этого отрекся?

- Но ты еще чересчур юн для него, дитя мое.

- Ну раз так, то я, разумеется, \_чересчур юн и для другого мира\_, для того, в котором вы принуждаете меня жить.

- Как я могу принуждать тебя, дитя мое, мой первенец!

В словах этих было столько нежности, что я невольно припал губами к его рукам, а лоб мой ощутил горячее дыхание его поцелуя. Именно в эту минуту, воодушевленный надеждой, я мог внимательно присмотреться к чертам его лица, к тому, что у художников принято называть физиогномией человека {5}.

Ему не было еще и шестнадцати лет, когда он сделался моим отцом; он был хорошо сложен;

лицо его поражало красотой и удивительно располагало к себе: я не знал никого, кто бы мог сравниться с ним по красоте; ранняя женитьба уберегла его от всех дурных последствий юношеских излишеств: он сохранил и свежий цвет лица, и гибкий стан, и все очарование юности, которое так часто, не успев расцвести, увядает, опаленное пороком. Ему было двадцать восемь лет, а выглядел он лет на десять моложе. Он, как видно, сознавал это сам и умел радоваться жизни так, как будто весна ее все еще длилась. Бросаясь с головой в кипучие наслаждения, которыми его дарила молодость, и вкушая всю сладость окружавшей его роскоши, он в то же самое время обрекал своего совсем юного сына на холодное и безотрадное однообразие монастырской жизни. Я ухватился за эту мысль как утопающий. Но нет соломинки более хрупкой, чем та помощь, которую вы надеетесь получить от человека, оберегающего свое положение в свете.

Наслаждение до крайности эгоистично, а когда один эгоист обращается за помощью к другому, то не похож ли он на несостоятельного должника, который просит своего товарища по тюрьме взять его на поруки. Таково было мое убеждение в ту минуту, но все же, поразмыслив (ведь в молодые годы отсутствие жизненного опыта нередко восполняется в нас страданием, и более всего умудрены в жизни как раз те, кто прошел в ней эту тяжелую школу), поразмыслив, я пришел к выводу, что жизнелюбие, которое в известном смысле делает человека эгоистом, вместе с тем развивает в нем великодушие. Тот, кто по-настоящему привык наслаждаться жизнью, хоть он и не поступится даже самой малой толикой своего счастья, чтобы спасти от гибели целый мир, все же полон желаний, чтобы все остальные радовались жизни так же, как он (лишь бы не за его счет), потому что собственное его наслаждение станет от этого еще полнее. Я ухватился за эту мысль и принялся просить моего отца дать мне еще раз взглянуть на только что виденные мною пышность и блеск. Он согласился, и уступчивость эта смягчила его сердце; он оживился при виде пестрой светской толпы, интересовавшей его больше, нежели меня, ибо я наблюдал только за тем впечатлением, которое все это производило на него, и сделался еще внимательнее ко мне. Я этим воспользовался и после того, как вернулся в монастырь, обратил едва ли не все свои душевные силы и весь свой ум на то, чтобы исступленной любовью разбудить его сердце. Я сравнивал себя с несчастным Исавом {6}, которого его младший брат лишил права первородства, и восклицал его словами: "Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, да, и меня тоже, отец!".

Отец мой был тронут; он обещал мне, что отнесется к моей просьбе со всем вниманием, но тут же намекнул, что против этого могут быть возражения со стороны моей матери, в особенности же со стороны ее духовника, который, как я впоследствии узнал, держал у себя в подчинении всю семью, и сослался на еще какие-то непреодолимые и неизъяснимые трудности. Он позволил мне, однако, поцеловать ему на прощанье руку и тщетно пытался совладать с собой, когда почувствовал, что она сделалась мокрой от моих слез.

Только спустя два дня я был вызван к духовнику моей матери: он ожидал меня в монастырской приемной. Я решил, что причиной того, что он так долго не появлялся, были семейные споры или, как мне тогда казалось, даже некий заговор, и сделал попытку подготовиться к разного рода военным действиям, какие мне теперь приходилось предпринимать в борьбе с родителями, духовниками, настоятелями и монахами и воспитанниками монастыря: все ведь они дали клятву одержать надо мною победу и, разумеется, готовы были прибегнуть для этого к любым средствам, будь то штурм, подкоп, мина или блокада. Я начал прикидывать в уме, как велики силы нападающей стороны, и старался обеспечить себя оружием, которое могло бы помочь мне отразить различные виды атак. Отец был человеком добрым, податливым и неустойчивым. Мне удалось смягчить его и расположить к себе, и я чувствовал, что большего мне от него не добиться. Духовника же следовало встретить другим оружием.

Спускаясь в приемную, я обдумывал, какой походкой я должен к нему подойти, каким взглядом на него посмотреть, изменял голос, поправлял платье. Я был настороже - телом, духом, выражением лица, тем, как я был одет; все приобретало теперь значение. Это оказался строгий, но с виду приветливый священник. Чтобы заподозрить его в предательстве, надо было быть самому предателем, подобным Иуде. Я почувствовал себя обезоруженным, меня начали даже мучать угрызания совести. "Может быть, - говорил я себе, - я все это время вооружался против того, кто будет вестником мира".

Духовник начал с незначительных вопросов о моем здоровье и моих успехах в занятиях, однако видно было, что делает он это неспроста. Я подумал, что, желая соблности все приличия, он не торопится приступить к разговору о том, что побудило его приехать. Отвечал я ему спокойно, но сердце мое стучало. Последовало молчание, а потом, повернувшись ко мне, он сказал:

- Дитя мое, я понимаю, что ты не хочешь становиться монахом и что тебя не переубедить. В этом нет ничего удивительного: монашеская жизнь - дело нелегкое для совсем еще юного существа, да и вообще я не знаю, какому возрасту могут быть особенно приятны воздержание, лишения и одиночество. Таково было, несомненно, желание твоих родителей, но все же...

Слова эти звучали так искренне, что почти покорили меня: я позабыл о том, что надо быть осторожным, да и еще кое о чем, и воскликнул:

- Ну и что же с того, отец мой?

- Я только хотел отметить, сколь редко наши собственные взгляды совпадают со взглядами других в отношении нас и сколь трудно бывает решить, которые ближе к истине.

- И это все, что вы хотели сказать? - разочарованно спросил я и отшатнулся.

- Да, все; есть, например, люди, к числу их я когда-то принадлежал и сам, у которых воображение до чрезвычайности развито: им кажется, что больший жизненный опыт и не подлежащая сомнению родительская любовь дает им право решить этот вопрос лучше, нежели их детям; иные доходят даже до такой нелепости, что начинают говорить о каком-то естественном праве, природных обязанностях, вытекающих из понятия долга, и о пользе принудительной сдержанности. Но с тех пор, как я имел удовольствие ознакомиться с твоим решением, я начинаю думать, что подросток, которому нет и тринадцати лет, может быть в этом отношении непревзойденным судьей, в особенности же если дело хоть в малейшей степени касается интересов его вечной, а равно и временной жизни; в этом случае он обладает двойным преимуществом: он может подчинить своей воле не только родителей, но и духовника.

- Отец мой, прошу вас, обойдитесь в разговоре со мной без иронии и насмешки: может быть, вы и очень умны, но мне просто хочется, чтобы слова ваши были серьезны, и я оказался бы в состоянии их понять.

- Итак, ты хочешь, чтобы я говорил с тобой серьезно?

Он какое-то время как будто \_собирался с мыслями\_, прежде чем задать мне этот вопрос.

- Ну конечно.

- Так вот, если говорить серьезно, то неужели ты не веришь, что родители твои тебя любят? Неужели ты с младенческих лет не почувствовал их любви? Неужели они не прижимали тебя нежно к груди, когда ты еще лежал в колыбели?

Услышав эти слова, я тщетно пытался совладать с собой и, обливаясь слезами, ответил:

- Да.

- Мне жаль, дорогой мой мальчик, что ты так удручен; мне хотелось воззвать к твоему рассудку: ты ведь чрезвычайно умен; к нему-то я и обращаю эти слова, - неужели тебе может прийти в голову, что родители, которые всегда были так нежны с тобой, которые заботятся о тебе не меньше, чем о спасении души, могли проявить в отношении тебя - а именно это и



явствует из твоего собственного поведения - беспричинную жестокость, потакающая лишь своей прихоти? Неужели ты не задумываешься над тем, что на все это есть причина, и притом весьма основательная? Неужели чувство долга и высший разум не подсказывают тебе, что следует вникнуть в их решение, вместо того чтобы противоборствовать ему?

- Так значит, я дал им к этому основание своим поведением? Я готов сделать все что угодно, пожертвовать всем.

- Понимаю, ты готов сделать все что угодно, но только не то, чего от тебя требуют, и пожертвовать всем, но только бы не поступиться собственным желанием.

- Но вы намекали, что есть какая-то причина?

Духовник молчал.

- Вы же сами вынуждаете меня думать о ней.

Духовник продолжал молчать.

- Отец мой, заклинаю вас вашим саном, дайте мне взглянуть на этот страшный призрак; каков бы он ни был, я не дрогну ни перед чем.

- Кроме как перед приказанием родителей. Но есть ли у меня право открывать тебе эту тайну? - сказал духовник, как бы разговаривая сам с собою. - Могу ли я допустить, что, начав с неповиновения родительской власти, ты научишься уважать чувства, которые питают к тебе твои родители?

- Отец мой, мне непонятны ваши слова.

- Дорогой мой мальчик, обстоятельства вынуждают меня действовать с осторожностью и сдержанностью, отнюдь не свойственными моему характеру, ибо, как и ты, я человек прямодушный. Мне страшно открывать эту тайну; я привык оправдывать оказанное мне доверие и не решаюсь, что-либо сообщать столь горячей и порывистой натуре, как вы. Я попал в очень трудное положение.

- Отец мой, будьте откровенны со мною и в словах и в поступках, этого требуют и мое положение и ваше призвание. Отец мой, вспомните надпись над исповедальней, которая потрясла меня до глубины души, когда я впервые ее прочел: "Господь слышит тебя". Вспомните, что господь слышит вас повсюду, так неужели же вы не будете откровенны с тем, кого он вам вверил?

Говорил я в большом волнении, да и духовник, казалось, был тоже взволнован; он провел рукой по глазам, которые были так же сухи, как его сердце. Какое-то время он молчал, а потом сказал:

- Можно ли положиться на тебя, дорогой мой? Должен тебе признаться, что, идя сюда, я собирался говорить с ребенком, а теперь вот убеждаюсь, что передо мною мужчина. Ты вдумчив, проницателен, решителен, как настоящий мужчина. Не таковы ли и твои чувства?

- Испытайте меня, отец мой!

Я не заметил тогда, что его ирония, его таинственность и все горячие излияния чувств были всего-навсего хорошо разыгранным спектаклем, и во всем этом не было ни откровенности, ни заинтересованности моей судьбою.

- А что если я доверюсь тебе, мой мальчик...

- Я буду вам благодарен.

- И сохранишь все в тайне?

- И сохраню все в тайне, отец мой.

- Коли так, то представь себе...

- Отец мой, не вынуждайте меня ничего представлять себе... Откройте мне всю правду.

- Глупыш, неужели ты считаешь меня таким плохим художником, что я должен подписывать под изображенной мною картиной ее название?

- Отец мой, я понял значение этих слов и не стану больше вас прерывать.

- Коли так, то представь себе честь одного из самых знатных домов Испании; спокойствие всей семьи, чувства отца, честь матери, интересы религии, вечное спасение души, - и положи все это на одну чашу весов. Как по-твоему, что может все это перевесить?

- Ничто! - порывисто воскликнул я.

- Да ведь тебе и нечего положить на другую чашу; прихоть мальчишки, которому еще нет и тринадцати лет, - вот все, что ты можешь противопоставить требованиям природы, общества и - бога.

- Отец мой, я проникаюсь ужасом, слушая ваши слова, - неужели же все зависит только от меня одного?

- Да, все зависит от тебя одного.

- Но как же это, я в смущении... я готов на любую жертву... скажите, что же мне делать.

- Принять монашескую жизнь, дитя мое; этим ты осуществишь желание тех, кто тебя любит, обеспечишь себе спасение души и исполнишь волю господя нашего, который ныне призывает тебя голосами твоих любящих родителей и мольбою служителя небес, который сейчас опускается перед тобой на колени.

И он действительно стал передо мной на колени.

Неожиданная выходка эта была так отвратительна и так напоминала мне напускное смирение, столь привычное в монастырской жизни, что начисто уничтожила действие его речей. Я отшатнулся от протянутых ко мне рук.

- Отец мой, я не могу, я никогда не стану монахом.

- Несчастный! Значит, ты не хочешь внять зову совести, увещаниям родителей и гласу божию?

Ярость, с которой он произнес последние слова, превратившись вдруг из посланца небес во взбешенного злобного демона, произвела на меня действие, противоположное тому, на которое он рассчитывал. Я спокойно ответил:

- Совесть меня несколько не мучит, я никогда ничего не делал ей наперекор. Уговоры родителей я слышу только из ваших уст, и я не такого дурного мнения о них, чтобы думать, что они могли на это решиться. А глас божий, что находит отклик в моем сердце, велит мне не слушать вас и не порочить служение господу лицемерными обетами.

В то время как я говорил это, духовник весь переменялся: выражение лица его, движения и слова - все стало другим, после горячей мольбы и неистовых угроз он мгновенно, с той легкостью, которая бывает лишь у искусных актеров, как бы застыл в суровом безмолвии. Поднявшись с пола, он предстал передо мной подобно тому, как пророк Самуил предстал перед изумленным взором Саула {7}. За одно мгновение от роли, которую он играл, не осталось и следа: передо мною был не актер, а монах.

- Так, значит, ты не примешь обет?

- Нет, отец мой.

- И не считаешься с негодованием родителей и проклятием церкви?

- Я ничем не заслужил ни того ни другого.

- Но ты непременно столкнешься и с тем и с другим, если будешь и дальше упорствовать в своем желании сделаться врагом господя.

- Оттого, что я говорю правду, я никак не сделаюсь врагом господя.

- Лжец и лицемер, ты кощунствуешь!

- Довольно, отец мой, такие слова не пристало произносить духовному лицу, да еще в таком месте.

- Упрек твой справедлив, и я принимаю его, хоть он исходит из уст ребенка.

Тут он опустил свои лицемерные глаза, сложил руки на груди и пробормотал:

- Fiat voluntas tua {Да будет воля твоя {8} (лат.)}. Дитя мое, беззаветное служение господу и честь твоей семьи, к которой я привязан и умом и сердцем, завели меня слишком далеко, и я это признаю; но неужели я должен просить и у тебя прощения, дитя мое, за избыток беззаветного чувства к семье, отпрыск которой доказал, что начисто этого чувства лишен?

Слова эти, в которых ирония была смешана со смирением, не возымели на меня никакого действия. Он это понял; медленно поднимая глаза, чтобы увидеть, какое впечатление он на меня произвел, он заметил, что я стою в безмолвии, не доверяя голосу своему ни единого слова, дабы оно не оказалось непочтительным и резким, не решаясь поднять глаза, дабы один взгляд их не выразил сразу все, что было у меня в мыслях.

Духовник, должно быть, почувствовал, в сколь трудном положении он очутился. Все это могло поколебать тот авторитет, которым он пользовался в моей семье, и он попытался прикрыть свое отступление, воспользовавшись всем опытом своим и начав плести сеть интриг, к которым привыкли прибегать лица духовного звания.

- Дорогое мое дитя, мы оба с тобой были неправы, я - от избытка рвения, а ты... да не все ли равно почему; мы с тобою должны простить друг друга и вымолить прощение у господина, перед которым оба мы согрешили. Дитя мое, падем же перед ним ниц, и пусть даже сердца наши распалены человеческою страстью, господь наш может воспользоваться этой минутой и коснуться нас своей благодатью, запечатлев ее в нас обоих навеки. Часто после землетрясений и вихрей звучит тихий, едва слышный голос, и голосом этим глаголет господь. Помолимся же ему.

Я упал на колени, решив, что предамся молитве один. Но очень скоро проникновенные слова священника, красноречие и сила его молитв увлекли меня, и я оказался вынужденным молиться не так, как того хотело мое сердце. Прием этот духовник приберег для конца, и расчет его оказался верен. Мне никогда не случалось слышать ничего, что так бы походило на ниспосланное свыше; когда я помимо воли прислушивался к излияниям, которые, казалось, не могли исходить из уст смертного, я начал вдруг сомневаться в благости побуждений, которые мною владели, и стал снова вопрошать свое сердце. Я не обращал внимания на насмешки духовника, я противился его страстному зову и оказался сильнее; но когда он начал молиться, я неожиданно для себя заплакал. Этот искус сердца - одно из самых тягостных и унижительных испытаний; то, что было добродетелью еще вчера, сегодня становится пороком; мы вопрошаем с тревожным и унылым скептицизмом Пилата: "Что есть истина?", а оракул, который все время давал такие красноречивые ответы, в эту минуту или вдруг умолкает, или изрекает слова столь двусмысленные, что нам страшно даже подумать, что придется вопрошать его вновь и вновь и до скончания века, а ответа он так и не даст.

Теперь я находился в таком состоянии, что духовнику было бы уже, вероятно, нетрудно достичь своей цели; но он успел устать от роли, которую так неудачно играл, и, прощаясь со мной, призвал меня непрестанно обращаться к небесам, дабы господь направил меня и просветил. При этом он добавил, что сам он будет молиться всем святым в надежде, что они помогут растрогать сердца моих родителей и вразумят их, как спасти меня от преступного вероломства, которое влечет за собой насильственное посвящение в монахи, и вместе с тем \_не дать совершить другой грех, еще более тяжкий и великий, если только таковой может быть\_. С этими словами он ушел; всей силой своего влияния он решил убедить моих родителей принять самые строгие меры, чтобы заставить меня сделаться монахом. У него были достаточно серьезные основания для этого и тогда, когда он явился ко мне, но к концу нашего разговора основания эти сделались в десять раз серьезнее. Он твердо рассчитывал, что речи его меня убедят, и вместо этого получил отпор. Потерпеть такое поражение было для него позором, и он чувствовал себя уязвленным. Если раньше он был только \_сторонником\_ моего обращения,

теперь он сделался его ярим поборником. То, что прежде было для него делом совести, превратилось теперь в вопрос чести, и я склонен думать, что последнее было для него куда важнее; возможно, правда, что то и другое оказалось связанный воедино.

Как бы там ни было, после его посещения я несколько дней был сам не свой. У меня была надежда, а это нередко лучше, нежели обладание Чаша надежды всегда возбуждает жажду, чаша ее осуществления обманывает эту жажду или ее утоляет. Я подолгу гулял один по саду. Я затевал воображаемые разговоры с собой. Воспитанники смотрели на меня и говорили так, как им велено было говорить: "Он размышляет о своем призвании, он молит, чтобы его осенила благодать божия, не будем ему мешать". Я не пытался их в этом разочаровывать, но с возрастающим ужасом думал о системе, которая принуждает людей к лицемерию с самого раннего возраста и ведет к тому, что порок, который в мирской жизни приходит последним, в жизни монастырской появляется у детей раньше всех остальных. Вскоре, однако, я перестал об этом думать и предался мечтам. Я представил себя в отцовском дворце; я увидел, как отец, мать и духовник спорят между собой. Я говорил за каждого и чувствовал за всех. Я проникался страстным красноречием духовника, его же словами рисовал мое отвращение к монашеству, громогласно заявляя родителям моим, что дальнейшие настояния с их стороны и бесполезны, и греховны. Мне снова начинало казаться, что некогда сказанные мною слова произвели впечатление на отца. Я видел, что моя мать уступила. Я слышал, как они перешептывались между собой, с неохотой давая свое сомнительное согласие, как наконец все было решено и меня начали поздравлять. Я видел, как подъехала присланная за мной карета, слышал, как ворота монастыря распахнулись. Свобода! Свобода! Я кидаюсь в их объятия; нет, я припадаю к их стопам. Пусть те, в ком рассказ мой вызовет улыбку, спросят себя, чему они в большей степени обязаны радостями, которые они когда-либо испытали - если в их жизни вообще были радости, - действительности или воображению. Вместе с тем, переживая драмы, которые разыгрывались в эти дни у меня в душе, я не мог избавиться от ощущения, что действующие лица говорят не столь проникновенно, как мне бы того хотелось. Те речи, которые я вкладывал в их уста, сам бы я, вероятно, произнес с гораздо большей живостью и страстью. Однако подобные мечты доставляли мне величайшее наслаждение, и мысль о том, что я все это время обманываю своих товарищей, вряд ли могла его омрачить. Но тот, кто притворяется, сам всегда учит притворству другого, вопрос только в том, суждено ли нам стать мастерами этого искусства или его жертвами. И решает этот вопрос мера нашего себялюбия.

На шестой день я услышал, как под окнами остановилась карета, и сердце мое забилося. Я узнал ее по звуку колес. Не дожидаясь вызова, спустился я в монастырскую приемную. Я чувствовал, что не мог ошибиться, и оказался прав. В каком-то возбуждении, почти что в бреду, поехал я в отцовский дворец. Мне чудились то примирение, то разрыв, то слезы благодарности, то крики отчаяния.

Меня ввели в комнату, где уже сидели молчаливые и неподвижные как статуи родители мои и духовник. Я подошел к ним, поцеловал им руки и с замирающим сердцем сел неподалеку от них. Первым нарушил молчание мой отец, но говорил он так, словно повторял продиктованную ему роль, и самый голос его, казалось, противоречил словам, которые он готовился произнести.

- Сын мой, - начал он, - я послал за тобой не для того, чтобы вести борьбу с твоим бессильным, но злобным упорством, а для того, чтобы объявить тебе мое решение. Волею небес и родителей твоих тебе предназначено служить господу, и всякое твое противление этой воле может только сделать нас несчастными, но все равно ничего не изменит.

Я был поражен; чтобы перевести дух, я невольно открыл рот; отец решил, что я собираюсь что-то сказать в ответ, и хотя в эту минуту я не в силах был вымолвить ни слова, поспешил меня

упредить:

- Сын мой, знай, что всякое сопротивление бесполезно, а всякий спор напрасен. Участь твоя решена, и упорство твое может ее только ухудшить, изменить ее оно не может. Примиришь, дитя мое, с волею небес и родителей твоих: помни, что, как бы ты ни поносил ее, нарушить ее тебе не дано. Наш досточтимый духовник лучше меня объяснит тебе, сколь необходимо твое повиновение.

И отец в изнеможении от навязанной ему задачи поднялся и хотел уже уйти, но священник удержал его:

- Подождите, сеньор, и, прежде чем уйти, заверьте вашего сына, что я исполнил обещание, которое дал ему последний раз, когда мы виделись с ним, и очень решительно высказал герцогине и вам все то, что, по моему мнению, больше всего послужит \_ему на благо\_.

Я знал уже, сколь двусмысленны и лицемерны эти слова, и, собравшись с силами, ответил:

- Святой отец, никакого заступника перед родителями моими мне не нужно. И если в сердце их не найдется такого заступника, посредничество ваше все равно ни к чему не приведет. Я просил вас только об одном: поставить их в известность о том, что никакая сила не заставит меня стать монахом...

Все трое возмущенно меня прервали.

- Никакая сила! Ни за что! - восклицали они, повторяя мои слова. Неужели ради этого тебя сюда привезли? Неужели ради этого мы столько времени терпели твое непослушание? Только ради того, чтобы ты еще упорнее стоял на своем?

- Да, папенька, ради этого - и только. Если вы не хотите позволить мне говорить, то как же вы терпите мое присутствие в вашем доме?

- Мы надеялись, что увидим твое смирение.

- Позвольте же мне доказать его, став на колени.

И я опустил перед ними на колени, надеясь этим смягчить действие слов, не произнести которых я не мог. Я поцеловал отцу руку, он не отдернул ее, и я почувствовал, что рука его дрожит. Я поцеловал подол юбки у матери; она хотела подобрать его одной рукой, а в это время другою закрыла лицо, и мне показалось, что сквозь пальцы ее сочатся слезы. Я опустил на колени и перед духовником, попросил его благословить меня и, преодолев отвращение, попытался все же поцеловать ему руку, но он не дал мне этого сделать. Резко отдернув руку, он возвел глаза к небу, растопырил пальцы, словно отстраняясь в ужасе от существа, проклятого навеки. Тогда я понял, что мне остается только попытаться еще раз умиловать отца и мать. Я повернулся к ним, но они отшатнулись от меня, и по всему видно было, что они решили предоставить окончание дела духовнику. Он подошел ко мне ближе:

- Сын мой, - начал он, - ты уверял нас, что твое решение отказаться идти \_по начертанной господом\_ стезе непоколебимо, но подумал ли ты о том, что есть на свете силы еще более непоколебимые, чем это твое решение? Силы эти - проклятие господне, укрепленное проклятием твоих родителей и усугубленное всеми громами церкви, чьи объятия ты отверг и чью святость ты осквернил этим своим отказом?

- Святой отец, вы произнесли страшные слова, но никакие слова сами по себе для меня теперь ничего не значат.

- Глупец несчастный, я не понимаю тебя, да ты и сам себя не можешь понять.

- Нет, понимаю, понимаю! - вскричал я.

И повернувшись к отцу и все еще продолжая стоять на коленях, я воскликнул:

- Дорогой папенька, неужели жизнь, все, что составляет человеческую жизнь, навсегда теперь заказано мне?

- Да, - ответил за него духовник.

- Значит, для меня нет никакого выхода?

- Никакого.

- И я не могу выбрать себе никакой профессии?

- Профессии! О несчастный выродок!

- Позвольте мне избрать самую презренную, но только не заставляйте меня стать монахом.

- Он не только слабодушен, но и растлен.

- О папенька, - все еще взывал я к отцу, - не позволяйте этому человеку отвечать за вас.

Наденьте на меня шпагу, пошлите меня воевать в рядах испанской армии, искать смерти на поле боя, я прошу только одного - смерти. Это лучше, чем та жизнь, на которую вы хотите меня обречь.

- Это невозможно, - ответил отец, который все это время стоял у окна, а теперь подошел ко мне. Лицо его было мрачно. - Дело идет о чести знатного рода и о достоинстве испанского гранда...

- Папенька, какое все это будет иметь значение, если я раньше времени сойду в могилу и если у вас сердце разорвется от горя при мысли о цветке, который вы одним своим словом обрекли на увядание.

Отец вздрогнул.

- Прошу вас удалиться, сеньор, - сказал духовник, - эта сцена лишит вас сил, которые вам нужны, чтобы вечером сегодня исполнить свой долг перед господом.

- Так, значит, вы меня покидаете? - вскричал я, видя, что родители мои уходят.

- Да, да, - ответил за них духовник, - они покидают тебя, и отцовское проклятие будет отныне тяготеть над тобой.

- Нет, не будет! - воскликнул мой отец; однако духовник схватил его за руку и крепко ее сжал.

- И материнское, - продолжал он.

Я услышал, как моя мать громко всхлипнула, как бы опровергая сказанное, но она не смела вымолвить ни слова, мне же было запрещено говорить. В руках духовника уже были две жертвы; теперь он овладевал и третьей. Он уже больше не скрывал своего торжества. Помедлив немного, он во всю силу своего звучного голоса прогремел:

- И господнее!

И он стремительно вышел из комнаты, уводя за собой моих родителей, которых он продолжал держать за руки. Меня это поразило, как удар грома. В шуршанье их платья, когда он тащил их за собой, мне причудился вихрь, сопровождающий прилет ангела-истребителя.

В порыве безнадежного отчаяния я закричал:

- Ах, был бы здесь мой брат, он заступился бы за меня, - и в то же мгновение я ударился головой о мраморный стол и упал, обливаясь кровью.

Слуги, - а как то в обычае у испанской знати, во дворце их было не меньше двухсот, - подбежали ко мне. Они подняли крик, мне была оказана помощь; все подумали, что я хотел порешить с собой. Вызванный ко мне врач оказался, однако, человеком сведущим и добросердечным: обрезав волосы с запекшейся на них кровью, он осмотрел рану и нашел, что она не опасна. Такого же мнения была, очевидно, и моя мать, ибо через три дня я был вызван к ней. Я повиновался. Черная повязка, упорная головная боль и неестественная бледность были единственными признаками несчастной случайности, как назвали все происшедшее со мной. Духовник убедил мою мать, что настало время ИСПОЛНИТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ. Как искусно духовные лица владеют секретом заставить каждое событие нашей земной жизни влиять на жизнь грядущую, утверждая вслед за тем, что грядущее наше властвует над настоящим!

Доведись мне даже прожить на этом свете больше, чем положено людям, я никогда не

забуду этой встречи с моей матерью. Когда я вошел, она была одна и сидела ко мне спиной. Я стал на колени и поцеловал ей руку. Бледность моя и смиренный вид, казалось, взволновали ее, но она превозмогла это волнение, овладела собой и спросила холодными чужими словами:

- К чему все эти знаки напускного почтения, если сердце твое опровергает их?

- Маменька, я ничего этого не знаю.

- Не знаешь! Почему же ты явился сюда? Почему же ты еще задолго до этого дня заставил отца своего пережить такой позор - упрашивать собственного сына, позор, еще более унижительный оттого, что мольбы его оказались тщетны; почему ты заставил нашего духовника пережить поношение пресвятой церкви в лице одного из ее служителей и отнесся к доводам долга столь же пренебрежительно, как и к голосу крови? Что уж говорить обо мне! Как мог ты заставить меня перенести такую муку, такой великий стыд? - тут она залилась слезами, и мне казалось, в этих слезах тонет моя душа.

- Маменька, что я сделал худого, чтобы вы так упрекали меня, проливая слезы? Нельзя же счесть мой отказ принять монашество преступлением?

- Да, для тебя это преступление.

- Тогда скажите мне, дорогая маменька, если подобный выбор будет предложено сделать моему брату и он откажется, как и я, это тоже будет сочтено преступлением?

Слова эти вырвались у меня почти произвольно, мне просто захотелось сравнить его положение с моим. Я не придавал им никакого другого смысла, и мне в голову не могло прийти, что моя мать может истолковать их иначе, чем как намек на ничем не оправданную пристрастность. Я понял мое заблуждение, когда она сказала вдруг голосом, от которого кровь во мне похолодела:

- Между вами большая разница.

- И правда, маменька, ведь он ваш любимец.

- Нет, господь тому свидетель, нет!

Моя мать, казавшаяся мне перед этим такой суровой, такой решительной, такой непроницаемой, произнесла эти слова с непосредственностью, которая потрясла меня до глубины души: она, казалось, взывала к небесам, прося их вразумить предубежденного против нее сына. Я был растроган и сказал:

- Но послушайте, маменька, этой разницы в положении я никак не могу понять.

- Так что же, ты хочешь, чтобы ее тебе объяснила я?

- Все равно кто, маменька.

- Я! - повторила она, не слыша моих слов, а, вслед за тем поцеловала крест, висевший у нее на груди. - Господи! Наказание твое справедливо, и я покоряюсь ему, хоть налагает его на меня мой родной сын. Ты - незаконный ребенок, - добавила она, внезапно повернувшись ко мне, - не сравнивай себя с братом, ты - незаконный, и твое вторжение в отцовский дом не только приносит несчастье, но и неустанно напоминает о совершенном мною преступлении, оно усугубляет его и не прощает. - Язык присох у меня к горлу. - О, дитя мое, продолжала она, - сжался над своей матерью. Неужели этого признания, которое вырвал из ее уст собственный сын, недостаточно, чтобы искупить совершенный ею грех?

- Продолжайте, маменька, теперь я все могу вынести.

- Ты и должен все вынести, коли сам вынудил меня говорить с тобой откровенно. Я происхожу из семьи гораздо более низкого звания, чем твой отец, - ты был нашим первым ребенком. Он любил меня и простил мне мою слабость, видя в ней только доказательство того, как я горячо его люблю; мы поженились, и твой брат был уже нашим законным сыном. Отец твой беспокоился о моем добром имени, и, так как свадьба наша была тайной и о дне ее никто ничего не знал, мы уговорились, что будем выдавать тебя за нашего законного ребенка.

Взбешенный нашим браком, дед твой в течение нескольких лет не хотел нас видеть, и мы жили в уединении. Ах, лучше бы мне тогда умереть! За несколько дней до смерти дед твой смягчился и послал за нами; тогда не время было признаваться в учиненном нами обмане, и мы представили тебя ему как его внука и наследника его титулов и званий. Но с этого дня я больше не знаю ни минуты покоя. Я ведь осмелилась произнести слова лжи перед лицом господя нашего и всего света, обращаясь к умирающему свекру, я была несправедлива к твоему брату, я нарушила родительский долг и требования закона. Меня мучала совесть, коря меня не только за порочность мою и обман, но и за святотатство.

- Святотатство?

- Да, каждый час, на который ты откладываешь исполнение обета, украден у бога. Еще до твоего рождения я посвятила тебя ему, и это единственное, что я могла сделать во искупление своего греха. Еще тогда, когда я носила тебя во чреве и в тебе не пробудилась жизнь, я набралась смелости молить его о прощении при единственном условии, что, сделавшись служителем церкви, ты заступишься потом за меня. \_Я положила на твои молитвы прежде, чем ты начал лепетать\_. Я решила доверить покаяние мое тому, кто, усыновленный господом нашим, искупил бы мой проступок, сделавший его сыном греха. В воображении моем я уже стояла на коленях перед твоей исповедальней, слышала, как ты властью святой церкви и волею небес возвещаешь мне прощение. Я видела, как ты стоишь у моего смертного одра, как прижимаешь распятие к моим холодеющим губам и указуешь на небо, где, как я надеялась, данный мною обет уже уготовил тебе место. Еще до твоего рождения я старалась расчистить твой путь к небесам, и вот как ты меня отблагодарил: упорство твое несет нам обоим погибель, низвергает нас в бездну. О дитя мое, если только молитвы наши и заступничество могут помочь спасти души наших умерших близких от наказания за грехи, внемли мольбе матери твоей, которая еще жива и молит тебя не обрекать ее на вечные муки!

Мне было нечего ответить. Увидев это, моя мать удвоила свои старания убедить меня.

- Сын мой, знай я, что мне надо стать перед тобой на колени, чтобы смягчить твое сердце, я бы простерлась сейчас перед тобой на полу.

- О маменька, один вид такого чудовищного унижения способен убить меня.

- Так ты все равно не уступишь... ни признание, стоившее мне стольких мук, ни спасение души, как моей, так и твоей собственной, ни даже моя жизнь ничего для тебя не значат.

Она увидела, что слова ее повергли меня в дрожь, и повторила:

- Да, моя жизнь; в тот день, когда твое непреклонное решение осудит меня на позор, я наложу на себя руки. Если ты решился, то решилась и я; и я не боюсь последствий этого поступка, ибо господь воздаст твоей душе, а не моей за преступление, которое принудил меня совершить мой незаконный сын... Но ведь тебе это все нипочем, ты все равно не хочешь смириться. Ну что же! Унижение, которому я подвергаю тело мое, ничто в сравнении с унижением моей души, которого ты от меня уже добился. Я опускаюсь на колени перед собственным сыном и молю его о жизни и о спасении.

И она действительно опустилась передо мной на колени. Я попытался поднять ее, она оттолкнула меня и вскричала хриплым от отчаяния голосом:

- Так ты не смиришься?

- Я этого не говорю.

- Так что же ты тогда говоришь? Не поднимай меня с колен, не подходи ко мне до тех пор, пока ты мне не ответишь.

- Я подумаю.

- Подумаешь! Надо решать.

- Я и решил.



- Что ты решил?

- Я стану тем, кем вы хотите меня видеть.

Стоило мне только произнести эти слова, как моя мать упала к моим ногам, лишившись чувств. В ту минуту, когда я пытался поднять ее и не был окончательно уверен, жива она или в руках у меня уже мертвое тело, я почувствовал, что никогда бы не простил себе, если бы довел ее до этого своим отказом и не посчитался с ее последней мольбой.

\* \* \* \* \*

Посыпались поздравления, благословения, объятия и поцелуи. Принимая их, я чувствовал, что руки мои дрожат, губы холодеют, голова идет кругом, а сердце превращается в камень. Все поплыло как во сне. Я видел, как разыгрывается трагедия, но нимало не задумывался над тем, кто должен пасть ее жертвой. Я возвратился в монастырь. Я понял, что судьба моя решена: у меня не было ни малейшего желания уклониться от нее или не дать ей свершиться. Я походил на человека, который видит перед собой огромный механизм, предназначенный для того, чтобы раздробить его на мельчайшие частицы; видит, как этот механизм приводят в движение. Охваченный ужасом, он взирает на него с таким спокойствием, что его легко можно принять за хладнокровного наблюдателя, который старается постичь действие тех или иных колесиков и высчитать всеокрушающую силу удара. Мне довелось читать об одном несчастном еврее {2\* Смотри Баффа {10}. Нарочитый анахронизм.}: по приказу короля мавров он был брошен на арену, куда выпустили свирепого льва, который перед этим двое суток не получал пищи. Рев изголодавшегося и разъяренного зверя был так страшен, что заставил содрогнуться даже самих исполнителей приговора, когда они связывали несчастного, который в эту минуту оглашал воздух душераздирающими криками. Как ни пытался он вырваться из рук палачей, как ни молил о пощаде, его связали, подняли и бросили на арену. Стоило ему коснуться земли, как силы покинули его, и он остался лежать оцепеневший и уничтоженный. Он больше не испустил ни единого крика, не сделал ни малейшего усилия, он весь съежился и лежал недвижимый и бесчувственный, как комок глины.

То же самое случилось и со мной; крики и вся борьба остались где-то позади, меня выкинули на арену, и я теперь лежал там. Я повторял: "Я должен стать монахом", и весь мой разговор с собой на этом кончался. Меня могли хвалить за то, что я выполнил все, что от меня требовалось, или корить за то, что я чего-то не сделал, - я не испытывал ни радости, ни огорчения. Я только твердил себе: "Я должен стать монахом". Когда меня заставляли прогуливаться по монастырскому саду или, напротив, пеняли мне за то, что я позволяю себе слишком много гулять в неположенные часы, я в ответ только повторял: "Я должен стать монахом". Надо, однако, сказать, что наставники мои оказывали мне большое снисхождение. Сын, старший сын герцога де Монсады, принимающий монашество, - это ли не великая победа экс-иезуитов? И они не упускали случая использовать мое обращение в своих интересах. Они спрашивали меня, какие книги мне хотелось бы прочесть. "Какие вам угодно", - отвечал я. Они видели, что я люблю цветы, и комната моя украсилась фарфоровыми вазами с изысканнейшими букетами, которые обновлялись каждый день. Я любил музыку они узнали об этом, когда я стал принимать участие в их хоре, а это вышло как-то само собою. У меня был хороший голос: владевшая мною глубокая грусть придавала моему пению большую выразительность, и эти люди, никогда не упускавшие случая возвеличить себя или обмануть свои жертвы, уверяли меня, что я пою вдохновенно.

На все эти проявления их снисходительности я отвечал неблагодарностью, чувством, которое, вообще-то говоря, мне совершенно чуждо. Я никогда не читал принесенных ими книг, и пренебрегал цветами, которыми они наполняли мою келью, и если изредка и прикасался к маленькому органу, который они поставили ко мне, то лишь для того, чтобы извлекать из него

низкие и печальные звуки. Тем, кто настоятельно требовал, чтобы я развивал мои способности к живописи и музыке, я отвечал все так же бесстрастно:

- Я должен стать монахом.

- Но послушай, брат мой, ведь любовь к цветам, к музыке, ко всему, что может быть посвящено господу, достойна внимания человека, - ты злоупотребляешь снисходительностью к тебе настоятеля.

- Возможно.

- Ты должен восславить господу нашего, возблагодарить его за его творения, способные радовать взор. - В келье в это время было много красных гвоздик и роз. - Ты должен воздавать ему хвалу за тот талант, который он тебе даровал: голос твой - самый богатый и сильный из всех, что слышны в нашем хоре.

- Я в этом не сомневаюсь.

- Брат мой, ты отвечаешь не подумав.

- Я говорю то, что чувствую, но не надо обращать на это внимания.

- Хочешь, погуляем по саду?

- Пожалуйста.

- А может быть, ты хотел бы повидаться с настоятелем и услышать от него слова утешения?

- Пожалуйста.

- Но откуда у тебя это безразличие ко всему? Неужели ты одинаково равнодушен и к аромату цветов, и к ободряющим словам настоятеля?

- Выходит, что да.

- Но почему?

- Потому что я должен стать монахом.

- Брат мой, неужели ты так и будешь повторять все ту же фразу, в которой нет никакого смысла: она ведь свидетельствует лишь о том, что ты совсем отупел или просто бредишь?

- Ну так и считай, что я отупел, что я брежу, все, что твоей душе угодно, - ты знаешь, я должен стать монахом.

Услышав эти слова, которые я произнес отнюдь не нараспев, как то принято в монастыре, а совсем иным тоном, в разговор вмешался еще один и спросил меня, что это я возвещаю так громко.

- Я только хочу сказать, - ответил я, - что я должен стать монахом.

- Благодарю бога, что с тобой не случилось ничего худшего, - ответил тот, кто мне задал этот вопрос, - упорство твое давно уже, верно, надоело и настоятелю и всей братии, благодари бога, что не случилось худшего.

При этих словах я почувствовал, что страсти снова вскипели во мне.

- Худшего! - вскричал я, - а чего мне еще бояться? Разве я не должен стать монахом?

Начиная с этого вечера (не помню уже, когда именно это было) свободу мою ограничили; мне больше не разрешали гулять, разговаривать с другими воспитанниками или послушниками; в трапезной для меня накрыли отдельный стол, причем места справа и слева от меня оставались незанятыми. Тем не менее келью мою по-прежнему украшали цветы, на стенах висели гравюры, а на столе своем я находил все новые безделушки тончайшей работы. Я не замечал, что окружающие обращались со мной как с умалишенным, а ведь они слышали, как я без всякого смысла повторял несчетное число раз одни и те же слова, и это могло послужить для них оправданием: у них были свои планы, согласованные с духовником, и упорное молчание мое только утверждало их в том, что они думали обо мне. Духовник часто меня навещал, а все эти несчастные лицемеры старались заходить вместе с ним ко мне в келью. Обычно (за отсутствием других дел) я или смотрел на цветы, или любовался гравюрами, а они, войдя,

говорили:

- Видите, он счастлив, как только можно быть счастливым, у него все есть, и он занят созерцанием этих роз.

- Нет, я ничем не занят, - отвечал я, - у меня нет никакого занятия.

Тогда они пожимали плечами, обменивались с духовником таинственными взглядами, и я был рад, когда они наконец уходили, не задумываясь о том, какая опасность нависала надо мной именно в эти часы.

В это время во дворце герцога Монсады шли совещание за совещанием: надо было решить, в здравом ли я уме и могу ли принять обет. По-видимому, святые отцы, подобно их закоренелым врагам маврам, были Фзабочены тем, как произвести дурачка в святого. Теперь против меня образовалась уже целая партия, одному человеку было не под силу с ней справиться. Поднялся шум, и люди непрестанно сновали из дворца Монсады в монастырь и обратно. Меня объявляли сумасшедшим, упрямцем, еретиком, дураком, словом, всем чем угодно, лишь бы успокоить ревнивую тревогу моих родителей, корыстолюбие монахов или тщеславие экс-иезуитов, которые подсмеивались над страхами всех остальных и неуклонно блюли свои собственные интересы. Для них очень мало значило, в своем я уме или нет, им было совершенно все равно, причислить ли к своим рядам отпрыска знатнейшего испанского рода, или заковать его в цепи как умалишенного, или же, объявив его одержимым, изгонять из него бесов. Речь шла о *соур де theatre* {Спектакле (франц.)}, который должен быть сыгран, и, так как первые роли в этом представлении оставались за ними, их нимало не заботила катастрофа, которая могла разразиться. По счастью, пока длился весь этот шум, поднятый страхом, обманом, притворством и клеветой, настоятель сохранял спокойствие. Он не старался успокоить поднявшееся волнение, ибо оно лишь возвеличивало его собственную роль во всем этом деле, но он твердо стоял на своем: для того, чтобы принять обет монашества, я должен доказать, что я действительно в здравом уме. Сам я ничего об этом не знал и был поражен, когда в последний день моего послушания был вызван в приемную. Я неуклонно исполнял все, что от меня требовал монастырский устав, не имел ни одного замечания от поставленного над послушниками священника и был совершенно не подготовлен к тому, что меня ожидало.

В приемной сидели мои отец и мать, духовник и еще несколько человек, которых я не знал. Я подошел к ним ровным шагом и спокойно на них посмотрел. Убежден, что я был в своем уме, как и все присутствовавшие при этой сцене. Настоятель взял меня за руку и провел по комнате, говоря:

- Видите...

- Зачем вы все это делаете? - воскликнул я, прерывая его слова.

Наместо ответа он только приложил палец к губам и попросил меня показать мои рисунки. Я принес их и, став на колени, показал их сначала моей матери, потом отцу. Это были наброски, изображавшие стены монастырей и тюрем. Моя мать отвернулась, а отец оттолкнул их от себя, сказав:

- Совсем мне это не по душе.

- Но вы, разумеется, любите музыку, - сказал настоятель, - вы должны послушать, как он играет и поет.

В соседней комнате был небольшой орган; моей матери не разрешили туда войти, отец же был допущен слушать мое исполнение. Не думая, я выбрал арию из "Жертвоприношения Иеффая" {11}. Отца она взволновала, и он попросил меня не продолжать. Настоятель решил, что это не только дань уважения моему таланту, но и признание силы его ордена, и рукоплескал сверх всякой меры и порою даже не к месту. До этой минуты мне и в голову не приходило, что из-за меня могут спорить враждующие стороны. Настоятель решил сделать из меня иезуита и

поэтому утверждал, что я \_в здравом уме\_. Монахам же хотелось, чтобы их потешили изгнанием из меня бесов, либо костром аутодафе, либо еще какой безделицей в том же роде и тем самым скрасили унылое однообразие монастырской жизни. Поэтому они были заинтересованы в том, чтобы я рехнулся, или в меня вселились бесы, и уж чтобы во всяком случае меня признали умалишенным или одержимым. Однако благие их пожелания так и не были удовлетворены. Будучи вызван в приемную, \_я вел себя\_ в точности так, как полагалось, и на следующий день мне предстояло принять обет.

На следующий день! О, если бы я только мог описать этот день! Но это невозможно - я погрузился в такое глубокое оцепенение, что перестал замечать вещи, которые, несомненно, поразили бы самого бесстрастного зрителя. Я был настолько погружен в себя, что хоть в памяти моей и остались сами события, я не в силах воскресить даже слабой тени тех чувств, которые они во мне вызывали. Ночь эту я спал глубоким сном, пока меня не разбудил стук в дверь.

- Дорогое дитя мое, чем ты занят сейчас? Я узнал голос настоятеля и ответил:

- Отец мой, я спал.

- А я ради тебя, дитя мое, истязал свою плоть; бич покраснел от моей крови.

Я ничего не ответил, ибо понимал, что предатель в большей степени заслужил удары бича, чем тот, кого он предал. Однако я ошибался; настоятеля действительно терзали укоры совести, и он наложил на себя это покаяние не столько за свои собственные прегрешения, сколько по случаю моего упорства и безумия. Но увы! \_До чего же лжив тот договор с богом, который мы скрепляем собственной кровью!\_ Не господь ли сказал, что он не приемлет ни одной жертвы, даже заклания агнца, совершенной с сотворения мира! Два раза в течение ночи настоятель тревожил меня, и оба раза я отвечал ему теми же словами. Он, без сомнения, был искренен: он думал, что делает все во имя бога, и его окровавленные плечи свидетельствовали о его рвении. Но я настолько окостенел духовно, что ничего не чувствовал, не слышал, не понимал. Поэтому, когда он постучал ко мне в келью второй и третий раз, чтобы рассказать мне о том, какому бичеванию он себя подверг и сколь действительным оказалось его общение с богом, я ответил:

- Неужели же преступник не имеет права выпастся перед казнью?

Услыхав эти слова, которые, должно быть, заставили его содрогнуться, настоятель упал простертый перед дверью моей кельи, а я снова уснул. И сквозь сон до меня долетели голоса монахов, которые подняли настоятеля с пола и унесли его в келью.

Они сказали:

- Он неисправим, вы напрасно перед ним унижаетесь. Вот увидите, когда он станет \_нашим\_, это будет совсем другой человек, это он тогда будет лежать простертым перед вами.

Больше я ничего не услышал.

Наступило утро. Я знал, что оно должно принести мне; воображение мое рисовало мне всю эту сцену. Мне казалось, что я вижу слезы на глазах у моих родителей и проявление сочувствия со стороны братии. Мне казалось, что руки священников, держащих кадила, дрожат и что дрожь эта передается даже причетникам, придерживающим их рясы.

Неожиданно решение мое переменялось: я ощутил... что же я ощутил? Союз поистине чудовищной злобы, отчаяния и силы. В глазах моих засверкали молнии, мне вдруг подумалось, что я за один миг могу заставить палача и жертву поменяться местами, могу поразить стоящую тут же мать одним только словом, что одной фразой могу разбить сердце моего отца. Я мог посеять вокруг себя больше горя, чем любые человеческие пороки; любая сила, любая злонамеренность способны причинить своей самой презренной жертве. Да, этим утром я чувствовал, что все во мне вступило в борьбу: родственные узы, чувства, угрызения совести, гордость, отчаяние, злоба. Три первых я принес с собой, последние же пробудились во мне за время жизни в монастыре.

- Вы готовите меня в жертву, - сказал я тем, кто был возле меня этим утром, - но стоит мне только захотеть, и я могу сделать так, что жертвами станут все исполнители произнесенного надо мной приговора, - и я расхохотался.

Смех мой привел в ужас всех окружающих; они оставили меня одного и пошли доложить настоятелю о том, в каком состоянии я нахожусь. Он пришел ко мне. Тревога успела охватить весь монастырь; я подрывал его авторитет: приготовления уже были сделаны, и все были уверены, что я стану монахом, независимо от того, безумен я или в здравом уме.

Ужас был написан на лице настоятеля, когда он пришел ко мне.

- Что все это значит, сын мой?

- Ничего, отец мой, ровно ничего, просто мне пришла вдруг в голову мысль...

- Мы поговорим об этом в другое время, сын мой, а сейчас...

- Сейчас, - ответил я со смехом, который, должно быть, терзал слух настоятеля, - сейчас я могу предложить вам выбрать одно из двух: пусть отец мой или брат заступят мое место, вот и все. Я никогда не стану монахом.

Услышав эти слова, настоятель пришел в отчаяние и забегал от стены к стене. Я стал бегать следом за ним, восклицая голосом, который, должно быть, вселял в него ужас:

- Я протестую против обета; пусть те, кто принуждал меня стать монахом, примут всю вину на себя, пусть отец мой самолично искупает свою вину, состоящую в том, что я появился на свет; пусть мой брат пожертвует своей гордостью, почему я один должен платиться за преступление одного и за страсти другого?

- Сын мой, все это было заранее решено.

- Да, я знаю, что приговором Всемогущего я еще во чреве матери был обречен, но я никогда не поставлю своей подписи под этим приговором.

- Что мне сказать тебе, сын мой, ты ведь исполнил уже послушание.

- Да, не понимая того, что происходит со мной.

- Весь Мадрид собрался, чтобы услышать, как ты произнесешь обет.

- Пусть же весь Мадрид услышит, что я отказываюсь произнести его и отрекаюсь от всего, что связано с ним.

- Сегодня наступил назначенный день. Служители господина приготовились принять тебя в свои объятия. Небо и земля, все лучшее, что есть в нашем бренном мире и в вечности, соединилось и ждет твоих непреклонных слов, которые будут означать твое спасение и обеспечат спасение тех, кого ты любишь. Какой же это бес овладел тобой, дитя мое, и схватил тебя в ту самую минуту, когда ты приближался к Христу, чтобы низвергнуть тебя в бездну и растерзать? Как же теперь я, как наша братия и все те души, которые ты призван спасти молитвами своими от адских мук, ответят господу за твое страшное отступничество?

- Пусть они отвечают сами за себя: пусть каждый отвечает за себя, этого требует разум.

- О каком разуме может идти речь, заблудшее дитя, когда же это разум вмешивался в дела святой веры?

Я сел, сложил руки на груди и не проронил ни слова. Настоятель стоял, скрестив руки и опустив голову; вид его говорил о том, что он погружен в глубокое и горькое раздумье. Всякий другой мог бы подумать, что в бездонных глубинах мысли он ищет бога, но я понимал, что он ищет его всего-навсего там, где найти его было невозможно - в недрах сердца, которое "лукаво более всего и крайне испорчено" {12}. Он приблизился ко мне.

- Не подходите ко мне! - вскричал я. - Вы опять заведете речь о том, что я уже смирился. Говорю вам, покорность эта была напускной! О том, что я неукоснительно исполнял все монастырские правила, - так знайте, - все это было ловким обманом, все делалось с тайной надеждой, что в конце концов я смогу от этого избавиться. Теперь я чувствую, что с души моей

свалилась тяжесть и совесть моя свободна. Слышите? Понятно вам? Это первые слова правды, произнесенные мною в монастырских стенах, может быть и последние, которые будут здесь сказаны. Так сберегите же их! Хмурьте брови, креститесь и подымайте глаза к небу, сколько вам угодно. Продолжайте же играть свою церковную драму. Скажите, что вы сейчас увидели такое страшное, что вы вдруг отпрянули назад и теперь вот креститесь и воздеваете к небу глаза и руки? Человека, которого отчаяние заставило сказать вслух всю жестокую правду! Да, правда, как видно, страшна для обитателей монастыря, у которых вся жизнь, искусственна и фальшива, чьи сердца настолько извращены, что даже господь, которого они лицемерием своим отвратили от себя, не захочет к ним прикоснуться. Но я чувствую, что в эту минуту я все же не столь омерзителен в глазах господних, сколь был бы, если бы, исполняя то, к чему вы меня хотели принудить, стоял бы у его алтаря и оскорблял его произнесением обета, которому так властно противилось мое сердце.

После этих слов, - а сказаны они были, должно быть, оскорбительным, вызывающим тоном, - я почти был уверен, что настоятель кинется на меня, повалит на пол, вызовет служителей, велит им схватить меня и бросить в монастырскую тюрьму, - а я знал, что такая существует. Может быть, мне этого даже хотелось. Доведенный до крайности, я словно гордился тем, что способен сам довести до подобного же состояния других. В эту минуту я был готов ко всему: к самому страшному потрясению, к головокружительно быстрой перемене моей участи и даже к тяжкому страданию - и чувствовал себя в силах вынести все. Но подобные приступы неистовства очень скоро проходят, доводя нас до полного изнеможения.

Удивленный молчанием настоятеля, я поднял на него глаза. Очень сдержанно, тоном, который самому мне показался неестественным, я сказал:

- Так произнесите же ваш приговор.

Настоятель по-прежнему молчал. Он \_наблюдал за происходившей во мне переменой\_ и сумел искусно выследить поворот моего душевного недуга, позволявший ему принять свои меры. Он стоял передо мной, кроткий и неподвижный, скрестив руки, опустив глаза, и вид его не выражал ни малейшего негодования. Душевное волнение его ни в какой степени не отразилось на складках его рясы; они лежали так, как будто были вырезаны из камня. Молчание это незаметно смягчило меня: я осуждал себя за резкость. Так мирские люди властвуют над нами силою своих страстей, а люди другого мира своим умением их скрыть.

Наконец он сказал:

- Сын мой, ты восстал против господя, воспротивился святому духу, осквернил его святилище и оскорбил его служителя, - но и его именем и моим собственным я прощаю тебе все. Суди сам, сколь непохожи наши убеждения, по тому, сколь различно они действуют на нас с тобой. Ты оскорбляешь, поносишь и обвиняешь, я же благословляю и прощаю. Так кто же из нас двоих проникся евангельским духом и кого благословила церковь? Но оставив в стороне этот вопрос, решить который ты сейчас все равно не можешь, я приведу еще один довод. Если и он не возымеет действия, я больше не стану противиться твоим желаниям или понуждать тебя бесчестить святыню - ведь это только оттолкнет от тебя людей, и сам господь отвергнет тебя. Добавлю к этому, что сделаю все, что от меня зависит, чтобы облегчить исполнение твоих желаний, ибо они одновременно являются и моими.

Услыхав эти слова, в которых было столько правды и доброй воли, я кинулся было к его ногам, но страх и горький опыт удержали меня, и я только поклонился.

- Обещай мне только, что ты терпеливо дождешься, пока я приведу тебе этот последний довод; подействует он на тебя или нет, несколько меня теперь не занимает и не тревожит.

Я обещал ему, что наберусь терпения, и он вышел.

Очень скоро он вернулся. Выглядел он несколько более встревоженным, однако всячески

старался с собой совладать. Я не мог определить, волнуется он за себя или за меня. Он оставил дверь приоткрытой и первыми же своими словами поразил меня:

- Сын мой, ты хорошо знаешь древнюю историю?

- Но какое это имеет сейчас значение, святой отец?

- Помнишь примечательный рассказ об одном римском генерале {13}, который презрительно отвергал трибуна, сенаторов и \_священников\_, отрекался от своего народа, попирал законы, оскорблял религию, но в конце концов вынужден был уступить голосу крови, ибо, когда его мать пала перед ним ниц и вскричала: "Сын мой, прежде чем ты ступишь на улицы Рима, тебе придется пройти по трупу той, которая носила тебя в своем чреве!" - он смягчился.

- Я все помню, но какое это имеет отношение ко мне?

- \_А вот какое\_, - и он распахнул дверь. - Теперь вот доказывай, если можешь, что сердце твое не черствее, чем у этого язычника.

Когда дверь открылась, я увидел мою мать, простертую на пороге. Сдавленным голосом она пробормотала:

- Иди, отрекись от обета, но прежде чем ты свершишь это преступление, тебе придется переступить через труп твоей матери.

Я пытался поднять ее, но она прикинула к порогу, продолжая повторять все те же слова, и ее бархатное, отделанное жемчугом платье, раскинувшееся на каменном полу, являло ужасающий контраст унижению, которое она претерпевала, и отчаянию, горевшему в ее глазах, на мгновение поднятых на меня.

Содрогаясь от муки и ужаса, я зашатался и упал. Настоятель воспользовался этим, меня подхватили и отнесли в церковь. Я принял обет целомудрия, бедности и послушания, и участь моя за несколько мгновений была решена.

\* \* \* \* \*

День следовал за днем, и так продолжалось долгие месяцы, о которых у меня не осталось никаких воспоминаний, да я и не хотел бы, чтобы они были. За это время я немало всего испытал, но все пережитое ушло куда-то, как морские волны под полуночным черным небом: пусть они еще набегают, но все вокруг окутано мраком и поэтому нельзя разглядеть их очертаний и проследить, где начинают вздыматься их гребни и куда они низвергаются вслед за тем. Глубокое оцепенение охватило мои чувства и душу, и, может быть, состояние это больше всего подходило к однообразию жизни, на которую я был обречен. Нечего и говорить, что я исполнял все свои монашеские обязанности с добросовестностью, не вызывавшей никаких нареканий, и с апатией, исключавшей всякую похвалу. Жизнь моя походила на море, в котором не стало прибоя. Я всякий раз являлся к мессе с такою же точностью, с какою звонили колокола. В этом отношении я походил на автомат с тончайшим механизмом, который действовал с поистине чудесной слаженностью, всегда бывал исправен и не приносил никаких огорчений сотворившему его мастеру. Ни настоятель, ни монастырская братия не могли бы на меня пожаловаться. Я всякий раз первым занимал свое место в хоре. Я не принимал никаких посетителей в приемной и, когда мне позволяли спуститься туда, никогда этого не делал. Если на меня почему-либо накладывали покаяние, я безропотно его исполнял; если в отношении меня допускали поблажку, я никогда ей не пользовался. Ни разу не просил я, чтобы меня освободили от утрени или от ночных бдений. Сидя в трапезной, я всегда молчал, в саду всегда гулял один. Если жизнь определяется сознательным отношением к ней и актами воли, - то я не думал, не чувствовал, не жил. Казалось, я спал подобно Симоргу в восточном сказании {14}, но сну этому не суждено было длиться долго.

Отчужденность моя и спокойствие смущали иезуитов. Оцепенение, в котором я пребывал,

моя бесшумная походка, устремленные в одну точку глаза, злое молчание - все это легко могло внушить склонным к суеверию монахам, что это не кто иной, как злой дух, принявший образ человека, бродит в стенах обители и появляется в хоре. Но они на этот счет держались совсем другого мнения. Они видели во всем этом молчаливый упрек с моей стороны и относили его ко всем ссорам, склокам, интригам и обману, в которые они были погружены с утра до вечера - и телом, и душой. Может быть, они думали, что я избегаю общения с ними для того, чтобы лучше наблюдать их со стороны. Может быть, в монастыре тогда им нечем было занять себя и не на что устремить свое недовольство - и для того и для другого нужно совсем немного. Так или иначе, они снова стали повторять старую историю о том, что я не в своем уме, и решили извлечь из нее все, что им было на руку. Они перешептывались в трапезной, совещались друг с другом в саду, качали головой, указывали на меня пальцем в стенах обители и в конце концов - я в этом уверен - старались проникнуться убеждением, что все, чего они хотят или что им кажется, - сущая правда. Потом всем им стало интересно выяснить, что же со мной происходит, и несколько человек во главе со старым монахом, лицом влиятельным и славившимся своим безупречным поведением, явились к настоятелю. Они рассказали ему о том, что я рассеян, что делаю все машинально, наподобие автомата, что слова мои лишены всякого смысла, что молюсь я с тупым безразличием ко всему, что царящий в обители дух благочестия мне совершенно чужд и, хоть я с особым тщанием исполняю все монастырские правила, я делаю это с \_деревянным безразличием\_, и с моей стороны это не более, чем насмешка над ними. Настоятель выслушал их с полнейшим равнодушием. Он поддерживал тайные отношения с моей семьей, общался с духовником моей матери и дал себе обещание сделать из меня монаха. Ему удалось добиться своего с помощью усилий, о последствиях которых я рассказал, и теперь уже для него не имело большого значения, в своем я уме или нет. Он весьма решительно запретил им вмешиваться в это дело, сказав, что будет наблюдать за мною сам. Монахи удалились, потерпев поражение, но отнюдь не потеряв надежды, и обещали друг другу \_следить за мной\_; иными словами терзать меня, преследовать и стараться, чтобы я стал таким, каким сделали меня в их глазах их же собственные злоба, любопытство или даже самая обыкновенная праздность и желание хоть чем-нибудь поразвлечься. С этого дня уже все обитатели монастыря начали плести интриги и сделались участниками заговора, который был направлен против меня. Как только слышались мои шаги, двери поспешно захлопывались; вместе с тем трое или четверо из них оставались в коридоре, по которому я проходил: они перешептывались между собою и, откашлявшись, делали друг другу условный знак и начинали \_громко\_ говорить о каких-нибудь пустяках, стараясь, чтобы я услышал их слова и сообразил, что делают они это нарочно и что последним предметом их разговора был именно я. В душе я смеялся над ними. Я говорил себе: "Несчастливые развращенные существа! Какие нелепые представления вы разыгрываете и на какие измышления вы пускаетесь, лишь бы чем-нибудь скрасить вашу праздность и душевную пустоту; вы боретесь со мной, - ну что же, я подчиняюсь". Вскоре сети, которыми они решили меня оплести, стали все больше стягиваться вокруг меня. Люди эти стали то и дело попадаться на моем пути, причем с таким упорством, что мне никак не удавалось избежать этих встреч, и стали выказывать мне такое расположение, что я не решался их оттолкнуть. С подкупающей лаской они говорили мне: "Дорогой мой брат, ты что-то грустишь, тебя снедает печаль; да поможет нам господь нашим братским участием развеять твоё уныние. Но откуда все-таки взялась тоска, которая так подтачивает твои силы?". Слыша такие слова, я не мог удержаться и не посмотреть на них глазами, полными упрека и, должно быть, слез, но я не отвечал им. Уже само состояние, в котором они увидели меня, было достаточной причиной для уныния, которым они же меня попрекали.

\* \* \* \* \*



После того как эта попытка их не удалась, они прибегли к другому способу. Они начали стараться вовлечь меня в монастырские распри. Они рассказали мне множество всяких вещей о несправедливых пристрастиях и несправедливых наказаниях, которые каждодневно можно было наблюдать в обители. Одни заводили речь о каком-то больном монахе, которого заставляли ходить на утрени, невзирая на предупреждение врача, что ему это может стоить жизни, - и он действительно умер, и в то же время любимца своего, молодого монаха, отличавшегося цветущим здоровьем, освобождали от посещения утрень всякий раз, как только ему этого хотелось, и позволяли ему нежиться в постели до девяти часов. Другие жаловались на непорядки в исповедалне, и слова их, может быть, и возымели бы на меня свое действие, если бы третьи не добавляли, что с церковной кружкой дело обстоит неблагоприятно. Это сочетание разноречивых толков, этот разительный переход от жалоб на пренебрежение к тайнам души в ее самом сокровенном общении с богом к самым низменным подробностям развешивающих монастырскую жизнь злоупотреблений - все это восстановило меня против этой жизни.

До той поры я хоть и с трудом, но все же скрывал свое отвращение, но теперь оно сделалось настолько явным, что общине на какое-то время пришлось отказаться от своих планов в отношении меня, и одному умудренному опытом монаху было поручено сопутствовать мне в моих одиноких прогулках после того, как я стал избегать всяких встреч с другими. Он подошел ко мне:

- Брат мой, ты гуляешь один?

- Я хочу быть один.

- Но почему?

- Я не обязан ни перед кем отчитываться в своих поступках.

- Это верно, но мне ты можешь доверить все свои побуждения.

- Мне нечего вам доверять.

- Я это знаю, я не имею никакого права рассчитывать на твое доверие; побереги его для более достойных друзей.

Поведение его мне показалось странным: он просил меня оказать ему доверие и в то же время заявлял, что понимает, что мне в сущности нечего ему доверить, прося одновременно, чтобы я избрал для этой цели более близкого друга. Я, однако, молчал до тех пор, пока он не сказал:

- Брат мой, тебя же снедает тоска. Я продолжал молчать.

- Если на то будет господня воля, я помог бы тебе найти средства справиться с нею.

- И что, эти средства вы рассчитываете найти в стенах монастыря? спросил я, посмотрев ему в глаза.

- Да, дорогой брат, да, конечно, весь монастырь, например, обсуждает теперь, в какие часы лучше начинать утрени, настоятель хочет, чтобы они опять начинались в положенный час, как раньше.

- А велика ли разница?

- Целых пять минут.

- Действительно, это очень важный вопрос.

- О, стоит тебе только один раз это понять, как ты обретишь в монастырской жизни счастье, и ему не будет конца. Здесь постоянно что-то узнаешь, о чем-то тревожишься, из-за чего-то споришь. Дорогой брат, постарайся вникнуть в эти вопросы, и тебе не придется тогда жаловаться на скуку - у тебя не останется ни одной свободной минуты.

Я пристально на него посмотрел и сказал спокойно, но, должно быть, достаточно выразительно:

- Выходит, что мне надо возбудить в себе раздражение, недоброжелательство, любопытство,

словом, любую из тех страстей, от которых меня должна была спасти ваша обитель, - и все это только для того, чтобы жизнь в этой обители оказалась мало-мальски сносной. Простите меня, но я не могу, подобно вам, выпрашивать у господина позволение заключить союз с его врагом против порчи нравов, если, молясь об избавлении от нее, я в то же время поддерживаю ее своими поступками.

Монах ничего не ответил; он только воздел к небу руки и осенил себя крестным знаменем.

- Да простит вам господь лицемерие ваше, - прошептал я, а он в это время продолжал свою прогулку и, обращаясь к товарищам, повторял:

- Он рехнулся, окончательно рехнулся.

- Так что же теперь делать? - стали спрашивать все.

В ответ я услышал только сдержанный шепот. Я увидел, как несколько голов наклонились друг к другу. Я не знал, что замышляют эти люди, да мне это было и неважно. Я гулял один - был чудесный лунный вечер. Я видел, как лунный свет струится сквозь листву деревьев, но мне казалось, что передо мной не деревья, а стены. Стволы их были словно из адаманта и сомкнутые ветви их, казалось, говорили: "Теперь тебе никуда от нас не уйти".

Я сел у фонтана, под сенью высокого тополя, место это я хорошо помню. Пожилой священник (незаметно подосланный ко мне общиной) уселся возле меня. Он начал свою речь с самых избитых утверждений о бренности земного существования. Я покачал головой, и у него хватило такта, который все же не чужд иезуитам, понять, что \_этим он от меня ничего не добьется\_. Тогда он переменял тему разговора и стал говорить о том, как хороша листва и какая чистая вода в фонтане. Я согласился с ним.

- О, была бы наша жизнь такой чистой, как эта струя! - добавил он.

- О, если бы эта жизнь так же зеленела для меня, как это дерево, и так же могла приносить плоды, как этот тополь! - и я вздохнул.

- Сын мой, а разве не случается, что источники пересыхают, а деревья вянут?

- Да, отец мой, да, источник моей жизни был иссушен, а зеленая ветвь ее навсегда загублена ветром.

Произнося эти слова, я не мог удержаться от слез. Священник воспользовался тем, что, по его словам, было минутой, когда господь дохнул на мою душу. Мы говорили с ним очень долго, и наперекор своему обыкновению и против воли я слушал его упорно и внимательно, ибо не мог не заметить, что среди всей монастырской братии это был единственный человек, который ничем не досаждал мне - ни до того дня, когда я принял монашество, ни после; когда обо мне говорилось все самое худшее, он, по-видимому, просто не слушал и всякий раз, когда его собратья высказывали в отношении меня самые зловещие предположения, качал головой и ничего не говорил. Репутация его была безупречной, и он исполнял все монастырские обязанности с такой же образцовой точностью, как и я. При этом я не испытывал к нему доверия, как вообще ни к одному человеческому существу; но я терпеливо выслушивал его, и терпение мое подвергалось, по-видимому, не совсем обычному испытанию, ибо по прошествии часа (я не заметил, что беседа наша затянулась дольше положенного времени и что замечания нам никто не сделал) он все еще повторял: "Сын мой, ты еще примиришься с монастырской жизнью".

- Никогда, отец мой, никогда, разве что до завтра источник этот иссякнет, а дерево засохнет.

- Сын мой, чтобы спасти человеческую душу, господь совершал еще более великие чудеса.

Мы расстались, и я вернулся к себе в келью. Я не знаю, чем были заняты в ту ночь он и другие монахи, но перед утреней в монастыре поднялся такой шум, что можно было подумать, что весь Мадрид охвачен пожаром. Воспитанники, послушники и монахи сновали из кельи в

келью, причем никто их не останавливал и ни о чем не спрашивал - казалось, что всякому порядку настал конец. Ни один колокол не звонил, не слышно было никаких приказаний соблюдать тишину; казалось, что монастырские власти навсегда примирились со всем этим гомоном. Из окна моего я видел, как люди бегают во всех направлениях, обнимают друг друга, что-то громко восклицают, молятся, дрожащими руками перебирают четки и восторженно воздевают глаза к небу. Веселящийся монастырь - зрелище странное, противоестественное и даже зловещее. Я сразу же заподозрил что-то недоброе, однако сказал себе: "Худшее уже позади, второй раз сделать меня монахом они не могут".

Сомнения мои длились недолго. Я услышал множество шагов, приближавшихся к моей келье, множество голосов, повторявших: "Скорее, дорогой брат, беги скорее в сад!". Выбора для меня не было: меня окружили и почти силой вытащили из кельи.

В саду собралась вся община; там находился и настоятель, который не только не старался подавить общее смятение, но, напротив, как будто поощрял его. На лицах у всех была радость, а глаза как-то неестественно сверкали; но весь этот спектакль поразил меня своим лицемерием и фальшью. Меня повели или, вернее, потащили к тому самому месту, где я так долго сидел и разговаривал накануне вечером. Источник иссяк и дерево засохло. Я был так поражен, что не мог вымолвить ни слова, а все вокруг меня повторяли: "Чудо! Чудо! Сам господь избрал тебя и отметил своей печатью".

Настоятель сделал им знак замолчать. Спокойным голосом он сказал, обращаясь ко мне:

- Сын мой, от тебя хотят только одного - чтобы ты поверил в подлинность того, что ты видишь сейчас. Неужели ты усомнишься в собственных чувствах вместо того, чтобы поверить в могущество господя нашего? Пади перед ним сейчас же ниц и торжественно и благоговейно признай, что милость его снизошла до чуда, дабы привести тебя ко спасению.

Все, что я увидел и услышал, не столько растрогало меня, сколько смутило, но я бросился перед всеми на колени, как мне было велено. Я сложил руки и воскликнул:

- Господи, если ты действительно сотворил это чудо ради меня, то я верю, что ты озаришь меня своей благодатью и просветишь меня, чтобы я мог объять его разумом своим. Душа моя темна, но ты можешь принести в нее свет. Сердце мое очерствело, но твоя всемогущая сила может коснуться его и смягчить. Воздействие, которое ты оказываешь на него в это мгновение, шепот, ниспосланный в его сокровенные глубины, - не меньшее благо, чем то действие, которое ты оказал на предметы неодушевленные и которое ныне только повергает меня в смятение...

Настоятель прервал мою речь.

- Замолчи, ты не должен произносить таких слов, - сказал он, - сама вера твоя лжива, а молитва оскорбительна для того, к чьей милости она собирается взывать,

- Отец мой, скажите, какие слова мне надлежит произнести, и я повторю их вслед за вами: пусть я даже не проникся убеждением, я во всяком случае вам повинуюсь.

- Ты должен попросить прощения у всей общины за оскорбление, которое ты нанес ей тем, что молча противился той жизни, к которой она призвана господом.

Я исполнил то, что он требовал.

- Ты должен возблагодарить общину за ту радость, которую она выказала, когда свершилось чудо, подтвердившее истинность твоего призвания.

Я исполнил и это.

- Ты должен также выразить признательность господу нашему за вмешательство высшей силы, которое нам дано было узреть и которое он явил не столько для того, чтобы убедить людей в благости своей, сколько для того, чтобы на веки вечные возвысить обитель сию, которую он сподобил прославить и возвеличить совершенным в ней чудом.

Некоторое время я колебался, но потом сказал:

- Отец мой, позвольте мне произнести эту молитву про себя. Настоятель в свою очередь задумался; он решил, что не стоит требовать от меня слишком многого, и наконец сказал:

- Как тебе будет угодно.

Я продолжал стоять на коленях на земле возле дерева и источника. Теперь я простерся ниц, приник головой к земле и горячо молился про себя, окруженный всею братией, однако слова моей молитвы были совсем не похожи на те, каких они в эту минуту от меня хотели. Когда я поднялся с колен, не меньше половины всей братии подошли ко мне и стали меня обнимать. Иные из них действительно проливали слезы, однако исходили эти слезы уж во всяком случае не из сердца. От проявлений лицемерной радости страдает только сама жертва обмана, а лицемерная печаль унижает прежде всего того, кто ее разыгрывает.

Весь этот день превратился в какой-то сплошной праздник. Моления были сокращены, к обычной трапезе добавлены были сладости; каждому было позволено заходить в чужую келью, не испрашивая на то особого разрешения настоятеля. Подарки: шоколад, нюхательный табак, ледяная вода, ликеры и, что было всего приятнее и нужнее, салфетки и полотенца из тончайшей белоснежной камчатной ткани раздавались всем. Настоятель затворился на полдня с двумя благоразумными братьями, как их принято называть (иначе говоря, с теми, кто избирается для совещаний с настоятелем из числа старых ни на что не способных монахов, подобно тому, как папа Сикст {15} был избран, ибо его сочли глупым), для того чтобы подготовить достоверный отчет о свершившемся чуде, который предстояло разослать по главным монастырям Испании. Не было никакой надобности сообщать эту новость в Мадрид: там уже знали о чуде через час после того, как оно свершилось, - злые языки утверждают даже, что часом раньше.

Должен признаться, что радостная суета, наполнившая этот день, столь непохожая на все, что мне прежде доводилось видеть в обители, имела для меня самые неожиданные последствия. Я превратился в баловня, сделался героем празднества, - а в монастырских празднествах есть всегда что-то нелепое и противоестественное - мне, можно сказать, начали поклоняться. Да и я сам поддался общему опьянению, на какое-то время поверив, что я действительно избранник божий, Я стал всячески возвеличивать себя в собственных глазах. Если такое самообольщение греховно, то я очень скоро искупил свой грех. На следующий же день водворился обычный порядок, и я убедился, что приведенная в смятение община может очень быстро вернуться к своей размеренной и строгой жизни.

Последовавшие за этим дни только подтвердили это убеждение. Монастырская жизнь подвержена частым колебаниям: сегодня щедро делаются те или иные поблажки, а на завтра восстанавливается самая жестокая дисциплина. Через несколько дней я получил разительное подтверждение того, что мое отвращение к монашеской жизни, несмотря на совершенное чудо, имело веские основания. Мне довелось узнать, что один из братии совершил какой-то мелкий проступок. По счастью, этот мелкий проступок совершил дальний родственник толедского архиепископа, и состоял он всего-навсего в том, что тот явился в церковь в пьяном виде (редкий среди испанцев порок), пытался стащить проповедника с амвона, а когда ему это не удалось, взобрался на алтарь, раскидал свечи, опрокинул сосуды и дароносицу и, точно дьявол когтями, принялся царапать висевший над престолом образ, бесстыдно при этом богохульствуя и даже произнося перед ликом богоматери слова, повторить которые невозможно. Был созван совет. Можно себе представить, в каком смятении пребывала в это время монастырская братия. Все, кроме меня, были обеспокоены и взволнованы. Много было разговора о суде Инквизиции - ведь учинено было такое бесстыдство, такое непростительное святотатство, что и речи не могло быть о каком-либо снисхождении. Через три дня, однако, приказом архиепископа дело было приостановлено, и на следующее же утро совершивший кощунство юноша появился в зале иезуитов, где собрались настоятель и несколько монахов, прочел короткую епитимью,

написанную одним из них на низменное слово ebrietas {Пьянство (лат.)}, и отбыл из монастыря для того, чтобы занять прибыльное место в епархии родственника своего, архиепископа. А день спустя после этого позорного случая, обнаружившего потворство злу, обман и святотатство, один из монахов попался на том, что в неположенное время зашел в соседнюю келью вернуть взятую им книгу. В наказание за эту провинность его заставили три дня подряд во время трапез сидеть босым на каменном полу в вывернутой наизнанку рясе. Его заставили во всеуслышание признать себя виновным во. всевозможных преступлениях, причем среди них были и такие, которых не следовало бы называть, и после каждого признания восклицать: "Господи, ты справедливо меня наказал".

На другой день обнаружили, что нашлась добрая душа, которая подстелила ему коврик. Тотчас же волнение охватило весь зал. Несчастливого обвинили в том, что он пытается уклониться от наказания, которое было для него равносильно смерти, - сидеть или, вернее, лежать на каменном полу. Должно быть, коврик этот ему принес из жалости кто-нибудь из монахов. Сразу же началось следствие. Юноша, которого я прежде не замечал, встал из-за стола и, опустившись на колени перед настоятелем, признал свою вину. Настоятель строго на него посмотрел, а потом удалился вместе с несколькими престарелыми монахами на совещание, дабы обсудить это новое преступление, а через несколько минут зазвонил колокол в напоминание о том, что все должны разойтись по кельям. Дрожа от страха, мы все удалились и, простертые у себя в кельях перед распятием, молились и думали о том, кто же теперь явится новой жертвой и каково будет наказание.

Юношу этого мне потом довелось видеть всего только раз. Это был отпрыск богатого и влиятельного рода, но никакое богатство не могло облегчить его участь и смягчить дурное мнение, которое сложилось о нем в монастыре, иначе говоря, у тех четырех монахов, людей строгих правил, с которыми настоятель совещался в тот вечер. Иезуиты любят заискивать перед людьми сильными, но еще больше - быть сильными сами. Совещание пришло к выводу, что виновник должен быть подвергнут в их присутствии унижительному для него покаянию. Ему объявили это решение, и он подчинился. Он повторил вслед за ними слово в слово все, что они заставили его сказать.

Потом он снял рубаху и принялся хлестать себя бичом по голым плечам, до тех пор пока кровь не полилась ручьями, повторяя после каждого удара: "Господи, прости меня за то, что я посмел чем-то помочь брату Павлу и облегчить его участь, в то время как он нес заслуженное им наказание".

Он исполнил все, что от него требовали, втайне все же надеясь, что при первом удобном случае снова постарается чем-нибудь помочь брату Павлу и выручить его. Он был уверен тогда, что наказание этим и ограничится. Ему велели вернуться в келью. Он ушел к себе, однако монахи не удовлетворились произведенным ими расследованием. Они давно уже подозревали брата Павла в распущенности и рассчитывали получить подтверждение этого от юноши, участие которого в судьбе несчастного только укрепило их подозрения. Все человеческие чувства в монастыре принято считать пороками. Только юноша этот лег в постель, как они снова окружили его. Они сказали, что явились по распоряжению настоятеля для того, чтобы наложить на него новое покаяние, которое будет длиться до тех пор, пока он не признается, что побуждает его принимать такое горячее участие в судьбе брата Павла. Напрасно он восклицал: "У меня нет к нему никакого другого влечения, кроме сочувствия и сострадания!". Слов этих они не могли понять. Напрасно он просил: "Я приму любую епитимью, которую настоятелю будет угодно на меня наложить, но плечи мои все еще в крови". И он показывал свои кровоточащие раны. Истязатели не знали жалости. Его вытащили из кровати и стали хлестать бичом с такой яростью, что наконец, совсем обезумев от стыда, отчаяния и боли, он вырвался из их рук и кинулся

бежать по коридору, взывая о помощи и прося пощады. Монахи все были у себя в кельях; ни один из них не осмелился вмешаться; они только вздрогнули и повернулись на другой бок на своих соломенных постелях.

Это был канун дня Святого Иоанна Богослова, и мне было приказано провести то, что в монастырях называют "часом размышления о грехах", в церкви. Я повиновался этому приказанию и лежал простертый, припав лицом и телом к мраморным ступенькам алтаря и уже ничего почти не ощущая от усталости, когда вдруг услышал, что часы бьют двенадцать. Тут я увидел, что назначенный час истек, а я так ни о чем и не поразмыслил. "И так вот всегда, - подумал я, поднимаясь с колен, - сами они сначала лишают меня возможности думать, а потом требуют, чтобы я размышлял о своих грехах".

Идя по коридору, я услышал страшные крики и содрогнулся. Вдруг навстречу мне метнулось какое-то привидение. "Satana vade retro, arage Satana!" {Отыди, сатана, прочь от меня, сатана {16} (лат.)}, - вскричал я, бросившись на колени. Голый, истекавший кровью человек пронесся мимо меня, неистово крича от ярости и боли. За ним гнались четверо монахов со свечами в руках. Я запер дверь в конце коридора, сообразив, что они должны будут еще вернуться и снова пробежать мимо меня: я все еще стоял на коленях и дрожал от головы до ног. Несчастный добежал до двери, увидел, что она заперта, и, собравшись с силами, остановился. Я обернулся: глазам моим предстала группа, достойная того, чтобы ее изобразил Мурильо {17}. Несчастный юноша отличался на редкость красивым телосложением. Поза его выражала отчаяние, потоки крови струились по его телу. Монахи, в своих черных рясах, со свечами в руках, держали наготове бичи и походили то ли на скопище дьяволов, которым удалось захватить заблудшего ангела, то ли на фурий, которые преследуют обезумевшего Ореста {18}. И в самом деле, даже среди творений древних скульпторов нельзя было найти фигуры, которая изяществом своим и совершенством форм могла бы сравниться с той, которую они сейчас так варварски истязали. Как ни был мой дух угнетен тем, что все способности столько времени во мне подавлялись, зрелище это было так жестоко, что мгновенно его пробудило. Я кинулся защищать несчастного, ввязался в борьбу с монахами, и при этом у меня вырвались какие-то слова; сам я начисто их забыл, но зато они потом припомнили их во всех подробностях, какие способна воскресить в человеческой памяти злоба, и преувеличили все, как только могли.

Не помню уж, что было потом, но в конце концов меня на целую неделю заперли в келью за то, что я столь дерзко нарушил монастырскую дисциплину. А на несчастного послушника, воспротивившегося этой дисциплине, было наложено дополнительное покаяние, такое суровое, что от стыда и всех мук он потерял рассудок. Он стал отказываться от пищи, не мог уснуть и умер через неделю после ночи истязаний, свидетелем которых я стал. Это был юноша на редкость мягкий и обходительный; он увлекался литературой и даже монашеское обличие не могло скрыть изысканную прелесть всего его существа и манеры себя держать. Как бы украсили его эти качества, живи он в свете! Пусть даже свет мог употребить их во зло и извратить их, но разве привело бы все это к такому страшному и трагическому исходу? Могло ли быть, чтобы мирская жизнь довела его сначала до безумия, а потом обрекла на гибель? Похоронили его в монастырской церкви и надгробное слово произнес сам настоятель. Да, настоятель! Тот, кто приказал или разрешил и уж во всяком случае допустил, чтобы он был доведен до безумия, добиваясь, чтобы он признался в низменных побуждениях, которых на самом деле у него никогда не было.

Во время всей этой ханжеской церемонии отвращение мое возросло до крайних пределов. Если раньше я испытывал неприязнь к монастырской жизни, то теперь я ее презирал; каждому, кто знает человеческую натуру, известно, что искоренить это чувство гораздо труднее, нежели обычную неприязнь. Недолго мне пришлось ждать, чтобы оба эти чувства проявились еще раз.

Стояло очень жаркое лето, и началась эпидемия, которая проникла в стены монастыря: каждый день двоих или троих отправляли в больницу, а ухаживать за больными поручалось поочередно тем, кто должен был искупать покаянием разные мелкие провинности. Мне очень хотелось попасть в их число; я даже решил, что непременно совершу какой-нибудь легкий проступок, дабы навлечь на себя это наказание, которое в моих глазах было самой высокой наградой. Признаться ли вам, сэр, почему именно я этого добивался? Мне хотелось знать, какими становятся эти люди, когда в силу обстоятельств им приходится скинуть личину, которую они носят в монастыре, когда вызванные недугом страдания и приближение смерти вырывают у них полные откровенности признания. Я втайне предвкушал, что в предсмертной исповеди своей каждый из них признается в том, что обманным путем хотел завлечь меня, будет раскаиваться в причиненном мне зле и что немеющие уже губы будут молить меня о прощении... и мольба их не окажется тщетной.

Желанию этому, хоть и вызванному жаждой возмездия, можно было все же найти оправдание; однако вскоре я был избавлен от необходимости что-то делать, чтобы оно осуществилось. В тот же самый вечер настоятель прислал за мной и распорядился, чтобы я ухаживал за больными, освободив меня от обязанности посещать вечернюю службу. На первой кровати, к которой я подошел, оказался брат Павел. Он так и не поправился от последствий недуга, сразившего его в то время, как он нес свое покаяние; кончина молодого послушника, которого так безжалостно и незаслуженно истязали, окончательно его сразила.

Я пытался заставить его принять лекарства, удобнее уложить его в постели. Никто за ним не ухаживал. Он отказался и от того и от другого и слабым движением руки отстранил меня, сказав:

- \_Дайте мне хотя бы умереть спокойно\_.

Немного погодя он открыл глаза и узнал меня. По лицу его пробежала едва заметная улыбка: он ведь помнил, с каким участием я относился к его несчастному другу.

- Так это ты? - спросил он едва слышным голосом.

- Да, брат мой, это я. Скажи мне, могу ли я хоть чем-нибудь облегчить твою участь?

Он долго молчал, а потом вдруг ответил:

- Да, можешь.

- Так скажи мне, как.

Голос его, и до этого едва слышный, почти совершенно замер, и он прошептал:

- Не подпускай никого из них ко мне, когда я буду умирать, тебе не придется долго со мной возиться, час этот близок.

Я крепко сжал его руку в знак того, что обещаю ему это сделать. Но я почувствовал, что в этой просьбе умирающего таится что-то ужасное и вместе с ним неподобающее.

- Милый брат мой, ты, значит, чувствуешь, что скоро умрешь? Так неужели же ты не хочешь, чтобы вся община за тебя помолилась? Неужели ты отказываешься от благодати - от последнего причащения?

В ответ он только покачал головой, и боюсь, что я слишком хорошо его понял.

Я не стал больше докучать ему, а спустя несколько минут он уже совсем невнятно пробормотал:

- Не дай им... дай мне умереть. Они не оставили мне сил для других желаний.

Глаза его закрылись; я сидел у изголовья и держал его руку в своей. Сначала я еще ощущал, что он пытается пожать ее; потом движения его сделались все слабее, пальцы разжались. Брат Павел испустил дух.

Я продолжал сидеть возле него, все еще держа его похолодевшую руку, как вдруг стон, донесшийся с соседней кровати, вывел меня из забытья. Там лежал старый монах, тот самый, с

кем я вел долгий разговор в ночь накануне чуда, в которое я все еще твердо верил.

Я успел заметить, что у человека этого очень мягкий характер, что он приветлив и обходителен с другими. Очевидно, качества эти у мужчин всегда сочетаются с крайней вялостью ума и холодностью души. (У женщин все это бывает иначе, но весь мой жизненный опыт неизменно убеждал меня, что когда в характере мужчины обнаруживаются черты женской мягкости и уступчивости, то за этим следуют предательство, вероломство и бессердечие). И во всяком случае, если такие качества налицо, то монастырская жизнь особенно способствует тому, чтобы человек еще более ослабел душевно при том, что видом своим и манерами он будет располагать к себе окружающих. Когда человек делает вид, что он хочет помочь другим, а в действительности у него нет для этого ни сил, ни даже настоящего желания, то он тешит этим и свои собственные слабости, и еще большие слабости тех, на кого он направляет свое внимание. Монах, о котором идет речь, всегда считался человеком очень слабохарактерным, и вместе с тем в нем было какое-то особое обаяние. Его постоянно использовали для того, чтобы завлекать в монастырь новых послушников. Теперь он умирал; подавленный тяжелым состоянием, в котором он находился, я ни о чем не думал, кроме тех мер, которые надлежало немедленно принять, и я спросил его, чем я могу ему помочь, готовый сделать все, что было в моих силах.

- Мне ничего не надо, я хочу только умереть, - ответил он. Лицо его оставалось совершенно спокойным, но "в этом спокойствии было не столько смирения, сколько безразличия.

- Значит, вы совершенно уверены, что вы уже на пути к вечному блаженству?

- Я ничего об этом не знаю.

- Как же это, брат мой? Может ли быть, чтобы умирающий произносил такие слова?

- Да, если он говорит правду.

- Но если он монах... если он католик?

- Все это пустые слова. Сейчас я, во всяком случае, ощущаю в себе эту правду.

- Вы меня поражаете.

- Мне уже все равно... Я стою на краю пропасти... должен кинуться вниз, и совершенно неважно, подымут ли при этом крик люди, которые это увидят.

- Но ведь вы же выразили желание умереть?

- Желание! Скажите лучше, нетерпение! Я только маятник, который шестьдесят лет кряду отбивал одни и те же часы и минуты. Не пора ли этому механизму захотеть, чтобы его завели? Жизнь моя до того однообразна, что всякий переход, даже к страданию, может быть только благом. Словом, я устал и мне хочется перемены.

- Но ведь и я, и вся монастырская община уверены, что вы сделали монахом по призванию.

- Все, что вам казалось, было обманом... Я жил обманом... Я весь был обман. В мой смертный час я прошу прощения за то, что говорю правду... Думаю, что теперь никто не может мне отказать в этом праве или опровергнуть мои слова... Монашество было мне ненавистно. Заставьте человека страдать - и силы его проснутся, обреките его на безумие - и он впадет в оцепенение, подобно тем живым существам, которых мы находим теперь в дереве или камне застывшими и успокоенными; но осудите его одновременно и на страдание и на бездействие, как то бывает в монастырях, - и он испытает и муки преисподней, и муки распада перед небытием. В течение шестидесяти лет я непрестанно проклинал свою жизнь. Ни разу не был я окрылен надеждой: мне ничего не оставалось делать и нечего было ждать. Ни разу не ложился я спать умиротворенный, ибо в конце каждого дня наместо благочестивых молитв я мог только перебирать в памяти намеренно учиненные за этот день святотатства. С тех пор как жизнь твоя перестает подчиняться твоей собственной воле и подпадает под влияние некой механической силы, она становится для мыслящего существа нестерпимой мукой.



Я никогда ничего не ел с аппетитом, ибо знал, что, хочу я есть или нет, я все равно обязан являться в трапезную, как только зазвонит колокол. Я никогда не мог лечь спать спокойно, ибо знал, что тот же колокол призовет меня снова, не посчитавшись с тем, нуждается ли мой организм в продлении или сокращении отдыха. Я никогда по-настоящему не молился, ибо молиться стало моей обязанностью. Я отвык надеяться, ибо возлагать надежды мне всегда приходилось не на господнюю правду, а на обещания людей и жить в вечном страхе перед ними. Спасение мое зависело от жизни такого же слабого существа, каким я был сам, и мне, однако, приходилось вынашивать в себе эту слабость и добиваться, чтобы луч благодати господней хоть на миг блеснул мне сквозь жуткую тьму человеческих пороков. \_Я так и не узрел его\_ - я умираю без света, без надежды, без веры, без утешения.

Слова эти он произнес совершенно равнодушно, и равнодушие его было страшнее, чем самые дикие корчи, в которые повергает человека отчаяние.

- Но послушайте, брат мой, - сказал я, едва переводя дыхание, - вы же всегда были очень точны в исполнении монастырских правил.

- Это было всего-навсего привычкой - поверь словам умирающего.

- Но, помните, вы же ведь очень долго убеждали меня стать монахом; настойчивость ваша была, очевидно, искренней, это ведь было уже после того, как я принял обет.

- Вполне естественно, что человеку несчастному хочется иметь товарищей по несчастью. Ты скажешь, что это крайний эгоизм, что это мизантропия, но вместе с тем это очень естественно. Тебе ведь приходилось видеть в кельях клетки с птицами. Пользуются же люди прирученными птицами для того, чтобы заманивать диких? Мы были птицами в клетках, вправе ли ты осуждать нас за этот обман?

Я не мог не услышать в словах этих той \_циничной откровенности\_ глубоко порочных людей\_ {3\* Смотри госпожа Жэилис. "Жюльен Дельмур" {19}.}, того страшного паралича души, который лишает ее возможности что-либо воспринять или на кого-либо воздействовать; душа тогда как бы говорит своему обвинителю: "Подойди, сопротивляйся, спорь - я вызываю тебя. Совесть моя мертва, она не способна ни выслушать, ни высказать, ни повторить упрека".

Все это поразило меня, я пытался себя переубедить.

- Ну а как же тогда объяснить, - сказал я, - что вы так неукоснительно исполняли все монастырские правила?

- \_А ты что, разве никогда не слышал, как звонит колокол?\_

- Но ведь ваш голос всегда был самым громким, самым отчетливым в хоре.

- \_А ты разве никогда не слышал, как играет орган?\_..

\*\*\*\*\*

Я вздрогнул, однако продолжал расспрашивать его, я считал, что, сколько бы я от него ни узнал, этого все равно будет мало.

- Но скажите, брат мой, ведь молитвы, которым вы непрестанно предавались, должны же были привести вас к тому, что вы незаметно прониклись их духом, не правда ли? Через внешние формы вы должны были в конце концов приобщиться и к самой сути вероучения? Не так ли, брат мой? Скажите мне перед смертью всю правду. Как бы я хотел обрести эту надежду! Я готов претерпеть все что угодно, лишь бы она пришла ко мне.

- Такой надежды нет и не будет, - сказал умирающий, - не обольщайся. Если человек непрестанно исполняет все религиозные обряды, а сам не проникнут духом пресвятой веры, сердце его безнадежно черствеет. Нет людей более чуждых религии, нежели те, кто постоянно занят соблюдением ее форм. Я твердо убежден, что добрая половина нашей братии сущие атеисты. Мне довелось кое-что слышать о тех, кого принято называть еретиками, и читать то, что они пишут. Среди прихожан наших есть люди, которые ведают местами в церквях (ты

скажешь, что это страшное святотатство - торговать местами в храме господнем, и ты будешь прав), у них есть люди, которые звонят в колокол, когда надо бывает хоронить их покойников, и единственное, чем эти несчастные проявляют свою веру, - они следят, пока идет месса (принимать в ней участие они не могут), за взиманием платы и, падая на колени, возглашают имена Христа и господа бога и одновременно прислушиваются к тому, как хлопают двери, ведущие к привилегированным местам, ибо не могут отрешиться от суетных мыслей, и всякий раз вскакивают с колен, чтобы и им досталась хоть малая толика того серебра, за которое Иуда предал Спасителя и себя самого. Ну а их звонари - можно подумать, что \_соприкосновение со смертью делает их человечнее\_. Как бы не так! Могильщики, например, \_получают тем большую плату, чем глубже вырытая могила\_. И вот звонарь-могильщик и все остальные затевают иногда настоящую драку над бездыханным телом, которое самой неподвижностью и немотой своей являет им грозный упрек за эту калечащую человека корысть. Я ничего этого не знал, но последние его слова смутили меня.

- Так, выходит, вы умираете без надежды и веры? Ответом мне было молчание.

- Но ведь вы же сумели убедить меня своим красноречием, которое казалось ниспосланным свыше, чудом, которое я увидел собственным" глазами.

Он рассмеялся. В смехе умирающего есть всегда что-то очень страшное: находясь на грани земного и загробного мира, он как будто лжец и тому и другому и утверждает, что и радости, которые несет нам первый, и надежды, которые сулит второй, не более чем обман.

- Чудо это сотворил я, - ответил он с невозмутимым спокойствием и увя, даже с тем торжеством, которое бывает у заядлых мошенников. - Я знал, из какого водоема туда поступает вода; с согласия настоятеля мы за ночь выкачали его весь. Пришлось как следует поработать, и чем больше мы трудились, тем больше потешались над твоим легковерием.

- Но ведь дерево...

- Я знал кое-какие секреты из области химии, сейчас у меня уже нет времени их тебе раскрывать - ночью я обрызгал листья тополя определенным составом, и наутро у них был такой вид, \_будто они увяли\_. Сходи посмотри на это дерево недели через две, и ты увидишь, что оно опять такое же зеленое, каким было.

- И это ваши предсмертные слова?

- Да.

- А зачем же вы меня так обманули?

Он на какое-то мгновение задумался, а потом, собрав все силы и приподнявшись на кровати, воскликнул:

- Потому что я был монахом. Мне нужен был этот обман, чтобы завлекать новые жертвы и удовлетворить мою гордость! Нужны были мне и товарищи по несчастью, чтобы облегчить его тяжесть!

Говоря это, он весь содрогался, вместо привычной кротости и спокойствия на лице его появилось выражение, которое я даже не могу описать, - что-то насмешливое, торжествующее и дьявольское. В эту страшную минуту я все ему простил. Я схватил распятие, лежавшее у его изголовья, и поднес его к губам умирающего. Он оттолкнул его.

- Если бы я захотел, чтобы со мной разыграли этот фарс, я выбрал бы для него другого актера. Знаешь, стоило мне только захотеть, и сам настоятель и половина всего монастыря явились бы сейчас к моему изголовью со своими свечами, со святой водой, с мирницей для последнего помазания и всем предсмертным маскарадом, которым они пытаются обмануть даже умирающего и оскорбить господа даже у врат его вечного царства. Я потому и согласился, чтобы ты ухаживал за мной, что знал, какое отвращение ты питаешь к монастырской жизни, и думал, что тебе, может быть, захочется узнать о том, сколько в ней обмана и до какого отчаяния она

может довести человека.

Какой эта жизнь ни казалась мне постыдной, ужасы, о которых я услышал сейчас из уст умирающего монаха, превзошли все то, что рисовало мне мое воображение. Я представлял себе, что она начисто исключает земные радости и даже лишает надежд на них; но теперь речь шла о другой чаше весов, об ином мире - и там тоже была пустота. Можно было подумать, что иезуиты держат в руках обоюдоострый меч и, став между временным и вечным, направляют его против того и другого. На одном лезвии, обращенном в сторону мира бренного, было, как видно, начертано слово "страдай", а на другом, обращенном к вечности, - "не надейся". Потеряв в душе всякую надежду, я все еще продолжал допытываться у него, как мне ее обрести, - у него! А ведь он лишал меня даже тени надежды каждым произнесенным словом.

- Так неужели же все должно погрузиться в эту бездну мрака? Неужели для того, кто страдает, нет ни света, ни надежды, ни утешения? Неужели кому-то из нас не дано примириться с нашей долей, - сначала стерпеть ее, а потом ее полюбить? И наконец, если уж отвращение наше так неодолимо, то не можем ли мы поставить ее себе в заслугу перед богом и принести ему в жертву все наши земные желания и надежды, уповая на то, что он воздаст нам за все сторицей? Даже если мы не можем принести эту жертву с тем благоговением, которое явилось бы залогом того, что господь ее примет, то неужели нам не дано надеяться, что он все же начисто ее не отвергнет? Неужели мы не можем быть если не счастливы, то хотя бы спокойны; не можем если не удовлетвориться ею, то хотя бы смириться? Говорите же, скажите, возможно ли это?

- Ты хочешь, чтобы уста умирающего исторгли слова (обмана, - этого ты не добьешься. Узнай же, что тебя ждет. Люди, обладающие тем, что можно назвать склонностью к религии, иными словами, визионеры, аскеты, люди слабые и угрюмые, творя молитвы, могут возвысить себя до своего рода опьянения. Когда они обнимают мраморные изваяния, им может показаться, что холодный камень затрепетал от прикосновения их руки, что в недвижных фигурах пробуждается жизнь, что они внимают их мольбам, что они оборачиваются к молящимся и в их безжизненных глазах светится милосердие. Когда они целуют распятие, им могут послышаться небесные голоса, изрекающие слова прощения; им может почудиться, что Спаситель принимает их в свои объятия и зовет их вкусить вечное блаженство; что небеса разверзаются у них на глазах и что звучат райские гармонии, прославляющие их торжество. Но это не что иное, как самое обыкновенное опьянение, и самый заурядный врач знает, какими снадобьями можно вызвать это состояние у пациента. Секрет этого самозабвенного экстаза узнается в аптеке, и его можно приобрести по более сходной цене. Жители Северной Европы вызывают в себе такой экстаз, прибегая к спирту, турки - к опиуму, дервиши - к пляске, а христианские монахи - к исступленности духа, действующей на изможденную плоть. Все это - опьянение, разница заключается только том, что в мирянах подобное опьянение всегда вызывает довольство собой, тогда как монахи - люди другого мира, - испытывая подобное же удовольствие, считают, что оно исходит от бога. Вот почему в последнем случае опьянение бывает более глубоким, обманным и опасным. Однако природа, которую такого рода излишества неизбежно насилуют, взывает поистине ростовщические проценты за все, что у нее незаконно отняли. Он заставляет расплачиваться за минуты восторга часами отчаяния. Переход от экстаза к ужасу совершается почти внезапно. За какие-нибудь несколько мгновений избранники небес превращаются в изгоев. Они начинают сомневаться в истинности испытанных ими восторгов - в истинности своего призвания. Они сомневаются во всем: в искренности своих молитв, в действенности искупления грехов, которое дарует Спаситель, и в заступничестве Пресвятой девы. Из рая они низвергаются в ад. Они начинают кричать, испускать дикие вопли, богохульствовать. Со дна преисподней куда, как им кажется, их столкнули, они разражаются бранью, понося Творца, ревут, что их прокляли навеки за их грехи, в то время как единственный их грех - это

неспособность вынести чрезмерное возбуждение. Как только припадок этот кончается, они снова мнят себя избранниками господними. Людям же, которые начинают расспрашивать их по поводу недавно пережитого ими отчаяния, они отвечают, что попали по власть Сатаны, что господь оставил их, и т. п. Все святые, начиная Магомета и кончая Франциском Ксаверием {20}, были всего-навсего сплавом безумия, гордости и самообмана; последний не имел бы, может быть таких тягостных последствий, но людям свойственно мстить за то, что он: обманывали себя, тем, что они с особенным рвением начинают обманывать других.

Что может быть ужаснее того состояния души, когда сознание собственной греховности \_вынуждает нас хотеть, чтобы каждое слово оказалось ложью, и вместе с тем мы знаем, что каждое слово - сущая правда\_. Именно в таком состоянии я пребывал тогда, но я пытался смягчить его говоря себе: "Положим, я никогда не стремился сделаться святым, но неужели же участь всех так плачевна?".

Монах, который, казалось, радовался случаю излить всю свою злобу, скопившуюся за шестьдесят лет страдания и лицемерия, напрягал как только мог свой уже слабеющий голос для того, чтобы мне ответить. Можно было подумать, что все то зло, которое он будет в силах излить на другого, никогда не сравняется с тем, которое пришлось вытерпеть ему самому.

Люди очень чувствительные и восприимчивые, - говорил он, - но ли шенные веры - несчастнейшие из всех, но их страдания раньше всего приходят к концу. Их изводит повседневное принуждение, угнетает однообразие молитв; их ввергают в отчаяние тупая наглость и чванливое самодовольство. Они борются, они противятся злу. На них накладывают покаяния, их наказывают. Их собственная строптивость служит оправданием жестокого обращения с ними. Впрочем, даже если бы не было этого оправдания, с ними все равно обращались бы жестоко, ибо ничто не дает такой услады людям, гордящимся своей властью над другими, как победа над теми, кто по праву может гордиться умом. Остальное ты легко можешь себе представить, ибо сам был многу очевидцем. Ты видел несчастного юношу, который заступился за брата Павла. Его так избили, что он сошел с ума. Доведенный сначала до безумия, потом до полного отупения, он умер! Я был тайным советчиком в этом деле, причем все было обставлено так, что меня ни в чем нельзя было заподозрить.

- Чудовище! - вскричал я.

Истина \_теперь\_ сравняла нас, и, больше того, она даже лишила меня возможности говорить с ним с той мягкостью, какую человеческие чувства предписывают нам по отношению к умирающему.

- Почему? - спросил он с тем спокойствием, которое в свое время расположило меня к нему, а теперь возмущало, но без которого нельзя было представить себе его лица, - это ведь сократило его страдания, так неужели ты станешь осуждать меня за то, что я не продлил их?

Даже когда этот человек старался расположить к себе, в словах его сквозили холод, ирония и насмешка, и это придавало самым обыкновенным вещам убедительность и силу. Можно было подумать, что он всю жизнь скрывал правду для того, чтобы в смертный час высказать ее до конца.

- Такова участь людей чувствительных; люди менее чувствительные постепенно чахнут и погибают; незаметно дни их проходят в разведении цветов, в уходе за птицами. Они превосходно исполняют все, что положено, на их долю не достается ни порицаний, ни похвал - удел их оцепенение и душевная опустошенность. Им хочется смерти хотя бы потому, что приготовления к ней могут на какое-то время развлечь их и скрасить им монастырские будни, но их и тут постигает разочарование, ибо занимаемое положение запрещает им развлекаться. И они умирают так же, как и жили, - непробудившимися и вялыми. Свечи зажжены - они их не видят, их соборуют - они этого не чувствуют; читаются молитвы, но они не могут в этом

участвовать; и в самом деле, представление разыгрывается с начала до конца, только главное действующее лицо отсутствует, его уже нет. Другие постоянно предаются мечтам. Они бродят в одиночестве по монастырю, по саду. Они питают себя ядом обольстительных, но бесплодных иллюзий. Они мечтают о том, что землетрясение превратит монастырские стены в груды обломков, что посреди сада обнаружится вулкан и начнет извергаться лава. Они тешат себя мыслью, что монастырский порядок будет ниспровергнут, что на обитель нападут разбойники, словом, что непременно что-то случится, как бы невероятно это ни было. С тайной надеждой думают они о том, что может вспыхнуть пожар (если в монастыре начнется пожар, то двери откроются настежь и "Sauve qui peut" {Спасайся кто может (франц.)} будет для них спасительным словом). Мысль эта рождает в них самые горячие надежды: они смогут вырваться вон, кинуться на улицы; убежать куда-нибудь за город, они ведь готовы ринуться куда угодно, лишь бы уйти отсюда. Потом надежды эти в них угасают, тогда они становятся раздражительными, угрюмыми, не знают покоя. Если они занимают какое-то положение в монастыре, то их освобождают от их обязанностей, и они остаются у себя в кельях, ничем не занятые, отупевшие от безделья, если же у них нет этих привилегий, их вынуждают неукоснительно исполнять все обязанности, и тогда отупение наступает гораздо скорее: так изможденные клячи, которых заставляют работать на мельнице, слепнут гораздо раньше тех, которым приходится выполнять обычную работу. Иные из этих людей ищут прибежище в том, что они называют религией. Они обращаются за помощью к настоятелю, но что может сделать настоятель? Ему ведь тоже не чуждо ничто человеческое, и, может быть, самого его охватывает отчаяние, так же как и всех несчастных, которые молят его, чтобы он их от этого отчаяния избавил. Потом они падают ниц перед образами святых - они взывают к ним, а иногда даже оскорбляют их. Они умоляют их заступиться за них, плачут, видя, что мольбы эти оказались напрасны, и устремляются к другим, которые, по их мнению, выше в глазах господина. Они молят снизойти к ним Иисуса Христа и Пресвятую деву, возлагая на них свои последние надежды. Но и эти их усилия оказываются тщетными: Пресвятая дева неумолима, невзирая на то что подножье, на котором она стоит, истерто прикосновениями их колен, а ноги - их бесчисленными поцелуями. Потом они начинают ходить ночами по коридорам, будят спящих, стучатся в каждую келью, восклицая: "Брат Иероним, помолись за меня!", "Брат Августин, помолись за меня!". Потом на перилах алтаря появляется дощечка, на которой написано: "Дорогие братья, помолитесь о заблудшей душе монаха!". На следующий день появляется другая надпись: "Просят всю общину помолиться за монаха, который охвачен отчаянием". Потом они убеждаются, что ждать облегчения их страданий от людей так же напрасно, как ждать его от бога, что нет на свете такой силы, которая могла бы избавить от них или хотя бы смягчить все те муки, которые причиняет им их доля. Они уползают в свои кельи; через несколько дней звонит колокол, и братья восклицают: "Он почил в бозе", после чего торопятся завлечь к себе еще одну жертву.

- Так это и есть монастырская жизнь?

- Да, и может быть только два исключения из этого правила: первое когда воображение каждый день возрождает в человеке надежду бежать из монастыря и он продолжает тешить себя этой надеждой даже на смертном одре, и второе - когда (и так это было со мной) человек облегчает свои страдания, перекидывая их на других, и, напоподобие паука, освобождается от яда, которым полон и который, вздуваясь, грозит разорвать его; он по капельке вливает его в каждую муху, которая бьется, страдает и гибнет в его сетях, - так же вот, как и ты.

Когда несчастный произносил эти слова, какая-то злобная усмешка перекосила его черты, и мне стало страшно. На минуточку я отошел от его постели. Вернувшись, я посмотрел на него: глаза его были закрыты, руки недвижно простерты: он умер. Это были его последние слова. По

выражению его лица можно было судить о душе; лицо его было спокойно и бледно, но застывшая насмешка по-прежнему кривила его губы.

Я выбежал из лазарета. В то время мне, как и вообще всем, кто ухаживал за больными, разрешалось выходить в сад в неположенное время, может быть для того, чтобы уменьшить опасность заразиться. Мне было особенно приятно воспользоваться этим разрешением. Сад, озаренный спокойным лунным светом, ничем не омраченное небо над ним, звезды, обращающие человека к мыслям о боге, - все это было для меня одновременно и упреком и утешением. Я пытался пробудить в себе мысли и чувства, но ни то ни другое мне не удалось. А ведь, может быть, именно тогда, когда на душу ложится такая вот тишина, в часы, когда умолкают все наши крикливые страсти, мы больше всего готовы услышать голос господень. Воображение мое неожиданно раскинуло над моей головой величественный свод огромного храма; лики святых совсем потускнели, когда я глядел на звезды, и даже алтарь, над которым висело изображение Спасителя мира, распятого на кресте, побледнел перед моим внутренним взором, когда я глядел на луну, что "в ярком сиянии проплывает по небу" {21}. Я упал на колени. Я не знал, к кому я должен обратить свои молитвы, но так, как в эту минуту, мне никогда еще не хотелось молиться. Вдруг кто-то коснулся края моей одежды. Я вздрогнул, как будто совершил какой-то проступок и меня поймали на месте. Я тут же вскочил на ноги. Возле меня стояла темная фигура и невнятный, прерывающийся голос произнес:

- Прочтите, - в руку мне сунули какую-то бумажку. - Четыре дня носил я это письмо зашитым в рясу. Я следил за вами денно и ночью. Сейчас только мне представился случай передать его вам: то вы были у себя в келье, то пели в хоре, то были в лазарете. Разорвите это письмо на мелкие клочки и бросьте их в ручей или лучше \_проглотите их\_, как только прочтете. Прощайте. Ради вас я пошел на опасное дело, - добавил он, исчезая во мраке.

Когда он уже уходил, я узнал его - это был привратник монастыря. Я отлично понимал, какой опасности он подвергал себя, передавая мне эту записку: ведь в монастыре существовало предписание, обязывавшее передавать все письма воспитанников, послушников и монахов, как исходящие от них, так и обращенные к ним, на предварительный просмотр настоятелю, и я не знаю ни одного случая, когда бы это правило нарушили. Воспользовавшись ярким светом луны, я стал читать, и в глубине моего сердца затрепетала какая-то смутная надежда, хоть у меня и не было для этого никаких оснований и я даже представить себе не мог, о чем в ней будет идти речь.

"Милый брат (Боже мой! Как поразили меня эти слова!), представляю себе, как ты возмутишься при первых же строках моего письма. Умоляю тебя ради нас обоих, прочти все спокойно и со вниманием. Мы оба с тобой сделались жертвами обмана, учиненного родителями нашими и духовными лицами; отца и мать мы должны простить, потому что и они сами тоже сделались жертвами этого обмана. Совесть их в руках у духовника, а судьбы - и наши' с тобой и их обоих брошены к его ногам. Милый брат, - какую тайну я должен тебе открыть! Меня воспитывали по указаниям духовника, его влияние на слуг было столь же велико, как и на их несчастного господина: меня всячески старались восстановить против тебя, говорили, что ты лишаешь меня всех моих прав и что твое вторжение и противозаконно, и позорит нашу семью. Может быть, это хотя бы отчасти объяснит тебе ту противоестественную неприязнь, которую ты нашел во мне, когда мы впервые встретились. Едва ли не с колыбели меня учили ненавидеть тебя и бояться - ненавидеть тебя как врага и бояться как самозванца. Таков

был замысел духовника. Он считал, что влияние, которое он приобрел, заставляя моих отца и мать во всем его слушать, недостаточно; тщеславие его хотело большего: подчинить себе всю нашу семью и прославить себя как пастыря. Вся власть церкви основана на страхе. Ей непременно надо раскрывать преступления или изобретать их. Смутные слухи, ходившие в нашей семье, постоянное уныние, в котором пребывала моя мать, волнение, тревожившее по временам отца, - все это помогло духовнику напасть на след, и он с неослабевающим рвением пустился по извилистым тропам сомнения, тайны и разочарований, пока наконец на исповеди моя мать под угрозами, что он разоблачит ее, если только она осмелится что-либо от него скрыть, будь то поступок или влечение сердца, откровенно ему во всем не призналась.

Мы оба с тобой тогда еще были детьми. В голове духовника сразу же созрел план, который он потом и осуществил в ущерб всем, кроме себя самого. Я убежден, что, когда он начинал плести свои интриги, у него не было какого-либо злого умысла в отношении тебя. Он хотел только одного: упрочить свое влияние, которое духовные лица привыкли отождествлять с влиянием церкви. Навязать свою волю целой семье, и притом одной из самых знатных в стране, возыметь власть над нею и тиранить ее, использовав для этого проступок женщины, о котором ему удалось выведать, - вот все, к чему он стремился. Людям, принявшим монашество и тем самым лишившим себя всех радостей, которые приносят нам наши чувства, приходится разжигать в себе другие, искусственные страсти, как-то: тщеславие и жажду власти, и духовник обрел цель жизни именно в них. С той поры все стало делаться так, как он этого хотел, и всеми поступками моих родителей руководил он. Это по его наущению мы с тобой с детских лет были разлучены: он боялся, чтобы наша кровная близость не нарушила его планов; это он воспитал меня в духе самой жестокой вражды к тебе. Стоило моей матери заколебаться, как он напоминал ей об обете, который она так опрометчиво ему дала. Когда мой отец пытался воспротивиться этому насилию, ему начинали говорить о совершенном моей матерью грехе, о прискорбных раздорах в нашей семье, и из уст духовника раздавались страшные слова: обман, клятвопреступление, святотатство, гнев церкви. Ты поймешь, что человек этот не остановится ни перед чем, если я скажу тебе, что, когда я в сущности был еще ребенком, он открыл мне, в чем состоит совершенный моей матерью грех, добиваясь того, чтобы я с самых ранних лет проникся его взглядами. Да падет гнев божий на негодея, который мог позволить себе осквернять такими словами слух ребенка и растлевать его сердце рассказом о позоре его матери - и все только для того, чтобы сделать из него ревностного поборника церкви! Но и это еще не все. Как только я вырос настолько, чтобы выслушивать его речи и понимать их смысл, он принялся отравлять мою душу всеми доступными ему способами. Он старался всячески преувеличить пристрастие моей матери к тебе и уверял меня, что чувство это часто вступает в напрасную борьбу с ее совестью. Отца моего он изображал мне человеком слабым, но любящим и в силу гордости, вполне

естественной для юноши, столь рано ставшего отцом, крепко привязанным к своему первенцу. Он говорил: "Сын мой, ты должен готовиться к борьбе со множеством предрассудков - этого требуют от тебя интересы церкви и общества. \_Разговаривая с родителями, будь высокомерен\_; ты владеешь тайной, которая не может не разъесть их совесть, используй это в своих интересах". Можешь представить, какое действие производили эти слова на мое пылкое сердце, - ведь говорил их тот, в ком меня учили видеть посланца божьего.

Все это время, как мне потом довелось узнать, в душе его шла борьба: он долго не мог решить, не лучше ли ему стать на твою сторону или, во всяком случае, лавировать между тобой и мной, дабы, пробудив в моих родителях подозрительность, еще больше укрепить свою власть над ними. Но какие бы обстоятельства ни влияли на его решение, нетрудно понять, какое влияние могли оказать на меня его уроки. Я рос беспокойным, ревнивым и мстительным, я сделался дерзок с родителями и подозрителен ко всем окружающим. Мне еще не исполнилось одиннадцати лет, как я стал уже нагло выговаривать отцу за то, что он оказывает тебе предпочтение, я стал оскорблять мою мать, напоминая ей о содеянном ею грехе, я жестоко обращался со слугами, я стал грозой всех живших в доме; а негодяй, который поторопился сделать из меня дьявола, оскорбляя мои сыновние чувства и заставляя меня попирать все самое святое, то, что он, напротив, должен был научить меня беречь и лелеять, был убежден, что исполняет свой долг и укрепляет власть церкви.

*Scire volunt secreta domus et inde timeri \**.

{\* Тайны дома узнать норовят, чтоб держать его в страхе {22} (лат.).}

Накануне дня нашего первого свидания (которого нам раньше не собирались давать) духовник пришел к моему отцу.

- Сеньор, - сказал он, - я думаю, что будет лучше познакомить братьев друг с другом. Может быть, господь тронет их сердца и, снизойдя к ним, благодатным влиянием своим поможет вам отменить приказ, грозящий одному из них заточением и обоим - жестокой разлукой на вечные времена.

Отец согласился, в глазах его засияли слезы радости. Слезы эти, однако, не смягчили сердца духовника; он пришел ко мне и сказал:

- Дитя мое, соберись с силами, твои вероломные, жестокие и несправедливые родители собираются \_разыграть перед тобою комедию\_: они решили свести тебя с твоим незаконным братом.

- Я отпихну его ногой у них на глазах, если только они осмелятся это сделать, - сказал я гордо, ибо раньше времени воспитание сделало из меня деспота.

- Нет, дитя мое, этого нельзя, ты должен сделать вид, что подчиняешься воле родителей, но ты не должен становиться их жертвой. Обещай мне, дорогое дитя мое, обещай, что будешь решителен и сумеешь притвориться.

- Обещаю вам быть решительным, а притворство можете оставить



себе.

- Так оно и будет, коль скоро это в твоих интересах. Он снова побежал к моему отцу.

- Сеньор, говоря с вашим младшим сыном, я пустил в ход все красноречие, дарованное мне господом и природой. Сердце его смягчилось, он уже уступил; он ждет не дождется, когда сможет кинуться в объятия брата и услышать, как вы благословите обоих ваших сыновей, соединив их сердца: ведь и тот и другой - ваши родные дети. Вы должны отказаться от всех предрассудков и...

- У меня нет никаких предрассудков, - воскликнул мой несчастный отец, - я хочу только одного: увидеть, как оба мои сына обнимут друг друга, и, если господу будет угодно призвать меня в этот миг к себе, я повинуюсь его призыву и умру от радости.

Духовник попенял ему за эти слова, вырвавшиеся из глубины сердца, и, нисколько ими не тронутый, поспешил снова ко мне, стремясь довести до конца затеянное им дело.

- Дитя мое, я предупредил тебя о том, что все родные твои вступили в заговор против тебя. Доказательства этому ты увидишь уже завтра; твоего брата привезут сюда, тебе велят обнять его и будут думать, что ты согласишься, но стоит только тебе это сделать, и твой отец истолкует это как знак того, что ты отказываешься от всех своих прав единственного законного сына. Уступи своим лицемерным родителям, обними своего брата, но выкажи при этом свое отвращение к этому поступку, дабы, обманывая тех, кто решил обмануть тебя, не поступать против совести. Будь же осмотрителен, мое дорогое дитя; обними его так, как обнял бы змею: он столь же хитер, а яд его смертелен. Помни, что от решения твоего зависит исход этой встречи. Сделай вид, что воспылил к нему любовью, но помни при этом, что ты обнимаешь смертельного своего врага.

При этих словах, как я ни был к тому времени развращен им, я содрогнулся.

- Но ведь это же мой родной брат! - воскликнул я.

- Это ничего не значит, - сказал духовник, - это враг господа нашего и самозванец, не признающий закона. Ну что же, дитя мое, теперь ты готов?

- Да, готов, - ответил я.

Ночью, однако, я не знал покоя. Я попросил, чтобы ко мне вызвали духовника.

- Но как же все-таки поступят с этим несчастным? (речь шла о тебе), - спросил я.

- Он должен принять монашество, - изрек духовник. Слова эти пробудили во мне" вдруг такое участие к тебе, какого у меня никогда не было раньше.

- Он никогда не станет монахом, - сказал я, исполненный решимости, ибо человек этот научил меня говорить решительно. Духовник, казалось, был смущен, но в действительности испуган тем духом непокорности, который он сам же во мне пробудил.

- Пусть лучше идет служить в армию, - сказал я, - пусть станет самым обыкновенным солдатом, я помогу ему продвинуться выше; пусть он изберет самую низкую профессию, мне не будет стыдно признать его своим братом, но знайте, отец мой, монахом ему никогда не бывать.

- Дорогое мое дитя, на каком же основании ты так яро противишься этому решению? Это ведь единственное средство для того, чтобы в семье вашей снова воцарился мир, и для того, чтобы его обрело жалкое существо, чья судьба тебя так волнует.

- Отец мой, я не хочу больше этого слушать. Обещайте мне, что вы никогда не станете понуждать моего брата принять монашество, если хотите, чтобы я обещал вам в будущем повиновение.

- Понуждать! Какое же может быть понуждение там, где речь идет о призвании, дарованном свыше.

- У меня нет в этом уверенности, но я хочу, чтобы вы обещали мне то, о чем я прошу.

Духовник колебался, но потом сказал:

- Хорошо, обещаю.

И он поспешил сообщить моему отцу, что я больше не противлюсь нашей встрече с тобой и что я в восторге от того, что, как мне стало известно, брат мой полон ревностного желания сделаться монахом. Так была устроена наша первая встреча.

Когда по приказанию отца руки наши сплелись в объятии, то, клянусь тебе, брат мой, я ощутил в них ту дрожь, которая говорит о любви. Но сила привычки вскоре подавила во мне естественные чувства, и я отшатнулся от тебя; собрав все силы, которыми наделила меня природа и которые во мне породила страсть, я постарался придать лицу своему выражение ужаса и с великой дерзостью выставил его напоказ родителям, а в это время духовник, стоя за их спиной, улыбался и делал мне знаки, которые должны были меня приободрить. Мне казалось, что я отлично сыграл свою роль, во всяком случае сам я был доволен собой и удалился со сцены такими гордыми шагами, как будто стопы мои попирали простертый под ними мир, - тогда как в действительности я попирали ими голос крови и трепет сердца. Несколько дней спустя меня послали в монастырь. Духовника охватила тревога, когда он услышал из моих уст тот непререкаемый тон, которому он сам же меня учил, и он настоял на том, чтобы на воспитание мое обратили особое внимание. Родители мои согласились со всеми его требованиями. Как это ни странно, согласился с ними и я; но когда меня посадили в карету и повезли в монастырь, я вновь и вновь повторял духовнику: "Помните, мой брат не станет монахом".

Следовавшие за этим строки невозможно было прочесть, должно быть, писались они в большом смятении; порывистость и пылкий нрав моего брата передались его почерку. Пропустив несколько совершенно неразборчивых страниц, я смог различить следующие слова:

\* \* \* \* \*

"Странно было подумать, что ты, который был предметом моей застарелой ненависти, после посещения монастыря возбудил во мне участие. Если раньше я принял твою сторону из одной только гордости,

то теперь у меня уже были веские основания ее отстаивать. Сострадание, инстинкт - все равно что, но чувство это сделалось долгом. Когда я видел чье-либо презрительное обращение с людьми низших сословий, я говорил себе: "Нет, ему никогда не придется этого испытывать - это же мой брат". Когда, занимаясь чем-либо, я делал успехи и меня за это хвалили, я с горечью думал: "Меня хвалят, а на его долю никогда не достанется похвалы". Когда меня наказывали, что случалось гораздо чаще, я думал: "Он никогда не испытает этого унижения". Воображение мое увлекало меня все дальше. Я верил, что в будущем сделаюсь твоим покровителем, мне казалось, что я смогу искупить несправедливость природы, оказать тебе помощь и возвеличить тебя, добьюсь того, что в конце концов ты признаешь сам, что обязан мне больше, чем родителям, что я кинусь к тебе без всякой задней мысли, с открытым сердцем, и мне ничего не надо будет взамен, никакой другой благодарности, кроме твоей любви. Я уже слышал, как ты называешь меня братом, я просил тебя не произносить этого слова и называть меня своим благодетелем. Гордый, великодушный и горячий от природы, я еще не окончательно освободился от влияния духовника, но всем моим существом, каждым порывом души уже тянулся к тебе. Может быть, причина этого лежит в особенностях моей натуры, которая неустанно боролась против всего, что пытались ей навязать, и с радостью вбирала в себя все то, что ей самой хотелось узнать, к чему ей самой хотелось привязаться. Не приходится сомневаться в том, что, как только во мне стали возбуждать ненависть к тебе, мне захотелось твоей дружбы. Твои кроткие глаза, их нежный взгляд постоянно преследовали меня в обители. На все предложения стать мне другом, исходившие от воспитанников монастыря, я отвечал: "Мне нужен брат". В поведении моем появились резкость и сумасбродство, и в этом нет ничего удивительного: ведь совесть моя стала противодействовать заведенным привычкам. Иногда я исполнял все, чего от меня хотели, с таким рвением, которое заставляло тревожиться за мое здоровье; порою же никакая сила не могла заставить меня подчиниться повседневному монастырским правилам и никакое наказание меня не страшило. Общине надоело терпеть мое упрямство, резкость и частые нарушения устава. Было написано письмо духовнику с просьбой удалить меня из монастыря, но прежде чем он успел это сделать, я заболел лихорадкой. Меня окружили неослабным вниманием, но на душе у меня была тяжесть, и никакие заботы не могли облегчить моего положения. Когда в назначенные часы мне со скрупулезной точностью подносились лекарства, я говорил: "Пусть мне его даст мой брат, и, будь это даже отравы, я готов принять ее из его рук. Я причинил ему много худого". Когда колокол созывал нас на утреню или вечерню, я говорил: "Неужели они сделают моего брата монахом? Духовник обещал мне, что этого не случится, но ведь все вы - обманщики". Кончилось тем, что они обернули язык колокола тряпкой. Услышав его приглушенный звук, я воскликнул: "Вы звоните по покойнику, брат мой умер, и это я его убийца!". Эти столь часто повторявшиеся восклицания, которых монахи

никак не могли принять, приводили в ужас всю общину. Я был в бреду, когда меня привезли в отцовский дворец в Мадриде. Кто-то похожий на тебя сидел рядом со мной в карете, вышел из нее вместе со мной, когда мы приехали, помог мне, когда меня посадили туда снова. Я так живо ощущал твое присутствие, что часто говорил слугам: "Не трогайте меня, мне поможет брат". Когда утром они спрашивали меня, как я спал, я отвечал: "Очень хорошо, Алонсо всю ночь сидел у моей постели". Я просил ухаживающего за мной призрака не оставлять меня, и, когда подушки были уложены так, как мне хотелось, говорил: "Какой у меня добрый брат, как он ухаживает за мной, только \_почему же он не хочет со мной говорить\_?". На одной из остановок в пути я начисто отказался от всякой еды из-за того, что призрак, как мне чудилось, отказывался ее принять. Я говорил тогда: "Не заставляйте меня есть, видите, мой брат не принимает никакой пищи. О, я прошу его простить меня, сегодня у него день воздержания, поэтому он и не притрагивается к еде, смотрите, как он верен своим привычкам, - этого достаточно". Самое удивительное, что еда в этом доме оказалась отравленной, и двое моих слуг умерли, так и не доехав до Мадрида. Я упоминаю об этих обстоятельствах для того только, чтобы показать, как крепко ты приковал к себе мое воображение и как сильна была моя любовь к тебе. Как только ко мне вернулось сознание, первый же мой вопрос был о тебе. Родители мои это предвидели, и для того чтобы избежать объяснения со мной и последствий, которые оно могло иметь, ибо знали мой горячий нрав, поручили все это дело духовнику. Он взялся за него, а как он его выполнил, ты сейчас узнаешь. При первой же нашей встрече он принялся поздравлять меня с выздоровлением и сказал, что очень сожалеет о тех неприятностях, которые мне пришлось испытать в монастыре, заверив меня, что в родном доме меня ждет по- истине райская жизнь. Какое-то время я выслушивал все, что он говорил, а потом вдруг спросил:

- Что вы сделали с моим братом?

- Он в лоне господнем, - ответил духовник и перекрестился. За мгновение я все понял. Не дослушав его слов, я кинулся вон из комнаты.

- Куда ты, сын мой?

- Я \_хочу\_ видеть отца и мать.

- Отца и мать? Сейчас это невозможно.

- Но все-таки я их увижу. Не навязывайте мне своей воли, не срамите себя этим постыдным самоунижением, - сказал я, видя, что он сложил руки в мольбе, - все равно я увижу отца и мать. Проведите меня к ним сию же минуту, не то берегитесь, от вашего влияния на семью не останется и следа.

При этих словах он вздрогнул. Он боялся не того, что я могу повлиять на моих родителей, а моей ярости. Ему приходилось теперь пожинать плоды своих же собственных наставлений. Его воспитание сделало из меня человека порывистого и страстного, ибо ему все это было нужно для определенной цели, но он никак не рассчитывал, что

дело примет иной оборот, что все чувства, которые он пробудил во мне, устремятся в направлении, противоположном тому, которое он хотел им придать. Он был уверен, что будет в силах распоряжаться ими и впредь. Горе тем, кто учит слона поражать своим хоботом врагов и в то же время забывает, что за один миг он может повернуть этот хобот назад и, сбросив седока в грязь, потом его растоптать. Именно в таком положении очутился и духовник по отношению ко мне. Я настаивал, чтобы меня немедленно отвели к моему отцу. Он противился нашей встрече, молил меня не настаивать на ней и, наконец, прибег к последнему безнадежному доводу - напомнил мне о том, сколько снисхождения он мне выказывал и как потворствовал всем моим желаниям. Ответ мой был коротким, но если бы только он мог проникнуть в душу таким наставникам и таким священникам! Это и сделало меня тем, что я есть теперь.

- Проведите меня сейчас же в комнату отца, иначе я все равно пробьюсь туда силой!

Услышав эту угрозу, которую, как он отлично понимал, я мог привести в исполнение, ибо я, как ты знаешь, силен и намного выше его ростом, - он задрожал от страха, и, признаюсь, это проявление физической и духовной немощи окончательно утвердило меня в презрении, которые я к нему испытывал. Весь согнувшись, провел он меня туда, где сидели отец и мать, - на балкон, выходящий в сад. Родители были уверены, что все уже уладилось, и изумлению их не было границ, когда я ворвался в комнату, а вслед за мною вошел духовник, по лицу которого можно было угадать, что разговор наш ни к чему не привел. Духовник сделал им знак, которого я не заметил, но который, однако, нисколько им не помог; за одно мгновение я очутился перед ними, и, увидев, что я смертельно бледен от недавней меня лихорадки и в то же время разъярен и, дрожа, бормочу что-то невнятное, они ужаснулись. Несколько раз они обращали к духовнику полные упреков взгляды, а он, по своему обыкновению, отвечал на них только знаками. \_Мне\_ эти знаки были непонятны, но я за один миг заставил родителей понять, чего я от них хочу.

- Скажите, папенька, - спросил я, обращаясь к отцу, - правда ли, что вы заставили моего брата стать монахом?

Отец мой не знал, что ответить; наконец он сказал:

- Я считал, что духовник, которому это поручено, расскажет тебе все сам.

- Скажите, папенька, а какое право имеет духовник вмешиваться в отношения между отцом и сыном? Этот человек никогда не сможет сделаться отцом сам, у него никогда не может быть детей, так как же он может быть судьей в подобном вопросе?

- Ты совсем забылся. Ты забываешь о том, что следует уважать служителей церкви.

- Папенька, я ведь только что оправился от грозившего мне смертью недуга, моя мать и вы сами дрожали за мою жизнь, так вот, эта жизнь зависит от ваших слов. Я обещал этому негодяю повиновение при

одном условии, и это условие он нарушил.

- Умей себя держать, - сказал мой отец, пытаюсь придать голосу своему властность, что плохо ему удавалось, потому что губы его, произносившие эти слова, дрожали, - или выйди сию же минуту вот отсюда.

- Сеньор, - вкрадчиво сказал духовник, - я не хочу быть причиной раздора в семье, которую мне всегда хотелось видеть счастливой и честь которой я всегда отстаивал, ибо после нашей пресвятой церкви она мне дороже всего на свете. Пусть он говорит, память об Учителе моем, распятом на кресте, даст мне силы вынести его оскорбления, тут он перекрестился.

- Негодяй! - вскричал я, схватив его за рясу, - обманщик, лицемер! - В эту минуту я был способен на все что угодно, но отец мой не позволил мне дать волю рукам. Моя мать была в ужасе, она громко вскрикнула, и поднялась невообразимая суматоха. В памяти моей остались только лицемерные возгласы духовника, который как будто старался помирить меня с отцом и просил, чтобы господь вразумил и его и меня.

Он непрерывно повторял:

- Сеньор, прошу вас, не вступайтесь, я снесу любое поношение во имя господне. - И, продолжая креститься, он взывал ко всем святым и восклицал:

- Пусть все оскорбления, клевета и побои лягут на чашу весов небесных вместе со всеми заслугами, которые уже взвешены на этих весах, равно как и мои грехи.

И он еще осмеливался взывать к заступничеству святых, к чистоте непорочной девы Марии и даже к пролитой крови и к мукам Иисуса Христа, перемежая все эти призывы лицемерным самоуничижением. Комната наполнилась слугами, сбегавшимися на крики. Мою мать, которая все еще продолжала кричать от ужаса, увели прочь. Отца, который очень ее любил, мое вызывающее поведение привело в бешенство - он выхватил тесак. Когда он стал приближаться ко мне, я вдруг засмеялся таким смехом, от которого кровь в нем похолодела. Я растопырил руки и, выставив грудь вперед, вскричал:

- Разите! Это будет достойным завершением монастырского произвола: он начался с насилия над человеческой природой, а кончается детоубийством. Разите! Пусть ваш удар принесет торжество и славу церкви и умножит заслуги его преподобия духовника. Вы уже принесли ей в жертву своего Исава, своего первенца, пусть же второй жертвой вашей станет теперь Иаков! {23}

Отец подался назад и в ужасе от моего перекошенного от гнева и волнения лица, которое судорожно подергивалось, вскричал:

- Дьявол! - и, отойдя в другой угол комнаты, смотрел на меня, содрогаясь от ужаса.

- А кто сделал меня им? Он, тот, кто развивал во мне все дурные качества, чтобы использовать их в своих собственных целях; из-за того только, что братские чувства вызвали во мне порыв великодушия, он уже

готов представить меня сумасшедшим или довести до безумия для того, чтобы достичь своей цели. Папенька, я вижу - все родственные чувства, все законы человеческой природы попраны этим хитрым и бессовестным священнослужителем. Это из-за него брата моего подвергли пожизненному заточению, это из-за него само рождение наше стало проклятием для нашей матери и для вас. Что принесло нам его вторжение в нашу семью и роковое влияние, которое он в ней приобрел, кроме раздора и бедствий? Вы только что направили на меня острие вашего тесака, так скажите кто, природа или монах, вооружил отца против сына, единственным преступлением которого было то, что он заступился за родного брата? Прогоните же этого человека; от его присутствия черствеют наши сердца! Давайте поговорим с вами хотя бы несколько минут как отец с сыном и, если я не смирюсь тогда перед вами, оттолкните меня от себя навсегда. Отец, ради всего святого, поглядите, сколь велико различие между этим человеком и мной. Мы оба стоим на пороге вашего сердца, так рассудите же нас. В душе его громоздится образ эгоистической власти, ничего не выражающий и сухой, но освященный церковью; а в моем обращении к вам говорит голос крови, и он не может не быть искренним, хотя бы потому, что, повинувшись ему, я пренебрегаю моими личными интересами. Он хочет одного - иссушить вашу душу, а мне хочется ее растрогать. Идут ли его речи от сердца? Пролил ли он хоть одну слезу? Сказал ли хоть одно искреннее слово? Он обращается к богу, а я могу обращаться только к вам. Сама ярость моя, которую вы справедливо осуждаете, не только оправдывает меня, но и достойна похвалы. Тому, кто ставит дело, за которое он борется, выше всех личных выгод, нет нужды доказывать, что заступничество его искренне.

- Ты только усугубляешь свою вину тем, что хочешь переложить ее на другого; ты всегда был вспыльчивым, непокорным, строптивым.

- Да, но кто сделал меня таким? Спросите у него самого.

Разберитесь в этой позорной комедии, где двоедушием своим он заставил меня играть такую роль.

- Если ты хочешь выказать покорность, докажи это прежде всего тем, что обещаешь никогда больше не терзать меня напоминанием об этом. Участь твоего брата решена - обещай мне никогда больше не произносить его имени и...

- Никогда! Никогда! - вскричал я, - никогда не стану я насиловать свою совесть подобным обетом, и надо быть человеком совершенно бесстыдным и отверженным небесами, чтобы предлагать мне такое.

Произнося эти слова, я все же опустился на колени перед отцом, но он от меня отвернулся. В отчаянье я обратился к духовнику.

- Если вы истинный служитель небес, то докажите, что вы действительно посланы ими: водворите мир в смятенной семье, помирите отца моего с его обоими сыновьями. Вам достаточно произнести для этого одно слово, вы знаете, что это в вашей власти, но вы не станете этого делать. Мой несчастный брат не оказался таким непреклонным к вашим настояниям, но разве справедливость их может сравниться с

моими?

Я так оскорбил духовника, что нечего было надеяться на прошение. И если я говорил, то лишь для того, чтобы разоблачить его, а отнюдь не убедить. Я не ждал, что он мне ответит, и он действительно не вымолвил ни слова. Я стал на колени между отцом и духовником:

- Хоть и отец и вы оставили меня, - закричал я, - я не падаю духом и обращаю мою мольбу к небесам. Я призываю их в свидетели и говорю, что никогда не покину моего брата, которого вы преследуете и хотите, чтобы я его предал. Я знаю, что сила на вашей стороне - так вот, я бросаю ей вызов. Я знаю, нет такой хитрости, такого обмана, такого коварства, к каким вы не прибегнете, все злобные силы земли и преисподней будут брошены против меня. Призываю небеса в свидетели против вас и молю их об одном - помочь мне вас победить.

Отец мой потерял всякое терпение; он приказал слугам поднять меня с колен и вынести вон силой. Стоило ему заговорить о применении силы, столь ненавистной моей властной натуре, привыкшей располагать неограниченною свободой, как это роковым образом повлияло на мой рассудок, едва обретший ясность и подвергшийся столь тягостному испытанию в последней борьбе: у меня снова началось что-то вроде бреда.

- Папенька! - в исступлении вскричал я, - знаете вы, сколько мягкости, великодушия и всепрощения в существе, которое вы так жестоко преследуете: я ведь обязан ему жизнью. \_Спросите ваших слуг, они подтвердят, что он ехал всю дорогу со мной и не покидал меня ни на минуту\_. Это он заботился о том, чтобы я вовремя ел, он давал лекарства и поправлял подушки, на которых я лежал!

- Ты бредишь! - вскричал отец, услышав это ни с чем не сообразное утверждение, но сам тут же грозным испытующим взором посмотрел на слуг. Те, дрожа, все как один поклялись, как только можно было поклясться, что с тех пор, как я уехал из монастыря, они не подпускали ко мне ни одно живое существо. Когда я услышал их клятвы, - а каждое слово в них было сущою правдой, - разум окончательно оставил меня. Я назвал последнего из говоривших лжецом и даже дошел до того, что ударил тех, что стояли всего ближе ко мне. Эта вспышка бешенства ошеломила отца, и он вскричал:

- Он сошел с ума!

Духовник, который все это время хранил молчание, тут же подхватил это и повторил:

- Он сошел с ума!

Слуги то ли от страха, то ли из убеждения, что это действительно так, повторили эти слова вслед за ними.

Меня схватили, вытащили вон из комнаты; и это насилие, которому я, как всегда, яростно воспротивился, привело как раз ко всему тому, чего так боялся отец и чего так хотел духовник. Я вел себя так, как только мог вести себя мальчишка, не совсем еще излечившийся от лихорадки и все еще продолжавший бредить. В комнате у себя я посрыгивал все драпировки и побил все фарфоровые вазы, швыряя ими в слуг. Когда



они схватили меня, я покусал им руки; когда они вынуждены были связать меня, я впился зубами в веревки и в конце концов, собрав все силы, их перегрыз. Словом, произошло именно то, на что возлагал свои надежды духовник: меня заперли в комнате на несколько дней. За это время ко мне вернулись только те душевные силы, которые обычно оживают в уединении, а именно непоколебимая решимость и умение все затаить в себе. Вскоре же мне пришлось воспользоваться и тем и другим.

"На двенадцатый день моего заточения появившийся в дверях слуга низко поклонился и сказал, что, если я чувствую себя лучше, отец мой просит меня прийти. Подстать его заученным движениям поклонился и я и, словно окаменев, пошел за ним следом. Рядом с отцом восседал приглашенный, чтобы поддержать его, духовник. Отец поднялся и, сделав несколько шагов мне навстречу, обратился ко мне с отрывистыми фразами, из которых можно было заключить, что говорит он по принуждению. В нескольких словах он выразил мне свое удовольствие по поводу того, что я поправился, а потом спросил:

- Ну как, ты подумал о том, о чем мы говорили с тобой в последний раз?

- Да, подумал, - у меня было для этого достаточно времени\_.

- И ты с пользой провел это время?

- Надеюсь, что да.

- Раз так, ты, должно быть, сделал выводы, которые будут отвечать надеждам семьи и интересам церкви.

От этих слов мне стало не по себе, но я ответил так, как полагалось. Немного погодя ко мне подошел духовник. Тон его был дружелюбен, и он старался говорить о вещах посторонних. Я отвечал каких это стоило мне усилий! - и тем не менее я все же отвечал ему со всей горечью, которая сопутствует вынужденной учтивости. Все, однако, обошлось хорошо. Семья моя, как видно, была довольна тем, что я взялся за ум. Совершенно измученный всем, что случилось, отец рад был восстановить мир любой ценой. Мать, еще больше, чем он, ослабевшая от борьбы собственной совести с настояниями духовника, заплакала и сказала, что она счастлива. Уже месяц, как воцарился покой, но покой этот обманчив. Они думают, что я покорился, но на самом деле...

\* \* \* \* \*

Правду говоря, одной власти духовника в семье было бы достаточно, чтобы ускорить мое решение. Он поместил тебя в монастырь, но неутомимому прозелитизму церкви этого было мало. Его растущее влияние привело к тому, что даже дворец герцога Монсады стал походить на обитель. Моя ма-ть сделалась настоящей монахиней, вся ее жизнь уходит на то, чтобы вымаливать прощение греха, за который духовник едва ли не каждый час накладывает на нее новое наказание. Отец мой то дает волю своим чувствам, то вдруг становится суровым и строгим - он мечется между земными страстями и помыслами о жизни вечной; доведенный до отчаяния, он начинает осыпать горькими упреками мою мать, а вслед за тем вместе с ней налагает на себя тягчайшую

епитимью. Если религия подменяет внутреннее исправление человека внешними строгостями, то не говорит ли это о том, что в ней есть какой-то изъян? Меня тянет приникать в суть вещей, и если бы мне удалось добыть книгу, которую они называют Библией (хоть они и утверждают, что в ней содержатся слова Иисуса Христа, они никогда не позволяют нам в нее заглянуть), то мне кажется... впрочем, это неважно. Слуги и те выглядят *in ordine ad spiritualia* {[Настроенными] на духовный лад (лат.)}. Они разговаривают между собой шепотом, крестятся, услышав бой часов; они осмеливаются говорить, не стесняясь даже меня, что слава господа бога и пресвятой церкви умножится от того, что отец мой должен будет принести в жертву ее интересам всю свою семью.

\* \* \* \* \*

Лихорадка моя прошла. Не было минуты, когда бы я перестал думать о тебе. Меня уверили, что у тебя есть возможность отречься от принесенных тобой обетов, сказать - так мне советовали, - что ты был вынужден совершить этот шаг под действием угроз и обмана. Знаешь, Алонсо, мне легче согласиться, чтобы тебя сгноили заживо в стенах монастыря, чем видеть тебя живым свидетелем позора нашей матери. Но мне сказали, что отречься от твоего обета ты можешь и на светском суде: если это действительно так, тебя все равно освободят, и я буду счастлив. Не беспокойся относительно могущих быть расходов - я их оплачу. Если у тебя хватит решимости, то я не сомневаюсь, что в конечном счете мы победим. Я говорю "мы", потому что я не буду знать ни минуты покоя до тех пор, пока не наступит твое освобождение. Употребив на это половину годичного содержания, я подкупил одного из слуг, брата монастырского привратника, и он передаст тебе это письмо. Ответь мне через него же - это самый надежный способ, при котором все останется в тайне. Насколько я понимаю, ты должен письменно изложить свое дело, и послание это будет передано адвокату. Оно должно быть очень резким и решительным, но помни: ни слова о нашей несчастной матери; мне стыдно говорить эти слова ее сыну. Сумей как-нибудь достать бумагу. Если это окажется почему-нибудь трудным, то бумагу я добуду и тебе перешлю, но для того чтобы не возбуждать подозрений и не слишком часто прибегать к услугам привратника, лучше постарайся достать ее сам. Ты можешь найти предлог, чтобы попросить ее в монастыре, скажи, например, что собираешься писать исповедь, а я позабочусь о том, чтобы все было сохранено и доставлено куда надо. Да хранит тебя бог, только не бог монахов и духовников, а бог живой и милосердный

Любящий тебя брат  
Хуан де Монсада".

Вот что содержалось в записках, которые по частям время от времени передавал мне привратник. Первую из них я проглотил, как только успел прочесть, все остальные я сумел сразу же уничтожить: моя работа в лазарете предоставляла мне большую свободу.

Дойдя до этой части рассказа, испанец был сам не свой, должно быть, не столько от усталости, сколько от волнения, и Мельмот уговорил его прервать рассказ на несколько дней, на

что тот охотно согласился.

## КНИГА ВТОРАЯ

### Глава VI

#### Гомер

{\* Души тени умерших никак не дают подойти мне {1} (греч.).}

Когда несколько дней спустя испанец попытался рассказать все, что он пережил, получив письмо от брата: как к нему сразу вернулись сила, надежда, как с того дня жизнь приобрела для него смысл, - речь его сделалась невнятной, он задрожал и расплакался. Волнение его до такой степени смутило не привыкшего к подобным излияниям Мельмота, что тот попросил его не говорить больше о своих чувствах и перейти к рассказу о дальнейших событиях.

- Вы правы, - сказал испанец, утирая слезы, - радость потрясает нас сразу, а горе становится привычкой, и описывать словами то, что все равно другой никогда не сможет понять, так же нелепо, как объяснять слепому, какие бывают цвета. Постараюсь поскорее рассказать вам не о чувствах моих, а о том, к чему они привели. Передо мной открылся совершенно новый для меня мир - мир надежды. Когда я гулял по саду, мне казалось, что в разверзшихся небесах я вижу свободу. Когда я слышал скрип отворявшихся дверей, мне становилось весело и я думал: "Пройдет еще немного времени, и вы распахнетесь передо мной навсегда". Отношение мое к окружающим переменилось: я стал с каждым приветлив. Однако при всем этом я не пренебрегал и теми мелкими предосторожностями, о которых мне писал брат. Но чем же все это было, слабодушием или силою духа? Среди тех мер, которые я принимал, чтобы скрыть нашу тайную связь, и которые не вызывали во мне никакого чувства протеста, единственное, что меня по-настоящему огорчало, - это необходимость сжигать письма милого моему сердцу великодушного юноши, который рисковал всем ради того, чтобы освободить меня. Меж тем я продолжал делать все необходимые приготовления с таким рвением, которое вам, никогда не жившему в монастыре, будет трудно понять.

Начался великий пост - вся община готовилась к исповеди. Монахи запирались у себя в кельях и становились там на колени перед статуями святых. В течение долгих часов они вопрошали там свою совесть, причем самые незначительные нарушения монастырских правил раздувались ими до степени тяжких грехов для того, чтобы раскаяние их приобрело больше веса в глазах исповедовавшего их священника; в действительности они были бы даже рады возможности обвинить самих себя в каком-нибудь преступлении, для того чтобы избежать вопиющего однообразия мыслей и чувств. В монастыре в эти дни жизнь была отмечена какой-то тихой суетливостью, благоприятствовавшей моим целям. Едва ли не каждый час я требовал, чтобы мне давали бумаги для писания исповеди. Я всякий раз получал ее, однако мои частые требования возбуждали подозрения: они не могли понять, что же я такое пишу. А так как все, что происходит в монастыре, неизбежно возбуждает любопытство, то иные говорили:

- Он пишет историю своей семьи; он расскажет ее на исповеди и откроет тайну своей души.

Другие говорили:

- Он какое-то время был \_отступником\_, теперь он кается в этом перед господом - нам же никогда ничего об этом не доведется узнать.

Третьи, более рассудительные, замечали:

- Он устал от монастырской жизни, он пишет о том, как она мучительно однообразна, и, спору нет, ему этого хватит надолго, - причем говорившие это зевали, что являлось весьма убедительным подтверждением их слов.

Настоятель наблюдал за моим поведением, но не произнес за все время ни слова. Он был встревожен, и не без причины. Он совещался с иными из \_благоразумных\_ братьев, о которых была уже речь, после чего те принимались усиленно следить за мной, а я, продолжая то и дело

требовать от них бумагу, опрометчивым поведением своим только еще больше разжигал их подозрительность. Должен признаться, что это было оплошностью с моей стороны. Хоть и происходило это в монастыре, даже человек с самой щепетильной совестью не мог бы обвинить себя в таком количестве преступлений, чтобы заполнить ими всю испрошенную мною бумагу. В действительности все листы заполнялись историей их преступлений, а не моих. Второй моей большой ошибкой было то, что, когда настал день исповеди, я оказался к ней совершенно не подготовлен. Братья не раз намекали на это во время наших прогулок по саду. Я уже упоминал о том, что выработал в себе привычку дружелюбно выслушивать их речи. Время от времени они говорили: "Ты, должно быть, очень старательно подготовился к исповеди".

- Да, подготовился, - отвечал я.

- Она будет иметь благие последствия для твоей души.

- Надеюсь, что вам доведется их увидеть, - отвечал я. К этому я ничего не добавлял, но все их намеки очень меня смущали. Находились и такие, что говорили:

- Брат мой, на совести у тебя тяжким бременем лежит множество прегрешений; чтобы изложить их, ты нашел нужным потратить несколько кип бумаги; посуди же, каким облегчением было бы для тебя открыть душу нашему настоятелю и получить от него, прежде чем начнется исповедь, несколько слов утешения и напутствия.

- Благодарю вас, - отвечал я, - я обо всем этом подумаю.

Однако все это время прошло у меня в мыслях о другом.

За несколько дней до общей исповеди я передал привратнику последний пакет с моими записями. До этого дня никто ничего не подозревал о наших встречах. Я получал письма от брата, отвечал ему, и переписка наша сохранялась в глубокой тайне, что обычно оказывается невозможным в монастырях. Но в последний вечер, передавая в руки привратника пакет, я заметил, что он сильно переменялся в лице, и это очень меня испугало. Это был приятный в обращении статный мужчина, но тут даже при лунном свете видно было, что он исхудал как тень, руки его, когда он принимал от меня мои записи, дрожали, голос, по обыкновению заверявший, что все останется в тайне, прерывался. Перемена эта, которая, оказывается, давно уже была замечена всеми, лишь в тот вечер впервые бросилась мне в глаза. Слишком я все это время был занят своими собственными делами. Теперь я, однако, обратил внимание на его странный вид и спросил:

- Что с вами такое?

- И вы еще спрашиваете? Я стал как тень, меня одолевают волнения и страхи с тех пор, как меня подкупили. Знаете, что меня ждет? Пожизненное заточение, или, вернее, такое, которое приведет меня к смерти, а может быть, меня даже предадут суду Инквизиции. Каждая строчка ваших писем или тех писем, которые мне поручено вам передать, кажется мне обвинительным актом; видя вас, я каждый раз трепещу! Я знаю, что в ваши руки попала вся моя жизнь - и временная и вечная. Тайна, которой я сейчас служу, должна быть достоянием одного, а теперь она принадлежит двоим, и второй - это вы. Когда я сижу у себя и слышу шаги, мне чудится, что это настоятель вызывает меня к себе. Когда я пою в хоре, то я слышу, как ваш голос заглушает все остальные и обвиняет меня. Когда ночью я лежу в постели, дьявол садится рядом со мной; он начинает обвинять меня в клятвопреступлении и требовать свою добычу. Куда бы я ни направился, посланцы его мигом меня окружают. Муки ада настигают меня со всех сторон. Лики святых хмурятся и отворачиваются от меня; куда бы я ни повернулся, на меня отовсюду глядит Иуда-предатель. Стоит мне ненадолго забыться сном, как меня будит мой же собственный крик. "Не выдавайте меня, - кричу я, - он еще не нарушил данного им обета, я был всего-навсего посредником, меня подкупили, не надо разжигать для меня костра". Я вздрагиваю и вскакиваю с постели, обливаюсь холодным потом. Какой уж там сон, какая еда! Была бы на то

воля божья - вам очутиться за пределами монастыря, а мне, о господи, - никогда не помогать вам освободиться, мы оба могли бы тогда избежать вечного проклятия.

Я старался успокоить его, уверяя, что ему ничего не грозит, но он успокоился только после того, как я клятвенно заверил его, что это последний пакет, который я поручаю ему доставить по назначению, и что я больше никогда не позволю себе обратиться к нему с подобными просьбами. Он ушел, умиротворившись, я же почувствовал, что осуществить задуманный мною план с каждым часом становится все труднее и опаснее.

Это был человек добросовестный, но трус; а можно ли доверять тому, чья правая рука протянута к вам, а левая дрожит от страха, что придется выдать вашу тайну врагу. Не прошло и нескольких недель, как он умер. Должно быть, не предал он меня перед смертью только потому, что последние минуты был в бреду. Но сколько я выстрадал за эти минуты: столь страшная смерть и столь бесчеловечная радость, которую я испытал, когда убедился, что он испустил дух, - в моих глазах все это свидетельствовало лишь о противоестественности той жизни, которую я тогда вел и которая сделала неизбежными и эту смерть, и эту жестокость во мне самом.

На следующий вечер я поразился, увидав, что ко мне в келью входит настоятель и с ним четверо монахов. Я сразу же почувствовал, что приход их не предвещает мне ничего хорошего. Я весь дрожал, но старался принять их со всем подобающим почтением. Настоятель сел напротив меня, пододвинув свой стул так, что свет стал падать мне прямо в глаза; все остальное тонуло во тьме. Я не мог сообразить, что означает эта предосторожность, но теперь я понимаю, что ему хотелось проследить за малейшей переменной в моем лице, оставаясь при этом в тени. Монахи стояли за его спиной, руки всех четверых были сложены, губы сжаты, глаза полузакрыты, головы наклонены - они походили на людей, которым положено присутствовать при казни.

- Сын мой, - вкрадчиво и мягко начал настоятель, - ты долго и усердно готовился к исповеди и за это достоин всяческой похвалы. Но скажи, действительно ли ты сознался во всех преступлениях, которые лежат у тебя на совести?

- Да, отец мой.

- Во всех, ты в этом уверен?

- Отец мой, я признался во всем, что нашел в себе. Кто же, кроме господи, может проникнуть в тайники сердца? Я обшарил их так, как только мог.

- И ты вспомнил все, что у тебя было на совести?

- Да, вспомнил.

- А не вспомнил ли ты и еще одного: того, что перо и бумагу, которые были даны тебе, чтобы подготовиться к исповеди, ты употребил для совершенно иной цели?

Вопрос попал не в бровь, а в глаз. Я почувствовал, что должен собрать все свои силы.

- \_Совесть моя не обвиняет меня в этом преступлении\_, - ответил я с уклончивостью, которую в эту минуту мне можно было простить.

- Сын мой, не притворяйся ни перед своей совестью, ни передо мной. Ведь я для тебя должен быть еще выше, чем она; ведь если совесть твоя заблуждается и обманывает тебя, кому же, как не мне, просветить ее и направить? Только вижу, что я напрасно стараюсь тронуть твое сердце. В последний раз обращаюсь к нему с этими простыми словами. В твоём распоряжении всего несколько минут - употреби их на благо или во зло себе, твое дело. Я должен буду задать тебе несколько самых простых вопросов; если ты откажешься отвечать на них или солжешь, кровь твоя падет тебе на голову.

- Отец мой, разве я когда-нибудь отказывался отвечать на ваши вопросы? - сказал я, весь дрожа.

- В ответах твоих ты всегда стараешься или что-нибудь выпытать у нас, или вообще уклониться от существа дела. Ты должен ответить прямо и просто на вопросы, которые я сейчас

задам тебе в присутствии этих братьев. От ответов твоих будет зависеть больше чем ты думаешь. Предостережения эти вырываются у меня помимо воли.

Ужаснувшись этих слов и унизив себя до того, что мне захотелось услышать их как можно скорее, я поднялся. Но от волнения у меня перехватило дух, и я должен был опереться о спинку стула.

- Боже мой! - воскликнул я, - для чего понадобились все эти ужасные приготовления? В чем состоит моя вина? Почему меня так часто предостерегают, а все эти предостережения оборачиваются таинственными угрозами? Почему мне не скажут прямо о совершенном мною проступке?

Четверо монахов, которые за все время не вымолвили ни слова и продолжали стоять, опустив головы, на этот раз устремили на меня свои стеклянные глаза и повторили все вместе голосами, доносившимися словно из могилы:

- Преступление твое состоит в том, что...

Настоятель сделал им знак замолчать, и это привело меня в еще большее замешательство. Совершенно очевидно, что, признавая себя в чем-то виновными, мы всегда ждем, что другие будут осуждать нас в большей степени, чем мы сами. Они как бы мстят нам за всю ту снисходительность к себе, которую мы проявляем, самыми ужасными преувеличениями. Я не знал, в каком преступлении меня собирались обвинить, но я уже чувствовал, что речь шла о чем-то страшном, по сравнению с чем моя тайная переписка с братом была сущим пустяком. Я и раньше слышал, что преступления, совершавшиеся в монастырях, отличались порой невероятной жестокостью; и если всего несколько минут назад мне хотелось сделать все возможное, чтобы уклониться и не быть подвергнутым обвинению, то сейчас, напротив, мне не терпелось услышать, в чем именно меня обвиняют (ибо любая определенность всегда лучше неизвестности). Эти смутные страхи вскоре сменились вполне определенными, стоило только настоятелю начать задавать мне вопросы.

- Ты добился того, что тебе дали много бумаги. Как ты ее употребил?

Я собрался с силами и спокойно ответил:

- Так, как следовало.

- Значит, она послужила тебе для того, чтобы покаяться?

- Да, для того, чтобы покаяться.

- Ты лжешь, у самого великого грешника на земле и то не нашлось бы столько грехов.

- Мне часто говорили в монастыре, что я самый великий грешник на земле.

- Ты опять играешь словами и хочешь, чтобы твои двусмысленные речи превратились в упреки, - это бесполезно, ты обязан ответить на мой вопрос. Для чего тебе понадобилось такое количество бумаги и какое употребление ты из нее сделал?

- Я уже сказал.

- Значит, ты употребил ее на то, чтобы исповедаться в своих грехах? Я молча кивнул головой.

- Значит, ты можешь подтвердить это, показав нам плоды твоего усердия. Где же рукопись с твоей исповедью?

Я покраснел и замялся, показав им пять-шесть покрытых каракулями и перепачканных листов бумаги, которые должны были быть моей исповедью. Положение мое было нелепо. На эти писания могло уйти не больше одной десятой всей полученной мною бумаги.

- Так это и есть твоя исповедь?

- Да.

- И ты еще смеешь говорить, что всю бумагу, которую тебе дали, ты употребил на это?

Я молчал.

- Негодяй! - вскричал настоятель, потеряв всякое терпение, - сейчас же говори, на что ты потратил полученную тобой бумагу. Сейчас же признайся, что ты решил обратиться написанное тобою против нашей обители.

Слова эти вывели меня из себя. В этот миг я снова увидел, как из-под монашеской рясы выглядывает копыто дьявола.

- Но как же вы можете подозревать меня в подобных действиях, если \_за вами\_ нет никакой вины. В чем я мог обвинить вас? Что я мог написать худого, если мне не на что было жаловаться? Ваша собственная совесть должна ответить за меня на этот вопрос.

Услыхав это, монахи снова собирались вмешаться в наш разговор. Не тут настоятель, сделав им знак молчать, начал задавать мне вопросы по существу дела, и весь вспыхнувший во мне гнев мгновенно остыл.

- Значит, ты так и не хочешь сказать, что ты сделал с полученной тобою бумагой?

Я молчал.

- Послушание твое обязывает тебя сейчас же сказать всю правду.

Он повысил голос, и его возбуждение передалось мне.

- У вас нет никакого права, отец мой, требовать от меня, чтобы я объяснял вам свои поступки.

- Право тут ни при чем, я приказываю тебе ответить. Я требую, чтобы ты поклялся перед алтарем господина нашего Иисуса Христа и перед образом Богородицы, что скажешь нам всю правду.

- Вы не вправе требовать от меня такой клятвы. Я знаю монастырский устав - он гласит, что отвечать я обязан только духовнику.

- Ты что же, утверждаешь, что право есть нечто отличное от власти? Скоро ты поймешь, что в этих стенах право и власть - одно и то же.

- Я ничего не утверждаю - может быть, между ними действительно нет разницы.

- Так ты отказываешься сказать, куда ты дел эту бумагу, которую ты, разумеется, замарал своей низкопробной клеветой?

- Да, отказываюсь.

- И ты примешь на свою голову все последствия твоего упорства?

- Да, приму.

- Последствия этого падут на его голову, - повторили четыре монаха все теми же неестественными голосами.

Но в ту же минуту двое из них шепнули мне на ухо:

- Отдай свои записи, и все будет в порядке. Вся обитель знает, что ты что-то писал.

- Мне нечего вам отдавать, - ответил я, - даю вам честное слово монаха. У меня нет ни единого листка, кроме тех, что вы у меня забрали.

Оба монаха, примирительно нашептывавшие мне свои советы, отошли от меня. Они посоветовались шепотом с настоятелем.

- Так ты не отдашь нам твои записи? - вскричал тот, метнув на меня ужасающий взгляд.

- Мне нечего вам отдавать. Можете обыскать меня, мою келью - все открыто.

- Сейчас мы это и сделаем, - разъярившись, вскричал настоятель.

В ту же минуту начался обыск. Они разворошили все, что только было у меня в келье. Стол и стул они перевернули, долго трясли и в конце концов разломали, пытаясь обнаружить бумаги, которые могли быть внутри. Они сорвали со стен все гравюры и стали просматривать их на свет. Потом сломали и рамы, чтобы убедиться, что в них ничего не спрятано. После этого они приступили к осмотру моей постели, покидали на пол простыни и одеяла, распорол матрас и вытащили из него всю солому; один из монахов пустил даже в ход зубы, чтобы поскорее

разорвать ткань, и охватившее их злобное возбуждение было разительно непохоже на недвижимое и угрюмое спокойствие, в котором они только что пребывали. Мне было приказано стоять посреди кельи, не поворачиваясь ни вправо, ни влево. Не найдя ничего, что могло бы подтвердить их подозрения, они обступили меня со всех сторон и обыскали меня самого - столь же стремительно, тщательно и бесстыдно. Всю одежду мою тут же побросали на пол; потом они распоролы ее по швам, и мне пришлось все это время стоять, закутавшись в одеяло, которое они сорвали с моей постели.

- Ну как, вы нашли что-нибудь? - спросил я, когда они закончили свою работу.

- У меня есть другие средства обнаружить истину, - яростно вскричал настоятель, с трудом справляясь с досадой и стараясь держаться гордо, готовясь к ним и трепещи!

С этими словами он выбежал из кельи, сделав монахам знак следовать за ним. Я остался один. У меня уже больше не было сомнений относительно опасности, которая мне грозила. Да, я возбудил ярость людей, которые были не способны ничем поступиться, чтобы ее укротить. Я прислушивался и ждал - и каждый шаг, раздававшийся в коридоре, каждая хлопавшая дверь, которую открывали или закрывали поблизости, - все повергало меня в дрожь. Эта мучительная неизвестность длилась часами, и за эти долгие часы так ничего и не происходило. Никто так и не пришел ко мне в этот вечер, - а на следующий день была назначена исповедь. Днем я, как обычно, занял свое место в хоре, дрожа и следя за каждым обращенным на меня взглядом. У меня было такое чувство, что все на меня смотрят и каждый говорит про себя: "Это он". Не раз мне хотелось, чтобы нависавшая надо мной гроза разразилась как можно скорее. Лучше ведь слышать раскаты грома вблизи, чем видеть, как издали приближается туча. Но гроза тогда так и не разразилась. И исполнив свои обычные обязанности, я вернулся к себе в келью и задумался над тем, что меня ожидало. Мне было тревожно, и я не находил в себе сил на что-то решиться.

Исповедь началась; слыша, как братья, получив отпущение грехов, возвращаются потом к себе и затворяют за собой двери келий, я с ужасом подумал, что меня могут не допустить до исповедальни и что после того, как меня лишат моего неотъемлемого священного права, в отношении меня будут приняты некие особо строгие меры, но не мог даже представить себе, в чем они будут заключаться. Однако я продолжал ждать, и в конце концов меня вызвали. Это меня приободрило, и я исполнил все, что полагалось, уже с большим спокойствием. Когда я покаялся в своих грехах, мне было предложено всего несколько самых простых вопросов, как-то: Могу ли я обвинить себя в том, что я в душе нарушил свой монашеский долг? Не скрыл ли я чего? Не осталось ли у меня еще чего-нибудь на совести? и т. п., и после того как я ответил на все отрицательно, мне было позволено удалиться. Это было как раз в тот вечер, когда умер привратник. Последние переданные ему записи он доставил по назначению за несколько дней до того, - таким образом, все было в порядке и ничто не возбуждало во мне опасений. Ни живой голос, ни написанная строка не могли свидетельствовать против меня, и, когда я подумал, что брат мой непременно сыщет какой-либо иной способ сноситься со мной, в сердце моем снова пробудилась надежда.

На несколько дней наступила полная тишина, но буря была уже близка. На четвертый вечер после исповеди, когда я сидел один у себя в келье, я вдруг услышал, что в монастыре началось какое-то необычное оживление. Зазвонил колокол; новый привратник был, по-видимому, в большой тревоге. Настоятель быстрыми шагами прошел сначала в приемную, а потом - к себе в келью; туда вызвали кое-кого из старших монахов. Молодые перешептывались между собой в коридорах, иные с силой захлопывали двери своих келий, - словом, все пребывало в волнении. В каком-нибудь доме, где живет только одна небольшая семья, никто бы, вероятно, не обратил внимание на такое вот чрезмерное оживление, но в монастыре жалкое однообразие того, что может быть названо внутренней жизнью его обитателей, придает и важность и интерес самому



заурядному обстоятельству жизни внешней. Я все это чувствовал. Я говорил себе: "Тут что-то неладно" и добавлял: "Они что-то замышляют против меня". И в том и в другом предположении я оказался прав. Поздно вечером мне было приказано явиться в келью настоятеля - я сказал, что сейчас приду. Через две минуты приказ этот был отменен; мне было велено оставаться у себя в келье и ожидать прихода настоятеля - я ответил, что подчиняюсь и этому приказу. Однако происшедшая вдруг перемена вселила в меня какой-то смутный страх; сколько мне ни приходилось испытывать в жизни превратностей судьбы и тяжелых потрясений, у меня ни разу еще не было такого ужасного чувства. Я ходил из угла в угол и повторял: "Господи, спаси меня и сохрани! Господи, дай мне силы все это вынести!". Потом я перестал просить у бога защиты, ибо не был уверен, что дело, в которое меня вовлекли, заслуживает его покровительства.

Я окончательно растерялся, когда в келью внезапно вошел настоятель и с ним те самые четыре монаха, с которыми он приходил ко мне за день до исповеди. При их появлении я встал, и никто не пригласил меня снова сесть. Настоятель был взбешен; сверкнув глазами, он швырнул на стол пачку бумаг.

- Это ты писал? - спросил он.

На мгновение я испуганно взглянул на бумаги - то была копия, снятая с моих записей, отосланных брату. У меня все же хватило духа сказать: "Это не мой почерк".

- Ты хочешь увильнуть, негодяй. Это копия, снятая с того, что писал ты.

Я молчал.

- А вот доказательство, - добавил он, бросая на стол другую бумагу.

Это была копия прошения адвоката, адресованная мне, которую по положению, утвержденному верховным судом, они не имели права от меня скрыть. Я сгорал от нетерпения прочесть ее, но не решался даже взглянуть на нее издали. Настоятель перелистывал страницу за страницей.

- Читай, негодяй, читай! - сказал он, - хорошенько взглядишь в то, что здесь написано, вдумайся в каждую строчку.

Весь дрожа, я подошел к столу. Я бросил взгляд на записку адвоката, - в первых же строках я прочел слово "надежда". Я снова приободрился.

- Отец мой, - сказал я, - я признаю, что это копия моих записей. Прошу вас, покажите мне ответ адвоката, вы не можете отказать мне в моем праве.

- Читай, - сказал настоятель и швырнул мне бумагу.

Вы, разумеется, поймете, сэр, что при подобных обстоятельствах я не мог как следует разобраться в том, что увидел, и даже когда незаметно для меня он сделал знак монахам и они, все четверо, покинули келью, мне все равно не удалось взглянуть в написанное более пристально.

Мы остались вдвоем с настоятелем. Он расхаживал взад и вперед по келье, тогда как я делал вид, что вчитываюсь в записку адвоката. Вдруг он остановился и с силой ударил рукой по столу - листы бумаги, над которыми я дрожал, разлетелись в стороны от этого удара. Я вскочил со стула.

- Негодяй, - вскричал настоятель, - когда это было с самого дня основания нашей обители, чтобы кто-нибудь позорил ее так своей писаниной! Скажи на милость, когда это было, до тех пор пока ты не осквернил ее своим нечестивым присутствием, чтобы в дела наши столь оскорбительно для нас вмешивались светские адвокаты? Как это ты посмел?..

- Посмел что, мой отец?

- Отрекаться от принесенного обета и подвергать нас позору светского суда и всего учиненного им разбирательства?

- Я был доведен до этого бедственным положением, в котором я находился.

- Бедственным положением! Так-то ты отзываешься о монастырской жизни, единственной, которая может принести смертному успокоение в этом мире и обеспечить ему спасение души.

Слова эти, произнесенные человеком в припадке неистовой ярости, сами себя опровергали. Чем больше впадал в бешенство настоятель, тем больше я набирался храбрости; к тому же я был доведен до крайности и должен был себя защищать. Вид лежавших передо мной бумаг прибавлял мне уверенности.

- Отец мой, напрасно вы стараетесь приуменьшить мое отвращение к монастырской жизни; у вас в руках доказательство того, как она мне ненавистна. Если я даже и совершил какой-нибудь проступок, подрывающий авторитет обители, то сожалею об этом, но не чувствую за собой никакой вины. В том нарушении устава, которое клеветнически приписывается мне, виновны как раз те, кто заставил меня принять обет монашества. Я исполнен решимости изменить свое положение и сделаю для этого все возможное. Видите, сколько сил я на это уже положил, будьте уверены, что то же самое будет делаться и впредь. Всякая неудача лишь усугубит мои старания, и если только небо или земля в силах освободить меня от принятого обета, то нет такой власти, к которой бы я не решился прибегнуть.

Я думал, что настоятель не даст мне договорить, но он не стал меня прерывать. Напротив, он спокойно выслушал меня, и я уже приготовился встретить и отразить следующие один за другим упреки и возражения, уговоры и угрозы, которыми с таким искусством умеют пользоваться в монастыре.

- Итак, твое отвращение к монашеской жизни неодолимо?

- Да.

- Но что же тебе в ней так ненавистно? Ведь не монастырские же правила - ты исполняешь все что положено с безупречной точностью; не отношение же к себе, которое ты находишь среди нас, - оно ведь самое снисходительное, какое только дозволяется в монастыре; не сама же община - ты пользуешься в ней всеобщим расположением и любовью, так чем же ты недоволен?

- Самой жизнью в монастыре. Сюда входит все. Я не создан для того, чтобы быть монахом.

- Так помни, прошу тебя, что хоть внешне мы и должны повиноваться решениям суда земного, ибо мы по необходимости зависим от людских учреждений во всем, что касается отношения человека к человеку, все это не имеет никакой силы, когда речь идет об отношениях между человеком и богом. Помни, заблудшее дитя мое, что если даже все суды на земле провозгласят тебя сейчас свободным от принятого тобою обета, твоя собственная совесть никогда не сможет освободить тебя. На протяжении всей твоей нечестивой жизни она будет вновь и вновь упрекать тебя в нарушении обета, которое допущено человеком, а отнюдь не богом. И как ужасны будут эти упреки, когда настанет твой смертный час!

- Он не будет таким ужасным, как тот час, когда я принял обет или, вернее, когда меня вынудили его принять.

- Вынудили!

- Да, отец мой, да, я призываю небо в свидетели против вас. В то злосчастное утро все ваши угрозы, увещания и просьбы были так же тщетны, как и сейчас, до тех пор пока вы не заставили мою мать упасть к моим ногам и молить меня об этом.

- Ты что же, собираешься упрекать меня в том, что я так ревностно добивался спасения твоей души?

- Я вовсе не собираюсь вас в чем-либо упрекать. Вы знаете, какие шаги я предпринял, так помните же, что я буду добиваться своего всеми доступными мне средствами, что я никогда не буду знать покоя и буду требовать, чтобы с меня сняли мой обет, пока во мне еще теплится надежда на это, и что душа, полная такой решимости, как моя, даже само отчаяние способна превратить в надежду. Вы окружили меня подозрительностью, следили за каждым моим

движением, за каждым шагом, и, однако, я нашел способ передать мои записи в руки адвоката. Подумайте, какой решимостью надо обладать, чтобы даже в самом сердце монастыря осуществить такой замысел! Судите же сами, сколь напрасным будет все ваше дальнейшее противление этому замыслу, если вам не удалось не только предотвратить, но даже выследить первые шаги, направленные к его осуществлению.

Настоятель молчал. Казалось, слова мои произвели на него впечатление.

- Если вы хотите избавить общину от позора, который повлечет за собой продолжение возбужденного мною дела в ее стенах, вам ничего не стоит это сделать. Пусть в один из дней ворота останутся открытыми, не противьтесь моему бегству, и я никогда больше не стану ни тревожить, ни бесчестить вас своим присутствием.

- Как, ты хочешь сделать меня не только свидетелем, но еще и соучастником твоего преступления? Отступив от бога и став на путь гибели, ты собираешься отплатить за протянутую тебе руку помощи тем, что, ухватившись за нее, стащишь меня вместе с собою в пропасть?

Совершенно разъяренный, настоятель принялся быстрыми шагами расхаживать по келье. Мое незадачливое предложение задело его главную страсть (он был ревнителем строжайшей дисциплины) и вызвало в нем новый приступ враждебности ко мне. Я стоял и ждал, пока этот взрыв уляжется, а он в это время непрестанно восклицал:

- Боже мой, за какие неисповедимые грехи позор этот бесчестит наш монастырь? Что станет с его доброю славой? Какие толки пойдут в Мадриде?

- Отец мой, за стенами монастыря никому нет дела до того, жив ли еще некий безвестный монах, или умер, или отрекся от принятого обета. Пройдет немного времени, и все обо мне забудут, а вы утешитесь, ибо снова восстановится та стройная дисциплина, та гармония, которую я все равно постоянно бы нарушал как некая диссонирующая нота. К тому же весь Мадрид, какой бы интерес к этому делу вы ему ни приписывали, ни при каких обстоятельствах не может быть ответствен за мое спасение.

Настоятель продолжал расхаживать взад и вперед, повторяя:

- Что скажет свет? Что с нами станет? - пока не довел себя до иступленности, до бешенства; тогда, внезапно повернувшись ко мне, он воскликнул:

- Негодяй! Откажись от своего ужасного замысла, сейчас же! Даю тебе пять минут на размышление.

- Если бы вы даже дали пять тысяч минут, ничего бы не изменилось.

- В таком случае трепещи, ты заплатишься жизнью за свои нечестивые планы.

С этой угрозой он стремительно вышел из кельи. Минуты, которые я провел в ней после его ухода, были, должно быть, самыми ужасными в моей жизни. Они становились еще ужаснее оттого, что окружала меня темнота. Была глубокая ночь, а настоятель унес единственную свечу. Вначале волнение помешало мне это заметить. Я чувствовал, что нахожусь во мраке, но не знал, как и почему это случилось. В голове моей во множестве проносились картины неопишущего ужаса, нарисованные моим воображением. Мне много всего довелось слышать о чудовищных расправах, творимых в монастырях, - о страшных наказаниях, нередко кончавшихся смертью жертвы или доводивших ее до такого состояния, при котором смерть становится благодеянием. Подземелья, цепи и плети огненным потоком проносились перед моими глазами. Угрозы настоятеля являлись передо мной, начертанные огненными буквами на стенах моей кельи и пламенеющие во тьме. Весь сотрясаясь от дрожи, я принялся громко кричать, хоть и понимал, что ни одна из шестидесяти келий, в которых жила монастырская община, не откликнется на мой зов. В конце концов сами страхи мои достигли такой степени напряжения, что потеряли свою власть надо мной. Я подумал: "Убить меня они не посмеют, не посмеют и бросить в

тюрьму: они отвечают за меня перед судом, в который я обратился с просьбой освободить меня. Они не посмеют учинить надо мной никакого насилия". Не успел я прийти к этому утешительному выводу, который в действительности был не чем иным, как торжеством софистических измышлений, подсказанных надеждой, дверь моей кельи отворилась и снова вошел настоятель в сопровождении своих неизменных четырех спутников. Вокруг была крошечная тьма, но я все же мог разглядеть, что они принесли с собой веревку и кусок мешковины. Вид этих предметов предвещал самое страшное. За один миг все представилось мне в ином свете, и, вместо того чтобы убеждать себя, что они не посмеют сделать того-то и того-то, я проникся мыслью прямо противоположной: "Есть ли хоть что-нибудь, чего они не посмеют сделать? Я в их власти. Они это знают. Я вел себя с ними как нельзя более вызывающе, - чего только не могут сделать монахи в своей бессильной злобе? Что же будет со мной?". Они подошли совсем близко, и я уже представил себе, как мне накидывают на шею петлю, как потом прячут мой труп в мешок. Перед взором моим проплывали бесчисленные картины кровавых убийств, я чувствовал, как пламя костров обжигает меня, мне было нечем дышать. Мне чудились стоны многих тысяч замученных в этих стенах жертв, которых постигла та же участь, что ждет меня. Я не знаю, что такое смерть, но я убежден, что в эту минуту я пережил муки не одной, а многих смертей. Первым побуждением моим было броситься на колени.

- Я в вашей власти, - произнес я. - В ваших глазах я виновен, делайте со мной все, что задумали, только не продлевайте моих мучений.

Не видя, а может быть, и не слыша меня, настоятель сказал:

- Теперь ты в том положении, в каком тебе пристало находиться.

Услышав эти слова, которые показались мне менее страшными, чем я ожидал, я пал ниц. Еще несколько минут назад я решил бы, что это неслыханное унижение, но страх делает человека кротким. Я испытывал ужас перед насилием; я был молод, и жизнь, хоть пестроту и блеск ее я больше угадывал пылким воображением, нежели знал из опыта, притягивала меня. Монахи, заметившие, что я лежу простертый, испугались, как бы в настоятеле не пробудилась жалость. С тем же гнетущим однообразием, тем же \_нестройным хором\_, от которого у меня леденела кровь, когда несколько дней назад я так же вот падал перед ними на колени, они проговорили:

- Ваше преподобие, не допустите, чтобы это лицемерное смирение могло смягчить ваше сердце. Время милосердия уже прошло. Вы назначали ему срок, когда он мог поразмыслить над своим положением, - он отказался воспользоваться им. Теперь вы пришли не для того, чтобы выслушивать его просьбы, а для того, чтобы совершить правосудие.

При этих словах, возвещавших начало самого ужасного, я стал опускаться на колени перед каждым из монахов, стоявших рядом и мрачным видом своим напоминавших палачей. Обливаясь слезами, я говорил каждому из них:

- Брат Климент, брат Иустин, скажите, почему вы так стремитесь восстановить против меня настоятеля? Почему вы так торопитесь вынести приговор, который, справедлив он или нет, неизбежно окажется суровым потому уже, что исполнителями его будете вы? Что я вам сделал худого? Не я ли заступался за вас, когда вас хотели наказать за совершенные вами проступки? Так-то вы хотите отблагодарить меня за все?

- Не трать времени попусту, - сказали монахи.

- Погодите, - вмешался настоятель, - дайте ему сказать, что он хочет. Может быть, ты все же воспользуешься последней минутой снисхождения, единственной, которую я могу предложить тебе, чтобы взять назад твое страшное решение - отречься от принятого обета?

При этих словах оставившие меня силы снова вернулись ко мне. Я поднялся с колен и стоял теперь перед ними.

- Никогда! - воскликнул я, - я вверяю себя божьему суду.

- Негодяй! Ты уже отрекся от бога.

- Что же, отец мой, в таком случае мне остается только надеяться, что господь не отречется от меня. Я обратился также и к другому суду, над которым вы не властны.

- Но зато мы властны здесь, и ты это почувствуешь.

Он сделал знак монахам, и те подошли ко мне. В испуге я закричал, но в ту же минуту покорился. Я был уверен, что минута эта будет для меня последней. Меня поразило, когда вместо того, чтобы накинуть веревку мне на шею, они связали ею мне руки. Потом они сняли с меня рясу и прикрыли меня мешковиной. Я не сопротивлялся и, не скрою от вас, сэр, я был в какой-то степени разочарован. К смерти я уже был готов, однако во всех этих приготовлениях было нечто более страшное, чем смерть. Когда нас толкают к самому краю пропасти, где ждет смерть, мы смело бросаемся вниз и нередко бросаем вызов торжеству убийц, восторжествовав над ними. Но когда нас ведут туда шаг за шагом, когда на дают заглянуть вниз, а потом оттаскивают назад, мы теряем вдруг всю нашу решимость и все терпение; мы понимаем тогда, что один смертельный удар был бы милостью в сравнении с промедлением, с тем, что раз от разу откладывается, а потом опять нависает над нами, колеблется неопределенностью своей терзает нам сердце. Я был готов ко всему, к только не к тому, что последовало за этим.

Связанного веревкой, как преступника, как каторжника, прикрытого только мешковиной, они поволокли меня по коридору. Я ни разу не вскрикнул, не оказал им никакого сопротивления. Они спустились по лестнице, которая вела в церковь. Я шел за ними следом, вернее, они тащили меня за собою. Они прошли через боковой придел; близ него оказался темный проход, которого я никогда раньше не замечал. Мы вошли туда. В конце его была низкая дверь, которая выглядела зловеще.

- Нет, вам не удастся замуровать меня здесь живым! - вскричал я. - Вам не удастся заточить меня в эту страшную тюрьму, сгноить меня в этой сырости, отдать на съедение гадам! Нет, этому никогда не бывать, вы отвечаете за мою жизнь!

Тут они сразу же обступили меня, и тогда, в первый раз за все время, я вступил с ними в борьбу, стал призывать на помощь; они только этого и ждали; им надо было, чтобы я оказал им сопротивление. Тут же позвали монастырского прислужника, который ждал в коридоре; послышались удары колокола, те страшные удары, при звуке которых всей братии надлежит немедленно разойтись по кельям, ибо это означает, что обители произошло нечто чрезвычайное. При первом же ударе колокол я потерял всякую надежду на спасение. У меня было такое чувство, что в обители не осталось ни одного живого существа; окружавшие меня эту минуту монахи при мертвенном свете едва мерцавшей свечи были похожи на привидения, что волокут проклятую душу в преисподнюю. Он потащили меня вниз по лестнице к этой двери, находившейся значительно ниже уровня прохода, который мы миновали. Прошло немало времени, прежде чем они сумели ее открыть: то ли в руках у них был не тот ключ, то ли их охватило волнение при мысли о насилии, которое им предстояло совершить. Но от этого промедления мне стало еще страшнее: я представил себе, что под эти своды никто никогда не сходил, что я явился первой жертвой, которую туда собирались заточить, и что палачи мои твердо решили, что я не должен выйти оттуда живым. Мысли эти повергли меня в невыразимую муку, и я принялся громко кричать, хоть и хорошо понимал, что ни одна живая душа меня не услышит. Крики мои заглушались скрипом тяжелой двери, которая подалась только после того, как монахи все вместе, вытянув руки, стали изо всей силы толкать ее вперед, шаркая все время ногами по каменному полу.

Они втолкнули меня туда, в то время как настоятель стоял у входа со свечой в руках и, как мне показалось, дрожал от открывавшейся его глазам ужасной картины. У меня было

достаточно времени, чтобы увидеть, как выглядел подвал, в котором - я был в этом уверен - мне предстояло окончить мои дни. Стены были каменные, над головою нависал сводчатый потолок. В углу, на каменной глыбе, стояли распятие, череп, кружка с водой и лежал ломоть хлеба. На полу постелили рогожу, которая должна была служить мне постелью. Другая, свернутая, должна была заменить собою подушку. Монахи швырнули меня на эту подстилку и приготовились уйти. Я перестал им сопротивляться; я понимал, что убежать все равно никуда не могу, но я стал умолять их оставить мне хотя бы свечу и молил их об этом так горячо, как будто речь шла о том, чтобы мне даровали свободу. Так, когда мы бываем придавлены большим горем, мысли наши разбегаются и дробятся по мелочам. Мы не в силах охватить умом того, что свершилось. Мы не ощущаем тяжести навалившейся на нас горы, а только уколы впивающихся в тело мелких камней.

- Во имя христианского милосердия, оставьте мне свечу, хотя бы для того, чтобы я мог защититься от гадов, которыми здесь, верно, все кишит.

Это была сушая правда, я увидел, как потревоженные светом пресмыкающиеся неимоверной длины поползли по стенам. Все это время монахи изо всех сил старались запереть тяжелую дверь; они не проронили при этом ни единого слова.

- Умоляю вас, \_оставьте мне свечу хотя бы для того, чтобы я мог взирать на этот череп\_ вам нечего бояться, что если я что-то буду видеть в таком месте, то это облегчит мою участь. Оставьте свечу; не то, когда я захочу молиться, мне придется \_ощупью пробираться\_ к распятию. - За это время им, правда с трудом, но все же удалось запереть дверь, и я услышал их удалявшиеся шаги.

Вы, пожалуй, не поверите мне, сэр, если я скажу вам, что я сразу же погрузился в глубокий сон; но лучше уж никогда больше не спать, чем испытать такое ужасное пробуждение. Когда я проснулся, \_вокруг все было так же темно\_. Мне больше уже не суждено было видеть свет; не суждено следить за бегом часов и минут, которые долю за долей отмеряют доставшиеся нам муки и как будто тем самым их уменьшают. Слыша бой часов, мы знаем, что еще один час нашего страдания миновал и что он никогда больше не вернется. Единственным подобием часов для меня было появление монаха, который каждое утро приносил мне хлеб и воду; я прислушивался к его шагам, как будто то были шаги любимого существа, звук их сделался для меня пленительной музыкой. Только находясь в таком положении, в каком был я, можно понять, как много могут значить для человека такие вот вехи, которыми отсчитываешь часы бездействия и полного мрака. Вам, разумеется, приходилось слышать, сэр, что глаза, очутившиеся впервые во тьме, вначале вообще ничего не видят, а потом постепенно привыкают к окружающему их мраку и начинают различать в нем предметы, которые даже освещены для них неким подобием света. Очевидно, та же способность есть и у души, иначе как бы я мог, находясь в этих грозных стенах, размышлять, принимать решения и даже - тешить себя надеждой? Так бывает, когда нам кажется, что весь мир в сговоре против нас; всю силу нашего отчаяния мы обращаем тогда на дружеское сочувствие к себе и на снисхождение к собственной слабости. \_Когда же все вокруг льстят нам и нас боготворят, мы безнадежно устаем и терзаем себя упреками\_.

Узник, ежечасно мечтающий о свободе, менее подвержен апатии, нежели государь на престоле своем, окруженный лестью, сладострастием и пресыщением. Я пришел к мысли, что бумаги мои находятся в сохранности, что дело мое ведут с надлежащим упорством, что мой брат очень ревностно за него взялся и поручил его лучшему адвокату Мадрида, что они не посмеют убить меня и что вся обитель будет в ответе, если я не смогу явиться тотчас же, как того потребует суд; что сама принадлежность моя, к столь знатному роду является для меня могучей защитой, пусть даже никто из членов семьи, за исключением моего великодушного и пылкого Хуана, не заступится за меня; что коль скоро мне было позволено получить и прочесть первую

записку адвоката и передал ее мне сам настоятель, то было бы нелепо думать, что мне могут отказать в дальнейших сношениях с ним тогда, когда дело продвинется дальше. Все это нашептывала мне надежда - и не без оснований. Но стоит мне только вспомнить, какие мысли мне внушало отчаяние, как я содрогаюсь даже сейчас. Самой ужасной из всех была мысль, что монастырская община может убить меня \_теми средствами, которые имеются в ее распоряжении\_, не дав мне дожидаться свободы.

Вот, сэр, каковы были мои размышления; вы спросите, каковы же были мои занятия. Мое положение было таково, что в них не было недостатка, и, как бы они ни претили мне, это все-таки были занятия. Я имел возможность молиться; вера в бога была единственной моей опорой в одиночестве и во тьме, и, моля господина только о том, чтобы мне были дарованы свобода и покой, я чувствовал, что по крайней мере не оскорбляю его теми лицемерными молитвами, которые я был бы вынужден произносить, если бы пел в хоре. Там я обязан был принимать участие в богослужении, которое мне было ненавистно, а для него оскорбительно; здесь, в тюрьме, я открывал перед ним сердце, и у меня было такое чувство, что он, может быть, мне ответит. Однажды, когда зашел монах, приносивший мне хлеб и воду, я воспользовался светом свечи и переставил распятие так, что теперь, проснувшись, мог сразу же нащупать его руками. А просыпался я очень часто и, не будучи уверен, ночь это или день, все равно читал молитвы. Я не знал, совершается ли в эти часы утрення или вечерняя месса; у меня не было тогда ни утра, ни вечера, но распятие сделалось для меня неким талисманом, которого я непременно должен был коснуться. Нашупав его, я говорил: "Мой бог не оставляет меня даже в моей темнице; это бог, который сам страдал и который может сжалиться надо мной. Величайшее из моих бедствий ничто в сравнении с тем, что Христос, претерпевший унижение за грехи людей, выстрадал за меня!". И я целовал лик его на распятии (нащупывая его в темноте губами) с таким горячим волнением, какого у меня никогда не бывало тогда, когда я видел его среди сияющих свечей, когда к нему поднимали остию, а вокруг все было окутано ароматным дымом, вздымавшимся из каминов, когда блистали всем своим великолепием одежды священников, а верующие благоговейно молились, недвижно простертые перед ним.

Были у меня и другие занятия, менее достойные, но неотвратимые. Гады, которыми кишела темная яма, куда я был брошен, заставляли меня все время держаться настороже, вызывая в душе чувство вражды, неотступной, жалкой, нелепой. Рогожа оказалась постеленной у самого театра военных действий. Я перенес ее в другое место, но гады не перестали меня преследовать. Тогда я положил ее вплотную к стене: прикосновение их раздувшихся скользких тел нередко будило меня среди ночи и еще чаще заставляло меня содрогаться от ужаса, когда я не спал, стоило мне только ощутить на себе их влажный холод. Я нападал на них, я старался напугать их звуком моего голоса, вооружался против них рогожей; но больше всего меня донимала необходимость постоянно защищать от их непрошенных вторжений хлеб и кружку с водой, куда они непременно всякий раз пытались залезть. Я принимал множество самых необходимых предосторожностей, и все напрасно, ибо ничто мне не помогало, но как-никак мне было чем себя занять. Уверяю вас, сэр, \_в тюрьме этой у меня было больше дела, нежели в монастырской келье\_. Сражаться со змеями в темноте - это, может быть, самая ужасная борьба, какая выпадает на долю человека. Но что значит она в сравнении с другой борьбой - с теми змеями, которые бывают зачаты одиночеством человека, заточенного в четырех стенах, и ежечасно рождаются у него в сердце?

Было у меня и еще одно времяпрепровождение - занятием я все же это никак не могу назвать. Помня, что час состоит из шестидесяти минут, а каждая минута - из шестидесяти секунд, я вообразил, что смогу отсчитывать время с такою же точностью, как и монастырские часы, и исчислять, сколько времени я провел в тюрьме и сколько его еще остается. Так вот я и

сидел и считал до шестидесяти; меня, правда, все время разбирало сомнение, что я \_отсчитываю минуты быстрее, чем монастырские часы\_. Как мне тогда захотелось самому превратиться в часы, дабы проникнуться равнодушием ко всему на свете и не иметь никаких пристрастий, желаний, \_никакого повода для того, чтобы торопить бег времени!\_ Потом я стал отсчитывать его медленнее. Случалось, что за этой игрой не меня напал вдруг сон (может быть, даже я и принимался за нее в надежде, что он придет), но стоило мне проснуться, как я сейчас же снова возобновлял прерванный счет. Сидя на своей подстилке, я покачивался как бы в такт маятнику, отсчитывал и измерял проходившие часы и минуты, лишенный того чудесного календаря, который нам дарован природой, - с его восходами и закатами, с предрассветной и сумеречной росой, с пылающими звездами и вечерними тенями. Когда счет мой бывал прерван сном, - а я даже не знал, сплю я днем или ночью, - я всякий раз пытался восполнить пропущенное, тут же принимаясь опять отсчитывать минуты и секунды, и мне это удавалось: я находил для себя утешение в мысли, что, который бы это ни был час, он все равно состоит из шестидесяти минут. Еще немного, и я бы, вероятно, превратился в того жалкого идиота, о котором я когда-то читал и который, привыкши подолгу слушать, как идут часы, так научился подражать их тиканью и бою, что, когда часовой механизм останавливался, с совершеннейшей точностью воспроизводил то и другое {2}. Вот из чего складывалась в те дни моя жизнь.

На четвертый день (а я отсчитывал дни всякий раз, когда ко мне приходил монах) тот, как обычно, положил на камень хлеб и поставил кружку с водой, но почему-то медлил с уходом. Ему действительно не хотелось сообщать мне какие-либо известия, могущие заронить в мое сердце надежду; это было несовместимо ни с его положением, ни с этими обязанностями, которые порожденная монастырской жизнью нелепая озлобленность надумила его возложить на себя как покаяние. Вы содрогаетесь, слыша это, сэр, но тем не менее это сущая правда: человек этот думал, что служит богу тем, что созерцает страдания себе подобного, которого заточили в тюрьму и обрекли на голод, беспросветный мрак и соседство со змеями. Теперь срок его покаяния окончился, и он отшатнулся от этого зрелища. Увы! Сколько лжи и фальши заключено в религии, которая считает, что умножая страдания других, мы этим приближаемся к тому богу, который хочет, чтобы каждый из нас был спасен. И, однако, именно этим занимаются в монастырях. Монах этот долго колебался, борясь с жестокостью своей природы, и кончил тем, что ушел и запер за собой дверь, чтобы иметь возможность еще какое-то время помедлить. Быть может, в эти минуты он молился богу и просил его, продлевая мои страдания, облегчить все те, что выпали на его долю. Полагаю, что он был совершенно искренен; только если бы людей учили устремлять силы свои на \_Великую Жертву\_, то неужели бы они могли поверить, что собственная их жизнь или чьи-то чужие жизни могут стать ей заменой? Вас удивляет, сэр, что вы слышите такие слова от католика, но вторая часть моего рассказа должна будет пояснить вам, почему я их произнес. В конце концов монах уже не смог откладывать далее исполнение того, что ему поручили. Он был вынужден объявить мне, что настоятель не остался глух к моим страданиям, что господь коснулся его сердца и смягчил его, и теперь он разрешает мне выйти из моей тюрьмы.

Не успел он вымолвить этих слов, как я вскочил и бросился вон оттуда и при этом так громко закричал, что, пораженный, он замер. Выражение каких-либо чувств - вещь очень необычная в монастырях, а выражение радости это целое событие. Прежде чем он успел прийти в себя от удивления, я уже был в проходе, который вел в церковь, и среди монастырских стен, которые прежде были для меня стенами тюрьмы, обрел настоящее раздолье. Меня охватило удивительное ощущение свободы, и если бы в эту минуту передо мной распахнулись ворота монастыря, то вряд ли оно было бы сильнее. Я упал в этом темном проходе на колени и возблагодарил господа. Я благодарил его за свет, за воздух, которые я обретал вновь, и за то, что



теперь мог дышать полной грудью. Когда я изливал все эти чувства, - а они были столь же искренни, как и все остальные, которые вырывались у меня в этих стенах, - мне вдруг стало худо; у меня закружилась голова, должно быть, от избытка света, которого я столько времени был лишен. Я упал на пол и не помню уже, что было со мной потом.

Очнувшись, я увидел, что я лежу у себя в келье, которая выглядит совершенно так же, как тогда, когда я ее оставил; был день, и я убежден, что заливавший ее свет больше способствовал моему выздоровлению, нежели вся пища и укрепляющие средства, которые мне теперь в изобилии давали. В течение всего дня до слуха моего не донеслось никаких звуков, и у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить о возможных причинах той снисходительности, которую ко мне проявили. Мне пришло в голову, что настоятелю мог быть дан приказ вызвать меня или что, во всяком случае, он не в силах был не допустить встреч моих с адвокатом, на которых тот мог настаивать как на необходимых ему для ведения моего дела. Уже под вечер в келью ко мне зашли несколько монахов, они вели разговор о вещах совершенно посторонних, притворились, что отсутствие мое истолковано ими как следствие болезни, и я не стал их разубеждать. Как бы невзначай они упомянули о том, что родители мои, потрясенные надругательством над святою верой, которое я учинил, выразив желание отречься от принятого обета, уехали из Мадрида. Известие это очень взволновало меня, хоть я и старался ничем не выказывать своего волнения. Я спросил их, сколько времени я был \_болен\_. "Четыре дня", - ответили они. Это подтвердило мои подозрения касательно причины моего освобождения, ибо в письме своем адвокат сообщал мне, что через четыре дня он будет просить свидания со мной по поводу возбужденного мною ходатайства. Они ушли, но вскоре в келью ко мне явился еще один посетитель.

После вечерни (от присутствия на которой меня освободили) ко мне пришел настоятель. Он был один. Он подошел к моему изголовью. Я пытался встать, но он дал мне понять, что хочет, чтобы я успокоился, и сам уселся возле меня, устремив на меня спокойный, но пронизательный взгляд.

- Теперь ты убедился, что наказывать тебя в нашей власти?

- Я никогда в этом не сомневался.

- Дабы ты не начал снова искушать эту власть и толкать ее на крайние меры воздействия, которые, предупреждаю, ты не в силах будешь выдержать, я пришел сюда и требую, чтобы ты отказался от отчаянной попытки отречься от принятого тобой обета. Затея твоя может только оскорбить господа, для тебя же все неизбежно закончится неудачей.

- Отец мой, не вдаваясь в подробности, которые после всего предпринятого той и другой стороной, оказываются совершенно ненужными, я могу только ответить вам, что буду поддерживать мое ходатайство всеми средствами, которые волею Провидения окажутся мне доступными, и что понесенное мною наказание только укрепило меня в моей решимости.

- И это твое окончательное решение?

- Да, и я прошу вас не докучать мне больше и ничего от меня не требовать. Это все равно ни к чему не приведет. Какое-то время он молчал; наконец я услышал:

- Так, значит, ты настаиваешь на том, чтобы завтра тебе дали свидание с адвокатом?

- Да. Я буду этого добиваться.

- Во всяком случае ты не должен сообщать ему о наказании, которому тебя подвергли.

Слова эти поразили меня. Я понял все, что скрывалось за ними, и ответил:

- Может быть, в этом и нет особой надобности, но скорее всего это не окажется излишним.

- Ты что же, хочешь разглашать тайны обители, в стенах которой ты находишься?

- Простите меня, отец мой, за эти слова, но вы, очевидно, сознаете, что превысили свои полномочия, если вы сейчас так обеспокоены тем, чтобы поступки ваши остались скрытыми. А

раз так, то дело не в раскрытии тайн монастырского устава, а в нарушении этого устава. Об этом-то мне и придется сказать.

Настоятель ничего не ответил, а я продолжал:

- Если вы злоупотребили данной вам властью, то, хотя потерпевшим и являюсь я сам, вся вина ложится на вас.

Настоятель поднялся с места и, не говоря ни слова, ушел из кельи.

На следующий день я присутствовал на утренней мессе. Служба шла обычным порядком, но к концу, когда все молящиеся уже вставали с колен, настоятель, с силой стукнув кулаком по аналою, приказал всем не двигаться с места. Громовым голосом он возгласил:

- Прошу всю общину помолиться за одного монаха; господь оставил его, и он собирается совершить поступок, оскорбительный для Всевышнего, позорящий церковь и пагубный для его души.

Услыхав эти грозные слова, трясущиеся от страха монахи снова опустились на колени. Я был в их числе, как вдруг настоятель, назвав меня по имени, вскричал:

- Встань, негодяй, встань и не оскверняй нашего храма своим нечестивым дыханием!

Я поднялся в смятении, весь дрожа, укрылся у себя в келье и оставался там до тех пор, пока за мной не пришли и не вызвали в приемную, где меня уже дожидался мой адвокат. Свидание это ни к чему не привело, потому что при нем присутствовал монах, ставший по желанию настоятеля свидетелем всего нашего разговора, и адвокат, как оказалось, не имел права потребовать, чтобы тот удалился. Как только мы доходили до обстоятельств дела, он прерывал нас и заявлял, что его обязанность не допускать нарушения правил поведения в монастырской приемной. Когда я обращал внимание адвоката на ту или иную подробность, монах все начисто отрицал, уличал меня во лжи и в конце концов до такой степени сбил нас с предмета нашего разговора, что, только ради того, чтобы защитить себя, я упомянул о понесенном мною наказании, которого тот не мог отрицать и о котором лучше всего свидетельствовал мой измученный вид. Как только я заговорил об этом, монах умолк (он старался не пропустить ни одного моего слова, чтобы все доложить настоятелю), и адвокат стал слушать меня с удвоенным вниманием. Он записывал все, что я говорил, и, казалось, придавал этому больше значения, чем я думал и мог ожидать.

Когда беседа наша окончилась, я вернулся к себе в келью. Адвокат посещал меня и в последующие дни, и так продолжалось до тех пор, пока он не собрал все сведения, необходимые для того, чтобы вести мое дело. И в течение всего этого времени в монастыре обращались со мною так, что у меня не могло быть ни малейшего повода для жалоб. Этим-то, вероятно, и объяснялась столь необычная для всех окружающих снисходительность. Но как только адвокат перестал у меня бывать, враждебность и преследования возобновились с прежнею силой. Я снова сделался для них человеком, с которым можно было несколько не считаться, и они соответственно стали обращаться со мной. Я убежден, что в их намерения входило не допустить, чтобы я дожил до того дня, когда в суде будет слушаться мое дело; во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что они употребили все средства для того, чтобы этого добиться. Началось это, как я уже говорил, со дня последнего посещения адвоката. Прозвонил колокол, сзывавший к очередной трапезе. Я собирался уже сесть на свое место за столом, как вдруг настоятель вскричал:

- Пойдите! Постелите ему посреди трапезной рогожу.

Приказание это было исполнено, меня заставили сесть на подстилку и дали только хлеб и воду. Я съел маленький кусочек хлеба, оросив его слезами. Я предвидел, что меня ждет, и даже не пытался протестовать. Когда читалась послеобеденная молитва, мне было приказано выйти за дверь, дабы от моего присутствия благословение, о котором молили все собравшиеся, не

утратило своей силы.

Я ушел к себе, а когда колокол зазвонил к вечерне, вместе со всеми стал у дверей церкви. Меня удивило, что все уже собрались, а двери оставались запертыми. Когда колокол умолк, появился настоятель; двери отворились, и вся братия стала поспешно входить в храм. Я пошел вместе со всеми, но настоятель остановил меня:

- Куда ты идешь, негодяй! Стой! - вскричал он.

Я повиновался; вся община вошла в церковь, а я остался стоять у дверей. Отлучение это подействовало на меня угнетающе. Медленно входившие в церковь монахи молча бросали на меня полные ужаса взгляды; я чувствовал себя самым ничтожным существом на земле; мне хотелось провалиться куда-нибудь под пол и не вылезать до тех пор, пока не окончится дело, возбужденное мною в суде.

На следующий день, когда я отправился к утрени, повторилось все то же самое, но к этому прибавились еще ужасающие, походившие на проклятия упреки как перед началом мессы, так и потом, когда монахи выходили из церкви. Я опустил на колени у церковных дверей. Я не сказал ни слова. Я не стал отвечать на их оскорбления {3} и поддерживал в себе присутствие духа едва теплившейся во мне надеждой, что и моя молитва дойдет до господа так же, как звучное пение хора, с которым мне все же было очень горько расставаться.

В течение дня все шлюзы монастырской злобы и мстительности распахнулись. Я появился в дверях трапезной. Войти туда я не смел. Увы, сэр, знали бы вы только, как проходят у монахов часы трапез! В эти часы, глотая свою еду, они оживленно обсуждают мелкие монастырские происшествия. Они спрашивают друг друга: "Кто сегодня опоздал к молитве?", "На кого наложили покаяние?". Это становится предметом разговора, и подробности их жалкой жизни не доставляют им никакой другой темы для ненасытной злобы и любопытства, неразлучных близнецов, что рождаются в монастыре. Я продолжал стоять в дверях трапезной, пока наконец один из братии, которому настоятель кивнул, не попросил меня удалиться. Я вернулся к себе в келью, переждал там несколько часов, и только после того, как зазвонили к вечерне, мне принесли еду, притом такую, от которой отшатнулся бы даже самый голодный из голодных. Я пытался все же съесть ее, но так и не мог и, слыша удары колокола, отправился к вечерне: я не хотел давать никакого повода к недовольству тем, что не исполняю свои обязанности. Я поспешил сойти вниз. Как и утром, двери были заперты; служба уже началась, и мне снова пришлось уйти, не приняв в ней участия. На следующий день мне не позволили присутствовать на утренней мессе; та же самая унижительная сцена повторилась, когда я появился в дверях трапезной. В келью мне посылали такую пищу, какую не стала бы есть и собака, а всякий раз, когда я пытался войти в церковь, двери ее оказывались запертыми. Меня преследовали множеством способов; они слишком омерзительны, слишком мелки для того, чтобы о них рассказывать или даже просто их вспоминать, но вместе с тем они были столь мучительны, что с утра до вечера я не знал покоя. Вообразите только, сэр, что шестьдесят с. лишним человек дали друг другу клятву сделать жизнь одного человека невыносимой; что они все сообща решили оскорблять его, преследовать, всеми способами мучать и раздражать; а потом постарайтесь представить себе, какова будет этому несчастному выносить подобную жизнь. Я начал опасаться за свой рассудок, да и за свою жизнь, ведь как она ни была жалка, ее все же поддерживала надежда на благоприятный исход моего дела.

Постараюсь в нескольких чертах изобразить вам один из дней этой жизни. *Ex uno disce omnes* {По одному суди обо всех {4} (лат.)}. Утром я шел к утренней мессе и, дойдя до дверей церкви, опускался на колени; войти внутрь я не смел. Вернувшись к себе в келью, я обнаружил, что распятия моего уже нет. Я решил пойти пожаловаться настоятелю; в коридоре я встретил одного из монахов и двоих воспитанников. Завидев меня, все они прижались к стене; они

старательно подобрали подолаы ряса, словно боясь, что я могу осквернить их своим прикосновением.

- Вам нечего бояться, - кротко сказал я, - коридор достаточно широк.

- Arage, Satana! {Отыди, сатана (лат.).} - воскликнул монах. - Дети мои, - продолжал он, обращаясь к воспитанникам, - повторяйте вслед за мной "Arage, Satana!"; не подходите к этому дьяволу, он оскверняет рясу, которую носит и которую готовится с себя снять.

Воспитанники отшатнулись от меня и, для того чтобы придать изгнанию дьявола еще большую силу, проходя мимо, плюнули мне в лицо. Я вытер их плевки и подумал, как мало духа Христова в обители тех, кто называет себя братьями во Христе. Дойдя до кельи настоятеля, я робко постучал в дверь.

- Входи с миром, - услышал я в ответ и стал творить молитву, прося у бога, чтобы меня встретили миром. Отворив дверь, я увидел настоятеля и еще нескольких монахов, собравшихся у него. Едва завидев меня, настоятель в ужасе закричал и накрыл голову полою своей рясы. Монахи поняли этот знак: дверь тут же захлопнули у меня перед носом. В этот день мне пришлось, сидя у себя в келье, особенно долго ждать, пока мне принесут еду. Никакое душевное состояние не может подавить в человеке голод и жажду. Много дней уже я не получал той пищи, которой требует молодой, развивающийся организм, тем более что я был высокого роста и очень исхудал. Я отправился на кухню попросить, чтобы мне дали поесть. Стоило мне появиться в дверях, как повар начал креститься; даже на кухню меня не пускали теперь дальше порога. Ему вбили в голову, что во мне сидит бес, и он трясся от страха.

- Что тебе надобно? - спросил он.

- Что-нибудь поесть, - ответил я, - только поесть.

- Ладно, получай, только не смей подходить ко мне близко, вот твоя еда.

И он швырнул за порог требуху; я был настолько голоден, что с жадностью принялся есть ее прямо с полу. Однако на следующий день счастье мне изменило: повар успел проведать тайный замысел монастырской общины - всеми способами мучать тех, кто вышел у нее из повиновения, - и смешал брошенные мне объедки с золою, волосами и пылью. Мне стоило большого труда выбрать какой-нибудь кусок, который при том, что я был изнурен голодом, я все же решил бы съесть. Мне не дали в келью воды и не позволили прикоснуться к той, которую приносили в трапезную; мучимый жаждой, которая становилась еще более жгучей от снедавшей меня тревоги, я вынужден был становиться на колени у края колодца, и, так как у меня не было даже кружки, чтобы зачерпнуть воду, мне приходилось либо пить из пригоршни, либо лакать ее как собака. Стоило мне на несколько минут выйти в сад, как, воспользовавшись моим отсутствием, они проникали ко мне в келью и старались там все перевернуть и сломать. Я уже сказал, что у меня отняли распятие. Но я продолжал все так же опускаться на колени и повторять слова молитв перед камнем, на котором оно стояло. Потом унесли и камень. Из кельи моей постепенно исчезло все: стол, стул, требник, четки; остались одни только голые стены. Была там, правда, кровать, но они сделали все для того, чтобы я не знал на ней ни часа покоя. И, однако, они все же боялись, как бы мне не выдалось даже коротенькой передышки, и придумали для этого новое средство, и если бы план их удался, я, вероятно, лишился бы не только сна, но и рассудка.

Однажды ночью, проснувшись, я увидел, что келья моя в огне; в ужасе я вскочил с постели, но должен был тут же податься назад: меня окружало целое сонмище дьяволов; на них были огненные одежды, из уст их извергалось пламя. Вне себя от ужаса, я кинулся к стене и убедился, что касаюсь рукой холодного камня. Я пришел в себя и тогда только сообразил, что все эти ужасные фигуры намалеваны на стенах фосфором для того, чтобы меня напугать. Я снова улегся в постель и заметил, что по мере того как начинает светать, фигуры эти постепенно бледнеют и

исчезают. Я принял отчаянное решение - во что бы то ни стало пробиться к настоятелю и поговорить с ним. Я чувствовал, что среди всех ужасов, которыми меня окружили, я могу повредиться умом.

Только около полудня уже удалось мне заставить себя исполнить принятое решение. Я постучался в келью настоятеля, и, когда дверь открылась, он встретил меня с таким же выражением ужаса на лице, как и при моем первом появлении, но принять меня ему все же пришлось.

- Отец мой, - сказал я, - вы должны выслушать меня, я не уйду отсюда, пока вы не сделаете того, о чем я прошу.

- Говори.

- Они морят меня голодом, того, что мне дают, недостаточно, чтобы поддержать мои силы.

- А разве ты этого не заслужил?

- Заслужил я или нет, ни божеские, ни человеческие законы не осудили еще меня на голодную смерть; и если приговор этот вынесен вами, то знайте - вы совершаете убийство.

- Ты еще на что-нибудь жалуешься?

- Да, на все; меня не пускают в церковь; мне запрещают молиться, у меня отняли распятие, четки и чашу со святой водой. Даже у себя в келье я не могу теперь исполнять все то, что требует от меня святая вера.

- Что требует от тебя святая вера!

- Отец мой, хоть я и не монах, но неужели я по-прежнему не могу оставаться христианином?

- Отрекшись от принятого обета, ты лишил себя этого права.

- Да, но ведь я же остался человеком, и как человек... Но я не взываю к вашему милосердию, я прошу, чтобы вы защитили меня вашей властью. Сегодня ночью на стенах намалевали изображения бесов. Когда я проснулся, я увидел вокруг себя пламя и злых духов.

- То же самое ты увидишь и перед смертью!

- И я буду тогда достаточно наказан, но не слишком ли рано это наказание началось?

- Призраки эти - порождение твоей нечистой совести.

- Отец мой, если вы соизволите осмотреть мою келью, то увидите следы фосфора на стенах.

- Чтобы я стал осматривать твою келью! Чтобы я туда вошел!

- Значит, просьба моя так и не будет удовлетворена? Прошу вас, употребите вашу власть во имя обители, во главе которой вы стоите. Помните, что как только ходатайство мое перед судом будет предано гласности, все эти обстоятельства станут также известными, и судите сами, как отразятся они на репутации всей общины.

- Вон отсюда!

Я ушел; просьбу мою, во всяком случае в отношении пищи, удовлетворили, но келью мою оставили разгромленной и опустошенной, и я продолжал пребывать все в том же мучительном отчуждении от монастырской братии, распространявшемся не только на церковные службы, но и на все остальное. Заверяю вас, это отлучение от жизни было до того ужасно, что я часами бродил по монастырю и всем его коридорам с единственной целью попасться на глаза кому-нибудь из монахов, которые - я это знал - могли встретить меня только упреками или проклятиями. Даже это было для меня лучше, нежели окружавшее меня томительное молчание. Я, можно сказать, почти уже привык к их выкрикам и всякий раз в ответ только благословлял их. Через две недели дело мое должно было разбираться в суде; мне об этом ничего не было сообщено, однако настоятеля своевременно уведомили обо всем, и это ускорило его решение. Для того чтобы не дать мне воспользоваться благоприятным исходом дела, он прибег к тайному плану, жестокость которого превзошла все, что могло вместить сердце человека - нет, я

оговорился, - сердце монаха. Какие-то смутные сведения об этом я получил в ту же ночь, когда обратился с просьбой к настоятелю, но если бы я даже с самого начала узнал во всех подробностях о том, сколь далеко зашли задуманные им козни и какими способами люди эти хотели достичь своей цели, то мог ли я что-нибудь сделать, чтобы им помешать?

В тот вечер я вышел побродить по саду; сердцу моему было как-то особенно тягостно. Его глухие тревожные удары напоминали собою звуки маятника, приближающего некий роковой час.

Смеркалось; сад был пуст; опустившись на колени, на свежем воздухе (в единственном храме, который мне разрешалось посещать) я пытался молиться. Попытка, однако, оказалась напрасной; вскоре я перестал произносить слова молитв, ибо они были уже лишены всякого смысла, и, совершенно подавленный невыразимой тяжестью на душе и в теле, упал наземь и лежал, простертый ниц, оцепеневший, но не бесчувственный. Я увидел, как какие-то две фигуры прошли мимо, не заметив меня; они горячо о чем-то спорили.

- Надо принять более решительные меры, - сказал один из говоривших. Это ваша вина, что все так надолго отложили. Если вы и в дальнейшем будете к нему столь же безрассудно снисходительным, на вас ляжет ответственность за позор всей общины.

- Да, но его решение непоколебимо, - сказал настоятель (ибо этј был он).

- Это не может служить доводом против той меры, которую я предлагаю.

- В таком случае он в ваших руках; только помните, я не буде отвечать за...

Продолжения разговора я уже не расслышал. Все это вовсе не так напугало меня, как вы могли бы подумать. Те, кому довелось много страдать, всегда готовы воскликнуть вслед за несчастным Агагом: "Самое горькое уже позади" {5}. Они не подозревают, что именно в эту минуту обнажается меч, которым их должны разрубить на куски. Ночью, вскоре после того, как я уснул, меня разбудил странный шум в моей келье. Я вскочил с постели и стал прислушиваться. Мне показалось, что я слышу убегающие шаги босых ног. Я знал, что дверь моя не запирается и поэтому кто угодно может проникнуть ко мне в келью. Но мне все же думалось, что порядки в монастыре достаточно строгие и этого-то уж никак не допустят. Поэтому волнение мое улеглось и я стал уже засыпать, как вдруг меня снова разбудили. На этот раз я почувствовал прикосновение чьей-то руки. Я снова вскочил; вкрадчивый голос прошептал:

- Не бойся, я твой друг.

- Мой друг? Да разве у меня есть друзья? И почему вы явились в такой час?

- Это единственное время, когда мне разрешено видеться с тобой.

- Так кто же вы все-таки?

- Я тот, кто без труда проходит сквозь эти стены. И тот, кто может сделать для тебя то, что превыше человеческих сил, если только ты доверишься ему.

В словах его было что-то страшное.

- Уж не Враг ли рода человеческого искушает меня сейчас? - вскричал я.

Не успел я произнести эти слова, как из коридора ко мне в келью вбежал монах (должно быть, все это время он выжидал, ибо был одет).

- Что случилось? - спросил он. - Ты напугал меня своим криком, ты произнес имя нечестивого. Что ты такое увидел? Чего ты испугался? Я овладел собой и сказал:

- Я ничего особенного не слышал. Просто мне привиделись страшные сны, вот и все. Ах, брат Иосиф, можно ли удивляться, что после таких трудных дней я и по ночам не знаю покоя!

Монах ушел, и следующий день прошел как обычно; однако ночью меня снова разбудил тот же вкрадчивый шепот. Накануне голос этот только поразил меня, тут он меня ужаснул. В темной келье, в полном одиночестве, это вторичное вторжение неведомого существа окончательно меня сломило. Я уже готов был думать, что это действительно враг рода человеческого соблазняет

меня. Я стал читать молитву, однако шепот, раздававшийся, казалось, над самым моим ухом, продолжался.

- Послушай, послушай меня, - говорил он, - и ты будешь счастлив. Отрекись от принятого тобой обета, согласись, чтобы я стал твоим покровителем, и тебе не придется об этом жалеть. Встань с кровати, попирай распятие, что валяется в ногах, плюнь на образ Пресвятой девы, что лежит рядом, и...

Услыхав эти слова, я не мог удержаться и не закричать от ужаса. Голос тут же умолк, и тот же самый, живший в соседней келье монах снова прибежал ко мне и разразился такими же восклицаниями, что и накануне; когда он вошел ко мне со свечой в руке, я увидел, что и распятие, и образ Пресвятой девы положены в ногах моей кровати. Увидев монаха, я вскочил с постели и, взглянув на распятие и на образ, узнал, что это были те самые, которые недавно убрали из моей кельи. Все лицемерные возгласы монаха, сетовавшего на то, что я снова его потревожил, не могли сгладить впечатление, которое произвело на меня это незначительное обстоятельство. Я решил, и не без основания, что искунитель, подкинувший мне эти святыни, был человеком. Я встал, увидел, как жестоко меня обманули, и потребовал, чтобы монах ушел. Он был очень бледен и спросил меня, зачем я снова его потревожил, добавив, что я поднимаю такой шум, что не даю ему спать; в довершение всего, наткнувшись на распятие и изображение Пресвятой девы, он спросил, откуда они взялись у меня.

- Вам это известно лучше, чем мне, - ответил я.

- Что же, ты обвиняешь меня в том, что я в сговоре с нечистой силой? Кто мог принести все это к тебе в келью?

- Тот же, кто отнял их у меня, - ответил я. Слова эти, как мне показалось, на какое-то мгновение смутили его. Он ушел, заявив, что если я снова буду не давать ему спать по ночам, он вынужден будет доложить об этом настоятелю. Я ответил, что дело здесь вовсе не во мне, сам же дрожал от страха, ожидая приближения следующей ночи.

У меня были к этому все основания. Вечером, перед тем, как лечь спать, я повторял молитву за молитвой. Мысль о том, что меня хотят отлучить от церкви, угнетала меня. Повторял я и заклинания, изгоняющие нечистую силу. Мне пришлось читать их по памяти: в келье у меня не осталось ни одного молитвенника. Повторяя эти молитвы, - а они были длинны и многословны, - я в конце концов уснул. Но мне не суждено было долго спать. Возле самой постели снова раздался все тот же шепот. В ту же минуту я встал с кровати - у меня не было никакого страха. Вытянув вперед руки, босой, я принялся ходить по келье и обшаривать все углы. Руки мои натыкались на одни только голые стены - нигде ничего нельзя было ни увидеть, ни нащупать. Я снова лег и едва успел приступить к молитве, которой хотел приободрить себя, как те же вкрадчивые слова послышались снова у самого моего уха, и я не мог ни определить, откуда они исходят, ни заглушить их. Так я совершенно лишился сна. Стоило мне на какое-то мгновение задремать, как те же зловещие звуки начинали преследовать меня в моих снах. От этого постоянного недосыпания я был как в лихорадке. Ночи напролет я или прислушиваясь ждал, что вот-вот раздастся этот шепот, или слушал его, а день весь проводил в сменявших друг друга мучительных догадках. К страху моему примешивалась раздражительность, и, как только начинало темнеть, мне становилось нестерпимо тяжело. Я, правда, все время подозревал, что меня обманывают, но это никак не могло меня утешить, ибо иногда человеческая злоба и коварство измышляют такие козни, что и нечистой силе не превзойти их. Каждую ночь преследование возобновлялось и с каждым разом становилось все страшнее. Временами неизвестный мне голос пытался склонить меня к нечестивым действиям, о которых я не решусь даже рассказывать, временами внушал мне кощунственные речи, от которых бы содрогнулся сам дьявол. То он насмешливым тоном одобрял мое поведение и заверял меня, что дело мое будет

иметь удачный исход, то вдруг переходил к чудовищным угрозам. Жалкое подобие сна, наступавшее в перерывах между этими вторжениями, нисколько меня не освежало. Я просыпался, обливаясь холодным потом, ощупывал рукою постель и глухим невнятным голосом повторял последние из отдававшихся у меня в ушах слов. Я вскакивал и видел собравшихся вокруг моей кровати монахов, слышал, как они жалуются на то, что я потревожил их своими криками, напугал и вынудил тотчас же кинуться ко мне в келью. Потом они начинали испуганно переглядываться и в каком-то странном оцепенении говорили друг другу и мне примерно такое: "Случилось что-то из ряда вон выходящее, у тебя на душе какой-то тяжкий грех, он не дает тебе покоя". Они заклинали меня ради всего святого и ради спасения моей души открыть им, что я такое содеял, за что меня постигает теперь эта кара. Как бы я ни был перед тем взволнован, стоило мне услышать эти слова, как я сразу становился спокойным. Я говорил:

- Ничего не случилось, зачем это вам понадобилось врываться ко мне в келью?

Тогда они качали головами и делали вид, что уходят от меня медленно и неохотно, словно сожалея о моей горькой участи, а я только повторял:

- Ах, брат Иустин, ах, брат Климент, я вижу вас, понимаю вас, помните, есть господь на небе.

Однажды я долгое время пролежал в постели, не слыша никаких голосов. Я уснул, но скоро был разбужен ослепительным светом. Я сел на кровати и увидел перед собой лик Божьей матери, окруженный лучезарным ореолом своей славы. Она не то чтобы стояла, а как бы парила в этом сиянии в ногах моей кровати, и в руках у нее было распятие; сама же она, казалось, милостиво приглашала меня лобызать свои пять сокровенных ран {1\* Достоверность этого рассказа подтверждается "Священной историей" Мосхейма {6}. Я опускаю некоторые упоминаемые там обстоятельства, слишком ужасные для современного читателя.}. На какое-то мгновение я почти поверил в то, что передо мной действительно находится Пресвятая дева Мария: Но в ту же минуту прозвучал \_голос\_, более громкий, нежели обычно: "Выгони их вон, наплюй на них, ты мой, и я требую, чтобы вассал мой сослужил мне эту службу".

При этих словах видение мгновенно исчезло, а голос снова перешел на шепот, но я уже не слышал его, я лишился чувств. Я легко мог отличить это состояние от сна по крайнему недомоганию, холодному поту и мучительному ощущению \_нарастающей слабости\_, которые предшествовали ему, и по тем судорогам, которые можно было принять за рыдания, замирания, сердца или удушье и которые сотрясали меня всего, прежде чем мне удалось прийти в себя. Все это время монастырская община поддерживала и, казалось, усугубляла страшный обман, который мучил меня тем, что я не мог его разгадать, и еще больше сознанием того, что я сделался его жертвой. Когда искусство обретает всемогущество и оказывается на равной ноге с действительностью, когда мы чувствуем, что иллюзия причиняет нам не меньше зла, чем сама жизнь, страдания наши утрачивают свой высокий смысл и не способны уже принести нам успокоение. В нас самих тогда рождается дьявол, оборачивающий против нас свои силы и смеющийся, видя, как мы корчимся в муках. В течение целого дня все взирали на меня, как на чудовище, содрогались от низких подозрений и, что было всего хуже, украдкой бросали на меня взгляды, исполненные лицемерного сочувствия; взгляды эти на какое-то время, казалось, согревали меня, но потом тут же устремлялись к небесам, словно моля их простить невольное содеянный грех - сострадание к тому, от кого отвернулся господь. Когда я встречался кому-нибудь из монахов в саду, то, завидев меня, он тут же переходил на другую аллею и осенял себя крестным знаменем. Когда же мне случалось встретиться с иными из них в одном из монастырских коридоров, они подбирали полы рясы, поворачивались к стене и, перебирая четки, читали молитвы и ждали, пока я пройду мимо. Если я решался опустить руку в чашу со святой водой, стоявшую у входа в церковь, то всю воду тут же выплескивали у меня на глазах.



Вся община приняла чрезвычайные меры предосторожности против нечистой силы. Монахам были розданы заклинания и формулы изгнания бесов и как за утренней, так и за вечерней мессой всякий раз читались особые молитвы. Усиленно распространялся слух, что Сатане позволено приходить в монастырь проведать своего любимого и преданного слугу и что вся братия должна быть готова к тому, что он может удвоить свои коварные усилия в борьбе с ней. Невозможно даже описать, какое действие все это произвело на юных воспитанников. Стоило им только где-нибудь завидеть меня, как они с быстротою молнии убежали прочь. Если кто-нибудь из них наткнулся на меня в коридоре, то на этот случай всегда была припасена святая вода, и они выплескивали ее на меня целыми ведрами; если же почему-нибудь им этого не удавалось сделать, какой они тогда поднимали крик, как корчились от ужаса! Они становились на колени, вскрикивали, опускали глаза, громко зывали: "Сатана, смилуйся надо мной, не попирай меня своими копытами, забери свою добычу", - тут они произносили мое имя.

Наконец я ощутил, какой ужас я им внушаю. Я и сам уже начал верить, что, может быть, и вправду чем-то похож на того, кем они меня считают. Это мучительное состояние, но избежать его невозможно. Бывают обстоятельства, когда весь мир ополчается против нас, и мы сами начинаем становиться на его сторону, ожесточаясь против самих себя, лишь бы избежать томительного отчуждения от всех и вся. Вид у меня был страшный: растерянное, осунувшееся лицо, разорванная одежда, прыгающая походка, привычка постоянно что-то бормотать себе под нос и полная отрешенность от повседневной жизни обители. Можно ли было удивляться, что весь мой облик в их глазах отождествлялся с теми ужасами, которые воображение их приписывало мне? Очевидно, такое впечатление я должен был производить и на всех послушников и воспитанников монастыря. Их все время учили, что они должны ненавидеть меня, но ныне ненависть их сочеталась со страхом, а я не знаю ничего более зловещего, чем союз этих двух страстей. Как ни уныло выглядела моя келья, я старался пораньше вернуться в нее, коль скоро мне не позволяли принимать участие в вечерней службе. Как только колокол созывал всех на молитву, до меня доносились шаги монахов, спешивших к мессе; и хоть она и казалась мне прежде томительной и нудной, я отдал бы теперь все на свете, только бы мне разрешено было присутствовать на ней, дабы защитить себя от ужасной полуночной мессы Сатаны {2\* В словах этих нет ни малейшего преувеличения. В видениях, навеянных колдовскою силой или обманом, злой дух в насмешку (над верующими) служит свою мессу, " У Бомонта и Флетчера есть упоминание о "завываниях черного дьявола", иначе говоря, о сатанинской мессе {7}.}, на которую я ждал, что меня вызовут. Но я все же становился на колени у себя в келье и повторял все молитвы, какие только мог вспомнить, а в это время каждый удар колокола и хоровое пение, доносившиеся снизу, отдавались вокруг грозным эхом, возвещавшим мне то, что в страхе моем я уже предчувствовал, что небеса ответили на мою мольбу отказом.

Однажды вечером, когда я все еще продолжал громко молиться, проходившие мимо моей кельи монахи сказали:

- Как, ты еще думаешь, что произносишь слова молитв? Умри, несчастный отступник, умри и будь проклят! Низвергнись скорее в преисподнюю, дабы присутствие твое больше не оскверняло наших стен!

Услыхав эти слова, я еще более ревностно возобновил свои молитвы, но это показалось им еще большим оскорблением, ибо церковники не выносят, чтобы кто-то читал молитвы не по той форме, которая принята ими. Возгласы, которые человек в одиночестве своем обращает к богу, кажутся им профанацией. Они спрашивают: "Почему люди эти молятся не по-нашему? Как они смеют надеяться, что мольба их будет услышана?". Горе им! Неужели же внешние формы имеют какое-нибудь значение для бога? Не есть ли исходящая от сердца мольба та единственная,

которая бывает услышана им и удовлетворена? Когда, проходя мимо моей кельи, монахи восклицали: "Умри, проклятый нечестивец, умри, господь все равно тебя не услышит!", - в ответ я, стоя на коленях, благословлял их- так чьи же молитвы были праведнее?

В эту ночь мне снова предстояло выдержать испытание, для которого у меня больше уже не было сил. Тело мое было измождено, дух находился в непрестанном возбуждении, а мы, люди, настолько слабы, что поединок между нашими чувствами и душой неизбежно и очень скоро кончается победой более низменного начала. Не успел я лечь, как голос принялся снова нашептывать мне слова искушения. Я принялся молиться, но у меня кружилась голова, а глаза мои горели; это было пламя, жар которого я почти что физически ощущал: казалось, вся келья моя в огне. Вспомните только, что тело мое было совершенно истощено голодом, а душа изнемогала от преследований. Я боролся с одолевавшими меня видениями и сознавал, что это не что иное, как бред. Но именно оттого, что я все признавал, бред этот становился еще неодолимей. Лучше уж сразу сойти с ума, чем знать, что все вокруг сговорилось считать тебя сумасшедшим и доводить до безумия, в то время как сам отлично сознаешь, что находишься в здравом уме. Шепот в эту ночь был до того ужасен, в словах было столько надругательств и кощунства, которые невозможно повторить, столько... нет, я не в силах даже думать о них, самый слух мой проникался безумием. Казалось, во мне повредился не только рассудок, но и сами чувства. Приведу только один пример, и притом незначительный, тех ужасов, которые...

Испанец шепнул что-то на ухо Мельмоту {3\* Мы не рискуем высказывать догадки по поводу тех ужасов, которые были произнесены шепотом, но каждый, кто знаком с историей церкви, знает, что в Германии Тетцель {8} предлагал отпущение грехов даже в тех случаях, когда грешник обвинялся в немыслимом преступлении - в том, что он учинил насилие над Божьей матерью.}. Тот содрогнулся, после чего рассказчик взволнованным голосом продолжал.

- Больше я уже не в силах был это вынести. Я соскочил с кровати и побежал по коридору как сумасшедший; я стучался в дверь каждой кельи и взывал: "Брат такой-то, помолись за меня, помолись за меня, умоляю тебя!". Я поднял на ноги всю обитель. Потом я кинулся в церковь; двери были не заперты, и я вбежал туда. Добравшись до алтаря, я пал перед ним на колени, принялся целовать статуи святых, приник к распятию и стал громко молить о помощи, повторяя все время одни и те же слова. Монахи, разбуженные моими криками, а может быть, ожидавшие их, все устремились в церковь, однако, увидав, что я там, не стали заходить внутрь и, остановившись на пороге со свечами в руках, не спускали с меня глаз. Как все, что творилось со мной, было непохоже на состояние, в котором они пребывали; в тревоге я метался по полутемной церкви, где едва мерцали светильники, а монахи недвижной стеной стояли у двери, и на лицах у них застыл ужас, еще более ощутимый от того, что они были озарены ярким светом, который, казалось, оставил меня, чтобы отойти к ним. У меня был такой вид, что самый непредубежденный человек и тот бы непременно решил, что либо я рехнулся, либо в меня вселился бес, либо и то и другое вместе. К тому же одному богу известно, как можно было истолковать мои странные действия, которые в окружающем меня мраке казались еще более несообразными и сумасбродными, или произносимые мною молитвы, в которых упоминалось об ужасных искушениях, которым я подвергался и от которых я просил меня защитить. В конце концов, дойдя до полного изнеможения, я упал на пол и остался лежать недвижимо, не будучи в состоянии пошевелинуться, но вместе с тем слыша и видя все, что происходит вокруг. До слуха моего донесся их спор, следует ли оставить меня там или нет, и спор этот продолжался до тех пор, пока настоятель не приказал, чтобы божий храм был очищен от скверны. Однако страх передо мной, который все они себе внушили, был настолько велик, что ему пришлось несколько раз повторить это приказание, прежде чем оно было исполнено. Кончилось тем, что монахи подошли ко мне с бесчисленными предосторожностями, как будто перед ними был не

человек, а смердящий труп, и, подхватив за полы моей рясы, вытащили меня вон из церкви и оставили лежать у порога на каменном полу. После этого они разошлись, а я ухитрился уснуть и проспал там до тех пор, пока меня не разбудил колокол, призывавший к утренней мессе. Очнувшись, я попытался подняться, однако после ночи, проведенной на сыром каменном полу, да еще в лихорадке, вызванной страхом и возбуждением, руки и ноги мне так свело, что каждое движение отзывалось во мне жгучей болью. Я несколько раз невольно вскрикнул от боли, и это было в то время, как вся братия шла к утренней мессе. Они не могли не заметить, в каком положении я нахожусь, однако ни один из них не предложил мне помощи, да и сам я не решался просить о ней. Очень долго и с большим трудом добирался я до своей кельи. Но стоило мне взглянуть на свою кровать, как меня вновь охватила дрожь, и я повалился прямо на пол, надеясь, что хоть там, может быть, обрету отдых.

Я знал, что такое чрезвычайное происшествие не могло не обратить на себя внимания, что нарушение монастырского порядка и покоя братии непременно вызвало бы расследование, даже если бы дело касалось вещей менее значительных. Но у меня было мрачное предчувствие, - а когда человек страдает, предчувствия приобретают в его жизни особое значение, - что расследование это, как бы оно ни велось, неизбежно приведет к неблагоприятному для меня исходу. Я был Ионой на корабле {9}: с какой бы стороны ни подул ветер, я знал, что жребий все равно падет на меня. Было уже около полудня, когда меня вызвали к настоятелю. Я пошел к нему, но не так, как ходил раньше - когда слова мольбы или возмущения были готовы сорваться с языка, когда сердце мое трепетало и преисполнялось надежды и страха, когда я весь дрожал от возбуждения или ужаса, - на этот раз я шел угрюмый, павший духом, относящийся ко всему бездумно и безразлично; физические силы мои были надломлены усталостью и бессонными ночами, душевные - преследованием, непрерывным и непереносимым. Я уже больше не старался избежать самого худшего, что они могли сделать со мной, или спорить с ними; теперь, напротив, я, можно сказать, вызывал их на это, почти что хотел этого, и казалось, что отчаяние мое даже разжигает во мне безграничное любопытство перед тем, что они мне готовят.

Настоятель собрал у себя множество монахов; сам он стоял посередине, а они расположились на почтительном расстоянии от него полукругом. Должно быть, я был очень жалок рядом с этими людьми, выступившими против меня и гордившимися своей властью; длинные и неплохо сидевшие на них рясы придавали фигурам их то спокойствие, которое, может быть, действует на человека сильнее, нежели великолепие и блеск, - а я стоял напротив, весь оборванный, исхудавший, мертвенно-бледный и ожесточенный, будто во мне воплотился сам дьявол, призванный на суд ангелов.

Настоятель обратился ко мне с длинной речью, в которой лишь вскользь коснулся той смуты, которую вызвало в монастыре мое намерение отречься от принятого обета. Он не обмолвился также ни одним словом об обстоятельстве, которое было известно всем, кроме меня, а именно о том, что дело мое через несколько дней будет разбираться в суде. Но зато он упомянул, и притом в таких выражениях, которые (несмотря на то что я отлично понимал всю их лживость) повергли меня в дрожь, об ужасе и смятении, охвативших монастырь, когда, как он выразился, ко мне стал являться враг.

- Сатане захотелось завладеть тобой, - сказал он. - ты ведь сам отдал себя в его руки тем, что захотел отречься от обета. Ты - Иуда среди братьев, заклеянный Каин в семье первых людей, тот козел, который стремится вырваться из рук общины, чтобы убежать и остаться одному в пустыне. Ужасы, в которые твое присутствие ежечасно повергает нас, нарушают не только покой нашей святой обители, но и вообще всего цивилизованного общества. Ты не даешь уснуть не только своему соседу, но и тем, кто живет в кельях с ним рядом. Ты беспокоишь их своими душераздирающими стенаниями, ты кричишь, что у постели твоей все время топчется

дьявол, что он нашептывает тебе что-то на ухо, ты бежишь из одной кельи в другую и упрашиваешь братьев за тебя молиться, крики твои тревожат праведный сон всей общины, тот недолгий сон, который они урывают в промежутках между молениями. Пока ты среди нас, весь распорядок нарушен, вся дисциплина подорвана. Воображение наших послушников и воспитанников одновременно и оскверняется и воспламеняется, когда они думают о нечестивых зловещих шабашах, которые дьявол устраивает у тебя в келье; мы ведь даже не знаем, что означают твои крики, которые все мы, однако, слышим, возвещают ли они твое раскаяние или его торжество. Посреди ночи ты вдруг кидаешься в церковь, тревожишь статуи святых, глумишься над распятием, оскверняешь алтарь; когда братия вынуждена в ответ на это небывалое по своей омерзительности кощунство вытащить тебя вон из храма, ты поднимаешь крик и смущаешь всех идущих к мессе. Словом, вопли твои, корчи, нечестивые речи, все повадки, каждое твое движение самым явным образом подтверждают подозрение, зародившееся у нас, как только ты появился в обители. Ты был мерзок с самого появления твоего на свет, - ты был исчадием греха, и ты сам это сознаешь. Как ты ни бледен, - а ты так мертвенно бледен, что даже на губах у тебя нет ни кровинки, - но стоит мне только заговорить об этом, и я вижу, как щеки твои загораются ярким румянцем. Злой дух, под знаком которого ты родился, ярый враг христианского благочестия и монашества, преследует тебя даже в стенах монастыря. Всевышний моими устами повелевает тебе оставить нас и больше не смущать. Постой, - сказал он, увидав, что я собираюсь в точности исполнить его приказание, - не торопись, интересы нашей, пресвятой веры и всей общины требуют, чтобы я с особым вниманием отнесся к необычным обстоятельствам, которыми отмечено твое нечестивое пребывание в этих стенах. В скором времени сюда прибудет епископ - подготовься, как можешь, к его приезду.

Я решил, что это последнее, что он хочет мне сказать, и собирался уже уйти, когда настоятель вдруг снова меня окликнул. Монахи, оказывается, хотели, чтобы я произнес какие-то угодные им слова, чтобы я увещевал, возражал, молил. Я не уступил их желанию и был настолько тверд в своем отказе, будто знал, - чего в действительности не было, - что епископ решил самолично расследовать беспорядки в монастыре и что вовсе не настоятель пригласил епископа для этого расследования (мера, к которой он постарался бы ни в коем случае не прибегать), а сам епископ, - о котором вскоре будет сказано, что это был за человек, - узнал о смятении в монастыре и решил взять дело в свои руки. Я был настолько подавлен преследованиями и от всего отрешен, что не знал, что весь Мадрид охвачен волнением, а епископ решил не оставаться больше безучастным к тому, что творится в монастыре и о чем ему докладывают; словом, что на одной чаше весов была моя одержимость, а на другой - моя жалоба в суд, и даже сам настоятель не был уверен, которая из этих двух чаш перетянет. Обо всем этом я ровно ничего не знал - никто не решался сказать мне правду. Поэтому я собирался уже уйти, не ответив ни словом на раздававшийся со всех сторон шепот, который уговаривал меня подчиниться настоятелю и просить его заступничества перед епископом, дабы предотвратить позорное расследование дела, которое ставило всех нас под угрозу. Я вырвался из кольца, которым они меня окружили, и, стоя в дверях, с невозмутимым спокойствием и печальною укоризной посмотрел на них и сказал:

- Да простит вас господь и да сподобит вас добиться такого же оправдания на Страшном суде, какого я требую для себя на суде едущего сюда епископа.

Слова эти, хоть и произнес их бесноватый, - а таким они считали меня, повергли их в дрожь. В монастырях редко можно услышать правду, и поэтому каждое слово ее звучит столь же убедительно, сколь и грозно. Монахи перекрестились и, когда я вышел из помещения, повторяли:

- Но как же нам быть? Что если мы попробуем предупредить это бедствие?

- Но каким способом?

- Любим, который нам подскажут интересы церкви, речь идет о добром имени всей нашей обители. Епископ - человек строгого нрава и пытливого ума, обмануть его невозможно, он будет во все вникать. Что станется с нами? Не лучше ли было бы?...

- Что?

- Ну, вы понимаете...

- Если бы я и осмелился вас понять, у нас слишком мало времени.

- Нам доводилось слышать, как иные безумные умирали совершенно внезапно, как...

- На что вы намекаете?

- Ни на что, мы просто говорили о том, что всем известно; о том, что длительный сон нередко оказывает целительное действие на сумасшедших. Он ведь сумасшедший. Весь монастырь готов в этом поклясться, в этого несчастного вселился бес; каждую ночь он призывает его к себе в келью; крики его не дают покоя всей общине.

Настоятель все это время нетерпеливо ходил взад и вперед по своей келье. Он обвивал вокруг пальцев четки; по временам он бросал на монахов гневные взгляды; наконец он сказал:

- Мне самому не дают покоя его крики, его блуждания, его совершенно явные сношения с врагом рода человеческого. Мне надо отдохнуть, мне надо крепко поспать, чтобы прийти в себя после всех этих потрясений. Что бы вы мне посоветовали принять?

Несколько монахов подошли к нему, они не поняли этого намека и стали настойчиво советовать ему различные снотворные, противоядия, и т. п., и т. п.

- Настойку опия, она дает глубокий, здоровый сон. Попробуйте ее, отец мой, если вам нужен отдых; только для того, чтобы быть уверенным в ее действии, не лучше ли сначала испробовать ее на ком-нибудь другом?

Настоятель кивнул головой, и все уже должны были разойтись, как вдруг он схватил старого монаха за рукав и шепнул:

- Только не отравите его!

- Нет, что вы, это просто будет глубокий сон. Какая разница, когда он проснется? Все равно его ждут страдания, в этой ли жизни или в другой. Мы в этом не виноваты. Несколько минутами раньше или позже, какое это имеет значение?

Настоятель был человек нерешительный и вместе с тем вспыльчивый. Он все еще никак не отпускал от себя монаха.

- Только никто не должен знать об этом, - прошептал он.

- Но кто же может узнать?

В эту минуту раздался бой часов, и один известный своей аскетической жизнью старик, занимавший соседнюю с настоятелем келью и привыкший восклицать: "Господь все знает" всякий раз, когда били часы, громко повторил эти слова и на этот раз. Настоятель наконец отпустил монаха; тот крадучись добрался до своей кельи, - слова эти поразили его как удар грома. Опия в эту ночь мне не дали, и голос не возобновился. Я благополучно проспал до утра, и дьявол не тревожил обитель. Увы, как видно, то был не дьявол, а тот дух, которого одинокое озлобление порождает в каждом человеческом сердце, когда страдания наши настолько мучительны, что нам хочется, щадя себя, обрушить их на другого.

Об этом разговоре я узнал впоследствии от одного умирающего монаха. Он слышал его с начала до конца, и у меня нет оснований усомниться в его искренности. Право же, я всегда думал, что смерть была бы для меня облегчением, а не карой. Страдания, которые выпали мне на долю, были страшнее смерти. Если бы наместо них явилось одно-единственное и все бы окончилось разом, то это было бы для меня сущим благодеянием. На следующий день ожидали приезда епископа. Невозможно описать, с каким страхом готовилась к этому дню община.

Обитель наша считалась первой в Мадриде; из ряда вон выходящий случай, что отпрыск знатнейшего испанского рода, вступивший в нее совсем юным, по прошествии нескольких месяцев решил отречься от принятого обета и две-три недели спустя был обвинен в сношениях с нечистой силой; надежда, что доведется увидеть, как будут изгонять беса; сомнение в том, что ходатайство мое будет иметь успех; весьма вероятное вмешательство в это дело Инквизиции; \_сама возможность\_ насладиться зрелищем аутодафе - это разжигало воображение всего Мадрида. Никогда еще публика в театре не проявляла такого нетерпения, ожидая, пока поднимется занавес и начнется любимая всеми опера, с каким жители Мадрида, как верующие, так и неверующие, ждали начала представления, которое должно было состояться в монастыре экс-иезуитов {10}.

В католических странах, сэр, религия - это национальная драма; священники - это ее главные актеры, а зрители - весь народ, и все равно, закончится ли она низвержением в преисподнюю Дон Жуана или прославлением праведника: и то и другое публика встречает радостными рукоплесканиями.

Я боялся, что меня-то как раз ждет участь Дон Жуана {11}. Я ничего не знал о епископе и не питал особых надежд на его приезд; однако на моих глазах общиной все больше овладевал страх, и это обстоятельство вдохнуло в меня надежду. С тем недобрым чувством, какое свойственно человеку в несчастье, я рассуждал примерно так: "Коль скоро они уже дрожат от страха, весьма вероятно, что победа останется за мной". Когда на одной чаше весов лежит чужое страдание, а на другой - наше собственное, рука почти всегда дрожит, нам хочется, чтобы первая потянула вниз.

Епископ приехал рано утром и провел несколько часов в разговоре с настоятелем в его покоях. На все это время в обители после недавних волнений воцарилась полная тишина. Я стоял один у себя в келье, - стоял, потому что сидеть мне там было не на чем. "Событие это не предвещает мне ничего хорошего, - подумал я. - Я не виноват в том, в чем меня обвиняют. Они никогда ничем не смогут доказать, что я - сообщник Сатаны, что дьявол прельстил меня обманом. Увы, мое единственное преступление в том, что я невольно поддался обману, который учинили они сами. От этого епископа мне не приходится ждать свободы, но я жду от него хотя бы справедливости".

Все это время община находилась в состоянии лихорадочного возбуждения речь шла о репутации обители, я был в центре внимания. Они изо всех сил старались изобразить меня бесноватым и придать мне \_вид бесноватого\_. Час испытания приближался. Из уважения к человеку, из страха сказать нечто неподобающее и такое, во что все равно не поверят, я не стану пытаться рассказывать, к каким средствам они прибегали в то утро, когда приехал епископ, для того чтобы выдать меня за одержимого, безумного и богохульника. Главными палачами (иначе я не могу их назвать) были те самые четыре монаха, о которых уже шла речь. Под предлогом того, что все мое тело безраздельно попало под власть дьявола, они...

\* \* \* \* \*

Но им и этого было мало. На меня сразу вылили столько святой воды, что я едва не захлебнулся. Вслед за тем...

\* \* \* \* \*

Поэтому, когда меня полуголого, наглотавшегося воды вызвали к епископу, который ожидал в церкви, окруженный всей общиной во главе с настоятелем, я задыхался и был сам не свой от ярости, стыда и страха. Они выбрали именно эту минуту, и я покорился им.

- Да, тащите меня теперь голого и безумного, - сказал я, - в моем лице вы попрали не только религию, но и человеческую природу, тащите меня к вашему епископу. Если он справедлив, если у него есть совесть, то горе вам, подлые лицемеры и тираны! Вы едва не свели меня с ума, едва

не убили меня своими нечеловеческими жестокостями - и вот в таком состоянии вы теперь волочите меня к епископу! Да будет так, я вынужден вам подчиниться.

Пока я произносил все эти слова, они связали мне веревками руки и ноги, снесли меня вниз и положили так у дверей церкви, не отходя от меня ни на шаг. Епископ находился в алтаре вместе с настоятелем; братия заполонила хоры. Они бросили меня на пол, как падаль, и сразу же отпрянули назад, словно боясь осквернить себя прикосновением к нечисти. Епископ был поражен моим видом.

- Встань, \_несчастный\_, громко сказал он, - и подойди ближе.

- Велите им развязать меня, и я подойду к вам, - ответил я голосом, звук которого, как мне показалось, смягчил сердце епископа. Холодным и негодующим взглядом посмотрел он на настоятеля, который тут же стал что-то шептать ему на ухо. Какое-то время они перешептывались между собою, но хоть я и лежал на полу, я заметил, что после слов настоятеля епископ всякий раз качал головой. Кончилось тем, что он приказал меня развязать. Мне это, правда, не принесло большого облегчения, потому что четверо монахов продолжали находиться возле меня. Взяв меня под руки, они повели меня по ступенькам алтаря. И тут я впервые встретился взглядом с епископом. Лицо его производило такое же неизгладимое впечатление, как и все его существо. Одно действовало на ваши чувства, другое - на душу. Это был человек высокого роста, убеленный сединами и имевший величественный вид. Ни тени волнения не шелохнулось на его лице, никакая страсть не оставила следа на его застывших чертах. Это было мраморное изваяние епископата, высеченное рукою католицизма, - фигура великолепная и неподвижная. Его холодные черные глаза были обращены на вас и вместе с тем, казалось, вас не видели. Голос его обращен был не к \_вам\_, а к вашей \_душе\_. Такова была его наружность; что же касается всего другого, то надо сказать, что имя его было незапятнано, поведение - примерно; жил он жизнью анахорета, изваянного из камня. Вместе с тем его в какой-то степени подозревали в том, что называют \_свободомыслием\_, иначе говоря, в симпатии к протестантизму, и вся праведность его не могла окончательно перевесить это приписываемое ему отступничество, которое епископ вряд ли мог искупить строгостью своей в расследовании злоупотреблений во вверенной ему епархии, в состав которой входил и монастырь, где я находился. Таков был человек, перед которым я в эту минуту стоял.

Приказ развязать меня немало смутил настоятеля, но отдан он был в решительной форме, и веревки с меня сняли. Все четыре монаха, стоя по бокам, поддерживали меня, и я почувствовал, что облик мой, должно быть, подтверждает те сведения, которые епископ обо мне получил. Я был в лохмотьях, изголодавшийся, мертвенно-бледный и возбужденный ужасным обращением, которое мне только что пришлось испытать. Я, однако, надеялся, что мое безропотное повиновение всему, что надо мной учинят, может еще в какой-то степени обелить меня в глазах епископа. Чувствовалось, что ему совсем не по душе все латинские заклинания, произносившиеся, чтобы изгнать из меня бесов; монахи же меж тем непрерывно крестились, а причетники щедро кропили вокруг святой водой и кадили. Всякий раз, когда произносились слова: "Diabole, te adjuro!" {Заклинаю тебя, нечистая сила (лат.)}, державшие меня монахи с такой силой сжимали мне руки, что я корчился и кричал от боли. Обстоятельство это вначале, по-видимому, смутило епископа, но как только заклинания были произнесены, он велел мне подойти к алтарю одному. Я попытался это сделать, однако обступившие меня четыре монаха всячески старались мне помешать.

- Отойдите в сторону, - приказал он им, - оставьте его в покое.

Монахи вынуждены были повиноваться. Я подошел к алтарю один, весь дрожа, и опустился перед епископом на колени. Прикрыв мне голову орарем, он спросил:

- Веришь ты в бога и в пресвятую католическую церковь?

Вместо ответа я вскрикнул, вскочив, сбросил орарь и, не помня себя от боли, стал топтаться на ступеньках алтаря. Епископ отшатнулся от меня, а в это время настоятель и все остальные подались вперед. Видя, что они приближаются ко мне, я собрался с духом и, не говоря ни слова, показал на осколки стекла, разбросанные на ступеньках алтаря как раз там, где мне было велено стоять; они прошли сквозь мои рваные сандалии и поранили мне ноги. Епископ тут же приказал одному из монахов смести их рукавом рясы. Приказание это было сию же минуту исполнено, а еще минуту спустя я стоял перед ним, не испытывая ни страха, ни боли.

- Почему ты не молишься в церкви? - продолжал спрашивать епископ.

- Потому что двери ее для меня заперты.

- Как? Что ты говоришь? У меня в руках донесение с жалобами на тебя, и одна из первых жалоб гласит, что ты отказываешься молиться со всеми в церкви.

- Я уже сказал вам, двери церкви заперты для меня... Увы! Я так же не мог добиться, чтобы их для меня открыли, как не мог добиться, чтобы открылись для меня сердца монастырской братии; здесь заперто для меня все.

Епископ повернулся к настоятелю.

- Двери церкви всегда заперты для врагов господа, - ответил тот.

- Я задал вопрос, - сказал епископ все тем же строгим и спокойным голосом, - и требую, чтобы мне ответили прямо, без обиняков. Действительно ли вы запирали двери церкви и не пускали туда этого несчастного? Верно ли, что вы лишили его права обратиться молитвы свои к богу?

- Я поступил так, потому что думал и считал...

- Я не спрашиваю вас о том, что вы думали и считали. Я прошу вас дать прямой ответ на заданный вопрос: лишали вы его или нет доступа в храм божий?

- У меня было основание думать, что...

- Предупреждаю вас, что если вы будете давать подобные ответы, вам придется за одно мгновение поменяться ролями с тем, кого вы хотите обвинить. Запирали вы или нет перед ним двери церкви? Отвечайте: да или нет?

- Да, - ответил настоятель, весь дрожа от страха и ярости, - и я имел основание так поступить.

- Вопрос этот подлежит рассмотрению другого суда. Но, по всей видимости, вы виновны именно в том, в чем обвиняете его.

Настоятель молчал. Тогда епископ, пробежав глазами бумагу, которая была у него в руках, снова обратился ко мне:

- Отчего это ты шумишь по ночам и из-за тебя монахи не могут спать у себя в кельях?

- Не знаю. Спросите об этом у них самих!

- Не правда разве, что дьявол приходит к тебе каждую ночь? Не правда разве, что твои богохульства, твои отвратительные кощунства тревожат даже слух тех, кто на свое несчастье помещается в кельях, соседних с твоей? Не правда разве, что ты ввергаешь в ужас и мучаешь всю общину?

- Я - то, чем они сами меня сделали, - ответил я. - Я не отрицаю, что в келье моей поднимается ни с того ни с сего необыкновенный шум, только им лучше меня известно, откуда он берется. Над самым ухом моим раздается какой-то шепот; этот вот шепот, должно быть, и тревожит живущих со мною рядом, потому что они врываются ко мне в келью и пользуются охватившим меня страхом, чтобы взводить на меня совершенно невероятные поклепы.

- А разве в келье у тебя по ночам не бывают слышны крики?

- Да, это крики ужаса, и испускает эти крики отнюдь не тот, кто участвует в дьявольских оргиях, а тот, кто их страшится.



- А все кошунства, проклятия, все нечестивые слова, которые ты произносишь?

- Иногда, находясь в состоянии невыносимого ужаса, мне действительно случалось повторять звуки, доносившиеся до моих ушей, но то всякий раз бывали возгласы ужаса и отвращения, и это доказывает, что слова эти я не \_произносил сам\_, а только \_повторял\_; так человек может взять в руки гада и какое-то мгновение созерцать его уродство, прежде чем отшвырнуть его прочь. Призываю всю братию в свидетели того, что сказанное мною сущая правда. Крики, которые я выпускал, нечестивые слова, которые я произносил, были, очевидно, вызваны враждебным чувством ко всем дьявольским наущениям, которые нашептывались мне на ухо. Спросите у всей общины - любой из них подтвердит, что, когда они врывались ко мне в келью, они находили меня там одного: я корчился в судорогах и дрожал. Они как будто даже жалели меня, видя, что я сделался жертвою всех этих вторжений. И хотя я никогда не мог догадаться, какими способами осуществлялось это преследование, я решительно утверждаю, что все это дело тех же рук, что покрыли стены моей кельи изображениями бесов, следы которых остались и сейчас.

- Тебя обвиняют также в том, что ты ночью ворвался в церковь, надругался над статуями святых, топтал ногами распятие и вел себя как нечестивец, оскверняющий святыню.

Услыхав это обвинение, столь несправедливое и жестокое, я потерял остатки самообладания.

- Я кинулся в церковь, охваченный ужасом, до которого меня довели все их козни! Я искал там защиты! - вскричал я. - А побежал туда ночью потому, что, как вам уже стало известно, днем ее двери были для меня заперты. Я и не думал попирать ногами распятие - я пал перед ним ниц. Я отнюдь не глумился над изображениями святых - я лобызал их! И я не знаю, слышали ли когда-нибудь эти стены столь искренние молитвы, как те, что я творил в ту ночь, беспомощный, доведенный до ужаса и гонимый!

- А разве наутро своими криками ты не напугал всю братию, не помешал ей войти в церковь?

- Оттого что я всю ночь пролежал на каменном полу, куда они бросили меня, руки и ноги мои онемели. Когда они подошли ко мне, я пытался от них уползти и действительно вскрикивал от боли, которая при каждом движении становилась все сильнее, а ведь никто из них не шевельнулся, чтобы хоть чем-нибудь мне помочь. Словом, все это выдуманно с начала и до конца. Я кинулся в церковь, чтобы просить господина о милости, а они хотят представить меня отступником, святотатцем. Такие же произвольные и нелепые обвинения можно возвести и на все то множество скорбящих и ищущих утешения, которые каждый день оглашают стены своим плачем и стоном! Если бы я действительно пытался опрокинуть распятие, издеваться над статуями святых, то неужели бы нигде не осталось следа от всего этого варварства? Неужели бы возводившие на меня поклеп не стали бы тщательно их сохранять в качестве вещественного доказательства? Остался ли хоть какой-нибудь след от этого? Его нет и не может быть, ибо ничего этого не было и в помине.

Епископ молчал. Вывать к его чувствам было излишне, но обращение к фактам возымело свое действие. Немного погодя он сказал:

- Ты, значит, согласен прочесть в присутствии всей общины перед образом Спасителя и святых те самые молитвы, которые, как ты утверждаешь, ты читал перед ними в ту ночь?

- Да, согласен.

Было принесено распятие. Я с благоговейным почтением поцеловал его и принялся молиться; слезы лились из глаз моих ручьем, когда я думал о том, сколь безмерна воплощенная в этом изображении жертва.

- Обрати теперь к господу слова веры, любви и надежды, - сказал епископ.

Я исполнил все, чего он потребовал, и хотя мне некогда было подготовиться, услышав произнесенные мною молитвы, сопровождавшие епископа почтенные духовные лица переглянулись, и во взглядах их я увидел сочувствие, интерес и восхищение.

- Кто научил тебя этим молитвам? - спросил епископ.

- Единственный мой учитель - это сердце, другого у меня нет, мне не позволено держать у себя книги.

- Что ты говоришь! Повтори!

- Повторяю, никаких книг у меня нет. У меня отобрали молитвенник, распятие, из кельи вынесли все, не осталось ни стула, ни стола, ни коврика для молитвы. Я молюсь на голом полу и молитвы читаю наизусть. Если вы соизволите посетить мою келью, вы увидите, что все, что я говорю, сущая правда.

При этих словах епископ негодуяще посмотрел на настоятеля. Он, однако, сразу же совладал с собой, ибо то был человек, не привыкший чем бы то ни было проявлять свои чувства; он понял, что нарушил бы этим свои правила и унизил свое достоинство. Бесстрастным голосом он приказал мне удалиться. Но когда я уже уходил, он вдруг позвал меня снова - казалось, что он впервые обратил внимание на мой неприглядный вид. Это был человек, всецело поглощенный созерцанием тихого и как бы застывшего залива, именуемого долгом, где душа его навеки стала на якорь и где не могло быть ни бурного течения, ни движения вперед, и поэтому ему очень долго приходилось вглядываться в каждый предмет, прежде чем тот мог произвести на него какое-то впечатление: чувства его как бы окостенели. И он приехал сюда, чтобы присмотреться к одержимому, в которого, как ему было сказано, вселились бесы, но у него сложилось убеждение, что это не что иное, как несправедливость и обман, и он вел себя так, что выказал мужество, решимость и неподкупность, и это делало ему честь.

Однако мой страшный и жалкий вид, который несомненно прежде всего бы бросился в глаза человеку, восприимчивому ко всем проявлениям внешнего мира, обратил на себя его внимание только под конец. Он поразил его только тогда, когда я медленно и с трудом стал сползать вниз по ступенькам алтаря, и это постепенно сложившееся впечатление оказалось в нем тем более сильным. Он снова позвал меня к себе и стал спрашивать, как будто увидел меня впервые:

- Как это ты мог дойти до такого непотребного вида? - спросил он.

Мне подумалось, что в эту минуту я мог бы нарисовать ему картину, которая еще больше бы принизила в его глазах настоятеля, но ограничился тем, что сказал:

- Это последствие дурного обращения со мною.

Мне было задано еще несколько вопросов касательно моего вида, а вид у меня действительно был довольно плачевный, и в конце концов мне пришлось рассказать все без утайки. Подробности эти привели епископа в безудержную ярость. Когда людям по натуре холодным случается поддаться волнению, оно охватывает их с неслыханной силой, ибо для них долгом является все, в том числе и страсть (когда она овладевает ими). Впрочем, может быть, чувство это привлекает их также и неожиданной для них новизной.

Все это больше чем к кому-либо относилось к нашему епископу, который был столь же чист душой, сколь и строг, и который, преисполняясь ужаса, отвращения и негодования, содрогался при каждой подробности, которую мне приходилось приводить; настоятеля от моих слов бросало в дрожь, а присутствовавшие при этом монахи не решались ничего возразить.

К нему вернулось его прежнее хладнокровие; всякое чувство было для него все же и известного рода усилием, а спокойная строгость - привычкой. И он снова приказал мне удалиться. Я повиновался и вернулся к себе в келью. Как я уже говорил, стены ее были по-прежнему голы, но даже и после всего великолепия и блеска, окружавшего меня в церкви, мне

показалось, что они сверху донизу украшены эмблемами моего торжества. Передо мною пронеслось за миг ослепительное видение; потом все исчезло, и, один у себя в келье, я опустился на колени и стал молить Всемогущего тронуть сердце епископа и запечатлеть в нем те безыскусственные простые слова, что были сказаны мною. Я все еще молился, когда вдруг в коридоре послышались шаги. На мгновение все смолкло, не шелохнулся и я. У меня было такое чувство, что люди за дверью услышали, как я молюсь, и притихли: произнесенные мною в одиночестве слова молитвы произвели, должно быть, на них сильное впечатление. Немного погодя епископ со своими почтенными спутниками, а следом за ними и настоятель вошли ко мне в келью. И сам епископ, и его свита пришли в ужас от всего, что увидели.

Я уже говорил вам, сэр, что в келье моей тогда ничего не было, кроме голых стен и кровати. На всем лежала печать опустошения и унижения. Я стоял на коленях посредине, прямо на каменном полу, и, господь тому свидетель, меньше всего в эту минуту рассчитывал произвести на кого-то впечатление. Епископ некоторое время присматривался к убогой обстановке моего жилища, а сопровождавшие его лица взглядами своими и жестами открыто выражали свое возмущение учиненной надо мною расправой.

- Ну, что вы на это скажете? - спустя некоторое время спросил епископ, обращаясь к настоятелю.

Тот задумался и, помолчав, ответил:

- Я ничего этого не знал.

- Это ложь, - сказал епископ, - да если бы даже это и было правдой, то обстоятельство это послужило бы только к вашему обвинению, а никак не к оправданию. Вы обязаны ежедневно посещать кельи, так как же вы могли не знать о том, в каком непристойном виде содержится эта келья? Выходит, вы пренебрегли своими обязанностями?

Он несколько раз прошелся взад и вперед по келье вместе со своими спутниками, которые только пожимали плечами и обменивались взглядами, выражавшими отвращение и ужас перед всем, что они видят. Настоятель был удручен. Они вышли, и я услышал, как уже в коридоре епископ сказал:

- Все эти непорядки должны быть устранены до того, как я покину обитель. А что до вас, то вы недостойны положения, которое занимаете, сказал он, обращаясь к настоятелю, - и вас следует сместить. - А затем еще более строго добавил: - И это называется католики, монахи, христиане, страшно сказать! Берегитесь, если, приехав сюда еще раз, я обнаружу у вас такое, а можете не сомневаться, я в ближайшее время еще раз наведаюсь к вам в обитель.

Потом он повернулся и, остановившись возле двери моей кельи, сказал настоятелю:

- Позаботьтесь, чтобы все учиненные в этой келье безобразия были устранены к утру.

Настоятель в ответ только молча поклонился.

В этот вечер я улегся спать на голом матрасе среди четырех голых стен. Я был до такой степени измучен и утомлен, что спал в эту ночь крепким сном. Проснулся я, когда утренняя месса давно уже отошла, и увидел, что мне предоставлены все удобства, какие только могут быть созданы в монашеской келье. Словно по мановению волшебного жезла за то время, когда я спал, туда вернулись распятие, молитвенник, аналой, стол - все оказалось на своих прежних местах. Я соскочил с постели и восхищенно оглядел стены кельи. Однако по мере того, как приближался час монастырской трапезы, восторг мой ослабевал, а страхи, напротив, возрастали: не так-то ведь легко после безмерного унижения, после того, как вас затоптали в грязь, перейти к тому положению, которое вы некогда занимали среди людей. Как только зазвонил колокол, я сошел вниз. Некоторое время я нерешительно простоял у двери, а потом, поддавшись порыву, граничащему с отчаянием, вошел и занял свое обычное место. Никто этому не противился; никто не сказал ни слова. После обеда все разошлись по кельям. Я стал ждать, когда зазвонят к

вечерне: мне казалось, что в эти часы все должно решиться. Наконец и колокол прозвонил монахи собрались. Я беспрепятственно присоединился к ним и занял свое место в хоре - торжество мое было полным, а меня охватила дрожь. Увы! Есть ли в жизни человека минуты такого счастья, когда он может начисто позабыть о страхе? Судьба наша всякий раз выступает в роли того старого раба, обязанностью которого было каждое утро напоминать монарху, что он - человек, и чаще всего предсказания ее осуществляются еще до того, как наступит вечер. Прошло два дня - буря, которая так долго терзала нас, сменилась внезапно наступившим затишьем. Дни мои потекли как раньше: я исполнял все свои повседневные обязанности и ни от кого не слышал ни поношения, ни похвалы. Казалось, что все окружающие считают, что я начинаю свою монашескую жизнь сначала. Два дня я прожил совершенно спокойно и, господь тому свидетель, ни в чем не злоупотребил одержанной мною победой. Я ни разу не вспомнил об учиненном надо мною насилии. Я ни разу мысленно не упрекнул никого из его участников, ни словом не обмолвился о посещении епископа, которое за несколько часов заставило поменяться ролями меня и всех остальных и позволило угнетенному (если бы он того захотел) занять место угнетателя. Я сумел проявить выдержку, ибо меня поддерживала надежда на освобождение. Но прошло немного времени, и настоятелю суждено было восторжествовать снова.

На третий день я был вызван утром в приемную, где посланный вручил мне пакет, содержащий (как мне стало ясно) ответ на мою жалобу. По существующему в монастырях обычаю, я должен был сначала передать его на прочтение настоятелю и только потом имел право прочесть его сам. Взяв пакет, я медленными шагами направился в покои настоятеля. Пока он был у меня в руках, я старался как следует разглядеть его, ощупать все его углы, прикинуть на вес, догадаться о его содержимом по внешнему виду. И тут меня вдруг озарила горькая догадка: ведь если бы содержимое пакета сулило мне что-нибудь хорошее, посланный вручил бы его с торжествующей улыбкой; вопреки всем монастырским правилам я мог бы тогда сорвать печати с приказа о моем освобождении. Мы бываем очень склонны рисовать себе будущее в соответствии с нашим предназначением, а так как мне предназначено было стать монахом, то нет ничего удивительного в том, что пророчества оказывались мрачными. Они оправдались.

Я подошел с этим пакетом к дверям покоев, которые занимал настоятель. Я постучал, меня пригласили войти, и мой опущенный долу взгляд мог разглядеть только множество ряс - келья была заполнена монахами. Я почтительно протянул настоятелю пакет. Он небрежно взглянул на него, а потом швырнул его на пол. Один из монахов подошел и поднял его.

- Не трогайте, пусть он его забирает, - воскликнул настоятель.

Я воспользовался его разрешением, взял пакет и, низко поклонившись настоятелю, ушел к себе. Придя в келью, я некоторое время просидел неподвижно, продолжая держать злосчастный пакет в руках. Я собирался уже вскрыть его, как вдруг каким-то внутренним чувством понял: "Не к чему это делать, ты ведь уже знаешь, что там". Прошло несколько часов, прежде чем я решился узнать его содержание: мне сообщали, что в жалобе моей мне отказано. Приводились некоторые подробности, из которых явствовало, что адвокат сделал все от него зависящее, употребив весь свой талант, все рвение и красноречие, что были даже минуты, когда суд склонялся к тому, чтобы удовлетворить мою просьбу, однако в итоге все же вынес отрицательное решение, дабы не создавать опасный прецедент для других. "Если дело это будет выиграно, писал адвокат, - то по всей Испании монахи начнут отрекаться от своих обетов". Можно ли было привести более веский довод в пользу моего дела? Если побуждение мое могло найти отклик в стольких сердцах, то совершенно очевидно, что оно исходило из требований природы, справедливости и правды.

Воспоминания о постигшем его страшном разочаровании до такой степени взволновали несчастного испанца, что только несколько дней спустя у него хватило сил вернуться к

прерванному рассказу.

Глава VII

Pandere res aha terra et caligine mersas \*.

{\* Рассказать о сокрытом в глубинах земных  
и во мраке {1} (лат.).}

- Милорд, я показать хочу вам диво.

- Черт побери, какое диво, Бате?

Генрих VIII {2}

- Я не могу вам рассказать, сколь тяжело было состояние, в которое поверг меня отказ удовлетворить мою просьбу, просто потому что у меня не сохранилось о нем никаких отчетливых воспоминаний. Ночью все краски стираются, а отчаяние не различает дней: однообразие есть и сущность его, и его проклятие. Долгими часами прогуливался я по саду, и единственным впечатлением от этой прогулки был звук моих собственных шагов; мысли же, чувства, страсти и все, что приводит их в действие, - все погасло для меня, все исчезло навсегда. Я был похож на жителя страны, где "все было позабыто" {3}. Мысли мои потеряли ясность, блуждая там, где "самый свет как мрак" {4}. Нависали тучи, предвещавшие наступление непроглядной тьмы, - и вдруг рассеялись, и все внезапно озарилось удивительным светом.

Сад был моим постоянным прибежищем; повинуюсь какому-то слепому инстинкту, заменившему мне сознательный выбор, которого я уже не в силах был сделать, я устремлялся туда, чтобы уйти от монахов. Однажды вечером я заметил происшедшую там перемену. Чинили фонтан. Источник, снабжавший его водой, находился за пределами монастыря, и занятым починкой рабочим пришлось выкопать под оградой монастыря канаву, выходящую на городской пустырь. Место это тщательно охранялось в течение всего дня, пока шла работа, а потом на ночь проход закрывался нарочно для этого сделанной дверью, на которой были засовы, болты и цепи и которая запиралась, как только рабочие уходили. Днем дверь оставалась открытой; и это искушение бежать и стать свободным, уйти от безысходного гнета, которому я не видел конца, отзывалось во мне нестерпимой болью, доводившей до полного отупения. Я сделал несколько шагов по этому проходу и подошел вплотную к двери, которая отделяла меня от свободы. Я уселся там на одном из разбросанных вокруг камней, подперев голову рукой, и глаза мои с грустью глядели на \_дерево\_ и на \_колодец\_, на то место, где якобы свершилось чудо. Не знаю, сколько времени я так просидел. Очнулся я от шороха, услышанного где-то вблизи, и заметил клочок бумаги, подсунутый под дверь, там, где небольшая неровность почвы позволяла это сделать. Я наклонился и хотел его схватить. В это время бумажка вдруг исчезла под дверью, но спустя несколько мгновений голос, который я в волнении совсем не узнал, прошептал:

- Алонсо.

- Да, да, - в волнении ответил я.

Бумажка тут же ко мне вернулась, и я услышал быстро удалявшиеся шаги. Не теряя ни минуты, я прочел содержащиеся в ней несколько слов: "Будь здесь завтра вечером в этот же час. Мне много пришлось из-за тебя выстрадать, записку уничтожь". Это был почерк брата моего Хуана, так хорошо знакомый мне по нашей недавней и столь важной для меня переписке; всякий раз, когда я видел этот почерк, в душе моей оживали вдруг доверие и надежда; так оживают под действием тепла написанные симпатическими чернилами строки.

Не могу понять, как мне удалось не выдать окружающим то великое волнение, с которым я ждал следующего вечера. Впрочем, заметным, может быть, становится лишь волнение, вызванное каким-нибудь пустяком. То, которое обуревало меня, притаилось в душе. Могу только сказать, что весь этот день трепет ее напоминал тиканье часов, не знающих ни минуты покоя. И

в этом тиканье мне попеременно слышались слова: "\_Надежда есть - надежды нет\_". Наконец этот показавшийся мне вечностью день пришел к концу. С каким нетерпением следил я за тем, как начали удлиняться тени! С какой радостью всматривался во время вечерни в золото и пурпур, что светились высоко в огромном восточном окне храма и постепенно делались все бледнее, и думал о том, что скоро краски эти засветятся и на западе и хоть и медленно, но начнут угасать. И вот минуты эти настали - вечер выдался для меня на редкость благоприятный. Было тихо и темно, сад опустел, нигде не видно было ни одной живой души, ничьи шаги не шуршали по аллеям. Вдруг я услышал какой-то звук; мне показалось, что кто-то бежит за мной. Я остановился оказалось, что это бьется сердце; звук его отдавался в напряженной глубокой тишине. Я прижал руку к груди так, как мать прижала бы к ней расплакавшегося ребенка, пытаюсь его успокоить; однако сердце не переставало стучать. Я вошел в узенький проход и приблизился к двери, у которой на часах, казалось, попеременно стояли отчаяние и надежда. Слышанные вчера слова все еще звучали у меня в ушах: "Будь здесь завтра вечером, в этот же час". Я наклонился, и мой жадный взгляд увидел под дверью сложенный лист бумаги. Я схватил его и спрятал в складках рясы. Я так дрожал от радости, что, казалось, не в состоянии буду донести его до своей кельи, не выдав себя. Все же мне это удалось; а содержание записки, которую я прочел, укрепило меня в моей радости.

К моему несказанному огорчению, однако, большую часть написанного невозможно было разобрать: так бумага была измята о камни и перепачкана сырой глиной. Прочтя первую страницу, я с трудом только мог понять, что духовник добился того, что брата держали все время за городом почти что на положении узника. Однажды, когда он охотился в сопровождении одного только слуги, его осенила мысль, что он может освободиться и, напугав слугу, потребовать от него полного подчинения. Наставив на него заряженное охотничье ружье, он пригрозил, что сейчас же его пристрелит, если тот вздумает оказать хотя бы малейшее сопротивление. Слуга не сопротивлялся и дал привязать себя к дереву. Разбирая следующую страницу, также очень измятую, я понял, что брат мой благополучно добрался до Мадрида и там только впервые узнал о том, что на мою злосчастную просьбу было отвечено отказом. Какое впечатление произвело это на горячего, порывистого и преданного мне Хуана, легко можно было представить, взглядевшись в косые прерывистые строки, в которых он тщетно пытался выразить обуревавшие его чувства. После этого в письме говорилось:

"Сейчас я нахожусь в Мадриде и твердо решил, что не уеду отсюда, пока не добьюсь твоего освобождения. Если у тебя хватит решимости, то план этот можно осуществить: серебряным ключом можно открыть любые ворота, в том числе и ворота монастыря. Первая задача, которую я себе поставил, - установить с тобой связь, казалась мне столь же неосуществимой, как и твой побег. Тем не менее мне это удалось. Я узнал, что в саду идут какие-то работы, и каждый вечер подбирался к двери и шептал твое имя - и вот на шестой день ты наконец оказался близко".

В другом месте брат более подробно рассказывал о своих планах.

"Самое нужное для нас сейчас - это деньги и полная тайна. Насчет последнего я могу поручиться - я ездю переодетый, но что касается денег, то я не очень-то знаю, как их добыть. Бегство мое было столь поспешным, что я не успел ничего с собой захватить, и по пути в Мадрид мне пришлось продать часы и перстни, чтобы обзавестись подходящей одеждой и провиантом. Мне бы, конечно, ссудили любую сумму, стоило только сказать, кто я такой, но это могло привести к

роковым для меня последствиям. Отцу моему немедленно было бы сообщено о том, что я в Мадриде. Денег я постараюсь достать у какого-нибудь еврея, а как только я их получу, я не сомневаюсь, что сумею тебя освободить. Мне уже говорили, что у вас в монастыре есть один человек, который, может быть, согласится...".

Все последующее было, по-видимому, написано уже значительно позднее; как видно, письмо это писалось в несколько приемов. В строках, которые я вслед за тем мог разобрать, выразилась вся беспечность этого до крайности пылкого, живого и великодушного юноши.

"Пожалуйста, не беспокойся обо мне, обнаружить меня невозможно.

Еще когда я был в школе, у меня проявилось актерское дарование, почти невероятная способность к перевоплощению, которая сейчас оказывает мне неоценимую услугу. Иногда я вышагиваю, как какой-нибудь "махо" {1\* Нечто среднее между хвастуном и гулякой.}, приделав себе огромные бакенбарды. Иногда я принимаю вид бискайца и, подобно мужу доньи Родригес, выгляжу королем потому лишь, что я горец {5}. Однако любимое мое обличье - это нищий или гадалщик: первое позволяет мне проникнуть в стены монастыря, второе обеспечивает деньгами и нужными сведениями. Таким образом, мне еще платят, а сам я в это время стараюсь кого-нибудь подкупить. Если бы ты увидел, как после всех этих скитаний и происков наследник Монсады забирается на чердак и укладывается спать на соломе, ты не удержался бы от улыбки. Ведь этот маскарад забавляет \_меня самого\_ больше, нежели зрителей. Сознание собственного превосходства подчас приносит больше радости, когда держишь его в тайне, нежели тогда, когда о достоинствах твоих говорят другие. Кроме того, у меня такое чувство, как будто грязная подстилка, на которой я сплю, расшатанная табуретка, покрытые паутиной стропила, прогорклое масло и все прочие *agreements* {Прелести (франц.).} моего нового жилища есть некая расплата за то зло, которое я тебе причинил, Алонсо. Иногда, правда, такого рода лишения, к которым я, кстати сказать, совсем не привык, повергают меня в уныние, но тем не менее свойственная моей натуре буйная сила и необузданная веселость поддерживают во мне бодрость духа. Я содрогаюсь, когда думаю о своем положении, возвращаясь к себе на ночлег, когда мне приходится впервые в жизни своими руками ставить светильник на мой жалкий очаг. Но вот наступает утро, и мне становится весело, когда я начинаю рядиться в свои причудливые лохмотья, гримирую лицо, изменяю голос и становлюсь настолько неузнаваемым, что даже обитатели этого дома, встречая меня на лестнице, не уверены, что перед ними тот самый человек, которого они видели накануне. Внешность свою я меняю каждый день и каждый раз ночую на новой квартире. Не бойся за меня, но приходи каждый вечер к назначенному месту, к закрывающей канавку двери, потому что каждый вечер у меня будет для тебя что-нибудь новое. Помни, что силы мои неиссякаемы, жажда неутолима, что весь жар сердца моего и души отданы одному делу. Клянусь тебе еще раз душой и телом, я ни за что не уеду отсюда, до тех пор пока ты не будешь на свободе, \_положись на меня, Алонсо\_".

Я избавлю вас, сэр, от подробного описания моих чувств, и каких чувств! Господи, прости

меня за то благоговение, с каким я покрывал эти строки поцелуями, с каким я готов был припасть к писавшей их руке, - за благоговение, которого достойно только изображение божие. Но ведь он был так юн, побуждения его так благородны, в необузданном сердце его было столько тепла, и он готов был пожертвовать всем, что могли принести ему его высокое положение и молодость с ее утехами, - вместо этого он пускался на унижительные переодевания, подвергая себя невероятным лишениям, претерпевал все самое тягостное для юноши избалованного и гордого (а я знал, что он избалован и горд), скрывая свое возмущение всем этим под личиною напускной веселости, рядом с которой было подлинное великодушие, и все это ради меня! О, как меня все это трогало!

\* \* \* \* \*

На следующий день вечером я снова был возле двери. Никакой записки не появилось, а я просидел, дожидаясь ее, до тех пор, пока совершенно стемнело, и я уже вряд ли бы мог различить ее, будь она в эти часы под дверью. Следующий за этим вечер оказался более счастливым: я получил новое известие от брата. Тот же самый измененный голос прошептал: "Алонсо", и имя это прозвучало для меня сладчайшей музыкой. В записке содержалось всего несколько строк (мне не стоило никакого труда проглотить ее тут же после того, как я ее прочитал). Вот они:

"Наконец-то мне удалось найти еврея, который даст мне взаймы большую сумму. Он притворяется, что не знает меня, хотя я уверен, что это не так. Ростовщические проценты, которые он берет, и противозаконность всех его действий являются для меня полной гарантией безопасности. Еще несколько дней, и в моих руках будут средства освободить тебя; мне даже посчастливилось найти способ, как ими воспользоваться. Есть один негодяй...".

На этом записка кончалась. Восстановительные работы возбудили в монастыре столько любопытства (которое, кстати сказать, возбуждается в этих стенах очень легко), что последующие четыре вечера я не решался оставаться возле двери, боясь, что могу этим вызвать подозрение. Все это время я страдал, и не только от того, что надежды мои не сбывались, но и от страха, что это неожиданно для меня начавшееся общение с братом может теперь навсегда прерваться; я ведь знал, что через несколько дней работы будут закончены. Я поделился своими опасениями с братом и воспользовался для этого тем же способом, каким сам получал от него записки. Потом я стал упрекать себя в том, что напрасно его тороплю. Я подумал о том, как трудно ему скрываться в незнакомом месте, иметь дело с ростовщиками, подкупать монастырских слуг. Я подумал обо всем, что он предпринял, и о тех опасностях, которым он себя подвергает. А вдруг все его усилия окажутся напрасными? Ни за что на свете, даже если бы меня сделали властелином всего мира, не хотел бы я еще раз пережить все муки, которые мне пришлось испытать в течение этих четырех дней. Приведу вам только один пример, из которого вы узнаете, что я пережил, услышав, как рабочие говорят: "Ну вот, скоро и конец". Я обычно вставал за час до начала утрени, передвигал камни, опрокидывал бочку с известью, для того чтобы она смешалась с глиной и стала совершенно негодной к употреблению, одним словом, с таким искусством распускал ткань Пенелопы {6}, что рабочие были убеждены, что не кто иной, как сам дьявол мешает им довести дело до конца, и последнее время всякий раз приносили с собой святую воду, которой с превеликим ханжеством и весьма обильно все окропляли.

На пятый вечер я подобрал под дверью записку, где говорилось:

"Все улажено - я договорился с евреем так, как у них принято. Он притворяется, что ему ничего не известно о том, кто я такой и как я



\_буду\_ богат. В действительности он все это отлично знает и не посмеет предать меня уже хотя бы потому, что захочет сберечь собственную шкуру. Возможность сразу же выдать его Инквизиции лучшая гарантия того, что он исполнит свое обещание, лучшая и, надо сказать, единственная. У вас в монастыре есть один негодяй. Это \_отцеубийца\_, который решил искать убежище в стенах обители и согласился принять монашество для того, чтобы избежать возмездия за свои грехи, по крайней мере в земной жизни. Мне рассказывали, что это чудовище перерезало горло отцу в то время, как тот сидел за ужином, с единственной целью - добыть небольшую сумму, которую он проиграл в карты. Товарищ его, который тоже проигрался, дал обет, в случае если он выиграет, поставить две свечи перед статуей Пресвятой девы, находившейся неподалеку от того злополучного дома, где шла игра. Но он проиграл и был так разъярен постигшей его неудачей, что, проходя мимо статуи, ударил ее кулаком и на нее плюнул. Поступок его был возмутителен, но можно ли его сравнивать с преступлением того, кто сейчас находится среди вас? Этот надругался над святыней {7}, а тот убил отца; и, однако, первый умер от самых ужасных пыток, а второй после тщетных стараний скрыться от правосудия \_нашел убежище\_ в святой обители и теперь вот сделался послушником у вас в монастыре. На преступные страсти этого негодяя я и возлагаю все свои надежды. Насколько я понимаю, душою его владеют жадность, чувственность и безрассудство. Стоит только обещать ему денег, и он не остановится ни перед чем; ради денег он готов помочь тебе освободиться, ради денег он может задушить тебя в твоей келье. Он завидует Иуде, который предал Спасителя рода человеческого за тридцать сребреников. \_Его\_ душу можно купить и за полцены. Вот с помощью какого человека мне приходится осуществлять мои планы, - это мерзко, но иного выхода нет. Мне довелось читать, что самые действенные лекарства добываются из ядовитых растений и ядовитых змей. Я выжму сок, а потом выброшу оболочку.

Алонсо, не страшись этих слов. Не дай привычкам твоим одержать верх над мужеством. Положись на меня в деле твоего освобождения и позволь мне употребить для этого те средства, которые я вынужден сейчас избрать. И можешь не сомневаться, рука, пишущая тебе эти строки, скоро пожмет твою - уже на свободе".

Я вновь и вновь перечитывал эту записку, оставшись один у себя в келье, после того как уже улеглось то волнение, с которым я ожидал ее, прятал и читал \_в первый раз\_, и сомнения и страхи сгустились надо мной, как сумеречные тучи. По мере того как Хуан становился увереннее, моя уверенность, напротив, меня покидала. Существовал разительный контраст между бесстрашием, независимостью и предприимчивостью, которые он мог себе позволить, и тем робким одиночеством и страхом перед опасностями, которые достались на мою долю. Несмотря на то что надежда на спасение, которое он должен был обеспечить мне мужеством своим и находчивостью, все еще продолжала пламенеть в глубинах моего сердца как некий неугасимый светильник, я, однако, не решался доверить этому самоотверженному юноше свою судьбу: при том, что он был так предан мне, он был неустойчив; убежав из родительского дворца, он жил в Мадриде, скрываясь и выдавая себя за другого, а в сообщники себе избрал

негодяя, человека, который всем внушал отвращение. На кого же и на что возлагал я теперь надежды? На неистовые усилия существа, хоть и любящего меня, но взбалмошного, безрассудного и лишённого опоры, вступившего в сговор с отродьем дьявола, способным забрать деньги, а потом наслаждаться их звоном, издеваясь над нашим отчаянием и обреченностью, с тем, кто забросит ключ от нашей свободы в такую пропасть, куда не проникнет ни один луч и откуда никакою силой его нельзя будет извлечь.

Подавленный всеми этими соображениями, я предавался раздумью, молился, плакал, душу мою раздирали сомнения. Кончилось тем, что я написал несколько строк Хуану, в которых откровенно высказал ему все свои сомнения и страхи. Прежде всего я усомнился в самой возможности этого побега.

"Можно ли себе представить, чтобы человек, за которым следит весь Мадрид, который на примете у всей Испании, ускользнул от иезуитов. Подумай, дорогой мой Хуан, ведь против меня сейчас вся община, все духовенство, вся нация. И вообще-то монаху невозможно убежать, но самое невозможное - это найти потом надежное убежище. Ведь по всей Испании, во всех монастырях колокола зазвонят сами, призывая разыскивать беглеца. Военные, гражданские и духовные власти - все будут подняты на ноги. Загнанному, истерзанному, доведенному до отчаяния, мне придется кидаться из одного места в другое, и я нигде не найду себе покоя. Ярость церковных властей, жестокая и неотвратимая кара закона, отвращение и ненависть общества, подозрительность со стороны низшего сословия, среди которого я должен скрываться, стараясь обмануть их проницательность, проклиная ее в душе; подумай, с чем только мне не придется столкнуться, подумай, что на меня надвигается огненный крест Инквизиции, а следом за ним - вся эта свора, и все кричат, вопят, улюлюкают, завидев добычу! О Хуан, если бы ты только знал, какие ужасы мне пришлось испытать! Мне легче было бы умереть, нежели переживать их снова, будь то даже во имя свободы! Свободы! Великий боже! На какую же свободу может рассчитывать в Испании монах? Нет ни одной лачуги, где я мог бы спокойно провести ночь, ни одной пещеры, куда эхо не доносило бы весть о том, что я - отступник. Доведись мне даже скрыться во чреве земли, все равно меня непременно бы разыскали, извлекли бы из ее недр. Милый Хуан, когда я думаю о всемогуществе церкви в Испании, то не лучше ли выразить мою мысль словами, с которыми мы обращаемся к Всемогущему: "Взойду ли на небо. Ты там; сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря: и там..." {8}. Представь себе, что освобождение мое свершилось, что весь монастырь погрузился в глубокое оцепенение и недремлющее око Инквизиции не увидело во мне отступника, куда же мне после этого деться? Как я буду добывать себе средства пропитания? Юные годы свои я провел в праздности, окруженный роскошью, и ничему не научился. Сочетание глубочайшей апатии со смертельной ненавистью к монашеской жизни делают меня непригодным для общества. Представь себе, что двери всех монастырей в Испании распахнулись бы, что стали бы делать их обитатели? Ничем не могли бы они ни украсить, ни возвысить свою страну. Что я стал бы делать, чтобы обеспечить себя самым

необходимым? Что мог бы я делать такое, что бы не выдало меня с головой? Я буду загнанным, жалким беглецом, клейменным Каином {9}.

Увы, погибая в огне, я, быть может, еще увижу, что Авель не \_моя\_ жертва, а жертва Инквизиции".

Едва только я написал эти строки, повинуясь порыву, объяснить который мог бы кто угодно, кроме меня самого, я разорвал все на мелкие клочки и старательно сжег их на огне находившегося у меня в келье светильника. Потом я снова пошел к заветной двери, с которой были связаны все мои надежды. Проходя по коридору, я столкнулся с каким-то отвратительным на вид человеком. Я подался от него в сторону, ибо уже решил, что не должен общаться ни с кем, кроме тех случаев, когда к этому вынуждает монастырская дисциплина. Проходя мимо меня, он коснулся моей рясы и многозначительно на меня посмотрел. Я сразу же понял, что это и есть то лицо, о котором упоминалось в письме Хуана. Спустя несколько минут, уже выйдя в сад, я обнаружил там записку, подтвердившую мои предположения. Вот что она гласила:

"Я раздобыл денег и нашел человека. Это сущий дьявол, но решимость и непоколебимость его не подлежат сомнению. Выйди завтра вечером на прогулку - к тебе кто-то подойдет и коснется края твоей рясы, обхвати запястье его левой руки - это будет знаком. Если увидишь, что он сомневается, шепни ему: "Хуан", и он ответит тебе "Алонсо". Это и есть тот самый человек, обсуди все с ним. Он будет сообщать тебе о каждом шаге, который я предприму".

После того как я прочел это письмо, я почувствовал себя неким механизмом, который определенным образом заведен, причем так, что не может не выполнить того, что ему предназначено. Сила и стремительность всех действий Хуана, казалось, без всякого моего участия передалась и мне, а так как думать мне было некогда, то некогда было и выбирать.

Он напоминал собою часы, стрелки которых приведены в движение; я отбивал определенное число ударов, ибо был вынужден это делать. Когда мы так вот ощущаем на себе действие чьей-то силы, когда кто-то другой начинает думать, чувствовать и поступать за нас, мы с большой охотой перекаладываем на него не только физическую, но и моральную ответственность за наши поступки. Охваченные себялюбивым малодушием и упоенные собственным покоем, мы говорим: "Пусть оно так и будет - вы все за меня решили", не думая о том, что на Страшном суде нас некому будет взять на поруки.

Итак, на следующий вечер я вышел погулять. Обличье мое и все движения были спокойны, можно было подумать, что я погружен в глубокое раздумье. Да так оно в сущности и было, только мысли мои устремлялись вовсе не в том направлении, какое им приписывали люди, которые меня окружали. По дороге кто-то коснулся моей рясы. Я встрепенулся, но к моему великому изумлению один из монахов попросил у меня прощения за то, что нечаянно задел меня рукавом. Минуты две спустя рясы моей коснулся другой монах. Прикосновение это было совсем непохоже на первое, в нем можно было ощутить уверенность, которая говорила о том, что тебя понимают и хотят тебе что-то передать. Этот человек не боялся быть узнаваемым, и ему не надо было ни в чем извиняться. Как же это случается в жизни, что преступление захватывает нас, ничего не страшась, тогда как прикосновение совести, даже к самому краю одежды, повергает нас в дрожь? Пародируя известную итальянскую пословицу {10}, можно сказать, что в основе преступления лежит мужское начало, а невинности женское. Дрожащей рукой я схватил его за запястье и, не переводя дыхания, прошептал:

- Хуан.

- Алонсо, - ответил он и стремительно пошел вперед.

В остающиеся мгновения я мог задуматься над превратностями своей судьбы, которая столь

неожиданно оказалась в руках двух существ; одно из них высотой своих чувств могло оказать честь всему человеческому роду, в то время как другое преступлениями своими его позорило. Подобно гробу Магомета, я повис между небом и землей {11}. Я почувствовал неопишное отвращение при мысли, что мне придется иметь дело с чудовищем, пытающимся замести следы совершенного им отцеубийства и прикрыть неизгладимые пятна крови покровом монашества. Не мог я преодолеть и ужаса, в который повергала меня страстность и стремительность Хуана; в конце концов я почувствовал, что попал под власть того, чего боялся больше всего на свете, и мне приходится подчиниться этой власти для того, чтобы обрести свободу.

На следующий вечер я снова вышел в сад. Не могу сказать, что походка моя была такой же ровной, несомненно только, что я старался изо всех сил отмеривать свои шаги. Снова та же рука коснулась моей рясы и тот же голос прошептал "Хуан". Сомневаться долее я уже не мог.

- Я в вашем распоряжении, - сказал я, проходя мимо.

- Нет, это я - в вашем, - ответил мне неприятный хриплый голос.

- В таком случае мне все понятно, - пробормотал я, - мы принадлежим друг другу.

- Да. Не будем больше говорить здесь, у нас будет для этого удобный случай. Завтра канун троицы; во всеобщем бдении участвует вся братия; каждый час все будут по двое подходить к алтарю и молиться там в течение часа; потом следом за ними явятся двое других и так будет продолжаться всю ночь. Община питает к вам такое отвращение, что ни один из братьев не согласился идти в паре с вами, а ваш черед наступает между двумя и тремя. Поэтому вы окажетесь один, и в эти часы я подойду к вам: никто не помешает нам поговорить с глазу на глаз и никто нас ни в чем не заподозрит.

С этими словами он покинул меня. На следующую ночь, в канун троицы, монахи стали подходить по двое к алтарю. В два часа настал мой черед. В келью ко мне постучали, и я один спустился в церковь.

## Глава VIII

Когда во храм к плечу плечо

Пройдете парами меж плит вы,

Пусть вас ничто не отвлечет.

Монахи, ночью от молитвы.

Колмен {1}

Я отнюдь не суеверен, но стоило мне войти в церковь, как я ощутил невыразимый холод в душе и в теле. Я подошел к алтарю и попытался стать на колени - невидимая рука оттолкнула меня. Казалось, некий голос обращается ко мне из глубин алтаря и вопрошает, зачем я туда явился. Мне подумалось тогда, что те, что только что ушли оттуда, были погружены в молитву, что те, что последуют за мной, придут туда тоже с благоговейным чувством, в то время как я пришел в церковь с дурными целями, собираясь учинить обман, и хочу употребить часы, отведенные для богослужения, на то, чтобы придумать, как от него избавиться. Я почувствовал себя обманщиком, который хочет воспользоваться святостью этого места для осуществления своей недостойной цели. Мне сделалось страшно - и за все задуманное и за самого себя. Наконец я опустился на колени, но молиться все равно не посмел. Ступени алтаря показались мне в эту ночь особенно холодными, я весь дрожал и вынужден был вслушиваться в окружающую меня тишину. Увы! Как можем мы ожидать успеха в деле, если не смеем открыть замысел наш перед господом? Молитва, сэр, когда мы проникаемся ею, не только делает нас самих красноречивыми, но как бы сообщает еще некое подобие красноречия всему, что нас окружает. В прежнее время, когда я открывал господу душу, у меня было такое чувство, что все светильники горят ярче, а на лицах святых проступает улыбка, ночная тишина наполнялась тогда формами и голосами, и каждое дуновение ветерка, проникавшее в окно, походило на звуки арф,

на которых играют тысячи ангелов. Теперь все было приглушено, светильники, статуи святых, алтарь и купол храма - все взирало на меня в молчании. Казалось, что со всех сторон меня окружают свидетели, которые без слов, одним своим присутствием, способны меня осудить. Я не смел поднять глаз, не смел говорить, не смел молиться, чтобы не обнаружить этим мысли, на которую я не смог бы испросить себе благословения; а так вот оберегать тайну, которая все равно известна богу, дело напрасное и к тому же недостойное христианина.

Волнение мое длилось недолго, я услышал приближающиеся шаги - это был тот, кого я ждал.

- Вставайте, - сказал он мне, ибо я стоял на коленях, - вставайте, нам надо торопиться. Вы пробудете в церкви всего только час, и за этот час мне надо многое вам сказать.

Я поднялся с колен.

- Побег ваш назначен на завтрашнюю ночь.

- На завтрашнюю ночь, милосердный боже!

- Да, в таких отчаянных положениях всякая отсрочка бывает опаснее, чем поспешность. Тысячи глаз и ушей следят за вами, - одного неловкого или двусмысленного движения достаточно, чтобы сделалось невозможным их провести. Конечно, такие поспешные действия сами по себе уже опасны, но иначе нельзя. Завтра после полуночи сойдите в церковь, вероятнее всего, там в этот час никого не будет. Если же вы застанете там кого-нибудь (за молитвой или покаянием), уйдите, чтобы не возбуждать подозрений. Вернитесь, как только все уйдут, - я буду вас ждать там. Видите вот эту дверь? - и он показал мне на маленькую дверь, на которую я не раз обращал внимание, но которую, насколько помню, ни разу при мне не открывали. - Я достал ключ от этой двери, неважно, как мне это удалось. Раньше дверь эта вела под своды монастыря, но по некоторым причинам совершенно особого свойства, рассказывать о которых сейчас некогда, был открыт другой проход, а этим много лет уже никто не пользуется. От него ответвляется еще один, который, как я слышал, кончается выходящим в сад люком.

- "Слышали"? - ужаснулся я, - боже мой! Неужели же в таком серьезном деле можно полагаться на то, что вы слышали? Если вы не уверены, что этот переход действительно существует и что вы разберетесь во всех его поворотах, то, может статься, нам придется пробродить там всю ночь? Или может быть...

- Не докучайте мне всеми этими мелочами. Некогда мне выслушивать ваши опасения - ни сочувствовать вам, ни переубедить вас я не могу. Когда через потайной люк мы попадем в сад, нам будет грозить еще одна опасность.

Тут он замолчал, словно желая проследить, какое впечатление произведут на меня те ужасы, о которых идет речь, причем не столько из недоброжелательства, сколько из тщеславия, для того лишь, чтобы превознести свою храбрость, которая позволит ему преодолеть их. Я молчал, и так как он не услышал в ответ ни льстивой похвалы, ни выражения испуга, он продолжал:

- На ночь в сад каждый раз выпускают двух злых собак, об этом надо будет тоже подумать. Высота ограды шестнадцать футов, но брат ваш достал веревочную лестницу, он перекинет ее вам, и вы сможете без всякой опасности перебраться по ней на ту сторону.

- Без всякой опасности. Но тогда ведь опасность будет грозить Хуану.

- Говорю вам еще раз, не прерывайте меня, меньше всего вам приходится бояться опасности в этих стенах. А вот когда вы окажетесь за их пределами, что тогда? Где вы укроетесь, где найдете для этого надежное место? Может быть, правда, на деньги вашего брата вам удастся убежать из Мадрида. Он будет щедр на подкупы, каждую пядь земли на вашем пути ему придется вымостить золотом. Но и после этого вас ждет немало всяких трудностей: тогда-то и начнется самое главное. Как вы переберетесь через Пиренеи? Как...

При этих словах он провел рукою по лбу с видом человека, взявшегося за дело, которое ему не под силу, и теперь обдумывающего, как выйти из беды. Это движение, в котором было столько искренности, поразило меня. Оно подействовало как некий противовес, который помог мне справиться со сложившимися уже предубеждениями. Однако, чем больше я начинал ему доверять, тем больше меня пугали те картины, которые он мне рисовал.

- Как же все-таки я смогу убежать и скрыться? - повторил я за ним следом. - Может быть, с вашей помощью мне и удастся пройти по этим путаным переходам, я уже, кажется, ощущаю их сырость и сочащуюся мне на голову воду. Я могу выбраться оттуда к свету, взобраться на ограду, спуститься с нее, но, в конце концов, как же мне удастся бежать? Больше того, как мне потом жить? Вся Испания - это большой монастырь, я окажусь пленником всюду, куда бы ни подался.

- Об этом обязан позаботиться ваш брат, - ответил он сухо, - что до меня, то я делаю то, за что взялся.

Тогда я стал одолевать его вопросами касательно подробностей моего бегства. Ответы его были однообразны, неудовлетворительны и уклончивы в такой степени, что ко мне вернулась прежняя подозрительность и вместе с ней ужас.

- Но откуда же вы достали ключи? - спросил я.

- Вас это не касается.

Примечательно было, что он давал одинаковые ответы на все вопросы, которые я ему задавал по поводу добытых им средств, чтобы облегчить мой побег, поэтому я вынужден был, так ничего и не узнав, больше не задавать их и не возвращаться к тому, что уже было сказано.

- Да, но как же нам удастся пройти по этому страшному переходу возле склепов, ведь может случиться, что мы никогда больше не увидим света! Подумать только, бродить в темноте среди развалин под сводами склепов, ступая по костям мертвецов, где мы можем повстречать бог знает что, какой это ужас, оказаться среди тех, кого нельзя отнести ни к живым, ни к мертвым, - среди темной и склизкой нечисти, что кишит на останках покойников, что пирует и тешится любовью среди разложения и тлена, - какой это невообразимый ужас! А нам непременно надо проходить мимо склепов?

- Ну и что же такого? Может быть, у меня больше оснований бояться их, чем у вас. Вам же не приходится ждать, что дух вашего отца выйдет из земли, чтобы вас проклясть!

При этих словах, которые были сказаны доверительно и с опаской" я содрогнулся от ужаса. Слова эти произнес отцеубийца, и он хвастался своим преступлением здесь, в церкви, глухой ночью, среди святых, чьи статуи были недвижны, но, казалось, содрогались вместе со мной. Чтобы немного отвлечься, я снова вернулся к разговору о высокой стене и о том, как трудно будет укрепить веревочную лестницу так, чтобы никто не заметил. Он отвечал все теми же словами:

- Предоставьте это мне, я уже все уладил.

Всякий раз, когда он таким образом отвечал мне, он отворачивался от меня, и я ничего не слышал, кроме отдельных отрывистых слогов. В конце концов я почувствовал, что добиться от него каких-то объяснений - дело безнадежное и что мне приходится во всем на него положиться. На него! О господи! Что только я пережил, сказав себе эти слова! Сознание того, что я нахожусь всецело в его власти, приводило меня в трепет. И вместе с тем даже это тяжелое чувство не могло избавить меня от мыслей о непреодолимых трудностях, связанных с моим побегом. Тут он окончательно вышел из себя - он стал корить меня тем, что я робок и неблагодарен. И, представьте себе, когда голос его становился свирепым и он начинал угрожать мне, я испытывал к нему больше доверия, чем в те минуты, когда он пытался его изменить. Пусть он резко мне возражал, больше того, обвинял меня, - во всем, что он говорил, он выказывал столько предусмотрительности, трезвости и держал себя так невозмутимо, что, как

ни сомнительно было наше предприятие, я начинал уже верить, что исход его будет удачен. Во всяком случае я пришел к выводу, что если кто-нибудь на свете и может осуществить мое освобождение, так только он. Человек этот не знал, что такое страх, муки совести для него не существовали. Намекая на то, что убил отца, он хотел только одного поразить меня своей решимостью. Я прочел это на его лице, ибо в эту минуту невольно взглянул на него. В глазах его не было ни той опустошенности, которую приносит с собой раскаяние, ни той суетливости, которую неминуемо влечет за собою страх: они смотрели на меня дерзко, словно бросая мне вызов и стараясь привлечь мое внимание. Мысль о предстоящей опасности, казалось, только поднимала в нем дух. Он затеял рискованное дело и походил на игрока, который готовится встретить равного по силе противника. Пусть на карту была поставлена жизнь - для него это означало только то, что он играет по высшей ставке, и эта повышенная требовательность вызовет в ответ еще больший прилив отваги, еще большую сплоченность всех способностей и сил.

Разговор наш близился уже к концу, как вдруг меня резанула мысль, что человек этот идет на страшный риск и невозможно поверить, что он делает это ради меня. И мне захотелось разгадать эту тайну.

- Ну, а как же вы обеспечите свою собственную безопасность? - спросил я. - Что станет с вами, если мой побег будет обнаружен? Ведь одно только подозрение в том, что вы были соучастником этой попытки,

может навлечь на вас самую страшную кару, а что уж говорить, если на место подозрения придет твердая уверенность в том, что все это дело ваших рук?

Невозможно даже описать, как, услышав эти слова, он переменялся в лице. Некоторое время он смотрел на меня, не говоря ни слова; глаза его блестели, и в них можно было разглядеть одновременно сарказм, презрение, сомнение и любопытство; потом он попытался рассмеяться, но все мускулы его лица настолько застыли в своей неподвижности, что в нем уже не могло произойти никакой перемены. Для таких лиц насупленный хмурый взгляд - всего привычнее, улыбка их похожа на судорожные подергивания. Он мог вызвать в себе разве что *rictus sardonius* {Сардонический смех {2} (лат.)}, настолько ужасный, что описать его невозможно. Очень страшно бывает видеть веселое выражение на лице преступника, каждая улыбка его покупается ценою множества стонов. Стоило мне взглянуть на него, как кровь во мне похолодела. Я стал ждать, что он заговорит, и верил, что звук его голоса сам по себе явится для меня облегчением. Наконец он сказал:

- Неужели вы считаете меня таким дураком, что я стал бы помогать вам бежать отсюда, рискуя при этом попасть в тюрьму и оставаться там до конца моих дней, или быть замурованным в стену, или, наконец, преданным суду Инквизиции? - и он снова расхохотался. - Нет, бежать мы должны с вами вместе. Неужели вы думаете, что я стал бы столько тревожиться о деле, в котором мне была бы отведена только роль помощника? Я думал об опасности, которая грозит мне, я не был уверен в том, что оно кончится для меня благополучно. Положение, в котором мы очутились, свело вместе нас обоих, людей во всем противоположных друг другу. И вместе с тем союз наш неизбежен и неразрывен. Судьба ваша связана теперь с моей узами, разорвать которые не в силах никто на свете. Нам с вами больше не суждено расстаться. Жизнь каждого из нас, - в руках другого, и даже самая кратковременная разлука может повлечь за собою предательство. Мы должны неусыпно следить друг за Другом - за каждым вздохом, за каждым шагом; мы должны страшиться ночного забытья, ибо оно может невольно предать другого, и прислушиваться к бессвязным словам, которые могут вырваться в нашем тревожном сне. Может статься, мы будем ненавидеть друг друга, мучить друг друга и, что хуже всего, можем надоесть друг другу (а рядом с этой томительной неразлучностью нашей ненависть и та

была бы для нас облегчением), но расставаться мы уже никогда не должны.

Подумав о том, какую окажется моя свобода, ради которой я столько всего поставил на карту, я содрогнулся. Я взирал на страшное существо, с которым оказалась неразрывно связанной моя жизнь. Он собрался было уже уйти, но потом остановился на некотором расстоянии, то ли чтобы повторить еще раз последние сказанные им слова, то ли, может быть, чтобы проследить за тем впечатлением, которое они произведут на меня. Я сидел на ступеньках алтаря, было уже поздно, лампы горели совсем тускло, и говоривший со мною находился в приделе церкви в такой позе, что верхняя люстра освещала только его лицо и протянутую в мою сторону руку. Фигура его была совершенно скрыта под покровом темноты, и эта оставшаяся без тела голова выглядела поистине зловеще. Свиристое выражение его лица смягчилось и уступило место какой-то нечеловеческой тоске, когда он повторял слова: "Мы никогда не расстанемся, я должен быть возле вас всегда", и его низкий голос, словно забравшийся под землю гром, глухими раскатами отдавался под сводами церкви. Последовало продолжительное молчание. Он по-прежнему стоял в той же позе, я тоже словно окаменел и не мог пошевелиться. Часы пробили три, бой их напомнил мне, что время мое истекло. Мы расстались, разойдясь в противоположные стороны; по счастью, двое монахов, которые должны были меня сменить, на несколько минут опоздали (оба они отчаянно зевали), и уход наш никем не был замечен.

У меня нет сил описать последовавший за этим день - это так же невозможно, как разобраться в увиденном сне и определить, что в нем правда, что - бред, где именно сплеховала память и восторжествовало воображение. Султан в восточной сказке {3}, который погрузил голову в фонтан и, прежде чем поднял ее снова, успел испытать самые невероятные превратности судьбы: был монархом, рабом, супругом, вдовцом, отцом нескольких детей, бездетным холостяком, - вряд ли мог пережить столько душевных потрясений, сколько выпало на мою долю в этот памятный день. Я был узником, свободным человеком, счастливец, окруженным улыбающимися детьми, жертвой Инквизиции, корчащейся в пламени костра и извергающей проклятия. Я был маньяком, бросавшимся от надежды к отчаянию. Мне все время казалось, что я дергаю за веревку колокола, в звуках которого попеременно слышатся слова "ад" и "рай"; звон этот непрестанно раздавался у меня в ушах тягостно и монотонно, так, как обычно звучит монастырский колокол. Наконец наступила ночь. Вернее было бы сказать, "наступил день", ибо весь этот день был для меня ночью. Обстоятельства благоприятствовали мне: в монастыре все затихло. В коридоре не слышно было ничьих шагов, ничей голос, будь то даже шепот, не оглашал своды, под которыми нашло себе прибежище столько человеческих душ. Крадучись, вышел я из кельи и спустился в церковь. В этом не было ничего необычного, ибо обитатели монастыря, которых темными бессонными ночами мучала совесть и у которых не выдерживали нервы, приходили туда молиться.

Приближаясь к дверям церкви, перед которыми денно и нощно горели лампы, я вдруг услышал чей-то голос. Испугавшись, я решил было уже вернуться назад, но потом все же отважился заглянуть внутрь. Старик-монах стоял на коленях перед изваянием одной из святых, погруженный в молитву, причем просить милости господней его побуждали отнюдь не муки совести или строгости монастырской жизни, а самая обыкновенная зубная боль; чтобы смирить эту боль, надлежало коснуться деснами изображения святой, которая славилась тем, что оказывает в подобных случаях помощь {1\* Смотри "Взгляд на Францию и Италию" Мура {4}.}. Несчастный старик молился со всем рвением, на какое толкало его нестерпимое страдание, а потом снова и снова прикладывался деснами к холодному мрамору, отчего всякий раз усиливались его жалобы, муки и - молитвенное рвение. Я присматривался к нему и прислушивался к его словам, - в моем положении было что-то нелепое и вместе с тем страшное. Страдания его с каждой минутой становились ожесточеннее, а во мне они едва не вызвали смех.



Помимо всего прочего, я опасался, как бы не пришел еще кто-нибудь; мне показалось, что так оно и случилось: послышались чьи-то шаги. Я обернулся и, к великой радости моей, увидел, что это пришел мой сообщник. Знаками я объяснил ему, что помешало мне войти в церковь. Он ответил мне таким же способом и отступил на несколько шагов, успев, однако, показать мне связку огромных ключей, спрятанных у него под рясой. Это придало мне бодрости, я прождал еще полчаса; полчаса эти были такой невероятной пыткой для души, что, если бы так стали пытаться моего злейшего врага, я бы, верно, крикнул: "Довольно, довольно, пощадите его!".

Часы пробили два - я покачнулся и сделал шаг вперед, стараясь ступать как можно громче по каменному полу. Меня несколько не могли успокоить знаки нетерпения, которое проявлял мой сообщник: время от времени он выходил из своего убежища за колонной и бросал на меня взгляд, в котором вспыхивала ярость и который тревожно меня вопрошал и тревога (на что я ответил другим взглядом, выразившим безнадежность), после чего уходил, бормоча слова проклятия сквозь зубы, страшный скрежет которых я отчетливо слышал, ибо я старался, сколько мог, сдерживать дыхание. В конце концов я решился на отчаянный шаг. Я вошел в церковь и, направившись прямо к алтарю, простерся у его ступенек. Старик-монах заметил меня. Он решил, что я пришел туда если не с зубной болью, как он, то с какой-то другой, и подошел ко мне, сказав, что собирается присоединиться к моим молитвам, а меня просит помолиться за него, ибо "боль его перекинулась из нижней челюсти в верхнюю". Невозможно даже описать, как причудливо сочетаются иногда в людях самые высокие стремления с заботами мелкими и повседневными. Я был узником, я томился по свободе и поставил все в зависимость от шага, который был вынужден совершить; мгновение это должно было определить всю мою жизнь на ближайшее время, а быть может, и навсегда, а рядом со мной стоял коленопреклоненный монах, чья участь уже была решена, который все остающиеся недолгие годы своей жалкой жизни не мог быть никем, кроме как монахом. И вот этот человек горячо молил, чтобы ему ниспослано было на какое-то время облегчение той временной боли, какую я готов был терпеть всю жизнь ради одного только часа свободы. Когда он подошел ко мне и попросил за него помолиться, я отшатнулся. Я понял, что мы просим бога о совершенно разных вещах, и не решился выпросить у себя, что же отличает нас друг от друга. В эту минуту я не знал, кто из нас прав: он ли, чьи молитвы ничем не оскверняли святости этого места, или я, поставленный в необходимость бороться с этой противоестественной и беспорядочной жизнью, все связи с которой я собирался порвать, нарушив данный мною обет. Я все же встал рядом с ним на колени и принялся молиться, прося господу облегчить его страдания, и молитвы мои, разумеется, были искренни, ибо я воздавал их в надежде, что, как только ему станет легче, он тут же уйдет. Однако стоило мне опуститься на колени, как я испугался собственного лицемерия. В душе-то ведь я смеялся над страданиями этого несчастного, а теперь за него молюсь. Я был самым низким лицемером, который стоял на коленях, да еще перед алтарем. Но разве я не был вынужден поступить именно так? Если я действительно был лицемером, то по чьей вине? Если я осквернял алтарь, то кто же затащил меня туда, кто заставил меня оскорбить святыню обетами, против которых восставала моя душа и которые она отвергла прежде, нежели уста мои успели произнести их? Но мне было некогда сейчас копаться в душе. Я встал на колени, молился, а сам весь дрожал до тех пор, пока несчастный страдалец, устав от своих напрасных молитв, которым господь так и не внял, не поднялся с колен и не потащился к себе в келью.

Несколько минут я все же стоял, не помня себя от страха: мне все казалось, что может явиться еще какой-нибудь непрошенный посетитель, но раздавшиеся в приделе быстрые и решительные шаги сразу же вернули мне самообладание, - это был мой сообщник. Он уже стоял рядом со мной. Он произнес какие-то проклятия, показавшиеся очень оскорбительными для моего слуха, и не столько непристойностью своей, сколько тем, что подобные слова раздавались

под сводами храма, и тут же стремительно направился к \_двери\_. В руках у него была большая связка ключей, и я безотчетно пошел следом за тем, кто должен был вывести меня на свободу.

Дверь была ниже уровня пола; нам пришлось спуститься на целых четыре ступеньки. Он стал пытаться отомкнуть ее ключом, который обернул рукавом своей рясы, чтобы не было слышно лязга металла. После каждой попытки он отскакивал назад, скрежетал зубами, топал ногой, а потом пускал в ход обе руки. Замок не поддавался; в отчаянье я ломал руки, потрясал ими над головой.

- Посветите мне, - попросил он шепотом, - возьмите светильник у какой-нибудь из этих кукол.

Пренебрежение, с которым он говорил об изваяниях святых, испугало меня; во всем этом я увидел святотатство, однако я пошел за светильником и дрожащей рукой стал светить ему, а он в это время снова стал пытаться отпереть дверь. При этой новой попытке мы шепотом поделились с ним нашими опасениями, которые были до того страшны, что у нас перехватывало дыхание и даже шептать становилось трудно.

- Шум какой-то?

- Просто-напросто эхо; скрежет этого чертова замка. Никто там не идет?

- Нет, никого.

- Загляните-ка в коридор.

- Тогда я не смогу вам светить.

- Неважно. Только бы не попасться.

- Да, только бы удалось бежать, - сказал я с решимостью, которая его изумила. Поставив светильник на пол, я принялся вместе с ним поворачивать ключ. Замок скрипел и противился нашим усилиям; казалось, справиться с ним невозможно. Мы сделали еще одну попытку; затаив дыхание и стиснув зубы, мы ободрали себе пальцы до самой кости, только все было напрасно. Мы начали все сначала, но и на этот раз ничего не добились. То ли его необузданной натуре труднее было перенести неудачу, нежели мне, то ли, подобно многим истинно мужественным людям, он готов был рисковать жизнью в борьбе и умереть без единого стога и в то же время приходил в смятение от \_пустячной\_ боли, - не знаю уж, как оно было на самом деле, только он вдруг бессильно опустился на ведущие к двери ступеньки, вытер рукавом крупные капли пота, выступившие у него на лбу от напряжения и от страха, и бросил на меня взгляд, полный неподдельного отчаяния. Часы пробили три. Бой их прозвучал у меня в ушах подобно трубам Страшного суда, трубам, которые \_каждый из нас еще услышит\_. Он заломил руки в неистовых корчах; так мог корчиться только закоренелый, не знающий раскаяния злодей, то были муки без умиротворения и воздаяния, те, что венчают преступника ореолом ослепительного величия, повергая нас в восхищение перед падшим ангелом, сочувствовать которому мы не смеем.

- Мы погибли, - вскричал он, - вы погибли. В три часа сюда придет молиться монах, - я уже слышу шаги его в коридоре, - добавил он, понизив голос, в котором сквозил невыразимый ужас.

Но как раз в эту минуту ключ, с которым я не переставал сражаться, повернулся вдруг в замочной скважине. Дверь отворилась - проход был открыт. Увидав это, спутник мой быстро овладел собой, и спустя несколько мгновений мы уже были внизу. Первое, что мы сделали, мы вынули ключ и заперли дверь изнутри. За это время мы успели убедиться, что в церкви никого нет и в коридоре не слышно ничьих шагов. Все это были пустые страхи; мы отошли от двери и, затаив дыхание, посмотрели друг на друга; в наших взглядах как будто снова пробудилась уверенность, и мы начали свой путь по подземелью уже в полной тишине и безопасности, В безопасности! Боже ты мой! Я и сейчас еще содрогаюсь при одном воспоминании об этих подземных странствиях под сводами монастырских склепов и в обществе отцеубийцы. Но с чем только не может породнить нас опасность? Если бы мне рассказали, что нечто подобное

случилось с другим, я бы ответил, что это самая наглая и бессовестная ложь, - и, однако, все это случилось со мной. Я взял светильник (самый свет его всякий раз, когда он что-то озарял на нашем пути, казалось, упрекал меня в совершенном мною святотатстве) и молча последовал за своим спутником.

У вас в стране, сэр, люди много читали в романах о подземных ходах и о сверхъестественных ужасах. Но как бы красочен ни был рассказ о них, он бледнеет перед щемящим сердце ужасом, который испытывает тот, кто вовлечен в предприятие, не имея для него ни сил, ни должного опыта, ни владения собой, и кто вынужден вложить свободу свою и жизнь в обогранные кровью руки отцеубийцы. Напрасно старался я набраться решимости, напрасно говорил себе: "Долго это продолжаться не может", напрасно старался убедить себя, что в столь рискованных предприятиях невозможно обойтись без подобных помощников, - все было впустую. Я содрогался, думая о положении, в котором очутился, от того, во что превратился сам, - а ведь это тот ужас, который нам никогда не удастся преодолеть. Я спотыкался о камни, каждый шаг наполнял мою душу отчаянием. Глаза мне заволокло каким-то голубоватым туманом; края светильника были словно оторочены тусклым, рассеянным светом. Воображение мое разыгралось, и, когда спутник мой начинал осыпать меня проклятиями за мою невольную медлительность, мне уже начинало казаться, что я иду вслед за дьяволом, которому удалось соблазнить меня на нечто чудовищное, такое, что и представить себе невозможно. Все, о чем я читал в страшных рассказах, обступило меня подобно кошмарам, преследующим человека, очутившегося вдруг в темноте. Мне приходилось слышать о бесах, которые соблазняли монахов, обещая им свободу, заманивали их в монастырские подземелья, а там ставили им такие условия, рассказывать о которых едва ли не столь же страшно, как их исполнять. Я уже начинал думать о том, что меня принудят присутствовать на непотребных дьявольских оргиях, видеть, как там потчуют гниющим мясом, что мне придется пить испорченную кровь мертвецов, слышать кошунственные проклятия и вопли, стоять на той страшной грани, где жизнь человека смыкается с вечностью, слышать аллилуйи хора, которые доносятся даже сквозь своды подземелий, там, где свершается черная месса {5}, где дьяволы справляют свой шабаш, - словом, я думал обо всем, что могло прийти на ум во время блуждания по этим бесконечным переходам при этом мертвенном тусклом свете в обществе человека, для которого не было ничего святого.

Казалось, хождениям нашим не будет конца. Спутник мой сворачивал то направо, то налево, опережал меня, возвращался, останавливался в раздумье (это было самое страшное!), потом снова шел вперед, пытаясь продвинуться в другом направлении, причем проход оказывался настолько низок, что мне приходилось ползти на четвереньках, чтобы от него не отстать, но, даже и ползя, я стучался головой о неровности потолка. После того как мы уже довольно долго шли (во всяком случае так мне казалось, ибо, когда человека во тьме охватит страх, тот, какого никогда не может быть днем, - минуты становятся для него часами), проход этот сделался настолько узким и низким, что дальше идти я уже не мог и удивлялся, как это моему спутнику удастся пробираться вперед. Я стал его звать, но ответа не последовало, а в проходе или, вернее, в щели, по которой я полз, невозможно было ничего разглядеть на расстоянии десяти дюймов. У меня, правда, был с собой светильник, который я держал дрожащей рукой, но в этом спертном тяжелом воздухе он едва мерцал. Ужас сдавил мне грудь. От окружавшей меня со всех сторон сырости, от сочившихся по стенам капель меня начало лихорадить. Я снова стал звать, и снова мне никто не ответил. Когда человеку грозит опасность, воображение на горе ему вдруг набирает силу, и я помимо воли вспомнил и применил к себе - когда-то прочитанный мною рассказ о путешественниках, пытавшихся исследовать склепы египетских пирамид. Один из них, пробиравшийся подобно мне ползком, застрял в щели и не то

от страха, не то по какой другой причине до такой степени распух, что не мог уже ни продвинуться вперед, ни попятиться назад, чтобы уступить дорогу товарищам. Те уже возвращались и, увидев, что на пути их оказалась неожиданная помеха, с которой они ничего не могли поделать, что светильники мигают и вот-вот погаснут и что до смерти напуганный проводник не может ни вести их, ни дать сколько-нибудь разумный совет, движимые тем крайним эгоизмом, до которого опускаются люди в минуты смертельной опасности, предложили отрезать несчастному руки и ноги. Когда тот услышал, что с ним хотят сделать, нервное напряжение его достигло такой степени, что вызвало сильное сокращение мышц, сразу же вернувшее его в обычное состояние, после чего он выбрался из щели и освободил всем остальным путь к выходу. Дело, однако, кончилось тем, что от этих нечеловеческих усилий он задохнулся и тут же умер. Все эти подробности, рассказывать которые приходится очень долго, за одно мгновение навалились на мою душу. На душу? Нет, - на тело. Во мне не было ничего, кроме физического чувства, это было сильнейшее страдание тела, и один только господь знает, человек же способен лишь ощущать, как такое страдание может поглотить в нас и свести на нет любое другое чувство, как в такие минуты нам ничего не стоит убить близкое нам существо, чтобы питаться его мясом и этим прогрызть себе дорогу к жизни и свободе; так вот потерпевшие кораблекрушение отрезали от себя куски тела и поедали их, рассчитывая, что это их поддержит, тогда как на самом деле только усугубляли этим свои мучения и после каждого такого самоистязания еще больше ослабевали.

Я попытался вернуться ползком назад - мне это удалось. Должно быть, рассказ, который я только что вспомнил, поддержал меня, я почувствовал, что мышцы мои сокращаются. Ощущение это придало мне уверенность, что я выйду из этого тупика, а минуту спустя я действительно выбрался оттуда. Не знаю даже, как мне это удалось. Должно быть, я в это время оказался способным на одно из тех необыкновенных усилий, которые не только возрастают от того, что мы их не сознаем, но даже вообще целиком от этого зависят. Как бы то ни было, я выпутался из беды и стоял теперь изможденный, задыхаясь, с догорающим светильником в руке и, оглядываясь вокруг себя, не видел ничего, кроме черных сырых стен и низких сводов склепа, которые хмурились надо мной, как брови некоего извечного врага, и словно запрещали мне не только побег, но и надежду. Светильник мой быстро затухал - я не сводил с него глаз. Я знал, что моя жизнь и то, что мне было дороже жизни, - моя свобода, зависят теперь от взгляда, устремленного на его огонек, и, однако, я смотрел на него бессмысленными, застывшими глазами. Свет сделался еще слабее, последние искорки его привели меня в чувство. Я встал, я огляделся вокруг. Вспыхнувшее на миг яркое пламя озарило какой-то предмет, находившийся совсем близко. Я вздрогнул и громко вскрикнул, хоть сам и не сознавал, что кричу.

- Тише, молчите, - произнес голос из тьмы. - Я оставил вас только для того, чтобы разведать проходы; я нашел тот, что ведет к люку, молчите и все будет хорошо.

Весь дрожа, я приблизился к нему, спутник мой, должно быть, тоже дрожал.

- Что, светильник уже едва тлеет? - спросил он шепотом.

- Сами видите.

- Постарайтесь поддержать его еще хоть немного.

- Буду стараться; ну а если мне это не удастся, что тогда?

- Тогда мы погибли, - сказал он и разразился такими проклятьями, что я испугался, как бы не обрушились своды.

И, однако, не приходится сомневаться, сэр, что отчаянная решимость подчас как нельзя лучше подходит к отчаянным положениям, в которые мы попадаем. Кошунственные выкрики этого негодяя придали мне какую-то зловещую уверенность в том, что у него хватит мужества довести свое дело до конца. Он пошел вперед, продолжая бормотать свои проклятия, а я шел за

ним следом, не спуская глаз с совсем уже задухавшего огонька, и мучения мои усугубляла боязнь еще больше разъярить моего страшного проводника. Я уже говорил о том, как чувства наши даже в минуты величайшей опасности могут уходить вдруг куда-то в сторону от главного и вливаться в самые мелкие и ничтожные подробности. Как я ни был с ним осторожен, светильник мой все-таки захирел, замигал, подарил меня, словно горькой усмешкой, своей последней едва заметной вспышкой и - погас. Никогда мне не забыть того взгляда, который в этой полутьме бросил на меня мой спутник. Пока светильник теплился, я следил за его мигающим пламенем, как за биением слабеющего сердца, как за трепетом души, готовой улететь в вечность. Он погас у меня на глазах, и я уже причислял себя к тем, кому уделом послан вечный мрак.

Как раз в эту минуту до нашего притупившегося слуха донеслись отдаленные, едва слышные звуки. Это означало, что в церкви, которая сейчас находилась высоко над нами, начинается утренняя месса, в это время года обычно происходившая при свете свечей. Эти неожиданные и словно сошедшие с неба звуки поразили нас до глубины души - мы ведь пребывали во мраке, на самой границе ада. Было что-то неопределимо злое в презрительном высокомерии этого небесного торжества, которое, славя надежду, обрекало нас на отчаяние и возвещало о боге тем, кто при одном упоминании его имени затыкал себе уши. Я упал, не знаю уж, оттого ли, что обо что-то споткнулся в темноте, а может быть, от всего пережитого у меня попросту закружилась голова. Прикосновение грубой руки и грубый голос моего спутника вывели меня из забытья. Слыша проклятия, от которых в жилах у меня холодела кровь, нельзя было ни проявлять слабость, ни поддаваться страху. Дрожа, я спросил его, что же мне теперь делать.

- Идите за мной ощупью в темноте, - ответил он.

Страшные слова! Люди, которые открывают нам всю глубину нашего горя, всегда кажутся нам злыми, потому что сердце наше или воображение привыкло тешить себя надеждой, что на самом деле горе это, быть может, все же не так велико. Любой другой человек скажет нам истинную правду скорее, нежели мы себе в ней признаемся сами.

В темноте, в полной темноте, и на четвереньках, потому что удержаться на ногах я уже был не в силах, я последовал за ним. Но от этого способа передвижения мне тут же стало нехорошо. Сначала закружилась голова, потом меня охватило какое-то оцепенение. Я остановился. Спутник мой громко выругался, и я невольно пополз быстрее, как собака, которая повинуется окрику хозяина. Ряса моя успела уже превратиться в лохмотья, кожа на коленях и на руках была содрана. Несколько раз я ударялся головой об острые, неотесанные камни, которыми были выложены стены и потолок подземелья. И в довершение всего от всей этой невероятной духоты и от глубокого волнения меня охватила сильная жажда: было такое чувство, как будто во рту у меня лежит раскаленный уголь и я пытаюсь высосать из него капли влаги, а он только еще больше жжет мне язык. Вот в каком я был состоянии, когда окликнул моего спутника и сказал, что дальше идти не могу.

- Ну так останешься тут и заживо сгниешь, - ответил он, и, может быть, самые воодушевляющие и ласковые слова не подействовали бы на меня так сильно. Эта уверенность, которая приходит вместе с отчаянием, это пренебрежение к опасности, этот вызов силе в ее же собственной цитадели - все это вернуло мне на какое-то время мужество, только что может значить чье-то мужество среди всей этой бездны мрака и сомнений? Слыша его спотыкающиеся шаги и невнятные проклятия, я догадался о том, что происходит. Я был прав. Шаги его безнадежно замерли, и я узнал об этом по последнему донесшемуся до меня воплю, по скрежету зубов, которым он, видно, выражал отчаяние, по хлопку сомкнувшихся над головой заломленных рук, по ужасающим корчам, которые предвещали скорый конец. В эту минуту я стоял позади него на коленях и повторял каждый его крик, каждое движение. Исступленность моя его поразила. Он выругал меня и велел мне молчать. Потом он попытался молиться, однако

молитвы его скорее походили на проклятия, а проклятия звучали как славословия Князю тьмы; задыхаясь от ужаса, я умолял его перестать. Он умолк, и, должно быть, около получаса ни один из нас не произнес ни слова. Мы лежали рядом, как две издыхающие собаки, о которых я когда-то читал: они приникли к зверю, за которым гнались и, уже будучи не в силах вонзиться зубами в его тело, обдавали слабеющим дыханием своим его пушистую шкуру.

Вот как выглядела наша свобода - такая близкая и вместе с тем такая безнадежно далекая. Мы лежали, не смея заговорить друг с другом, ибо о чем еще можно было говорить, как не о нашем отчаянии, а оба мы не решались беречь друг в друге все, что так наболело. Такого рода страх, который, как мы знаем, люди уже испытывали до нас и который мы боимся расшевелить, напомнив о нем \_тем, кто раз уже его испытал\_, - может быть, самое страшное из чувств. Одолевавшая меня физическая жажда начисто исчезла, уступив место жгучей жажде души, потребности в общении там, где ни на какое общение нельзя было надеяться, где оно было немислимо, невозможно. Быть может, подобное чувство испытывают осужденные на великие муки души, выслушав окончательный приговор; они знают, на какие страдания их обрекли, но не смеют открыть друг другу страшную правду, которая в сущности уже перестала быть тайной, но мысль о которой так тягостна им, что они предпочитают молчать. Любые слова выглядят кощунством перед этим молчаливым и незримым богом, который в минуты охватившего нас безнадежного отчаяния ниспосылает нам тишину.

Минутам, которые, как мне казалось, будут длиться целую вечность, наступил, однако, конец. Спутник мой вдруг вскочил и радостно вскрикнул. Я уже подумал было, что он рехнулся, но это было другое.

- Свет! Свет! - вскричал он. - Это небо; мы возле люка, я вижу свет сквозь щель.

Среди всех ужасов, которые нам пришлось вынести, он все время устремлял взгляд кверху, ибо знал, что нас окружает такая кромешная тьма, что дневной свет пробьется даже сквозь самую узенькую щелку и мы непременно его заметим. Он оказался прав. Я поднялся и увидел этот луч. Сложив руки и онемев от волнения, мы смотрели наверх жадными, широко открытыми глазами. Над головой у нас появилась тоненькая полоска тусклого света. Она становилась шире, ярче - это был \_струившийся с неба свет\_; он проникал к нам сквозь щели люка, выходявшего в сад.

## Глава IX

Хотя и жизнь и свобода были, казалось, совсем уже близко, положение наше все еще оставалось очень трудным. Свет зари, который облегчал наш побег, мог в то же время привлечь к нам внимание многих. Нельзя было терять ни минуты. Спутник мой сказал, что поднимется первым, и я не посмел ему возразить. Я слишком зависел от него, чтобы в чем-то ему противиться, а в юные годы нам всегда кажется, что сила на стороне того, кто превосходит нас своей развращенностью. Мы склонны уважать и даже постыдным образом боготворить тех, кто раньше нас изведal все виды порока. Человек этот был преступен, но как раз преступление-то и окружало его в моих глазах героическим ореолом. Преждевременное знание жизни всегда покупается ценою падения. Он знал больше, чем я, - в нашем отчаянном предприятии он был для меня всем. Я боялся его, как дьявола, и вместе с тем призывал его на помощь, как бога.

Итак, я согласился на его предложение. Я был очень высокого роста, однако он значительно превосходил меня силой. Он встал мне на плечи, я зашатался под тяжестью его тела, но ему все же удалось приподнять крышку люка - яркий дневной свет озарил нас обоих. Но в ту же минуту он опустил ее и спрыгнул вниз так стремительно, что свалил меня с ног.

- Там рабочие, - вскричал он, - они уже пришли, и стоит им нас увидеть, как мы погибем. Их полно теперь в саду, и они проторчат тут до самого вечера. Проклятый светильник, это он нас погубил! Немного бы еще погорел, и мы бы успели выбраться в сад, могли бы перелезть через

ограду, быть на свободе, а теперь...

Он упал на пол, корчась в отчаянии и ярости.

Мне все это вовсе не показалось таким ужасным. Разумеется, на какое-то время нас это задержит, но зато мы избавлялись от самого страшного, что нам грозило, - бродить голодными в темноте до полного изнеможения и смерти: мы отыскивали дорогу к люку. Меня поддерживала непоколебимая уверенность, что у Хуана хватит терпения и решимости. Я не сомневался в том, что если он мог прождать нас всю эту ночь, то он нас непременно захочет дождаться. К тому же я понимал, что нам надо набраться терпения всего-навсего на сутки, а то и меньше, а что это значит в сравнении в бесконечностью тех часов и дней, которые иначе пришлось бы загубить в монастырских стенах! Все это я высказал моему спутнику, когда тот закрыл люк. Услыхав в ответ только жалобы и ругательства и увидев, что он сам не свой от тревоги, нетерпения и отчаяния, я понял, сколь различно ведут себя люди в критические минуты. Он был тверд в поступках, а я - в терпении. Дайте ему какое-нибудь дело, и он исполнит его, не боясь покалечить, а то и вовсе погубить и тело и душу. Заставьте меня что-то перенести, пережить, чему-то покориться, и я сразу же преисполняюсь великого смирения. Когда человек, казалось бы физически сильный и стойкий, катался по полу, - как капризный мальчишка, одержимый неукротимой яростью, я был его утешителем, советчиком и поддерживал в нем присутствие духа.

В конце концов он внял доводам разума: он согласился, что мы должны провести еще сутки в подземелье, по поводу чего он разразился целой литанией проклятий. Итак, мы решили остаться и тихо просидеть там до наступления ночи. Но до чего же переменчиво человеческое сердце: в стечении обстоятельств, которое всего несколько часов назад мы приняли бы как божью благодать, как предвестие нашей свободы, по мере того как нам пришлось пристальнее в него взглянуть, обнаружились некие черты не только неприятные для нас, но и отвратительные. Мы окончательно выбились из сил. Физическое напряжение, которое нам пришлось выдержать за эти часы, было просто невероятным; право же, я убежден, что одно только сознание, что мы втянуты в борьбу не на жизнь, а на смерть, могло помочь нам все выдержать, но зато теперь, когда эта борьба была уже позади, силы наши стали сдавать. Душевные наши муки были не меньше - мы одинаково исстрадались душой и телом. Если бы вся эта душевная борьба оставляла такие же следы, как и физическая, можно было бы увидеть, что слезы наши смешаны с кровью, что действительно и было, когда шаг за шагом мы пробирались вперед.

Не забудьте также, сэр, каким спертым воздухом нам пришлось так долго дышать во время нашего опасного перехода по всем этим темным закоулкам: вредоносное действие этого воздуха начинало теперь сказываться, и нас то бросало в пот, то знобило так, что холод пробирал до самых костей. И вот в таком душевном возбуждении и изможденности тела нам придется ждать долгие часы в темноте, без пищи, пока господь не смилостивится и не наступит ночь. Но как нам удастся продержаться эти часы? Предыдущий день мы провели в полном воздержании - теперь мы уже начинали ощущать муки голода, голода, утолить который нам было нечем. Нам придется теперь голодать до тех пор, пока мы не освободимся, и мы должны пробыть все это время среди каменных стен, сидеть на сыром каменном полу, это с каждым мгновением подтачивало силы, нужные для того, чтобы справиться - и с жестокостью этих камней, и с их мертвящим холодом.

И вот еще что я подумал: а в чьем обществе придется мне провести эти часы? В обществе человека, которого я ненавидел всеми фибрами души и в то же время понимал, что присутствие его для меня одновременно и неотвратимое проклятие и непреодолимая необходимость. Так мы стояли под люком, дрожа и не решаясь даже шепотом поделиться друг с другом одолевавшими нас мыслями и вместе с тем ощущая весь ужас взаимной отчужденности - едва ли не самое

страшное проклятие, которое может тяготеть над теми, кто вынужден находиться вместе, и вынужден той самой необходимостью, которая обязывает участников этого ненавистного обоим союза молчать и держать втайне все свои опасения и страхи. \_Слышишь\_, как рядом бьется другое сердце, и, однако, не смеешь сказать: "Сердца наши бьются вместе".

Мы все еще стояли, как вдруг сделалось темно. Я не мог понять, что же произошло, пока не ощутил, что пошел дождь и с отчаянной силой пробился даже сквозь щель нашего люка; за какие-нибудь пять минут я промок до костей. Я ушел оттуда, но уже после того, когда на мне не осталось сухого места. Вы вот, сэръ, живете в Ирландии, стране, которую господь избавил от подобных превратностей погоды, и вам трудно представить себе, какой силы достигают дожди на континенте. Вслед за тем последовали такие раскаты грома, что я испугался и уже подумал, не решил ли господь покарать меня в этом подземелье, где я сокрылся от его гнева, а спутник мой разразился проклятиями, которые заглушали даже раскаты грома, ибо дождь добрался и до него и, хлынув под своды, затопил все помещение; ноги наши были уже по щиколку в воде. Кончилось тем, что он предложил мне перейти в другое, известное ему место, где будет сухо. Он добавил, что это всего в нескольких шагах отсюда и что мы потом легко сможем вернуться. Я не решился возражать и последовал за ним в темный закоулок, который отличался от остальной части подземелья только тем, что там сохранились остатки того, что когда-то было дверью. Стало уже светло, и я мог ясно разглядеть все, что меня окружало. По глубине впадин, в которые входил засов, и по величине железных петель, которые хоть и были покрыты ржавчиной, однако оставались на прежних местах, я заключил, что дверь эта должна была быть особенно крепкой и, возможно, вела в монастырскую тюрьму; теперь ее сняли с петель, но входить туда мне, было страшно. Оба мы до такой степени обессилели, что, едва переступив порог этого помещения, повалились прямо на каменный пол. Мы даже не успели сказать друг другу ни слова; нас неодолимо клонило ко сну, и что до меня, то мне в эту минуту было глубоко безразлично, настанет ли пробуждение или этот сон будет последним в моей жизни. А ведь я был уже на грани свободы! Но хоть я весь вымок, был изнурен голодом и бездомен, все же, если рассудить здраво, положение мое и сейчас было более завидным, нежели тогда, когда меня окружало унылое благополучие моей кельи. Увы! Как это верно, что, когда счастье совсем уже близко, душа наша чахнет, и кажется, что вся она изошла в борьбе за него и теперь у нее не осталось даже сил, чтобы удержать его в руках. Мы бываем вынуждены наслаждаться не столько обладанием счастья, сколько погоней за ним, обращая средство в цель или переставая их различать для того, чтобы извлекать радость из того и другого, так что в конце концов достигнутое счастье оказывается не чем иным, как усталостью после борьбы. Разумеется, я был далек от всех этих раздумий, когда, изнуренный напряжением сил, страхом и голодом, упал на каменный пол и забылся сном, который, собственно говоря, даже нельзя было назвать сном, ибо с ним словно обрывалось во мне все - и временное и вечное. Это было каким-то внезапным отрешением и от плотской и от духовной жизни. Иногда ведь бывает, сэръ, что способность размышлять не оставляет нас вплоть до той самой грани, когда нами овладевает дремота; засыпая, мы предаемся приятным воспоминаниям, спим только для того, чтобы радости наши прошли перед нами вновь вереницею сновидений. Но когда, засыпая, мы чувствуем, что это навеки, когда мы отказываемся от всякой надежды на бессмертие во имя надежды на полный отдых, когда от терзающей нас судьбы мы требуем "покоя, только покоя", - тогда душа наша слабеет вместе с телом и мы просим у бога и у человека только одного дать нам уснуть.

В таком вот состоянии я повалился на пол; в эту минуту я, кажется, готов был продать все мои надежды на освобождение за двенадцать часов глубокого сна так, как Исав продал свое право первородства {1} за скудную пищу, которая была для него в этот миг самым насущным. Однако сон этот длился недолго. Спутник мой тоже спал. Спал! Великий боже! Что это был за



сон! Он спал так, что, будучи рядом, нельзя было сомкнуть глаз и оградить себя от шума. Он говорил непрерывно и так громко, как будто находился при исполнении каких-то обязанностей. Мне привелось узнать его тайны: он выбалтывал их во сне. Я знал, что он убил отца, но я не знал, что образ убитого не дает ему покоя и является ему в его кошмарах. Началось с того, что я услышал сквозь сон страшные звуки, напоминавшие те, что преследовали меня по ночам в келье. Я слышал их, они мешали мне спать, но я все же еще окончательно не пробудился. Потом они сделались громче, разразились с удвоенной силой - я проснулся от того самого ужаса, который охватывал меня всегда, когда я давал волю воображению. Мне почудилось, что настоятель и вся братия преследуют нас с зажженными факелами в руках. Я почувствовал, что пламя касается моих глаз. "Пощадите мои глаза, не слепите меня, не сводите меня с ума!" - закричал я. Глухой голос над моим ухом пробормотал: "Покайся". Я поднял голову, уже окончательно проснувшись, это был всего-навсего голос моего спутника, который спал рядом, л вскочил на ноги и посмотрел на него. Он потягивался и ворочался на своем каменном ложе, точно на пуховой постели. Можно было подумать, что тело у него из алмаза. Ни острые выступы стены, ни вмятины и шероховатости твердого пола ничего для него не значили. Он мог спать, но его все время преследовали одни и те же сны. Мне много приходилось слышать и читать о том, какие ужасы переживают преступники перед смертью. В монастыре ходило немало подобных рассказов. Один из монахов, например, который прежде был священником, особенно любил рассказывать о том, как умирал один из его прихожан и свидетелем каких ужасов ему довелось стать. Он рассказывал, как уговаривал умирающего довериться ему и покаяться перед смертью в грехах, а тот преспокойно сидел в кровати.

- Хорошо, я согласен, - ответил он, - только пусть они сначала уйдут.

Монах, решив, что слова эти относятся к родным и друзьям, находившимся в комнате, попросил их всех выйти. После того как они ушли, он снова возобновил свои уговоры. В комнате никого, кроме них, не было. Монах настаивал на том, чтобы умирающий открыл ему свою тайну. Последовал тот же ответ:

- Хорошо, только пусть \_те\_ сначала уйдут.

- Те?

- Да, те, кого вы не видите и никак не можете выгнать вон. Велите им уйти, и я скажу вам всю правду.

- Так скажите ее сейчас, здесь нет никого, кроме нас двоих.

- Нет, есть, - ответил умирающий.

- Но я никого не вижу, - сказал монах, оглядываясь по сторонам,

- Но зато я их вижу, - упорствовал несчастный, - и они видят меня; они ждут той минуты, когда душа будет расставаться с телом. Я вижу их, я их ощущаю, станьте по правую руку от меня.

Монах стал по другую сторону кресла.

- Нет, теперь они слева. Он вернулся на старое место.

- Теперь они опять справа.

Монах позвал детей и родных этого несчастного и велел им стать вокруг кровати. Они окружили его ложе.

- Ну вот, теперь они повсюду, - вскричал страдалец и испустил дух {1\* Факт, свидетелем которому я был сам.}.

Этот страшный рассказ припомнился мне во всех подробностях, а вместе с ним и многие другие. Я немало был наслышан об ужасе, который испытывает грешник на смертном одре, однако, несмотря на то что мне много о нем говорили, думаю, что он все же менее страшен, чем сны, которые снятся человеку с нечистой совестью. Я уже сказал, что вначале это было какое-то невнятное бормотание, однако вскоре я стал различать слова, напоминавшие мне обо всем том,

о чем мне хотелось бы позабыть, во всяком случае на то время, пока мы были вместе.

"Старик? - услышал я, - ну и хорошо, меньше будет крови. Седые волосы? Не беда, это он поседел от моих злодеяний, ему уже давно надо было бы вырвать их с корнями. Так, говоришь, совсем побелели? Ничего, ночью сегодня они окрасятся кровью, тогда-то уж они белыми не будут. Да, да, они подымутся дыбом в день Страшного суда и будут развеиваться по ветру, как знамя, свидетельствуя против меня. Он возглавит полчища, что будут посильнее, чем обыкновенные мученики, - полчища тех, кого убили их собственные дети. Не все ли равно, разобьют ли они отцу сердце или перережут ему горло? Насчет \_первого-то\_ я уж постарался как мог, а второе будет для него не так мучительно, я-то уж это знаю", - и он громко расхохотался, весь перекосясь и стал извиваться на своем каменном ложе.

Дрожа от охватившего меня невероятного ужаса, я пытался его разбудить. Я тряс его мускулистые руки, перевернул его сначала на спину, потом снова на живот, но разбудить его мне не удавалось. У меня было такое чувство, как будто я только укачиваю его в его каменной колыбели. "Кошелек, скорее, продолжал он, - я знаю, где он лежит, в кабинете, в ящике, только сначала кончай с ним. Что? Не можешь? Трусишь? Боишься его седин, его безмятежного сна! Выходит, ты не только негодяй, но вдобавок еще и дурак. Ну, раз так, то я все беру на себя, долго мне с ним возиться не придется, может, и он будет проклят, а мне так этого не миновать. Тсс! Как скрипят ступени лестницы, они-то не скажут ему, что это крадется к нему его собственный сын! Нет, не посмеют, каждый камень стены обличит их во лжи. Почему не смазали дверные петли? Надо, надо. Он крепко спит, о, сколько спокойствия в его лице! Это хорошо, чем он спокойнее, тем легче ему будет попасть на небо... Ну, ну, колено мое сдавило ему грудь... Где же нож?.. Где нож?.. Стоит ему только взглянуть на меня, и я пропал. Нож!.. Я трус... Как только он откроет глаза, я погиб. Нож! Проклятое воронье, как вы смели удрать, когда я схватил за горло отца? Вот оно, вот, вот!.., в крови по самую рукоять... в крови старика. Ищите же деньги, пока я вытираю лезвие. Нет, ничего не выходит, седые волосы смешались с кровью, эти волосы касались моих губ, когда он целовал меня в последний раз. Я был тогда мальчишкой... Ни за что на свете не согласился бы я тогда убить его, ну а теперь... кто я теперь? Ха-ха-ха! Пусть же Иуда похваляется теперь сколько хочет своими сребрениками... Он предал Спасителя, а я убил отца. Серебро за серебро и душа за душу. Только я-то повыгоднее продал свою; дурак он был, отдал за тридцать. Так кому же из нас придется жарче на вечном огне? Впрочем, это неважно, все равно я попробую...".

Он повторял много раз все эти ужасные слова. Я звал его, кричал, чтобы его разбудить. Наконец он проснулся, и раздавшийся вдруг смех его был таким же диким, как все, что он бормотал во сне.

- Так что же вы такое услышали? Что я убил его? Так вы же давно это знали. Вы доверились мне в этой проклятой истории, которая может обоим нам стоить жизни, а тут вы, оказывается, не можете вынести, как я разговариваю сам с собой, хоть говорил я только то, что вы уже знали раньше?

- Нет, вынести этого я не могу, - ответил я вне себя от ужаса, - нет, даже если бы это было нужно для того, чтобы удался наш побег, я все равно не в силах вынести еще одного такого часа. Пробыть здесь целый день в голоде, в сырости и во мраке и еще выслушивать бред такого... Не смотрите на меня с издевательской насмешкой, я все это знаю, один вид ваш приводит меня в содрогание. Только железная необходимость могла заставить меня связать мою судьбу с вашей, будь то даже на мгновение. \_Я прикован к вам\_... я должен терпеть вас, пока все не кончится, но не делайте эти минуты нестерпимыми для меня. Жизнь моя и свобода в ваших руках... должен добавить, что и разум мой тоже, при тех обстоятельствах, в которых мы с вами находимся... Мне не под силу вынести весь этот страшный бред. Если мне придется слушать его еще раз, то вы,

может быть, и выгашите меня из этих стен живым, но я сойду с ума от всех кошмаров, которые мозг мой не в силах вместить. Заклинаю вас, не спите больше! Пусть лучше я просижу возле вас весь этот несчастный день - день, мера которому не свет и радость, а мрак и мука... Я готов дрожать от холода, терпеть голод, лежать на этих жестких камнях, но я не могу выносить ваших снов: если вы опять уснете, мне придется будить вас, чтобы самому не сойти с ума. Тело мое становится все слабее, и поэтому я особенно озабочен тем, чтобы не повредиться умом. Не смотрите на меня с таким презрением. Я уступаю вам в силе, но отчаяние делает нас равными.

Когда я говорил это, голос мой отдавался у меня в ушах раскатами грома, глаза мои сверкали, и я это ощущал. Я понял, каким сильным делает человека страсть, и увидел, что ощущение это передалось и моему спутнику.

- Если только вы посмеете уснуть, - продолжал я тоном, который удивлял меня самого, - я сейчас же вас разбужу, я не дам вам ни минуты покоя. Мы будем бодрствовать оба. Весь этот длинный день мы должны и голодать и дрожать вместе. Я к этому себя приготовил. Я могу вынести все на свете, но только не разговор во сне человека, которому снится убитый им отец. Браните, проклиняйте, богохульствуйте, но только наяву, а спать вы у меня не будете!

Некоторое время он в удивлении смотрел на меня, казалось, не веря, что я способен быть таким настойчивым и властным. Но потом, когда, тараща глаза и позевывая, он убедился, что это действительно так, выражение лица его внезапно изменилось. Он словно впервые почувствовал во мне нечто родное. Всякое проявление ярости было, должно быть, сродни его сердцу и приносило ему успокоение. И вот в выражениях, от которых у меня холодела кровь, он поклялся, что после того, как он увидел во мне решимость, я стал нравиться ему больше.

- Я не буду спать, - добавил он, зевнув при этом так, что челюсти его разжались, точно у людоеда, который готовился справить свой пир. - Но только как же это мы продержимся без сна? Есть и пить нам нечего, чем же мы тогда займемся? - и он неторопливо разразился новым потоком ругательств. Потом он вдруг принялся петь. Но что это были за песни! Так как воспитывался я сначала дома, без товарищей и сверстников, а потом в монастыре, в большой строгости и никогда в жизни не слышал подобной распущенности и непотребства, то я стал уже думать, не сидит ли со мною рядом сам дьявол. Я умолял его перестать, но этот человек с такой легкостью переходил от самой омерзительной жестокости к самому безрассудному легкомыслию, от душераздирающего, исполненного невыразимого ужаса бреда к песням, которые звучали бы оскорбительно даже в доме терпимости, что я просто не знал, как мне поступить. Такого соединения противоположных качеств, такого противоестественного сочетания греховности и беспечности я не только никогда раньше не встречал, но даже и не мог себе представить. Начав с бреда об убитом отце, он теперь пел песни, от которых покраснела бы и потаскуха. До чего же, должно быть, я был еще не искушен в жизни, если не знал, что порок и бесчувственность часто поселяются в одном и том же доме и обоюдными усилиями его разрушают и что самый крепкий и нерушимый союз изо всех, что существуют на свете, - это союз между рукой, которая не остановится ни перед чем, и сердцем, которое ко всему равнодушно.

Дойдя до середины одной из самых своих непристойных песен, спутник мой вдруг умолк. Какое-то время он оглядывал стены вокруг, и сколь ни был слабым и тусклым проникавший в подземелье свет, все же я увидел, как лицо его омрачилось и приняло какое-то необычное выражение, но сказать ему об этом я не решился.

- А вы знаете, где мы находимся? - прошептал он.

- Отлично знаю: в монастырском склепе, где никто не может ни найти нас, ни нам помочь, без света, без пищи да, пожалуй, и без надежды.

- Ну да, последние жильцы этого склепа могли бы то же самое сказать о себе.

- Последние жильцы! Кто же это был?

- Могу рассказать вам, если вы только способны вынести.

- Не могу я этого вынести, - вскричал я, затыкая себе уши, - не хочу я этого слышать. Я уже по вашему виду чувствую, что это будет нечто ужасное.

- Это действительно была ужасная ночь, - сказал он, как бы невзначай вспоминая какие-то обстоятельства того, что произошло; тут он стал что-то бормотать себе под нос и больше ничего не сказал.

Я отодвинулся от него, насколько мне это позволяло помещение; уткнув голову в колени, я пытался вообще ни о чем не думать. До какого же душевного состояния должен прийти человек, если он начинает хотеть, чтобы у него не было души! Если он готов уподобиться "животным, которые погибают" {2}, и позабыть о преимуществах, дарованных человеку, которые, как видно, сводятся только к неотъемлемому праву на самое тяжкое страдание! Спать не было никакой возможности. Хотя сон, на первый взгляд, - только потребность человеческого тела, он всегда требует некоего участия души. Если мне перед этим и хотелось спать, то муки голода, которые сменились теперь нестерпимой тошнотой, не дали бы мне возможности уснуть. Трудно этому поверить, сэр, но тем не менее это так: среди всего сплетения физических и душевных страданий самым тягостным для меня была праздность, невозможность ничем себя занять, неизбежная в том печальном положении, в котором я находился. Обречь разумное существо, которое ощущает в себе способности и силу и горит желанием их применить, на полное бездействие; запретить ему делиться мыслями своими с другими или что-то узнавать самому - это значит придумать пытку, которая жестокостью своей смутила бы даже Фаларида {3}.

Все остальные страдания я с великим трудом, но переносил, это же было для меня нестерпимым; и, поверите ли, сэр, что после того как я боролся с ним целый час (а я считал часы), я встал и принялся умолять моего спутника рассказать ту историю, на которую он намекал и которая была связана со страшным местом, где мы находились. Этот жестокосердный человек неожиданно смягчился и внял моей просьбе, и хоть, по всей видимости, его крепкой натуре оказалось труднее, нежели мне, человеку более слабого сложения, перенести всю ночную борьбу и все дневные лишения, он стал припоминать подробности этой истории с каким-то мрачным рвением. Теперь-то он был в своей стихии. Он получил возможность напугать натуру слабую и смутить человека, не искушенного картинами преступлений. Этого ему было достаточно для начала.

- Мне вспоминается необыкновенная история, связанная с этим склепом, сказал он. - Сначала я даже удивился, отчего такими знакомыми мне показались и эта дверь, и эти своды. Я не сразу вспомнил; столько всего странного приходит в голову каждый день, что события, которые другому запомнились бы, вероятно, на всю жизнь, проплывают передо мной, как тени, а мысли обретают плоть. Событиями для меня становятся чувства - вы ведь знаете, почему я попал в этот проклятый монастырь, - ну, нечего дрожать и бледнеть, и без того вы достаточно бледны. Как бы то ни было, я очутился в монастыре и должен был подчиниться его дисциплине. А она предусматривала для чрезвычайных преступников так называемое чрезвычайное покаяние: это означало, что они должны не только безропотно переносить все унижения монастырской жизни и подчиняться всем ее строгостям, - а, к счастью для кающихся, в подобного рода развлечениях никогда не бывает недостатка - но и нечто другое: всякий раз, когда виновного подвергали какому-нибудь необычному наказанию, людям этим вменялось в обязанность быть его исполнителями или во всяком случае при нем присутствовать. Настоятель оказал мне честь, решив, что я как никто другой подхожу для подобного рода увеселений, и, может статься, он был прав. Я был наделен тем смирением, какое отличает праведников,

проходящих через испытания; мало того, я был убежден, что у меня есть все способности к делу, которое мне собирались поручить, и что они непременно проявятся, если их должным образом применить, монахи же заверили меня, что подходящий случай в монастыре представится скоро. Очень уж все это было соблазнительно. И подумайте только, в словах этих достойных людей не было ни малейшего преувеличения.

Случай представился через несколько дней после того, как мне выпало на долю счастье сделаться членом их милой общины, которую вы, разумеется, успели уже оценить по заслугам. Меня попросили завести дружбу с одним молодым монахом, который происходил из знатной семьи, совсем недавно принял обет и исполнял все свои обязанности с той неукоснительной точностью, которая наводила окружающих на подозрение, что сердце его где-то далеко. Я вскоре же понял, чего от меня хотят: приказав мне завязать с ним дружбу, меня обрекали тем самым на смертельную ненависть к нему. Дружеские отношения в монастырях всегда чреватые предательством: мы следим друг за другом, подозреваем, изводим один другого - и все это делается во имя любви к богу. Единственным преступлением, в котором подозревали юного монаха, было то, что в сердце его таится земная страсть. Как я уже сказал, он был сыном знатных родителей, которые (из страха, что он вступит в позорящий их брак, иначе говоря, женится на женщине низкого звания, которую он любил и которая могла бы сделать его счастливым в том смысле, в котором дураки - а они составляют добрую половину всего человечества - понимают счастье) принудили его стать монахом. Временами у него бывал совершенно убитый вид, временами же в глазах его вдруг загорался проблеск надежды, и монастырская община усматривала в этом злое предзнаменование. Что же в этом удивительного: надежда - это чужеродный цветок в монастырском саду, и она неизбежно возбуждает подозрение, ибо неизвестно, откуда она берется и для чего растет.

Спустя некоторое время в монастыре появился новый совсем еще юный послушник. С этого дня в нашем монахе произошла разительная перемена. Он и послушник сделались неразлучны - и в этом было что-то подозрительное. Я сразу же стал к ним приглядываться. Глаз наш становится особенно зорким, когда видит чужое несчастье и когда есть надежда это несчастье усугубить. Привязанность молодого монаха к послушнику все возрастала. В саду их всегда можно было встретить вместе: они вместе вдыхали аромат цветов, вместе поливали один и тот же кустик гвоздики, гуляли всегда обнявшись, а когда пели в хоре, то голоса их сливались воедино подобно клубам дымящегося ладана. В монастырской жизни нередко случается, что дружба переходит границы обычного. Но эта дружба слишком уж походила на любовь. Например, в псалмах, которые поет хор, иногда речь заходит о любви; так вот слова эти молодой монах и послушник всякий раз обращали друг к другу, и звучали они всегда так нежно, что нетрудно было угадать, какое чувство владеет обоими. Если на одного из них накладывалось какое-нибудь, пусть даже пустяшное взыскание, то другой тотчас же старался исполнить этот урок вместо него. Если же наступал какой-нибудь праздник и кому-нибудь из них приносили в келью подарки, то они неизменно оказывались потом в келье его друга. Это кое-что значило. Я догадался, что за этим скрывается тайна, которая им обоим приносит счастье и обрекает на тягостные страдания тех, кто от нее навек отчужден. Я стал присматриваться к ним все пристальнее и был вознагражден за свои усилия: я раскрыл их тайну, и теперь мне предстояло сообщить о ней и этим упрочить свое положение в обители. Вы даже не представляете себе, как много может значить раскрыть чью-то тайну в монастыре, в особенности же когда отпущение наших собственных грехов поставлено в зависимость от того, сколько грехов мы обнаружили в других.

Однажды вечером, когда молодой монах и послушник - предмет его обожания - находились в саду, первый сорвал с дерева персик и тут же передал своему другу. Тот взял, но движения его

показались мне странными: в них было что-то женственное. Молодой монах стал разрезать персик ножом; при этом нож соскользнул и слегка поцарапал его любимцу палец; надо было видеть, в какое волнение пришел монах: он тут же оторвал кусок своей рясы и перевязал им рану. Все это произошло у меня на глазах, и я сразу сделал из этого свои выводы; в тот же вечер я отправился к настоятелю. Вы легко можете себе представить, что за этим последовало. За молодыми людьми принялись следить вначале с большой осторожностью: оба они были очень предусмотрительны; во всяком случае, как ни пристально я за ними следил, первое время я ничего не мог обнаружить. Самое мучительное - это когда подозрительность наша полагается на собственные догадки, как на евангельскую истину, но ей при этом никак не удается заполнить какую-нибудь улику, пусть даже \_самую ничтожную\_, чтобы поверили и другие.

Однажды ночью, когда я по указанию настоятеля стал на свой пост в коридоре (где я охотно выстаивал час за часом - и так каждую ночь, совсем один, в холоде и во мраке, рассчитывая, что мне представится случай сделать и других такими же несчастными, каким был я сам), - однажды ночью мне показалось, что я услышал в коридоре чьи-то шаги. Я уже сказал, что было темно, и я мог только слышать их легкий шелест. Кто-то пробежал мимо, до меня донеслось чье-то прерывистое трепетное дыхание. Спустя несколько мгновений я услышал, как открылась одна из дверей, и я знал, что то была дверь в келью молодого монаха; я знал это, потому что мои долгие ночные бдения в полном мраке приучили меня отличать одну келью от другой, ибо из одной обычно доносились стоны, из другой - молитвы, из третьей - едва слышные вскрикивания во сне; слух мой был до того напряжен, что я мог сразу же с уверенностью сказать, что открылась именно \_та дверь\_, из-за которой за все это время, к моему огорчению, не донеслось ни единого звука. У меня была с собой маленькая цепочка, и я прикрепил ее к ручке этой двери и к ручке соседней так, что теперь уже нельзя было открыть изнутри ни ту ни другую. Сам же я побежал к настоятелю; до чего я гордился своим открытием, может представить себе только тот, кому случалось раскрывать монастырские тайны. Думаю, что и настоятель был тогда охвачен тем же сладостным волнением, что и я, ибо он не спал, а сидел у себя в келье вместе с теми \_четырьмя монахами\_, которых вы помните. (При воспоминании о них я содрогнулся).

Я сообщил им то, что узнал, причем рвение мое сделало меня столь многоречивым, что я не только пренебрег почтительным тоном, которым мне следовало обратиться к этим лицам, но вообще бормотал нечто невнятное. Однако они оказались настолько снисходительны ко мне, что не только простили мне это нарушение правил, за которое при других обстоятельствах я был бы строго наказан, но даже всякий раз, когда я запинаясь и прерывал свой рассказ, не давали мне этого почувствовать и проявляли поистине необыкновенные выдержку и терпение. Я понял, что значит приобрести вес в глазах настоятеля, и сполна насладился порочной радостью знающего себе цену соглядатая. Не теряя ни минуты, мы отправились в коридор, подошли к двери кельи, и я с торжеством показал им, что цепочка по-прежнему на месте и едва заметно колеблется: это означало, что несчастные пленники уже знают о нависшей над ними беде. Я снял цепочку, - как они, должно быть, затрепетали в этот миг! Настоятель и его подручные вошли в келью, а я им светил. Вы дрожите - почему? Я был преступен, и мне хотелось раскрыть чужое преступление, дабы смягчить этим свою вину, пусть даже только в глазах монастырской общины. Я ведь пограл всего-навсего сыновние чувства, они же поступились правилами приличия, и, разумеется, в глазах настоятеля и всей монастырской братии их вина оказывалась неизмеримо большей, нежели моя. К тому же я жаждал увидеть воочию несчастье, равное моему, а быть может, еще и большее, а любопытство это удовлетворить не так-то легко. Можно ведь и на самом деле превратиться в \_любителя чужих страданий\_. Мне довелось слышать о людях, которые пускались в путешествия по странам, где каждый день можно было видеть ужасные казни, - и все это только ради того, чтобы испытать то сильное ощущение, которое неизменно

доставляет человеку вид чужих страданий, начиная с трагедии, которую разыгрывают в театре, или зрелища аутодафе и кончая корчами самого ничтожного червяка, которому вы можете причинить страдание и чувствовать, что продлить его муки - в вашей власти. Это совсем особое чувство, от которого нам никогда не удастся освободиться, - упоение торжеством над теми, кого страдания поставили ниже нас, да и неудивительно: страдания всегда признак слабости, а мы гордимся тем, что сами мы неуязвимы. Гордился этим и я, когда мы ворвались в келью. Несчастные муж и жена сжимали друг друга в объятиях.

Можете себе представить что за этим последовало. Тут при всей моей неприязни к настоятелю приходится все же отдать ему должное. Для этого человека (разумеется, в силу воспитанных монастырской жизнью чувств и привычек) отношения полов были чем-то столь же непозволительным, как и отношения существ, принадлежащих к различным видам. Картина, представшая его глазам, привела его в такое негодование, как будто он сделался свидетелем чудовищной страсти павиана к готтентотке где-нибудь на мысе Доброй Надежды или еще более отвратительной страсти южноамериканской змеи к человеку {2\* См. Шарлевуа. История Парагвая {4}.}, когда ей удастся схватить его и обвиться вокруг своей жертвы. И вид двух человеческих существ, вопреки всем монастырским запретам дерзнувших любить друг друга, привел его в не меньший ужас, чем если бы он сделался свидетелем такой вот противоестественной связи. Если бы он увидел свившихся в клубок гадюк, союз которых порождает не любовь, а смертельная ненависть, он и то, вероятно, не выказал бы такого страха, и я верю, что чувство это было у него искренним. Сколь ни был он лицемерно строг ко всем в том, что касалось соблюдения монастырского устава, на этот раз с его стороны не было ни малейшего лицемерия. Любовь всю жизнь казалась ему греховной, причем даже тогда, когда она освящена таинством и носит название брака, как то заведено церковью. Но любовь в монастыре! О, нельзя даже вообразить, сколь велика была его ярость; и еще менее возможно представить себе, какого величия и какой небывалой силы может достигнуть подобная ярость, когда ее укрепляют твердые принципы и освящает религия. Как я наслаждался всем, что случилось! Я видел людей, торжеству которых я еще совсем недавно мог позавидовать, низведенными до того же положения, в котором был я, видел, что тайна их любви раскрыта, и раскрытие ее сделало из меня героя, который теперь восторжествовал над всеми. Я подкрадывался к их убежищу, я был несчастным изгоем, униженным и отверженным всеми, а в чем же состояло мое преступление? Ага, вы дрожите, ничего, с этим уже покончено. Могу только сказать, что меня на это толкнула нужда. А ведь это были два существа, перед которыми всего несколько месяцев назад я готов был стать на колени, как перед образами святых, к кому в минуты жгучего раскаяния я готов был прильнуть, как к рогам жертвенника, а теперь они принижены, как и я, и даже еще того больше. "Дети утра", как я называл их, терзаемый муками унижения, - как низко они пали! Я радовался, видя позор этих двух отступников - послушника и монаха, я радовался всеми глубинами моего растленного сердца негодованию настоятеля, я чувствовал, что все они - такие же люди, как и я. Я-то думал, что это ангелы, а оказалось, что это обыкновенные смертные. Оказалось, что, следя за каждым их движением, потакая их чувствам и действуя в их интересах или, напротив, служа моим собственным, уверив их, что я от всего ради них отрешился, я мог причинить другим не меньше горя, а себе - придумать не меньше дела, чем если бы я жил в миру. Перерезать горло отцу - это был, разумеется, благородный поступок (прошу прощения, я вовсе не хотел, чтобы вы опять застонали), но тут надо было резать по живому человеческие сердца, добираться до самой сердцевины их, ковырять их день ото дня и с утра до вечера, и я никогда не сидел без дела.

Тут он отер со лба пот, перевел дыхание, а потом сказал:

- Мне не очень-то хочется вдаваться во все подробности плана, которым тешили себя эти несчастные, рассчитывая бежать из монастыря. Достаточно сказать, что я был главным его

исполнителем, что настоятель потворствовал этому, что я провел их по тем самым переходам, по которым мы с вами сегодня шли, что они дрожали от страха и благословляли меня на каждом шагу... что...

- Довольно, негодяй! - вскричал я, - ты шаг за шагом прослеживаешь сегодня мой путь.

- Так что же! - вскричал он и разразился своим неистовым смехом, - вы думаете, что я так же предам и вас; ну а если бы я на самом деле задумал такое, какой толк во всех ваших подозрениях: вы же все равно в моей власти? Голос мой может мигом созвать сюда половину всей монастырской братии, и вас сию же минуту схватят, руки мои могут прижать вас к этой стене, а там эти злые псы по первому моему свистку вонзят вам в тело свои клыки. И вряд ли они покажутся вам тупее, чем они есть, оттого что их так долго выдерживали в святой воде.

Он заключил эти слова новым взрывом смеха, будто исторгнутого из груди самого дьявола.

- Я знаю, я в вашей власти, - ответил я, - и если бы я доверился вашему сердцу, то мне лучше было бы сразу разбить голову об эти каменные стены: они, должно быть, все же не так жестки, как оно. Но я знаю, что вы сами в какой-то степени заинтересованы в моем побеге, и я доверяюсь вам просто потому, что другого мне ничего не остается. Пусть даже кровь во мне, остывшая уже от голода и непомерного измождения, замерзает капля за каплей, пока я слушаю вас, все равно я должен вас слушать и должен доверить вам и жизнь свою и освобождение. Я говорю с вами с той мерзкой откровенностью, которой наше положение меня научило; я ненавижу вас, я вас боюсь. Если бы нам случилось встретиться с вами где-нибудь в мирской жизни, отвращение мое и ненависть к вам заставили бы меня убежать от вас куда-нибудь подальше, а здесь вот обоюдное горе привело к тому, что из самых противоположных субстанций создалась эта противоестественная смесь. Но этой алхимии придет конец, как только я убегу - из монастыря и от вас; и, однако, в эти вот злополучные часы жизнь моя в такой же мере зависит от ваших действий и от вашего присутствия, в какой моя способность вынести то и другое зависит от продолжения вашего отвратительного рассказа. Итак, продолжайте. Давайте будем пробиваться вперед до конца этого ужасного дня. Дня! О каком дне можно говорить здесь, где свет и мрак так крепко держатся за руки и разъединить их нельзя! Будем же пробиваться сквозь все в злобе и ненавядя друг друга {5}, а когда это кончится, разойдемся с проклятиями на устах.

Произнося эти слова, сэра, я ощущал \_весь ужас той беззастенчивости во вражде\_, на которую самые худшие обстоятельства вынуждают самых худших людей, и я думаю о том, может ли быть положение более ужасное, чем то, когда мы бываем связаны один с другим не любовью, а ненавистью, когда дорогой мы на каждом шагу приставляем к груди нашего спутника и говорим: "Если ты хоть на миг замешкаешь, я вонжу его тебе в сердце. Я ненавижу тебя, я тебя боюсь, но мне приходится выносить твое присутствие". Меня удивляло, хоть это, вероятно, не удивило бы тех, кто изучает человеческую натуру, что по мере того, как я становился все более злобным, что вообще-то говоря никак не могло соответствовать тому положению, в котором я находился, и вызвано было скорее всего доводившими меня до безумия отчаянием и голодом, мой спутник начинал относиться ко мне все более уважительно. Он долгое время молчал, а потом спросил, может ли он продолжать свой рассказ. Я не мог произнести ни слова в ответ: малейшего напряжения было достаточно, чтобы у меня опять начинала кружиться голова от неодолимого голода; и лишь едва заметным движением руки я сделал ему знак продолжать.

- Их привели сюда, - продолжал он, - это была моя мысль, и настоятель ее одобрил. Самого его при этом не было, но ему достаточно было кивнуть головой в знак согласия. Это я должен был осуществить их воображаемый побег; они поверили, что совершают его с ведома настоятеля. Я провел их по тем самым переходам, по которым мы с вами шли у меня был с собою план этого подземелья, но когда я стал пробираться по нему, кровь в моих жилах похолодела и мне уже



больше не удавалось ее разогреть: я ведь знал, какая участь ждет тех, кого я веду за собою. Сославшись на то, что мне надо снять нагар со светильника, я повернул его в их сторону, и мне удалось взглянуть на эти доверчивые существа. Они обнимали друг друга, в глазах у них сияла радость. Они перешептывались между собою, и в словах их была надежда на освобождение и счастье: они молились друг за друга, а в промежутках молились и за меня. При виде их остатки раскаяния, которые еще теплились во мне, окончательно погасли. Они посмели быть счастливыми на глазах у того, кто обречен оставаться несчастным до скончания века, - можно ли было нанести человеку более горькую обиду? Я решил сразу же за нее отплатить. Стены эти были уже близко, я знал это, и рука моя больше не дрожала над планом, на который был нанесен весь путь наших подземных странствий. Я велел им побыть в этом помещении (дверь тогда была еще цела), сказав, что тем временем осматриваю, каким путем нам лучше всего будет следовать дальше. Они зашли туда и стали благодарить меня за то, что я был так предусмотрителен, - они не знали, что больше уже не выйдут отсюда живыми. Но что могли значить их жизни в сравнении с той мукой, которую я испытывал, видя, как они счастливы? Когда они были уже внутри и обняли друг друга (а увидев это, я заскрежетал зубами), я закрыл и запер за ними дверь. Мой поступок несколько их не беспокоил: они сочли, что это не более чем мера, предосторожности со стороны друга. Убедившись, что дверь на замке, я побежал к настоятелю, который все еще был разъярен оскорблением, нанесенным святой обители и в еще большей степени его благородным чувствам, которыми почтенный священнослужитель очень кичился, хотя в действительности ни в малейшей степени ими не обладал. Он спустился вместе со мной в подземелье; монахи последовали за нами, глаза их горели гневом. Они были в такой ярости, что едва могли отыскать дверь: мне пришлось несколько раз их к ней подводить.

Настоятель собственными руками заколотил в дверь несколько гвоздей, которые ему услужливо подали монахи, прибавив ее к косяку так, чтобы ее уже больше никогда нельзя было открыть; вне всякого сомнения, он был убежден, что с каждым ударом молотка ангел-обвинитель вычеркивал из списка какой-нибудь из его грехов. Вскоре дверь была заколочена наглухо. Услыхав шаги в коридоре и удары в дверь, несчастные жертвы испустили крик ужаса. Они решили, что их выследили и что теперь разгневанные монахи хотят выломать дверь. Но едва только они обнаружили, что дверь заколотили, и услышали, как потом удалялись и стихали наши шаги, как опасения эти уступили место другим, более страшным. Еще раз я услышал их крик. О, сколько в нем теперь было отчаяния! Они уже знали, на какую участь их обрекли.

Это было моим послушанием (нет, - моим наслаждением) присматривать за этой дверью якобы для того, чтобы исключить для них всякую возможность побега (они-то знали, что такой возможности нет); но в действительности дело было не только в том, что на меня возлагалась постыдная обязанность быть монастырским тюремщиком; я должен был еще приложить все силы, чтобы сердце во мне очерствело, нервы притупились, чтобы глаза привыкали на все смотреть равнодушно, а уши - столь же равнодушно все слышать, - для новой моей должности все это было необходимо. Но они могли бы избавить себя от лишних трудов: все эти качества были у меня еще задолго до того, как я попал в монастырь. Если бы даже меня сделали его настоятелем, я бы все равно нашел время присматривать за этой дверью. Вы скажете, что это жестокость, а по-моему, это любопытство - то самое любопытство, которое делает тысячи людей зрителями трагедии и заставляет самых нежных женщин наслаждаться иступленными стопами и предсмертными корчами. У меня было одно преимущество перед ними: и стоны и муки, которыми я наслаждался, были настоящими. Я стал на свой пост у двери - у той двери, на которой, как на вратах Дантова ада, можно было бы написать: "Оставь надежду навсегда!" {6}, я стоял там, потешаясь над своим послушанием и испытывая истинное наслаждение от того, что эти несчастные претерпевали у меня на глазах. До слуха моего доносилось каждое их слово.

Первые часы они еще старались как-то друг друга утешить, они ободряли друг друга надеждой на освобождение, и когда моя тень, пересекая порог, загоразивала свет, а потом снова открывала ему доступ, они говорили: "Это он"; когда же это движение возобновлялось и они видели, что оно ни к чему не приводит, они сокрушенно шептали: "Нет, это не он", и каждый старался подавить в себе рыдание, чтобы другой ничего не заметил.

Вечером пришел монах, который должен был меня сменить, и принес мне еду. Я бы ни за что на свете не согласился уйти оттуда сам; мне, однако, удалось договориться с этим монахом: я сказал ему, что хочу продлить свое послушание и решил остаться там на всю ночь с разрешения настоятеля. Он обрадовался, что так легко ему отыскалась замена, а я был рад принесенной им еде, ибо успел уже проголодаться; что же касается души моей, то для нее я готовил другую, более сладостную поживу. Поедая принесенную мне пищу, я упивался с недавним их голодом, о котором они, однако, ни словом не обмолвились в своем разговоре. Они о чем-то спорили, о чем-то размышляли и, так как человек в беде становится изобретательным и старается поддержать в себе дух, под конец стали уверять друг друга, что не может быть, чтобы настоятель запер их там и обрек на голодную смерть. При этих словах я не мог удержаться от смеха. Они услышали этот смех и тут же умолкли. Всю ночь, однако, до меня доносились их тяжелые вздохи, то были вздохи, вызванные физическим страданием, перед которыми все вздохи самых страстных влюбленных просто ничто. Они продолжались всю ночь. Мне доводилось когда-то читать французские романы со всей их невообразимой чепухой. Сама госпожа Севинье признается {7}, что ей было бы скучно долгое время путешествовать вдвоем с дочерью, но возьмите двух любовников и посадите их в тюрьму, где у них не будет ни еды, ни света, ни надежды, - и да буду я проклят (что, впрочем, уже свершилось), если они не опротивеют друг другу в первые же двенадцать часов.

На следующий день холод и мрак возымели свое действие, да иначе и быть не могло. Узники принялись кричать, моля, чтобы их освободили, и стучали в тюремную дверь - громко и долго. Они восклицали, что готовы подвергнуться любому наказанию. Накануне еще они больше всего боялись, что придут монахи, теперь они на коленях призывали их к себе. Какой насмешкой над человеком оборачиваются самые страшные превратности его жизни! Они молили теперь о том, чего всего сутки назад хотели избежать любой ценой. Потом голод стал мучить их все сильнее, они отошли от двери и стали ползать по полу поодаль друг от друга. \_Поодаль!\_ Как я подстерегал этот миг! Немного понадобилось времени, чтобы их разделила вражда. О, какое это было для меня наслаждение! Он не могли скрыть друг от друга всей мерзости одолевавшего их обоих страдания. Одно дело, когда любовники восседают на роскошном пиршестве, и другое - когда они валяются во мраке, обуреваемые голодом - чувством, таким непохожим на тот аппетит, который приходится возбуждать всяческими приправами; даже сошедшую с неба Венеру голод может заставить отдаться за кусок хлеба. На вторую ночь они бредили и стонали (как то уже случалось), но в разгаре всех этих мук (надо отдать справедливость женщинам, которых я ненавижу так же, как и мужчин) муж часто обвинял жену в том, что она виновница всех их страданий, жена же ни разу его ни в чем не упрекнула. Стоны ее, правда, могли стать ему горьким упреком, но за все время она не произнесла ни единого слова, которое могло бы причинить ему боль.

Однако в проявлениях их чувств произошла перемена, которая не укрылась от моих глаз. Первый день они льнули друг к другу, и в каждом их движении можно было ощутить, что оба они составляют нечто единое. На другой день мужчина боролся за жизнь уже один, женщина только беспомощно стонала. На третью ночь - можно ли это все рассказать?.. Но ведь вы же сами просили, чтобы я продолжал, - они прошли сквозь исполненную ужаса и отвращения пытку - пытку голодом; она постепенно разрывала все связующие их нити - любви, страсти,

добросердечия. Обуреваемые муками, они возненавидели друг друга, они, верно, стали бы осыпать друг друга проклятиями, если бы у них хватило на это сил. На четвертую ночь я услышал отчаянный крик женщины: любовник ее, не помня себя от голода, впился зубами ей в плечо; лоно, на котором он столько раз вкушал наслаждение, превратилось теперь для него в кусок мяса.

- Ты еще смеешься! Чудовище!

- Да, я смеюсь над всем человечеством и над тем обманом, на который пускаются люди, когда разглагольствуют о сердце. Я смеюсь над человеческими страстями и человеческими заботами, над добродетелью и пороком, над верою и неверием; все это порождение мелких предрассудков, ложных положений, в которые попадает порой человек. Испытанный хотя бы раз голод, строгий отрывистый урок, который мы слышим из бледных и сморщенных губ нужды, стоит всей логики несчастных пустозвонов, которые самодовольно болтали об этом, от Зенона до Бургерсдиция {8}. О, за один миг он затыкает рот всей жалкой софистике, этой надуманной жизни с ее обескровленными чувствами. Если бы даже весь мир стал на колени и принялся уверять эту пару, что они способны жить друг без друга, и ангелы опустили бы с неба и говорили о том же, они бы все равно не поверили. Эти двое поставили на карту все, они попрали и человеческие, и божеские законы, чтобы заключить друг друга в объятия, чтобы смотреть друг другу в глаза. Достаточно было им проголодать несколько часов, чтобы они увидели, как они заблуждались. Самая обыденная потребность, на которую в другое время они посмотрели бы как на непрошенного пришельца, задумавшего оторвать их от высоких чувств, с которыми они тянулись друг к другу, не только порвала эту связь навеки, но еще до того, как она порвалась, сделала отношения их источником муки и вражды, какие даже невозможно себе представить, разве что среди людоедов. Самые заклятые враги на земле и те, должно быть, не могли смотреть друг на друга с большим отвращением, чем эти любовники. Несчастные, как вы обманулись друг в друге! Вы кичились тем, что у вас есть сердце, а я кичусь тем, что у меня его нет, - жизнь покажет, кто из нас будет смеяться последним.

Рассказ мой подходит к концу, да и день, я надеюсь, тоже. Когда я находился в этих стенах последний раз, здесь было нечто такое, что меня привлекало. Как жалки сейчас все слова в сравнении с тем, что я видел здесь собственными глазами! На шестой день все стихло. Дверь расколотили, мы вошли - они были мертвы. Они лежали далеко друг от друга и совсем не так, как на ложе сладострастия, в которое они столь самозабвенно превратили жесткую монастырскую постель. Она вся съежилась, забив себе в рот длинную прядь волос. На плече у нее была видна небольшая царапина: исступленный голод остановился на этом. Он вытянулся во весь рост, одна рука у него была зажата губами, словно у него не хватило сил совершить задуманное. Тела их были вынесены для погребения. Когда мы их вытаскивали на свет, длинные волосы раскинулись по лицу женщины, которую монашеская одежда еще так недавно делала похожей на юношу; лицо это показалось мне знакомым. Я взгляделся в него пристальнее - это была моя родная сестра, моя единственная сестра, значит, это ее голос я слышал там. Это он становился все слабее и слабее... Я слышал...

Тут его голос сделался тише, и он умолк.

В страхе за его жизнь, с которой была связана моя собственная, я шатаясь потянулся к нему. Охватив его обеими руками, я немного приподнял его и, вспомнив, что возле люка проходит струя свежего воздуха, попытался подтащить его туда. Мне это удалось, и, ощутив эту свежую струю, я, к радости моей, увидел, что проникавший в щель свет потускнел. Наступил вечер - теперь уже нельзя было мешкать, надо было пользоваться каждой минутой. Он пришел в себя, обморок его, как выяснилось, был вызван не потрясением, а просто слабостью. Что бы там ни было, мне важно было дожидаться, когда он придет в себя; однако, если бы я был приучен

наблюдать те удивительные превратности, которые претерпевает человеческая душа, меня бы поразила перемена, которая произошла в моем спутнике, когда он очнулся. Ни словом не обмолвившись ни о том, что он мне только что рассказал, ни о собственных чувствах, он вырвался из моих рук, как только увидел, что уже темно, и стал готовиться к побегу через люк - с удвоенным усердием и такой трезвостью ума, которая в монастыре показалась бы настоящим чудом. Но так как мы находились на целых тридцать футов ниже того уровня, на котором творятся чудеса, то все это приходится приписать сильному нервному возбуждению. Да, впрочем, я и не дерзал помышлять о том, что для успеха моего нечестивого предприятия могло быть сотворено чудо, и поэтому охотно примирился с мыслью, что причины этого могли быть иными. С необычайной ловкостью спутник мой взобрался на стену, для чего ему пришлось стать мне на плечи, а потом карабкаться по выступам неровных камней стены, отворил люк, сообщил мне, что все в порядке, а потом помог мне взобраться наверх за ним следом, и я, едва не задохнувшись от радости, вобрал в себя живительную струю.

Была темная ночь. И только когда подул легкий ветерок и ветви деревьев зашевелились, я смог отличить их от недвижных каменных стен. Я уверен, что именно этому мраку я обязан тем, что от пережитого мною потрясения я не рехнулся. Если бы после тьмы подземелья, после голода и холода, испытанных там, внизу, я оказался бы в лучах сияющей луны, свет ее неминуемо свел бы меня с ума. Я бы, верно, принялся плакать, смеяться, упал бы на колени, превратился бы в идолопоклонника. Я бы стал поклоняться сияющему солнцу и луне, что величественно шествует по небу {9}. Лучшим прибежищем для меня во всех смыслах этого слова была теперь тьма. Мы прошли через сад, не чувствуя под собою ног от волнения. Когда мы очутились у ограды, мне снова сделалось дурно, голова закружилась, я зашатался.

- Что это, в окнах монастыря свет? - шепотом спросил я у своего спутника.

- Нет, это свет твоих же собственных глаз; все это действие темноты, голода и страха. Идем!

- Но я слышу, как звонят в колокол.

- Это только звенит у тебя в ушах, звонарь твой - пустой желудок, а тебе чудится, что звонят в колокол. Время ли сейчас мешкать? Идем, идем! Не вешайся так всей тяжестью мне на руку, не падай, если только можешь. Боже мой, он без чувств!

То были последние слова, которые я услышал. Он, должно быть, успел подхватить меня. Движимый инстинктом, который благодетельнее всего действует в отсутствие мысли и чувства, он подтащил меня своими мускулистыми руками к стене и притиснул мои похолодевшие пальцы к ступенькам веревочной лестницы. От прикосновения этого я сразу пришел в себя; не успел я ощутить руками веревку, как ноги мои стали переступать уже со ступеньки на ступеньку. Спутник мой, не медля ни минуты, последовал за мной. Мы добрались до самого верха. Меня шатало от слабости и от страха. Я насмерть испугался, что, хотя лестница и припасена, Хуана там вдруг не окажется. Спустя несколько мгновений свет фонаря ударил мне прямо в лицо. Я заметил чью-то фигуру внизу. В эту критическую минуту я беспечно соскочил вниз, не задумываясь о том, что меня встретит - объятия ли брата или кинжал убийцы.

- Алонсо, дорогой мой Алонсо, - прошептал голос рядом.

- Хуан, милый Хуан, - мог я только ответить, прижимаясь грудью к груди самого любящего, самого преданного из братьев.

- Сколько тебе пришлось выстрадать, сколько всего выстрадал я, - прошептал он, - за эти ужасные сутки, я уже почти потерял надежду тебя спасти. Торопись, карета шагах в двадцати.

Пока он говорил, повернутый фонарь осветил его мужественные и благородные черты, которых я когда-то боялся, считая их знаком того, что он всегда и во всем меня превзойдет. Но в эту минуту я видел в них улыбку гордого, но благосклонного ко мне божества, которое должно было сделать меня свободным. Я указал на своего спутника; говорить я не мог, от голода внутри

у меня все онемело. Хуан поддержал меня, успокоил, ободрил; он сделал все и еще больше того, что один человек мог сделать для другого, а может быть, даже и больше, чем мужчина мог бы сделать для оказавшейся под его покровительством женщины, самой хрупкой и самой незащитной. О, сердце у меня обливается кровью, когда я вспоминаю его мужественную нежность! Мы ждали моего спутника - он в это время спускался по веревочной лестнице.

- Торопись, торопись, - шептал Хуан, - я и сам-то изголодался. У меня целые сутки куска во рту не было, пока я здесь тебя сторожил.

Мы побежали бегом через пустырь. Вдали нас ждала карета - я разглядел во тьме тусклый свет фонаря, но для меня и этого было довольно. Я вспрыгнул в нее.

- \_Он в безопасности\_, - вскричал Хуан, устремляясь вслед за мной.

- \_А в безопасности ли ты сам\_? - прозвучал в ответ громовый голос. Хуан откинулся назад и упал с подножки кареты.

Я тут же выпрыгнул вон и сам упал, споткнувшись о его тело. Я весь вымок в его крови. Он был мертв.

Глава X

Те, что озлобились на всех

\* \* \*

Иль в горе отреклись от веры.

\* \* \*

В. Скотт. Мармион {1}

Память моя сохранила только одно мгновение неистовой боли, одну ослепительную вспышку пламени, которое охватило мне тело и душу, один звук, пронзивший и слух мой и мозг, подобно трубе Страшного суда, повергающей в трепет тех, кто, уснув, позабыл о своих грехах, а пробудившись, цепенеет от ужаса, - мгновение, перегнавшее все человеческие страдания, какие только можно вообразить, в одну недолгую жгучую муку и тут же истощившее себя чрезмерностью напряжения, - одно такое мгновение я помню, а больше уже ничего. Последовали долгие месяцы тягостного отупения, дни, похожие один на другой, не оставившие после себя никакого следа. Тысяча волн может обрушиться на потерпевшего кораблекрушение, но он ощутит их все, как одну. Смутно припоминаю, что я отказывался от пищи, сопротивлялся, когда меня куда-то перевозили, и, должно быть, немало всего другого; но все это было похоже на слабые и бесплодные попытки справиться с неодолимым кошмаром; для тех же, с кем мне приходилось тогда иметь дело, всякое сопротивление мое было всего-навсего тревожными вздрагиваниями человека, которому снится тяжелый сон.

Сопоставляя некоторые даты, мне впоследствии удалось установить, что в таком состоянии я пробыл тогда по меньшей мере четыре месяца; мирские мучители давно бы от меня отступились, решив, что им уже не удастся подвергнуть меня новым истязаниям; но озлобление лиц духовных настолько упорно и изобретательно, что они ни за что не оставят в покое свою жертву, пока в той еще теплится жизнь. Если даже перестало вспыхивать пламя, они еще долго не спускают глаз с кучки пепла. Если они слышат, что струны гибнущего сердца одна за другой рвутся, они внимательно прислушиваются к их треску до тех пор, пока не порвется \_последняя\_. Они качаются на \_девятом валу\_ {2} и, тешась, глядят, как тот взвизгивает ввысь, а потом погребает с головою несчастного страдальца.

\* \* \* \* \*

За это время произошло немало перемен, однако я совершенно не замечал их. Может быть, мертвая тишина, окружавшая меня в \_последнем\_ моем прибежище, больше, нежели что-либо другое, способствовала тому, что рассудок ко мне вернулся. Отчетливо помню, как, очнувшись, я с полной ясностью в мыслях и чувствах стал взволнованно и пристально вглядываться в новую

для меня обстановку. Воспоминания нисколько меня не тревожили. Я ни разу не задал себе вопроса: "Как я попал сюда?" или "Какие страдания мне пришлось вынести, перед тем как меня сюда привезли?". Умственные способности возвращались ко мне медленно, подобно волнам надвигающегося прилива, и, на мое счастье, память вернулась последней, вначале же я довольствовался впечатлениями, которые приносили мне мои чувства. Не ждите от меня, сэр, никаких ужасов, которые описывают в романах, очень может быть, что жизнь, подобная моей, придется не по вкусу человеку разборчивому и изощренному, но истина, как она порой ни зловеща, вознаграждает нас сполна тем, что наместо воображаемого и смутного являет нам события действительной жизни.

Я увидел, что лежу в кровати вроде той, что была у меня в монастырской келье, однако само помещение нисколько на келью не походило. Оно было просторнее, и пол весь был застлан циновками. Не было ни распятия, ни изображений святых, ни чаши со святою водой. Вся обстановка состояла из кровати и грубого стола, на котором стоял зажженный светильник и сосуд с водою для умывания. Окна не было; железные бляшки на двери, отчетливо выделявшиеся при этом свете и выглядевшие особенно мрачно, говорили о том, что дверь эта наглухо заперта. Опершись на локоть, я приподнялся и осторожно оглядел все, что меня окружало, словно страшась, что самое ничтожное движение может рассеять чары и снова погрузить меня в темноту. В эту минуту воспоминание о том, что случилось, поразило меня вдруг как удар грома. Я закричал, и с этим криком как будто оборвалось все - и дыхание и жизнь; в крайнем изнеможении, новместе с тем сознавая уже то, что происходит вокруг, я откинулся назад на постель. За какой-нибудь миг я вспомнил все, что со мною было, причем прошлое ожило вдруг со всей яркостью настоящего - мой побег, мое спасение, мое отчаяние. Я ощущал объятия Хуана, теплоту его струившейся на меня крови. Я видел безысходную тоску у него в глазах, прежде чем они закрылись навеки, - тут я закричал еще раз, и такого крика, должно быть, никогда еще не слышали эти стены.

В ответ на этот крик дверь отворилась, и человек в одежде, которую мне до этого ни разу не доводилось видеть, подошел ко мне и знаками показал, что я должен соблюдать полную тишину. Приказание его было тем более убедительно, что сам он сообщил его без помощи голоса. Молча взирал я на его появление, я был в таком замешательстве, которое можно было принять за готовность повиноваться. Он удалился, и я стал раздумывать о том, где же я нахожусь. Может быть, в царстве мертвых? Или, быть может, в некоем подземном мире, обитатели которого немые и безгласны, где нет настоящего воздуха, для того чтобы звуки могли распространиться, нет и эха, которое бы их повторило, и стосковавшийся в этом безмолвии слух напрасно ждет самого для него сладостного - звука человеческого голоса? Сомнения мои рассеялись, когда служитель этот явился снова. Он положил на стол хлеб и кусочек мяса, поставил кружку с водою и знаками подзвал меня к себе и, когда (совершенно машинально) я подошел и сел к столу, \_шепотом сказал\_, что печальное состояние, в котором я все это время пребывал, не позволяло им осведомить меня о порядках этого дома, и ему пришлось поэтому все отложить; теперь, однако, он обязан предупредить меня, что я никогда не должен говорить громче, чем он говорит со мною, и что я имею возможность сказать все, что мне надо, таким же вот шепотом и меня услышат; больше того, он заявил, что крики, какие бы то ни было восклицания или даже \_чересчур громкий кашель\_ {1\* Точно установленный факт.} (который может быть истолкован как сигнал) будут рассматриваться как попытка нарушить установленный здесь строгий порядок и повлекут за собой суровое наказание. На мои вопросы, которые я повторял снова и снова: "Где я нахожусь? Что это за место и что это за таинственный порядок?", он шепотом ответил, что поставлен здесь для того, чтобы передавать приказания, а не для того, чтобы отвечать на вопросы. Сказав это, он удалился. Как ни странно выглядели все эти распоряжения, они были

высказаны голосом настолько решительным, твердым и к тому же \_привычным\_, что все это отнюдь не походило на какие-то местные измышления или временные меры, а напротив, было отмечено печатью некоей столь незыблемой и так давно уже сложившейся системы, что полное повиновение ей казалось делом само собой разумеющимся. Я кинулся в кровать и шептал про себя: "Где я?" до тех пор, пока сон не сковал мне веки.

Мне приходилось слышать, что первый сон человека, к которому возвращается рассудок, бывает очень глубоким. Но я спал беспокойно, меня одолевали тревожные сны. В одном из этих снов я видел себя снова в монастыре. Мне казалось, что я воспитанник и изучаю Вергилия. Я будто бы читаю то место во второй книге, где Энею во сне является Гектор, и тот, увидав его в страшном, обезображенном виде, произносит печальные слова:

Neu quantum mutatus ab illo!..

Quilbus ab oris, Hector expectate venis? \*

{\* ...Изменился в лице ты!

Так откуда же ты, Гектор наш долгожданный? {3} (лат.).}

Потом мне чудилось, что Гектором был Хуан, что тот же самый бледный, окровавленный призрак призывал меня бежать: "Neu fugel" {Убегай (лат.)}, а я тщетно пытался броситься за ним. О, сколь ужасно это смешение в нашей жизни яви и бреда, действительного и призрачного, сознательного и бессознательного, преследующее человека несчастного во всех его снах! Брат мой был Панфом {4}, и он бормотал:

Venit summa dies, et ineluctabile tempus \*

{\* День последний пришел, неминуемый срок наступает (лат.)}.

Должно быть, я плакал и боролся во сне. Я обращался к явившемуся мне видению то как к Хуану, то как к тени героя Трои. Наконец оно простонало жалобным стоном, тем Vox stridula {Пронзительным голосом (лат.)}, который мы слышим только во сне:

Proximus ardet Ucalegon \*

{\* Укалегона дом в огне {5} (лат.)}.

и я проснулся в ужасе от того, что пламя добирается до меня.

Просто невообразимо, сэр, что могут сотворить чувство наше и ум в часы, когда оба по всей видимости бездействуют; как звуки могут достичь нашего слуха, казалось бы неспособного в это время ничего воспринять, а предметы запечатлеваться в сознании, когда глаза ничего не видят; и насколько сильнее и страшнее самой ужасной яви те образы, что преследуют нас во сне! Я проснулся с ощущением, что яркое пламя касается моих глаз, но вместо этого увидел только бледное сияние свечи, которую держала еще более бледная рука действительно возле самых глаз. Рука эта исчезла, едва только я проснулся. Кто-то на мгновение заслонил от меня свечу, а потом подошел совсем близко ко мне и озарил ярким пламенем и меня, и - отцеубийцу, вместе с которым мы совершили побег из монастыря. В то же мгновение в памяти моей ожили последние проведенные с ним минуты.

- Выходит, мы свободны? - спросил я, вскакивая с постели.

- Тсс! Один из нас свободен, не говорите только так громко.

- Да, мне уже сказано об этом, только я не могу понять, для чего нужен этот таинственный шепот. Если я свободен, то скажите об этом прямо и скажите, остался ли Хуан в живых в ту ужасную минуту... что до меня, то ко мне только сейчас возвращается рассудок. Скажите, как себя чувствует Хуан?

- Великолепно! На всей земле ни один принц не возлежит под таким роскошным балдахином, вокруг мраморные колонны, развевающиеся знамена, а прямо над ним - склоненные опахала. Была там и музыка, только он как будто ее не слышал. Он лежал, простертый на золоте и бархате, но, как видно, не ощущал всей этой роскоши. Его похолодевшие

белые губы чуть искривились в улыбке в знак невыразимого презрения ко всему на свете, но ведь и при жизни-то он был человеком довольно гордым.

- При жизни! - вскричал я, - так, выходит, он умер.

- А как вы могли еще в этом сомневаться? Вы же ведь знали, кто нанес ему удар? Ни одна из моих жертв не стоила мне лишней секунды.

- Вы? Вы?

В глазах у меня разлилось море пламени и крови. Меня снова охватил порыв безумия, и помню только, как я разражался такими проклятиями, что если бы господь захотел воздать мне за них сполна, при всем своем могуществе он выбился бы из сил. Бред мой, может быть, продолжался бы и доле, до тех пор, пока разум окончательно бы не повредился, но раздавшийся вдруг неистовый смех все заглушил, и раскаты его прогремели громче извергнутых мною проклятий.

Услышав этот смех, я замолчал и пристально на него посмотрел, словно ожидая в эту минуту увидеть не его, а кого-то другого, но это был он.

- А вы еще мечтали, - вскричал он, - вы были настолько безрассудны, что мечтали обмануть монастырскую бдительность? Два юнца, один обезумевший от страха, а другой - от дерзости, и вы решили пойти против этой умопомрачительной системы, которая пустила корни в недра земли, а голову подняла к звездам? \_Вам\_ убежать из монастыря! \_Вам\_ справиться с силой, которая сама справилась не с одним государем! С силой, чье влияние безгранично, неопишимо и неведомо - даже тем, кому она оказывает услуги. Есть ведь дворцы такие огромные, что обитателям их порою до конца жизни не удастся заглянуть в иные из комнат. С силой, действие которой подобно ее девизу: "Едино и нераздельно". Дух Ватикана живет в самом захудалом испанском монастыре, а вы, несчастный червячок, прилепившийся к одному из колес этого огромного механизма, вообразили, что способны остановить его движение, не видя, что стоит только колесу повернуться, и оно вас раздавит.

Произнес он все это с такой быстротой, с такой силой, что, казалось, одно слово проглатывало другое, а я в это время пытался разобрать их, напрягая ум так, что усилия мои походили на прерывистое дыхание человека, которому долго не давали перевести дух, пытался понять их и не потерять нить его речи. Первой мыслью моей было - и это не так уж невероятно в моем положении, что говорит со мной кто-то другой, а вовсе не тот, с кем я бежал из монастыря, и, напрягая свои последние силы, я старался определить, так это или нет. Достаточно ведь будет задать ему несколько вопросов, но хватит ли у меня духу выговорить эти слова?

- Разве вы не помогали мне в моем побеге? Разве не вы были человеком, который... Что толкнуло вас на это предприятие, неудаче которого вы, как видно, радуетесь сейчас?

- Подкуп.

- Но вы же сами говорите, что вы меня предали, и хвастаетесь этим - что же вас побудило так поступить?

- Другой, более высокий подкуп. Брат ваш давал мне золото, а монастырь обещал мне спасение души, и мне очень хотелось, чтобы этим делом занимались монахи, сам-то я совершенно не знал, с какой стороны к нему подступить.

- Спасение души! За предательство и убийство?

- Предательство и убийство... какие громкие слова. Уж если говорить правду, то разве с вашей стороны не было предательства, да еще похуже? Вы отреклись от своих обетов, перед богом и перед людьми вы объявили, что прежние ваши заверения - детский лепет; потом вы ввели брата вашего в соблазн пренебречь своим долгом перед родителями - его и вашими, вы потакали его замыслу, который нарушал покой монастырской братии и осквернял ее святыню. И



после этого у вас еще язык поворачивается говорить о предательстве? А разве в самих вас не омертвела совесть - случай беспремерный в такие юные годы! Замыслив побег, вы взяли себе в товарищи нет, не просто взяли, а ухватились за него - другого монаха, зная, что соблазните и его отречься от принятых им обетов - от всего, что свято чтут люди, и того, что бог (если только на свете есть бог), должно быть, считает непреложным законом для человека. Вы знали, какое преступление я совершил, знали, сколь отвратителен я сам, и, однако, вы сделали меня своим знаменем, когда восстали против Всевышнего. А ведь на этом знамени огненными буквами были начертаны слова: нечестие, отцеубийство, безбожие. Знамя это успело уже превратиться в лохмотья, но оно все еще висело в углу возле алтаря, а вы утащили его оттуда, чтобы накрыться им и спрятаться в нем от погони, - и вы еще смеете говорить о предательстве? Нет на свете более подлого предателя, чем вы сами. Пусть я был самым низким, самым преступным существом на земле, так неужели же вы должны были примешивать к замаравшей мои руки крови багровые сгустки вашего отступничества и святотатства? Вы говорите об убийстве - да, я знаю, что я отцеубийца. Я перерезал горло отцу, но он даже ничего не почувствовал; так же, как и я: в эту минуту я был опьянен вином, страстью, кровью - не все ли равно чем. Ну а вы? Хладнокровными, обдуманнами ударами вы разили отцовское и материнское сердце. Вы убивали их постепенно, а я - одним ударом: так кто же из нас двоих убийца? А вы еще болтаете о предательстве и пролитии крови. В сравнении с вами я невинен как дитя, только что появившееся на свет. Знайте же, родители ваши расстались: мать удалилась в монастырь, чтобы скрыть от людей отчаяние свое и позор, который вы навлекли на нее своим ужасным поступком, отец ваш бросается из одной бездны в другую, переходя от сладострастия к покаянию и чувствуя себя несчастным и в том и в другом; брат ваш, предприняв отчаянную попытку спасти вас, погиб сам. Вы принесли несчастье всей семье, вы лишили всех ваших близких покоя и поразили им сердца рукою, которая, не дрогнув, спокойно наносила каждому заранее обдуманный удар. И после всего у вас еще язык поворачивается говорить о предательстве и убийстве? Каким бы преступником вы меня ни считали, знайте, вы в тысячу раз преступнее меня. Я стою, как спаленное молнией дерево; меня поразили в самое сердце, в самый корень, я сохну - один. А вы, вы - это ядовитое дерево Упас {6}, от смертоносного сока его погибает все живое - отец, мать, брат и, наконец, вы сами: проступившие капли яда, если им не на кого устремиться, обращаются вовнутрь и добираются до вашего собственного сердца. Ну что ж, несчастный, осужденный всеми на свете, тот, кому не приходится ждать ни сочувствия от людей, ни искупления грехов от Спасителя, что вы на это скажете?

Вместо ответа я только снова спросил:

- Неужели Хуана нет в живых, и убийца его - это вы? Я верю всему, что вы говорите, я, должно быть, действительно совершил великое преступление, но неужели Хуан погиб?

Говоря это, я поднял на него глаза, которые, казалось, уже ничего не видели, лицо мое не выражало ничего, кроме оцепенения, какое приносит нам великое горе. Я уже был не в силах упрекать ни его, ни себя, страдания мои были так велики, что их нельзя было излить в жалобах или столах. Я ждал, пока он ответит; он молчал, но этим сатанинским молчанием было сказано все.

- А моя мать ушла в монастырь? Он кивнул головой.

- А мой отец?

Он усмехнулся. Я закрыл глаза. Я мог вынести все что угодно, но только не эту его усмешку.

Когда немного погодя я снова поднял голову, я увидел, как он привычным движением (у него это могло быть только привычкой) крестится, ибо где-то далеко в коридоре раздался бой часов. Глядя на него, я вспомнил пьесу, которую так часто давали в Мадриде и которую мне довелось увидеть в те немногие дни, когда я был на свободе, - "El diablo Predicador" {"Дьявол-

проповедник" {7} (исп.).}. Вы улыбаетесь, сэр, что в такую минуту я мог вспомнить об этом, но это действительно было так, и если бы вы видели эту пьесу при тех обстоятельствах, при которых довелось ее видеть мне, вы бы не удивились, что подобное совпадение меня поразило. Героем этой пьесы является дьявол; приняв обличье монаха, он проникает в монастырь, где терзает и преследует монашескую братию с поистине сатанинской смесью злобы и безудержного веселья. В тот вечер, когда я был на этом представлении, несколько монахов несли умирающему Святые дары; стены театра были настолько тонки, что зрители могли ясно слышать звон колокольчика, который при этом всегда раздается. И вот в один миг все - актеры, зрители и все прочие опустили на колени, и дьявол, который был в это время на сцене, последовал их примеру и стал креститься, выказывая отнюдь не свойственное ему благочестие, которое, однако, возвышающе действовало на душу. Согласитесь, что совпадение это было поистине поразительно.

Когда окончилась эта чудовищная профанация крестного знамения, я пристально на него посмотрел, и выражение моего лица было отнюдь не двусмысленным. Он понял, что оно означало. Молчание всегда бывает самым горьким упреком, оно заставляет преступника прислушаться к голосу собственной совести, а той всегда ведь есть что ему сказать и что служит отнюдь не к его утешению. Взгляд мой привел этого человека в бешенство, которого, - я в этом теперь убежден, - не могли бы вызвать даже самые горькие упреки. Самые неистовые проклятия сделались бы для слуха его сладчайшей музыкой; они явились бы лучшим доказательством того, что он сделал все что только мог, чтобы усугубить страдания своей жертвы. А теперь он бесился от ярости.

- О, вы, несчастный, - воскликнул он, - неужели вы думаете, что все это делалось ради ваших месс и этого маскарада, ваших ночных бдений и постов, ради того, чтобы бормотать слова молитв, перебирая бесчувственные и не способные принести утешения четки, ради того, чтобы проводить ночь без сна, дабы не проспять заутрени, а потом вылезать из холодной постели, чтобы пригвоздить колени мои к каменным плитам, так что они приросли к ним и потом, когда я вставал, мне бы казалось, что весь пол поднимается вместе со мной, - неужели вы думаете, что я делал все это ради того, чтобы выслушивать поучения, в которые сами проповедники не верили, которые перемежались с зевотой, и внимать молитвам, ровно ничего не значащим для повторявших их равнодушных монахов, - или, может быть, ради того, чтобы исполнить послушание, - для этого легко можно было нанять любого из братьев за фунт кофею или нюхательного табака, или же ради того, чтобы самым постыдным образом угождать прихотям и страстям настоятеля и общаться с людьми, которые то и дело поминают бога, в то время как на сердце у них одно мирское, - с теми, кто думает лишь о том, чтобы упрочить свое временное превосходство над другими и лицемерно скрыть под покровом напускного благочестия бешеное желание свое возвыситься на земле. Несчастный! Неужели ты думаешь, что я делал все ради этого? Что эта ханжеская и лишенная всякой веры мораль, которую испокон веков исповедуют священники, связавшие свою судьбу с государством в расчете на то, что эта связь умножит их доходы, - неужели все это могло иметь на меня какое-нибудь влияние? Еще до того, как я столкнулся с ними, я успел измерить все глубины человеческого порока. Я знал их - я их презирал. Тело мое склонялось перед ними, но душа отворачивалась от них. Под покровом благочестия сердца этих людей таили столько мирского, что не имело даже смысла выявлять, сколь лицемерны они были: все очень скоро раскрывалось само собой. Здесь не надо было совершать никаких открытий, здесь нечего было выслеживать. Я видел их в дни больших праздников - всех этих прелатов, аббатов и священников, на торжественных пышных службах: они появлялись перед мирянами, точно сошедшие с небес боги, сверкая золотом и драгоценными камнями среди блеска свечей и удивительного сияния, которое было разлито

вокруг, среди нежных сладостных звуков, реявших в воздухе, среди восхитительных благоуханий. И когда они исчезали в клубах ладана, воспарявшего из золоченых кадилниц, молящимся казалось, что люди эти возносятся в райские кущи. Так выглядела \_сцена\_, а что же было \_за кулисами\_? Я \_все это видел\_. Случалось, что двое или трое священников во время службы выходили в ризницу, якобы для того чтобы переодеться. Можно было ожидать, что у людей этих хватит совести воздержаться от посторонних разговоров, пока не окончится месса. Не тут-то было. Я подслушал их речи. Меняя ризы, они непрерывно говорили о повышениях и должностях, которые освободились или освободятся, ибо такой-то прелат умер или вот-вот умрет; о том, что можно занять доходное место; о том, что одному священнослужителю пришлось дорого заплатить за то, чтобы родственник его получил повышение; о том, что у другого есть все основания надеяться, что его сделают епископом, - и за что? Отнюдь не за его ученость или благочестие, или за какие-либо пастырские достоинства, а просто потому, что у него есть выгодные бенефиции, которые он сможет раздать многочисленным кандидатам. Такими были их разговоры, такими, и только такими - их мысли, пока грянувшее из церкви последнее "аллилуйя" не заставляло их подняться и поспешить на свои места в алтаре. О, какая это была смесь низости и гордости, глупости и важности, ханжества, такого прозрачного и неуклюжего, что из-под его покрова выпячивалась их подлинная суть, "плотская, чувственная, бесовская" {8}. Надо ли было жить среди подобных людей, которые, как я ни был порочен сам, заставляли меня утешаться мыслью, что я во всяком случае не похож на них, на этих бесчувственных гадов, на эти бездушные существа, состоящие наполовину из шелка и лоскутов, а наполовину из "ave" и "credo" {9}, распухших и отвратительных, ползущих понизу и устремляющихся ввысь, обвивающих подножье власть имущих и поднимающихся по нему каждый день на дюйм, облегчая себе путь к кардинальской мантии изворотливостью своей, выбором кривых путей и готовностью окунуться в вонючую грязь. Неужели это меня прельстило?

Он замолчал, задыхаясь от волнения.

Человек этот, вероятно, не был бы таким дурным, если бы жизнь его сложилась иначе; во всяком случае, он презирал в пороке все низкое и мелкое и был неистово жаден до чудовищного и жестокого.

- Неужели же ради этого, - продолжал он, - я продался им, приобщился к их темным делам, поступил в этой жизни как бы в ученичество к Сатане, стал учиться у него искусству пытки, заключил здесь Договор, исполнять который придется там, внизу? Нет, я презираю все это вместе взятое; я ненавижу их всех: и исполнителей, и самое систему, и людей, и все их дела. Таковы ведь их убеждения (а истинны они или ложны, это неважно, может быть даже, чем они лживее, тем лучше, ибо ложь во всяком случае льстит нам), что самый закоренелый преступник может искупить свои злодеяния, если будет бдительно выслеживать и жестоко наказывать грехи, совершаемые другими, отступившими от святой веры. Каждый грешник может купить себе прощение, если он согласится быть палачом, предав другого, написав на него донос. На языке законов другой страны это называется стать "свидетелем обвинения" и купить свою собственную жизнь ценой жизни другого - сделка, на которую каждый идет с величайшей охотой. Что же касается монашеской жизни, то там за этот способ подстановки, подмены одного страдания другим хватаются с неописуемой жадностью. Как мы любим наказывать тех, кого церковь называет врагами господ, памятуя при этом, что, хоть наша вина перед ним безмерно больше, мы выигрываем в его глазах, если соглашаемся истязать тех, кто, может быть, и не так преступен, как мы, но кто находится в нашей власти! Я ненавижу вас не потому, что на это есть какие-то естественные или общественные причины, а потому, что, если я изолю на вас мою злобу, может статься, Вседержитель умерит свой гнев и мне что-то простит. Если я преследую и истязую врагов божьих, то разве это не означает, что сам я друг божий? Разве каждое страдание,

которое я причиняю другому, не будет зачтено мне в книге Всевидящего как искупление по меньшей мере одной из мук, которые ожидают меня в будущей жизни? У меня нет религии, я не верю в бога, я не творю молитв, но у меня есть суеверный ужас перед тем, что ждет нас за гробом, ужас, который неистово и тщетно ищет успокоения в страданиях других, когда наши собственные исчерпаны или - что бывает гораздо чаще - нам просто не хочется им себя подвергать. Я убежден, что смогу загладить свое преступление, если толкну на преступление другого или сам стану палачом.

Судите же сами, не было ли у меня всех оснований, чтобы толкнуть вас на преступление? Всех оснований пристально следить за тем, какое наказание вы понесли, и постараться усугубить его? С каждым раскаленным углем, который я подбрасывал вам, становилось одним углем меньше на том огне, где мне суждено гореть вечно. Каждая капля воды, которой я не давал вам смочить пересохший язык, вернется ко мне, чтобы залить огонь и серу, в которые рано или поздно меня низвергнут. За каждую слезу, которую я заставлю вас пролить, за каждый стон, который я исторгну из вашей груди, мне - я в этом убежден - воздается тем, что будет меньше моих собственных слез и моих стонов! Подумайте только, сколь высоко я ценю как ваши стоны, так и стоны и слезы любой из моих жертв. Древняя история повествует о том, как человек содрогался, ошеломленный, над разрубленным на куски телом своего ребенка, как он пал духом и не нагнал убийцу {10}. Истинный христианин бросается к искалеченному телу ребенка, невозмутимо подбирает куски и, не дрогнув, приносит их богу как свою искупительную жертву. Я исповедую символ веры, выше которого нет на свете, непримиримую вражду ко всем существам, ценою чьих страданий я могу облегчить свои. Это соблазнительная теория: ваши преступления превращаются в мои добродетели. Своих мне теперь уже не надо. Хотя я и виновен в преступлении, оскорбляющем естество человека, ваши преступления (преступления тех, кто оскорбляет церковь) намного страшнее. Но ваша вина - это мое искупление, ваше страдание - мое торжество. Мне не приходится раскаиваться, не приходится жаловаться; если вы страдаете, то это значит, что я спасен, а мне больше ничего не надо. Какое это торжество и как легко оно достается: воздвигнуть трофеи нашего спасения на помянутых и похороненных надеждах другого! Как тонка и хитра та алхимия, которая способна превращать упрямство и нераскаянность другого в драгоценное золото вашего собственного спасения! Я, можно сказать, выковал \_себе\_ это спасение из \_вашего\_ страха, из \_вашей\_ дрожи.

В надежде на это я согласился стать исполнителем плана, придуманного вашим братом. По мере того как созревал этот план, я во всех подробностях докладывал о нем настоятелю. Окрыленный надеждой, я провел с вами эти злосчастные ночь и день в подземной тюрьме, ибо если бы мы стали приводить в исполнение наш план при свете дня, то даже такому простаку, каким оказались вы, это могло бы показаться подозрительным. Но все это время я ощущал спрятанный на груди кинжал, который не напрасно был мне вручен, - и, надо сказать, я отлично справился со своей задачей. Что до вас, то настоятель охотно согласился дать вам испытать побег из монастыря просто для того, чтобы еще больше подчинить вас своей власти. И он, и вся община устали от вас, они поняли, что монаха из вас никогда не получится; ваша жалоба навлекла на них немилость, присутствие ваше было для них живым упреком и их тяготило. Самый вид ваш был для них, что сучок в глазу, - и вот они решили, что из вас легче сделать жертву, нежели прозелита, и они рассудили правильно. Вы гораздо больше подходите для того места, где вы сейчас, чем для того, где вы перед этим были, отсюда-то вам уж никак не убежать.

- Так где же я?

- \_Вы в тюрьме Инквизиции\_.

Глава XI

О, пощадите, я во всем признаюсь.

Генрих VI

Вы предали ее, ей нет спасенья.

Комедия ошибок {1}

И это была правда - я сделался узником Инквизиции. Постигшая нас катастрофа способна пробудить в нашей душе дотоле неведомые нам чувства, и случилось, что порывы бури в открытом море могли выдержать люди, которые совсем еще недавно, услышав завывания ветра в печной трубе, не знали, куда деваться от страха. Так, должно быть, случилось и со мной: поднялась буря, и я вдруг ощутил в себе силы, чтобы выдержать ее натиск. Я попал в руки Инквизиции, но ведь я знал, что преступление мое, как оно ни ужасно, отнюдь не подлежит ведению суда Инквизиции. Это был все же монастырский проступок, и, как бы он ни был тяжок, наказывать за него могли только церковные власти. Монаха, который осмелился предпринять попытку побега из монастыря, могла постичь жестокая кара: его могли замуровать живым, могли казнить, однако ни по каким законам я не мог стать узником Инквизиции. Сколь тяжким испытаниям меня ни подвергали, я ни разу не обмолвился ни одним непочтительным словом о святой католической церкви, не высказал ни единого сомнения в догматах нашей святой веры, не позволил себе ни одного еретического, неприязненного или двусмысленного выражения касательно исполнения какого-нибудь из правил и не уклонился от послушания. Чудовищное обвинение в том, что я замешан в колдовстве и что в меня вселилась нечистая сила, возведенное на меня в монастыре, было полностью опровергнуто, когда туда приехал епископ. Правда, отвращение мое к монашеской жизни было хорошо известно и получило роковое подтверждение, но само по себе оно никогда не могло быть предметом расследования со стороны Инквизиции, и не она должна была меня за него наказывать. Словом, мне нечего было бояться Инквизиции, во всяком случае, так я говорил себе в тюрьме и сам в это твердо верил. На седьмой день после того, как я пришел в себя, был назначен допрос, и меня об этом известили, хотя такого рода извещения, насколько я знаю, отнюдь не в обычае Инквизиции. В назначенный день и час допрос начался.

Вы знаете, сэр, что все, что рассказывается о внутренней дисциплине Инквизиции, в девяти случаях из десяти сплошные выдумки, ибо узники ее связаны клятвой ни при каких обстоятельствах не разглашать того, что происходит в ее стенах; тот же, кто способен нарушить эту клятву, вряд ли остановится и перед искажением истины в части тех или иных подробностей искажением, которое становится понятным, коль скоро сама клятва уже нарушена. Что же касается меня, то я связал себя клятвенным обещанием, которое никогда не позволю себе нарушить; я поклялся, что не открою никому ни того, как я попал в эту тюрьму, ни того, каким допросам меня там подвергали. Мне позволено сообщить о том и о другом лишь в самых общих чертах, поелику обстоятельства эти неразрывно связаны со всем моим необыкновенным рассказом. Первый мой допрос закончился для меня довольно благоприятно: были высказаны сожаления и упреки по поводу моей непреклонной решимости и моего отвращения к монашеской жизни, однако от допрашивавших меня я не услышал никакого намека на что-либо другое, ничего такого, что могло бы пробудить ни с чем не сравнимый уже страх, который закрадывается в сердце того, кто томится в стенах тюрьмы Инквизиции. Поэтому я был так счастлив, как только может быть счастлив человек в одиночестве, во мраке, лежа на соломенной подстилке и питаясь одним только хлебом и водой, пока через четыре дня после моего первого допроса я не был вдруг среди ночи разбужен светом, настолько ярким, что я сразу же вскочил. Потом неизвестное мне лицо удалилось и унесло с собою светильник, и тогда я вдруг увидел, что в дальнем углу комнаты кто-то сидит.

Обрадовавшись, что наконец вижу перед собою человеческое существо, я вместе с тем настолько уже успел освоиться с методами Инквизиции, что невозмутимым и твердым голосом

спросил, кто это осмелился войти в мою келью. Очень мягким, вкрадчивым голосом незнакомец ответил, что он такой же заключенный, как и я, что он тоже является узником Инквизиции, что в виде особого снисхождения ему разрешили посетить меня и что у него есть надежда...

- А можно ли здесь вообще произносить слово "надежда"? - воскликнул я, не в силах сдержать себя.

Он ответил мне все тем же мягким, улещивающим тоном; не касаясь особых обстоятельств, в которых оба мы находились, он дал мне понять, что страдальцы, которым позволено встречаться и разговаривать друг с другом, могут находить утешение в этих спасительных встречах.

Человек этот приходил ко мне несколько ночей подряд; и я не мог не обратить внимание на три странных обстоятельства, связанных с его посещением и вообще с его видом. Первым из них было то, что он за все время ни разу не поднял на меня глаз; он садился то боком, то спиной ко мне, менял позу, переходил на новое место, прикрывал глаза рукою; когда же ему приходилось смотреть на меня или когда я неожиданно встречал его взгляд, я убеждался, что за всю жизнь ни разу не видел еще в человеческих глазах такого яркого блеска. Вокруг была такая тьма, что я постарался заслониться рукой от этого ослепительного света. Вторым не менее странным обстоятельством было то, что человек этот, по-видимому, совершенно беспрепятственно и без чьей-либо помощи проникал ко мне в камеру и столь же легко уходил оттуда; у меня было такое ощущение, что ему дали ключ от нее и что во всякое время дня и ночи он мог входить туда, что ему не нужны были никакие разрешения и что запретов для него тоже не существовало, что он совершенно запросто расхаживал по всем тюрьмам Инквизиции, имел доступ во все ее тайники. И, наконец, он не только говорил полным голосом и очень отчетливо, не в пример тому шепоту, который я слышал все время вокруг себя, но и резко осуждал всю систему Инквизиции и открыто высказывал негодование свое по поводу действий как самих инквизиторов, так и всех пособников их и приспешников, начиная со святого Доминика и кончая самым низшим из служителей. Все это говорилось с таким осуждением, с такой бешеной яростью, с такой язвительной иронией, которая, как видно, вошла у него в привычку, с такой необузданной свободой, с такой странной и вместе с тем оскорбительной суровостью, что я не находил себе места от страха.

Вы, должно быть, знаете, сэр, а если нет, то узнаете сейчас, что Инквизиция располагает \_особыми лицами\_, которым позволено утешать узников в их одиночестве при условии, что, завязав с ними дружеские отношения, те помогут выведать у них тайны, чего иногда не удастся сделать, даже пуская в ход пытку. Я сразу же установил, что мой посетитель не принадлежал к числу этих лиц: слишком явной была его враждебность ко всей системе, слишком непритворно его негодование. К тому же его непрерывным посещениям сопутствовало еще одно обстоятельство, и оно вселило в меня такой ужас, перед которым, казалось, бледнели все ужасы Инквизиции.

Он постоянно в рассказах своих намекал на какие-то события и на лиц, которые относились к временам столь давним, что никак нельзя было представить себе, что человек \_может все это помнить\_. Потом, словно спохватившись, он умолкал, после чего продолжал свой рассказ, только усмехнувшись своей \_рассеянности\_. Эти постоянные упоминания о давно минувших событиях и о людях, которых давным-давно уже нет в живых, производили на меня неопишимо странное впечатление. Рассказы его были яркими, разнообразными, свидетельствовали о его уме, но в них столь часто упоминались люди, давно уже умершие, что я невольно причислял к ним и своего собеседника. Он сообщал мне множество мелких исторических фактов, и, так как все это были вещи мне неизвестные, я слушал его с большим интересом: ведь говорил он только о том, что видел собственными глазами. Рассказывая о Реставрации в Англии, он повторял

известные слова королевы-матери, Генриетты Французской, что, знай она во время своего первого приезда английский язык так же хорошо, как и во время второго, ее никогда бы не свергли с престола {2}.

- Я стоял в эту минуту возле ее кареты, - к моему удивлению, добавлял он, - тогда это была \_единственная карета во всем\_ Лондоне {1\* Я где-то читал об этом, но сам этому не верю. Упоминание о каретах есть у Бомонта и Флетчера, а Батлер в своих "Посмертных сочинениях" говорит даже о "каретах со стеклами" {3}.}

Потом он начинал рассказывать о роскошных празднествах, которые устраивал Людовик XIV, и с поразительной точностью описывал великолепную колесницу, на которой восседал монарх, изображавший собою бога солнца {4}, в то время как титулованные сводники и потаскухи его двора следовали за ней, изображая собою толпу небожителей. Потом он переходил к смерти герцогини Орлеанской {5}, сестры Карла II, к грозной проповеди священника Бурдалу, произнесенной у смертного одра красавицы королевской крови, которая, как подозревали, была отравлена, и при этом говорил:

- Я видел множество роз у нее на будуарном столике, - они должны были в тот вечер украсить ее на балу, а рядом, прикрытые кружевами ее вечернего платья, стояли дароносица, свечи и миро.

Потом он переходил к Англии; он говорил о злосчастной, всеми осужденной гордости жены Иакова II {6}, которая сочла для себя "оскорбительным" сидеть за одним столом с ирландским офицером, сообщившим ее супругу (в то время еще герцогу Йоркскому), что в качестве офицера на австрийской службе он однажды сидел за столом, а в это время отец герцогини (герцог Моденский) стоял позади, ибо был всего-навсего вассалом германского императора.

Все это были известные вещи, и рассказать о них мог кто угодно, однако он описывал каждую самую ничтожную подробность настолько обстоятельно, что у вас создавалось впечатление, что он видел все это собственными глазами и даже разговаривал с лицами, о которых шла речь в его рассказе. Я слушал его с любопытством, к которому примешивался ужас.

Под конец, вспоминая один незначительный, но характерный случай, происшедший в царствование Людовика XIII, он рассказал его в следующих выражениях {2\* Случай этот рассказан, если не ошибаюсь, в "Еврейском шпионе"}. "Однажды вечером после празднества, где вместе с королем находился кардинал Ришелье {7}, последний, едва только объявили, что карета его величества подана, имел дерзость выбежать из дверей раньше самого короля. Его величество не выказал ни малейшего гнева по поводу подобной самонадеянности министра и с большим *bonhomie* {Добродушием (франц.)} сказал:

- Его высокопреосвященству, господину кардиналу, всюду хочется быть первым.

- Первым, чтобы служить вашему величеству, - не растерявшись и с удивительной учтивостью ответил кардинал и, выхватив факел из рук \_стоявшего рядом со мной\_ пажа, стал светить королю, который в это время сидел в карету".

Эти вдруг вырвавшиеся у него слова поразили меня, и я спросил: "А вы разве там были?".

Он не дал мне прямого ответа и сразу же переменял разговор, стараясь отвлечь мое внимание всякого рода забавными подробностями истории нравов этого времени, причем снова говорил с той удивительной точностью, от которой мне становилось \_не по себе\_. Должен сознаться, что удовольствие, которое он доставлял мне своими рассказами, было в значительной степени омрачено тем странным ощущением, которое я испытывал от присутствия этого человека и от разговора с ним. Он удалился, и я стал жалеть, что его нет со мной, хоть и не в состоянии был разобраться в том необыкновенном чувстве, которое овладевало мною, когда он сидел у меня.

Спустя несколько дней я был вызван для второго допроса. Накануне вечером меня посетил

одно из должностных лиц. Люди эти отнюдь не являются обычными тюремными надзирателями, они в известной степени облечены доверием высших властей Инквизиции, поэтому я с надлежащим почтением отнесся ко всему, что человек этот мне сообщил, тем более что сообщение это было сделано подробно и четко и в таких прямых выражениях, каких я никак не ожидал услышать из уст служителя этого безмолвного дома. Обстоятельство это насторожило меня, я стал ждать, что мне сообщат нечто чрезвычайное, и все сказанное им подтвердило мои ожидания, причем еще в большей степени, нежели я мог думать. Он без всяких обиняков сказал мне, что недавно произошло событие, давшее повод для волнения и тревоги, каких до этого времени Инквизиция никогда не знала. Было донесено, что в кельях некоторых узников появлялась неизвестная фигура, изрекавшая нечто враждебное не только католической религии и порядкам, установившимся в Святейшей Инквизиции, но и религии вообще, вере в бога и в загробную жизнь. Он добавил, что сколь ни были бдительны надзиратели, пытавшиеся выследить это странное существо и застать его в одной из келий, им это ни разу не удавалось, что численность стражи удвоена, что все меры предосторожности приняты, но что до сих пор эти действия не имели никакого успеха и что все сведения, которыми они располагают касательно этого странного посетителя, поступали к ним только от самих узников, в чьи кельи тот проникал и к кому обращался в выражениях, по-видимому заимствованных у Врага рода человеческого, для того чтобы окончательно погубить этих несчастных. Сам он до сих пор не принимал никакого участия в этих розысках, но он уверен, что те чрезвычайные меры, которые приняты в самые последние дни, не дадут больше этому посланцу нечистой силы оскорблять и позорить Святое судилище. Он посоветовал мне подготовиться к разговору об этом вторжении, ибо на ближайшем допросе моем о нем непременно пойдет речь и, может быть, даже допрашивающие меня будут более настойчивы, чем я могу ожидать. Сказав все это и поручив меня милости божьей, он удалился.

Я уже начинал понимать, о чем именно шла речь в услышанном мною необыкновенном сообщении, однако не догадывался еще о том, какое значение все это могло иметь для меня самого. Предстоящего следствия я ожидал не столько со страхом, сколько с надеждой. После обычных вопросов: Почему я здесь? Кто меня обвинил? В каком проступке? Не помню ли я, чтобы мне случилось произнести какие-нибудь слова, свидетельствующие о неуважении к догматам Пресвятой церкви? и т. п., и т. п., - после того, как все это было разобрано с множеством подробностей, от которых я могу вас избавить, мне были заданы другие вопросы, совершенно особого рода, косвенным образом связанные с появлением моего недавнего посетителя. Я ответил на них со всею искренностью, и она, как видно, привела в ужас моих судей. Отвечая им, я прямо сказал, что человек этот появлялся у меня в камере.

- Помните, что вы находитесь в келье, - сказал верховный судья.

- Так, значит, у меня в келье. Он отзывался очень непочтительно о Святой Инквизиции, он произносил слова, которые я не осмелился бы здесь повторить. Мне трудно было поверить, чтобы такому человеку могли разрешить посещать камеры (я оговорился, кельи) Святой Инквизиции.

Не успел я договорить, как один из судей весь затрясся в своем кресле (в это время тень его, непомерно удлинившаяся от игры неровного света, расползлась по противоположной стене в причудливую фигуру разбитого параличом гиганта). Он попытался задать мне какой-то вопрос, но из уст его вырвались только глухие невнятные звуки, глаза его выкатились из орбит: это был апоплексический удар, и он испустил дух прежде, чем его успели перенести в другую комнату.

Допрос тут же прервался, все были в смятении. Когда меня отпустили к себе в келью, я к ужасу моему сообразил, что произвел самое неблагоприятное впечатление на судей. Они истолковали рассказанный мною случай самым странным образом и совершенно неверно:



последствия этого я ощутил, когда меня вызвали второй раз.

В тот вечер один из судей Инквизиции пришел ко мне в келью и говорил со мною довольно долгое время очено сухо и строго. Он заявил, что я с первого же взгляда произвел на тех, кто меня допрашивал, отталкивающее, омерзительное впечатление, ибо я не кто иной, как монахотступник, который во время своего пребывания в монастыре был обвинен в колдовстве, который, предприняв нечестивую попытку бежать, сделался виновником смерти своего брата, ибо ввел его в соблазн сделаться сообщником этого побега, и не только поверг один из самых знатных домов Испании в отчаяние, но и навлек на него позор. Мне хотелось возразить ему, но он не дал мне ничего сказать и заметил, что пришел сюда не для того, чтобы слушать, а лишь для того, чтобы говорить. Затем он заявил, что, хотя после посещения монастыря епископом с меня и было снято обвинение в сношениях с Врагом рода человеческого, кое-что из того, в чем меня подозревали, получило неожиданное и грозное подтверждение: странное существо, о котором я достаточно хорошо осведомлен, ни разу не переступало порог тюрьмы Инквизиции, пока там не появился я. Напрашивался самый вероятный и, в сущности, единственный правильный вывод, что именно я и есть та жертва, которую избрал себе Враг рода человеческого, тот, кому хоть и вопреки воле, но все же с соизволения господина и святого Доминика (тут он перекрестился) было дано проникнуть в стены Святого судилища. В строгих, но ясных словах он предостерег меня против опасности того положения, в которое меня поставили всеобщие и, по его мнению, более нежели справедливые подозрения, и под конец заклинал меня, если я только хочу спасти свою душу, безраздельно довериться милости Святой палаты и, если пришелец посетит меня еще раз, внимательно прислушаться ко всему тому, что исторгнут его нечестивые уста, и слово в слово повторить это перед ее судом.

Когда инквизитор ушел, я стал раздумывать о смысле его слов. Мне показалось, что все это очень похоже на те заговоры, которые так часто устраивались в монастыре. Я усмотрел в этом некую попытку вовлечь меня в интриги, направленные против меня же самого, в предприятие, успех которого несомненно повлечет за собою мое осуждение, - я чувствовал, что мне следует быть до крайности осторожным и бдительным. Я знал, что я невиновен, а сознание собственной невиновности посягает на самую сущность Инквизиции, только надо сказать, что в стенах ее тюрем как сознание это, так и неповиновение, которое за ним следует, все равно ни к чему не приводят. В конце концов я все же решил, что начну очень пристально наблюдать за всем, что может произойти в стенах моей кельи, где мне одновременно угрожают и силы Инквизиции, и происки дьявола. И мне не пришлось долго ждать. На вторую же ночь после моего допроса неизвестный снова появился у меня в келье. Первым побуждением моим было громко позвать служителей Инквизиции. Но потом мной овладело какое-то мучительное сомнение: я не мог решить, отдать ли мне себя безраздельно во власть Инквизиции или вверить этому странному существу, может быть, еще более чудовищному, чем все инквизиторы мира - от Мадрида до Гоа {8}. Я боялся, что и в первом и во втором случае я могу оказаться жертвой обмана. Я понимал, что в распоряжении каждой из сторон были свои ужасы, которыми она старалась оглушить и запугать человека. Я не знал, ни чему верить, ни что думать. Я чувствовал только, что меня со всех сторон окружают враги, сердце мое было бы на стороне того, кто первый сбросил бы с себя маску и открыто объявил себя моим решительным и заклятым врагом. Пораздумав еще какое-то время, я решил, что лучше будет все же не доверяться Инквизиции и выслушать все, что захочет сказать мне мой зловеший гость. В глубине души я, однако, считал, что это - их тайный агент; я был очень к нему несправедлив. Во время второго его посещения разговор наш оказался еще более увлекательным, но вместе с тем он, вне всякого сомнения, подтвердил бы все подозрения инквизиторов. После каждой произнесенной им фразы мне хотелось побежать и позвать тюремную стражу. Затем мне представилось, как он превращается в обвинителя и

обличает меня для того, чтобы они меня осудили. Я содрогался при мысли, что могу выдать себя одним словом, находясь во власти этого страшного существа, которое способно осудить меня на смерть под пытками или, что еще того хуже, на медленное, томительное умирание от потери сил - от пустоты в душе и от изнурения тела, на гибель от одиночества, нескончаемого и безнадежного, - на то страшное извращение человеческих чувств, при которых человеку хочется избавиться от ненавистной ему жизни и найти облегчение в смерти.

Кончилось тем, что я стал слушать речи (если это вообще можно назвать речами) моего странного гостя, который чувствовал себя в стенах Инквизиции как у себя дома и сидел рядом со мной на жесткой скамье с таким же спокойствием, как если бы то было самое роскошное ложе, созданное когда-либо истым ценителем наслаждений. Я был в крайнем смятении, голова у меня шла кругом, и мне трудно сейчас даже вспомнить, о чем именно он говорил тогда. Между прочим, он сказал мне следующее:

- Вы узник Инквизиции. Святое судилище создано, разумеется, для исполнения высоких задач, недоступных пониманию грешных существ вроде нас с вами; однако, насколько мы можем судить, на все благодеяния, которые она оказывает им своей мудрой прозорливостью, узники ее отвечают не только полным равнодушием, но и постыдной неблагодарностью. Вас вот, например, обвиняют в колдовстве, братоубийстве, в том, что вы своими низкими поступками повергли в отчаяние родителей своих, принадлежащих к самому цвету знати и нежно вас любящих; вы теперь, по счастью, не можете уже ничего сотворить во зло своим родным, религии и обществу оттого, что находитесь здесь под надежной и спасительной для вас охраной. И вот вы, скажем прямо, до такой степени нечувствительны ко всем этим благодеяниям, что больше всего на свете хотите одного - перестать наслаждаться ими. Словом, я убежден, что сердце ваше (которое осталось глухим к щедротам и милостям Святого судилища) отнюдь не склонно утяжелить бремя ваших обязанностей по отношению к нему, а напротив, - стараться уменьшить огорчения, которые эти достойные люди испытывают, пока ваше пребывание оскверняет святыне стены, сократив его срок задолго еще до того, как самим им захочется это сделать. Вы ведь хотите бежать из тюрьмы Инквизиции, если только это окажется возможным, не правда ли?

Я не сказал ни слова в ответ. Меня охватил ужас от этой циничной и жестокой иронии, ужас при одном упоминании о побеге (у меня на это были причины), неопишуемый ужас перед всем на свете, перед каждым живым существом, оказавшимся рядом. Мне казалось, что я дрожа и качаясь иду по узенькой кромке стены, по разделяющему две пропасти Аль-арафу {9}; одну из этих бездн разверз дьявол, а другую, не менее ужасную, - Инквизиция. Я стиснул зубы; у меня захватило дыхание.

- Что касается побега, - продолжал мой собеседник, - то хоть я и могу вам его обещать (между тем сделать это не в человеческой власти), я должен предупредить вас о трудностях, с которыми вы столкнетесь. Что если они испугают вас, остановят?

Я и на этот раз ничего не ответил. Пришелец, как видно, решил, что молчание мое выражает сомнение.

- Может быть, - продолжал он, - вы думаете, что, если вы долго пробудете здесь, в тюрьме Инквизиции, вы этим обеспечите себе спасение души. Самое нелепое заблуждение, которое, однако, глубоко укоренилось в человеке, - это думать, что земные страдания его спасут ему душу.

Тут я мог со всей убежденностью ему возразить, сказав, что я чувствую, верю, что мои страдания здесь, на земле, в какой-то степени могут смягчить на том свете наказание, которое я бесспорно заслужил. Я признал многие мои заблуждения, я стал каяться, вспоминая постигшие меня несчастья, как будто то были преступления, и всей силою скорби своего неискушенного

сердца вверял себя в руки Всемогущего, чувствуя, что на меня действительно нисходит его благодать. Молясь, я призывал господу, Спасителя, Пресвятую деву - искренне, всеми силами моей просветленной души. Когда я поднялся с колен, пришельца уже не было.

\* \* \* \* \*

Допрос следовал за допросом, причем все происходило с быстротою, какой не знали анналы Инквизиции. Увы! Если бы то действительно были анналы, если бы это было нечто большее, нежели воспоминание об одном дне насилия, угнетения, обмана и пытки. Когда я был вызван вновь, судьи сначала допрашивали меня по обычной форме, после чего перешли к вопросам, построенным чрезвычайно хитро, как будто нужно было применять какую-то хитрость, чтобы заставить меня говорить о том, что мне так не терпелось высказать самому. Едва только они коснулись интересовавшего их предмета, как я принялся рассказывать им обо всем с таким искренним рвением, какое могло открыть глаза кому угодно, только не инквизиторам. Я поведал им, что странный посетитель явился ко мне еще раз. Замирая от страха и весь дрожа, я повторил слово в слово все, что последний раз мне довелось от него услышать. Я не опустил ни одного оскорбительного слова, которое тот произнес в адрес Святой палаты, ни его язвительных и циничных насмешек, ни его явного безбожия, ни нечестивости всех его речей - я пересказывал им все до мельчайших подробностей. Я надеялся заслужить доверие инквизиторов тем, что возводил обвинения на их врага и Врага рода человеческого. О! Нет возможности даже рассказать, ценою каких мучений нам достается жизнь между двумя заклятыми врагами, когда мы стараемся снискать дружбу одного из них! Я предостаточно всего выстрадал от Инквизиции, и, однако, в эту минуту я уже готов был вымалывать себе место самого последнего стражника в ее тюрьме, я бы, вероятно, согласился даже взяться за постыдное ремесло палача, я бы, кажется, перенес любые муки, на которые меня могла обречь Инквизиция, лишь бы избавиться от ужаса быть в ее глазах союзником Врага человеческих душ. К великому моему смятению, я заметил, что все слова, которые безудержным потоком вырывались из моих уст, вся та искренность, на которую меня подвинуло отчаяние, мое желание отстоять себя в борьбе со зловещим и не знающим жалости врагом, - все это было оставлено без внимания.

Судьи, надо сказать, были поражены проникновенностью, с которой я говорил. На какое-то мгновение они даже как будто поверили словам моим, исторгнутым ужасом; однако минуту спустя я уже мог убедить я, что для них страшен я сам, а отнюдь не обстоятельства, о которых я только что рассказал. Казалось, что между ними и мной стоит какая-то слюда подозрительности и тайны, искажающая мои черты. Они упорно требовали, чтобы я припоминал все новые подробности, еще какие-то обстоятельства, причем вовсе не для того, чтобы что-то узнать обо мне, а лишь для того, чтобы подтвердить уже сложившееся у них представление. Чем больше усилий они затрачивали на свои замысловатые вопросы, тем меньше я понимал, что они от меня хотят. Я поведал им все, что знал; я действительно хотел сказать все, но при всем желании не мог сообщить им больше того, что самому мне было известно; и тревога моя, вызванная тем, что я не могу удовлетворить требования судей, только возрастала, оттого что я был не в силах понять, чего же они от меня хотят. Перед тем как отправить меня назад в келью, они очень строго предупредили меня, что, если я не выслежу, не запомню и не донесу каждого слова, произнесенного этим необычным существом, которое, как они в этом признавались сами своим недоуменным молчанием, беспрепятственно проникало в обитель и так, что никто не мог за ним уследить, меня ждет самое суровое наказание. Я все это им обещал - все, что только они могли от меня потребовать, больше того, в качестве последнего доказательства истинности своих слов я стал умолять, чтобы кому-нибудь из монахов было позволено провести ночь со мной в келье или же, если правила Инквизиции никак этого не допустят, чтобы неподалеку от моей двери на ночь в коридоре оставили надзирателя, которому я бы мог каким-нибудь условным знаком

сообщить, если это неведомое существо появится у меня: вторжение его тогда будет обнаружено и нечестивец наказан. Уже тем, что мне позволили изложить мою просьбу, мне было оказано снисхождение, что отнюдь не в обычаях Инквизиции, ибо она, как правило, разрешает узнику только отвечать на вопросы и говорить лишь тогда, когда его о чем-нибудь спрашивают. Выслушав мое предложение, они какое-то время совещались между собой, но, к ужасу моему, я узнал, что ни один из слугителей тюрьмы, даже если Инквизиция ему это прикажет, не согласится провести ночь у двери моей кельи.

Не могу даже передать вам, как мучительно было мое состояние, когда я вернулся к себе. Чем больше я старался оправдаться, тем больше все запутывалось. И я решил, что добиться этого и внести в мою душу мир я могу только одним - неукоснительным исполнением всего, что предпишет мне Инквизиция. Всю ночь я не давал себе спать, но на этот раз он не появился. Под утро я наконец уснул. О, что это был за сон! Меня преследовали бесы, злые духи, что водятся в этих стенах. Я убежден, что ни одной из жертв аутодафе {10} во время ужасного шествия к пламени - временному и вечному никогда не приходилось переносить таких страданий, какие мне выдалось испытать в этом сне. Мне снилось, что суд окончился, колокол прозвонил, и мы вышли из тюрьмы Инквизиции; преступление мое было уже доказано, и мне вынесли приговор как отступившему от святой веры монаху и как поддавшемуся дьявольскому наущению еретику. Процессия двинулась: впереди шли доминиканцы, следом за ними - кающиеся грешники, босые, с обнаженными руками, и каждый держал зажженную восковую свечу. На иных было надето санбенито {11}, на других - нет, все были бледные, запыхавшиеся, изможденные; лица их были такого же глинистого цвета, как и их обнаженные руки и ноги. За ними шли те, у кого на черных одеяниях было изображено *fuego revolto* { Пламя, обращенное вниз (исп.)}. А за теми я увидел себя самого, а видеть так себя призраком в то время, как ты еще жив - это сущее проклятие, едва ли не то же, что видеть совершенные тобою преступления, когда горишь на вечном огне. Да, я видел себя в одежде, на которой было изображено пламя, поднимающееся кверху, меж тем как бесы, изображенные на моей одежде, пересмеивались с теми, которые толпились у меня в ногах и носились вокруг моей головы. Стоя справа и слева от меня, иезуиты заставляли меня вникать в различие между этими намалеванными огнями и тем пламенем, которое должно было охватить навеки мою извивающуюся в муках душу. В ушах у меня звонили все колокола Мадрида. Света не было, были сумерки, те, что всегда окружают нас в снах (солнечный свет никогда никому еще не снился); тускло горели и дымились факелы, чье пламя скоро должно было мне выжечь глаза. Я увидел перед собою помост. Меня приковали цепями к столбу - под звон колоколов, проповеди иезуитов и крики толпы. Напротив раскинулся великолепный амфитеатр: король и королева Испании и вся высшая знать и священнослужители пришли посмотреть, как нас будут сжигать на костре.

Мысли наши во сне путаются; мне довелось как-то слушать историю одного аутодафе: юная девушка-еврейка, которой не было еще и шестнадцати лет, пала ниц перед королевой и воскликнула: "Спасите меня, спасите меня, не велите меня сжигать, единственное мое преступление в том, что я исповедую веру моих предков". Рассказывают, что королева (если не ошибаюсь, то была Елизавета Французская {12}, жена Филиппа) заплакала, однако процессия двинулась дальше. Нечто подобное произошло и в моем сне. Я увидел, как молившего о пощаде оттолкнули; еще несколько мгновений и оказалось, что проситель этот не кто иной, как мой брат Хуан; он прильнул ко мне и отчаянно вскричал: "Спаси меня, спаси меня!". Тут я снова увидел себя прикованным к столбу: факелы были зажжены, вокруг звонили колокола, пелись литании {13}. Ступни мои пылали и превращались в уголь, мышцы мои потрескивали, кости и кровь шипели на огне, тело сморщилось, как кусок покоробившейся свиной кожи, ноги свисали над охватившим их огнем, как недвижимые сухие жерди; языки пламени поднимались все выше,

оно охватило мне волосы; я был окружен венцом из огня: голова моя превратилась в шар из расплавленного металла, глаза пламенели и плавилась в своих орбитах. Я открыл рот и наглотался огня, я закрыл его пламя бушевало внутри меня, а колокола все еще звонили, толпа кричала, а король и королева и знать и священники - все смотрели на нас, а мы все горели! Мне снилось, что тело мое и душа обратились в пепел.

Я проснулся - так я никогда не кричал и не слышал, чтобы кричал кто-нибудь другой; но, должно быть, именно так душераздирающе вопят несчастные, когда языки пламени начинают лизать их стремительно и жестоко: "Misericordia por amor di Dios!" {Сжальтесь [над нами] во имя любви к богу (исп.).}.

От этого крика я и проснулся: я был в тюрьме, и рядом со мною стоял искуситель. Повинуясь побуждению, противиться которому было свыше моих сил, побуждению, вызванному всеми ужасами только что виденного сна, я упал к его ногам и стал умолять его "спасти меня".

Я не знаю, сэр, - да и вообще человеческий разум не властен это решить - могло ли это загадочное существо влиять на мои сны и диктовать искушавшему меня злему духу те страшные видения, которые заставили меня броситься к его ногам и искать в нем надежду на спасение. Как бы то ни было, оно, разумеется, воспользовалось моими предсмертными муками, действительными или воображаемыми, и, убедив меня в том, что в его власти устроить мне побег из тюрьмы Инквизиции, предложило мне сделать это на тех не подлежащих огласке условиях, о которых мне запрещено было где бы то ни было говорить, кроме как на исповеди.

----

Тут Мельмот невольно вспомнил о не подлежащих огласке условиях, которые были предложены Стентону в доме умалишенных, - он вздрогнул и не сказал ни слова. Испанец продолжал.

- На следующем моем допросе судьи были суровее и настойчивее, нежели раньше, да и мне самому хотелось, чтобы меня не столько спрашивали, сколько выслушали то, что я хотел рассказать; поэтому, несмотря на всю настороженность их и неукоснительное соблюдение сопутствующих допросу формальностей, мы тем не менее вскоре пришли к какому-то взаимному пониманию. Я поставил перед собой определенную цель, они же ничего не теряли от того, что я ее добивался. Я без колебаний признался им, что меня еще раз посетило таинственное существо, которое имеет возможность когда угодно беспрепятственно проникать во все тайники Инквизиции (судьи содрогнулись, когда я произнес эти слова), что я очень хочу рассказать им обо всем, что обнаружилось во время нашего последнего разговора, но что я сначала должен исповедоваться священнику и получить от него отпущение грехов. Хоть это и в корне противоречило правилам Инквизиции, - поскольку случай был совершенно исключительный, просьбу мою удовлетворили. В одном из помещений был опущен черный занавес; я стал на колени перед священником и поведал ему ту страшную тайну, которую по правилам католической церкви тот не может никому открывать, кроме самого папы. Не понимаю, как инквизиторам удалось обойти это правило, но они вызвали меня потом и заставили все повторить. И я повторил все слово в слово, за исключением только тех слов, которые данная мною клятва и сознание того, что это тайна исповеди, а она священна, помешали мне открыть. Я был уверен, что искренность моего признания сделает чудеса; так оно действительно и случилось, только то были отнюдь не те чудеса, которых я ожидал. Они стали требовать, чтобы я открыл им самую сокровенную тайну; я сказал, что она - в сердце священника, перед которым я исповедался. Они стали перешептываться между собой, и я понял, что речь шла о пытке, которую надлежит ко мне применить.

В то время как я с вполне понятной тревогой и тоской оглядывал помещение, где над самым креслом председателя висело несколько наклоненное большое распятие, футов тринадцати

высотой, я вдруг увидел, что за столом, покрытым черным сукном, сидит некое лицо, которое то ли исполняет обязанности секретаря, то ли просто ведет записи показаний обвиняемых. Когда меня подвели к столу, человек этот бросил на меня взгляд, по которому видно было, что он меня узнает. Это был мой страшный спутник, - оказалось, что он поступил на службу в Инквизицию. Я совершенно пал духом, увидав его хищный, злобно стерегущий взгляд: так тигр высматривает из-за кустов свою добычу, так выглядывает из своего логова волк. Время от времени этот человек действительно поглядывал на меня, в этом не могло быть сомнения, но я не решился бы утверждать, что означали его взгляды. Вместе с тем у меня были все основания думать, что чудовищный приговор, который мне прочли, если и не исходил из его уст, то во всяком случае был вынесен по его наущению.

"Ты, Алонсо де Монсада, монах, принадлежащий к ордену ... обвиняешься в преступлениях, именуемых ересью, богоотступничеством, братоубийством ("Нет, нет! Только не это", - вскричал я, но никто не обратил на это внимания), и в том, что вступил в сговор с Врагом рода человеческого, смутив покой общины, в которой ты принес обеты господу, и замыслив поколебать власть Святой Инквизиции; помимо этого, ты обвиняешься в том, что у себя в келье, в тюрьме Святой Инквизиции, общался с нечестивым посланцем врага господина нашего, человека и твоей собственной богоотступнической души, поелику сам ты на исповеди признался, что злой дух имел доступ к тебе в келью. На основании всего вышеизложенного ты осужден и будешь предан...".

Больше я уже ничего не слышал. Я вскрикнул, но голос мой потонул в бормотанье судей. Висевшее над креслом председателя распятие закачалось и завертелось у меня перед глазами, спускавшийся с потолка светильник извергал на меня со всех сторон языки пламени. Я воздел руки к небу, чтобы клятвенно отречься от возведенной на меня лжи, однако чьи-то более сильные руки заставили мои опуститься. Я пытался говорить - мне заткнули рот. Я упал на колени - и, не дав мне встать, меня начали уже вытаскивать вон, как вдруг престарелый инквизитор знаком остановил судей. На несколько мгновений меня отпустили, и он со мною заговорил. Слова его казались еще ужаснее, чем были, оттого, что говорил он совершенно искренне. Я подумал сначала, что от человека такого преклонного возраста и так неожиданно вступившегося за меня я могу ожидать милости. Инквизитор этот действительно был очень стар, прошло уже двадцать лет, как он ослеп, и, когда он поднялся с кресла - как оказалось, для того, чтобы произнести проклятие, мне припомнился римлянин Аппий Клавдий, благословлявший свою слепоту {14}, ибо она не дала ему видеть позор родной страны, а потом мысли мои перенеслись к другому слепцу - к Великому инквизитору Испании, который уверял Филиппа {15}, что, принеся в жертву сына своего, тот поступит так, как поступил Всевышний, который так же пожертвовал сыном своим, чтобы спасти род человеческий. Какая ужасающая профанация! И, однако, как она была подстать сердцу католика. Вот что сказал инквизитор:

- Богоотступник, отлученный от Пресвятой церкви нечестивец, благословляю господина, что высохшие зеницы мои не могут теперь видеть тебя. С самого рождения на тебе лежала печать проклятья, ты родился во грехе; бесы качали твою колыбель; это они окунали лапы свои в купель со святой водой, они издевались над восприемниками твоего неосвященного крещения. Незаконнорожденный и проклятый, ты и всегда-то был обузой для Пресвятой церкви, а теперь вот дух тьмы пришел истребовать то, что ему принадлежит, и ты признаешь его полновластным своим господином. Он сумел найти тебя и заклеить тебя своей печатью даже здесь, в тюрьме Инквизиции. Отыди от нас, проклятый, мы предаем тебя в руки светского суда и просим, чтобы он поступил с тобой не слишком сурово {16}.

Услышав эти ужасные слова, относительно смысла которых у меня не могло быть никаких сомнений, я испустил крик отчаяния - тот единственный \_человеческий\_ звук, что бывает

слышен в стенах Инквизиции. Но меня вынесли вон, и на этот мой крик, в который я вложил все оставшиеся во мне силы, никто из них не обратил ни малейшего внимания, так же как люди эти привыкли не обращать внимания на крики, доносящиеся из камеры пыток. Вернувшись к себе в келью, я пришел к убеждению, что все это было заранее придумано изобретательными инквизиторами, чтобы довести меня до того, что я сам начну себя обвинять, - а они ведь стремятся к этому всегда, когда только это оказывается возможным, - и наказать меня за совершенное мною преступление, в то время как вся моя вина заключалась только в том, что я вынужденно признал себя виновным

Охваченный невыразимым раскаянием и тоской, я проклинал свою доверчивость и непроходимую глупость. Надо же было быть совершеннейшим идиотом, болваном, чтобы дать себя так обмануть. Какой здравомыслящий человек поверил бы, что в тюрьмы Инквизиции может, когда только вздумается, проникнуть постороннее лицо и никто не будет в состоянии выследить его и схватить? Что существо это может входить в любую из камер и быть неподвластным никакой смертной силе, говорить, когда ему захочется, с узниками, появляться и исчезать, оскорблять, высмеивать, произносить кощунственные речи, предлагать устроить побег и указывать, как его осуществить, причем с такой точностью и непринужденностью, которые могли явиться только результатом спокойного и глубокого расчета, - и что все это может происходить в стенах Инквизиции, почти что под самым носом у судей и уж во всяком случае тюремной стражи, которая денно и нощно обходит все коридоры и следит за всем происходящим своим недремлющим инквизиторским оком? Нелепо, чудовищно, бессмысленно! Все это был хитрый заговор, чтобы заставить меня признаться в преступлениях и этим себя осудить. Мой гость был агентом и пособником Инквизиции. Вот к какому выводу я пришел - и при всей его безысходности в нем, разумеется, была доля правды.

Мне оставалось только ждать самого ужасного, сидя у себя в камере во мраке и тишине. А то, что ночной пришелец перестал появляться, с каждым часом еще больше укрепляло мою уверенность в том, что это был за человек и кем он был послан, когда вдруг разразилось событие, которое смело и страх мой, и надежду, и все доводы разума. Это был огромный пожар, вспыхнувший в стенах Инквизиции в самом конце прошлого столетия.

Это невероятное событие случилось в ночь на 29 ноября 17.. года невероятное потому, что всем хорошо известно, какие меры предосторожности принимает Святая Инквизиция против подобного рода случайностей, а также и потому, что в помещениях ее никогда почти не держат ничего горячего. Едва только стало известно, что огонь быстро распространяется по зданию и положение сделалось опасным, как всех узников приказано было вывести из камер и держать под охраной на тюремном дворе. Следует сказать, что обращались с нами очень мягко и предупредительно. Нас спокойно вывели из камер, и к каждому было приставлено по два стража, которые не учиняли над нами никакого насилия и не позволяли себе произносить никаких грубых слов, а напротив, время от времени говорили нам, что, если опасность станет неминуемой, нам разрешат воспользоваться первым удобным случаем, чтобы бежать. Вид растерянной толпы, собравшейся на дворе, был достоин кисти Сальватора Розы или Мурильо {17}. Чаши мрачные одеяния и унылые взоры резко контрастировали со столь же хмурыми, однако властными и неколебимыми взглядами стражи и судей, а по лицам всех скользили отблески факелов, которые, казалось, едва тлели, в то время как пламя торжествующе пробивалось все выше и вздымалось, грохоча и треща, над башнями Инквизиции. Все небо было в огне, а факелы в слабевших руках дрожали, и свет их становился неверным и тусклым. Вся эта картина походила на грубо намалеванное изображение Страшного суда. Казалось, что это господь нисходит к нам в ярком свете, заливающим небо, а мы, все бледные и трепещущие от ужаса, озарены другим, земным светом.

В толпе узников оказались вместе отцы и сыновья, которые, может быть, долгие годы жили в соседних камерах и не знали не только того, что самый близкий человек находится рядом, но и что он вообще жив, - но они и теперь не подавали виду, что знают друг друга. Разве это не было похоже на день Страшного суда: тогда ведь так же вот люди, находящиеся между собой в родстве, могут оказаться среди овец и козлищ и не решатся даже признать заблудших и попавших в стадо к другому пастуху. Но были там отцы и дети, которые \_узнали друг друга\_ и протянули друг другу руки, чувствуя, что свидетеля им больше не придется: одни из них были приговорены к сожжению на костре, другие - к заточению в тюрьме, иные - к исполнению определенных обязанностей в стенах самой Инквизиции, когда судившие их находили возможным смягчить приговор, - разве и в этом не было сходства с Судным днем, когда родителям и детям уготована различная участь и протянутые друг другу руки, как последнее свидетельство земной любви, беспомощно повисают над вечною бездной? Справа и слева от нас и позади стояли судьи Инквизиции и стража; все они внимательно следили за тем, как пламя пожара все больше распространяется, но нисколько не опасались за себя. Так, должно быть, чувствуют себя те ангелы, которые охраняют души у врат судилища Всевышнего и знают, какая участь ждет тех, кто им вверен. И в самом деле, не так ли все будет выглядеть в Судный день? Высоко, высоко над нами огромными клубами вырывался огонь и взвивался ввысь к занявшемуся заревом небу. Башни Инквизиции рушились и превращались в груды обуглившихся обломков, вся эта чудовищная цитадель силы и преступлений и помрачения человеческого разума исчезала в огне, как бумажный лист. Не то же ли самое сотворится и на Страшном суде?

Помощь пришла нескоро: испанцы народ медлительный; пожарные насосы действовали плохо; опасность все возрастала; пламя поднималось выше и выше, люди, призванные тушить пожар, цепенели от страха, падали на землю и призывали всех святых, каких только могли припомнить, моля их преградить путь огню. Взывали же они к ним столь громогласно и столь ревностно, что можно было подумать, что святые либо совсем оглохли, либо покровительствуют распространению огня и не собираются внять их мольбам. Как бы там ни было, пожар все разгорался. По всему Мадриду звонили колокола. Всем алькальдам были разосланы приказы. Сам король Испании (после нелегкого дня, проведенного за охотой) {3\* Страсть покойного испанского короля к охоте была хорошо известна {18}.} явился собственной персоной. Все церкви были освещены, и тысячи благочестивых людей, опустившись на колени, кто с факелами, кто с зажженными площадками в руках, молили господу, дабы грешные души, чья участь вверена Инквизиции, ощутили в пламени, пожиравшем сейчас ее стены, некое слабое предвестие другого пламени, того, что будет гореть для них вечно. Пожар разгорался, творя свое ужасное дело и обращая на короля и священников не больше внимания, чем если бы то были обыкновенные пожарные. Я уверен, что двадцати толковых и привычных к этому делу людей было бы достаточно, чтобы его затушить; однако те, что явились, вместо того чтобы пустить в ход насосы, становились на колени и начинали молиться.

Пламя перекинулось вниз и в конце концов достигло двора. Неописуемый ужас охватил всех находившихся там людей. Несчастные, которые были приговорены к сожжению на костре, решили, что час их пробил. Совсем уже отупевшие от длительного пребывания в тюрьме и покорно исполнявшие все это время требования Святой палаты, тут они пришли вдруг в неистовство, и, стоило им завидеть надвигавшееся на них пламя, как они принялись громко звать: "Пощадите меня, пощадите меня, не мучайте меня так долго". Другие же, став на колени перед приближавшимися к ним языками пламени, обращались к ним так, словно то были святые. Им чудилось, что к ним нисходят видения, которым они поклонялись, - непорочные ангелы и даже сама Пресвятая дева, - и что они примут в свои объятия их души, как только те взлетят над костром; и они выкрикивали аллилуйи, в которых слышались и ужас, и надежда.



Среди всего этого смятения инквизиторы оставались верны себе. Нельзя было не поражаться их твердости и спокойствию. Когда все уже было охвачено пламенем, они ни разу не сделали ни шагу в сторону, не шевельнули рукой, не моргнули глазом долг, суровый, бесчувственный долг был единственным, чем и во имя чего они жили. Они напоминали собою фалангу воинов, закованных в непробиваемую железную броню. В то время как пламя бушевало вокруг, они спокойно осеняли себя крестным знаменем; когда узники в ужасе начинали кричать, мановением руки призывали их к молчанию; когда те осмеливались молиться, они силой поднимали их с колен и давали им понять, что молиться в такие минуты бессмысленно, ибо пламя, которое они так хотят сейчас от себя отворотить, все равно разгорится для них еще сильнее там, откуда будет некуда убежать и где для них не останется уже никакой надежды на спасение.

И вот, когда я стоял так среди других заключенных, меня вдруг поразила необыкновенная картина. Может быть, в минуты отчаяния воображение наше преисполняется особой силой, и те, кому выпало на долю страдание, могут лучше всего и описать происшедшее, и его ощутить. Освещенная заревом пожара колокольня Доминиканской церкви была видна как днем. Она почти примыкала к тюрьме Инквизиции. Ночь стояла очень темная, но отблески пожара были так ярки, что шпиль этой колокольни сверкал в небе, как метеор. Стрелки башенных часов были видны так отчетливо, как будто к ним поднесли зажженный факел. И это спокойное и тихое течение времени среди царившей вокруг смуты, тревоги и всех ужасов этой ночи, эта картина агонии и тел, и душ, пребывавших в непрерывном и бесплодном движении, вероятно, запечатлелась бы у меня в сознании и необычностью своей, и глубоким внутренним смыслом, если бы внимание мое не привлекла вдруг человеческая фигура, стоявшая на самом острие шпиля и с невозмутимым спокойствием взиравшая на все вокруг. Ошибки здесь быть не могло: это был он, тот, кто приходил ко мне в камеру в тюрьме Инквизиции. Надежда, что теперь-то я смогу оправдаться, заставила меня позабыть обо всем. Я громко подозвал одного из стражников и показал ему на фигуру, которую при столь ярком свете нельзя было не увидеть. Однако ни у кого не было времени даже взглянуть на нее. В это же мгновение арка находившегося напротив крытого двора обрушилась, и к ногам нашим упала огромная груда обломков и ринулось пламя. В это мгновение дикий крик вырвался из всех уст. Узники, стража, инквизиторы - все отпрянули назад и смешались, объятые ужасом.

Спустя несколько мгновений пламя это было погашено обрушившейся на него новой грудой камня. Поднялось такое густое облако дыма и пыли, что невозможно было даже разглядеть стоявшего рядом. Смятение сделалось еще больше после того, как свет, слепивший нас в течение всего последнего часа, внезапно сменился тьмой и послышались крики тех, кто находился возле самой арки; покалеченные, они теперь корчились от нестерпимой боли под завалившими их обломками. Среди всех этих криков и тьмы и пламени я увидел вдруг открывшуюся впереди пустоту. Мысль и движение слились в едином порыве. Никто не видел меня, никто за мной не погнался, и вот за несколько часов до того, как мое отсутствие могли обнаружить и начать меня разыскивать, целый и невредимый и никем не замеченный, я пробрался сквозь развалины и оказался на улицах Мадрида.

Тем, кто только что избавился от смертельной опасности, всякая другая опасность кажется уже пустяком. Жертва кораблекрушения, которой удалось спастись, не думает о том, на какой берег ее выбросило волною; и хотя Мадрид был для меня по сути дела тою же тюрьмой Инквизиции, только больших размеров, достаточно было вспомнить, что я вырвался из рук моих судей, и я преисполнился неизъяснимым, безмерным ощущением того, что я в безопасности. Стоило мне только на минуту задуматься, и я бы, вероятно, сообразил, что моя необычная одежда и босые ноги выдали бы меня с головой всюду, куда бы я ни устремился.

Обстоятельства, однако, сложились очень благоприятно для меня: улицы были совершенно пустынные; все жители города, которые не спали в своих кроватях или не были прикованы к постели, молились в церквях, стараясь умиловать гнев небесный и моля господу потушить бушующее пламя.

Я бежал сам не знаю куда до тех пор, пока совершенно не выбился из сил. Свежий воздух, от которого я уже давным-давно отвык, колючими шипами впивался мне в легкие и гортань, пока я бежал, и совершенно не давал мне дышать, хотя вначале мне и казалось, что теперь-то я могу дышать полной грудью. Я очутился возле какого-то здания; широкие двери его были распахнуты. Я вбежал внутрь - оказалось, что это церковь. В изнеможении я упал на каменный пол. Это был один из приделов, отделенный от алтаря большою решетчатою перегородкой. Сквозь нее можно было разглядеть находившихся в алтаре священников в сиянии редких, только что зажженных светильников, а возле ступеней его - нескольких человек, молившихся стоя на коленях. Сверкавшие огни резко контрастировали с рассеянным тусклым светом, проникавшим в окна придела; мне трудно было разглядеть при нем надгробные плиты, к одной из которых я на минуту прильнул, чтобы перевести дух. Однако оставаться там доле мне было нельзя, я не мог это себе позволить. Вскочив, я невольно пригляделся к этой плите. В это мгновение словно по чьему-то злему умыслу сделалось вдруг чуть светлее, и глаза мои различили все, что там было начертано. Я прочел: "Orate pro anima" {Молитесь за упокой души (лат.)}, а потом разобрал и имя: "Хуан де Монсада". Я выбежал из церкви так, как будто за мною гнались сонмы дьяволов: вот оказывается, где я нашел себе прибежище, - на могиле моего безвременно погибшего брата.

### КНИГА ТРЕТЬЯ

#### Глава XII

Juravi lingua, menlem iniuratum gero {\*}

{\* Я поклялся только на языке, душа моя ни в чем не клялась {1} (лат.)}

Кто первый свел тебя с дьяволом?

Шерли. Святой Патрик Ирландский {2}

Я бежал до тех пор, пока окончательно не выбился из сил и не стал задыхаться (я не заметил, как оказался в темном проходе), пока не наткнулся на какую-то дверь. От толчка она распахнулась, и я очутился в низкой темной комнате. Как только я поднялся, ибо я упал - на руки и на колени, - я осмотрелся кругом, и глазам моим предстало нечто столь необыкновенное, что я на какие-то минуты даже позабыл о своем страхе и вообще о себе.

Комната была очень мала, и, глядя в образовавшуюся щель, я убедился, что не только распахнул дверь, но и откинул висевшую перед ней большую драпировку, в широких складах которой мне теперь можно было в случае надобности укрыться. Внутри никого не было, и я мог на свободе заняться изучением странной обстановки, которую там увидел. На покрытом сукном столе стоял какой-то необычной формы сосуд и лежала книга, на страницах которой я не нашел ни одной знакомой мне буквы. Поэтому я решил, что это какая-то магия, и с чувством вполне понятного ужаса закрыл ее. (Это был список древнееврейской Библии, размеченной самаритянскими точками) {3}. Рядом лежал нож, а к одной из ножек стола был привязан петух, громким кукареканьем выразивший свое недовольство по поводу насилия, которое над ним учиняли {1\*}.

{1\* Quilibet postea pater familias, cum \_gallo\_ prae manibus, in medium prodit...

\*\*\*\*\*

Delude expiationem aggreditur et capiti suo ter gallum allidit singulosque ictus his focibus prosequitur. Hie Gallus sit permratio pro me et cetera.

\*\*\*\*\*

Gallo deinde imponens manus, cum statim mactat, et cetera.

[Потом среди нас появляется отец семейства, держа в руках петуха... Потом он принимается совершать обряд искупления и трижды ударяет петуха о свою голову, приговаривая при этом следующие слова: "Пусть петух этот будет наместо меня" и т. п.... После чего, наложив на петуха руки, он тут же приносит его в жертву и т. п. (лат.)]. - Смотри Цитату из Буксторфа в книге д-ра Меджи {4} (епископа Рафосского) об искуплении. Камберленд в своем "Наблюдателе", если не ошибаюсь, относит этот обряд к празднику пасхи. Столь же вероятно, что его могли совершать и в день покаяния.}

Я понял, что в сочетании всех этих предметов было нечто необычное, все это выглядело как приготовление к жертве. Весь дрожа, я завернулся в складки драпировки, прикрывавшей дверь, которая распахнулась, когда я упал.

Все эти предметы предстали передо мною, озаренные тусклым светом свисавшей с потолка лампы; свет ее позволил мне также увидеть то, что почти сразу же вслед за этим произошло. Человек средних лет, черты лица которого носили какой-то непривычный даже для испанца отпечаток, с густыми черными бровями, выступающим носом и каким-то особым блеском в глазах, вошел в комнату, опустился на колени перед столом, поцеловал лежавшую на нем книгу и прочел из нее несколько фраз, которые, как мне показалось, должны были предварить некое ужасное жертвоприношение; пощупав лезвие ножа, он снова преклонил колена и произнес какие-то слова, понять которые я не мог (это были слова того же языка, на котором была написана книга), и громко позвал кого-то по имени Манассия бен-Соломон. Никто не откликнулся. Он вздохнул, провел рукою по лбу с видом человека, который просит у себя прощения за минутную забывчивость, и вслед за тем произнес имя "Антонио".

В комнату тут же вошел молодой человек.

- Вы звали меня, отец? - спросил он.

Произнося эти слова, он окинул отсутствующим и блуждающим взглядом необычную обстановку комнаты.

- Да, я звал тебя, сын мой, почему же ты не откликнулся?

- Я не слышал, отец, вернее, я не подумал, что вы имеете в виду меня. Я ведь слышал имя, которым раньше меня никогда не называли. Как только вы сказали "Антонио", я повиновался - я пришел.

- Но ведь \_этим-то\_ именем ты и должен называться отныне, под этим именем тебя будут знать люди, во всяком случае, конечно, если ты не избереешь себе другого. Право выбора за тобой.

- Отец мой, я приму любое имя, которое вы для меня выберете.

- Нет, выбор этот должен сделать ты сам, ты должен принять на будущее либо то имя, которым назвал тебя я, либо назвать себя другим именем.

- Каким же другим, отец?

- \_Отцеубийцей\_.

Юноша содрогнулся в ужасе, но не столько от самих этих слов, сколько от выражения, с каким они были произнесены; какое-то время он смотрел на отца со страхом и мольбой, а потом залился слезами.

Тот воспользовался этой минутой. Он взял сына за руки.

- Дитя мое, - сказал он, - я дал тебе жизнь, и ты можешь отплатить мне за этот дар: жизнь моя в твоей власти. Ты считаешь меня католиком; да, я воспитал тебя в этой вере, чтобы сохранить жизни - твою и мою: ведь в этой стране исповедание истинной веры неизбежно бы погубило нас обоих. Я принадлежу к той несчастной нации, которую всякий клеймит и порочит, и, однако, неблагодарная страна эта, что предает нас анафеме, в значительной степени зависит

от трудолюбия, от талантов нашего народа. Я - еврей, израильянин, один из тех, о которых даже христианский апостол говорит {5}, что "им принадлежат усыновление и слава, и заветы и законоположение, и богослужение и обетования; их и отцы, и от них по плоти..."

Тут он замолчал, не желая договаривать до конца цитату, которая находилась в противоречии с его собственными чувствами.

- Оба мессии придут, - добавил он, - и тот, что будет страдать, и тот, что восторжествует {2\* Евреи веруют в двух мессий - в страдающего и торжествующего, дабы примирить пророчества с их собственными чаяниями.}. Я еврей. Когда ты родился, я нарек тебя именем Манассия бен-Соломон. Я называл тебя этим именем; я сразу почувствовал, что оно дорого моему сердцу, каждым звуком своим оно отдавалось в его сокровенных глубинах, и я тешил себя надеждой, что ты на него отзовешься. Это была моя мечта, но неужели же ты, любимое мое дитя, не воплотишь эту мою мечту в жизнь? Неужели нет? Неужели нет? Бог твоих отцов ждет, чтобы принять тебя в свои объятия, а твой собственный отец сейчас у ног твоих и молит тебя следовать вере праотца нашего Авраама, пророка Моисея и всех святых пророков, что пребывают вместе с богом и в эту минуту на тебя взирают. Душа твоя колеблется и не может выбрать между отвратительным идолопоклонством тех, кто не только поклоняется сыну плотника, но даже нечестиво принуждает тебя падать ниц перед изображением женщины, его матери, и поклоняться ей, кощунственно называя ее именем Матери божьей, и чистым голосом тех, кто призывает тебя поклоняться богу твоих отцов, богу всех веков, извечному богу неба и земли, у которого нет ни сына, ни матери, ни дитяти, ни отпрыска (как в нечестии своем утверждает их кощунственная вера), ни даже поклонников, за исключением тех, кто, подобно мне, в уединении предаются ему всем сердцем, рискуя тем, что сердце это будет пронзено рукою родного сына\_.

При этих словах молодой человек, пораженный всем, что видел и слышал, и совершенно не подготовленный к столь внезапному переходу от католичества к иудаизму, залился слезами. Отец его постарался не упустить этой минуты.

- Дитя мое, - продолжал он, - тебе предстоит сейчас признать себя рабом этих идолопоклонников, которые прокляты законом Моисея и заповедью господней, или присоединиться к правоверным, которые обретут покой свой в лоне Авраамовом и которые, вкушая этот покой, будут взирать оттуда на то, как неверные ползают по горячим углям преисподней и тщетно молят дать им хоть каплю воды, как о том повествуют легенды их же собственного пророка. Неужели такая картина не вызовет в тебе гордого желания отказать им в этой капле?

- Я бы не мог отказать им в этой капле, - рыдая ответил юноша, - я отдал бы им мои слезы.

- Побереги их для могилы твоего отца, - сказал еврей, - ибо ты обрекаешь меня на смерть. Я жил, копил деньги, выжидал, подлаживался к этим проклятым идолопоклонникам - и все это ради тебя. А теперь... теперь ты отвергаешь бога, который один в силах спасти тебя я отца твоего, который молит сейчас на коленях, чтобы ты принял уготованное тебе спасение.

- Нет, я не отвергаю его, - ответил смущенный юноша.

- Так что же тогда, скажи? Я припадаю к твоим ногам, чтобы узнать твое решение. Погляди, священная утварь и все необходимое для твоего посвящения приготовлено. Вот первозданная книга Моисея, пророка господнего, как то признают сами эти идолопоклонники. Тут приготовлено все что нужно для года покаяния, - так реши, совершишь ли ты эти обряды во имя истинного бога или отца твоего схватят за горло, ибо жизнь его отныне в твоей власти, - и поволокут в тюрьму Инквизиции. Все в твоих силах - \_дело за тобой\_.

В изнеможении, весь дрожа от душевной боли, отец простер к сыну свои заломленные сомкнутые руки. Я воспользовался этой минутой - отчаяние сделало меня безрассудным. Я не

понял ни единого слова из того, что было сказано, кроме того только, что речь идет об Инквизиции. Я ухватился за это слово; в отчаянии своем я воззвал к сердцу отца и сына.

Выскочив из-за драпировки, я бросился к старику, вскричав:

- Если он не выдаст вас Инквизиции, то \_выдам вас я!\_

Вызывающий тон, которым были сказаны эти слова, в сочетании с униженным положением, мой жалкий вид, бывшая на мне тюремная одежда и сама неожиданность моего вторжения к ним в дом в минуту их тайной и знаменательной встречи вселили в еврея ужас: он задыхался от волнения и не в силах был вымолвить слова, пока, наконец, поднявшись с колен, которые подогнулись у меня от слабости, я не добавил:

- Да, я выдам вас Инквизиции, если вы сейчас же не обещаете меня от нее спасти.

Еврей взглянул на мое одеяние, сообразил, сколь страшная кара грозит ему и мне, и с необыкновенным присутствием духа, таким, какое может явиться у человека только в минуты крайнего душевного возбуждения, вызванного смертельной опасностью, сразу принялся уничтожать все следы искупительной жертвы, которую он готовил, и стал громко звать Ревекку, требуя, чтобы она сейчас же убрала все, что было расставлено на столе. Он стал тут же срывать с меня тюремную одежду, причем делал это с таким ожесточением, что от нее остались одни ключья, и я оказался совершенно голым. Велев Антонио выйти из комнаты, он поспешно передел меня в какое-то платье, вытащенное из шкафа, где оно хранилось, может быть, несколько столетий.

В последовавшей за этим сцене было что-то страшное, но вместе с тем и нелепое. На зов его явилась Ревекка, старуха еврейка, однако стоило ей увидеть в комнате постороннего человека, как она в ужасе убежала. В смятении своем хозяин тщетно пытался вернуть испуганную служанку, называя ее христианским именем "Мария". Вынужденный отодвигать стол один, он опрокинул его и сломал ногу несчастному петуху, а тот, не оставшись безучастным к охватившей людей тревоге, пронзительно закукарекал. Тогда, схватив приготовленный для жертвы нож, он проникновенно повторил: "Statim mactat gallum" {[Он] тут же убивает петуха (лат.).} и избавил несчастную птицу от дальнейших страданий. Вслед за тем, испугавшись того, что столь открыто выдал принадлежность свою к иудейской религии, он уселся среди обломков сокрушенного им стола, осколков разбитой посуды и останков убитого петуха. Он воззрился на меня нелепым, бессмысленным взглядом и совершенно обезумевшим от волнения голосом спросил меня, почему господам инквизиторам угодно было удостоить его столь великой чести - посетить его скромное жилище.

Я и сам был смущен не меньше его, и хоть мы с ним сумели как будто договориться и обстоятельства заставили нас отнестись друг к другу с обоюдным доверием, необыкновенным и безрассудным, обоим нам в первые полчаса нужен был все же разумный посредник, который бы мог спокойно объяснить каждому из нас смысл наших возгласов, приступов боязни и порывов безудержной откровенности. Роль этого посредника взял на себя породнивший нас страх, и мы поняли тогда друг друга. Кончилось тем, что меньше чем через час я оказался одетым в удобное платье и сидел за щедро накрытым столом, ощущая на себе взгляды того, кому помимо воли пришлось принимать меня как гостя, и в свою очередь следя за ним жадными волчьими глазами, которые устремлялись то на стол с яствами, то на него самого и будто говорили, что стоит мне только почуять малейшую опасность предательства с его стороны, и вместо всей этой еды я упьюсь его кровью. Однако никакой опасности мне не грозило: хозяин мой испытывал больше страха передо мной, нежели я перед ним, и на то было немало причин. Он ведь был евреем \_по крови\_, он был мошенником, негодяем, который, питаясь грудью матери нашей, пресвятой церкви, обращал молоко ее в яд и пытался влить этот яд в уста собственного сына. Я же был беглецом, искавшим спасения от Инквизиции, узником, которым владело безотчетное и весьма

простительное нежелание обременять иезуитов лишними хлопотами, заставляя их разжигать для меня костер, вместо того чтобы найти огню гораздо лучшее употребление и заставить его превратить в пепел приверженца Моисеева закона. В самом деле, если быть беспристрастным, все доводы были в мою пользу, и еврей поступал так, как будто все это понимал, однако я приписывал его поведение исключительно страху перед судом Инквизиции.

Эту ночь я спал - не знаю уж, как и где. Перед тем как уснуть, если, вообще говоря, это был сон, мне привиделось нечто странное, а потом все виденное мною, одно за другим, стало проходить перед моими глазами уже как суровая и страшная явь. Не раз потом случалось мне рыться в памяти, чтобы припомнить подробности первой ночи, проведенной под кровом этого еврея, но мне так и не удалось ничего извлечь из хаоса, кроме убеждения, что я был тогда не в своем уме. Возможно, это было и не так; я просто не знаю, как это было. Помню только, как он, светя мне, повел меня вниз по узкой лестнице, а я спросил его, не спускаемся ли мы с ним в тюрьму Инквизиции; помню, как он распахнул передо мной дверь, а я спросил его, не ведет ли она в камеру пыток; помню, как он старался раздеть меня, а я воскликнул: "Не затягивайте так туго, я знаю, что должен вынести муки, только будьте милосердны!", как он укладывал меня в постель, а я кричал: "Ах, так вы все-таки привязали меня к столбу! Так вяжите крепче, чтобы я поскорее лишился чувств; только не подпускайте ко мне вашего врача, не давайте ему щупать мой пульс, пусть он поскорее перестанет биться, а я перестану страдать". Что было потом, во все последующие дни, я не знаю, хоть и упорно старался все припомнить и время от времени возвращался к каким-то мыслям, которым лучше было бы навсегда забыться. О, сэр, в царстве воображения есть свои преступники, и если бы мы могли спрятать их в глухих подземельях его роскошного, но построенного на песке дворца, властелин его чувствовал бы себя счастливее.

\* \* \* \* \*

И в самом деле, прошло немало дней, прежде чем еврей начал понимать, что он, может быть, слишком дорогою ценой купил свою безопасность, согласившись приютить у себя беспокойного и, пожалуй, даже повредившегося умом беглеца. Как только рассудок вновь вернулся ко мне, он сразу же воспользовался этим и осторожно спросил меня, что же я, собственно говоря, собираюсь делать и куда направить свои стопы. Услышав этот обращенный ко мне вопрос, я как бы воочию увидел всю безысходность и беспредельность расстилавшейся передо мною пустыни: Инквизиция словно вырубилась и выжгла во мне, уничтожила огнем и мечом все связи с жизнью. Во всей Испании не было клочка земли, на который я мог бы ступить твердой ногою, не было надежды заработать на кусок хлеба, встретить пожатие дружественной руки, услышать приветливый голос, не было крова, где я мог бы укрыться.

Должен вам сказать, сэр, что сила Инквизиции такова, что она, подобно смерти, одним прикосновением своим отрывает нас от всего земного. Стоит ей схватить вас за руку, как все люди вокруг разжимают свои и перестают удерживать вас: вы видите, что у вас уже нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни сына. Самый преданный и любящий из всех ваших близких, тот, кто в обычное время подостлал бы руки свои вам под ноги, чтобы вам мягче было ступать по каменистой стезе, которую уготовила вам жизнь, первым начнет разжигать костер, чтобы превратить вас в горсточку пепла, если только Инквизиция потребует от него этой жертвы. Я все это знал и к тому же понимал, что, даже если бы я никогда не сделался узником Инквизиции, я был совершенно одинок на свете, был сыном, которого отвергли отец и мать, был невольным убийцей своего брата, единственного существа, которое любило меня и которое мог любить я сам и на которое мог положиться, - существа, словно молния сверкнувшего в моей короткой человеческой жизни, для того чтобы озарить ее светом и - погрузить в темноту. Эта вспыхнувшая вдруг молния погасла вместе с гибелью жертвы. Жить в Испании не узником и не обнаруженным никем я мог бы только, если бы подверг себя добровольному заточению, столь

же полному и безнадежному, как то, которое я испытал в тюрьме Инквизиции. А если бы случилось чудо и я оказался вдруг за пределами Испании, то как бы я мог просуществовать хоть один день в какой-нибудь другой стране, где я не знал ни языка, ни обычаев и не мог бы даже заработать на пропитание. Мне представилось, как я буду голодать; к ощущению полной и отчаянной беспомощности присоединилось еще ожидание медленной смерти и сделалось самой острой стрелой в целом колчане тех, что впивались мне в сердце. Я стал все меньше значить в собственных глазах - я ведь уже больше не был жертвой преследования, от которого столько выстрадал. \_Покамест июли еще думают, что им есть смысл нас мучить, у нас остается какое-то ощущение собственного достоинства, пусть даже тягостное для нас, пусть иллюзорное\_. Даже находясь в тюрьме Инквизиции, я кому-то принадлежал: за мной следили, меня охраняли. Ныне же я был изгоем в целом мире; я горько плакал; я был подавлен ощущением огромности расстилавшейся передо мной пустыни и невозможности ее перейти.

Еврей, которого чувства эти нисколько не смущали, каждый день уходил, чтобы что-то разведать, и однажды вечером вернулся такой радостный, что у меня не оставалось сомнений насчет того, что ему удалось обеспечить если не мое спасение, то уж во всяком случае свое собственное. Он сообщил мне, что в Мадриде все уверены, что я погиб во время пожара и погребен под горящими развалинами. Он добавил, что об этом стали говорить еще больше и увереннее после того, как были обнаружены останки тех, кого раздавило упавшей аркой: все тела были так расплющены придавившими их камнями и обезображены огнем, что опознать их было уже совершенно невозможно; но как-никак останки эти были собраны, и все считали, что среди прочих находятся и мои. По всем погибшим отслужили заупокойную мессу, и \_прах их, который уместился в одном-единственном гробу\_ {3\* Эти необыкновенные похороны имели место после ужасного пожара 1816 г. в Дублине, во время которого в одном из домов на Стивенс-Грин погибло шестнадцать человек. Пишущий эти строки в течение полутора часов сам слышал крики этих страдальцев, спасти которых оказалось невозможным.}, был похоронен в склепе Доминиканской церкви, причем на погребении представители самых знатных семейств Испании, облачившись в траур и скрыв под покрывалами свои лица, молча выражали свою скорбь по тем, кого, будь эти люди живы, они ни за что на свете не признали бы своими близкими и содрогнулись бы от одной этой мысли. Разумеется, горстка пепла не могла теперь возбудить в сердцах никакой вражды, даже религиозной. Он добавил, что моя мать была в числе присутствовавших при погребении, но лицо ее было скрыто такой густой и плотной вуалью, что узнать герцогиню де Монсада было бы невозможно, и только люди вокруг шепотом передавали друг другу, что присутствие на похоронах ей было предписано как покаяние. Он добавил, к моему вящему удовлетворению, что Святая палата не без радости приняла известие о том, что я погиб во время пожара; им хотелось, чтобы все примирились с мыслью, что меня нет в живых, а уж если Инквизиция чему-то поверила, то чаще всего этому верит и весь Мадрид. Это подтверждение свидетельства о моей смерти было самой надежной гарантией моей безопасности.

Изливая мне свою радость, которая сделала его если не более гостеприимным, то во всяком случае более сердечным, еврей сообщил мне, в то время как я закусывал хлебом и водой (желудок мой все еще отказывался принимать мясо и рыбу), что вечером по городу пройдет процессия, такая пышная и торжественная, какой еще не видывал Мадрид. Святая Инквизиция появится во всем своем блеске и параде, неся изображения святого Доминика и распятие, а все монашеские ордена Мадрида должны будут присутствовать при этом и нести свои хоругви под надежной военной охраной (что по той или иной причине было сочтено необходимым или подобающим); процессия эта, к которой примкнут все жители Мадрида, проследует к главной церкви города, дабы выказать смирение по поводу недавнего бедствия и молить святых, в случае

если еще раз вспыхнет пожар, оказать людям более действенную помощь.

Наступил вечер, еврей ушел. И вот тогда, поддавшись какому-то безотчетному и неодолимому чувству, я забрался на верхний этаж дома и с бьющимся сердцем стал ждать, когда раздастся звон колоколов, который должен был возвестить начало торжественного шествия. Долго ждать мне не пришлось. Как только стемнело, все колокольни в городе задрожали от звуков множества искусно подобранных колоколов. Я находился в верхней комнате дома. Там было только одно окно, однако, прячась за занавеской, которую время от времени я раздвигал, я мог ясно видеть оттуда все происходившее на улице. Дом моего еврея выходил на площадь, по которой должно было следовать шествие и которая была до того забита народом, что я даже не представлял себе, как процессия сможет прорваться сквозь всю эту непроницаемую гущу людей. Наконец я все же ощутил движение, как будто некая сила где-то вдалеке подтолкнула огромную толпу, и та теперь катилась и чернела внизу, словно океан при первом и далеком еще порыве бури.

Толпа раскачивалась из стороны в сторону, но, казалось, нисколько не расступалась. Но вот процессия двинулась. Мне было видно, как она приближается, ибо путь ее обозначался распятиями, хоругвями и свечами (ее ведь отложили до наступления полной темноты для того, чтобы при свете факелов она выглядела эффектнее). И я увидел, как толпа вдруг широко расступилась. И тогда процессия хлынула вперед подобно полноводной реке меж двумя берегами, которые образовывали человеческие тела; берега эти все время находились друг от друга на одном расстоянии, как будто они оделись в камень, а все кресты, хоругви и свечи казались гребнями пены на высоких волнах, которые то вздымались, то опускались снова. Наконец они надвинулись мощным прибоем, и процессия во всем своем блеске предстала моим глазам: никогда я не видел такого величия, такого великолепия. Сверкающие одежды священников, свет факелов, который пробивался сквозь сумерки и, казалось, говорил, обращаясь к небесам: "Ваше солнце зашло, но у нас есть свое"; торжественный и решительный вид участников шествия, которые вели себя так, как будто ступали по телам королей и, казалось, вопрошали: "Значит ли что-нибудь скипетр перед крестом?", и само это колыхавшееся в воздухе черное распятие и хоругвь святого Доминика с устрашающей надписью на ней {6} - это было зрелище, которое не могло оставить равнодушным ни одно сердце, и я радовался тому, что я католик. Вдруг в толпе поднялось смятение, я не мог понять, откуда оно: у всех, казалось, был такой довольный, такой ликующий вид.

Я отдернул занавеску и при свете факелов увидел среди толпы священников, которые окружали изображение святого Доминика, фигуру моего спутника. История его всем была хорошо известна. Послышалось какое-то сдавленное шипение, которое перешло потом в дикий, приглушенный рев. Доносившиеся из толпы отдельные голоса громко повторяли: "Что это такое? И они еще спрашивают, почему тюрьма Инквизиции сгорела? Почему Пресвятая дева оставила нас? Почему святые отвернули от нас свои лики? Не видят они, что ли - вместе со служителями Инквизиции шагает отцеубийца! Как могли позволить нести хоругвь тому, кто перерезал горло собственному отцу?". Вначале слова эти раздавались только из уст отдельных людей, однако шепот этот быстро распространился в толпе; сверкали лютые взгляды, поднимались сжатые кулаки; иные же наклонялись, чтобы подобрать горсть земли или камень. Процессия, однако, продвигалась вперед, и толпа становилась на колени перед высоко поднятыми распятиями, которые несли священники. Но ропот становился все громче; слова: "отцеубийца", "святотатство", "жертва" слышались со всех сторон, и даже из уст тех, кто становился на колени прямо среди грязи, завидев приближающееся распятие. Гул толпы нарастал - теперь его уже больше нельзя было принять за произносимые шепотом молитвы. Вдруг идущие впереди священники остановились, им трудно было скрыть свой страх, и все это



словно явилось сигналом к разыгравшейся вслед за тем ужасной сцене.

Один из офицеров стражи решил сообщить Главному инквизитору о грозящей опасности, но в ответ услышал суровые отрывистые слова:

- Поезжайте вперед, служителям Христа нечего бояться.

Процессия пыталась продвинуться вперед, но дорогу ей преградила толпа, как видно замыслившая что-то недоброе. Навстречу ей полетели камни. Но стоило священникам поднять распятия, как все снова упали на колени, не выпуская, однако, из рук камней. Офицеры стражи снова обратились к Главному инквизитору, прося его разрешить им разогнать толпу. В ответ они слышали все те же сухие суровые слова:

- Распятия Христова достаточно, чтобы защитить его слуг; что из того, что вас одолевают страхи, я ничего не боюсь.

Взбешенный этим ответом, молодой офицер снова вскочил на коня, с которого он сошел из уважения перед главой Инквизиции, но не прошло и минуты, как был с него сброшен: камнем ему проломил череп. Он успел только обратить на инквизитора свои залитые кровью глаза и тут же испустил дух. Толпа громко завопила и сдвинулась плотнее. Намерения ее были теперь более чем ясны. Разъяренные люди стали с разных сторон теснить ту часть процессии, где должна была находиться намеченная ими жертва. Офицеры снова стали настойчиво просить, чтобы им позволили разогнать толпу или хотя бы защитить ненавистного ей человека и дать ему возможность укрыться в одной из ближайших церквей или в стенах самой Инквизиции. Да и сам несчастный громкими криками своими - ибо видел, что преследователи окружают его все более тесным кольцом, - стал молить о том же. Главный инквизитор побледнел, однако и на этот раз не захотел поступиться своим гордым решением.

- Вот мое оружие! - вскричал он, указывая на распятие, - а на нем начертано: {Сим победиши {7} (греч.).} Да не шевельнется ни одна шпага, ни один мушкет! Именем божьим вперед! - и они попытались продвинуться дальше, однако теперь это уже было невозможно.

Вырвавшись из подчинения стражи, толпа бушевала; распятия замелькали и закачались, как боевые знамена; духовные лица в смятении и страхе стали теснее прижиматься друг к другу. В этой надвигающейся людской лавине выделялось одно явно выраженное и отличное от всего начало - то, что влекло какую-то часть этой толпы прямо к месту, где ее жертва, хоть и окруженная и укрытая всем, что есть самого страшного на земле и самого грозного на небе, - защищенная силою креста и меча, - стояла, сотрясаясь от дрожи. Главный инквизитор слишком поздно обнаружил свою ошибку; теперь он громко требовал, чтобы стража выступила вперед и любыми средствами разогнала толпу. Стражники пытались исполнить его приказание, но к этому времени сами они уже смешались с народом. От порядка не осталось и следа, к тому же и среди самой стражи появилось какое-то противодействие тому, чего от нее хотели. Они все же попытались сделать несколько выстрелов из мушкетов, но толпа так обступила их со всех сторон и так плотно облепила лошадей, что всадники не смогли даже встать в строй, а обрушившийся на них град камней сразу же поверг их в полное смятение. Опасность с каждой минутой возрастала; теперь вся толпа, казалось, была охвачена одним общим порывом. То, что прежде было сдавленным ропотом отдельных людей, превратилось теперь в один общий рев.

- Выдайте его нам, он должен быть нашим.

Толпа вздымалась и редела, как тысячи волн, что низвергаются на тонущее судно. Когда военные вынуждены были отойти, десятки священников сразу же обступили несчастного и в порыве отчаянного великодушия приняли на себя все неистовство толпы. Главный инквизитор поспешил сам подойти к этому страшному месту и стоял теперь во главе священников; в руках он держал поднятый крест. Он был бледен как смерть, но в глазах его горел все тот же огонь, а в голосе звучала все та же неумная гордыня. Однако усилия его оказались напрасными; толпа

продолжала свое дело: спокойно и даже, можно сказать, уважительно (когда ей не оказывали сопротивления) она устраняла со своего пути все, что ей могло помешать. При этом она проявляла даже известную осторожность в отношении священников, которых ей приходилось расталкивать, и то и дело просила извинения за насилие, которое приходилось учинять над ними. И эта спокойная решимость осуществить задуманную месть была самым зловещим признаком того, что жители Мадрида ни при каких обстоятельствах не отступят от своего решения. Последнее кольцо разомкнулось, последнее сопротивление было сломлено. Рыча, как тысячи тигров, они схватили свою жертву и поволокли ее за собой; в обеих руках у несчастного оставались ключья одежды тех людей, за которых он цеплялся в последнюю минуту, тщетно пытаясь удержаться; теперь же в бессилии и отчаянии своем он так и не выпустил их из рук.

Крик на минуту затих: преследователи поняли, что жертве теперь не уйти из их лап, и только глядели на нее всепожирающими глазами. Потом крики эти возобновились, и кровавое дело началось. Они кинули его оземь, снова вздернули кверху, подбросили в воздух, швыряя из рук в руки; так разъяренный бык бодает и, подняв на рога, кидает то туда, то сюда воющего от боли пса. Весь окровавленный, обезображенный, вымазанный землей и избитый камнями, он продолжал свою борьбу с ними, оглашая воздух дикими воплями, пока последний неистовый крик не возвестил о том, что близится окончание сцены, страшной для людей и позорной для цивилизации. Военные, получив мощное подкрепление, мчались галопом, а священники в разорванных рясах, со сломанными крестами спешили за ними следом: все старались оказать помощь человеку в беде, все горели желанием предупредить это подлое и позорное преступление, унижающее и христианство, и все человечество.

Увы, вмешательство это только ускорило страшную развязку. У толпы оставалось теперь совсем мало времени, чтобы завершить свой кровавый замысел. Я видел, всем существом своим ощущал последние мгновения этой страшной расправы, но описать их я не в силах. Вытащив из грязи и камней изрубленный кусок человеческого мяса, его кинули к дверям того самого дома, где я скрывался. Язык его свисал из разодранного рта, как у затравленного быка; один глаз был вытасчен из глазницы и болтался на окровавленной щеке; ноги и руки его были переломаны, все тело изранено, а он все еще вопил: "Пощадите меня, пощадите!", пока камень, брошенный чьей-то милосердной рукой, его не добил. Как только он упал, тысячи ног принялись топтать его и за мгновение превратили в кровавую и грязную жижу. К этому времени прискакала конница, и началась яростная стрельба. Насытившаяся жестокостью и кровью толпа в мрачном безмолвии расступилась. Но от человека не осталось ни одной косточки, ни единого волоска, ни клочка кожи. Если бы Испания решила собрать все свои реликвии - от Мадрида до Монсеррата {8}, от Пиренеев до Гибралтара, она бы не нашла ни одного кусочка ногтя, чтобы потом объявить его святыми мощами.

- А где же убитый? - спросил прибывший во главе конницы офицер после того, как копыта его коня ступили по расползшейся кровавой жиже.

- Под копытами вашего коня {4\* Такой случай произошел в Ирландии в 1797 г., когда был убит несчастный доктор Гамильтон {9}. Офицер спросил, что это за куча грязи под копытами его коня, и ему ответили: "Это тот, за кем вы приехали".}, - услышал он в ответ, после чего вся конница ускакала.

\* \* \* \* \*

Заверяю вас, сэръ, что при виде этой ужасной казни я ощутил на себе действие того, что обычно именуется колдовскими чарами. Я вздрогнул при первом же порыве волнения, в ту минуту, когда по толпе пронесся глухой и упорный шепот. Я невольно вскрикнул, когда действия ее сделались решительными; когда же обезображенное тело швырнули к дверям нашего дома, я, повинувшись какому-то дикому инстинкту, стал вторить неистовым крикам толпы. Я

привскочил, на мгновение сжал кулаки, а потом принялся кричать сам, будто эхом отзываясь на крики обрубка, в котором, по-видимому, уже не осталось других признаков жизни, кроме одного этого крика. И вот я принялся так же громко, душераздирающе кричать вместе с ним, моля сохранить ему жизнь, взывая о милосердии! И в эту минуту, когда я, забыв обо всем на свете, только кричал, чье-то лицо повернулось в мою сторону. То был мгновенный, устремленный на меня и тут же отведенный в сторону взгляд. Блеск этих столь знакомых мне глаз не произвел тогда на меня никакого действия. Жизнь моя в те минуты была настолько бездумна, что, ни в малейшей степени не сознавая, какой опасности я себя подвергаю (а ведь если бы меня обнаружили, мне грозила едва ли не такая же кара, как та, что постигла эту несчастную жертву), я продолжал без устали кричать и вопить: я, вероятно, отдал бы все на свете, чтобы только отойти от окна, и, однако, чувствовал, что каждый мой крик точно гвоздем меня к нему прибавал; когда я старался опустить веки, у меня было такое чувство, будто чья-то рука все время поднимает их вновь или будто она начисто вырезала их и теперь заставляет меня против воли глядеть на все, что происходит внизу, подобно тому, как Регула, вырезав ему веки, заставляли глядеть на солнце {10}, которое выжигало ему глаза, - до тех пор, пока, перестав вообще что-либо видеть, чувствовать, понимать, я не упал, все еще продолжая держаться за оконную задвижку и в охватившем меня страшном исступлении все еще вторя крикам толпы и реву ее жертвы {5\* Когда в Дублине в 1803 г. вспыхнуло восстание Эммета и (рассказ о \_событии\_, которое легло в основу приведенного мною здесь описания, я слышал из уст очевидца), лорда Килуордена, проезжавшего в это время по Томас-стрит, вытащили из кареты и зверски убили {12}. В тело его вонзали клинок за клинком, пока его не пригвоздили к двери и он не стал взывать к убийцам, моля их "избавить его от мук". В эту минуту сапожник, живший на чердаке дома напротив, услышав страшные крики, кинулся к окну. Жена пыталась оттащить его, но он, задыхаясь от ужаса, продолжал стоять и смотреть. Он видел, как жертве был нанесен последний удар, он слышал ее предсмертный стон и крик несчастного: "Избавьте меня от мук", в то время как более полусотни клинков вонзались в его тело. Сапожник стоял как прикованный и не мог оторваться от окна. Когда же его наконец оттащили, то оказалось, что он помешался.}. Я и на самом деле на какое-то мгновение ощутил, что истязают не его, а меня. Ужасы, которые мы видим на сцене, обладают неодолимой силой превращать зрителей в жертвы.

Еврей провел эти часы где-то вдалеке от всех тревог. Он, может быть, говорил себе слова нашего удивительного поэта:

О праотец Авраам, что за люди эти христиане! {13}

Но, вернувшись уже поздно ночью, он, к ужасу своему, увидел, до какого страшного состояния я дошел. Я был в бреду, сам не свой, и что он только ни говорил и ни делал, чтобы меня успокоить, - все было напрасно. Все виденное произвело на меня неизгладимое впечатление, и, как мне потом говорили, мой несчастный хозяин имел вид столь же мрачный и нелепый. С перепугу он позабыл все те условно принятые христианские имена, которыми он назвал своих домочадцев, во всяком случае с той поры, как перебрался с семьей в Мадрид. Громким голосом призывал он сына своего Манассию бен-Соломона и служанку свою Ревекку, чтобы те помогли удержать меня.

- О праотец Авраам, - восклицал он, - все пропало, этот безумный всех нас выдаст, и Манассия бен-Соломон, мой сын, умрет необрезанным.

Слова эти подействовали на мое расстроенное воображение. Я вскочил и, схватив еврея за горло, объявил, что предаю его суду Инквизиции. Несчастный в испуге упал на колени и завопил:

- Петух мой... петух... петух! О! Я пропал! Нет, я не еврей, - вскричал он, припадая к моим ногам, - мой сын, Манассия бен-Соломон - христианин; вы не выдадите его, не выдадите меня, я

ведь спас вам жизнь. Манассия, я хочу сказать, Антонио, Ревекка, то бишь Мария, помогите мне его удержать! О бог Авраама, что с моим петухом, с моей искупительной жертвой! Подумать только, что этот безумный ворвался к нам в тайное тайных, отдернул завесу со святилища!

- Завесьте его, - сказала Ревекка, старая служанка, о которой уже шла речь, - говорю вам, закройте святилище и задерните занавеску, не слышите вы, что ли, как в двери к нам стучат, стучат сыны Велиала {14}, колотят палками и камнями; еще минута, и они ворвутся к нам; топорами и молотами они сломают нашу дверь, уничтожат всю резьбу.

- Врешь, - вскричал еврей вне себя от волнения, - нет там никакой резьбы, и не посмеют они ее портить молотами и топорами. Может, это дети Велиала напились пьяными и шатаются по улицам. Прошу тебя, Ревекка, покарауль у двери и не подпускай к ней сынов Велиала, даже сынов власть имущих грешного города - города Мадрида, пока я не убегу отсюда этого мерзкого нечестивца, который еще борется со мной, да, борется изо всех сил, - а я действительно с ним боролся изо всех сил. Но пока шла наша борьба, стук в дверь становился все громче и ожесточенней, и, уже когда меня уносили, еврей все еще повторял:

- Покажи им свое лицо, Ревекка, пусть они увидят, что лицо у тебя как кремень.

Он стал уже уходить, когда Ревекка воскликнула:

- Поглядите, я выставила им спину, лицо мое тут не поможет. Я покажу им спину и этим их одолею.

- Прошу тебя, Ревекка, - настаивал старик, - высунь лицо свое и этим ты их победишь. Не поворачивайся к ним задом, а покажи им лицо и увидишь, если это мужчины, они убегут, пусть их будет даже тысяча, испугаются и убегут. Молю тебя, покажи им еще раз твое лицо, Ревекка, пока я не спроважу этого козла в пустыню. Уверен, что вид лица твоего прогнал бы тех, кто стучал ночью в дом в Гиве {15} и кто погубил жену одного из вениамитян {16}.

Стук меж тем становился еще громче.

- Поглядите, они мне всю спину пообили, - вскричала Ревекка, оставив свой пост и отбежав от двери, - истинно говорю вам, оружие сильных сокрушает все перемычки и косяки; руки у меня ведь не стальные, ребра - не железные, поглядите, у меня больше никаких сил нет, никаких сил, я валюсь с ног и попаду теперь в руки необрезанных!

Едва она успела проговорить это, как дверь подалась, и она действительно повалилась навзничь, попав, однако, при этом отнюдь не в руки необрезанных, а в руки двух своих соотечественников, у которых, как видно, были чрезвычайные причины для того, чтобы явиться в такой поздний час и применить силу, чтобы попасть в дом.

Увидев, кто пришел, еврей оставил меня одного и тщательно запер дверь. Почти всю ночь проговорил он с обоими посетителями, и должно быть о вещах очень важных. Не знаю уж, о чем шла речь, но наутро по лицу моего хозяина можно было понять, что он в большой тревоге. Он встал рано, исчез на целый день и, вернувшись поздно вечером, тут же пришел ко мне в комнату и очень обрадовался, увидев, что я совершенно успокоился и сижу тихо. На стол поставили подсвечники со свечами, Ревекку отправили спать, и мой еврей, после того как он несколько раз тяжелыми шагами прошел взад и вперед по тесной комнате, все время откашливаясь, наконец уселся и набрался смелости поделиться со мной обстоятельством, повергшим его в смятение, причем какая-то особая чуткость, свойственная людям в горе, роковым образом подсказала мне, что я в известной степени к этому причастен. Он сообщил мне, что известие о моей смерти, которому так безоговорочно поверил весь Мадрид, вначале его успокоило; теперь же по городу распространился новый слух, который, как он ни лжив и ни невероятен, может рано или поздно привести к самым страшным для нас последствиям. Он спросил меня, возможно ли, что я оказался настолько неблагоразумен, что в этот ужасный вечер появился в окне перед глазами всего собравшегося народа. Когда же я признался, что стоял у окна и невольно вскрикивал, что я

боюсь, что действительно кто-то мог услышать мои крики, он в ужасе стал ломать руки, а на бледном лице его выступили капли холодного пота.

Придя в себя, он рассказал, что все в городе говорят, будто в этот страшный вечер являлся мой призрак, будто люди видели, как я парил в воздухе, взирая на предсмертные муки несчастной жертвы, и что они слышали, как голос мой призывал умирающего на Страшный суд. Он добавил, что история эта, которая людям суеверным кажется вполне вероятной, передается теперь из уст в уста и что, хоть рассказ этот до крайности нелеп, он неминуемо будет воспринят как повод для того, чтобы Святая Инквизиция вновь и вновь проявляла неустанную бдительность и неослабное рвение, в результате которых меня в конце концов могут обнаружить. Поэтому он собирается открыть мне некую тайну, зная которую, я смогу оказаться в полной безопасности даже здесь, в самом центре Мадрида, до тех пор пока можно будет отыскать тот или иной способ бежать отсюда и поселиться в какой-нибудь протестантской стране, где Инквизиция уже не сможет меня настичь.

Едва только он собрался открыть мне эту тайну, от которой зависела безопасность нас обоих, тайну, которую я приготовился выслушать, цепenea от страха, как послышался новый стук в дверь, совсем непохожий на тот, который мы слышали накануне. Постучали один раз, и то был решительный и властный стук, вслед за которым именем Святейшей Инквизиции потребовали, чтобы им немедленно открыли. Услышав эти страшные слова, несчастный еврей упал на колени, задул свечи, воззвал к помощи всех двенадцати патриархов и надел себе на руки большие четки, причем проделал все это с быстротой, казалось, немыслимой для человеческого существа, которому пришлось выполнять столь многочисленные и разнообразные движения. Постучали еще раз; я стоял в полном оцепенении; еврей, однако, вскочил, мгновенно приподнял одну из досок пола и каким-то судорожным и безотчетным движением сделал мне знак сойти вниз. Я повиновался и в ту же минуту оказался в полной темноте и - в безопасности.

Спустился я всего на несколько ступенек; на последней я остановился, продолжая трястись от страха, а в это время служители Инквизиции вошли в дом, и шаги их заскрипели по доскам пола, под которым я был спрятан. Я мог ясно расслышать каждое их слово.

- Дон Фернан, - сказал один из инквизиторов, обращаясь к моему хозяину, который почтительно открыл дверь и теперь шел следом за ними, - почему вы не впустили нас сразу?

- Святой отец, - отвечал еврей, весь дрожа, - единственная служанка моя; Мария, стара и глуха, мой юный сын лег уже спать, а сам я творил молитвы.

- Ты, как видно, умудрялся молиться в темноте, - сказал другой, указывая на потушенные свечи, которые еврею теперь пришлось зажигать снова.

- Досточтимые отцы, когда око господне взирает на меня, мне никогда не бывает темно.

- Око господне взирает на тебя сейчас, - сурово сказал судья, усаживаясь в кресло, - равно как и другое, то, которому господь наш поручил неусыпно бдеть и беспрепятственно проникать всюду, око Пресвятой Инквизиции. Дон Фернан де Нуньес, - таково было имя, которое принял еврей, - ты должен знать, сколь снисходительна церковь к тем, кто отказался от заблуждений проклятой еретической нации, к которой ты принадлежишь, но вместе с тем должен также знать, сколь неусыпна та бдительность, которую она проявляет в отношении подобных тебе: они всегда бывают ей подозрительны и наводят на мысль, что обращение их в католичество неискренне и они легко могут вернуться к своей прежней вере. Мы знаем, что в поганых жилах твоих предков текла черная кровь Гранады {17} и что еще каких-нибудь четыре столетия назад они попирали ногами тот крест, перед которым теперь простираются ниц. Ты старый человек, дон Фернан, но не \_старый христианин\_, и, учитывая это, Святой палате надлежит самым тщательным образом следить за твоим поведением.

Несчастный еврей, призывая всех святых, заверял, что за все то строгое наблюдение,

которым Святая Инквизиция оказывает ему честь, он считает себя обязанным ей и испытывает к ней благодарность, и начал при этом отрекаться от веры своих отцов столь неистово и рьяно, что поверг меня в дрожь: я стал уже сомневаться, что он может быть искренен не только в какой бы то ни было религии, но и в своем отношении ко мне. Служители Инквизиции, равнодушно выслушав все его заверения, сообщили ему цель своего прихода. Они заявили, что странный и невероятный рассказ о том, что призрак умершего узника Инквизиции будто бы парил в воздухе близ его дома, навел умудренную опытом Святую палату на мысль, что человек этот жив и скрывается, может быть, в его стенах.

Я не видел, как задрожал при этом еврей, однако я почувствовал, как заходили половицы, на которых он стоял, и как движение их передалось ступенькам лестницы, которая мне служила опорой. Сдавленным, прерывающимся голосом еврей стал умолять, чтобы инквизиторы обыскали все закоулки дома и чтобы они сравняли весь этот дом с землей, а самого его погребли под обломками, если им удастся обнаружить хоть что-нибудь такое, что не подобает держать у себя правоверному и благочестивому христианину.

- Можете не сомневаться, мы все это продеваем, - сказал инквизитор с величайшим sang froid {Хладнокровием (франц.)}, ловя его на слове, - а до тех пор, дон Фернан, позвольте мне сообщить вам, какой опасности вы себя подвергаете, если когда-нибудь, пусть даже очень нескоро, будет обнаружено, что вы приютили у себя узника Инквизиции и врага нашей пресвятой церкви или даже просто помогли ему где-то укрыться. Первое, что тогда сделают, - и это будет еще только началом, - дом ваш сравняют с землей.

Тут инквизитор повысил голос и, для того чтобы придать своей речи больше выразительности, стал нарочито останавливаться после каждой произнесенной фразы, словно стараясь соразмерить вес ее с все возрастающим ужасом того, к кому она была обращена.

- Вас заключат в нашу тюрьму как еврея, подозреваемого в том, что он снова вернулся к своей вере. Сына вашего заточат в монастырь, дабы уберечь его от вашего вредоносного влияния. А все ваше имущество конфискуют до последнего камня в стене, до вашей последней исподней одежды, до последнего гроша в кошельке.

Несчастный еврей выражал свой все возрастающий страх стонами, которые становились все громче и протяжнее после каждого грозного предупреждения; при упоминании о конфискации имущества, такой безоговорочной и опустошительной, потерял последнее самообладание и, вскричав: "О праотец Авраам и все святые пророки!", упал, как я мог заключить по донесшемуся до меня звуку, и, должно быть, лежал теперь простертый на полу.

Я считал, что мне уже нет спасения. Ведь если даже оставить в стороне его трусость, то всего сказанного им было достаточно, чтобы выдать себя инквизиторам. И не раздумывая ни минуты над тем, что окажется для меня опаснее - попасться в их руки или углубиться в крошечную тьму подземелья, в котором я очутился, я поспешил спуститься вниз по лестнице, на которой стоял, и, когда убедился, что она кончилась, стал ощупью пробираться по темному проходу.

### Глава XIII

Там, - в склепе, обретался дух,

Во всем принявший облик человека {1}.

Саути. Талаба

Я убежден, что, будь подземный ход этот самым длинным из всех, по которым устремлялись археологи, искавшие в глубинах пирамид гробницу Хеопса {2}, ослепленный отчаянием, я все равно бы стал упорно ползти по нему до тех пор, пока голод и измождение не вынудили бы меня остановиться. Однако на пути моем не встретилось подобных препятствий: пол на всем, его протяжении был гладким, а стены покрыты обивкой. И хоть мне и приходилось

ползти в темноте, я все же был в безопасности: достаточно сказать, что я все дальше уходил от преследований Инквизиции, от возможности быть обнаруженным. Поэтому я даже особенно не раздумывал о том, куда меня может привести этот путь.

Я пробирался вперед, движимый тем величием отчаяния, при котором мужество неотделимо от малодушия, - и вдруг заметил вдалеке едва мерцавший свет. И как ни слабо мерцал он, я отчетливо его видел, я уже не сомневался в том, что это действительно свет. Великий боже! Сколько перемен внесло в мой погруженный во тьму мир это внезапно блеснувшее солнце, как согрелась в жилах моих кровь, с какой новой силой забилося вдруг сердце! Могу без преувеличения сказать, что по сравнению с прежним моим черепашным шагом я стал двигаться в сто раз быстрее. Подойдя ближе, я увидел, что свет проникает сквозь щели между косяком и потрескавшейся от сырости дверью. Изнеможение, а вместе с тем и любопытство заставили меня опуститься на колени и прикинуться к одной из этих щелей. Она была настолько широка, что я смог увидеть все, что творилось внутри.

Это было большое помещение, стены которого фута на четыре от пола были обиты темной байкою, а внизу выстланное толстыми коврами, возможно для того, чтобы туда не могла проникнуть сырость. Середину комнаты занимал покрытый черным сукном стол, на нем стоял старинный железный светильник причудливой формы; свет его направлял мои шаги и теперь помогал мне разглядеть необычное убранство комнаты. Среди карт и глобусов я заметил какие-то инструменты, назначение которых мне было тогда непонятно. Как я потом узнал, иные из них употреблялись для вскрытия трупов. Там же находилась электрическая машина и весьма примечательная \_модель дыбы\_ 3, сделанная из слоновой кости; наряду с книгами можно было также увидеть пергаментные свитки, надписанные крупными буквами - красными чернилами и еще другими - цвета охры. Из углов комнаты на вас смотрели \_четыре\_ скелета; они не лежали, а стояли в своих гробах, и от этого зияющие пустоты их выглядели зловеще и властно; казалось, что именно они, эти четыре остова, и были истинными и законными владельцами этого странного места. Между ними стояли чучела разных животных, названий которых я тогда не знал; среди них было чучело аллигатора, какие-то огромные кости, которые я принял за кости Самсона, но которые в действительности оказались костями мамонта, и внушительного вида рога; со страха я уже подумал, не рога ли это самого дьявола, но это были олени. Вслед за этим я увидел меньшие по объему, но не менее ужасные фигуры - то были зародыши людей и животных на разных стадиях развития своих противоестественных форм, не заспиртованные, а просто поставленные в ряд, они поражали ужасной, ничем не прикрытой белизной своих костяков. Я решил тогда, что это, должно быть, бесенята, принимающие участие в некоем дьявольском действе, возглавляемом колдуном, которого я в эту минуту увидел.

В конце стола сидел старик, закутанный в длинную хламиду; на голове у него была черная бархатная шапочка, отороченная широким мехом; очки его были так велики, что почти закрывали лицо; он тревожно переворачивал какие-то свитки пергамента, и руки его дрожали; потом, схватив костлявыми желтыми пальцами другой руки лежавший на столе череп, он обратился к нему с какими-то проникновенными словами. Все страхи мои словно рассеялись, их сменила еще более страшная мысль, что я сделался свидетелем какой-то дьявольской ворожбы. Я все еще продолжал стоять на коленях, когда долгое время сдерживаемое дыхание вырвалось из меня стоном, который сразу же достиг слуха человека, сидевшего у стола. Неизбежное в старости ослабление слуха восполнялось в нем привычкой всегда быть настороже. Не успел я опомниться, как дверь распахнулась, и меня схватила за руку его сильная, хоть и высушенная временем рука; мне сразу представилось, что я попал в лапы дьявола.

Дверь закрыли и заперли на засов. Зловещая фигура стояла теперь надо мной (я упал и лежал на полу).

- Кто ты такой и зачем явился сюда? - спросил глухой голос.

Я не знал, что ответить, и в безмолвии своем только пристально взирал на скелеты и на все остальное, что окружало меня в этом страшном подземелье.

- Постой, - услышал я, - ты же, наверное, голоден, и тебе надо подкрепиться. Выпей-ка вот из этой чаши, напиток этот освежит тебя как вино; право же, он пройдет по кишкам твоим легко как вода, и как маслом смажет твои суставы.

С этими словами он протянул мне чашу со странного вида жидкостью. Я оттолкнул его руку и не стал пить: я был убежден, что в чаше у него колдовское зелье, все страхи мои отступили перед самым страшным - попасть в рабство к дьяволу и сделаться жертвой одного из его посланцев, каким мне показалось это странное существо. И я стал призывать на помощь Спасителя и всех святых и, всякий раз осеняя себя крестным знаменем, восклицал:

- Отыди, искуситель, побереги свое адское зелье для нечестивых губ твоих бесенят или проглоти его сам. Я только что вырвался из рук инквизиторов, но в тысячу раз лучше мне было бы вернуться и принести им себя в жертву, нежели становиться твоей жертвой: ничего я так не боюсь, как твоих милостей. Даже в тюрьме Святой Инквизиции, где перед глазами у меня уже полыхал костер, а тело мое заковывали в цепь, чтобы привязать к столбу, я находил в себе силы пережить все самое страшное для человека, но я ни за что бы не поступился спасением души ради того, чтобы этих ужасов избежать. Мне было дано выбирать, и я выбрал, и не мог бы поступить иначе, если бы все это повторилось снова и снова, даже если бы в конце концов меня действительно привязали к столбу и разожгли подо мною костер.

Испанец умолк: его охватило волнение. Увлеченный своим рассказом, он в какой-то степени открыл тайну, которую, по его словам, можно доверить только священнику на исповеди. Мельмот, уже знавший кое-что из рассказа Стентона, легко мог предположить, что и здесь дело именно в этом; он решил, что было бы неблагоприятно выпытывать у него, что было дальше, и стал молча ждать, пока волнение его гостя уляжется, не позволяя себе делать какие-либо замечания или задавать вопросы. Наконец Монсада возобновил свой рассказ.

- Все время, пока я говорил, старик пристально смотрел на меня, и глаза его выражали спокойное удивление, так что мне стало стыдно всех моих страхов еще до того, как я успел высказать их вслух.

- Как! - воскликнул он наконец, должно быть остановив свое внимание на каких-то поразивших его моих словах, - оказывается, это ты вырвался из рук, которые наносят свой удар в темноте, из рук самой Инквизиции? Так это ты тот назарянин, который искал убежища в доме брата нашего Соломона, сына Хилкии, того, кого идолопоклонники пленившей его страны называют именем Фернана Нуньеса? Я действительно ожидал, что сегодня ночью ты будешь есть мой хлеб и пить из чаши моей и станешь у меня писцом, - ведь брат наш Соломон сказал о тебе: "Почерк у него ровный: и он годится в писцы".

Я изумленно глядел на него. Я стал смутно припоминать, что Соломон действительно собирался указать мне какое-то надежное и тайное убежище; и теперь вот, продолжая испытывать страх перед странной обстановкой, в которой мы находились, и перед тем, чем, должно быть, занимался этот человек, я почувствовал вдруг, что сердце мое окрылила надежда; она подтверждалась тем, что старик знал о моем бедственном положении.

- Садись, - сказал он сочувственно, заметив, что ноги у меня подкашиваются как от крайнего упадка сил, так и от душевного смятения и страха, - садись, съешь кусок хлеба, выпей воды, успокойся, а то вид у тебя, как у птицы, что вырвалась из силка и по которой стрелял охотник.

Я невольно повиновался. Мне необходимо было подкрепить силы, и я уже собрался было приняться за предложенную им еду, как вдруг почувствовал неодолимое отвращение и ужас;



оттолкнув все, что он мне протянул, я в оправдание мое мог только указать на окружавшие меня предметы как на причину, по которой я ничего не мог есть. Старик окинул взглядом комнату, словно не веря, что столь привычные ему вещи могли так напугать пришельца, а потом только покачал головой.

- Ты глупец, - сказал он, - но ты назарейнин, и мне тебя жаль; право же, те, кто воспитывал тебя, не только закрыли книгу мудрости для тебя, но и сами позабыли в нее заглянуть. Неужели учителям твоим, иезуитам, было неведомо искусство врачевания и неужели глаза твои никогда не видели самых обыкновенных медицинских инструментов? Прошу тебя, ешь и будь спокоен, здесь нет ничего, что могло бы принести тебе вред. Эти мертвые кости не могут ни потчевать тебя едой, ни отнять ее у тебя; они не могут ни связать тебя, ни стянуть твои суставы железом, ни разрубить сталью, как то сделали бы живые руки, те, что уже протянулись, чтобы схватить тебя и сделать своей добычей. И так же верно, как то, что на свете есть бог, ты сделался бы их добычей и достался бы их железу и стали, если бы тебя не приютил сейчас Адония.

Я немного поел, крестясь всякий раз, когда подносил пищу ко рту, и выпил вино; от лихорадочного волнения и страха в горле у меня пересохло, и я проглотил его, словно эта была вода, все время, однако, продолжая молить господа не дать ему превратиться в какое-нибудь вредоносное сатанинское зелье. Еврей Адония наблюдал за мной со все возрастающим сочувствием и презрением.

- Чего ты боишься? - спросил он. - Если бы я был одержим теми злыми силами, которые приписывает мне твоя суеверная секта, то неужели бы я не угостил всех этих бесов тобою, вместо того чтобы предлагать еду тебе? Неужели бы я не мог вызвать из недр земли голоса тех, кто "выглядывает и бормочет", наместо того чтобы говорить с тобой человеческим голосом? Ты действительно в моей власти, только у меня нет ни возможности, ни желания причинить тебе вред. У тебя хватило мужества бежать из тюрьмы Инквизиции, так как же ты можешь бояться того, что тебя окружает тут, в камерке одинокого лекаря? Я прожил в этом подземелье шестьдесят лет, так неужели же тебе страшно пробыть в нем считанные минуты? Все это скелеты человеческих тел, а в логове, из которого ты бежал, тебя окружали скелеты погибших душ. Все это свидетельства заблуждений или причуд природы, а ты явился оттуда, где человеческая жестокость, упорная и непрестанная, неослабная и ничем не смягченная, все время оставляет доказательства своей силы в виде недоразвитых умов, искалеченных тел, искаженной веры и окаменевших сердец. Мало того, здесь вокруг тебя и свитки пергамента, и карты, исписанные точно человеческой кровью, но даже если это и было бы так, то может ли целая тысяча их наполнить человека таким ужасом, как одна только страница истории тюрьмы, где ты сидел, что действительно написана кровью - и не из застывших жил мертвеца, а из разорвавшихся там в муке живых сердец. Ешь, назарейнин, еда твоя не отравлена, пей - в чаше твоей нет никакого яда. Можешь ты поручиться, что его не только не окажется в тюрьме Инквизиции, но даже и в кельях иезуитов? Ешь и пей без страха - и в подземелье, будь то даже подземелье, где живет еврей Адония. Если бы ты осмелился на это в жилище назарейн, мне никогда бы уже не довелось тебя увидеть. Ну как, поел? спросил он. Я кивнул головой. - А ты пил из чаши, которую я тебе дал? Мучительная жажда снова вернулась ко мне, и я протянул ему чашу.

Старик улыбнулся, но в улыбке стариков, в улыбке, которая кривит столетние губы, есть что-то уродливое и отвратительное: это отнюдь не улыбка радости, губы хмурятся, и я невольно отшатнулся от этих угрюмых складок рта, когда еврей Адония сказал:

- Если ты уже поел и попил, пора тебе отдохнуть. Ляг в постель, может быть, она будет жестче той, на которой ты спал в тюрьме, но, поверь, она понадежнее. Иди ложись, я думаю, что никакой соперник, никакой враг тебя теперь не отыщет.

Я пошел за ним следом по переходам, которые были так извилисты и путаны, что, как я ни был потрясен всеми событиями этой ночи, в памяти моей вдруг всплыло то, что, вообще-то говоря, было давно известно: по всему Мадриду евреи соединили свои дома подземными ходами, и, несмотря на все старания, Инквизиции никак не удавалось их обнаружить. Ночь эту (вернее, день, ибо солнце уже взошло) я проспал на соломенном тюфяке, положенном прямо на пол, в маленькой очень высокой комнате, где стены были до половины обиты. Сквозь единственное узкое окно с решеткой туда проникали лучи солнца, всходившего после этой тревожной ночи; там под сладостные звуки колоколов и еще более сладостные для меня звуки человеческой жизни вокруг, которая пробудилась и напоминала теперь о себе, я погрузился в дремоту и, ничего даже не увидев во сне, пребывал в ней до конца дня, или, на языке Адонии, "до тех пор, пока вечерние тени не окутали лик земли".

#### Глава XIV

Unde iratos deos liment, qui sic propitios merentur {\*}

{\* Чего же бояться гнева богов тому, кто заслужил их расположение {1} (лат.).}

Сенека

Когда я проснулся, старик стоял возле моей постели.

- Вставай, поешь и попей, надо тебе подкрепиться, - сказал он, указывая на маленький, очень просто накрытый столик, на котором мне была приготовлена неприхотливая еда.

Хозяин к тому же, как видно, считал нужным принести свои извинения за эту скромную трапезу.

- Сам я, - сказал он, - никогда не употребляю в пищу мяса, кроме как в дни новолуния и праздники, и, однако, уже сто семь лет, как я живу на этом свете, и шестьдесят из них я провел в помещении, где ты меня увидел. Редко поднимаюсь я в верхнюю комнату дома, разве что в таких исключительных случаях, как сегодня, или же иногда, чтобы помолиться возле окна, выходящего на восток, и просить бога отвлечь гнев свой от Иакова и освободить Сион от плена {2}. Верно говорит языческий врач:

"Aer exclusus confert at longaevitatem" {Недопущение [внутрь наружного] воздуха способствует долголетию (лат.).}.

Вот как я живу. Свет небес сокрыт от меня, и я отвык от звука человеческого голоса; я слышу только голоса моих соотечественников, которые оплакивают печаль Израиля; однако серебряная струна все же не ослабла, и золотой бокал не разбит {3}; и хотя глаза мои уже плохо видят, силы мои не иссякли.

В то время как он говорил, я почтительно взирал на величественную фигуру седовласого старца, в которой было что-то патриаршее, и у меня было такое чувство, что я вижу перед собой воплощение древнего закона во всей его строгой простоте, негибавшей стойкости и первоизданной подлинности.

- Ну как, поел, сыт? Тогда вставай и следуй за мной. Мы снова спустились в подземелье, где все это время горел светильник. Указывая на лежавшие на столе пергаментные свитки, Адония сказал:

- В этом деле мне понадобится твоя помощь. На то, чтобы все это собрать и переписать, ушла почти половина жизни, которая была продлена за пределы, положенные для смертных. И, однако, - продолжал он, указывая на свои глубоко запавшие и воспаленные глаза, - те, что выглядывают из этих окон, уже погружаются в темноту, и я чувствую, что мне нужна помощь человека молодого, который может быстро писать и хорошо видит. Вот почему, когда брат наш заверил меня, что ты можешь быть писцом и к тому же нуждаешься в надежном убежище и крепкой защите, ограждающей тебя от преследований твоих братьев, я дал свое согласие

приютить тебя у себя в доме и кормить тебя так, как только что накормил, и так, как будет угодно твоей душе, исключив лишь ту поганую пищу, которую закон пророка запрещает нам есть, - и сверх этого еще платить тебе жалование, которое положено писцу.

- Вы, может быть, улыбнетесь, сэр, но, хоть я и находился тогда в самом бедственном положении, краска залила мне лицо при мысли, что мне, христианину и испанскому гранду, предстоит сделаться наемным писцом у еврея.

- Когда возложенная на меня задача будет исполнена, - продолжал старик, - тогда я отойду к праотцам, твердо веря в то, что составляет надежду моего народа: что глаза мои увидят царя во всей его красоте, узрят землю отдаленную {4}. И может быть, - добавил он голосом, который зазвучал торжественно и мягко и слегка дрожал от волнения, - может быть, там, в блаженном крае, я снова обрету тех, кого здесь покинул в горе: даже тебя, Захария, сын чресл моих, и тебя, Лия, супруга сердца моего, - слова эти были обращены к двум стоявшим по углам скелетам. - И перед лицом бога наших отцов сойдутся все спасенные Сиона, и сойдутся так, чтобы больше уже не расставаться до скончания века.

Сказав это, он закрыл глаза, воздел к небу руки и, должно быть, принялся творить про себя молитву. Может быть, горе мое оказалось теперь сильнее всех предрассудков, и не приходится сомневаться, что оно смягчило мое сердце; в эту минуту я едва не поверил, что еврея могут принять в лоно блаженных. Мысль эта пробудила во мне человеческие чувства, и с непритворной тревогой я стал расспрашивать его о судьбе другого еврея - Соломона, который на горе себе меня приютил и тем привлек к себе внимание иезуитов.

- Не беспокойся, - ответил Адония, махнув своей костлявой морщинистой рукой, словно отмахиваясь от того, о чем не стоило думать, - жизнь брата нашего Соломона вне опасности, имуществу его тоже ничего не грозит. Если противники наши сильны тем, что в руках у них власть, то мы зато сильны нашей мудростью и богатством. Никогда не удастся им ни выследить тебя, ни узнать о том, что ты вообще существуешь, поэтому выслушай меня и будь внимателен к тому, что я сейчас тебе скажу.

Говорить я не мог, однако выражение тревоги и мольбы на моем лице сказали все за меня.

- Вчера вечером ты произносил какие-то слова, - продолжал Адония. - я в точности не помню их смысла, но они до сих пор звенят у меня в ушах, а ведь очень долго, за целых четыре жизни твоих, мне ни разу не приходилось слышать такого. Ты говорил, что тебя одолевает какая-то сила, что она искушает тебя, предлагая отречься от Всевышнего, которому поклоняются как евреи, так и христиане, и ты заявил, что, будь даже костры разложены вокруг, ты плюнул бы искусителю в лицо и попрал ногами все, что он тебе предлагает, пусть даже тебе пришлось бы голыми ногами ступать по горячим угольям, которые разожгли сыны Доминика {5}.

- Да, говорил, - вскричал я, - говорил, и я бы это сделал. И да поможет мне господь перед концом!

Адония какое-то время молчал, словно пытаюсь сообразить, что это вспышка ли страсти или доказательство силы духа. В конце концов он стал склоняться к последнему, хотя старики относятся обычно с недоверием к порывам страсти, видя в них проявление скорее слабости, нежели искренности.

- Тогда, - сказал он после долгого и многозначительного молчания, тогда ты должен узнать тайну, которая тяжелым грузом лежит на душе Адонии, так же как безнадежное одиночество лежит тяжким бременем на душе того, кто идет по пустыне без спутника, который бы шел рядом и ободрял его звуком своего голоса. С юных лет моих и до сего дня я непрестанно трудился и, знай, освобождение уже близко, час мой очень скоро придет.

Еще в детстве моем мне довелось слышать, да, даже мне, что на землю послано существо на соблазн всем - евреям и назарянам и даже ученикам Магомета, чье имя проклято нашим

народом; существо это обещает людям спасение в минуты, когда они в беде и когда им грозит смерть, за что они должны заплатить тем, что уста мои не смеют даже произнести вслух, хоть этого и никто, кроме тебя, не услышит. Ты дрожишь, значит, ты говоришь правду, во всяком случае так, как только может говорить правду человек, вся вера которого состоит из заблуждений. Я слушал этот рассказ, и он услаждал мой слух подобно тому, как душу томимого жаждой услаждают потоки воды, ибо в мечтах моих являлись фантастические образы восточных сказок и мне не давало покоя желание увидеть дьявола во всей его силе и, больше того - поговорить с ним и даже завязать с ним какие-то отношения. Подобно отцам нашим, жившим в пустыне, я отвергал пищу ангелов, и меня тянуло к запретным яствам, даже к зельям египетских чародеев. Как видишь, за эту самонадеянность я был жестоко наказан: в последние годы жизни, продленной сверх всякой меры, я остался без детей, без жены, без друга, и, если бы не явился ты, мне было бы даже некому рассказать все пережитое. Не стану сейчас смущать тебя повестью моей богатой событиями жизни, скажу только, что скелеты, вид которых повергает тебя в страх, были некогда одеты плотью и выглядели много красивее, нежели ты сейчас. Это скелеты жены моей и сына, о которых я тебе пока ничего не скажу, а о других двух ты должен будешь не только услышать, но и рассказать сам. С этими словами он указал на два скелета напротив в поставленных торчком гробах. - По возвращении домой, в родную страну, в Испанию, - если только о еврее вообще можно сказать, что у него есть родная страна, - я сел в это кресло, зажег эту лампу, при свете ее взял в руки перо, которым пишут писцы, и поклялся, что лампа эта не погаснет, кресло не опустеет и своды подземелья не останутся без жильца до тех пор, пока история моей жизни не будет записана в книгу и запечатана все равно что королевской печатью. Но, знай, меня выследили те, у кого тонкое чутье и кто кидается по следу: то были сыны Доминика. Они схватили меня и заковали ноги мои в крепкие оковы; однако писаний моих они не могли прочесть, ибо знаки моего языка неведомы этим идолопоклонникам. Знай также, что спустя некоторое время они освободили меня, ибо не нашли никаких оснований для того, чтобы меня осудить; и они попросили, чтобы я уехал совсем из страны и больше их не тревожил. Тогда-то я и поклялся богу Израиля, вызволившему меня из их плена, что переписать свою книгу я дам только тому, кто сможет прочесть эти знаки. Мало того, я молился и говорил: "О бог Израиля, повелитель наш, ты знаешь, что мы овцы твоего стада, а враги наши бродят вокруг, как волки и как львы, что рыкают, чуя вечернюю свою добычу; сделай так, чтобы назарейнин вырвался из их рук и бежал к нам, как выгнанная из гнезда птица, дабы посрамить оружие сильных мира сего и с презрением насмеяться над ними. Сделай также, повелитель наш, бог Иаковав, чтобы его искусил Враг рода человеческого, пусть даже так, как тех, о ком я пишу, и чтобы он мог плюнуть ему в лицо, и отпихнуть искусителя, и попрасть его так, как попрали они; и тогда лишь моя душа, да, даже моя, наконец обретет мир". Вот о чем я молился, и молитва моя была услышана, ибо, как видишь, ты здесь.

Стоило мне только услышать эти слова, как страшное предчувствие нависло надо мной как мучительный неотвязный кошмар. Я то ближе присматривался к стоящему на краю могилы старцу, то погружался в размышления о неосуществимости предстоящего мне труда.

Неужели же еще мало того, что я буду носить эту тайну, замуровав ее в своем сердце? Мысль о том, что я должен буду разбрасывать где-то в далеких краях ее пепел и рыться в прахе, с тем чтобы приобщать к этому нечестию других, несказанно, невообразимо меня возмущала. Бросив равнодушный взгляд на рукопись, я увидел, что написана она на испанском языке, но греческими буквами, и что служителям Инквизиции прочесть этот текст было бы не легче, чем разобраться в иероглифах египетских жрецов. Их невежество, прикрытое гордостью и еще больше утвердившееся от непроницаемой таинственности, которой они обставляли свои даже самые незначительные действия, не позволяло им решиться открыть кому бы то ни было, что в

их распоряжении имеется рукопись, прочесть которую они не могут. Поэтому они вернули ее Адонии, и, как он выразился сам, теперь ей уже ничто не грозит. Однако мысль о том, что мне предстоит этим заниматься, преисполняла меня безотчетным страхом. У меня было такое чувство, что я сделался новым звеном в цепи, другой конец которой держит некая невидимая рука, и та тянет меня куда-то в пропасть. И вот мне предстояло теперь писать самому протокол вынесенного мне приговора.

Когда я дрожащей рукой прикоснулся к этим листам, и без того высокая фигура Адонии, казалось, еще больше выросла от охватившего ее непомерного волнения.

- Почему же ты дрожишь, дитя праха? - воскликнул он, - ведь если тебя искушали, то их искушали тоже, если ты устоял, то ведь устояли и они, и если они вкушают теперь покой, то, значит, вкушать его будешь и ты. Нет ни одного страдания души или тела, через которые ты прошел или еще можешь пройти, которое не вынесли бы они тогда, когда тебя не было еще и в помине. Юнец, руки твои дрожат над страницами, которых недостойны коснуться, и, однако, мне приходится брать тебя к себе в услужение, ибо ты мне нужен. Необходимость! Жалкое звено, связующее воедино души, столь чуждые друг другу! Хотел бы я, чтобы чернилами мне был океан, листом бумаги - скала, а рука моя, да, именно моя, - тем пером, которое бы начертало на ней буквы, и они остались бы в веках, как все то, что высечено на скалах {1\* Каждый, кто путешествовал по странам Востока, видел эти надписи, в которых обычно рассказывается о каких-либо примечательных событиях. Помнится, что об обстоятельстве, о котором я упомянул перед этим, идет речь в заметках д-ра Кока по поводу Книги Исхода {7}. Утверждают, что на одной из скал близ Чермного моря некогда было начертано: "Израильтяне перешли это море".}, именно так, как на горе Синае и на тех, где и поныне сохраняются слова: "Израильтяне перешли эти воды". - Пока он говорил, я снова принялся рассматривать рукопись.

- Неужели рука твоя все еще дрожит, - спросил Адония, - и ты все еще раздумываешь, переписывать ли тебе историю тех, чьи судьбы связаны теперь с твоей - цепью дивной, незримой и неразрывной? Взгляни, возле тебя существа, у которых уже нет языка, повествуют о себе красноречивее всех живых. Взгляни, их немые и недвижные руки протянуты к тебе так, как никогда еще не протягивались руки из плоти и крови. Взгляни, вот те, что безгласны и, однако, говорят; что мертвы и, однако, живы, те, что пребывают в бездне вечности и, однако, все еще окружают тебя сейчас и зывают к тебе так, как могут зывать только люди. Услышь их! Бери перо и пиши.

Я взял перо, но не мог написать ни единой строчки. В исступлении Адония вытащил один скелет из ящика и поставил его передо мной.

- Расскажи ему свою историю сам, - сказал он, - может быть, тогда он поверит тебе и запишет.

И, поддерживая его одной рукой, он другой, такой же побелевшей и костлявой, как у скелета, указал на лежавшую передо мною рукопись.

В мире, что был над нами, всю ночь бушевала буря, а здесь, глубоко под землей, в темных переходах, ветер гудел, словно голоса умерших, зывающие к живым. Взгляд мой невольно остановился на рукописи, которую мне предстояло переписывать; начав читать ее, я уже больше не мог оторваться от удивительного рассказа, пока не дошел до конца.

entoutwnia

## ПОВЕСТЬ ОБ ИНДИЙСКИХ ОСТРОВИТЯНАХ

В Индийском океане, неподалеку от устья реки Хугли {1}, есть остров, который в силу особенностей своего расположения и условий жизни на нем долгое время оставался неведомым для европейцев. Туземцы же близлежащих островов появлялись на нем очень редко, и всякий раз лишь по какому-нибудь особому поводу. Остров этот окружен отмелями, из-за которых ни одно

глубоководное судно не может к нему приблизиться, и укреплен скалами, представляющими угрозу для утлых туземных лодок. Но еще более страшным в их глазах его делали ужасы, которыми окутывала его суеверная молва. Существовало предание, что на этом острове был воздвигнут первый храм черной богини Шивы {1\* Смотри "Индийские древности" Мориса {3}.}, что именно там {2}, перед ее уродливым изваянием с ожерельем из человеческих черепов на шее, с раздвоенными языками, высунутыми из двадцати змеиных пастей, стоявшим на подножии, изображающем сплетенных между собою гадюк, - что именно там поклонявшиеся ей впервые принесли кровавую жертву, о чем свидетельствовали переломанные человеческие кости и скелеты умерщвленных младенцев.

Землетрясение, потрясшее берега Индии, разрушило храм, и на острове осталось меньше половины жителей. Храм, однако, был отстроен вновь стараниями поклонников богини, которые снова стали бывать на острове, как вдруг необыкновенной силы тайфун, такой, каких не бывало даже на этих видавших виды широтах, разразился над священной землей. Пагода сгорела дотла от удара молнии; все жители, их жилища, насаждения - все было разрушено, сметено, как метлой, и на опустевшем острове не осталось никакого следа пребывания людей, их культуры и вообще какой-либо жизни. Воображение поклонников Шивы разыгралось: они искали причину всех этих бедствий; и вот, сидя в тени какаовых деревьев и перебирая цветные бусы, они надумали приписать случившееся гневу богини Шивы, недовольной тем, что распространяется поклонение Джаггернауту {4}. Они утверждали, что сами видели, как при свете вспыхнувшей молнии, которая сожгла храм и убила укрывшихся в нем людей, в небе появился вдруг лик богини, и не сомневались в том, что она удалилась на какой-нибудь более счастливый остров, где сможет по-прежнему наедаться мясом и упиваться кровью и где ее не будут раздражать люди, поклоняющиеся другому богу - ее сопернику. Итак, остров на долгие годы остался пустынным и безлюдным.

Туземцы уверяли, что там нет не только никаких животных, но и никаких растений и даже воды, и это привело к тому, что европейские суда перестали заходить на этот остров, индийцы же с других островов, проплывавшие мимо него на лодках, со страхом и грустью взирали на царившее там запустение и всякий раз кидали что-нибудь за борт, чтобы умиловить гневную Шиву.

Остров, предоставленный, таким образом, самому себе, пышно расцвел; так порой лишённые всякой заботы дети вырастают сильными и здоровыми, а холёные баловни погибают из избытка питания. Цветы расцветали, листва густела - и ни одна рука не рвала их, ни одна нога не топтала и ни одни губы не прикасались к ним, пока однажды рыбакам, которых сильным течением относило на этот остров, как они отчаянно ни гребли, как ни натягивали паруса, чтобы их не прибило к берегу, сколько ни обращали к Шиве молитв, не пришлось все же подойти к острову на расстояние не больше весла. И вот, когда им, против ожидания, удалось все же благополучно вернуться домой, они рассказали, что с острова до них донеслись какие-то звуки, столь сладостные, что не иначе как место это облюбовала некая другая богиня, более милостивая, нежели Шива. Молодые рыбаки добавили к этому, что видели, как женская фигура несказанной красоты скользнула и исчезла среди листвы, которая теперь пышно разрослась среди скал; и, будучи людьми благочестивыми, готовы были счесть это восхитительное видение воплощением самого Вишну {5} в образе красавицы, причем очарование этого существа намного превосходило все предшествующие его воплощения, ведь в одном из них он даже принимал образ тигра.

Обитатели соседних островов, которые были не только суеверны, но и обладали богатым воображением, обожествили на свой лад это явившееся им видение. Старики же, однако, призывая его, по-прежнему строго придерживались кровавых обрядов Шивы и Хари {6} и,

перебирая четки, приносили один страшный обет за другим, стараясь придать им еще больше силы тем, что ранили себе руки колючим тростником, обагрив каждое зерно перебираемых четок собственной кровью. Молодые женщины пригребали свои маленькие лодочки так близко, как только могли, к этому острову теней, давали обеты Камдео {2\* Купидону в индийской мифологии.} и посылали свои наполненные цветами бумажные кораблики {7}, которые освещались восковыми светильниками, к берегам острова, на котором, как они надеялись, остановила свой выбор пленившая их богиня. Молодые люди, во всяком случае те, что были влюблены и увлекались музыкой, подплывали совсем близко к берегу и просили бога Кришну {3\* Индийского Аполлона.}, чтобы он освятил этот остров своим присутствием; не зная, какую жертву им надлежит принести своей богине, они становились на самом носу лодки и распевали свои дикие песни, а потом бросали к берегам пустынного острова восковые фигурки человека, в руках у которого было нечто похожее на лиру.

Можно было видеть, как из ночи в ночь эти лодки скользят друг за другом по темной поверхности моря словно поднявшиеся из пучины звезды; освещенные бумажными фонариками, они везли туда цветы и плоды, и чья-нибудь робкая рука незаметно оставляла их на песке, а другая, уже более смелая, укладывала свое подношение в тростниковую корзину и вешала на скалу. И выражая этим свое добровольное и смиренное поклонение богине, простодушные островитяне испытывали вместе с тем радость. Было, однако, замечено, что впечатления людей, поклонявшихся богине и возвращавшихся потом домой, оказывались очень различны. Женщины, затаив дыхание, замирали с веслами в руках, восхищенные доносившимися с острова дивными звуками, а когда звуки эти обрывались, уплывали; потом, вернувшись в хижины свои, они тщетно пытались напеть эти неземные песни, - тщетно, ибо собственный их язык не знал сколько-нибудь напоминающих их звуков. Мужчины же долго ждали, не выпуская весел из рук, чтобы хоть на какое-то мгновение увидеть красоту той, которая, по уверениям рыбаков, бродит в этих местах, а потом, разочарованные, принимались наконец грести и с печалью в сердце возвращались домой.

Постепенно дурная молва об острове улеглась, и он перестал внушать людям страх; и сколько иные благочестивые старики ни перебирали своих кровью четок и ни твердили о Шиве и о Хари, доходя до того, что зажигали своими дубленными солнцем руками лучины и тыкали себя острыми кусками железа, купленными или украденными на европейских кораблях, в самые мясистые и чувствительные части тела и даже, больше того, поговаривали о том, что подвешат себя на деревьях головой вниз и будут так висеть, пока их не сожрут черви, или сожжет солнце, или, наконец, пока от этого противоестественного положения они не сойдут с ума {8}, - несмотря на все эти излияния, которые должны были бы растрогать до слез, молодые люди продолжали вести себя все так же: девушки по-прежнему подносили Камдео гирлянды цветов, а юноши обращались с призывами к богу Кришне. Тогда наконец доведенные до отчаяния старики поклялись, что отправятся на этот проклятый остров, из-за которого все походили с ума, и там определят, как им следует поступать, чтобы почтить и умиловить неизвестное божество, и узнают, нельзя ли вместо всех цветов, заверений в любви и трепета юных сердец вернуться к правоверным и законным жертвам, как-то: к отращиванию длинных ногтей на руках, пока те не начнут вращаться в тело, к продеванию веревочных заволок сквозь бока, на которых потом изувер исполняет пляску мук до тех пор, пока не лопнут либо веревка, либо терпение пляшущего. Словом, они решили узнать, что же это за божество, которое не требует от тех, кто ему поклоняется, страданий, и они привели свой замысел в исполнение, найдя для этого способ, достойный самой цели.

Сто сорок стариков, сгорбившихся от всех самоистязаний, которых требовала их суровая вера, и не способных справиться ни с парусом, ни с веслами, сели в лодку, собираясь добраться

до острова, который они называли проклятым. Соотечественники их, ослепленные уверенностью, что люди эти святые, разделись донага и долго толкали лодку навстречу прибою, после чего почтительно с ними простились, умоляя их хоть теперь-то взяться за весла. Святоши же эти, поглощенные перебиранием четок и настолько уверенные в неотступном покровительстве любимых богов, что им и в голову не могла прийти мысль о грозящей опасности, торжественно отправились в путь - и последствия этого легко можно себе представить. Лодка вскоре же наполнилась водою и затонула, а все находившиеся в ней погибли без единого стога и нимало не сетуя на свою судьбу, если не считать сожалений по поводу того, что им не довелось угостить собою аллигаторов в священных водах Ганга или хотя бы погибнуть под сенью храмов \_священного города\_ Бенареса {9}, ибо и в том и в другом случае души их, несомненно, ожидало спасение.

Происшествие это, на первый взгляд весьма прискорбное, возымело, однако, благоприятное действие на распространение новой веры. Прежняя вера день ото дня теряла под собой почву. Вместо того чтобы опалить себе руки на огне, люди стали собирать цветы. Гвозди (которые ревнителю старой веры усердно втыкали себе в тело) упали в цене: человек мог теперь, удобно располагаясь, сидеть на собственных ягодицах, и совесть его была так же спокойна, а репутация незапятнанна, как если бы там было воткнуто по меньшей мере несколько десятков гвоздей. А наряду с этим на берегах любимого острова каждый день падало все больше плодов; на скалах его пестрели цветы всем великолепием красок, которым любит украшать себя флора Востока. Среди них была та яркая великолепная лилия, что и ныне еще утверждает превосходство свое над царем Соломоном {10}, ибо тот во всей славе своей не одевался так, как всякая их них. Была роза, раскрывающая свои "райские" лепестки, и багряный бомбекс, о котором один английский путешественник восторженно говорит, что он услаждает глаз "поразительным богатством и обилием роскошных цветов, не знающих себе равных". А женщины, давшие обеты новой богине, в конце концов научились подражать иным из тех звуков и сладостных напевов {11}, которые при каждом дуновении ветра доносились до их слуха, когда они огибали очарованный остров на лодке и мелодия эта звучала все громче.

Наконец произошло некое событие, сделавшее уже совершенно несомненной святость этих мест и жившего там существа. Молодой индеец, тщетно пытавшийся поднести своей любимой полный мистического значения букет, в котором само расположение цветов говорит о любви, подплыл на лодке к острову, дабы узнать от той, что, по мнению всех, живет там, свою судьбу. Подплывая к берегу, он сочинил песню, в которой жаловался, что предмет его любви презирает его, как будто он пария {12}, но что он все равно будет любить ее, даже происходи он из головы самого Браммы {13}, что кожа ее глаже, нежели каменные ступени, по которым спускаются к бассейну раджи, а глаза ее блестят ярче всех тех, которые самонадеянные иностранцы селятся подсмотреть сквозь сетку пурдаха {4\* Занавеска, позади которой скрываются женщины.} у набаба {14}; что сама она в его глазах выше черной пагоды Джаггернаута {15} и блеском своим затмевает трезубец Махадевы {16}, сверкающего в лучах луны. И коль скоро оба эти чуда он видел на берегу, когда подплывал к нему, в тихом сиянии бархатной индийской ночи, не приходится удивляться, что оба они вошли и в его стихи. В конце своей песни он давал обещание: если любимая снизойдет к его мольбам, построить для нее хижину, подняв ее на сваях на целых четыре фута, чтобы туда не могли добраться змеи; он также обещал, что жилище это будет укрыто тенью тамаринда, и, чтобы ей спалось спокойнее, он будет отгонять от нее москитов веером из листьев тех первых цветов, которые она примет от него в знак его любви.

Случилось так, что в ту же самую ночь молодая девушка, чью сдержанность можно было объяснить всем чем угодно, но только не равнодушием, в сопровождении двух подруг подплыла на лодке к тому же самому месту, дабы узнать, был ли искренен юноша, который ей все это



обещал. Явились они в одно и то же время, и, хотя были сумерки и суеверному воображению этих робких существ ложившиеся вокруг тени казались еще темнее, чем были на самом деле, они все же отважились отправиться в глубь острова; неся корзины с цветами в дрожавших руках, они дерзнули пойти повесить их на развалинах пагоды, где, как они полагали, поселилась неведомая богиня. Не без труда пробрались они сквозь густые заросли цветов, буйно разросшихся на дикой почве, и боялись, что на них в любую минуту может наброситься тигр, пока не вспомнили, что хищному зверю нужны настоящие джунгли и вряд ли он станет укрываться среди цветов. Еще меньше приходилось страшиться аллигатора: слишком для этого узки были встречавшиеся на их пути потоки, им не стоило труда через них перебраться, так как вода едва доставала им до щиколоток и была совершенно прозрачна. Цветущие тамаринды, какаовые, деревья и пальмы наполняли воздух благовонием; листья их шелестели над головою девушки, когда она вся дрожа приближалась к развалинам пагоды. Некогда это было квадратное здание, высившееся среди скал, которые по какой-то прихоти природы, впрочем нередкой на островах Индийского океана, громоздились в центральной части этого острова; должно быть, извержение древнего вулкана подняло их сюда из недр земли. Разрушившее храм землетрясение смешало обломки здания и обломки скал в одну бесформенную и безобразную груду, которая, казалось, в равной степени свидетельствовала о бессилии как искусства, так и самой природы, ибо была выброшена сюда силой, создавшей то и другое и способной то и другое уничтожить. Колонны со странными надписями были стиснуты камнями, на которых вообще не было никаких следов прикосновения человека, но которые всем видом своим свидетельствовали о запечатлевшей себя в этом хаосе страшной неистовой силе природы - природы, которая как будто хотела сказать: "Смертные, пишите строки свои резцами, а мои иероглифы я начертаю огнем". Рядом с разрушенными каменными сваями, высеченными в виде змей, на которых некогда восседал отвратительный идол Шивы, теперь расцвела роза; она поднялась из земли, заполнившей трещину в скале, как будто та же природа вдруг смягчилась, стала исповедовать другую, более милосердную веру и теперь посылает детям своим любимый цветок. Изваяние Джаггернаута было разбито на куски. Среди обломков можно было еще узнать его отвратительно разинутый рот, в который в прежнее время принято было класть приносимые в жертву человеческие сердца. Ныне же красавцы-павлины с изогнутыми шеями и огромными пестрыми хвостами кормили своих птенцов меж ветвей тамаринда, что нависали над чернеющими развалинами. Молодые индианки теперь уже почти перестали бояться и все увереннее шли вперед, ибо не увидели и не услышали ничего, что могло бы внушить им страх, который всегда вызывает в человеке потусторонний мир; вокруг все было тихо, спокойно и погружено в темноту. Они даже ощутили какую-то легкость в нотах, когда приближались к этим глыбам, в которых опустошения, учиненные природой, слились воедино с теми, что учинил человек, может быть, еще более дикими и кровавыми. Близ развалин прежде был бассейн, как то обычно бывает близ пагод, дабы можно было всякий раз очиститься и освежиться перед молитвой; но теперь ведущие вниз ступени были сломаны, а вода застоялась. Юные индианки все же зачерпнули в пригоршню этой воды, призвали богиню, покровительницу острова, и направились к единственному уцелевшему своду. Наружные стены здания были из камня, внутренними же, высеченными в скале, и нишами своими храм этот напоминал тот, что на острове Элефанте {17}. В нем можно было увидеть высеченные из камня чудовищные фигуры, как вплотную примыкающие к скале, так и отстоящие на некотором расстоянии от нее; их отвратительные огромные и бесформенные лица были нахмурены, и человек суеверный мог подумать, что перед ним разыгрывается страшная драма, герои которой каменные боги.

Две девушки из числа почитательниц богини, которые славились своей храбростью, вышли вперед, исполнили некий странный танец перед развалинами храма старых богов, как было принято называть их, и стали просить новую владычицу острова быть благосклонной к обетам,

принесенным их подругой, а та вышла вслед за ними и повесила венки из цветов на обломки обезображенного идола, торчавшие среди хаоса камней и совершенно заросшие пышной растительностью, которая в странах Востока как бы олицетворяет собой вечное торжество природы среди превратившихся в развалины творений человеческих рук. Роза вновь рождается каждый год, а какой из этих годов увидит, как вновь строится пирамида? В ту минуту, когда молодая индианка вешала на бесформенный камень привезенный ею венок, неизвестный голос вдруг прошептал:

- Один цветок в нем завял.

- Да, да, завял, - ответила девушка, - и этот увядший цветок олицетворяет мое сердце. Немало роз я вырастила, но на горе мне завяла именно та, что была мне всего дороже. О, оживи ее для меня, неведомая богиня, венок мой не будет тогда позорить твоего святилища.

- Оживи ее сама у себя на груди, - ответил ее возлюбленный, появляясь из-за обломков скал и развалин, где он укрывался; оттуда он произнес эти вещие слова, оттуда, восхищенный, прислушивался он к символическим, но понятным для него речам девушки.

- Оживи увядшую розу, - попросил он, упоенный любовью, прижимая ее к груди.

Уступая голосу любви и суеверному чувству, девушка уже готова была ответить на его объятия. Но неожиданно, испустив дикий крик, она изо всей силы оттолкнула его и, не помня себя от страха, опустилась на землю и застыла на месте; дрожащая рука ее указывала на какую-то фигуру, которая появилась в эту минуту среди беспорядочного нагромождения камней. Юноша, которого крик ее несколько не встревожил, кинулся, чтобы подхватить ее, когда взгляд его обратился на фигуру, чей вид так поразил девушку; в немом благоговении он пал перед нею ниц.

Существо это было женщиной, но такой они никогда не видели, кожа у нее была совершенно белой (во всяком случае, в их представлении, ибо они за всю жизнь видели одних только туземцев Бенгальских островов, а у тех кожа была темно-красного цвета). Одежда ее насколько они могли разглядеть, состояла из одних лишь цветов: яркая окраска их и причудливые сочетания гармонировали с вкрапленными меж ними павлиньими перьями, и все вместе имело вид опалы из некоей необыкновенной ткани, которое было удивительно к лицу "островной богине". Ее длинные светло-каштановые волосы - таких им никогда не случалось видеть - ниспадали ей к ногам и причудливо сочетались со всеми этими перьями и цветами. На голове у нее был венец из раковин таких цветов и такого блеска, каких нельзя было увидеть нигде, кроме как в индийских морях: пурпурный и светло-зеленый состязались с аметистовым и изумрудным. На ее обнаженном белом плече сидел клест, а шею обвивали бусы из его похожих на жемчуг яиц, таких чистых и прозрачных, что самая богатая из государынь Европы отдала бы за них свое лучшее жемчужное ожерелье. Руки и ноги ее были совершенно обнажены, и быстрота и легкость, с которой она ступала, производили на индийцев впечатление не менее сильное, чем цвет ее кожи и волос. Видение это повергло и юношу и девушку в благоговейный страх. И в то время как они простерлись перед ним ниц, в ушах их зазвучал восхитительный голос. Таинственное существо заговорило с ними, но язык его они понять не могли. Это окончательно укрепило их уверенность, что они слышат язык богов, и они снова простерлись ниц. В эту минуту клест слетел с ее плеча и, порхая, приблизился к ним. "Он хочет набрать светлячков и осветить свое гнездо" {5\* Оттого что в гнездах клеста часто находят светлячков, индийцы решили, что птица эта старается осветить ими свое гнездо. Скорее же всего она ловит их, чтобы кормить своих птенцов.}, - сказали друг другу влюбленные. Однако клест с присущей этим птицам сообразительностью понимал, что госпожа его оказывает предпочтение свежим цветам, ибо видел их на ней каждый день, и, разделяя ее вкус, устремился к увядшей розе в принесенном индианкой венке; подхватив своим тонким клювом цветок, он положил его к ее

ногам. Юные влюбленные истолковали это как благодатное предзнаменование и, еще раз припав к земле, они поплыли назад на свой остров, но на этот раз уже оба в одной лодке. Юноша управлял лодкой своей возлюбленной, в то время как она молча сидела возле него, а их спутницы и спутники пели песни, прославлявшие белую богиню и остров, песни, посвященные ей и всем влюбленным.

## Глава XV

Какого из святых, скажи,  
Иль ангелов - посланцев света  
Сегодня славить надлежит,  
Что ты так пышно разодета?  
Давно понять тебе пора,  
Мой Палмер, дня сего значенье:  
Святых и ангелов блаженней  
Весны блаженная пора.  
Стратт. Куннху-холл {1}

Хотя красавицу, единственную обительницу этого острова, и встревожило появление ее почитателей, она скоро успокоилась. Она не знала, что такое страх, ибо в мире, где она жила, она никогда ни с чьей стороны не встречала вражды. Солнце и тень, цветы и листва деревьев, тамаринды и винные ягоды, которые служили ей пищей, вода, которую она пила, дивясь на ту, что всякий раз утоляет жажду свою вместе с нею; павлины, раскрывавшие свои пестрые, отливающие всеми цветами хвосты, стоило только им завидеть ее, и клест, который садился ей на плечо или на руку, когда она шла гулять, и отвечал ей, искусно подражая звукам ее нежного голоса, - все это были ее друзья, а, кроме них, она никого не знала.

Человеческие существа, которые по временам подплывали к острову, повергали ее в легкое волнение, однако вызывалось оно скорее любопытством, нежели тревогой: в каждом движении их было столько нежности и благоговейного почтения; поднесенные ей цветы так радовали ее взор и были ей так приятны, а само появление их каждый раз - таким тихим и кротким, что она не испытывала к ним ни малейшей неприязни и только удивлялась, как это им удастся так спокойно скользить по воде; удивляло ее еще и то, как эти темнокожие и некрасивые существа могли вырасти среди таких чудесных цветов, что они привозили с собой. Можно было предположить, что буйство стихий вызывало порой в ее воображении страшные мысли, однако оттого, что явления эти через определенные промежутки времени повторялись, они уже переставали быть страшными для человека, который к ним привык, так же как чередования дня и ночи, - кто же из нас не помнит, как его пугало когда-то наступление темноты, а главное, кто не помнит рассказов других людей об ужасах, что творятся в ночи - они ведь с особой силой действуют на наше воображение. Девушка ни разу не испытала никакой печали, а о смерти и вовсе не имела ни малейшего представления, так откуда же ей было знать страх?

Когда начинался так называемый норд-вест со всеми своими ужасными спутниками - полуночной тьмою, тучами удушливой пыли, раскатами грома, грозными, как труба Страшного суда, - она стояла среди листвы могучих баньяновых деревьев {2}, не ведая об опасности, и спокойно взирала на птиц, которые опускали головы и укрывали себя крылом, на забавных испуганных мартышек, которые хватили своих малышей и стремительно прыгали с ветки на ветку. Когда в дерево попадала молния, она смотрела на это так, как ребенок смотрит на фейерверк, который зажгли, чтобы его развлечь; однако на следующий день она уже плакала, увидев, что на сожженном дереве не появится новых листьев. Когда на остров низвергались потоки ливня, она находила приют среди развалин пагоды и сидела там, прислушиваясь к клочкотанью вод и реву пучины до тех пор, пока душа не проникалась мрачным великолепием

всего, что ее окружало, и ей не начинало казаться, что разразившийся ливень пригибает ее к земле, как листик, что потоки уносят ее в темные глубины океана, а потом на гребнях огромных волн она, точно на спине кита, снова поднимается к свету; что она оглушена их ревом; что у нее кружится голова, - пока в этой страшной игре воображения ужас и радость не сливались воедино.

Так она жила, точно цветок, между солнцем и бурей, расцветая на свету, склоняясь перед дождем, причем ее дикая и нежная жизнь как бы вбирала в себя и то и другое. И оба эти влияния, объединившись, оказывались особенно благоприятными для нее, как будто она была любимицей природы даже в ее гневе, как будто природа сама приказывала набежавшей буре вырастить, а ливню - пощадить сей ковчег невинности, что носился в волнах. Эта блаженная жизнь, наполовину действительная, наполовину сотканная из причуд воображения, но не отягченная никакой мыслью, никакой страстью, продолжалась до того, как девушке этой пошел семнадцатый год; тогда-то и случилось нечто такое, что навеки ее изменило.

Вечером того дня, когда индийские лодки отплыли от берега, Иммали, ибо этим именем нарекли ее поклонявшиеся ей юноши и девушки, - стояла на берегу, когда к ней неожиданно приблизилось некое существо, непохожее на всех тех, кого ей до сих пор доводилось видеть. Цветом лица своего и рук чужестранец больше походил на нее самое, нежели на людей, которых она привыкла встречать, однако одежда его (а это была европейская одежда), нескладно сидевшая на нем, оттопыриваясь на бедрах (именно такая была в моде в 1680 году), показалась ей и нелепой и отвратительной и вызвала в ней чувство удивления, и лицо ее не умело выразить это чувство ничем другим, кроме неизменно озарявшей его улыбки.

Чужестранец сделал несколько шагов вперед, и девушка устремилась ему навстречу, но совсем не так, как какая-нибудь европейка, с ее низкими грациозными поклонами, и тем более не как индийская девушка, с ее низкими же селямами {3}, - она метнулась к нему, как лань: едва ли не в каждом движении ее сливались воедино живость и робость, доверчивость и пугливость. Она вскочила и с песчаного берега кинулась к своему любимому дереву, потом вернулась вместе с охранявшими ее павлинами, которые сразу же распустили свои великолепные хвосты, словно чувствуя, что госпоже их грозит опасность, и, возбужденно хлопая в ладоши, казалось, приглашала их разделить радость, с которой она взирала на \_выросший на песке новый цветок\_.

Чужестранец подошел ближе и, к великому удивлению Иммали, заговорил с ней на языке, который она помнила с детских лет и словам которого тщетно пыталась обучить своих павлинов, попугаев и клестов. Но она так давно уже ни с кем не говорила на этом языке, что успела его позабыть, и теперь для нее было радостью слышать давно забытые ею слова из человеческих уст. И когда, следуя существующему обычаю, чужестранец сказал ей:

- Здравствуй, прелестная девушка, - она ответила фразой из христианского катехизиса, заученной ею еще в детстве:

- Меня сотворил бог.

- Ты - самое прекрасное из всего, что он создал, - сказал чужестранец, взяв ее за руку, и устремил на нее глаза, которые и ныне еще горят в глазницах этого оболбстителя из оболбстителей.

- Нет, - возразила Иммали. - У него есть творения более прекрасные. Роза румянее меня, пальма - выше, а волна - сильнее; но все они изменяются, а я никогда не меняюсь. Я стала выше и сильнее, а розовые кусты увядают дважды в год, и, когда сотрясается земля, скала раскалывается и в ее щели залетают летучие мыши; волны в ожесточении нападают друг на друга и становятся серыми и совсем непохожими на то, чем они бывают, когда их озаряет луна, направляющая свежие ветки целовать мои ноги, когда я стою на мягком песке. Каждый раз я пытаюсь собрать их, но они ускользают у меня из руки, стоит мне опустить ее в воду.

- Ну а звезды поймать тебе удавалось? - спросил чужестранец и улыбнулся.

- Нет, - ответила девушка, - звезды - это цветы, что растут на небе, а лучи луны - это небесные ветки; но как ни ярки эти цветы, цветут они только по ночам, и мне больше по душе те, что я могу собирать и вплетать себе в волосы. Раз как-то я всю ночь зазывала к себе звезду, и та наконец вняла моим уговорам и спрыгнула ко мне с неба, точно павлин из гнезда; сколько раз потом она пряталась от меня в манговых деревьях и тамариндах, и хоть я искала ее среди листвы до тех пор, пока месяц не бледнел и не уставал мне светить, так и не удавалось ее найти. Но откуда ты? На тебе нет чешуи, как на тех чудн\_ы\_х тварях, что водятся в морских глубинах и плещутся в воде, когда солнце садится и я взираю с берега на его заходящие лучи; ты не так мал ростом и у тебя не такая темная кожа, как у тех, кто прибывает ко мне из других миров по морю, в домиках, которые опускают ноги свои в воду и могут на ней держаться. Откуда ты? Ты не блестяшь так, как звезды, что живут надо мною в синем небе, и вместе с тем ты не так безобразен, как те, что прыгают в темном море у моих ног. Где ты рос и как ты попал сюда? На берегу нет ни единой лодки, и хотя раковины так легко носят по воде рыбок, что в них живут, ни одна из них меня бы не удержала. Стоит мне только опустить ногу на их створку, отливающую пурпуром и багрецом, как они сразу же погружаются в песок.

- Прелестное создание, - сказал чужестранец, - я прибыл из мира, где таких, как я, целые тысячи.

- Не может этого быть! - воскликнула Иммали, - ведь я живу здесь одна, и в других мирах все должно быть так же.

- Я говорю тебе правду, - сказал чужестранец.

Иммали промолчала; должно быть, ей впервые приходилось напрягать мысль, и это требовало от нее немалых усилий, - ведь вся жизнь ее определялась счастливыми наитиями и бездумными инстинктами, - а потом воскликнула:

- Мы оба с тобой, верно, выросли в мире голосов, я ведь понимаю твою речь лучше, чем щебетанье клеста или крик павлина. Как радостно, должно быть, жить в мире, где звучат эти голоса, чего бы я только не отдала за то, чтобы розы мои росли в таком мире, где речь моя находит отклик!

В эту минуту в поведении чужестранца появились признаки того, что он голоден; Иммали сразу же это поняла и велела ему следовать за нею туда, где были рассыпаны по земле плоды смоковниц и тамариндов, где ручей был так прозрачен, что можно было разглядеть каждую пурпурную раковинку на дне и зачерпнуть скорлупую кокосового ореха прохладной воды, что струилась в тени манговых деревьев. Дорогой она успела рассказать ему о себе все, что знала. Она сказала, что она дочь пальмы, что под сенью этого дерева она впервые поняла, что живет на свете, что мать ее давно уже засохла и перестала жить, что сама она уже очень стара, что она много раз видела, как на стеблях своих вянут розы, и что, хоть на месте их и распускаются потом новые, они ей не так милы, как те, что увяли: те были гораздо крупнее и ярче; что за последнее время, правда, все предметы сделались меньше: теперь вот она без труда может дотянуться рукою до плодов манго на ветке, а раньше ей приходилось ждать, пока они упадут на землю; вода же поднялась выше раньше, чтобы попить, ей приходилось нагибаться и становиться на колени, а теперь она легко может черпать ее кокосовой скорлупой. В довершение всего она добавила, что она много старше, чем месяц, ибо видела, как он убывал и становился не ярче светлячка, а тот, что светит им сейчас, тоже начнет уменьшаться и наместо него придет новый, такой узенький, что она никогда бы не назвала его именем, которое дала первому, - ночное солнце.

- Но откуда же ты знаешь язык, на котором говоришь, - спросил ее чужестранец, - ведь ни клесты, ни павлины не могли тебя ему научить?

- Сейчас скажу, - ответила Иммали с какой-то торжественностью в лице, которая волновала и в то же время немного сместила; во взгляде ее сквозило лукавство, столь свойственное прелестному полу, - из мира голосов ко мне прилетел сюда дух и нашептывал мне звуки, которых я никогда не могла забыть, а было это еще задолго до того, как я родилась.

- Может ли это быть? - спросил чужестранец.

- О да, задолго до того, как я могла поднять с земли, смокву или зачерпнуть пригоршнюю воду, это было раньше, чем я родилась. Когда я родилась, я была ростом еще ниже, чем розовый бутон; мне тогда хотелось до него дотянуться; а теперь я приблизилась к месяцу, как пальма, порою даже мне удается поймать его лучи раньше, чем ей; я, верно, очень высокая и очень старая.

Услыхав эти слова, чужестранец прислонился к дереву, на лице его появилось какое-то странное выражение. Он отказался от плодов манго, от воды, которые это прелестное и беспомощное создание ему предлагало, посмотрел на нее и во взгляде его в первый раз мелькнула едва уловимая жалость. Однако это странное чувство не могло длиться долго в том, кому, вообще-то говоря, оно было чуждо. На лице его вскоре появилось совершенно другое выражение: оно преисполнилось иронии и дьявольской злобы. Иммали не могла понять этой перемены.

- Так, выходит, ты живешь здесь одна, - спросил он, - и у тебя даже нет подруги?

- Как же, есть! - ответила Иммали, - у меня есть друг, и он прекраснее всех здешних цветов. Среди роз, чьи лепестки осыпаются в воду, нет ни одной, что могла бы цветом своим сравниться с его лицом. Друг этот живет под водой, но на щеках у него яркий румянец. Он тоже целует меня, только губы у него очень холодные, а когда я хочу поцеловать его, то он принимается плясать, и красивое лицо его дробится на тысячи лиц, и все они улыбаются мне, как совсем маленькие звезды. Но хоть у друга моего и тысяча лиц, а у меня только одно, меня все же в нем что-то смущает. Встречаемся мы с ним только у речки, когда солнце стоит высоко, и его уже никак не найти, когда стелются тени. Как только я поймаю его, я становлюсь на колени и принимаюсь его целовать, но теперь он так вырос, что подчас мне хочется, чтобы он был меньше. Губы у него сделались такими толстыми, что за каждый его поцелуй приходится целовать их без счета.

- А кто же все-таки твой друг, мужчина это или женщина? - спросил чужестранец.

- А что значат эти слова? - в свою очередь спросила Иммали.

- Я хочу знать, какого пола твой друг?

Однако на этот вопрос чужестранец не мог получить ответа, который бы сколько-нибудь его удовлетворил, и только на следующий день, когда он снова посетил остров, он обнаружил, что догадка его подтвердилась: склоняясь над речкой, в которой отражалось ее собственное лицо, и припадая к воде, девушка радостно ласкала его на разные лады. Чужестранец какое-то время следил за нею, и черты его то и дело меняли свое выражение по мере того, как проносились мысли, разобраться в которых обыкновенному человеку было бы очень трудно. Ведь за всю жизнь это была первая из намеченных им жертв, при виде которой в нем пробудилось раскаяние. Радость, с которой Иммали встретила его, казалось, вновь возвратила все человеческое сердцу, которое давно его отвергло, и на какое-то мгновение он испытал чувство, подобное тому, которое господин его испытывал, покидая райские кущи, - жалость к цветам, которые он решил погубить навеки. Он посмотрел, как она порхала перед ним, как протягивала руки, как приветливо блестели ее глаза, и только глубоко вздохнул, услышав обращенные к нему ласковые слова, - они были исполнены той первозданной свежести, какая могла быть лишь у существа, жизнь которого проходила среди пения птиц и журчания ручейков. При всем своем неведении она не могла не выказать смущения по поводу того, как он вдруг

очутился на острове, если нигде не видно никаких признаков лодки. Он уклонился от прямого ответа на ее вопрос и только сказал:

- Иммали, я прибыл сюда из мира, совершенно непохожего на тот, в котором живешь ты среди не имеющих души цветов и бездумных птиц. Я прибыл из мира, где все, как и я, умеют и говорить, и думать.

От удивления и восторга Иммали какое-то время не могла даже вымолвить слова; наконец она вскричала:

- О, как живущие в этом мире, должно быть, любят друг друга! Ведь я и то люблю моих бедных птичек, мои цветы и деревья, которые дают тень, и ручейки, которые поют мне свои песни!

Чужестранец улыбнулся:

- Во всем этом мире, быть может, нет существа такого красивого и такого невинного, как ты. Это мир страданий, греховный и суетный мир.

Ей стоило немало труда понять значение этих слов, но когда она поняла, она воскликнула:

- О, если бы только я могла жить в этом мире, я бы сделала там всех счастливыми!

- Ты бы не смогла, Иммали, - сказал чужестранец, - мир этот так велик, что тебе понадобилась бы целая жизнь, чтобы пройти его от края до края, и за один раз тебе удастся говорить только с очень немногими страдальцами, а горе их подчас так велико, что облегчить его свыше человеческих сил.

Услыхав эти слова, Иммали залилась слезами.

- Слабое, но прелестное создание, - сказал чужестранец, - о, если бы твои слезы могли исцелить снедающий человека недуг, успокоить метания истерзанного сердца, если бы они могли смыть бледную пену с запекшихся от голода губ, а главное - погасить огонь недозволенной страсти!

Иммали в ужасе слушала эти речи и могла только пролепетать в ответ, что всюду, куда она ни пойдет, она принесет с собою людям здоровым цветы и сияние солнца и усадит их всех под сень своего тамаринда. А что касается недугов и смерти, то она еще издавна привыкла видеть, как цветы, увядая, умирают своей прекрасной естественной смертью.

- И, может быть, - добавила она, задумавшись, - коль скоро, даже когда они увянут, восхитительный запах их остается, то, может быть, и \_способность думать\_ также сможет жить после того, как истлеет тело, и при мысли об этом сердце наполняется радостью.

Она сказала, что ничего не знает о страсти и не может предлагать никаких средств от неведомого ей зла. Ей приходилось видеть, как с наступлением осени вянут цветы, но она никак не может себе представить, зачем это цветок вдруг стал бы губить себя сам.

- А неужели тебе никогда не случалось видеть в лепестках его червяка? спросил чужестранец, пуская в ход всю присущую развращенности софистику.

- Да, случалось, - ответила Иммали, - но ведь червяк же не родится в цветке, а собственные листья не могут причинить ему никакого вреда.

Между ними завязался спор, но душе Иммали присуща была такая чистота, что, как ни любознательна она была и как ни восприимчива ко всему, что он говорил, речи его все равно не могли причинить ей вреда. Ее шуточные и беспорядочные ответы, ее необузданное и причудливое воображение, острота и сила ее хоть и недостаточно развитого ума и, превыше всего, ее природное и \_безошибочное\_ чутье в отношении того, что хорошо и что плохо, - все это вместе взятое составляло такую броню, которая смущала и приводила в замешательство искусителя больше, чем если бы ему пришлось столкнуться с целым полчищем \_казуистов\_ из прославленных в те времена европейских академий. Он был очень силен в ученой логике, но эта

логика, логика сердца и природы, была ему недоступна. Говорят, что самый бесстрашный лев "склоняется перед целомудрием и девической гордостью" {4}.

Искуситель помрачнел и собирался уже уйти, как вдруг заметил, что в ясных глазах Иммали проступают слезы; он понял, что простодушная печаль ее неспроста, и его охватило какое-то зловещее предчувствие.

- Ты плачешь, Иммали? - спросил он.

- Да, - ответила девушка, - я каждый раз плачу, когда вижу, как солнце скрывается в тучах. Так неужели и ты, солнце моего сердца, тоже скроешься во мраке? Неужели ты не взойдешь еще раз? Неужели нет? - и со всей доверчивостью, на которую способно существо, не искусенное жизнью, она припала губами к его руке. - Неужели нет? Я уже больше не буду любить ни мои розы, ни моих павлинов, если ты не вернешься, они ведь не умеют говорить со мной так, как говоришь ты, и я не могу передать им ни одной моей мысли, а от тебя я узнаю столько всего нового. О, как бы я хотела, чтобы у меня было много мыслей \_о мире, который страдает\_, о том, из которого ты пришел; а я верю, что ты действительно пришел оттуда, ибо до того, как я тебя увидела, я никогда не испытывала муки, которая не была бы мне и радостью, а теперь все становится для меня мукой, стоит только мне подумать, что ты не вернешься.

- Я вернусь, красавица моя, Иммали, - сказал чужестранец, - и, когда вернусь, дам тебе заглянуть в уголок того мира, откуда я пришел и где тебе скоро придется жить самой.

- Так, значит, я увижу тебя там, - сказала Иммали, - иначе как же я буду \_говорить мыслями\_?

- Ну да, разумеется.

- Но почему же ты все повторяешь по два раза, мне достаточно одного твоего "да".

- Да, увидишь.

- Тогда прими от меня эту розу и будем вместе вдыхать ее аромат, как я всегда говорю другу моему, что глядит на меня из воды, когда наклоняюсь, чтобы его поцеловать; только тот мой друг отнимает у меня розу, прежде чем я успею к ней прикоснуться, а моя остается в воде. Ты ведь возьмешь эту розу, не правда ли? - сказала красавица, наклоняясь к нему.

- Возьму, - ответил чужестранец и взял цветок из букета, который держала перед ним Иммали. Это была уже увядшая роза. Он схватил ее и спрятал на груди.

- А как же ты без лодки переправишься через это темное море? - спросила Иммали.

- Мы еще увидимся с тобой, увидимся \_в мире страданий\_, - сказал чужестранец.

- Спасибо тебе, спасибо, - повторяла Иммали, видя, как он бесстрашно идет навстречу прибою.

- Мы еще увидимся, - донесся его голос из волн.

Покидая остров, он еще дважды посмотрел на прелестную девушку, которая так привыкла к уединению; что-то человеческое как будто отозвалось в его сердце, но он сорвал с груди своей увядшую розу и в ответ на прощальный взмах руки и на ангельскую улыбку Иммали ответил:

- Мы еще увидимся.

Глава XVI

*Piu non ho la dolce speranza* {\*}.

{\* Больше нет у меня сладостной надежды {1} (итал.)}

Дидона

Целых семь дней утром и вечером ходила Иммали по пескам своего пустынного острова, но так нигде и не встретила чужестранца. Ее утешало, однако, его обещание, что они встретятся в мире страданий, и она повторяла про себя эти его слова, словно черпая в них отраду и надежду. Тем временем она как-то подготовила себя к вступлению в этот мир и на основании всего, что



ей было известно о растениях и животных, составила себе представление о непонятной для нее человеческой доле. Укрывшись в тени, она не спускала глаз с увядающей розы.

- Алая кровь, что вчера еще текла в ее жилах, стала сегодня пурпуровой, а завтра уже почернеет и начнет высыхать, - сказала она, - но роза не страдает, умирает она терпеливо, а вот лютик и тюльпан, что растут с нею рядом, те, как видно, равнодушны к участи подруги, иначе цветы их не оставались бы такими яркими. Но возможно ли такое в мире, где все умеют думать? Разве я могла бы спокойно взирать на то, как он вянет и умирает, и сама не увянуть, не умереть вместе с ним? Конечно же нет! Как только этот цветок начнет увядать, я стану росой, которая его освежит.

Она попыталась расширить свой кругозор, приглядываясь к царству животных. Птенец клеста выпал из своего висячего гнезда и разбился насмерть. Заглянув сквозь дырку, которую эта умная птица проделывает в нижней части гнезда, чтобы уберечь птенцов от стервятников, Иммали увидела, как родители прилетели туда; в маленьких клювах у них были светляки. Птенчик лежал перед ними мертвый. Увидав его, Иммали, залилась слезами.

- Ах, вы не умеете плакать, - воскликнула она, - какое у меня преимущество перед вами! Ваш птенчик, ваше собственное дитя, лежит мертвый, а вы еще можете есть. Неужели я могла бы пить кокосовое молоко, если бы ему было уже не дано его вкусить? Я начинаю понимать то, что он мне говорил: думать - означает страдать, и мир мысли, должно быть, в то же время и мир терзаний. Но до чего же сладостны эти слезы! Прежде я плакала от счастья, но есть, оказывается, страдание, и оно сладостнее, чем мое счастье, и это новое чувство я ощутила только тогда, когда увидела его. О, как, верно, всем захотелось бы думать, чтобы испытать радость, которую приносят слезы!

Но не одно только раздумье занимало все это время Иммали; в сердце ее закралась новая тревога, и в промежутках между размышлениями и слезами она принялась с жадностью собирать самые яркие, разрисованные прихотливыми узорами раковины и украшать ими руки и волосы. Каждый день меняла она свое сплетенное из цветов одеяние, и не проходило часу, как ей уже начинало казаться, что цветы эти вянут; потом она наполнила самые крупные раковины самой свежей водой, а скорлупы кокосовых орехов - сладчайшими смоквами, пересыпала их розами и искусно расставляла на каменной скамье разрушенной пагоды. Время, однако, шло, а чужестранец не появлялся, и Иммали, увидав на следующий день, что никто не прикоснулся к приготовленным ею яствам и что все уже увяло, плакала, однако тут же смахивала слезы и спешила заменить сморщенные плоды свежими.

Именно этим была она занята утром на восьмой день, когда вдруг увидела чужестранца: он шел к ней. Необузданная и простодушная радость, с которой она кинулась к нему, возбудила в нем на миг что-то вроде мрачного раскаяния, которое он старался всегда заглушить, и чуткая Иммали ощутила это в его замедленных шагах и отведенном в сторону взгляде. Она стояла, дрожа, охваченная робостью, которая делала ее еще прелестнее, словно умоляя простить ее за то, что она нечаянно обидела его, и, застыв на месте, всем видом своим как будто испрашивала у него позволения подойти ближе. Глаза ее были полны слез, которые хлынули бы из них, стоило ему сделать еще хоть одно суровое движение.

Вид ее "пробудил в нем заглохшую волю" {2}. "Она должна научиться страдать, и тогда она сможет стать моей ученицей", - подумал он.

- Ты плачешь, Иммали, - сказал он, подходя к ней ближе.

- Да, - ответила девушка, улыбаясь сквозь слезы своей светлой, утренней улыбкой, - ты должен научить меня страдать, и тогда я скоро буду годна для твоего мира, а то ведь мне бывает легче на душе тогда, когда я плачу по тебе, чем тогда, когда я улыбаюсь всем этим розам вокруг.

- Иммали, - сказал чужестранец, подавляя в себе чувство нежности, которое помимо его

воли смягчало его очерстевшее сердце, - Иммали, я пришел, чтобы приоткрыть тебе краешек того мира, в котором тебе так хочется жить и в котором ты скоро должна будешь поселиться. Подымись на этот холм, туда, где теснятся пальмы, и тебе приоткроется уголок этого мира.

- Но мне хочется увидеть его весь и сразу! - вскричала девушка с той страстностью, которая присуща ненасытному и необузданному уму, убежденному, что он может поглотить все на свете и все переварить и понять,

- Весь и сразу, - повторил ее собеседник, который улыбался, глядя, как она носится вокруг, задыхаясь от волнения, и как все больше разгорается неведомое ей дотоле чувство. - Мне думается, того, что ты увидишь сегодня вечером, будет больше чем достаточно, чтобы удовлетворить твоё ненасытное любопытства.

Он вынул из кармана подзорную трубу и попросил Иммали приставить ее к глазам. Едва только девушка заглянула в трубу, как из уст ее вырвалось радостное восклицание: "Что же это - я теперь там или они - тут?" - и в невыразимом восторге она прикинула к земле. Она тут же вскочила и, порывисто схватив трубу, направила ее куда-то в сторону и, увидав там одно только море, с грустью воскликнула:

- Пропал! Он пропал! Весь этот мир ожил и умер за один миг. Так умирает все, что я ни люблю: самые милые моему сердцу розы вянут гораздо раньше тех, на которые я не обращаю внимания; с того дня, когда я в первый раз тебя увидела, месяц восходил уже семь раз - и тебя не было, а этот чудесный мир жил всего лишь один миг.

Чужестранец снова направил подзорную трубу к берегу Индии, до которого было не так далеко, и Иммали снова в восторге вскричала:

- Он снова здесь, и теперь он еще красивее, чем был. Все существа там живут, все думают! У них даже какая-то думающая походка. Нет там ни бессловесных рыб, ни бесчувственных деревьев, всюду удивительные скалы {1\* Речь идет о зданиях.}, на которые они взирают с гордостью, словно сделали их собственными руками. Чудесные скалы! Как мне нравится, что вы такие прямые со всех сторон, как хороши эти завитые, похожие на цветы узелки на ваших разукрашенных вершинах! {3} О, только бы вокруг вас росли цветы и порхали птицы, я бы тогда предпочла вас даже другим, тем, у подножия которых я смотрю на заходящее солнце! О, какой же это должен быть мир, где все не так, как в природе, и, однако, прекрасно! И все это, должно быть, - творение мысли. Но только какое там все маленькое! Мысль должна бы сделать все это не таким, а крупнее - мысль должна бы стать богом. Но только, - добавила она, словно спохватившись и в робости своей начиная уже корить себя за сказанное, - может быть, я не права. Порой мне казалось, что я могу положить руку на крону пальмы, но потом, много времени спустя, я подошла к ней совсем близко, я увидела, что не смогу дотянуться даже до самого нижнего ее листа, будь я даже в десять раз выше, чем сейчас. Может быть, твой чудесный мир тоже станет выше, когда я подойду к нему совсем близко.

- погоди, Иммали, - сказал чужестранец, беря у нее из рук подзорную трубу, - чтобы насладиться этой картиной, ты должна понять, что же это такое.

- О да, - вскричала Иммали покорно, но с какой-то тревогой: ведь весь привычный ей мир чувств разом померк, и воображение ее старалось представить тот, новый, сотворенный разумом мир, - да, дай мне подумать.

- Иммали, скажи, исповедуешь ты какую-нибудь религию? - спросил чужестранец, и его бледное лицо сделалось еще бледнее от невыразимого страдания.

Иммали, очень восприимчивая и чуткая к чужому страданию, отбежала в сторону и, вернувшись минутой спустя с листом баньяна, вытерла им капли пота на его бледном лбу; потом она уселась у его ног и, глубоко задумавшись и напрягая все свое внимание, повторила: "Религия ? Что же это такое? Еще одна мысль?"

- Это сознание, что есть существо, которое выше всех миров и их обитателей, ибо оно - творец их всех и будет им всем судьей, существо, видеть которое мы не можем, но в чье присутствие, хоть и незримое, ибо никто нигде его не видел, и в чье могущество мы должны верить: существо это всегда действует, хоть и никогда не пребывает в движении, все слышит, хоть самого его никто никогда не слышал.

- погоди! - в смятении прервала его Иммали, - тут так много мыслей, что они могут убить меня, дай мне передохнуть. Мне довелось видеть, как ливень, сошедший с неба, чтобы освежить розовый куст, вместо этого пригибал его к земле.

Напряженно, словно стараясь припомнить нечто значительное, она добавила:

- Голоса моих снов говорили мне о чем-то таком еще до моего рождения, но это было так давно; иногда мне приходили мысли, похожие на этот голос. Мне думалось, что я слишком сильно люблю все то, что меня окружает здесь, и что мне следовало бы любить то, до чего мне не дотянуться, - цветы, что никогда не увянут, и солнце, что никогда не заходит. С такими мыслями я могла бы вспорхнуть как птица, но никто никогда не показал мне этого пути ввысь.

И девушка восхищенно воздела к небу глаза, в которых поблескивали слезы, вызванные картинами, что представились вдруг ее разгоряченному воображению, а вслед за тем обратила к чужестранцу свою немую мольбу.

- Надо, - продолжал он, - не только вызывать в себе мысли об этом существе, но и выражать эти мысли своими поступками. Обитатели того мира, который тебе предстоит увидеть, называют это поклонением, и они усвоили (тут сатанинская улыбка заиграла у него на губах), - весьма непохожие друг на друга способы этого поклонения, настолько непохожие, что, по сути дела, все они сходятся только в одном - в том, что они превращают религию свою в сплошную муку; есть, например, религия, заставляющая людей мучить самих себя, и религия, заставляющая мучить других. Мне, правда, удалось заметить, что, хотя все они держатся одного мнения касательно этого важного обстоятельства, способы, которыми они этого достигают, к несчастью, настолько различны, что несогласие их вызывает большие раздоры в мире, который мыслит.

- В мире, который мыслит! - повторила Иммали. - Не может этого быть! Не могут ведь они не знать, что нельзя по-разному понимать того, кто един.

- Ну а ты разве ничем не можешь выразить свое отношение к этому существу; как бы ты, например, стала ему поклоняться? - спросил чужестранец.

- Я улыбаюсь, когда солнце встает во всей своей красе, и плачу, когда вечерняя звезда восходит в небе, - ответила Иммали.

- Как же это так, ты вот возмущаешься тем, что одному божеству люди поклоняются на разные лады, а сама обращаешься к своему то с улыбкою, то со слезами?

- Да, и так и так, потому что и улыбка и слезы выражают мою радость, сказала простодушная девушка, - солнце ведь счастливое - и тогда, когда оно улыбается сквозь тучи, и тогда, когда оно пламенеет над нами в расцвете своей удивительной красоты, и улыбаюсь я или плачу - я счастлива.

- Те, кого тебе предстоит увидеть, - сказал чужестранец, протягивая ей подзорную трубу, - столь же непохожи один на другого в том, как они поклоняются своему божеству, как улыбки непохожи на слезы; но в отличие от тебя они не умеют быть одинаково счастливы и в том и в другом.

Иммали заглянула в подзорную трубу, и то, что она увидела там, привело ее в восторг, и она даже закричала от радости.

- Что ты там видишь? - спросил чужестранец.

Иммали пыталась описать представшие ее взору чудеса, но ей трудно было подыскать для

всего слова, и рассказ этот, Может быть, станет понятнее, если обратиться к пояснениям чужестранца.

- Перед тобою берег Индии, - сказал он. - Огромное здание, на которое ты прежде всего обратила внимание, это черная пагода Джаггернаута. Рядом с ней - турецкая мечеть, ты можешь отличить ее по изображению, имеющему форму полумесяца. Желание того, кто правит этим миром, - это чтобы все люди, поклоняясь ему, чтили эту эмблему {2\* Типпо Саиб {4} хотел в своих владениях заменить индуистскую религию мусульманской. Событие, о котором идет речь, хоть в действительности оно и произошло задолго до этого, является тем не менее вполне вероятным.}. Неподалеку от мечети ты видишь низенькое здание, крыша которого украшена трезубцем, - это храм Махадевы {5}, одной из самых древних богинь этой страны.

- Вид этих зданий ничего для меня не значит, - сказала Иммали, - покажи мне лучше людей, которые в них живут. Дома эти далеко не так красивы, как прибрежные скалы, увитые водорослями, поросшие мхом и укрытые тенью далеких кокосовых пальм.

- Но по виду этих зданий, - сказал Искуситель, - можно судить о том, каково направление мыслей тех, кто их посещает. Если ты хочешь заглянуть в их мысли, ты должна присмотреться к поступкам, которыми они их выражают. Обычно в общении друг с другом люди прибегают к обману, но, общаясь со своими богами, они довольно искренни; у них есть определенные представления о нравах этих богов, и они им неукоснительно следуют. Если божество их грозно, они поклоняются ему в страхе, если жестоко, они заставляют себя страдать, если мрачно, образ его точно запечатлевается на лице того, кто это божество чтит. Смотри и суди сама.

Иммали взглянула и увидела просторы песчаной равнины; вдали чернела пагода Джаггернаута. Вся долина была усеяна мертвыми костями; тысячи их, совсем побелевших от зноя и от сухого воздуха пустыни, валялись вокруг. Тысячи полуживых людей, изможденных тем же зноем, влачили свои почерневшие от солнца тела сквозь пески, чтобы испустить дух хотя бы в тени далекого храма, не надеясь даже проникнуть внутрь.

Многие из тащившихся туда людей падали и умирали, так и не добравшись до храма. Было много и таких, в ком еще теплилась жизнь, но им приходилось напрягать последние силы, чтобы взмахами слабеющих уже рук отпугивать ястребов, которые падали камнем с высоты, кружились потом совсем низко, впивались в остатки мяса на костях своей жертвы, издававшей дикие крики, и оглашали воздух другими криками, в которых выражали свое огорчение по поводу того, что добыча на этот раз оказалась скудной и невкусной.

Многие в своем ложном и фанатическом рвении старались усугубить свои страдания тем, что начинали ползти по пескам на четвереньках, но рукам их с вросшими ногтями и коленям, истертым до самых костей, было трудно пробиться вперед по зыбучим пескам сквозь все эти скелеты и скопища живых тел, которым тоже скоро предстояло превратиться в скелеты, и слетавшихся ястребов, которые их клевали.

Иммали старалась не дышать; казалось, что ей бьет в нос отвратительный запах этих разлагающихся тел, которые, как говорят, распространяют заразу по всему побережью, где стоит храм Джаггернаута.

Вслед за этой страшной картиной глазам ее предстало пышное шествие, великолепие которого составляло ужасающий контраст с только что виденным ею омерзительным и гибельным оскудением жизни, как плотской, так и духовной: сверкая и колыхаясь, оно поражало пышностью и блеском. На огромное сооружение, напоминавшее собою не столько триумфальную колесницу {6}, сколько дворец на колесах, было поставлено изваяние Джаггернаута; эту махину волокли сотни людей, и в их числе священнослужители, жертвы, брамины, факиры и многие другие. Несмотря на огромную силу, которую они составляли все вместе, толчки были до того неравномерны, что вся эта громадина качалась и кренилась то в

одну, то в другую сторону, и это удивительное сочетание неустойчивости и великолепия, ущербной шаткости и устрашающего величия давало верное представление о фальши всего этого показного блеска и о внутренней пустоте религии, основой которой было идолопоклонство.

По мере того как процессия продвигалась, ослепительно сверкая среди окружающего ее убожества и торжествуя среди смерти, толпы людей время от времени кидались вперед, чтобы лечь под огромные колеса, которые за одно мгновение дробили их на мелкие куски и катились дальше. Другие совершали над собою краеобрезание ланцетами и ножами и, не считая себя достойными погибнуть под колесницей, которая везла их идола, старались умиловить его, обагрив следы колес собственной кровью. Родные и друзья их испускали крики радости, видя, что колесница и весь ее путь залиты кровью, и надеялись, что это добровольное самопожертвование их близких окажется выгодным! и для них самих - с не меньшим рвением и, может быть, с не меньшим основанием, чем католические монахи ожидают для себя блага от самоистязания святого Бруно {7}, от ослепления святой Люции {8}, от мученичества святой Урсулы {9} и вместе с нею одиннадцати тысяч девственниц, которые по истолкованию оказываются одной-единственной женщиной Ундецимиллой, чье имя католические предания превратили в Undecim mille {Одиннадцать тысяч (лат.)}.

Процессия продвигалась вперед, являя собой смешение обрядов, характерное для идолопоклонства во всех странах, тут были рядом и блеск и ужас; взывая к чувствам человека, она в то же время попирала все человеческое, смешивала цветы с кровью, бросала под колесницу с идолом то гирлянды цветов, то плачущего ребенка.

Вот что предстало настороженному взору Иммали, которой нелегко было поверить тому, что она видит. Она взирала на все это великолеpie и на весь этот ужас, на радость и на страдание, на смятые цветы и на искалеченные тела, на роскошь, которой, чтобы восторжествовать, нужны были чьи-то муки, она ощущала благоухание цветов и испарения крови, которые торжествуя вдыхал воплотившийся в образе человека злой дух, чей путь лежал через поверженную во прах природу и совращенные сердца! С содроганием и с любопытством смотрела на все это Иммали. Разглядывая шествие в подзорную трубу, она увидела, что в этом медленно движущемся храме впереди сидит мальчик, который воздает отвратительному идолу хвалу всеми непристойными телодвижениями почитателей фаллоса. Девушка была настолько чиста, что никогда бы не догадалась об истинном значении всего этого непотребства: целомудрие защищало ее надежным щитом. Напрасны были все усилия искусителя, который засыпал ее различными вопросами, намеками и настойчивыми предложениями объяснить на примерах то, что она не могла понять. Он увидел, что она к этому совершенно равнодушна и все эти вещи не вызывают в ней ни малейшего любопытства. Он в это время скрежетал зубами и кусал себе губы. Но когда она увидела, как матери бросают своих маленьких детей под колеса роскошной колесницы и тотчас же обращают взоры на дикие и бесстыдные пляски альмей {10}, причем приоткрытые рты их и то и дело смыкающиеся руки свидетельствуют о том, что они хлопают в ладоши в такт серебряным бубенцам, звенящим на тонких лодыжках танцовщиц, меж тем как дети их корчатся в предсмертных муках, - Иммали ужаснулась, подзорная труба выпала из ее рук.

- Мир, который думает, не умеет чувствовать, - вскричала она. - Ни разу не видела я, чтобы розовый куст способен был погубить свой же бутон.

- Посмотри еще раз, - сказал искуситель, - на это четырехугольное каменное здание, возле которого собралось несколько человек, отставших от толпы; оно увенчано трезубцем, это храм Махадевы, богини, которая не так сильна и не так широко известна, как этот великий идол Джаггернаут. Посмотри, как к ней льнут ее поклонницы.

Иммали посмотрела в трубу и увидела женщин, которые несли богине цветы, плоды и

благовония; молодые девушки шли с клетками в руках и, дойдя до храма, выпускали на волю птиц; другие, принеся обеты во спасение тех, кто был далеко, пускали по ближайшей речке яркие бумажные кораблики, внутри которых горел воск, наказывая им не тонуть до тех пор, пока они не доплывут до того, кому они посланы.

Иммали радостно улыбнулась: ей нравились обряды этой религии, отмеченной изяществом и не причиняющей никому вреда.

- Эта религия не требует ничьих страданий, - сказала она.

- Смотри еще, - сказал чужестранец.

Она заглянула в трубу и увидела, как те женщины, что только что выпускали из клеток птиц, вешают на ветки деревьев, укрывающих тенью храм Махадевы, корзиночки со своими новорожденными младенцами, которых они оставляют там на голодную смерть или на съедение птицам, в то время как матери их будут плясать и петь во славу богини.

Другие с превеликой нежностью и почтением привозили своих престарелых родителей на берег реки, где со всем вниманием, сыновней и дочерней заботой помогали им совершить омовения, после чего оставляли всех стариков и старух в воде на съедение аллигаторам, которые не заставляли свои несчастные жертвы особенно долго томиться в ожидании этой ужасной смерти; иных сыновья и дочери оставляли в зарослях возле реки, обрекая на ужасную и неминуемую гибель, ибо в зарослях этих водились тигры, чей рев начисто заглушал слабые крики их беспомощных жертв {11}.

Увидав эту картину, Иммали упала на землю, закрыла глаза руками и не сказала ни слова, сраженная ужасом и тоской.

- А ну, посмотри еще, - сказал искуситель, - не все религии требуют столько крови.

Иммали посмотрела еще раз вдаль, и глазам ее предстала турецкая мечеть во всем блеске, который сопутствовал первым шагам распространения религии Магомета среди населения Индии. Лучи солнца освещали ее золоченые купола, резные минареты и украшенные полумесяцем шпили, все замысловатые выдумки, которыми отмечены лучшие творения восточной архитектуры, где легкость сочетается с пышностью, великолепие - с устремленностью ввысь.

Услышав призыв муэдзина, к мечети потянулись люди; все это были рослые турки. Вокруг здания - ни деревца, ни кустика; тут нигде нельзя было заметить мягких переходных оттенков и той игры света и тени, которые словно объединяют творения бога и создание человеческих рук, призванное его возвеличить, при которых простодушная прелесть природы и изощренные выдумки искусства славят вместе творца того и другого; мечеть эта возвышалась как некая твердыня, ни от кого не зависящая, воплотившая в себе усилия могучих рук и гордых умов, подобных тем поклонникам этой святыни, которые приближались к ней сейчас. Их тонко очерченные и глубокомысленные лица и высокий рост резко выделялись среди бездумных лиц, согбенных фигур и грязной наготы нескольких несчастных индусов, которые, сидя в своих лачугах, ели рис, в то время как эти рослые турки шли мимо них в мечеть на молитву. Иммали глядела на них с благоговением и радостью и уже начала было думать, что есть что-то хорошее в этой религии, если ее исповедуют люди такого благородного вида. Но перед тем, как войти в мечеть, люди эти отпихнули и оплевали безобидных и забытых индусов; они ударяли их обухом сабли, и называя их собаками и идолопоклонниками, проклинали их именем бога и пророка его {12}. Хоть Иммали и не поняла ни слова из их речей, она возмутилась и спросила, почему они себя так ведут.

- Их религия, - ответил чужестранец, - повелевает им ненавидеть всех тех, кто не поклоняется богу так, как они.

- Горе им! - воскликнула Иммали в слезах, - не есть ли та ненависть, которой они учат,

самое убедительное доказательство того, что это наихудшая из всех религий? Но почему же, - продолжала она, и на лице ее, зардевшемся от недавних страхов, засияло теперь простодушное удивление, - почему же я не вижу среди них ни одного из этих милых существ, которые одеваются иначе и которых ты называешь словом "женщины"? Почему эти существа не поклоняются богу вместе с ними? Или у них есть своя собственная религия и она мягче этой?

- Эта религия, - ответил чужестранец, - не особенно благоволит к тем существам, из которых ты - самое прелестное; она учит, что у человека должны быть другие подруги {13} - в мире душ; да она даже и не говорит, попадут ли вообще женщины когда-нибудь в этот мир. Вот почему ты можешь увидеть здесь, как иные из этих изгнанниц бродят среди камней, указующих место, где погребены их близкие, и молятся за усопших, свидеться с которыми у них нет надежды. Иные же, старые и убогие, сидят у дверей мечети и читают отдельные места из лежащей у них на коленях книги (они называют ее Кораном) {14} и, не надеясь пробудить в людях благочестивые мысли, думают лишь о том, чтобы вымолить у них подавание.

Напрасно старалась Иммали вникнуть в сущность всех этих систем, надеясь найти в них спасительную надежду, которой жаждали ее чистая душа и пылкое воображение. Слова чужестранца пробудили в ней невыразимую неприязнь к религии вообще, исполненной теперь в ее глазах ужасов, жестокости и пролития крови, попирающей все законы природы и разрывающей все нити, связующие человеческие сердца.

Упав на землю, она вскричала:

- Если бог такой, как у них, то вообще нет никакого бога! - Потом, вскочив, словно для того, чтобы взглянуть на все в последний раз и окончательно убедиться, что все виденное ею только иллюзия, она вдруг увидела среди пальм незаметное строение, увенчанное крестом. Пораженная его скромным и простым видом, а также немногочисленностью и миролюбием людей, которые туда шли, она закричала, что это, верно, какая-нибудь новая религия, и принялась настойчиво выпытывать, как она называется и каковы ее обряды. Чужестранцу от ее открытия стало как-то не по себе, и видно было, что ему вовсе не хочется отвечать на те вопросы, которые у нее возникали. Однако вопросы эти были так неотвязны и так вкрадчиво нежны, и его прелестная собеседница так незаметно перешла от овладевшей ею глубокой грусти к совсем еще детскому, но уже разумному любопытству, что ей никак не мог противиться человек или тот, кто являл собой некое подобие человека.

В ее горевшем лице, когда она повернулась к нему, были и нетерпение и мольба только что успокоенного ребенка, "сквозь слезы нас дарящего улыбкой" {3\* Надеюсь, мне простят нелепость этой цитаты за ее красоту. Взята она из произведения мисс Джоанны Бейли {15}, лучшего драматурга нашего времени.}.

Может быть, на этого пророка, несущего в мир проклятия, могла повлиять и какая-либо другая причина, но вместо кощунственных слов из уст его вдруг вырвалось благословение, однако мы не смеем в это вникать, да, впрочем, ведь все равно нам ничего нельзя будет узнать до конца, пока не наступит день, когда откроются все тайны. Как бы то ни было, он почувствовал себя обязанным сказать ей, что это новая религия, религия, исповедующая Христа, и что она видела ее обряды и людей, поклонявшихся ей.

- Но что же это за обряды? - спросила Иммали, - что, они тоже убивают своих детей или родителей, чтобы доказать свою любовь к богу? Что, они тоже подвешивают их в корзинах, обрекая на голодную смерть, или оставляют их на берегу реки, чтобы их пожирали отвратительные свирепые звери?

- Религия, которую они исповедуют, все это запрещает, - с видимой неохотой сказал чужестранец, - она требует, чтобы они чтили своих родителей и любили своих детей.

- Но почему же они не отгоняют от входа в свой храм тех, кто думает иначе, чем они?

- Потому что их религия учит их быть мягкими, доброжелательными, терпимыми, не отталкивать и не презирать тех, на кого еще не снизошел ее чистейший свет.

- А почему же они не окружают поклонение богу роскошью и великолепием, почему в нем нет ничего величественного, того, что могло бы привлечь людей?

- Потому что они знают, что богу угодно только поклонение людей с чистым сердцем и ничем не запятнанными руками; и хотя религия их никогда не оставляет без надежды раскаявшегося преступника, она не обольщает этой надеждой тех, кто хочет подменить истинное влечение сердца показным благочестием или предпочесть искусственную религию со всей сопутствующей ей пышностью искренней любви к богу, перед чьим тронem - в то время как вокруг низвергаются в прах гордые твердыни воздвигнутых в его честь храмов - сердце человеческое по-прежнему пылает неугасимой и всегда угодной ему жертвой.

Пока он говорил (быть может, побуждаемый высшей силой), Иммали склонила свое пылавшее лицо долу, а потом, подняв его, похожая на только что явившегося в мир ангела, воскликнула:

- Богом моим будет Христос, а я буду христианкой!

И она снова склонила голову в глубоком благоговении, означавшем, что и телом и душой она изъявляет свою покорность новому богу, и простояла не шевельнувшись, углубившись в молитвенное раздумье, так долго, что не заметила даже, как собеседник ее исчез.

... От боли застонав,

Он улетел, а с ним и ночи тени {16}.

Глава XVII

Как, я же говорил, что надо получить разрешение от кади.

Синяя борода {1}

Посещения чужестранца на какое-то время прекратились, а когда они возобновились и он снова вернулся на остров, то цель их как будто стала иной. Он больше уже не пытался ни покушаться на нравственность Иммали, ни свращать софистическими доводами ее рассудок, ни смущать ее религиозные взгляды. Что касается религии, то он вообще предпочитал молчать о ней; казалось, он даже жалел, что ему пришлось заговорить об этом, и ни ее неумная жажда знаний, ни ласковая вкрадчивость, с какой девушка принималась его просить, ни к чему не приводили: он больше ни единым словом не обмолвился об этом предмете. Он, правда, щедро вознаграждал ее за это молчание, расточая перед ней необъятные и бесконечно разнообразные сокровища своего опыта, вмещавшего в себе столько, сколько не мог вместить ни один смертный, жизнь которого ограничена пределами каких-нибудь семидесяти лет. Однако Иммали это нисколько не удивляло. Она не замечала времени {2} и, слушая его рассказы о том, что случилось несколько столетий назад, она не ощущала никакой разницы между прошлым веком и настоящим, ибо ни сами события, ни время, когда они совершались, ничего не говорили ее душе, незнакомой ни с постепенным изменением обычаев, ни с ходом исторического развития.

Вечерами они часто сидели на берегу, где Иммали всегда расстилала для своего гостя мох, и смотрели вместе на простертую перед ними синеву океана. Они молчали: совсем недавно пробудившиеся разум и сердце Иммали ощущали бессилие языка, которые способны ощутить даже высокоразвитые люди, когда их потрясает какое-либо глубокое чувство; неведение и неискушенность девушки делали это ощущение особенно острым, а у таинственного пришельца было, может быть, еще больше оснований молчать. Молчание это, однако, прерывалось - и не раз. Каждый корабль, появлявшийся вдалеке, пробуждал в Иммали страстное желание побольше о нем узнать, и она забрасывала чужестранца вопросами, на которые тот отвечал всякий раз



медлительно и с большой неохотой. Познания его были очень обширны, разносторонни и глубоки, и ответы его не столько удовлетворяли любопытство его прелестной ученицы, сколько просто доставляли ей удовольствие. И вот, начиная от индийской лодки, где на веслах сидели обнаженные туземцы, и роскошных, но плохо управляемых судов раджей, которые, подобно, огромным золоченым рыбам, неуклюже резвятся в волнах, и кончая величавыми и искусно ведомыми европейскими судами, появлявшимися как некие океанские божества и привозившими людям богатства и знания, творения искусства и блага цивилизации, где бы они ни опускали паруса и ни бросали якорь, - он мог рассказать ей все, объяснить назначение каждого корабля, чувства, характеры и национальные особенности его разнообразных пассажиров, и из рассказов его она черпала такие знания, какие никогда бы не могла почерпнуть из книг, ибо нет ничего надежнее и живее, чем общение с человеком, и за человеческими устами закреплено преимущественное право поучать и любить.

Может быть, для этого необычайного существа, над которым ни жизнь, ни смерть, ни человеческие чувства не имели никакой власти, общение с Иммали было некоей странной и печальной передышкой среди непрестанных преследований судьбы. Мы этого не знаем и никогда не сможем сказать, какие чувства возбудили в нем ее целомудрие, беспомощность и красота. Известно только, что он в конце концов перестал смотреть на нее как на жертву; сидя с ней рядом и выслушивая ее вопросы или отвечая на них, он, казалось, радовался тем коротким просветам, которые выдавались теперь в его безумной и зловещей жизни. Расставшись с нею, он возвращался в мир, чтобы терзать и искушать человеческие души в сумасшедшем доме, где в это время ворочался на своей соломенной подстилке англичанин Стентон...

- Пойдите, - вскричал Мельмот, - повторите мне это имя!

- Запаситесь терпением, сеньор, - сказал Монсада, который не любил, когда его прерывали.

- Запаситесь терпением, и вы увидите, что все мы только зерна четок, нанизанные на одну и ту же нить. Из-за чего же нам ссориться? Союз наш нерушим.

И он вернулся к истории несчастной индийской девушки, запечатленной на пергаментях еврея Адонии, которую ему пришлось переписывать и которую он теперь хотел слово в слово передать слушающему его ирландцу, чтобы подкрепить ею свою собственную необычайную повесть.

- Когда он отдалялся от нее, он стремился именно к тому, о чем я говорил, когда же он возвращался к ней, он как будто забывал об этом; он часто смотрел на нее, и неистовый блеск его глаз смягчался проступавшими в них слезами; он поспешно вытирал их и снова впивался в нее взглядом. Когда он сидел так подле нее на цветах, которые она для него нарвала, когда он смотрел на ее розовые губы, робко ожидавшие, пока он подаст им знак заговорить, подобно бутонам, которые не решаются распуститься, пока их не коснутся солнечные лучи; пока он слышал слетавшие с ее уст нежные звуки, исказить которые было бы так же немислимо, как научить соловья кощунству, он вдруг опускался на землю у ее ног, проводил рукою по бледному лбу, утирая выступившие на нем капли холодного пота, и ему на какие-то мгновения начинало казаться, что он перестает быть преступившим нравственные законы Каином, что позорное клеймо с него стерто, во всяком случае на эти минуты. Но очень скоро прежний непроницаемый мрак снова окутывал его душу. Он снова чувствовал, как его гложет все тот же червь, которого нельзя раздавить, и обжигает огонь, погасить который ему никогда не будет дано. Зловещий блеск своих глаз он устремлял на единственное существо, которое никогда не стремилось отвести от них взгляд, ибо невинность делала ее бесстрашной. Он пристально смотрел на нее, и сердце его содрогалось от бешенства, отчаяния и - жалости; и как только он видел доверчивую и умиротворяющую улыбку, встречавшую его взгляд, который мог испепелить сердце самого смелого человека, так Семела, с мольбою и любовью взирала на молнию, которая должна была ее

поразить {3}, - горькая слеза туманила ослепительный блеск его глаз и смягчала устремленный на нее неистовый взгляд.

Раздраженно отвернувшись от нее, он стал смотреть на океан, словно стараясь обнаружить в расстилавшейся перед ним водной глади человека, которого можно было бы сжечь разгоревшимся внутри него пламенем. Океан, что ширился перед ним, сияющий, и безмятежный, и словно выстланный яшмой, никогда не отражал еще двух столь различных человеческих лиц и не внушал двум человеческим сердцам столь различных чувств. Иммали он наполнял той задумчивой и сладостной мечтательностью, какую природа, сочетающая в себе покой и глубину, вливает в души столь невинные, что они способны безраздельно и упоенно радоваться всему, что в ней есть прекрасного. Только непорочным и свободным от страсти душам дано сполна насладиться землею, океаном и небом. Стоит нам в чем-то преступить ее законы, как природа изгоняет нас навеки из своего рая, как прародителей наших, Адама и Еву.

В душе чужестранца океан пробудил совсем другие картины. Он взирал на него так, как тигр взирает на заросли, обещающие ему богатую добычу; он мысленно рисовал себе картины бури, кораблекрушения или, если даже стихиям во что бы то ни стало захочется покоя, - разукрашенную золоченую яхту, где какой-нибудь раджа, окруженный красавицами своего гарема, возлежит под балдахинами среди шелка и золота и упивается свежим морским воздухом, - и вдруг от неосторожного движения одного из гребцов яхта эта опрокинулась и люди падают в воду и напрасно стараются выплыть; гибель их среди залитого солнцем величественного и спокойного океана будет одним из тех сильных ощущений, какие неизменно тешат его жестокую душу. Но если бы даже и этого не случилось, он просто бы смотрел с берега на разрезающие волны суда, твердо зная, что каждое из них, начиная от ялика и кончая огромным торговым судном, везет свой груз горя и преступлений. Приходили европейские корабли; они везли страсти и преступления другого мира, его ненасытную алчность, его не знающую раскаяния жестокость, умы и таланты, состоящие в услужении у его пороков, и утонченность, которая побуждает человека быть еще более изобретательным в потворстве слабостям, еще более последовательным в творимом им зле. Он видел, как суда эти приходят, "чтобы торговать золотом, серебром и человеческими душами" {4}, чтобы, задыхаясь от жадности, хватать драгоценные камни и несметные богатства этих благодатных стран, отказывая безобидным жителям их даже в рисе, поддерживавшем их жалкое существование; чтобы дать там полную волю преступлениям своим, похоти и жадности, а потом, опустошив страну и ограбив ее народ, уплыть и оставить позади себя голод, отчаяние и проклятия; чтобы увезти с собою в Европу подорванное здоровье, разгоряченные страсти, изъязвленные сердца и беспокойную совесть, которая терзает их так, что, ложась спать, им страшно погасить у себя в спальне свечу.

Вот что привлекало его внимание. И однажды вечером, когда Иммали задавала ему множество вопросов относительно тех миров, куда впервые устремлялись суда и куда они возвращались, он по-своему описал неведомый ей мир, и в описании его соединились насмешка и злоба, горечь и раздражение по поводу ее простодушного любопытства. В рассказе его, который Иммали часто прерывала возгласами изумления, тоски и тревоги, смешались злобная язвительность, едкая ирония и жестокая правда.

- Они приходят, - сказал он, указывая на европейские суда, - из мира, обитатели которого озабочены только тем, какими средствами умножить страдания, как свои собственные, так и других людей, до предела возможного; если учесть, что занимаются этим делом они всего каких-нибудь четыре тысячи лет, то надо отметить, что они добились немалых успехов.

- Но возможно ли это?

- Сейчас увидишь. Чтобы им было легче добиться того, чего они хотят, все они с самого начала были наделены немощным телом и дурными страстями; и, надо отдать им

справедливость, они в течение всей своей жизни придумывают, как различными недугами еще больше ослабить это хилое тело и как еще больше ожесточить эти страсти. Они не такие, как ты, Иммали, которая живет среди роз, питается только свежими плодами и пьет родниковую воду. Для того чтобы мысли их огрубели, а сердца ожесточились, они пожирают мясо животных и, истязая растения, извлекают из них напитков, который не способен утолить жажду, но зато возбуждает в них страсть и укорачивает им жизнь, и это еще оказывается самым лучшим, ибо жизнь при таких обстоятельствах становится тем счастливее, чем она короче.

При упоминании о том, что люди едят мясо животных, Иммали вздрогнула так, как самый утонченный европеец вздрогнул бы при <sup>у</sup>упоминании о пиршестве людоедов; в глазах у нее заблестели слезы, и она посмотрела на своих павлинов так задумчиво и печально, что чужестранец не мог сдержать улыбки.

- Есть, правда, среди них и такие, - сказал он, чтобы немного ее утешить, - которые отнюдь не обладают столь извращенным вкусом, они удовлетворяют свой голод мясом таких же существ, как они сами, и, так как человеческая жизнь всегда бывает несчастной, а жизнь животных, напротив, никогда (за исключением разве стихийных бедствий), то можно считать, что это самый гуманный и полезный способ одновременно и насытить людей, и уменьшить человеческие страдания. Но люди эти кичатся изобретательностью своей в деле умножения страданий и бедствий и поэтому ежегодно обрекают тысячи себе подобных на смерть от голода и горя, сами же тешат себя, употребляя в пищу мясо животных. Для этого они убивают эти несчастные твари, тем самым лишая их единственной радости, которая в их положении у них еще остается. Когда от этого противоестественного питания и чрезмерного возбуждения себя превыше всякой меры недомогание их перерастает в недуг, а страсти переходят в безумие, то они начинают выставлять напоказ успехи свои со знанием дела и с последовательностью, поистине достойными восхищения. Они не живут так, как ты, Иммали, - чудесной независимой жизнью, которую дарует тебе природа. Ты ведь лежишь прямо на земле, и, когда ты спишь, недремлющие очи небес охраняют твой сон, ты ведь ходишь по траве до тех пор, пока легкая стопа твоя не ощутит в каждой травинке подругу, и разговариваешь с цветами до тех пор, пока не почувствуешь, что и ты и они - дети единой семьи - природы и уже почти научились говорить друг с другом на ее языке - на языке любви. Нет, для того чтобы достичь своей цели, им, оказывается, надо сделать свою и без того ядовитую пищу смертоносной - от воздуха, который они вдыхают; поэтому чем цивилизованнее люди, тем теснее они селятся на клочке земли; оттого лишь, что он пропитан их дыханием и испарениями их тел, воздух вокруг несет в себе заразу и способствует неслыханно быстрому распространению болезней и увеличению смертности. Четыре тысячи их живут на пространстве меньшем, нежели то, что здесь у тебя ограждает последний ряд этих молодых баньяновых деревьев, для того, разумеется, чтобы вонючий этот воздух сделался для них еще более вредоносным; не меньший вред приносит им искусственно вызываемая духота, противные человеческой природе привычки и бесполезная трата сил. Нетрудно представить себе, к чему привели столь благоразумные предосторожности. Самое пустячное недомогание становится заразным, и в периоды повальных болезней порождаемых подобным образом жизни, ежедневно десять тысяч человеческих жизней приносятся в жертву ради того, чтобы продолжать жить в городах.

- Но ведь люди там умирают в объятиях любимых, - сказала Иммали, обливаясь слезами, - а разве это не радостнее, чем спокойная жизнь в таком вот одиночестве, какое было у меня прежде, чем я тебя встретила?

Чужестранец был слишком занят своим рассказом, чтобы обратить внимание на ее слова.

- В эти города, - продолжал он, - люди стекаются якобы для того, чтобы иметь защиту и жить в безопасности, но на самом деле единственная цель их существования - всеми

возможными способами и ухищрениями умножать и усугублять несчастья и горе. Те, например, что живут в нужде и нищете, не видя никакой другой жизни, вряд ли способны почувствовать, как жалка их собственная; страдание входит у них в привычку, и они не способны завидовать жизни других; так вот летучая мышь, которая цепенеет от голода и, ничего не видя вокруг, забивается в расщелину скалы, не способна завидовать бабочке, которая пьет росу и купается в цветочной пыльце. Но люди других миров, живя в городах, изобрели новый необыкновенный способ сделать себе жизнь еще тяжелее: они сопоставляют ее с распутством и непомерной роскошью, в которой живут другие.

Тут чужестранцу пришлось потратить много сил, чтобы рассказать Иммали, каким образом происходит, что средства к существованию распределяются между людьми неравномерно. И когда он сделал все что мог, чтобы ей это объяснить, она все еще повторяла, прижав свой белый пальчик к алым губам и ударяя ножкой по мху, в каком-то раздражении и тревоге:

- Но почему же это у одних бывает больше, чем они могут съесть, а другим приходится голодать?

- В этом-то и состоит, - продолжал чужестранец, - самое утонченное удовольствие - в искусстве мучить, в котором люди эти приобрели такой опыт: рядом с богатством поместить нищету, заставить несчастного, который умирает от голода, слушать цоканье копыт и скрип колес роскошных карет, от которых сотрясается его несчастная лачуга и которые не приносят ему ни малейшего облегчения; заставить людей трудолюбивых, благородных, одаренных голодать, в то время как надутая посредственность томится от избытка; заставить умирающего страдальца почувствовать, что, для того чтобы продлить ему жизнь, достаточно одной капли того самого возбуждающего напитка, который, если употреблять его не зная меры, может стать для человека причиной тяжелого недуга или безумия; это главное, чем заняты люди, и, надо признать, они достигают своей цели. Можно ли страдать еще больше, чем тот несчастный, чьи лохмотья развеваются на пронизывающем зимнем ветру, который точно стрелами вонзается в его обнаженное тело, чьи слезы застывают раньше, чем успевают скатиться, чья душа мрачна, как ночное небо, под которым он спит, чьи слипшиеся клейкие губы не могут уже принимать пищу, которой требует голод, подобно горящему углю залегший у него в чреве; можно ли страдать больше, чем тот, кто среди всех ужасов, что несет с собою зима, предпочтет, однако, всю ее бездомность месту, что, словно на смех, зовется домом, но где нет ни куска хлеба, ни огарка свечи, где завываниям ветра вторят еще более яростные вопли истерзанных голодом страдальцев - ведь, войдя и пробираясь в свой угол, где ничего нет, где не постелено даже соломы, он натывается на тела собственных детей, позабывших о ночном сне и в отчаянии разметавшихся на голом полу.

Хоть Иммали и трудно было представить себе многое из того, о чем он говорил, она содрогалась от ужаса и не находила слов для ответа.

- Нет, этого еще мало, - продолжал чужестранец, накладывая все новые мазки на страшную картину, которую он ей рисовал, - пусть теперь, не зная куда податься, он подойдет к воротам тех, кто живет в богатстве и роскоши, пусть он поймет, что всего-навсего одна стена отделяет его от изобилия и веселья и что, несмотря на это, ему труднее добраться до них, чем если бы на пути его лежали целые миры, пусть он поймет, что в то время, как его мир это холод и мрак, у тех, кто за этой стеной, болят глаза от слепящего света, а ослабевшие от искусственного тепла руки ищут прохлады от колыхания опахал: пусть он поймет, что на каждый его стон там отвечают песнями или смехом, и пусть он умрет на ступеньках дворца и последние муки его, которые он способен будет ощутить, станут еще тягостнее от мысли, что, может быть, одна сотая часть избыточной роскоши, которая лежит нетронутой перед глазами равнодушной красавицы или пресыщенного эпикурейца, могла бы продлить его жизнь, а богатства эти только отравляют

жизнь тех, кому они ни на что не нужны: \_пусть он умрет от голода на пороге залы, где идет пир\_, - и тогда ты подивишься вместе со мною той изобретательности, что нашла себе выражение в этих новых облициях людской юдоли. Поистине неистоцимо на этом свете хитроумие людей по части умножения горя. Им мало болезней и голода, засух и бурь, им надобны еще законы и браки, короли и сборщики податей, войны и празднества и все разновидности искусственно созданных бедствий, понять которые ты не в силах.

Подавленная этим потоком слов, для нее непонятных, Иммали напрасно упрашивала его разъяснить ей их смысл. Дьявольская злоба, проступавшая в его беспредельной мизантропии, теперь овладела им целиком, и даже звуки голоса, сладостного, как арфа Давида {5}, были не властны ее отогнать. И он продолжал бросать вокруг себя раскаленные уголья и метать стрелы, говоря:

- Разве это не так? Эти люди {1\* Так как критики мои, прибегнув к столь же ложному, сколь и неправоммерному приему, самые дурные чувства моих самых дурных героев {6} (начиная от бреда Бертрама и кончая кощунственными речами Кардонно) умудрились приписать \_мне самому\_, мне приходится сейчас злоупотребить терпением читателя и решительно заявить, что чувства, которыми я наделяю чужестранца, в корне противоположны моим собственным и что я нарочно вложил их в уста того, кто послан выполнить волю Врага рода человеческого.} создали себе королей, иначе говоря, тех, кому сами же они дали право вытягивать посредством податей и золото, которое порок помогает скопить богачам, и жалкие крохи, которыми в нужде своей пробавляются нищие, до тех пор пока вымогательство это не проклянут как замки, так и лачуги - и все это для того, чтобы несколько холеных коней, запряженных в шелка, торжественно везли колесницу их по телам простертой перед ними толпы. Иногда, истомленные однообразием, которое приносит постоянное пользование благами жизни, еще более мучительное, чем однообразие страдания (ибо то все же не лишает человека надежды, а пресыщению в ней отказано навсегда), они тешат себя тем, что устраивают войны, иными словами, собирают такое число человеческих существ, какое только им удастся нанять для этой цели, чтобы те перерезали горло меньшему, равному или большему числу других существ, нанятых таким же способом и с тою же целью. У существ этих нет ни малейшего основания питать друг к другу вражду, ибо они не знают и ни разу даже не видели своих противников. Быть может, при других обстоятельствах они могли бы даже хотеть друг другу добра в той мере, в какой это вообще может позволить людская злоба, но с той минуты, как их наняли для совершения узаконенных убийств, ненависть становится для них долгом, а убийство наслаждением. Человек, которому было бы неприятно раздавить ползущего у него под ногами ужа, берет в руки металлическое оружие, изготовленное для того, чтобы уничтожать себе подобных, и улыбается, видя, как металл этот бывает обогрен кровью существа, ради спасения которого он при других обстоятельствах, может быть, пожертвовал бы собственной жизнью. Привычка искусственно усугублять страдания так сильна, что известны случаи, когда, после того как во время морского боя взрывался военный корабль (здесь для Иммали потребовалось длинное разъяснение, которое мы позволим себе опустить), люди того мира бросались в воду, чтобы, рискуя собственной жизнью, спасти жизнь тех, с кем только что сражались, опаленные огнем и обогренные кровью. Несмотря на то что они уже готовы были принести своих врагов в жертву ярости и страстям, проснувшаяся вдруг гордыня никак не могла допустить, чтобы те сделались теперь жертвами стихий.

- О, это прекрасно! Это чудесно! - воскликнула Иммали, хлопая в ладоши, - я готова перенести все, о чем ты рассказал, лишь бы увидеть эту картину!

При виде ее простодушной улыбки и вспыхнувшего в ней порыва высоких чувств чужестранец, как то обычно бывало, еще больше нахмурил лоб, и верхняя губа его еще более сурово и неприятно вздернулась - движение, которым он всегда выражал враждебность или

презрение.

- Но что же делают короли? - вскричала Иммали, - зачем же они заставляют людей попусту убивать друг друга?

- Ты ничего не знаешь, Иммали, - сказал чужестранец, - ты совсем ничего не знаешь, иначе ты не сказала бы "попусту". Иные из них ведут борьбу за какие-то десять дюймов пустынных песков, иные - за соленые волны моря, третьи - невесть за что, четвертые - вообще ни за что, но все - ради денег и нищеты, ради мимолетного возбуждения, из жажды деятельности и жажды перемен, из страха перед покоем; увидев, сколь они порочны и надеясь на смерть, и восхищаясь пышным нарядом, в котором им предстоит погибнуть. Лучше всего в подобного рода забавах то, что люди эти не только умудряются мириться с окружающими их жестокими и подлыми нелепостями, но даже превозносить их, называя самыми громкими именами, какие для этого создал их развращенный язык: они говорят о молве, о славе, о неизгладимых воспоминаниях и восторгах потомков.

Так вот, несчастный, которого нужда, праздность и невоздержанность заставляют заниматься этим безрассудным и ожесточающим сердце делом, который оставляет жену и детей на милость чужих людей или обрекает их на голодную смерть (что в сущности одно и то же) с той самой минуты, когда он надевает на себя красную кокарду, которая дает ему право убивать, в воображении этого охваченного безумием народа становится защитником отечества, заслуживающим всяческой благодарности и похвалы. Ленивому юнцу, нимало не озабоченному развитием своего ума и презирающему всякий труд как занятие его недостойное, может быть, и захочется украсить себя разноцветными лентами, пестрота которых может сравниться только с оперением попугая или павлина; и это поистине бабье пристрастие называют оскверненным именем любви к славе; эта смесь побуждений, идущих от тщеславия и порока, от страха перед нищетой, от праздной пустоты и от желания делать зло другим, укрывается под надежной и удобной завесой, которая носит простое название "патриотизм". И этих-то людей, у которых за всю их жизнь не было ни одного великодушного побуждения, ни одного искреннего чувства, людей, не только не имеющих понятия о принципах, лежащих в основе того дела, за которое они борются, но даже не знающих, справедливо оно или нет, и нисколько не заинтересованных в конечном его исходе, если не считать выгод, которые оно представляет для их тщеславия, жадности и страсти к стяжательству, - этих-то людей обезумевший мир при жизни их называет своими благодетелями, а после смерти канонизирует как мучеников, пострадавших за святое дело. "Он умер за свое отечество" гласит эпитафия написанная торопливой рукой человека, неразборчивого в своих похвалах, на могиле десяти тысяч других, у каждого из которых было десять тысяч различных возможностей сделать выбор и так или иначе определить собственную судьбу и которые, все до одного, легко могли сделаться врагами своей страны, не случись им попасть в ряды ее защитников, и чья любовь к отечеству, если как следует в ней разобраться и приподнять скрывающие ее покровы - тщеславие, непоседливость, пристрастие к шумихе и пристрастие к внешнему блеску, - есть не что иное, как самый обыкновенный эгоизм. Впрочем, довольно о них; единственное, что побуждает меня столько говорить о несчастных, жизнь которых злонамеренна и вредна, а смерть ничтожна, - это желание обличить тех, кто заставляет их жертвовать собой и кто рукоплещет этой бессмысленной жертве.

У людей этих, столь изобретательных в деле умножения выпавших на их долю страданий, есть еще одна забава, - то, что они называют законом. Они хотят верить, что он обеспечивает охрану как их самих, так и их достояния, но ведь их же собственный опыт может лучше всего их в этом разубедить! Суди сама, Иммали, о какой охране достояния может идти речь, если, даже проведя всю жизнь свою в судах, ты все равно не сможешь доказать, что эти вот розы, которые ты сама собрала и вплела себе в волосы, принадлежат тебе, а не кому-то другому; если можно

изголодаться, но так и не доказать, что ты вправе сегодня съесть свой обед, а чтобы доказать, что у тебя действительно есть право на свою неотъемлемую собственность, голодать надо несколько лет и суметь при этом выжить, чтобы этим правом воспользоваться; и, наконец, будь даже на твоей стороне чувства всех порядочных людей, убежденность всех судей твоей страны и глубочайшая убежденность твоя в своей правоте, ты все равно не сможешь вступить во владение тем, что и ты сама и все вокруг признают твоим, а меж тем противник твой может выставить любое возражение, пойти на подкуп, измыслить любую ложь. Так вот идут тяжбы и пропадают целые годы, тратится достояние и разбиваются сердца, - а закон торжествует. Самое удивительное в этом его торжестве - та изобретательность, с которой закон этот умудряется сделать трудное невозможным и наказать человека за то, что он не поступил так, как тот же самый закон не дал ему поступить.

Когда человек не в состоянии уплатить свои долги, закон этот лишает его свободы и кредита, для того чтобы его и без того бедственное положение сделалось еще тяжелее; когда же он лишен таким образом уже всех средств к жизни и даже возможности рассчитаться с долгами, сей справедливый распорядок позволяет ему обрести утешение в мысли о том, что вред, наносимый им своему кредитору, является для него наградой за страдания, что тот ему причинил, что потеря денег становится возмездием за беспощадную жестокость и что в то время, как он томится в тюрьме, листы книги, в которой записан его долг, истлевают - быстрее, чем его тело. А вслед за тем ангел смерти одним всеокрушающим взмахом крыла стирает и нужду и долг и, восторжествовав, со зловещей усмешкой на устах изрекает приказ об освобождении должника и о снятии с него долга, подписанный рукою того, чье имя повергает в дрожь восседающих в своих креслах судей.

- Но ведь у них же есть религия, - сказала девушка, потрясенная этими страшными речами и вся дрожа, - у них же есть религия, та, что ты мне показывал, ведь она полна кротости и миролюбия, спокойствия и смирения, она не знает ни жестокости, ни пролития крови.

- Да, есть, - с какой-то неохотой ответил чужестранец, - у них есть религия; люди эти так привержены страданию, что им мало еще всех мук, которые приносит их мир, им надо усилить их ужасами другого мира. Да, такая религия у них действительно есть, но во что они ее превратили? Верные своей раз и навсегда поставленной цели - отыскивать горе всюду, где бы они ни увидели его след, и придумывая его там, где его нет и в помине, они даже на чистых страницах книги, которая, по их словам, утверждает мир на земле и вечное блаженство после смерти, умеют вычитать оправдание ненависти, грабежа и убийства человека человеком. Для этого им пришлось в немалой степени извратить логику вещей и прибегнуть к изощренной софистике. Ведь в книге этой речь идет только о добре. Сколь же злыми должны быть люди и сколь нелегко труд этих злокозненных умов, если именно из этой-то книги им удастся извлечь доводы, которые подтверждают их лживые измышления! Ты заметь только, как хитро они действуют, добиваясь своей главной цели - увеличить на земле горе. Они называют себя различными именами, для того чтобы возбудить соответственные этим словам чувства. Иные из них, например, запрещают ученикам своим заглядывать в ту или иную книгу, другие же, напротив, уверяют, что, только изучив ее одну от корки до корки, они смогут почерпнуть надежду на спасение и ее обосновать. Любопытно, однако, что сколь они ни были изобретательны, им все же ни разу не удалось отыскать повод для того, чтобы разойтись в мнениях по поводу основ той книги, на которую они все ссылаются, и поэтому они действуют особым способом.

Они никогда не решаются оспаривать то, что книга эта содержит безоговорочные предписания, что те, кто в нее верит, должны жить в мире, Добросердечии и гармонии, что они должны любить друг друга в благоденствии и помогать друг другу в несчастьи. Они не решаются

оспаривать то, что дух, которым проникнута эта книга, несет людям любовь, радость, мир, долготерпение, кротость и правду. По поводу этих положений никаких разногласий у них нет и никогда не бывает. Они слишком очевидны, чтобы можно было их отрицать, и поэтому предметом спора люди эти делают различие в платье, которое носят, и, движимые любовью к богу, готовы перерезать друг другу горло из-за весьма важного обстоятельства - белые у них или красные куртки {2\* Во время войн Лиги {7} именно это отличало католиков от протестантов.} или носят их священники ризы с шелковыми лентами {3\* Католики.}, одеваются в белую холщовую одежду {4\* Протестанты.} или в черное домашнее платье {5\* Диссиденты {9}.}, должны ли они опускать своих детей в купель {8} или брызгать на них несколько капелек этой воды; должны ли они, воздавая молитвы тому, кого все они чтят, в память его смерти становиться на колени или нет, или же... Но я, верно, уже надоел тебе рассказами о том, сколь порочны и сколь нелепы бывают люди. Ясно только одно: все они согласны в том, что книга эта гласит "люди, любите друг друга", и, однако, слова эти, после того как они переводят их на свой язык, означают "люди, ненавидьте друг друга". Но так как они не могут найти ни примеров, ни оправдания этого в книге, они ищут то и другое в себе самих, и им это всегда удается, ибо души человеческие - это неисчерпаемые кладези злобы и неприязни, и когда они пользуются названием этой книги, чтобы освятить свои дурные страсти, обожествление этих страстей становится для них долгом и самые недобрые побуждения окружаются ореолом святости и почитаются за добродетели.

- Но неужели же в этих ужасных мирах нет родителей и детей? - спросила Иммали, глядя на клеветника рода человеческого полными слез глазами, неужели там нет таких, которые любили бы друг друга так, как я любила деревья, под которыми впервые ощутила, что живу, или цветы, которые росли вместе со мною?

- Родителей? Детей? - переспросил чужестранец. - Ну конечно же! Там есть отцы, которые обучают своих сыновей... - тут голос его пресекся, и ему стоило немалого труда с ним совладать.

Долгое время он молчал, а потом сказал:

- Среди этих людей с извращенным образом мысли можно иногда встретить нежных отцов и матерей.

- А кто же эти отцы и матери? - спросила Иммали, чье сердце при упоминании о нежности сразу забилось.

- Это те, - сказал чужестранец с холодной усмешкой, - которые убивают своих детей, как только они родились, или с помощью медицины избавляются от них прежде, чем они успели появиться на свет; такого рода поступки единственные, которыми люди эти могут убедительно доказать свою родительскую любовь.

Он умолк, и Иммали погрузилась в печальное раздумье по поводу того, что только что услышала. Едкая и жестокая ирония, звучавшая в его словах, не произвела ни малейшего впечатления на ту, для которой все изреченное было правдой и которая никак не могла понять, как это можно прибегать к обвинякам, ведь ей подчас трудно бывало постичь смысл даже самых прямых слов. Однако она все же могла понять, что он много всего говорил о зле и о страдании словах, обозначавших нечто неведомое, и она устремила на него взгляд, в котором можно было прочесть и благодарность, и упрек за это мучительное посвящение в тайны новой жизни. Поистине она вкусила от древа познания, и глаза ее открылись, но плоды его показались ей горькими, и взгляд ее был полон признательности, к которой примешивалась мягкая грусть. И от этого взгляда должно было бы содрогнуться сердце того, кто преподавал первый урок страдания существу столь прекрасному, нежному и невинному. Искуситель заметил это ее смятение и возликовал.

Он представил ей жизнь в таком искаженном виде, может быть, с тем, чтобы она



испугалась и ей не захотелось знакомиться с ней ближе; может быть, - в странной надежде, что сможет оставить ее опять одну на этом уединенном острове, где время от времени он будет иметь возможность видеть ее снова и вдыхать из окружающей ее атмосферы струю свежести и чистоты, единственную, которая веяла подчас над выжженной пустыней его собственной жизни и которую он еще мог ощутить. Надежда эта еще больше укрепилась после того, как он увидел, какое впечатление он произвел на нее своим рассказом. Вспыхнувшее на миг понимание, затаенное дыхание, любопытство, горячая признательность - все вдруг погасло: ее опущенные задумчивые глаза были полны слез.

- Мой рассказ, должно быть, утомил тебя, Иммали? - спросил он.

- Он огорчил меня, но все равно я хочу его слушать, - ответила девушка. - Я люблю слушать, как журчит поток, пусть даже откуда-то из-под волны может вылезти крокодил.

- Может быть, ты хочешь встретить людей этого мира, где столько преступлений и горя?

- Да, хочу, потому что из этого мира пришел ты и, когда ты вернешься туда, счастливы будут все, кроме меня одной.

- Так, по-твоему, я могу дарить людям счастье? - спросил ее собеседник, - по-твоему, я ради этого скитался по свету?

Лицо его приняло какое-то странное выражение, в котором слились воедино насмешка, отчаяние и злоба, и он добавил:

- Ты делаешь мне слишком много чести, приписывая мне занятие, столь кроткое и столь близкое мне по духу.

Иммали, которая отвернулась куда-то в сторону, не заметила этого выражения.

- Не знаю, но ведь это ты научил меня радости страдания, - ответила она, - пока я не встретила тебя, я умела только улыбаться, но с тех пор, как я тебя увидела, я плачу, и слезы мои для меня отрада. О, как они отличны от тех, которые я проливала по заходящему солнцу и по вянувшему цветку! И все-таки я не знаю...

И несчастная девушка, подавленная чувствами, которые она не могла ни понять, ни выразить, сложила руки на груди, словно стараясь скрыть ту тайну, от которой по-новому билось ее сердце; с той робостью, которая присуща неискушенным душам, она отошла на несколько шагов в сторону и опустила глаза, не в силах больше сдерживать хлынувшие из них слезы.

Искуситель, казалось, был смущен; на какое-то мгновение его охватило незнакомое ему чувство; но потом губы его искривились в усмешке, которая была исполнена презрения к самому себе; казалось, он упрекал себя за то, что пусть даже на мгновение поддался заговорившему в нем человеческому чувству. Выражение напряженности снова исчезло с его лица, когда он взглянул на отвернувшуюся от него склоненную фигуру Иммали, и казалось, что человек этот сам раздираем душевной мукой и ищет в то же время себе забавы в муках другого. В том, что человек может испытывать отчаяние и вместе с тем казаться веселым, вообще-то говоря, нет ничего противоестественного. Улыбки - это законные отпрыски счастья, смех же очень часто бывает побочным сыном безумия; на глазах у всех он способен издеваться над теми, кто его породил. С таким вот веселым лицом чужестранец вдруг повернулся к ней и спросил:

- Чего же ты хочешь, Иммали?

Последовало продолжительное молчание, после чего девушка сказала:

- Не знаю.

В голосе ее была какая-то пленительная задумчивость; так женщины умеют дать понять скрытый смысл сказанных ими слов, которые обычно означают нечто совершенно противоположное. "Я не знаю" означает "я слишком хорошо это знаю". Собеседник ее понял это и радовался уже, предвкушая свое торжество.

- Но почему же ты тогда плачешь, Иммали?

- Не знаю, - отвечала несчастная девушка, и слезы ее полились еще сильнее.

Услыхав эти слова или, вернее, услышав эти слезы, он на минуту забылся. Он ощутил то горькое торжество, которое не приносит радости победителю; то торжество, которое означает, что победа одержана над слабыми, одержана благодаря тому, что сами мы оказались еще слабее. Помимо его воли человеческое тепло охватило всю его душу, и с неожиданной для него мягкостью он сказал:

- Что же ты хочешь, чтобы я сделал теперь, Иммали?

Иммали было нелегко найти такие слова, которые были бы одновременно и сдержанны и понятны, которые могли бы выразить ее желания и вместе с тем не выдать тайн ее сердца; будучи не в силах разобраться в неведомых ей дотоле чувствах, девушка долго колебалась прежде чем дать ответ.

- Чтобы ты остался со мной, - сказала она наконец. - Чтобы ты не возвращался в этот мир зла и горя. Здесь цветы всегда будут цвести, а солнце светить так же ярко, как в тот день, когда я в первый раз тебя увидела. Зачем же тебе возвращаться в мир, где людям приходится думать и где они несчастны?

Раздавшийся вдруг дикий и резкий смех испугал ее. Она замолчала.

- Бедная девочка, - воскликнул он, и в голосе его послышалось то смешанное с горечью сострадание, которое одновременно может испугать человека и его унижить, - неужели же в этом мое назначение? Слушать щебетанье птиц и смотреть, как распускаются цветы? Разве это мне написано на роду?

И с новым взрывом такого же дикого неестественного смеха он оттолкнул руку, которую Иммали протянула ему в подтверждение своего простодушного порыва.

- Да. конечно, я ведь очень подхожу и для такой участи и для такой подруги. Скажи мне, - добавил он еще более ожесточенно, - в каких это моих чертах, в каких модуляциях моего голоса, в каких моих чувствах, которые я сейчас выражал словами, прочла ты надежду, столь оскорбительную для меня, оскорбительную, ибо она обещает счастье?

Иммали, разумеется, могла бы ответить ему: "Я понимаю, что слова твои полны ярости, но смысл их для меня неясен", но девическая гордость ее и женская проницательность дали ей почувствовать, что он ее отвергает. Вспыхнувшие в ней негодование и обида вступили теперь в борьбу с нежным и любящим сердцем. Несколько мгновений она молчала, а потом, сдержав слезы, очень твердо сказала:

- Тогда уходи назад в свой мир, раз ты хочешь быть несчастным, тогда уходи! О горе мне! Мне нет нужды идти туда, чтобы стать несчастной, я ведь несчастна и здесь. Ступай, только возьми с собой эти розы, ведь все они завянут, как только ты уйдешь! Возьми с собой эти раковинки, мне никогда больше не захочется их надеть, если ты их на мне не увидишь!

С этими словами непринужденным, но очень выразительным движением она сняла с груди и вытащила из волос все украшавшие ее раковины и цветы и бросила их ему под ноги; потом она в последний раз посмотрела на него взглядом, полным гордой и безутешной печали, и приготовилась уйти.

- Остайся, Иммали, остайся еще на минуту и выслушай то, что я тебе скажу. - стал просить чужестранец.

В это мгновение он, может быть, открыл бы ей сокровенную тайну своего предназначения, которую ему запрещено было открывать людям, но Иммали в молчании, которое ее проникновенный скорбный взгляд наполнял глубоким значением, даже не обернулась к нему и, все так же печально покачав головой, ушла.

Глава XVIII

Miseram me omnia terrent et maris sonitus

et scopuli, et solitudo, et sanctitudo

Apollinis \*.

Латинская пьеса

{\* Меня, несчастную, страшит все: рокот моря, нависшие над ним скалы, пустынность этих мест, святость Аполлона {1} (лат.).}

Прошло много дней, прежде чем чужестранец снова появился на острове. Ни один человек на свете не мог бы сказать, чем он был занят и какие чувства владели им все это время. Может быть, бывали часы, когда он торжествовал, думая о горе, которое причинил, может быть, бывали другие, когда он жалел об этом. Бурная душа его походила на океан, поглотивший тысячи величавых кораблей, а теперь почему-то медливший погубить утлую лодочку, которой трудно было совершить свой путь даже при полном штиле. Побуждаемый, однако, то ли злобой, то ли нежностью, снedaемый любопытством или устав от своей искусственной жизни, столь непохожей на ту подлинную чистую жизнь, которою жила Иммали, пропитанную ароматами цветов и запахами земли и осененную сияющим небом; или, может быть, движимый другим, самым властным из всех побуждений - собственной волей, которая, хоть мы и никогда не пытаемся разобраться в ней и вряд ли даже признаемся самим себе в ее власти над нами, в действительности определяет девять десятых наших поступков, - так или иначе он вернулся. Он вернулся на берег острова очарований, прозванного так теми, кто не знал, каким именем наречь жившую на нем неведомую им богиню и кто находился в таком же затруднении по поводу этого нового объекта их теологии, как Линней {2}, когда он сталкивался с растением, еще не описанным в ботанике. Увы! Разновидности в нравственной ботанике куда разнообразнее самых странных разновидностей в ботанике в обычном смысле этого слова. Как бы то ни было, чужестранец вернулся на остров. Но ему пришлось проложить на нем немало тропинок, раздвинуть или сломать немало ветвей, которые словно вздрагивали от прикосновения человеческой руки, и переходить вброд ручьи, в которые не погружалась еще ничья нога, прежде чем он мог обнаружить, где спряталась Иммали.

Ей, однако, и в голову не приходило прятаться. Когда он отыскал ее, она стояла, прислонившись к скале, слушая неумолчный рокот и плеск, океана. Это была самая пустынная часть берега; вокруг - ни кустика, ни цветка; обожженные скалы вулканической породы и гул прибоя; волны почти касались ее маленьких ножек, которые в безопасности своей то ли искали опасности, то ли пренебрегали ею, - вот все, что ее окружало. Когда он увидел ее в первый раз, она была окружена цветами и их ароматами, всем пестрым разнообразием животного и растительного мира. Розы и павлины словно оспаривали друг у друга право украсить это прелестное существо. И она, казалось, царила меж ними, перенимая у одних благоухание, у других - пестроту. Теперь же ее, казалось, покинула даже сама природа, дочерью которой она была. Прибежищем ее была холодная скала, а постелью, куда она, может быть, собиралась лечь, океан. На груди у нее больше не было видно раковин, в волосы не было вплетено ни единой розы. Казалось, что и характер ее изменился так же, как чувства: она уже перестала любить прекрасное в природе; словно предчувствуя участь, которая ее ожидает, она как будто вступала в союз со страшными и зловещими силами. Она полюбила скалы и океан, громыханье волн и бесплодный песчаный берег - все то, что даже звучаньем своим напоминает о горе, о вечности. Этот непрестанный унылый гул столь же однообразен, сколь и биение сердца, вопрошающего природу вокруг о том, что его ждет, и слышащего в ответ: "Горе".

Те, кто любят, могут упиваться воздухом сада и вбирать в себя его пьянящее благоухание, и кажется, что это - жертвоприношения самой природы на тот алтарь, который уже воздвигнут в сердце каждого, кто поклоняется ей, и на котором зажжен огонь; а те, \_кто любил\_, пусть уходят

на берег океана природа откликнется и им.

В воздухе вокруг была и грусть и какая-то скрытая тревога; казалось, ему передались и чувства, что боролись в груди Иммали, которая в эту минуту была так одинока, и зловещее молчание внешнего мира; должно быть, природа готовилась к одной из тех страшных катаклизмов, к одному из тех судорожных опустошений, которые призваны возвещать неотвратимость божьего гнева. Сжигая на каком-то протяжении всю растительность и опаливая землю, она глухими раскатами уходящего грома грозит, что вернется в тот день, когда вселенная сторит как свиток пергамента и все составляющие ее элементы расплавятся от небывалого жара, - и вернется, чтобы исполнить свое ужасное обещание; что сейчас это еще только начало, только предвестие. Есть ли такой раскат грома, в котором не слышалась бы угроза: "Уничтожение мира оставлено для меня, я уйду, но я еще вернусь"? Есть ли такая вспышка молнии, которая бы не начертала в небе светящихся слов: "Грешник, я не могу сейчас проникнуть в тайники твоей души, но как встретишь ты мой блеск, когда я стану мечом в руках судии и мой всепроникающий взгляд разденет тебя донага перед всеми собравшимися мирами"?

Вечер был очень темный; тяжелые тучи, надвигавшиеся, как вражеские полчища, заволакивали горизонт от края до края. Выше в небе изливался яркий, но страшный свет, подобный тому, что загорается в глазах умирающего, когда он напрягает остатки воли, а силы меж тем быстро его покидают, и он уже понимает, что конец близок. Ни одно Дуновение ветерка не шевелило поверхность океана, деревья недвижно поникли, и никакой шорох не пробегал по их притаившейся листве, птицы улетели, повинаясь тому инстинкту, который побуждает их избегать страшного столкновения стихий и, спрятав голову под крыло, старались примоститься в своих излюбленных, надежно укрытых от ветра Уголках. На всем острове не слышно было ни звука, который бы говорил о жизни; речка и та, словно испугавшись собственного журчанья, катила свои неприметные воды так, как будто глубоко под землей некая рука укрощала ее стремительный бег. В часы такого исполненного величия и ужаса затишья природа напоминает строгого отца, который, прежде чем начать свою грозную речь, встречает провинившегося сына зловещим молчанием, или, скорее, судью, чей окончательный приговор воспринимается с меньшим страхом, нежели предшествующая ему тишина.

Иммали смотрела на это грозное зрелище без малейшего волнения, равнодушная ко всему, что происходило вокруг. До этого времени и свет и тьма были ей одинаково милы; она любила солнце за его сияние, и молнию - за ее мгновенные вспышки, и океан - за его гулкий рокот, и бурю - за то, что она колыхала и клонила долу ветви деревьев; девушка плясала потом под их приветливой тенью в такт движениям низко свисавших листьев, которые, казалось, венчали собой ее красоту. Любила она и ночь, когда все стихало и звучали одни лишь потоки, которые в ее представлении были музыкой и пробуждали от сна звезды в небе и те принимались сверкать и мигать им в ответ.

Так было прежде. Теперь же глаза ее пристально взирали на угасающий свет и на растущую тьму, на тот крошечный мрак, который, казалось, говорил самому яркому и прекрасному из творений господина: "Уступи мне место, светить ты больше не будешь".

Тьма густела, и тучи сдвигались как войска; сплотив все свои силы, они стояли теперь сомкнутым строем, готовясь дать бой сияющему лазурью небу. Темно-багровая полоса, широкая и мутная, притаилась на горизонте, словно узурпатор, подстерегающий престол только что отрешившегося монарха; раздвигая все дальше вширь образовавшийся в небе чудовищный круг, она попеременно метала то красные, то белые молнии; рокот океана нарастал, и под мощными сводами баньянов, раскинувших свои вековые корни меньше чем в пятистах шагах от места, где стояла Иммали, эхом отдавался глубокий и какой-то потусторонний гул приближавшейся бури; стволы древних деревьев покачивались и стонали, а их безмерной крепости корни, казалось,

перестали держаться за землю и, раскинувшись в воздухе, вздрагивали при каждом новом порыве ветра. Самым ничтожным звуком, какой только она могла послать с земли, воздуха или воды, природа возвещала детям своим беду.

Именно в эти минуты чужестранец решил подойти к Иммали. Опасности для него не существовало, и он не знал, что такое страх. Несчастливая судьба избавила его от того и другого, но что же она ему оставила взамен? Никаких надежд, кроме одной: распространить на других тяготящее над ним проклятие. Никаких страхов, кроме страха, что жертва его может от него ускользнуть. И, однако, несмотря на все его дьявольское бессердечие, при виде молодой девушки в нем \_все же\_ заговорило что-то человеческое. Лицо ее поражало своей бледностью, глаза были устремлены вдаль, и вся фигура ее, повернутая к нему спиной (как если бы встрече с ним она предпочла объятья самой яростной бури), казалось, говорила: "Пусть лучше я достанусь богу, но только не человеку".

Эта поза, которую Иммали приняла совершенно случайно и которая отнюдь не выражала ее подлинных чувств, снова пробудила в сердце чужестранца все дурное; все злые помыслы его и его давняя мрачная страсть преследовать людей овладели им с новой силой. Видя это судорожное буйство природы и рядом с ним полную беспомощность ничем не защищенной девической красоты, он испытал приступ страсти, подобный той, которая владела им, когда страшная колдовская сила давала ему возможность беспрепятственно проникать в камеры сумасшедшего дома или тюрем Инквизиции.

Видя, что девушка окружена ужасами стихий, он ощутил странную уверенность, что, хотя небесные стрелы и могут сразить ее за какой-нибудь миг, существуют еще другие, более жгучие стрелы, что одну из них он держит сейчас в руке, и если только прицел его окажется точен, то он поразит ею душу девушки.

Вооруженный всем своим могуществом и всей своей злобой, он приблизился к Иммали, единственным оружием которой была ее чистота. Девушка стояла, сама словно отблеск закатного луча, и смотрела, как догорает этот последний луч. Облик ее так не подходил ко всему, что ее окружало, что несоответствие это могло тронуть любого, но только не Скитальца.

Ее светлая фигура выделялась на фоне окутывавшего ее мрака; нежные очертания ее стана казались еще нежнее рядом с суровой каменной глыбой, к которой она приникла; эти плавные изящные и гармоничные линии словно бросали вызов чудовищному буйству стихий, во гневе своем сеющих разрушение.

Чужестранец подкрался к ней так, что она его не заметила; шаги его заглушали шум океана и зловещие завывания ветра. Но когда он подошел ближе, он услышал иные звуки, и они возымели на его чувства, вероятно, такое же действие, как шепот Евы, обращенный к цветам, на чувства змея. Подобно змею, он ощущал свою силу и понимал, что время пришло. Среди стремительно надвигавшихся вихрей, более страшных, чем все то, что ей приходилось видеть за свою жизнь, несчастная девушка, не сознавая, а может быть, и не чувствуя грозившей опасности, пела свою простодушную песню, говорившую об отчаянии и о любви, словно откликаясь ею на приближение бури. Кое-какие слова этой песни, страстной и полной тоски, донеслись до его слуха.

"Ночь все темнее, но разве не гуще мрак, в который он, уходя, поверг мою душу? Молнии сверкают вокруг, но разве не ярче сверкали его глаза, когда он покидал меня в гневе?"

Я жила только светом, который исходил от него, так почему же я не могу умереть, когда этот свет исчез? Тучи во гневе, чего мне бояться вас? Вы можете испепелить меня, как испепеляли у меня на глазах ветви вековых деревьев, только стволы стоят и сейчас. Так и сердце мое будет принадлежать ему до скончания века.

Ревни же, грозный океан! Волнам твоим, которых не счесть, никогда не вымыть из души

моей его образ; тысячи волн бросаешь ты на скалу, но скала недвижима; так же недвижимо будет и сердце мое среди всех бедствий того мира, которыми он хочет меня отпугнуть; если бы не он, опасностей этих я бы никогда не узнала, для него же я брошусь сама им навстречу".

Она прервала свою простодушную песню, а потом запела ее снова, не думая в эту минуту ни об ужасах взбушевавшихся стихий, ни о том, что рядом мог находиться тот, чье коварство и чьи хитроумные козни были намного опаснее гнева всех стихий.

"Когда мы впервые встретились, на груди у меня были розы, а теперь ее прикрывают только темные листья. Когда он увидел меня впервые, все твари любили меня, а теперь не все ли равно, любят они меня или нет, ведь я сама разучилась любить их. Когда он каждый вечер являлся на остров, мне хотелось, чтобы месяц сиял ярче. Теперь же мне все равно, встает он или заходит, задернут он тучами или светел. До того, как он пришел сюда, меня все здесь любило. И тех, кого любила я, было больше, чем волос у меня на голове, теперь же я знаю, что могу любить только одного, и этот один меня покинул. Все переменялось с тех пор, как я его увидела. Цветы уже не столь яркие, как прежде; я больше не слышу музыки в журчанье воды, звезды не улыбаются мне с неба, как улыбались прежде; да и сама я стала больше любить не покой, а бурю".

Окончив свою грустную песню, она повернулась, чтобы уйти с места, где буря уже бушевала так, что ей невозможно было там оставаться долее, - и тут она встретила устремленный на нее взгляд чужестранца. Она покраснела вся до корней волос, но на этот раз из уст ее не вырвалось радостных слов, как то обычно бывало, когда он появлялся на острове. Он указал ей на развалины пагоды, где они могли бы укрыться; не глядя на него и шатаясь, Иммали побрела за ним вслед. В молчании приблизились они к развалинам. И среди всех ужасных корч и ярости стихий странно было видеть, как два существа идут друг за другом и не перекинутся ни единым словом о своем страхе, как мысль об опасности даже не приходит им в голову, ибо один из них вооружен против нее своим отчаянием, а другая - своей невинностью. Иммали больше хотелось укрыться под сенью любимого ею баньяна, но чужестранец стал убеждать ее, что там было бы гораздо опаснее, чем в том месте, которое выбрал он.

- Опаснее! - воскликнула девушка, и светлая и простодушная улыбка осветила ее черты, - какая же мне может грозить опасность, если ты будешь рядом?

- Так, по-твоему, в моем присутствии тебе ничто не грозит? Не много было тех, кто встречал меня без страха, кто не ощущал этой опасности! - и лицо его стало темнее, чем небо, на которое он, хмурясь, устремлял взгляд. Иммали, - добавил он, и голос его сделался более глубоким и даже задрожал, ибо хотел он этого или нет, но к нему примешивалось теперь человеческое волнение, - Иммали, неужели же ты сама настолько слаба, чтобы думать, что у меня есть власть над стихиями? Если бы у меня действительно была эта власть, - продолжал он, - то, клянусь небом, что теперь так сурово на меня смотрит, я знал бы, что мне делать: я собрал бы все самые быстрые и смертоносные стрелы молний из тех, что свистят сейчас вокруг, и убил бы ими тебя на месте.

- Меня? - воскликнула девушка, вся затрепетав; от этих слов и от того, как они были сказаны, лицо ее побледнело больше, чем от оглушительных порывов бури, в промежутках между которыми она с трудом разбирала эти слова.

- Да, тебя... тебя... хоть ты и хороша собой, и чиста, и невинна, прежде чем тебя уничтожит огонь, еще более сокрушительный, и выпьет кровь твоего сердца, прежде чем ты подвергнешься опасности, в тысячу раз более грозной, чем все то, чем сейчас грозят тебе стихии, - опасности оказаться со мной - проклятым и несчастным!

Не понимая значения этих яростных слов, но вся дрожа от тоски, которую он ими ей причинил, Иммали подошла к нему, чтобы смягчить его волнение, хоть и не знала ни сущности его, ни причины. Сквозь щели в развалинах зигзаги красных молний озаряли на миг ее

разметанные волосы, ее мертвенно-бледное лицо, залом рук и всю ее склоненную фигуру, выражавшую собою мольбу, словно она просила простить ее за преступление, которое совершила, - какое, она не знала, и выказывала участие в чужом горе. Все вокруг нее было неестественно, дико и страшно: пол с обломками камней и грудями песку, развалины огромного храма, который, казалось, не мог быть создан человеческими руками и разрушить который мог только дьявольский разгул, зияющие щели тяжелых сводов над головой, сквозь которые то темнело, то ярким светом вспыхивало опять небо, - и это был беспросветный мрак и еще более страшный, чем мрак, ослепительный свет. Освещенная этими мгновенными вспышками фигура девушки являла такую силу и такую трогательную нежность, что какой-нибудь художник мог бы, наверное, обессмертить себя, изобразив в ее лице ангела, сошедшего в обитель гнева и печали, огня и мрака, чтобы принести с собой мир, - ангела, все усилия которого оказались напрасными.

Когда она склонилась перед ним, чужестранец бросил на нее один из тех взглядов, которые всех, кроме нее одной, повергали в трепет. Но на взгляд этот несчастная жертва отвечала самозабвенной преданностью. Может быть, правда, к этому чувству примешивался еще невольный страх, охвативший девушку в ту минуту, когда она опустилась на колени перед своим содрогающимся и смущенным врагом. Не говоря ни слова, она словно обращалась к нему с немой мольбой быть милостивым к себе самому. Когда вокруг сверкали молнии, а земля под ее легкими белоснежными ногами дрожала, когда стихии, казалось, поклялись уничтожить на земле все живое и нагрянули с высоты небес, чтобы привести свой замысел в исполнение, причем слова "Vae victis" {Горе побежденным {3} (лат.)} крупными, видными издали буквами были начертаны на развернутых широких знаменах, излучавших ослепительный сернистый свет, словно предваряя \_то, что ждет грешников в преисподней\_, - все чувства девушки сосредоточились на избраннике ее сердца, в котором она так обманулась. Весь облик ее и каждый ее порыв были прекрасным, но вместе с тем страдальческим выражением безграничной покорности женского сердца предмету своей любви, его слабостям, страстям и даже - его преступлениям. Когда побуждение это возникает под гнетом той власти, которою мужчина духовно подчиняет себе женщину, оно становится до крайности унижительным для последней. Сначала Иммали наклонилась, чтобы его успокоить; душа ее подсказала телу этот первый порыв. На следующей ступени страдания она опустилась на колени, оставаясь поодаль от него. Она верила, что ее униженный вид произведет на него такое действие, какое те, что любят, надеются произвести, вызвав к себе \_жалость\_, эту незаконную дочь любви, которой часто достается больше ласки, чем самой матери. Собрав последние силы, она припала к его руке, стала прижимать ее к своим побелевшим губам и хотела произнести какие-то слова; голос ей изменил, но потоки слез \_сказали\_ за нее все. Ответом было порывистое пожатие руки, которую потом тут же отдернули.

Девушка лежала простертая на земле. Она была в ужасе.

- Иммали, - прерывающимся голосом заговорил чужестранец. - Хочешь, я скажу, какие чувства я должен в тебе вызывать?

- Нет! Нет! Нет! - вскричала она, приложив к ушам свои тонкие руки, а потом сложив их на груди, - я слишком все это ощущаю сама.

- Ненавидь меня! Проклинай меня! - вскричал чужестранец, не обращая на нее внимания и с такой силой ступая по гулким, разбросанным по полу плитам, что стук его шагов мог, пожалуй, поспорить с раскатами грома, - ненавиждь меня, ибо я тебя ненавижу.. ибо я ненавижу все живое, все мертвое, и сам я ненавистен всем.

- Только не мне, - сказала девушка; слезы слепили ее; она тянулась во тьме к отдернутой им руке.

- Да, буду ненавистен и тебе тоже, если ты узнаешь, кем я послан и кому служу.

Иммали напрягла все силы, которые теперь снова пробудились в ней, чтобы ему ответить.

- Я не знаю, кто ты, но я твоя, - сказала она. - Я не знаю, кому ты служишь, но ему буду служить и я, - я буду твоей навеки. Если ты захочешь, ты можешь меня покинуть, но когда я умру, вернись на этот остров и скажи себе: "Розы расцвели и увяли, потоки пролились и иссыкли; скалы сдвинулись со своих мест, и светила небесные изменили свой бег, но была на свете та, что никогда не менялась, и ее больше нет!".

В словах этих слышались и страсть и тоска.

- Ты сказал мне, - добавила она, - что владеешь чудесным искусством записывать мысли. Не пиши ни слова у меня на могиле, ибо одного слова, начертанного твоей рукой, достаточно, чтобы меня оживить. Не плачь обо мне, ибо одной твоей слезы будет достаточно, чтобы меня оживить, и, может быть, для того лишь, чтобы ты пролил еще одну слезу.

- Иммали! - вскричал чужестранец.

Девушка подняла глаза и, исполненная печали, смущения и раскаяния, увидела, что он плачет. Заметив этот взгляд, он тут же каким-то безнадежным движением руки смахнул с лица слезы и, стиснув зубы, разразился вдруг приступом неистового судорожного смеха, который всегда означает, что смеемся мы над собою.

Дошедшая до полного изнеможения Иммали не произнесла ни слова и только дрожала, припав к его ногам.

- Выслушай меня, несчастная! - вскричал он голосом, в котором попеременно звучали то дикая злоба, то сострадание, привычная неприязнь и необычная мягкость, - выслушай меня! Я ведь знаю, с каким тайным чувством ты борешься, знаю лучше, чем то сердце, в которое это чувство прокралось. Подави его, прогони, уничтожь! Раздави его так, как ты раздавила бы змею, прежде чем та подрастет и мерзостным обличем своим ужаснет тебя, а смертоносным ядом отравит!

- Ни разу в жизни я не раздавила ни одной живой твари, даже змеи, ответила Иммали, которой не приходило в голову, что этот буквальный ответ мог быть истолкован и в другом смысле.

- Так, значит, ты любишь, - сказал чужестранец, - только, - добавил он после долгого и зловещего молчания, - знаешь ли ты сама, кого полюбила?

- Тебя! - ответила девушка с тем чистым ощущением правды, которое как бы освящает самый порыв чувств и стыдится всякой искусной изощренности больше, нежели искреннего признания. - Тебя! Это ты научил меня думать, чувствовать, плакать.

- И за это ты меня любишь? - спросил искуситель с иронией, к которой примешивалось сочувствие. - Подумай только на минуту, Иммали, какой недостойный, неподходящий объект ты избрала для своих чувств. Существо непривлекательное на вид, с отвратительными привычками, отъединенное от жизни и человечества непроходимой пропастью, обездоленного пасынка природы, занятого тем, что проклинает, а то и совращает своих более удачливых братьев, тою кто... но что же все-таки мешает мне раскрыть тебе все до конца?..

В это мгновение молния чудовищной, непереносимой силы блеснула меж развалин, прорываясь сквозь каждую щель мгновенным ослепительным светом. Подавленная волнением и страхом, Иммали продолжала стоять на коленях, плотно прикрыв руками воспалившиеся глаза.

За те минуты, которые она провела так, ей показалось, что она слышит еще какие-то звуки, что чужестранец отвечает какому-то голосу, который с ним говорит. В то время как вдали раздавались удары грома, она явственно различила, как он сказал, обращаясь к кому-то:

- Это мой час, а не твой, отойди и не тревожь меня. Когда она снова подняла глаза, на лице его не было уже и следа человеческих чувств. Казалось, что эти в отчаянии своем устремленные на нее сухие горящие глаза не могли пролить ни одной слезы; казалось, что в обхватившей ее



руке никогда не бились жилы, что по ним никогда не струилась кровь; среди жара вокруг, такого удушливого, что можно было подумать, что самый воздух охвачен огнем, прикосновение ее было холодно, как прикосновение мертвеца.

- Пощади меня, - в страхе вскричала девушка, напрасно пытавшаяся уловить хоть искорку человеческих чувств в этих каменных глазах, к которым она теперь подняла свои, полные слез и молящие. - Пощади!

И произнося эти слова, она не знала даже, о чем она просит и чего боится.

Чужестранец не ответил ни слова, ни один мускул не дрогнул у него на лице; казалось, что обхватившие ее стан руки не ощущают ее тела, что устремленные на девушку, светящиеся холодным светом глаза не видят ее. Он отнес, вернее, перетащил ее под широкий свод, некогда служивший входом в пагоду, но который теперь, наполовину разрушенный обвалом, больше походил на зияющую пещеру, где находят приют обитатели пустыни, чем на творение человеческих рук, назначение которого прославлять божество.

- Ты просила пощады, - сказал искуситель голосом, от которого даже в этом раскаленном воздухе, где трудно было дышать, кровь холодела в жилах. Ты просила пощадить тебя, что же, тебя пощадят. Меня вот не пощадил никто, но я сам навлек на себя эту страшную судьбу и получаю теперь заслуженную и верную награду. Смотри же, несчастная, смотри, приказываю тебе!

И он властно и раздраженно топнул ногой, чем поверг в еще больший ужас это нежное и страстно тянувшееся к нему существо; девушка вздрогнула от его объятий, а потом застыла в оцепенении, встретив его мрачный взгляд.

Повинуясь его приказанию, она откинула длинные пряди своих каштановых волос; раскинутые в буйном изобилии, они напрасной роскошью своей устилали скалу, на которой стоял теперь тот, кто пробудил в ней поклонение и любовь. Кроткая, как дитя, и послушная, как верная жена, она пыталась исполнить его приказание, но ее полные слез глаза не в силах были выдержать весь ужас того, что им теперь открывалось. Она вытирала светившиеся слезы прядями своих волос, которые каждый день купались в чистой и прозрачной струе, и пыталась взглянуть на опустошение, творимое стихиями, как некий трепещущий светлый дух, который, дабы еще больше очиститься, а может быть, дабы лучше исполнить свое предназначение, вынужден быть свидетелем гнева Всемогущего, непонятного ему в первых проявлениях своих, но несомненно в конечном итоге для него благодетельного.

Вот с какими чувствами Иммали, вся дрожа, приблизилась к входу в здание; обломки скал смешались там в одно с развалинами стен и, казалось, вместе возвещали власть разрушения - и над природой и над искусством - и утверждали, что огромные камни, не тронутые и не измененные руками человека и то ли поднятые давним вулканическим взрывом, то ли занесенные сюда дождем метеоритов, и огромные каменные столпы, которые воздвигались здесь на протяжении двух столетий, превратились в тот же самый прах под пятою страшного полководца, чьи победы совершаются без шума и не встречают сопротивления и чье торжество отмечено не лужами крови, а потоками слез. Оглядевшись вокруг, Иммали в первый раз в жизни испытала ужас при виде природы. Раньше с ней этого никогда не случалось. Все явления природы были для нее одинаково чудесными и одинаково страшными. И ее детское, хоть и деятельное воображение, казалось, одинаково благоговело и перед солнцем и перед бурей, а чистый алтарь ее сердца безраздельно и как священную жертву принимал и цветы и пожары.

Но с тех пор как она встретила чужестранца, новые чувства заполонили ее юное сердце. Она научилась плакать и бояться, и, может быть, в жутком облике грозового неба она ощутила зарождение мистического страха, который всегда потрясает глубины сердца того, кто осмелился любить.

Как часто природа становится вот так невольным посредником между нами и нашими чувствами! Разве в рокоте океана нет своего скрытого смысла? Разве нет своего голоса у раскатов грома? Разве вид местности, опустошенной разгулом стихий, не являет нам некий урок? Разве одно, другое и третье не говорит нам о некоей непостижимой тайне, разгадку которой мы напрасно пытались обнаружить у себя в сердце? Разве мы не находим в них ответа на те вопросы, которые мы непрестанно задаем немому оракулу, именуемому судьбой? О, каким лживым, каким беспомощным кажется нам язык человека после того, как любовь и горе познакомили нас с языком природы, может быть единственным языком, который способен найти в себе соответствия для тех чувств, выразить которые наша речь бессильна! До чего же различны слова без значения и то значение без слов, которое величественные явления природы - скалы и океан, месяц и сумерки - сообщают "имеющим уши, чтобы слышать" {4}.

Как красноречива природа в выражении правды, даже тогда, когда все молчит! Сколько раздумий пробуждают в нас ее самые глубокие потрясения! Но картина, которая предстала сейчас глазам Иммали, была из тех, что вызывают не раздумье, а ужас. Казалось, земля и небо, море и суша смешались воедино, чтобы вернуться в хаос. Океан, покинув вековое ложе, ринулся далеко на берег, покрывая его на всем протяжении гребнями белой пены. Надвигавшиеся волны походили на полчища воинов в шлемах, украшенных перьями, которые гордо развевались на ветру, и, подобно воинам же, одна за другой погибали, одерживая победу. Суша и море до неузнаваемости изменили свой облик, как будто все естественные грани были смешаны и все законы природы попораны.

После отлива песок по временам оставался таким же сухим, как в пустыне, а деревья и кусты качались и вздымались совсем так же, как волны в часы ночной бури. Все было задернуто мутной серою пеленой, томительной для глаз, - и только ярко-красная молния проглядывала из-за туч, как будто это дьявол взирал на сотворенное им опустошение и, удовлетворившись содеянным, закрывал глаза.

Среди этого хаоса стояли два существа: одно, которое было так прелестно, что, казалось, могло не бояться стихий даже в их гнев, и другое, чей бесстрашный и упорный взгляд как бы бросал им вызов.

- Иммали, - воскликнул искуситель, - место ли здесь говорить о любви, да еще в такой час! Природа охвачена ужасом, небо темно, звери все попрятались, кусты и те колышутся и гнутся, кажется, что им тоже страшно.

- В такой час надо молить о защите, - прошептала девушка, робко прижимаясь к нему.

- Взгляни ввысь, - сказал чужестранец; его не знающий страха взгляд отвечал взбунтовавшимся негодующим стихиям такими же вспышками молнии.

- Взгляни ввысь, и если ты не в силах противиться побуждениям сердца, то по крайней мере найди для них более достойный предмет. Люби, - вскричал он, протягивая руку к затянутому тревожному небу, - люби бурю с ее разрушительной силой, ищи себе подруг в этих быстрых, привыкших к опасностям странницах, проносящихся по воздуху, который стонет, люби раздирающий его метеор и сотрясающий его гром. Нежно ласкай плывущие по небу плотные тучи, эти витающие в воздухе горы. Пусть лучше огненные молнии утолят свой пыл, лобызая грудь твою, в которой теплится страсть! Выбери в спутники, в возлюбленные себе все, что есть самого страшного в природе! Замани к себе стихии, и пусть они испепеляют и губят тебя - погибни в их неистовых объятиях, и ты будешь счастливее, гораздо счастливее, чем если ты начнешь жить в моих! Жить! Сделаться моей и жить? Да это же невозможно! Выслушай меня, Иммали, - закричал он, сжимая обе ее руки в своих, в то время как глаза его, обращенные на нее, излучали слепящий свет, в то время как тело его вдруг затрепетало от нового для него чувства неизъяснимого восторга, чувства, которое всего его преобразило. - Выслушай меня! Если ты

хочешь быть моей, то тебе придется до скончания века остаться среди такой вот бури, среди огня и мрака, среди ненависти и отчаяния, среди..., - тут голос его сделался громче и превратился в демонический крик, исполненный ярости и ужаса; он простер руки, словно собираясь сразиться в воображении с какими-то страшными силами, и, стремительно выйдя из-под свода, где оба они стояли, замер, поглощенный картиной, которую нарисовали ему вина и отчаяние, образы которой он был обречен видеть перед собою вечно.

Когда он так рванулся вперед, прижавшаяся к нему девушка упала к его ногам и голосом, прерывающимся от дрожи, но вместе с тем исполненным такого благоговения, какое, может быть, превосходило все, что дотопе знали женское сердце и женские уста, ответила на его страшные слова простым вопросом:

- А ты там будешь?\_

- Да, я должен быть ТАМ, и до скончания века! А ты \_захочешь\_ быть там со мной, ты \_решись?\_

Какая-то дикая, чудовищная сила влилась вдруг в его тело и усилила его голос, когда он говорил, склонившись над простертой перед ним

бледной девушкой, которая в этом глубоком и безотчетном смирении, казалось, искала гибели, подобно голубке, которая, вместо того чтобы спастись от ястреба или сопротивляться ему, подставляет грудь его клюву.

- Быть тому! - вскричал он, и резкая судорога исказила черты его бледного лица, - под удары грома я обручаюсь с тобой, обреченная на погибель невеста! Ты будешь моей навеки! Приди, и мы скрепим наш союз перед алтарем природы, который буря бросает из стороны в сторону. Пусть же молнии небесные будут нашими светильниками, а проклятие природы - нашим свадебным благословением!

Девушка в ужасе вскрикнула, но не от его слов, которых она не поняла, а от того, с каким выражением он их произнес.

- Приди, - повторил он, - пока мрак может еще быть свидетелем нашего необыкновенного и вечного союза.

Бледная, испуганная, но исполненная решимости, Иммали отпрянула от него.

В эту минуту буря, застилавшая небо и опустошавшая землю, улеглась; все это произошло мгновенно, как то обычно бывает в этих странах, где за какой-нибудь час стихии делают свое разрушительное дело, не встречая никакого сопротивления, - и тут же снова голубеет небо и светит солнце, и человек тщетно пытается узнать, почему это происходит. Не знаменует ли все это конечное торжество добра, или это просто утешение, посланное в беде и горе?

В то время как чужестранец говорил, тучи умчались прочь, унося с собой уже облегченное бремя гнева и ужаса, дабы жители других краев в свой черед изведали и тревогу и муку, и луна засветила так ярко, как она никогда не светит в странах Европы. Небо сделалось такого же цвета, как воды океана, словно переняв его синеву, а звезды засверкали каким-то особым, негодующим блеском, как будто они возмущались насилием, учиненным бурей, и в противовес ему утверждали извечное торжество умиротворенной природы над всеми случайными потрясениями, которые могут на время ее омрачить. Может быть, именно таков и путь нашей духовной жизни. Нам скажут, почему мы страдали и за что, но в конце концов ясное и благодатное сияние сменит тот мрак, в который повергают нас бури, и все будет светом.

Молодая девушка увидела в этом предзнаменование, много значившее и для воображения ее, и для чувств. Она отбежала от искусителя, кинулась в полосу лучезарного света; казалось, что, вспыхнув среди тьмы, он ей обещает спасение. Она указала на месяц, на это солнце восточных ночей, чей широкой полосой льющийся свет, подобно сияющей мантии, ниспадал на скалы, на развалины, на деревья и на цветы.

- Обручись со мною при этом свете, - воскликнула Иммали, - и я буду твоей навеки!

И ясный месяц, проплывавший по безоблачному небу, просияв, озарил ее прелестное лицо, и она протянула к нему обнаженные руки, как бы в залог верности их союза.

- Обручись со мной при этом свете, - повторяла девушка, упав на колени, - и я буду твоей навеки!

Чужестранец приблизился к ней, движимый чувствами, которые ни один смертный никогда бы не мог разгадать. В эту минуту сущий пустяк изменил вдруг ее участь. Маленькая тучка набежала на месяц, как будто убегающая буря в поспешности и гнев подобрала последнюю темную складку своего необъятного плаща перед тем, как исчезнуть навсегда.

Глаза искусителя метали на Иммали лучи, в которых были и нежность и дикое исступление.

- ОБРУЧИСЬ СО МНОЙ ПРИ ЭТОМ СВЕТЕ! - вскричал он, поднимая глаза на окружавший их мрак, - и ты будешь моей на веки веков!

И он с силой прижал ее к себе. Иммали вздрогнула. Напрасно пыталась она взглянуть в его лицо, чтобы увидеть, что оно выражает, но успела, однако, почувствовать, что ей грозит опасность, поняла, что ей надо вырваться из его объятий.

- Прощай навеки! - вскричал чужестранец и кинулся от нее прочь.

Истерзанная волнением и страхом, Иммали упала без чувств на засыпанную песком тропинку, которая вела к разрушенной пагоде. Чужестранец вернулся. Он поднял ее на руки; ее длинные темные волосы разметались по ним, как опущенные знамена побежденных, руки ее упали как плети, словно уже не прося о помощи, о которой еще совсем недавно взывали; похолодевшим бледным лицом она прижалась к его плечу.

- Неужели она умерла? - пробормотал он. - Впрочем, пусть так, пусть гибнет, пусть станет чем угодно, только не моею!

Он опустил бесчувственное тело на песок и исчез. Больше он уже никогда не появлялся на острове.

Глава XIX

Que donne le monde aux siens plus souvent?

Echo: Vent.

Que dois-je vaincre ici, sans, jamais relacher?

Echo: La chair.

Qui fit la cause des maux, qui me sont survenus?

Echo: Venus.

Que faut dire apres d'une telle infidele?

Echo: Fi d'elle \*

"Магдалиниада" Пьера де Сен-Луиса {1}

{\* Что мир наш день за днем приносит смертным?

Эхо: Ветры.

С чем должен сладить я в себе, что побороть?

Эхо: Плоть.

Кто причинил все зло, что я терплю без меры?

Эхо: Венера.

Что сделать с той, кто вся из лжи и фальши?

Эхо: Уйти подальше. (франц.).}

Прошло три года с тех пор, как они расстались, когда однажды вечером внимание нескольких знатных испанцев, которые прогуливались по одной из людных улиц Мадрида, было привлечено неким неизвестным человеком, одетым как и они, но только без шпаги, который прошел мимо них очень медленным шагом. Что-то побудило их сразу остановиться, и взгляды

их, казалось, спрашивали друг друга, как это могло случиться, что незнакомец произвел на них такое сильное впечатление. В облике его не было ничего примечательного; вел он себя очень спокойно, и единственное, что было в нем необычно, это выражение лица, которое поразило их, вызвав какое-то странное чувство, ни понять, ни выразить которого они не могли.

Они остановились; возвращаясь назад, незнакомец снова подходил к ним один своей неторопливой походкой, и их снова поразило то удивительное выражение лица (в особенности глаз), которое никто не мог выдержать, не испытав при этом леденящего страха. Привычка взирать на тех, кто способен отшатнуть от себя природу и человека, и постоянно общаться с этими людьми, проникая в дома умалишенных, в тюрьмы, на судилища Инквизиции, в места, где властвует голод, где таится преступление, куда крадется смерть, придала глазам его особый блеск, выдержать который никто не был в состоянии, а взглядам - особый смысл, который лишь очень немногие понимали.

В то время как он медленно проходил мимо них, гулявшие заметили еще двух человек, чье внимание было, по-видимому, устремлено на ту же странную фигуру, ибо они остановились, указывая на незнакомца, и взволнованно говорили между собой, причем не только слова, но и все движения их выражали явную тревогу. Любопытство остальных сумело преодолеть свойственную испанцам сдержанность, и, подойдя к этим двоим, они спросили, не о том ли, кто только что прошел мимо, они сейчас говорят и если да, то почему их так взволновало его появление. Те ответили, что речь действительно шла о нем, и намекнули на то, что им известны некоторые обстоятельства и подробности истории этого необыкновенного существа, и надо знать их, чтобы понять, почему они оба в такой тревоге. Слова эти только разожгли любопытство теснившихся вокруг людей, и число их все возрастало. Иные из собравшихся тоже как будто что-то знали об этом необыкновенном человеке или, во всяком случае, делали вид, что знают. И между ними завязался один из тех несурзных разговоров, в которых невежество, любопытство и страх преобладают над ничтожною толикой фактов и правды, - один из тех разговоров, которые, может быть, сами по себе и не лишены интереса, но всегда оставляют вас неудовлетворенным: люди охотно слушают, как каждый собеседник вносит свою долю неосновательных суждений, нелепых предположений, вымыслов, которым верят тем безоговорочнее, чем они невероятнее, и выводов, чем более ложных, тем более для всех убедительных.

Разговор этот происходил примерно в следующих выражениях:

- Но если он действительно такой, каким его изображают, каким его знают люди, почему же его до сих пор не арестуют по приказу правительства? Почему его не заточат в тюрьму Инквизиции?

- Да ему и без того часто доводилось бывать в ее тюрьмах, может быть чаще, чем сами святые отцы того хотели, - сказал другой.

- Ни для кого, однако, не тайна, что независимо от того, что обнаруживалось на допросах, его всякий раз почти тут же освобождали.

- И что этот чужестранец перебивал едва ли не во всех тюрьмах Европы, добавил другой, - но он всякий раз ухитрялся либо одерживать верх над теми, в чьи руки он попадал, либо просто не посчитаться с ними и строить свои козни в самых отдаленных частях Европы, в то время как все думали, что он находится в другом месте и искупает там свои грехи.

- А известно ли, откуда он родом? - спросил еще один.

- Говорят, что он родился в Ирландии, - ответили ему, - в стране, которой никто не знает и жители которой по многим причинам не желают жить у себя на родине, и что имя его Мельмот.

Испанцу было очень трудно произнести последние две буквы этого имени, которые звучали необычно для языков континента {2}.

Один из собеседников, производивший впечатление человека поумнее всех остальных, отметил как необычайное обстоятельство то, что чужестранец этот не раз переносился из одного конца земли в другой с быстротой, совершенно невыносимой для простого смертного, и что у него была страшная привычка всюду, где бы он ни очутился, непременно отыскивать самых несчастных или самых испорченных людей, а с какими целями он это делал, никто не знает.

- Нет, знает, - произнес вдруг низкий голос, который прозвучал в ушах оторопевших людей как мощный, но приглушенный удар колокола, - знают - и он, и они.

Начало уже темнеть, однако глаза всех ясно могли различить фигуру проходившего мимо незнакомца; иные даже утверждали, что видели зловещий блеск глаз, которые если они поднимались вдруг над чьей-то судьбою, то всякий раз - наподобие светил, возвещающих людям беду. На какое-то время все замолчали и стали глядеть вслед удаляющейся фигуре, появление которой поразило всех, как разорвавшаяся вдруг бомба. Фигура эта двигалась медленно; никто из присутствующих не решался к ней ни с чем обратиться.

- Я слышал, - сказал один из них, - что, когда он наметит себе жертву, существо, которое ему дано совратить или замучить, и оно где-то близко или вот-вот должно появиться, всякий раз начинает звучать одна и та же пленительная музыка. Мне рассказывали эту странную историю те, кто своими ушами слышали эти звуки, и да хранит нас Пресвятая дева Мария!.. Ну а вы-то сами их слышали?

- Где? Что?.. - стали раздаваться голоса, и изумленные слушатели, сняв шляпы и распахнув плащи, открыли рты и затаили дыхание, восхищенные музыкой, которая вдруг зазвучала.

- Можно ли удивляться, - воскликнул один из молодых людей, что эти волшебные звуки предвещают приближение неземной красоты! Она общается с ангелами; только святые могли послать из обители блаженных такую музыку приветствовать ее появление.

Тут глаза всех обратились на молодую девушку: она шла, окруженная толпой блестящих красавиц, но одна привлекала все взгляды, и стоило мужчинам завидеть ее, как они проникались к ней самозабвенной и просветленной любовью. Она не искала ничьего внимания, внимание это само устремлялось ей вслед и гордилось своей находкой.

Завидев приближение множества дам, кавалеры заволновались и стали всячески прихорашиваться, старательно поправляя плащи, и шляпы, и перья, что было в обычаях страны, наполовину еще феодальной, где во все времена процветали рыцарские чувства. Приближавшаяся стайка прелестных женщин отвечала на эти приготовления такую же подчеркнутой заботой о своей наружности. Поскрипывали широкие веера и нарочно в последнюю минуту прикреплялись развевающиеся по воздуху покрывала, которые, лишь отчасти пряча лицо, разжигали воображение больше, чем могла бы разжечь сама красота, которую они, казалось, так ревниво оберегали, поправлялись мантильи {3}, чьими изящно положенными складками и хитрыми изгибами с таким искусством пользуются испанки, - все это предвещало нападение, которое в соответствии с галантными нравами своего века - это был 1683 год - кавалеры приготовились и принять и отразить.

Но у одной из участниц этого великолепного шествия не было надобности прибегать к такого рода искусственным средствам: ее поразительная природная красота резко выделялась среди всех ухищрений, которые отличали ее спутниц. Если веер ее приходил в движение, то это было с единственной целью освежить воздух вокруг, если она опускала вуаль, то лишь для того, чтобы спрятать лицо, если поправляла мантилью, то лишь с тем, чтобы стыдливо спрятать под нею очертания тела, удивительная стройность которого давала себя почувствовать даже сквозь пышные одежды этого века.

Самые развязные волокиты отступали при ее приближении с безотчетным благоговейным

страхом; распутникам достаточно было одного ее взгляда, чтобы задуматься и, может быть, образумиться, натуры тонкие и чувствительные видели в ней воплощение идеала, какого не знает действительность, а люди несчастные единственным утешением своим почитали взглянуть на ее лицо; старики, глядя на нее, вспоминали дни своей юности, а в юношах пробуждались первые мечты о любви, той единственной любви, которая заслуживает этого имени, чувства, навеять которое могут лишь чистота и невинность и лишь совершеннейшая чистота - быть его достойной наградой.

Когда девушка эта появлялась то тут, то там среди веселой толпы, можно было заметить в ней что-то такое, что сразу отличало ее от любой из находившихся на площади сверстниц, и это отнюдь не было притязанием на первенство среди них: ее редкостное очарование заставило бы даже самую тщеславную из находившихся рядом женщин безоговорочно уступить ей это право, - но удивительные непосредственность и прямота, которые сказывались в каждом взгляде ее и движении - и даже в мыслях; они-то и превращали непринужденность в грацию и придавали особую выразительность каждому ее восклицанию, рядом с которым приглаженные речи окружающих казались какими-то ничтожными, ибо даже когда она живо и бесстрашно преступала правила этикета, она потом тут же просила прощения за допущенную вольность, и в раскаянии этом было столько робости и какого-то особого обаяния, что трудно было сказать, что милее - проступок ее или принесенное ею извинение.

До чего же она была непохожа на всех окружающих ее дам с их размеренной речью, жеманной походкой и всем устоявшимся однообразием нарядов, и манер, и взглядов, и чувств! Печать искусственности с самого рождения лежала на каждой черте их, на каждом шаге, и всевозможные прикрасы скрывали или искажали каждое движение, в котором по замыслу самой природы изящество должно было быть естественным. Движения же этой молодой девушки были легки, упруги; в ней были и полнота жизни и та душевная ясность, которая каждый поступок ее делала выражением мысли, а когда она пыталась их скрыть - с еще более пленительной непосредственностью выдавала обуревавшие ее чувства. Ее окружало сияние невинности и величия, которые соединяются воедино только у представительниц женского пола. Мужчины, те могут долгое время удерживать и даже утверждать в себе то превосходство силы, которое природа запечатлевает в их внешнем облике; однако черты невинности они теряют, и притом очень рано.

Ее живая и ни с чем не сравнимая прелесть в мире красоты была подобна комете и не подчинялась в нем никаким законам, разве что тем, которые понимала она одна и которым действительно хотела подчиниться, - и вместе с тем на лице ее лежала печать грусти; с первого взгляда грусть эта могла показаться преходящей и напускной, всего лишь тенью, положенной, может быть, для того только, чтобы искусно выделить яркие краски на этой столь удивительной картине, но, присмотревшись к ней ближе, внимательный взгляд заметил бы, что хотя все силы ее ума безраздельно чем-то заняты, а все чувства напряжены, сердце ее никому не отдано и томится в тоске.

Юное существо это с неодолимой силой приковало к себе внимание всех тех, кто был до этого поглощен разговором о незнакомце, и едва слышное шушуканье и испуганный шепот сменились отрывистыми возгласами, выражавшими удивление и восторг, когда девушка прошла мимо. Не успела она появиться, как чужестранец стал медленными шагами возвращаться назад, и опять всем присутствующим казалось, что они его знают, а сам он не знает никого. Дамы обернулись и увидели вдруг незнакомца. Его пронзительный взгляд тут же выбрал одну из них и в нее впился. Та тоже посмотрела на него, узнала и, вскрикнув, упала без чувств.

Смятение, вызванное неожиданным происшествием, которое столь многие видели, но причины которого так никто и не понял, на некоторое время отвлекло от незнакомца внимание

толпы: все кинулись либо помочь лишившейся чувств девушке, либо осведомиться о ее состоянии. Ее положили в карету, и в этом принимало участие больше людей, чем требовалось и чем можно было хотеть, и как раз в ту минуту, когда ее поднимали, чтобы туда перенести, чей-то голос совсем близко от нее произнес:

- Иммали!

Она узнала 9Тоf голос и, едва слышно вскрикнув, повернулась туда, откуда он доносился, лицо ее выражало страдание. Окружающие слышали это имя, но, так как никто из них не мог понять, ни что оно означает, ни к кому обращено, они приписали волнение девушки нездоровью и поспешили уложить ее в карету и увезти. Чужестранец устремил ей вслед свой сверкающий взгляд; все разошлись, он остался один; сумерки сменились беспросветной тьмой, а он, казалось, даже не обратил внимания на происшедшую перемену; несколько мужчин продолжало бродить по противоположной стороне улицы, наблюдая за ним, но он их совершенно не замечал.

Один из них, остававшийся там дольше других, рассказывал потом, что видел, как незнакомец поднес руку к лицу, и можно было подумать, что он поспешно смахивает слезу. Но в слезах раскаяния глазам его было отказано навек. Так не была ли то слеза любви? Если да, то сколько же горя предвещала она той, что стала избранницей его сердца!

Глава XX

Такова лишь любовь: не свернуть с полпути,  
И сквозь радость вдвоем, и сквозь горе пройти!  
Изменил ты мне, нет ли, не все ли равно?  
Разлюбить мне тебя никогда не дано.

Мур {1}

На следующий день молодой женщине, которая накануне возбудила к себе такой интерес, предстояло покинуть Мадрид, чтобы провести несколько дней на вилле, принадлежавшей ее семье неподалеку от города. Семья эта, включая всех домочадцев, состояла из матери ее, доньи Клары де Альяга, жены богатого купца, который должен был в этом месяце вернуться из Индии, брата, дона Фернана де Альяга, и нескольких слуг. Эти состоятельные горожане, сознавая, как они богаты, и памятуя о своем высоком происхождении, гордились тем, что переезжая из одного места в другое, превращают свою поездку в столь же торжественную церемонию и передвигаются с тою же медлительностью, что и настоящие гранды {2}. Вот почему старая невысокая громающая карета двигалась не быстрее, чем катафалк; кучер крепко спал, сидя на козлах, а шесть вороных коней плелись шагом; так плетется время для человека, удрученного горем. Рядом с каретой ехал верхом Фернан де Альяга и его слуга под зонтами и в огромных очках; в карете сидели донья Клара и ее дочь. Внутреннее убранство их экипажа было под стать его внешнему виду: все свидетельствовало о тупом стремлении соблудности принятое обличье и об удручающем однообразии.

Донья Клара была женщиной холодной и важной, сочетавшей в себе природную степенность испанки с поистине ханжескою суровостью. В доне Фернана же огненная страстность соединялась с мрачной замкнутостью, что нередко можно встретить среди испанцев. Его огромное себялюбивое тщеславие было уязвлено мыслью о том, что предки его занимались торговлей, и, видя в редкостной красоте сестры возможное средство породниться с каким-нибудь знатным родом, он смотрел на девушку с тем эгоистическим чувством, которое в одинаковой степени постыдно и для того, кто его испытывает, и для того, на кого оно направлено.

Среди таких вот людей живая и впечатлительная Иммали, дочь природы, "дитя веселое стихий" {3}, была обречена чахнуть, подобно яркому и благоуханному цветку, который грубая рука пересадила на неподходящую для него почву. Ее необыкновенная судьба словно перенесла



ее из глуши природной в глушь духовную. И, может быть, теперешнее ее состояние было хуже, чем прежде.

Самый безотрадней пейзаж никогда, пожалуй, не может привести душу в такое уныние, как человеческие лица, в которых мы напрасно стараемся отыскать выражение родственных нам чувств; и самое бесплодие природы - это верх изобилия в сравнении с бесплодием и сухостью человеческих сердец, которые дают вам ощутить всю свою тоскливую пустоту.

Они успели уже проехать какое-то расстояние, когда донья Клара, которая никогда не открывала рта, не предварив этого продолжительным молчанием, может быть для того, чтобы придать своим словам тот вес, которого они иначе бы не имели, медлительно, как оракул, изрекла:

- Дочь моя, слыхала я, что вечером вчера на гулянье тебе стало худо, видно, ты чего-то испугалась?

- Нет, что вы, матушка.

- Отчего же ты тогда пришла в такое волнение, когда увидела... так мне сказали... не знаю уж... какого-то странного человека?

- Ах, этого я рассказать никак не могу, не смею! - воскликнула Исидора, прикрывая вуалью залившееся краской лицо.

Но тут искренность, присущая ей в прежней жизни, неудержимым потоком ринулась ей в сердце, заполонила все ее существо; поднявшись с подушки, на которой сидела, она бросилась к ногам доньи Клары с криком:

- Погодите, матушка, я вам все сейчас расскажу!

- Нет, - ответила донья Клара с чувством оскорбленной гордости и холодно отстранила ее от себя, - нет, не время теперь. Не нужны мне признания, которые надо вытягивать, да и вообще не люблю я всяких бурных чувств. Совсем не девичье это дело. Дочерние обязанности твои очень несложны: это всего-навсего полное повиновение, глубокая покорность и нерушимое молчание, кроме тех случаев, когда к тебе обращаются я, или твой брат, или отец Иосиф. Легче и не придумать, поэтому подымись с колен и перестань плакать. Если тебя мучит совесть, обратись к отцу Иосифу, и он непременно наложит на тебя епитимью; все будет зависеть от того, насколько велик твой проступок. Надеюсь, что он не окажется к тебе чересчур снисходительным.

После всех этих слов - а такой длинной речи ей раньше вообще никогда не случалось произносить - донья Клара откинулась на подушку и принялась с благочестивым рвением перебирать четки и читать молитвы, повергшие ее в глубокий сон, от которого почтенная дама пробудилась только тогда, когда карета прибыла к месту назначения.

Было уже около полудня; в холодной низкой комнате, выходящей в сад, был накрыт обед, и все ждали только отца Иосифа. Наконец он явился. Это был человек внушительного вида; приехал он верхом на муле. Черты лица его, как могло показаться на первый взгляд, носили на себе следы упорной мысли; однако при ближайшем рассмотрении оказывалось, что это скорее результат неких физических усилий, а никак не работы ума. Шлюзы были открыты, но воду еще не пустили. Тем не менее, хоть он и не получил должного воспитания и отличался узостью в суждениях, отец Иосиф был человеком добрым и благонамеренным. Он любил власть и был предан интересам католической церкви; однако у него нередко возникали сомнения, которые он, впрочем, оставлял при себе: он не был уверен, что безбрачие для священников так уж необходимо, и всякий раз, когда ему доводилось слышать о кострах аутодафе, по телу у него пробегали мурашки.

Обед кончился. Фрукты и вино, к которому, однако, дамы не прикасались, стояли еще на столе, причем все самое лакомое было подвинуто поближе к отцу Иосифу, когда Исидора, низко

поклонившись матери и священнику, как всегда, удалилась к себе. Донья Клара обратила на духовника вопрошающий взгляд.

- Для нее это время съесты {4}, - сказал священник, принимаясь за кисть винограда.

- Нет, отец мой, нет! - печально сказала донья Клара, - служанка ее сообщила мне, что после обеда она никогда не ложится. Увы! Слишком она, видно, привыкла к жаркому климату страны, куда судьба забросила ее в детстве, она просто не чувствует никакой жары вопреки тому, что положено истой христианке. Нет, если она уходит к себе, то не для того чтобы молиться или спать, как это в обычае у всех благочестивых испанок, но боюсь, что для того чтобы...

- Для чего? - спросил священник, и в голосе его послышался ужас.

- Боюсь, что для того чтобы думать, - ответила донья Клара, - часто ведь, когда она возвращается, на глазах у нее видны слезы. Меня разбирает страх, отец мой, уж не плачет ли она по своей языческой стране, принадлежащей дьяволу, той, где она провела свои юные годы.

- Я наложу на нее покаяние, и оно не даст ей попусту проливать слезы, и уж во всяком случае оплакивать свое прошлое, - сказал отец Иосиф. - До чего же сочный виноград!

- Знаете что, отец мой, - продолжала донья Клара с той несильной, но непрерывной тревогой, которая свойственна людям с предрассудками, - хоть вы и успокоили меня насчет нее, я все-таки чувствую себя несчастной. Отец мой, знали бы вы, как она иногда говорит! Точно какая-нибудь самоучка, которой не нужно ни духовника, ни наставника, никого, кроме ее собственного сердца.

- Может ли это быть! - воскликнул отец Иосиф, - ни духовника, ни наставника! Она, верно, не в своем уме!

- Отец мой, - продолжала донья Клара, - в речах ее никогда столько кротости и вместе с тем мне бывает нечего на них ответить, и поэтому, как ни велика моя родительская власть, я...

- Как! - строго сказал священник, неужели же она смеет отвергать какие-нибудь догматы католической церкви?

- Нет! Нет! Что вы! - в испуге закричала донья Клара, крестясь.

- Но что же тогда?

- А вот что: она говорит такие вещи, каких я сроду не слыхивала ни от вас, святой отец, ни от кого из священников, на чьих проповедях я бывала, ведь я женщина благочестивая и исправно посещаю все службы. Напрасно я говорю ей, что истинная вера состоит в том, чтобы слушать мессу, ходить на исповедь, исполнять епитимьи, соблюдать посты и бдения, умерщвлять плоть и жить в воздержании, верить всему, чему учит нас пресвятая церковь, и ненавидеть, презирать, отталкивать от себя и проклинать все...

- Довольно, дочь моя, довольно, - сказал отец Иосиф, - кто же станет сомневаться, что вы праведная христианка?

- Думаю, что никто, отец мой, - сказала донья Клара с тревогой в голосе.

- Я был бы нехристом, если бы в этом усомнился, - добавил священник, кто все равно, что не соглашаться с тем, что виноград этот бесподобен или что этот бокал малаги достоин украсить стол его святейшества папы, когда за ним соберутся все кардиналы. Но как же все-таки обстоит дело с предполагаемым или возможным отступничеством доньи Исидоры?

- Святой отец, я уже ведь высказала вам, какую веру я исповедую.

- Да, да, всего этого вполне достаточно, перейдем теперь к вашей дочери

- Она говорит иногда, - сказала донья Клара, заливаясь слезами, говорит, но только когда ее вынудишь на такой разговор, что в основе религии должна лежать любовь ко всему на свете. Вы понимаете, отец мой, что это может означать?

- Гм! Гм!

- Что все люди должны быть доброжелательными, кроткими и смиренными, какой бы веры и обрядов они ни придерживались.

- Гм! Гм!

- Отец мой, - продолжала донья Клара, несколько задетая тем недоверием, с которым отец Иосиф выслушивал ее сообщения, и решив поразить его каким-нибудь примером, который подтвердил бы истинность ее слов, - отец мой, я слышала, как она осмелилась выразить надежду, что еретики, что составляют свиту английского посла, может быть, не будут навеки...

- Замолчите! Я не могу выслушивать подобные речи, а то мне придется отнестись к этим заблуждениям строже. Как бы то ни было, дочь моя, продолжал отец Иосиф, - могу вас пока что утешить. Это так же верно, как то, что этот чудесный персик сейчас у меня в руке... Попрошу вас передать мне еще один... и так же верно, как то, что я сейчас выпью этот бокал малаги... - последовала продолжительная пауза, свидетельствующая о том, что обещание выполняется, - да, так же верно, - тут отец Иосиф поставил пустой бокал на стол. - Сеньорита Исидора все же в какой-то степени христианка, как это вам ни кажется неправдоподобным. Клянусь вам в этом, той рясой, что сейчас на мне; что же касается всего остального, то небольшая епитимья и... Словом, я позабочусь об этом. А теперь, дочь моя, когда сын ваш, дон Фернан, окончит свою сьесту, - ибо нет оснований полагать, что он удалится к себе для того, чтобы думать, - пожалуйста, передайте ему, что я готов продолжить шахматную партию, которую мы с ним начали месяца четыре назад. Я продвинул пешку до предпоследнего поля и следующим ходом получаю королеву.

- Неужели партия ваша длилась так долго? - спросила донья Клара.

- Долго? - удивился священник, - она могла бы длиться и много дольше, мы играли самое большее часа по три в день.

После этого он ушел поспать, а вечер священник и дон Фернан провели вдвоем в глубоком молчании за шахматной доской; донья Клара - в таком же глубоком молчании за вышиванием, а Исидора - у окна, которое из-за невыносимой духоты пришлось открыть, созерцая струящийся лунный свет, вдыхая запах туберозы и глядя, как распускаются лепестки царицы ночи {5}. Все это напоминало ей то богатство красок и запахов, среди которого проходила ее прежняя жизнь. Густая синева неба и огненное светило, озарявшее спящую землю, могли соперничать с великолепием индийской ночи и тем обилием света, которое там расточала природа. Да и у ног ее были тоже благоухающие яркие цветы, краски которых не пропадали, а только слегка тускнели, как укрытое вуалью лицо красавицы. А капельки росы, висевшие на каждом листике, дрожали и сверкали, как слезинки духов, плакавших оттого, что им приходится расставаться с цветами и улетать.

И все же, как ни приятен был ветерок, доносивший благоухание апельсиновых деревьев в цвету, жасмина и роз, в нем не было тех пряных ароматов, которыми напоен по ночам воздух Индии.

\*

{\* Легкие ветерки обвевают остров блаженных {6} (греч.).}

Ну а в остальном - разве все не напоминало ей прежнюю жизнь, так похожую на сон, разве все не склоняло ее к тому, чтобы поверить, что она снова стала королевой своего сказочного острова? Ей не хватало только одного существа, а без него все - и этот райский остров, освещенный луною, и испанские сады с их благоухающими цветами - превращалось в бесплодную дикую пустыню. Только в глубинах сердца таила она еще надежду встретить этот образ, только себе одной осмеливалась она повторять заветное имя и странные и сладостные песни его страны, Ирландии, которым он ее научил, когда ему становилось с ней хорошо. И так непохожа была ее прежняя жизнь на нынешнюю, так страдала она теперь от принуждения и

равнодушия, так часто ей твердили, что все, что она делает, говорит и думает, неверно, - что она переставала уже верить тому, что ей подсказывают собственные чувства, лишь бы избежать преследований со стороны окружавшей ее посредственности, нудной и властной, и появление чужестранца сделалось для нее одним из тех видений, которые составляли и радость и горе ее таинственной призрачной жизни.

- Удивляюсь я, сестра, - сказал Фернан, у которого отец Иосиф только что выиграл ферзя, чем поверг его в предурное настроение, - никогда ты не займешься тем, чем заняты все твои сверстницы, - вышиваньем или каким другим рукодельем.

- И не считаешь никаких духовных книг, - присовокупила донья Клара, оторвав на минуту глаза от пялец, а потом снова их опустив. - Есть же вот, например, житие {1\* Мне довелось прочесть житие этого святого, которое пользовалось известностью в Дублине, и в числе неоспоримых доказательств его святости я нашел упоминание о том, что он всякий раз лишался чувств, когда в его присутствии произносилось какое-нибудь непристойное слово, - это будучи еще грудным младенцем!} польского святого {7}, что родился, как и она, в стране мрака и все равно был призван стать сосудом... запамтовала я, как его звали, отец мой.

- Шах королю, - вместо ответа изрек отец Иосиф.

- Ты ни на что не обращаешь внимания, разве что смотришь иногда на цветы, перебираешь струны лютни или возришься вдруг на луну, - продолжал Фернан, которого одинаково огорчали и успех его противника, и молчание Исидоры.

- Она усердно раздает подавание и творит милосердие, - возразил добродушный священник. - Меня как-то раз вызвали в одну лачугу неподалеку от вашей виллы, сеньора Клара, к умирающему грешнику, к бродяге, который заживо гнил на гнилой соломе!

- Господи Иисусе! - вскричала донья Клара, вне себя от ужаса. - За неделю до того, как выйти замуж, в доме моего отца я стала на колени и омыла ноги тринадцати нищим. С тех пор я не выношу нищих, я и видеть их не могу.

- Бывают иногда нерасторжимые связи мыслей и чувств, - сухо сказал священник. - Я отправился туда, как мне повелел мой долг, - добавил он, - но дочь ваша опередила меня. Она пришла незваная с ласковыми словами утешения, взятыми из проповеди и слышанными ею из уст одного скромного духовного лица, чье имя останется неизвестным.

Услыхав эти исполненные скрытого тщеславия слова, Исидора покраснела; все же докучливые поучения донна Фернана и бездушная суровость ее матери либо вызывали в ней кроткую улыбку, либо доводили до слез.

- Я услышал, как она утешала его, когда входил в эту лачугу, и, клянусь моим саном, я остановился на пороге, и так она меня восхитила, что я просто заслушался. Первыми словами ее были... Шах и мат! - воскликнул он, начисто позабыв в эту минуту о проповеди, впиваясь глазами в короля противника и торжествующе указуя перстом на безысходное положение, в которое тот попал.

- И чудные же то были слова, - сказала недалекая донья Клара, которая все это время не отрывала глаз от своего рукоделья, - вот уж никак не думала я, что моя дочь до того привержена шахматной игре, что даже в дом умирающего могла войти с такими словами на устах.

- Слова эти сказал я, сеньора, - поправил священник, повернувшись к доске и снова уставившись на нее сосредоточенным взглядом, в котором светилась радость по поводу только что одержанной победы.

- Святые угодники! - воскликнула донья Клара, приходя в еще большее смущение, - а я-то думала, что в таких случаях говорят обычно "Pax vobiscum" {Мир вам (лат.).} или...

Но прежде чем отец Иосиф успел ей что-то ответить, Исидора вскрикнула, и так пронзительно, что все встрепенулись. В ту же минуту мать и брат кинулись к ней, а вслед за

ними четыре служанки и двое молодых слуг, которые прибежали из передней на этот душераздирающий крик. Исидора была в сознании; она безмолвие стояла среди них, бледная как смерть; взгляд ее перебегал с одного на другого, но, казалось, не различал окружавших ее людей. Но она все же не потеряла присутствия духа, которое никогда не покидает женщину, если ей надо сохранить что-то в тайне, и ни движениями, ни глазами не указала никому на окно, где вдруг появилось то, что повергло ее в такую тревогу. Ее со всех сторон засыпали вопросами, а она, как видно, не могла ответить ни на один из них и, отклонив всякую помощь, прислонилась к косяку, словно ища в нем опоры.

Донья Клара уже подходила к ней размеренным шагом со склянкой какой-то эссенции, которую она извлекла из потайных глубин своего кармана, когда одна из служанок, знавшая привычки своей молодой госпожи, предложила, чтобы подбодрить ее, дать ей понюхать цветы, которые росли у окна. Сорвав несколько роз, она поднесла их Исидоре. Вид и запах чудесных цветов невольно пробудил в девушке воспоминания о прошлом, и, отстранив служанку, она воскликнула:

- Нет больше таких роз, как те, что были вокруг, когда он увидел меня в первый раз!

- Он! А кто же это такой, дочь моя? - спросила донья Клара в тревоге.

- Заклинаю тебя, сестра, скажи, кого ты имеешь в виду! - раздраженно крикнул Фернан.

- Она бредит, - сказал священник; как человек проницательный, он понял, что тут скрывается какая-то тайна, и, как то свойственно людям его профессии, ревниво решил сберечь ее для себя и не допустить, чтобы кто-нибудь, даже мать или брат, ее узнали. - Она бредит, и вы в этом виноваты, не вздумайте только докучать ей и о чем бы то ни было расспрашивать. Подите прилягте, сеньорита, и да хранят все святые ваш покой!

Благодарная за то, что ей было позволено удалиться, Исидора ушла к себе, а отец Иосиф просидел еще около часу, притворившись, что хочет рассеять подозрительность и страхи доньи Клары и угрюмую раздражительность донна Фернана. На самом же деле он за это время постарался выпытать у них в пылу спора все, что они знали и чего боялись, дабы утвердиться в собственных предположениях и, раскрыв тайну девушки, укрепить свою власть над нею.

*Scire volunt secreta domus, et inde timeri \**.

{\* Тайны дома узнать норовят, чтоб держать его в страхе {8} (лат.).}

Желание это не только понятно, но и необходимо для существа, из сердца которого профессия его исторгла все естественные чувства; если вместо них сердце порождает злобу, тщеславие и стремление нанести другим вред, то виноваты в этом никак не сами люди, а та система, которая их себе подчинила.

- Сеньора, - сказал священник, - вы всегда выказываете особое рвение к католической вере, а вы, сеньор, постоянно напоминаете мне о чести вашей семьи. Я пекусь и о той и о другой, скажите, что можно сделать лучшее в интересах обеих, как не убедить донью Исидору стать монахиней?

- Я этого хотела бы всей душой! - воскликнула донья Клара, сложив руки и зажмурив глаза, как будто она в эту минуту увидела, что дочь ее приобщается к лику святых.

- Я и слышать об этом не хочу, отец мой, - сказал Фернан, - красота и богатство моей сестры дают \_мне\_ право добиваться родства с самыми знатными домами Испании, такая прививка пошла бы им на пользу, и, может быть, за какие-нибудь сто лет сделались бы чуть благообразнее их обезьяньи фигуры и красные, лица, и, верите ли мне, кровь, которой они так гордятся, не станет хуже от того, что в нее будет влито *aurum potabile* {Жидкое золото (лат.).} нашей крови.

- Вы забываете, сын мой, о необыкновенных обстоятельствах, связанных с ранними годами жизни вашей сестры. Среди нашей католической знати немало таких людей, которые предпочли

бы, чтобы в жилы их была влита черная кровь изгнанных из страны мавров или объявленных вне закона евреев, нежели кровь той, которая...

Тут он что-то таинственно зашептал, отчего донья Клара вздрогнула, охваченная отчаянием и горем, а сын ее в гневе вскочил с места.

- Не верю я ни одному вашему слову, - раздраженно воскликнул он, - вы хотите, чтобы моя сестра приняла монашество, и поэтому поверили в эту чудовищную выдумку, да еще вдобавок сами распространяете эти слухи.

- Сын мой, умоляю тебя, не забывайся! - воскликнула донья Клара, вся дрожа.

- Не забывайте и вы, сеньора, и не приносите вашу дочь в жертву ни на чем не основанной и невероятной выдумке.

- Выдумке! - повторил отец Иосиф, - сеньор, я прощаю вам ваши нелепые мысли касательно меня самого, но позвольте напомнить вам, что снисходительность моя ни в какой степени не распространяется на оскорбление, которое вы наносите католической вере.

- Досточтимый отец, - сказал перепуганный Фернан, - на целом свете нет человека, который бы столь ревностно исповедовал католическую веру, как я, и вместе с тем который бы был так ее недостоин.

- Последнему я готов поверить, - сказал священник. - Согласны ли вы с тем, что все, чему учит святая церковь, истинная правда?

- Ну, разумеется, согласен.

- Раз так, то вы должны согласиться, что острова на Индийских морях особенно подвержены влиянию дьявола.

- Соглашаюсь, если церковь требует, чтобы я этому поверил.

- И что дьявол околдовал своими чарами тот самый остров, на котором в детстве потерялась ваша сестра?

- Не понимаю, из чего это следует, - сказал Фернан, внезапно выступая в защиту этой посылки сорита {9}.

- Не понимаете, из чего это следует! - повторил отец Иосиф, крестясь. *Excaecavit oculos eorum ne viderent* {Он ослепил их, да не видят {10} (лат.)}, но для чего же мне попусту расточать на тебя латынь и логику, если ты не способен уразуметь ни того, ни другого? Запомни, я прибегну к одному только неопровержимому доводу: тот, кто не соглашается с нами, тот против нас. Инквизиция в Гоа {11} знает, сколь истинны мои слова, и пусть кто-нибудь попробует сказать, что это не так!

- Только не я! Только не я! - воскликнула донья Клара, - и уверена, что и не этот упрямец. Сын мой, заклинаю тебя, поторопись проникнуться верой во все то, что тебе говорит святой отец.

- Я и без того тороплюсь, - ответил дон Фернан тоном человека, которого заставляют глотать что-то невкусное, - только вера моя задохнется, если вы не дадите ей времени, чтобы все это проглотить. Ну а насчет того, чтобы оно переварилось, - пробормотал он, - так уж это будет, когда господь приведет.

- Дочь моя, - сказал священник, который отлично умел выбрать *mollia tempora fandi* {Время, удобное для разговора {12} (лат.)}, и понимал, что мрачный и раздраженный Фернан на большее сейчас уже не способен, - дочь моя, довольно, нам следует быть очень осторожными, ведя за собою тех, кто спотыкается на пути благодати. Молитесь вместе со мной, дочь моя, дабы у сына вашего открылись глаза на то, сколь славно и сколь блаженно призвание его сестры ступить на стезю, ведущую в обитель, где безграничная щедрость божественной благодати возвышает счастливых избранников над всеми низменными и суетными заботами, над разными мелкими и суетными слабостями, которые... Гм!.. кое-какие из этих слабостей, признаться,

одолевают сейчас и меня самого. Я так много говорил, что совсем охрип, а ночью было так душно, что я совершенно измучался, и поэтому не худо бы подкрепиться крылышком куропатки.

Донья Клара сделала знак слуге, и был принесен поднос с вином и такой куропаткой, что французский прелат заказал бы себе, вероятно, вторую порцию, несмотря на свой ужас перед *toujours perdrix* {Всегда куропатка {13} (франц.)}.

- Посмотрите, дочь моя, до чего же меня извели эти пагубные пререкания, право же, поистине я могу сказать: "ревность по доме твоём снedaет меня" {14}.

- Ну, так вы скоро рассчитаетесь с этой ревностью к дому, пробормотал, уходя, Фернан.

И, перекинув через плечо плащ, он удивленно посмотрел, с какой легкостью священник расправляется с крыльями и грудкой своей любимой дичи, попеременно то шепча назидательные поучения донье Кларе, то делая какие-то замечания по поводу того, что в кушанье недостает душистого перца или лимона.

- Отец мой, - сказал дон Фернан, который вернулся и стоял теперь перед ним, - отец мой, у меня к вам просьба.

- Буду рад, если смогу ее удовлетворить, - ответил священник, переворачивая объединенные кости, - только тут одна ножка осталась, да и ничего почти нет на ней.

- Я совсем не об этом, - улыбаясь, сказал Фернан, - я хочу попросить вас, чтобы вы не возобновляли разговора о монастыре с моей сестрой до тех пор, пока не вернется отец.

- Ну разумеется, разумеется. Ах, подходящее вы время выбрали, чтобы меня просить, знаете, что никак я отказать не могу в такую минуту, когда сердце мое согрелось, и смягчилось, и разомлело от... от... от всех доказательств вашего искреннего раскаяния и смирения и всего, на что только могли надеяться, чего могли хотеть и благочестивая матушка ваша, и ваш ревностный духовник. Право же, меня все это трогает... эти слезы... не часто мне доводится плакать, но разве что в таких случаях, как этот, и тогда-то уж я проливаю слезы и мне приходится пополнять эту трату...

- Так не выпить ли вам еще вина? - предложила донья Клара.

Отец Иосиф налил себе еще один бокал.

- Спокойной ночи, отец мой, - сказал дон Фернан.

- Да хранят вас все святители, сын мой. До чего же я устал! Я просто изнемогаю от этой борьбы! Ночь такая душная, что тянешься к вину, чтобы только утолить жажду, а вино возбуждает, и тогда надо бывает поесть, чтобы смирить его вредоносное пагубное воздействие, еда же, в особенности куропатка, блюдо горячее и возбуждающее, снова требует вина, чтобы возбуждение это улеглось или хотя бы уравнилось. Заметьте, донья Клара, я говорю с вами как женщиной образованной. Есть возбуждение и есть поглощение, причины их многообразны, а последствия, такие как... ну да не стоит сейчас говорить об этом.

- Досточтимый отец, - промолвила восхищенная донья Клара, нимало не догадываясь, из какого источника льется все это красноречие, - я побеспокоила вас для того, чтобы попросить вас об одном одолжении.

- Говорите, и просьба ваша будет исполнена, - сказал отец Иосиф; приняв гордый вид и словно изображая собою Сикста {15}, он выдвинул ногу вперед и приготовился слушать.

- Я просто хочу знать, все ли жители этих мерзких индийских островов будут прокляты навеки?

- Да, будут прокляты навеки, тут не может быть никаких сомнений, заверил ее священник.

- Ну вот, теперь мне легче на душе, - сказала донья Клара, - и ночью сегодня я буду спать спокойно.

Сон, должно быть, все же сошел на нее не так скоро, как ей того хотелось, потому что час спустя она стучалась в дверь к отцу Иосифу, повторяя:

- Прокляты навеки, отец мой, так вы, кажется, сказали?

- Будьте вы прокляты навеки, - вскричал священник, ворочаясь с боку на бок на своем беспокойном ложе, где ему снились тяжелые сны. То это был дон Фернан, который явился на исповедь с обнаженной шпагой, то донья Клара с бутылкою хереса в руке, которую она на глазах у него выпила залпом, в то время как сам он напрасно открывал рот, чтобы хоть каплей вина увлажнить пересохшие губы. То ему снилось, что на острове у берегов Бенгалии обосновалась Инквизиция, и огромная куропатка восседает на месте Верховного инквизитора за покрытым черным сукном столом, да и еще немало всяких чудовищных существ, химер, порожденных полнокровием и несварением желудка.

Донья Клара, которая из всего, что он говорил во сне, могла уловить только последние слова, вернулась к себе в спальню легкой походкой. Сердце ее радовалось; преисполненная благодати, она принялась молиться перед стоявшей в нише статуей Пресвятой девы, по обе стороны которой были зажжены восковые свечи, и провела так всю ночь, до тех пор, пока не повеяло утреннюю прохладой и она не почувствовала, что может теперь лечь с надеждой, что спокойно уснет.

Исидора провела эту ночь у себя, и - также без сна; так же, как и ее мать, она простерлась перед статуей Пресвятой девы, однако мысли ее были совсем иными. Ее лихорадочная призрачная жизнь, состоявшая из диких и непримиримых контрастов между настоящим и видениями прошлого, несоответствие всего, что таилось в ее душе, с тем, что окружало ее теперь, между яркими воспоминаниями и унылой действительностью - все это оказалось ей не под силу; сердце ее было переполнено чувствами, владеть которыми она не привыкла, а голова кружилась от всех превратностей судьбы, которые могли сломить и натуру более сильную.

Какое-то время она повторяла все свои обычные молитвы, к которым добавила еще литанию Пресвятой деве, но не испытывала однако при этом ни успокоения, ни просветления, пока наконец не почувствовала, что все эти слова не выражают ее душевного состояния; этого отступничества сердца она боялась еще больше, чем нарушения ритуала, и она дерзнула обратиться к Пресвятой деве на своем собственном языке.

- Дух кроткий и прекрасный, - вскричала она, падая ниц перед изваянием, - ты единственная, чьи уста улыбались мне с тех пор, как я попала в твою христианскую страну, ты, чей лик, как мне порой казалось, был среди тех, что живут на звездах моего индийского неба, выслушай мои слова и не гневайся на меня! Сделай так, чтобы я перестала чувствовать мое настоящее, чтобы я позабыла мое прошлое! Почему это прежние мои мысли возвращаются ко мне снова? Когда-то я становилась от них счастливой, ныне же они застряли в сердце моем, как шипы! Почему они сохраняют свою прежнюю власть надо мной, ведь они стали другими? Я больше уже не могу быть такой, как раньше, так не заставляй же меня все время помнить об этом! Если только это возможно, то сделай так, чтобы я видела, чувствовала и думала так, как ты, что меня окружают сейчас! О горе мне! Я чувствую, что мне будет гораздо легче опуститься до их уровня, чем поднять их до своего. Время, принуждение и уныние могут многое сделать для меня, но сколько нужно времени для того, чтобы подобная перемена могла произойти в них! Это все равно, что искать жемчуг на дне прудов, которые вырыты у них в садах. Нет, Матерь божья! Божественная и таинственная дева, нет! Никогда не видать им трепета моего пылающего сердца. Пусть испепелит его собственный огонь, прежде чем его успеет потушить капля их холодного сострадания! Пресвятая дева! Разве пламенеющие сердца не достойны тебя больше, нежели все другие? Разве любовь к природе не сливается с любовью к богу? Можно, правда, любить, ни во что не веря, но можно ли верить, не любя? И все же, о Матерь божья, осуши сердце мое, ибо нет больше русла, по которому могли бы излиться его потоки. Или же направь все эти потоки прямо в реку, узкую и холодную, в ту, что стремится воды свои в вечность! Надо ли мне думать или



чувствовать, если жизнь требует от меня исполнения обязанностей, какие невнушает мне ни одно чувство, и равнодушия, которое не нарушается никаким раздумьем? Даруй мне здесь покой! Правда, это будет означать конец радостям, но это будет также и концом страданий, а потоки слез - это слишком дорогая цена за одну-единственную улыбку, которую на них можно купить на торжище жизни. О горе мне! Лучше блуждать по свету, не ведая никаких его радостей, чем терзаться воспоминаниями о цветах, что увяли, и об ароматах, что никогда уже не услышишь. - Неодолимое волнение охватило ее, и она снова склонилась перед образом Пресвятой девы. - Да, помоги мне изгнать из души моей все образы прошлого, кроме него, кроме него одного! Пусть сердце мое станет похожим на эту уединенную комнату, которая освящена единственным, что в ней есть, образом твоим, озаренным светом любви, тем, что не погаснет до скончания века!

В исступлении своем она продолжала стоять на коленях перед Пресвятой девой, когда же она поднялась, то вся тишина ее комнаты и безмятежная улыбка на лице Божьей матери, казалось, и противостояли всей одолевавшей ее непомерной слабости, и упрекали девушку за то, что она ей поддалась. Лицо Божьей матери как будто нахмурилось. Совершенно очевидно, что человеку, который чем-то взволнован, не приходится ждать утешения от того, кто безмятежно спокоен. Лучше уж столкнуться с таким же волнением, даже с враждебностью, встретить все что угодно, лишь бы не покой, не то, что подавляет и уничтожает. Это все равно, что ответ скалы нагрянувшей волне, которая собирается с силами, пенясь, кидается вперед и превращается в брызги, чтобы вернуться назад разбитой, истерзанной, и ропщет, слыша, как раскатистым эхом отдаются крики ее и стоны.

От невозмутимого и лишающего всякой надежды вида божества, которое улыбается человеческому горю, не утешая в нем и не облегчая его и выражая этой улыбкой глубокое и вялое равнодушие, как бы утверждая ею, что совершенство недостижимо, хладнокровно давая понять, что, пока человечество существует, оно обречено на муки, - от всего этого несчастная страдальца кинулась искать утешения в природе, чье непрерывное волнение находится как будто в соответствии с превратностями нашей судьбы и тревогами сердца, где все смены затишья и бурь, туч и сияния солнца, ужасов и наслаждений свершаются как бы в такт той неизъяснимой и таинственной гармонии, некоей арфы, чьи струны трепетом своим попеременно выражают муку и радость до тех пор, пока их не коснется рука смерти, чтобы навеки заставить их замолчать. С такими вот чувствами Исидора прислонилась к окну, стараясь глотнуть немного свежего воздуха, но ей это не удалось, настолько ночь была душной. И она подумала, что в такую ночь на своем индийском острове она могла бы кинуться в речку, струящуюся в тени ее любимых тамариндов, а не то и отважиться войти в тихие серебристые воды океана, радоваться отраженным в них лунным лучам, пробежавшей по поверхности легкой ряби и наслаждаться, подбирая блестящие, изогнутые и словно покрытые эмалью ракушки, которые точно сами льнули к ее светлым следам, когда она возвращалась на берег. Теперь все было другое. Правда, здесь она тоже купалась, но здесь купанье стало для нее какой-то обязанностью и ни разу не удавалось обойтись при этом без мыла и духов, а главное без прислуги, и хотя все это были женщины, Исидоре церемония эта внушала невероятное отвращение. От всех этих губок и благовоний ей, не привыкшей ни к каким изощренным, становилось просто не по себе, а присутствие при этом других человеческих существ было для нее тягостно и словно закрывало за единый миг все поры ее тела.

Купанье нисколько ее не освежало, молитвы не приносили ей облегчения; она искала его в своей комнате, у окна, но и там не находила. Луна была такой яркой, каким в северных странах бывает солнце, и все небо было залито ее светом. Она походила на огромный корабль, что один бороздит гладь воздушного океана и не оставляет после себя следа, а в это время мириады звезд

искрятся в потоке ее безмятежного света, подобно сопутствующим кораблям, что направляются в неведомые миры и указуют на них смертным, а те, следя за их ходом, упиваются ниспосланным ими сиянием.

Вот что свершалось в это время на небе; как же все это было непохоже на то, что творилось внизу! Сияющий, необъятный свет падал на огороженные прямые грядки, подстриженные мирты и апельсиновые деревья в кадках, на четырехугольные пруды, на увитые зеленью беседки - на природу, которую бесчисленными способами калечили и которая от всех этих истязаний только ежилась и негодовала на человека.

Исидора смотрела на все и плакала. Слезы стали теперь для нее тем единственным языком, на котором она говорила с собой, когда бывала одна; когда же рядом оказывался кто-нибудь из родных, плакать она не смела. Но вдруг она заметила на одной из освещенных луною аллеей темное пятно, которое, приближаясь, становилось все больше. Она увидела, что кто-то идет к ней, услышала свое имя, то, которое она помнила и любила, имя Иммали.

- О кто же это! - вскричала она, - неужели здесь есть хоть кто-нибудь, кто называет меня этим именем?

- Только этим именем я и могу называть тебя, - послышался в ответ голос чужестранца, - я еще не имел чести узнать то другое, которым нарекли тебя твои покровители-христиане.

- Они зовут меня Исидорой, но ты зови меня прежним именем Иммали. Только как же могло случиться, - добавила она дрожащим голосом; страх за него пересилил в эту минуту внезапно охватившую ее простодушную радость, едва лишь она его увидела, - как могло случиться, что ты здесь? Здесь, куда не проникает ни один посторонний! Как ты мог перелезть через ограду и попасть в сад? Как ты добрался сюда из Индии? Молю тебя, сейчас же уходи, оставаться здесь опасно! Людям, которые меня окружают, я не могу доверять, не могу их любить. Моя мать строга ко мне, брат мой жесток. Но кто же все-таки впустил тебя в сад? Как это могло быть, - добавила она прерывающимся голосом, - что ты вдруг решил подвергнуть себя такой опасности для того, чтобы увидеть ту, которую ты давно успел позабыть?

- Милая неофитка, прелестная христианка, - ответил чужестранец с сатанинской усмешкой, - да будет тебе известно, что все эти засовы, решетки, стены значат для меня не больше, чем волны и скалы на твоём острове в Индии, что я могу войти куда угодно и выйти, как только мне заблагорассудится, и мне не надо для этого спрашивать и получать позволения у цепных псов твоего брата или у толедских клинков и ружей, и что меня не могут остановить никакие сторожевые посты дуэний, которых выставила твоя мать, чтобы никого не подпустить к тебе близко, вооружив их очками и дав каждой по двое четок с зёрнами величиной с...

- Тсс! Тсс! Не богохульствуй... Меня приучили относиться с уважением ко всему, что священо. Только ты ли это? Действительно ли это тебя я видела ночью или то была лишь мысль о тебе, из тех, что приходят ко мне в снах и снова воскрешают перед глазами картины моего прекрасного благословенного острова, где я в первый раз... О, лучше бы я никогда тебя не видала!

- Прелестная христианка, примиришь со своей страшной судьбой. Да, это тебя ты видела ночью, это я дважды появился на твоём пути, когда ты блистала в кругу самых блестящих красавиц Мадрида. Да, ты видела меня, это я приковал твой взор, это я пронзил ударом молнии твой нежный стан - это сраженная моим горящим взглядом ты, обессилев, упала. Это тебя ты видела, меня, который вторгся на этот райский остров и нарушил твой благодатный покой, это я гонялся за тобой и выслеживал каждый твой шаг, даже среди всех хитросплетений тех нарочито придуманных путей, на которые ты забрела, пряча себя самое и свою жизнь под чужими личинами!

- Забрела! О, нет! Они схватили меня, они притащили меня сюда, они заставили меня стать

христианкой. Они уверили меня, что все это делается ради моего спасения, ради моего счастья - и в этой жизни, и за гробом, и я верю, что так оно и будет, я ведь была так несчастна с тех пор, что должна же я быть хоть где-нибудь счастлива.

- Счастлива! - повторил чужестранец с уничтожающе усмешкой, - а сейчас ты разве не счастлива? Нежное тело твое больше не истязают неистовые стихии, твой изысканный девический вкус ублажается множеством измышлений искусства: постель твоя - из пуха, комната вся увешана шпалерами. Светит ли или нет на небе луна, в комнате у тебя всю ночь горит шесть свечей. Ясно или затянуто небо, одета ли земля цветами или изрыта бурями, искусство художника окружило тебя "новым небом и новой землей" {16}, и когда для всех других наступает тьма, ты можешь нежиться в лучах солнца, которое никогда не заходит, и благоденствовать среди цветов и красот природы в то время, как добрая половина подобных тебе созданий гибнет среди снегов и бурь! (Язвительность до такой степени сделалась его второю натурой, что он уже не мог говорить о благодеяниях природы или наслаждениях, которыми дарует искусство, не примешивая к своим речам насмешки или презрения к тому и другому.) К тому же ты можешь сейчас общаться с образованными людьми вместо, того, чтобы выслушивать щебетанье клестов и крики обезьян.

- Не сказала бы я, что речи, которые я слышу сейчас, более содержательны и понятны, - пробормотала Исидора, но чужестранец, казалось, ее не слышал.

- Ты окружена всем, что может усладить чувства, опьянить воображение или растрогать сердце, - продолжал он. - Все эти милости должны заставить тебя позабыть сладостную, но грубую свободу твоей прежней жизни.

- Птицы, что моя мать держит у себя в клетках, всю жизнь бьются о позолоченные прутья, топчут чистые семена, которые составляют их корм, и мутят налитую им прозрачную воду. Разве вместо этого они не были бы рады посидеть на каком-нибудь замшелом стволе одряхлевшего дуба, и пить воду из каждого ручейка, и быть на свободе, пусть даже она сулит им менее изысканную пищу и менее чистое питье? Неужели же они не согласятся на все что угодно, лишь бы не ломать свои клювы о золоченую проволоку?

- Значит, ты совсем не в восторге от твоей новой жизни в этой христианской стране, и она совсем не оправдала твоих ожиданий? Стыдись, Иммали, стыдись неблагодарности своей, стыдись своих прихотей! А помнишь, как там, на твоём индийском острове, ты увидела на какой-то миг христианское богослужение. Помнишь, как пленила тебя тогда эта картина!

- Я помню все, что происходило на этом острове. Вся прежняя жизнь моя была предвосхищением будущего, нынешняя же вся стала памятью о прошедшем. \_У счастливых жизнь полна надежд, у несчастных она полна воспоминаний\_. Да, я помню, как мне удалось на какой-то миг увидеть эту религию, такую прекрасную, такую чистую; и когда меня привезли в христианскую страну, я действительно думала, что все живущие в ней христиане.

- А кто же они по-твоему, Иммали?

- Они всего-навсего католики.

- Знаешь ли ты, какой опасности ты себя подвергаешь тем, что произносишь эти слова? Знаешь ли ты, что в этой стране усомниться в католицизме означает то же самое, что усомниться в христианстве и что вообще одного намека на это достаточно, чтобы тебя приговорили к сожжению на костре как неисправимую еретичку? Твоя мать, которую ты так недавно узнала, сама связала бы тебе руки, когда крытая повозка явилась бы за своей новой жертвой, а твой отец, хоть он даже еще ни разу не видел тебя в глаза, отдал бы свой последний дукат за дрова для костра, который должен будет превратить тебя в кучку пепла; и все твои родные, одетые в праздничные наряды, стали бы кричать "аллилуйя", слыша твои предсмертные крики. Знаешь ли ты, что христианство в этих странах диаметрально противоположно

христианству того мира, который ты видела украдкой и о котором ты можешь узнать из написанного в твоей Библии, если тебе позволят ее прочесть?

Исидора заплакала и призналась, что не нашла христианства там, где ожидала его найти; но минутой спустя с присутствием ей удивительным простодушием она уже готова была корить себя за это признание.

- Я так плохо разбираюсь в этом новом мире, - сказала она, - мне столько еще всего надо узнать, чувства мои так часто меня обманывают, а привычки мои и понятия так далеки от того, какими они должны быть... я хочу сказать от тех, что я вижу вокруг, что мне следовало бы и говорить и думать только так, как меня учат. Может быть, пройдет еще несколько лет учения и страданий, и мне удастся обнаружить, что в этом новом мире вообще не может быть счастья и что христианство в целом вовсе не так далеко от католицизма, как мне это кажется сейчас.

- А разве ты не чувствовала себя счастливой в этом новом мире разума и роскоши? - спросил Мельмот голосом, который помимо его воли смягчился.

- Да, временами.

- Когда же это бывало?

- Тогда, когда томительный день кончался и сны мои уносили меня назад, на тот очарованный остров. Сон для меня все равно что ладья: сидящие за веслами призраки мчат меня к благословенным прекрасным берегам, и всю ночь я провожу в радости и веселье. Я снова живу среди цветов и благоуханий, в ручейках и дуновении ветра снова звучат тысячи голосов, воздух вдруг оживает от струящихся по нему мелодий, что доносятся неведомо откуда, я иду, а все вокруг дышит, и все неживое вдруг оживает и любит меня: расстилающиеся ковром цветы, потоки, которые трепетно целуют мне ноги, уносятся прочь, а потом возвращаются снова, лаская меня и припадая ко мне так, как я припадаю губами к статуям святых, которым меня научили здесь поклоняться!

- А больше ты ничего не видишь во сне, Иммали?

- Мне незачем говорить тебе, - ответила Исидора тоном, в котором удивительным образом слились воедино присущая ей ясность ума и заволакивающий все мысли туман, в котором сказались ее своеобразный характер и необыкновенные обстоятельства ее прежней жизни. - Мне незачем говорить тебе, ты же знаешь, что каждую ночь ты со мной!

- Я?

- Да, ты; ты остался навеки в этой ладье, которая увозит меня туда, на индийский остров; ты смотришь на меня, но выражение лица твоего настолько переменялось, что я не решаюсь заговорить с тобой, мы оба за мгновение переносимся через моря, только ты всегда сидишь за рулем, хоть и никогда не причаливаешь к берегу, - в ту минуту, когда появляется мой райский остров, ты вдруг исчезаешь; а когда мы возвращаемся, океан погружен во мрак, и мы мчимся сквозь эту тьму точно буря, что сметает все на своем пути; ты смотришь на меня, но не говоришь ни слова. Да! Да! Ты со мною каждую ночь!

- Послушай, Иммали, все это бред, нелепый бред. Как же это я могу везти тебя на лодке из Испании по Индийскому океану! Все это плод твоего воображения.

- А то, что я вижу тебя сейчас, это тоже бред или сон? - воскликнула Исидора, - а то, что я говорю с тобой, тоже сон? Разуверь меня, а то все чувства мои в смятении, и мне так же странно представить себе, что ты здесь, в Испании, как и вообразить, что сама я очутилась на моем родном острове. Увы! В моей теперешней жизни сны сделались явью, а явь кажется сном. Как мог ты сюда попасть, если ты действительно здесь? Как мог ты проделать такой длинный путь для того, чтобы увидеть меня? Сколько океанов тебе, должно быть, пришлось переплыть, сколько островов ты должен был миновать, и ни один из них не был похож на тот, где ты явился мне в первый раз! Только ты ли это сейчас передо мной? Я думала, что это тебя я видела вчера

вечером, но лучше бы уж мне было верить снам, а никак не чувствам. Я думала, что ты только гость этого острова видений и сам всего-навсего призрак, явившийся мне вслед за напоминавшими о нем тенями, но, оказывается, ты - живое существо, и я могу еще надеяться встретить тебя в этой стране холода и всех ужасов христианского мира?

- Прекрасная Иммали, или Исидора, или каким бы другим именем ни называли тебя твои индийские поклонники или христианские крестные отцы и крестные матери, прошу тебя, выслушай меня и дай мне открыть тебе кое-какие тайны.

Тут Мельмот повалился на клумбу гиацинтов и тюльпанов, благоухавших под окном Исидоры.

- Но ты же помнешь все мои цветы! - вскричала она, и в восклицании этом слышен был отзвук ее прежней жизни, когда цветы были ее друзьями, когда они были радостью для ее чистого сердца.

- Прости меня, таково уж мое призвание, - проговорил Мельмот, растянувшись на смятых цветах и устремив на Исидору мрачный взгляд, в котором сквозила жестокая насмешка. - Мне поручено попирать ногами и мять все цветы, расцветающие как на земле, так и в человеческой душе: гиацинты, сердца и всевозможные подобные им безделки, все, что попадает на моем пути. А теперь, донья Исидора и так далее, и так далее... с присовокуплением всех имен, какие только будут угодны вам или вашим восприемникам, - ибо я не хочу ничем обидеть ревнителей геральдики, - знайте, сейчас я здесь, а где я окажусь завтра, будет зависеть от вас. Я одинаково могу плыть по индийским морям, куда сны твои посылают меня в лодке, или пробираться сквозь льды возле полюсов, или даже мое обнаженное мертвое тело (если только оно вообще способно чувствовать) может бороздить волны того океана, где я рано или поздно окажусь - в день без солнца и без луны, без начала и конца, бороздить их до скончания века и пожинать одни лишь плоды отчаяния!

- Замолчи! Замолчи! О пощади меня, не произноси таких страшных слов! Неужели ты действительно тот, кого я видела на острове? Неужели ты - это он, тот, с чьим образом с той самой минуты сплетены воедино все мои молитвы, чаянья мои, мое сердце? Неужели ты тот, надеждой на кого я жила и выжила, когда жить уже не было никаких сил? Пока я добралась до этой христианской страны, я так исстрадалась. Я так изнемогла, что вид мой пробудил бы в тебе, верно, жалость; все было так чуждо мне: платье, которое на меня надели, язык, на котором меня заставили говорить, вера, которую меня заставили исповедовать, страна, куда меня привезли... О, только ты, ты один!.. Только мысль о тебе, только твой образ тогда придал мне силы! Я любила, а любить это значит жить. Когда все мои связи с жизнью были порваны, когда я лишилась того восхитительного мира, который теперь кажется мне только сном и который все еще преследует меня в снах, так что теперь сны эти сделались моей второй жизнью, я думала о тебе, о тебе мечтала, я любила тебя!

- Любила меня? Ни одно живое существо еще не любило меня, не поплатившись за это слезами.

- А я разве не плакала? - сказала Исидора, - верь этим слезам, это не первые, которые я пролила, и боюсь, что не последние, ведь и первые мои слезы были пролиты из-за тебя.

И она заплакала.

- Ну что же, - сказал Скиталец с горьким смехом, который, казалось, был обращен на него самого. - Наконец-то я смогу увериться в том, что я "тот, кто всего нужней" {17}. Что же, коли это должно быть так, то да будет он счастлив! А когда же этот знаменательный день, прекрасная Иммали \_и столь же\_ прекрасная Исидора, несмотря на это христианское имя, против которого у меня возникают самые что ни на есть антикатолические возражения, - когда же сей радостный день озарит твои отяжелевшие от долгой дремоты ресницы и разбудит их поцелуями, и лучами,

и светом, и любовью, и всей мишурой, которой безумие украшает беду, прежде чем вступить с ней в союз, тем сверкающим и отравленным покрывалом, которое подобно рубашке, что Деянира послала своему мужу {18}, - когда же сей благословенный день наконец настанет?

И он расхохотался тем ужасным, переходящим в судороги смехом, который смешивает веселость с отчаянием и не оставляет у собеседника ни малейшего сомнения в том, чего больше - отчаяния ли в смехе или смеха в отчаянии.

- Я не понимаю тебя, - сказала неискушенная и робкая Исидора, и если ты не хочешь свести меня с ума, то перестань смеяться или по крайней мере не смейся таким ужасающим смехом!

- Плакать я не умею, - ответил Мельмот, впиваясь в нее своими сухими горящими глазами, которые при слабом свете луны сверкали особенно ярко, источник слез, как и источник всякой благодати вообще, во мне давно иссяк.

- Я могу плакать за нас обоих, - сказала Исидора, - если только в этом дело.

И она разрыдалась; тут были и воспоминания и печаль, а когда оба эти источника скорби соединяются воедино, только богу и самому страдальцу известно, сколь стремительны и сколь горьки эти слезы.

"Побереги их для дня свадьбы, прелестная невеста моя, - подумал Мельмот, - вот уж когда тебе представится случай их пролить".

В те времена существовал обычай, который теперь может показаться и отвратительным и нескромным: девушка, сомневавшаяся в искренности намерений своего возлюбленного, требовала от него доказательств того, что они серьезными благородны, заставляя его высказывать их ее родным, а потом вступить с нею в освященный церковью союз. Может быть, впрочем, во всем этом больше подлинной правды и настоящего целомудрия, нежели во всех двусмысленных ухаживаниях, которые ведутся на основе плохо понятых или вообще неясных принципов, тех, что никогда и никем не были определены, и представления о верности, которое во все времена оставалось неизменным. Когда героиня итальянской трагедии {2\* Скорее всего, "Ромео и Джульетта" {19}.} уже чуть ли не при первом свидании спрашивает своего возлюбленного, серьезны ли его намерения, и в качестве доказательства его порядочности требует, чтобы он незамедлительно на ней женился, то разве все сказанное ею не проще, не понятнее, не целомудренней, не \_простосердечнее\_, нежели упования романтически настроенных и легковверных женщин, которые живут мимолетными порывами, необузданным и стихийным чувством, которые строят свой дом на песке и не дают себе труда укрепить фундамент его в незыблемых глубинах сердца. Уступая первому из этих двух чувств, Исидора прерывающимся от волнения голосом прошептала:

- Если ты меня любишь, не ищи больше тайных свиданий со мной. Моя мать хоть и строгая, но добрая, брат хоть и вспыльчивый, но неплохой, а отец... отца я никогда не видела! Не знаю уж, что о нем сказать, но если \_он мне отец\_, то он тебя полюбит. Встречайся со мной в их присутствии, и к радости моей от того, что я тебя вижу, не будет больше примешиваться стыд и страдание. Испроси благословения церкви, и тогда, может быть...

- Может быть! - возмутился Мельмот, - ты научилась европейскому "может быть!" - искусству ослаблять значение проникновенного слова, искусству делать вид, что приоткрываешь занавес, в то время как на самом деле задерживаешь ее все плотнее и плотнее, искусству вселять в нас отчаяние как раз в ту минуту, когда хочешь, чтобы у нас появилась надежда!

- О, нет! Нет! - ответила девушка. - Я - \_сама истина\_. Я - Иммали, когда говорю с тобой, хотя со всеми остальными, кто живет в этой стране, которую они называют христианской, я - Исидора. Когда я полюбила тебя, я слушала только один голос - голос моего сердца; теперь вокруг меня раздаются много голосов, и у иных из этих людей нет сердца, такого, как у меня. Но если ты меня любишь, ты можешь покориться им так, как покорилась я, можешь полюбить их

бога, их дом, их надежды и их страну. Даже с тобой я не могла бы быть счастливой, если бы ты не поклонялся кресту, на который ты впервые направил мой блуждающий взор, и не исповедовал религию, говоря о которой ты сам невольно признался, что это самая прекрасная и благодатная религия на земле.

- Неужели я в этом признался? - задумчиво сказал Мельмот. - В самом деле, это могло быть только невольно. Прекрасная Иммали! Ты действительно обратила меня, - тут он подавил в себе сатанинский смех, - в свою новую веру и покорила меня своей красотой, и своей испанской кровью, и положением в обществе, и всем, что тебе только угодно. Я буду непрестанно обхаживать твою благочестивую мать, и твоего сердитого брата, и всех твоих родных, как они ни заносчивы, ни брюзгливы и ни нелепы. Я готов иметь дело со всеми этими плоеными воротниками, шуршащими мантильями и юбками с фижмами, что носят все, начиная с твоей почтенной матушки и кончая самой старой из дуэний, в очках на носу и с коклюшками в обеих руках, восседающей на своем неприступном диване, на который никто никогда не осмелится покуситься, а также - с завитыми бакенбардами, украшенными перьями шляпами и широкими плащами всех твоих родичей мужского пола. И я готов пить шоколад и важно расхаживать среди них, а когда они направят меня к вашему усатому стряпчему, с длинным гусиным пером в руке и с душой, которую можно уместить всю на трех широких листах пергамента, я выберу для нашей свадьбы такие просторы, каких не знала еще ни одна невеста в мире.

- Так пусть же это будет в стране музыки и солнечного света, там, где мы встретились в первый раз! Один уголок этой дикой, усеянной цветами земли стоит всей обработанной земли в Европе! - воскликнула Исидора.

- Нет, это будет на другой земле, на той, которую гораздо лучше знают ваши бородатые стряпчие и право на которую должны будут признать за мной даже твоя благочестивая мать и вся твоя гордая семья, как только они выслушают мои притязания и подкрепляющие их доводы. Может быть, они смогут оказаться там моими совладельцами, и, однако, как это ни странно, они никогда не станут оспаривать моего исключительного права на эти уголья.

- Ничего этого я не понимаю, - сказала Исидора, - но я чувствую, что преступлю все правила приличия, существующие для испанской девушки и для христианки, если буду продолжать сейчас этот разговор с тобой. Если ты думаешь так, как думал когда-то, если ты чувствуешь так, как я должна буду чувствовать всю мою жизнь, нам не к чему заводить этот разговор: он только смущает меня и вселяет мне в душу страх. Какое мне дело до земли, о которой ты говоришь? Единственное, что в ней для меня важно, - так это то, что она принадлежит тебе!

- Какое тебе до нее дело! - повторил Мельмот. - О, ты еще не знаешь, как много будут для тебя значить и она и я! В других случаях обладание землей обеспечивает человека, здесь же, напротив, человек обеспечивает вечное владение этой землей. Она достанется моим наследникам и будет принадлежать им до скончания века, если только они согласятся на те же условия владения, что и я. Выслушай меня, прекрасная Иммали, или христианка, я готов называть тебя любым именем, которое ты себе избереешь! Природа - твоя первая крестная мать - окрестила тебя росой индийских роз; разумеется, христианские восприемники твои не пожалели ни воды, ни соли, ни масла, чтобы смыть с твоего внове рожденного тела печать природы. А вот последний твой крестный отец, если только ты исполнишь все, что положено, умастит тебя новым миром. Но об этом после. Выслушай меня, и я расскажу тебе про богатство и великолепие тех угодий, которые я собираюсь тебе отдать, и про тех, кого ты там встретишь. Там обитают правители, все до одного. Там герои, и государи, и тираны. Там - все их богатства, и роскошь, и власть. О, какое это блестящее общество! Там у всех у них есть и престолы, и короны, и пьедесталы; огненные трофеи их будут гореть и гореть; сияние их славы никогда не

померкнет. Там обретаются все те, о которых ты читала в истории; все Александры и Цезари, Птолемеи и фараоны. Там - восточные государи, все Немвроды, Валтасары и Олоферны своих времен. Там - властители Севера, Одины, Аттилы (которого церковь ваша называет бичом божьим), Аларихи {20} и все те безымянные и недостойные иметь имя варвары, те, что под разными прозвищами и кличками опустошали и разоряли землю, завоевать которую они явились. Там властители Юга, и Востока, и Запада - магометане, калифы, сарацины, мавры, со всей их кичливой роскошью и всеми атрибутами и эмблемами, - полумесяцем, Кораном и конским хвостом, трубой, гонгом и литаврами, или, - чтобы было понятнее для твоего теперь уже христианского слуха, прелестная неофитка! победы гром и яростные крики {21}. Там же ты повстречаешь владык Запада, которые прячут свои бритые головы под тройной короной {22}, а за каждый волос, который сбривают, хотят получить жизнь своего монарха; те, что, прикидываясь смиренными, в действительности покушаются на власть, что именуются рабами рабов, а на самом деле хотят стать господами господ. О, у тебя будет с кем провести время в этом ярко освещенном краю, ибо там действительно очень светло! И не все ли равно, откуда будет идти этот свет от горящей серы или от трепетных лунных лучей, при которых ты кажешься такой бледной?

- Кажусь бледной! - воскликнула Исидора, едва переводя дыхание. - Я чувствую эту бледность. Я не понимаю, что означают твои слова, но я знаю, что это ужасно. Не говори мне больше об этом крае со всей его гордостью, развращенностью и роскошью! Я готова идти за тобой в пустыни, в непроходимые чащи, куда не ступала ничья нога, кроме твоей, и куда я пойду по твоим следам. В уединении я родилась, в уединении могла бы и умереть. Но где бы я ни жила и когда бы ни умерла, позволь мне стать твоей! А что касается места, то не все ли это равно, пусть то будет даже...

- Даже где? - спросил Мельмот, и в вопросе этом звучало торжество от сознания, что несчастная так беззаветно ему предана, но одновременно и ужас при мысли о той участи, на которую она безрассудно себя обрекла.

- Даже там, где должен быть ты, - ответила Исидора, - пусть и я буду там, я и там, верно, буду счастлива, как на том острове, где расцветали цветы и сияло солнце и где я увидела тебя в первый раз. О, нигде нет таких пахучих и ярких цветов, как те, что цвели там когда-то. Нигде в журчании рек нет такой музыки, как та, которой я там внимала, нигде дуновение ветерка не напоено таким ароматом, как тот, что я там вдыхала; когда я слышала эхо твоих шагов или звук твоего голоса, мне казалось, что это и есть та человеческая музыка, первая, которую я услышала в жизни и которая, когда я перестану слышать...

- Ты услышишь и не такое! - перебил ее Мельмот, - голоса десяти тысяч,... девяти миллионов духов, существ, издающих бессмертные, непрестанные звуки, те, что никогда не замирают и не сменяются тишиной!

- О, как это будет дивно! - воскликнула Исидора, хлопая в ладоши, единственный язык, которому я научилась в этом новом мире и на котором стоило бы говорить, это язык музыки. В прежней моей жизни я сумела перенять какие-то несовершенные звуки у птиц, но здесь, во второй моей жизни, меня научили музыке; и всему горю, которое я постигла в этом новом мире, пожалуй, не перевесить радости, которую принес мне этот удивительный язык звуков.

- Подумай только, - продолжал Мельмот, - если твое влечение к музыке на самом деле столь велико, то какое тебя ждет упоенье, какое раздолье там, где ты услышишь все эти голоса и где им как эхо вторит грохот десятков тысяч огненных волн, бьющихся о скалы, которые вечное отчаяние превратило в адамант! И после этого смеют еще говорить о музыке небесных сфер! {23} Представь себе музыку этих живых светил, вечно вращающихся на своих огневых осях, вечно сияющих и вечно поющих, подобно вашим братьям христианам, которым в одну



презабавную ночь выпала честь освещать собой сады Нерона в Риме {24}.

- Меня бросает в дрожь от этих слов.

- Полно! С чего это ты так оробела? Я ведь обещал тебе, что, прибыв на новое место, ты увидишь тех, кто изведал могущество и великолепие, упивался всей роскошью, всеми наслаждениями, узнаешь властителей и сластолюбцев, хмельного монарха и изнеженного раба, ложе из роз и балдахин из пламени!

- Так это и есть то прибежище, куда ты меня зовешь?

- Да, это оно, это оно. Приди и будь моей! Мириады голосов призывают тебя; прислушайся к ним и повинуйся этому зову! Голоса эти слышны в раскатах моего голоса, огни эти исходят из моих глаз и горят в моем сердце. Выслушай меня, Исидора, любимая моя, выслушай меня! Я действительно хочу, чтобы ты стала моей женой и - навеки! О как жалки узы, связующие влюбленных на земле, в сравнении с теми, что свяжут нас с тобой на веки веков! Не бойся, там тебе будет чем поразвлечься, тебя ждет блестящее общество. Я уже назвал тебе имена государей, и священнослужителей, и героев, и если ты снизойдешь до повседневных развлечений своей теперешней жизни, ты там сумеешь возобновить их. Ты любишь музыку, так можешь быть уверена, что там ты встретишь большинство тех, кто ее сочинял, начиная с Иувала с его первыми опытами {25} и кончая Люлли {26}, который вогнал себя в гроб одной из своих ораторий или опер, не помню уже какой. Они обретут там удивительный аккомпанемент неумолчный рев огненного моря низкими басовыми нотами будет сопровождать хор мучеников-певцов!

- Что же это за ужасы? - спросила Исидора, вся дрожа, - слова твои для меня загадка. Ты что, потешаешься надо мной, тебе хочется меня мучать или все это говорится ради забавы?

- Ради забавы! - повторил зловещий пришелец, - это неплохая мысль *vive la bagatelle!* {Да здравствуют пустяки! (франц.).} Так посмеемся же вволю! У нас еще будет немало всего, что заставит нас быть серьезными. Там мы увидим всех тех, кто когда-либо дерзал на земле смеяться - певцов, танцоров, людей веселых, сластолюбивых, блистательных, любимых, тех, кто во все времена заблуждался касательно своего назначения и доходил до того, что воображал, будто радость - никакое не преступление, а улыбка нимало не отвлекает человека от его обязанности страдать. Все эти люди должны искупить свое заблуждение при таких обстоятельствах, которые, вероятно, заставили бы самого верного ученика Демокрита {27}, \_самого неумного весельчака\_ среди них признать, что \_в этих местах\_ во всяком случае смех - это безумие {28}.

- Я не понимаю тебя, - сказала Исидора, слушая его и чувствуя, как сердце у нее упало, что бывает, когда одновременно ощущаешь неизвестность и страх.

- Не понимаешь меня? - повторил Мельмот с тем саркастически холодным выражением лица, которое являло собой страшную противоположность его горящим пронизательным глазам, походившим на вырвавшуюся из кратера раскаленную лаву, окруженную залегшей до самого его края грудой снега, - не понимаешь меня? Так, значит, ты не любишь музыку?

- Нет, люблю.

- Да и танцы тоже, моя прелестница, моя милая?

- Я их любила.

- Отчего же ты так по-разному отвечаешь мне на эти вопросы?

- Я люблю музыку, я должна ее любить, это язык воспоминаний. Мне достаточно услышать какую-нибудь мелодию, и я уношусь назад, в мир снов и блаженства, в очарованную жизнь моего... моего родного острова. Я не могу всего этого сказать про танцы. Танцевать я \_научилась\_, а музыку я \_ощутила в себе\_. Никогда не забуду, как я услышала ее в первый раз и вообразила, что это и есть тот язык, на котором христиане разговаривают друг с другом. С тех пор я успела узнать, что говорят они между собой на совсем ином языке.

- Разумеется, язык их далеко не всегда звучит, как мелодия, особенно когда между ними возникают споры по поводу некоторых пунктов их веры. Право же, трудно себе представить что-либо менее похожее на гармонию, чем дебаты доминиканца и францисканца, насколько для спасения души важно, какая ряса надета на монахе в минуту смерти {29}. Но нет ли еще чего, что побуждает тебя теперь любить музыку, тогда как танцы ты разлюбила? Я хочу понять, почему это так.

Казалось, неисповедимая судьба этого несчастного заставляла его смеяться над горем, которое он приносил другим, тем больше, чем горе это было острее. Саркастическое легкомыслие его находилось в прямой и страшной зависимости от его отчаяния. Может быть, впрочем, это происходит даже и тогда, когда и обстоятельства и характеры бывают не так жестоки. Веселье, в котором нет истинной радости, нередко бывает всего-навсего маской, скрывающей содрогающееся и искаженное муками лицо... а смех, который никогда еще не выражал восторга, нередко становился единственным доступным языком для безумия и горя. Казалось также, что ни острота оскорбительной иронии, ни напоминание о близости зловещего мрака не могли смутить и поколебать самозабвенную преданность той, к которой они были обращены. Та "подлинная причина", о которой ее спрашивали тоном беспощадной иронии, нашла себе выражение в чудесной нежной мелодии, которая, казалось, сохраняла все свое изначальное звучание, где слышались и пение птиц, и журчанье вод.

- Я люблю музыку, потому что всякий раз, как я ее слышу, я думаю о тебе. Я разлюбила танцы, хотя вначале они опьяняли меня, потому что, танцуя, я иногда могла забыть о тебе. Когда я слушаю музыку, образ твой парит передо мною; в каждой ноте, в каждом звуке я слышу тебя. Самые невнятные звуки, которые я могу извлечь из гитары (ибо играю я очень плохо), несут в себе очарование мелодии, которая возникает из чего-то, что я не в силах определить, - это не ты, но мое представление о тебе. В твоём присутствии, как оно ни необходимо для того, чтобы я могла жить, я никогда не испытывала того неизъяснимого наслаждения, которое приносит мне твой образ, когда музыка вызывает его из сокровенных глубин сердца. Музыка для меня все равно что голос религии, призывающий помнить о боге моего сердца и ему поклоняться. Танцы же - это какое-то мимолетное отступничество, почти что профанация.

- Вот поистине тонкий и изощренный довод, - сказал Мельмот, - и конечно же у него есть только один недостаток: он не очень-то лестен для того, к кому обращен. Итак, образ мой какие-то мгновения носится на звучных, трепещущих волнах мелодии, точно некий бог бурных валов музыки, торжествующий, когда вздымается ввысь, и обольстительный даже в своем падении, а минуту спустя он уже похож на пляшущего дьявола из твоих опер; со злобной усмешкой следит он за тем, как ты мелькаешь перед ним в разных фигурах фанданго, и брызжет губительной пеной своих черных, судорожно искривленных губ в чашу, из которой ты пьешь. Ну что же, танцы, музыка... пусть они будут заодно! Образ мой, должно быть, одинаково вредоносен и там и тут: в одном он терзает тебя воспоминаниями, в другом - укорами совести. Теперь представь себе, что образ этот отнят у тебя навсегда, представь себе, что оказалось бы возможным порвать соединяющую нас нить, что так глубоко проникла нам в душу.

- Что же, попробуй ты себе представить, - ответила Исидора, в голосе которой слышались и девическая гордость, и едва уловимая печаль, - и если ты это сделаешь, знай, что я попытаюсь последовать твоему примеру; попытка эта обойдется не так уж дорого, она будет стоить мне только жизни!

Когда Мельмот взглянул на ту, которая некогда изощренной прелестью своей так выделялась среди окружавшей ее природы, а теперь поражала естественностью своей среди всех окружавших ее людских изощрений и все еще сохраняла мягкое очарование своей божественной стати среди той искусственной атмосферы, где прелести ее никто не мог оценить и всем

сияющим краскам суждено было увянуть без того, чтобы кто-нибудь мог ими насладиться, где ее чистое и самозабвенно любящее сердце было обречено биться подобно волне о скалу, излиться в стенаниях и затихнуть навек; когда он все это понял и снова посмотрел на нее, он проклял себя, а потом - с тем эгоизмом, который пробуждается в существах безнадежно несчастных, - понял и то, что тяготеющее над ним проклятие может стать менее тяжким, если он с кем-то его разделит.

- Исидора, - прошептал он так нежно, как только мог, подходя к окну, возле которого стояла его жертва, - Исидора, значит, ты будешь моей?

- Что мне тебе на это ответить? - сказала Исидора, - если ответа требует твоя любовь, то достаточно и того, что я сказала; если же тщеславие, то этого слишком много.

- Тщеславие! Прелестная насмешница, ты не знаешь, что говоришь; сам карающий ангел мог бы вычеркнуть этот пункт из списка моих грехов. Это один из запрещенных мне и невысказанных для меня пороков; это земное чувство, и поэтому я не могу ни разделять его, ни им наслаждаться, хоть, разумеется, в эту минуту я испытываю известную долю человеческой гордости.

- Гордости! А чем же ты гордишься? С тех пор, как я узнала тебя, я не чувствовала никакой другой гордости, кроме величайшей преданности, той самоуничтожающей гордости, при которой жертва гордится своим венцом больше, нежели приносящий ее жрец исполнением своего священного долга.

- Но я испытываю другую гордость, - сказал Мельмот, и сказал это гордо, - ту, которую испытывает ураган, налетающий на старинные города, о разрушении которых ты, возможно, читала, когда он сметает, сжигает, коробит картины, драгоценности, губит музыку, пиршества. Накладывая на все свои когтистые лапы, он восклицает: "Погибните для всего мкра, пусть даже на веки веков, но живите для меня во мраке и в развращенности! Сохраните все изысканные линии ваших форм, весь нетленный блеск ваших красок! Но сохраните их для меня одного! Для меня, одинокого, окаменевшего, невидящего, бесчувственного соблазнителя бесплодной невесты, для меня, склоненного в раздумье над мрачной и мертвой обителью вечного бессилия, для меня вулкана, в котором потухла пламеневшая внутри лава, и застыла, и затвердела, и навеки сокрыла все, что было земной радостью, счастьем жизни и упованием на грядущее!".

В то время как он говорил, на его перекошенном судорогою лице заиграла усмешка, исполненная холодного пренебрежения и злобы. Усмешка эта так терзала сердце и вместе с тем так иссушала и губила все, что было в человеке живого, что Исидора при всей своей простодушной, беспомощной преданности предмету своей любви не могла не вздрогнуть, видя, как он стал страшен; вся дрожая от непрестанной и неизбежной тревоги, она спросила:

- А ты тогда будешь моим? Но разве я могу хоть что-нибудь понять из твоих ужасных слов? Увы, у \_моего\_ сердца никогда не было тайн, его просто нельзя было услышать сквозь громы и бури, которые ты уготовил моей судьбе.

- Так значит, ты будешь моей, Исидора?

- Поговори с моими родителями. Женись на мне так, как положено законом и правилами церкви, которой я недостойна, и я стану твоей навеки.

- \_Навеки!\_ - повторил Мельмот, - это хорошо сказано, невеста моя. Значит, ты будешь моей навеки? Не так ли, Исидора?

- Да! Да! Я сказала. Но сейчас взойдет солнце; я чувствую, как сильнее стали пахнуть цветы померанца, как повеяло утреннею прохладой. Уходи, я и так слишком долго была в саду, сюда могут прийти слуги, они тебя увидят, молю тебя, уходи.

- Ухожу. Дай мне только сказать тебе еще одно слово: знай, что для меня и восход солнца, и появление твоих слуг, и вообще все, что творится наверху на небе и здесь на земле, одинаково

безразлично. Пусть же солнце постоит немного за горизонтом и подождет меня. \_Ты моя!\_

- Да, я твоя, но ты должен уговорить мою семью.

- Ну разумеется, уговаривать для меня привычное дело.

- И...

- И что же? Ты колеблешься.

- Я колеблюсь, - сказала доверчивая и робкая Исидора, - потому что...

- Почему?

- Потому что, - воскликнула девушка, заливаясь слезами, - потому что те, с кем ты будешь говорить, не обратят к господу тех слов, что к нему обращаю я. Они будут говорить с тобой о состоянии и о приданом, они начнут расспрашивать тебя о тех краях, где, по твоим словам, у тебя богатые и обширные владения; а если они захотят узнать о них от меня, то что я отвечу?

Тут Мельмот подошел как можно ближе к окну и произнес какое-то слово. Исидора, казалось, не расслышала его или не поняла; вся дрожа, она повторила свою просьбу. Он ответил ей еще более тихим голосом. Все еще не веря и надеясь, что, может быть, обманулась, она в третий раз повторила все тот же вопрос. В ушах у нее прогремело страшное односложное слово, она вскрикнула и захлопнула окно. Фигура пришельца скрылась, но образ его, увы, остался у нее в сердце.

Глава XXI

Он видел бездну под ногами.

Там вечно полыхало пламя

Средь вечной тьмы. Он подал знак;

И тут же сквозь кромешный мрак,

Сквозь серы смрад в ущелье душном

Бог утренний пришел послушно.

Красив, как ангел во плоти,

И воссиял среди светил {1}.

- В той части рукописи, которую я читал в подземелье еврея Адонии, сказал Монсада, продолжая свой рассказ, - нескольких листов не доставало, а на многих других написанное совершенно стерлось, и Адония никак не мог восполнить этот пробел. Из последующих страниц, которые можно было прочесть, явствовало, что Исидора оказалась недостаточно благоразумной и продолжала позволять таинственному посетителю приходить по ночам в сад и разговаривать с ней через окно; однако ей не удалось убедить его вступить в переговоры с ее семьей, а может быть, она знала, что обращение его не будет там встречено благосклонно. Таково, во всяком случае, было содержание следующих строк, которые я мог прочесть.

Эти свидания возвращали ее к прежней призрачной жизни. С утра до вечера она думала только о той минуте, когда снова должна будет его увидеть. Весь день она была молчалива, задумчива, равнодушна ко всему, поглощена одной-единственной мыслью, к вечеру же настроение ее заметно поднималось, как бывает с людьми, у которых есть какая-то тайна и скрытый от всех источник неизъяснимых наслаждений; душа ее стала походить на цветок, который распускается и начинает благоухать только с приближением ночи.

Само время года, казалось, покровительствовало этому роковому обману. Это было в разгаре знойного лета, когда только по вечерам можно бывает дышать, и напоенная ароматами сверкающая ночь становится для нас днем, а самый день проходит в томительной и беспокойной дремоте. Только к ночи Исидора оживала; только у своего освещенного лунным светом окна начинала она дышать полной грудью. И, должно быть, никогда еще лунные лучи не озаряли такого стройного стана, не золотили такого прелестного лица и не встречали ни в чьих глазах такого чистого и безмятежного света. В перекресте этих родственных друг другу лучей было что-

то похожее на общение духов, которые скользили по ним и, переходя от пламени далекой звезды к сиянию человеческих глаз, понимали, что и там и тут они обретают блаженный покой...

\* \* \* \* \*

Часами стояла она, прильнув к окну, пока ей не начинало казаться, что подстриженная и искусно прибранная зелень сада превращается в буйную и колыхающуюся листву деревьев на ее райском острове, что цветы в нем начинают пахнуть так же, как те дикие розы, которые некогда усыпали лепестками своими ее путь и по которым она ступала босыми ногами, что птицы поют так, как там, когда ее вечерняя, идущая от сердца песня сливалась с их замирающими хорами и становилась едва ли не самым проникновенным гимном, который когда-либо вместе с дуновением ветерка устремлялся к небу.

Но иллюзия эта длилась недолго. Суровое однообразие прямоугольных садовых гряд, где цветы и те располагались по некоему принуждению, угнетало ее своими правильными очертаниями, и она обратилась к богу, прося его облегчить ей душу. Кто же из людей не прибегает к этому даже тогда, когда впервые бывает охвачен любовью, мучительной и сладостной? Мы ведь тогда открываем богу тайну, которой никогда бы не доверили никому из смертных; а в тот ущербный час, который неминуемо наступает для всех, кто любит только земною любовью, мы опять-таки призываем небеса, которым мы однажды уже доверились, еще раз ниспослать светлого вестника, несущего нам утешение в тех несметных лучах, которые их ясные, холодные и ко всему равнодушные светила неизменно направляют на землю словно в насмешку над нею. Мы обращаемся к ним, но только слышат ли небеса нашу мольбу, отвечают ли они на нее? Мы плачем, но разве мы не чувствуем, что слезы наши подобны дождю, который проливается в море? *Mare infructuosum* {Море бесплодное {2} (лат.)}. Но не все ли равно. В "Откровении" сказано, что наступит время, когда все те просьбы, которые мы вправе обратиться к небесам, будут удовлетворены и когда "со всех очей будут отерты слезы" {3}. Однако Исидора не успела еще постичь завета небес, который гласит: "Пойдемте в дом скорби" {4}. Ночь все еще была для нее днем, а солнцем ее - "плывшая по небу светлая луна" {5}. Когда она взирала на нее, воспоминания о блаженном острове приливали к ее сердцу целым потоком, а вскоре вслед за тем появлялся и тот, кто воскрешал их и мечту превращал в действительность.

Он появлялся каждую ночь; ничто не могло помешать его приходу или заставить его уйти; она знала, сколь строги заведенные в доме порядки и как замкнуто живет ее семья, и поэтому ее не могло не удивлять, с какой легкостью Мельмот бросает вызов и тому и другому, каждый вечер беспрепятственно проникая к ним в сад, однако влияние ее прежней, похожей на сон романтической жизни было так велико, что постоянные появления его при обстоятельствах столь необычных никогда не наводили ее на мысль о том, как ему удастся преодолевать те трудности, которые простой смертный преодолеть бы не мог.

Действительно, было два странных обстоятельства, связанных с их свиданиями. Хоть оба они встретились в Испании спустя три года после того, как расстались на берегу острова в Индийском океане, ни один из них ни разу не спрашивал другого о том, как могла произойти столь неожиданная и необыкновенная встреча. Что касается Исидоры, то легко можно понять, почему она оказалась столь беспечной и не проявила в этом отношении ни малейшего любопытства. Прежняя жизнь ее была настолько сказочной и фантастической, что все невероятное сделалось для нее обычным, а обычное, напротив, невероятным. Чудеса были ее стихией, и очень может быть, что появление Мельмота в Испании даже меньше удивило ее, нежели первая встреча с ним на песчаном берегу пустынного острова. Что до Мельмота, то тут причина была совершенно иная, хоть привела она в сущности к тому же. Для него на свете не могло быть большего чуда, чем его собственная жизнь, а та легкость, с которой он переносился с одного конца земли на другой, смешиваясь с населявшими ее людьми и вместе с тем ощущая

свою отделенность от них, подобно усталому и равнодушному к представлению зрителю, который бродит вдоль рядов огромного партера, где он никого не знает, исключала для него всякую возможность удивляться, даже если бы он встретил Исидору где-нибудь на вершине Анд.

За месяц, в течение которого она молча соглашалась на то, чтобы он появлялся по ночам у нее под окном, отделенный от нее расстоянием, которое само по себе должно было бы исключить всякого рода подозрения даже у испанского ревнивца: балкон, на который выходило ее окно, поднимался футов на четырнадцать над садом, куда приходил Мельмот, - за этот месяц Исидора быстро, но незаметно прошла все степени чувства, какие неизбежно проходят те, кто любит, независимо от того, протекает ли их любовь гладко или встречает на своем пути преграды. Сначала Исидору одолевало желание говорить и слушать, слышать и быть услышанной. Ей хотелось рассказать обо всех удивительных событиях своей новой жизни; и, может быть, ею владела смутная и бескорыстная надежда возвысить себя в глазах любимого существа, та, что побуждает нас при первой же встрече выказывать все свое красноречие, все способности, все привлекательные стороны, какие у нас есть, причем отнюдь не с гордой заносчивостью соперника, а со смирением, какое бывает у жертвы.

Завоеванный город выставляет напоказ все свои богатства в надежде умиловать завоевателя. Он старается, чтобы вся эта роскошь его возвеличила; видя, как недавний враг его украсил себя трофеями, он гордится этим больше, чем гордился бы, будучи победителем сам. Это первая светлая пора - возбуждения, робости и боязни, но вместе с тем какой-то счастливой и полной надежд тревоги. Потом мы начинаем думать, что нам никак не удастся достаточно полно выказать наш талант, силу воображения, все, что может заинтересовать в нас и поразить. Мы гордимся тем уважением, с которым к нам относится общество, оттого что надеемся положить его к ногам предмета нашей любви; мы ощущаем чистую и, можно сказать, одухотворенную радость от всех расточаемых нам похвал, полагая, что они помогут нам заслужить похвалу существа, которое одарило нас благодатной любовью, - ведь она-то и есть вдохновительница всего, что мы совершили. Мы возвеличиваем себя для того, чтобы возратить это величие существу, которому мы обязаны им и для которого его берегли, и наша единственная цель - возратить этот долг с теми изрядными процентами, что нарастают у нас в сердце: мы ведь готовы отдать все, что у нас есть, даже если платеж этот обернет нас до последнего гроша, потребует его последнего биения, последней капельки нашей крови. Может быть, ни один святой, который смотрел на чудо, когда-либо сотворенное им, как на нечто свершившееся независимо от его собственной воли, не испытывал такого чистого и высокого \_самоотрешения\_, как девушка, которая в первые же часы любви приносит к ногам своего кумира пышный венок, куда вплетены и музыка, и живопись, и красноречие, и, затаив дыхание, ждет в единственной надежде, что роза ее любви не останется не замеченной среди всех остальных цветов.

О, какая же радость для такого существа (а именно такую была Исидора) на глазах у многолюдной толпы коснуться струн арфы и ждать, пока умолкнут шумные и грубые рукоплескания, чтобы услышать вырвавшийся из глубин сердца вздох того \_единственного\_, для которого играли - нет, не пальцы рук, а вся душа - и чей единственный вздох, и только он один, слышен среди восторженного гула несчетной толпы. Какая радость для нее сказать себе: "Я слышала, как он глубоко вздохнул, а он слышал, как мне рукоплескали!".

А когда девушка скользит в танце и с легкой и привычной грацией касается многих чужих рук, она чувствует, что есть только одна-единственная рука, чье прикосновение она всегда узнает; и ожидая этой волнующей, как сама жизнь, дрожи, она движется между танцующими, в холодном изяществе своем похожая на статую, - до тех пор, пока прикосновение Пигмалиона {6} не согреет ее, не оживит, - пока под рукою упорного ваятеля мрамор не превратится в плоть

и кровь. И в эту минуту каждый жест ее выдает необычные и не осознанные еще порывы дивного творения, которому любовь дала жизнь: оно обретает новое для него наслаждение, ощущая в себе жизненные силы, которые вдохнула в него самозабвенная страсть ваятеля. Когда же этот роскошный ларец открыт, когда взглядам собравшихся предстают искусно вышитые на ткани узоры, и кавалеры разглядывают их, а дамы сгорают от зависти, и все не могут оторвать от них глаз, и раздаётся громкая похвала, исходящая как раз от тех, кто меньше всего умеет взглядеться, кто не обладает достаточным вкусом и тонкостью понимания, - тогда-то взгляд искусницы незаметно ищет в толпе глаза, что одни могут все увидеть и оценить, глаза того, чье мнение для нее дороже, чем похвалы целого мира!

Вот на что надеялась Исидора. Даже на острове, где он впервые увидел ее, когда разум ее только еще пробуждался, она ощущала в себе присутствие неких высших сил, и сознание это приносило ей утешение, не вызывая, однако, в душе ни малейшей гордости. Она выросла в собственных глазах лишь по мере того, как росла ее беззаветная любовь. Любовь эта и составляла предмет ее гордости, а ее развившийся разум (ибо христианство даже в самой извращенной своей форме всегда развивает в человеке разум) вначале убеждал ее, что если гордый и необыкновенный пришелец увидит, как все вокруг восхищаются ее красотой, ее талантами и богатством, то он падет перед нею ниц или уж во всяком случае признает, как много значит все то, чего она достигла с таким трудом, после того как ее насильно приобщили к европейскому обществу.

Вот на что она надеялась во время первых его посещений; но, как все это ни было лестно для того, на кого направлялись ее усилия, простодушную девушку постигло, однако, разочарование. Для Мельмота "ничто не было ново под солнцем" {7}. Он знал больше, чем любой мужчина или любая женщина могли ему рассказать. Человеческие достоинства были в его глазах сущей безделицей, погремушкой, трескотня которой надоела ему, - и он отбрасывал ее прочь. Красота была для него цветком, на который он смотрел с презрением и прикасался к нему для того лишь, чтобы сгубить. Богатство и общественное положение он оценивал по достоинству, но взирал на них отнюдь не со спокойным презрением философа или высокой отрешенностью праведника, а с тем "зловещим предвкусением возмездия и суда" {8}, которых, по его глубокому убеждению, людям этим было не миновать; к исполнению этого приговора он, может быть, испытывал то же чувство, что и палачи, которые по приказанию Митридата расплавили золотые цепи и влили пышущий огнем металл в горло посланцу Рима {9}.

Снедаемый подобными чувствами и еще другими, рассказать о которых нет никакой возможности, Мельмот находил невыразимое облегчение от уже клокотавшего в нем вечного огня - в том, что он приобщался к ничем не запятнанной свежести и целомудрию, окружавшим сердце Иммали: для него ведь она и теперь оставалась прежнею Иммали. Она была для него оазисом в пустыне, источником, припадая к которому он забывал о своем пути по жгучим пескам и о тех жгучих песках, к которым этот путь должен его привести. Он сидел в тени смоковницы, не думая о черве, который подтачивал ее корень; может быть, бессмертный червь, который впился в его собственное сердце и неустанно подтачивал его и глодал, мог бы один заставить его забыть о том, как сам он терзал сердце девушки.

Не прошло и недели с начала их встречи, как Исидоре пришлось уже отказаться от иных из своих притязаний. Она оставила мысль о том, чтобы заинтересовать его собой или поразить, - эту тайную мечту, которая в каждом женском сердце, даже самом невинном, живет бок о бок с любовью. Отныне все надежды ее и мечты сходились не на честолюбивом притязании быть любимой, а на единственном желании любить самой. Она больше уже не намекала ни на то, как развивались в ней прежние способности или как появились новые, ни на то, как расширился ее кругозор и как изощрился вкус. Она вообще перестала говорить сама, ей хотелось только

сидеть и слушать; потом она уже перестала ловить смысл. его слов, ей захотелось вникать в него самого, может быть, больше вглядываясь, нежели вслушиваясь, а может быть, постигая его суть чувством, в котором зрение и слух сливаются воедино. Она видела его задолго до того, как он появлялся, и слышала тогда, когда он вообще не произносил ни единого слова. Они проводили вместе недолгие ночи, какие бывают летом в Испании; Исидора попеременно взирала то на похожую на солнце луну, то на своего таинственного возлюбленного, а он, не проронив ни слова, стоял, прислонившись к каменному столбу балкона или к стволу огромного мирта, который даже в ночную пору, к вящему удовольствию пришельца, прятал его в своей тени, не давая разглядеть зловещее выражение его лица; и оба они молчали до тех пор, пока не начинало светать и Исидора движением руки не давала понять, что приходится расставаться.

Так всегда бывает с глубоким чувством. Никакие слова уже не нужны тем, кто научился говорить друг с другом одним биением сердца, чей взор даже при рассеянном лунном свете более понятен другому, опущенному и скрытому в тени взору, чем иной внятный разговор среди бела дня, когда лица собеседников освещены ярким солнцем, - тем, для кого, преображая все земные привычки и чувства, мрак становится светом, а тишина обретает голос.

Во время их последних свиданий Исидора иногда, правда, что-то говорила, но всякий раз очень мягко и сдержанно, для того чтобы напомнить своему возлюбленному о том, что он обещал ей, что откроет свои намерения ее родителям и будет просить у них ее руки. Иногда она вскользь добавляла, что чувствует себя все хуже, что совсем пала духом, что сердце ее разрывается, и сетовала на то, что все очень уж надолго откладывается, что надежды ее никак не сбываются, что они вынуждены видеться втайне от всех; при этом она плакала, но скрывала от него, что плачет.

О господи! Это ведь действительно так: мы обречены (и обречены справедливо, если сердца наши устремляются к тому, что ниже нас) оставаться неприкаянными, - так голубь, воспаривший над бескрайним океаном, не может найти уголка земли, где сесть, и зеленого листика, чтобы унести его в своем клюве. О, да откроется таким душам ковчег милосердия и да примет он их из этого бурного мира, где разлился потоп и бушует гнев, с которыми им не под силу бороться, и где им не найти себе места для отдохновения!

Исидора достигла теперь последней ступени этого мучительного пути, по которому вел ее суровый и угрюмый спутник.

На первой из этих ступеней она с прощительным для нее девическим простодушием стремилась вызвать в нем интерес к вновь приобретенным ею талантам, не понимая, что для него в этом нет ничего интересного. Вся та гармония цивилизованного мира, которая одновременно и утомляла ее и являлась для нее предметом гордости, резала ему слух. Он успел изучить все струны этого любопытного, но плохо сделанного инструмента, и обнаружил, что все они фальшивят.

На второй ступени она удовлетворялась тем, что может его видеть. Его присутствие создавало вокруг нее особую атмосферу, ею одной она дышала. Когда наступал вечер, она говорила себе: "Сегодня я его увижу", и стоило ей произнести про себя эти слова, как вся тяжесть жизни спадала с ее сердца и ей сразу же легче дышалось. Принуждение, уныние, однообразие ее жизни - все рассеивалось, как облака при появлении солнца, вернее, как те облака, которые принимают такую великолепную и яркую окраску, что кажется, будто само счастье изобразило их своей кистью. Свечение это распространялось на все, что она видела, на все, что чувствовала. Мать ее больше уже не была в ее глазах холодной и нудной ханжой, и даже брат ее предстал в совсем другом свете, и ей начало казаться, что он, может быть, добр. Не было ни одного дерева в саду, листва которого не была бы озарена светом заходящего солнца, а в струившемся ветерке звучала мелодия, исходившая из ее собственного сердца.



Когда же она наконец видела его, когда она могла сказать себе: "Он пришел", ей казалось, что все счастье, какое только есть на земле, сосредоточено в этом единственном чувстве; во всяком случае, никакого другого счастья у нее быть не могло. Она больше не поддавалась желанию привлечь его к себе или подчинить; поглощенная его жизнью, она забывала о своей, упоенная собственным счастьем, она утратила желание или, вернее, гордость, - побуждавшее ее подарить это счастье другому. В разгаре охватившей ее сердце любви она бросила свою жизнь как жемчужину в кубок, поднятый во здравие своего возлюбленного, и без единого вздоха увидела, как жемчужина эта растворилась в вине. Теперь, правда, она начинала понимать, что сила ее чувства к нему, ее глубокая преданность заслуживали по меньшей мере благодарного признания со стороны предмета ее любви и что если он будет и дальше по непонятным причинам откладывать свое решение и обрекать ее на новые муки, то, может статься, признание это явится слишком поздно. Она высказала ему это, однако на все ее мольбы - а выражала их она только языком взглядов - он отвечал глубоким и тягостным молчанием или же остротами, неистовыми и жуткими, которые тревожили ее еще того больше.

Временами он, казалось, даже наносил оскорбление сердцу, которое победил, и притворялся, что сомневается в том, что овладел им, - с видом человека, который в душе упивается своей победой и который, издеваясь над своим пленником, спрашивает его, действительно ли он так крепко закован в цепи.

- Да ведь ты же меня не любишь, - говорил он, - ты же никак не можешь любить меня. В вашей счастливой христианской стране для того, чтобы появилась любовь, нужны тонкий вкус, соответствие привычек, счастливое единство целей, мыслей, чаяний и чувств, которые, выражаясь высоким языком еврейского поэта (вернее, пророка) {10}, "говорят и свидетельствуют друг другу; и хотя у них нет ни языка, ни наречия, некий голос слышен среди них". Как можно любить того, кто так отвратителен с виду, у кого такие странные привычки, такие дикие и необъяснимые чувства, того, чья жизнь, назначение которой непостижимо, полна ужасов и кто этих ужасов не боится? Нет, добавил он решительно и печально, - ты никак не можешь любить меня в тех обстоятельствах, в которых сейчас живешь. Когда-то могла, но то прошло. Теперь ты крещеная дочь католической церкви, ты принадлежишь цивилизованному обществу, у тебя есть родители, и семья твоя не захочет признать чужестранца. А раз так, то что же может у нас быть с тобой общего, Исидора? Или, как бы сказал твой отец Иосиф (если он настолько знает греческий язык),

? {Что есть между тобой и мной? (греч.).}

- Я любила тебя, - ответила девушка, и голос ее был так же чист, тверд и нежен, как тогда, когда она была единственной богиней своего сказочного, цветущего острова, - я любила тебя прежде, чем стала христианкой. Меня заставили изменить моей вере, но никто не может заставить меня изменить моему сердцу. Я люблю тебя и сейчас. Я буду твоей навеки! И на берегу пустынного острова, и за решеткой моей христианской тюрьмы я повторяю все те же слова. Что еще может сделать женщина, что может мужчина при всех прославленных преимуществах характера его и чувств (о которых я узнала только тогда, когда сделалась христианкой и стала жить в Европе)? Ты только оскорбляешь меня, когда начинаешь сомневаться в чувстве, в котором тебе не худо было бы разобраться пристальнее, потому что ты не испытывал его и не можешь его понять. Так скажи мне, \_что же такое любовь?\_ Может ли все твое красноречие, вся твоя софистика ответить на этот вопрос так же правдиво, как я? Если ты хочешь знать, что такое любовь, то пусть тебе ответит не язык мужчины, а сердце женщины.

- Что такое любовь? - повторил Мельмот, - ты это хочешь знать?

- Ты сомневаешься в том, что я тебя люблю, - продолжала Исидора, - так скажи же мне сам, что такое любовь.

- Ты задала мне задачу, - сказал Мельмот с невеселой усмешкой, которая столь сродни чувствам моим и образу мыслей, что, разумеется, я решу ее так, как никто другой. Любить, прелестная Исидора, означает жить в мире, который создает себе твое сердце и чьи формы и краски столь же ярки, сколь и иллюзорны и далеки от жизни. Для тех, кто любит, не существует ни дня, ни ночи, ни лета, ни зимы, ни общества, ни одиночества. В их упоительной, но призрачной жизни есть только два периода, которые в сердечном календаре обозначаются двумя словами: свидание и разлука. Это заменяет все различия, существующие в природе и обществе. В мире для них существует только один человек, и человек этот является для них одновременно и целым миром и его единственным обитателем. Они могут дышать только одним воздухом, тем, который напоен его присутствием, и свет его очей - то единственное солнце, в лучах которого они нежатся и которое озаряет их жизнь.

- Тогда, значит, я люблю, - подумала Исидора.

- Любить, - продолжал Мельмот, - означает жить в вечном противоречии: чувствовать, что разлука с любимым непереносима, и вместе с тем быть обреченным на то, что присутствие его становится едва ли не столь же мучительным. Когда его нет, тобой овладевают тысячи мыслей, и ты мечтаешь о том, как радостно будет встретить его и все ему рассказать, но встреча эта приходит - и ты вдруг ощущаешь невероятную и необъяснимую робость и бываешь не в состоянии ничего выразить словами. Красноречие, которое приходит к тому, кто расстается с любимым существом, обертывается при появлении его немотой; ты ждешь часа его возвращения, зари некоей новой жизни, а когда час этот настает, ты чувствуешь, как все те силы, которые он должен был в тебе пробудить, вдруг замирают. Ты становишься той статуей, которая встречает восход солнца, но не откликается на него звуками музыки {11}; ты ждешь его светлого взгляда, как путник в пустыне ждет первых лучей восходящего солнца; когда же оно изливает свои лучи на пробудившийся мир, то он слабеет от непереносимой силы этого слепящего света и уже, кажется, хочет, чтобы поскорее наступила ночь. Вот что такое любовь!

- Тогда, должно быть, я действительно люблю, - едва слышно сказала Исидора.

- Ты чувствуешь, - продолжал Мельмот, и голос его звучал все громче, что вся жизнь твоя поглощена его жизнью, что ты не ощущаешь ничего присутствия рядом, а только его присутствие, что тебя радуют только его радости, что страдать ты способна только тогда, когда страдает он, что ты существуешь на свете только потому, что существует он, и что у жизни твоей нет другой цели, кроме как быть посвященной ему, смирение же твое возрастает по мере того, как, посвящая себя ему, ты отрещаешься от себя. И чем ниже ты склоняешься перед своим идолом, тем менее ты кажешься себе достойной его, пока ты уже не принадлежишь ему безраздельно и не перестаешь быть собой. Ты чувствуешь тогда, что все прочие жертвы - ничто в сравнении с этой, и поэтому она должна заключать в себе их все. Женщина, которая любит, не должна уже больше вспоминать о своей собственной, привычной для нее жизни; она должна считать родителей своих, отечество, природу, общество, даже религию - ты дрожишь, Иммали! (я обмолвился, Исидора) - только крупницами ладана, который она бросает на алтарь своего сердца, чтобы он горел там и источал священный свой аромат.

- Значит, я люблю, - сказала Исидора; это было действительно страшное признание, она вся задрожала, и из глаз ее хлынули слезы, - я ведь позабыла обо всех узах родства, которыми, как мне говорили, я связана с людьми. Я позабыла о стране, где я, по их словам, родилась. Я откажусь, если это понадобится, от отца и матери, от моей отчизны, от всего, к чему я привыкла, - от мыслей, которым меня научили, от религии, которую я... Нет! Нет! О господи! Спаситель! - вскричала она, отойдя от окна и припадая к распятию. Никогда я не отрекнусь от тебя! Никогда! Ты не оставишь меня в смертный час! Ты не покинешь меня в часы испытаний! Ты и сейчас придешь мне на помощь!

При свете горевших у нее в комнате восковых свечей Мельмот увидел, как она стала на колени перед распятием. Он мог ощутить ее тревогу по тому, как вздымалась ее трепетная грудь; сложенные руки, казалось, молили господу помочь ей справиться с этим непокорным сердцем, которое никак не удавалось унять, а потом эти же руки сжимались крепче и, поднятые ввысь, просили у него прощения за то, что напрасно противились порывам чувства. Он увидел, с каким иступленным, но глубоким благоговением она припадала к распятию, и, увидев, содрогнулся. Самому ему никогда не случалось смотреть на этот символ: он тотчас же отводил глаза в сторону, но теперь он долго глядел на припавшую к нему фигуру девушки - и никак не мог от нее оторваться. Казалось, что в эти минуты дьявольское начало, управлявшее всей его жизнью, потеряло вдруг свою власть над ним и он просто любит ее красотой. Она была простерта на полу; пышные одежды ее ниспадали подобно покрову на неприкосновенной святыне; светлые волосы рассыпались по обнаженным плечам; руки были сложены в иступленной мольбе, взгляд был так чист, что позволял отождествить творение и творца; казалось, что перед вами не человеческое существо, а воплощение духа молитвы, что уста эти не могут ничем себя осквернить. Мельмот все это видел и, понимая, что ему никогда не достанется эта красота, отвернулся от нее в горечи и тоске, и лунный луч, озаривший его горевшие глаза, не увидел в них ни единой слезинки.

Если бы он еще немного помедлил, он, может быть, заметил бы перемену в выражении ее лица: если бы даже она ничего не пробудила у него в сердце, она польстила бы его гордости. Он мог бы заметить в ней ту глубокую и губительную поглощенность души, бесповоротно решившей проникнуть в тайны любви или религии и готовой отдаться сполна, то затаенное дыхание на краю пропасти, куда предстоит кинуть все влечения, все страсти и все силы души, то затаенное дыхание, когда чаши весов человеческого и божеского заколебались и мы колеблемся вместе с ними.

Прошло еще несколько минут, и Исидора поднялась с колен. Вид у нее был теперь более спокойный и отрешенный. Была в ней и та решимость, которую искреннее обращение к Вседержителю неизменно придает даже самому слабому из его созданий.

Вернувшись на свое прежнее место под окном, Мельмот какое-то время смотрел на нее со смешанным чувством сострадания и удивления; усилием воли он, однако, сумел подавить в себе и то и другое и нетерпеливо спросил:

- А какие ты можешь представить доказательства том любви, которую я тебе описал и которая одна заслуживает этого имени?

- Все те, - твердо ответила Исидора, - которые может представить самая любящая из смертных, - мое сердце и руку, мою решимость стать твоей и принять тайну, которая тебя окружает, и горе, которое меня ждет, и, если надо будет, последовать за тобой в изгнание, в пустыню, на край света!

Когда она говорила, глаза ее светились, лицо было озарено сиянием, и вся она, казалось, излучала такую высокую духовность, что становилась похожей на лучезарное видение, воплотившее в себе и целомудрие и страсть, как будто этим двум вечным соперницам удалось примирить свои притязания, договориться о границах своих владений и как будто они избрали именно ее, Исидору, тем храмом, в котором должен быть освящен их необычный союз. И действительно, враждующим этим началам никогда еще не было так хорошо вместе. Позабыв все свои прежние распри, они, казалось, решили никогда больше не расставаться.

Ее нежная фигура обрела какое-то особое величие; оно говорило о гордой чистоте, об уверенности, которую сильный дух придает слабому телу, о победе, одержанной безоружным, победе над победителем, когда тот начинает стыдиться своей славы и склоняет голову перед знаменами врага в ту минуту, когда осажденная крепость сдается. Она стояла как женщина,

движимая любовью, но не унизившая себя в этой любви, соединившая в себе нежность с великодушием, готовая поступиться ради любимого всем, кроме того, что в его глазах обесценивало бы этот драгоценнейший дар, готовая стать жертвой, но в то же время чувствуя, что достойна стать жрицей.

Мельмот смотрел на нее. Порыв великодушия и человечности забился у него в жилах, затрепетал в сердце. Он видел девушку во всей ее красоте самозабвенной, преданной, исполненной невинности, безраздельно любящей того, кому самой противоестественностью его бытия было не дано ответить на чувство смертного существа. Он отвернулся от нее и не заплакал; а если на глаза его, может быть, и набежали слезы, то он отер их так, как оттирает своей мохнатой лапой дьявол, завидев новую жертву, которую ему надлежит пытаться: раскаявшись в своем раскаянии, он спешит смыть позорящее его пятно сострадания, дабы снова сделаться палачом.

- Ну так что же, Исидора, ты так и не дашь мне доказательств твоей любви? Так я должен понять тебя?

- Требуй от меня, - ответила она, - любого доказательства, какое возможно для женщины; большее будет свыше человеческих сил, меньшее недостойно!

Как ни страшны были совершенные Мельмотом преступления, сердце его не было развращено чувственностью, и слова эти произвели на него настолько сильное впечатление, что он рванулся с места, посмотрел на девушку и воскликнул:

- Да, все это неоспоримо доказывает твою любовь! Теперь дело за мной, это я должен представить доказательство той любви, которую я описал, любви, которую только ты могла возбудить во мне, любви, на которую при более благоприятных обстоятельствах я мог бы... Впрочем, это не важно - я должен не заниматься сейчас разбором этого чувства, а представить доказательства.

Он протянул руку к окну, у которого она стояла.

- Так, значит, ты согласна соединить свою судьбу с моей? Ты действительно станешь моей и тебя не смутят ни покров тайны, ни горе? Ты последуешь за мной с суши на море и с моря на сушу, и лишишься покоя и крова, и согласишься носить на своем челе позорное клеймо и на своем имени проклятие? Ты действительно будешь моей, моей безраздельной, моей единственной Иммали?

- Да, буду, я этого хочу.

- Тогда, - ответил Мельмот, - получи сейчас же доказательство моей вечной признательности. Знай, что я больше тебя никогда не увижу! Помолвка наша расторгнута. Я покидаю тебя навеки!

С этими словами он исчез.

Глава XXII

Нет, мне не мил Парис. Мой муж Ромео {1}.

Шекспир

Исидора настолько уже привыкла к диким выкрикам и непонятым намекам ее таинственного возлюбленного, что его странные слова и внезапное исчезновение особенно ее не встревожили. И то и другое было, в общем-то, ничем не страшнее всего того, что ей не раз уже доводилось видеть. Она помнила, что после подобных вспышек ярости он появлялся снова и бывал довольно спокоен. В размышлении этом она находила для себя поддержку, равно как и в загадочной уверенности, присущей всем, кто по-настоящему любит, что никакая любовь немислима без страдания; впрочем, она уже и слышала из уст того, чьи слова были для нее непререкаемой истиной, что судьба обрекла ее на страдания, и, как видно, успела примириться с этим своим печальным предназначением. Поэтому исчезновение Мельмота меньше удивило ее,

нежели услышанное несколько часов спустя приглашение явиться к матери, которое было выражено примерно в таких словах:

- Сеньорита, ваша матушка просит вас прийти в комнату со шпалерами; она получила кое-какие известия и находит, что должна познакомить вас с ними.

Исидора была уже в какой-то степени подготовлена к этому необычайному известию той необычайно суматохой, которая вдруг поднялась в их благонамеренном и спокойном семействе. Она слышала шаги и голоса, но не ведала, что это означало, и не задумывалась над этим. Она считала, что мать собирается поговорить с ней по поводу каких-нибудь запутанных нравственных истин, которые отец Иосиф недостаточно ей разъяснил, после чего она, правда, преспокойно могла перейти к разговору о легкомысленной прическе, которую себе сделала одна из ее служанок, и о подозрительных звуках гитары, слышанных ею под окном у другой, а там перескочить на то, как откармливать каплунов и почему на ужин отцу Иосифу не приготовили так, как надо, яйца и вовсе не подали мускат. Вслед за всем этим она могла сокрушаться по поводу того, что часы в доме отстают от часов соседней церкви, куда она ходит молиться, и она вовремя не слышит их боя. И, наконец, - раздражаться по поводу всего на свете, начиная от выкармливания домашней птицы и приготовления тушеного мяса с овощами и кончая все возрастающими распрями между молинистами и янсенистами {2}, которые докатились уже и до Испании, и спора не на жизнь, а на смерть между доминиканцами и францисканцами касательно того, какую одежду положено надевать на умирающего грешника, чтобы более надежным образом обеспечить ему спасение души. Так вот, бегая между кухней и молельней, вознося молитвы святым, а вслед за тем ругая служанок, переходя от благочестия к гневу, донья Клара постоянно находила для себя и для слуг увлекательные занятия и всякий раз умела привести всех домочадцев в приятное возбуждение, в котором пребывала сама.

Исидора была убеждена, что и на этот раз ее ожидает нечто подобное, но, к изумлению своему, увидала, что донья Клара сидит за письменным столом и держит перед собой длинное, красивым почерком написанное письмо; вслед за тем девушка услышала обращенные к ней слова:

- Дочь моя, я послала за тобой, чтобы ты узнала то, что здесь написано. Строки эти доставят удовольствие и тебе, и мне, вот почему я хочу, чтобы ты села и послушала, а я тебе их прочту.

С этими словами донья Клара уселась в огромное кресло с высокой спинкой, частью которого она казалась сама: такой одеревеневшей была вся ее фигура, такими недвижимыми - черты лица, таким тусклым - взгляд.

Исидора отвесила низкий поклон и села на одну из подушек, которых в комнате было великое множество, а дуэнья, надев очки и водрузившись на другую подушку по правую руку доньи Клары, с трудом и то и дело запинаясь, стала читать письмо, только что полученное доньей Кларой от ее мужа, который высадился отнюдь не в Осуне {3}, а в одном из действительно существующих портовых городов Испании и теперь был уже на пути домой.

"Донья Клара,

Прошло уже около года с тех пор как я получил от вас письмо с сообщением о том, что нашла наша дочь, которая маленьким ребенком пропала вместе со своей нянькой у берегов Индии и которую мы считали погибшей. Разумеется, я ответил бы на ваше письмо раньше, если бы дела мои не помешали мне это сделать.

Я хочу, чтобы вы поняли, что меня радует не столько возвращение дочери, сколько то, что небеса вернули себе заблудшую душу, вырвав ее, так сказать, e faucibus Draconis - e profundis Barathri {Из пасти дракона, из глубин бездны (лат.).} - отец Иосиф лучше

разъяснит вашему разумению, что это означает.

Я убежден, что с помощью этого верного служителя господи и пресвятой церкви она сделалась теперь настоящей католичкой по всем пунктам, необходимым, абсолютным, сомнительным или непонятным, формальным, основным, главным, незначительным или обязательным, как подобает быть дочери старого христианина, каковым я (притом, что я не достоин этой чести) считаю себя и этим горжусь. Кроме того, я рассчитываю, что она окажется такой, какой полагается быть испанской девушке, - иначе говоря, украшенной всеми добродетелями, какие ей полагается иметь, и прежде всего скромностью и сдержанностью. Эти качества всегда были у вас, в чем я имел возможность убедиться, и я надеюсь, что вы постарались передать их ей - ведь, как вы знаете, в подобных случаях тот, кто получает, обогащается, а тот, кто отдает, не становится беднее.

Наконец, коль скоро всякая девушка должна быть вознаграждена за свои целомудрие и сдержанность, будучи соединена узами брака с достойным супругом, отец обязан позаботиться о том, чтобы найти для нее такового и последить, чтобы она не пропустила времени и не засиделась в невестах, что для нее было бы и невесело и неприятно, ибо люди стали бы думать, что ею пренебрегают мужчины. Поэтому, движимый отеческою заботой, я привезу с собою человека, который должен стать ее мужем, дон Грегорио Монтилью; о качествах его мне сейчас некогда распространяться, но я полагаю, что она примет его так, как полагается почтительной дочери, а вы - как послушной жене.

Франсиско де Альяга"

- Ну вот, дочь моя, ты выслушала письмо своего отца, - сказала донья Клара, словно собираясь начать долгую речь, - и, разумеется, молчишь теперь и ждешь, что я перечислю тебе все обязанности, относящиеся к тому состоянию, в которое ты вскоре вступишь. По мне, так их три: послушание, молчание и бережливость. А самая главная из них, которая включает в себя тринадцать пунктов, это...

- Господи Иисусе! - воскликнула в волнении дуэнья, - что это с сеньоритой, она так побледнела!

- Самое главное, - продолжала донья Клара, откашлявшись, приподняв одной рукой очки, а тремя пальцами другой указывая на огромный том с застежками, что лежал перед нею на пюпитре, - то было Житие святого Ксаверия {4}, - что касается упомянутых тринадцати пунктов, то запомни, что полезнее всего для тебя первые одиннадцать, два последних тебе изложит твой будущий муж. Итак, во-первых...

Тут раздался какой-то приглушенный звук, на который почтенная сеньора не обратила, однако, внимания, пока дуэнья вдруг не закричала:

- Пресвятая дева! Сеньорите стало худо.

Донья Клара опустила очки, посмотрела на дочь, которая упала с подушки и лежала теперь без признаков жизни на полу, и, немного помолчав, сказала:

- Ей в самом деле худо. Подымите ее. Позовите на помощь и облейте ее холодной водой или вынесите на свежий воздух. Боюсь, что у меня выпала закладка из книги, - пробормотала донья Клара, оставшись одна, - и все из-за этих глупых толков насчет любви и замужества. Благодарение богу, никогда в жизни я не любила! А что до замужества, то тут уж все складывалось, как угодно господу и родителям нашим.

Несчастную Исидору подняли с полу, вынесли на свежий воздух, который, должно быть, подействовал на ее все еще зависимую от стихий натуру так же, как вода действовала на *hombre pez* {Человека-рыбу {5} (исп.)}, о котором столько в то время в Барселоне ходило легенд, да ходит и по сей час.

Она пришла в себя. Послав свои извинения донье Кларе, она попросила служанок уйти, сказав, что хочет остаться одна. Одна! Вот слово, которое у влюбленных всегда имеет вполне определенное значение: они остаются в обществе того, чей образ неотступно стоит у них перед глазами и чей голос душа их слышит даже в те часы, когда он далеко.

Пережитое ею потрясение было пробным камнем для женского сердца, и Исидора, в которой сила страсти сочеталась с полным отсутствием рассудительности и жизненного опыта, которая была натурой решительной и умела владеть собой, но вместе с тем под влиянием обстоятельств сделалась и застенчивой и робкой и легко могла теперь лишиться присутствия духа, стала жертвой борьбы чувств, которая вначале даже угрожала ее рассудку.

Прежняя независимость и беспечность подчас вновь оживали в ее сердце и побуждали ее на дикие и отчаянные решения, именно такие, какие приходят большинству робких женщин в минуту крайней опасности и которые они бывают способны исполнить. К тому же новые для нее и навязанные ей привычки, строгость, с которой ей прививали эту фальшь, и торжественная сила религии, которую она совсем недавно узнала, но успела, однако, глубоко почувствовать, - все это побуждало ее отвергнуть всякую мысль о несогласии и сопротивлении как великий грех.

Прежние чувства ее не хотели мириться с новыми обязанностями, которые на нее возложили, и в сердце у нее шла страшная борьба: ей приходилось удерживаться на узенькой полоске земли, которую с обеих сторон захлестывали волны и которая становилась все уже и уже.

Это был ужасный для нее день. У нее нашлось достаточно времени, чтобы подумать; однако в глубине души она была убеждена, что никакие размышления помочь ей не могут, что решить за нее должны сами обстоятельства и что в ее положении никакая внутренняя сила не может противостоять силе физической.

Нет, должно быть, более тягостного занятия для души, чем обходить усталым и раздраженным шагом один и тот же круг мыслей и всякий раз склоняться к одним и тем же выводам, а потом возвращаться снова к знакомым местам, ускоряя шаг, но совсем уже выбившись из сил; уверенно отправлять в это путешествие все наши самые заветные дарования, радостно провожать уходящие в море суда, чтобы вскоре стать свидетелем того, как они терпят крушение, как, покалеченные бурей, они беспомощно носятся по волнам и как потом тонут.

Весь этот день она думала только о том, как найти выход из того положения, в которое она попала, а в глубине сердца чувствовала, что выхода нет; такое вот состояние, когда ощущаешь, что все силы, поднятые со дна души, не могут одолеть окружающую посредственность и тупость, на помощь которым приходят еще и обстоятельства, - такое состояние способно и погрузить в уныние и ожесточить; так чувствует себя узник из рыцарского романа, которого связали заколдованными нитями, крепкими, как алмаз.

Тому, кто по складу своей души более склонен наблюдать различные человеческие чувства, нежели переживать их вместе с другими, было бы небезынтересно проследить, как тревоге и всем мукам Исидоры противостояло холодное и спокойное благодушие ее матери, которая весь этот день с помощью отца Иосифа старательно составляла то, что Ювенал называет *verbosa et grandis epistola* {Многословное и длинное послание {6} (лат.)}, в ответ на послание своего супруга, и поразмыслить над тем, как два человеческих существа, казалось бы одинаково устроенные и назначение которых, по всей видимости, любить друг друга, могли почерпнуть из одного и того же источника воду сладостную и горькую.

Сославшись на то, что она все еще плохо себя чувствует, Исидора испросила у матери позволения не являться к ней в этот вечер. Наступила ночь; скрыв от глаз всю ту искусственность в вещах и в поступках людей, которые окружали девушку днем, ночная тьма в какой-то степени возвратила ее к ощущению прежней жизни, и в ней пробудилась былая независимость, в течение дня ни разу не напоминавшая о себе. Мельмот не появлялся, и от этого тревога ее сделалась еще острее. Ей начинало уже казаться, что он покинул ее навсегда, и сердце ее замирало при этой мысли.

Читателю романов может показаться невероятным, что девушка, обладавшая такой твердостью духа и так беззаветно любившая, как Исидора, могла испытывать тревогу или страх, попав в положение, вообще-то говоря, самое обычное для героини романа. Ей ведь надо всего-навсего воспротивиться докучливой назойливости и самовластию семьи и заявить о своем бесповоротном решении разделить участь своего таинственного возлюбленного, которого родные ее ни за что не захотят признать. Все это вполне правдоподобно и любопытно. Во все времена писались и читались романы, интерес которых проистекал от благородного и невероятного противодействия героини всем как человеческим, так и сверхчеловеческим силам. Но, должно быть, никто из тех, кто писал их или читал, не принимал никогда в расчет того множества мелких и чисто внешних обстоятельств, которые влияют на взаимоотношения человека с некоей стихийной силой, если и не большей, то во всяком случае значительно более действенной, чем высокие порывы души, которые так возвеличивают всегда героя и которые так редки в нашей повседневной жизни, где все остается заурядным и пошлым.

Исидора готова была умереть ради любимого существа. На костре или на эшафоте она бы призналась в своем чувстве и, погибнув мученической смертью, восторжествовала бы над своими врагами. Душа может собрать воедино свои силы, чтобы совершить некий подвиг, но она приходит в изнеможение от постоянно возобновляющихся и неустрашимых домашних ссор, от побед, одерживая которые, она в конечном счете оказывается в проигрыше, и от поражений, терпя которые, она бывает достойна награды за стойкость и вместе с тем всякий раз ощущает, что победа эта для нее - потеря. Нечеловеческое усилие иудейского силача, погубившее и его врагов и его самого {7}, было детской игрой в сравнении с его каждодневным тупым и нудным трудом.

Исидоре предстояло вести непрестанную тягостную борьбу закованной в кандалы силы с назойливой слабостью, борьбу, которая, по правде говоря, лишила бы добрую половину героинь романа и присутствия духа, и желания бороться с трудностями, что встретились на пути. Дом ее был для нее тюрьмой: у нее не было возможности, - а если бы эта возможность и представилась, она все равно никогда не воспользовалась бы ею, - добиться разрешения выйти хотя бы на минуту за двери этого дома или выйти без разрешения, но так, чтобы ее никто не заметил. Таким образом, не могло быть и речи ни о каком побеге; ведь если бы даже все двери дома были распахнуты перед ней настежь, она бы все равно чувствовала себя как птица, в первый раз вылетевшая из клетки и увидавшая, что вокруг нет ни единой веточки, на которую она дерзнула бы сесть. Вот что ей предстояло, даже если бы побег ее удался, дома же было и еще того хуже.

Суровый, холодный и категорический тон, которым было написано письмо отца, почти не оставлял ей надежды, что в нем она найдет друга. Против нее было все: слабая и вместе с тем деспотическая натура ее матери - воплощения посредственности; заносчивость и эгоизм Фернана; сильное влияние на семью склонного к непрерывным софизмам отца Иосифа, добродушие которого никак не вязалось с его властолюбием; ежедневные семейные сцены - этот уксус, который способен разъесть любую скалу; изо дня в день повторяющиеся и изнурительные нравоучения, брань, упреки, угрозы, которые ей приходилось выслушивать; долгие часы, что, убежав от всех, она проводила у себя в комнате одна, горько плача. Этой борьбы, которую



существо одинокому, твердо идущему к своей цели, но в общем-то слабому, приходится вести против тех, что его окружают и что поклялись навязать ему свою волю и добиться своего любой ценой; этого постоянного столкновения со злом, таким ничтожным в каждом отдельном своем проявлении, но таким огромным во всей совокупности для тех, кому приходится терпеть его не только каждый день, но и каждый час, - всего этого Исидоре было просто не выдержать: доведенная до беспредельного отчаяния, она плакала, чувствуя, что мужество ее уже не то, что было прежде, и она не знает, какие уступки ее заставят сделать, воспользовавшись тем, что она так ослабела.

- О, был бы он здесь, - в отчаянии вскричала она, заламывая руки, - о, был бы он здесь, чтобы направить меня, чтобы научить! Пусть он не будет моим возлюбленным, пусть он только даст мне совет.

Говорят, что некая сила всегда бывает настороже и стремится облегчить человеку осуществление тех его желаний, которые ведут к гибели: верно, так оно было и сейчас, ибо не успела она произнести эти слова, как тень Мельмота темным пятном обозначилась по дальней аллее сада; прошло несколько мгновений, и он уже стоял у нее под окном. Завидев его, она вскрикнула от радости и от страха, а он приложил палец к губам, призывая ее к молчанию, и прошептал:

- Я знаю все!

Исидора молчала. Она ведь хотела только сообщить ему о недавнем своем горе, а оно, оказывается, уже было ему известно. Поэтому она в немой тревоге стала ждать, что услышит от него какие-то слова утешения.

- Я все знаю! - продолжал Мельмот, - отец твой высадился в Испании; он везет с собой того, кто должен стать твоим мужем. Это твердое решение, принятое всей твоей семьей, которая при всей слабости своей очень упряма, и противиться ему бессмысленно; через две недели ты станешь невестой Монтильи.

- Я раньше стану невестой смерти, - сказала Исидора с величайшим спокойствием, в котором было что-то жуткое.

Услыхав эти слова, Мельмот подошел еще ближе к окну и еще пристальнее на нее посмотрел. Любая твердая и отчаянная решимость, любое чувство доведенного до крайности человека, любой его поступок звучали в унисон с могучими, хоть и расстроенными струнами его души. Он потребовал, чтобы она повторила эти слова, и она произнесла их еще раз - губы ее дрожали, но голос был так же тверд. Он подошел еще ближе и теперь не сводил с нее глаз; по ее словно выточенному из мрамора лицу, по недвижным чертам его, по глазам, в которых горел ровный мертвенный свет отчаяния, словно в светильнике, оставленном в склепе, по губам, которые были приоткрыты и будто окаменели, можно было подумать, что она не сознает сама того, что говорит, или же что слова эти вырываются из ее уст в невольном и безотчетном порыве: так она стояла, точно статуя, у своего окна; при лунном свете складки ее одежды казались изваянными из камня, а возбуждение, охватившее ее Душу, и бесповоротная решимость придавали такую же неподвижность чертам ее лица. Мельмот смутился; чувствовать страх он не мог. Он отошел немного назад, а потом, вернувшись, спросил:

- Так ты это решила, Исидора? И ты действительно решила...

- Умереть! - тем же твердым голосом ответила девушка.

Лицо ее сохраняло прежнее спокойное выражение, и, глядя на нее, можно было поверить, что она на самом деле способна совершить то, что задумала. И при виде этого нежного существа, в котором соединились вечные соперники, сила и слабость, красота и смерть, каждая жилка в Мельмоте затрепетала с неведомой до той поры силой.

- Так, значит, ты можешь, - сказал он, отворачиваясь от нее, нежно, но в то же время как

будто стыдясь этой нежности, - так, значит, ты можешь умереть ради того, ради кого ты не хочешь жить?

- Я сказала, что скорее умру, нежели стану женой Монтильи, - ответила Исидора. - Я ничего не знаю о смерти; правда, и о жизни я знаю не больше, но лучше пусть я погибну, чем нарушу свою клятву, сделавшись женой человека, полюбить которого я не смогу.

- Но почему же ты не сможешь его полюбить? - спросил Мельмот, играя сердцем, которое билось у него в руке, как жестокосердый мальчишка играет пойманной птичкой, привязав ее за ногу ниткой.

- Потому что любить я могу только одного. Ты был первым человеческим существом, которое я встретила, ты научил меня и говорить, и чувствовать. Твой образ неизменно стоит передо мной, все равно, здесь ты или нет, вижу я тебя во сне или наяву. Мне случалось видеть людей более красивых, слышать голоса более нежные, я могла встретить и более чуткое сердце, но ты - это первый неизгладимый образ, который запечатлелся в моей душе; черты его останутся во мне до тех пор, пока сама я не превращусь в горстку праха. Я полюбила тебя вовсе не за привлекательную наружность, не за ласковое обращение, не за приятные речи, словом, не за все то, за что, как говорят, любят женщины, - я полюбила тебя потому, что ты был для меня первым и единственным связующим звеном между миром людей и моим сердцем, существом, которое познакомило меня с удивительным инструментом, заключенным где-то внутри меня самой, который оставался нетронутым и неведомым мне; струны его до тех пор, пока они еще будут звучать, послушны одному тому, кто впервые исторг из них звуки, и никому другому; потому что образ твой связан в моем воображении со всем величием природы, потому что твой голос, когда я впервые его услышала, доносился до меня вместе с рокотом океана и музыкой звезд. И ныне еще его звучание воскрешает во мне неизъяснимую благословенную прелесть картин природы, среди которой я впервые его услышала, и ныне я внимаю ему, как изгнанник, который слышит музыку родных краев на далекой чужбине; потому что в образе этом для меня соединилось все - природа и чувство, воспоминание и надежда, и среди того света, которым была озарена моя прошлая жизнь, и того мрака, в который погрузилась нынешняя, есть только одно существо, чья подлинность и чья сила остаются, проходя сквозь свет и сквозь тень. Я похожа на путника, который проехал много стран и ищет в них только одного - солнца, которое все равно изливает свой свет, сияет ли оно ярко или затянато тучами. Я полюбила один раз - и навсегда!

И, задрожав при этих словах, она добавила с целомудрием и девической гордостью, которые всегда дополняют друг друга и чей союз означает для сердца и плен, и свободу от плена:

- Чувствами, которые я доверила тебе, можно злоупотребить, но охладить их никто не может.

- И это твои настоящие чувства? - спросил Мельмот, после долгого молчания, во время которого он то и дело срывался с места и принимался ходить взад и вперед, как человек, которого одолевают неотвязные и тягостные мысли.

- Настоящие! - воскликнула Исидора, и щеки ее зарделись вспыхнувшим вдруг румянцем. - Настоящие! Да разве я способна сказать что-то ненастоящее? Разве я могу так скоро позабыть мою прежнюю жизнь?

Мельмот поднял голову и еще раз на нее посмотрел.

- Если ты так решила, если чувства твои действительно таковы...

- Да, да!.. - воскликнула Исидора; отдернув протянутые к нему руки, она закрыла ими свои воспаленные глаза; он увидел, как меж тонкими пальцами проступили слезы.

- Тогда подумай о том, что тебя ожидает! - сказал Мельмот медленно и произнося каждое слово с трудом и как будто даже с известным сочувствием к своей жертве, - союз с человеком,

которого ты не можешь полюбить, или же непрестанная вражда, тягостное, изнурительное, можно сказать даже гибельное для тебя преследование твоей семьи! Подумай о днях, что...

- О не заставляй меня о них думать! - вскричала Исидора, в отчаянии заламывая руки, - скажи мне... скажи мне, что можно сделать, чтобы вырваться из этого плена!

- По правде говоря, - ответил Мельмот, нахмутив брови так, что на лбу его залегли глубокие складки и невозможно было определить, какое выражение преобладало в эту минуту на его сосредоточенном лице, была то ирония или глубокое искреннее чувство, - не вижу для тебя другого выхода, как стать моей женой.

- Стать твоей женой! - воскликнула Исидора, отходя от окна. - Стать твоей женой! - и она закрыла руками лицо. И в эту минуту, когда до ее заветной надежды, до той ниточки, на которой держалась вся ее жизнь, можно было уже дотянуться рукой, ей стало вдруг страшно к ней прикоснуться. Выйти за тебя замуж - да разве это возможно?

- Все возможно для тех, кто любит, - ответил Мельмот со своей сардонической усмешкой, которую теперь скрывала ночная мгла.

- И ты обвенчаешься со мной так, как того требует вера, которую я исповедую?

- Ну да! Эта или какая другая!

- О не говори такие странные вещи! Не говори мне "Ну да!" таким страшным голосом! Скажи, ты женишься на мне так, как подобает жениться на христианской девушке? Ты будешь меня любить так, как положено любить жену у христиан? Прежняя моя жизнь была как сон, но теперь я проснулась. Если я соединю свою судьбу с твоей, если я оставлю семью, родину, если...

- Если ты все это сделаешь, то что же ты потеряешь? Твоя семья терзает тебя и лишает тебя свободы, соотечественники твои будут кричать от радости, когда увидят тебя на костре, потому что у них есть подозрение, что ты еретичка, Исидора. А что касается остального...

- Господи! - вскричала несчастная жертва, заломив руки и устремляя взгляд ввысь, - господи, помоги мне, не дай мне погибнуть!

- Если я вынужден находиться здесь только для того, чтобы быть свидетелем твоего благочестия, - сказал Мельмот мрачно и сурово, - долго мне здесь быть не придется.

- Нет, ты не можешь оставить меня одну в эту тяжелую минуту бороться со страхом! Как же я смогу бежать отсюда, если даже...

- Тем же самым способом, каким я проникаю сквозь эти стены и ухожу отсюда, и меня никто не видит. Так сможешь бежать отсюда и ты. Если в тебе есть решимость, тебе это не будет стоить больших усилий, если есть любовь, то - вообще никаких. Говори, приходишь мне сюда завтра ночью в этот же час, чтобы помочь тебе обрести свободу и... - он хотел добавить "спасение", но голос его дрогнул.

- \_Завтра ночью\_, - после долгого молчания и едва внятно прошептала Исидора.

Она закрыла окно, и Мельмот тихо удалился.

tiemoikaisoi

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава XXIII

Коль не ответит лиходей,

Украдкой я кивну

И что-то втайне от людей

Тебе одной шепну.

x x x

Венчаются...

Шекспир {1}

Донья Клара, для которой писание писем было делом непривычным, трудным и важным,

весь следующий день провела, перечитывая и исправляя свой ответ на послание супруга. При этом она нашла нужным столько всего исправить, вставить, заменить, переделать, вычеркнуть и переиначить, что в конце концов эпистола ее сделалась очень похожей на работу, которой она все это время занималась, - подновление вышитой еще когда-то ее бабушкой шпалеры, которая должна была изображать встречу царя Соломона с царицей Савской {2}. Все, что она делала, не только не восстанавливало эту шпалеру в прежнем виде, а напротив, неимоверно ее портило. Однако донья Клара продолжала сей напрасный труд, подобно соотечественнику своему в кукольном спектакле Маэсе Педро {3}, продолжая расточать иглой настоящий дождь прямых и ответных ударов, боковых и встречных выпадов, пока шпалера не дошла до такого состояния, что на ней стало уже невозможно узнать ни одной фигуры. Поблекшее лицо Соломона было теперь украшено несуразной бородой из яркочерного шелка (отец Иосиф говорил, что ее следовало бы выдрать, потому что в таком виде царь этот мало чем отличался от Иуды), которая придавала ему сходство с раковиной моллюска. Туфелька царицы Савской превратилась в огромное копыто, а о сухонькой и бледной обладательнице его можно было по праву сказать: "Minima est pars sui" {Мала ее доля {4} (лат.)}. Собака, стоящая у ног восточного монарха, одетого на испанский манер и обутого в сапоги со шпорами, с помощью нескольких стежков черного и желтого шелка была превращена в тигра, и пасть с оскаленными клыками убедительно завершала эту метаморфозу. Попугай же, сидевший на плече у царицы, обретя зеленый с золотом шлейф, который невежды принимали за царскую мантию, преобразился в довольно пристойного павлина.

В переделанном виде послание доньи Клары так же мало походило на то, чем оно было вначале, как старательно подновленная ею шпалера не походила на первоначальное кропотливое творение ее бабушки. Однако и там и тут донья Клара, которая ни за что не хотела отступать перед трудностями, возвращалась по многу раз к одному и тому же месту, и безжалостная усидчивость сочеталась в ней с редкостным терпением и неукротимым упорством. Впрочем, и в своем окончательном виде письмо это все же достаточно ярко выражало личность его автора. Кое-какие отрывки из этого послания могут, пожалуй, развлечь нашего читателя, но вместе с тем он, как мы полагаем, будет благодарен нам за то, что мы не заставляем его читать упомянутое письмо с начала и до конца. Вот как выглядят выбранные места из этого письма.

\* \* \* \* \*

"Ваша дочь привязалась к своей религии, как к материнскому молоку, да иначе оно и быть не могло, ибо наше родовое дерево было посажено на истинно католическую почву и каждая его веточка именно на ней должна либо расцвести, либо погибнуть. Для новообращенной - а отец Иосиф хочет, чтобы я так ее называла, - дочь ваша - побег, подающий надежды, и можно только пожелать, чтобы побег этот расцвел в лоне пресвятой церкви; для язычницы же она так послушна, смиренна и в ней столько девической мягкости, что примерным поведением своим, скромностью и добродетелью она вполне удовлетворяет меня, и матери католических семейств не вызывают у меня ни малейшей зависти. Напротив, иногда я просто жалею их, видя даже в девушках, получивших самое лучшее воспитание, - проявления легкомыслия, неимоверного, бросающегося в глаза тщеславия и опрометчивого стремления как можно скорее выйти замуж. У дочери нашей ничего этого нет - ни в поведении ее, ни в мыслях. Говорит она мало, а раз так, то, значит, \_она не может и много думать\_: она не предается никаким легкомысленным мечтам о любви и поэтому вполне может составить ту партию, которую вы для

нее избрали.

\* \* \* \* \*

Дражайший супруг мой, я хочу, чтобы ты обратил внимание на одно обстоятельство и, узнав его, хранил в тайне как зеницу ока, - дочь наша повредилась умом; не вздумай только сказать об этом дону Монтилье, будь он даже прямым потомком самого Кампеадора {5} или Гонсало из Кордовы {6}. Умственное расстройство ее ни в какой степени не помешает ее замужеству и ничего в нем не изменит, ибо, да будет тебе известно, оно проявляет себя лишь по временам, и притом в такие часы, когда самый ревнивый мужчина и тот ничего не заметит, если ему кто-нибудь не скажет об этом заранее. Ей взбрывают на ум странные причуды; она, например, начинает утверждать, что еретики и язычники не будут прокляты навеки (да хранит нас от этого господь!), что совершенно очевидно проистекает от ее безумия, однако супруг ее, доведись ему все проведать, как истый католик сумеет справиться с ее недугом с помощью церкви и своей супружеской власти. Чтобы ты лучше мог узнать всю правду о том, о чем я сейчас с тяжелым сердцем тебе сообщаю, и все святые, и отец Иосиф (который не даст мне солгать, ибо он в некотором роде направляет мое перо) тому порукой, что дня за четыре до того, как нам уехать из Мадрида, когда мы с ней отправились в церковь, и, поднимаясь по лестнице, я собиралась подать милостыню нищей, что стояла закутанная в плащ и держала в руках обнаженного младенца, дабы возбудить этим в людях сострадание, дочь моя схватила меня за рукав и прошептала: "Матушка, не может быть, что это ее ребенок, посмотрите, сама она прикрыта, а он обнажен. Будь она действительно его матерью, она прежде всего прикрыла бы его, а не куталась бы сама". Оказалось, что так оно и было: впоследствии я узнала, что эта несчастная взяла ребенка у другой, еще более жалкой женщины, и милостыня, которую я подала, пошла в уплату за день найма; однако все это ни в коей мере не опровергает того, что дочь наша не в своем уме, ибо свидетельствует о том, что она не знает обычаев и нравов нищих в нашей стране, а равно, в известной степени, и о том, что она сомневается в пользе, приносимой подаванием, отрицать которую, как тебе известно, могут одни лишь еретики или безумцы. Есть еще и другие весьма прискорбные доказательства ее умственного расстройства, которые замечаются каждый день, однако, не желая изливать на твою голову столько чернил, - отец Иосиф хочет, чтобы я называла их словом *atramentum* {Чернила (лат.)}, - добавлю к этому всего несколько подробностей, чтобы вывести тебя из дремоты, в которую легко могло наподобие зелья повергнуть тебя мое навевающее сон послание".

- Ваше преподобие, - сказала донья Клара, поглядев на отца Иосифа, который диктовал ей эту строку, - дон Франсиско догадается, что последнюю строку писала не я: он слышал эти слова в одной из ваших проповедей. Позвольте мне рассказать еще про случай на балу: он неопровержимо показывает, что дочь моя повредилась умом.

- Добавляйте или сокращайте, соединяйте или разъединяйте, ради бога, делайте все, что вам заблагорассудится! - выпалил отец Иосиф, которого выводили из себя постоянные вычеркивания и вставки, вносящие путаницу в написанные под его диктовку строки. - Хоть в том, что

касается стиля, я и могу кое-чем похвастать, надо сказать, что во всей Испании нет ни одной курицы, которая скребла бы с таким усердием навозную кучу, как вы скребете бумагу! Только, ради бога, продолжайте! А если господу будет угодно послать к вашему супругу гонца, может быть он что-нибудь и сообщит о себе со следующей почтой, а то ведь нечего и думать, что вы когда-нибудь закончите это письмо.

Выслушав все эти воодушевляющие и лестные для нее речи, донья Клара принялась перечислять еще кое-какие заблуждения и странные поступки своей дочери, которые женщине этой, чей ум с самой минуты его пробуждения был стянут, сдавлен и покалечен тугими пеленками предрассудков, могли показаться проявлениями безумия. Приводя различные доказательства своей правоты, она припомнила, что Исидору в первый раз привели в христианский католический храм в страстной четверг, когда все огни в храме погашены, в глубоком мраке поется "Miserere" {"Помилуй" {7} (лат.)}, кающиеся истязают себя и вместо молитв со всех сторон слышны только стоны, так что можно подумать, что это язычники приносят жертву Молоху, и нет только зажженных огней; и что, пораженная ужасными воплями и окружившим ее мраком, Исидора спросила, что же здесь такое творится.

- Здесь молятся богу, - был ответ.

По окончании великого поста ее привезли на роскошный бал, где веселые фанданго сменялись нежными звуками сегидильи {8} и где удары кастаньет и брэнчанье гитар поочередно направляли легкие движения упоенно танцующих юношей и девушек и серебристые голоса красавиц, воспевавших любовь. Восхищенная всем, что она видела и слышала в этот вечер, - лицо ее то и дело испещрялось прелестными ямочками улыбок и все светилось, как обласканный лунными лучами ручеек, - она порывисто спросила:

- А эти люди разве не молятся богу?

- Что ты, дочь моя? - возмутилась, донья Клара, случайно услышавшая эти слова. - Это суетная и греховная игра, придуманная дьяволом для того, чтобы обманывать детей греха, ненавистная небу и всем святым и презираемая людьми благочестивыми.

- Значит, есть два бога, - сказала Исидора, вздохнув, - бог улыбок и счастья и бог стонов и крови. Как бы я хотела служить первому из них!

- Я сделаю все, чтобы ты служила второму, язычница и нечестивица! ответила донья Клара, после чего поспешно увезла ее домой, боясь, как бы слова ее не вызвали скандала. Все эти случаи, равно как и много им подобных, были хоть и с большим трудом, но все же включены в длинное послание доньи Клары, которое сложил и запечатал сам отец Иосиф (покаявшийся своим саном, что ему легче было бы изучить два десятка страниц Библии на разных языках, чем перечитать его еще раз) и которое было потом отправлено дону Франсиско.

Все повадки и все движения донна Франсиско были отмечены такой медлительностью, а его нелюбовь писать письма, за исключением деловых, иными словами, относящихся к торговле, которую он вел, была так хорошо известна, что донья Клара не на шутку встревожилась, когда вечером того дня, когда она наконец отправила свое письмо, она получила еще одно от своего супруга.

О том, что содержание второго письма оказалось достаточно необычным, можно судить уже по тому, что донья Клара и отец Иосиф просидели над ним почти всю ночь, совещаясь друг с другом и обуреваемые тревогой и страхом. Разговор их был настолько напряженным, что, как потом рассказывали, они не прервали его даже на те часы, когда хозяйке дома надлежало читать вечерние молитвы, и что монах даже не вспомнил о своем ужине. Все их искусственно созданные привычки, все вошедшие в обычай поблажки друг другу, вся лицемерная жизнь того и другой окунулись в самый настоящий неизбывный страх, который охватил их души и утвердил свою власть над обоими тем требовательнее и жесточе, чем дольше и упорнее они ему

противились. Страх этот до такой степени их подавил, что тщетными оказались все попытки их избавиться от него, беспомощными - советы, которые они давали друг другу, и бессмысленными - слова утешения, которыми они хотели друг друга подбодрить. Они читали и перечитывали это необычное письмо и после каждого раза все больше мрачнели их мысли, все более путанными становились слова и все более унылыми взгляды. Они то и дело устремляли их на листы бумаги, лежавшие на письменном столике черного дерева, а затем, вздрагивая, спрашивали друг у друга взглядами же, а порою словами: "Не кажется ли вам, что кто-то ходит по дому?".

В письме этом среди других сообщений, не интересных для нашего читателя, было и нечто весьма необычное, а именно:

"По пути из города, где я высадился на берег, в тот, откуда я сейчас вам пишу, мне привелось встретиться с неизвестными мне людьми, от которых я услышал вещи, имевшие прямое ко мне отношение (они не упоминали об этом, однако страх мой мне все разъяснил) - именно в том, что может особенно больно задеть и уязвить сердце христианина, у которого есть дочь. Об этом я расскажу вам, когда у нас будет больше времени. Все это очень страшные вещи, и мне, может быть, понадобится помощь какого-нибудь духовного лица, для того чтобы правильно их понять и постичь всю их глубину.

Однако я могу доверительно сообщить тебе, что, после того как я расстался с людьми, с которыми у меня был этот весьма странный разговор, содержание которого я никак не могу передать в письме, я вернулся к себе в комнату полный грустных и тягостных мыслей и, усевшись в кресло, погрузился в раздумье над томом, содержавшим легенды о душах умерших, которые, однако, ни в коей мере не противоречили учению святой католической церкви, иначе бы я одним пинком затолкал эту книгу в горевший передо мной в камине огонь и оплевал потом пепел. И вот под впечатлением то ли встречи с людьми, которых мне привелось в этот день увидеть (никто, кроме тебя, никогда не должен знать, о чем у нас был с ними разговор), то ли - книги, которую я читал, содержавшей кое-какие отрывки из Плиния, Артемидора и других {9} и переполненной историями, которые мне не следует сейчас повторять, но в которых, вообще-то говоря, шла речь об оживлении умерших и все рассказывалось в должном соответствии с нашим католическим представлением о христианских душах, пребывающих в чистилище, и обо всем, что сопутствует им там, - о цепях, о вечном огне, о том, как, говоря словами Плиния: "Apparebat eidolon senex, macie et senie confectus" {Появлялся призрак - то был старик костлявый и обагранный кровью {10} (лат.)}; то ли, наконец, от усталости после моего одинокого путешествия, или еще по какой-то неизвестной мне причине, но только, чувствуя, что голова у меня в этот вечер не такая, чтобы я мог предаваться общению с книгами или собственным мыслям, и что, хоть меня и клонит ко сну, лечь спать мне совсем не хочется, - состояние, которое мне не раз случалось испытывать, равно как и другим людям, - я вынул письма из ящика стола, куда я обыкновенно кладу их, и перечел то место, где вы описываете нашу дочь, какой она была тогда, когда ее нашли на этом проклятом языческом острове. И, уверяю тебя, описание это так глубоко

врезалось в сердце того, кому еще ни разу не случилось прижать к груди родное дитя, что, право же, ни один испанский художник не мог бы изобразить ее лучше, нежели ты.

И вот, стараясь представить себе эти синие глаза, упрямые локоны, которые не хотят слушаться своей новой госпожи - прически, и очертания ее тонкого стана и думая, что нежное существо это скоро окажется в моих объятиях и будет просить у своего христианского отца христианского же благословения, сидя в своем кресле, я задремал. И сны мои переплелись с тем, о чем я только что думал наяву: мне привиделось, что прелестное это существо, такое любящее, такое чистое, сидит возле меня и просит моего благословения. Наклонясь, чтобы благословить ее, я сполз со своего кресла и - проснулся. Я говорю "проснулся", потому что все, что за тем последовало, я видел настолько же ясно, как стол и стул в этой комнате и вообще любой предмет, которого я мог коснуться рукою. Напротив меня сидела неизвестная мне женщина; одета она была как испанка, только ноги ее были укрыты ниспадавшим до полу покрывалом. Сидела она недвижно, казалось, ожидая, что я первый заговорю с ней.

- Чего тебе надобно здесь? - спросил я, - и зачем ты здесь?

Незнакомка не подняла вуали, губы и руки ее были по-прежнему неподвижны. Голова моя была полна слышанным и прочитанным, и, осенив себя крестным знамением и произнеся молитвы, я встал и подошел совсем близко к сидевшей.

- Чего тебе надобно? - спросил я. - Зачем ты сюда явилась?

- Отца, - ответила неизвестная.

Она подняла вуаль, и глазам моим предстала дочь моя Исидора, точь-в-точь такой, какой ты описывала ее в твоих многочисленных письмах. Можешь себе представить, что я испытал! Я совсем обомлел, правду говоря, даже испугался, увидав ее величавую, но странную красоту. Смятение мое и тревога не только не улеглись, но, напротив, еще возросли, когда пришелица встала и, указывая на дверь, сквозь которую она сразу же вслед за тем прошла, с какой-то таинственной вкрадчивостью и поспешностью произнесла *in transitu* {На ходу (лат.).} слова, звучавшие примерно так:

- Спаси меня! Спаси меня! Не медли ни минуты, не то я погибла.

И клянусь тебе, жена, ни тогда, когда она сидела напротив меня, ни тогда, когда уходила, я не слышал ни шелеста ее платья, ни шума шагов, ни вдоха. Только когда она уже ушла, раздался такой звук, как будто по комнате пронесся порыв ветра, и ее вокруг окутал туман, который потом рассеялся: тогда я почувствовал, что глубоко вздохнул, так, как будто грудь моя освободилась вдруг от ужасной тяжести. Я потом просидел еще около часу, раздумывая над тем, что видел, и не зная, что же все это было - сон наяву или похожая на сон явь. Я обыкновенный смертный; мне свойственно чувство страха, и я могу заблуждаться, но вместе с тем я - христианин и католик и, как ты помнишь, всегда решительно осуждал все твои рассказы о духах и видениях, за исключением тех, что освящены авторитетом пресвятой



церкви и упоминаются в житиях ее мучеников и святых.

Видя, что все мои тягостные раздумья ни к чему не приводят и что им нет конца, я улегся в постель, где долго пролежал, ворочаясь с боку на бок и тщетно пытаюсь уснуть; под утро, едва только я забылся крепким сном, меня разбудил какой-то шум, как будто занавеска колыхалась от ветра. Я вскочил и, отдернув ее, огляделся вокруг.

Сквозь ставни в комнату пробивался дневной свет. Но все равно я не мог бы разглядеть окружающие меня предметы, если бы не горевшая на камине лампа, свет которой, хоть и довольно тусклый, позволял, однако, ясно все различить. И при этом свете я увидел возле двери фигуру, в которой взгляд мой, ставший еще зорче от страха, опознал ту, которая мне уже являлась.

- Слишком поздно, - жалостным голосом произнесла она, печально махнув рукой, и тут же исчезла.

Должен тебе признаться, что это второе посещение наполнило меня таким ужасом, что, не будучи уже в силах пошевелить ни рукой ни ногой, я замертво повалился на подушку. Помню только, что слышал, как часы пробили три".

Когда донья Клара и священник (десятый раз уже перечитывавшие письмо) снова дошли до этих слов, часы внизу пробили три.

- Странное совпадение, - сказал отец Иосиф.

- А вы находите, что это только совпадение, отец мой? - сказала донья Клара, бледнея.

- Не знаю, - ответил священник, - многие рассказывают вполне правдоподобные истории о том, как покровители наши, святые, предупреждали нас о грозившей опасности даже с помощью неодушевленных предметов. Только чего ради предупреждать нас, если мы не знаем, какой опасности нам надлежит бояться?

- Тсс! Тише! - прервала его донья Клара, - слышали вы сейчас шум?

- Ничего я не слышал, - ответил отец Иосиф, с некоторым волнением вслушиваясь в окружающую их тишину. - Ничего, - добавил он через некоторое время более спокойным и уверенным голосом, - а тот шум, что я \_действительно слышал\_ часа два назад, длился очень недолго и больше не возобновлялся.

- Что-то очень уж стали мигать свечи! - не унималась донья Клара, застывшими от страха стеклянными глазами глядя на пламя.

- Окна открыты, - ответил священник.

- Да, они открыты все время, пока мы здесь с вами сидим, - возразила донья Клара, - но вы посмотрите только, какой сквозняк! Он совсем задувает пламя! Святой боже! Свечи вспыхивают так, как будто вот-вот потухнут!

Поглядев на свечи, священник увидел, что она говорит правду, и в то же время заметил, что шпалера возле двери сильно заколыхалась.

- Где-то открыта еще одна дверь, - сказал он, поднимаясь с места.

- Но вы же не оставите меня здесь одну, отец мой, - сказала донья Клара; оцепенев от ужаса, она приросла к креслу и могла только устремить на него свой взгляд.

Отец Иосиф ничего не ответил. Он вышел в коридор, где его поразило необычное обстоятельство: дверь в комнату Исидоры была распахнута и видно было, как там горят свечи. Он тихо вошел туда и огляделся - в комнате никого не было. Он бросил взгляд на постель и увидел, что этой ночью на ней никто не лежал; она оставалась неразобранной и несмятой. Вслед за тем взгляд его обратился на окно: теперь он уже в страхе озирал все, что было в комнате. Он

подошел к нему - оно было открыто настежь, то самое окно, которое выходило в сад. Испуганный этим открытием, священник пронзительно вскрикнул. Крик этот донесся до слуха доньи Клары. Трепеща от страха и шатаясь, та попыталась пойти за ним, но была не в силах удержаться на ногах и в коридоре упала. Священник с трудом поднял ее и привел обратно. Несчастливая мать, когда ее в конце концов усадили в кресло, даже не заплакала. И только беззвучными бледными губами и застывшей рукою пыталась указать на опустевшую комнату дочери, словно прося, чтобы ее туда отвели.

- Слишком поздно, - сказал священник, помимо воли повторяя зловещие слова, приведенные в письме доня Франсиско.

#### Глава XXIV

Responde meum argumentum - nomen est nomen - ergo,  
quod tibi est nomen - responde argumentum \*.

{\* Отвечай на мой довод: имя есть имя - поэтому скажи, какое ты носишь имя; отвечай на мой довод (лат.).}

Бомонт и Флетчер. Остроумие во всеоружии {1}

На эту ночь и была назначена свадьба Исидоры и Мельмота. Девушка рано ушла к себе в комнату и сидела там у окна, начав дожидаться его прихода задолго еще до назначенного часа. Можно было подумать, что в такую страшную минуту, когда должна была решиться ее судьба, она будет сама не своя от волнения, что ее чуткая душа будет разрываться на части в этой борьбе с собой, однако все сложилось иначе. Когда душе, сильной от природы, но ослабевшей оттого, что ее все время держат в узде, приходится сделать резкий прыжок, чтобы обрести свободу, ей уже бывает некогда сообразовываться с препятствиями и в зависимости от этого рассчитывать свои силы или прикидывать расстояние, которое отделяет ее от цели; закованная в цепи, она думает лишь о самом прыжке, который должен принести ей свободу или же...

На протяжении тех долгих часов, когда Исидора ждала приближения своего таинственного жениха, одно только чувство владело ею - то был страх перед его приходом и тем, что должно за ним последовать. Так сидела она у своего окна, бледная, но исполненная решимости и по-прежнему веря обещанию Мельмота, что теми же средствами, которыми он пользуется, чтобы проникнуть к ней, он сумеет осуществить и ее побег, как бы надежно ни охранялись двери ее дома и как бы ни была бдительна вся прислуга.

Было около часу ночи (это было как раз тогда, когда отец Иосиф, дававший ее матери советы по поводу тревожного письма, о котором У нас уже была речь, услышал тот шум, о котором упоминалось в предыдущей главе), когда Мельмот появился в саду и в полной тишине перекинул Исидоре веревочную лестницу; он шепотом рассказал, как ее надо привязать, и помог своей возлюбленной сойти по ней вниз. Быстрыми шагами прошли они через сад, и Исидора, как ни были для нее новы овладевшие ею чувства и то положение, в котором она очутилась, не могла не выразить своего удивления по поводу той легкости, с какой они прошли сквозь крепко запертые и надежно охраняемые ворота.

Они очутились на открытом пространстве. Местность, которая окружала сейчас Исидору, казалась ей гораздо более дикой, нежели утопавший в цветах остров, где не ступала человеческая нога и где у нее не было врагов. Здесь же в каждом дуновении ветерка ей чудились грозные голоса, и, когда собственные шаги ее отдавались эхом, ей чудилось, что она слышит топот погони.

Ночь выдалась очень темной; такими в этих краях редко бывают летние ночи. Порывы ветра, то холодного, то напоенного зноем, говорили о том, что в воздухе происходят какие-то необычайные перемены. Есть что-то очень страшное, когда так вот среди летней ночи вдруг

повеет зимой. В холоде, во мраке, которые вдруг сменялись нестерпимым зноем, в бледных вспышках молнии, казалось, проявляло себя все то зло, которое приходило порознь в разные времена года, и это было некое печальное подобие жизни, где молодость не успевает насладиться бурным летом, а холодная зима не оставляет старости никаких надежд. Исидора до того чутко ощущала все, что творится в природе, что всякая перемена воспринималась ею как пророчество; так вот и в крошечной темноте этой полной тревог ночи она почуяла некое зловещее предзнаменование. Несколько раз она, дрожа, останавливалась в пути и устремляла на Мельмота взгляд, в котором были и сомнение, и страх, но было темно, и он, разумеется, не мог обратить на него внимание. Может быть, тому была еще и другая причина, но так или иначе Исидора почувствовала, что и силы, и присутствие духа ее оставляют. Она заметила, что ее уносит вперед с какой-то нечеловеческой быстротой; она с трудом переводила дыхание, ноги ее подкашивались, и у нее было такое чувство, что все это сон.

- Остановись! - вскричала она, едва переводя дух и совсем обессилив. Остановись! Куда ты меня уносишь?

- На твою свадьбу, - ответил Мельмот глухим и невнятным голосом, но сделался ли он таким от волнения или от быстроты, с какой они неслись, Исидора понять не могла.

Спустя несколько минут ей пришлось сказать ему, что она не в силах двигаться дальше; совершенно измученная, задыхаясь, она оперлась об его руку.

- Дай мне передохнуть, - до неузнаваемости изменившимся голосом взмолилась она.

Мельмот ничего не ответил. Он, однако, остановился и поддержал ее, если не с нежностью, то с видимым беспокойством.

Во время этой передышки она стала осматриваться и пыталась различить что-нибудь вокруг, однако это оказалось почти невозможным: все было окутано густым мраком, а все то, что ей удалось разглядеть, никак не могло рассеять ее тревоги. По-видимому, они продвигались по узенькой и крутой тропе, которая шла по берегу неглубокой речки, как можно было догадаться по резкому и прерывистому шуму, с которым вода пробивалась сквозь камни. По другую сторону тропы были какие-то низкорослые деревья, и качание ветвей на ветру, который теперь снова угрюмо что-то нашептывал их листве, казалось, не только мешало поверить, что все это происходит летнею ночью, но даже и вспомнить об этом. Все вокруг было непривычно и страшно для Исидоры, которая с тех пор, как ее поселили в загородном поместье, ни разу не переступала пределы сада и которая, даже если бы ей довелось их покинуть, все равно никакими путями не могла бы направиться туда, где была сейчас.

- Какая ужасная ночь, - сказала она почти что про себя. Потом она повторила те же слова уже громче, быть может надеясь, что спутник ее ободрит и успокоит.

Мельмот молчал. Не будучи в силах совладать с волнением и усталостью, она заплакала.

- Ты что, уже раскаиваешься в том, что сделала? - спросил Мельмот, странным образом подчеркивая слово "уже".

- Нет, любовь моя, нет! - ответила Исидора, утирая слезы. - Никогда в жизни я в этом не раскаюсь. Но в этом безлюдье, в этом мраке, в этой быстроте, в тишине есть что-то близкое к ужасу. Мне кажется, что я несусь с тобой по какому-то совершенно незнакомому краю. Разве это настоящий воздух и настоящее небо? Разве это настоящие деревья, а не какие-то призраки, что выросли из-под земли? Как глухо и как уныло завывает ветер! Он пронизывает меня насквозь даже в эту душную ночь! А деревья прячут в тень мою душу! Неужели же это брачная ночь? - воскликнула она, когда Мельмот, как видно, смущенный ее словами, пытался увлечь ее за собою дальше. - Ну похоже ли это на свадьбу? Ни отца, ни брата, чтобы меня поддержать! Ни матери, которая бы стояла рядом! Ни одного поцелуя от родных! Ни одного поздравления от друзей!

И охваченная страхом, который становился все неодолимее, она вдруг закричала:

- А где же тот священник, что благословит наш союз! Где та церковь, под сводом которой мы соединим наши судьбы?

Все это время Мельмот, заботливо держа свою невесту под руку, старался увлечь ее все дальше вперед.

- Тут неподалеку, - сказал он, - есть разрушенный монастырь, ты может быть, даже видела его из своего окна.

- Нет! Никогда я его не видела. Почему он разрушен?

- Не знаю, об этом ходили странные слухи. Говорили, что настоятель этого монастыря, или приор... словом, не знаю кто, занимался чтением таких книг, которые правила его ордена запрещали читать; говорят, что то были книги по магии. Вокруг этого, помнится, поднялся большой шум, поговаривали, что дело дошло до Инквизиции. Так или иначе все закончилось тем, что приор исчез; кто говорил, что он угодил в одну из тюрем Инквизиции, кто - что он оказался под еще более надежной охраной, - хотя как это могло быть, я не очень-то себе представляю, - а все монахи были переведены в другие общины, и здание опустело. Сначала его добивались другие общины, но ходившая о нем Дурная молва, как ни было смутно и несообразно все, что тогда говорили о нем, потом все же вселила в них страх; пораздумав, они отказались от своего намерения, и постепенно здание монастыря превратилось в развалины. Но и до сих пор еще в стенах этих сохранилось все, что в глазах верующих делает это место святым. Остались распятия и могильные плиты, и то тут, то там находишь какой-нибудь крест, поставленный на месте, где было совершено убийство, ибо развалины эти облюбовала теперь шайка разбойников, у которых по странному совпадению вкусы оказались такими же, как у монахов: так же, как прежние обитатели вели здесь прибыльную торговлю человеческими душами, платя за них золотом, ее ведут и нынешние с тою только разницей, что эти отдают за золото души.

При этих словах Мельмот почувствовал, что нежной руки, которую он сжимал, уже нет, и обнаружил, что жертва его, которая все это время и дрожала и боролась, \_вырвалась из его объятий\_.

- Но пусть от всего остались одни только развалины, - добавил он, неподалеку от этих мест живет отшельник, он-то и обвенчает нас в молельне с соблюдением всех обрядов твоей церкви. Он благословит нас обоих и по крайней мере один из нас вкусит блаженство.

- Прочь от меня! - вскричала Исидора, отталкивая его и стараясь стать как можно дальше от него; в эту минуту ее хрупкая фигура вновь обрела ту царственность, которою ее наделила природа и которая так дивно сочеталась с ее красотой в ту пору, когда она была единственной владычицей своего райского острова. - Прочь! - повторила она. - Не смей приближаться ко мне ни на шаг, не смей произносить больше ни слова, раньше, чем не скажешь, когда и где я должна с тобой обвенчаться и сделаться твоей законной женой! Я успела уже пережить много сомнений и страхов, подозрений, преследований, но...

- Выслушай меня, Исидора, - сказал Мельмот, испугавшись этой внезапной решимости.

- Нет, \_выслушай меня ты\_, - ответила девушка; робость ее сменилась мужеством, и привычным с детства ловким движением она вспрыгнула на скалу, нависавшую над каменистой тропой, и ухватилась за ствол ясеня, пробившегося сквозь расщелину в этой скале.

- Выслушай меня! Скорее ты вырвешь это вот дерево из его каменного ложа, чем оторвешь меня от его ствола! Скорее я разможу это тело о каменное ложе реки, что струится у меня под ногами, чем паду в твои объятия, если ты не поклянешься мне, что не готовишь мне бесчестья! Ради тебя я отказалась от всего, что по законам недавно обретенной мною веры священо! От всего, что сердце мое давным-давно еще призывало меня любить. Суди же по тому, чем я \_уже пожертвовала\_, о том, чем я \_могу еще пожертвовать впредь\_, и не сомневайся в том, что мне в тысячу раз желаннее смерть от собственных рук, чем от твоих!

- Клянусь всем, что для тебя свято! - закричал Мельмот, преисполняясь смирения и даже становясь перед ней на колени, - намерения мои так же чисты, как твоя душа! До жилища пустынника отсюда не будет и ста шагов. Идем туда и не роняй сейчас своим беспричинным и нелепым страхом представления о великодушии твоим и нежности, которое у меня сложилось и которое возвысило тебя в моих глазах не только над твоим полом, но и над всем человеческим родом. Если бы ты не была тем, что ты есть, и не была единственной, такую, как ни одна другая, ты бы никогда не сделалась невестой Мельмота. С кем, кроме тебя одной, мнил он когда-нибудь соединить свою мрачную и неисповедимую судьбу? Исидора, - добавил он еще более выразительно и властно, заметив, что она все еще колеблется и прижимается к дереву, Исидора, как все это малодушно, как недостойно тебя! Ты сейчас в моей власти, бесповоротно, безнадежно в моей власти. Нет таких человеческих глаз, которые могли бы меня увидеть, нет человеческой руки, которая могла бы тебе помочь. Передо мной ты беспомощна как ребенок. Этот темный поток ничего не расскажет о том, что случилось здесь и что замутило его чистые воды, а ветер, что воет сейчас вокруг тебя, никогда не донесет стонов твоих до слуха смертных! Ты в моей власти, но я не хочу употребить эту власть во зло. Вот моя рука, позволь мне отвести тебя под священные своды, где нас с тобой обвенчают по обычаям твоей страны. Неужели ты все еще будешь продолжать свое бесполезное сумасбродное упорство?

Пока он говорил, Исидора беспомощно оглядывала все, что ее окружало: все, казалось, подтверждало его доводы - она вздрогнула и - покорилась. Но когда они стали продолжать путь и снова воцарилось молчание, она не могла удержаться, чтобы не нарушить его и не высказать множества тревожных мыслей, которые ее угнетали.

- Ты вот говоришь, - сказала она умоляющим и покорным голосом, - о нашей пресвятой вере такими словами, которые повергают меня в дрожь, ты говоришь о ней как об обычае страны, о чем-то внешнем, случайном, привычном. А какую веру исповедуешь ты сам? В какую ты ходишь церковь? Какие святыя правила ты исполняешь?

- Я одинаково чту любую веру, одинаково уважаю обряды всех религий, сказал Мельмот; в эту минуту насмешливое легкомыслие напрасно старалось совладать с охватившим его вдруг безотчетным ужасом.

- Так, выходит, ты в самом деле веришь в то, что свято? - спросила Исидора. - Ты в самом деле веришь? - в волнении повторила она.

- Да, есть бог, в которого я верю, - ответил Мельмот голосом, от которого у нее похолодела в жилах кровь, - тебе приходилось слышать о тех, кто верует и трепещет: таков тот, кто говорит с тобой!

Исидора, однако, не настолько хорошо знала книгу, откуда были взяты эти слова, чтобы понять, на что он намекает {2}. Когда ее приобщали к религии, то чаще прибегали к молитвеннику, нежели к Библии; и хотя она продолжала свои расспросы и голос ее был по-прежнему встревожен и робок, слова, которых она не поняла, ничем не усугубили ее страха.

- Но ведь христианство же не только вера в бога, - продолжала она. Неужели ты веришь, что...

И тут она назвала имя настолько священное, и в словах ее была столько благоговейного трепета, что мы не решаемся произнести их на страницах столь легкомысленного рассказа {1\* Тут Монсада выразил свое удивление по поводу этих слов, ибо в них было больше христианства, нежели иудаизма, и странно было их видеть в рукописи, принадлежавшей перу еврея.}.

- Я во все это верю, я все это знаю, - ответил Мельмот сурово и как бы с неохотой соглашаясь в этом признаться. - Пусть я покажусь тебе нечестивцем и насмешником, но только среди всех мучеников христианской церкви, в былые времена погибавших на огне, нет никого, кто столько бы претерпел за веру свою и прославил ее так, как прославлю ее я и как претерплю

за нее в некий день - и до скончания века. Есть, правда, небольшая разница в наших свидетельствах в части их длительности. Те сгорали живыми за истины, которые они любили всего каких-нибудь несколько минут, а может быть, и того меньше. Иные умирали от удушья, прежде чем их достигало пламя, я же обречен подтвердить истинность Евангелия среди огней, что будут гореть вечно. Подумай только, невеста моя, с какой удивительной судьбой ты призвана соединить свою! Как истая христианка, ты, разумеется, придешь в восторг, увидав, как мужа твоего жгут на костре, дабы среди пылающих головней он доказывал приверженность свою вере. Сколь же благороднее станет эта жертва, если ей суждено будет длиться целую вечность!

Слов этих никто уже не слышал. Исидоре стало худо; ее похолодевшая рука все еще цеплялась за руку Мельмота, а сама она беспомощным, бесчувственным телом упала наземь. Мельмот выказал в эту минуту больше участия, чем можно было от него ожидать. Он освободил ее грудь от стянувшегося на ней плаща, попрыскал водой из речки ей на лицо и стал приподнимать ее так, чтобы токи воздуха могли ее освежить. Исидора пришла в себя; скорее всего, причиной ее обморока была усталость, а вовсе не страх. Как только ей стало лучше, недолговечная нежность ее спутника, должно быть, иссякла. Едва только она заговорила, как он принялся снова настаивать на продолжении пути, а когда она сделала слабую попытку исполнить его желание, он стал уверять ее, что силы ее полностью восстановились, а пройти им остается всего несколько десятков шагов. Исидора поплелась дальше. Тропа поднималась теперь по крутому склону холма; остались где-то позади и журчанье воды и шум деревьев, ветер стих, ночь была все такой же темной и непроглядной, а от наступившей тишины все стало казаться Исидоре еще более пустынным и безрадостным. Ей хотелось слышать хоть что-нибудь, кроме собственного дыхания, затрудненного и тяжелого, и кроме ставшего внятными биения сердца. Когда они спускались потом по противоположному склону холма, слева вдруг зажурчала где-то вода, но уже слабее и вскоре все стихло; однако и самый звук этот, который ей так вначале хотелось услышать снова, теперь, в ночной тишине, отзывался такой невероятной грустью, что ей хотелось, чтобы и он окончательно умолк.

Так для людей несчастных исполнение их болезненных желаний всегда становится источником разочарования и перемена, на которую они надеялись, хороша лишь тем, что побуждает стремиться к новой. Утром они говорят: "Скорее бы наступил вечер!". Настает вечер, и вот они снова недовольны: "Скорее бы наступило утро!". Но у Исидоры не было теперь времени разбираться в своих чувствах, что-то еще продолжало возбуждать в ней страх и, - как она могла догадаться по ускоренным шагам Мельмота, по тому, как он раздраженно и часто скидывал голову, - то же самое тревожило и его. Звуки, к которым они какое-то время прислушивались (ничего, однако, не говоря об этом друг другу), с каждой минутой становились все явственней. Это был топот человеческих ног, и, очевидно, это была погоня за ними: шаги становились все быстрее и перешли потом в стремительный бег. Мельмот внезапно остановился. Исидора в страхе повисла на его руке. Ни один из них не произнес ни слова, однако глаза Исидоры, невольно следившие за легким, но страшным движением его правой руки, увидели, что он указывает на какую-то фигуру, настолько темную, что вначале она казалась чем-то вроде ветки дерева, шевелившейся на ветру; потом она потонула во мраке, - можно было подумать, что неизвестное существо в это время спускалось с холма, - а потом появилась снова, уже приняв очертания человека, насколько окружающая тьма позволяла их различить. Теперь человек этот приближался, шаги становились все слышнее, очертания все четче. Тут Мельмот внезапно оставил Исидору; она пришла в такой ужас, что не смогла даже вымолвить ни слова, умолить его не покидать ее, и стояла одна; все тело ее колотилось так, что, казалось, вот-вот распадется на куски, а ноги онемели, как будто их приковали к месту. Что за это время произошло, она не

знала. Сквозь тьму она разглядела, что между двумя мужчинами завязалась борьба, которая, однако, длилась недолго, и в эти страшные минуты ей показалось, что она слышит голос их старого слуги, который был очень к ней привязан; голос этот звал ее; сначала это были обращенные к ней уговоры, мольба, потом - сдавленные, едва слышные крики о помощи: "Спасите! Спасите!". Потом она услышала шум; что-то тяжелое упало, как видно, в бурливший внизу поток. Раздался плеск, а за ним из воды - стон, и таким же стоном откликнулся на него темный пригорок; казалось, что это убийцы глухо перекликаются в ночи после того, как завершили свое кровавое дело, и все затихло. Исидора стояла недвижно, закрыв глаза судорожно сжатыми пальцами похолодевшей руки, до тех пор, пока не услышала обращенный к ней шопот.

- Бежим скорее, любовь моя! - проговорил Мельмот.

- Куда? - спросила Исидора, не понимая смысла сказанных им слов.

- К развалинам монастыря, любовь моя, к жилищу отшельника; он исповедует ту же веру, что и ты, и нас обвенчает.

- Но ведь за нами кто-то гнался! - вдруг стала вспоминать Исидора.

- Никто больше не будет гнаться.

- Но я же видела, там кто-то был...

- Ты больше его не увидишь.

- Я слышала, что-то тяжелое упало в воду, похоже, что то был человек.

- Это был камень; он упал с обрыва вниз; на несколько мгновений вода забурлила, вспенилась и вся побелела вокруг, но теперь она поглотила его и, должно быть, так довольна своей добычей, что больше не выпустит.

Она продолжала следовать за ним в молчании и ужасе, пока наконец Мельмот не указал ей на нечто бесформенное и черное, что во мраке ночи можно было принять и за скалу, и за кустарник, и даже за какое-то большое, неосвященное строение.

- Это и есть развалины, - прошептал он, - а рядом жилище отшельника, крепись, еще немного - и мы будем на месте.

Побуждаемая его словами, а еще больше смутным желанием положить конец этому пути среди теней и этому суеверному страху, не смущаясь даже тем, что в конце пути их, может быть, ожидает нечто еще более ужасное, Исидора напрягла все оставшиеся силы и с помощью Мельмота начала подниматься по склону, на котором некогда стоял монастырь. К вершине вела тропинка, но она была завалена камнями и переплетена узловатыми корнями деревьев, которые некогда укрывали само здание и давали тень.

По мере того как они приближались, невзирая на окружавший их мрак, очертания развалин стали обозначаться определеннее и резче, и сердце Исидоры уже не билось с такой тревогой, когда она увидела остатки башни и шпиля, большого восточного окна и кресты, которые еще можно было обнаружить на каждом выступе и каждом щипце и которые свидетельствовали о том, что религия торжествует среди горя и бедствий и что это действительно было место, предназначенное для служения богу. Узенькая тропа, которая, по-видимому, вилась вокруг здания, привела их к фасаду, выходявшему на большое кладбище. Мельмот указал ей на какое-то неясное черное пятно в глубине, сказав, что это и есть убежище отшельника, куда он и отправится сейчас, чтобы попросить живущего в нем старца, который в то же время является и священником, их обвенчать.

- А нельзя разве и мне пойти туда с тобой? - спросила Исидора, оглядывая могилы, с которыми ей предстояло разделить свое одиночество.

- Этого не допускают принесенные им обеты, - сказал Мельмот, - он не должен видеть женщин иначе, как за исполнением треб.

Сказав это, он поспешил уйти, а Исидора, опустившаяся на одну из могил, чтобы

передохнуть, завернулась в покрывало, как будто в складках его могла найти забытье. Однако очень скоро ей стало нечем дышать, и она откинула его. Но так как перед глазами у нее были одни только могильные плиты и кресты, да та темная кладбищенская растительность, чья неприветливая зелень со всех сторон пробивается среди камней, она снова накрылась им, вся дрожа от безотчетного страха.

Неожиданно до нее донесся какой-то слабый звук, похожий на легкий трепет ветра. Она подняла голову, но оказалось, что никакого ветра уже нет, и ночь безмятежно тиха. Однако тот же самый звук возобновился, как будто листва снова зашелестела, и когда она повернулась в направлении, откуда он шел, ей показалось, что неподалеку от нее какая-то человеческая фигура медленно пробирается вдоль кладбищенской ограды. И хоть она, по-видимому, не приближалась к ней (а скорее медленно шла кругом где-то вдалеке), Исидора, думая, что это мог быть Мельмот, поднялась и стала ждать, что он подойдет к ней; однако в это время неизвестный повернулся к ней и, словно выжидая чего-то, казалось, простер к ней руку и раз или два помахал ею, - но то ли он от чего-то предостерегал, то ли просто делал ей знак уйти, определить было невозможно; потом он так же медленно прошел дальше и минуту спустя скрылся среди развалин. У нее даже не было времени подумать, что это за странное существо: Мельмот был уже рядом и снова принялся ее торопить. По его словам, там, у самых стен монастыря, была часовня, которая не так разрушена, как другие, где отправлялись церковные службы и куда священник обещал тотчас же прийти.

- Он уже опередил нас, - сказала Исидора, имея в виду замеченную ею фигуру, - по-моему, я его видела.

- Видела кого? - порывисто спросил Мельмот и стоял не шелохнувшись, ожидая, пока она ответит.

- Видела какую-то фигуру, - в страхе сказала Исидора, - мне показалось, что она прошла в сторону развалин.

- Ты ошиблась, - сказал Мельмот, а минуту спустя добавил: - Нам следовало бы прийти туда раньше него.

И он стал еще больше спешить, увлекая за собой Исидору. Но вдруг, внезапно замедлив шаг, он сдавленным и невнятным голосом спросил, не случалось ли ей когда-нибудь слышать музыку перед его появлением, не раздавались ли в это время в воздухе какие-то звуки.

- Никогда, - был ответ.

- Ты уверена?

- Да, совершенно уверена.

В эту минуту они поднимались по обломанным и неровным ступенькам, которые вели к часовне, они уже миновали темный, увитый плющом свод, вошли туда; Исидора даже и в темноте разглядела, что стены ее кое-где обвалились и что все имеет заброшенный вид.

- Он еще не пришел, - сказал Мельмот в волнении. - Подожди здесь одну минуту.

Исидора до такой степени ослабела от страха, что не только не могла противиться ему, но даже была не в силах что-либо сказать; да она и не пыталась его удержать; у нее было такое чувство, что это все равно не удастся. Оставшись одна, она стала осматривать внутренность часовни; в эту минуту слабый и расплывчатый свет лунного луча прорвался сквозь густые тучи и озарил все вокруг. Взгляд ее упал на узорчатое окно - оно было разбито; грязные, помутневшие осколки стекла были разбросаны кое-где между каменными столбами. Осколки эти, так же как и сами столбы, покрылись уже мхом и были увиты плющом. Она увидела остатки алтаря и распятия; казалось, что то и другое было сотворено в незапамятные времена грубой неумелой рукой. Стоял там также и мраморный сосуд, очевидно предназначавшийся для святой воды, который, однако, был пуст, а рядом - каменная скамья, на которую опустилась Исидора: от



усталости она не чувствовала под собой ног, но ей не приходилось надеяться, что ей дадут отдохнуть. Раз или два она заглянула в окно, сквозь которое в помещение падали лунные лучи, и всем существом ощутила свою прежнюю жизнь, где подругами ее были стихии и небесные светила, сиявшие своей торжественной красотой, и где ей некогда казалось, что месяц - ее родной брат, а звезды - сестры. Она по-прежнему смотрела на окно, словно упиваясь светящимся небом и черпая из струившихся лучей некую высшую правду и силу, пока все та же фигура медленными шагами не прошла снова перед каменными столбами и ей вдруг не открылось ее лицо: она узнала своего старого слугу, ошибиться она не могла. Ей показалось, что он очень внимательно на нее смотрит; во взгляде его она прочла сострадание; потом фигура медленно удалилась, и Исидора услышала в воздухе слабый жалобный крик.

В эту минуту луна, лившая в часовню свой слабый свет, скрылась за тучей, и все погрузилось в такую глубокую тьму, что Исидора даже не заметила, как пришел Мельмот, пока он не взял ее за руку и не прошептал:

Он пришел: он нас сейчас обвенчает.

Все эти приготовления длились так долго и были так ужасны, что довели ее до полного изнеможения, и она уже не в силах была произнести ни слова. Она оперлась на руку, которую ощутила возле себя, но это было отнюдь не знаком доверия к нему, ей просто трудно было устоять на ногах. Место, время, окружающие предметы - все было окутано мраком. Она услышала какой-то шорох, словно кто-то вошел; ей хотелось вникнуть в доносившиеся до нее слова, но смысл их от нее ускользал; она пыталась что-то сказать сама, но не понимала, что говорит. Все было в тумане, во мгле, - она не могла разобрать доносившегося до нее бормотанья, она не почувствовала руки Мельмота, но зато ясно ощутила чью-то соединившую их руку - и та была холодна, как рука смерти.

Глава XXV

\* Гомер

{\* Души, призраки умерших, никак не дают подойти мне {1} (греч.)}

Нам придется теперь вернуться немного назад, к той ночи, когда Франсиско де Альяге, отцу Исидоры, по его словам, "привелось" очутиться среди людей, встреча с которыми произвела на него столь удивительное впечатление.

Он возвращался, занятый мыслями о своем богатстве, преисполненный уверенности, что теперь он совершенно недосыгаем для тех зол, которые отравляют нам жизнь, и может совершенно не считаться с внешними обстоятельствами, от которых подчас зависит наше благополучие. Он чувствовал себя как человек, упоенный всем, чем он владеет {2}, и наряду с этим испытывал безмятежную удовлетворенность от сознания, что дома его ждет семья, которая обязана ему своим благосостоянием и высоко его за это чтит; воображение его уже рисовало ему, как он будет проходить по дому среди низко кланяющихся слуг и почтительных родичей тем же самым размеренным шагом, каким он проходил по рынку среди богатых купцов, причем самые состоятельные из них кланялись, когда он появлялся среди них, а после того, как он проходил, шепотом говорили друг другу: "Это богатей Альяга".

Таковы мысли и чувства большинства людей, достигших благоденствия; тут налицо и законная гордость тем положением, которого им удалось достичь, и преувеличенное мнение о своем праве на знаки уважения со стороны общества (которое, однако, обманывает их ожидания и встречает их презрением), и, наконец, твердая уверенность в незыблемости уважения и любви семьи, которую они обогатили, с лихвой вознаградив ее за то пренебрежение, которому она, возможно, подвергалась тогда, когда окружающие не знали о ее богатстве и не успели узнать о том высоком положении, которое она приобрела, а если даже и узнали, то не успели еще оценить. Вот с какими мыслями и чувствами дон Франсиско возвращался домой.

На постоялом дворе, где ему пришлось остановиться на ночлег, обстановка оказалась настолько убогой, а в низких, тесных и плохо проветренных комнатах в этот знойный день было до того душно, что он решил, что будет ужинать на свежем воздухе на каменной скамье, стоявшей возле самых дверей. Нельзя, однако, сказать, что он, подобно Дон Кихоту, воображал {3}, что его угощали форелью и белым хлебом, и еще меньше - что прислуживали ему девушки благородного происхождения; все было совсем иначе: дону Франсиско был подан крайне скудный обед с довольно скверным вином, и он ел и пил, прекрасно понимая, сколь посредственны и то, и другое, как вдруг увидел неподалеку всадника, который придержал поводья и, казалось, собирался остановиться там на ночлег. У дона Франсиско было слишком мало времени, дабы присмотреться к лицу и обличию этого человека, чтобы потом при случае он его мог узнать; да, кстати сказать, во внешности его и не было ничего сколько-нибудь примечательного. Незнакомец подозвал к себе знаками хозяина, и тот подошел к нему, но как-то очень медленно и с неохотой, и на его просьбы ответил, должно быть, решительным отказом, а когда всадник ускакал прочь, вернулся, то и дело крестясь: на лице его были написаны осуждение и страх.

Во всем этом было нечто большее, нежели привычная грубость угрюмого испанского трактирщика. Всадник возбудил любопытство дона Франсиско, и он осведомился у трактирщика, не просил ли незнакомец приютить его на ночь, так как по всему было видно, что разыграется буря.

- Не знаю уж, о чем он просил, - ответил тот, - знаю только, что, если бы мне даже предложили все богатства Толедо, я бы и часу не потерпел его под этой крышей. Да и что такому буря, он сам ее поднять может.

Дон Франсиско стал спрашивать, чт\_о\_ заставляет его говорить об этом человеке с таким отвращением и ужасом, однако трактирщик в ответ только покачал головой и не сказал ни слова: должно быть, он чего-то боялся; так тот, кто обведен колдовским кругом, не решается преступить роковую черту, опасаясь, что может стать добычей злых духов, которые только и ждут, чтобы отплатить ему за его дерзость.

Наконец после того, как дон Франсиско несколько раз повторил свой вопрос, он пробурчал:  
- Ваша честь, верно, никогда не бывала в этой части Испании, коли вы ничего не слышали о Мельмоте Скитальце?

- В первый раз слышу это имя, - ответил дон Франсиско, - и заклинаю тебя, друг мой, рассказать мне все, что ты знаешь об этом человеке, в котором, насколько явствует из тою, как ты о нем говоришь, есть что-то необычайное.

- Сеньор, - ответил трактирщик, - начни я пересказывать все, что о нем толкуют, так мне сегодня до утра глаз не сомкнуть, а коли уснешь, такое привидится, что, право, лучше уж совсем не ложиться. Но вот есть тут у меня сейчас один постоялец, от которого вы все в точности узнаете. Господин этот как раз собирает то, что рассказывают об этой личности, и хочет все издать, только никак не добьется, чтобы власти разрешили ему напечатать: наше мудрое правительство считает, что католику такие вещи читать не положено, а равно не положено и вообще распространять их среди христиан.

В то время как трактирщик говорил, а голос его и выражение лица не оставляли никаких сомнений насчет того, что сам он твердо во всем этом убежден, господин, о котором шла речь, стоял тут же рядом. Он, должно быть, слышал их разговор и не прочь был его продолжить. Это был серьезный и спокойный мужчина, который не давал ни малейшего повода заподозрить себя в склонности к обману или мистификации, и дон Франсиско, человек уравновешенный, отнюдь не легковерный и весьма осторожный, как и вообще все испанцы, а тем более испанские купцы, по всей видимости, проникся к нему доверием, хоть внешне ничем не дал это почувствовать.

- Сеньор, - обратился к нему незнакомец, - хозяин мой сказал вам сущую правду. Всадник, который, как вы видели, проехал недавно мимо, - одно из тех существ, тайну которых люди напрасно стараются разгадать: о жизни его складываются невероятные легенды, которым нет конца, однако записям этим суждено истлеть в библиотеках их собирателей и вызывать к себе недоверие и презрение даже со стороны тех, кто тратит большие деньги на собирание коллекций и, однако, настолько неблагодарен, что не придает должного значения тем записям, которых у него нет, забывая, что ценность подобных собраний определяется их полнотой. Но что бы там ни было, я все же не знаю другого такого случая, чтобы о лице, которое еще живо и, как видно, во всех отношениях остается человеком из плоти и крови, слагались предания как о некоем историческом персонаже. И сейчас еще пытливые и любознательные собиратели располагают кое-какими рассказами об удивительных обстоятельствах жизни этого существа, да и мне лично удалось проведать факты, которые занимают среди них далеко не последнее место. Две главные причины, обусловившие то, что похождения его столь многочисленны и вместе с тем сходны между собой, - это невероятная продолжительность его жизни и легкость, с какою он, как то не раз уже замечалось, способен переноситься из страны в страну, где сам он знает всех, а его не знает никто.

Незнакомец замолчал. Стемнело; упало несколько капель дождя, больших и тяжелых.

- Похоже, что ночью быть буре, - сказал незнакомец, с тревогой оглядывая местность, - лучше всего в такую погоду сидеть в помещении, и если у вас, сеньор, нет сейчас никаких других дел, то мне хотелось бы потратить несколько часов этой неприятной ночи на то, чтобы рассказать вам кое-какие обстоятельства, касающиеся Скитальца, которые мне удалось узнать.

Дон Франсиско охотно принял его предложение как из любопытства, так и из истекающей от одиночества скуки, которая нигде не бывает такой невыносимой, как в харчевнях, - особенно в непогоду. Ехавший с ним дон Монтилья вынужден был покинуть его и проведать своего престарелого отца, чтобы встретиться с Альягой уже неподалеку от Мадрида. Поэтому дон Франсиско велел слугам показать ему отведенную для него комнату и, расположившись там, любезно пригласил туда своего нового знакомца.

Представьте себе теперь внутренность убогой каморки в верхнем этаже испанской харчевни, которая, несмотря на весь свой мрачный и непритязательный вид, отличается все же известной живописностью, что весьма подходит для места, где начнется рассказ об удивительных и чудесных событиях. В окружающей обстановке нет и тени роскоши или изощренности, которые бы услаждали чувства или возбуждали внимание и которые бы помогли слушателю стряхнуть с себя колдовские чары, приковавшие его к миру ужасов, и вернуться к спокойной действительности и удобствам обыденной жизни, подобно тому как человек, которому снится, что его вздергивают на дыбу, просыпается вдруг в пуховой постели. Стены были голы, потолок заменяли стропила крыши, а вся обстановка состояла из стола, за которым и сидели дон Франсиско и его гость, первый - в огромном кресле с высокой спинкой, а второй - почти в ногах у него на низенькой табуретке. На столе был светильник, который непрерывно мигал от порывов ветра, сотрясавшего дверь и врывавшегося внутрь множество щелей, свет его падал то на дрожащие губы чтеца, то на лицо слушателя, становившееся все бледнее по мере того, как он наклонялся, чтобы уловить слова, которые к концу каждой страницы звучали все более прерывисто и глухо. Казалось, было какое-то зловещее соответствие между завываниями бури, которые становились все сильнее, и чувствами слушателя. Буря эта надвигалась без всякой ярости и неистовства, а с каким-то угрюмым, долго сдерживаемым гневом, отступая вдруг к самому краю горизонта, а потом возвращаясь и раскатами своими потрясая крышу дома. И в рассказе, который продолжал читать незнакомец, каждая пауза, вызванная либо волнением, либо просто усталостью, соответственно заполнялась глухим шумом

ливня, гулом ветра и по временам - слабыми и далекими, но продолжительными раскатами грома.

- Будто бесы ворчат и сердятся на то, что их тайны раскрыты, - сказал незнакомец, отрывая глаза от рукописи.

Глава XXVI

\* \* \*

...На палубе их двое;

\* \* \*

Идет игра: Моя взяла,

Кричит одна, - и мой он!

Колридж.

Песнь о старом моряке {1}

ПОВЕСТЬ О СЕМЬЕ ГУСМАНА

- То, о чем я собираюсь прочесть вам, - сказал незнакомец, - я отчасти видел собственными глазами; достоверно и все остальное, насколько вообще могут быть достоверными свидетельства людей.

В городе Севилье, где я прожил много лет, я знал одного богатого купца, который был уже в летах и которого называли Гусман-богачей. Происходил он из совершенно безвестной семьи, и те, кто отдавали должное его богатству, ибо им приходилось брать у него деньги взаймы, никогда не величали его и им не пришло бы в голову предварять его имя титулом "дон" или добавлять к нему родовое прозвище, которого никто из них не знал, да, говорят, не знал и сам Гусман. Тем не менее купец этот пользовался всеобщим уважением, и когда, едва только начинали звонить к вечерне, он неизменно выходил из узенькой двери своего дома, тщательно ее запирали, два или три раза внимательно оглядывал, а потом прятал ключ на груди и медленными шагами шел в церковь, на протяжении всего пути продолжая ощупывать его в своем кармане, самые гордые люди Севильи всякий раз снимали перед ним шляпы, а игравшие на улице ребятишки оставляли на это время свои игры.

У Гусмана не было ни жены, ни детей, ни друзей, ни родных. Все хозяйство его вела старая служанка. Бережливость его доходила до крайних пределов; известно было, что он ничего почти на себя не тратил; вот почему многих беспокоил вопрос, что же станет с его огромным богатством, когда он умрет. И недоумевающие сограждане его принялись допытываться, нет ли у Гусмана каких-либо родственников, пусть даже отдаленных и безвестных; а когда такого рода розыски предпринимались людьми, одержимыми жадностью и любопытством, то упорство становится поистине неодолимым. И вот в конце концов они обнаружили, что у Гусмана была некогда сестра, много его моложе, которую очень рано выдали замуж за одного немецкого композитора, протестанта, и которая вскоре после этого уехала из Испании. То ли вспомнили, то ли откуда-то узнали, что с ее стороны было предпринято много усилий, чтобы смягчить сердце брата, склонить его на помощь родным - а он и тогда был уже очень богат - и убедить его примириться с ними и признать их брак, что позволило бы и ей и ее мужу остаться в Испании. Но Гусман был непоколебим. Человек состоятельный и гордившийся своим состоянием, он мог бы еще, пожалуй, как это ни претило ему, - снизить до того, чтобы согласиться на союз сестры с человеком бедным, которого он, кстати сказать, мог бы облагодетельствовать своим богатством, но даже самая мысль о том, что она вышла замуж за протестанта, была для него непереносима. Инеса - так звали его сестру - вместе с мужем уехала в Германию, отчасти оттого, что тот обладал незаурядным музыкальным дарованием, что, как известно, высоко ценится в этой стране, отчасти в смутной надежде, которая всегда тешит сердце тех, кто уезжает на чужбину, что перемена места может в корне изменить обстоятельства их жизни, отчасти же

из убежденности, что всякое горе лучше переносить где бы то ни было, но только подальше от человека, который вам его причинил. В таком виде историю эту рассказывали старики, уверявшие, что все это произошло на их памяти, такой ее принимали на веру молодые, которым нечего было вспомнить, но которым все восполняло воображение, рисовавшее им некую красавицу: вместе с детьми и еретиком-супругом она уезжает в далекую страну и грустя прощается и с отчизной, и с верою предков.

А пока все эти толки ходили по Севилье, Гусман заболел, и врачи, которых его с большим трудом уговорили позвать, нашли, что положение его безнадежно.

Во время же его болезни то ли родственные чувства разыгрались в сердце, которое они, должно быть, давно покинули, то ли старик решил, что лучше все-таки умереть на руках у собственной сестры, а не у хищной и продажной служанки, то ли его былая неприязнь стала угасать по мере приближения смерти, подобно тому, как искусственный свет тускнеет с наступлением утра, словом, так или иначе, в эти дни Гусман вспомнил о сестре и ее семье и послал нарочного, - что, надо сказать, обошлось ему недешево, - в ту часть Германии, где она жила, пригласить ее вернуться и примириться с ним. Сам же он принялся ревностно молиться, прося, чтобы ему дано было дожить до той минуты, когда он сможет испустить дух на руках у сестры и ее детей. Ходил в то время и еще один слух, который, по-видимому, представлял значительно больший интерес для окружающих, нежели то, что имело отношение лишь к жизни и смерти Гусмана: говорили, что он будто бы объявил недействительным свое прежнее завещание и послал за нотариусом, с которым, несмотря на то что он был уже до крайности истощен недавним его недугом, он заперся на несколько часов у себя в спальне и все это время диктовал ему голосом, который, хоть и был хорошо слышен нотариусу, оказался совершенно невнятным для уха, которое с величайшим и мучительным напряжением вслушивалось в него, припав к запертой на два оборота двери.

Все знавшие Гусмана старались убедить его не тратить на это столько сил, уверяя, что этим он только ускорит свой конец. Но к их вящему удивлению и, разумеется, к их радости, с той минуты, когда новое завещание было написано, здоровье Гусмана начало улучшаться, и не прошло и недели, как он ходил уже по комнате и высчитывал, сколько нарочному потребуется времени, чтобы добраться до Германии, и когда можно ожидать ответа от сестры и ее семьи.

Прошло несколько месяцев; духовные лица приложили все старания, чтобы использовать этот промежуток времени в своих интересах, и стали все чаще навещать Гусмана. Однако, после того как они истощили всю свою изобретательность, после того как они очень упорно, но напрасно зывали к его совести, к чувству долга, к религии и старались пробудить в нем страх, они начали понимать, что для них всего важнее, и соответственно изменили свою тактику. Придя к выводу, что переубедить Гусмана им все равно не удастся и что решение его вызвать сестру и ее семью в Испанию непреклонно, они удовлетворились меньшим: они поставили условие, что он не будет общаться с этой семьей еретиков иначе, как при их посредстве, и что всякий раз, когда он захочет свидеться с сестрою или ее детьми, они будут присутствовать при их свидании.

Им не стоило особого труда уговорить Гусмана согласиться на это условие, ибо, вообще-то говоря, старик не испытывал особого желания видеть сестру, чье присутствие могло напомнить ему об охлаждении родственных чувств и о долге, о котором он успел давно позабыть. К тому же это был человек устоявшихся привычек, и присутствие даже самого интересного для него на земле существа, если оно могло, пусть даже в самой незначительной степени, нарушить или прервать привычный ход жизни, было бы для него непереносимо.

Так всех нас делают более черствыми старость и укоренившиеся вместе с нею привычки, и, приближаясь к концу, мы чувствуем, что способны пожертвовать самыми дорогими для нас

родственными узами и самыми заветными чувствами ради тех мелких особенностей нашей жизни, которые вторжение в нее другого человека или его влияние могут в какой-то степени задеть. Это была своего рода сделка между совестью Гусмана и его чувствами. Он решил, что наперекор всем священникам Севильи пригласит в Испанию сестру и ее семью и оставит им все свое огромное состояние (с этой целью он и писал им неоднократно и - вполне определенно). Но наряду с этим он обещал своим духовным советчикам - и даже поклялся им в этом, - что никогда не увидится ни с кем из этой семьи и что, пусть даже сестра его унаследует все его состояние, она никогда, никогда не увидит его лица. Последние были удовлетворены этим заявлением или, во всяком случае, сделали вид, что оно их удовлетворяет; и Гусман, умиловив их обильными приношениями на алтари различных святых, из которых каждый почитался единственным целителем одолевавшего его недуга, принялся высчитывать, во что может обойтись возвращение его сестры в Испанию и обеспечение ее семьи, которую он, можно сказать, вырвал из родной для нее почвы и поэтому чувствовал себя обязанным по чести сделать так, чтобы они могли процветать на той почве, на которую он их пересадила.

Год спустя сестра, ее муж и четверо детей вернулись в Испанию. Ее звали Инеса, мужа ее - Вальберг. Это был трудолюбивый человек и отличный музыкант. Дарование его обеспечило ему место *maestro di capella* {Капельмейстера (итал.)} при дворе герцога Саксонского; дети же его (сообразно средствам, которыми он располагал) были воспитаны так, чтобы любой из них мог в случае, например, его смерти или какого-нибудь несчастья заменить его или же просто получить место учителя музыки при дворе одного из немецких князей. Жили они с женой очень скромно и надеялись, что дети их талантами своими помогут им лучше обеспечить себя средствами к существованию, что теперь составляло предмет их неустанных забот и трудов.

Старший из сыновей по имени Эбергард унаследовал музыкальные способности отца. Дочери, Юлия и Инеса, были также очень музыкальны и, кроме того, отлично вышивали. Младший же сын, Мориц, доставлял всей семье попеременно то радость, то горе.

Долгие годы им приходилось бороться с трудностями, слишком мелкими, чтобы о них стоило говорить здесь подробно, но вместе с тем слишком жестокими для тех, кто сталкивается с ними ежедневно и ежечасно, чтобы можно было не почувствовать, сколь они тягостны, как вдруг неожиданное письмо, привезенное нарочным из Испании от их богатого родственника Гусмана, в котором он приглашал сестру и ее семью вернуться и объявлял ее наследницей всех своих невероятных богатств, пробудило их силы, как первая летняя заря после полугодичной ночи пробуждает силы жалкого, съезжившегося у себя в хижине от холода лапландца. Все невзгоды были сразу же забыты, все заботы отложены; семья расплатилась с теми немногими долгами, которые у нее были, и стала готовиться к отъезду в Испанию.

Итак, они отправились в Испанию и прибыли в город Севилью, где их сразу же встретило некое духовное лицо. Оно поставило их в известность о решении Гусмана никогда не видаться с оскорбившей его сестрой и ее семейством, но в то же время заверило приехавших о намерении старика всячески поддержать их и обеспечить всем необходимым до той поры, когда он умрет и они вступят в законное владение всеми его богатствами. Известие это огорчило их, и мать семейства заплакала, узнав, что брат, которого она помнила и все еще любила, не хочет ее видеть; священник же, стараясь смягчить исполнение возложенной на него тягостной миссии, обмолвился несколькими словами о том, что, согласись они отказаться от своих еретических воззрений, им было бы гораздо легче найти путь к сердцу своего богатого родича и он, может быть, не стал бы противиться встрече с ними. Последовавшее за этим глубокое молчание оказалось красноречивее всех слов, и священник ушел ни с чем.

Это была первая туча, омрачившая их надежды на счастье, которые окрылили их с той минуты, когда нарочный прибыл в Германию, и весь остаток вечера они просидели удрученные

тем, что узнали. В уверенности, что его ожидает богатство, Вальберг не только перевез в Испанию детей, но и написал своим очень уже старым и жившим в большой бедности родителям, чтобы и они тоже приехали туда, и назначил им встречу в Севилье. А так как он продал принадлежавший ему в Германии дом со всей обстановкой, он смог послать им денег на немалые расходы, связанные со столь длительным путешествием. Теперь их ожидали с часу на час, и дети, сохранившие смутное, но благодарное воспоминание о благословении, полученном ими в самом раннем возрасте, о произносивших его дрожащих губах и крестивших их морщинистых руках, с радостью думали о предстоящем приезде стариков. "Не лучше было бы, если бы твои отец и мать оставались в Германии, а мы посылали им отсюда денег на жизнь, вместо того чтобы заставлять их в таком преклонном возрасте совершать столь утомительное путешествие?" - часто говорила Инеса мужу. А тот неизменно отвечал: "Пусть уж они лучше умрут у меня в доме, чем будут жить где-то среди чужих".

В этот вечер он, может быть, впервые начал понимать, сколь благоразумен был совет, данный ему женой; она это почувствовала, и свойственная ей деликатность не позволила ей больше напоминать об этом.

Было темно и холодно; совсем не такими бывают обычно ночи в Испании. Холод этот передавался и людям. Инеса сидела и работала молча; собравшиеся у окна дети шепотом сообщали друг другу свои надежды и планы, связанные с приездом стариков, а Вальберг, беспокойно расхаживавший по комнате, время от времени прислушивался к их шепоту и вздыхал.

На другой день небо было безоблачно и светило солнце. Священник явился к ним снова и, выразив сожаление по поводу того, что решение Гусмана непреклонно, уведомил их, что ему поручено выплатить им годовое содержание, и назвал сумму, показавшуюся им огромной; вторая сумма предназначалась на воспитание детей и говорила о поистине царской щедрости их благодетеля. Священник выдал им на руки подписанные чеки и удалился, предварительно еще раз заверив их, что после смерти Гусмана они будут неоспоримыми наследниками его богатств и что, коль скоро они будут жить все время в достатке, сетовать им ни на что не придется. Не успел священник уйти, как приехали престарелые родители Вальберга, несколько ослабевшие от усталости и радостного волнения, но вместе с тем достаточно бодрые, и все семейство уселось за показавшийся им роскошным обед в том безмятежном ожидании счастья, которое нередко бывает еще упоительнее, нежели обладание им.

----

- Я видел их тогда, - сказал незнакомец, прерывая свой рассказ, - я видел их вечером того самого дня, когда вся семья соединилась, и если бы какому-нибудь художнику захотелось изобразить картину семейного счастья, ему достаточно было бы навеститься для этого в дом Вальберга. Он и его жена сидели на конце стола; оба улыбались детям, а те в свою очередь отвечали им улыбкой, и ко всему этому не примешивалась ни одна тревожная мысль, будь то раздражение от какой-нибудь мелкой неприятности в настоящем или тягостное предчувствие несчастья в будущем - \_страх перед завтрашним днем\_ или, наконец, мучительное воспоминание о прошлом. Дети их действительно расположились такой группой, которая могла вызвать восхищение не только отца и матери, движимых любовью к ним, но и художника, влюбленного в красоту. Старший сын их, Эбергард, которому исполнилось шестнадцать, был чересчур красив для мужчины; его нежное румяное лицо, стройная, словно точеная фигура и переливы его мягкого голоса пробуждали в людях тот смешанный интерес, с каким мы обычно наблюдаем, как в юноше сквозь еще отроческую незрелость пробиваются первые побег силы, которым в будущем суждено вырасти и окрепнуть, и наполняли сердца родителей той ревнивой тревогой, с какой мы следим за погодой теплым, но сумрачным весенним утром: мы радуемся

разлитому в небе спокойному сиянию зари, однако боимся, что еще до полудня лазурь его будет затянута тучами. В дочерях, Инесе и Юлии, была особая прелесть, отличающая северянок: пышные золотые кудри, большие голубые глаза, белоснежная шея и тонкие руки, нежные щеки, румянец которых сочетал в себе цвета розы и персика; когда они в чем-нибудь помогали своим родителям, девушки были похожи на двух юных Геб {1}, разносящих чаши, содержимое которых они одним своим прикосновением могут превратить в нектар.

Этим девочкам очень рано привелось испытать на себе гнетущее действие тех тягот, которые приходилось переживать их родителям; самые нежные годы детства уже научили их боязливей походке, шепоту, тревожным, вопрошающим взглядам, словом, всему тому, чему постоянная нужда в семье научает даже детей и что родителям их бывает особенно горько видеть. Теперь же ничто не сдерживало их порывы, и улыбка, редкая гостья у них на губах, начинала уже привыкать к ним и чувствовать себя там как дома, робость же их прежних привычек теперь только приятно оттеняла присущий поре молодости и счастья избыток чувств. Прямо напротив этой группы, где яркость красок сочеталась с удивительной нежностью теней, сидели старики - престарелые дед и бабка. Контраст был разителен; не было ни одного связующего звена, ничего, что могло бы как-то сблизить тех и других; от самых ранних и прелестных весенних цветов вы попадали к цветам увядшим и примятым к земле холодным дыханием зимы. Но в облике этих стариков было все же нечто такое, что ласкало взор; Тенирс и Воуверман {2} оценили бы и их сухопарые строгие фигуры, и старинную одежду больше, нежели очарование юности и нарядные одеяния их внуков. Оба были одеты весьма странно - на немецкий лад; на старике была душегрейка и шапочка, а на старухе - плоеный воротник, корсаж и похожий на скуфейку чепец с длинными крыльями, сквозь которые видны были пряди седых, но очень длинных волос, обрамлявших изрытые морщинами щеки; лица обоих светились радостной улыбкой, напоминавшей собою холодную улыбку, какою озаряет зимние долины заходящее солнце. Они не могли расслышать милых настояний сына и невестки угощаться роскошной и обильной едой, подобной которой они никогда не видели в своей очень скромно прожитой жизни, но тем не менее они кланялись и улыбались с той благодарностью, которая бывает одновременно и обидной и приятной сердцу любящего сына и дочери. Улыбались они также красоте Эбергарда и своих внучек, отчаянным проказам Морица, который резвился и в радости и в горе, улыбались всему, что говорилось за столом, хоть половины сказанного не слышали, и всему, что видели, хоть и очень мало чем из виденного могли насладиться. И эта улыбка старости, это кроткое приятие всех удовольствий юного возраста, смешанное с уверенным предвкушением более чистого и совершенного блаженства, придавало поистине ангельское выражение их лицам, на которых без этого не было бы ничего, кроме увядания и упадка.

Семейное празднество это было отмечено обстоятельствами, достаточно характерными для его участников. Вальберг (сам человек очень воздержанный) настоятельно упрашивал отца выпить больше вина, чем было в обычае старика, и тот учтиво отклонил эти настояния. Однако сын не унимался, и просьбы его были так сердечны, что отец его согласился, решив этим доставить удовольствие сыну, а не себе.

Младшие дети в это время ласкались к бабке так шумно, как умеют ласкаться только дети. Мать начала их корить за эту возню.

- Ничего, пусть играют, - решила добросердечная старушка.
- Но ведь они же беспокоят вас, маменька, - сказала жена Вальберга.
- Недолго им осталось меня беспокоить, - ответила бабка, многозначительно улыбаясь.
- Не правда ли, отец, как вырос наш Эбергард? - спросил Вальберг.
- Последний раз, когда я его видел, - ответил дед, - мне пришлось наклоняться, чтобы его



поцеловать, а теперь вот, должно быть, ему придется наклоняться, чтобы поцеловать меня. - В то же мгновение Эбергард кинулся в открытые объятия старика, руки которого дрожали, и припал губами к белоснежной бороде деда.

- Прижимайся крепче, дитя мое, - сказал растроганный отец, - дал бы бог, чтобы тебе всегда приходилось целовать только такие чистые губы.

- Иначе и быть не может, отец, - сказал впечатлительный юноша, краснея от охватившего его волнения, - я хотел бы всю жизнь целовать только губы тех, кто будет меня благословлять, как благословляет сейчас дедушка.

- И ты хочешь, - весело сказал старик, - чтобы всю жизнь благословение приходило тебе только из сморщенных старческих губ?

При этих словах стоявший за спиной старика Эбергард покраснел. В это время Вальберг услышал, что часы пробили тот час, когда, в благоденствии или невзгодах, он привык созывать семью на молитву; он знаком призвал детей встать, и те шепотом передали это приглашение старшим.

- Да будет благословен господь, - сказала бабка в ответ на произнесенные шепотом слова внука.

Сказав это, она опустилась на колени. Внуки поддерживали ее с обеих сторон.

- Да будет благословен господь... - отозвался старик, преклоняя свои с трудом сгибавшиеся колена и снимая шапочку. - Да будет благословен господь наш, "как тень от высокой скалы в земле жаждущей" {3}, - продолжал он и опустился на колени, в то время как Вальберг, прочтя главу или две из немецкой Библии, произнес молитву на случай, прося господя, чтобы он преисполнил сердца их признательностью за снизошедшее к ним на время благоденствие и сподобил их так пройти сквозь все временное, чтобы не потерять потом из-за него блаженства вечного {4}. По окончании молитвы все поднялись и приветствовали друг друга с той любовью, корни которой уходят за пределы земного, а цветы, какими бы ничтожными и бесцветными они ни показались взорам человека на этой бесплодной земле, принесут, однако, небывалые плоды в саду небесном. Отрадно было видеть, как дети помогали старикам подниматься с колен, и еще отраднее было слышать, как, расставаясь, все желали друг другу спокойной ночи. Жена Вальберга с особенным усердием заботилась о том, чтобы старикам жилось у них хорошо, и Вальберг покорялся ей с той гордой признательностью, которая становится еще возвышенной, когда благие поступки совершаем не мы сами, а те, кто нас любит. Родителей своих он любил, но особенно гордился тем, что их любит жена - за то, что это его родители. На постоянные просьбы детей разрешить им помочь старикам он отвечал: "Нет, дети мои, ваша мать сделает это лучше вас, она всегда все делает лучше". Тем временем дети его, следуя позабытому уже теперь обычаю, опустились перед ним на колени. Аасково, дрожащей от волнения рукою, он сначала коснулся курчавых волос любимца своего Эбергарда, голова которого гордо высилась над головами стоявших на коленях сестер и Морица, который с безудержной, но извинительной для его счастливого возраста беспечностью смеялся, не вставая с колен.

- Да благословит вас господь! - сказал Вальберг, - да благословит он всех вас и да сделает он вас такими же добрыми, как ваша мать, и такими же счастливыми, как счастлив сегодня ваш отец.

Сказав это, он отвернулся и заплакал.

Глава XXVII

...quaeque ipsa miserrima vidi,  
et quorum pars magna fui \*.

Вергилий

{\* ...тягчайшие бедствия видел,

Да и многие пережил сам {1} (лат.).}

Жену Вальберга, которая от природы отличалась ровным спокойным характером и которую нужда и горе приучили всегда ожидать от жизни самого худшего, нежданно наступившее благоденствие не привело в такой восторг, как ее детей и даже стариков. Ее преследовали мысли, которыми она не делилась с мужем; порою она даже сама не хотела себе в них признаваться; и одному только священнику, который часто посещал их и которого Гусман щедро одаривал, она открыла их со всей прямоотой. Она сказала, что, как она ни признательна брату за тот недостаток, который у них сейчас появился, ей хотелось бы, чтобы детям ее было позволено обучиться какому-нибудь ремеслу, чтобы себя прокормить, и чтобы те деньги, которые Гусман расточал на их светское воспитание, были употреблены на то, чтобы обеспечить им возможность не только содержать себя самих, но и помогать родителям. Она даже намекнула, что благожелательное отношение к ней брата может впоследствии измениться, особенно подчеркивая при этом то обстоятельство, что дети ее в этой стране чувствуют себя чужеземцами, что они совершенно не знают испанского языка и что религия Испании не внушает им ничего, кроме отвращения; очень мягко, но вместе с тем и решительно она обрисовала те опасности, которые подстерегают семью чужеземцев-еретиков в католической стране, и умоляла священника повлиять на брата и посодействовать тому, чтобы он щедротами своими помог детям ее встать на ноги и приобрести независимость, как если бы... тут она замолчала.

Добрый и дружелюбно настроенный к ней священник - а он действительно был и тем и другим - выслушал ее очень внимательно; сначала он, словно для того чтобы исполнить свою обязанность, принялся уговаривать ее отступить от ее еретических убеждений, утверждая, что это единственное средство примириться с господом и с братом, а потом, получив спокойный, но решительный отказ, дал ей наилучший мирской совет, сводившийся к тому, что ей следует беспрекословно исполнять все желания брата и воспитывать детей так, как того хочет он, тратя на это все те деньги, которые он им так щедро дарит. Он добавил *en confiance* {Доверительно (франц.)}, что, хотя в течение всей его долгой жизни Гусмана нельзя было заподозрить ни в какой другой страсти, кроме одной - накопить побольше денег, теперь он обуреваем стремлением, отвлечь от которого его значительно труднее: он решил, что наследники его состояния должны преуспевать во всем, что может украсить человека светского, ни в чем не уступая отпрыскам самых знатных родов Испании. Закончил же он опять-таки тем, что посоветовал ей во всем беспрекословно подчиняться желаниям брата, и жена Вальберга согласилась последовать этому совету, хоть и со слезами, которые она пыталась скрыть от священника и которые успела насухо утереть перед тем, как подойти к мужу.

Тем временем план Гусмана стремительно осуществлялся. Он нанял для Вальберга прекрасный дом; теперь и сыновья и дочери музыканта были отлично одеты и жили в роскошных покоях. И хотя образование в Испании всегда стояло, - да и сейчас еще продолжает стоять, - на весьма низком уровне, они были обучены всему тому, что по тогдашним понятиям пристало знать отпрыскам истых идальго {2}. Гусман строго-настроено запретил не только какие-либо попытки подготовить их к трудовой жизни, но даже само упоминание о ней. Отец торжествовал, а мать сожалела об этом, однако скрывала чувства свои ото всех и утешала себя мыслью, что то блестящее светское воспитание, которое получают теперь ее дети, в конце концов может пригодиться им в трудное время: все перенесенные этой женщиной несчастья научили ее смотреть на будущее с тревогой, и взгляд ее даже в самом ярком солнечном луче, озарявшем ее жизнь, с какой-то зловещей зоркостью отыскивал темное пятнышко.

Требования Гусмана исполнялись - семья жила в роскоши. Молодежь погружалась в новую для нее жизнь с той жадностью, какой можно было ожидать от жаждущих удовольствий юных

существ, чьи природные склонности влекли их ко всему изящному и утонченному, к стремленьям, которые нищенская жизнь со всеми ее тяготами никогда не могла начисто в них уничтожить. Гордый и счастливый отец восхищался красотой детей и способностями их, которые постепенно развивались. Мать иногда в тревоге вздыхала, однако старалась, чтобы муж ее не замечал этих вздохов. Престарелые дед и бабка, чьи недуги сделались еще ощутимее от непривычного для них климата Испании, а может быть, и от сильных волнений, которые по плечу людям молодым, но всегда бывают мучительны для стариков, сидели в своих глубоких креслах и проводили остаток дней в молчаливом, хотя и осознанном довольстве и безмятежном, но почтенном равнодушии ко всему, в промежутках забываясь сладостною дремотой; спали они много, а просыпаясь, неизменно улыбались и внукам, и друг Другу.

Жена Вальберга в течение всего этого периода, казавшегося всем, кроме нее, порою безмятежного благоденствия, не раз предостерегала детей, осторожно намекая на то, что благополучию их может прийти конец, однако все эти мрачные мысли развеивались, стоило ей увидеть на их лицах улыбки, услышать их смех, ощутить поцелуи их губ; мать их в конце концов начинала подсмеиваться сама над своими страхами. Время от времени, однако, она делалась озабоченной, брала с собою детей и шла с ними к дому их дяди. Она прохаживалась взад и вперед вместе с ними перед его дверью и порою приподымала вуаль, словно пытаясь узнать, нельзя ли что увидеть сквозь стены, такие же непроницаемые, как и сердце скупого старика, или сквозь окна его, запертые так же крепко, как и его сундуки, после чего, бросив взгляд на дорогую одежду детей и как бы стараясь заглянуть далеко вперед, она вздыхала и медленными шагами возвращалась к себе домой. Неопределенности этой скоро, однако, пришел конец.

Священник, духовник Гусмана, часто навещался к ним; он был его доверенным лицом, и старик поручал ему передавать семье сестры свои щедрые дары; к тому же он был искусным шахматистом, причем даже в такой стране, как Испания, у него не было партнера, по силе равного Вальбергу. Естественно, он не мог оставаться безучастным к семье и ее судьбе, и, хотя его правоверные взгляды и мешали ему стать на их сторону, сердце его все равно было с ними. Таким образом, наш добрый священник умудрялся сочетать одно с другим, и, поиграв в шахматы с отцом семейства, возвращался потом в дом Гусмана и там молился о том, чтобы вся эта семья еретиков обратилась в католичество.

И вот однажды, когда он сидел у Вальбергов за игрой, его вдруг срочно вызвали. Священник оставил своего ферзя en prise {Под шахом (франц.).} и поспешил выйти в коридор, чтобы поговорить с посланным за ним слугой. Все сидевшие в комнате встrepенулись, поднялись со своих мест и в невыразимом волнении последовали за ним. Они остановились у двери, однако потом все же вернулись со смешанным чувством: тут были одновременно и тревога и стыд, что излишнее любопытство их может обратить на себя внимание. Отходя от двери, они, однако, явственно расслышали слова посланного за священником слуги:

- Едва дышит, послал за вами, нельзя терять ни минуты.

И оба они, слуга и священник, тут же ушли.

Вся семья вернулась к себе и едва ли не весь вечер провела в глубоком молчании, прерывавшемся только отчетливым тиканьем часов, которое казалось слишком громким их настороженному слуху; только оно, да еще эхо торопливых шагов Вальберга, который вскакивал с кресла и принимался ходить взад и вперед по комнате, нарушали воцарившуюся в доме мертвую тишину. Услыхав звук шагов, все оборачивались, ожидая увидеть посланного, но потом, поглядев на безмолвную фигуру Вальберга, снова усаживались на свои места. Всю ночь семья просидела в волнении, которое никто ничем не выражал и которое, по сути говоря, было невыразимо. Свечи едва мерцали, а потом догорели до конца и совсем потухли, однако никто этого даже не заметил; бледные лучи зари пробрались в комнату, но никто не подумал, что

настало уже утро.

- Господи, до чего же долго все это тянется! - невольно вырвалось у Вальберга; от слов этих, хоть произнесены они были едва слышно, все вострепнулись; это были первые звуки человеческого голоса, которого они не слышали уже много часов.

В эту минуту раздался стук в дверь, а вслед за тем - медленные шаги по коридору; дверь в комнату отворилась, и на пороге появился священник. И в этом контрасте между сильным чувством и глубоким безмолвием, в этом столкновении слова, которое душило мысль, едва только успевшую зародиться, и мысли, которая напрасно искала поддержки в словах, в этой стремительной схватке страдания и немоты было что-то поистине зловещее. Однако длилось все это лишь какие-то мгновения.

- Все кончено! - произнес священник.

Вальберг обхватил голову руками и в мучительном волнении вскричал:

- Благодарение господу! - и, схватив какой-то находившийся рядом предмет, словно то был кто-то из его детей, обнял его и прижал к груди. Жена его, узнав, что брат ее умер, в первую минуту заплакала, а потом, подумав о детях, поднялась, чтобы услышать все, что будут говорить. Священник, однако, ничего не мог прибавить к тому, что им было сказано: Гусман умер, все ящики, комоды и сундуки в доме опечатаны; ни один шкаф не избежал этой судьбы столь усердны были все те, кому было поручено это дело, а завещание должно было быть вскрыто на другой день.

На другой день семья пребывала в таком напряженном ожидании, какое начисто исключало всякую мысль. Как всегда, на стол был подан обед, но никто к нему не притронулся. Каждый только уговаривал другого поест, но так как сам он был не в силах подкрепить настояния своего собственным примером, то никто и не следовал его уговорам. Около полудня явилось некое должностное лицо, - как видно, это был стряпчий, - и пригласило Вальберга присутствовать при вскрытии завещания Гусмана. Собравшись идти с ним, Вальберг второпях позабыл шляпу и плащ; тогда сыновья стали подавать ему, кто одно, кто другое. Эти знаки внимания со стороны детей рядом с собственной рассеянностью так его потрясли, что, совершенно обессилевший, он опустил в кресло, чтобы немного прийти в себя.

- Дорогой мой, лучше тебе не ходить туда, - ласково сказала жена.

- Да я, верно, последую, \_я должен буду\_ последовать твоему совету, ответил Вальберг, снова опускаясь в кресло, с которого он только что тщетно пытался встать. Стряпчий учтиво поклонился и собрался уходить.

- Нет, \_я пойду\_, - сказал Вальберг, сопровождая свои слова немецким ругательством, причем гортанные эти звуки заставили стряпчего обернуться, нет, \_я пойду\_!

И он упал на пол, обессилев от долгих часов, проведенных без еды и без сна, и от волнения, понять которое может только тот, у кого есть дети. Стряпчий удалился, и прошло еще несколько часов мучительной неопределенности и догадок, которые каждый переживал по-своему: мать крепко стискивала руки и старалась подавить каждый вздох, а отец был погружен в глубокое молчание; он смотрел куда-то в сторону и, казалось, в то же время тянулся к детям, но потом вдруг отдергивал руки; дети же очень быстро переходили от отчаяния к надежде. Дед и бабка сидели неподвижно; они не могли понять, что происходит, и только знали, что если семью ожидает что-то хорошее, то оно несомненно распространится и на них, что же касается всего худого, то за последнее время их притупившийся ум, должно быть, уже не мог его воспринять.

Время шло - наступил полдень. Слуги, которых благодаря щедрости покойного в доме у них было порядочно, доложили, что обед готов. Тогда Инеса, владевшая собой лучше, нежели все остальные, напомнила мужу, что они не должны показывать своих чувств в присутствии слуг. Тот машинально повиновался ей и пошел в столовую, в первый раз за все время забыв

предложить руку своему больному отцу. Семья последовала за ним, но когда все уже уселись за стол, у них был такой вид, как будто они не знают, для чего они собрались. Вальберг, страдавший жаждой, которая всегда сопутствует волнению и которую нельзя бывает ничем утолить, несколько раз требовал, чтобы принесли вина, а жена его, которая чувствовала, что у нее кусок не идет в горло в присутствии неподвижных взирающих на нее слуг, сделала им знак уйти, но и тогда не притронулась к еде. Старики ели как обычно и порою поднимали глаза, в которых можно было прочесть какое-то смутное удивление и бессмысленное и тупое нежелание поддаваться страху перед надвигающейся бедой и даже просто допустить, что беда может стрястись. Перед концом этой унылой трапезы Вальберга вдруг вызвали; через несколько минут он вернулся, и казалось, что в выражении лица его не произошло никаких перемен. Он снова сел за стол, и только жена его заметила, что какая-то странная улыбка пробежала по его дрожащим губам в то время, когда, налив полный бокал вина, он поднес его ко рту и провозгласил:

- За здоровье наследников Гусмана!

Однако вместо того чтобы выпить вино, он швырнул бокал на пол, опустил голову на стол и, уткнув лицо в скатерть, закричал:

- Ни одного дуката, ни одного дуката, все оставлено церкви! Ни одного дуката!

\* \* \* \* \*

Вечером явился священник, и к этому времени семья успела немного прийти в себя. Очевидность случившегося стала для них источником мужества. Неопределенность - это единственное зло, с которым невозможно справиться, и, подобно юным морякам, вступившим в неизведанные морские просторы, они были уже почти готовы к тому, чтобы встретить бурю, которая наконец избавила бы их от мучительной, непереносимой тревоги. Исполненные благородного негодования и в то же время ободряющие слова священника ласкали их слух и несли мир в их сердца. Он высказал им свое убеждение, что корыстолюбивые и лицемерные монахи, как видно, прибегли к самым неподобающим средствам, чтобы заставить умирающего старика сделать такое странное завещание, заверил их, что готов перед любым судом Испании свидетельствовать, что покойный, во всяком случае еще за несколько часов до смерти, собирался отказать все свое состояние их семье, что об этом своем намерении он много раз говорил как ему, так и другим, и что он собственными глазами видел совсем недавно составленное им завещание; кончил он тем, что дал совет Вальбергу передать это дело в суд, обещая помочь ему как своим личным содействием, так и влиянием, которым он пользовался у лучших адвокатов Севильи, словом, всем, кроме денег.

Надежда эта приободрила семью, и эту ночь все спали спокойным сном. Одно только обстоятельство свидетельствовало о перемене, происшедшей в их чувствах и привычках. Перед тем, как разойтись, старик положил дрожащую руку на плечо Вальберга и мягко сказал:

- Сын мой, а мы помолимся перед сном?

- Нет, отец, сегодня мы не будем молиться, - ответил Вальберг, который, очевидно, либо боялся, что упоминание об их еретических молитвах может отдалить от них столь расположенного к ним священника, либо ощущал слишком большое волнение, чтобы предаться возвышенным чувствам.

- Нет, сегодня мы не будем молиться. Я слишком... счастлив!

Священник сдержал слово, - усердие его и то большое влияние, которым он пользовался, не оказались напрасны: лучшие адвокаты Севильи взялись за дело Вальберга. Они искусно подобрали и умело использовали доказательства того, что на завещателя действительно было оказано воздействие недозволенными средствами, что имели место запугивание и прямое принуждение. С каждым часом Вальберг становился бодрее. Ко времени, когда умер Гусман, семья располагала довольно значительной суммой, но деньги эти были вскоре израсходованы,

точно так же, как и сбережения, сделанные за последнее время усилиями Инесы, которые она теперь со всей щедростью отдала на нужды мужа в надежде на благоприятный исход дела. Когда и это было истрачено, оставались еще другие возможности: они расстались со своим роскошным домом, рассчитали слуг, распродали обстановку, как то обычно бывает, за четверть цены, и после того как они переселились в новое скромное помещение в пригороде Севильи, Инеса и ее дочери снова принялись за все работы по дому, которые они привыкли исполнять в ту пору, когда спокойно жили в Германии. Из всех этих перемен деду и бабке пришлось испытать только одну - перемену места, которую они, впрочем, не очень-то даже и ощутили. Оттого что все заботы о стариках целиком легли на плечи Инесы, им стало нисколько не хуже, а может быть, даже и лучше; приветливо улыбаясь, она всегда умела сослаться на отсутствие аппетита или легкое недомогание, чтобы объяснить, почему так скудно все приготовленное для нее самой или для детей, стараясь в то же время, чтобы у стариков было все, что показалось бы вкусным их притупившимся уже чувствам и что, как она помнила, они могли есть без ущерба для здоровья.

Дело было назначено к слушанию, и в первые два дня адвокаты Вальберга имели успех. На третий день адвокаты церкви оказали им решительное и сильное сопротивление. Вальберг вернулся домой совершенно подавленный; жена его это заметила; она не стала его утешать и старалась не быть с ним особенно ласковой, дабы не растравлять этим еще больше его горе. Инеса держала себя спокойно, и на протяжении всего вечера муж ее мог видеть, как она невозмутимо исполняет все свои обязанности по дому. Перед тем как разойтись, старик как нарочно снова напомнил сыну, что надо бы помолиться перед сном.

- Только не сегодня, отец, - раздраженно ответил Вальберг, - только не сегодня; я слишком... несчастен!

- Итак, - сказал старик, воздев к небу свои иссохшие руки, и голос его обрел небывалую силу, - итак, о господи, как благоденствие, так и горе становятся для нас оправданием того, что мы пренебрегаем тобой!

Шатаясь, старик вышел из комнаты, а Вальберг в это время, прильнув к жене и опустив голову ей на грудь, горько заплакал,

- Жертва богу дух сокрушенный, - прошептала про себя Инеса, - сердца сокрушенного и смиренного он не презрит {3}.

\* \* \* \* \*

Дело велось с таким воодушевлением и так быстро, как того еще никогда не бывало в судах Испании, и на четвертый день назначено было последнее заседание, на котором должно было быть вынесено решение. С первыми же лучами зари Вальберг встал, отправился к зданию суда и в течение нескольких часов расхаживал перед его воротами. Когда они наконец отворились, он прошел туда и, ни о чем не думая, сел в кресло в одном из пустующих залов; взгляд его при этом преисполнился глубокого внимания и тревожного любопытства, как будто судьи уже заняли свои места и вот-вот должны были вынести решение. После того как он просидел так несколько минут, он вздохнул, вздрогнул и, как бы пробудившись от сна, встал и принялся расхаживать взад и вперед по пустынным коридорам и ходил до тех пор, пока не явились судьи и не стали готовиться к заседанию.

В тот день оно началось очень рано. Защита оказалась чрезвычайно сильной. Вальберг сидел все время на одном месте и так и не покидал его до тех пор, пока заседание не окончилось; это было уже поздно вечером, и за весь день во рту у него не было ни куска, и он ни на минуту не встал, ни на минуту не вышел из душной залы, где шел суд, чтобы передохнуть и подышать свежим воздухом.

Quid multis morer? {Да что там говорить! {4} (лат.).} Не надо иметь большого ума, чтобы понять, что у еретика-чужеземца не было никаких шансов одержать верх над испанскими

клириками.

Семья Вальберга провела весь этот день в задней комнате их убогого жилища. Эбергард хотел было пойти вместе с отцом на суд, но мать удержала его. Время от времени сестры прерывали свое рукоделье, и мать их, {Улыбаясь сквозь слезы {5} (греч.)}, - напоминала, что им следует продолжать работу. Они брались за нее снова, но руки не слушались их, и все шло до такой степени вкривь и вкось, что мать наконец велела им оставить рукоделье и заняться какой-нибудь работой по дому, которая потребует от них большей живости. Тем временем наступил уже вечер; время от времени все члены семьи отрывались от своих занятий и устремлялись к окну посмотреть, не идет ли отец. Инеса уже ни во что не вмешивалась - она сидела молча, и молчание ее резко противостояло той непрерывной тревоге и беспокойству, в котором пребывали ее дети.

- Отец идет! - вскричали все четверо детей разом, заведя переходившего улицу мужчину.

- Нет, это не отец, - воскликнули они снова, когда фигура медленно удалилась. Послышался стук в дверь, Инеса кинулась, чтобы открыть. Фигура отступила, приблизилась, кинулась куда-то в сторону и скользнула в дом точно тень. В страхе Инеса пошла вслед за нею, и страх ее превратился в ужас, когда она увидела, что муж ее опустился на колени перед детьми, которые напрасно селятся его поднять.

- Нет, дайте мне стать перед вами на колени, я погубил вас всех! Дело проиграно, из-за меня вы все теперь стали нищими!

- Папочка, дорогой, встаньте, - закричали дети, - раз вы живы, то ничто не погибло!

- Встань, дорогой мой, не подвергай себя этому ужасному и чудовищному унижению, - вскричала Инеса, хватая мужа за руки, - да помогите же мне, дети, и вы тоже, - воскликнула она, обращаясь к старикам, - неужели вы мне не поможете?

При этих словах беспомощные, едва живые и шатающиеся из стороны в сторону дед и бабка поднялись со своих кресел, и, двинувшись вперед, присовокупили остаток своих сил, свою *vis impotentiae* {Силу бессилия (лат.)}, чтобы поддержать тяжесть тела, которое с трудом удерживали жена и дети. Вид несчастных родителей оказал на Вальберга больше действия, нежели усилия всей семьи; его удалось поднять с колен и посадить в кресло, которое обступили теперь жена и дети, в то время как старики, с трудом водрузившиеся вновь в свои кресла, несколько минут спустя позабыли уже, должно быть, что случилась беда, которая за один миг придала им такую необыкновенную силу. Обступившая Вальберга семья старалась утешить его всеми средствами, какими только может располагать беспомощная любовь; но, может быть, ни одна стрела не поражает наше сердце с такою силой, как мысль, что руки, с безмерной любовью сжимающие наши, не могут заработать на хлеб ни для себя, ни для нас, что губы, так горячо припадающие к нашим губам, быть может, вслед за тем попросят у нас хлеба и мы не сможем им его дать!

Возможно, для семьи этой было счастьем, что бедственное положение, в котором они очутились, не позволяло им длительное время пребывать в бездействии: среди всех криков и воплей, которые раздались в этот тяжелый для них день, голос нужды звучал особенно четко и внятно. Надо было позаботиться о завтрашнем дне и сделать это безотлагательно.

- Сколько у тебя осталось денег? - вот первое, о чем спросил Вальберг жену, и, когда она шепотом назвала ему ту ничтожную сумму, которая осталась у них после оплаты всех судебных издержек, он содрогнулся от мгновенно охватившего его ужаса; потом, вырвавшись из объятий жены и детей и вскочив с места, он ушел в противоположный угол комнаты, давая этим понять, что хочет на несколько минут остаться один. В это время он увидел, как его младший сын играет длинными концами шнура, которым был подпоясан дед; мальчика игра эта приводила в восторг, а старик, хоть и бранил его за шалость, сам в то же время не мог ему не улыбнуться. Вальберг в

раздражении ударил бедного ребенка, а потом принялся обнимать его и просить:

- Улыбайся, улыбайся еще!

\* \* \* \* \*

Денег у них могло хватить во всяком случае на следующую неделю; и это обстоятельство теперь для них много значило; так бывает с людьми, потерпевшими кораблекрушение, которых носит по волнам на каком-то обломке: они надеются, что их скудного запаса провианта им хватит до тех пор, пока они не достигнут берега. После того как Инеса убедилась, что свекор и свекровь спокойно улеглись спать, все они стали обсуждать, что им делать, и просидели так всю ночь. Во время этого долгого и печального совещания в сердцах их незаметно пробудилась надежда, и они постепенно выработали план, как обеспечить себя средствами к существованию. Вальберг должен был попытаться найти применение своим способностям и сделаться вновь учителем музыки. Инеса и ее дочери - начать зарабатывать вышиванием, а Эбергард, который обладал очень тонким вкусом - и в музыке и в живописи, должен был попытаться силы и в той и в другой области, причем все решили за помощью и советом в этих делах обратиться к дружелюбному и расположенному к ним священнику. Утро застало их за этим затянувшимся разговором, и оказалось, что он так захватил их всех, что никто из них даже не чувствовал никакой усталости.

- Голодать нам не придется, - сказали окрыленные надеждою дети.

- Думаю, что нет, - вздохнул Вальберг.

Жена его, хорошо знавшая Испанию, не проронила ни слова.

Глава XXVIII

...Это мне

Они поведали под страшной тайной.

На третью ночь я с ними был на страже.

Шекспир {1}

В то время как они еще говорили, послышался осторожный стук в дверь так друг стучится в дом, где случилось несчастье. Эбергард встал, чтобы открыть дверь.

- Постой, - сказал Вальберг, словно обо всем позабыв, - а где же слуги?

Тут он вдруг все вспомнил, горько усмехнулся и сделал сыну знак пойти открыть дверь. Это был все тот же добрый священник. Он вошел и в молчании опустился в кресло. Никто не заговорил с ним; о них поистине можно было сказать дивными словами одной из книг: "Не было ни языка, ни речи, но были голоса, которые они слышали и \_понимали\_". Почтенный священник гордился тем, что знает все догматы католической веры и в точности исполняет все церковные правила. К тому же он усвоил особого рода монастырское безразличие, некий освященный церковью стоицизм, который служители ее почитают за победу благодати над человеческими страстями, в то время как в действительности это обусловлено особенностью их профессии, которая отрицает как самое человеческую природу, так и все ее устремления и узы. И, однако, когда он сидел среди этой убитой горем семьи и после того, как, посетовав на сырую погоду, напрасно старался отереть ту влагу, которая, по его словам, проступила у него на щеках, он не выдержал и, дав волю чувствам, возвысил голос свой и заплакал {2}.

Однако пришел он к ним не только для того, чтобы плакать. Узнав о планах Вальберга и его семьи, прерывающимся от волнения голосом он обещал сделать все от него зависящее, чтобы помочь им. Перед тем как уйти, он сказал, что прихожане его собрали небольшую сумму в помощь несчастным и что он не может найти лучшего применения этим деньгам, чем оставить их здесь; тут он выронил из рукава туго набитый кошелек и поспешно ушел.

Только наутро семья легла спать, но спустя несколько часов, в течение которых никому, однако, уснуть не удалось, все они поднялись с постелей. День и вечер этот и все три



последующих дня они стучались в каждую дверь, где только могли сыскать ободрение или какую бы то ни было работу, и каждый раз священник старался всеми силами им помочь. Но обстоятельства снова сложились неблагоприятно для семьи Вальберга, которая, как видно, родилась под несчастной звездой. Они были в этой стране чужеземцами, и никто из них, за исключением матери, помогавшей им изъясняться, не знал испанского языка. Это очень мешало им: почти все их усилия получить какие-то уроки оказались напрасными. К тому же они были еретиками, и одного этого было достаточно, чтобы в Севилье им всюду сопутствовала неудача. В некоторых семьях, куда они обращались, самым серьезным образом обсуждалась красота обеих их дочерей, а в других - красота их сына как препятствие к тому, чтобы взять кого-либо из них в услужение; в третьих воспоминание о роскоши, в которой они прежде жили, порождало у завистливой посредственности низменное и злобное желание унижить и оскорбить их отказом, для которого не могло быть никакой другой причины. Не зная устали и не падая духом, они каждый день делали все новые и новые попытки, обращаясь за помощью в каждый дом, куда им все же удавалось войти, и во многие Дома, где им отказывали, даже не открыв дверь. А возвращаясь домой, они каждый вечер подсчитывали все уменьшавшиеся запасы, делили между собой скудную трапезу, прикидывали, как умерить свои потребности подстать убывающим средствам, и каждый улыбался, говоря с другим о завтрашнем дне, и плакал, стоило только подумать о нем наедине с собою. Записи в дневнике, который ведет нужда, всегда бывают мучительно однообразны: один день как две капли воды похож на другой. Наступил, однако, день, когда была истрачена последняя монета, съеден последний ужин, исчерпан последний источник и потеряна последняя надежда и когда друг их священник, обливаясь слезами, признался, что ничем уже не может помочь им, кроме как своими молитвами.

В этот вечер семья сидела в каком-то оцепенении, охваченная глубоким унынием. И вдруг престарелая мать Вальберга, которая за все последние месяцы не произнесла ни одного слова и выражалась только невнятными междометиями, да и вряд ли могла отдать себе ясный отчет в том, что происходит вокруг, - с каким-то нечеловеческим напряжением, которое возвещает о том, что усилию этому суждено стать последним, подобно той яркой вспышке, которая знаменует близость конца, обратившись к своему мужу, громко вскричала:

- Тут что-то неладно, зачем это они привезли нас сюда из Германии? Могли бы дать нам спокойно умереть там; они, видно, привезли нас сюда, чтобы посмеяться над нами. Вчера вот (в памяти ее, должно быть, смешались дни благоденствия семьи и наступившей вслед за тем нищеты) - вчера они одевали меня в шелка, и я пила вино, а сегодня они дают мне эту черствую корку - тут она швырнула на пол кусок хлеба, который составлял ее долю в их жалкой трапезе, - тут что-то неладно. Я поеду назад в Германию, да, поеду, повторяла она.

И она действительно встала с кресла и сделала три-четыре ровных и твердых шага; никто даже не пытался подойти к ней.

Вслед за тем силы ее, как физические, так и душевные, совсем ослабели; она шаталась, что-то невнятно бормотала, повторяя все время: "Я знаю дорогу... я знаю дорогу... Если бы только не было так темно... Это не так уж далеко... я совсем уже близко от \_дома\_!". Тут она упала к ногам Вальберга. Все кинулись к ней и подняли... уже бездыханный труп.

- Благодарение господу! - воскликнул ее сын, глядя на похолодевшее тело матери.

И когда так вот извращается самое сильное в природе чувство, когда хочешь смерти близких, тех, за кого при других обстоятельствах ты отдал бы жизнь, тот, кто все это пережил, начинает думать, что единственное зло в нашей жизни - это нужда и что все силы нашего разума должны быть направлены на то, чтобы избавиться от нее. Увы! Если это действительно так, то для чего же в нас бьется сердце, для чего в нас горит дух? Неужели вся сила нашего разума и весь пыл наших чувств должны быть потрачены на то, чтобы найти способ, как

избавить нас от мелких, но мучительных терзаний, причиняемых повседневной нуждой? Неужели та искра, которую зажигает в нас господь, должна быть употреблена на то, чтобы разжечь охапку дров и отогреть наши пальцы, окоченевшие в нищете?

- Простите меня за это отступление, сеньор, - сказал его новый знакомец, - но \_мне стало что-то тягостно на душе, и я должен был его сделать\_. - И он стал продолжать свой рассказ.

Вся семья собралась вокруг покойницы. Погребение, совершившееся на следующую ночь, могло бы привлечь к себе внимание большого художника. Покойная была еретичкой, и ее нельзя было хоронить на освященной земле; поэтому родные, озабоченные тем, чтобы не оскорбить ничьих чувств и не привлекать внимания к своей религии, были единственными, кто присутствовал при погребении. В небольшом закоулке позади их убогого жилища сын вырыл для матери могилу, а Инеса вместе с дочерьми опустили в нее мертвое тело. Эбергарда при этом не было - все с надеждой думали, что он занят поисками работы, и светил им младший сын, который, глядя на все это, только улыбался, как будто перед ним был спектакль, разыгранный, чтобы его развлечь. Каким ни был тусклым падавший на них свет, он озарял лица всех и позволял видеть, сколь различные чувства они выражали. На лице Вальберга было суровое и страшное торжество: он радовался тому, что его мать избавлена от всех бедствий, которые ее ожидали; лицо Инесы во время этой безмолвной и неосвященной церемонии выражало горе, смешанное с ужасом. Дочери ее, бледные от горя и от страха, тихо плакали; но слезы перестали литься, и все мысли приняли совершенно иное направление, когда свет этот озарил еще одну фигуру, неожиданно появившуюся среди них у самого края могилы: то был отец Вальберга.

Рассерженный тем, что его оставили одного, и совершенно не понимая того, что происходит, он, шатаясь, вышел из дома и ошупью прокрался к могиле. Видя, как его сын забрасывает яму землей, он повалился на землю и, словно что-то припоминая, вскричал:

- И меня тоже, положи меня тоже туда, хватит там места для двоих!

Его подняли и отнесли в дом, куда неожиданно вернулся Эбергард с запасом продуктов. Появление его заставило их позабыть только что испытанные ужасы и еще раз отложить на завтра обуревавший их страх перед нуждой. На все расспросы о том, как ему удалось раздобыть столько провианта, юноша отвечал, что получил все это в дар от некоего неизвестного благодетеля. Эбергард был изможден и мертвенно бледен, поэтому они не стали обременять его расспросами и принялись за доставшуюся им манну небесную, после чего разошлись по комнатам и улеглись спать.

\* \* \* \* \*

На протяжении всей этой полосы бедствий Инеса по-прежнему упорно настаивала на том, чтобы дочери ее продолжали все те занятия, которые, как она надеялась, помогут им заработать потом на пропитание. Сколь ни велики были претерпеваемые семьей лишения и сколь ни горьки постигавшие их каждый день разочарования, девушки не прекращали усердно заниматься музыкой и другими предметами, и руки их, ослабевшие от нужды и горя, выполняли заданный урок не менее ревностно, чем тогда, когда стремление обучиться различным искусствам было вызвано одним лишь избытком. Внимание, которое мы уделяем тому, что украшает нашу жизнь, когда нам в ней не хватает самого насущного, - звуки музыки, раздающиеся в доме, где ежеминутно шепчутся о том, как достать денег на хлеб, подчинение таланта нужде, утрата им всей широты и восторженной страстности, которые он несет с собою, и замена всего этого соображениями пользы и выгоды, которые из него можно извлечь, - вот едва ли не самая горькая борьба, которая когда-либо велась между двумя противоположными силами: природными стремлениями человека и препонами, которые им воздвигают обстоятельства его жизни. Однако сейчас произошло нечто такое, что не только поколебало решение Инесы, но и повлияло на чувства ее, так что она не могла ничего с собою поделать. Музыкальные упражнения, которые

дочери ее исполняли с большим прилежанием, всегда доставляли ей радость; теперь же, когда она услышала, что на следующий день после похорон бабушки девушки снова принялись играть на своих гитарах, звуки эти острым ножом вонзились ей в сердце. Она вошла в комнату, где играли дочери, и те повернулись к ней, как всегда улыбаясь и ожидая, что она их похвалит.

Но вместо этого их истрадавшаяся мать в ответ только горько усмехнулась и сказала, что, по ее мнению, с этого дня им уже не следует долее заниматься музыкой. Дочери, которые отлично поняли, что она имеет в виду, прекратили игру и, успев уже привыкнуть к тому, что всякая вещь в доме превращается в средство добыть пропитание для семьи, подумали, что гитары их тоже можно будет сегодня продать, надеясь, что назавтра они смогут воспользоваться для уроков гитарами своих учениц. Они ошибались. В этот же день появились другие признаки растерянности и малодушия. Вальберг всегда относился с большой нежностью и почтением к родителям своим, в особенности же к отцу, который был намного старше, чем мать. Но в этот день, когда принялись делить еду, в нем пробудилась какая-то ненасытная волчья жадность. Инеса содрогнулась от ужаса.

- Подумай только, как много ест отец, он один наедается вволю, нам всем достаются жалкие крохи.

- Пусть это будут крохи, лишь бы отец наш не испытывал ни в чем недостатка, - прошептала Инеса. - Я ведь и сама-то почти ничего не ела, добавила она.

- Отец! Отец! - закричал Вальберг прямо в ухо выжившего из ума старика, - ты наедаешься досыта, а дети у нас голодные! - и он вырвал кусок из рук отца, который только посмотрел на него отсутствующим взглядом и уступил свою долю без малейшего сопротивления. Однако не прошло и минуты, как старик вскочил с места и с какой-то страшной силой выхватил кусок мяса из-под носа своих внучек и тут же его проглотил; его беззубый рот скривился в насмешливую улыбку, ребячливую и в то же время злобную.

- Вы что, ссоритесь из-за ужина? - вскричал Эбергард, появляясь меж ними и как-то странно посмеиваясь. - Берите, тут хватит и на завтра и на послезавтра. - И он кинул на стол свертки с провизией, которой действительно с избытком могло хватить на два дня; сам он был мертвенно бледен. Изголодавшаяся семья набросилась на еду, и никому даже в голову не пришло спросить, почему неестественная бледность его с каждым днем возрастает, почему он так ослабел.

\* \* \* \* \*

Семья Вальберга давно уже жила без прислуги, и, так как Эбергард каждый день куда-то таинственно исчезал, сестрам его приходилось отлучаться из дома, чтобы выполнять разные нехитрые поручения. Красота старшей из дочерей, Юлии, настолько уже бросалась в глаза, что мать нередко ходила вместо нее сама, боясь выпускать ее из дома одну, без провожатого. Но случилось так, что на следующий вечер она была занята неотложными домашними делами и все же позволила Юлии выйти одной, чтобы купить провизию на завтрашний день. Она дала дочери свое покрывало и научила ее закутаться в него так, как то делают испанки и как она умела сама, - укрыв наглухо лицо.

Когда Юлия дрожащими шагами вышла из дома, чтобы дойти до лавки, находившейся неподалеку, она нечаянно сбила конец покрывала, и проходивший мимо кавалер успел увидеть, как она хороша собой. Простота, с какой была одета девушка, и поручения, которые она исполняла, вселили в молодого человека надежду, которую он отважился высказать вслух. Юлия убежала от него со смешанным чувством страха и негодования, возмущенная тем, что он позволил себе так оскорбить ее девичью честь; но в ту же минуту глаза ее с какой-то невольной жадностью остановились на горстке золотых монет, сверкнувших у него в руке. Она подумала о том, что родители ее голодают, что силы ее слабеют, что таланты ее теперь никому не нужны.

Золото продолжало сверкать, ею овладели какие-то непонятные ей самой чувства, а бежать от навязчивых чувств - может быть, самый лучший способ их победить. Придя домой, она быстрым движением сунула все сделанные ею покупки в руки Инесы и, хотя до той поры всегда была с ней обходительна и ласкова и во всем ее слушалась, на этот раз решительно заявила своей опешившей матери (чьи мысли обычно не выходили из круга повседневных забот), что она скорее согласится голодать, только больше никогда не выйдет на улицы Севильи одна.

Когда Инеса ложилась спать, ей показалось, что она слышит стон, доносящийся из комнаты, где жил Эбергард и куда после того, как им пришлось продать постельные принадлежности, старший сын их попросил поселить и Морица, заявив, что теплота его тела заменит его маленькому брату одеяло. Снова послышался стон, но Инеса не решилась будить Вальберга, который забылся тем глубоким сном, который нередко бывает спасителен и для того, кого одолевает нужда, и для того, кто пресытился наслаждением. Спустя несколько минут, когда стоны прекратились и она уже думала, что это не более, чем эхо той волны, которая непрерывно бьет в уши несчастным, полог ее постели раздвинулся и она увидела перед собою своего малыша: пятна крови покрывали его грудь, руки и ноги.

- Это кровь Эбергарда, - вскричал он, - он истекает кровью. Я весь в его крови! Встаньте, маменька, и спасите Эбергарда!

Неожиданное появление сына, голос его, произнесенные им слова, - все это показалось Инесе каким-то страшным сном, пока наконец настойчивость, с которой взывал к ней Мориц, ее меньшей, которого она в глубине души любила, может быть, больше всех, не заставила ее быстро вскочить с постели и кинуться за мальчиком, который, весь в крови, бежал, шлепая по полу своими босыми ножками, пока они не оказались в соседней комнате, где лежал Эбергард. Несмотря на все свое волнение и весь страх, она ступала так же легко, как и Мориц, чтобы только не разбудить Вальберга.

Лунный свет ярко освещал сквозь незанавешенное окно убогую каморку, в которой стояла только ничем не прикрытая кровать: охваченный судорогами, Эбергард сбросил с себя простыню. Когда Инеса подошла к кровати, он лежал, исполненный какой-то мертвенной красоты, а сияние луны освещало его так, что фигура эта могла прельстить Мурильо, Сальватора Розу {3} или любого из тех художников, которых вдохновляет человеческое страдание и которым дорога возможность изобразить красоту тела и лица в минуты безысходных мук. Даже картины, изображающие святого Варфоломея, с которого палач содрал кусок кожи и держит его в руке, и святого Лаврентия, когда его жарят на решетке {4} и прутья оттеняют формы его стройного тела, в то время как обнаженные рабы раздувают горящие уголья, и те не впечатляли так, как та полуобнаженная фигура, которую в этот миг увидела перед собою Инеса. Эбергард лежал, раскинув белые как снег руки и ноги, словно для того, чтобы в них мог взглядеться скульптор, и лежал недвижно, словно для того, чтобы тело его и цветом своим и положением теперь уже казалось таким, каким оно должно было стать, - изваянным из мрамора. Руки его были закинута над головой; из открытых на той и на другой руке вен тоненькими струйками текла кровь. Эта же кровь запеклась на его светлых вьющихся волосах; губы его посинели; когда мать наклонилась над ним, исторгавшийся из них стон становился все слабее и слабее. Его истерзанный вид заставил Инесу за миг позабыть все прежние чувства и страхи, и она стала громко призывать на помощь мужа. Совсем еще сонный, Вальберг шатаясь вошел в комнату. Инеса могла только слабеющей рукой показать ему на сына; но он и без нее все уже увидел. Несчастный отец тут же кинулся за врачом; ему пришлось просить, чтобы помощь оказали бесплатно, а по-испански он говорил совсем плохо; стоило ему постучать к комулибо в дом и сказать два слова, как акцент сразу же его выдавал: в нем узнавали иностранца и еретика, и все двери захлопывались перед ним.

Наконец некий цирюльник и он же лекарь (ибо в Севилье обе эти профессии нередко объединялись в одном лице), с трудом справляясь с зевотой, согласился осмотреть больного и последовал за Вальбергом, захватив с собою корпию и кровоостанавливающие средства. До дома было недалеко, и он вскоре же очутился у постели юного страдальца. Каково же было удивление родителей, когда они заметили по изможденным взглядам, которые сын их бросал на вошедшего, едва только тот приблизился к его постели, по какой-то зловещей усмешке, искривившей его лицо, что он его видел раньше и теперь узнает. Когда же цирюльнику удалось остановить кровотечение и перевязать ему руки, он что-то сказал больному шепотом, и тот в ответ поднес свою обескровленную руку к губам и произнес:

- Не забудьте наш уговор.

Как только цирюльник вышел из комнаты, Вальберг последовал за ним и спросил его, что означают слова, которые он услышал. Вальберг, как все немцы, был человеком горячим, лекарь же, как истый испанец, отличался хладнокровием.

- Завтра вы все узнаете, сеньор, - ответил он, укладывая свои инструменты. - А пока можете успокоиться, я ничего с вас не возьму за лечение, и сын ваш поправится. Что говорить, мы здесь в Севилье почитаем вас за еретиков, но достаточно одного этого юноши, чтобы все члены вашей семьи были признаны святыми, такой великий праведник, как он, может искупить немало чужих грехов.

Сказав это, он удалился.

На следующий день он пришел к Эбергарду снова, и так продолжалось в течение нескольких дней, до тех пор пока юноша окончательно не поправился, и всякий раз отказывался от какой бы то ни было платы, до того дня пока отец, которого нужда сделала до крайности щепетильным и подозрительным, не подкрался к двери и, подслушав их разговор, не узнал связывавшую их роковую тайну. Он не стал сообщать ее жене, однако можно было заметить, как с этого дня он еще больше помрачнел и перестал говорить с женой и детьми о бедственном положении семьи и о том, что можно предпринять, чтобы его облегчить.

Эбергард, теперь уже поправившийся, но все еще бледный, как вдова Сенеки<sup>5</sup>, смог наконец принимать участие в семейных советах и придумывал новые способы изыскивать средства к существованию с таким воодушевлением, которое помогало ему преодолеть его физическую слабость. Но однажды, когда они стали обсуждать, где им добыть деньги на завтра, они увидели, что отца с ними нет. В конце концов Вальберг все же вошел в комнату, но не принял никакого участия в их разговоре. С мрачным видом стоял он, прислонившись к стене, и когда Эбергард или Юлия, сказав что-нибудь, всякий раз умоляюще глядели на него, он угрюмо от них отворачивался. Инеса, делавшая вид, что шьет, хотя пальцы ее все время дрожали, а игла тыкалась невпопад, знаками попросила детей не обращать на него внимания. Голоса их тотчас же сделались тише, и головы склонились ближе друг к другу. Все сошлись на том, что единственное, что им осталось, это собирать милостыню, и было решено, что начинать надо не откладывая, в этот же вечер. Несчастный отец до наступления темноты стоял, прислонившись к потрескавшейся панели стены, покачиваясь из стороны в сторону. Инеса чинила детское платье; оно до такой степени изнашивалось, что всякая попытка поставить на нем заплату кончалась новым разрывом ткани, так что нитка казалась более надежной, чем сама материя по краям дыр.

Дед, которого Инеса все так же заботливо усаживала в широкое кресло (ибо сын его сделался совсем равнодушен к отцу), следил за движением ее пальцев и сказал с той капризной раздражительностью, которая бывает у впадающих в детство стариков:

- Да, ты вот наряжаешь их в вышитые платья, а мне приходится ходить в лохмотьях. В лохмотьях! - повторил он, показывая на ту более чем скромную одежду, которую эта нищая семья с трудом могла для него добыть.

Инеса стала его успокаивать и показала ему свою работу в доказательство того, что она всего-навсего чинит дочерям их старые платья. Но, к своему несказанному ужасу, она услышала, что муж ее пришел в крайнее возбуждение от нелепого бормотанья старика и ругает его самыми грубыми словами. Для того чтобы старик не мог их расслышать, она подсела ближе к нему, пытаясь привлечь его внимание к себе и своей работе. Это оказалось делом нетрудным, и все шло хорошо до тех пор, пока им не настало время разойтись и отправиться мыкать горе в поисках денег. Тут в сердце Юлии пробудилось совершенно новое, незнакомое чувство. Девушка вспомнила, что с ней произошло накануне вечером; перед глазами у нее неодолимым соблазном сверкнуло золото, в ушах зазвучали нежные речи обходительного юного кавалера. Она видела, что вся ее семья погибает от нужды; она понимала, что все они слабеют с каждым днем, и всякий раз, когда она окидывала взглядом грязную комнату, золото это сверкало все ярче. Слабая надежда, которую поддерживало, может быть, еще более слабое наущение вспыхнувшего в ней тщеславия, не давало ей теперь покоя.

"А что если он. полюбит меня, - твердила она себе, - и, может быть, даже сочтет меня достойной сделаться его женой. - Но тут же ею снова овладевало отчаяние. - Я должна умереть от голода, - думала она, - если мне суждено вернуться с пустыми руками, да и почему бы мне не умереть, если смертью своей я могу облегчить участь моей семьи! Что до меня, то я не переживу своего позора, а они... они могут его пережить, - они же ничего о нем не узнают!" - и, выйдя из дому, она пошла не туда, куда устремились все, а в противоположную сторону.

Настала ночь; пробродив по улицам, семья Вальберга по одному возвращалась домой. \_Юлия пришла последней\_. И оба брата ее и сестра что-то все же насобирали: они достаточно знали испанский, чтобы объяснить прохожим, чего они от них хотят. Когда старик увидел принесенные ими жалкие гроши, которых едва хватило бы на то, чтобы накормить меньшого, на лице его появилась бессмысленная улыбка.

- А ты что, ничего не принесла, Юлия? - спросили родители.

Девушка стояла поодаль от них и молчала. Отец повторил свой вопрос, возвысив голос, в котором послышался гнев. От звука этого голоса она встрепенулась, кинулась к матери и спрятала голову у нее на груди.

- Ничего! Ничего! - вскричала она глухим и надорванным голосом, - я пробовала... мое слабое и порочное сердце на какой-то миг смирилось уже с этой мыслью... только нет... нет, даже ради того, чтобы спасти вас всех от гибели, я бы все равно не могла!.. Я вернулась домой, чтобы умереть первой!

Родители ее содрогнулись от ужаса: они все поняли. В горькой муке они благословляли ее и плакали оба, - но не от горя. Принесенная еда была разделена между всеми. Юлия сначала упорно отказывалась есть, говоря, что она не внесла своей доли, но остальные члены семьи стали горячо и настойчиво упрашивать ее сесть с ними за стол, и она в конце концов вынуждена была согласиться.

Именно тогда, когда они делили между собой еду, думая, что это уже последний в их жизни ужин, у Вальберга неожиданно начался приступ безудержной ярости, граничившей с помешательством, которое, вообще-то говоря, последнее время уже начинало себя проявлять. Как видно, он заметил, что жена его отложила самый большой кусок для его отца (что, впрочем, она делала каждый раз), и сделался недоволен и мрачен. Сначала он искоса на нее посмотрел и что-то гневно процедил сквозь зубы. Потом заговорил громче, но все же не настолько громко, чтобы слова его мог понять тугой на ухо старик, который в это время неторопливо поедал свой убогий ужин. Вслед за тем мысль, что дети его страдают, повергла его вдруг в дикое негодование, и, вскочив с места, он закричал:

- Мой сын продает хирургу кровь, чтобы спасти нас от голодной смерти! {1\* Так

действительно было в одной французской семье несколько лет назад.} Моя дочь готова стать публичной девкой, чтобы заработать нам на еду! А что делаешь ты, старый чурбан? Вставай! Сейчас же вставай и ступай сам просить для нас милостыню, не то помрешь с голоду! - и он замахнулся на беспомощного жалкого старика.

Увидав эту страшную картину, Инеса громко вскрикнула, а дети кинулись на защиту деда. Их несчастный, ожесточившийся до безумия отец осыпал их ударами, которые они все безропотно сносили, а потом, когда эта буря улеглась, сел и заплакал.

В эту минуту, к общему изумлению и к ужасу всех, за исключением Вальберга, старик, который с того дня, когда похоронили его жену, передвигался только от кресла к кровати и обратно, да и то не без чьей-то помощи, внезапно поднялся и, как бы исполняя волю сына, твердым и размеренным шагом направился к двери. Дойдя до нее, он остановился, оглядел всех, казалось, тщетно что-то пытаясь вспомнить, и медленно вышел из дома. И этот его последний бессмысленный взгляд, словно брошенный мертвецом, который сам идет к открытой могиле, поверг всех в такое оцепенение, что никто даже не преградил ему пути, и прошло несколько минут, пока Эбергард опомнился и кинулся за ним вслед.

В это время Инеса отпустила детей и, подойдя к их несчастному отцу, села рядом с ним и пыталась уговорить его и смягчить его гнев. Звук ее голоса, очень кроткий и нежный, казалось, действовал на него сам по себе. Вальберг сначала повернулся, потом склонил голову ей на плечо и неслышно заплакал; вслед за тем он бросился ей на грудь и тут уже громко зарыдал. Инеса воспользовалась этой минутой, чтобы дать ему почувствовать тот ужас, который ощутила она сама от оскорбления, нанесенного им отцу, и заклинала его вымолить у бога прощение за грех, который в ее глазах был близок к отцеубийству. Муж спросил ее, на что она намекает, и, когда вся дрожа она пробормотала: "Твой отец... - твой несчастный старик отец!", - он в ответ только улыбнулся и с какой-то загадочной и неестественной проникновенностью, от которой кровь у нее похолодела, наклонил голову и прошептал ей на ухо:

- У меня нет отца! Он умер... давно умер! Я похоронил его в ту самую ночь, когда вырыл могилу для матери! Бедный старик, - добавил он и вздохнул, - это для него лучше: если бы он остался в живых, уделом его были бы слезы, и, может статься, он бы умер от голода. Но послушай, Инеса, никому только не говори... я все никак не мог понять, куда девается наша провизия, ведь то, чего вчера еще нам хватало на четверых, сегодня неостанет и на одного. Я стал следить и наконец... только смотри, никому об этом ни полслова... я открыл, что это домовой; он каждый день приходил к нам в дом. Он принимал обличье старика в лохмотьях и с длинной седой бородой и поедал все, что только было оставлено на столе, а дети-то в это время голодали! Я отколотил его, проклял, выгнал вон из дома именем Всемогущего, и он исчез. И обжора же был этот домовой! Только он уже больше не будет нас мучить, и нам теперь хватит. Хватит! - повторил несчастный, невольно возвращаясь к привычному ходу мыслей, - хватит на завтра!

Потрясенная этими явными доказательствами безумия, Инеса не стала ни прерывать мужа, ни в чем-либо ему перечить: она пыталась только успокоить его, а в душе молила бога не дать ей самой сойти с ума, что, вообще-то говоря, легко могло случиться. Вальберг заметил во взгляде ее недоверие и со свойственным иногда сумасшедшим - тем, что сохраняют еще долю рассудка, оживлением сказал:

- Уж если ты этому не веришь, то тем более не поверишь, когда я расскажу тебе о страшной встрече, которая у меня была недавно.

- Милый ты мой, - воскликнула Инеса, которая из этих слов поняла, что вызвало тот страх, который начал преследовать ее с недавних пор, после того как она заметила некоторые странности в поведении мужа, страх, перед которым даже приближение голодной смерти,

казалось, значило очень мало, - боюсь, как бы опасения мои не подтвердились. Муки нужды и голода я еще в силах была перенести, в силах была видеть, как ты их переносишь, но ужасные слова, которые последнее время я от тебя слышу, - ужасные мысли, которые прорываются у тебя во сне... стоит мне подумать о них, и меня начинают одолевать догадки...

- Не надо никаких догадок, - перебивая ее, сказал Вальберг. - Я все тебе расскажу сам. - И по мере того как он говорил, безумное выражение на его лице сменилось совершенно здоровой и спокойной уверенностью; от прежней напряженности всех его черт не осталось и следа; взгляд сделался пристальным, голос - твердым. - С тех пор как нас одолела нужда, каждый вечер я выходил из дома, чтобы добыть что-нибудь на пропитание; я умолял помочь мне каждого прохожего на моем пути. А последние дни я каждый вечер встречаюсь с Врагом рода человеческого; он...

- Родной мой, прошу тебя, оставь эти ужасные мысли, это все твое расстроенное воображение.

- Выслушай меня, Инеса, я вижу это существо перед собою так же, как вижу тебя; я слышу его голос так же отчетливо, как ты сейчас слышишь мой. Нужда и нищета не очень-то располагают к игре воображения; они слишком крепко держатся за действительность. Голодный человек никогда не станет воображать, что он сидит на каком-нибудь пиршестве, что перед ним расставлено множество яств и что искуситель приглашает его сесть за стол и наесться досыта. Нет, Инеса, нет, сам дьявол или некий верный посланец его, принявший человеческий облик, осаждает меня каждую ночь, и я не знаю, как мне избавиться от расставленных им сетей.

- А как он выглядит? - спросила Инеса, делая вид, что хочет продолжать начатый разговор, но втайне надеясь, что сумеет придать мыслям его другое направление.

- Это человек средних лет, серьезный и степенный на вид; в облике его нет ничего особенно примечательного, за исключением того, что глаза его издают такой блеск, какого люди вынести не в силах. Иногда он устремляет их на меня, и я чувствую, что подпадаю под власть его чар. Каждую ночь он осаждает меня, и мало кто способен, подобно мне, выдержать этот соблазн. Он предложил мне - и доказал, что это в его власти, - доставить мне все, чего только ни пожелает охваченный жадностью человек, при условии, что... Нет! Не могу я произнести этих слов! Это такой ужас, такое святотатство, что, даже когда слышишь их, грех твой, должно быть, не меньше, чем когда ты это условие принимаешь!

Все еще отказываясь ему верить и вместе с тем считая, что лучший способ излечить его от навязчивого бреда - это снисходительность и ласка, Инеса спросила его, что же это за условие. Хоть, кроме них двоих, в комнате никого не было, Вальберг нашел возможным сказать это только шепотом, и тогда Инеса, рассудок которой оставался непомятым и которая была женщиной спокойной и уравновешенной по натуре, вспомнила вдруг, что еще в юные годы, задолго до того, как она уехала из Испании, ей привелось слышать о некоем существе, которому было позволено странствовать по стране и была дана власть искушать подобными же предложениями людей, попадавших в беду, причем ни один человек никогда не соглашался принять его условия; не соглашались даже те, кому грозила гибель и чье отчаяние доходило до предела. Инесу никак нельзя было назвать женщиной суеверной, однако, сопоставив свои прежние воспоминания с тем, что теперь она услышала из уст мужа, она содрогнулась при мысли о том, что и он может быть подвергнут такому же искушению. И она старалась сделать все, что только могла, чтобы душевные силы его не ослабели и он ни при каких обстоятельствах не пошел на сделку с совестью, и пустила для этого в ход такие доводы, которые годились независимо от того, сделался ли он жертвой своего расстроенного воображения или его действительно преследовал дьявол. Она напомнила ему, что если даже в Испании, где вершит свои мерзкие дела антихрист и где всемогуща власть колдовских чар и духовных соблазнов, -



если даже в этой стране страшное предложение, на которое, он намекал, отвергалось с таким явным отвращением, то человеку, исповедующему чистое евангельское учение, надлежит отказаться от него с удесятенной силой - и чувства, и священного негодования.

- Не ты ли, - сказала эта самоотверженная женщина, - не ты ли первый научил меня, что спасительные истины следует искать только в Священном писании; я поверила тебе и во имя этой веры сделалась твоей женой. Мы соединены с тобою не так плотью, как духом ибо плоти нашей, как видно, не суждено долго длиться. Ты старался привлечь мое внимание не к рассказам о легендарных святых, а к житиям первых апостолов и мучеников истинной церкви. В творениях этих я ничего не читала о "добровольном послушании" или о причиняемых самому себе напрасных страданиях, а читала о том, что избранный богом народ был "унижен, мучим, гоним". Так неужели же мы осмелимся роптать, что нам достается участь тех, на кого ты указывал мне как на пример того, как надо переносить страдания? Их лишали всего, им приходилось скитаться в овечьих и козьих шкурах; истекая кровью, они боролись с грехом. Так неужели же после того, как деяния их, о которых мы читали с тобою вместе, воспаляли наши сердца, мы еще осмелимся сетовать на нашу судьбу? О горе нам! Чего стоят чувства до тех пор, пока жизнь не подвергнет их испытаниям! Как же мы обманывали себя, думая, что разделяем веру этих праведников, не помышляя даже об искусах, которые посылаются человеку, чтобы он все это доказал на деле. Мы читали о тюрьмах, о пытках и о кострах! А потом закрывали книгу и садились за вкусную еду, и засыпали в мягкой постели. Ублаженные всеми земными уладами, мы успокаивали себя мыслью, что, если на нашу долю выпадут такие же испытания, какие выпали им, мы выдержим их так же, как выдержали когда-то они. И вот \_наш\_ час настал, жестокий и страшный час!

- Да, он настал, - содрогаясь повторил за ней муж.

- Так неужели же мы теперь должны отступить? - спросила жена. - Предки твои в Германии были первыми, которые приняли преобразованную религию; ты же сам мне рассказывал, как они проливали за нее кровь, как горели за нее на огне. Можно ли сделать большее в подтверждение ее правоты?

- Думаю, что да, - сказал Вальберг, в глазах которого был ужас, принять за нее голод! О Инеса, - вскричал он, судорожно хватая ее за руку, я понял... понимаю сейчас, что смерть на костре - это милость божия в сравнении с муками нескончаемого медленного голодания, в сравнении с той смертью, какою мы умираем день ото дня и все-таки не можем никак умереть! Что это такое? - воскликнул он, вдруг ошупывая руку ее, которую держал в своей.

- Это моя рука, милый, - ответила жена, вся дрожа.

- Твоя рука! Не может этого быть! У тебя всегда была такая свежая и нежная кожа, а тут что-то сухое; неужели это человеческая рука?

- Да, это моя рука, - сказала его жена и заплакала.

- Значит, ты очень изголодалась, - сказал Вальберг, словно пробуждаясь ото сна.

- Все мы последнее время голодаем, - ответила Инеса, радуясь тому, что к мужу ее возвращается рассудок, пусть даже ценою такого тягостного признания. - Всем нам пришлось нелегко, но мне было легче всех. Когда семья голодает, дети думают о еде, а мать - только о детях. Я довольствовалась самым малым; мне хватало, право же, мне даже не особенно хотелось есть.

- Тсс! - перебил ее Вальберг, - что за странные звуки, слышишь? Точно хрипит умирающий.

- Это дети стонут во сне.

- Отчего же они стонут?

- Наверное, от голода, - сказала Инеса, невольно возвращаясь к тягостной, но ставшей уже привычною мысли, что бедствиям их нет конца.

- А я преспокойно сижу и слушаю их стоны! - вскричал Вальберг, вскакивая со стула. - Я сижу и слушаю, как в их безмятежный сон вторгаются муки голода, а ведь стоит мне только сказать одно слово, и я могу засыпать эту комнату целыми горами золота, и за это мне придется заплатить только...

- Заплатить чем? - спросила Инеса, прижимаясь к нему. - Чем? Подумай об этом! Что может быть для человека дороже души? О, пусть лучше мы будем голодать, пусть лучше мы все умрем и тела наши будут гнить у тебя на глазах, только не губи свою душу, не соглашайся на этот страшный...

- Выслушай меня, женщина! - воскликнул Вальберг, устремляя на нее взгляд, почти такой же сверкающий и неистовый, как взгляд Мельмота, от которого он, должно быть, и перенял этот слепящий блеск. - Выслушай меня! Я погубил свою душу! Те, которые умирают в муках голода, не знают бога, да он им и не нужен; если я останусь тут голодать вместе с моими детьми, то можно быть уверенным, что я все равно буду кощунствовать и осыпать проклятиями того, кто меня сотворил. Так не лучше ли сразу отречься от него на тех страшных условиях, которые мне предлагают? Послушай, что я тебе скажу, Инеса, и не дрожи. Видеть, как дети мои умирают от голода, для меня все равно, что порешить с собой и остаться на веки веков нераскаянным грешником. А если я заключу этот страшный договор, я ведь смогу еще когда-нибудь раскаяться, смогу его расторгнуть! Тут еще есть какая-то надежда, а там там никакой, никакой! Руки твои обнимают меня, но от прикосновения их меня обдаёт холодом! Ты вся исхудала, стала как тень! Укажи мне какой-нибудь другой способ накормить семью, и я оплую Искусителя, я прогоню его прочь! Но что мне еще придумать? Так пусти же меня, пусти, я пойду к нему! Ты будешь молиться за меня, Инеса, не правда ли? И дети тоже? Нет, пусть они лучше не молятся за меня! Я поддался отчаянию, я позабыл, что должен молиться, и теперь их молитвы станут для меня упреком. Инеса! Инеса! Как? Неужели это уже не ты, только бездыханное тело?

Так оно действительно и было: несчастная жена, лишившись чувств, упала к его ногам.

- Благодарение богу! - восхищенно вскричал он, увидев, что она лежит перед ним без признаков жизни. - Благодарение богу, одно только сказанное мною слово ее убило. Насколько же легче умереть от слова, чем от голода! Для нее было бы счастьем, если бы я задушил ее этими вот руками! Теперь дело за детьми! - вскричал он.

Страшные мысли пронеслись в его лихорадочно возбужденном, расстроенном мозгу, обгоняя и расталкивая друг друга; в ушах у него ревело бушующее море, у ног его расплескались тысячи волн - и все это была не вода, а кровь.

- Теперь дело за детьми, - повторил он и стал ошупью искать что-нибудь тяжелое, чтобы тут же их прикончить. В это время он левой рукой нечаянно коснулся правой, и от этого прикосновения вдруг вскрикнул, словно то было лезвие палаша. - Хватит с них и этого; они будут сопротивляться, начнут умолять, и тогда я скажу, что мать их лежит мертвая у моих ног, - что они на это ответят? Нет, погодите, - пробормотал несчастный, спокойно усаживаясь. А если они вдруг примутся плакать, что я скажу им тогда? Юлия и Инеса, тетка своей матери, и Мориц, бедный малыш... он голоден и все равно улыбается, и улыбки эти для меня хуже, чем проклятия! Я скажу им, что их мать умерла! вскричал он и шатаясь направился к дверям детской. - Умерла без единого удара - вот мой ответ им, вот их судьба.

Тут он споткнулся о бесчувственное тело жены; душевные муки его достигли предела того, что может выдержать человек.

- Люди! Люди! - закричал он. - К чему вы стремитесь, к чему воспламеняетесь страстью? На что надеетесь и чего страшитесь? Во имя чего вы боретесь и над чем торжествуете победу? Поглядите на меня! Поучитесь у такого же человека, как вы, у того, кто произносит свою последнюю страшную проповедь над мертвым телом жены, кто подбирается к своим спящим

детям, надеясь, что и они превратятся в такие же мертвые тела, как она, и что падут они от его руки! Слушайте меня, люди всего мира! Откажитесь от ваших надуманных нужд, от раздутых желаний и вместо этого лучше накормите тех, кто голоден, кто ползает у ваших ног и молит лишь об одном куске хлеба! Нет на свете другой заботы, нет другой мысли, кроме этой одной! Пусть же дети потребуют, чтобы я дал им образование, вывел их в люди, обеспечил им положение в свете, и я ничего этого не сделал, - я не признаю себя виновным. Всего этого они могут добиться для себя сами, а могут и прожить без этого, если захотят, только пусть они никогда не просят у меня хлеба, как они просили, как просят еще и сейчас! Я слышу, как они стонут от голода во сне! Люди, люди, будьте мудры, и пусть ваши дети проклинают вас в глаза за все что угодно, но только не за то, что у них нет хлеба! О, это горчайшее из проклятий, и оно звучит тем неумолимей, чем тише его произносят! Оно часто терзало меня, но теперь больше не будет!

И несчастный, спотыкаясь, направился к постелям детей.

- Отец! Отец! - вскричала Юлия. - Ужель это ваши руки? О, пощадите меня, и я буду делать все, все, кроме...

- Отец, дорогой отец! - вскричала Инеса, его другая дочь, - пощадите нас! Завтра, может быть, у нас будет из чего приготовить обед!

Мориц соскочил с постели и, обхватив своими руками отца и плача, проговорил:

- Прости меня, милый папочка, мне приснилось, что в комнату к нам забрался волк, что он нас хватает за горло; о папочка, я уж так давно кричу, что думал, ты никогда не придешь! А теперь... Боже мой! Боже мой! - в это время руки обезумевшего отца сдавили ему горло, - неужели это ты - волк?

По счастью, руки эти совсем обессилели от тех же мучительных судорог, которые понудили их на этот отчаянный шаг. От ужаса дочери его лишились чувств и обе лежали побелевшие, недвижимые, без признаков жизни. У мальчика хватило сообразительности прикинуться мертвым: он растянулся на полу и старался не дышать, когда яростная, но уже ослабевшая рука отца то схватывала его за горло, то отпускала, а потом схватывала опять, и вслед за тем пальцы этой руки разжимались, как бывает, когда судороги проходят.

Когда несчастный отец убедился, что со всеми уже покончено, он вышел из комнаты. Тут он натолкнулся на лежавшую на полу жену. Глухой стон возвестил о том, что страдальца еще жива.

- Что это значит? - спросил себя Вальберг, еле держась на ногах, в беспамятстве и бреде. - Неужели это мертвая упрекает меня, ее убийцу? Или жена моя еще жива и проклинает меня за то, что я не довел до конца начатое дело?

И он занес ногу над телом жены. В эту минуту раздался громкий стук в дверь.

- Пришли! - воскликнул Вальберг; его разгоревшееся безумие, которое заставило его вообразить себя убийцей жены и детей, рисовало теперь перед ним картины суда и возмездия. - Ну что же, постучите еще раз, а не то подымите сами щеколду и входите, как вам больше понравится. Видите, я сижу над трупами жены и детей. Я их убил... признаюсь... вы пришли повести меня на пытку... знаю, знаю, только какие бы это ни были пытки, все равно не будет пытки страшнее, чем когда дети мои умирали у меня на глазах. Входите же, входите, дело сделано!.. Тело моей жены лежит у моих ног, а руки мои обагрены кровью моих детей, - чего же мне еще бояться?

Сказав это, несчастный с мрачным видом опустился в кресло и стал счищать с рук воображаемые пятна крови. Наконец стук в дверь сделался громче, щеколду подняли, и в комнату, где находился Вальберг, вошло трое мужчин. Входили они медленно: двое оттого, что преклонный возраст не позволял им идти быстрее, а третий - от обуревавшего его непомерного волнения. Вальберг не замечал их, глаза его были устремлены в одну точку, руки - судорожно

сжаты; при их появлении он даже не шевельнулся.

- Вы что, не узнаете нас? - сказал тот, кто вошел первым, поднимая фонарь, который был у него в руке. Ворвавшийся в комнату свет озарил всех четверых, и казалось, что это фигуры, сошедшие с картины Рембрандта {6}. Комната была погружена в глубокий мрак, кроме тех мест, куда падал этот яркий свет. Он выхватывал из тьмы недвижимую, словно окаменевшую фигуру Вальберга с печатью беспросветного отчаяния на лице. Рядом с ним стоял священник, друг их семьи, бывший духовник Гусмана; черты его бледного, изборожденного старостью и суровой жизнью лица, казалось, противились улыбке, которая старалась пробить себе путь среди глубоких морщин. Позади него - престарелый отец Вальберга, совершенно безучастный ко всему, что происходило вокруг, за исключением тех минут, когда, вдруг что-то припоминая, он начинал трести своей седой головой, словно спрашивая себя, зачем он здесь и почему он ничего не может сказать. Поддерживал его юный Эбергард; глаза его и все лицо загорались по временам блеском настолько ярким, что он не мог длиться долго и сразу же сменялся бледностью и унылым подавленным видом. Весь дрожа от волнения, он делал шаг вперед, а потом опять подавался назад и прижимался к деду, как будто он не поддерживал его, а, напротив, сам искал в нем поддержки.

Вальберг первым нарушил молчание.

- Я знаю, кто вы такие, - глухим голосом сказал он, - вы пришли схватить меня, вы слышали, что я во всем признался, так чего же вы медлите? Тащите меня в тюрьму, я бы и сам встал и пошел следом за вами, но я что-то прирос к этому креслу, вы должны оторвать меня от него.

В это время жена, которая лежала простертая у его ног, медленными, но уверенными движениями поднялась с полу; из всего виденного и слышанного она, должно быть, поняла только смысл сказанных мужем слов; обняв его, она крепко прижимала его к себе; она как будто хотела этим сказать, что никуда не даст его увести, и смотрела на вошедших, в бессилии своем бросая им грозный вызов.

- Еще один мертвец, - вскричал Вальберг, - восставший из гроба, чтобы свидетельствовать против меня? Нет, час пробил, надо идти - и он попытался встать.

- Не торопитесь, отец, - сказал Эбергард, кидаясь к нему и пытаясь удержать его в кресле, - погодите, есть хорошие вести, и наш добрый друг пришел сообщить их, отец, вслушайтесь в его слова, сам я говорить не могу.

- Это ты, Эбергард, - ответил Вальберг, посмотрев на сына с мрачною укоризной, - и ты тоже свидетельствуешь против меня, а ведь я ни разу даже не поднял на тебя руки! Те, кого я действительно убил, молчат, так неужели же ты станешь меня обвинять?

Теперь все они обступили его; им стало за него страшно, и вместе с тем все порывались хоть чем-нибудь его успокоить; всем хотелось сообщить ему известие, наполнявшее сердца их радостью, и все боялись, как бы груз этот не оказался слишком тяжелым для утлого суденышка, которое накренилось и бессильно качается на волнах: ведь любое дуновение ветерка легко могло превратиться для него в бурю. Воцарившееся безмолвие было нарушено священником, которому его монашеская жизнь не позволяла вникать в те чувства, которые обычно пробуждаются в каждой семье, в те радости и муки, которые неразрывными нитями связывают сердца мужей и жен, родителей и детей. Он понятия не имел о том, что чувствовал Вальберг как муж и как отец, ибо сам никогда не был ни тем ни другим; но он понимал, что добрая весть всегда остается доброй вестью, чьи бы уста ни изрекли ее и чьи бы уши ни услышали.

- Мы нашли завещание! - вскричал он. - Настоящее завещание Гусмана! То, первое, было, да простят меня господь и все святые за эти слова, всего-навсего подделкой. Завещание в наших руках, и согласно ему вы и ваша семья наследуете все богатства Гусмана. Хоть был уже поздний час, я поспешил сообщить вам эту весть; мне с трудом удалось добиться, чтобы настоятель

разрешил мне это, и вот дорогой я встретил старика, которого вел под руку ваш сын; как это он мог выйти в такое позднее время?

При этих словах Вальберг сильно вздрогнул.

- Нашли завещание! - очень громко повторил священник, успевший уже увидеть, что Вальберг совершенно равнодушен к его словам.

- Нашли завещание дяди, - повторил за ним Эбергард.

- Нашли, нашли, нашли! - как эхо повторил дед; не понимая смысла того, что говорит, он машинально повторял одно и то же слово, а потом оглядел всех вокруг, словно прося, чтобы ему объяснили, что все это означает.

- Нашли завещание, милый мой! - закричала Инеса, которой звук этих слов, казалось, возвратил ясность мысли и которая все теперь поняла. Неужели ты не слышишь меня, милый? Мы же с тобой теперь богаты, мы счастливы! Поговори с нами, милый, и не смотри на нас таким пустым взглядом, поговори с нами!

Последовало продолжительное молчание.

- Кто это такие? - спросил наконец Вальберг глухим голосом, показывая на стоящих перед ним людей и впиваясь в них полными ужаса глазами, как будто перед ним было сонмище призраков.

- Твой сын, милый, и твой отец, и наш друг священник. Почему ты так подозрительно на нас смотришь?

- А зачем они все пришли сюда? - спросил Вальберг, Ему еще и еще раз повторили сказанное, но при этом все говорили взволнованно, и овладевшие ими разноречивые чувства мешали каждому из них как следует выразить то, что он хотел. В конце концов безумец как будто все же понял смысл обращенных к нему слов и, оглядев присутствующих, глубоко и тяжело вздохнул. Все притихли и в молчании устремили на него взгляды.

- Богатство! Богатство!.. Слишком поздно оно приходит. Вот посмотрите, посмотрите! - и он указал на дверь комнаты, где находились дети.

Ужасное предчувствие охватило Инесу; она кинулась в комнату и увидела, что обе дочери ее лежат без признаков жизни. Громко вскрикнув, она упала, и прибежавшие на этот крик священник и Эбергард стали приводить ее в чувство, а в это время Вальберг и старик остались вдвоем и уставились друг на друга застывшими, ничего не выражающими взглядами - и это пришедшее вместе со старостью безразличие и вызванное отчаянием оцепенение противостояли жестоким неистовым мукам тех, которые не успели еще утратить способность чувствовать и мыслить. Прошло немало времени, прежде чем девушки очнулись от глубокого обморока, и еще больше, прежде чем оказалось возможным убедить их отца, что его действительно обнимают руки его живых дочерей и что слезы, которые падают на его холодные щеки, действительно их слезы.

Всю эту ночь жена и вся семья пытались побороть овладевшее им отчаяние. Наконец к нему как будто за один миг вернулась память. Он стал плакать; потом, припомнив до мельчайших подробностей все, что с ним было, чем всех до крайности растрогал и поразил, он бросился к старику, который уже совершенно обессилел и безмолвно и безучастно сидел в своем кресле, и с криком: "Прости меня, отец!" положил голову ему на колени...

\* \* \* \* \*

Счастье - великий врачеватель: за какие-нибудь несколько дней все как будто успокоилось. Иногда, правда, им случалось плакать, но это уже не были прежние томительные слезы; они походили теперь на весенние дожди, которые льются поутру и возвещают наступление теплой погоды. Отец Вальберга был настолько слаб, что сын его решил не уезжать из Испании до его кончины, которая не заставила себя долго ждать: спустя несколько месяцев старик умер. Сын

его заменил ему духовника, прояснение памяти, хоть и недолгое и неполное, позволило умирающему вникнуть в тексты Священного писания, которые ему были прочтены, и принять слова божьи с радостью и верой. Вместе с богатством семья приобрела в обществе вес, и друг их священник помог им добиться разрешения похоронить усопшего в освященной земле. После этого вся семья уехала в Германию, где она благополучно здравствует и поныне; но и сейчас еще Вальберг содрогается от страха, вспоминая, как его соблазнял тот, кого он встречал в дни горя и нужды во время своих ночных хождений по городу, и ужас, который вызывает в нем образ искусителя, затмевает все муки голода и нищеты, которые ему и его семье пришлось пережить.

- Есть еще и другие истории, относящиеся к этому странному существу, которые записаны мною ценою больших усилий. Дело в том, что все люди, которых он искушал, почитают несчастье свое за великий грех и стараются сохранять в величайшей тайне все обстоятельства этого наваждения. Если мы с вами встретимся еще раз, сеньор, то я могу рассказать их вам, и вы увидите, что они столь же необычайны, как и та, которую вы только что слышали. Но час уже поздний, и вам не мешает отдохнуть после такой утомительной дороги.

С этими словами незнакомец ушел.

Дон Франсиско продолжал сидеть в кресле, размышляя о необыкновенной истории, которую только что услышал, пока не сказались наконец и поздний час, и усталость после дороги, и напряженное внимание, с которым он следил за рассказом незнакомца, и он постепенно не погрузился в глубокий сон. Спустя несколько минут его, однако, разбудил странный шорох, и, открыв глаза, он увидел, что напротив него сидит какой-то мужчина; поначалу он не узнал его, но очень скоро убедился, что это не кто иной, как тот самый путник, которого накануне хозяин харчевни не пустил ночевать. Сидел он совершенно спокойно, непринужденно расположившись, и в ответ на изумленный взгляд дона Франсиско и на его недоуменный вопрос ответил, что он здесь остановился проездом, что поместили его в этой комнате, но, как видно, произошло это по ошибке; увидев, однако, что остановившийся в ней постоялец спит и нисколько не потревожен его появлением, он позволил себе остаться здесь, но, если его присутствие сочтут нежелательным, он готов удалиться в любую минуту.

Пока он говорил, у дона Франсиско была возможность к нему присмотреться. В выражении лица его было что-то необычное, но что именно, определить он не мог; обращение его нельзя было назвать ни учтивым, ни располагающим к себе, но в манерах его была та непринужденность, которая проистекала, должно быть, скорее от независимости мысли, нежели от привычки вращаться в свете.

Дон Франсиско спокойно и с достоинством поклонился, однако не без какого-то тайного и смутного страха; незнакомец ответил на его приветствие, но так, что и страх этот и отчужденность нисколько не рассеялись. Последовало продолжительное молчание. Незнакомец (имени своего он не счел нужным сообщить) первым нарушил его и принес свои извинения в том, что, сидя в соседней комнате, нечаянно подслушал необыкновенную историю, которую рассказали дону Франсиско, и признался, что она настолько его заинтересовала (при этом он поклонился с какой-то мрачной и натянутой учтивостью), что интерес этот, как он надеется, послужит к оправданию предосудительного поступка, который он себе позволил, подслушав то, что ему отнюдь не предназначалось.

На все это дон Франсиско мог ответить такими же сдержанными поклонами (тело его продолжало оставаться согнутым) и взглядами, с некоторым смущением и беспокойным любопытством устремлявшимися на странного пришельца, который продолжал сидеть неподвижно, решив, должно быть, что принесенных извинений достаточно и он может теперь не уходить из комнаты дона Франсиско.

Снова наступило продолжительное молчание, и прервал его снова неведомый посетитель.

- Если не ошибаюсь, - сказал он, - вы только что слушали странную и ужасную историю о некоем существе, удел которого - искушать несчастных страдальцев, пребывающих в безысходном горе, дабы, ради того чтобы ненадолго облегчить свои преходящие муки, они отказались от всех надежд на вечное блаженство.

- Ничего я такого не слышал, - ответил дон Франсиско, который и вообще-то не мог похвалиться хорошей памятью, а услышанная им длинная повесть и глубокий сон, от которого он только что пробудился, отнюдь не способствовали ее прояснению.

- Ничего? - спросил пришелец отрывисто и сурово, тоном, который поразил дона Франсиско, - ничего? А не упоминалось там разве несчастное существо, общение с которым было для Вальберга, по его собственному признанию, самой тяжелой пыткой, перед которой даже муки голода и те ничего не значили.

- Да, да, - ответил дон Франсиско, что-то вдруг припомнив. - Помню, что там упоминался не то дьявол... не то его посланец... или нечто...

- Сеньор, - перебил его незнакомец с ядовитой усмешкой, которой, однако, Альяга не заметил, - прошу вас, сеньор, не смешивайте лиц, которым выпала честь находиться в близких отношениях друг с другом, но которые вместе с тем весьма не похожи один на другого, каковы дьявол и его слуга, или, скажем, слуги. Не приходится сомневаться, что вам, например, сеньор, которому как правоверному и закоренелому католику пристало ненавидеть Врага рода человеческого, вам не раз, однако, случалось быть у него в услужении, а меж тем вы бы наверное почувствовали себя обиженным, если бы вас вдруг приняли за него самого.

Дон Франсиско перекрестился несколько раз подряд и с присущим ему благочестием принялся заверять незнакомца, что ни разу не старался услужить дьяволу.

- И вы еще смеете это говорить? - возразил его странный гость, отнюдь не возвышая голоса, как того требовал презрительный и наглый вопрос, который он задавал, а напротив, понижая его до самого тихого шепота и пододвигая кресло вплотную к своему ошеломленному собеседнику. - И вы еще смеете это говорить? Вы что, никогда не впадали в заблуждение? Никогда не испытывали нечистых чувств? Разве вами никогда не овладевали на какое-то время ненависть, злоба или месть? Разве вы никогда не забывали делать добро, которое надлежало делать, и всегда помнили о зле, которого делать не следовало? Разве вы никогда не обманывали своих покупателей? И не торжествовали победу над разорившимся должником? Разве в те часы, которые вы каждый день отводили для молитвы, вы не проклинали ваших заблудших братьев, которых вы считали еретиками, и разве, погружая пальцы свои в святую воду, вы не питали надежды, что каждая капля этой живительной влаги отольется им каплями жгучей серы? Разве при виде голодного, невежественного и униженного народа в своем отечестве вы не тешились тем злосчастным и кратковременным превосходством, которое вам давало над ним ваше богатство, и не были убеждены, что колеса вашей кареты катились бы так же мягко, если бы дорога была вымощена головами ваших соотечественников? Правоверный католик, исконный христианин, как вы кичливо зовете себя, скажите, разве это неправда? И вы еще смеете говорить, что вы не слуга Сатаны? Говорю вам, что если только вы хоть раз дали волю похоти, низкому желанию, позволили разыгрываться нечистому воображению, если вы произнесли одно-единственное слово, оскорбительное для сердца человека или наполнившее горечью его душу; если по вашей воле он тащился по жизни, пусть даже не более часа, в тягостных муках, вместо того чтобы парить над нею на легких крыльях; если вы видели, как по щеке его катилась слеза, и не утерли ее своей рукой, или если вы сами исторгали эту слезу из глаз, которые были бы рады встретить вас ласковою улыбкой, - если вы когда-нибудь, хотя бы однажды, совершили это, вы были в этот миг в десять раз больше слугой Врага рода человеческого, чем все те несчастные, которых, воспользовавшись страхом их, слабыми нервами и легковерием, вынудили

признаться, что они вступили в ужасный сговор с Князем тьмы, и которых признание это обрекло гореть в пламени, куда горячее того, что представляли себе их преследователи, обрекавшие их на вечные муки! Враг рода человеческого! - продолжал пришелец. - Увы! До чего же нелепо называть этим именем верховного ангела, утреннюю звезду, низвергшуюся из своей сферы! Есть ли у человека более ненавистный враг, нежели он сам? Если бы он задался вопросом, кого по справедливости следует называть этим именем, то пусть он ударит себя в грудь - и сердце ответит ему: "Вот кого!"

Волнение, с которым говорил незнакомец, возымело свое действие даже на такого тупого и медленно соображавшего человека, каким был дон Альяга. Совесть его походила на упрямую лошадь; только по особо торжественным дням ее впрягали в карету, и она ступала тогда тяжелым, размеренным шагом по хорошо укатанной, ровной дороге; теперь же на нее неожиданно вскочил верхом здоровенный отчаянный ездок, и прищпорил ее, и гнал во весь опор по кочкам и ухабам; и как она ни упиралась и ни противилась этому, она все время ощущала на себе тяжесть седока и резавшие ей рот удила. Дрожа от волнения, дон Франсиско стал поспешно уверять, что никакого союза с дьяволом у него нет и он никогда не выполнял никаких его поручений; впрочем, он тут же оговорился, что злomu духу действительно не раз удавалось его обольстить, но он верит, что пресвятая церковь и все святые заступятся за него и что былые прегрешения будут ему прощены.

Незнакомец (хоть на лице его в эту минуту и появилась жестокая усмешка) сделал вид, что соглашается с ним и в свою очередь принес извинения за свою горячность, сказав, что проистекает она от большого участия, которое он в нем принимает. Объяснение их, которое поначалу как будто и обнадеживало, не повлекло за собой продолжения разговора. Между обоими собеседниками по-прежнему ощущалась какая-то отчужденность, но дело кончилось тем, что незнакомец снова намекнул на подслушанный им странный разговор в комнате Альяги и на последовавший за ним рассказ.

- Сеньор, - добавил он столь многозначительно, что, как ни устал уже его собеседник, он был потрясен, - мне известны все обстоятельства, относящиеся к необыкновенной личности, целыми днями неотступно следившей за бедствиями, которые обрушивались на голову Вальберга, а по ночам искушавшей его в мыслях, - обстоятельства, которых, кроме него самого и меня, никто не знает. Не думайте, что это пустое тщеславие или хвастовство, если я скажу вам, что знаю все, что происходило с этим существом за всю его необыкновенную жизнь, и ни один человек не сможет с такой достоверностью и полнотой удовлетворить ваше любопытство касательно него в случае, если оно появится.

- Благодарю вас, сеньор, - ответил дон Франсиско, у которого от звуков голоса незнакомца и от каждого произносимого им слова кровь застывала в жилах, и он не мог понять, почему. - Благодарю вас, но любопытство мое полностью удовлетворено той повестью, которую мне довелось услышать. Время уже очень позднее, а завтра мне надо рано отправляться в путь; поэтому давайте отложим все то, что вы в дополнение к ней хотели бы сообщить мне, до нашей следующей встречи.

И он поднялся с кресла, надеясь дать этим непрошеному гостю понять, что дальнейшее его присутствие в комнате нежелательно. Однако пришелец, как будто не обратив никакого внимания на этот намек, продолжал сидеть на своем месте. Наконец, словно очнувшись от забытья, он воскликнул:

- А когда это будет?

Дон Франсиско, у которого не было ни малейшего желания поддерживать это новое знакомство, вскользь упомянул о том, что едет сейчас в Мадрид, где живет его семья, которую он не видел уже несколько лет, что он не вполне уверен касательно своего дальнейшего пути,



ибо ему придется дожидаться известий от своего друга и будущего зятя (он имел в виду Монтилью, который должен был жениться на его дочери; при упоминании об этом обстоятельстве незнакомец как-то странно улыбнулся), а также кое от кого из купцов, с которыми он находится в переписке и чьи письма будут иметь для него большое значение. Под конец уже в полной растерянности (ибо присутствие незнакомца распространяло такой холод вокруг, что в сердце его закрадывался ужас и сами слова, которые он произносил, казалось, застывали на лету) он добавил, что никак не может сказать, когда именно ему удастся иметь честь еще раз с ним встретиться.

- Вы не можете, - сказал незнакомец; поднявшись и перекинув плащ через плечо, он оглянулся и страшными глазами посмотрел на своего побледневшего собеседника, - вы не можете, а я могу. Дон Франсиско де Альяга, мы увидимся с вами завтра вечером!

Все это время он продолжал стоять у двери, впиваясь в Альягу глазами, которые в этой тускло освещенной комнате сверкали, казалось, еще ярче. Дон Франсиско поднялся вслед за ним и взирал теперь на своего странного гостя мутным от страха взглядом, но в это мгновение тот неожиданно вернулся и, подойдя совсем близко к нему, приглушенным сдавленным шепотом произнес:

- А вам не хотелось бы увидеть собственными глазами, какая участь постигает тех, кто из любопытства или тщеславия старается проникнуть в тайны этого загадочного существа и дерзает коснуться края покрывала, которым навек окутана его судьба? Если да, то взгляните!

С этими словами он указал на дверь, которая, как дон Франсиско отлично помнил, вела в ту самую комнату, где остановился постоялец рассказавший ему накануне вечером историю семьи Гусмана (или, вернее, историю его родных). Совершенно безотчетно повинуясь движению руки незнакомца и кивку головы, при котором еще раз зловещим блеском сверкнули его глаза (а отнюдь не побуждению собственной воли), Альяга последовал за ним. Они вошли в комнату, тесную, темную и пустую. Незнакомец поднял зажженную свечу, и тусклый свет ее озарил жалкую кровать, на которой лежало окоченевшее мертвое тело.

- Смотрите, - сказал незнакомец, и Альяга, к ужасу своему, узнал в мертвеце того самого человека, в разговорах с которым он провел вечер накануне!

- Подойдите поближе, приглядитесь как следует! - продолжал он, откидывая простыню, единственное, что укрывало того, кто погрузился теперь в вечный сон. - Никаких следов насилия; черты лица не искажены; не было даже судорог. Его не коснулась человеческая рука. Он хотел овладеть ужасной тайной, ему это удалось. Но ему пришлось заплатить за это самую высокую цену, какую когда-либо платил человек. Так погибают все те, в ком тщеславия больше, чем сил!

Глядя на бездыханное тело и слыша страшные слова незнакомца, Альяга подумал было, что надо сейчас созвать обитателей дома и заявить о совершенном убийстве; однако природная трусость, присущая душе торговца, смешанная с другими чувствами, разобраться в которых он не мог и в которых не смел себе признаться, удержала его от этого шага, и он попеременно взирал то на мертвеца, то на столь же бледного, как и он, незнакомца. А тот, указав выразительным жестом на мертвое тело и как бы предостерегая об опасностях, которые влечет за собой праздное любопытство или неосмотрительное посягательство на чужие тайны, повторил:

- Мы увидимся с вами еще раз завтра вечером, - и вышел из комнаты.

Обессиленный от усталости и волнения, Альяга лишился чувств, упал возле мертвого тела и лежал так, пока в комнату не вошли слуги. Они были ошеломлены тем, что на кровати - мертвое тело, и едва ли не меньше тем, что на полу без признаков жизни лежит Альяга. Богатство его и высокое положение были всем хорошо известны, и это обстоятельство побудило их оказать ему немедленно помощь и возобладало над охватившими было их подозрениями и страхом. Тело тут

же снова накрыли простыней, а Альягу слуги перенесли в соседнюю комнату и там принялись приводить его в чувство. Тем временем явился алькальд {7}; узнав, что тот, кто внезапно умер в харчевне, был человеком никому не известным, ибо, будучи всего-навсего писателем, он не занимал никакого положения ни в общественной, ни в частной жизни, и вместе с тем, что другой, тот, что был обнаружен без чувств у его постели, оказался богатым купцом, он с некоторым трепетом вытащил из висевшей у него в петлице роговой чернильницы перо и начертал мудрый вывод, к которому пришел, учинив следствие по порученному делу, а именно: "...что не подлежит сомнению, что в этом доме действительно умер постоялец, но не подлежит также сомнению, что дона Франсиско де Альягу нельзя подозревать в том, что он его убил".

Когда в соответствии с этим справедливый решением дон Франсиско ссадился на следующий день на своего мула, чтобы продолжать путь, некий человек, по всей видимости не принадлежавший к слугам этой харчевни, с подчеркнутым усердием помогал ему вдеть ногу в стремя и т. п., и пока алькальд подобострастно отвешивал поклоны богатому купцу (который успел щедро отблагодарить его за дружелюбие, выказанное ему во время ведения следствия, где против него были все улики), человек этот шепотом, который донесся только до слуха дона Франсиско, произнес:

- Мы увидимся с вами сегодня вечером!

Услышав эти слова, дон Франсиско придержал мула. Он оглянулся, но говоривший бесследно исчез. Дон Франсиско пустился в путь с чувством, которое ведомо лишь немногим и о котором те, кто его испытал, может быть, менее всего склонны говорить.

## Глава XXIX

{\* В этом мире тяжка любовь; И тоска томит без любви; Но всего тяжелее в нем Любви пережить утрату {1}

(греч.).}

Почти весь этот день дон Франсиско провел в пути. Погода стояла теплая, и так как слуги всякий раз укрывали его от дождя и солнца большими зонтами, ехать ему было неплохо. Но он столько лет уже не был в Испании, что теперь совершенно не знал дороги, и ему пришлось всецело положиться на проводника; а так как испанские проводники тех времен своим вошедшим в пословицу вероломством по праву могли соперничать с карфагенянами, то к вечеру дон Франсиско очутился там, где в написанном его соотечественником романе принцесса Микомикона обнаружила Дон Кихота, а именно - "в лабиринте скал" {2}. Он разослал слуг в разные стороны, чтобы разведать, какой дорогой им надо двигаться дальше. Проводник поскакал за ними вслед, причем с такой быстротой, на какую только был способен его измученный мул, и когда, устав ждать, дон Франсиско огляделся вокруг, он увидел, что остался совсем один. Ни погода, ни расстилавшийся перед ним вид никак не могли его приободрить. Все было затянуто густым туманом, и вечер был совсем не похож на те недолгие и ясные сумерки, которые в этих благословенных южных странах предшествуют наступлению тьмы. Время от времени на землю вдруг обрушивался ливень, будто проходящие тучи старались освободиться от своего тяжелого груза; а потом следом за ними тут же приходили другие. Те становились с каждой минутой все чернее и причудливыми гирляндами повисали на каменистых склонах, являя взору путника безрадостную картину. Над ними стлался туман, и они то поднимались из него, то таяли в нем, изменяя контуры свои и положения подобно холмам Убеды {1\* Смотри "Дон Кихот" Сервантеса об Убедийских холмах.}; формы их были такими расплывчатыми, а краски - такими тусклыми, что их можно было принять за мираж; при этом неверном и унылом освещении они превращались то в некие первозданные горы, то в волокнистые гряды облаков.

Дон Франсиско отпустил поводья и стал взывать к Пресвятой деве, прося ее помочь ему. Увидав, однако, что она не внемлет его мольбам и что холмы эти продолжают плыть перед его

растерянным взором, а мула никак не сдвинуть с места, он стал припоминать и призывать всех святых; горное эхо с неукоснительной точностью повторило вслед за ним все их имена, тем не менее ни один из них не нашел времени исполнить то, о чем его просили. Видя, что попал в отчаянное положение, дон Франсиско прищипорил своего мула, и тот понес его галопом по скалистому ущелью, так что из-под копыт только сыпались искры, а стук их отдавался в гранитных теснинах таким гулким эхом, что всадник не мог избавиться от чувства, что за ним гонятся разбойники. Мул мчался что было сил, пока наконец седок, который уже успел изрядно устать и которому стало не по себе от этой быстрой езды, не натянул поводья: в эту минуту он услышал, что позади, совсем близко, скачет еще кто-то. Мул тут же остановился. Говорят, животные каким-то особым чутьем ощущают приближение существ из другого мира. Так это или нет, но мул дон Франсиско, который стоял, словно его приковали к дороге, вслед за тем, услышав топот коня, снова пустился галопом; однако гнавшийся за доном Франсиско всадник мчался с такой быстротой, которой обыкновенному смертному было бы не вынести, и спустя несколько минут настиг Альягу.

Одет всадник был не так, как обычно одеваются едущие верхом; с головы до ног он был укутан в плащ с такими широкими складками, что они совершенно скрывали под собою бока его коня. Как только он поравнялся с доном Франсиско, он откинул верхнюю часть плаща, прикрывавшую ему голову и плечи, и, повернувшись, открыл свое мрачное лицо: это был не кто иной, как таинственный пришелец, посетивший его накануне ночью.

- Ну вот мы с вами и снова встретились, сеньор, - сказал незнакомец все с той же странной усмешкой, - и полагаю, что в этих обстоятельствах встреча со мной вам окажется весьма кстати. Проводник ваш присвоил деньги, которые вы ему дали, и сбежал; слуги ваши не знают дорог, а они в этих краях настолько запутаны, что ничего не стоит сбиться с пути. Возьмите лучше в проводники меня, и, надеюсь, что вы не раскаетесь в своем выборе.

Понимая, что ему не остается ничего другого, дон Франсиско молча согласился, и они поехали рядом. Незнакомец первым нарушил молчание. Он указал на видневшуюся впереди деревушку, где Адыга собирался остановиться на ночлег и до которой, казалось, было уже не так далеко, и вместе с тем заметил, что слуги возвращаются к своему господину, собираясь сообщить ему то же самое. Ободренный этим известием, Альяга снова набрался мужества, поехал более уверенным шагом, проникся доверием к своему спутнику и даже стал не без интереса прислушиваться к его словам, в особенности же после того, как тот предупредил его, что, хотя до деревни совсем недалеко, дорога делает такие петли, что ехать им придется еще несколько часов. Сумев возбудить к себе интерес, незнакомец решил воспользоваться этим сполна. Он стал быстро извлекать из своей богатой памяти одну историю за другой и искусно вплетал в свои удивительные рассказы сведения о странах Востока, в которых Альяге доводилось бывать, об их торговле, обычаях и нравах и, обнаружив при этом основательное знакомство с мельчайшими подробностями всего того, что могло иметь немаловажное значение для негоцианта, до такой степени расположил к себе своего собеседника, что путь их, начатый в страхе, под конец сделался тому даже приятен, и он с удовольствием (хотя и не будучи в силах преодолеть некоторых воспоминаний, от которых ему становилось не по себе) услышал, что незнакомец намеревается расположиться на ночлег в той же харчевне, что и он.

Во время ужина незнакомец удвоил свои усилия и закрепил достигнутый им успех. Человек этот действительно умел расположить к себе тех, кому по тем или иным причинам хотел понравиться. Его незаурядный ум, обширные знания и отличная память делали общение с ним приятным для людей, ценивших талант и любивших послушать занимательные рассказы. Он знал великое множество всевозможных историй, и точность, с какой он описывал все обстоятельства, при которых они происходили, заставляла думать, что сам он всякий раз был их

участником. А в этот вечер, чтобы расположить к себе своего собеседника и ничем не омрачить произведенного на него впечатления, он старательно удерживал себя от вспышек страсти, приступов безудержной ненависти к людям, проклятий и той едкой и жгучей иронии, которыми в другое время он не преминул бы приправить свои рассказы, дабы слушатель его пришел в замешательство, а он этим наслаждался.

Таким образом, вечер они провели приятно, и только когда со стола уже убрали ужин и поставили на него плошку, при свете которой Альяга оказался опять вдвоем с незнакомцем, образы минувшей ночи зловещим видением пронеслись перед его взором. Ему вдруг почудилось, что в углу лежит мертвец и машет ему рукой, словно призывая его бежать отсюда. Видение мгновенно исчезло; он поднял глаза: кроме них двоих, в комнате никого не было. Он напряг все силы, чтобы преодолеть этот страх и вести себя с должной учтивостью, и приготовился выслушать историю, на которую собеседник его не раз намекал в разговоре и которую ему, как видно, очень хотелось рассказать.

Намеки эти пробудили в Альяге малоприятные воспоминания, но он видел, что избежать этого все равно не удастся, и, набравшись мужества стал слушать.

- Я бы никогда не позволил себе, сеньор, - сказал незнакомец, и на лице его появилось выражение проникновенного участия, какого Альяга до этого ни разу не замечал, - я бы не позволил себе навязывать вашему вниманию историю, которая сама по себе вряд ли может быть вам особенно интересна, если бы не считал, что она послужит вам предостережением - действенным и спасительным, сколь бы оно ни было страшно.

- Мне?! - вскричал дон Франсиско, которого, как правоверного католика, слова эти привели в несказанный ужас. - Мне! - повторил он, попеременно взывая то к одному, то к другому святому, а в промежутках исступленно крестясь. - Мне! - продолжал он, раздражаясь негодующими выкриками и угрозами в адрес тех, кто, запутавшись в сетях Сатаны, хочет теперь завлечь в них других, кто сам еретик, колдун или еще что-нибудь в этом роде. Надо, однако, отметить, что из всех напастей он особенно выделял приверженность ереси, ибо зло это, то ли по причине строгости исповедуемой им веры, то ли по каким другим, исследование которых могло бы оказаться небезынтересным для философа, почти не встречалось в Испании, причем негодование свое (которое, разумеется, было совершенно искренним) он выразил таким враждебным обличительным тоном, что сам Сатана, если бы он при этом присутствовал (а говоривший готов был поверить, что враг рода человеческого действительно его слышит), имел бы полное основание принять ответные меры. Напустив на себя важный вид, как то всегда бывает с посредственностью, когда ею движут чувства - будь они искренние или показные, он был уязвлен и смущен странным смехом, которым разразился вдруг незнакомец.

- Вам! Вам! - воскликнул тот после взрывов хохота, которые походили скорее на судороги одержимого, нежели на проявление веселья, пусть даже самого неистового. - Вам! Нашли чем удивить! Да у самого Сатаны при всей его извращенности достаточно вкуса, и он не станет жевать своими железными зубами такой сухой огрызок благочестия, как вы! Нет! Когда я упоминал об интересе, который эта история может пробудить в вас, я имел в виду не вас лично, а другое существо, о котором вам следовало бы заботиться больше, нежели о своей персоне. Словом, почтенный Альяга, можете быть уверены, что за себя вам бояться нечего, поэтому садитесь и слушайте мой рассказ. Занятие торговлей и все те сведения, которые благодаря ей вы получаете о чужих странах, дали вам возможность познакомиться с историей и нравами еретиков, что населяют страну, известную нам под именем Англии.

Дон Франсиско, как и подобало купцу, должен был признать, что англичане действительно люди деловые и поборники свободной торговли и что вести с ними дело и выгодно и интересно; однако (непрерывно при этом крестясь) он самым решительным образом осудил их как врагов

пресвятой церкви и заверил незнакомца, что скорее готов расторгнуть самые выгодные торговые договоры, которые он с ними заключал, чем навлечь на себя подозрение в...

- Да ни в чем я вас не подозреваю, - перебил его незнакомец с улыбкой, которая, однако, была мрачнее, чем выражение горя на человеческих лицах. Прошу вас, не перебивайте меня и слушайте, ибо речь идет о спасении существа, которое для вас должно быть дороже всех ваших соплеменников. Вы достаточно хорошо знаете историю Англии, ее обычаи и нравы; недавно совершившиеся в этой стране события до сих пор еще заставляют говорить о ней всю Европу {3}.

Альяга молчал, и незнакомец приступил к своему рассказу.

----

dakruoengelasasa

## ПОВЕСТЬ О ДВУХ ВЛЮБЛЕННЫХ

В этой еретической стране есть область, именуемая Шропшир {1} ("мне приходилось иметь дело с шрусберийскими купцами, - подумал Альяга, - они отличались отменной точностью во всем, что касалось доставки товаров и оплаты счетов"); там высился замок Мортимер, владельцы которого гордились тем, что род их восходит ко временам норманского завоевания и они ни разу за целых пять столетий не заложили ни единого акра своих земель и не спустили на башне знамени перед надвигающимся врагом. Замок Мортимер продержался во все времена войн, которые вели между собою Стефан и Матильда {2}; он сумел даже устоять перед силами, которые попеременно принуждали его сдаться (а происходило это едва ли не каждую неделю) во время борьбы Йоркского и Ланкастерского домов; с презрением отверг он требования Ричарда и Ричмонда, когда те поочередно сотрясали пальбою зубчатые стены замка и когда войска того и другого доходили уже до Босвортского поля {3}. И действительно род Мортимеров могуществом своим, распространением своего влияния, огромными богатствами и независимостью духа бывал страшен для каждой из враждующих сторон и всякий раз оказывался сильнее.

Во времена Реформации сэр Роджер Мортимер, отпрыск этого могучего рода, решительно перешел в лагерь ее сторонников; и в то время, когда соседние дворяне, как крупные, так и мелкие, посылали на рождестве арендаторам своих земель лишь положенное количество говядины и эля, сэр Роджер вместе со своим капелланом обходил все окрестные дома и раздавал их жителям Библию на английском языке, напечатанную в Голландии Тиндалем {4}. Больше того, приверженность его монарху доходила до таких пределов, что вместе с этой книгой он распространял также сделанную по его заказу довольно грубую гравюру с изображением короля (Генриха VIII), обеими руками раздающего Библии своим подданным, которые, казалось, не успев еще взять ее в руки, поглощали ее на лету, как слово, несущее жизнь.

Во время недолгого царствования Эдуарда {5} семья пользовалась покровительством и любовью короля, и благочестивый сэр Эдмунд, сын и наследник сэра Роджера, постоянно держал раскрытую Библию у себя в зале на окне, дабы слуги, всякий раз, когда им случалось пройти мимо, могли, как он говорил, "почитать на ходу".

В царствование Марии {6} Мортимеров угнетали; у них были конфискованы земли; им грозили расправой. Двое их слуг были сожжены в Шрусбери; говорили, что только выплата большой суммы, которая понадобилась на торжество по случаю приезда Филиппа Испанского {7}, спасла благочестивого сэра Эдмунда от подобной же участи.

Но чему бы ни был обязан сэр Эдмунд своей безопасностью, ей все равно не суждено было длиться долго. Он видел, как его верных старых слуг потащили на костер за те воззрения, которые они от него же восприняли; он самолично провожал их к месту казни; у него на глазах Библии, которые он пытался вложить им в руки, швырнули в огонь, он видел, как их охватило

пламя; едва держась на ногах, он хотел уйти, ноголпа, жестокая и торжествующая, обступила его и не пускала, так что ему пришлось не только сделаться невольным свидетелем этого ужасного зрелища, но даже ощутить на самом себе жар пламени, поглотившего тела страдальцев. Сэр Эдмунд вернулся в замок Мортимер и умер.

Наследник его в царствование Елизаветы яро защищал права реформистов и время от времени роптал на прерогативы. Говорят, что ропот этот обошелся ему недешево: власти обязали его внести три тысячи фунтов, сумму по тем временам неслыханную, на прием королевы и ее двора, но та не соизволила приехать. Деньги тем не менее были внесены, и, говорят, что для того чтобы набрать эту сумму, сэру Орландо Мортимеру помимо всего прочего пришлось продать также своих соколов, которые считались лучшими во всей Англии, графу Лейстеру, \_тогдашнему\_ фавориту королевы {8}. Во всяком случае в семье существовало предание, что, когда сэр Орландо объезжал последний раз свои владения и увидел, как его любимый сокол выпорхнул из рук сокольничьего и порвал свои путы, он воскликнул: "Пусть летит, он знает дорогу к господину моему, лорду Лейстеру".

В царствование Иакова {9} положение Мортимеров сделалось более устойчивым. Влияние пуритан (в ненависти к ним Иаков сумел превзойти их самых ярых противников, ибо всегда видел в них закоренелых врагов своей злосчастной матери) усиливалось с каждым часом. Сэр Артур Мортимер стоял возле короля Иакова на первом представлении "Варфоломеевской ярмарки" {10} Бена Джонсона, когда произносились следующие слова пролога {1\* Смотри пьесу Бена Джонсона, в которой выведен пуританский проповедник-ханжа по имени Хлопотун.}:

На ярмарке, король, вы гость почетный  
Среди купцов, среди богатств несчетных;  
Но есть тут люди, что стыда не имут,  
И непременно шум они поднимут.

- Милорд, - сказал король (ибо сэр Артур был одним из членов Тайного совета), - каково ваше мнение об этом?

- Ваше величество, - ответил сэр Артур, - когда я ехал в Лондон, эти пуритане отрезали моей лошади хвост; они придрались к лентам, которыми он был перевязан, объявили, что точно так же разукрашен тот зверь, на котором восседает одетая в пурпур блудница {11}. Дай бог, чтобы ножницы их не поднимались выше лошадиных хвостов и не доставали до голов королей!

В то время как он произносил эти пророческие слова с участием, но вместе с тем и с явной тревогой, он нечаянно опустил руку на голову принцу Карлу {12} (впоследствии Карлу I), сидевшему рядом с братом своим, Генрихом, принцем Уэльским, крестным отцом которого сэр Артур Мортимер имел высокую честь быть, ибо пользовался большим доверием государя.

Смутные и тяжелые времена, предсказанные сэром Артуром, вскоре настали, хотя ему уже не пришлось их увидеть. Сын его, сэр Роджер Мортимер, человек великой гордости и высоких принципов и непоколебимый в том и другом, арминианин по вероисповеданию {13} и аристократ во всем, что касалось политики, ревностный поборник заблудшего Лода {10} и закадычный друг злосчастного Стреффорда {16}, был одним из первых среди тех, кто склонил короля Карла к крутым и неразумным мерам, приведшим к столь роковому исходу.

Когда разразилась война между королем и Парламентом, сэр Роджер стал и душой и телом на сторону короля: собрав большую сумму, он предпринял тщетную попытку предотвратить продажу королевских драгоценностей в Голландии и вывел пятьсот своих вассалов, вооруженных им за свой счет, для участия в битвах при Эджхилле и Марстон-Муре {16}.

Жена его умерла, а сестра, миссис Анна Мортимер, женщина редкой красоты и большого мужества и благородства и так же, как ее брат, преданная интересам двора, самым блестящим

украшением которого она еще недавно была, управляла его домом; таланты ее, бесстрашие и точность во всех делах сослужили немалую службу делу сторонников короля.

Однако настало время, когда и храбрость, и высокое положение, и преданность королю, и красота оказались бессильными спасти это дело, и из пятисот человек, которых сэръ Роджер вывел на поле брани в помощь своему государю, не более тридцати вернулись назад в замок Мортимер, и притом совершеннейшими калеками. Это было в тот злополучный день, когда короля Карла убедили положиться на недружелюбных и корыстных шотландцев {17}, а те продали его в долг Парламенту, который так этот долг и не уплатил.

Вслед за тем к власти пришли мятежники, и сэру Роджеру, который был одним из видных приверженцев старого режима, пришлось испытать на себе все жестокие меры, которые принимала новая власть. Секвестры и контрибуции, пени за неблагонамеренность и принудительные займы для поддержки дела, которое ему было ненавистно, - все это опустошало полные сундуки старика и угнетало его дух. Ко всем этим тревогам присоединились еще и семейные горести. У него было трое детей; старший сын погиб в битве при Ньюбери {18}, где он сражался на стороне короля, оставив малолетнюю дочь, которую тогда прочили в наследницы огромного состояния Мортимеров. Второй сын перешел на сторону пуритан и, совершая один промах за другим, женился на дочери диссидента {19}, веру которого он принял; следуя обычаю тех времен, он с утра до вечера сражался во главе отряда, а всю ночь проповедовал и молился, в строгом соответствии с тем стихом псалма {20}, на котором он строил свою проповедь и который одновременно служил ему боевым девизом: "Да будут славословия богу в устах их и меч двуострый в руке". Однако у воина-проповедника не хватило сил выдержать все эти сражения мечом и словом; во время Ирландской кампании Кромвеля, когда он отважно возглавил осаду замка Клофен {2\* Смерть же второго сына, "отступника", как его всегда называл отец, уже не могла вызвать в нем ни сожаления, ни глубокой скорби. В течение долгих месяцев я был гостем этого замка; там до сих пор еще живет престарелый отпрыск этого древнего рода. Сын его в настоящее время - главный шериф Королевского графства. Замок этот был разрушен войсками Оливера Кромвеля и восстановлен в царствование Карла II. От прежнего замка сохранилась пятиэтажная главная башня площадью около сорока квадратных футов с просторной комнатой на каждом этаже и узкой лестницей, которая соединяет эти помещения и ведет на вышку. Ветви чудесного ясеня, которым я часто любовался, пробиваются между камнями этой вышки, и одному богу известно, как они проникли туда и как этому дереву удастся расти. Но, так или иначе, яшень этот висится там, и куда приятнее любоваться его зеленой листвой, чем быть ошпаренным кипятком или обожженным раскаленным свинцом, что льют вам на голову из высоких бойниц.}, прежней резиденции О'Муров, принцев Лейке, и когда его обожгло сквозь кожаный камзол струей горячей воды, пущенной из сторожевой башни, он оказался настолько неблагоприятным, что еще час сорок минут проповедовал солдатам на открытом месте перед замком под проливным дождем; заболев, он три дня спустя умер от простуды, оставив после себя, как и брат, малолетнюю дочь, которая продолжала жить вместе с матерью в Англии. В роду существовало предание, что не кто иной, как он, был автором первых строк стихотворения Мильтона "О новых притеснителях человеческой совести во времена Долгого парламента". Во всяком случае, доподлинно известно, что, когда обступившие постель умирающего фанатики принялись петь гимн, он собрал последние силы и громовым голосом произнес:

Верховного прелата низложив,  
Отрекшись и от мысли, и от духа,  
Вы праздную отняли потаскуху  
У тех, чей грех и в вас поныне жив {21}.

Хоть и в силу весьма различных причин, но чувства, которые в сэре Роджере вызвала смерть того и другого сына, были в какой-то степени сходны между собой. Что касается старшего, то боль от его утраты смягчалась мыслью, что умер он за правое дело; мысль эта утешала отца и укрепляла в нем дух.

Когда его старший сын пал в рядах королевской армии и друзья явились, чтобы выразить ему свое участие и соболезнование, старик ответил им словами, достойными самого благородного из героев классической древности: "Плакать мне надо не об умершем сыне, а о живом". Впрочем, слезы он проливал тогда совсем по другой причине.

Во время его отсутствия дочь его, как ни бдительно ее оберегала миссис Анна, поддавалась уговорам пуританских слуг в семействе их ближайших соседей и отправилась слушать проповедника-диссидента по имени Сендел, в то время служившего сержантом в полку, которым командовал Прайд {22}; в промежутках между военными учениями он проповедовал неподалеку от них в пустом амбаре. Это был прирожденный оратор и ревностный поборник своего дела. Пользуясь свободой, царившей в те времена, когда библейские тексты не только уживались с каламбурами, но и составляли с ними порою единое целое, этот сержант-проповедник сам окрестил себя именем "Ты-не-достоин-развязать-на-ногах-у-него-сандалии", иначе говоря, Сендел.

На эти-то слова он и проповедовал, и красноречие его произвело такое сильное впечатление на дочь сэра Роджера Мортимера, что, позабыв о своем благородном происхождении и о приверженности ее семьи королевскому дому, она соединила свою судьбу с этим человеком низкого звания; возмнив к тому же, что счастливый этот союз должен подвигнуть и ее на высокие дела, она уже спустя две недели после своего замужества стала сама выступать с проповедями, причем ухитрилась даже превзойти в этом искусстве двух квакерш {23} и кончила тем, что написала отцу письмо (надо сказать, до крайности безграмотное), в котором объявляла ему о своем решении "претерпеть горе вместе с божьим народом" и грозила, что он будет проклят на веки веков, если не согласится перейти в ту веру, которую исповедует ее муж. Вера эта, однако, переменилась на следующей же неделе, когда Сендел услышал проповедь знаменитого Хью Питерса {24}, и еще раз месяц спустя, когда он повстречался со странствующим проповедником, принадлежавшим к секте антиномианцев {25}, окруженным целой толпой полуголых развязных и пьяных учеников, чьи возгласы: "Мы ничем не прикрытая истина!" - совершенно заглушали оратора "людей пятой монархии" {26}, который проповедовал, стоя на опрокинутой кадке по другую сторону дороги. Сендела познакомили с ним, и, так как наш сержант был человеком сильных страстей, но отнюдь не твердых принципов, он тут же увлекся взглядами упомянутого антиномианца (а всякий раз, когда он уходил с головой в бездну полемики и политических распрей, он затягивал туда и жену) и исповедовал эти взгляды до тех пор, пока ему не привелось услышать еще одного ревнителя истины, на этот раз из числа камеронианцев {27}, постоянным предметом проповедей которого, как прославляющих торжество, так и несущих утешение в горе, была тщетность усилий предыдущего царствования, направленных на то, чтобы навязать шотландцам англиканскую церковь. А так как никакого писаного текста у него вообще не было, он вместо него все время повторял слова Арчи {28}, шута Карла I, который, как только узнал, что шотландцы отказываются принять епископат, воскликнул: "Милорд, кто же из нас дурак?", за что ему задрали рубаху на голову и выгнали вон из дворца.

Так вот Сендел бросался из одной веры в другую, от одного проповедника к другому, пока не умер, оставив вдову и единственного сына. Сэр Роджер объявил овдовевшей дочери о своем решении никогда больше с ней не встречаться, но наряду с этим обещал помощь и покровительство ее сыну, если тот будет вверен его попечению. Вдова была слишком бедна,



чтобы позволить себе отказаться от предложения покинутого ею отца.

Таким образом в замке Мортимер провели детство свое две внучки и внук, положение которых и виды на будущее были весьма различны. Маргарет Мортимер, прелестная, развитая и живая девочка, наследница родовой гордости, аристократических взглядов, а возможно, и всего богатства семьи; Элинор Мортимер, дочь "отступника", не столько принятая, сколько допущенная в дом и воспитанная по всем строгим правилам семьи диссидентов, и, наконец, Джон Сендел, сын отвергнутой дочери, которого сэр Роджер согласился приютить у себя в замке только при условии, что он поступит на службу к семье короля, пусть преследуемой и гонимой; старик возобновил даже переписку с жившими в Голландии эмигрантами, дабы те помогли ему определить его подопечного, которого описывал им в выражениях, заимствованных у пуританских же проповедников как "головню, выхваченную из пожара" {29}.

Так обстояли дела в замке, когда пришло известие о неожиданной попытке Монка вернуть к власти находящегося в изгнании короля {30}. Последствия ее сказались очень скоро и были весьма знаменательными. Через каких-нибудь несколько дней произошла Реставрация, и семья Мортимеров сразу приобрела такое значение, что из Лондона был снаряжен и послан в замок Мортимер нарочный только для того, чтобы принести его обитателям эту весть. Приехал он вечером, как раз в те часы, когда сэр Роджер, которому по настоянию правящей партии пришлось уволить своего капеллана как неблагонамеренного, сам читал своей семье молитвы. Когда старику сообщили, что Карл II вернулся и воцарился опять на престоле, он поднялся с колен, взмахнул шапочкой, которую перед этим почтительно снял со своей седой головы, и голосом, в котором вместо мольбы послышалось торжество, вскричал:

- Господи, ныне отпускаеши раба твоего {31} с миром по слову твоему, ибо очи мои видели спасение твое!

Произнеся эти слова, он упал на подушку, которую миссис Анна положила ему под колени. Внуки его вскочили с колен и кинулись ему на помощь, но было слишком поздно: вместе с последним восклицанием он испустил дух.

Глава XXX

...Думала она

О муках тех, кто в море {1}.

Купер

Известие, послужившее причиной смерти старого сэра Роджера - человека, о котором вполне можно сказать, что он перешел из этого мира в иной спокойно и благостно, - так переходят легким воздушным шагом из узкого коридора в просторную и светлую залу, не почувствовав даже, что пришлось переступить в темноте неровный порог, - означало, что старинному роду возвращают былые почести и владения, которые последнее время так стремительно шли на убыль. Дары, возврат пеней, возвращение отнятых земель и прочего имущества, предложение пенсионеров, провианта и компенсации - словом, все, чем только мог облагодетельствовать семью восторженный и признательный король, ливнем хлынуло на Мортимеров. Все это падало им на головы еще стремительнее, чем бесчисленные пени, конфискации и секвестры - в годы правления узурпатора. В самом деле, король Карл говорил с Мортимерами языком, которым восточные монархи говорили со своими любимцами: "Чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства" {2}. Мортимеры попросили только вернуть им то, что у них было отнято, и так как и в чаяниях своих и в требованиях они оказались тогда более умеренны, чем большинство других просителей, им удалось получить все, чего они хотели.

Таким образом за миссис Маргарет Мортимер (а именно так называли в те времена незамужних женщин) {3} снова признали право быть благородной и богатой наследницей

замка. Она получила немало приглашений явиться ко двору, но, хоть ей и советовали принять их в своих письмах придворные дамы, некогда знавшие ее семью, и уж во всяком случае ее покойного деда, и хотя они были подкреплены письмом от самой Екатерины Браганцской {4}, которое та написала собственноручно, перечисляя в нем, сколь многим король обязан их роду, высокомерная наследница высоких почестей и свободолюбивого духа Мортимеров ответила на все эти письма решительным отказом.

- Из этих башен, - сказала она, обращаясь к миссис Анне, - мой дед вывел своих вассалов и арендаторов на помощь королю, в эти же башни он привел тех из них, кто остался в живых, когда все готовы уже были думать, что дело короля проиграно навсегда. Здесь дед мой жил и умер за своего государя; здесь буду жить и я, и здесь я умру. И я чувствую, что окажу его величеству более действенную помощь, если останусь в своих владениях и буду защищать моих арендаторов и зашивать, - добавила она с улыбкой, - пусть даже сама, с иголкой в руке, наши родовые знамена, столько раз пробитые пуританскими пулями, чем если стану разъезжать в застекленной карете по Гайд-парку или ночь напролет гулять в маске по Сент-Джеймскому парку {1\* Смотри комедию Уичерли, озаглавленную "Любовь в лесу, или Сент-Джеймский парк", где выведена веселая компания, которая является туда ночью в масках и с факелами в руках {5}.}, хотя бы там по одну сторону от меня и оказалась герцогиня Кливлендская, а по другую - Луиза де Керуайль: для них это более подходящее место, чем для меня.

И после этого миссис Мортимер снова принялась за свое рукоделье. Миссис Анна посмотрела на нее взглядом, глубины которого открывались девушке, как страницы книги, а от блеснувших в ее глазах слез на страницах этих еще отчетливее проступала каждая строка.

После того как миссис Маргарет Мортимер решительно отказалась переехать в Лондон, семья вернулась к укладу жизни своих предков, отмеченному размеренностью, степенностью, достоинством и величием, каким он и должен был быть в великолепном и хорошо управляемом аристократическом доме, главою которого сделалась теперь эта достойная его традиций девушка. Однако во всем этом размеренном укладе не было излишней строгости, а однообразное времяпрепровождение отнюдь не ввергало обитательниц дома в уныние: они были слишком привержены высокому образу мыслей и в памяти их были слишком живы деяния предков для того, чтобы они могли прельститься праздностью или начать тяготиться своим одиночеством.

- Как сейчас, - сказал незнакомец, - вижу их в просторной, неправильной формы комнате, обшитой дубовыми панелями с богатой резьбой, потемневшими и похожими на черное дерево. Миссис Анна Мортимер расположилась в амбразуре старинного створчатого окна, верхние стекла которого были великолепно расписаны изображениями герба Мортимеров и картинами легендарных подвигов далеких предков. На коленях у нее книга, которой она очень дорожит {2\* Тейлор. Книга о мучениках {6}.} и на которую устремляет по временам сосредоточенный взгляд, а проникающий сквозь окно свет испещряет темные страницы таким причудливым разнообразием красок, что их можно принять за листы ярко раскрашенного молитвенника во всем великолепии сверкающих на них золота, киновари и лазури.

Неподалеку от нее сидят две ее внучатые племянницы, занятые работой, которая лучше спорится за их оживленным разговором, а поговорить им есть о чем. О бедной женщине, которую они посетили и которой сумели помочь, о наградах, которые они роздали самым трудолюбивым и благонравным из своих подопечных, и о книгах, которые они изучали и которые всегда были к их услугам, ибо книгами было заполнено множество шкафов богатой и хорошо подобранной библиотеки замка.

Сэр Роджер был не только храбрым воином, но и широко образованным человеком. Он не раз говорил, что, так же как арсенал отборного оружия в дни войны, в мирной жизни человеку необходима хорошо подобранная библиотека. И даже все лишения и горести, которые ему

пришлось перенести за последнее время, не помещали ему пополнять ее каждый год.

Внучки его, которых он основательно обучил французскому языку и латыни, читали Мезре, де Ту и Сюлли {7}. По-английски они читали Фруассара в переводе Пинсона {8}, напечатанного в 1525 году готическим шрифтом. Из поэтов, не считая классиков, они уделяли внимание Уоллеру, Донну {9} и тому созвездию писателей, которое светом своим озаряло драматургию последних лет царствования Елизаветы и начало царствования Иакова, - Марло, и Мессинджера, и Шерли, и Форда {10}, *cum multis aliis* {И многих других (лат.)}. Познакомились они и с поэтами континента в переводах Ферфакса {11}; дед их рад был пополнить свое собрание современных авторов латинскими поэмами Мильтона-единственными из тех, которые тогда были напечатаны, ради стихотворения "In quintum novembris" {"На пятое ноября" {12} (лат.)}, ибо сэр Роджер люто ненавидел не только фанатиков, но и католиков.

- Ну так он будет проклят навеки, - сказал Альяга, - это наше единственное утешение.

Таким образом, уединенная жизнь их была не лишена изысканности и тех усад, успокаивающих и вместе с тем возвышающих душу, какие человек обретает тогда, когда полезные занятой разумно сочетаются у него с хорошим литературным вкусом.

Все, о чем они читали и о чем говорили, миссис Анна Мортимер могла объяснить и дополнить тем, что видела на своем веку. В рассказах ее, всегда увлекательных и ярких, точных в мельчайших подробностях, достигавших высот истинного красноречия, когда она повествовала о делах былых времен, нередко вдохновенных, когда религиозное чувство преисполняло ее речь торжественности и в то же время смягчало ее, - всегда было нечто напоминавшее собою налет времени на старинных полотнах, который, умеряя тона, придает им какую-то удивительную силу, отчего в глазах людей, искушенных в искусстве, эти теперь уже потускневшие картины обладают большею прелестью, нежели то, чем они были в давние времена, когда сверкали всей изначальной яркостью своих красок; рассказы эти приобщали ее внучек одновременно и к истории и к поэзии.

В эти знаменательные времена события английской истории, тогда еще не записанные, оставались в преданиях и в памяти тех, кто был их участником и перенес их все на себе (что, может быть, по сути дела одно и то же), и запечатлевались хоть и не с такою точностью, как в трудах современных историков, но гораздо живее и ярче.

О таком вот времяпрепровождении, вытесненном современными развлечениями, упоминает великий поэт этой нации, которого ваша праведная и непогрешимая вера заслуженно обрекает на вечные муки {13}:

Садись в зимний вечер у огня,

\* \* \*

...рассказывать преданья

О давних и жестоких временах

И, спать ложась, все плакали навзрыд.

\* \* \*

Мы вспоминали тягостные дни {14}.

\* \* \*

Когда память так вот становится хранительницей скорби, до чего же добросовестно она исполняет свою обязанность! И насколько мазки художника, который берет краски свои из жизни, из сердца своего, из пережитого им самим, превосходят творения того, кто макает перо в чернильницу и окидывает взглядом покрытые плесенью листы пергамента, чтобы извлечь из них какие-те факты и проникнуться чьими-то чувствами! Миссис Анне Мортимер было что рассказать, и она все это хорошо рассказывала. Если дело касалось истории, она могла вспомнить события, связанные с междоусобными войнами, и, хотя они и были похожи на все

события всех междоусобных войн, достаточно ей было завести о них речь, и характеры людей обретали особую силу, а краски яркость и блеск. Она вспоминала времена, когда она ехала верхом позади брата своего, Роджера, в Шрусбери встречать короля; и почти как эхо звучали в ее устах крики толпы на улицах этого верного королю города, когда Оксфордский университет прислал свою серебряную утварь, чтобы чеканить из нее монеты, потребные для нужд короля. Со спокойным юмором говорила она о том, как королеве Генриетте {15} с трудом удалось выбраться из охваченного пожаром дома и как она потом снова кинулась в огонь, чтобы спасти свою болонку.

Но из всего множества исторических преданий миссис Анна особое значение придавала тому, что относилось непосредственно к ее роду. О доблести и отваге брата своего сэра Роджера она говорила с благоговением, которое передавалось и ее слушателям. Даже получившая пуританское воспитание Элинора и та, слушая ее, не могла удержаться от слез. Миссис Анна рассказывала о том, как однажды ночью, явившись переодетым, король попросил приютить его у них в замке, где были только ее мать и она (сэр Роджер в это время сражался при Йоркшире), и вверил им обеим свое высокое имя и свою несчастную судьбу; ее старуха-мать, леди Мортимер, которой тогда было семьдесят четыре года, постелив королю вместо одеяла свою роскошную, подбитую мехом бархатную Мантию, побрела сама в арсенал и, найдя там какое-то оружие, вручила его шедшим следом за нею слугам, заклиная их преданностью своей госпоже и спасением души огнем и мечом защитить венценосного гостя. А вслед за тем в замок нагрянули фанатики; перед этим они похитили из Церкви все серебро и спалили дом священника, находившийся рядом, и теперь, упоенные своей удачей, потребовали, чтобы им выдали "самого", дабы они могли разрубить его на куски перед господом в Галгале {16}. И тогда леди Мортимер призвала молодого французского офицера из отряда принца Руперта {17}, который находился несколько дней со своими людьми на постое в замке; юноша этот, которому было всего семнадцать лет, выдержал две схватки с противником и дважды возвращался, сам истекая кровью и залитый кровью врагов, нападение которых он тщетно старался отбить. Видя, что все потеряно, леди Мортимер посоветовала королю спастись бегством; она отдала ему лучшего коня из тех, что оставались в конюшне сэра Роджера, чтобы он мог на нем скрыться, а сама вернулась в большую залу, окна которой были уже пробиты пулями; пули эти свистели над ее головой, а двери быстро открывались под ударами ломов и другого инструмента, которым, научив, как им пользоваться, снабдил нападающих кузнец-пуританин, бывший одновременно и капелланом и главой шайки. И вот леди Мортимер упала на колени перед молодым французом, прося его встать на защиту короля Карла, дабы тот мог выбраться из замка целым и невредимым. Молодой француз сделал все, что мог сделать мужчина, и в конце концов, когда после упорного сопротивления, продолжавшегося около часа, замок уступил натиску фанатиков, он, весь в крови, шатаясь, добрался до высокого кресла, в котором недвижно сидела старая леди (обессиленная от усталости и страха), и, уронив свою шпагу, - только тогда, в первый раз, воскликнул: "J'ai fait mon devoir" {Я исполнил свой долг (франц.)} и испустил дух у ее ног. Старуха продолжала сидеть в том же оцепенении, а в это время фанатики произвели опустошение в замке, выпили добрую половину вина, что хранилось в подвалах, проткнули штыками фамильные портреты, которые они называли идолами нечестивого капища, пронизали пулями резные панели, переманили на свою сторону половину женской прислуги и, убедившись, что короля им все равно не найти, из какого-то злобного озорства решили выстрелить по зале из пушки, отчего все разлетелось бы на куски. Леди Мортимер взирала на все равнодушным взглядом до тех пор, пока не заметила, что дуло пушки случайно повернуто в сторону той дороги, через которую вышел из залы король Карл; тут к ней как будто сразу вернулась память, она вскочила с кресла и, кинувшись к пушке, закричала: "Только не туда, туда стрелять я не

дам\_!". И с этими словами она тут же упала, чтобы больше не встать.

Когда миссис Анна рассказывала эти и другие истории, которые повествовали о великодушии, преданности и страданиях ее далеких предков, и когда голос ее то преисполнялся силы, то начинал дрожать от волнения, - а она к тому же всякий раз показывала место, где совершалось то или иное событие, - сердца ее юных слушательниц начинали трепетно биться, и в этом трепете были и гордость, и растроганность, и восторг, чувства, не знакомые тем, кому достается читать писаную историю, будь даже каждая страница ее столь же узаконена, как и те, что просмотрены королевским цензором в Мадриде.

Знания и способности миссис Анны Мортимер позволяли ей принять столь же деятельное участие и в занятиях девушек литературой. Когда предметом их была поэзия Уоллера {18}, она могла рассказать об очаровательной Сакариссе {19}, дочери графа Лейстера, с которой была хорошо знакома, - о леди Дороти Сидни и сравнить ее с прелестною Амореттой, леди Софией Маррей. И, сопоставляя между собой притязания этих двух поэтических героинь, она с такой точностью противопоставляла один стиль красоты другому, так тщательно, в мельчайших подробностях разбирала наряды их и манеры и так прочувственно давала понять, загадочно при этом вздыхая, что при дворе была тогда еще некая дама, о которой Люций, лорд Фокленд {20}, галантный кавалер, воплощение образованности и изысканности в обращении, шепотом говорил, что она намного превосходит обеих, что из рассказа этого слушательницы могли заключить, что и сама миссис Анна была одной из самых ярких звезд в том Млечном пути, чье потускневшее сияние оживало теперь в ее памяти, и что к благочестию ее и патриотизму примешивались нежные воспоминания о жизни ее в юные годы при дворе, где красота, великолепный вкус и свойственная ее нации *gaiete* {Веселый нрав (франц.)} несчастной Генриетты некогда сияли ослепительным, но недолгим светом.

Маргарет и Элинор слушали ее обе с одинаковым интересом, однако чувства, которые в них пробуждали рассказы бабки, были весьма различны. Маргарет, красивая, жизнерадостная, гордая и великодушная и похожая чертами лица и характером на деда и на его сестру, могла без конца слушать рассказы, которые не только помогали ей утвердиться в своих убеждениях, но и как бы освящали чувства, владевшие ее сердцем, так, что сама восторженность становилась в ее глазах доблестью. Будучи истой аристократкой в своих политических взглядах, она вообще не представляла себе, чтобы гражданская доблесть могла подняться сколько-нибудь выше, чем то позволяла беззаветная преданность дому Стюартов, что же до религии, то здесь у нее не было никаких колебаний. Строго исповедуя догматы англиканской церкви, которых род Мортимеров придерживался с самого ее основания, она под верностью им понимала не только всю ниспосылаемую религией благодать, но и все нравственные добродетели: вряд ли бы она могла допустить величие в государе или преданность в его подданном, храбрость в мужчине или добродетель в женщине иначе как осененными благословением англиканской церкви. Все эти качества, равно как и другие, подобные им, всегда представлялись ей неразрывно связанными с приверженностью монархии и епископству и олицетворением их были только героические образы ее предков, и рассказам о том, как они жили и даже - как умирали, молодая девушка внимала, всегда с гордой радостью; что же касается качеств противоположных, то все, что могло вызвать ненависть к мужчине и презрение к женщине, как-то само собой воплощалось для нее в образе сторонников республики и пресвитерианской церкви. Таким образом, чувства ее и убеждения, силы ума и жизненные привычки - все направлялось по одному и тому же пути; и она не только не могла сколько-нибудь отклониться от этого пути сама, но не в состоянии была даже представить себе, что может существовать какой-то другой путь для тех, кто верит в бога или признает какую-либо человеческую власть. Представить себе, что можно ждать чего-то хорошего из ненавистного ей Назарета {21}, ей было бы, вероятно, не легче, чем греческому или

римскому географу отыскать Америку на карте древнего мира. Вот какова была Маргарет.

Элино́р, напротив, выросла среди постоянных споров, ибо дом ее матери, где прошли первые годы ее жизни, был, как говорили тогда, "меняльною лавкою совести", и последователи различных вероисповеданий и толков проповедовали там каждый свое и вступали в споры друг с другом; поэтому еще с малолетства она поняла ту истину, что могут существовать различные мнения и противоположные взгляды. Она привыкла к тому, что все эти различные суждения и взгляды часто высказывались с самым неистовым ожесточением, и поэтому ей в отличие от Маргарет никогда не была свойственна та высокомерная аристократическая предвзятость, которая сметает все на своем пути и заставляет как благоденствующих, так и терпящих бедствие платить дань ее гордому торжеству. С тех пор как Элино́р была допущена в дом деда, она сделалась еще более смиренной и терпеливой, еще более покорной и самоотверженной. Вынужденная выслушивать, как поносят дорогие ей взгляды и как унижают людей, которых она привыкла чтить, она сидела в молчаливой задумчивости; и, сопоставив противоположные крайности, которые ей выпало на долю увидеть, она пришла к правильному выводу, что каждая из сторон, как бы ни искажали ее побуждений страсть и корысть, заслуживает внимания и что если столкновение рождает такую силу мысли и действия, то это означает, что и в той и в другой есть нечто великое и благое. Не могла она и допустить, что все эти люди ясного ума и могучего духа останутся навеки противниками и что предназначение их именно таково; ей нравилось думать, что это дети, которые всего-навсего "сбились с пути" оттого, что стали возвращаться домой по тропинке, ведущей куда-то в сторону, и что они будут счастливы собраться снова в доме отца, озаренные светом его присутствия, и только улыбнутся, вспомнив о тех раздорах, которые разъединяли их в пути.

Несмотря на все то, что было привито ей в детстве, Элино́р научилась ценить те преимущества, которые ей давало пребывание в доме покойного деда. Она любила литературу, особенно поэзию. Это была пылкая, наделенная богатым воображением натура, и ей по душе пришлись и раздолье живописных мест, окружавших замок, и рассказы о высоких деяниях, звучавшие в его стенах, на которые, казалось, откликался в них каждый камень, подтверждая истинность услышанных слов, и героические, рыцарственные характеры его обитателей. И когда они вспоминали о доблести и отваге своих далеких предков, что глядели на них с фамильных портретов, казалось, что те вот-вот сойдут к ним из золоченых рам и примут участие в разговоре. Как все это было не похоже на то, что она видела в детстве! Мрачные и тесные комнаты, где не было никакого убранства, где не пробуждалось никаких мыслей, кроме ужаса перед будущим. Нескладная одежда, суровые лица, обличительный тон и полемическая ярость хозяев или гостей вызывали в ней чувство, за которое она упрекала себя, но преодолеть которого не могла; и хотя она по-прежнему оставалась убежденною кальвинисткой и, строго придерживаясь своей веры, слушала, когда только могла, проповеди пасторов-диссидентов, в литературных вкусах своих она обрела ту утонченность, а в манерах' ту исполненную достоинства обходительность, какие пристало иметь молодой девушке, происходившей из рода Мортимеров.

При том что она была совершенно непохожа на свою двоюродную сестру, Элино́р, как и та, была удивительно хороша собою. В пышной красоте Маргарет было какое-то ликующее торжество; в каждом движении ее ощущалась знающая себе цену стать, каждый взгляд требовал поклонения и в тот же миг неизменно его получал. В облике Элино́р, бледной и задумчивой, было что-то трогательное; ее черные как смоль волосы в соответствии с модою тех времен бесчисленными локонами ниспадали с плеч, и казалось, что каждый из них завит самою природой; они так бережно обрамляли ее лицо, окутывали его такою легкой тенью, что можно было подумать, что это покрывало, под которым монахиня скрывает свои черты. Но, тряхнув

головой, девушка вдруг откидывала их назад, и лицо ее озарялось тогда ярким блеском темных глаз, вспыхивавших, как звезды среди вечернего сумрака с его густеющими тенями. Одевалась она богато, ибо это предписывали вкусы и привычки миссис Анны: даже в самые тяжелые дни, которые переживала семья, та не позволяла себе никаких отступлений от строгой аристократической одежды и считала святотатством стать на молитву, даже если молитвы эти совершались в замковой зале, иначе чем в шелках и бархате, которые, подобно старинному вооружению, могли держаться прямо и им не было для этого нужды в человеческом теле. И в очертаниях стана Элинора, и в каждом ее движении, исполненном удивительной гармонии, была какая-то особая вкрадчивая мягкость; в прелестной улыбке ее был оттенок грусти, нежный голос ее был полон какого-то скрытого трепета, а взгляд, казалось, о чем-то молил, и надо было быть совершенно бездушным существом, чтобы на эту мольбу не откликнуться. Ни один из женских портретов Рембрандта с их единоборством света и тени, ни одна из запоминающихся выразительных фигур Гвидо {22}, которые словно парят между землею и небом, не могли бы соперничать с Элинора ни цветом лица, ни очертаниями своих форм. Лицу ее не хватало лишь одного штриха, и штрих этот суждено было положить отнюдь не ее физической красоте, не формам ее и не краскам. Он пришел от чувства, чистого и сильного, глубокого и безотчетного. Это был тайный огонь, и он сиял у нее в глазах, и от него лицо ее казалось еще бледнее; он сжедал ее сердце, а в воображении своем она, подобно несчастной царице в поэме Вергилия {23}, сжимала в объятиях юного херувима; огонь этот оставался тайною даже для нее. Она знала, что ощущает какой-то жар, но не знала, что это такое.

Когда ее в первый раз привезли в замок и к ней с достаточным hauteur {Высокомерием (франц.)} отнеслись и дед и его сестра - они никак не могли забыть о низком происхождении и фанатических взглядах семьи ее отца, - она запомнила, что среди устрашающего величия и суровой сдержанности, которыми ее там встретили, ее двоюродный брат, Джон Сендел, был единственным, у кого нашлись для нее теплые слова и чей лучистый взгляд ободрил ее и утешил. В воспоминаниях ее он так и остался статным и обходительным юношей, который помогал ей во всем, что ей приходилось делать, и был товарищем ее детских игр.

Совсем еще молодым Джон Сендел по его собственной просьбе был послан на морскую службу и с тех пор ни разу не появлялся в замке. В годы Реставрации воспоминания о заслугах рода Мортимеров и доброе имя, которое юноша стяжал талантами своими и бесстрашием, обеспечили ему выдающееся положение во флоте. К этому времени Джон Сендел вырос в глазах семьи, которая вначале лишь снисходительно его терпела. Даже миссис Анна Мортимер и та начинала уже беспокоиться, когда долго не было известий об их храбром внуке Джоне. Когда она заговаривала о нем, Элинора устремляла на нее совсем особенный, пламенеющий взгляд: такими в летние вечера бывают закаты; но вместе с тем в ту же минуту ею овладевала какая-то тоска, все в ней словно замирало: она чувствовала, что не может ни думать, ни говорить, ни даже дышать, и ей становилось легче только тогда, когда она уходила к себе и заливалась слезами. Вскоре чувство это сменилось еще более глубокой тревогой. Началась война с Нидерландами {24}, и имя капитана Джона Сендела, несмотря на его молодость, заняло видное место в ряду имен офицеров, принимавших участие в этой памятной кампании.

Миссис Анна, издавна привыкшая слышать, как с именами членов ее семьи связывают волнующие рассказы о героических подвигах, ощутила теперь тот подъем духа, который переживала в былые времена, но на этот раз он сочетался с более радостными мыслями и более благоприятными видами на будущее. Хоть она и была уже стара и силы начинали ей изменять, все заметили, что, когда в замок приходили сообщения о ходе войны и когда ей доводилось узнавать о том, как внук ее отличился в боях и какое видное положение он теперь занял, походка ее делалась твердой и упругой, высокая фигура ее начинала держаться прямо, как в дни

молодости, а щеки порою зардевались тем ярким румянцем, какой некогда пробуждал в них шепот первой любви. Когда высокомерная Маргарет, разделяя тот всеобщий восторг, при котором все личное растворялось в славе семьи и отчизны, слышала об опасностях, которым подвергался ее двоюродный брат (которого она смутно помнила), она пребывала в гордой уверенности, что, будь она мужчиной и к тому же последним потомком рода Мортимеров, она встретила бы их с такой же отвагой. Элинор же только дрожала и плакала, а потом, когда оставалась одна, горячо молилась.

Можно было, однако, заметить, что тот почтительный интерес, с которым она прежде слушала фамильные предания, так блистательно рассказанные миссис Анной, сменился непрерывным и жадным желанием побольше узнать о тех славных морях, которые были у них в роду и деяния которых украсили его историю. По счастью, в лице миссис Анны она нашла словоохотливую рассказчицу, которой не надо было особенно напрягать свою память и ни разу не пришлось прибегать к вымыслу, когда она увлеченно говорила о тех, кому родным домом сделалась водная ширь и для кого полем битвы был суровый пустынный океан. Приведя внушек в увешанную фамильными портретами галерею, она показывала им многих отважных мореплавателей, которых слухи о богатствах и благоденствии стран недавно открытого мира толкали на отчаянные предприятия, порою безрассудные и гибельные, порою же приносявшие им такую удачу, которая превосходила все самые радужные мечты этих ненасытных людей.

- Как это рискованно! Как опасно! - говорила Элинор и трепетала от страха.

Но когда миссис Анна поведала ей историю ее дяди, человека причастного к литературе, образованного и ученого, известного в роду своим благородством и отвагой, который сопровождал сэра Уолтера Ралея {24} в его трагической экспедиции и спустя несколько лет после его трагической смерти умер от горя, Элинор схватила ее за руку, выразительно протянутую к портрету, и стала умолять ее не продолжать свой рассказ. В семье настолько строго соблюдались приличия, что для того, чтобы позволить себе такую вольность, девушке пришлось сослаться на нездоровье: сделав вид, что ей стало не по себе, Элинор испросила у тетки позволения удалиться.

Время начиная с февраля 1665 года, с первого известия о действиях де Рейтера {26}, и кончая воодушевившим всех назначением герцога Йоркского {27} командующим королевским флотом наследница Мортимеров и миссис Анна проводили в напряженном и радостном ожидании, перебирая в памяти рассказы о былой славе и живя надеждами на новые почести, а Элинор - в глубоком и безмолвном волнении...

В один прекрасный день нарочный, посланный из Лондона в замок Мортимер, привез письмо, в котором король Карл с изысканной учтивостью, в какой-то мере искупавшей его пороки, сообщал о том, что с превеликим интересом следит за последними событиями еще и потому, что они умножают славу рода, чьи заслуги он ценит так высоко. Была одержана полная победа, и капитан Джон Сендел, по выражению короля, которое в силу приверженности последнего к французским манерам и языку начало входить в употребление, "покрыл себя славой". В самом разгаре морского боя он привез в открытой шляпке послание лорда Сандвича герцогу Йоркскому под градом пуль, в то время как никто из старших офицеров ни за что не соглашался исполнить это опасное поручение. А вслед за тем, когда корабль голландского адмирала Опдама был взорван {28}, среди царившего вокруг хаоса Джон Сендел кинулся в море спасать несчастных, обожженных огнем матросов, которые тщетно пытались удержаться на охваченных пламенем обломках палубы и тонули, погружаясь в клокочущие волны. Потом, будучи послан исполнять новое опасное поручение, Сендел проскочил между герцогом Йоркским и ядром, поразившим сразу графа Фалмута, лорда Маскери и мистера Бойла, и, когда все трое упали в один и тот же миг, опустился на колени и недрогнувшей рукой стал вытирать их



мозги и кровь, которыми герцог Йоркский был выпачкан с головы до ног {29}. Когда миссис Анна Мортимер читала это, ей много раз приходилось останавливаться, ибо зрение ее уже ослабело, а глаза то и дело заволакивали набегавшие слезы; дойдя до конуа этого длинного и обстоятельного описания, она вскричала:

- Он герой!

Элино́р, вся дрожа, едва слышно прошептала:

- Он христианин.

Событие это было столь значительно, что оно открывало новую эру для семьи, жизнь которой протекала столь уединенно, питаясь воображением и героическими воспоминаниями, что все эти подробности, перечисленные в письме, которое было подписано рукою короля, читались и перечитывались вновь и вновь. Только о них и говорили, сойдясь за едой, только их обсуждали со всех сторон члены семьи Мортимеров, когда оставались одни. Маргарет подчеркивала рыцарственность этого поступка, и временами ей даже казалось, что она видела сама страшный взрыв на корабле адмирала Опдама. "И он кинулся в кипящие волны, чтобы спасти жизнь людей, которые были его врагами и которых он победил!" - повторяла про себя Элино́р. И должно было пройти несколько месяцев, прежде чем в воображении обитательниц замка потускнело это видение славы и королевской признательности; а когда это случилось, то на веках проснувшихся, как у Мисцелла {30}, остались капельки меда.

С того дня, как было получено это известие, в Элино́р произошла перемена, столь разительная, что она была замечена всеми, кроме нее самой. Ее разыгравшееся необузданное воображение лишило ее душевного равновесия и покоя. В рисовавшихся ей картинах любимые образы золотого детства причудливо перемежались со зловещими сценами убийств и пролития крови. Перед глазами у нее вдруг вставала палуба корабля, вся покрытая трупами, а среди града ядер в клубах огня и дыма возвышался юный и страшный победитель. Чувства ее метались между этими двумя противоположностями. Разум ее никак не мог согласиться с тем, что ласково улыбающийся и красивый, как Купидон, товарищ ее детских игр и есть герой взбаламученных войною морей и народов, охваченных огнем судов, окровавленных одежд, грома и криков сражений. Оставшись одна, девушка старалась, насколько ей это позволяло разгоряченное воображение, примирить запавшее в душу сияние глаз, синих, как пронизанное росным сиянием летнее небо, с вспышками пламени в горящих глазах победителя, свет которых разил со страшной силой подобно удару меча. Она видела его перед собой таким, каким он сидел когда-то с ней рядом, улыбающимся, как раннее весеннее утро, и сама улыбалась в ответ. Стройная фигура его, гибкие упругие движения, детский поцелуй, оставшийся в памяти ощущением бархата и бальзама, - все это было вытеснено в ее снах (ибо мысли ее были не чем иным, как снами) образом страшного существа, залитого чужою кровью и забрызганного окровавленными мозгами. "И этого человека я любила?" - восклицала тогда в ужасе Элино́р, вскакивая с постели. Бросаясь из одной крайности в другую, душа ее начинала чувствовать, как волною ее относит куда-то в сторону от места причала. Ее кидало так от скалы к скале, и каждый такой удар разбивал все ее надежды.

Элино́р перестала проводить время с родными, как то всегда бывало раньше, и просиживала весь день и большую часть вечера у себя в комнате. Она жила в уединенной башенке замка, которая выдавалась вперед так, что окна ее выходили на три стороны. Там она ждала, когда поднимется ветер, слушала его завывания, и в звуках его ей слышались крики о помощи погибающих моряков. Ей уже больше не хотелось играть на лютне или слушать игру Маргарет, в которой было больше выразительности и блеска, - ничто не могло теперь отвлечь ее от унылого занятия, которому она предавалась.

- Тсс! - говорила она своим служанкам, - тсс! Не мешайте мне слушать, как дует ветер! Он

развеивает немало знамен, возвещающих победу, он вздыхает над множеством жертв, над теми, кто сложил голову в бою!

Ей не давала покоя мысль о том, что один и тот же человек может быть и кротким и свирепым; она боялась, что того, кто был для нее ангелом в пустыне, жизнь превратила в храброго, но жестокого моряка, заглушила в нем порывы тех благородных чувств, которые побуждали его быть столь снисходительным к ее промахам, так горячо заступаться за нее перед ее гордыми родственниками, принимать участие в ее играх, словом - все то, что делало его тогда таким для нее необходимым. Ужасно было то, что эта воображаемая жизнь Элинон оказывалась чем-то сродни порывам ветра, когда те сотрясали башни замка и налетали на леса, которые пригибались и стонали под их страшным прикосновением. И ее уединенная жизнь, сильные чувства и залегшая в глубинах сердца тайная страсть, как видно, каким-то страшным и необъяснимым образом были связаны с теми блужданиями души, с тем оцепенением и разума и чувств, которые, повинаясь некоей неодолимой силе, превращают дыхание жизни в жизнь, а дыхание смерти - в смерть. Неистовая страсть сочеталась в ней с высоким благочестием; но она не знала, в каком направлении ей следует плыть и какому ветру себя доверить. Обуреваемая всеми этими сомнениями, она дрожала, сбивалась и в конце концов, бросив руль, покорялась воле ветров и волн. До чего же горька участь тех, кто вручает судьбу свою бурям, что сотрясают душу! Лучше уж сразу кинуться в клокочущие волны, объятые холодом и мраком; так они все же скорее доберутся до гавани, где им уже будет нечего бояться.

Таково было состояние Элинон, когда появилась та, которая долгие годы, несмотря на то что жила неподалеку от замка, никогда, однако, в нем не бывала и чье появление всех поразило.

Вдова Сендела, мать юного моряка, которая до той поры жила в неизвестности на проценты с небольшой суммы, завещанной ей сэром Роджером (при условии ни при каких обстоятельствах не переступать порога его дома), неожиданно приехала в Шрусбери, откуда до замка было не больше миль, и заявила о своем намерении там поселиться.

В чувстве, которое питал к ней сын, сказались и широкая натура моряка, и сыновья нежность: он щедро оделял ее всем, чем его вознаграждали за ратные труды, - всем, кроме славы. И вот жившая в относительном достатке и отмеченная почестями и вниманием как мать юного героя, который заслужил особую милость короля, выдавшая немало горя вдова вновь поселилась теперь неподалеку от древней цитадели своих предков.

В те времена каждый шаг, совершавшийся кем-либо из членов семьи, становился предметом пристального и торжественного обсуждения со стороны тех, кто считал себя призванным ее возглавлять, и по поводу неожиданного решения вдовы Сендел в замке Мортимер был созван целый совет. Все то время, пока там обсуждали поступок вдовы, сердце Элинон тревожно билось; тревога ее улеглась только после того, как было решено, что суровое распоряжение сэра Роджера утратило свою силу после его смерти и что небрежение к представительнице рода Мортимеров, живущей к тому же у самых стен замка, недопустимо.

После этого изгнаннице был нанесен торжественный визит, который та с благодарностью приняла: миссис Анна отнеслась к племяннице с надлежащим достоинством и учтивостью, вдова же со своей стороны ответила на это смиренным сожалением по поводу прошлого и приличествующей случаю скорбной приниженностью. Так или иначе, обе расстались растроганные этой встречей, и начавшееся таким образом общение с тех пор постоянно поддерживалось - теперь уже усилиями Элинон, для которой еженедельные визиты вежливости в скором времени превратились в привычные и очень приятные. Обе женщины думали об одном, но говорила всегда только одна, и, как то часто бывает, та, которая молчала, переживала все глубже и сильнее. Во всех подробностях пересказывались подвиги Сендела, описывалась его внешность, с нежностью перечислялись его дарования, проявившие себя еще в детстве, и

доблесть, которую отмечены его юные годы; все это были предметы, опасные для слушательницы: одно только упоминание его имени волновало и опьяняло ее, так что она несколько часов не могла потом прийти в себя.

Посещения эти не сделались менее частыми и тогда, когда пролетел слух, которому вдова, для которой надежда значила больше, нежели соображения вероятности, должно быть, поверила, что капитан Сендел собирается прибыть в Шрусбери. И вот однажды осенним вечером Элино́р, которой в этот день не удалось побывать у тетки, отправилась к ней в сопровождении служанки и привратника. Одна из тропинок парка вела к узенькой калитке, из которой можно было выйти в тот пригород, где жила вдова. Придя к ней, Элино́р узнала, что тетки нет дома; ей сказали, что она ушла к приятельнице своей, которая жила в Шрусбери. Элино́р некоторое время колебалась, потом, припомнив, что эта приятельница, вдова одного из офицеров Кромвеля, - женщина почтенная и состоятельная и к тому же их общая знакомая, - решила и сама к ней пойти. Войдя к ней в дом, в просторную комнату, тускло освещенную старинным створчатým окном, она, к изумлению своему, увидела, что вопреки обыкновению там собралось множество народа; кое-кто сидел, большинство же столпилось в широкой амбразуре окна; среди присутствующих Элино́р заметила человека, выделявшегося высоким ростом и, пожалуй, еще тем, что держался он очень скромно и старался не привлекать к себе внимания. Это был статный юноша лет восемнадцати; на руках он держал прелестного мальчика и ласкал его с нежностью, которая проистекала скорее от изведанных в детстве братских чувств, нежели от предчувствия отцовства. Мать ребенка, гордая тем вниманием, которое уделено ее сыну, принесла ему извинения, которые в подобных случаях приносятся, но которым обычно не придают веры: она сказала, что ребенок, должно быть, его беспокоит.

- Беспокоит! - воскликнул юноша, голосом, при звуках которого Элино́р показалось, что она вдруг услышала музыку. - Да что вы! Если бы вы только знали, до чего я люблю детей, как давно у меня не было этой радости прижать к груди такого вот малютку, и кто знает, сколько времени еще пройдет, пока... - с этими словами он нежно склонился над ребенком. Вечерние тени густели, в комнате становилось совсем темно, и мрак этот усугублялся видом тяжелых резных панелей, которыми были обшиты стены; но как раз в это мгновение догорающие лучи осеннего заката, сияя всем своим ущербным великолепием, ворвались в окно и залили золотом и пурпуром и комнату и то, что в ней было. Угол же, где сидела Элино́р, оставался по-прежнему погруженным в густой мрак. И в этом мгновение она отчетливо увидела того, кого сердце ее, казалось, узнало еще раньше. Его густые каштановые волосы (окрашенные закатом пушистые их края походили на нимб вокруг головы святого) по обычаю тех времен длинными прядями спадали ему на грудь и почти скрывали собою личико ребенка, который лежал спрятанный в них, как птенец в гнезде...

Одет он был в форму морского офицера, роскошно отделанную галуном; грудь его украшали эмблемы иностранного ордена, полученного, как видно, за отвагу в бою, и когда дитя играло ими, а потом поднимало глаза к своему юному покровителю, словно для того, чтобы их ослепленный взор мог найти успокоение в его приветливой улыбке, взиравшей на них Элино́р казалось, что она никогда еще не видела такого трогательного сочетания сходства и контраста: все это напоминало собою картину, написанную так мастерски, что цвета незаметно переходят один в другой, а глаз совсем не ощущает этого перехода, ибо оттенки подобраны с величайшим искусством; или - музыкальную пьесу, где модуляции столь неуловимы, что совершенно не замечаешь, как из одного ключа попадаешь в другой: промежуточные гармонии настолько мягки, что слух не может определить, куда его влекут звуки; однако, куда бы они ни влекли, следовать за их течением бывает великою радостью. Очарование ребенка, в котором было столько общего с красотой его юного друга и которое вместе с тем резко контрастировало с его

статью и всем обликом героя, равно как и с красовавшимися у него на груди орденами, которые при всем своем великолепии как-никак напоминали об опасностях и смерти, - все это в воображении Элинон претворялось в образ ангела мира, который прильнул к мужественной груди юного героя и шепчет ему, что дела его завершены. Голос тетки пробудил ее от этого видения.

- Дорогая моя, это твой двоюродный брат, Джон Сендел.

Элинон очнулась и ответила на приветствие юноши, столь неожиданно ей представленного, с волнением, которое заставило ее позабыть о той светской учтивости, какую ей следовало бы выказать, но от этого волнения и от робости своей она сделалась еще трогательней и прелестней.

Обычаи того времени допускали и даже узаконили объятия и поцелуи при встрече, что потом вышло из употребления; и когда Элинон ощутила прикосновение губ, таких же алых, как и у нее, она вздрогнула, подумав о том, что с губ этих не раз слетали приказы, обращенные к тем, кто проливал человеческую кровь, и что рука, которая с такой нежностью обвилась теперь вокруг ее стана, неотвратимо направляла смертоносное оружие со страшной целью - поразить тех, у кого в сердце трепетала человеческая любовь. Своего двоюродного брата она встречала любовью, но объятия героя приводили ее в содрогание.

Джон Сендел сел рядом с ней, и спустя несколько минут его мелодичный голос, мягкость и непринужденность манер, глаза, которые улыбались, в то время как губы были недвижны, и губы, чья улыбка могла сказать больше, оставаясь безмолвной, чем взгляд иных, красноречивых в своем сиянии глаз, постепенно вливали в ее душу покой; она пыталась что-то сказать, но вместо этого умолкала, чтобы слушать, пыталась взглянуть на него, но, подобно поклоняющимся солнцу язычникам, чувствовала, что лучи света слепят ее, и \_начала смотреть в сторону, чтобы что-то видеть\_. Обращенные на нее темно-синие глаза юноши струили спокойный ровный и чарующий свет; так сиянье луны озаряет погруженную в дремоту долину. И в тонах голоса, от которого она ждала раскатов грома, было столько совсем еще юной и пленительной нежности, которая совершенно обезоруживала ее, что слушать эту речь становилось для нее истинным наслаждением. Элинон сидела и, упоенная им, пила каждое его слово, каждое движение, каждый взгляд, каждое прикосновение, ибо юноша с вполне простительной в его положении непринужденностью взял ее руку и уже не отпускал ее все время, пока говорил. А говорил он долго и отнюдь не о войне и не о пролитии крови, не о боях, в которых он так отличился, и не о событиях, о которых ему достаточно было упомянуть вскользь, чтобы в ней пробудились и интерес к ним и ощущение их значительности, а, напротив, о возвращении своем домой, о том, как ему радостно было свидеться с матерью, о надеждах его, что обитатели замка окажутся к нему благосклонными. С горячим участием расспрашивал он ее о Маргарет и с глубоким почтением - о миссис Анне, и по тому, как он весь оживлялся при упоминании их имен, можно было видеть, что на пути домой сердце его опередило шаги и что вместе с тем сердце это чувствует себя везде как дома и умеет передать это чувство другим. Элинон могла слушать его без конца. Имена родных, которых она любила и глубоко чтילה, звучали в ушах ее как музыка; однако наступление темноты напомнило ей, что пора возвращаться в замок, где строго соблюдался заведенный порядок, и, когда Джон Сендел предложил проводить ее домой, У нее уже не было повода медлить с уходом.

В комнате, где они сидели, было уже довольно темно, но когда они шли потом в замок, все вокруг было еще залито багряными лучами заката.

Идя по тропинке парка, Элинон была настолько поглощена потоком охвативших ее чувств, что в первый раз за все время не ощутила красоты окрестных лесов, мрачных и в то же время излучающих свет, смягченных красками осени и золотящихся в сиянии осеннего вечера, пока

наконец голос ее спутника, восхищенного открывшейся перед ними картиной, не вывел ее из этого забытья. Чувствительность к природе, та свежесть и непосредственность, с которой ее ощущал тот, чье сердце она считала очерстевшим от тяжелых трудов и всех пережитых ужасов, кого она представляла себе более \_склонным переходить через Альпы, чем нежиться в Кампанье\_ {31}, растрогала ее до глубины души. Она пыталась что-то ответить и не могла; она вспомнила, как, будучи сама очень чуткой и восприимчивой к природе, она сразу же откликнулась на все восторги других, разделяла их чувства, а тут она сама поражалась своему молчанию, ибо не понимала его причины.

Все, что они увидели, подойдя ближе к замку, поразило их такой неслыханной красотой, какая вряд ли могла пригрезиться даже художнику, чье воображение прельщалось закатами в южных странах. Огромное здание тонуло в тени; все его причудливые и резко очерченные контуры - главной башни со шпилем, зубчатых стен и сторожевых башен - слились в одно густое и темное пятно. Далекие остроконечные холмы все еще ясно выделялись на фоне темно-синего неба, а ключья пурпура так льнули к их вершинам, что можно было подумать, что им хочется побыть там еще дольше и что последние лучи, уходя, оставили после себя эти знаки в залог того, что тени уйдут и снова настанет лучезарное утро. Леса вокруг были такими же темными и, казалось, такими же плотными, как и стены замка. По временам над густой лохматой листвою неуверенно проглядывало тусклое золото. И наконец в прогалину между темневшими могучими стволами вековых деревьев хлынул последний его поток; догорающие лучи эти, коснувшись каких-то травинок, на миг превратили их в россыпи изумрудов и, едва успев полюбоваться своим творением, сокрылись во тьме. Все это было так неожиданно, так сказочно и так скоротечно, что крик восторга замер на устах Элинон, когда она протянула руку в направлении дали, так ослепительно вспыхнувшей и так внезапно погасшей. Она взглянула на своего спутника, и во взгляде ее были и просветленность и глубокое понимание; так слова наши кажутся мелкой монетой рядом с тою, что из золота самой высокой пробы чеканят взгляды: в них все от сердца. Спутник ее в эту минуту тоже к ней обернулся. Он ничего не восклицал, ни на что не указывал рукою; он только улыбался, и в улыбке этой было что-то неземное; как будто она отражала этот избыток света, это прощание уходившего дня, и сама с ним прощалась, как с другом. Улыбались не одни только губы, но и глаза, и щеки, каждая черточка лица, казалось, вносила свою долю в этот разлитый во всем его существе лучезарный свет, и все вместе они создавали гармонию, которой упивается взор и которая подобна другой, что слагается из сочетания искусно подобранных замечательных голосов и радует слух. И в сердце Элинон до последнего часа ее земного бытия запечатлелись эта улыбка и все, что их окружало в тот миг, когда она засияла у него на лице. Это была весть о том, что душа его, подобно древней статуе, на каждый падающий на нее луч света отвечает сладостным голосом {32} и сливает воедино величие и торжество природы с блаженным уделом проникновенного и нежного сердца. До конца своего пути они уже ни о чем больше не говорили, но молчание их было красноречивее всех слов, которые они могли бы сказать друг другу...

\* \* \* \* \*

Когда они пришли в замок, был уже поздний вечер. Миссис Анна приняла своего прославленного внука с достоинством, радушием и любовью, к которой примешивалось чувство гордости. Маргарет встретила его не столько как брата, сколько как героя, а Джон, после того как он был представлен всем в доме, снова обратил свой взгляд на улыбающуюся ему Элинон. Они пришли как раз тогда, когда капеллан собирался приступить к чтению вечерних молитв, строгий распорядок этот неукоснительно соблюдался в замке, и даже прибытие гостя не должно было его нарушать. Элинон с чрезвычайным волнением ожидала этой минуты: она была очень благочестива, и хотя юный герой был полон самых нежных чувств и всей той отзывчивости и

чистоты, какие способны возвысить и украсить наш жалкий удел, она все же боялась, что религии, которой сродни глубокое раздумье и строгие привычки, пришлось бы долго скитаться по свету, прежде чем прибежищем ее могло сделаться сердце моряка. Последние сомнения ее рассеялись, когда она увидела, с каким горячим и вместе с тем тихим рвением Джон стал молиться вместе со всеми. В благочестии мужчины есть что-то особенно возвышающее. Видеть, как этот высокий человек, не привыкший кланяться людям, опускается до земли, чтобы поклониться богу, понимать, что эти колени, суставы которых тверды, как адамант, колени, которые никакая сила, никакие угрозы не могли заставить согнуться, теперь перед лицом Всевышнего становятся гибкими и покорными, как у ребенка; видеть, как поднимаются ввысь сложенные руки, слышать, как возле коленопреклоненного воина звенит его волочащийся по полу кортик, - все это сразу трогает и чувства наши и сердце, и в душу западает страшный, впечатляющий образ физической силы, простертой перед могуществом Провидения.

Элино́р не сводила с него глаз, вплоть до того, что даже забывала о том, что должна молиться. И когда его белые руки, созданные, казалось, совсем не для того, чтобы братья за оружие и нести людям смерть, были благоговейно сложены в молитве, когда, стоя на коленях, он вдруг поднял левую и легким движением откинул упрямые пряди, спадавшие ему на лицо, ей показалось, что она видит перед собой олицетворение ангельской силы и ангельской чистоты.

После окончания мессы, обратив к юноше торжественные слова приветствия, миссис Анна снова выразила ему свое удовлетворение по поводу проявленной им благочестия, но вместе с тем по всему видно было, что ей самой не верится, что у человека, жизнь которого проходит в тяжелых трудах и полна опасностей, может проявиться такое неподдельное религиозное рвение. Выслушав лестные для него слова бабки, Джон Сендел поклонился и, положив одну руку на кортик, откинул другой густые пряди своих пышных волос. Перед ними стоял герой сражений в образе только еще вступающего в жизнь юноши. Краска залила его лицо.

- Дорогая тетушка, - сказал он дрожащим от волнения голосом, - как вы можете думать, что те, кому нужнее всего покровительство Всемо́гущего, решатся им пренебречь? Те, кто выходят в море на кораблях и проводят дни свои над бездонными глубинами, лучше всех способны понять в часы опасности, что только ветер и буря исполняют там его волю. Моряку, который не верит в бога и не надеется на его милость, приходится хуже, чем тому, кто пускается в море без лоцмана и без карты.

Когда он сказал это с тем идущим от сердца трепетом, который убеждает вас едва ли не раньше, чем вы слышите сами слова, миссис Анна протянула ему для поцелуя свою морщинистую, но все еще белую как снег руку. Маргарет последовала ее примеру и протянула свою; так героиня рыцарского романа протянула бы ее своему кавалеру; Элино́р отвернулась и плакала слезами восторга.

\* \* \* \* \*

Когда мы непременно хотим отыскать в ком-нибудь следы совершенства, мы всегда можем быть уверены, что найдем их. Но у Элино́р не было нужды прибегать к помощи воображения, чтобы расцветить то, что неизгладимо запечатлелось у нее в сердце. Джон очень медленно проявлял свой характер; можно даже сказать, что отдельные черты его узнавались чаще всего под влиянием внешних или случайных обстоятельств; какая-то почти девическая застенчивость делала его неразговорчивым, а уж если он и говорил, то меньше всего о себе. Душа его раскрывалась, как чашечка цветка; нежные шелковистые лепестки ширились незаметно для глаза, и с каждым днем цвет их густел и благоухание становилось сильнее, пока в конце концов блеск их не ослепил Элино́р и она не захмелела от их аромата.

Это желание отыскать в любимом человеке высокие достоинства и отождествить уважение и страсть, старание соединить в одном нравственную красоту с красотой внешней говорит о том,

что сама любовь возвышенна, что, хотя течение и может в силу тех или иных обстоятельств стать мутным, источник во всяком случае чист и что если сердце способно ощутить его в своих глубинах, то это означает, что в нем таится такая сила, которая рано или поздно может быть направлена на новую, более светлую цель, на то, чего не найти на земле, и гореть более высоким пламенем, нежели то, которое разжигает в нас плоть...

\* \* \* \* \*

С тех пор как приехал ее сын, вдова Сендел стала проявлять заметное беспокойство и постоянную настороженность, словно она все время ждала какой-то беды и не знала, откуда эта беда придет. Теперь она часто бывала в замке. Она не могла не замечать растущей любви Джона и Элинор друг к другу, и все помыслы ее сводились только к тому, чтобы помешать их союзу: она боялась, что от него может материально пострадать ее сын, а тем самым и она сама.

Через третьих лиц ей удалось узнать, к чему сводилось завещание сэра Роджера, и ум ее, не столь глубокий, сколь изобретательный, и характер, не столь сильный, сколь страстный, были направлены на то, чтобы надежды, которые оно ей давало, могли осуществиться. Завещание сэра Роджера было составлено весьма необычно. Несмотря на то что он сам отдалил от себя дочь, после того как та вышла замуж за Сендела, и младшего сына, отца Элинор, - за приверженность их обоим пуританам, по всей видимости, самым большим желанием старика было все же соединить своих внуков и передать богатство и титулы рода Мортимеров последнему его представителю. Поэтому все свои огромные поместья он завещал внучке своей Маргарет при условии, если та выйдет замуж за своего двоюродного брата Джона Сендела; в случае если тот женится на Элинор, он получал только принадлежавшее последней состояние в пять тысяч фунтов стерлингов, в случае же если Сендел не женится ни на той, ни на другой из своих двоюродных сестер, большая часть состояния завещалась одному дальнему родственнику, носившему фамилию Мортимеров.

Миссис Анна Мортимер, предвидя, какие пагубные последствия для всей семьи может иметь такое противопоставление чувства выгоде, держала завещание брата в тайне, однако миссис Сендел удалось с помощью замковых слуг выведать его содержание, и после этого она уже не знала покоя. Женщина эта слишком долго терпела лишения и нужду, чтобы бояться чего-нибудь другого больше, нежели их продолжения; вместе с тем она была слишком честолюбива и слишком хорошо помнила свое высокое положение в детстве и юности, чтобы не поставить на карту все что угодно ради того, чтобы их вернуть. Она испытывала личную женскую зависть к высокомерной миссис Анне и к благородной и красивой Маргарет, и зависть эту ничто не могло смирить. И она бродила вокруг замка, как прищелица с того света, которая стонет, добиваясь, чтобы ее пустили в покинутый ею дом, не зная покоя сама и не давая его другим до тех пор, пока ей наконец не отворят двери.

К чувствам этим присоединились еще и материнское тщеславие и тревога за сына, которому в зависимости от сделанного им выбора суждено либо подняться до знатности и богатства, либо довольствоваться самым заурядным существованием, и легко можно себе представить, как она себя повела: вдова Сендел поставила перед собой вполне определенную цель и не стала особенно разбираться в средствах. Нужда и зависть разожгли в ней неумную жажду той роскоши, среди которой она когда-то жила, а ее ложная религия обучила ее всем оттенкам самого утонченного лицемерия, всей низости притворства, всем окольным путям, вплоть до нашептываний и оговора. В своей полной превратностей жизни она узнала добро и - склонилась ко злу. И вот теперь вдова Сендел решила во что бы то ни стало помешать союзу сына и Элинор.

\* \* \* \* \*

Миссис Анна все еще была уверена, что завещание сэра Роджера остается тайной для всех. Она видела, какая сильная и неодолимая любовь влечет Элинор и Джона друг к другу, и чувство,

происхождением своим обязанное то ли ее природному великодушию, то ли - чтению романов (а миссис Анна любила высококонрастные романы тех времен), говорило ей, что счастье двух влюбленных не будет особенно омрачено потерей почестей и земель, всех огромных доходов и древних титулов рода Мортимеров.

Как ни высоко она ценила все эти привилегии, которые дороги каждой благородной душе, для нее еще больше значил союз любящих сердец и родственных душ, попирающих ногами те золотые яблоки, которыми усыпан их путь, и упорно и горячо стремящихся вперед - к заветному счастью.

День свадьбы Джона и Элинор был назначен; подвенечное платье сшито; многочисленные друзья приглашены; парадная зала замка разукрашена. Колокола приходской церкви громким и веселым звоном созывали гостей на свадьбу, и слуги в голубых ливреях с бантами готовили задравную чашу, на которую устремлялось множество глаз, требуя, чтобы ее чаще осушали и наполняли снова.

Миссис Анна своими руками вынула из большого, черного дерева сундука бархатное, отделанное атласом платье, которое она надевала еще при дворе Иакова I в день свадьбы принцессы Елизаветы с курфюрстом Пфальцским {33}, когда та, по словам одного современного писателя, "так цвела, блистала и была так хороша собою", что миссис Анне, когда она облачилась в этот наряд, показалось, что свадебное пиршество во дворце, окутанное легкой дымкой, проплывает вновь во всем своем великолепии и блеске пред ее потускневшим взором. Маргарет была одета столь же пышно, однако все заметили, что ее обычно румяное лицо сделалось, пожалуй, бледнее, чем лицо невесты, и что в застывшей на нем на все это утро улыбке сквозит не столько радость, сколько усилие воли. Миссис Сендел была в большом волнении и очень рано уехала из замка. Жених долго не появлялся, и, понапрасну прождав его некоторое время, все собравшиеся поехали в церковь, решив, что он там и в нетерпении ждет их.

Это была очень пышная и многолюдная процессия: род Мортимеров был настолько знатен, а влияние его так велико, что торжество это привлекло всех, кто почитал за честь знакомство с ними, свадьбу же в высокопоставленной семье в те времена принято было справлять с такой пышностью, что съезжались даже самые дальние и жившие в отдалении родственники миль на шестьдесят в округе; словом, в это знаменательное утро съехались все окрестные дворяне с их великолепной свитой.

Большинство гостей, в том числе и женщин, ехало верхом, и от этого шумная процессия выглядела еще более многолюдной и пышной. Было там и несколько громоздких экипажей, которые ошибочно называют каретами, на редкость неудобной формы, но роскошно позолоченных и расписанных, причем изображения купидонов на их дверцах были к этому дню старательно подновлены. Сестры на лошадь невесте помогали два пэра; Маргарет ехала рядом в сопровождении блестящей свиты, и миссис Анна, которой еще раз довелось увидеть, как представители знати оспаривают честь прикоснуться к ее морщинистой руке и помочь ей ^зять шелковые поводья, почувствовала, что бывшее величие и блеск ее рода, давно уже потускневшие, теперь возрождаются вновь, и возглавила эту пышную кавалькаду с таким великим достоинством и с таким сиянием своей отцветшей уже красоты, некогда столь примечательной и неотразимой, что можно было подумать, что она сопровождает роскошное свадебное шествие принцессы Елизаветы. Они прибыли в церковь: невеста, ее родные, гости - все, кроме жениха. Наступила долгая томительная тишина. Несколько всадников из свиты невесты помчались в различных направлениях, рассчитывая, что где-нибудь его встретят; священник долго простоял в алтаре, но потом, устав от напрасного ожидания, ушел. Жители соседних деревень, смешавшиеся с многочисленными слугами, заполнили церковный двор. Громкие приветствия их оглашали воздух. В конце концов жара и всеобщее смятение сделались совершенно непереносимыми, и



Элино́р попросила, чтобы ей разрешили удалиться на несколько минут в ризницу.

В помещении этом было окно, выходящее прямо на дорогу; миссис Анна помогла невесте, которая уже едва держалась на ногах, дойти туда и снять с головы покрывало и вуаль из дорогих кружев. В ту минуту, когда Элино́р подошла к окну, раздался оглушительный стук копыт мчавшегося во весь опор коня. Ни о чем не думая, Элино́р подняла глаза: всадник этот был Джон Сендел; он бросил полный ужаса взгляд на свою побледневшую невесту и, в отчаянии своем, еще сильнее пришпорив коня, тут же скрылся из виду.

\* \* \* \* \*

Год спустя можно было увидеть, как две фигуры прогуливались или, вернее, бродили неподалеку от маленькой деревушки в глухой части графства Йоркшир. Местность вокруг была живописна, и красоты ее должны были бы радовать взор, однако обе женщины двигались среди них как существа, у которых хоть и остались глаза, чтобы взирать на природу, нет больше сердца, которое могло бы ее ощутить. Одна из них, хрупкая, исхудалая и совсем еще юная, но уже изможденная всем пережитым, с темными лучистыми глазами, затаившими в себе ужас, с бледным и холодным, как у мраморной статуи, лицом, та, чья молодость и красота оледенели, как лепестки лилии, распустившейся слишком рано и погубленной предательской рукою весны, которая в первые же дни теплым дыханием своим приглашала ее расцвести, а потом сковала морозом, - это Элино́р Мортимер, а другая, которая идет с ней рядом, такая прямая и подтянутая, что кажется будто каждое движение ее направляется неким спрятанным внутри механизмом, чей острый взгляд так неукоснительно устремлен вперед, что глаза не видят ни деревьев, что колышутся справа, ни прогалины, которая открывается слева, ни неба над ними, ни земли под ногами, - ничего, кроме смутного образа неисповедимого символа веры, который отражен в их холодном созерцательном свете, - это пуританка, незамужняя сестра ее матери, у которой теперь поселилась Элино́р. Одетая она так безукоризненно и строго, как будто некий математик в точности рассчитал расположение каждой складки ее платья; каждая булавка знает свое место и исправно выполняет порученное ей дело; оборки ее чепца с круглыми крыльями не дают ни одному волоску ее выбиться на узкий лоб, а капюшон, который она носит так, как носили благочестивые сестры, выезжавшие встречать Принна, когда тот был освобожден от стояния у позорного столба {34} и возвращался домой, бросает густую тень на суровые черты ее лица; следом за нею идет невзрачного вида лакей и несет огромную Библию с застежками, ибо она помнит, что именно так леди Лемберт и леди Десборо шествовали на молитву {35} в сопровождении своих пажей, а она гордо шла за ними в их свите, будучи отмечена ими как сестра жены человека праведной жизни и усердного проповедника слова божия - Сендела.

С того самого дня, когда расстроилась ее свадьба и девическая гордость Элино́р была так оскорблена, что даже тоска, закравшаяся в ее разбитое сердце, не могла заглушить в нем смертельной обиды, она решила, что во что бы то ни стало должна покинуть место, где испытала позор и горе. Напрасно бабка ее и Маргарет, которые были потрясены неожиданным и страшным событием того дня, но несколько не догадывались о его причине, горячо упрашивали ее не уезжать из замка, заверяя в своей любви и клятвенно обещая ей, что тот, кто позволил себе ее покинуть, никогда больше не переступит порога их дома. На все эти упорные и ставшие уже назойливыми просьбы Элино́р отвечала только крепким пожатием своих холодных рук и слезами, которые дрожали у нее на ресницах, ибо у них не было силы скатиться вниз.

- Оставайся у нас, - взмолилась добрая и великодушная Маргарет, - ты не должна от нас уезжать!

И она сжала руки Элино́р с той теплотой и участием, которые всегда притягивают и к дому и к сердцу того, кто так просит.

- Дорогая моя, - сказала Элино́р, в первый раз отвечая на ласковую просьбу сестры улыбкой,

- в этих стенах у меня столько врагов, что встречи с ними начинают уже угрожать моей жизни.

- Врагов! - воскликнула Маргарет.

- Да, дорогая моя, каждое место, по которому ступала его нога, каждый уголок леса, на который он смотрел, каждое эхо, которое тогда повторяло его голос, кинжалами впиваются мне в сердце, и тот, кто хочет, чтобы я осталась в живых, не должен хотеть, чтобы все это продолжалось.

На эти исполненные отчаяния и муки слова Маргарет могла ответить только слезами, и Элинор покинула замок и отправилась к родственнице матери, строгой пуританке, которая жила в Йоркшире.

Когда была подана карета, миссис Анна, опираясь на двух служанок, вышла на подъемный мост и, стараясь соблюсти все приличия, спокойно и ласково простилась с внучкой. Маргарет рыдала, стоя у окна, и только издали помахала сестре рукою. Бабка ее не пролила ни слезы до тех пор, пока не ушли слуги; потом она удалилась к себе и плакала там одна.

Когда карета отъехала уже несколько миль от замка, один из слуг был послан на быстром коне догнать Элинор и передать ей лютню, которую она второпях забыла; девушка посмотрела на нее; какое-то время дорогие сердцу воспоминания еще боролись в ней с тоской; но вслед за тем она приказала порвать на лютне все струны и поехала дальше.

Убежище, куда удалилась Элинор, не принесло ей того спокойствия, которого она ожидала. Так всегда бывает обманчива надежда, что перемена места может принести облегчение нашей мятежной, не знающей покоя душе.

Она ехала туда, втайне надеясь, что вера ее к ней там вернется, ехала, чтобы в сельском уединении обручиться с бессмертным женихом, которого она там впервые познала, с тем, кто не покинет ее так, как покинул жених земной; однако она не нашла его там; голос божий уже не звучал в саду: то ли религиозное чувство ее ослабело, то ли те, кто воодушевлял ее на веру, утратили ту силу, которая должна была бы в ней эту веру возродить, а может быть, просто сердце, которое все изошло на смертную любовь, не способно так быстро обратить себя к божественной благодати и сразу же взамен зримого отдаться невидимому, взамен настоящего и осязаемого - будущему и неведомому.

Элинор вернулась в дом родственницы своей со стороны матери в надежде, что образы былого встанут там перед нею снова, но вместо этого она нашла только слова, которые заронили в душу ее все эти мысли, и напрасно озиралась вокруг, стремясь воскресить те впечатления, которые слова эти вызывали в ней когда-то. Когда мы так вот начинаем понимать, что все в нашей жизни - только иллюзия, что мы обманулись даже в самом значительном и главном, что будущее уходит у нас из-под ног вместе с настоящим и что, как ни вероломно наше собственное сердце, оно все же причинило нам не больше вреда, чем та ложь, которой питали нас наши религиозные наставники, мы напоминаем собой языческого бога на картине великого итальянского художника {36}: одна рука его протянута к солнцу, другая - к луне, но он не может коснуться ни того, ни другой. Элинор воображала и даже надеялась, что беседы с теткой возродят в ней былые мысли и чувства, но этого не случилось. Справедливость, однако, требует сказать, что для нее не жалели усилий: когда Элинор хотелось что-нибудь почитать, перед нею тут же появлялись "Вестминстерское исповедание" или "Histriomastix" {"Бич актеров" (лат.).} Принна {37}, а если ее тянуло к произведениям более легким, то на этот случай было припасено пуританское развлекательное чтение - "Священная война" или "Жизнь м-ра Бедмена" Джона Бениана {38}. Если же она закрывала книгу, придя в отчаяние от того, что не может растрогать ею свое бесчувственное сердце, ее приглашали на религиозное собрание, где диссидентские священники, которые, выражаясь языком того времени, были придавлены к земле тяжестью варфоломеевского ига {3\* Анахронизм, но это неважно.}, сходились, чтобы сказать

драгоценные слова ободрения {39} рассеянной пастве господней. На этих собраниях Элинор вместе со всеми становилась на колени и плакала, но в то время, как тело ее было простерто перед богом, слезы ее были обращены к тому, чье имя она не смела назвать. Когда в безотчетной муке она, подобно Иосифу, искала места, где бы могла наплакаться вволю и где бы никто ее не заметил {40}, и, убежав в маленький палисадник, со всех сторон окружавший дом ее тетки, заливалась там слезами, за нею всякий раз медленным и торжественным шагом следовала степенная и спокойная фигура, которая предлагала ей как утешение только что изданное и с трудом добытое ею сочинение Маршала {41} "О причислении к лику святых".

Элинор, слишком привыкшая к той пагубной экзальтации чувств, рядом с которой всякое обычное их проявление кажется столь же недостаточным и слабым, как свежий воздух - для тех, кто привык опьянять себя, вдыхая пряные ароматы, дивилась, как это отрешенное холодное и чуждое всем земным страстям существо может выносить свою неподвижную и однообразную жизнь. Каждый день тетка ее вставала в один и тот же час, в один и тот же час начинала молиться, в один и тот же час принимала приходивших к ней единоверцев, которые вели такую же однообразную и скучную жизнь, как она; в один и тот же час обедала, потом снова молилась и, наконец, - в один и тот же час уходила к себе; и при всем этом молилась она без благоговения, ела без аппетита, и, когда ложилась в постель, ее совсем не клонило ко сну. Жизнь ее напоминала собой какой-то механизм, в котором, однако, все было настолько слажено, что совесть его как будто была спокойна, и он даже испытывал некую мрачную удовлетворенность теми движениями, которые совершал.

Напрасно Элинор старалась вернуться к этой безразличной, ничем не заполненной жизни; она жаждала ее так, как где-нибудь в африканской пустыне человек, погибающий от недостатка воды, может на миг захотеть перенестись в Лапландию, испить ее вечных снегов, чтоб в ту же минуту, спохватившись, начать недоуменно спрашивать себя, как же это ее обитатели могут жить среди вечного снега. Она присматривалась к существу, которое значительно уступало ей в силе ума и чьи чувства, пожалуй, нельзя было даже назвать спокойными, и удивлялась, что сама она так несчастна. Увы! Она не знала, что только люди бессердечные и начисто лишённые воображения считают себя вправе пользоваться всеми благами жизни и что наслаждаться ими способны только они одни. То ленивое безразличие, с которым посредственность относится ко всему, будь то труд или развлечение, вполне их удовлетворяет: удовольствие для них всего-навсего избавление от чего-то неприятного, понятие же страдания для них отождествляется с болью, которую в данную минуту испытывает их тело, или же с каким-либо внешним бедствием; истоки страдания или радости у этих людей никогда не таятся в сердце, в то время как у людей, обладающих глубокими чувствами, именно в нем находится источник того и другого. Тем хуже для них: человеку, которому приходится заботиться о своих насущных потребностях, который бывает удовлетворен тем, что обеспечил себя всем необходимым, может быть, легче всего живется на свете; все, что выходит за пределы этого, - не более чем безумные мечты или муки обманутых ожиданий. Серый и унылый зимний день с его непрерывным сумраком, которому не дано рассеяться или сгуститься (и на который мы привыкли взирать равнодушно, не опасаясь за будущее и не испытывая перед ним ужаса), куда лучше неистово сверкающего летнего дня, когда лучи заходящего солнца пурпуром и золотом разливаются по небу и когда при тускнеющем их свете мы вдруг в испуге замечаем, как на темном горизонте собираются тучи, видим, как они надвигаются с востока мощными полчищами и как небеса ниспосылают нам громы, чтобы нарушить наш покой, и молнии, могущие превратить нас в горсточку пепла.

\* \* \* \* \*

Элинор ожесточенно боролась с судьбой; после того как она пожила в замке Мортимеров, ум ее развился и окреп, развились и ее чувства, и это оказалось для нее роковым. Как это

страшно, когда высокий ум и горячее сердце сталкиваются с совершеннейшей посредственностью - и самой жизни и людей, которые их окружают, и осуждены на то, чтобы с ними жить! Тараны встречают на своем пути набитые шерстью мешки; молнии ударяются об лед и, шипя, тухнут. Чем больше мы тратим усилий, тем решительнее обезоруживает нас слабость наших противников, и самым заклятым врагом нашим становится не что иное, как наша же собственная сила, ибо она напрасно пытается овладеть неодолимою крепостью, имя которой пустота! Какое это безнадежное дело стараться одолеть неприятеля, который не говорит на нашем языке и не владеет нашим оружием! Элинор отказалась от этой попытки; однако она все еще продолжала бороться со своими чувствами, и, может быть, поединок, в который она теперь вступила, был самым тяжким из всех. Первым, кто приобщил ее к религии, была ее тетка-пуританка, и, независимо от того, истинны или лживы были эти изначальные впечатления, они были настолько живы и притягательны, что ей теперь не терпелось их в себе воскресить. Когда у матери отняли ее первенца, она готова прижать к своей груди даже чужое дитя. Элинор помнила трогательную сцену из тех времен, когда, еще ребенком, она жила в том самом доме, куда она попала сейчас.

Старый священник-диссидент, праведностью жизни своей и простотой походивший на апостола Иоанна, обращался со словами утешения к тем немногим из своей рассеянной паствы, которые собрались в доме у ее тетки, и в это время был арестован городскими властями {42}. Старик упросил пришедших за ним представителей закона помедлить несколько минут, и констебли, проявив обычно не свойственную им терпимость и человечность, исполнили его просьбу. Тогда, повернувшись к собравшимся, которые, несмотря на поднявшуюся вокруг суматоху, продолжали стоять на коленях и молиться - уже за своего пастыря, он прочел им вдохновенные слова пророка Малахии, которые всегда ободряюще действуют на собравшихся для общей молитвы христиан: "Тогда те, кто боялись господа, стали часто переговариваться друг с другом, и господь это услышал" 43. Не успел старик договорить этих слов, как чьи-то грубые руки подхватили его и потащили в тюрьму, где он вскоре умер.

Сцена эта произвела потрясающее впечатление на девочку. Все великолепие замка Мортимеров не могло ни затмить ее, ни заставить забыть, и теперь в памяти ее оживали звуки этих слов и вся картина, которая: так глубоко потрясла ее детское сердце. Твердо решив добиться своего, она не щадила сил, чтобы возродить в душе прежнюю веру; она считала, что теперь только это может ее спасти. Подобно жене Финееса, она постаралась дать жизнь сыну, хоть и нарекла его Ихавод {44}, и понимала, что былая слава ушла. Она уединялась в маленькой комнатке, садилась там в то самое кресло, в котором сидел столь чтимый ею старец и откуда его сорвали и уволокли, и ей чудилось, что ушел он так, как возносятся на небо пророки. Как ей хотелось тогда ухватиться за полу его плаща и улететь вместе с ним, даже если бы впереди ждала тюрьма и смерть. Повторяя последние сказанные им слова, она пыталась вызвать в себе то же чувство, которое они некогда вызвали в ее сердце, и с тоской и мукой убеждалась, что теперь слова эти ничего для нее не значат. Когда жизнь и любовь отбрасывают нас вдруг назад, то обратный путь, который мы бываем вынуждены проделать, чтобы вернуться к истокам, оказывается в тысячу раз мучительнее и труднее, чем тот, который вел нас вперед - к цели. Ведь тогда, от начала и до конца, рядом была окрылявшая нас надежда. А тут - раскаяние и разочарование, хлеща бичом, гонят назад, и каждый шаг наш залит слезами и кровью. И счастье для путника, если кровь эта сочится из его сердца, это значит, что конец пути близок.

\* \* \* \* \*

По временам Элинор, которая не забыла ни слов, ни привычек, усвоенных ею в прежней жизни, начинала вдруг говорить так, что тетка ее проникалась надеждой, что, как говорили в те времена, "все дело в ней самой", и когда старая пуританка, воодушевленная тем, что племянница

ее снова обратилась на путь истинный, пускалась в пространные богословские толки относительно участи различных святых и проявленной ими стойкости, девушка вдруг прерывала ее восклицаниями, которые та скорее готова была принять за бред одержимой, нежели за связную речь человеческого существа, да еще такого, которое с детства знало Священное писание.

- Дорогая тетушка, - сказала как-то Элино́р, - не думайте, что я равнодушна к вашим словам. С детских лет благодаря вашим заботам, я узнала Священное писание и \_ощутила на себе\_ силу, которую дает человеку вера. Вслед за тем мне довелось изведать все те радости, которые дарует нам разум. Окруженная роскошью, я общалась с людьми большого ума. Я видела все, что жизнь мне могла показать. Я встречалась как с богатыми и с бедными, с людьми высокой души, которые живут в бедности, и с людьми светскими, которые окружены роскошью; я пила до дна из чаши, которую протягивали мне те и другие, и вот, клянусь вам, \_одно только мгновение, дарованное сердцем\_, один только сон, который мне снился (а я думала, что никогда уже не проснусь), стоит всей той жизни, какую на этом свете расточительно ведут люди тщеславные и пустые и те, что мнят ее такою же и за гробом и вводят в заблуждение всех других.

- Несчастливая! Ты погубила свою душу навеки! - в ужасе вскричала убежденная кальвинистка, заламывая руки.

- Оставьте ваши упреки, - спокойно ответила Элино́р, преисполненная того достоинства, которое дается человеку страданием, - ведь если я действительно отдала земному чувству то, что предназначено одному только богу, то разве в грядущей жизни я не получу воздаяния за этот мой грех? Разве расплата за него не началась уже и сейчас? Так неужели же нельзя избавить нас от упреков, если мы уже страдаем больше, чем того может нам пожелать наш злейший враг? Если сама жизнь наша сделалась упреком более горьким, чем тот, который может исторгнуть чужая злоба? Что значат все мои стоны перед тем ударом, что мне был нанесен! - добавила она, отирая со своей исхудалой щеки холодную слезу.

Иногда она, казалось, прислушивалась к словам пуританских проповедников, - ибо проповедниками были все те, кто бывал у них в доме, - и как будто даже старалась вникнуть в смысл их речей, но потом вдруг вскакивала и убегала от них, не только не проникшись их убеждениями, ко вместо этого охваченная отчаянием и восклицая: "Все на свете лжецы!". Таков удел всех тех, кто хочет сразу же перейти из одного мира в другой; это немислимо, холодное море залегло между пустыней и обетованной землей, и преодолеть пространство, разделяющее два столь непохожих друг на друга мира - мир религии и мир человеческих страстей - без борьбы с собой, без приглушенных в глубине души стонов так же нелегко, как нелегко без страданий переступить порог, отделяющий жизнь от смерти.

К этим душевным страданиям вскоре добавились новые. Письма в то время доставлялись очень медленно, да и писали их обычно только по какому-нибудь особому случаю; однако за короткое время Элино́р получила два письма от своей двоюродной сестры Маргарет, и оба были доставлены ей из замка Мортимеров с нарочным. Первое из этих писем извещало ее о том, что Джон Сендел прибыл в замок, второе - о смерти миссис Анны; в приписках к тому и другому содержались какие-то загадочные намеки по поводу расстроившейся свадьбы Элино́р, причем говорилось, что причина того, что случилось, известна только самой пишущей эти строки, Сенделу и его матери, и - настойчивые уговоры вернуться в замок и жить там вместе с Маргарет и Джоном Сенделом, которые будут любить ее \_как сестру\_. Письмо выпало из рук Элино́р; она никогда не переставала думать о Джоне Сенделе, но вместе с тем ей все время хотелось избавиться от этих мыслей; само имя его причиняло ей неизъяснимые страдания, одолеть которые она не могла; она невольно вскрикнула - и казалось, что в эту минуту в сердце ее лопнула последняя туго натянутая струна.

Известие о смерти миссис Анны она прочла с тем суеверным трепетом, какой испытывает юный моряк при виде величественного корабля, отправляющегося без него в неизведанные земли: сам он еще томится в гавани, но и ему хочется поскорее очутиться там, куда придут те, дабы вместе с ними вкушать отдых и получить какую-то долю добытых ими сокровищ.

Смерть миссис Анны оказалась достойной всей ее жизни, каждый шаг которой до последнего часа был отмечен великодушием и высокой самоотверженностью. Она решительно стала на сторону отвергнутой Элиноры и, опустившись на колени в капелле замка Мортимеров, в то время как коленапреклоненная Маргарет стояла рядом, поклялась, что никогда не допустит в стены замка того, кто осмелился покинуть невесту, с которой был обручен.

Однажды туманным осенним вечером, когда миссис Анна, зрение которой уже несколько ослабело, но дух сохранял прежнюю силу, просматривала кое-какие письма леди Рассел {45}, а чтобы дать отдых уставшим разбирать ее почерк глазам, время от времени заглядывала в рукописные же нельсоновские "Посты и праздники англиканской церкви" {46}, ей доложили, что какой-то кавалер (слуги отлично знали, сколь сладостным было это слово для слуха старой роялистки) миновал подъемный мост, вошел в замок и теперь приближается к ее покоям.

- Пусть войдет! - ответила она и поднялась с кресла, которое было таким высоким и просторным, что, когда она приготовилась приветствовать ватаю гостя, как того требовал этикет, фигура ее походила на ожившее старинное изваяние"; она стояла, обратив лицо к двери, - а там на пороге стоял Джон Сендел. На какое-то мгновение она подалась вперед, но в тот же миг узнала его своим пронизательным взором.

- Вон отсюда! Вон! - властно вскричала она, взмахом руки показывая ему на дверь. - Вон отсюда! Ни шагу вперед! Не смей осквернять этих половиц!

- Прошу вас, миледи, уделите мне хотя бы одну минуту, выслушайте меня; я припадаю к вашим стопам, отдавая должное вашему высокому имени и положению; не сочтите это за признание за собой какой-то вины!

И он опустился перед ней на колени. По лицу миссис Анны пробежала легкая судорога, на мгновение перекосившая его черты.

- Встаньте, сэр, встаньте, - сказала она, - и скажите то, что вам надо сказать, но только там, в дверях, ибо вы недостойны переступить этот порог.

Джон Сендел поднялся с колен и порывистым движением руки указал на портрет сэра Роджера Мортимера, на которого он был похож как две капли воды. Миссис Анна поняла этот знак; она сделала несколько шагов вперед по дубовому полу, какое-то время простояла неподвижно, а потом, указав на портрет с каким-то особым достоинством, которое никакая кисть художника не была в силах передать, и позой и всем своим видом дала на все красноречивый и исчерпывающий ответ. И вот что он гласил: "Тот, на кого тебе хочется быть похожим, тот, у кого ты просишь защиты, за всю свою жизнь ни разу не осквернил этих стен бесчестьем и подлым предательством. Изменник, взгляни на этот портрет!".

Лицо ее преисполнилось невыразимого величия, но в ту же минуту черты его снова перекосились; она пыталась что-то сказать, но и губы и язык отказывались ее слушаться: полуоткрытый рот как будто произносил еще какие-то слова, но никто уже не услышал ни единого звука, никто, даже она сама. Еще какое-то мгновение она стояла перед Джоном Сенделом в недвижной застывшей позе, которая говорила: "Ни шагу вперед, иначе тебе смерть; не смей оскорблять живую представительницу славного рода вторжением в эти стены!". В то время как она это говорила (ибо видом своим она именно говорила), еще более сильная судорога перекосила ее лицо. Она пыталась сдвинуться с места, но тою же судорогою ей стянуло и ноги; и все еще продолжая протягивать одеревеневшую руку, словно защищаясь ею и от приближающейся смерти, и от непрошенного гостя, она упала к его ногам.

\* \* \* \* \*

Миссис Анна ненадолго пережила эту встречу, и речь к ней больше уже не вернулась. Однако могучий ум ее сохранил прежнюю силу, и до последней минуты она каждым движением своим ясно давала понять, что не желает выслушивать от Сендела никаких доводов в оправдание его поступков. Поэтому Джон вынужден был обратиться к Маргарет, и хоть та была вначале смущена тем, что услышала, и пришла в неопишное волнение, впоследствии она, по-видимому, вполне совсем этим примирилась.

\* \* \* \* \*

Вскоре после того, как она получила упомянутые уже письма, Элино́р приняла внезапное, но, может быть, в какой-то степени оправданное решение немедленно отправиться в замок Мортимеров. Решение это было продиктовано отнюдь не чувством усталости и опустошенностью всей ее жизни, той {Непереносимой жизни {47} (греч.)}, которую она вела в доме своей тетки-пуристки; не было это и желанием снова насладиться тем торжественным великолепием, которым был отмечен весь уклад жизни в замке, столь непохожий на более чем скромную и по-монастырски строгую жизнь в йоркширском коттедже; это не было даже той тягой к перемене мест, которой мы всегда обольщаемся, надеясь, что она все изменит, забывая, что сердце наше всюду с нами и что разъедающая его искони язва будет нашей спутницей и на Северном полюсе, и на экваторе, - нет, это было ни то, ни другое, ни третье, - это был зазвучавший где-то в глубинах сердца шепот, едва слышный и, однако, властный (именно потому, что его невозможно было расслышать и что невозможно было ему поверить), и шепот этот все больше утверждался в ее доверчивом сердце: "Поезжай туда, и, \_кто знает\_..."

Элино́р выехала и, проделав весь путь, оказавшийся менее трудным, чем можно было предположить, учитывая состояние дорог и средств передвижения в 1667 году или около того времени, - оказалась неподалеку от замка Мортимер. Все здесь напоминало ей прошлое; сердце ее отчаянно забилося, когда карета остановилась у готических ворот, от которых начиналась аллея, обсаженная двумя рядами высоких вязов. Она вышла из кареты и, когда сопровождавший ее слуга попросил разрешения проводить ее в замок по тропинке, где идти было трудно из-за сплетений корней под ногами и наступившей уже темноты, она в ответ только расплакалась. Она махнула ему рукой, чтобы он оставил ее одну, и пошла по этой тропинке. С самого дна души поднялись и выросли перед ней картины прошлого: она вспомнила, как они бродили по этим местам с Джоном Сенделом, как от одной его улыбки становились ярче все краски окружающего пейзажа, как она затмевала собою даже сияющий пурпуром закат. Она думала теперь об этой улыбке и, казалось, искала ее в игре догорающих лучей на расцвеченных ими стволах вековых деревьев. Все было таким, как тогда, - и деревья, и этот вечерний свет, - не было только улыбки, той, что некогда озаряла ее как солнце!

Она шла и шла; выпретенные деревья по-прежнему укрывали аллею густою тенью; прежним великолепием красок сверкали стволы их и листья. И среди этой пышной листвы ей хотелось найти и снова пережить то, что было здесь пережито, - а ведь только господь и природа знают, с какой мучительной неизбежной тоской мы требуем у них то, что они же сами когда-то щедро дарили нашему сердцу. И вот теперь мы тщетно взываем к ним обоим! Господь глух к нашим мольбам, а природа отказывает нам в том, что мы привыкли считать своим.

Когда Элино́р дрожащими шагами приблизилась к замку, она увидела на главной башне его обвитый траурной лентой герб. Вывешивать его было в обычае, когда умирал последний мужской представитель Рода; а теперь его распорядилась вывесить миссис Маргарет, дабы почтить память бабки. Стоило Элино́р поднять глаза, как она невольно отдалась нахлынувшему на нее потоку мыслей. "Ушла из жизни та, - подумала она, - чья душа всегда была устремлена ко всему возвышенному - к самым благородным деяниям людей и к самым высоким помыслам,

тем, что в нас порождает вечность! В сердце у нее поселились две знаменитые гостьи - любовь к богу и любовь к отчизне. Они оставались с ней до последней минуты, ибо избранная ими обитель оказалась достойной их, и они это поняли; но едва только они покинули это жилище, владелица его увидела, что не может больше в нем оставаться: душа ее улетела вслед за ними на небо! А какого постояльца приютило мое вероломное сердце? И как он отблагодарил его за это гостеприимство? Он разрушил и самый кров, и все, что в нем было!". С этими мыслями она подошла к замку.

В просторной зале ее встретили Маргарет Мортимер, которая как всегда горячо ее обняла, и Джон Сендел, который выждал, пока улеглись первые восторги обеих сестер, и подошел к Элинор с той спокойной братской приветливостью, которая не могла вызвать в ней никаких надежд. Это была все та же блаженная улыбка, та же пожатие руки, та же нежная и почти женская забота о ее здоровье; даже сама Маргарет, которая должна была понимать, да и действительно понимала, с какими опасностями сопряжено столь длинное путешествие, и та не расспрашивала ее обо всем с такой обстоятельностью и не выказывала ей такого живого сочувствия, выслушав рассказ о трудностях и злоключениях, пережитых ею в пути, не настаивала так решительно на том, чтобы она немедленно прилегла отдохнуть, как Джон Сендел. Едва дышавшая от усталости, Элинор взяла их обоих за руки и невольным движением эти руки соединила. Вдова Сендел присутствовала при их встрече; увидав Элинор, она встревожилась, но стоило ей увидеть это ее движение, как на лице ее появилась улыбка.

Вскоре Элинор удалилась в ту самую комнату, где она когда-то жила. Маргарет оказалась настолько заботливой и предупредительной, что распорядилась заменить в ней всю прежнюю мебель новой, дабы ничто не могло напомнить девушке о былых днях - ничто, кроме сердца. Она села и стала думать о приеме, который ей оказали, и от надежды, с которой она вступала в эти стены, не осталось и следа. Если бы по приезде ее встретили презрительные, исполненные отвращения взгляды, ее бы это, вероятно, не так угнетало.

Очевидная истина, что самые сильные страсти могут за невероятно короткий срок перейти в свою полную противоположность. В тесных пределах одного только дня враги могут заключить друг друга в объятия, а влюбленные друг друга возненавидеть; но даже за целые столетия простая снисходительность и сердечная доброжелательность никогда не могут перейти в страсть. Несчастливая Элинор понимала это и знала, что все для нее потеряно.

Теперь ей придется долгие дни терпеть эту пытку - принимать изъявления снисходительной и братской привязанности от человека, которого она любила, пытку такую жестокую, как, может быть, ни одна другая на свете. Чувствовать, как руки, которые ты хочешь прижать к своей горячей груди, касаются твоих с холодным и бесстрастным спокойствием, видеть, как глаза, сиянием которых озарена вся твоя жизнь, бросают на тебя пусть приветливые, но всегда холодные лучи, те, что обдают тебя светом, но не могут поднять к небу свежие побеги на той иссушенной почве, какою стало твое жаждущее истомленное сердце; слышать, как с тобой говорят языком самой заурядной обходительности и учтивости, стараясь, однако, чтобы речь эта звучала и приятно, и нежно, искать в словах какого-то скрытого смысла и - не находить... Все это нестерпимая мука, понять это может только тот, кто сам ее испытал!

Элинор постаралась примениться к новому укладу жизни в замке, в корне изменившемся после смерти миссис Анны; ей это стоило немалых усилий и отзывалось болью в душе. Многочисленные претенденты на руку богатой и знатной наследницы съезжались теперь в замок; и по обычаю тех времен их пышно там принимали, уговаривали подольше погостить и задавали в их честь один бал за другим.

На этих балах Джон Сендел всякий раз оказывал исключительное внимание Элинор. Он танцевал с ней, и, несмотря на то что ее пуританское воспитание приучило ее с детских лет



ненавидеть эти "бесовские хороводы", как их было принято называть у них в доме, она все же старалась научиться веселому Канарскому танцу и плавным движениям Тактов {4\* В пьесе Каули "Щеголь с Колмен-стрит" миссис Тавифа, строгая пуританка, рассказывает мужу, что она танцевала в молодые годы Канарский танец {48}. А в "Собрании исторических бумаг" {49} Рашуорта, если не ошибаюсь, можно прочесть, что Принн опровергает возводимое на него обвинение в том, что он осуждает все танцы вообще, и говорит, что он с одобрением относится к такому степенному и спокойному танцу, как Такты {50}.} (ибо более новых танцев в замке Мортимер не только не знали, но даже о них не слыхивали), и достаточно было Джону Сенделу (который сам был отличным танцором) взять ее под руку, чтобы ее тонкий изящный стан с легкостью перенял все красоты этого восхитительного танца. Даже придворные танцоры и те расточали ей похвалы. Но когда они расставались, Элинон всякий раз чувствовала, что если бы даже Джон Сендел танцевал с другой девушкой, с тою, что для него ровно ничего не значила, он бы вел себя с нею в точности так же. Только он один умел с такой деликатной улыбкой указать ей на те небольшие отклонения, которые она допустила, выполняя ту или иную фигуру танца, только он один мог так учтиво, с такой нежною заботой усадить ее потом на место, только он мог так старательно и искусно обмахивать ее большим веером, какие были модны в те времена.

\* \* \* \* \*

Как-то раз Сендел уехал в гости к соседнему помещику, и Маргарет и Элинон провели весь вечер вдвоем. Обоим хотелось поговорить обо всем откровенно, однако ни та, ни другая никак не могла на это решиться. До темноты Элинон продолжала сидеть у окна, из которого ей было видно, как он уезжал, - и даже тогда, когда было совершенно уже невозможно ничего разглядеть, ей все еще не хотелось отходить от этого окна. Она напрягала глаза, чтобы сквозь густеющую мглу он хоть на мгновение явился ее взору, так же как воображение ее все еще силилось уловить хоть один луч того идущего из сердца света, который теперь с трудом пробивался среди сгустившейся над ним тьмы, непроницаемой и таинственной.

- Элинон, - решительно сказала Маргарет, - не думай больше о нем, он никогда не будет твоим!

Внезапность этого обращения и властный, убежденный тон, каким были сказаны эти слова, произвели на Элинон такое действие, как будто она вдруг услышала голос откуда-то свыше. Она даже не в силах была спросить себя, откуда вдруг свалилась на нее эта страшная весть.

Бывает иногда такое душевное состояние, когда "обыкновенный человеческий голос превращается для тебя в вещание оракула, когда ты слышишь его и, вместо того чтобы попросить, чтобы тебе разъяснили относящиеся к твоей судьбе слова, покорно ждешь, что еще тебе скажет голос. В таком вот состоянии Элинон, отойдя от окна, медленными шагами направилась к говорившей и с каким-то ужасающим спокойствием спросила:

- Он окончательно все решил?

- Да, окончательно.

- И больше нечего ждать?

- Ничего.

- И ты все это слышала от него, от него самого?

- Да, слышала, и знаешь что, дорогая Элинон, давай не будем никогда больше говорить об этом.

- Никогда! - ответила Элинон. - Никогда!

Правдивость и чувство собственного достоинства, которые отличали Маргарет, не оставляли ни малейшего сомнения в истинности сказанных ею слов; и, может быть, именно поэтому Элинон больше всего хотелось этим словам не поверить. Когда нас одолевает тоска, мы неспособны смириться с истиной: ложь, которая может на какой-то миг опьянить нас, дороже

той истины, которая несет с собою разочарование, длящееся всю жизнь.

"Я ненавижу его, потому что он говорит мне правду", - вот естественные для человека слова - будь он рабом силы или рабом страсти.

\* \* \* \* \*

Были и другие признаки, которые не укрылись бы от самого поверхностного наблюдателя и которые поражали ее на каждом шагу. Чувство, которое светилось у него в глазах, трепетало у него в сердце и прорывалось в каждом слове и каждом взгляде, было не что иное, как любовь к Маргарет, и здесь не могло быть ошибки. Но Элинор все же осталась в замке и, видя и хорошо понимая все, что происходит, сказала себе: "Может быть". Это последнее слово, которое слетает с уст тех, которые любят.

\* \* \* \* \*

Теперь она ясно видела, чувствовала всем существом своим, как день ото дня растет привязанность Джона Сендела к Маргарет; и она все же тешила себя надеждой, что сумеет помешать их союзу, что ей, может быть, удастся еще с ним объясниться. Когда страсть не находит себе настоящей пищи, невозможно даже предположить, на что она кинется, какими невероятными путями она, подобно голодающему гарнизону, начнет промышлять себе еду, лишь бы только продлить как-нибудь свое жалкое существование.

Элинор перестала уже добиваться сердца того, кто значил для нее все. Она жила теперь только тем, что видела его глаза. Она думала: "Лишь бы он улыбнулся, хоть и не мне, я все равно счастлива; благословенна та земля, на которую падают лучи солнца". Потом она стала довольствоваться меньшим. "Только бы я могла находиться там, где он, - думала она, - пусть улыбки его и душа отданы другой, какой-нибудь блуждающий луч коснется и меня, а большего мне не надо!".

Любовь в изначальной сути своей, когда она зарождается в нас, чувство возвышенное и благородное. Мы всегда стараемся наделить предмет нашей любви и физическим, и нравственным совершенством, и достоинства его как бы передаются и нам оттого уже, что мы способны восхищаться столь дивным и возвышенным созданием; но такая вот расточительная, безрассудная щедрость воображения нередко приводит к тому, что сердце становится несостоятельным должником. Когда же наступает жестокая пора разочарования, любовь готова вынести все унижения; она может довольствоваться небрежной снисходительностью любимого существа - взглядом, прикосновением руки, пусть даже редким и случайным; брошенного ей, пусть даже ненароком, ласкового слова достаточно, чтобы поддержать ее жалкие дни. В начальном своем периоде она, как человек до грехопадения: он упивается благоухающими цветами рая и наслаждается общением с божеством; в последний же период это тот же самый человек, который трудится в поту среди терновника и осота только ради того, чтобы заработать себе кусок хлеба и совсем не думая о том, чтобы сделать жизнь свою радостной, полезной или приятной.

\* \* \* \* \*

Около этого времени ее тетка-пуританка предприняла серьезные действия, чтобы вырвать Элинор из сетей врага. Она написала ей длинное письмо (стоившее большого напряжения женщине уже пожилой и совершенно не привыкшей писать письма), в котором заклинала отступницу возвратиться к той, что направляла ее в дни юности, и к завету ее бога, прийти в его вечные объятия, пока длани его еще протянуты к ней, и укрыться во граде господнем, пока врата его еще открыты для нее. Она убедительно доказывала племяннице истинность, силу и благость Учения Кальвина {51}, которое она именовала истинным Евангелием. Она отстаивала и защищала его с помощью искусных метафизических рассуждений и всей своей осведомленности в Священном писании, а знала она его неплохо. И она прочувственно напоминала ей, что рука,

написавшая эти строки, будет уже не в состоянии просить ее обо всем этом второй раз и что, может быть, станет прахом к тому дню, когда письмо это придет по назначению и племянница сможет его прочесть.

Читая его, Элинор плакала, но этим все и ограничилось. Плакала она от волнения, охватившего ее физическое существо, а отнюдь не от жалости и сочувствия. Никакая сила не может вызвать такого очерствения сердца, как страсть, которая, казалось бы, должна его больше всего смягчить. Она, однако, ответила на полученное письмо, и ей это стоило едва ли не большего труда, чем ее совсем уже слабой, умирающей тетке. Она призналась ей в том, что окончательно потеряла веру в бога и сожалеет об этом, тем более, писала она, что "\_я чувствую, что печаль моя неискренна\_".

\* \* \* \* \*

"О господи, - продолжала Элинор, - ты, который наделил сердце мое такой огненной силой, ты, который вложил в него такую великую, такую безраздельную и самозабвенную любовь, ты сделал это не напрасно: в мире более счастливом, а может быть, еще даже, и в нашем, когда настанет конец всем мукам, ты обратишь сердце мое к существу более достойному, чем то, которое я некогда почитала твоим земным воплощением. Как ни далеки от нас звезды в небе и каким тусклым нам ни кажется с земли их свет, рука Всемогущего не напрасно зажгла их. Дивный свет их предназначен для далеких и более счастливых миров, и луч веры, который так слабо мерцает для глаз, затуманенных земными слезами и едва от них не ослепших, может быть, разгорится еще снова, когда мое разбитое сердце откроет путь к обители отдохновения.

\* \* \* \* \*

Не думайте, дорогая тетя, что, если я утратила сейчас веру, я утратила и надежду вновь ее обрести. Разве тот, кто непогрешим, не сказал грешнице {52}, что прегрешения ее простятся ей за то, что она \_много возлюбила\_? Так неужели же этот дар любви сам по себе не доказывает, что настанет день, когда он будет более достойным образом направлен и более счастливо употреблен.

\* \* \* \* \*

О, до чего я несчастна! В эту минуту голос из глубин сердца спрашивает меня: "\_Кого\_ же ты так безмерно любила? Мужчину или бога, если ты осмелилась сравнивать себя с той, что плакала, став на колени - и не перед земным Идолом, а у ног воплощенного божества?".

\* \* \* \* \*

Может, однако, статья, что ковчег, носившийся по водной пустыне, обретет тихую гавань и дрожащий от страха путник высадится на берегах неведомого, но более чистого мира".

\* \* \* \* \*

Глава XXXI

Есть дуб неподалеку от пруда  
Заросшего, и, говорят, когда-то  
В нем смерть нашла страдальца одна,  
Как я!.. Но там другое было горе!

abiwto**s**bios

x x x

...Узнает он,

Когда в волнах мое увидит тело.

Ему подскажет сердце, отчего

Ривиния с собою порешила!

Хом. Роковое открытие {1}

Состояние Элинон с каждым днем ухудшалось, и все живущие в доме это замечали, вплоть до того, что даже стоявший позади ее стула слуга становился день ото дня все печальнее; Маргарет начала уже раскаиваться, что пригласила ее приехать в замок.

Элинон это понимала, и ей хотелось сделать все возможное, чтобы не причинять сестре лишних забот; однако сама она не могла оставаться безучастной к тому, что молодость ее так быстро увядает, что от былой красоты не остается и следа. Само нахождение ее в замке явилось главной причиной с недавнего ее смертельного недуга; но вместе с тем с каждым днем она находила в себе все меньше решимости вырваться оттуда. И она продолжала жить там подобно тем страдальцам, узникам восточных тюрем, которым в еду подсыпают яд и которые обречены на гибель все равно, будут они есть или воздерживаться от пищи.

Однажды доведенная до отчаяния нестерпимую душевной мукой (ибо мукой для нее было жить и видеть, как каждый день Джон Сендел все так же тихо улыбается своей сияющей улыбкой), она призналась в этом Маргарет.

- Не могу я больше вынести этой жизни, не могу! - воскликнула она. Ступать по полу, по которому только что ступала его нога; ждать, когда послышатся его шаги, а когда они наконец раздаются, чувствовать, что пришел не тот, кого ты ждала; видеть, как каждый предмет вокруг отражает его образ, и ни разу, ни разу не увидеть его самого; видеть, как открывается та самая дверь, за которой некогда появлялась его фигура, и не видеть его на пороге, а когда появляется он, то понимать, что он не такой, каким был, понимать, что он тот же самый и вместе с тем не тот, тот же самый для глаз, но совсем другой - для сердца; в муках переходить от сладостных грез к жестокой действительности. О Маргарет, это крушение всех иллюзий, это кинжал, который вонзается мне в сердце; человеческая рука бессильна вытащить его клинок и исцелить от яда, который вместе с ним проник ко мне в кровь.

Маргарет заплакала; она долго не могла решиться, однако в конце концов все же согласилась, чтобы Элинон покинула замок, коль скоро ей это необходимо, чтобы вернуть душевное равновесие.

Вечером того же дня, когда между ними произошел этот разговор, Элинон, которая любила бродить в одиночестве по окрестным лесам, неожиданно повстречала Джона Сендела. Был чудесный осенний вечер; именно в такой вечер они когда-то встретились впервые, - природа оставалась прежней, и только в сердце произошли перемены. Есть какой-то совсем особый свет в осеннем небе, особая тень - в осенних лесах; есть какое-то тусклое величие, освящающее эту вечернюю пору года, с непостижимой силой располагающее к воспоминаниям. Когда они встретились, Сендел заговорил с ней своим прежним мелодичным голосом, и в обращении его была та же волнующая нежность, которая постоянно, с того самого дня, со дня их первой встречи, продолжала звучать у нее в ушах. Ей мнилось, что в этом обращении было что-то другое, а не одно только обычное чувство, и то, что они оказались снова вдвоем на том самом месте, которое память ее заполонила образами былого и всеми произносившимися здесь когда-то словами, поддерживало в ней эту иллюзию. В глубине сердца у нее теплилась смутная надежда, она думала о том, чего не дерзала произнести вслух, но во что дерзала верить. Они пошли вместе, вместе они смотрели на догорающие лучи заката на окрашенных ими в пурпур холмах, на погруженные в глубокую тишину окрестные леса, на верхушки деревьев, которые сверкали, как золотые перья, вместе они снова приобщились к таинству природы, и окружающее

безмолвие пробуждало в их сердцах неизъяснимое желание что-то сказать друг другу. Все, что она передумала когда-то в этих местах, хлынуло потоком на Элинора; она отважилась поднять глаза на того, чье лицо снова, как когда-то, стало казаться ей ангельским ликом {2}. То же сияние, та же улыбка, которые как будто нисходили откуда-то с неба, были на нем и сейчас; но только сияние это пробуждал в нем багрянец разлившегося по горизонту заката, а улыбка была обращена к природе, - не к ней. Она дождалась, пока лицо его побледнело вслед за бледнеющими вечерними огнями, и, когда ее это \_окончательно\_ во всем убедило, сраженная своей тоской, она вдруг расплакалась. Когда смущенный и растроганный происшедшей в ней переменой Сендел обратился к ней со словами нежного участия и утешения, она в ответ только устремила на него умоляющий взгляд и в муках произнесла его имя. Она положила на природу и на те места, где они встретились с ним впервые, надеясь, что природа эта станет посредницей между ними, и, как ни было велико теперь ее отчаяние, она все еще продолжала верить в ее чудодейственную силу.

Может ли быть что-нибудь мучительнее минут, когда окружающий нас пейзаж воскрешает у нас в сердце все пережитое, а меж тем в другом сердце, в том, что когда-то разделяло наше счастье, все это остается погребенным, и \_мы напрасно стараемся его оживить\_!

Разочарование наступило очень скоро. С тою благосклонностью, которая, стремясь утешить нас, в то же время лишает нас последней надежды, с тою улыбкой, какою, быть может, ангелы дарят страдальца в тот последний миг, когда, томимый мукой и преисполняясь надежды, он готовится скинуть с себя брэнную оболочку, - именно с таким выражением глядел на нее тот, кого она любила. Он мог бы так смотреть на нее из другого мира, а здесь, на земле, взгляд этот обрекал ее на вечные муки.

\* \* \* \* \*

Не в силах видеть, как она страдает от раны, которую он ей нанес и которую бессилён излечить, Джон ушел; последние лучи за холмами тут же погасли; как будто солнце обоих миров закатилось, сразу погрузив все окружающее и душу ее во тьму. Она опустила на землю, и до слуха ее донеслись далекие звуки музыки, словно эхо повторявшие слова: "Нет! Нет! Нет! Никогда!.. Никогда!..". Бесхитростную мелодию эту с ее заунывными повторами наигрывал бродивший по лесу деревенский мальчик {3}. Но человеку несчастному каждая мелочь кажется исполненной некоего тайного смысла; среди густеющего сумрака и под шелест удаляющихся шагов надорванному болью сердцу Элинора печальные звуки эти показались каким-то страшным предзнаменованием {1\* Так как случай этот имел место в действительности, я привожу здесь нотную запись этой музыки, модуляции которой до крайности просты, а воздействие поразительно по глубине:

}.  
\* \* \* \* \*

Спустя несколько дней после этой все для нее решившей встречи Элинора написала своей тетке в Йорк, что, если та еще жива и не раздумала принять ее к себе в дом, она придет к ней и останется у нее до конца своих дней, тут же добавив, что, судя по всему, \_самой\_ ей жить остается недолго. Она не сообщала ей о том, что вдова Сендел шепнула ей, когда она в первый раз приехала в замок и что та теперь решилась повторить еще раз тоном, в котором было не то приказание, не то убеждение, желание примириться с нею или - ее запугать. Элинора уступила, и неделикатность, с какою было сделано это заявление, привело только к тому, что девушка постаралась сделать все от нее зависящее, чтобы оно больше не могло повториться.

Когда она уезжала, Маргарет плакала, а Сендел проявил столько нежной и вместе с тем несколько чрезмерной заботы об ее путешествии, как будто оно должно было закончиться не иначе, как ее с ним свадьбой. Для того чтобы избежать этого ложного положения, Элинора

ускорила свой отъезд.

Отъехав на некоторое расстояние от замка, она отпустила карету Мортимеров, сказав, что дойдет со своей служанкой пешком до фермы, где для нее должны быть приготовлены лошади. Туда она и пошла, но там постаралась остаться незамеченной, ибо до слуха ее уже дошло известие о предстоящей свадьбе Джона и Маргарет.

\* \* \* \* \*

День этот настал. Элино́р встала очень рано; радостно звонили колокола, так же радостно, как они уже звонили когда-то; собралось такое же множество гостей, все были так же веселы, как тогда, когда приезжали на ее свадьбу. Она увидела, как сверкают кареты, услышала, как множество местных жителей приветствуют жениха и невесту восторженными возгласами; ей казалось, что она уже видит робкую улыбку Маргарет и сияющее лицо того, кто некогда был ее женихом.

Вдруг все смолкло. Она поняла, что свадебная церемония продолжается, потом - что она окончилась, что неотвратимые слова уже произнесены, что союз уже заключен! Снова послышались восторженные приветствия - это означало, что процессия возвращается в замок. Блеск экипажей, роскошные одежды всадников, шумная толпа арендаторов окрестных земель - все это она видела своими глазами.

\* \* \* \* \*

Когда все уже окончилось, Элино́р случайно бросила взгляд на свое одеяние, - оно было белое, как подвенечный наряд. Содрогнувшись от ужаса, она тут же переделалась в траур и отправилась, как ей казалось, в свое последнее путешествие.

Глава XXXII

Fuimus non sumus \*.

{\* Мы были, нас нет {1} (лат.).}

Приехав в Йоркшир, Элино́р узнала, что тетка ее умерла. Она пошла к ней на могилу. Во исполнение ее последней воли покойную похоронили возле окна молитвенного дома диссидентов и на могильной плите, вырезали ее любимые слова: "Тем, кого он предвидел, он начертал их предназначенье..." и т. п., и т. п. Элино́р постояла какое-то время у могильного холмика, но ни одна слеза не скатилась из ее глаз. Эта противоположность такой строгой, полной лишений жизни - и смерти, исполненной таких надежд, обреченных на молчание человеческих чувств и заговорившей полным голосом могилы раздирала ей душу, и так было бы с каждым, кто упивался человеческой страстью и вдруг обнаружил, что пил ее из разбитой чаши.

Со смертью тетки Элино́р стала жить еще более замкнутой жизнью, если только это вообще было возможно, и уклад этой жизни был теперь отмечен еще большим однообразием. Она делала много добра жителям своей округи, но посещала она только их дома и больше нигде не бывала.

\* \* \* \* \*

Часто можно было видеть, как она подолгу взирает на ручей, пробегающий в дальнем конце ее сада. Так как она совершенно потеряла способность радоваться природе, то естественно было предположить, что к этому немому и мрачному созерцанию ее влечет нечто другое, и служанка ее, беззаветно преданная своей госпоже, неотступно за ней следила.

\* \* \* \* \*

Из этого состояния оцепенения и отчаяния, одна мысль о котором способна привести в содрогание того, кто когда-либо его испытал, ее вывело письмо Маргарет. За это время она получила от нее уже несколько писем, но ни на одно из них не ответила (что вообще-то говоря нередко случалось в те времена), но это письмо она тотчас же распечатала, прочла с чрезвычайным интересом и приготовилась немедленно дать на него ответ - и не словом, а

делом.

Всегда такая бодрая и жизнерадостная, Маргарет на этот раз совершенно пала духом. Она сообщала, что скоро должна разрешиться от бремени, и настоятельно просила любимую сестру поддержать ее в это опасное для нее время. Она добавляла, что мужественная и самоотверженная забота о ней Джона Сендела за все эти месяцы тронула ее сердце больше (если только это вообще возможно), нежели все прежние свидетельства его любви к ней, но что она не хочет согласиться с тем, чтобы он ради нее отказывался от всего, к чему привык, и чтобы он оставил свои сельские развлечения и поездки к соседям; что она тщетно старалась уговорить его поменьше времени проводить у постели, где она лежит, переходя от надежды к отчаянию, и что она надеется, что приезд Элинор повлияет на него и он уступит ее просьбе, ибо поймет, что для нее в ее положении важнее всего именно женская забота и что близкая подруга ее юности сможет ухаживать за больной все же лучше, чем даже самый любящий мужчина.

\* \* \* \* \*

Элинор тут же отправилась в путь. Чистота ее чувств создавала непроницаемую преграду между ее сердцем и существом, к которому стремились все ее помыслы, и встреча с тем, кто был теперь женат, да еще женат на ее сестре, страшила ее уже не больше, чем если бы речь шла о ее родном брате.

Она приехала в замок. Родовые схватки уже начались; все последнее время Маргарет чувствовала себя очень плохо. Тяжелое состояние ее усугублялось чувством большой ответственности: все ведь ожидали появления на свет наследника рода Мортимеров, и от напряженности этого ожидания ей никак не могло стать легче.

Элинор склонилась над ее изголовьем, припала своими холодными губами к горящим губам страдальцы и начала за нее молиться.

Первая медицинская помощь в этих местах (к которой в подобных случаях прибегали тогда очень редко) обходилась очень дорого. Вдова Сендел не допустила никого до роженицы, а сама оставалась в соседней комнате и все время расхаживала из угла в угол в неизъяснимой и \_так никому и не изъясненной\_ муке.

Два дня и две ночи прошли в надежде, которая то и дело сменялась отчаянием; на десять миль в округе во всех церквах звонари не ложились спать; арендаторы толпились вокруг замка, выказывая его владельцу свое искреннее и сердечное участие; соседние помещики ежечасно посылали нарочного узнать о здоровье Маргарет. Роды, происходившие в знатной семье, были в те времена важным событием.

Наконец они наступили: роженица разрешилась от бремени двумя мертвыми близнецами, да и молодой матери их оставалось жить считанные часы. Но в эти последние часы жизни Маргарет выказала то благородство духа, какое было присуще всем Мортимерам. Холодеющей уже рукой она нащупала руку своего несчастного мужа и заливающейся слезами Элинор и соединила их движением, смысл которого сестра ее во всяком случае поняла: она молила их соединиться навеки. Потом она попросила, чтобы ей принесли мертвых младенцев; просьбу ее исполнили, и говорят, что из слов, произнесенных ею в эту минуту, можно было понять, что, не будь они наследниками рода Мортимеров и появление их на свет - столь важным событием и средоточием ее давних надежд, ожидание их не повлекло бы за собой такого напряжения сил да и, может быть, сама она осталась бы в живых.

По мере того как она говорила, голос ее ослабевал, а взгляд тускнел; последним, на кого она его направила, был избранник ее сердца; она уже ничего не видела, но все еще ощущала его объятия. Но спустя мгновение руки его обнимали уже мертвое тело!

Содрогаясь от неизбывного горя, - а для мужчины оно бывает еще мучительнее оттого, что он старается не дать ему волю, - молодой вдовец кинулся на кровать, которая вся затряслась под

его неистовыми корчами, а Элино́р, позабыв обо всем и ощущая только внезапную и непоправимую катастрофу, вторила его глубоким прерывистым рыданиям, как будто та, по ком она сейчас плакала, не была единственной помехою ее счастью.

\* \* \* \* \*

Из всех, кто в этот тягостный день оплакивал в замке умершую, громче всех голосила вдова Сендел; плач ее переходил в крики, горе - в отчаяние. Бросаясь из комнаты в комнату как безумная, она рвала на себе волосы, выдирая их с корнем, и призывала на свою голову самые страшные несчастья. В конце концов она проникла в помещение, где лежала покойница. Испуганные ее безумным видом слуги пытались не пустить ее туда, однако им не удалось ее удержать. Она ворвалась в комнату, блуждающими глазами оглядела недвижимое тело и собравшихся вокруг него погруженных в немоту людей, а потом, кинувшись в ноги сыну, призналась, что виновата перед ним, и рассказала ему, какую сеть интриг она сплела, причинив непоправимое зло.

Сын ее выслушал это страшное признание, пристально глядя на мать, и ни один мускул не дрогнул у него на лице; когда же после всего несчастная грешница попросила его помочь ей подняться, он оттолкнул протянутые к нему руки и с каким-то сдавленным странным смехом снова повалился на кровать. Никакая сила не могла оторвать его от мертвого тела, к которому он приник, до тех пор, пока покойницу не унесли; после этого находившиеся там люди не знали уже, кого им следует оплакивать, - ту ли, у кого был отнят свет жизни, или того, в ком навеки потух свет разума!

\* \* \* \* \*

Несчастливая преступница (которую, впрочем, вряд ли кто-нибудь станет жалеть) спустя несколько месяцев, уже лежа на смертном одре, исповедалась перед священником-диссидентом, который, проведав об отчаянном положении, в котором она находилась, решил ее навестить. Она призналась, что, побуждаемая жадностью, а еще более того желанием вернуть свое утраченное влияние в семье и зная, какое богатство и какие титулы достанутся на долю ее сына, а тем самым в какой-то степени и на ее долю, если он женится на Маргарет, она пыталась склонить его на это уговорами и мольбой, но ей это не удалось; тогда в отчаянии своем и в досаде она решила прибегнуть к лжи и клевете и измыслила чудовищную историю, которую и рассказала своему сыну накануне того дня, когда должна была состояться свадьба его с Элино́р. Она уверила Джона, что он не ее сын, а незаконное дитя ее мужа, проповедника, от связи его с пуританкой- матерью Элино́р, которая принадлежала к его сообществу и была известна как восторженная его поклонница, причем увлечение его проповедями, якобы перешедшее в увлечение им самим и вызывавшее в ней ревность в первые годы ее замужества, и легло в основу этого страшного вымысла. Она добавила, что явная привязанность Маргарет к двоюродному брату в какой-то степени смягчала ее вину в собственных глазах, но когда она увидела, как сын ее утром того дня, на который была назначена свадьба, охваченный отчаяньем, покинул дом и помчался невесть куда, она была уже готова вернуть его и открыть весь учиненный ею обман. Но потом душа ее снова очерствела, и она подумала, что девушка ничего не узнает и что тайна эта никогда не будет раскрыта, ибо она ведь связала сына клятвой молчать о ней - из уважения к памяти его отца и из жалости к совершившей этот грех матери Элино́р.

Все произошло именно так, как хотела того преступница. Сендел стал смотреть на Элино́р как на сестру, а образ Маргарет легко нашел себе место в его незанятом сердце. Но как то часто бывает с теми, кто пускается на хитрости и на обман, именно то, что можно было счесть исполнением ее надежд, оказалось для нее гибельным. Оттого, что брак Джона и Маргарет оказался бездетным, все именья и титул Мортимеров переходили теперь к их дальнему родственнику, который был упомянут в завещании сэра Роджера, а ее сын, лишившийся рассудка



от пережитого горя, в которое она ввергла его своими кознями, оказался по той же причине лишенным и богатства и звания, которых она, как ей казалось, с их помощью для него добилась, и должен был довольствоваться небольшим пенсионом, который ему назначили за его былые заслуги. Бедность самого короля, который жил на ту помощь, которую получал от Людовика XIV {2}, исключала возможность этот пенсией сколько-нибудь увеличить. Когда священник выслушал до конца страшную исповедь умирающей грешницы, он мог только напутствовать ее теми словами, которые приписывают епископу Бернету {3}, когда к нему обратился за советом преступник, - он велел ей "пребывать в отчаянии" и ушел.

\* \* \* \* \*

Элинон удалилась вместе с беспомощным существом, на которое изливались ее неувыдающая любовь и непрестанные заботы, в свой йоркширский домик. Там, говоря словами божественного слепого старца {4}, чья поэтическая слава не достигла еще этой страны,

Отрадой было ей его увидеть дома {5}

и следить за ним, подобно отцу иудейского силача, который следил за тем, как сын его набирается "богом данной силы". Только в отличие от силы Самсона силе ума его не суждено было больше к нему вернуться.

По прошествии двух лет, в течение которых Элинон истратила большую часть своего состояния на лечение больного и "много претерпела от многих врачей" {6}, она поняла, что надеяться ей больше не на что, и, рассчитав, что доходов с ее уже уменьшившегося капитала будет все же достаточно, чтобы на них могли прожить и она и тот, кого она твердо решила не покидать, она терпеливо переносила свою горькую участь вместе с печальным спутником ее жизни и явила собой еще один из многих ликов женщины, "неустанно творящей добро" {7}, которая не нуждается ни в опьянении страстью, ни в шумном одобрении людей, ни даже в благодарности ничего не сознающего предмета своих забот.

Если бы в жизни для нее все сводилось к тому, чтобы спокойно переносить лишения и оставаться равнодушной к окружающему, усилия эти вряд ли можно было счесть ее заслугой, а страдания ее, пожалуй, не вызвали бы к себе сочувствия; но женщина эта терпит непрерывную и ничем не смягченную муку. Первую свою любовь она похоронила у себя в сердце, однако сердце это все еще продолжает жить и остается чутким к чужому страданию, и горячо на что-то надеется, и испытывает жгучую боль.

\* \* \* \* \*

Она сидит возле него с утра до вечера, вглядывается в глаза, свет которых был ее жизнью, и видит их устремленный на нее стеклянный бессмысленный взгляд; она мечтает об улыбке, которая озаряла его душу, как утреннее солнце - весенний луг, и видит только отсутствующую улыбку, ту, что пытается передать чувство довольства, но неспособна ничего выразить. Тогда, глядя в сторону, она погружается в мысли о прошлом. Перед ней проплывают видения; это какие-то сладостные образы, все окрашено в неземные цвета, это ткань, слишком тонкая, такая, что невозможно было бы вы ткать в нашей жизни, - они встают и ширятся перед ней, зачарованные и призрачные. Потoki дивной музыки ласкают ей слух, она мечтает о герое, о возлюбленном, о любимом - о человеке, который соединил бы в себе все, что может ослепить взгляд, опьянить воображение и смягчить сердце. Она видит его таким, каким он явился перед ней в первый раз, и даже миражи, что возникают в пустыне, так не увлекают воображение и не таят в себе такой жестокий обман. Она наклоняется, чтобы испытать из этого призрачного источника - и вдруг все исчезает; она пробуждается от своих мечтаний и слышит тихий смех несчастного: он налил в раковину воды, и ему кажется, что это бушующий океан!

\* \* \* \* \*

Есть у нее одно утешение. Когда сознание его ненадолго просветляется, когда речь его

становится членораздельной, он произносит не имя Маргарет, а ее имя, и тогда в сердце ее вспыхивает проблеск надежды и наполняет его радостью, но потом гаснет так же быстро, как гаснет в его остывшей душе этот проблеск сознания, мимолетный и случайный!

\* \* \* \* \*

Непрестанно заботясь о том, чтобы он чувствовал себя хорошо и был всем доволен, она каждый вечер совершала с ним прогулки, но водила его обычно по самым уединенным тропинкам, чтобы избежать насмешек со стороны встречных или их безучастного сожаления, которые были бы для нее мучительны и могли бы смутить ее кроткого спутника, с лица которого никогда не сходила улыбка.

- Именно в это время, - сказал незнакомец, прерывая свой рассказ, - мне и довелось познакомиться с... я хотел сказать, именно в это время некий приезжий, поселившийся неподалеку от той деревушки, где жила Элино́р, несколько раз встречал их обоих, когда они вместе выходили на свою уединенную прогулку. И каждый вечер он внимательно за ними следил. Он знал историю этих двух несчастных существ и решил воспользоваться ею в своих целях. Они вели настолько замкнутый образ жизни, что не могло быть и речи о том, чтобы познакомиться с ними обычным путем. Он пытался приблизиться к ним, время от времени оказывая больному какие-то знаки внимания: иногда он подбирал цветы, которые тот нечаянно ронял в речку, и, приветливо улыбаясь, выслушивал те невнятные звуки, которыми несчастный, сохранивший еще прежнюю свою обходительность, после того как уже утратил ясность мысли, пытался его отблагодарить.

Элино́р бывала благодарна ему за все эти случайные знаки внимания, однако ее начинала уже тревожить та настойчивость, с которой он стал каждый вечер появляться в местах, где они имели обыкновение гулять вдвоем, и независимо от того, поощряла она его, пренебрегала им или даже просто отталкивала его от себя, всякий раз находил все же способ разделить их уединение. Даже то скорбное достоинство, с которым держала себя Элино́р, ее глубокое уныние, ее сухие поклоны и лаконичные ответы были бессильны против учтивого, но на редкость назойливого незнакомца.

Постепенно он стал заговаривать с ней о постигшем ее горе - а ведь тот, кому удастся завести подобный разговор с человеком несчастным, тем самым подбирает ключ к его сердцу. Элино́р начала прислушиваться к его речам; ее, правда, смущало то, что он в таких подробностях осведомлен обо всей ее жизни, но вместе с тем успокаивало участие, которое сквозило в его словах, а таинственные намеки его на то, что есть еще надежда, намеки, которые он ронял как бы невзначай, ободряли ее. Вскоре жители деревушки, которых праздность и отсутствие каких-либо интересов жизни сделали любопытными, заметили, что Элино́р и незнакомец постоянно появляются вместе на вечерних прогулках.

Прошло около двух недель после того, как это было замечено, когда соседи вдруг услышали, как Элино́р, одна, вся вымокшая под дождем и с непокрытой головой, в поздний час громко и исступленно стучится в дом жившего рядом священника. Тот открыл ей дверь, ее впустили, и как ни был почтенный хозяин дома смущен столь неожиданным появлением ее, да еще в такой неурочный час, чувство это сменилось глубоким изумлением и ужасом, когда она рассказала, что ее к нему привело. Вначале он, правда, вообразил (ибо знал, в каком печальном положении она находилась), что постоянное общение с умалишенным могло оказать свое вредное влияние на рассудок той, которая не отходила от него ни на шаг.

Когда же Элино́р рассказала о страшном предложении, которое ей было сделано, и назвала не менее страшное имя нечестивца, от которого оно исходило, священник пришел в чрезвычайное волнение; долгое время он молчал, а потом попросил у нее разрешения сопровождать ее, когда она в следующий раз встретится с незнакомцем. Встреча эта должна

была состояться на следующий же вечер, ибо тот не пропускал ни одного дня, когда она выходила на свою печальную прогулку.

Необходимо еще упомянуть, что священник этот несколько лет провел за границей, что там ему довелось видеть нечто такое, о чем потом ходили странные слухи, он же по возвращении не обмолвился о виденном ни словом, и что приехал он в эту округу совсем недавно и не знал ни самое Элиноу, ни обстоятельств ее прошлой жизни, ни теперешнего ее положения.

\* \* \* \* \*

Была осень, вечера становились короче, и сумерки быстро сменялись ночной тьмой. И вот как раз тогда, когда тени стали заметно густеть, священник вышел из дома и направился в то место, где, по словам Элиноу, она каждый вечер встречала незнакомца.

Они пришли туда раньше, чем он; по тому, как дрожала Элиноу, как отводила в сторону взгляд и как суров, но вместе с тем спокоен был ее навязчивый спутник, священник сразу же понял, сколь ужасен был их разговор. Быстрыми шагами он подошел к ним и стоял теперь перед незнакомцем. Они сразу же узнали друг друга. Выражение, которого раньше никто на нем не видел, выражение страха появилось на лице странного пришельца! Он выждал немного, а потом ушел, не сказав ни слова, и с тех пор больше никогда уже не докучал Элиноу.

\* \* \* \* \*

Прошло несколько дней, прежде чем священник более или менее оправился после потрясения, вызванного этой необычайной встречей, и мог объяснить Элиноу причину пережитого им глубокого и мучительного волнения.

Когда он увидел, что уже может ее принять, он послал за ней и пригласил ее к себе поздним вечером, ибо знал, что в течение дня она никогда не оставляет беспомощного больного, которому так безраздельно предана. Вечер этот наступил; представьте себе теперь, как оба они сидят в старинном кабинете священника, стены которого уставлены шкафами с увесистыми старинными фолиантами; как теплится тлеющий в очаге торф, озаряя комнату тусклым, едва мерцающим светом, и как единственная зажженная свеча на дубовой подставке в дальнем ее углу освещает один только этот угол и ни одного отблеска не падает на фигуры Элиноу и ее собеседника, сидящих в массивных креслах, наподобие деревянных изваяний святых в богато убранных нишах какого-нибудь католического храма.

- Что за нечестивое и отвратительное сравнение, - сказал Альяга, пробуждаясь от дремоты, в которую он не раз погружался за время этого долгого рассказа.

- Слушайте лучше, чем это кончилось, - сказал его настойчивый собеседник, - священник признался Элиноу, что он был знаком с ирландцем по имени Мельмот, который возбудил в нем самый пристальный интерес своим широким кругозором, большим умом и страстной любознательностью, и он очень с ним сблизился. Когда в Англии начались смуты, священнику пришлось вместе со всей семьей искать убежища в Голландии. Там он снова встретил Мельмота, который предложил ему поехать вместе с ним в Польшу; предложение это было принято, и они отправились туда вдвоем. Священник рассказывал при этом много всяких необычайных историй о докторе Ди и Альберте Аляско {8}, польском авантюристе, с которым они виделись и в Англии, и в Польше; по его словам, он понял, что приятель его Мельмот безудержно увлечен изучением того искусства, которое приводит в содрогание всех, "кто произносит имя Христа". Большому кораблю нужно было большое плавание; ему было тесно в тех водах, где он оказался и откуда он рвался на просторы морей; иными словами, Мельмот сошелся с теми мошенниками или кем-то еще того хуже, которые обещали ему знание потустороннего мира и сверхъестественную силу на непередаваемо страшных условиях.

Когда священник упомянул об этом, черты лица его странным образом исказились. Он поборол свое волнение и добавил;

- С этого дня мы перестали встречаться. Я окончательно решил, что это человек, предавшийся дьявольскому обману, что он во власти Врага рода человеческого.

Прошло несколько лет, в течение которых я не видел Мельмота. Я собирался уже уезжать из Германии, как вдруг накануне получил письмо от некоего человека; он называл себя моим другом и писал, что, чувствуя приближение смерти, хочет, чтобы его напутствовал протестантский священник. Мы находились тогда на территории католического курфюршества. Я не замедлил отправиться к умирающему. Слуга провел меня к нему в комнату, после чего затворил дверь и ушел; оглядевшись, я, к удивлению своему, увидел, что комната вся заполнена разными астрологическими таблицами, книгами и какими-то приборами, назначение которых было мне непонятно; в углу стояла кровать, около которой не было ни священника, ни врача, ни родных, ни друзей; на кровати лежал Мельмот. Я подошел к нему и попытался сказать ему несколько слов утешения. Он только махнул рукой, прося меня замолчать, что я и сделал. Когда я припомнил его прежние привычки и занятия и увидел все, что его окружало, я испытал не столько смущение, сколько страх.

- Подойдите поближе, - едва слышно попросил Мельмот, - еще ближе. Я умираю... Вы хорошо знаете, как прошла моя жизнь. Я повинен в великом ангельском грехе: я был горд и слишком много возомнил о силе своего ума! Это был первый смертный грех - безграничное стремление к запретному знанию! Я умираю! Я не прошу вас творить надо мной какие-либо обряды; я не хочу слушать слова, которые для меня ничего не значат или которым я сам не хочу придавать никакого значения! Не смотрите на меня с таким ужасом, я послал за вами, чтобы вы мне здесь торжественно обещали, что скроете от всех мою смерть. Пусть ни один человек на свете не узнает ни того, что я умер, ни того, где и когда это было.

Голос его звучал отчетливо, а в движениях была сила, и я никак не мог допустить, что он в таком тяжелом состоянии.

- Не верится мне, - сказал я, - что вы умираете: голова у вас ясная, голос твердый, говорите вы связно; невозможно даже представить себе, что вы так больны.

- Хватит ли у вас терпения и мужества, чтобы убедиться, что все, что я говорю, правда? - спросил он.

Я ответил, что терпения у меня, разумеется, хватит, что же касается мужества, то я обращусь за ним к существу, которое я слишком чту, для того чтобы произносить при нем его имя.

В ответ он только улыбнулся страшной улыбкой, значение которой я слишком хорошо понял, и указал на часы, находившиеся в ногах кровати.

- Заметьте, - сказал он, - часовая стрелка стоит на одиннадцати, и я сейчас в здравом уме, могу ясно выразить свои мысли и даже вид у меня здорового человека. А через час вы увидите меня мертвым!

Я сел у его изголовья; мы оба с ним стали следить за медленным движением стрелок. Время от времени он что-то еще говорил, но заметно было, что силы его слабеют. Он настойчиво повторял, что я должен все сохранить в глубокой тайне, что это в моих интересах, и вместе с тем намекал, что мы с ним, может быть, еще и увидимся. Я спросил, почему он решил доверить мне тайну, разглашение которой столь опасно, в то время как ему ничего не стоило ее сохранить. Ведь если бы я не знал, жив он или нет и где он находится, я, разумеется, не узнал бы и того, где и при каких обстоятельствах он умер. На это он мне ничего не ответил. Как только часовая стрелка подошла к двенадцати, лицо его переменилось, глаза потускнели, речь сделалась невнятной, челюсть отвисла; дыхание прекратилось. Я поднес к его рту зеркало - оно не запотело. Я взял его руку - пульса не было. Прошло еще несколько минут, и тело совершенно остыло. После этого я еще оставался в комнате около часа - за это время не произошло ничего,

что позволяло бы думать, что жизнь к нему возвращается.

Печальные события в нашей стране заставили меня надолго задержаться за границей. Я побывал в различных частях континента, и, куда бы я ни приезжал, до меня всюду доносились слухи, что Мельмот жив. Слухам этим я не верил и вернулся в Англию в полной уверенности, что он умер. \_Но ведь не кто иной, как Мельмот, прогуливался и говорил с вами в последний вечер, когда мы с вами виделись\_. Я видел его собственными глазами и так ясно, что сомнений и быть не может. Это был Мельмот собственной персоной, такой, каким я знал его много лет назад, когда волосы мои были еще темными, а походка твердой. Я за эти годы постарел, а он все такой же; можно подумать, что время боится к нему прикоснуться. Невозможно даже представить себе, какие средства, какая сила дает ему возможность продолжать эту посмертную, сверхъестественную жизнь, остается только допустить, что страшная молва, сопровождавшая его всюду на континенте, верна.

Побуждаемая страхом и ненасытным любопытством, Элинор стала допытываться, что это за молва; однако ужасы, которые ей самой случилось изведать, позволяли ей уже строить догадки о том, что это могло быть.

- Не пытайтесь проникнуть глубже, - сказал священник, - вы и так уже знаете больше, чем людям дано было услышать и уразуметь. Достаточно того, что божественная сила помогла вам отразить нападения злого духа; искус был мучителен, но вы восторжествуете над ним. Если враг станет упорствовать в своих попытках, помните, что он уже был отвергнут среди ужасов тюрьмы и виселицы, среди криков сумасшедшего дома и костров Инквизиции; что ему еще предстоит быть побежденным противником, с которым, как он думал, ему легче будет справиться, - со слабым, разбитым сердцем. Он исколесил землю от края до края в поисках жертв, ища, какую душою еще завладеть, и, однако, не поживился добычей даже там, куда, кажется, мог устремиться за ней со всей присущей ему сатанинской жадностью. Да будет же нашей славой и венцом радостей наших, что даже слабейший из противников оттолкнул его. ибо владел силой, которая всегда будет побеждать его силу.

\* \* \* \* \*

Кто эта постаревшая женщина, которая с трудом поддерживает изможденного больного, а сама не меньше него на каждом шагу нуждается в помощи? Это по-прежнему Элинор, она ведет под руку Джона. Они идут все по той же тропинке, только сейчас уже другое время года, и перемена эта как будто сказалась и на состоянии природы, и на душах людей. Они идут сумрачным осенним вечером; речка, текущая рядом, потемнела, и вода ее сделалась мутной; слышно, как ветер завывает среди деревьев; сухие пожелтевшие листья шуршат у них под ногами. Два эти существа больше уже не общаются друг с другом, ибо один из них уже ни о чем не думает и редко что-нибудь говорит!

Неожиданно он знаками объясняет ей, что хочет посидеть; она не перечит ему и сама садится с ним рядом на поваленное дерево. Он склоняет голову ей на грудь, и она чувствует, смущенно и радостно, теплоту стекающих на нее слезинок, впервые за долгие годы; едва ощутимое, но сознательное пожатие руки кажется ей признаком того, что к нему возвращается разум; затаив дыхание, она с надеждой следит за тем, как он медленно поднимает голову и устремляет на нее взгляд... Господь утешитель, взгляд его осмыслен! Этим необыкновенным взглядом он благодарит ее за всю заботу о нем, за долгий и трудный подвиг любви! Губы его приоткрыты, он пытается что-то сказать, но давно уже отвык произносить звуки человеческой речи, и ему это не удастся; он пытается снова и опять терпит неудачу; силы его иссякают, глаза закрываются, последний тихий вздох проливается на грудь той, которая верила и любила.

Прошло еще немного времени, и Элинор могла сказать тем, кто стоял у ее одра, что умирает счастливой, ибо он узнал ее еще раз! Последнее движение ее было исполнено особого смысла:

она торжественно прощалась им со священником. И тот понял этот знак и ответил.

### Глава XXXIII

Cum mihi non tantum furesque furaeque suetae  
Hunc vexare locum, curae sunt atque labori;  
Quantum carminibus quae versant atque venenis  
Humanos animos \*.

Гораций

{\* Но ни воры, ни звери, которые роют тут землю.

Столько забот и хлопот мне не стоят, как эти колдуньи,

Ядом и злым вдохновеньем мутящие ум человека {1} (лат.).}

- Ума не приложу, - сказал себе дон Альяга, продолжая свой путь на следующий день, - ума не приложу, чего ради этот человек навязывает мне свое общество, пристаёт ко мне со всякими рассказами, которые имеют ко мне не больше отношения, чем, скажем, легенда о Сиде {2}, и в которых, может быть, так же мало правды, как в "Песни о Роланде" {3}; теперь вот он едет рядом со мной весь день, и можно подумать, что он хочет искупить прежнюю свою непрошенную и надоедливую говорливость: он ни разу даже и рта не открыл.

- Сеньор, - сказал незнакомец, обращаясь к нему за целый день в первый раз и как будто читая мысли Альяги, - я виноват перед вами; должно быть, мне не следовало рассказывать вам эту повесть; вижу, что она показалась вам совсем неинтересной. Позвольте же мне искупить мою вину и рассказать одну очень коротенькую историю; уж она-то, надеюсь, вас заинтересует.

- А она действительно будет короткой, вы это обещаете? - спросил Альяга.

- И не только это, обещаю вам, что она будет последней и я больше не стану испытывать вашего терпения, - ответил незнакомец.

- Если это будет так, то, во имя божие, говорите, брат мой. И постарайтесь, чтобы все было действительно так, как вы обещали, и вы не вышли из рамок.

- Был в Испании один купец, дела которого поначалу шли очень успешно; через несколько лет все, однако, изменилось, и ему стало грозить разорение. Тогда он принял предложение одного своего родственника, который к тому времени перебрался в Ост-Индию, и сам отправился туда вместе с женой и сыном, а маленькую дочь свою оставил в Испании.

- Как раз то, что было со мной, - воскликнул Альяга, нимало не догадываясь о том, зачем ему это рассказывают.

- Два года, на протяжении которых он удачно вел там торговлю, вернули ему потерянное состояние и вселили в него надежду еще больше разбогатеть. Воодушевленный всем этим, наш купец решил прочно обосноваться в Ост-Индии и выписал свою маленькую дочку вместе с нянькой; те отправились туда, как только представился случай, что тогда бывало очень редко.

- Все точь-в-точь, как было со мной, - сказал не отличавшийся сообразительностью Альяга.

- Корабль этот потерпел крушение возле берегов какого-то острова, неподалеку от устья реки; команда и пассажиры погибли, и можно было подумать, что и няньку с порученным ей ребенком постигла та же участь. Однако прошли слухи, что именно им двоим удалось спастись, что по какой-то странной случайности они добрались до этого острова, где нянька вскоре же умерла, изможденная усталостью и голодом, девочка же осталась жива, выросла там в этих диких краях и превратилась в прелестное дитя природы: питалась она плодами, спала среди роз, пила ключевую воду, радовалась солнцу и звездам и повторяла те немногие слова молитв, которым научила ее нянька, отвечая ими на обращенное к ней пение птиц и на журчание речки, воды которой звучали в унисон с чистой и благостной музыкой ее возвышенного сердца.

"Никогда я ничего об этом не слышал", - подумал Альяга.

- Рассказывают, - продолжал незнакомец, - что буря прибила к берегам этого острова

какой-то корабль; что капитану его удалось вырвать это прелестное создание из рук грубых матросов и спасти его, что, поговорив с нею по-испански, на языке, который она немного еще помнила и на котором ей, по-видимому, даже там довелось разговаривать с неким путешественником, который бывал на этом острове, и что капитан этот, будучи человеком благородным, взялся отвезти ее к родителям, чьи имена она помнила, хоть и не могла указать, где они жили: столь острой и цепкой бывает память наша в первые годы жизни. Он исполнил свое обещание и доставил эту прелестную девушку ее семье, которая жила тогда в городе Бенаресе {4}.

При этих словах Альяга воззрился на своего собеседника уже понимающим и испуганным взглядом. У него не было сил прервать незнакомца; он только затаил дыхание и, стиснув зубы, слушал.

- Я слышал, - продолжал незнакомец, - что семья вернулась потом в Испанию; что прелестная обитательница далекого острова сделалась кумиром мадридских кавалеров, тех бездельников, что шатаются у вас на Прадо, ваших *sacravienses* {Здесь - гуляк {5} (лат.).} ... ваших... каким же еще презрительным именем мне назвать их? Но знайте, что на нее устремлена еще одна пара глаз, и чары их неотвратимы и смертельны, как у змеи. Есть рука, протянутая, чтобы схватить ее, а от этой руки гибнет все живое! И вот теперь даже эта рука отпускает ее на миг; даже она трепещет от жалости и от ужаса; на мгновение она освобождает свою жертву, больше того, она призывает отца прийти на помощь дочери, которая попала в беду! Теперь-то, надеюсь, вы меня поняли, дон Франсиско? Ну как, интересно вам было слушать этот рассказ, имеет он к вам отношение или нет?

Он замолчал. Альяга, весь похолодевший от ужаса, мог ответить ему только едва слышным сдавленным стоном.

- Если да, - продолжал незнакомец, - то не теряйте ни минуты, спешите спасти вашу дочь!

И, прищорив своего коня, он исчез в проходе между двумя скалами, настолько узком, что, должно быть, ни один смертный никогда бы не мог по нему пробраться.

Альяга был не из тех людей, на которых могут действовать картины природы; кого-нибудь другого самый вид грозного ущелья, среди которого прозвучал этот зловещий голос, заставил бы сейчас же ему повиноваться. Наступил вечер, все было окутано густым серым сумраком; ехать надо было по каменистой тропе, петлявшей среди гор или, вернее, скалистых холмов, голых и не защищенных от ветра подобно тем, которые на некоем западном острове {1\* Может быть, Ирландии.} усталый путник замечает над болотистыми низинами: при всем своем отличии от окружающей их местности они никак не выдавались над ней. Проливные дожди проложили глубокие борозды меж холмов, и порою можно было увидеть, как ручей клоочет в своем каменистом желобе, словно какой-нибудь заносчивый и шумливый выскочка, меж тем как широкие расселины, некогда служившие ложем грозным, громыхавшим по ним потокам, являют взору зияющую жуткую пустоту, напоминая собою покинутые замки разорившейся знати. Ни один звук не нарушал тишины, если не считать унылого эха, которым ложбины откликались на стук копыт проходивших вдалеке мулов, и крика птиц, которые, покружив несколько раз по промозглому туману, устремлялись назад к своим укрывшимся среди утесов гнездам.

\* \* \* \* \*

Просто невозможно поверить, что после этого предупреждения, - а важность его подтверждалась той осведомленностью, которую выказал незнакомец в отношении всего прошлого Альяги и всех обстоятельств его семейной жизни, дон Франсиско не поспешил сейчас же домой, тем более что сообщение это он счел достаточно важным, чтобы написать об этом жене. Тем не менее так оно и случилось.

В ту минуту, когда незнакомец исчез, наш путник действительно было решил, не теряя ни

минуты, мчаться домой; однако, прибыв на ближайший же постоялый двор, он обнаружил там ожидавшие его деловые письма. Один из купцов, с которым он был в переписке, извещал его, что в отдаленной части Испании близок к разорению некий торговый дом и необходимо, чтобы он тотчас же туда явился. Были там также письма от Монтильи, которого он прочил себе в зятя; тот сообщал, что отец его настолько плох, что он не сможет его оставить до тех пор, пока судьба старика не решится. А так как от того, как она решится, зависели и состояние сына и жизнь отца, Альяга невольно подумал, что решение это свидетельствует и о благоразумии пишущего, и о его сыновней любви.

После того как Альяга прочел все эти письма, мысли его снова направились по привычному для них руслу. Никто ведь не может, нарушить образа мыслей и привычек закоренелого негоцианта, будь то даже выходец из могилы. Да и притом к этому времени таинственный образ незнакомца и весь его разговор с ним успели уже изгладиться из памяти человека, чья жизнь сложилась так, что в ней не было места общению с потусторонним миром. Время помогло ему стряхнуть с себя все страхи, вызванные этой необычайной встречей, а свою победу над ними он, не задумываясь, приписал собственному мужеству. Так, вообще говоря, все мы поступаем с созданиями нашей фантазии, с тою только разницей, что люди впечатлительные и страстные сожалеют о них и способны проливать по ним слезы, а люди, лишённые воображения, лишь краснеют от стыда за свою минутную слабость. Альяга отправился в отдаленную часть Испании, где присутствие его должно было спасти от разорения торговый дом, в благополучии которого он был чрезвычайно заинтересован, и написал донье Кларе, что, может быть, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем он возвратится в свое поместье поблизости от Мадрида.

#### Глава XXXIV

Колечко подарил ты мне,

Его надела я.

Ты сделался моим навек,

А я - навек твоя.

Литтл. Стихотворения {1}

В ту страшную ночь, когда исчезла Исидора, донья Клара и отец Иосиф были близки к отчаянию; у доньи Клары при всей ее нетерпимости и ужасающей посредственности все же были какие-то материнские чувства; что же касается отца Иосифа, то надо сказать, что тот, невзирая на все свое себялюбие и чревоугодие, обладал добрым сердцем, исполненным жалости ко всем страждущим и обремененным, и всегда старался прийти им на помощь.

Страдания доньи Клары усугублялись еще страхом перед мужем, перед которым она трепетала; она боялась, что ее супруг станет упрекать ее за то, что она не выполнила свой материнский долг и недоглядела за дочерью.

В эту горестную ночь она несколько раз порывалась послать за сыном и попросить у него совета и помощи, но она знала, какой у него горячий нрав, и поэтому, пораздумав, не стала ничего предпринимать и, предаваясь отчаянию, ждала наступления утра. Когда рассвело, повинувшись некоему безотчетному побуждению, она поднялась с кресла и по обычаю своему поспешила в комнату дочери, как будто все события минувшей ночи были всего-навсего тяжким кошмаром, который должен рассеяться с наступлением утра.

То, что она там увидела, казалось, подтверждало эту истину, ибо на кровати лежала Исидора и крепко спала с тою же чистой и умиротворенной улыбкой на губах, какая бывала у нее в те годы, когда ее убаюкивала сама природа и тихие мелодии, навеянные д\_у\_хами Индийского океана, продолжали звучать в ее снах. Крик изумления вырвался из груди доньи Клары, и крик этот оказал поразительное действие - он разбудил отца Иосифа, который на рассвете уснул мертвым сном. Тут же вскочив, сей добродушный баловень дома побрел в



комнату, откуда донесся крик, и, старательно приглядываясь ко всему слипающимся от сна глазами и не очень-то им веря, наконец все же увидел лежавшую в кровати и крепко спавшую Исидору.

- Радость-то какая! - воскликнул он, зевая и глядя на спящую с восхищением, вызванным, правда, больше всего мыслью, что теперь-то его не будут тревожить. - Только не вздумайте будить ее, - сказал он и, позевывая, направился к выходу, - после того как все мы тоже намучались за эту ночь, освежить себя сном это лучшее, что мы можем сделать. Итак, да поможет вам господь и все святые!

- Преподобный отец! Святой отец! - вскричала донья Клара, цепляясь за него, - не покидайте меня одну в таком тяжелом положении... Это же все колдовские чары, это дело рук дьявола. Посмотрите, каким непробудным сном она спит, а мы ведь громко разговариваем, и сейчас день.

- Дочь моя, вы глубоко заблуждаетесь, - ответил сонный священник, можно отлично спать и днем, и это только полезно для здоровья. А так как сам я собираюсь сейчас соснуть, то пришлите-ка мне бутылочку фонкарраля или вальдепеньяса {2}; это, правда, отнюдь не значит, что я не ценю богатейшие виноградники Испании, начиная от бискайского Чаколи и кончая каталонским Матаро {1\* Смотри "Путешествие по Испании" Диллона.}; только не надо думать, что я когда-нибудь сплю днем без особых на то причин.

- Святой отец! - ответила донья Клара, - неужели, по-вашему, в том, что моя дочь вдруг исчезла, а теперь спит непробудным сном, не замешана потусторонняя сила?

- Дочь моя, - ответил священник, нахмутив брови, - велите принести мне сюда вина, чтобы утолить невыносимую жажду, в которую повергла меня тревога за вашу семью, а потом оставьте меня на несколько часов в покое, и я поразмыслю о том, что нам лучше предпринять; когда я проснусь, я выскажу вам свое мнение по этому поводу.

- Святой отец, вы уже все за меня рассудите сами.

- Не худо было бы, дочь моя, если бы к вину мне подали несколько кусочков ветчины или какой-нибудь колбасы поострее; может быть, это бы немного умерило пагубное действие отвратительного напитка, который я, вообще-то говоря, никогда не употребляю, разве только в исключительных случаях, вроде сегодняшнего.

- Святой отец, вам все сейчас подадут, - заверила его озабоченная донья Клара, - только неужели вы в самом деле не думаете, что тут замешана...

- Пойдемте сейчас ко мне, дочь моя, - ответил священник, сменив свой клобук на ночной колпак, который почтительно поднес ему один из слуг, - и вы очень скоро увидите, что сон - не что иное, как естественное следствие столь же естественной причины. Разумеется, дочь ваша провела очень тревожную ночь, так же как вы и как я, хотя, может быть, в силу различных причин; но, так или иначе, все эти причины побуждают нас как следует отдохнуть... Я-то уж не премину это сделать, велите только подать вино и закуску. До чего же я устал! Поверьте, меня совершенно замучали посты и ночные бдения и проповеди. Язык у меня прилип к небу, а челюсти никак не разомкнуть; может быть, правда, поток-другой, и эта ужасная сухость во рту пройдет. Но вообще-то я так не люблю вино... Какого же черта ты до сих пор ничего не принес?

Прислуживавший ему лакей, испугавшись рассерженного голоса, которым священник произнес последние слова, поспешил послушно исполнить его распоряжение, а отец Иосиф спокойно уселся наконец у себя в комнате, чтобы поразмыслить обо всех бедствиях и волнениях вверенной его попечению семьи, пока глубокомысленные вопросы эти окончательно не одолели его и он в отчаянии не вскричал:

- Обе бутылки уже пустые! Ну раз так, то нечего больше об этом думать.

\* \* \* \* \*

Разбужен он был, однако, раньше, чем ему бы хотелось: донья Клара прислала за ним, прося его прийти. Как все слабые натуры, она привыкла в трудные минуты непременно получать поддержку со стороны, и теперь ей казалось, что стоит ей только совершить хоть какой-нибудь шаг без этой посторонней помощи, как он сразу же приведет ее к неминуемой гибели. Душа ее была во власти суеверных страхов и страха перед мужем, и наутро она послала за отцом Иосифом, чтобы пораньше испросить у него совета по поводу охватившего ее ужаса и беспокойства.

Главной заботой ее было, если это окажется возможным, скрыть от всех ночное исчезновение дочери; обнаружив, что, по всей видимости, никто из домочадцев об этом не знал и что из всей многочисленной прислуги утром \_не оказалось налицо только одного престарелого слуги\_ и отсутствие его в доме никем не было замечено, она постепенно приободрилась. Она почувствовала себя еще уверенней, когда получила письмо от Альяги, где тот сообщал ей, что должен поехать в отдаленную часть Испании и что свадьба их дочери и Монтильи откладывается на несколько месяцев; для доньи Клары это было равносильно отсрочке казни; она посоветовалась со священником, и тот успокоил ее, сказав, что если даже станет известным, что Исидора на какие-то несколько часов отлучалась из дома, то это не такой уж большой грех, а если об этом никто не узнает, то тогда вообще ей не о чем беспокоиться, и посоветовал ей для того, чтобы тайна эта не открылась, принять в отношении слуг кое-какие меры, которые - и в этом он поклялся своим саном - вполне надежны, ибо были испытаны на слугах другого, более обширного и могущественного дома.

- Преподобный отец, - сказала донья Клара, - насколько я знаю, ни у кого из испанских грандов нет дома, который великолепием своим мог бы сравниться с нашим.

- А я знаю такой дом, дочь моя, - сказал священник, - и во главе его стоит Папа. Ну а теперь подите-ка разбудите сеньориту; хоть она и заслужила того, чтобы не просыпаться до дня Страшного суда, ибо начисто забыла, когда у нас завтрак. Я говорю не о себе, дочь моя, просто я не выношу, когда нарушается распорядок дня в таком замечательном доме, как ваш. Что до меня, то с меня довольно будет чашки шоколада и виноградной кисти; да, совсем забыл, виноград-то терпкий, и, чтобы смягчить его вкус, никак не обойтись без бокала малаги. Кстати, ни у кого мне не доводилось пить из таких узких бокалов, как у вас. Не могли бы вы послать в Ильдефонсо {2\* Знаменитая в Испании фабрика, изготавливающая стеклянные изделия {3}.} за бокалами подобающей формы с короткими ножками и широким раструбом? Ваши похожи на Дон Кихота: длинные ноги, а туловища-то, можно сказать, совсем нет. А мне нравятся те, что похожи на его оруженосца - тело тучное, а ножки коротенькие, не больше моего мизинца.

- Сегодня же пошлю к Ильдефонсо, - заверила его донья Клара.

- Подите разбудите сначала вашу дочь, - сказал священник.

В это время в комнату вошла Исидора, мать ее и священник обмерли от удивления. Лицо ее было безмятежно спокойным, походка ровной, и она так владела собой, что можно было подумать, что она даже ничего не знает обо всех страхах и горестях, которые причинило близким ее ночное исчезновение. После нескольких минут замешательства донья Клара и отец Иосиф забросали ее множеством вопросов, наперебой восклицая: "Почему?", "Куда?", "Зачем?", и "С кем?" и "Как?" - это были единственные слова, которые они могли выговорить. Только все это было напрасною тратой сил, ибо ни в этот день, ни в последующие дни никакие уговоры, просьбы и угрозы ее матери, к которым присоединились увещания охваченного еще большей тревогой духовника, не могли исторгнуть из нее ни единого слова в объяснение того, что произошло с нею в эту страшную ночь. Когда вопрошавшие становились особенно настойчивы и упорны, к Исидоре словно возвращался непреклонный и могучий дух независимости, возвращенный, должно быть, чувствами и привычками юности. На протяжении семнадцати лет у

нее не было другой наставницы и госпожи, кроме нее самой, и, хотя по натуре она была и мягкой и податливой, всякий раз, когда властная посредственность пыталась ее тиранить, она преисполнялась презрения и выражала его одним только глубоким молчанием.

Возмущенный ее упорством и вместе с тем боясь потерять свое влияние в семье, отец Иосиф пригрозил ей, что не допустит ее до исповеди.

- В таком случае я исповедуюсь перед богом - ответила Исидора. Противиться настояниям матери ей было труднее, ибо своим сердцем женщины она была привязана ко всему женскому, даже тогда, когда оно представило ей в самых непривлекательных формах, а надо сказать, что преследования, которым она подвергалась с этой стороны, были надоедливыми и непрестанными. В донье Кларе при всей слабости ее натуры была та нестерпимая назойливость, какая обычно появляется в характере женщины, когда умственное убожество сочетается с неукоснительным и строгим соблюдением правил. Когда она начинала осаждать скрытую от нее тайну, крепостному гарнизону приходилось сдаваться. Недостаток силы и умения восполнялся в ней докучливой, не ослабевающей ни на миг кропотливостью. Она никогда не отваживалась брать крепость штурмом, однако назойливо окружала неприятеля со всех сторон и в конце концов изводила его и принуждала сдаться. Однако на этот раз даже ее упорство не в силах было что-либо сделать.

Продолжая быть с матерью почтительной, Исидора упорно молчала; видя, что положение становится отчаянным, донья Клара, обладавшая способностью не только раскрывать, но и хранить тайну, условилась с отцом Иосифом, что они не обмолвятся ни словом о таинственных событиях этой ночи ни отцу ее, ни брату.

- Пусть видит, - сказала донья Клара, сопроводив свои слова многозначительным и самодовольным кивком головы, - что мы так же умеем хранить тайну, как и она.

- Правильно, дочь моя, - согласился отец Иосиф, - подражайте же ей в том единственном ее качестве, которое делает сходство с нею лестным для вас.

\* \* \* \* \*

Тайна эта, однако, вскоре открылась. Прошло несколько месяцев, на протяжении которых посещения ее мужа окончательно вернули Исидоре прежнее спокойствие и уверенность в себе. Жестокая мизантропия его незаметно уступала место задумчивой грусти. Это походило на темную, холодную, но вместе с тем уже не страшную и сравнительно спокойную ночь, какая следует за днем бури и землетрясения. У потерпевших свежи в памяти ужасы этого дня, и такая вот темная тихая ночь кажется им надежным прибежищем. Исидора взирала на мужа, и ей было радостно не видеть его нахмуренных бровей и его еще более страшной улыбки, и у нее зародилась надежда, та, что всегда зарождается в умиротворенном и чистом женском сердце: она начала думать, что, может быть, ее влияние рано или поздно возобладает над тем, кто носит в себе хаос и пустоту, вспыхнув, как блуждающий огонек над болотом, и что верой своей жена все же может спасти неверующего мужа.

Эти мысли служили ей утешением, и хорошо, что они у нее были, ибо, когда воображение наше вступает в борьбу с отчаянием, факты - плохие союзники. В одну из ночей, когда она ожидала Мельмота, он застал ее за пением гимна Пресвятой деве, которому она сопровождала на лютне.

- А не поздно ли петь гимн Пресвятой деве после полуночи? - спросил Мельмот, и страшная улыбка исказила его черты.

- Мне говорили, что слух ее отверст во всякое время, - ответила Исидора

- Если это так, милая, - сказал Мельмот, по обыкновению вскакивая к ней в комнату через окно, - добавь к гимну твоему еще один куплет, помолись за меня.

- Что ты! - воскликнула Исидора, и лютня выпала у нее из рук, ты же не веришь, милый, так,

как того требует от нас пресвятая церковь.

- Нет, я верю, когда слушаю, как ты поешь.

- Только тогда?

- Спой еще раз твой гимн Пресвятой деве.

Исидора исполнила его просьбу и стала смотреть, как на него действует ее пение. Казалось, он был взволнован; он знаком попросил ее повторить.

- Милый, - сказала Исидора, - так повторяют в театре какую-нибудь арию по просьбе зрителей, а ведь это гимн, и тот, кто его слушает, любит свою жену еще больше потому, что любит ее бога.

- Это коварные речи, - сказал Мельмот, - но почему же ты даже не допускаешь мысли, что я могу любить бога?

- А ты разве ходишь когда-нибудь в церковь? - взволнованно спросила Исидора. Последовало продолжительное молчание. - А ты разве приобщаешься когда-нибудь святых тайн? - Мельмот не сказал ни слова в ответ. - А разве, как я тебя об этом ни просила, ты позволил мне объявить моей семье, которая сейчас в такой тревоге, какими узами мы связаны с тобой с той ночи? Молчание. - И вот теперь, когда... может быть... я не решаюсь даже сказать, что я чувствую! О, как же я предстану пред взором того, чьи очи направлены на меня даже сейчас? Что я скажу? Жена без мужа, мать ребенка, у которого нет отца, или связавшая себя клятвой никогда не называть его имени! О Мельмот, сжался надо мной, избавь меня от этой жизни, принудительной, лживой, притворной. Признай меня как законную жену перед лицом моей семьи и перед лицом той страшной участи, которую жена твоя разделит, последует за тобой всюду, с тобой погибнет!

Она обняла его, ее холодные, но исторгнутые из сердца слезы катились по ее щекам, а когда женщина в часы позора своего и страха обнимает нас, моля спасти ее, то чаще всего мы стараемся внять этой мольбе. Мельмот почувствовал этот ее призыв, но лишь на какое-то мгновение. Он схватил протянутые к нему руки; впиваясь в глаза своей жертвы - своей жены страшным испытующим взглядом, он спросил:

- А это правда?

Услыхав эти слова, жена его побледнела и, вздрогнув, вырвалась из его объятий; ее молчание было ему ответом. Сердце его трепетно забило человеческой мукой. "Он мой, - сказал он себе, - он мой; это плод моей любви; первенец сердца и плоти... мой... мой, и теперь, что бы со мной ни случилось, на земле останется человеческое существо, которое наружностью своей будет походить на меня и которого научат молиться за отца, пусть даже молитвы эти шипя засохнут на вечном огне, как случайная капля росы на горячих песках пустыни".

\* \* \* \* \*

С той минуты, когда Мельмот об этом узнал, он сделался с женой заметно нежнее.

Одним только небесам ведомы истоки той странной любви, с которой он взирал на нее и к которой и теперь еще примешивалась какая-то ярость. Его страстный взгляд походил на палящий зной жаркого летнего дня, когда духота возвещает близость грозы и когда она так томит нас, что грозы этой ждешь почти как избавления от непереносимого гнета.

Может статься, он подыскивал уже предмет своих будущих опытов, а существо, которое будет так безраздельно принадлежать ему, как только может принадлежать собственное дитя, могло показаться ему самым подходящим для этой цели; к тому же ведь, для того чтобы опыт удался, испытываемый должен был испытать в жизни горя, а уж кто, как не он, всегда был властен любому его причинить. Однако, каковы бы ни были истинные причины этой наступившей вдруг нежности, в нем пробудилось ее так много, что больше, верно, быть уже не могло, и он заговорил о приближающемся событии с волнением и участием, какие бывают у готовящегося

стать отцом человека.

Успокоенная этой происшедшей в нем переменой, Исидора безропотно переносила тяготы своего положения и сопутствующее ему недомогание и уныние, которые становились еще больше от постоянного страха и необходимости все держать в тайне. Она надеялась, что он в конце концов вознаградит ее тем, что, как подобает человеку порядочному, открыто перед всеми признает ее своей женой, но о надежде этой можно было судить только по терпеливой улыбке, появлявшейся на ее лице. Время быстро приближало ее к роковому дню, и мучительные и страшные опасения не давали ей покоя, когда она думала о судьбе ребенка, который должен был родиться при столь таинственных обстоятельствах.

На следующую ночь Мельмот застал ее в слезах.

- Увы! - воскликнула она в ответ на его отрывистые вопросы и попытку ее утешить. - Как много у меня причин для слез, и как мало слез я пролила! Если ты хочешь, чтобы не было этих слез, то помни, что отереть их может только твоя рука. Я чувствую, - добавила она, - что час этот кончится для меня худо; я знаю, что мне не дожить до того, чтобы увидеть мое дитя; прошу тебя, обещай мне то, что поддержит меня даже тогда, когда я буду знать, что это конец.

Мельмот не дал ей договорить и стал заверять, что подобные опасения всегда появляются в таком состоянии у женщин и что многие из них, став матерями нескольких детей, только улыбаются, вспоминая те страхи, которые они испытывали всякий раз перед родами, полагая, что исход их окажется роковым.

Исидора в ответ только покачала головой.

- Предчувствия, которые одолевают меня сейчас, из тех, что никогда не приходят понапрасну. Я всегда верила, что чем мы ближе подходим к невидимому миру, тем слышнее для нас становятся его голоса, страдание же и горе - это посредники между нами и вечностью; есть некое глубокое и неизъяснимое чувство, оно непередаваемо и в то же время неизгладимо; чувство это совершенно непохоже ни на какое физическое страдание и даже на овладевающий нашей душой страх, - как будто небо что-то доверило тебе одной и наказало хранить эту тайну, а если и открыть ее кому-то, то лишь при условии, что ей никто никогда не поверит. О Мельмот, не улыбайся этой страшной улыбкой, когда я говорю о небесах; скоро я, может быть, стану твоей единственной заступницей перед ними.

- Милая моя святая! - сказал Мельмот, смеясь и в шутку опускаясь перед ней на колени, - позволь же мне заранее извлечь выгоду из этого посредничества - сколько дукатов мне надо будет внести, чтобы быть причислену к лику святых? Надеюсь, что ты напишешь настоящий отчет о содеянных мною настоящих чудесах не в пример тому вранью, которое каждый месяц посылают в Ватикан и за которое становится просто стыдно.

- Пусть же твое обращение будет первым чудом, которое начнет собой этот список, - сказала Исидора с такой убежденностью в голосе, что Мельмот содрогнулся; было темно, но она почувствовала, что он задрожал. - Мельмот, воскликнула она, предвкушая свое торжество над ним, - я вправе потребовать, чтобы ты обещал мне исполнить одну мою просьбу: ради тебя я пожертвовала всем; никогда еще не было такой преданной женщины, ни одна женщина не могла представить таких доказательств своей преданности, как я. Я могла бы стать достойной, всеми уважаемой женой человека, который положил бы к моим ногам свое богатство и титулы. В эти опасные и мучительные для меня дни жены самых знатных испанских дворян дожидались бы у моих дверей. А теперь вот одна, без помощи, без поддержки, без утешения я должна переносить эти страшные муки, страшные даже для тех, чьи постели застланы любящими руками, кому легче переносить боль оттого, что рядом стоит их мать и слышит, как в ответ на первый совсем еще слабый крик ребенка радостными возгласами откликаются все родные. О Мельмот! Подумай только, каково будет мне! Я должна переносить все эти муки втайне от всех и молча! У

меня отнимут ребенка прежде, чем я успею его поцеловать, и наместо крестильной рубашки он будет окутан таинственной тьмою, сотканной твоими руками! Но что бы там ни было, обещай мне исполнить мою просьбу.. одну-единственную просьбу! - горячо молила она, и в голосе у нее слышалась мука, - поклянись мне, что мое дитя будет окрещено по всем обрядам католической церкви, что ребенок будет христианином, насколько церковные обряды в силах это сделать; и тогда я буду знать, что если мои страшные предчувствия сбудутся, то на земле все же останется существо, которое будет молиться за своего отца и чьи молитвы будут, должно быть, приняты. Обещай мне это, поклянись - добавила она в смертельной тоске, - что ребенок мой будет христианином! Увы! Если мой голос не достоин того, чтобы его услышали на небесах, то там услышат голос херувима! Ведь когда Христос жил на земле, он допускал к себе детей; так неужели же он отвергнет их на небе? Нет! Нет! Не может он оттолкнуть от себя \_твоего\_ ребенка!

Мельмот слушал ее, и чувства его были таковы, что не следует ни толковать их, ни вообще о них говорить и лучше всего обойти их молчанием. Но он внял ее мольбе и торжественно заверил ее, что ребенок будет окрещен, а вслед за тем добавил, что он будет христианином, насколько обряды и церемонии католической церкви в состоянии это сделать; при этом лицо его приняло какое-то странное выражение, но Исидора была так обрадована его согласием, что не успела сообразить, что оно могло означать. Он несколько раз язвительно намекнул на ненужность всех пышных обрядов и на бессилие всякой церковной иерархии и упомянул об ужасных и отчаянных обманах, учиняемых священниками всех разрядов, о которых он говорил одновременно и шутливо, и с сатанинской иронией; в речах его забавное смешивалось с ужасным, и он походил на арлекина в аду, который заигрывает там с фуриями. Исидора все время повторяла свою торжественную просьбу, чтобы, если ребенок переживет ее, он был окрещен.

Он еще раз подтвердил свое согласие, а потом с саркастическим и ужасающим легкомыслием добавил:

- Пусть он будет хоть магометанином, если тебе к тому времени этого захочется, или примет любую другую веру, напиши мне только одно слово; священника найти нетрудно и вообще вся церемония обойдется недорого! Только дай мне знать, каковы будут твои желания, когда ты сама все решишь.

- Меня уже не будет здесь, чтобы высказать их тебе, - с глубокой, убежденностью ответила Исидора на его жестокое легкомыслие; так холодный зимний день ответил бы на прихоти летней погоды, когда лучам сверкающего солнца сопутствуют вспышки молнии, - меня тогда не будет, Мельмот!

И эта сила отчаяния в существе столь юном, не имеющем опыта ни в чем, кроме страданий сердца, противостояла сейчас каменному равнодушию того, кто прошел в жизни от Дана до Вирсавии {4} и всюду видел одну только бесплодную пустыню или - превращал в пустыню все, что встречал на своем пути.

В ту минуту, когда Исидора плакала холодными слезами отчаяния не смея даже попросить своего возлюбленного отереть эти слезы, в одном из ближайших монастырей, где совершалась заупокойная месса по усопшем монахе, внезапно зазвонили колокола. Исидора воспользовалась этой минутой, когда даже воздух был напоен звуками, призывающими к вере, чтобы силою этой веры воздействовать на таинственное существо, присутствие которого вызывало в ней и ужас и любовь.

- Слушай! Слушай! - вскричала она.

Звуки нарастали медленно и спокойно, как будто невольно выражая собою то глубокое чувство, которое всегда вызывает в нас ночь: казалось, что это перекликаются между собою часовые, когда бодрствующие и погруженные в раздумье души сделались "сторожами ночи" {3\*

Кричат мне с Сеира: сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи? Исайя {5}.}. Действие этих звуков усиливалось тем, что к ним время от времени присоединялся хор низких и проникающих в душу голосов; голоса эти не только гармонически сочетались со звоном колоколов, они звучали с ними в унисон и сами также казались какою-то музыкой, которая, подобно им, возникает сама собой, исполняемая невидимыми руками.

- Слушай, - повторяла Исидора, - может ли не быть истиной голос, что так проникновенно звучит в ночи? Увы! Если нет правды в религии, то, значит, ее вообще нет на земле! Страсть и та превращается в обман чувств, если она не освящена мыслью о боге и о грядущем. Бесплодие и сухость сердца, которые не дают взрастить в нем веру, не могут не быть враждебны нежности, и великодушию. \_У того, у кого нет бога, должно быть, нет и сердца! О любимый мой, неужели, когда ты придешь склониться над моей могилой, тебе не захочется, чтобы последний мой сон смягчали такие вот звуки; неужели не захочется, чтобы и тебе самому они несли умиротворение и покой? Обещай мне хотя бы, что ты приведешь на могилу ко мне наше дитя; что ты позволишь ему прочесть надпись, где будет сказано, что я умерла во Христе и в надежде на бессмертие. Слезы его со всей силою убедят тебя не отказывать ему в утешении, которое в часы страданий мне дала вера, и - в надеждах, которыми она озарит мой смертный час. Обещай мне хотя бы, что ты позволишь ребенку моему пойти ко мне на могилу, - хотя бы это. Не мешай развиваться в нем этому чувству, не сбивай его своей иронией, или легкомыслием, или тем красноречием, что сверкает у тебя на устах, - и не для того, чтобы пролить свет, а для того, чтобы опалить. Ты не будешь плакать, но будешь молчать, пусть небеса и природа его сами сделают все что надо. Голос божий будет говорить его сердцу, а душа моя, даже если она будет в раю, задрожит, увидев эту борьбу, и даже там, на небесах, испытает еще одну радость, увидав, что силы добра одержали победу. Так обещай же мне это, поклянись! - вскричала она, простирая руки в мольбе.

- Твой ребенок будет христианином! - сказал Мельмот.

Глава XXXV

...Сжался, Гримбальд!

Я соблазну отшельников в их кельях

И девственниц - в их снах.

Драйден. Король Артур {1}

Как это ни странно, но можно считать вполне установленным, что женщины, которым приходится скрывать свою беременность и которые вынуждены бывают претерпевать все связанные с этим трудности и неудобства, часто лучше переносят ее, чем те, которых в этом положении опекает нежная и заботливая семья. Очевидно и то, что и сами роды, происходящие втайне, когда на свет появляется незаконный ребенок, оказываются менее опасными и приносят роженице меньше страданий, чем те, когда на помощь приходит и врачебное искусство, и любовь. По-видимому, именно так было и с Исидорой. Замкнутый образ жизни семьи, характер матери, которая была недостаточно проницательна, чтобы что-нибудь заподозрить, но в то же время совершенно неутомима в преследовании определившейся уже цели, что проистекало от стремления чем-то себя занять, вполне естественного для ее праздной натуры, и к тому же еще особенности тогдашней моды - огромные фижмы, которые совершенно скрывали очертания тела женщины, - все эти обстоятельства давали возможность сохранить тайну Исидоры, во всяком случае до наступления критического часа. Легко можно было себе представить, сколько было тайных приготовлений к нему по мере того, как час этот приближался, сколько тревоги; удалось найти няньку, которая набралась важности и кичилась оказанным ей доверием, преданную служанку и надежную повивальную бабку; на все это нужны были деньги, и Мельмот щедро снабдил ими Исидору; обстоятельство это, вероятно, немало бы ее удивило, ибо являлся он к ней всегда очень скромно и просто одетый, и эта щедрость его обратила бы на себя внимание, если

бы в эти тревожные дни она вообще могла думать о чем-нибудь еще, кроме приближения \_рокового часа\_.

Вечером накануне того дня, когда ожидалось это страшное для нее событие, Мельмот был с ней необычайно нежен; он молчал, но часто смотрел на нее, и в глазах его были тревога и любовь: казалось, он порывался ей что-то сказать, но только никак не мог решиться. Исидора, которая хорошо знала, сколь много человек способен передать другому глазами, ибо чаще всего ими-то и говорит сердце, попросила его разъяснить ей, \_что\_ означают эти ее взгляды.

- Отец твой возвращается, - неохотно ответил Мельмот, - он будет здесь через несколько дней, а может быть, даже через несколько часов. Исидора выслушала его; известие это привело ее в ужас.

- Мой отец! - вскричала она. - Я же никогда его не видела. О, как я встречу его теперь! А моя мать этого не знает? Как это она могла не сказать мне об этом?

- Сейчас она еще не знает, но будет знать очень скоро.

- А откуда же ты мог об этом проведать, если даже ей ничего не известно?

Какое-то время Мельмот молчал; лицо его сразу переменялось и сделалось напряженным и мрачным.

- Никогда больше меня об этом не спрашивай, - проговорил он медленно и сурово, - известие, которое я могу тебе сообщить должно быть для тебя гораздо важнее, чем те средства, какими я его получил; тебе достаточно знать, что я тебя не обманываю.

- Прости меня, милый, - сказала Исидора, - может статься, что обидела я тебя последний раз; так неужели же ты сейчас не простишь мне \_последнюю\_ обиду?

Мельмот был, должно быть, настолько поглощен своими мыслями, что оставил без ответа даже ее слезы. После нескольких минут мрачного молчания он наконец сказал:

- Вместе с отцом твоим прибывает жених, с которым тебя уже обручили; отец Монтильи умер; все приготовления к твоей свадьбе уже закончены; жених твой приезжает, чтобы сыграть свою свадьбу с чужою женой; вместе с ним приезжает твой вспыльчивый точно порох брат: он ездил встретить отца и будущего зятя. По случаю твоей свадьбы в доме будет большое торжество; ты, может быть, прослышишь, что на празднестве этом появился странный гость, - я там буду.

Исидора оцепенела от ужаса. - Торжество! - повторила она, - свадьба! Но ведь я твоя жена и вот-вот стану матерью!

\* \* \* \* \*

В эту минуту раздался топот копыт; слышно было, как множество всадников приближается к дому, как слуги бегут встретить их и помочь им сойти с лошадей, и Мельмот, подняв руку не для прощанья, а, как показалось Исидоре, с угрозой, мгновенно исчез; а через час Исидора опускалась уже на колени и кланялась отцу, которого не видела ни разу в жизни, позволила Монтилье приветствовать себя и приняла поцелуй брата, который едва прикоснулся к ней, раздраженный ее холодным обращением и замеченной в ней переменной, когда она вышла ему навстречу.

\* \* \* \* \*

Семейное свидание это происходило так, как то было принято в те времена в Испании. Альяга поцеловал холодную руку своей постаревшей жены; многочисленные слуги дома выразили надлежащую радость по случаю возвращения своего господина; отец Иосиф напустил на себя еще более важный вид и громче, нежели обычно, потребовал, чтобы подали обед. Монтилья, будущий муж, человек хладнокровный и спокойный, относился ко всему безучастно.

Все было приглушено наступившим спокойствием, недолгим и ненадежным. Исидора, которая так боялась приближавшейся опасности, почувствовала вдруг, что страхи ее улеглись.



Должно быть, час этот был не так еще близок, как она думала, и она сумела найти в себе достаточно выдержки, чтобы выслушивать ежедневные разговоры о своей приближающейся свадьбе, меж тем как ее доверенные слуги то и дело смущали ее своими намеками на то, что событие, которого они ожидают, произойдет очень скоро. Исидора мужественно все выслушала, почувствовала, перенесла: торжественные, степенные поздравления отца и матери, самодовольные ухаживания Монтильи, вполне уверенного в своей невесте и в ее приданом; угрюмую уступчивость брата, который не мог не согласиться на этот брак, однако непрестанно намекал на то, что его сестра могла составить более удачную партию. Все это проплывало перед ней как во сне; настоящая жизнь ее шла, должно быть, только в глубинах души. "Если бы мне пришлось стоять перед алтарем, - думала она, - и моя рука была бы в руке Монтильи, Мельмот все равно бы меня от него избавил". Эта страшная уверенность глубоко в ней укоренилась; образ, исполненный чудовищной, сверхъестественной силы, вставал перед нею всякий раз, когда она думала о Мельмоте, и застилал собою все остальное; и образ этот, который в первую пору их любви причинил ей столько страха и тревоги, теперь сделался ее единственною опорой в часы невыразимого страдания; так те несчастные женщины восточных сказок, чья красота возбудила ужасную страсть некоего злого духа, в час свадьбы ждут, что этот соблазвивший их дух вырвет из объятий сраженных горем родителей и растерявшегося жениха жертву, которую он приберет для себя и чья беззаветная преданность ему служит оправданием богопротивного и противоестественного их союза {1\* Смотри прелестную сказку об Авгите, принцессе Египетской, и колдуне Мограбе в Арабских сказках {2}.}

\* \* \* \* \*

Сердце Альяги ширилось, когда он предвкушал, что его заманчивые планы скоро осуществляются, а вместе с сердцем щедро открывался и кошелек, который был извечным его пристанищем, и владелец его решил устроить по случаю бракосочетания своей дочери великолепнейший праздник. Исидора помнила, как Мельмот предсказал ей, что наступит этот роковой день, и его слова "Я там буду" среди того ужаса, который ее охватил, на какое-то время принесли ей успокоение. Однако по мере того, как приготовления к свадьбе совершались у нее на глазах - ас ней то и дело советовались о том, как лучше убрать и украсить комнаты, - она теряла присутствие духа; она бормотала в ответ что-то совсем невнятное, а в остекленевших глазах ее был ужас.

Вечером этого дня должен был состояться костюмированный бал. Исидора подумала, что, может быть, Мельмот воспользуется этим случаем, чтобы устроить ее побег; она ждала, что услышит от него какой-то намек, что он подаст ей надежду, что он шепнет ей, что бал этот облегчит ей возможность вырваться из сетей смерти, которые, казалось, опутывали ее со всех сторон. За все время он не проронил об этом ни слова, и наступавшая было твердая уверенность, что она может на него положиться, оказывалась через минуту потрясенной в своих основах зловещим его молчанием.

В одну из таких минут, которые становились для нее нестерпимыми от убежденности, что роковой час уже близок, она взмолилась:

- Увези меня... увези меня из этого дома! Жизнь моя уже ничего не стоит; это дыхание, от которого скоро не останется и следа; но рассудку моему каждую минуту грозит опасность! Я не в силах вынести всех ужасов, какие выпали на мою долю! Сегодня меня целый день водили из комнаты в комнату и заставляли смотреть, как их украшают ко дню моей свадьбы! О Мельмот, если ты уже больше не любишь меня, то по крайней мере будь ко мне милосерд! Спаси меня от этого ужаса, которому нет названия! Если тебе не жаль меня, то пожалей твоего ребенка! Я не отрывала от тебя глаз, я ловила каждое твое слово, ища в нем проблеск надежды, и у тебя не нашлось для меня ни единого звука, ни один твой взгляд не принес мне этой надежды! Я схожу с

ума! Ничто не может теперь меня взволновать; ничто, кроме неизбежных и уже наступивших для меня ужасов завтрашнего дня. Ты говорил, что можешь подходить к стенам этого дома, беспрепятственно проникать внутрь, не вызвав ни в ком подозрений и не боясь, что тебя обнаружат; ты хвалился, что умеешь окружить себя облаком непроницаемой тайны. Так теперь, когда мне уже нет исхода и часы мои сочтены, окутай меня ее страшным покровом, чтобы я могла бежать, пусть потом он даже обернется для меня саваном! Вспомни только, как ужасна была ночь нашей свадьбы! Я шла за тобою в страхе, но я тебе верила; от одного твоего прикосновения раздвигались все земные преграды, ты вел меня неведомым мне путем, но я шла за тобой! О, если ты действительно владеешь этой таинственной и непостижимой силой, о которой я не смею тебя расспрашивать и в которую не могу поверить сама, яви ее ради меня в эту ужасную минуту... помоги мне бежать; мне не выжить, и хоть я и чувствую, что жить мне осталось слишком мало, чтобы я успела поблагодарить тебя потом за все сама, с тобой останется тот, кто без слов, одной улыбкой напомним тебе о слезах, которые я проливаю теперь; и если проликала я их напрасно, то улыбка его, когда он будет играть с цветами на могиле у матери, будет для тебя горьким упреком!

Мельмот слушал ее с напряженным вниманием и не проронил ни слова.

- Итак, ты отдаешься мне целиком? - спросил он.

- А разве я уже не поступила для тебя всем?

- Вопрос не есть ответ. Так, значит, ты согласна порвать все, что тебя связывает с другими, отказаться от всех надежд, положиться целиком на меня одного, чтобы я вызволил тебя из того безысходного ужаса, в котором ты очутилась?

- Да, согласна; я полагаюсь на тебя!

- А ты обещаешь, что, если я окажу тебе эту услугу, если я пушу в ход ту силу, на которую ты говоришь, что я намекал, ты станешь моей?

- Твоей! А разве я уже не стала твоей?

- Значит, ты соглашаешься мне во всем подчиниться? Ты сама добровольно вверяешь себя той силе, которою я могу тебя защитить? Ты хочешь сама, чтобы я употребил эту силу, чтобы дать тебе возможность бежать? Говори, верно ли я толкую сейчас твои чувства? Я не могу привести в действие те силы, которые ты приписываешь мне, если ты сама не захочешь, чтобы я это сделал. Я был терпелив; я ждал, когда меня призовут к делу. И вот меня призвали. Лучше бы этого никогда не случилось! - выражение жесточайшего страдания искривило его суровые черты. - Но ты еще можешь взять обратно свое решение.

- И тогда ты не спасешь меня от позора и опасности? Вот, оказывается, какова твоя любовь, какова та сила, которой ты кичишься? - воскликнула Исидора, которую промедление это сводило с ума.

- Если я молю тебя не спешить, если сам я сейчас колеблюсь и трепещу, то все это для того, чтобы дать тебе время... и твой добрый ангел мог еще шепнуть тебе спасительные слова.

- Спаси меня, и этим ангелом будешь ты! - вскричала Исидора, падая к его ногам.

Услыхав эти слова, Мельмот весь затрясся. Он, однако, поднял ее и успокоил, обещав, что спасет ее, хотя голос его скорее возвещал отчаяние, а потом, отвернувшись от нее, разразился страстным монологом.

- Бессмертные небеса, что же есть человек? Неведение делает его самым слабым из живых тварей, но у тех есть инстинкт! Люди - все равно что птицы, когда ты, кого я не дерзаю назвать отцом, берешь их в руку: они пищат и трепещут, хоть ты и касаешься их с нежностью и хочешь только возвратит беглянку обратно в клетку; а из страха перед светом, который слепит их, они кидаются в расставленные у них перед глазами сети и попадают в плен, из которого им уже не уйти!

Произнося эти слова, он быстрыми шагами ходил по комнате и нечаянно наткнулся на кресло, на котором было разложено сверкающее своим великолепием платье.

- Что это такое? - вскричал он, - что это за дурацкая мишура, что за нелепейший маскарад?

- Это платье, которое я должна буду надеть на празднестве, что будет сегодня вечером, - ответила Исидора, - служанки уже идут; я слышу шаги их за дверью. О, как будет у меня биться сердце, когда я надену этот сверкающий наряд! Но ты не оставишь меня? - спросила она, едва переводя дыхание от охватившей ее тревоги.

- Не бойся, - торжественно заверил ее Мельмот, - ты просила у меня помощи, и ты ее получишь. Пусть же сердце твое не трепещет ни тогда, когда тебе придется снимать это платье, ни теперь, когда ты должна будешь его надеть!

Час торжества приближался, и начали съезжаться гости. Исидора, разодетая в причудливый сказочный наряд и радуясь тому, что под маской скрылись и бледность ее и грусть, смешалась с веселящеюся толпой. Пройдя один тур с Монтильей, она больше не стала танцевать и отговорила тем, что должна помочь матери принимать и развлекать гостей.

После роскошного ужина танцы возобновились в огромном зале, и Исидора с бьющимся сердцем пошла туда вместе со всей компанией. Мельмот обещал прийти ровно в полночь, а на часах, что висели над дверями зала, было без четверти двенадцать. Стрелки их поднимались все выше; наконец обе они сравнялись часы пробили двенадцать раз! Не отрывавшая от них глаз Исидора теперь в отчаянии стала глядеть куда-то в сторону. В это мгновение она вдруг почувствовала, как кто-то тихо коснулся ее руки, и одна из масок, наклонившись к ней, прошептала:

- Я здесь! - и в ту же минуту маска подала ей знак, которым по условию они должны были обменяться с Мельмотом.

Не в силах промолвить ни слова, Исидора могла только ответить ему тем же знаком.

- Поторопись, - прошептал он. - Все приготовлено, чтобы ты могла бежать, нельзя терять ни минуты; сейчас я ненадолго уйду, через несколько минут жди меня в западной галерее; там сейчас темно, слуги забыли зажечь огни; уходи незаметно и побыстрее!

Он тут же исчез; через несколько минут Исидора последовала за ним. Хотя в галерее и было темно, тусклые отблески, падавшие туда из сверкавших ослепительным светом зал, озарили выросшую перед ней фигуру Мельмота. Ничего не говоря, он взял ее под руку и стал стремительно увлекать за собой.

- Стой, негодяй, стой! - раздался голос ее брата, который спрыгнул в эту минуту с балкона, а следом за ним - Монтилья. - Куда это ты тащишь мою сестру? А ты, негодница, куда ты собралась бежать и с кем?

Мельмот пытался проскочить мимо него, поддерживая одной рукой Исидору и протянув другую, чтобы не дать ему подойти к ним, но Фернан обнажил шпагу и преградил им путь, призывая меж тем Монтилью поднять на ноги слуг и вырвать Исидору из рук похитителя.

- Прочь от меня, глупец, прочь! - вскричал Мельмот. - Не кидайся на верную смерть! Мне не нужна твоя жизнь, довольно с меня и одной жертвы в этом доме, прочь с дороги, не то ты погиб!

- Ты еще должен это доказать, хвастун! - воскликнул Фернан, делая отчаянный выпад, который Мельмот отстранил, однако, спокойным движением руки. - Обнажай шпагу, трус! - вскричал взбешенный Фернан. - Второй мой удар будет половчее!

Мельмот не спеша вытащил из ножен шпагу.

- Мальчишка! - зловещим голосом сказал он, - стоит мне направить на тебя этот клинок, и минуты твои сочтены! Будь разумен и дай нам пройти.

Вместо ответа Фернан яростно на него напал; шпаги их скрестились.

Участники шумного празднества услышали теперь крики Исидоры; толпою кинулись они в

сад; следом за ними бежали слуги, сорвав со стен украшавшие их по случаю злосчастного праздника факелы, и на аллее, где происходил поединок, сделалось светло как днем; вокруг собралась большая толпа.

- Разнимите их, разнимите их, спасите! - закричала Исидора, кидаясь к ногам отца и матери, которые вместе со всеми остальными, оцепенев от ужаса, взирали на эту сцену. - Спасите моего брата! Спасите моего мужа!

Слова эти открыли донье Кларе всю страшную правду, и, успев только бросить на испуганного священника понимающий взгляд, она сразу лишилась чувств. Поединок длился недолго, ибо силы противников были неравны; за несколько мгновений Мельмот дважды пронзил Фернана шпагой; тот упал к ногам Исидоры и тут же испустил дух!

На несколько минут все застыли в ужасе; наконец крик: "Держите убийцу" вырвался из всех уст, и толпа окружила Мельмота. Он даже не пытался себя защитить. Отойдя на несколько шагов и вложив шпагу в ножны, он только отстранил их рукой. И от одного этого движения, которое, казалось, возвещало превосходство внутренней силы над силой физической, каждый из присутствующих почувствовал себя словно пригвожденным к месту.

Свет факелов, которые дрожавшие от страха слуги приблизили, чтобы на него взглянуть, ярко озарил его лицо, и среди толпы раздались потрясенные голоса: "МЕЛЬМОТ СКИТАЛЕЦ!".

- Да, это он! Это он! - сказал несчастный, - и кто из вас посмеет теперь не пустить меня, и кто пойдет следом за мной? Я не собираюсь причинять вам никакого вреда, но задержать вам меня не удастся. Если бы этот глупец, что лежит сейчас бездыханный, внял моим словам, вместо того чтобы дожидаться удара шпаги, в сердце моем трепетала бы единственная человеческая струна; в эту ночь она порвалась и - навеки! Никогда больше я не соблазню ни одной женщины! Ради чего будет вихрь, способный сотрясать горы и дыханием своим сокрушать города, опускаться на землю и обрывать лепестки едва распустившейся розы?

Взгляд его упал на Исидору, которая лежала у его ног рядом с телом Фернана; на какой-то миг он склонился над ней, и она словно востепенулась; он наклонился еще ниже и прошептал так, что никто, кроме нее, не мог расслышать его слов:

- Исидора, бежим; сейчас самое время, руки у всех скованы, мысли недвижны! Исидора, встань и бежим, это твое спасение, воспользуйся этой минутой!

Исидора узнала его голос, но не узнала его самого; на мгновение она приподнялась, посмотрела на Мельмота, бросила взгляд на залитую кровью грудь Фернана и, упав прямо на нее, окрасилась сама этой кровью.

Мельмот поднял голову; он заметил пробежавшую кое-где по лицам вражду; он бросил на них мгновенный зловещий взгляд; мужчины стояли, схватившись за шпаги, но бессильные вытащить их из ножен, и даже перепуганные слуги дрожащими руками держали факелы так, словно он заставил светить их себе одному. И он невредимый прошел среди всех к тому месту, где возле тел сына и дочери стоял оцепеневший от ужаса Альяга.

- Жалкий старик! - воскликнул он.

Несчастный отец смотрел на него широко открытыми, остекленелыми глазами, силясь разглядеть, кто же с ним говорит, и в конце концов хоть и с трудом, но узнал в нем незнакомца, с которым он при таких страшных обстоятельствах повстречался несколько месяцев назад.

- Жалкий старик! Тебя ведь предупреждали, но ты пренебрег этим предупреждением; я заклинал тебя спасти свою дочь; я лучше \_знал\_, какая опасность ей грозит; ты вместо этого спасал свое золото; так посчитай же сейчас, что дороже, - горстка праха, которой ты завладел, или сокровище, которое ты теперь потерял! \_Я встал между собой и ею\_; я предупреждал; я грозил; просить - не в моей натуре. Жалкий старик, смотри, к чему все это привело!

Сказав это, он не спеша повернулся, собираясь уйти.

Когда он уходил, его провожал какой-то невольно вырвавшийся у всех звук, похожий не то на шипение, не то на стон, настолько существо это было всем и отвратительно, и страшно, а священник с достоинством, которое скорее, впрочем, соответствовало его сану, нежели характеру, воскликнул:

- Изыди, окаянный, и не смущай нас; изыди с проклятьями и для того, чтобы проклинать.

- Я иду с победой и для того, чтобы побеждать, - ответил Мельмот с неистовой яростью и торжеством. - Несчастные! Ваши пороки, ваши страсти и ваша слабость делают вас моими жертвами. Обращайте упреки свои не ко мне, а к себе самим. Все вы бываете героями, когда идете на преступления, но становитесь трусами, когда вас постигает отчаяние; вы готовы валяться у меня в ногах, оттого, что в эту минуту я могу быть среди вас и остаться целым и невредимым. Нет сердца, которое не проклинали бы меня, но нет и руки, что преградила бы мне путь!

Когда он медленно уходил, по толпе прокатился ропот неодолимого ужаса и омерзения. Он прошел, хмурясь и глядя на них, как лев - на свору гончих псов, и удалился целый и невредимый; ни один человек не обнажил шпаги; ни один даже не поднял руки; на челе у него была печать, и те, кто мог ее разглядеть, понимали, что она означает; они знали, что никакая человеческая сила над ним не властна и прибегать к ней бессмысленно; те же, кто не мог это увидеть, охваченные ужасом, в слабости своей все равно ему покорялись. Все шпаги оставались в ножнах, когда Мельмот покинул сад.

- Да свершится над ним воля божия! - воскликнули все.

- Хуже для него ничего быть не может, - воскликнул отец Иосиф, - нет никаких сомнений, что он будет проклят... и это все же какое-то утешение для семьи в ее скорби.

Глава XXXVI

Nunc animum pietas maternaque nomina frangunt... \*

{\* То сокрушаясь душой, материнскою мучась любовью {1} (лат.).}

Меньше чем через полчаса все роскошные покои Альяги и его ярко освещенные сады замерли в безмолвии; гости все разъехались, за исключением очень немногих, которые остались, одни - побуждаемые любопытством, а другие - участием, одни - для того лишь, чтобы посмотреть на страдания несчастных родителей, другие - чтобы разделить их горе. Роскошное убранство сада до такой степени не соответствовало душевному состоянию находившихся в нем людей и трагедии, которая там только что разыгралась, что только усиливало охватившее всех ощущение ужаса. Слуги стояли неподвижно как статуи, все еще продолжая держать в руках факелы; Исидора лежала рядом с окровавленным телом брата; ее пытались увести, но она с такой силой к нему прижалась, что понадобилось применить другую силу, чтобы ее от него оторвать; Альяга, который за все это время не произнес ни слова и задыхался от волнения и гнева, опустился на колени и стал осыпать проклятиями свою уже едва живую дочь. Донья Клара, сохранив в эту страшную минуту женское сердце, потеряла всякий страх перед мужем и, став рядом с ним на колени, схватила его за руки, которые он в исступлении своем поднял ввысь, и пыталась не дать ему произнести страшных проклятий. Отец Иосиф, по-видимому единственный из всех, кто сохранил присутствие духа и способность мыслить здраво, несколько раз обращался к Исидоре с одним и тем же вопросом: "Так вы замужем, и замужем за этим чудовищем?".

- Да, я замужем, - ответила страдальца, поднимаясь над телом брата. Да, замужем, - повторила Исидора, взглянув на свой роскошный наряд и выставляя его напоказ со странным неистовым смехом. В эту минуту раздался громкий стук: это стучали в калитку сада. - Да, я замужем! - вскричала Исидора, - и вот свидетель моей свадьбы!

В это время соседние крестьяне вместе со слугами донна Альяги внесли в сад мертвое тело,

до такой степени обезображено, что даже самые близкие не могли бы его узнать. Исидора, однако, тут же поняла что это не кто иной, как их старик слуга, который так таинственно исчез в ночь ее страшной свадьбы. Тело это только что обнаружили крестьяне; оно было сброшено со скалы и так покалечено падением и тленом, что нельзя было даже поверить, что еще недавно это был человек. Опознали его только по ливрее, какую носили все слуги в доме Альяги: как она ни была разодрана, вид ее все же позволял думать, что эти ключья прикрывают собою тело несчастного старика.

- Вот он! - иступленно вскричала Исидора, - вот свидетель моей злосчастной свадьбы!

Отец Иосиф склонился над обезображенным телом, на котором некогда было начертано природой: "Се человек", надпись, которую теперь уже было бы немислимо разобрать, и, потрясенный тем, что увидел, не мог не вскрикнуть:

- Но ведь он же безгласен!

Когда несчастную Исидору оттащили наконец от тела брата, она почувствовала, что у нее начинаются родовые схватки, и воскликнула:

- Вы увидите сейчас и живого свидетеля, если только дадите ему жить!

Слова ее вскоре подтвердились; ее перенесли к ней в комнату, и несколько часов спустя, почти без всякой помощи и не пробудив в окружающих ни малейшего участия, она родила дочь.

Событие это вызвало в родителях ее чувства и нелепые и страшные. Альяга, которого гибель сына повергла в глубокое оцепенение, вышел из него и изрек:

- Жену колдуна и их проклятого отпрыска надлежит передать в руки милосердного и святого судилища Инквизиции!

Потом он пробормотал какие-то слова касательно того, что имущество его могут конфисковать, но никто не обратил на это внимания. Сердце доньи Клары разрывалось между сочувствием к несчастной дочери и мыслью, что сама она сделалась бабушкой отродья дьявола, ибо у нее не было другого названия для Мельмота Скитальца, а отец Иосиф, когда он дрожащими руками крестил ребенка, уже приготовился к тому, что зловещий восприемник младенца появится в эту минуту из-под земли, осквернит творимый им обряд и надругается над всем, что свято для сердца каждого христианина. Крестины, однако, состоялись с единственным отступлением от правил, к которому, впрочем, наш добродушный священник отнесся достаточно снисходительно: живого крестного отца у ребенка не было, самый последний слуга в доме и тот в ужасе отказывался от предложения сделаться восприемником ребенка, родившегося от этого страшного брака. Несчастливая мать слышала все эти домашние пререкания, лежа на одре болезни, и еще больше после этого полюбила отвергнутое всеми дитя.

\* \* \* \* \*

Несколько часов спустя оцепенение, в котором пребывала семья, улеглось, во всяком случае в отношении всего, что касалось вопросов религии. Явились служители Инквизиции во всеоружии власти, какую было наделено их судилище, и в великом волнении от известия о том, что Скиталец, которого они долгие годы разыскивают, за последнее время совершил наконец поступок, который делал его подсудным их учреждению, ибо теперь в их власти единственное человеческое существо, с которым он связал свое одинокое бытие.

- Все, что в нем есть человеческого, - теперь в наших руках, промолвил главный инквизитор, основывая свои слова больше на истинах, вычитанных из книг, нежели на собственных чувствах, - и если он сможет порвать эти узы, то это будет означать, что он действительно владеет сверхчеловеческой силой. У него теперь есть и жена и ребенок, и если в нем самом найдется хоть крупинка человеческих чувств, если сердце его может привязаться к смертной женщине, мы обовьем эти корни и вместе с ними вытащим и его самого.

\* \* \* \* \*

Прошло несколько недель, прежде чем Исидора могла окончательно прийти в себя. Когда она опомнилась, она увидела, что находится в тюрьме; ложем ей был соломенный тюфяк; в камере ничего не было, кроме черепа и распятия. Луч света с трудом пробивался туда сквозь узкое, заделанное решеткой окно, но усилия его были напрасны: бросив взгляд на убогие стены, он стремился поскорее их покинуть. Исидора осмотрелась кругом: в камере было достаточно светло для того, чтобы она могла разглядеть своего ребенка; она прижала его к груди, к которой он все это время слепо тянулся и которая его кормила, и заплакала от радости. "Она моя, - шептала она, рыдая, - и только моя! Отца у нее нет; он где-то на другом конце земли; он покинул меня, но я не одна, раз со мною ты!".

Ее надолго оставили в полном уединении: никто не приходил к ней, никто ее не тревожил. У тех, в чьи руки она попала, были веские основания к тому, чтобы вести себя с ней именно так. Они хотели, чтобы к началу следствия рассудок полностью к ней вернулся; в их намерения входило также дать ей время глубоко привязаться к невинному существу, которое разделило ее одиночество, дабы сделать это чувство орудием в своих руках и с помощью него раскрыть таинственные обстоятельства, относящиеся к Мельмоту, которые до сих пор Инквизиция была не в силах проведать, ибо он всякий раз от нее ускользал. Все полученные ими сведения сходились на том, что Мельмот никогда не пытался соблазнить женщину и не вверял ни одной женщине страшную тайну своего предназначения {1\* Это дает основание предполагать, что они ничего не знали об истории Элинор Мортимер.}; и кто-то слышал, как инквизиторы говорили друг другу: "Ну если уж Далила попала к нам в руки {2}, то недалек тот час, когда мы доберемся и до Самсона".

Вечером накануне допроса (а о том, что он будет, она ничего не знала) Исидора увидела, как дверь в ее камеру отворилась и на пороге появилась фигура, которую, несмотря на окружающую ее темноту, она тут же узнала - это был отец Иосиф. После того как оба они долгое время молчали, потрясенные тем, что случилось, Исидора молча же преклонила колена, чтобы священник благословил ее, что тот и сделал с прочувствованной торжественностью, после чего наш добрый монах, который, хоть и питал склонность ко всему земному и плотскому, все же ни с какой стороны не был в силу этого привержен дьяволу, возвысил голос и горько заплакал.

Исидора молчала, но молчание это проистекало отнюдь не от унылого безразличия ко всему и не от закоренелой нераскаянности. Отец Иосиф сел на край тюфяка на некотором расстоянии от узницы, которая тоже теперь сидела, склонившись над ребенком; по щекам ее тихо катились холодные слезы.

- Дочь моя, - сказал священник, наконец овладев собой, - разрешением посетить тебя здесь я обязан снисходительности Святой Инквизиции.

- Я очень за это им признательна, - ответила Исидора; слезы ручьем хлынули у нее из глаз, и ей от этого сделалось легче.

- Мне позволено также предупредить тебя, что допрашивать тебя начнут завтра, чтобы ты могла подготовиться к этому допросу и, если что-нибудь...

- Допрашивать! - удивленно воскликнула Исидора, не выказывая, однако, никакого страха, - о чем же меня будут допрашивать?

- О твоём непостижимом союзе с существом обреченным и проклятым. - Дочь моя, - добавил он, задыхаясь от ужаса, - значит, ты действительно жена этого... этого... этого существа, от одного имени которого меня мороз по коже пробирает и волосы на голове становятся дыбом?

- Да, я его жена.

- Кто же все-таки были свидетели вашего бракосочетания и чья рука дерзнула соединить тебя с ним этим нечестивым и противоестественным союзом?

- Свидетелей у нас не было: венчались мы в темноте. Я никого не видела, но я как будто

слышала какие-то слова и отчетливо ощутила, как чья-то рука взяла мою руку и вложила ее в руку Мельмота: она была холодна, как рука мертвеца.

- О, как это все запутанно и страшно! - воскликнул священник, побледнев и осеняя себя крестным знаменем; в движениях его был непритворный ужас; он склонил голову и застыл, не в силах вымолвить ни слова.

- Святой отец, - сказала наконец Исидора, - вы должно быть, знали отшельника, того, что жил возле развалин монастыря неподалеку от нашего дома; он же был и священником. Это был человек праведной жизни, он и обвенчал нас! - в голосе ее послышалась дрожь.

- Несчастливая жертва! - простонал священник, не поднимая головы, - что ты такое говоришь! Да ведь все знают, что праведник этот умер в ночь накануне той, когда была твоя ужасная свадьба.

Последовало снова тягостное и жуткое молчание; наконец священник его нарушил:

- Несчастное существо, - сказал он спокойным и торжественным голосом, мне позволено перед тем, как ты пойдешь на допрос, поддержать твой дух, исповедовав тебя и причастив. Молю тебя, очисти душу твою от бремени греха и откройся мне. Ты согласна?

- Согласна, святой отец.

- А ты будешь отвечать мне так, как ответила бы перед судом Божиим?

- Да, буду отвечать так, как перед судом Божиим.

И она опустила перед ним на колени, так, как положено на исповеди.

\* \* \* \* \*

- И ты открыла теперь все, что смущало твою душу?

- Все, отец мой.

Священник довольно долго сидел в задумчивости. Потом он задал ей несколько вопросов относительно Мельмота, на которые она никак не могла ответить. Вопросы эти вызваны были по преимуществу рассказами о его сверхъестественной силе и о трепете, который он сеял вокруг себя всюду, где бы ни находился.

- Отец мой, - спросила Исидора прерывающимся голосом, едва только он замолчал, - отец мой, можете ли вы мне что-нибудь рассказать о моих несчастных родителях?

Священник только покачал головой и не ответил ни слова.

Потом, правда, тронутый ее настойчивостью, в которой было столько волнения и муки, он с видимой неохотой сказал, что она сама может догадаться, как повлияли на ее отца и мать смерть сына и заточение дочери в тюрьму Инквизиции, ведь оба они были не только любящими родителями, но и ревностными католиками.

- А они живы? - спросила Исидора.

- Не спрашивай меня больше ни о чем, дочь моя, - ответил священник, - и будь уверена, что, если бы ответ мой мог принести тебе успокоение, я бы не замедлил тебе его дать.

В эту минуту в отдаленной части здания раздался колокольный звон.

- Колокол этот, - сказал священник, - возвещает, что допрос твой скоро начнется. Прощай, и да хранит тебя господь!

- Погодите, отец мой, побудьте со мной... только минуту... одну минуту! - взмолилась Исидора, в отчаянии кидаясь к нему и становясь между ним и дверью.

Отец Иосиф остановился. Исидора упала на пол и, закрыв руками лицо и не в силах перевести дыхание от охватившей ее смертельной муки, вскричала:

- Отец мой, скажите мне, ужели я погибла ... погибла навеки?

- Дочь моя, - ответил священник уже сурово, - дочь моя, я постарался облегчить твою участь тем утешением, которое было в моих силах тебе дать. Не настаивай на большем, дабы то, что я тебе дал ценой упорной борьбы с собой, не было у тебя отнято. Быть может, ты находишься



сейчас в таком состоянии, о котором мне не позволено судить и касательно которого я не могу сделать никакого вывода. Да будет господь к тебе милосерд, и да отнесется к тебе также с милосердием Святое судилище.

- Нет, не уходите, отец мой, останьтесь на минуту... на одну только минуту! Дайте мне задать вам еще один вопрос.

И, наклонившись над своим соломенным тюфяком, она взяла на руки бледного и ни в чем не повинного младенца и протянула его священнику.

- Отец мой, скажите, разве может эта малютка быть отродьем дьявола? Может ли быть им это существо; оно ведь улыбается мне, улыбается вам в то время, как вы готовы обрушить на него столько проклятий? О, ведь вы же сами кропили ее святой водой, произносили над ней святые слова. Отец мой, пусть они разрывают меня своими клещами, пусть они жарят меня на своем огне, но неужели та же участь ждет и мое дитя, невинное дитя, которое улыбается вам сейчас? Святой отец, умоляю вас, оглянитесь на моего ребенка.

И она поползла за ним на коленях, держа в руках несчастную девочку, чей пискливый крик и исхудалое тельце взывали о помощи, прося выволить ее из стен тюрьмы, в которой она обречена была прозябать с самого рождения.

Отца Иосифа мольба эта растрогала, и он готов был долго целовать несчастное дитя и читать над ним молитвы, но колокол зазвонил снова, и, спеша уйти, он успел только воскликнуть:

- Дочь моя, да хранит тебя господь!

- Да хранит меня господь, - прошептала Исидора, прижимая малютку к груди.

Колокол прозвонил еще раз, и Исидора знала, что час испытаний настал.

Глава XXXVII

Не страшись изнеможенья,

Лет согбенных маеты,

Жгучих мук без облегченья

И последней немоты.

Мейсон {1}

На первом допросе Исидоры предусмотрительно соблюдались те формальности, которыми, как известно, всегда сопровождаются действия этого судилища. Второй и третий были столь же строгими, обстоятельными и бесплодными, и Святая Инквизиция начала уже понимать, что ее высшие должностные лица бессильны перед находящейся перед ними необыкновенною узницей: соединяя в себе крайнее простосердечие с истинным величием души, она признавалась во всем, что могло служить к ее осуждению, однако с искусством, превосходившим все те изощренные приемы, к которым прибегала Инквизиция, отводила все вопросы, имевшие отношение к Мельмоту.

Во время первого допроса судьи вскользь упомянули о пытке. Исидора, в которой, казалось, пробудились ее свободолюбивая натура и воспитанное самой природой чувство собственного достоинства, в ответ только улыбнулась. Заметив совсем особое выражение ее лица, один из инквизиторов шепнул об этом другому, и к разговору о пытке больше не возвращались.

Прошло немало времени, прежде чем состоялся второй допрос, а потом третий, однако заметно было, что с каждым разом допросы эти становились все менее суровыми, а отношение к узнице - все более снисходительным. Юность ее, красота, неподдельная искренность и в поступках ее и в словах, которые при этих исключительных обстоятельствах сказались с особою силой, трогательный облик ее, когда она появлялась перед ними всякий раз с ребенком на руках, когда тот жалобно пищал, а ей приходилось наклоняться вперед, чтобы услышать вопросы, которые ей задавали, и на них ответить, - все это не могло оставить равнодушными

даже этих людей, не привыкших поддаваться каким бы то ни было впечатлениям, идущим из внешнего мира. В этой прелестной и глубоко несчастной женщине поразительны были кротость и послушание, раскаяние в содеянном грехе и готовность принять страдание; ее мучило горе, которое она причинила родителям и ее собственное; все это не могло не растрогать даже черствые сердца инквизиторов.

После нескольких допросов, на которых от узницы им так и не удалось ничего добиться, один глубокий знаток той анатомии, что умеет искусно расчленять человеческие души, шепнул инквизитору что-то по поводу ребенка, которого она держала на руках.

- Она не испугалась и дыбы, - был ответ.

- Тогда испробуйте \_эту дыбу\_, - посоветовал говоривший.

По соблюдении всех надлежащих формальностей Исидоре зачли приговор. Как подозреваемую в ереси, ее присуждали к пожизненному заключению в тюрьме Инквизиции; ребенок должен был быть у нее отнят и отдан в монастырь для того, чтобы...

На этом месте чтение приговора прервалось: несчастная мать, испустив душераздирающий крик, такой, каких в этих стенах не исторгали даже под пыткой, упала без чувств на пол. Когда ее привели в себя, ничто уже - ни уважение к месту, где она находилась, ни к судьям, ни страх перед ними - не могло остановить ее дикой исступленной мольбы, исполненной такой неистовой силы, что для нее самой выкрики эти звучали уже не как просьбы, а как приказания, - чтобы последняя часть приговора была отменена: вечное одиночество, годы жизни, которые ей суждено провести в вечной тьме, все это, казалось, нисколько ее не страшило и не печалило, но она рыдала, взывая к ним в бреду, моля не разлучать ее с ребенком.

Судьи выслушали ее не дрогнув и в глубоком молчании. Когда она увидела, что все кончено, она поднялась с полу, словно освобождаясь от мук перенесенного унижения, и в облике ее появилось даже какое-то достоинство, когда спокойным и переменившимся голосом она потребовала, чтобы у нее не отнимали ребенка до следующего утра. Теперь она настолько владела собой, что могла уже чем-то подкрепить свою просьбу: она сказала, что дитя может погибнуть, если его с такой поспешностью отнимут от груди. Судьи согласились исполнить эту просьбу, и она была отведена обратно в камеру.

\* \* \* \* \*

Время истекло. Надзиратель, приносивший ей еду, ушел, не сказав ни слова; ничего не сказала и она. Около полуночи дверь отперли, и на пороге появилось двое людей, одетых, как тюремщики. Сначала они медлили, как вестники возле шатра Ахиллеса {2}, а потом, подобно им, заставили себя войти. У людей этих были мрачные и мертвенно-бледные лица; фигуры их выглядели застывшими и словно изваянными из камня, движения - механическими, как у автоматов. И, однако, люди эти были растроганы. Тусклый свет лампы едва позволял разглядеть соломенный тюфяк, на котором сидела узница, но ярко-красное пламя факела ярко и широко озарило дверной свод, под которым появились обе эти фигуры. Они подошли к ней одновременно, и даже шаги их как будто повиновались чьей-то посторонней силе, а произнесенные обоими слова, казалось, были изречены одними и теми же устами.

- Отдайте нам ребенка, - сказали они.

- Берите, - ответил им хриплый, глухой и какой-то неестественный голос.

Вошедшие оглядели углы и стены; казалось, они не знают, как и где им надлежит искать в камерах Инквизиции человеческое дитя. Узница все это время сидела недвижно и не проронила ни слова. Поиски их продолжались недолго: камера была очень мала, и в ней почти ничего не было. Когда наконец они закончили ее осмотр, узница со странным неестественным смехом вскричала:

- Где же еще можно искать дитя, как не на материнской груди? Вот... вот она... берите ее...

берите! О, до чего же вы были глупы, что искали мое дитя где-то в другом месте! Теперь она ваша! - крикнула она голосом, от которого служители похолодели. - Возьмите ее, возьмите ее от меня!

Служители Инквизиции подошли к ней, и механические движения их словно замерли, когда Исидора протянула им мертвое тельце своей дочери. Вкруг горла несчастного ребенка, рожденного среди мук и вскормленного в тюрьме, шла какая-то черная полоска, и служители не преминули доложить об этом необычайном обстоятельстве Святой Инквизиции. Одни из инквизиторов решили, что это печать дьявола, которой дитя это было отмечено с самого рождения, другие - что это след руки доведенной до отчаяния матери.

Было решено, что узница через двадцать четыре часа предстанет перед судом и ответит, отчего умер ребенок.

\* \* \* \* \*

Но не прошло и половины этого времени, как ее коснулась рука более властная, чем рука Инквизиции; рука эта поначалу будто грозила ей, но на самом деле была протянута, чтобы ее спасти, и перед ее прикосновением все неприступные стены и засовы грозной Инквизиции были столь же ничтожны, как все те сооружения, которые где-нибудь в углу сплел паук. Исидора умирала от недуга, который хоть и не значится ни в каких списках, равно смертелен, - от разбитого сердца.

Когда инквизиторы наконец убедились, что пыткой - как телесной, так и душевной - от нее ничего не добьются, они дали ей спокойно умереть и даже удовлетворили ее последнюю просьбу - позволили отцу Иосифу ее посетить.

\* \* \* \* \*

Была полночь, но приближения ее нельзя было ощутить в местах, где день и ночь, по сути дела, ничем не отличаются друг от друга. Тусклое мерцанье плоски сменило слабую и едва пробивавшуюся туда полоску света.

Умиряющая лежала на своей жалкой постели: возле нее сидел заботливый священник; если его присутствие все равно не могло облагородить эту сцену, оно, во всяком случае, смягчало ее, окрашивая ее человеческим теплом.

\* \* \* \* \*

- Отец мой, - сказала умирающая Исидора, - вы сказали мне, что я прощена.

- Да, дочь моя, - ответил священник, - ты убедила меня в том, что ты неповинна в смерти девочки.

- Я никак не могла быть виновницей ее смерти, - сказала Исидора, приподнимаясь на своем соломенном тюфяке, - одно только сознание того, что она существует, давало мне силу жить даже здесь, в тюрьме. Скажите, святой отец, могло ли дитя мое выжить, если, едва только оно начало дышать, его заживо похоронили вместе со мной в этих ужасных стенах? Даже то молоко, которым кормила его моя грудь, пропало у меня, как только мне прочли приговор. Всю ночь она стонала, к утру стоны сделались слабее, и я была этому рада, наконец они прекратились совсем, и это было для меня великим счастьем!

Но при упоминании об этом страшном счастье она расплакалась.

- Дочь моя, а свободно ли твое сердце от этих ужасных и гибельных уз, которые принесли ему в этой жизни горе, а в жизни грядущей несут погибель?

Исидора долго не могла ничего ответить; наконец прерывающимся голосом она сказала:

- Отец мой, сейчас у меня есть сила углубиться к себе в сердце или же с ним бороться. Смерть очень скоро порвет все нити, которые связуют меня с ним, и не к чему предвосхищать это мое освобождение, ибо, до тех пор пока я жива, я должна любить того, кто погубил мою жизнь! Увы! Разве Враг рода человеческого мог не быть враждебен и ко мне, разве это не было

неизбежным и роковым? В том, что я отвергла последний страшный соблазн, в том, что я предоставила его своей участи, а сама предпочла покориться своей, я ощущаю свою победу над ним и уверена в том, что меня ждет спасение.

- Дочь моя, я не понимаю тебя.

- Мельмот, - сказала Исидора, с трудом произнося это имя, - Мельмот был здесь сегодня ночью... был в тюрьме Инквизиции, был в этой камере!

Священника слова эти привели в неопишуемый ужас; он мог только перекреститься, и, когда он услышал, как, проносясь по длинному коридору, глухо и заунывно завыв ветер, ему стало чудиться, что хлопающая дверь вот-вот распахнется и он увидит перед собою фигуру Скитальца.

\* \* \* \* \*

- Отец мой, я часто видела сны, - сказала кающаяся, качая головой в ответ на слова священника, - у меня было много снов, много смутных образов проплывало передо мной, но то, что было сегодня, - не сон. В снах моих мне являлся цветущий край, где я увидела его впервые; вновь наступали ночи, когда он стоял перед моим окном, и я дрожала во сне, как только раздавались шаги моей матери, и у меня бывали видения, которые окрыляли меня надеждой: небесные создания являлись ко мне и обещали, что обратят его в святую веру. Но это был не сон: он действительно был здесь сегодня ночью. Отец мой, он пробыл здесь всю ночь; он обещал мне... он заверял меня... он заклинал меня принять из его рук свободу и безопасность, жизнь и счастье. Он сказал мне, и я не могла в этом усомниться, - что с помощью тех же средств, которые позволили ему проникнуть сюда, он может осуществить мой побег. Он предлагал мне жить с ним на том самом индийском острове, в том раю посреди океана, где не будет людей и где никто не станет посягать на мою свободу. Он обещал, что будет любить меня одну, и - любить вечно, и я слушала его речи. Отец мой, я еще совсем молода, и слова жизни и любви сладостною музыкой звучали у меня в ушах, когда я взирала на тюремные стены и думала, что должна буду умереть на этом вот каменном полу! Но когда он шепотом сообщил мне страшное условие, на которое я должна согласиться, чтобы он мог исполнить свое обещание, когда он сказал мне, что...

- Дочь моя, - воскликнул священник, склоняясь над ее изголовьем, - дочь моя, заклинаю тебя тем, чей образ ты видишь на кресте, что я подношу сейчас к твоим умирающим устам, надеждою твоей на спасение души, которое будет зависеть от того, скажешь ли ты сейчас мне, духовному отцу твоему и другу, всю правду, заклинаю тебя назвать мне те условия, которые предложил тебе Искуситель!

- Обещайте мне сначала прощение того, что я повторю сейчас эти слова, если последнее дыхание мое изойдет в тот миг, когда они будут у меня на устах.

- Te absolvo {Отпускаю тебе грехи (лат.)}, - Произнес священник и низко склонился над нею, чтобы уловить все то, что она ему скажет. Но как только слова эти были произнесены, он вскочил, словно его ужалила змея, и, отойдя в дальний угол камеры, затрясся от страха.

- Отец мой, вы обещали мне отпущение грехов, - сказала умирающая.

- Jam tibi dedi, moribunda {Я уже дал его тебе в твой смертный час (лат.)}, - ответил священник; в смятении своем он заговорил на языке, привычном для него в церкви.

- Да, в смертный час! - ответила страдальца, снова падая на свое ложе. - Отец мой, дайте мне почувствовать в эту минуту вашу руку, человеческую руку!

- Обратись к господу, дочь моя! - сказал священник, прикладывая распятие к ее холодеющим губам.

- Я любила его веру, - пробормотала умирающая, благоговейно целуя крест, - я любила его веру еще до того, как ее узнала, и господь, должно быть, был моим учителем, ибо другого у меня не было! О если бы, воскликнула она с той глубокой убежденностью, какую проникается сердце

умирающего и которая (если это будет угодно богу) может отозваться эхом в сердце каждого человеческого существа, - если бы я не любила никого, кроме бога, какой бы глубокий покой наполнил мне душу, каким сладостным был бы для меня смертный час... А теперь ... его образ преследует меня даже на краю могилы, куда я схожу, чтобы от него убежать!

- Дочь моя, - сказал священник, обливаясь слезами, - дочь моя, твой путь лежит в обитель блаженных, борьба была жестокой и недолгой, но победа зато будет верной; по-новому зазвучат для тебя арфы, и песнь их будет приветствовать тебя, а в раю уже сплетают для тебя венец из пальмовых ветвей!

- В раю! - пробормотала Исидора, испуская последний вздох. - \_Пусть только он будет там\_!

Глава XXXVIII

Звонили в колокол, месса шла,  
Свечей колыхалось пламя,  
Монах и монахиня до утра  
Молились истово в храме.

\* \* \*

На вторую ночь...

\* \* \*

И все быстрее молитвы слова  
Слетали с их губ дрожащих,  
И чем грознее гул нарастал.  
Тем звон становился чаще!

\* \* \*

Настала третья...

\* \* \*

Забыли оба слова молитв,  
И ужас на пол свалил их;  
Святых они громко сзывали всех  
Спасти их от темной силы.

Саути {1}

На этом Монсада закончил рассказ об индийской островитянке, жертве страсти Мельмота, равно как и его судьбы - такой же нечестивой и непостижимой. И он сказал, что хочет посвятить своего слушателя в то, как сложились судьбы других его жертв, тех людей, чьи скелеты хранились в подземелье еврея Адонии в Мадриде. Он добавил, что их жизни еще более мрачны и страшны, чем все то, что он рассказал, ибо речь будет идти о ставших жертвами Скитальца мужчинах, о натурах жестких, у которых не было никаких других побуждений, кроме желания заглянуть в будущее. Он упомянул и о том, что обстоятельства его собственной жизни в доме еврея, его бегство оттуда и причины, побудившие его вслед за тем отправиться в Ирландию, были, пожалуй, столь же необычны, как и все то, о чем он рассказал. Молодой Мельмот (чье имя читатель, возможно, уже успел позабыть) выказал самое серьезное намерение {2} удовлетворить до конца свое опасное любопытство; может быть, к тому же он еще тешил себя безрассудной надеждой увидеть, как оригинал уничтоженного им портрета выйдет вдруг из стены и возьмется сам продолжать эту страшную быль.

Рассказ испанца занял много дней; когда он был закончен, молодой Мельмот дал своему гостю понять, что готов услышать его продолжение.

В назначенный для этого вечер молодой Мельмот и его гость снова сошлись в той же комнате. Была ненастная тревожная ночь; дождь, ливший целый день, сменился теперь ветром, который налетал неистовыми порывами и так же внезапно затихал, как будто набираясь сил для

предстоящей бури. Монсада и Мельмот придвинули свои кресла ближе к огню; по временам они глядели друг на друга с видом людей, которые стараются друг друга подбодрить, дабы у одного хватило мужества слушать, а у другого - рассказывать, и которые тем более озабочены этим, что ни тот ни другой не чувствуют этого мужества в себе.

Наконец Монсада набрался решимости и, откашлявшись, приступил к своему рассказу; однако очень скоро заметил, что ему никак не удастся завладеть вниманием слушателя, и - замолчал.

- Странно, - промолвил Мельмот как бы в ответ на это молчание, - шум какой-то: будто кто-то бродит по коридору.

- Тсс! Погодите, - сказал Монсада, - я не хотел бы, чтобы нас подслушивали.

Оба замолчали и затаили дыхание; шорох возобновился; не могло быть сомнения, что чьи-то шаги то приближаются к двери, то снова от нее удаляются.

- За нами следят, - сказал Мельмот, приподнимаясь со своего кресла. В эту минуту дверь отворилась, и на пороге показалась фигура, в которой Монсада узнал героя своего рассказа и таинственного посетителя тюрьмы Инквизиции, а Мельмот - оригинал висевшего в голубой комнате портрета и существо, чье непостижимое появление в ту минуту, когда он сидел у постели умирающего дяди, повергло его в оцепенение.

Фигура эта стояла какое-то время в дверях, а потом тихо пошла вперед и, дойдя до середины комнаты, снова остановилась, но даже не взглянула на них. Потом она приблизилась к столу, за которым они сидели, медленным, но отчетливо слышным шагом и теперь стояла перед ними. Обоих охватил глубокий ужас, но ужас этот по-разному себя проявил. Монсада непрерывно крестился и принимался читать одну молитву за другой. Приросший к своему креслу Мельмот уставился невидящими глазами на пришельца. Это действительно был Мельмот Скиталец, такой же, каким он был сто лет назад, такой же, каким, может быть, будет в грядущих столетиях, если возобновится действие того страшного договора, который продлевал его дни. Сокрытая в нем сила не ослабела, однако взгляд его потускнел {3}, в нем не было больше того устрашающего сверхъестественного блеска, какой он всегда излучал: это ведь был зажженный от адского пламени маяк, и он заманивал (или, напротив, предупреждал) отчаянных мореплавателей на рифы, о которые разбивались многие корабли и где иные из них тонули, - этого чудовищного света уже не было; всем обличем своим он ничем не отличался от обыкновенного смертного, от того, каким он был изображен на портрете, уничтоженном молодым наследником рода, только глаза у него теперь были как у мертвеца.

\* \* \* \* \*

Когда Скиталец подошел совсем близко к столу и мог уже их обоих коснуться, Монсада и Мельмот в неодолимом ужасе вскочили с кресел и приготовились защищать себя, хотя отлично понимали в эту минуту, что все равно никакие средства не помогут справиться с существом, которое сметает на своем пути все и насмехается над слабостью человека. Скиталец взмахнул рукой - жест этот выражал пренебрежение без вражды, - и до слуха их донеслись странные и проникновенные слова единственного на свете существа, которое дышало тем же воздухом, что и другие люди, но чья жизнь давно уже преступила отведенные человеку пределы; голос, который бывал обращен только к несчастным, истерзанным горем и грехом, всякий раз повергая их в новые бездны отчаяния, зазвучал теперь размеренно и спокойно и был подобен отдаленным раскатам грома.

- Смертные, - начал он, - вы ведете здесь разговор о моей судьбе и о событиях, которые она за собой повлекла. Предназначение мое исполнилось, а вместе с ним завершились и все те события, которые возбудили ваше неистовое и жалкое любопытство. И вот я здесь, чтобы поведать вам и о том, и о другом! Тот, о ком вы только что говорили, стоит перед вами! Кто

может рассказать о Мельмоте Скитальце лучше, чем он сам, теперь, когда он собирается сложить с себя бремя жизни, которая во всем мире возбуждает удивление и ужас? Мельмот, ты видишь перед собой своего предка, того самого, чей портрет был написан еще полтора года назад. Монсада, ты видишь более недавнего своего знакомого - (тут по лицу его пробежала мрачная усмешка). - Не бойтесь ничего, добавил он, видя страдание и ужас на лицах тех, кому приходилось теперь выслушивать его слова. - Да и чего вам бояться? - добавил он, меж тем как злобная усмешка еще раз вспыхнула в глубинах его мертвых глазниц. - Вы, сеньор, отлично вооружены вашими четками, а вы, Мельмот, проникнуты той бесплодной и неистовой пытливостью ума, которая в прежнее время сделала бы вас моей жертвой - (и тут черты его на мгновение до неузнаваемости исказились страшною судорогой), - ну а сейчас дает только повод посмеяться над вами.

\* \* \* \* \*

- Есть у вас что-нибудь, чем бы я мог утолить жажду? - попросил он, усаживаясь за стол.

Страшное смятение охватило Монсаду и его собеседника; оба они были словно в бреду, однако Монсада с какой-то странной и доверчивой простотой налил стакан воды и протянул его гостю так же спокойно, как если бы перед ним находился обыкновенный смертный; он только ощутил в этот миг какой-то холод в руке. Скиталец поднес стакан к губам, отпил немного, а потом, поставив его на стол, заговорил со странным, но уже лишенным прежней свирепости смехом:

- Знаете вы, - спросил он, обращаясь к Монсаде и Мельмоту, которые с тревогой и в полной растерянности взирали на явившееся им видение, - знаете вы, как сложилась судьба Дон Жуана {4}, только не в той пьесе, что представляют на вашей жалкой сцене, а знаете ли вы его страшную трагическую участь, которую изобразил испанский писатель? {1\* Смотри эту пьесу, имеющуюся в несуразном и очень устаревшем переводе.} Там, чтобы отплатить хозяину за его гостеприимство, тот в свою очередь приглашает его к себе на празднество. Залом для этого празднества служит церковь; гость приходит, храм весь освещен таинственным светом: невидимые руки держат лампы, которые горят, хоть в них и не налито масла, освещая богоотступнику час Страшного суда над ним! Он входит в храм, и его там встречает многолюдное общество - души всех тех, кому он причинил на земле зло, кого он убил, тени, вышедшие из могил, закутанные в саваны, стоят там и кланяются ему! Когда он проходит среди них, они глухими голосами предлагают ему выпить за них и протягивают ему кубки с их кровью, а под алтарем, возле которого стоит дух умерщвленного им отца, зияет бездна погибели, которая должна его поглотить! Такой вот прием скоро окажут и мне! Исидора! Тебя я увижу после всех, и это будет для меня самая страшная из всех встреч! Ну что же, надо допить последние капли земной влаги, последние, которым суждено смочить мои смертные губы!

Он медленно допил стакан. Ни у Мельмота, ни у Монсады не было сил что-нибудь сказать. Скиталец погрузился в глубокую задумчивость, и ни тот ни другой не решались ее нарушить.

Так они просидели в молчании, пока не начало рассветать и бледные лучи зари не пробились сквозь закрытые ставни. Тогда Скиталец поднял голову и устремил на Мельмота застывший взгляд.

- Твой предок вернулся домой, - сказал он, - скитания его окончены! Сейчас мне уже даже незачем знать, что люди говорили и думали обо мне. Тайну предназначения моего я уношу с собой. Пусть даже все, что люди измыслили в своем страхе и чему сами же с легкостью поверили, действительно было, что же из этого следует? Ведь если преступления мои превзошли все, что мог содейть смертный, то таким же будет и наказание. Я сеял на земле страх, но - не зло. Никого из людей нельзя было заставить разделить мою участь, нужно было его согласие, - и ни один этого согласия не дал; поэтому ни на кого из них не распространится чудовищная

кара. Я должен всю ее принять на себя. Не потому разве, что я протянул руку и вкусил запретный плод, бог отвернул от меня свое лицо, врата рая закрылись для меня, и я обречен скитаться до скончания века среди безлюдных и проклятых миров?

Ходили слухи, что Враг рода человеческого продлил мою жизнь за пределы того, что отпущено смертным, что он наделил меня даром преодолевать все препятствия и любые расстояния и с быстротою мысли переноситься из одного края земли в другой, встречать на своем пути бури без надежды, что они могут меня погубить, и проникать в тюрьмы, где при моем прикосновении все замки становились мягкими, как лен или пакля. Утверждали, что я был наделен этой силой для того, чтобы искушать несчастных в минуты отчаяния, обещая им свободу и неприкосновенность, если только они согласятся обменяться участью со мною. Если это так, то это лишь подтверждает истину, произнесенную устами того, чье имя я не смею произнести, и нашедшую себе отклик в сердце каждого смертного.

Ни одно существо не поменялось участью с Мельмотом Скитальцем. Я исходил весь мир и не нашел ни одного человека, который, ради того чтобы обладать этим миром, согласился бы погубить свою душу. Ни Стентон в доме для умалишенных, ни ты, Монсада, в тюрьме Инквизиции, ни Вальберг, на глазах у которого дети его умирали от голода, никто другой...

Он замолчал, и несмотря на то что стоял теперь у самой грани своего темного и сомнительного пути, он, казалось, с горечью и тоской обращал свой взгляд в прошлое, где из дымки тумана перед ним возникала та, с которой он прощался теперь навсегда. Он встал.

- Дайте мне, если можно, час отдохнуть, - сказал он. - Отдохнуть? Нет, уснуть! - проговорил он в ответ на изумленные взгляды своих собеседников, я все еще живу человеческой жизнью!

И страшная усмешка последний раз пробежала по его губам. Сколько раз от усмешки этой застывала кровь в жилах его жертв! Мельмот и Монсада вышли из комнаты, и Скиталец, опустившись в кресло, заснул глубоким сном. Да, он спал, но что он видел последний раз в своем земном сне?

----

## СОН СКИТАЛЬЦА

Ему снилось, что он стоит на вершине, над пропастью, на высоте, о которой можно было составить себе представление, лишь заглянув вниз, где бушевал и кипел извергающий пламя океан, где ревела огненная пучина, взвивая брызги пропитанной серою пены и обдавая спящего этим жгучим дождем. Весь этот океан внизу был живым; на каждой волне его неслась душа грешника; она вздымалась, точно обломок корабля или тело утопленника, испускала страшный крик и погружалась обратно в вечные глубины, а потом появлялась над волнами снова и снова должна была повторять свою попытку, заранее обреченную на неудачу!

В каждом клочку буруне томилось живое существо, которому не дано было умереть; в мучительной надежде поднималась на огненном гребне сокрытая в нем душа; в отчаянии ударялась она о скалу, присоединяла свой никогда не умолкающий крик к рокоту океана и скрывалась, чтобы выплыть еще на мгновение, а потом снова кануть ко дну - и так до скончания века!

Вдруг Скиталец почувствовал, что падает, что летит вниз и - застревает где-то на середине. Ему снилось, что он стоит на утесе, с трудом сохраняя равновесие; он посмотрел ввысь, но верхний пласт воздуха (ибо никакого неба там быть не могло) нависал непроницаемою крошечной тьмой. И, однако, он увидел там нечто еще чернее всей этой черноты - то была протянутая к нему огромная рука; она держала его над самым краем адской бездны и словно играла с ним, в то время как другая такая же рука, каждое движение которой было непостижимым образом связано с движениями первой, как будто обе они принадлежали одному существу, столь чудовищному, что его невозможно было представить себе даже во сне,



указывала на установленные на вершине гигантские часы; вспышки пламени озаряли огромный их циферблат. Он увидел, как единственная стрелка этих таинственных часов повернулась; увидел, как она достигла назначенного предела - полутора столетия (ибо на этом необычном циферблате отмечены были не часы, а одни лишь столетия). Он вскрикнул и сильным толчком, какие мы часто ощущаем во сне, вырвался из державшей его руки, чтобы остановить роковую стрелку.

От этого усилия он упал и, низвергаясь с высоты, пытался за что-нибудь ухватиться, чтобы спастись. Но падал он отвесно, удержаться было невозможно - скала оказалась гладкой как лед; внизу бушевало пламя! Вдруг перед ним мелькнуло несколько человеческих фигур: в то время как он падал, они поднимались все выше. Он кидался к ним, пытаясь за них уцепиться - за одну, за другую... Это были Стентон, Вальберг, Элинора Мортимер, Исидора, Монсада: все они пронеслись мимо; к каждой он бросался во сне, к каждой протягивал руки, но все они, одна за другой, покидали его и поднимались ввысь.

Он обернулся последний раз; взгляд его остановился на часах вечности; поднятая к ним гигантская черная рука, казалось, подталкивала стрелку вперед; наконец она достигла назначенной ему цифры; он упал, окунулся в огненную волну, пламя охватило его, он закричал! Волны рокотали уже на-д его головой; он погружался в них все глубже, а часы вечности заиграли свой зловещий мотив: "Примите душу Скитальца!". И тогда огненная пучина ответила, плещась об алмазную скалу: "Места здесь хватит!".

Скиталец проснулся.

Глава XXXIX

И пришел тогда, с огнем в глазах.

Дьявол - за мертвецом.

Саути {1}

Настало утро, но ни Мельмот, ни Монсада не решались подойти к двери. Только в двенадцать часов дня они осторожно постучали и, не получив ответа, медленно и нерешительно вошли в комнату. Все было в том же виде, в каком они оставили ее ночью, или, вернее, на рассвете, было темно и тихо; ставни так и не открывали, а Скиталец все еще спал в кресле.

Услыхав их шаги, он приподнялся и спросил, сколько времени. Они сказали.

- Час мой настал, - промолвил Мельмот, - вам нельзя этого касаться и нельзя находиться при этом. Часы вечности скоро пробьют, но уши смертных не должны слышать их боя!

Они подошли ближе к нему и с ужасом увидели, как за последние несколько часов он переменялся. Зловещий блеск его глаз померк еще раньше, но теперь каждая черта лица выдавала его возраст. Волосы его поседели и были белы как снег, рот запал, мускулы лица ослабели, появились морщины; перед ними было воплощение немощной старости. Он и сам был, казалось, удивлен впечатлением, которое на них произвел.

- Вы видите, что со мною, - воскликнул он, - это значит, что час настал. Меня призывают, и я должен повиноваться; у господина моего припасена для меня другая работа! Когда по небу пронесется метеор, когда комета огненную стезею своей устремится к солнцу, взгляните ввысь, и, может быть, вы тогда вспомните о духе, которому велено вести за собой блуждающее и пламенеющее во тьме светило.

Внезапно начавшееся воодушевление столь же внезапно сменилось у него подавленностью.

- Оставьте меня, - сказал он, - я должен побыть один последние несколько часов моей земной жизни, если им действительно суждено быть для меня последними. - Слова эти он произнес с каким-то внутренним содроганием, которое оба его собеседника ощутили. - В этой комнате я впервые увидел свет, - сказал он, - и здесь же мне, может быть, придется закрыть глаза. О, лучше бы... мне никогда не родиться!

\* \* \* \* \*

- Уходите, оставьте меня одного. Какие бы звуки вы не услышали этой ночью, не вздумайте даже подходить близко к этой двери; это может стоить вам жизни. Помните, - сказал он, возвышая голос, который все еще звучал громко, - помните, что за непомерное любопытство вы можете поплатиться жизнью. Именно оно-то и заставило меня согласиться на ставку, которая была больше, чем жизнь, и - я проиграл. Уходите!

Они ушли и весь остаток дня даже не вспомнили о еде; охватившее их жгучее волнение, казалось, разъедало у них все внутри. Вечером они разошлись по своим комнатам, и хотя каждый из них прилег, ни тот ни другой и не помышлял о сне. Да и все равно уснуть было бы невозможно. Звуки, которые после полуночи стали доноситься из комнаты Скитальца, вначале особенно их не беспокоили, однако вскоре сменились другими, исполненными такого ужаса, что Мельмоту, который предусмотрительно отослал на ночь всю прислугу в соседние службы, стало уже казаться, что люди и там могут их услышать. Сам не свой от неимоверного волнения, он поднялся с постели и принялся расхаживать взад и вперед по коридору, который вел в комнату, где творился весь этот ужас. В это время ему показалось, что в другом конце коридора появилась чья-то фигура. Он пришел в такое смятение, что сначала даже не узнал в этом человеке Монсаду. Они не стали ни о чем спрашивать друг друга и вместе продолжали молча ходить по коридору.

Вскоре звуки сделались такими душераздирающими, что даже грозное предостережение Скитальца едва удержало их от того, чтобы не ворваться в комнату. Описать их нет никакой возможности. Казалось, что все самое разнородное соединилось вдруг воедино. Ни тот ни другой не могли понять, были это стоны и мольба - в душе они надеялись, что это именно так, - или же, напротив, - кощунство и брань.

Перед рассветом звуки вдруг стихли - произошло это за один миг. Последовавшая затем тишина первое время показалась им даже страшнее всего предыдущего. Переглянувшись, они кинулись к двери, распахнули ее - комната была пуста: страшный гость не оставил после себя никаких следов.

Оглядывая в замешательстве своем комнату и нигде ничего не обнаружив, они вдруг обратили внимание на небольшую дверь в противоположной стене. Дверь эта, которая вела на заднюю лестницу, была открыта. Подойдя к ней, они увидели на полу следы ног, ступавших, как видно, по сырому песку и глине. Следы эти не оставляли никаких сомнений, они привели их по лестнице к другой двери, которая выходила в сад; дверь эта тоже была открыта. Следы вели дальше - по узенькой, посыпанной гравием аллее, которая кончалась возле сломанной ограды, а потом - по поросшему вереском склону, доходившему до половины скалы, которая другой стороной своей смотрела в море. День был дождливый, и следы на вересковом поле были отчетливо видны. Мельмот и Монсада пошли по ним.

Несмотря на ранний час, береговые жители, - а все это были бедные рыбаки, - не спали; они рассказали Мельмоту и его спутнику, как ночью они были разбужены и напуганы странными звуками. Примечательно было то, что, хоть это были люди суеверные и привыкшие к преувеличениям, все, что они говорили, на этот раз точно соответствовало действительности.

Есть сила убежденности, которая сметает все на своем пути; все мелкие особенности, отличающие манеру выражения и характер человека, - все отступает перед выжатою из сердца истиной. Многие хотели пойти вместе с ними, но Мельмот сделал им знак остаться и только вдвоем с Монсадой стал подниматься к нависающему над морем обрыву.

Терновник, покрывавший скалу почти до самой вершины, был примят так, как будто по нему кого-то тащили; на всей этой узкой полосе не было уже видно ничьих следов, кроме следа от тела, которое волокли. Мельмот и Монсада поднялись в конце концов на вершину скалы.

Внизу был океан, его необъятные и пустынные глубины! Немного пониже их, на утесе, что-то развевалось по ветру. Мельмот спустился туда. В руке у него оказался платок, который прошлой ночью он видел на шее Скитальца. Это было все, что осталось от него на земле!

Мельмот и Монсада с невыразимым ужасом поглядели друг на друга и в глубоком молчании пошли домой.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### 1. ТЕКСТ

Первое английское издание "Мельмота Скитальца" вышло в свет в четырех томиках в 1820 г. {См. выше, "Библиографические материалы"; см. также воспроизведение титульного листа на с. 561. В самом начале своего "Предисловия" к этому произведению Метьюрин сделал оговорку, что в данном случае он не делает различия между терминами "роман" или "повесть" и определяет "Мельмота Скитальца" как "Romance (or Tale)". Поэтому воспроизводя титульный лист первого издания этой книги, мы в соответствии с русской традицией в употреблении этих терминов удержали обозначение "роман".} Так как авторские рукописи этой повести не сохранились, а при жизни автора она была напечатана только однажды, издание 1820 г. стало основой последующих довольно многочисленных переизданий этого произведения на английском и других языках, выпускавшихся в XIX-XX вв. Между тем лишь недавно редакторы этих переизданий, их переводчики, а также исследователи творческого наследия Ч. Метьюрина обратили внимание на то, что издание 1820 г. имеет некоторые неточности и что его нельзя перепечатывать механически, без желательных или даже необходимых исправлений или изменений. В самом деле, некоторые текстологические особенности изданий 1820 г. таковы, что они не могли не быть учтены переводчиком и редактором настоящего русского издания "Мельмота Скитальца".

Некоторые неточности в издании 1820 г. следует отнести за счет небрежности лиц, готовивших его к выпуску в свет, в частности плохой вычитки и недостаточной правки корректур; следовательно, они не отражают сознательных намерений автора и беспрепятственно могут быть устранены из воспроизведений текста романа даже и в том случае, когда ошибка случайно была допущена автором в рукописи и повторена в печатном тексте. Так, например, в новейших английских и американских изданиях текст "Мельмота Скитальца" состоит из тридцати девяти глав, тогда как текст 1820 г. заканчивается главой XXXVI. Причиной этого несовпадения является то, что нумерация глав в первом издании ошибочна: две главы - XVII и XXXII обозначены одними и теми же цифрами дважды подряд; так, вслед за главой XVII следует снова глава XVII (вместо XVIII), а за главой XXXII также вновь следует глава XXXII (вместо XXXIII). Естественно, что воспроизводить эти случайные оплошности не имело никакого смысла; поэтому и в настоящем русском переводе эти неправильные цифровые обозначения устранены и общий порядок нумерации глав восстановлен.

В издании 1820 г. оказалось также довольно много типографских опечаток (в частности, в собственных именах); так, например, в тексте стоит Corvat вместо ожидаемого Coryate, deperate вместо desperate, thier вместо their и т. д. Все эти и подобные им опечатки в английском тексте подлежат безоговорочному исправлению и в русском издании в соответствующих местах не оговариваются. Однако в некоторых случаях допущенные в тексте издания 1820 г. опечатки представляются не столь очевидными, хотя все же вероятными, и поэтому на те из них, которые могут иметь значение для перевода, сделаны указания в пояснительных примечаниях. Так, в тексте главы XXVIII дважды встречается испанское слово *alcaide*. Мы предполагаем, что здесь вместо него должно было стоять другое слово - *alcalde*, что значит "судья", "представитель местной администрации или судебной власти", тогда как похожее по написанию слово "алькайд" значит, собственно, "начальник тюрьмы" и, судя по ходу повествования XXVIII главы,

автором не имелось в виду; подтверждением такого предположения может служить то, что слова *alcalde* в точном соответствии с его смыслом употребляется автором уже в XI главе его романа. В "Предисловии" к лондонскому изданию "Мельмота Скитальца" 1892 г. было особо отмечено плохое знание Метьюрином испанского языка, сказавшееся, в частности, в неправильном употреблении им испанских титулов и названий, что "бросается в глаза всем, имеющим хотя бы поверхностное знакомство с этим языком". Добавим к этому от себя, что частичным оправданием автора могло служить отсутствие в английской типографии начала XIX в. соответствующих испанских литер и знаков, в частности тильды (в таких словах, как *doña* "донья") или смягченного "шепелявого" *c* (*ç*) (что вызвало неверную передачу и произношение первыми переводчиками "Мельмота Скитальца" имени *Moncada* как Монкада, а не Монсада). Отражать в русском переводе все эти особенности первопечатного текста в неправильной передаче испанских слов представлялось, естественно, нецелесообразным; во всех случаях употребление испанских слов, титулов, имен и названий в русском переводе приведено в полное соответствие со звучанием и употреблением их в испанском языке.

Подобным же (и особо оговоренным) исправлениям подверглась в русском переводе вся система передачи Метьюрином индийских географических названий и имен индуистской мифологии во вставной "Повести об индийских островитянах". В передаче их Метьюрин был малосамостоятельным, основываясь преимущественно на семитомном труде английского историка и поэта Томаса Мориса (см. о нем в примечаниях к этой вставной повести) "Индийские древности" (1800-1806), из которого Метьюрин заимствовал "местный колорит" для своего повествования. Он писал *Seeva*, т. е. Сива, и, более того, назвал это мужское божество индуистов "черной богиней Сивой". Хотя русский перевод по возможности точно воспроизводит текст английского оригинала, но мы сочли возможным, оговорив допущенную автором ошибку, все же дать более привычную для русского читателя транскрипцию имени индийского божества Шива вместо Сива оригинала. Небольшие изменения внесены в русские транскрипции также некоторых других собственных имен, например Типпо Саиб (в тексте гл. XVI стоит *Tippo Saib*, следует *Tippo Sahib*).

В первоначальном тексте "Мельмота Скитальца" встречается два нотных примера (в гл. XXXI); в большинстве переизданий романа, в частности даже в тех, которые приближаются к изданиям "критическим", а также во всех переводах эти нотные примеры опущены как малозначительные и несущественные для читателя {Например, в издании "Мельмота Скитальца" под ред. Ф. Экстона (F. Axton; см. выше "Библиографические материалы"). В издании повести под редакцией Дугласа Гранта (D. Grant) нотный пример сохранен, хотя и не сопровождается никакими пояснениями.}. В настоящем издании нотный пример, напротив, сохранен и воспроизводится в той транскрипции, которая дается в издании 1820 г.

Отметим также, что в оригинальном английском тексте "Мельмота Скитальца" есть примечания к отдельным местам, напечатанные в сносках. В русском переводе они сохраняются с обозначением цифрой со звездочкой. Все переводы стихотворных эпиграфов и встречающихся в тексте стихов выполнены А. М. Шадриним. Им же переведены (в сносках) иноязычные тексты как стихами, так и прозой, за исключением особо оговоренных.

Настоящий перевод является первым полным переводом оригинального текста "Мельмота Скитальца" на русский язык. Он сделан с издания: Ch. Rob. Maturin. *Melmoth the Wanderer*. Oxford University Press, London, 1968.

## 2. ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Ниже помещены в последовательном порядке, по главам, объяснительные примечания к тексту "Мельмота Скитальца", целью которых является содействие лучшему пониманию этого произведения Метьюрина. Среди довольно многочисленных изданий романа - как в

подлиннике, так и в переводах комментированных в нашем смысле изданий не существует. Лишь два недавних издания - американское Ф. Экстона 1966 г. (город Линкольн, изд-во университета штата Небраска) и Д. Гранта, профессора университета в городе Лидсе, изданное оксфордским университетом (1968), могут быть упомянуты с благодарностью как издания, оказавшие помощь в подготовке комментария к настоящему изданию; однако нижеследующий комментарий потребовал от составителя длительного и самостоятельного труда. Издание Ф. Экстона, собственно, примечаний не имеет, кроме нескольких случайных пояснений в ссылках, с обозначением в скобках "Editors note", чтобы их можно было отличить от ссылок автора (Метьюрина), воспроизведенных полностью под соответствующими страницами текста, но без всякого дополнительного указания на их происхождение. Но "примечаний издателя" здесь помещено так мало, что они не могли служить подспорьем составителю комментария в данной книге 3. Значительно большую ценность имеют примечания Д. Гранта, выделенные в его издании в особый отдел "Explanatory notes" (р. 543-560). Эти примечания, однако, отличаются лаконичностью и подлежали проверке по первоисточникам; кроме того, имея в виду прежде всего английских читателей, издатель не разъяснял того, что необходимо истолковать или уточнить читателям русского перевода, недостаточно посвященным в подробности и реалии испанского или английского быта XVII-XIX вв., исторические даты или географические названия. В ряде необходимых случаев, когда дополнительная проверка сведений, сообщенных в двух указанных изданиях, не могла быть произведена (например, когда можно предполагать, что тот или иной эпиграф, даже с обозначением своего мнимого источника, сочинен самим Метьюрином), в настоящих объяснительных примечаниях сделаны ссылки на эти издания (они даются сокращенно: F. Axton, D. Grant).

## КНИГА ПЕРВАЯ

### Глава I

1 Он жив еще?.. - Эпиграф - Шекспир. Генрих VI, ч. II, (III, 3, 12-13).

2 ...Дублинского Тринити колледжа... - Тринити колледж (протестантский колледж св. Троицы) - первый и важнейший из колледжей, составивших университет в главном городе Ирландии - Дублине; основан указом английской королевы Елизаветы в 1591 г, и служил оплотом протестантизма среди католиков Ирландии.

3 ...это было графство Уиклоу... - Графство и порт на юго-западе Ирландии; в путеводителях по этой стране первой половины XIX в. отмечалось, что "романтический пейзаж" живописной гористой местности этого графства привлекал к себе много путешественников.

4 ...призрак Беатрисы из "Монаха"... - Метьюрин имеет в виду знаменитый готический роман английского писателя Метью Грегори Льюиса (Lewis, 1775-1818) "Монах" ("The Monk", 1796), традициям которого в известной мере следовал он сам в "Мельмоте Скитальце". Характеристику "Монаха" см. в статье "Ч. Р. Метьюрин и его "Мельмот Скиталец"", с. 537, 569, 577, 579, 581.

3 На 402 страницах издания Ф. Экстона, где воспроизводится текст "Мельмота Скитальца", мы находим лишь четыре "примечания издателя", помещенные на страницах 7, 25, 51, 78; без такой пометы приводятся переводы древнегреческих и латинских цитат.

5 ...молотка на месте не оказалось. - Дверные молотки, иногда весьма причудливой формы, употреблялись в то время в Англии вместо звонков.

6 ...целый киш.. - Киш - большая плетеная корзина, в которой ирландцы носят торф.

7 ...иссохшая Сивилла... - У народов античного мира сивиллами назывались женщины-пророчицы, принадлежавшие разным временам и народам; однако известия древних о сивиллах, их числе, именах и происхождении несогласны между собой: некоторые из сивилл пользовались широкой известностью из-за своего долголетия. В Риме почиталась Кумская

сивилла, которой приписывали сивиллины книги (см. ниже, прим. 53 к гл. III).

8 ...касательно "дурного глаза"... - В суеверных представлениях ряда народов некоторые люди обладали таинственно-магической силой взгляда, которым можно причинить зло человеку.

9 ...за пределами нашего разума. - Слова Форда из комедии Шекспира "Виндзорские насмешницы" ("Merry Wives of Windsor" IV, 2, 190).

10 ...сплести магическую нить... - Описанные в главе народные гадания к началу XIX в. в Англии уже почти исчезли вовсе, но еще сохранялись в глухих углах Шотландии и Ирландии. Интересные параллели к гаданиям девушек о суженых в "Мельмоте Скитальце" содержатся в стихотворении шотландского поэта Роберта Бернса "Канун дня всех святых" ("Hallowe Ewe", 1786), представляющем собою ценный источник для истории фольклора в Шотландии и сопредельных странах. Берне указывает (в прозаических примечаниях, сопровождающих это стихотворение), что ночь накануне дня всех святых (All Hallow Ewe), т. е. ночь с 31 октября на 1 ноября, в его время считалась "ночью волшебства", так как именно в это время, по древним поверьям, происходили сборища ведьм и чертей; поэтому она особенно удобна для вопрошания судьбы и гаданий всякого рода. В примечании к строфам 11-й и 12-й своего стихотворения Берне поясняет, что гадающая девушка опускает "нить из мотка голубой пряжи" в некий "горшок" или "яму"; если нить застревает там, спрашивает: "Кто держит?" ("Wha bauds?"), и что якобы может раздаться голос, который назовет имя будущего жениха. В примечании к строфе 13-й описан другой способ гадания: перед зеркалом ставят свечку, девушка ест яблоко и расчесывает свои волосы гребнем; образ суженого может отразиться в зеркале, появляясь из-за плеч гадалщицы. В примечании к строфе 24-й описан еще один способ: в воду речки в том месте, где сливаются три (или четыре) ручья, окунают рубашку, затем ее просушивают в комнате у огня, после чего она может принять форму тела будущего жениха. Приведенные параллели к указанному месту "Мельмота Скитальца" наводят на мысль, что Метьюрину было известно стихотворение Р. Бернса. Впрочем, скорее всего, Метьюрин знал это стихотворение по изложению в хорошо известной ему книге Н. Дрейка "Шекспир и его время" (Nathan Drake. Shakespeare and his times, vol. I. London, 1817, p. 344-345), который утверждает, что в эпоху Шекспира подобные гадания были распространены по всей Англии.

11 ...не осмеливаемся поминать в "благовоспитанном обществе"... Возможно, что эта фраза представляет собою отклик на стихи 149-150 II части "Послания к графу Берлингтону" ("Epistle to the Earl of Burlington", 1731) Александра Попа (A. Pope, 1688-1744); поэт говорит, что проповедник грозит вечными муками тому, кто осмелится произнести слово "ад" в обществе воспитанных людей ("...who never mentions Hell to ears polite").

12 ...лорд Литтлтон... - Неясно, о каком лорде Литтлтоне идет речь, так как Метьюрин не называет его христианского имени. По мнению Д. Гранта (D. Grant, p. 543), здесь имеется в виду лорд Т. Lyttleton, или Томас Хромой (1744-1779), который якобы предсказал свою смерть за три дня до самого события, увидев во сне, что он умер. Но упоминание о высокой образованности и репутации скептика, которые Метьюрин приписывает называемому им лицу, позволяет думать, что речь может идти о другом лорде Литтлтоне (George Lyttelton, 1709-1773), известном политическом деятеле и писателе-просветителе, авторе сатирических произведений, написанных в подражание французским писателям Монтескье и Фонтенелю, - "Диалоги мертвых" ("Dialogues of the Dead", 1760), друге Филдинга, который посвятил ему свой роман "Том Джонс". О кончине Дж. Литтлтона 22 августа 1773 г. подробные воспоминания оставил некий д-р Джонстон (см.: В. Bock. George Lord Lyttelton und seine Stellung in der englischen Literatur des 18 Jahrh's Gottinaen 1927, 321).

13 ...вампир... - Возможно, что имеется в виду повесть "Вампир" (1819), приписанная

Байрону, но сочиненная (по устным рассказам поэта) его секретарем Джоном Вильямом Полидори.

14... повесть мисс Эджворт "Помещик в отъезде". - Речь идет об известной повести ирландской писательницы Марии Эджворт (М. Edgeworth, 1767-1849) "Помещик в отъезде" ("The Absentee", 1812), входящей в цикл ее "Повестей из светской жизни" ("Tales of Fashionable Life", vol. VI); в начале повести рассказывается об ирландском помещике, лорде Клонброни, жена которого, англичанка по происхождению, заставляет его вести суетную и разорительную жизнь в Лондоне.

15 ...о своем деде, который был деканом в Киллале... - Церковный приход в небольшом городке северо-западной Ирландии, в котором между 1724-1741 гг. деканом (старшим священником) был прадед писателя - Питер Джеймс Метьюрин (см. статью, с, 534).

16 ...настоящим Амфитрионом этого пиршества... - В комедии Мольера "Амфитрион" (1668), основанной на латинской комедии Плавта, есть реплика: "Настоящий Амфитрион-Амфитрион, у которого обедают" (III, 5), ставшая распространенной поговоркой. Имя Амфитрион сделалось синонимом хлебосольного хозяина.

17 ...и тот усладил свое чрево". - Имеется в виду следующее место в заключительной (LXXIV) главе II части "Дон Кихота" Сервантеса ("О том, как Дон Кихот занемог, о составленном им завещании и о его кончине"): "...в течение трех дней, которые Дон Кихот еще прожил после того, как составил завещание, он поминутно впадал в забытие. Весь дом был в тревоге; впрочем, это отнюдь не мешало племяннице кушать, а ключнице прикладываться к стаканчику, да и Санчо Панса себя не забывал: надобно признаться, что мысль о наследстве всегда умаляет и рассеивает ту невольную скорбь, которую вызывает в душе у наследников умирающий" (перевод Н. Любимова).

18 ...будь то сама Пифия на треножнике... - Пифии (их было три) жрицы-пророчицы, вещательницы при храме Аполлона в Дельфах. Пифия отпивала глоток воды из священного ручья, жевала листья священного лавра и занимала место на золотом треножнике над расщелиной скалы; выкрикивавшиеся ею слова толковались жрецами храма как воля Аполлона.

19 ...с их умершими мужьями. - Имеется в виду "История Синдбада-морехода" (у Метьюрина ошибочно Синбад) из "Тысячи и одной ночи", арабского сборника сказок, ставшего известным в Европе по французскому переводу Галлана (Париж, 1704-1717). История Синдбада была особенно популярна у английских романтиков (М. P. Conant. The oriental tale in England in the eighteenth century, N. Y., 1908, p. 253-254). Метьюрин цитирует сказку неточно; в рассказе о четвертом путешествии Синдбада говорится, что, заброшенный бурей на некий остров, он по повелению короля этого острова женится на придворной даме, когда же она умирает, его погребают живым "вместе с покойницей, в соответствии с обычаем этой страны"; таким образом, в арабской сказке идет речь о жертвоприношении вдовцов, а не вдов (V. Chauvin. Bibliographie des ouvrages arabes, vol. VII. Liege-Leipzig, 1893, p. 19-20).

20 ..."холодный, как камень". - Метьюрин цитирует то место хроники Шекспира "Генрих V" (II, 3, 24-28), где хозяйка лондонского трактира в Истчипе, бывшая миссис Куикли, недавно ставшая женой Пистоля, рассказывает о смерти Фальстафа: "...тут он велел мне потеплее закутать ему ноги. Я сунула руку под одеяло и пощупала ему ступни, - они были холодные, как камень; потом пощупала колени - то же самое, потом еще выше, еще выше - все было холодное как камень".

21 ...имя им легион, потому что их много. - Неточная цитата из Евангелия от Марка (5, 9), где идет речь об изгнании бесов из бесноватого.

82 ...как о недалеком стражнике Догберри, что "читать и писать ее научила сама природа". - Стражник по имени Догберри - действующее лицо комедии Шекспира "Много шуму из ничего"

(III, 3, 9-10, 16-15); откуда и заимствована приводимая в тексте цитата.

23 Талаба. - Приведенное двустишие заимствовано из большой эпической поэмы Роберта Саути (Robert Southey, 1774-1843) на сюжет из восточной сказки "Талаба-разрушитель" ("Thalaba the Destroyer", 1801; II, 5, 10-11). Метьюрин хорошо знал ранние произведения Саути и вдохновлялся некоторыми их эпизодами в "Мельмоте Скитальце"; из поэмы "Талаба-разрушитель", в частности, взят эпитафия для XIII главы романа.

24 ...бедный Батлер в своем "Антикварии"... - Речь идет об английском писателе-сатирике Семюэле Батлере (Samuel Butler, 1612-1680), автор поэмы "Гудибрас". "Бедным Батлером" он назван Метьюрином потому, что последние годы своей жизни сатирик провел в бедности и ему почти ничего не удавалось печатать. Лишь более чем три четверти века спустя впервые опубликованы были оставшиеся от него рукописи произведений в стихах и прозе; среди последних были "Характеры" - типические очерки и портреты его современников, написанные ярко и живо, с присущей ему сатирической направленностью; среди них имеется и очерк "Антикварий"; однако Метьюрин ошибся: характеристика, которую он имеет в виду, находится в другом очерке того же цикла "Занимательный человек" ("A Curious Man"). "Характеры" Батлера напечатаны во втором томе издания: *The Genuine Remains in Verse and Prose of Mr. Samuel Butler*, ed. by R. Thyer, 2 vols. London, 1759.

25 ...fades Hippocratica... - Имеется в виду лицо человека с признаками приближающейся смерти, как оно описано знаменитым греческим врачом Гиппократом (460-357 гг. до н. э.).

## Глава II

1 Ты, что стонешь... - Эпитафия заимствован из трагедии Николаса Роу (Nicholas Rowe, 1674-1678) "Прекрасная грешница" ("The Fair Penitent", 1703 - V, 1), представляющей собою переделку более ранней пьесы Филипа Мессинджера (Philip Massinger, 1583-1640) "Роковое приданое" ("Fatal Dowry", 1632).

2 ...наподобие вергилиевской Алекты... - Одна из фурий (или эриний), богинь проклятия, мести и кары, по верованиям греков и римлян. Об Алекты, "коей по сердцу война, клевета, и гнев, и засады", Вергилий упоминает в "Энеиде" (VII, 324-326). Далее в поэме рассказывается, что Алекты, явившаяся (во сне) царю рутулов Турну в образе престарелой жрицы Юноны, чтобы побудить его к войне с троянскими пришельцами, встретила его возражения и мгновенно приняла свой подлинный страшный образ (VII, 415-455).

3 ...подобно "проклятому чародею, знаменитому Глендауру"... Исторический Оуев Глендаур (Glendower, Glyndwr, 1364-1416) - уэльский князек, один из вождей восстания против английского короля Генриха IV. Метьюрин цитирует историческую хронику Шекспира "Генрих IV", приводя не вполне точно слова короля о "знаменитом колдуне, проклятом Глендауре" ("The great magician, damn'd Glendower", см. ч. I, I, 3, 83).

4 ...Драйден составлял гороскоп своего сына Чарльза... - Джон Драйден (John Dryden, 1631 - 1700) - виднейший английский поэт XVII в.; о нем не раз будет идти речь в последующих примечаниях. О том, что Драйден был любителем астрологии и что он производил вычисления по положению звезд для того, чтобы узнать судьбу своего сына, Метьюрин узнал, по-видимому, из "Собрания сочинений" Драйдена, изданного В. Скоттом, см.: *Dryden Works*, vol. XVIII. London, 1808, p. 207-213.

5 ...нелепые сочинения Гленвила были в большом ходу... - Английский священник и философ-идеалист Джозеф Гленвилл (Joseph Glanvill, 1636-1680) автор многочисленных произведений философского и публицистического характера, направленных, в частности, против свободомыслия и атеизма его времени (последний, в соответствии со словоупотреблением, принятым у философов Кембриджа в XVII в., именовался им "саддукейством"). Гленвилл проявил себя как убежденный поборник веры в колдовство и



"нечистую силу". Одной из его наиболее популярных книг был трактат в двух частях "Ниспроверженное саддукейство, или Полные и очевидные доказательства существования ведьм и привидений" ("Saddukismus Triumphatus, or a full and plain Evidence concerning Witches and Apparitions", 1681; и последующие издания 1683, 1689, 1700, 1729 гг.). Саддукеи - иудейская секта, враждебная фарисеям, свято чтившим талмудическое предание, со всеми вошедшими в него суевериями. Таким образом "саддукейство" для Гленвила, глубоко веровавшего в существование ведьм, - нечестивое заблуждение. Ранее Гленвил издал "Философские рассуждения о ведовстве" ("Philosophical Considerations concerning Witchcraft", 1666). Одна из этих книг была в руках Метьюрина, и именно о них отзывается он как о "нелепых сочинениях" (см.: Hartwig Habicht. Joseph Glanvill, ein speculativer Denker in England der XVII Jahrh. Eine Studie über das fruhwissenschaftliche Weltbild. Zurich und Leipzig, 1936, S. 152). Хотя в XVIII в. в Англии никто уже не верил в существование колдуний, но эти средневековые суеверия поддерживались здесь и с церковной кафедры, и с судейской скамьи: даже после официальной отмены наказания за колдовство в Англии в 1736 г. Джов Уэсли (J. Wesley), основатель учения "методистов", высказывал сожаление по этому поводу и писал: "Англичане вообще, и собственно большая часть людей науки в Европе, отвергли все показания о колдуньях и ведьмах как сказки старых баб. Меня это очень огорчает... Отвергнуть колдовство значит, по правде говоря, отвергнуть Библию".

6 ...Дельрио и Виерус были настолько популярны... - Мартин Антон Дельрио (Martin Anton Delrio, 1551 -1608) - иезуит, автор книги "Исследование колдовства в шести книгах" ("Disquisitionum magicarum libri sex", 1509); Иоганн Вейер или Виерус (J. Weyer, 1516-1588) - знаменитый врач, автор трактата "Об обманах, творимых нечистой силой, и колдовских чарах и зельях" ("De Praestigiis daemonum et mcantationibua ac veneficiis", 1564).

7 ...один из драматургов (Шедуэл) обильно цитировал их... - Речь идет о пьесе поэта и плодовитого драматурга Томаса Шедуэла (Thomas Shadwell, 1642? - 1692) "Ланкаширские ведьмы" ("The Lancashire Witches", 1681); в предисловии Шедуэл писал: "В отношении всякого колдовства я не надеялся сравняться по богатству фантазии с Шекспиром, создававшим свои колдовские сцены силой воображения... и поэтому решил обратиться к авторитетным источникам... Вот почему в этой пьесе нет ни одного действия, мало того, ни одного слова, имеющего отношение к колдовству, которое не было бы взято из сочинений какого-либо древнего или современного колдуна".

### Глава III

1 Появлялся призрак старика (Apparebat eidolon senex). - Та же латинская цитата, но в более полном виде и с более точным указанием на источник, приведена в тексте гл. XXIII, с. 346; она взята из "Писем" латинского писателя Плиния Младшего (Gaius Plinius Secundus, 62-114). Приводим эту цитату полностью (VII, 27) в переводе А. И. Доватура: "Был в Афинах дом, просторный и вместительный, но ославленный и зачумленный. В ночной тиши раздавался там звук железа, а если прислушаться внимательно, то звон оков слышался сначала издали, а затем совсем близко; потом появлялся призрак - старик, худой, изможденный, с опущенной бородой, с волосами дыбом; на ногах у него были колодки, на руках цепи, которыми он потрясал. Жильцы поэтому проводили в страхе, без сна, мрачные и ужасные ночи: бессонница влекла за собой болезнь, страх рос, и приходила смерть, так как даже днем, хотя призрак и не появлялся, память о нем не покидала воображения, и ужас длился, хотя причина его исчезала. Дом поэтому был покинут, осужден на безлюдье и всецело предоставлен этому чудовищу; объявлялось, однако, о его сдаче на тот случай, если бы кто-нибудь, не зная о таком бедствии, пожелал бы его купить или нанять" (Письма Плиния Младшего. М.-Л., 1950, с. 223).

2 ...самому Михаэлису... - Михаэлис (Johann David Michaelis, 1717-1791) - известный

немецкий теолог XVIII в., автор многотомных сочинений по критике текста Библии и по библейской археологии.

3 ...подобно Тому Кориету... - Томас Кориет (Thomas Coryate. 1577-1617) - чудаковатый английский путешественник, современник Шекспира, исколесивший, большею частью пешком, многие страны Западной Европы, Азии и Африки и описавший свои странствования в нескольких книгах весьма экстравагантного стиля. Первая из опубликованных им книг называлась "Сырые плоды Кориета, наскоро проглоченные им во время скитаний, поспешно совершенных в течение пяти месяцев во Франции, Савойе, Италии, Ретии, обычно называемой страной гризонов, Гельвеции или Швейцарии, в некоторых частях верхней Германии и Нидерландов, ныне же переваренные в голодной земле Одкомба в Сомерсете" ("Coryats Crudities, hastily gobbled up in five months in France, Savoy, Italy, Rhetia, commonly called the Grison's country, Helvetia alias Switzerland, some parts of high Germany and the Netherlands; newly digested in the hungry aire of Odcombe of Somerset", 1611). В 1612 г. Т. Кориет совершил путешествие в Индию, побывал также в Константинополе, Алеппо, Иерусалиме и в Месопотамии. Это путешествие по Востоку также описано им в еще более чудаковатом сочинении, посвященной его друзьям по лондонской таверне "Русалка", в котором он сам именуется "Иерусалимско-сирийско-армянско-парфяно-индийским разминателем ног Томасом Корнетом из Одкомба в Сомерсете" ("the Hierosolymitan-Syrian-Mesopotamian-Armenian-Parthian-Indian Legge-stretcher of Odcombe in Somerset", 1616).

4 Великолепные руины двух вымерших династий... - Речь идет о римлянах и арабах, некогда живших на Иберийском полуострове.

5 ...по мнению д-ра Джонсона... - Слова Семюэла Джонсона (Samuel Johnson, 1709-1784), известного английского лексикографа, писателя и литературного критика, сказанные им в беседе с Адамом Фергюсоном 26 марта 1772 г., записаны биографом Джонсона Джеймсом Босвелом и помещены в книге "Жизнь Джонсона" (J. Boswell. Life of Johnson. 1876, vol. II, p. 33-34).

6 Горе побежденным (Vae victis). - По преданию, рассказанному Титом Ливием и другими римскими историками, во время осады Рима галлами один из галльских вождей, Бренн, наложил на побежденных римлян контрибуцию в тысячу фунтов золота. "К постыднейшей уже самой по себе сделке прибавилось еще новое унижение, - пишет Ливий, - весы, принесенные галлами, были неверны; когда трибун [Кв. Сульпиций] стал возражать против этого, нахальный галл положил еще на чашку весов свой меч, и римлянам пришлось выслушать тягостные слова: "Горе побежденным!" (см.: Тит Ливий, Римская история от основания города. Перевод с латинского под ред. П. Адрианова. М., 1892, т. I, кн. V, с. 483).

7 ...подвиги Сиды... - Сид (историческим прототипом которого был Родриго Диас) национальный герой средневековой Испании, воспетый в ряде произведений испанского героического эпоса. О борьбе Сиды за отвоевание захваченных маврами территорий Испании (в частности, Валенсии) рассказано в двух дошедших до нас поэмах о Сиде: древней (около середины XII в.), довольно близкой к действительным историческим фактам, и более поздней ("Родриго", XIV в.), а кроме того, в обширном цикле "романсов" о Сиде (XV-XVI вв.).

8 ...над развалинами. Сагунта... - Сагунт (Saguntum)-торговый город в Испании, к северу от Валенсии. Основанный греками недалеко от морского берега, Сагунт был предметом борьбы между карфагенянами и римлянами. В 219 г. до н. э. Сагунт был завоеван Ганнибалом и почти совершенно разрушен после героического сопротивления в течение долгой осады; восемь лет спустя отвоеван римлянами.

9 ...историю английского мальчика из Билдсона... - История этого мальчика не раз приводилась в различных книгах о колдовстве. В 1620 г. он обвинил некую Джоун Кок (Joan

Коск) в том, что она околдовала его, и для доказательства этого представил якобы воткнутые ею в его тело иголки и булавки; Джоун Кок была судима, но обман мальчика раскрылся, и мнимая "колдунья" была оправдана. В издании Ф. Экстона "примечание издателя" полнее и точнее называет предполагаемый первоисточник цитаты у Метьюрина - брошюру 1622 г. "Мальчик, из Билсона" (Билстона?). Вот ее полное заглавие: "Мальчик из Вильсона, или Правдивое разоблачение новейших заведомых обманщиков из римско-католических священников в их притворном экзорцизме (заклинании) или изгнании дьявола из маленького мальчика по имени Вильям Перри... из Билсона... Здесь же, с позволения, приводится краткое теологическое рассуждение о путях предостережения от них, для наиболее легкого распознавания подобных католиков-плутов" и т. д. ("The Boy of Bilson, or a true discovery of the late notorious impostures of Certain Romish priests in their pretended Exorcisme or expulsion of the Diuell out of a young Boy, named William Perry ...of Bilson... Hereunto is permitted a brief Theological Discourse by way of Caution for the more easie disoerning of such Romish spirits, etc"). Эта брошюра была издана в Лондоне неким Ричардом Беддели (Richard Baddeley) и затем, по-видимому, переиздавалась анонимно (см.: F. Axton, p. 25; D. Grant, p. 34, 545)

10 ...была применена пытка водой... - Описание "пытки водой" в трибунале Инквизиции, а также всех прочих мучительств, применявшихся Инквизицией во время суда над обвиняемыми, несомненно было известна Метьюрину из книги каноника и главного секретаря испанской Инквизиции Хуана Антонио Льоренте "Критическая история испанской инквизиции" (Juan Antonio Llorente. Histoire critique de l'inquisition d'Espagne. Paris, 1817). Ставшая одним из источников "Мельмота Скитальца" (см. статью, с. 584), основанная на архивных данных, книга Льоренте разоблачила многие преступления испанской Инквизиции, о которых читатели ее ранее могли только догадываться; изданная на французском языке в переводе с испанской рукописи, она была запрещена в Испании и Италии. "Пытка водой" была одной из самых мучительных и нередко кончалась смертью истязаемого. По свидетельству Льоренте, она заключалась в следующем: в рот пытаемого "вводят до глубины горла тонкую смоченную тряпку, на которую вода из глиняного сосуда падает так медленно, что требуется не менее часа, чтобы влить по каплям поллитра, хотя выходит она из сосуда непрерывно. В этом положении осужденный не имеет промежутка для дыхания, так как смоченная тряпка препятствует этому. Каждое мгновение он делает усилие, чтобы проглотить воду, надеясь дать доступ струе воздуха, но вода в то же время входит через ноздри... Поэтому часто бывает, что по окончании пытки извлекают из глубины горла тряпку, пропитанную кровью от разрыва сосудов в легких или в соседних частях" (Хуан Антонио Льоренте. Критическая история испанской инквизиции, т. 1, М., 1936, с. 336-337; к книге приложена и литографическая картинка, изображающая "пытку водой").

11 ...по выражению Догберри, можно было "проверить недостоверное", Цитата (неточная) заимствована из комедии Шекспира "Много шуму из ничего" (V, 1); о комической фигуре Догберри, чванливого глупца, см. выше, прим. 22 к гл. I.

12 ...описанной Саллюстием походкою Катилины... - Метьюрин имеет в виду сочинение римского историка Гая Саллюстия Криспа (86-34 гг. до н. э.) "О заговоре Катилины", где о Катилине-заговорщике Саллюстий писал, что "совесть терзала его потрясенную душу. Отсюда его бледность, омерзительный взгляд, походка то торопливая, то медленная, словом, все признаки душевного расстройства как во всей наружности, так и в выражении лица" (см.: Гай Саллюстий Крисп. О заговоре Катилины; Марк Туллий Цицерон. Речи против Катилины. Перевод С. П. Гвоздева. М.-Л., 1934, с. 110).

13 ...остепенялись маски.- Стихи взяты из знаменитой дидактической поэмы "Опыт о критике" ("An Essay on Criticism", 1711; II, 540-541) Александра Попа (1688-1744).

14 Ювенал (ок. 55-ок. 128 г.) - римский сатирик. Метьюрин хорошо знал его произведения и несколько раз цитировал в "Мельмоте Скитальце".

15 ...первой исполнительницы роли Роксаны... - Роксана - героиня пьесы Натаниэла Ли "Королевы-соперницы" (1677). Та же актриса, миссис Маршалл, играла роль Роксаны в трагедии графа Оррери "Мустафа" (1668). Похитителем актрисы был, однако, Обри де Вир, граф Оксфорд (Aubrey de Vere, Earl of Oxford).

16 ...ожидала карета со стеклами... - Кареты с окнами из стекла (glass-coach) вошли в моду в Англии около 1667 г.

17 ...увезти Кинестона... - Речь идет об Эдуарде Кинестоне (Edward Kynaston, 1670?-1706?) - одном из последних английских актеров, по старой традиции исполнявшем женские роли. Метьюрин называет его Адонисом за его красоту, уподобляя прекрасному юноше, о котором рассказывается в древнегреческом мифе.

18 ...становится понятным название пьесы Уичерли "Любовь в лесу". Первая пьеса Уильяма Уичерли (William Wycherley, 1640-1716) имела заглавие "Любовь в лесу, или Сент-Джеймский парк" ("Love in a Wood, or St.-James's Park", 1671). Сент-Джеймский парк в Лондоне, разбитый к югу от Сент-Джеймского дворца, служившего в то время резиденцией короля, - любимое место прогулок лондонской знати.

19 ...картины Лели... - Питер Лели (Lely, 1618-1680) - английский художник голландского происхождения, написавший много портретов придворных Карла II.

20 ...мемуары Граммона... - "Мемуары" графа Филибера Граммона (1621-1707), Французского дворянина, одного из самых типичных и блестящих представителей двора Карла II, написаны были на французском языке шурином Граммона А. Гамильтоном ("Memoires de la vie du comte de Grammont"); английский их перевод впервые опубликовал В. Скотт. Эта книга представляет собою ценный источник, дающий полное и яркое представление о жизни и нравах английской аристократии при дворе Карла II после Реставрации.

21 ...даже самому Принну. - Вильям Принн (William Prynne, 1600-1669) ученый юрист, пуританин-публицист, ополчавшийся на порочные нравы своего времени. "Иногда Принн считал страшным грехом, что мужчины носят длинные локоны (Love-locks, как их называли) или пьют за чье-либо здоровье; иногда таким грехом было для него неправильное толкование вопроса о предопределении. Наконец, Принн обратил свое внимание на театры. Тут для бича сатиры открывалось весьма обширное поле" (Р. Гардинер. Пуритане и Стюарты, 1603-1660 гг. СПб., 1896, с. 104-105). О трактате Принна "Бич актеров" ("Histrionastix", 1634) и его последствиях см. ниже, прим. 34 и 37 к гл. XXX.

22 ...будь то герцогиня Портсмутская... - Луиза Рене де Керуай (Louise Renee de Kerouaille, 1649-1734) приехала из Франции в Англию в свите сестры английского короля Карла II Генриетты, герцогини Орлеанской. Керуай поручена была тонкая миссия - склонить английского короля к заключению союза с Людовиком XIV. Исполнить это поручение ей, правда, удалось в малой степени, но Керуай стала первой любовницей английского короля, присвоившего ей титул герцогини Портсмутской 19 августа 1673 г.

23 ...или Нелл Гдинн... - Элинор Гуинн (Eleanor Gwynn, ок. 1640-1687), или "маленькая Нелли", как ее называли обычно, первоначально была продавщицей апельсинов в королевском театре; затем она сделалась актрисой, любовницей лорда Бакхерста, позднее ее избрал своей наложницей Карл II; она имела от короля двух сыновей; один умер в младенчестве, второй носил имя Чарлза Боклерка, а затем ему был присвоен титул герцога Сент-Олбанского (S. J. Low and F. S. Pulling. The Dictionary of English History. London, 1884, p. 523).

24 ...они... поносили Драйдена... - О Драйдене см. выше, прим. 4 к гл. II.

25 ...Ли и Отвея... - Драматург Натаниэл Ли (Nathaniel Lee, 1653-1692) в 70-х годах XVII в.

(между 1675 и 1680 гг.) написал восемь трагедий; большой известностью пользовалась поставленная на сцене в 1677 г. пьеса "Королевы-соперницы, или Смерть Александра Великого", за которой следовал "Митридат, царь Понта" (1678); затем Н. Ли в сотрудничестве с Драйденом создал пьесы "Эдип" (1679), "Феодосии, или Сила любви" (1680). Т. Отвей (Thomas Otway, 1652-1685) занимал видное место среди драматургов того же времени; им написаны "Алкивиад" (1675), "Дон Карлос" (1676), кроме того, известны его переделки пьес Расина и Мольера, знаменитая трагедия в белых стихах "Спасенная Венеция" ("Venice Preserv'd, or a Plot Discover'd", 1682), пользовавшаяся долголетней популярностью.

26 ...цитировали Седли и Рочестера. - Чарлз Седли (Sir Charles Sedley, 1639?-1701) - автор двух незначительных трагедий и нескольких комедий, из которых лучшими считались "Белламира" ("Bellamira", представлена в 1687 г.) и "Шелковичный сад" ("The Mulberry Garden", 1668), частично основанная на "Школе мужей" Мольера. Граф Джон Уилмот Рочестер (John Wilmot earl of Rochester, 1648-1680) - любимец Карла II, поэт, автор сатир (среди них "Сатиры против человечества", 1675) и стихотворений весьма нескромного содержания.

17 ...Не то еще в паписты угодите. - Стихотворные строки заимствованы из четвертой сатиры Джона Донна (John Donne, 1571 (1572?)-1631) в стихотворной переделке Александра Попа (см.: А. Поп. The fourth Satire of John Donne versified, 256-257).

28 Смотри "Старый холостяк"... - Речь идет о первой комедии драматурга Вильяма Конгрива (W. Congreve, 1670-1729) "The Old Bachelor" (1693); называя ее, Метьюрин, однако, допускает ошибку: в комедии Конгрива не Араминта, но ее кузина Белинда просит своего возлюбленного Бельмура в разговоре с ней не употреблять обращения "отвратительного вкуса".

29 ...языком Орондата, боготворящего Кассандру... - И в этом месте своего повествования Метьюрин допустил неточности, которые читателю следует иметь в виду. "Кассандр" ("Cassandra") - псевдоисторический "галантный" роман французского писателя Ла Кальпренеда (La Calprenede, Gautier de Coster, 1614-1663), изданный в 1644-1650 гг. в 10 томах (объемом в пять с половиной тысяч страниц); английский перевод - 1676 г.; главным героем романа является Кассандр, царь Македонский (сын Антипатра), а действие происходит во время греко-персидских войн; Кассандр влюблен в дочь Дария, на которой женится Александр Македонский. В побочных эпизодах повествуется о любви скифского царя Оорондата (Oorondates) к Статире и ревности к ней Роксаны, пленницы Александра Македонского. (Подробное изложение этого огромного романа см.: Н. Karting. Geschichte des franzosischen Romans in XVII Jahrhundert, Bd. I, 2te Ausg. Berlin, 1891, S. 247-281). Таким образом, Метьюрин превратил царя Кассандра в Кассандру, а роль Оорондата и самое его имя представил неправильно. Последняя ошибка произошла, по-видимому, потому, что историю Оорондата Метьюрин знал не из романа Ла Кальпренеда, а из заметки Д. Аддисона в журнале "Зритель", где, в частности, говорится: "Любовь - мать поэзии и до сих пор производит среди малообразованных и грубых людей тысячи воображаемых страданий и любезностей. Она заставляет лакея говорить языком Орондата и превращает неотесанного сельского учителя в галантного пастушка" и т. д. (The Spectator, vol. V, 8th ed. London, 1726, Э 377, Tuesday, May, 13, p. 237-238). Имена Кассандра, Роксаны и Ла Кальпренеда в этой заметке, однако, не упомянуты.

30 ...площадь Ковент-Гарден. - Квартал в Лондоне с рынком овощей, цветов и фруктов, где позднее, после того времени, которое описывается в романе Метьюрина, возник театр Ковент-Гарден (построен в 1809 г.).

31 ...в "Marriage a la mode" Драйдена. - Комедия Драйдена (см. о нем выше, прим. 4 к гл. II) "Брак по моде" представлена на сцене в 1672 г.

32 ...всей премудростью от Аристотеля до Боссю... - Французский писатель Ле Боссю (Le Bossu, 1651-1681) - автор часто переиздававшегося "Трактата об эпической поэме", который

высоко ценил теоретик французского классицизма Буало. Греческий философ Аристотель упомянут здесь как автор "Поэтики".

33 ..."шатры Кидарские". - Так неоднократно в Библии образно именуется Аравия и аравийские кочевники (см.: П. Солярский. Опыт библейского словаря собственных имен, т. II. СПб., 1881, с. 599).

34 ...у тетушки Дины в "Тристраме Шенди"... - В романе Лоренса Стерна "Жизнь и мнения Тристрама Шенди" (1760-1767) о приключении Дины, двоюродной тетки рассказчика, "которая лет шестьдесят тому назад вышла замуж за кучера и прижила от него ребенка", говорится несколько раз (см. гл. XXI). Тристрам даже клянется "старой черной вельветовой маской" своей тетушки.

35 Смотри "Оруноко" Саутерна... - Пьеса Томаса Саутерна (T. Southerne, 1650-1746) "Оруноко" ("Oroonoko", 1795), сюжет которой заимствован из романа английской писательницы Афры Бен (Aphra Behn, 1640-1689) "Оруноко, или Царственный невольник" (1678).

36 ...призрак матери Альмансора... - Имеется в виду героическая драма Драйдена "Завоевание Гранады" ("The Conquest of Granada, or Almanzor and Almahide", 1670); призрак утонувшей матери Альмансора появляется здесь во II части, в 3-й сцене IV действия пьесы.

37 ...дух Лайя... - Имеется в виду трагедия Драйдена (написанная совместно с Н. Ли в 1679 г.) "Эдип" ("Oedipus"), в которой обработан миф об Эдипе, сыне фиванского царя Лайя (III, 1).

38 Смотри письма Леблана. - Имеется в виду аббат Леблан (Jean Bernard le Blanc, 1707-1781), автор весьма популярных в XVIII в. "Писем француза, касающихся правления, политики и нравов англичан и французов" ("Lettres l'un Francois concernant le gouvernement, la politique et les mœurs des Anglois et des Francois". La Hav, 1745; перепечатано в 1751, 1758 гг., английский перевод: "Letters of the English and French Nations". London, 1747, другое издание - Dublin, 1742). "Письма" Леблана написаны во время пребывания его в Англии между 1731-1744 гг., из 90 писем 31 посвящено художественной литературе, 11 - театру. Отзывы Леблана об английской литературе, в частности о Драйдене, характеризованы в статье: George Havens. The Abbe Le Blanc and English Literature. - Modern Philology, 1920, t. XVIII, p. 82; Helene Monod-Cassidy. Un voyageur-philosophe au XVIII s. L'abbe J.-B. Le Blanc. Harvard Univ. Press, 1941 p. 66-75.

39 ...требовали... "сожжения папы"... - Обряд сожжения сделанного из соломы изображения римского папы происходил в Лондоне несколько лет подряд в день рождения королевы Елизаветы, в частности между 1679-1681 гг. в период сильнейшего ожесточения против католиков, которое подогревалось слухами о воображаемом так называемом папистском заговоре против Англии (S. J. Low and F. S. Pulling. The Dictionary of English History, p. 827-828).

40 ...остановили свой выбор на испанских и мавританских сюжетах. Названные Метьюрином драматурги действительно создали ряд пьес, в которых обработаны были сюжеты из истории Испании и ее колоний, борьба испанцев с арабами и т. д. Драматург Роберт Хауард (Robert Howard, 1626-1698) написал "Индийскую королеву" ("The Indian Queen", 1664, напечатана в 1665 г.), продолжение которой создал в том же году Драйден под названием "Индийский император, или Завоевание Мексики испанцами" ("The Indian Emperor, of the Conquest of Mexica by the Spaniards"); выше уже была упомянута пьеса Драйдена "Завоевание Гранады" (см. прим. 36). Элкене Сетл (Elkanah Settle, 1648-1724) создал "Императрицу Марокканскую" ("The Empress of Morocco", 1673) и т. д.

41 Смеяться шутке, что смущает ложи. - Стихи заимствованы из произведения Джона Гея (John Gay, 1685-1792) "Чайный столик. Городская эклога" ("The Tea-Table. A Town Eclogue").

42 ...давали "Александра"... - Речь идет о пьесе Натаниэла Ли "Королевы-соперницы, или Смерть Александра Великого" (см. выше, прим. 25).

43 ...главную роль исполнял Харт... - Артист Чарлз Харт (Ch. Hart, ум. 1683).

44 ...настоящий "сын Аммана". - Александр Македонский был обожествлен при жизни, объявленный сыном Зевса-Аммона.

45 Смотри "Историю сцены" Беттертона... - Томас Беттертон (Th. Betterton, 1635-1710) - известный актер и драматург. Его заметки по истории английских театров, делавшиеся им в течение долгого времени, были изданы под заглавием "История английской сцены" ("A History of English Stage", 1741).

46 ...испытал, вероятно, Брюс, открывши истоки Нила... - Речь идет о Джеймсе Брюсе (James Bruce, 1730-1794), шотландском путешественнике, открывшем истоки реки Нил в Африке (так называемый Голубой Нил) и напечатавшем об этом подробный отчет.

47 ...Гиббон, завершив свою "Историю". - Эдвард Гиббон (Gibbon, Edward, 1737-1794) писал свой знаменитый труд "История упадка и падения Римской империи" ("The History of Decline and Fall of the Roman Empire") в течение многих лет: первый том (в издании in 4o) вышел в свет в 1776 г., второй и третий - в 1781, последние три тома появились в 1788 г.

48 Ларошфуко Франсуа де (La Rochefoucauld, 1613-1680), автор "Размышлений или Моральных изречений и максим" ("Reflexions ou sentences et maximes morales", 1665; много раз переиздавалось). Точно цитируемый текст этой максимы Ларошфуко гласит: "В несчастиях наших лучших друзей мы всегда находим нечто такое, что для нас не лишено приятности". Эта книга пользовалась популярностью также в Англии, Метьюрину, вероятно, хорошо было известно стихотворение Джонатана Свифта, написанное им "при прочтении" этой сентенции Ларошфуко и озаглавленное "Стихи на смерть доктора Свифта" (1731-1732; впервые опубликовано в 1739 г.), в котором он подводит итог своей жизни и дает оценку своей литературно-общественной деятельности как сатирика. Характерно, однако, что английские писатели и философы понимали Ларошфуко односторонне, толкуя его этическую систему как оправдание эгоизма. В полном соответствии с такой точкой зрения находилось, несомненно, и восприятие Ларошфуко Метьюрином. Честерфилд в письме к сыну от 5 сентября 1748 г. пишет: "Ларошфуко порицают и, как мне кажется, напрасно, за то, что главным побуждением, определяющим все поступки, он считает себялюбие. Мне думается, что в этом есть значительная доля истины и уж, во всяком случае, вреда эта мысль принести не может". В этом же письме Честерфилд замечает также: "Вот размышление, которое больше всего осуждается в книге Ларошфуко как жестокое "Человек может находить что-то приятное в горе, которое постигает его лучшего друга". А почему же нет?" (Честерфилд. Письма к сыну. Максимы. Характеры. Л., 1971, с. 70-71).

49 ...огромными глыбами Стонехенджа... - Под этим названием известен гигантский древний памятник из каменных столбов, находящийся в Англии в десяти милях от Солсбери. Повидимому, этот памятник представляет собою развалины храма с алтарем-жертвенником и относится еще к кельтским друидическим временам. В книге Томаса Мориса "Индийские древности", бывшей источником главы "Повесть" (см. о ней ниже, прим. 3 к "Повести"), помещен специальный раздел о "громадном храме солнца" в Стонехендже (vol. VI, p. 123-128), а в приложении к нему дана гравированная картинка, изображающая "вид массивных колонн в Стонехендже при лунном свете". Об историческом значении этого древнего памятника см.: Б. Р. Виппер. Английское искусство. Краткий исторический очерк. М., 1945, с. 5-6.

50 ...капитана Бобадила... - Персонаж комедии Бена Джонсона (Ben Jonson, 1573-1637) "У каждого свои причуды" ("Every Man in his Humor"; поставлена на сцене в 1598 г., напечатана в 1611 г., в новой редакции - в 1616 г.). Бобадил - тип полуголодного, но чванливого и тщеславного хвастуна.

51 ...в Айя-Софии... - Знаменитый христианский храм, после завоевания Константинополя турками (1453) превращенный в магометанскую мечеть.

52 ...навстречу королю Этельберту... - Король англосаксонского Кента Этельберт (Ethelbert, 560-616) был крещен св. Августином в 597 г.

53 ...сивиллины книги... - Книги предсказаний сивилл (см. выше, прим. 7 к гл. I). По древнему преданию, собирать эти книги начал Тарквиний Гордый, приобретший несколько книг от Кумской сивиллы. Последующие правители Рима увеличили это собрание пророчеств, хранившееся в каменном ящике под сводом храма Юпитера в Капитолии, но в 84 г. до н. э. они были истреблены пожаром; позднее собрание было частично восстановлено и пополнено. Как видно из контекста "Мельмота Скитальца", фраза, оборванная на словах о сивиллиных книгах, вероятно, должна была служить началом фразы, в которой мог быть изложен еще один пример, подтверждавший ту "остроумную", по ироническому замечанию автора, мысль, что набожность народа увеличивалась, если богослужение совершалось на неизвестном для него языке; по-видимому, хорошо знавший историю сивиллиных книг, Метьюрин знал также, что древнейшие из них были написаны не на латинском, а на греческом языке.

54 О если б мог мычать я, как горох... - Поэт и драматург Натаниэл Ли (см. о нем выше, прим. 25) окончил свою жизнь в сумасшедшем доме (Бедламе) в 1692 г. Приведенный стих ("O that my lungs could bleat like buttered pease") представляет собой начальную строчку приписанного Н. Ли стихотворения, озаглавленного "Бессмыслица" ("Nonsense") и напечатанного в сборнике "Остроты и забавы" ("Wit and Drollery", 1656).

55 Хью Питерс (Hugh Peters, 1599-1660) - священник, пользовавшийся славой красноречивого проповедника. Получив образование в Кембриджском университете, Питере был священником сначала в Лондоне, затем в Роттердаме (в Голландии), прожил несколько лет в Северной Америке (в Массачузетсе), вернулся в Англию в 1641 г., где стал капелланом в различных армейских частях, сопровождал Кромвеля в Ирландию после Реставрации был судим как один из убийц короля Карла I и казнен 16 октября 1660 г. (см.: S. J. Low and F. S. Pulling. Dictionary of English History, p. 817).

56 ...повторял пять пунктов... - Имеются в виду пять основных положений кальвинистской доктрины, о которых шли споры между представителями различных протестантских сект. В различных сочинениях теологического характера в XVII в. эти положения и порожденные ими разногласия формулировались следующим образом: 1. Предопределение или личный выбор; 2. Неотразимая благодать (милосердие божие); 3. Личный грех или общая греховность естественного человека; 4. Личное искупление; 5. Конечное заступничество святых.

57 ...До царствования королевы Анны... - Королева Анна (1664-1714) была последней представительницей дома Стюартов на английском престоле (второй дочерью Иакова II и его жены Анны Хайд).

58 ..."Охвостье" Парламента... - Английский Парламент, избранный 6 октября 1640 г., вошел в историю под названием Долгого парламента, так как, собравшись в Конце этого года, он не расходился в течение двенадцати с половиной лет, вплоть до 20 апреля 1653 г., когда он был разогнан Кромвелем при ближайшем участии генерала Гаррисона (о нем см. ниже, прим. 64), что явилось важным этапом в развитии революции в Англии и установлении республики. За период своей деятельности и двух гражданских войн Долгий парламент сильно поредел; тем не менее среди депутатов находились еще депутаты, оппозиционно настроенные к революционным переменам, происходившим в стране. Долгий парламент, очень малочисленный, получил также прозвище "Охвостье" (The Rump): с ним и боролся Кромвель, опиравшийся на сектантские элементы в революционной армии и народе.

59 ...злосчастного полковника Лавлеса... - Речь идет об известном поэте эпохи гражданской войны и революции в Англии Ричарде Лавлесе (Richard Lovelace, 1618-1658), являвшемся полковником армии роялистов.



60 ...отрывками из "Щеголя с Колмен-стрит"... - Сатирическая комедия Абрахема Каули (Abraham Cowley, 1618-1667) первоначально была направлена против пуритан, но в ней доставалось также и роялистам. Первая редакция "Щеголя с Колмен-стрит" ("The Cutter of Coleman Street") относится еще к 1641 г., но окончательную форму эта пьеса приняла уже после Реставрации, когда она неоднократно и с большим успехом шла на лондонских сценах.

61...леди Лемберт и леди Десборо... - Речь идет о персонажах пьесы писательницы Афры Бен (о ней см. выше, прим. 35) "Круглоголовые" ("The Round-Heads, of the Good Old Cause", 1682).

62 - Тавифа, Тавифа! - закричал голос... - Тавифа (Tabitha) - одно из действующих лиц комедии А. Каули "Щеголь с Колмен-стрит". Цитаты, приведенные Метьюрином, взяты из этой комедии (III, 12: разговор между Щеголем и Тавифой).

63 ...Канарский... - Оживленный и веселый Канарский танец (canary dance), т. е. испанский танец Канарских островов, пользовался в Англии широкой популярностью уже в конце XVI - нач. XVII в. Он упомянут в комедии Шекспира "Конец - делу венец" ("All's well that ends well", II, 1, ст. 75-78), где о нем рассуждает Мот в беседе с Армадо, а Лафе убеждает короля, имея в виду женское очарование:

...я лекаря такого раздобыл.

Который может в камень жизнь вдохнуть,

Скалу расшевелить и вас заставить,

Мой добрый государь, пуститься в пляс...

(Перевод М. Донского)

В тексте оригинала ст. 71 читается: "Quicken a rock, and make you dance canary", т. е. "расшевелить скалу и заставить вас плясать Канарский танец". Уже один из ранних комментаторов Шекспира, Френсис Дус, в своих "Пояснениях к Шекспиру" (F. Douce. Illustrations of Shakespeare. 1807) привел подробное описание этого танца, заимствовав его из трактата французского хореографа Туано Арбб "Орхезография" (Thoinot Arbeau. Orchesographie). Это описание дано также в книге Н. Дрейка "Шекспир и его время" (Nathan Drake. Shakespeare and his times, vol. II. London, 1817, p. 174-175), которая, как мы уже предположили выше (см. прим. 10 к гл. I), была известна автору "Мельмота Скитальца".

64 Гаррисон Томас (Thomas Harrison, 1606-1660) - полковник, затем генерал парламентской армии (см. о нем выше, прим. 58), в 1649 г. являлся членом суда над королем Карлом I и одним из подписавших ему смертный приговор. После Реставрации Гаррисон был казнен (13 октября 1660 г.) как цареубийца по приговору суда, на котором он мужественно и убежденно оправдывал осуждение короля (см. ниже, прим. 26 к гл. "Повесть о двух влюбленных").

65 Брешешь, круглоголовый! - взревел портной-кавалер... - Перебранка между двумя обитателями сумасшедшего дома, ткачом-пуританином и портным-роялистом, которую слышит Стентон, изображена Метьюрином с полным правдоподобием, что свидетельствует о начитанности его в первоисточниках по истории английской революции XVII в. В конце 1641 г. перед началом первой гражданской войны в Англии в Парламенте возникли серьезные споры и волнения по вопросу об епископате в связи с антипуританской позицией, занятой примасом англиканской церкви, архиепископом Лодом. Полемика эта отразилась и в печати, в ряде памфлетов, написанных в типично "барочном" стиле, полном метафор, библейской символики и неожиданных уподоблений. К этому времени, когда в Англии уже совершился переход верховной власти в государстве к Парламенту в последнем появились две противоборствующие политические силы: защитники короля и англиканской епископальной церкви и сторонники Парламента, вскоре вступившие между собой в вооруженную борьбу. В это время и те и другие получили от населения особые клички: роялисты стали именоваться "кавалерами" (Cavaliers),

сторонники республики "круглоголовыми" (Roundhead); эти уничижительные эпитеты быстро утвердились в разговорной речи и распространились повсеместно. В прозвании "кавалеры" видели намек на склонность англичан-"роялистов" к французам и католикам ("папистам"), а также иронию к той лени и небрежности, с какой они относились к военной службе. Прозвание "круглоголовые" имело в виду принятый у пуритан обычай (особенно среди купцов и ремесленников и вообще людей, не принадлежавших к дворянскому обществу) носить коротко стриженные волосы в отличие от дворян-"кавалеров", носивших обычно длинные кудри и локоны. Один из современников свидетельствовал о пуританах 40-х годов XVII в.: "Они были скромны по виду, но не по своему языку, волосы на своих головах они носили немного длиннее своих ушей, вследствие чего их и называли круглоголовыми".

66 О будь он проклят дважды! - Слова из анонимной политической песни, направленной против Оливера Кромвеля, текст которой приводится в упомянутой выше комедии Э. Каули "Щеголь с Колмен-стрит" (II, 8).

67 ...для полковника Бланта... - В середине 40-х годов Блант (Thomas? Blunt или Blount) был полковником парламентской охраны (см.: Alfred Harbage. Cavalier Drama. N. Y. - London, 1936, p. 178).

68 ..."Мятеж был, дом разнесли"... - Первая строка политической песни "The Sale of Rebellious Household-stuff", включенной (под Э 14) в третью книгу известного собрания Томаса Перси "Остатки древней английской поэзии" (Thomas Percy. Reliques of ancient English poetry: consisting of old Heroic Ballads, songs and other pieces of our earlier poets... 1765). Публикуя эту песню, представляющую, по его словам, "саркастическое ликование торжествующей законности", Перси сообщает, что он взял текст из старопечатного издания политических песен ("A choice collection of 120 loyal songs" etc, 1684, in 12o) и что она исполнялась на мелодию песни "Старый Саймон-король" ("Old Simon the King").

69 ...проклинать проклятьями Мероза... - Бред сумасшедшего ткача-пуританина насыщен отчетливыми отзвуками различных текстов из Библии, которую каждый пуританин времени революции знал превосходно. Мероз (город в северной части Палестины) упомянут в Книге Судей (5, 23); именно это место вспоминает ткач: "Прокляните Мероз, говорит ангел господень, прокляните, прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь господу, на помощь господу с храбрыми".

70 ...я в шатрах Кидарских... - См. выше, прим. 33. Ткач и на этот раз наизусть цитирует ст. 5-7 из 119 псалма ("Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров Кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен: но только заговорю, они - к войне").

71 ...посмотрите на Марстон-Мур! - Марстонская пустошь (Marston-Moor) местность в одиннадцати километрах к западу от г. Йорка, где 2 июля 1644 г. состоялась битва парламентских войск и армии роялистов, по числу участвовавших в ней - одна из самых крупных за все время гражданской войны в Англии. При Марстон-Муре парламентские войска в составе северных армий и армии Восточной Ассоциации под командованием графа Манчестера и Кромвеля встретились с войсками роялистов ("кавалеров"), которые возглавляли принц Руперт и герцог Ньюкасл. Потери с обеих сторон были очень велики: было убито 4150 человек, из них около 3000 роялистов; кроме того, парламентские войска взяли полторы тысячи пленных и много оружия и военного снаряжения. Последствием сражения при Марстон-Муре было полное уничтожение армии герцога Ньюкасла, падение города Йорка и освобождение от приверженцев короля всего севера. Кромвель проявил здесь качества выдающегося полководца (см.: S. J. Low and F. S. Pulling. Dictionary of English History, p. 717-718; Английская буржуазная революция XVII в., т. I, М., 1954, с. 180-183).

72 ...воды Северна... - Бассейн реки Северн своей верхней областью принадлежит Уэльсу;

как только река становится судоходной для мелких судов, она вступает в Англию в собственном смысле и, изгибаясь к югу, прежде своего впадения в Бристольский залив, орошает шесть графств. Река Северн и ее берега были неоднократными свидетелями кровопролития во время гражданской войны.

73 - Благодарим вероломных шотландцев и их торжественный союз и договор и Керисбрукский замок... - Имеются в виду события второй гражданской войны в Англии (1648) и непосредственно ей предшествующие. "Вероломными" шотландцы названы на том основании, что шотландские пресвитерианцы поддержали контрреволюционное движение в Англии и с конца 1647 г. подготавливали интервенцию в Англию. В декабре этого года шотландские представители во главе с Лодердейлом заключили договор о сотрудничестве и союзе с Карлом I, находившимся в Керисбрукском замке (Carisbrook Castle) на острове Уайт. Шотландский Парламент обратился к Долгому парламенту (26 апреля 1648 г.), требуя запрещения всех пуританских сект, кроме пресвитерианской. Однако над шотландцами победу одержал Оливер Кромвель. 1 января 1649 г. решением Парламента Карл I был отдан под суд, его обвинили в сговоре с шотландцами против Парламента, что было сочтено государственной изменой.

74 ...Красноносый... - Это было одно из прозвищ О. Кромвеля (см.: E. Cobham Brewer. Dictionary of Phrase and Fable. 1877, p. 290).

75 ...как Давид повалил Голиафа. - Имеется в виду библейский рассказ о филистимляне, великане Голиафе, побежденном Давидом в единоборстве на глазах готовых к сражению войск филистимлян и израильтян, что привело к бегству первых и победе последних (Первая книга Царств, 17).

76 Это его... - Во время гражданской войны и борьбы с Карлом I среди пуритан не принято было называть его ни "король" (King), ни "его величество" (His Majesty), а просто "он" (the man).

77 ...не искушай меня этой телячьей головой... - В 1650 г. в годовщину казни Карла I в Лондоне был открыт "Клуб телячьей головы" ("Calve's Head Club"), основанный пуританами для того, чтобы сделать посмешищем память о короле, сложившем свою голову на плахе.

78 ...сын арминиан... - Основателем религиозной секты арминиан, или ремонстрантов, был голландец Якоб Гарменсен (Jacob Harmensen, 1560-1600; латинизованное написание его фамилии - Arminius, Арминий) - протестантский пастор в Амстердаме и профессор богословия в Лейдене. Он отрицал предопределение, допускал прощение всех раскаявшихся грешников. Его последователи в Голландии позже получили наименование ремонстрантов; это название произошло из докладной записки, поданной ими правительству Голландских штатов. В 1618 г. на синоде в городе Дордрехте арминиане были исключены из синодального общения и образовали особую секту. Довольно много арминиан жило также в Англии.

79 ...во время страшного пожара Лондона... - "Великий лондонский пожар" возник случайно 2 сентября 1666 г. в одном из домов на Лондонском мосту, затем распространился с ужасающей быстротой по обоим берегам Темзы и бушевал в течение пяти суток, в результате чего в огне погибло две трети города: 13 тысяч жилых домов, 89 церквей (включая Собор св. Павла) и т. д. Погорельцы-пуритане пытались обвинить в поджоге города "папистов"; иные же из них объявляли это стихийное бедствие карой господней, ниспосланной жителям за их грехи.

80 Прислушайся: уже трубит труба! - В произведениях Н. Ли (о нем см. выше, прим. 25) этот или близкий к нему стихотворный текст не обнаружен (см.: A Grant, p. 548).

81 ...совершеннейшим альбиносом... - Альбиносом называют человека (или животное), страдающего альбинизмом, т. е. болезненной ненормальной белизной кожи и волос, а также краснотой глаз (вследствие отсутствия в организме красящего пигмента).

82 ...хилые земляки... - Слова короля Иоанна в исторической хронике Шекспира "Король Иоанн" (I, 1, 193: "My picked man of countries").

83 ...когда не ты что-то ешь, а когда едят тебя самого! - Цитируются в слегка измененном виде слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира (IV. 3, 20: "Not where he eats, but where he is eaten").

84 ...к числу субляпсариев. - Уже в XVI в. среди последователей Кальвина (см. статью) обнаружили и стали обособляться два направления, связанные с истолкованием учения о предопределении, получившие впоследствии названия субляпсаризма, инфра- и супраляпсаризма. Все последователи Кальвина полагали, что избрание части людей к вечному блаженству и осуждение другой части на вечные мучения является актом божественной воли, установленной до сотворения мира и грехопадения. Споры шли о роли акта изгнания из рая в этом предопределении: супраляпсарии считали, что грехопадение вытекало из акта об избрании или отвержении (к ним, т. е. к более суровым последователям учения Кальвина, принадлежал и упомянутый пуританский священник, оказавшийся в доме для умалишенных), субляпсарии, напротив, полагали, что грехопадение следует считать источником предопределения, см.: А. Потехин, Очерки по истории борьбы англиканства с пуританством при Тюдорах (1550-1603 гг.). Казань, 1894, с. 688-689.

85 ..."лучше десяти тысяч других"... - Песнь песней (5, 10).

86 ...найденной в Геркулануме... - Геркуланум (или, правильнее, Геркуланеум, как пишет и Метьюрин: *Herculaneum*) - город в Италии на юго-восток от Неаполя, у западной подошвы Везувия. При сильном извержении этого вулкана в 79 г. н. э. город был засыпан толстым слоем пепла и залит лавой в десятки футов толщиной. Раскопки этого города (открытого в 1711 г.) начались в XVIII в., шли с большими перерывами и особенно успешно велись в 1806-1815 гг., вследствие чего о них вспомнил и Метьюрин. Находки здесь рукописных свитков, содержащих в себе преимущественно сочинения поздних греческих философов, сделаны были в 1753 г., а с 1793 г. начато было публикование их в Неаполе в специальной серии ("*Herculanensia voluminum, quae superstant*"), подвигавшееся крайне медленно, так как самое прочтение свитков, обуглившись вследствие извержения Везувия в 79 г. н. э., представляло значительные трудности. К концу первого десятилетия XIX в., т. е. как раз к тому времени, когда Метьюрин заканчивал работу над "Мельмотом Скитальцем", к изучению и дешифровке свитков Геркуланума привлечены были видные английские химики того времени, в частности Хемфри Дэви (H. Davy), а отчеты о его опытах широко освещались в печати (см.: *Quarterly Journal*, 1819, Э XIII).

87 ...стихи "Энеиды"... - "Энеида" - поэма Вергилия (70-19 г. до н. э.).

88 ...непристойные строки Петрония или Марциала... - Метьюрин имеет в виду двух римских писателей, живших при императорах Нероне и Домициане. Гай Петроний Арбитр (*Gaius Petronius Arbiter*, ум. в 66 г. н. э.) предполагаемый автор "Сатирикона", романа, заключающего в себе много непристойных эпизодов. Марк Валерий Марциал (*Marcus Valerius Martialis*, р. ок. 41 г., ум. 104) - автор многочисленных эпиграмм, в которых дается яркая реалистическая картина безнравственности римского общества его времени.

89 ...на таинства Спинтрий или на фаллические оргии... - Об "Таинствах Спинтрий", эротических празднествах в Риме известно мало; вещественными доказательствами их существования при императоре Тиберии служат открытые археологами бронзовые жетоны, или тессеры, грубо эротического характера, которые, вероятно, носили на себе участники этих таинств; по-видимому, именно эти жетоны имеет в виду Марциал, говоря о "развратных монетах" ("*lasciva numismata*"). О фаллическом культе у древних (от греческого "фаллос" - мужской половой орган), в основе которого лежало обожествление производительных сил природы, Метьюрим упоминает в гл. XVI, в связи с характеристикой религий и обрядности древней Индии.

## Глава IV

1 К оружию, ребята... - Эпиграф взят из поэмы в трех песнях "Кораблекрушение" ("The Shipwreck", Canto II, 2, 913-914) Вильяма Фолконера (W. Falconer, 1732-1769), описывающей гибель корабля у берегов Греции. Поэма была напечатана в 1762 г. (переиздана в 1764 и 1769 гг.) и пользовалась известностью.

2 ...любил, когда качались стены... - Перефразировка строки из трагедии Шекспира "Отелло" (II, 1, 5-6).

3 ...в ночь, когда умер Кромвель... - Оливер Кромвель умер 3 сентября 1658 г. Страшная буря бушевала над всей Англией в течение нескольких дней начиная с 30 августа; по свидетельству современников, это и дало повод роялистам говорить, что "дьявол пришел за душою тирана" (С. Р. Гардинер. Пуритане и Стюарты, 1603-1660. СПб., 1896, с. 225).

4 ...скрытые в седой пучине. - Цитата внушена библейской книгой Иова (41, 23-24), где о дьяволе говорится: "Он кипятит пучину, как котел, бездна кажется сединою".

...Клык и Силок... - Метьюрин имеет в виду двух второстепенных персонажей хроники Шекспира "Генрих IV" (ч. 2, II, 1) - стражников шерифа, которых драматург наделил "характеризующими" именами Fang (Клык) и Snare (Силок).

## Глава V

1 ...от ада нет спасения... - Метьюрин имеет в виду следующий разговор Дон Кихота с его оруженосцем в романе Сервантеса (I, XXV): "Кто попал в ад, то уж *nulla est retentio*, - заметил Санчо. - Я не понимаю, что значит *retentio*, - сказал Дон Кихот. *Retentio* - это когда кто-нибудь не может вырваться из ада, - пояснил Санчо". Комизм этого диалога заключается в том, что вместо латинской фразы - "*in inferno nulla est redemptio*", т. е. "из ада освободиться нет никакой возможности", Санчо, искажая ее, говорит, что "из ада нет никакого задержания".

2 ...Фатима в "Кимоне"... - "Кимон" ("Супон") - драма Дэвида Гаррика (1717-1770), знаменитого английского актера, театрального деятеля и драматурга, впервые представлена на сцене в 1767 г.

3 ...о которых Спенсер говорит... - Вероятно, Метьюрин имеет в виду рассказ английского поэта Эдмунда Спенсера (1552-1599) об ирландских бардах в его прозаическом трактате "Взгляд на современное состояние Ирландии" ("A view of the Present State of Ireland", 1596).

4 ...Рассказ, что льется у постели. - Цитата заимствована из трагедии шотландской поэтессы и драматурга Джоанны Бейли (Joanna Bailey, 1762-1851) "Этволд" ("Etwald: a tragedy", ч. II, 4).

5 ...тревожит попусту того, кто сном забылся... - Цитата заимствована из хорошо известных слов Констанции в исторической хронике Шекспира "Король Иоанн" (III, 4, 109).

6 ...то ли в Уэксфорд, то ли в Уотерфорд... - Небольшие портовые городки в юго-восточной Ирландии.

7 ...почему Иона остался жить, а моряки погибли? - Испанец имеет в виду библейскую легенду о пророке Ионе, брошенном корабельщиками в море и проглоченном большим китом (см.: Книга пророка Ионы, 1-2).

### Рассказ испанца

1 ...в монастырь экс-иезуитов... - В середине XVIII в. во всех странах Западной Европы, прежде всего католических, где орден иезуитов (*Societas Jesu*), основанный Игнатием Лойолой с кучкой единомышленников в 1534 г., достиг наибольшей власти, началась борьба с иезуитами. Вдохновляемая философами-просветителями, эта борьба нашла широкий отклик также у королей и высших властей разных стран, не без основания считавших, что орден иезуитов превратился в своего рода государство в государстве и получил неожиданное влияние в чисто мирских делах этих стран.

В 1759 г. иезуиты были изгнаны из всех своих владений в Португалии, где господство

иезуитского ордена было наиболее полным и продолжительным. Во Франции по указу короля от 14 июня 1763 г. все состояние ордена было конфисковано в пользу короны, а иезуиты изгнаны из страны. В Испании иезуиты подвергались гонениям в царствование Карла III (1759-1788), короля, интересовавшегося науками, французской и итальянской литературами, затронутого идеями Просвещения и мечтавшего о реформе испанского общества. Под воздействием своего премьер-министра, графа Аранды (некогда состоявшего в переписке с Вольтером), Карл III приказал в одну ночь (2 апреля 1767 г.) арестовать около шести тысяч иезуитов и выслать их за пределы Испании. Хотя орден и был запрещен на некоторое время во всех частях империи, здесь, как справедливо заметил Метьюрин, никто не верил, что изгнание иезуитов означает полную ликвидацию их владений (в частности, монастырских), что и оправдалось впоследствии (см.: Г. Бемер. Иезуиты. М., 1913, с. 419).

2 ...что глухие слышат. - Реплика монаха намекает на известные слова: "Имеющий ухо [слышать] да слышит" (Откровение Иоанна Богослова, 2, 11). В Испании, как и в других католических странах, Библия (Ветхий Завет) была запрещена к обращению даже в XIX в., о чем рассказал в своей популярной книге Дж. Борроу (G. Borrow. The Bible in Spain, 1843).

3 ...по берегу Мансанареса. - Мансанарес - небольшая река, почти высыхающая в летнюю пору, на берегах которой расположен Мадрид.

4 ...каре́та свернула на Прадо... - Имеется в виду мадридский бульвар Прадо, в конце улицы Алькала, любимое в то время место для прогулок верхом и в каретах испанской знати.

5 ...принято называть физиогномией человека. - В оригинале "physique" и "physiognomy". Нередкие упоминания в тексте "Мельмота Скитальца" английских, голландских, испанских художников, а также принадлежащих их кисти картин свидетельствуют, что Метьюрину, вероятно, были не чужды также и трактаты по теории и эстетике живописи, в которых речь шла о человеческом лице. Подобных трактатов в XVIII и начале XIX в. в Англии существовало довольно большое количество. Метьюрин мог знать сочинение художника В. Хогарта "Анализ красоты" (1753); в XV главе этой книги, озаглавленной "О лице", можно было прочесть следующие утверждения: "Некоторые черты лица бывают сформированы так, что по ним можно четко определить то или иное чувство", или: "Черты лица, соответствующие выражениям, которые часто на нем появляются, в конце концов отмечают его линиями, позволяющими в достаточной мере судить о характере человека", и т. д. Руководства по физиогномике для художников в Англии также были довольно распространены. Главными авторитетами в искусстве распознавания человеческих лиц и выражаемых ими душевных движений были авторы сочинений, посвященных этим вопросам, - англичанин Роберт Фладд (1547-1637) и в особенности неаполитанец Джованни Баттиста делла Порта (1539-1637); последнего имели в виду Дж. Аддисон, рассуждая о человеческих лицах в своем "Зрителе" ("Spectator", Э 86), и Джон Гей в басне "Собака и лиса". Как видно из указанной выше книги Хогарта, в Англии были хорошо известны и ценились сочинения французского рисовальщика и теоретика живописи Шарля Лебрена о физиогномике как о подсобной учебной дисциплине для художников, например: "Способ научиться отгадывать душевные движения... Сокращенное изложение чтения г. Лебрена о физиогномике" (1702), в последующем, более полном французском издании получившее другое заглавие: "Выражение душевных состояний, представленных во многих гравюрах голов по рисункам покойного Лебрена" (1727).

6 Я сравнивал себя с несчастным Исавом... - Имеется в виду библейский рассказ об Исаве, старшем сыне Исаака, как он изложен в Библии (Книга Бытия, 27, 32-38). Этот рассказ кончается следующими словами (вольно переданными в контексте романа): "Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой! И [как Исаак молчал], возвысил Исав голос свой и заплакал".

7 ...перед изумленным взором Саула. - Рассказчик вспоминает библейскую историю о царе Сауле, который в решительный момент своей борьбы с филистимлянами пришел переодетым к волшебнице и просил ее вызвать из могилы тень умершего Самуила: "И сказал ей царь: не бойся; [скажи,] что ты видишь? И отвечала женщина: вижу как бы бога, выходящего из земли. Какой он видом? спросил у нее Саул. Она сказала: выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду. Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицею на землю и поклонился" (Первая книга Царств, 28, 13-14). Тень Самуила предсказывает Саулу смерть на следующий день в плену у филистимлян.

8 - Да будет воля твоя. - Слова из молитвы "Отче наш".

9 ...скептицизмом Пилата... - Слова Пилата "Что есть истина?" приведены в Евангелии от Иоанна (18, 38).

10 Смотри Баффа... - Метьюрин ссылается на книгу Джона Баффа "Путешествия по империи Марокко" (John Buffa. Travels through the Empire of Morocco. 1810), в которой помещен изложенный им рассказ о пленнике мавров, брошенном на растерзание свирепому льву; так как эта книга вышла в свет позже того времени, к которому относятся события, о которых повествуется в романе, Метьюрин сожалеет о допущенном им "предумышленном" анахронизме.

11 "я выбрал арию из "Жертвоприношения Иеффая". - Речь идет об оратории английского композитора (родом из Германии) Георга Фридриха Генделя (Handel, 1685-1759), озаглавленной "Иеффай" ("Jephthah", 1752). Эта оратория основана на весьма драматическом библейском рассказе об Иеффе, давшем обет в случае своего благополучного возвращения от врагов-аммонитян принести в жертву богу всякого, кто первым выйдет к нему из ворот его дома. Навстречу Иеффею вышла его единственная дочь. "Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: ах, дочь моя} ты сразила меня... я отверз [о тебе] уста мои пред господом, и не могу отречься. Она сказала ему: ...делай со мною то, что произнесли уста твои" (Книга Судей, 11, 35-36). Нетрудно видеть, что история юноши в "Рассказе испанца" представляет собою близкую аналогию рассказу о дочери Иеффая, которую он должен был принести в жертву; можно догадаться также, какую арию оратории Генделя Метьюрин имел в виду, заставляя героя своего рассказа спеть ее своему отцу.

12 ...в недрах сердца, которое "лукаво... более всего и крайне испорчено...". - Цитата из книги пророка Иеремии (17, 9).

13 ...рассказ об одном римском генерале... - Речь идет о римском военачальнике Марции Кориолане и его матери. Вероятно, Метьюрин знал этот рассказ по той сцене трагедии Шекспира "Кориолан" (V, 3, 94-124), где мать Кориолана, Волумния, явившись вместе с женой его, Виргилией, к нему в палатку, неподалеку от Рима, в большом монологе убеждает сына положить конец войне. Волумния говорит в этой сцене:

Что до меня, то я, мой сын, не стану,  
С судьбою примирясь, покорно ждать  
Конца войны. Уж если я не в силах  
Склонить тебя великодушным быть  
К обеим сторонам, а не стремиться  
Добить одну из них, то знай, что прежде  
Чем двинуться на Рим, тебе придется  
Ногою наступить на чрево той,  
Что жизнь тебе дала...  
(Перевод Ю. Корнеева)

Возможно, впрочем, что Метьюрину этот рассказ был известен из "Сравнительных жизнеописаний" Плутарха, в которых помещена глава "Гай Марций и Алкивиад", как известно,

завившаяся одним из основных источников указанной трагедии Шекспира. У Плутарха рассказ этот имеет следующий вид. "Когда же он [Кориолан] вдоволь насытил свое чувство и заметил, что мать хочет говорить, он подозвал поближе вольсков-советников и услышал от Волумнии следующую речь: "Сын мой, если бы мы не проронили ни слова, то по нашей одежде и по жалкому нашему виду ты можешь судить, на какую замкнутость обрекло нас твое изгнание... Твоей жене и детям придется потерять либо отечество, либо тебя. А я - я не стану ждать, пока война рассудит, какой из этих двух жребиев мне сужден, но если не уговорю тебя предпочесть дружбу и согласие борьбе и злым бедствиям и сделаться благодетелем обоих народов, а не губителем одного из них, - знай и будь готов к тому, что ты сможешь вступить в бой с отечеством не прежде, нежели переступишь через труп матери"" (Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. I, М., 1961, с. 269).

14 ...я спал подобно Симоргу в восточном сказании... - Гигантская птица Симорг (Simorgh), или Симуург, известна многим восточным сказаниям: иранским, арабским и т. д. (иногда под другими названиями Суена, Анга, Rokh). Птица Симорг упоминается в "Шахнаме", в повести о "Синдбаде-мореходе" (см. о ней выше, прим. 19 к гл. 1). Известна была она также средневековым легендам об Александре Македонском, Марко Поло и т. д. Очень возможно, что сведения о Симорге Метьюрин почерпнул из хорошо известной ему поэмы Р. Саути "Талаба-разрушитель" (см. о ней выше, прим. 23 к гл. I), где птице Симорг посвящен особый эпизод (XI, 10-14), сопровождаемый обширным ученым примечанием поэта (к строфе 12-й): Симорг описана здесь как "древняя птица", сидящая в долине среди высоких гор с всегда закрытыми глазами, на отдыхе и в глубоком покое.

15 ...как папа Сикст... - Очевидно, имеется в виду пользовавшийся весьма дурной репутацией папа Сикст IV, в миру - Франческо делла Ровере (1414-1484), избранный на папский престол в 1471 г. Для Испании он был особенно памятен тем, что учредил здесь инквизицию в 1478 г.

16 Отыди, сатана, прочь от меня, сатана! - Слова Христа к апостолу Петру, приведенные в Евангелии от Матфея (16, 23: "Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн! потому что думаешь не о том, что божие, но что человеческое").

17 ...группа, достойная того, чтобы ее изобразил Мурильо. - Речь идет об испанском художнике Мурильо (Bartolome Esteban Murillo, 1617-1682).

18 ."обезумевшего Ореста. - По древнегреческим сказаниям Орест, сын Агамемнона и Клитемнестры, наказал свою мать за предательское убийство ею своего мужа, возвратившегося из-под стен Трои. Богини мести преследовали Ореста за пролитую им кровь матери и вселили в него бешенство, от которого он исцелился благодаря вмешательству в его судьбу Аполлона.

19 "Жюльен Дельмдр". - Указанный в авторской сноске роман французской салонной писательницы г-жи Жинлис (MmR de Genlis, Madeleine Stephanie Felicite, 1746-1830) в подлиннике, озаглавлен "Выскочки, или Приключения Жюльена Дельмура, рассказанные им самим" ("Les parvenus ou les aventures de Julien Delmour, ecrites par lui-meme", 2 vols. Paris, 1819). Этот роман о французской революции 1789 г., в котором отражены многие эпизоды собственной жизни писательницы и явственно чувствуется тенденция всячески идеализировать благовоспитанное и образованное дворянское общество дореволюционной эпохи, противопоставляя его и среднему сословию и народу. Сюжет романа несложен. Жюльен Дельмур, сын кондитера, еще до революции дружил с сыном виконта и был безнадежно влюблен в его сестру. Но она вышла замуж за графа, которого потеряла после революции, так как он был казнен по приговору революционного трибунала; Жюльен спасает ее из тюрьмы, но она предпочитает замужеству с ним монастырь в эмиграции, и он женится на другой, также спасенной им вдове казненного аристократа. Роман представляет известный интерес своими



картинами революции во Франции, которую г-жа Жанлис видела собственными глазами, когда ее муж стал жертвой революционного террора, а она сама принуждена была эмигрировать. Роман о Жюльене Дельмуре вышел в свет в 1819 г. и пользовался в Европе большим успехом в то время, как Метьюрин заканчивал работу над "Мельмотом Скитальцем".

20 ...кончая Франциском Ксаверием... - Святой Франциск Ксаверий или Ксавье (Francis Xavier, 1506-1552), Один из основателей ордена иезуитов, друг юности Игнатия Лойолы во время их совместного учения в Париже, впоследствии ставший "апостолом Индии", возглавляя деятельность миссионеров в Ост-Индских колониях Испании и Португалии. Причислен был к лику святых католической церковью в 1623 г. по настоянию папы Урбана (см.: Г. Бемер. Иезуиты. М., 1913, с. 271-283).

21 ...на луну, что в "ярком сиянии проплывает по небу". - Цитата из Книги Иова (31, 26). Та же цитата приведена в гл. IX и XXI.

22 Тайны дома узнать норовят, чтоб держать его в страхе. - Цитата взята из III сатиры (стих 113) римского поэта Ювенала (Decimus Junius Juvenalis, 55 - ок. 128 г. в. э.) Ср.: Римская сатира. М., 1957, с. 182. Ту же цитату Метьюрин поместил в гл. XX.

23 ...пусть же второй жертвой вашей станет теперь Иаков! - О Исаве и Иакове см. выше, прим. 6.

## КНИГА ВТОРАЯ

### Глава VI

1 Души... не дают подойти мне. - Эпиграф взят из "Илиады" Гомера (XXII, 72). Эти слова произносит тень Патрокла, умоляя Ахилла о погребении и жалуясь на то, что ее не пускают в Аид.

2 ...воспроизводил то и другое. - Рассказ о "бедном идиоте" был помещен в книге Роберта Плота "Естественная история Стаффордшира" (Rob. Plot. Natural History of Staffordshire, 1686), однако Метьюрин "когда-то читал" его, но не в этой книге, а пересказе его в журнале Стиля и Аддисона "Зритель" ("Spectator", 1709, N 447, Saturday, August, 2, p. 289), где говорится: "Д-р Плот в своей истории Стаффордшира сообщает об одном идиоте, который, не рискуя жить без звука часов, забавлял себя отсчетом удара всякий раз, как часы останавливались" и т. д.

3 Я не стал отвечать на их оскорбления... - Отзвук слов Евангелия: "Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство" (Первое послание апостола Петра, Э, 9).

4 По одному суди обо всех. - Источник этой фразы, еще в древности ставшей крылатой, - "Энеида" Вергилия (II, 65-66).

5 ...готовы воскликнуть вслед за несчастным Агагом: "Самое горькое уже позади". Имеются в виду слова: "...и сказал Агаг: конечно горечь смерти миновалась?" (Первая книга Царств, 15, 32).

8 ...подтверждается "Священной историей" Мосхейма. - Имеется в виду труд знаменитого протестантского теолога Иоганна Лоренца фон Мосхейма (I. L. Mosheim, 1694-1755) "Основы древней и новой церковной истории в 4 книгах" ("Institutionum Historiae ecclesiasticae antiquioris et recentioris libri IV". Frankfurt und Leipzig, 1726).

7 ...о сатанинской мессе... - В протоколах судебных процессов Инквизиции сохранились описания подобной "черной мессы", как она представлялась горячечному воображению изуверов-фанатиков или погасающему сознанию лиц, подвергавшихся пытке перед сожжением за колдовство. Судя по этим описаниям, имеющим непристойный характер, черная месса представляла собою пародию на церковную службу христианской церкви, ее обряды и церемонии (см.: Хуан Антонио Льоренте. Критическая история испанской инквизиции, т. II, М., 1936, с. 265-266). В пьесе "Сумасшедший любовник" ("The Mad Lover", 1619), принадлежащей, вероятно, перу Дж. Флетчера, которую Метьюрин имеет в виду, действительно идет речь о

подобной мессе в честь Сатаны, а одно из действующих лиц приглашает петь пародии на церковные молитвы ("a black Santis") и "завывать гнусавыми непристойными голосами" (IV, 1).

8 Тетцель (Johann Tetzel, или Tezel, 1470-1519) - немецкий монах-доминиканец, торговавший индульгенциями (грамотами об отпущении грехов) от имени папы Льва X, нуждавшегося в средствах для завершения постройки Собора св. Петра в Риме. Эта скандальная коммерческая деятельность Тетцеля вызвала резкие нападки на него Лютера, Тетцель отвечал собственным памфлетом; кроме того, он публично сжег знаменитые "Тезисы" Лютера, бывшего в то время профессором теологии в Виттенбергском университете. Эта громкая распря, однако, кончилась осуждением Тетцеля папским легатом, специально приехавшим по этому поводу в Германию из Рима. Я был Ионой на корабле...См. выше, прим. 7 к гл. V.

10 ...в монастыре экс-иезуитов. - См. выше, прим. 1 к гл. "Рассказ испанца".

11 ...ждет участь Дон Жуана. - В данном случае Метьюрин, вероятно, имеет в виду оперу Моцарта "Дон Жуан" ("Don Giovanni"), созданную на либретто итальянца Да Понте; впервые она была представлена на оперной сцене в Праге 29 октября 1787 г., в следующем году - в Вене. Но Метьюрин был знаком и с другими литературными обработками сюжета о севильском обольстителе. См. ниже, прим. 4 к гл. XXXVIII.

## Глава VII

1 Рассказать о сокрытом... - Вергилий. Энеида, VI, 267.

2 ...какое диво, Батс? - Шекспир, Генрих VIII (V, 2, 17-20; с пропуском и мелкими неточностями).

3 ...где "все было позабыто". - Речь идет о "земле Египетской", как она характеризуется в Книге Бытия (41, 30): "И забудется все то изобилие в земле Египетской, и истощит голод землю".

4 ..."самый свет как мрак". - Неточная и сокращенная цитата того места Книги Иова, где Иов говорит о своей близкой смерти (IU, 21-22): "Прежде нежели отойду, и уже не возвращусь, - в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма".

5 ...потому лишь, что я горец. - Имеется в виду рассказ в "Дон Кихоте" Сервантеса "О том, что произошло между Дон Кихотом и дуэньей герцогини доньей Родригес, равно как и о других событиях, достойных записи и увековечения" (II, XLVIII). Здесь дуэнья говорит Дон Кихоту: "Осталась я сиротою... и в это самое время, без всякого с моей стороны повода, меня полюбил наш выездной лакей, мужчина уж в летах, представительный, с густой бородою, а уж какой воспитанный, - ну прямо король: это потому, что он горец" (перевод Н. Любимова).

6 ...распускал ткань Пенелопы... - В гомеровской поэме "Одиссея" рассказывается, что жена Одиссея - Пенелопа во время его двадцатилетнего отсутствия, всяческими хитростями стараясь отклонить домогательства ее руки докучливыми женихами, упросила их подождать ответа, пока она не закончит работу над покрывалом на гроб своего тестя Лаэрта. Но то, что Пенелопа успевала соткать днем, она распускала ночью. Так продолжалось три года, пока одна из служанок не выдала ее тайны женихам, принудившим ее окончить эту работу ("Одиссея". II, 88).

7 Этот надругался над святыней... - Святотатство и богохульство наказывалось судом Инквизиции с особой жестокостью. Многочисленные свидетельства этого приводятся в книге Х. А. Льоренте, впервые изданной в 1817 г. (см.: Критическая история испанской инквизиции, т. I-II. М., 1936).

8 "Взойду ли на небо... и там...". - Автор вкладывает в уста своего героя слова из псалма 138 (8-10).

9 ...заклейменным Каином. - Каин - убийца своего брата Авеля (Книга Бытия, 4, 8).

10 Пародируя известную итальянскую поговорку... - Очевидно, Метьюрин имеет в виду

следующую итальянскую поговорку: "Мужчинам любой смертный грех простителен, для женщин любой малый проступок - смертный грех" ("Ogli uomini ogni peccato mortale e veniale, alle donne - ogni veniale e mortale"); см.: Henry C. Bohn. A Polyglott of Foreign Proverbs. London, 1884, p. 68.

11 Подобно гробу Магомета, я повис между небом и землей. - Основатель мусульманской религии. Магомет (Мухаммед) умер в Медине (8 июня 632 г.); место его смерти доныне привлекает паломников из различных частей света. Хотя жизнь и смерть мусульманского пророка расцвечены множеством легенд, мусульманское предание о гробе Магомета, "повисшем между небом и землей", сколько знаем, среди них не встречается; очевидно, что эта легенда, если она не является ошибкой Метьюрина, относится к тем легендам, которые пущены были в оборот христианскими противниками магометанства. В повести У. Бекфорда "Ватек. Арабская сказка", написанной по-французски (издание английского текста относится к 1786 г.), которую Метьюрин хорошо знал, дважды упоминается "всеведущий пророк" Мухаммед (Магомет), находящийся на "седьмом небе" и через подвластных ему духов ("гениев") управляющий судьбами правоверных - магометан. См.: Уолпол. Казотт. Бекфорд. Фантастические повести. Л., 1967 (серия "Литературные памятники"), с. 166, 218. Польская легенда о чернокнижнике Твардовском, который после смерти остается висеть в воздухе между небом и землей, как преступивший назначенные человеку границы, имеет аналогии в древнегреческих сказаниях об Иксионе (обреченном вечно кружиться в вихре, привязанным к колесу) или Тантале который за желание испытать всеведение богов "носится в воздухе, имея над головой ежеминутно готовый обрушиться камень, находящийся, очевидно, между небом и землей" (В. Клиндер. Сказочные мотивы истории Геродота. Киев, 1903, с. 188). О могиле Магомета и о различных вариантах подобных легенд (один из них приводит аббат Прево: *Oeuvres choisies de l'Abbe Prevost*, t. 35. Amsterdam, 1784, p. 570-572) см.: A. Chauvin. *Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes, publiés dans l'Europe chrétienne de 1810 à 1885*, vol. XI, Mahomet. Liege, 1909; N. A. Daniel. *Islam and the West. The making of an image*. Edinburgh, 1960, p. 329 ("Vita Mahometi"). Возможно, впрочем, что Метьюрин произвольно истолковал то место 7-й суры "Корана", где идет речь об Альарафе, области между раем и адом; об Аль-арафе говорится в XI главе "Мельмота Скитальца" (см. ниже, прим. 9).

## Глава VIII

1 Когда во храм к плечу плечо... - Данное четверостишие не найдено ни в сочинениях драматурга Джорджа Колмена Старшего (George Colman, 1732-1794), ни в произведениях его сына, также драматурга, Джорджа Колмена Младшего (1762-1836) и, вероятно, является плодом собственного творчества Метьюрина.

2 Сардонический смех. - Латинское выражение "сардонический смех" (*risus* или *ricus sardonicus*) употреблялось в античном мире в глубокой древности; мы находим его уже у Гомера ("Одиссея", XX, 302). Так назывался злобно-насмешливый, язвительный смех. Его вызывала ядовитая трава, от употребления которой люди умирали; при этом лица их искажались судорогами, похожими на смех (см.: И. Е. Тимошенко. Литературные первоисточники и прототипы трехсот русских пословиц и поговорок. Киев, 1897, с. 13-15).

3 Султан в восточной сказке... - Источником приводимого ниже рассказа Метьюрину, очевидно, послужила статья Дж. Аддисона "О препровождении времени", опубликованная в журнале "Зритель" ("The Spectator", 1711. N 94). Рассуждая здесь об относительности понятия времени, Аддисон между прочим ссылается на широко известную на арабском Востоке легенду о так называемой ночной поездке Магомета (Мухаммеда) на седьмое небо. Самому пророку она показалась очень долгой, между тем совершилась она в короткое время, меньшее, чем потребовалось, чтобы вода вылилась из кувшина. Далее Аддисон цитирует повествование из

восточных сказок о некоем египетском султানে, выразившем сомнение в истинности легенды о "ночной поездке" Магомета; чтобы уверить его в этом, один из состоявших при нем мудрецов посоветовал ему опустить свою голову в водоем, находившийся в саду. Едва султан успел сделать это, как увидел себя на берегу моря, у подошвы горы. Оттуда султан добрался до города и долго жил в нем. После многих приключений он разбогател, женился на прекрасной девушке, имел от нее семерых сыновей и столько же дочерей, затем впал в нищету и скитался по улицам, прося подаяния. Однажды, совершая омовение, увидел себя стоящим подле водоема со всеми своими приближенными, на том же месте, где начались его странствования и приключения, пережитые как бы во сне.

4 Смотри "Взгляд..." Мура. - Автор ссылается на известную в его время книгу Джона Мура (1729-1802), издававшего свои путевые очерки по континентальной Европе под заглавием "Взгляд на общество и нравы во Франции, Швейцарии и Германии" (John Moore. A View of Society and Manners in France, Switzerland and Germany in 1779. London, 1781); эта книга Мура, в которой Метьюрин почерпнул заинтересовавшее его свидетельство, была переведена на французский язык (Lettres d'un voyageur anglais. Lausanne, 1782; Voyage de John Moore en France, en Suisse et en Allemagne. Paris, 1809) и пользовалась популярностью.

5 ...где свершается черная месса... - См. выше, прим. 7 к гл. VI.

## Глава IX

1 ...Исав продал свое право первородства... - О Исаве и Иакове см. выше, прим. 6 к главе "Рассказ испанца". В данном случае имеется в виду следующее место библейского текста: "...Иаков сказал [Исаву]: ...продай мне теперь же свое первородство [т. е. права старшего сына]. Исав сказал: вот, я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал [ему]: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, и продал [Исав] первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы; и он ел, и пил, и встал, и пошел; и пренебрег Исав первородство" (Книга Бытия, 25, 31-34).

2 ..."животным, которые погибают"... - Псалом 48, 21.

3 ...жестокостью своей смутила бы даже Фаларида. - Фаларид (VI в. до н. э.) - тиран в Агригенте, где он завладел властью хитростью после изгнания своего с острова Астипалеи (около Родоса). Фаларид был одним из первых тиранов, из-за которых этот титул властителя стал в истории позорным. Фаларида древние историки упрекали в насилиях, "страсти к убийствам и бесчеловечным наказаниям. Всеобщей известностью в древнем мире пользовался рассказ о медном быке, в котором Фаларид приказывал сжигать людей (возможно, что это предание основано на свидетельствах о культе Молоха). Фаларид был убит в Агригенте во время всеобщего восстания, поднятого после его шестнадцатилетнего правления.

4 ...Шарлевуа. История Парагвая. - Книгу французского иезуита Шарлевуа (Charlevoix, Pierre Francois Xavier de, 1682-1761) "История Парагвая" ("Histoire de Paraguay". Paris, 1756, 3 vols.) Метьюрин читал в английском переводе, вышедшем в 1769 г. Шарлевуа родился во Франции, вступил в орден иезуитов в 1698 г., жил некоторое время во французских владениях в Канаде; ему принадлежат книги о миссионерской деятельности иезуитов в Канаде, Японии, Санто-Доминго. "История Парагвая" привлекла к себе внимание Вольтера и явилась источником нескольких глав (гл. XIV-XVI) его философской повести "Кандид", действие которых происходит в Парагвае. И здесь и в своих "полемических статьях Вольтер с негодованием описывает лицемерие иезуитов, создавших в Парагвае теократическое рабовладельческое государство.

5 ...в злобе и ненавизю друг друга... - Автор вкладывает в уста монаха сокращенную цитату из Послания к Титу ап. Павла (3, 3: "Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны... жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга").

6 "Оставь надежду навсегда!" (Lasciate ogni speranza...) - Цитата из "Божественной Комедии" Данте ("Ад", III, 9).

7 ...госпожа Севинье признается... - Маркиза де Севинье (Marquise de Sevigne, Marie de Rabutin-Cliantal, 1626-1696) - автор известных "Писем", первое издание которых вышло в свет после ее смерти в Голландии (La Haye, 1726). "Письма" представляют собой ценный источник для истории нравов светского общества и быта во Франции во второй половине XVII в.; большинство их адресовано дочери Севинье, графине Гриньян.

8 ...от Зенона до Бургерсдиция. - Зенон (IV-III вв. до н. э.) древнегреческий философ, один из основателей школы стоиков. Бургерсдейк (Franco Burgersdyck, 1590-1635), или согласно принятому в его время обычаю латинизировать фамилии Бургерсдициус, - голландский ученый, занимавший кафедру логики в Лейденском университете. По заказу школьного управления голландских штатов Бургерсдициус написал учебник на латинском языке "Основания логики" ("Institutiones Logicarum liber". Leyden, 1626); книга выдержала несколько изданий, была переведена на голландский язык (1646) и еще в XVIII в. считалась одним из образцовых учебных пособий по этому предмету даже в английских университетах.

9 ...величественно шествует по небу. - См. выше, прим. 21 к гл. "Рассказ испанца".

## Глава X

1 ...отреклись от веры. - Приведенные стихотворные строки заимствованы из ранней поэмы В. Скотта (1771-1832) "Мармион" (1808; II, XXIII).

2 ...не девятом валу... - В английском тексте - "десятым" (tenth wave). Периодически набегающая на берег во время прибоя наиболее сильная и высокая волна у некоторых народов считалась девятой (в связи с древним представлением о девяти как священном числе). Однако в Древнем Риме, а затем и в Италии такая волна считалась десятой а не девятой. Это засвидетельствовано, в частности, Овидием, писавшим в своей элегии ("Tristia", I, 2, 49-50):

Вот подымается вал, всех прочих возвышенной, грозно

Перед одиннадцатым он вслед за девятым идет.

(Перевод С. В. Шервинского)

"Десятый вал" (flutto, ondo decumano) встречается также в итальянской литературе (см.: Salvaioire Battaglia. Grande dizionario della lingua italiana. Torino, 1966, t. IV, p. 105). В английской литературе обе традиции смешались: Э. Берк говорит о "победоносной десятой волне", А. Теннисон - о "девятой" (см.: E. Brewer. Dictionary of Phrase and Fable, London, 1894, p. 1214). Для Метьюрина, очевидно, привычным словосочетанием было не "девятый", а "десятый вал". В его романе "Женщины, или За и против" (см. о нем в статье, с. 556-559) мы находим, например, следующие слова: "Когда большие таланты сочетаются с бедствием, их союз производит десятый вал человеческого страдания".

3 ...Гектор наш долгожданный? - Имеется в виду то место "Энеиды" Вергилия (II, 270-286), где приводятся слова Энея:

270 В этот час мне явился во сне опечаленный Гектор.

.....

Горе! Как жалок на вид и как на того не похож был

275 Гектора он, что из битвы пришел в доспехах Ахилла

Или фригийский огонь на суда данайские бросил!

.....

...И привиделось мне, что заплакал я сам и с такою

280 Речью печальной к нему обратился, героя окликнув:

"Светоч Дардании! Ты, о надежда вернейшая тевкров!

Что ты так медлил прийти? От каких берегов ты явился?"

Гектор желанный, зачем, когда столько твоих схоронили  
Блиzkих и столько трудов претерпели и люди и город,  
285 Видим тебя истомленные мы? И что омрачает  
Светлый лик твой, скажи! Почему эти раны я вижу?"

(Перевод С. Ошерова)

(Публий Вергилий Марон. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971, с. 148-149).

4 ...был Панфом... - Панф, или Пант, - один из старшин Трои, неоднократно упоминаемый в "Илиаде". По "Энеиде" Пант (Panthus) - сын Офриса и жрец Аполлона. Речь идет о словах Энея, рассказывающего о гибели Трои:

Тут появляется Панф, ускользнувший от копий ахейских.

Панф Офриад, что жрецом был в храме Феба высоком:

320 Маленький внук на руках, и святыни богов побежденных

В бегстве с собой он влечет, к моему поспешая порогу.

"Где страшнее беда, о Панф? Где найти нам твердыню?"

Только промолвил я так, со стоном он мне ответил:

"День последний пришел, неминуемый срок наступает

325 Царству дарданскому! Был Илион, троянцы и слава

Громкая тевкров была, - но все жестокий Юпитер

Отдал врагам, - у греков в руках пылающий город!"

(Перевод С. Ошерова)

(Публий Вергилий Марон. Буколики. Георгики. Энеида, с. 150).

5 Укалегона дом в огне. - Вергилий. Энеида, II, 311-312 (в том же рассказе Энея о гибели Трои). Укалегон - один из троянских "старцев-советников", упоминаемый в "Илиаде" (III, 148). Уже в "Сатирах" Ювенала (III, 198-199) имя Укалегона стало типическим для обозначения горожанина, пострадавшего от пожара. В этом смысле оно часто встречается в английских стихотворных произведениях, посвященных великому лондонскому пожару 1666 г. (см.: London in Flames, London in Glory, London 1666-1709, ed. by Robert Arnold Aubin. New Brunswick, 1943, p. 53, 322, 323; см. также выше, прим. 79 к гл. III).

6 ...ядовитое дерево Упас... - Одно из ранних известий о дереве Упас (Pohon Upas), сообщенное голландским врачом Ф. Фуршем, появилось в декабрьском номере английского журнала "London Magazine" 1783 г. На языке малайцев Pohon (произносится Рооп) означает "дерево", Upas - "яд". Латинское название дерева - Upas Antiar toxicaria; Antiar - название яванское, от которого произошли наименования западноевропейские - Antschar и русское Анчар (см.: С. Городецкий. Анчар. М., 1894, с. 6-7). Со ссылкой на известие Ф. Фурша Упас, "древо смерти", упомянул Эразм Дарвин в своей описательной поэме "Любовь растений" ("The Love of the Plants", 1789, III, 238240). О том же дереве, "пронизывающем отравой" и "плачущем лишь ядовитыми слезами", говорится также в трагедии С. Колриджа "Озорно" (I, 1, 23-24) 1797 г. Поэт Джеймс Монтгомери (1771-1854) в своей поэме "Океан" ("Ocean", 1805) называет "смертоносный Упас, демона среди деревьев". Отдел об "Упасе, или дереве яда" есть в книге Томаса Стемфорда Раффлза "История Явы" (T. S. Raffles. The History of Java, vol. I. London, 1817, p. 43-49), и в том же 1817 г. о "губящем все вокруг" Упасе Байрон говорит в четвертой песне "Чайльд-Гарольда" (строфа 126), см.: M. Eimer. Byronmiscellen. 2. Der Upasbaum. - Englische Studien, 1912, Bd. 144, N 5, p. 475-476.

7 "Дьявол-проповедник" ("El diablo Predicador"). - Имеется в виду пьеса (1624), которая приписывается перу испанского поэта Луиса де Бельмонте (de Belmonte Bermudez, р. ок. 1587 - ум. ок. 1650), автора ряда поэм и стихотворных комедий, из которых некоторые были написаны им в сотрудничестве с Кальдероном, Морето и др. Действие этой пьесы, полной тонкого

комизма, происходит в Италии в г. Лукке, где живет бедная община францисканцев. Дьявол добился такого торжества над своими врагами-монахами, что возбудил к ним всеобщую ненависть, и общине грозит опасность изгнания из города. Но торжество дьявола непродолжительно: сошедший с неба ангел заставляет его вновь обратить сердца горожан Лукки к францисканцам, восстановить почти разрушенный ими монастырь; более того, ангел заставляет дьявола надеть ненавистную ему монашескую рясу, молиться, проповедовать, творить чудеса и т. д. В последней сцене дьявол вынужден признаться, кто он такой, что его ждет адское пламя, и проваливается в преисподнюю. Пьеса долго держалась на папистских сценах в качестве произведения нравоучительного и благоприятного интересам ордена францисканцев. Лишь в конце XVIII в. она была запрещена к представлениям.

8 ... "плотская, чувственная, бесовская"... - Неточная цитата из Соборного послания апостола Иакова (3, 15).

9 ...наполовину из "ave" и "credo"... - Рассказчик имеет в виду молитву "Ave Maria" и первое слово "Верую".

10 ...он пал духом и не нагнал убийцу. - Речь идет о древнегреческом сказании о волшебнице Медее, дочери Эета, и ее возлюбленном Ясоне, достигшем Колхиды с аргонавтами в поисках золотого руна. Когда им удается похитить его и уплыть обратно. Эет посылает за ними погоню; Медее, взявшая с собой еще малолетнего брата Абсирта, убивает его, разрубает его тело и по кускам бросает в море, чтобы уйти от погони, пока он собирает останки сына.

#### Глава XI

1 О, пощадите... Вы предали ее... - Первый эпитафия взят из исторической хроники Шекспира "Генрих VI", ч. I (III, 3, 11), второй - из его же пьесы "Комедия ошибок" (V, 1, 90; эта цитата неточно воспроизводит шекспировский текст).

3 ...ее никогда бы не свергли с престола. - Генриетта Мария (1609-1669), с 1625 г. жена английского короля Карла I, казненного в 1649 г., была младшей дочерью французского короля Генриха IV и потому ее называли в Англии Генриеттой Французской. Во время гражданской войны в Англии она дважды возвращалась во Францию, в 1642 и 1644 гг., затем снова вернулась в Англию после Реставрации, но пять лет спустя (1665), во время эпидемии чумы в Лондоне, покинула эту страну навсегда.

3 ...о "каретях со стеклами". - В тексте речь идет, собственно, не о каретах вообще, а именно о "каретях со стеклами" (glass-coach), о которых Метьюрин уже упомянул выше (см. прим. 16 к гл. III); подобные кареты действительно появились в Лондоне в 1667 г. Об очерках Батлера см. выше, прим. 24 к гл. I.

4 ...монарх, изображавший собою бога солнца... - Французский король Людовик XIV от придворных льстецов получил прозвание Король-Солнце. Вольтер в своей книге "Век Людовика XIV" (1752, гл. XXV) утверждает, что мысль предложить в качестве эмблемы короля "солнце, льющее лучи на земной шар, с девизом: "Я один стою многих"" ("Nee pluribus impar"), пришла в голову некоему антикварию по имени Дуврие. "Это было в некотором роде подражанием испанской эмблеме, представленной Филиппу II", - сообщает Вольтер и пишет далее, что во Франции "этот девиз имел чрезвычайный успех. Герб короля, мебель, гобелены, скульптуры были им украшены". Вольтер вспоминает также о стихах поэта Исаака де Бенсерада для короля, изображавшего восходящее солнце в балете "Ночь", впервые представленном в театре "маленького Бурбона" ("du petit Bourbon") 23 февраля 1653 г. (ср.: A. Dumas. Louis XIV et son siecle, t. IV. Bruxelles. 1845, p. 22).

5 ...смерти герцогини Орлеанской... - Генриетта Английская (1644-1670), дочь английского короля Карла I и Генриетты Марии Французской, родилась в Англии в разгар гражданской войны и в младенчестве была увезена матерью во Францию, где и получила свое воспитание.

Вскоре после реставрации Стюартов во Франции (1661), когда ее родной брат был возведен на английский престол под именем Карла II, он задумал, в целях сближения с французской королевской семьей, выдать свою сестру замуж за младшего брата Людовика XIV, герцога Филиппа Орлеанского. Эта свадьба действительно состоялась в 1661 г.; брак этот, однако, не был счастливым. Герцог не скрывал равнодушия к своей молодой жене, которая платила ему тем же. В 1670 г. Людовик XIV направил герцогиню Орлеанскую в Лондон с тонкой дипломатической миссией: противодействовать намечавшемуся англо-голландскому сближению. Вскоре после возвращения во Францию она внезапно умерла. Эта неожиданная смерть породила упорно распространявшиеся слухи, что она была отравлена. Получившая широкую известность речь произнесена была на похоронах Генриетты знаменитым французским проповедником Боссюэ (Jacques-Benigne Bossuet, 1627-1704), а не иезуитом Луи Бурдалу, которому ее приписывает Метьюрин.

6 ...всеми осужденной гордости жены Иакова II... - Речь идет о Марии Моденской (1658-1718), дочери герцога Моденского Альфонсо, вышедшей замуж в 1673 г. за английского короля Иакова II; в Англии она была очень непопулярна как ревностная католичка. Упоминаемый ниже отец ее, герцог Моденский, был по происхождению французским дворянином и до получения титула герцога именовался графом Мормуароном (Esprit de Raymond de Mormoiron, Comte, 1608-1672).

7 ...кардинал Ришелье... - Армян Жан дю Плесси Ришелье (1585-1642) кардинал (с 1622 г.), герцог-пэр (с 1631 г.). С 1624 г. Ришелье был первым министром французского короля Людовика XIII и фактическим правителем Франции. Анекдот об услужливости и находчивости Ришелье, приведенный в тексте, по словам самого Метьюрина, взят им ("если я не ошибаюсь") из "Еврейского шпиона". Однако Метьюрин заблуждался. В действительности он взял этот анекдот из другой книги, озаглавленной (приводим в сокращении) "Письма Турецкого шпиона, жившего сорок пять лет в Париже: в которых дается отчет ...о наиболее примечательных событиях... в Европе... между 1637 и 1682 гг." ("Letters, writ by a Turkish Spy, who Kv'd five and forthy years... at Paris giving an Account... of the most remarkable transactions of Europe... from 1637 to 1682"). Это 8-томное издание, переведенное с французского У. Бредшоу (W. Bradshaw), впервые вышло в Лондоне в 1687-1693 гг. и затем много раз переиздавалось: двадцать второе издание указанного перевода появилось в 1734 г., двадцать шестое - в 1770 г. Автором этой знаменитой книги, положившей начало новому жанру - сатирических псевдописем воображаемого иностранца, живущего за границей, и вызвавшей много подражаний (среди последних находятся "Персидские письма" Монтескье и "Гражданин мира" О. Голдсмита), был Джованни Паоло Марана, генуэзец, живший в Париже. Написанный им "Турецкий шпион" впервые появился в Париже в 1684 г. В книге помещены фиктивные письма воображаемого турецкого шпиона по имени Махмуд, посланного Оттоманской Портой для получения сведений о европейских государствах, придворных нравах и т. д. Цитированный Метьюрином анекдот находится в III томе "Турецкого шпиона" (письмо Э 3).

8 ...все инквизиторы мира - от Мадрида до Гоа. - Гоа - укрепленный приморский город на западном побережье Индии, на острове перед устьем реки Манданы. С 1510 г Гоа и примыкающая к нему территория являлись центром португальских владений на Дальнем Востоке. После того как в 1542 г. в Гоа высадился с корабля иезуит Франциск Ксавье (см. о нем выше, прим. 20 к гл. "Рассказ испанца"), этот город надолго сделался центром всего римско-католического населения Индии; среди духовных властей в Гоа жил также инквизитор. С 1807 по 1815 г. Гоа находился в руках английской администрации, после чего снова был предоставлен португальцам. С декабря 1961 г. Гоа стал частью Индийского государства в качестве его союзной территории.



9 ...по разделяющему две пропасти Аль-арафу... - Очевидно, имеется в виду упоминаемая в 7-й суре "Корана" область ("преграда") между раем и адом - Al-araf, нечто вроде "чистилища", см.: Коран. Перевод и комментарии И. Ю. Крачковского. М., 1963, с. 125-126, где указана и литература вопроса.

10 ...ни одной из жертв аутодафе... - Аутодафе (португальск. auto da fe - "дело веры"; ныне употребляется в смысле "сожжение") - название церковной церемонии, торжественно совершавшейся инквизиционным трибуналом. Начиналась эта церемония в церкви, где секретарь инквизиционного суда оглашал протокол судебного дела и обвинительный приговор осужденным в их присутствии. Приговоры были двух родов: 1) для "примиренных" с церковью назначались различные наказания - епитимий, штрафы, заключения в тюрьмах и монастырях; 2) для "нераскаянных" - передача осужденных в руки светских властей для торжественного публичного сожжения; последние также разделялись на несколько видов (см. о них в кн.: Хуан Антонио Льоренте. Критическая история испанской инквизиции, т. I, с. 23-24).

11 ...санбенито... - Так называлась наплечная повязка или нарамник вроде мешка из желтой шерстяной ткани с рыжим андреевским крестом и различными издевательскими изображениями. Санбенито надевалось на осужденного грешника и имело несколько видов. Санбенито первого вида предназначалось для обвиняемых еретиков, которые покаялись до суда. Из той же желтой ткани для всех видов санбенито делался круглый пирамидальный колпак, называвшийся "короса" (cogorza). Второй вид санбенито предназначался для еретиков, которые покаялись после своего осуждения и приговора о передаче светским властям для публичного сожжения. Нижняя часть санбенито была разрисована огненными языками, пламя которых было обращено вниз (fuego revolto): эти изображения должны были удостоверить, что человек сжигался на костре не живым, но лишь после удушения палачом Инквизиции. Наконец, еще один вид санбенито (самарра), самый зловещий, предназначался для упорствующих и нераскаявшихся грешников. Желтое одеяние было разрисовано огненными языками, подымавшимися вверх и свидетельствовавшими, что он будет сожжен живым; тут же нарисованы были карикатурные фигуры чертей, чтобы показать, что они окончательно и безнадежно овладели душой осужденного. Очень возможно, что о всех разновидностях санбенито (всего известно их шесть видов) Метьюрин знал из упомянутой уже книги Х. А. Льоренте "Критическая история испанской инквизиции" (1817), к первому тому которой были приложены картинки, изображающие санбенито с fuego revolto и "самарру". См. эти картинки в русском переводе книги Льоренте (т. I, между с. 176 и 177), а также пояснения к ним на с. 31, 227-229, 675.

12 ...Елизавета Французская... - Елизавета Валуа (1545-1568) - дочь короля французского Генриха II и Екатерины Медичи, третья жена Филиппа II Испанского (с 1559 г.). В Испании ее охотнее называли Изабеллой.

13 ...пелись литании. - В католической литургии так назывались молитвы с призывами и обращениями к христианским святым.

14 ...римлянин Аппий Клавдий, благословлявший свою слепоту... - Речь идет об Аппии Клавдии (Appius Claudius Caecus, ок. 307-280 г. до н. э.), консуле, победителе самнитян и этрусков. В глубокой старости он ослеп (отсюда и прозвание его Caecus - "Слепой"). Когда посол Пирра, Кинеас, старался склонить римский сенат к миру, Аппий Клавдий произнес пламенную речь, ставшую знаменитой, против заключения мира, вследствие чего посол получил отказ.

15 ...Великому инквизитору Испании, который уверял Филиппа... Метьюрин рассказывает историю единственного сына Филиппа II от его первой жены, Марии Португальской, - дона Карлоса (род. в 1545 г.), принца Астурийского и наследника испанского престола. Дон Карлос

умер двадцати трех лет (1568) после ареста и заключения в течение нескольких месяцев во внутренних апартаментах королевского дворца. В Испании и за ее пределами о загадочной смерти принца ходили самые противоречивые слухи. Характерно, что Метьюрин, ярый ненавистник католицизма, придерживается одной из самых распространенных версий (мы находим ее в книге французского историка Сезара Ришара, аббата Сен-Реаля (1639-1692) "Дон Карлос. Историческая повесть" (Париж, 1673), ставшей впоследствии главным источником драмы Ф. Шиллера "Дон Карлос", по которой смертный приговор дону Карлосу был внушен Филиппу II Инквизицией. Новейшая историография отвергла легенду о роли Инквизиции в таинственной смерти дон Карлоса (см.: Рафаэль Альтамира-и-Кревеа. История Испании, т. II. М., 1951, с. 83-84). Х. А. Льоренте (Критическая история испанской инквизиции, т. II, с. 8687) ссылается на легендарные, по его мнению, беседы о доне Карлосе между Филиппом II и Великим инквизитом, которым в 1568 г. был тогдашний фаворит короля кардинал Диего Эспиноса, являвшийся в то же время председателем Государственного совета Испании, "что и породило молву об участии Инквизиции в деле принца"; однако, по мнению Льоренте, дон Карлос погиб из-за словесного приговора, одобренного Филиппом II, его отцом, но Святой трибунал не принимал в этом участия.

16 ...просим, чтобы он поступил с тобой не слишком сурово. - Тридцать первая статья инквизиционного судебного кодекса предписывала следующую формулу осуждения еретика: "Мы должны отпустить и отпускаем такого-то и отдаем его в руки светского правосудия, такому-то, коррегидору сего города, или тому, кто исполняет его обязанности при названном трибунале, коих мы сердечно просим и молим милосердно обращаться с обвиняемым" (В. Парнах. Испанские и португальские поэты - жертвы инквизиции, с. 19). Было хорошо известно, что эта формула предписывала последующий приговор к сожжению на костре.

17 ...был достоин кисти Сальватора Розы или Мурильо. - Сальватор Роза (Salvator Rosa, 1615-1673) - неаполитанский живописец, произведения которого пользовались большой известностью в Англии в XVIII в. Мурильо (Bartolome Esteban Murillo, 1617-1682) - великий испанский художник. Метьюрин очень ценил их. В гл. XXVIII он замечает, что описанная им сцена как бы предназначена для кисти именно обоим названным живописцам, а в гл. "Рассказ испанца" вспоминает о группе людей, достойных изображения Мурильо (см. прим. 17 к гл. "Рассказ испанца" и прим. 3 к гл. XXVIII).

18 Страсть покойного испанского короля к охоте была хорошо известна. Речь идет об испанском короле Карле IV (1748-1819), который был низложен Наполеоном в 1808 г. во время франко-испанской войны. Карл IV умер в тот самый год, когда Метьюрин усиленно работал над "Мельмотом Скитальцем"; писатель был, несомненно, хорошо знаком с биографией этого неспособного правителя, так как о нем много писали в английских газетах того времени. Вступив на престол взрослым человеком, он был совершенно не подготовлен к государственной деятельности, зато действительно большую часть своего времени посвящал охоте. Русский посол в Испании С. С. Зиновьев, занимавший этот пост в течение почти двадцати лет (1778-1794), в одном из своих донесений давал следующую характеристику Карлу IV: "Из принца Астурийского, который при отце наполнял свое бесцельное существование охотой да забавами, выработался высокий, дородный мужчина, силач, ловкий охотник, хороший кучер - и только. Все остальное сосредоточивалось для него в жене, которую он так почитал, что даже вполне подчинялся ее любовнику" (см.: А. Трачевский. Испания XIX в. М., 1872, с. 23).

## КНИГА ТРЕТЬЯ

### Глава XII

1 Я поклялся только на языке... - Первый эпитафия взят из трактата Цицерона "Об обязанностях" (III, XXIX, 108). Разбирая в этом сочинении вопрос о клятвах, Цицерон приводит

здесь в своем латинском переводе с греческого стих из трагедии Еврипида "Ипполит" (612): "Уста клялись; ум клятвою не связан". Утверждение Цицерона, что "есть много случаев, к которым можно приложить эти остроумные слова Еврипида", пользовалось известностью в Европе в XVI-XVII вв. и удостоилось критического разбора философов и юристов, в особенности после того, как формула Еврипида-Цицерона была обновлена в анонимном трактате, якобы являвшемся моральным кодексом иезуитов: "Тайные наставления" ("Monita secreta"; впервые опубликован в 1614 г.). Одно из правил поведения, рекомендуемое в этом сочинении и называемое "об удержании в уме" (*reservatio mentalis*), состоит в том, что человек может говорить одно, а думать про себя другое, говорить ложь и скрывать правду, если говорить ее невыгодно. Иезуиты энергично отрицали свою причастность к составлению "Тайных наставлений".

2 Кто первый свел тебя с дьяволом? - Второй эпитафия заимствован из пьесы драматурга Джеймса Шерли (James Shirley, 1596-1666) "Святой Патрик Ирландский" ("St. Patrick for Ireland", 1640), представляющей собой драматизацию жития св. Патрика (V в.) - покровителя Ирландии; эта пьеса была написана Шерли в то время, когда он жил в Дублине (1639-1640).

3 ...размеченной самаритянскими точками). - Речь идет, вероятно, о так называемых масоретских примечаниях в текстах Библии, т. е. о целой системе критических и стилистических пояснений, отмечавшихся на листах рукописей, в частности различными графическими способами - точками, вертикальными и горизонтальными чертами (см. статью "Масора" в "Еврейской энциклопедии", изд. Брокгауз - Ефрон, СПб., т. 10, [б. г.], с. 686-693), Стоит отметить, что, называя Адонией (Adoniah) человека, приютившего у себя в подземелье Монсаду, бежавшего из тюрьмы Инквизиции, автор "Мельмота" не случайно дал ему это. имя; Метьюрин, по-видимому, знал, что сведение всего материала "Масоры" принадлежит ученому-гебраисту Иакову бен Хаиму Ибн-Адонии, который сличил огромное количество манускриптов и результаты своих трудов привел в изданиях Библии, вышедших в свет в 1524 и 1525 гг. в Венеции.

4 Смотри цитату из Буксторфа в книге д-ра Меджи... - Метьюрин имеет в виду книгу В. Меджи (William Magee, 1766-1831), бывшего профессором математики в Дублинском Тринити колледже (см. выше, прим. 2 к гл. I), а затем ставшего архиепископом в Дублине (Метьюрин именует его Bishop of Raphoe), в 1801 г. Меджи опубликовал в Дублине книгу "Рассуждения о библейских доктринах об искуплении и жертве" ("Discourses of the Scriptural Doctrines of Atonement and Sacrifice"), которую Метьюрин и имеет в виду. В этой книге приводится цитата из книги Иоганна Буксторфа (Johann Vuxtorf, 1564-1629), известного швейцарского гебраиста, в течение трех десятилетий занимавшего в Базеле кафедру древнееврейского языка, знатока библейских текстов и раввинских книг. По-видимому, речь идет о знаменитом толковом словаре Буксторфа "Lexicon chaldaicum, talmudicum et rabbinicum" (1607) или об его четырехтомном труде "Bibliotheca hebraica rabbinica" (1618-1619). Однако цитата взята Метьюрином не непосредственно из сочинения Буксторфа, а у ссылающегося на него Камберленда, под которым следует, вероятно, разуметь Ричарда Камберленда (Cumberland, R., 1732-1811), писателя и драматурга. "Наблюдатель" ("The Observer") - воскресный газетный листок, основанный им в Лондоне в 1792 г. Камберленд, однако, ошибался, утверждая, что обряд, описанный у Буксторфа, приурочен к пасхе. На самом деле речь идет об обряде, который совершается у евреев накануне дня покаяния (Иом-Киппур). В этот день еврей-мужчины берут в руки петуха и произносят особую молитву-заклинание; при этом петуха держат поднятыми вверх руками, трижды обводят его вокруг головы, трижды повторяют заклятие и затем приносят его в жертву. Петуху в ритуалах клятв и обрядности многих народов древности приписывалось свойство отвращать от человека беду (см.: В. Клиггер, Животное в античном и современном суеверии. Киев, 1911, с. 312-330).

5 ...даже христианский апостол говорит... - Цитата заимствована (но воспроизведена неточно, вероятно, по памяти) из Послания к римлянам апостола Павла (9, 4), где он упоминает своих "братьев по плоти", "то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования".

6 ...хоругвь святого Доминика с устрашающей надписью на ней... - В процессии, направляющейся к месту публичного сожжения, перед началом аутодафе принимала участие группа монахов доминиканского ордена; они несли хоругвь Инквизиции; на ней был изображен святой Доминик, держащий в одной руке меч, в другой - оливковую ветвь; это изображение было окружено надписью, гласившей: "Справедливость и Милосердие" ("Justifia et Misericordia").

7 Сим победиши. - По церковному преданию, сохраненному в "Жизни Константина" (I, 28) Евсевия Памфила (ок. 260-340 г. н. э.), слова эти были сказаны императором Константином Великим по поводу якобы явившегося на небе знамения - светящегося креста накануне решающей битвы его с Максентием и победоносного вступления в Рим в 312 г. Слова "сим победиши" впоследствии вышиты были на знамени императора Константина.

8 ...от Мадрида до Монсеррата... - Монсеррат - гора в Испании, в 9 км. от Барселоны, на которой в 880 г. был построен знаменитый монастырь, с давних пор лежащий в развалинах.

9 ...когда был убит несчастный д-р Гамильтон. - Речь идет о Вильяме Гамильтоне (W. Hamilton, 1755-1797), естествоиспытателе и археологе, убитом грабителями в Шароне (графство Донегал).

10 ...подобно тому, как Регула, вырезав ему веки, заставляли глядеть на солнце... - Имеется в виду Атилий Регул (M. Atilius Regulus), бывший римским консулом в 267 и 256 г. до н. э. Во второе свое консульство он получил приказание перенести войну с Африкой в Карфаген и одержал победу; по преданию, он ездил в Рим, где уговаривал сенат не принимать условий карфагенян, за что по возвращении был ими подвергнут истязаниям и казнен.

11 ...вспыхнуло восстание Эммета... - Роберт Эммет (R. Emmet, 1778-1803) - член революционного общества "Объединенные ирландцы", являвшийся одним из организаторов восстания в Дублине в июле 1803 г. против английского владычества. Восстание это вскоре было подавлено, а Эммет казнен (20 сентября 1803 г.).

12 ...лорда Килуордена... зверски убили. - Артур Вольф, виконт Килуорден (Arthur Wolfe, viscount Kilwarden, 1739-1803), с 1787 г. занимал ряд высших должностей английской администрации в Ирландии. Он был высшим членом министерства юстиции, защищавшим интересы Великобритании в ирландских судебных процессах (Solicitor General), и генеральным прокурором, а с 1796 г. - верховным судьей Ирландии. Был убит восставшими ирландцами 23 июля 1803 г.

13 ...что за люди эти христиане! - Слова Шейлока, обращенные к Антонио, в пьесе Шекспира "Венецианский купец" (I, 3, 161).

14 ...сыны Велиала... - В библейских текстах имя Велиала является синонимом нечестивца и негодного человека; в "Псалтыри" (40, 9) он упомянут как виновник несчастия, бедствия и всякого зла; см.: П. Солярский. Опыт библейского словаря собственных имен, т. I, с. 310.

15 ...кто стучал ночью в дом в Гиве... - Имеется в виду следующий рассказ в Книге Судей (20, 3-5): "...И сказали сыны Израилевы: скажите, как происходило это зло? Левит... сказал: я с наложницею моею пришел ночевать в Гиву Вениаминову; и восстали на меня жители Гивы и окружили из-за меня дом ночью; меня намеревались убить, и наложницу мою замучили, [надругавшись над нею] так, что она умерла".

16 ...одного из вениамитян. - Вениамин - младший сын патриарха Иакова от Рахили. В Библии упоминается и потомство его (вениамитяне) - все колено Вениаминово, со всеми его племенами. По смерти Иисуса Навина, во дни безначалия, среди вениамитян началось страшное

беззаконие, за что они едва не были вовсе истреблены прочими коленами (Книга Судей, 19-21; ср.: П. Солярский. Опыт библейского словаря собственных имен, т. I, с. 313-315).

17 ...черная кровь Гранады... - Гранада - последний оплот мавров на Пиренейском полуострове - пала под натиском испанцев в царствование Фердинанда и Изабеллы в 1492 г. Падение Гранады, однако, упомянуто здесь и по другой причине: оно доставило Инквизиции одновременно множество новых жертв, - кроме морисков (т. е. мавров, для своего спасения принявших христианскую веру вместо магометанской), также евреев. О последних Х. А. Льоренте (Критическая история испанской инквизиции, т. I, с. 189) свидетельствует: "Испанские евреи знали об угрожающей им опасности. Будучи Убеждены, что для отвращения ее достаточно предложить Фердинанду деньги, они обязались доставить тридцать тысяч дукатов на издержки по войне с Гранадой, которая как раз в это время была предпринята Испанией; кроме того, евреи обязались не давать никакого повода к тревоге правительства и сообразоваться с предписаниями закона о них, жить в отдельных от христиан кварталах, возвращаться до ночи в свои дома и воздерживаться от некоторых профессий, предоставленных только христианам. Фердинанд и Изабелла готовы были отнестись благожелательно к этим предложениям, но случилось так, что об этом узнал Торквемада [Великий инквизитор]. Этот фанатик имел дерзость явиться с распятием в руке к государям и сказать им: "Иуда первый продал своего господина за тридцать сребреников; ваши величества думают продать его вторично за тридцать тысяч монет. Вот он, возьмите распятие и поторопитесь его продать". Фанатизм доминиканца произвел внезапный поворот в душе Фердинанда и Изабеллы. 31 марта 1492 г. они издали декрет, которым все евреи мужского и женского пола обязывались покинуть Испанию до 31 июля того же года под угрозой смерти и потери имущества. Декрет запрещал христианам укрывать кого-либо в своих домах после этого срока под угрозой тех же наказаний. Евреям было разрешено продавать свои земельные угодья, брать с собой все движимое имущество и другие вещи, кроме золота и серебра". По подсчетам историков Испании страну покинуло вследствие этого закона до 800 тысяч евреев, а так называемые новохристиане, т. е. принявшие христианство, долгое время находились под постоянным подозрением в неискренности исповедания.

### Глава XIII

1 ...обретался дух... принявший облик человека. - Приведенное двустипшие заимствовано из поэмы Роберта Саути "Талаба-разрушитель" (IX, 36, 1-2), уже упоминавшейся выше (см. прим. 23 к гл. I).

2 ...гробницу Хеопса... - Самая большая пирамида в Гизе, в которой находится гробница третьего фараона IV египетской династии, Хеопса (египетск. Хнум-Хуфу).

3 ...модель дыбы... - Дыба - орудие пытки, применявшееся Инквизицией при допросах.

### Глава XIV

1 Чего же бояться гнева богов... - В сочинениях Сенеки указанная цитата не обнаружена.

2 ...отвратить гнев свой от Иакова и освободить Сион от плена. Патриарх Иаков, согласно Библии, - родоначальник иудейского народа. Сион гора на юго-западе Иерусалима, на которой был построен этот город, при царе Давиде ставший столицей Иудеи. В более широком смысле Сион - не только город и государство, но и народ Иудеи, и. царство божие: в таком смысле это слово употребляется в библейских книгах.

3 ...серебряная струна все же не ослабла, и золотой бокал не разбит... - Парафраза из Екклезиаста (12, 3).

4 ...узрят землю отдаленную. - Книга пророка Исаяи (33, 17).

5 ...сыны Доминика. - Монахи ордена доминиканцев.

6 ...бог Иакова... - См. выше, прим. 2.

7 ...заметках Д-ра Кока по поводу Книги Исхода... - Имеется в виду книга д-ра Кока (Thomas Coke, 1784-1814) "Комментарий к св. Библии" ("Commentary on the Holy Bible", 1801).

Повесть об индийских островитянах

1 ...неподалеку от устья реки Хугли... - Хугли (Hoogli или Hugli) один из наиболее крупных рукавов в устье реки Ганг, впадающий в Бенгальский залив Индийского океана.

2 ...первый храм черной богини Шивы... именно там... - Об этой "червой богине" (в оригинале "black goddess Seeva") Метьюрин несколько раз говорит в повествовании об индийских островитянах, хотя это определение основано на недоразумении. Сведения об индуистской мифологии были почерпнуты Метьюрином из книги "Индийские древности" Мориса, на которую он сам ссылается в примечании к данной странице (см. ниже, прим. 3), а также из авторских пояснений Р. Саути к его поэме "Проклятие Кехамы" ("The Curse of Kehama", 1810), в частности из приложенного к ней "Краткого объяснения мифологических имен". Однако в данном случае эти источники цитированы им неверно: как пол названного им божества, так и написание его имени у Метьюрина ошибочны; речь, несомненно, должна идти здесь об одном из верховных божеств (а не богине) индуистов - Шиве. Источником этой ошибки явилась, очевидно, гравированная картинка, приложенная к VI тому "Индийских древностей" Мориса, с подписью: "Древняя скульптура из пещер Элефанты". На картинке изображено некое божество, олицетворяющее злое начало и являющееся символом кровавого культа ("representing the Evil Principle and the Symbols of that sanguinary Worship"). У этого божества по три руки с каждой стороны; в одной руке меч, с другой - принесенный в жертву младенец (с отрубленными конечностями), сосуд, в который собирается кровь, змея, колокольчик. Вокруг тела божества цепочка из черепов. Именно эта картинка и ввела в заблуждение Метьюрина, превратившего Шиву, одного из богов индуистского триединства (Брама, Вишну, Шива), в богиню; "черной" же она названа, по-видимому, по аналогии с Кришну, о котором Морис говорит, что "это санскритское имя означает "черный"". На другой картинке того же VI тома "Индийских древностей" изображен вещественный символ триединства Шивы в виде трезубца, венчающего храмы, "впоследствии присвоенного греками для Нептуна". В объяснениях к "Проклятию Кехамы" Саути отмечает, что в его поэме Шива (Seeva) представлен как верховный бог (supreme among the Gods) и что в источниках, которыми он пользовался, это имя транскрибируется на всевозможные лады: "Seeva, Seeb, Sieven, Chiva - у французов, Xiva - у португальцев".

3 Смотри "Индийские древности" Мориса. - Имеется в виду большой труд английского историка и поэта Томаса Мориса (Maurice, Thomas 1754-1824). К созданию этого труда Морис приступил в 80-х годах, а окончил после назначения своего библиотекарем Британского музея (1799); в ближайшие за этим годы этот труд вышел в свет в 7 томах под общим заглавием "Индийские древности" ("Indian Antiquities". London, 1800 - 1806); из длинного подзаголовка явствует, что этот труд посвящен религии, праву, государственным учреждениям и литературам Индии в сопоставлении с соответствующими областями культуры Персии, Египта и Греции.

4 ...поклонение Джаггернауту. - Джаггернаут (Jaggernaut, Juggennath) европейское искажение имени верховного индуистского божества, "мировладыки" Джаганнатха (Jagan-natha), одного из воплощений Вишну. Самое прославленное место поклонения Джаггернауту - около города Пури в Ориссе, где находится посвященный ему храм, а на "поле Джаггернаута" еще около пятидесяти храмов, между которыми происходят торжественные процессии; на колеснице везут огромное изображение Джаггернаута; эти праздники привлекают к себе многие тысячи богомольцев и происходят несколько раз в году.

5 ...воплощением самого Вишну.. - По словам Мориса (vol. V, p. 73) и Р. Саути, Вишну (Veeshnu) - один из главных богов индуистской "триады" (Брама - создатель, Вишну - охранитель, Шива - разрушитель).

6 ...кровавых обрядов Шивы и Хари... - Хари (Нагее), по словам Мориса, - "одно из имен Вишну" (vol. V, p. 117 - 118), т. е., по-видимому, имя Хари (как и имя Шивы) принадлежало сначала другому, более древнему божеству, которое впоследствии было отождествлено с Вишну. Морис указывает также, что скульптурное изображение Хари находится в священных пещерах Сальсетты и Элефанты (см. ниже, прим. 17); это фигура "гигантской величины, лежащая на свернувшейся кольцом змее. Головы змеи многочисленны; скульптор придумал накрыть спящего бога своего рода балдахин; из каждого змеиного рта высовывается раздвоенный язык, как бы надменно грозящий смертью всякому, кто решится потревожить бога".

7 ...давали обеты Камдео и посылали... бумажные кораблики... - Называя "Камдео" (Camdeo, Kama-deva?) в примечании Купидоном индийской мифологии, Метьюрин основывается на свидетельстве Мориса (vol. II, p. 93), который, однако, утверждает, что "в образе Кама (Kama) индусы имеют своего Купидона бога любви, с его луком и цветущими стрелами"; ниже Метьюрин, говоря о Кришну - "индийском Аполлоне", также заимствует это отождествление из труда Мориса (vol. V, p. 159), в свою очередь ссылающегося на "Индийские праздники" Холлуэлла.

8 ...пока... они не сойдут с ума... - Все перечисленные здесь самоистязания почитателей Шивы и Хари описаны у Мориса (vol. V, p. 314-317); частично они изображены также на последней гравированной картинке, приложенной к V тому "Индийских древностей": "Индусы в различных позах при жертвенных самоистязаниях под кронами могучих индийских баньяновых деревьев" ("Hindoos of various attitudes of Penance under the great Banian tree of India").

9 ...храмов священного города Бенареса... - Бенарес - главный город Бенгалии (Индия); с давних пор является средоточием религиозной жизни Индии и имеет множество индуистских храмов.

10 ...превосходство свое над царем Соломоном... - Автор намекает на известные слова о полевых лилиях в Евангелии от Матфея (6, 28-29): "Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них".

11 ...звуков и сладостных напевов... - Скрытая цитата из драмы Шекспира "Буря" (III, 2, 147-148). Эта цитата может служить свидетельством того, что, описывая свой воображаемый остров в Бенгальском заливе, Метьюрин вдохновлялся представлениями о волшебном острове Просперо, которые внушила ему указанная драма Шекспира. Калибан в "Буре" говорит об этом острове слова, которые, вероятно, были в памяти Метьюрина:

Ты не пугайся: остров полон звуков,  
И шелеста, и шепота, и пенья;  
Они приятны, нет от них вреда.  
Бывает, словно сотни инструментов  
Звенят в моих ушах; а то бывает,  
Что голоса я слышу, пробуждаясь,  
И засыпаю вновь под это пенье.  
И золотые облака мне снятся,  
И льется дождь сокровищ на меня...  
И плачу я о том, что я проснулся.

(Перевод М. Донского)

(У. Шекспир. Полн. собр. соч., т. 8. М., 1960, с. 180).

12 ...как будто он пария... - Пария - лицо из низшей касты индийцев ("неприкасаемых"), лишенных социальных и религиозных прав (в переносном смысле - отверженный, бесправный человек).

13 ...самого Браммы... - Брама - один из верховных богов индуистской "триады". См. выше,

прим. 2.

14 ...глаза ее блестят... сквозь сетку пурдаха у набоба... - Метьюрин приводит местное название вышитой занавески (purdah), а утвердившееся впоследствии в европейских языках название "набоб" (Nabob) приводит в форме Nawaub, близкой к арабскому nuvvab; это титул крупных мусульманских аристократов в Индии.

15 ...выше черной пагоды Джаггернаута... - См. выше, прим. 4.

16 ...затмевает трезубец храма Махадевы... - Махадева - одно из воплощений Шивы. К VI тому "Индийских древностей" Мориса приложена гравированная картинка, изображающая "древнейшие пагоды Деогура", на которой изображены три пагоды с пирамидальными крышами, увенчанными трезубцами. По объяснению Мориса, трезубцы служат символами триединства Шивы и впоследствии "были присвоены греками для Нептуна",

17 ...храм этот напоминал тот, что на острове Элефанте. - Элефанта остров в Бомбейском заливе Индийского океана, в 9 километрах от города Бомбея; индусы называют его Гарипур (Gharipur), португальцы же дали ему имя Элефанта, так как они увидели неподалеку от места первой своей высадки на этом острове огромную каменную скульптуру слона. Знаменитыми стали пещеры или, вернее, подземные храмы, в которых находится множество скульптур и барельефов, являющихся предметами религиозного поклонения индуистов; эти древние скульптуры относятся к V или VI вв. до н. э.; описание их дает в своей книге Морис.

#### Глава XV

1 Джозеф Стратт (Joseph Strutt, 1749-1802) - английский литератор, историк, художник-гравер, собиратель древностей, автор ряда исторических трудов, главным образом по бытовой истории Англии; среди них были особенно известны: "Одежды и обычаи английского народа" ("Dresses and Habits of the English People", 1796-1799), "Физические упражнения и игры английского народа" ("Sports and Pastimes of the People of England", 1801). Среди рукописей Стратта, оставшихся после его смерти, найден был неоконченный роман, озаглавленный "Куинху-холл" ("Queenhoo-Hall"); он был окончен Вальтером Скоттом и издан им в 1808 г.; из этой книги Метьюрин и заимствовал цитату для эпитафии к данной главе.

2 ...могучих баньяновых деревьев... - Баньян (*Ficus bengalensis*) название огромных деревьев, растущих в Индии, широко раскидывающих свои кроны с густой листвой, сквозь которую плохо проникает дневной свет.

3 ...низкими... селянами... - Селямы - почтительные поклоны, восточное приветствие.

4 ...бесстрашный лев "склоняется перед целомудрием и девической гордостью". - Цитата заимствована из драматической хроники Шекспира "Король Иоанн" (I, 1, 267-268).

#### Глава XVI

1 Больше нет у меня сладостной надежды. - Следует предположить, что цитированная строка взята из известной трагедии Метастазо (Pietro Bonaventura Trapassi, известный под псевдонимом Metastasio, 1698-1782) "Покинутая Дидона" ("Didone Abbandonata"), впервые представленной в Неаполе (1724) и обошедшей затем многие сцены Италии и других стран. Сюжет трагедии - о карфагенской царице Дидоне, покинутой Энеем (из поэмы Вергилия "Энеида" (IV), см. ниже, прим. 23 к гл. XXX), Метастазо внушила знаменитая певица Бугарелли (по прозванию Romanina), ставшая первой исполнительницей роли Дидоны в его пьесе. Музыка к этой трагедии написали более сорока композиторов; Метьюрин, по-видимому, цитирует одну из арий "Дидоны", так как приведенная им в качестве эпитафии итальянская строка не имеет дословного соответствия в литературном тексте "Покинутой Дидоны"; скорее всего, это музыкальная ария Дидоны ("Perduta ogni speranza...") в 14-ой сцене III действия. Метьюрин, вероятно, знал также пьесу К. Марло и Т. Нэша "Трагедия Дидоны" (опубликована в 1594 г.) и либретто Н. Тейта "Дидона и Эней" (1695) для оперы композитора Г. Перселла.



2 Вид ее "пробудил в нем заглохшую волю". - Цитата из трагедии Шекспира "Гамлет" (III, 4).

3 ...узелки на ваших разукрашенных вершинах! - Речь идет об архитектурных украшениях на крышах индийских храмов, известных Метьюрину по гравированным картинкам, приложенным к труду Т. Мориса "Индийские древности" (см. выше, прим. 3 к гл. "Повесть об индийских островитянах").

4 Типпо Саиб... - Имеется в виду майсурский султан Типпо Саиб (Tippo Sahib, 153-1799, у Метьюрина: Tippo Saib), сын Хайдера Али, в 1759 г. основавшего новый магометанский султанат в Майсуре, в центральной части Индии. Типпо Саиб, провозглашенный султаном (1782) после смерти своего отца, значительно расширил пределы этого султаната; жизнь его прошла в почти непрерывной войне с англичанами мирный договор с англичанами заключен был им в 1784 г., но военные действия возобновились, когда английские войска вошли на территорию Майсура (1790). Два года спустя Типпо Саиб потерял половину своей территории после битвы при Серингапатаме - убит 4 мая 1799 г.

5 ...это храм Махадевы... - Называя Махадеву "одной из самых древних богинь этой страны" ("one of the ancient goddesses of the country"), Метьюрин делает ошибку, аналогичную той, которую он сделал выше (см. прим. 2 к гл. "Повесть об индийских островитянах"), назвав индуистского бога Шиву "богиней". Увенчанный трезубом храм Махадевы, "богини, которая не так сильна и не так широко известна, как этот великий идол Джаггернаут", неоднократно упоминается Метьюрином (см. выше, прим. 16 к гл. "Повесть об индийских островитянах").

6 ...триумфальную колесницу... - О Джаггернауте см. выше, прим. 4 к гл. "Повесть об индийских островитянах".

7 ...от самоистязания святого Бруно... - Речь идет об основателе Картузианского монашеского ордена, получившего название от долины (Cartusia), в которой св. Бруно устроил свой скит в 1084 г. Распорядок жизни в этом монастыре отличался самым суровым аскетизмом: каждый монах жил в своей келье в полном одиночестве на протяжении недели и видел своих собратьев только по воскресеньям, но и в этот день соблюдал обет молчания; вся пища монаха состояла из одного хлебца в неделю. Монахи проводили время в молитвах и переписывании молитвенников.

8 ...от ослепления святой Люции... - Сиракузская мученица (ум. ок. 310 г.), причисленная к лику святых. По легенде, ее должны были выдать замуж за язычника, пленившегося ее прекрасными глазами, но она вырвала их из орбит и послала в чаше этому юноше.

9 ...от мученичества святой Урсулы... - Легенда о св. Урсуле и девах-мученицах на нижнем Рейне, убитых при нашествии гуннов, была известна в различных редакциях, несомненно восходящих к кельтским преданиям дохристианского времени. Гальфред Монмутский (ок. 1170 г.) рассказывает эту легенду, ссылаясь на британский (кельтский) источник (см.: О. А. Добиаш-Рожественская. Культ вод на периферии Галлии и сказание о кельтских девах. - Яфетический сборник, т. IV. Л., 1926, с. 123-149). У средневековых хронистов и позднейших историков, излагавших эту легенду, всегда вызывало удивление количество дев-мучениц, в ней упоминавшихся, - одиннадцать тысяч, и они старались найти этому рациональное объяснение. Одно из таких объяснений было известно и Метьюрину: излагая догадку о том, почему в легенде о св. Урсуле появилось женское имя Ундецимиллы, он, может быть, был знаком, прямо или косвенно, с трудом ученого монаха Крумбаха, вышедшем в г. Кельне в 1647 г. под заглавием "Ursula vindicata". Крумбах нашел эту легенду в "Хронике" Зигеберта, жившего около 1110 г., и пытался объяснить из загадочного обозначения римскими цифрами: XIMV, какое, по его мнению, можно прочесть как "одиннадцать тысяч дев" (undecim milla virginum) или как одно имя "Undecimilla [virgol". Известен также древний молитвенник, хранящийся в Париже, в котором

есть отметка о праздновании дня св. Урсулы: здесь Ундецимиллой названа одна из спутниц Урсулы ("Festum SS. Ursulae, Undecimillae et Sociarum virginum et martyrum").

10 ...дикие и бесстыдные пляски Альмей... - Нижеследующее описание жертвенных плясок египетских профессиональных танцовщиц альмей (у Метьюрина - Almahs, следует - Aimaïs или Aimees) основано на характеристике этих танцовщиц, приведенной в "Письмах об Египте" ("Lettres sur l'Egypte", 1788-1789, 3 vols.) французского путешественника-ориенталиста Клода Этьена Савари (Savary, 1750-1788), побывавшего в Египте в 1776 г. Большую цитату из 14-го письма Савари, в которой находится эта характеристика альмей, приводит в своем английском переводе Морис в "Индийских древностях" (vol. V, p. 164-167) при сопоставлении альмей с индусскими храмовыми танцовщицами.

11 ...слабые крики их беспомощных жертв. - Сведения о традиционных убийствах детьми их престарелых родителей у первобытных народов заимствованы Метьюрином из труда того же Мориса.

12 ...проклинали их именем бога и пророка его. - Вся эта страница посвящена религии мусульман и учению пророка Магомета (Мухаммеда) основоположника этой религии, ж-ившего в VII в. н. э.

13 ...должны быть другие подруги... - Речь идет о гуриях - райских девах мусульманской мифологии.

14 ...они называют ее Кораном... - Священная книга мусульман, содержащая учение Магомета (Мухаммеда).

15 ...Взята из произведения Джоанны Бейли... - Цитата из трагедии Джоанны Бейли "Этволд" ("Etwald", ч. I, II, 1). Другая цитата из той же трагедии приведена была Метьюрином в начале V главы (см. выше, прим. 4 к гл. V).

16 Он улетел, а с ним и ночи тени. - Цитата из поэмы Мильтона "Потерянный рай"; это - заключительные слова IV песни (1013-1015) о Сатане, с ропотом бегущем от архангела Гавриила.

## Глава XVII

1 Синяя борода. - Эпиграф заимствован из сказки Шарля Перро (Charles Perrault, 1628-1703) "Синяя борода", входящей в его знаменитый сборник "Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен" ("Contes de ma mere l'Oye, ou histoires et contes du temps passe", 1697). Английский перевод - 1729 г. - Кади - духовный судья у мусульман в странах зарубежного Востока.

2 ...не замечала времени... - Цитата из книги английского поэта Эдуарда Юнга (Edward Young, 1683-1765) "Жалоба, или Ночные размышления" ("The Complaint, or Night Thoughts", 1742-1745).

3 ...молнию, которая должна была ее поразить... - По преданию, Семела, дочь фиванского царя Кадма, была возлюбленной Зевса и матерью Диониса. Ревнивая Гера, явившись к Семеле в виде старухи-кормилицы, дала ей совет попросить Зевса в доказательство его любви явиться к ней во всем величии бога; Зевс явился в блеске сверкающих молний, которые и испепелили Семелу.

4 ..."чтобы торговать золотом, серебром и человеческими душами"... Неточная цитата из Откровения Иоанна Богослова (18, 11-13), с большим пропуском в середине текста ("И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга и тел и душ человеческих").

5 ...как арфа Давида... - Имеется в виду библейский царь Давид, которому предание приписывает библейскую Псалтырь (Книгу псалмов).

6 ...моих самых дурных героев... - Бертрам - герой одноименной драмы Метьюрина (см. о

ней в статье, с. 547-549). Колридж подверг эту драму резкой критике в своем журнале "Курьер" (1817), в статье, вошедшей затем в его книгу "Литературная биография" ("Biographie Literaria", 1817), где эта статья составила 23-ю главу; он резко осудил трагедию Метьюрина: неправдоподобность сюжета, ходульность и ложный пафос речей ее действующих лиц, присущий им аморализм или безбожие. Метьюрин был в полном бешенстве. В. Скотту еле удалось уговорить его не печатать ответ Колриджу, чтобы не подлить масла в огонь и не превратить полемику в крупный литературный скандал. Хотя возражения Метьюрина Колриджу напечатаны не были, но Метьюрин помнил их долго и все же не удержался от обиженных реплик по адресу Колриджа (не названного по имени). Одна из них опубликована в предисловии к его роману "Женщины, или За и против" (вольнодумец и атеист Кордонно - одно из действующих лиц этого романа), другая - в данном авторском примечании к "Мельмоту Скитальцу".

7 Во время войн Лиги... - Метьюрин имеет в виду католическую Лигу, учрежденную в 1576 г. во время религиозных войн во Франции для борьбы с протестантами (гугенотами). Между 1584-1594 гг. во время войн католики боролись против правительства Генриха III, а также Генриха Наваррского (Генриха IV) и пытались в 1589 г. объединить страну под знаменем католической Лиги. С вступлением Генриха IV в Париж (1594) Лига была распущена.

8 ...в белую холщовую одежду или в черное домашнее платье... должны ли они опускать ...детей в купель... - Метьюрину, получившему богословское образование, был хорошо известен многолетний и достигавший сильной горячности спор между англиканами и пуританскими сектами в первое десятилетие царствования королевы Елизаветы по вопросу об англиканских богослужебных облачениях и форменных одеждах для духовенства. Poleмика по этому поводу велась и проповедниками в церквях и в университетах и на площадях, производила волнения в городах, подвергала несогласных с англиканами в нищету, приводила к заключению в тюрьмы и даже к казням "мятежников". Причиной было непреодолимое отвращение пуритан к римско-католической церкви, убеждение, что она совершенно испорчена и развращена и что ее священнодействия и таинства - не выше языческих мистерий и идольских треб. Разногласия относительно одежд церковнослужителей (в особенности при совершении богослужения) продолжались в Англии до середины XIX в. (см.: А. Потехин. Очерки из истории борьбы англиканства с пуританством при Тюдорах (1550-1603 гг.). Казань, 1894, с. 220-237).

9 Диссиденты. - Этим словом, а также словами "диссентер" и "нонконформист" называли всех сектантов, не согласных со взглядами ортодоксальной англиканской церкви, отказывавшихся подчиняться ее правилам и признавать ее авторитет.

## Глава XVIII

1 Меня, несчастную, страшит все... - Цитата, приведенная в эпиграфе, воспроизводит (с неточностями) слова, заимствованные из фрагмента комедии римского писателя Секста Турпилия (Sextus Turpilius, ум. ок. 104 г. н. э.). Младший современник Теренция, Турпилий написал свыше десятка комедий (в которых он подражал греческим образцам), но до нас дошли лишь ничтожные отрывки из этих пьес, изданные в 1564 г. Анри Этьенном.

2 Линней. - Метьюрин говорит о Карле Линнее (Carl von Linné, в латинизированной форме - Linnaeus, 1707-1778) - шведском ученом-естествоиспытателе, основателе научной ботаники. В труде "Philosophie Botanica" (1751), созданном им в годы профессорства в Упсальском университете, он изложил систему ботаники как одной из самостоятельных наук о природе.

3 Горе побежденным (Vae victis). - См. выше, прим. 6 к гл. III.

4 ..."имеющим уши, чтобы слышать". - Неточная цитата из Евангелия от Матфея (11. 15).

## Глава XIX

1 "Магдалиниада" Пьера де Сен-Луиса. - Под "Магдалиниадой" Метьюрин понимает поэму

"Магдалина в пустыне Сент-Бом в Провансе" ("La Magdaleine au desert de la Sainte Baume en Provence", 1668; переиздана в 1694 г.) французского монаха ордена кармелитов и поэма Пьера де Сент-Луиса (Pierre de Saint-Louis, 1626-1684). Биограф его рассказывает, что Сент-Луис в юности был сильно увлечен девушкой по имени Магдалина и посвятил ей множество стихотворений анаграмматического характера; пять лет спустя, когда девушка наконец согласилась выйти за него замуж, она неожиданно умерла. Через несколько лет после ее смерти Сен-Луис вступил в орден кармелитов (в 1658 г.). Поэма его "Магдалина" в отрывках пересказана была Ла Моннуа (La Monnoye) в "Собрании избранных стихотворений" (1714), назвавшего эту поэму "шедевром благочестивой экстравагантности", так как она была полна неожиданными эпитетами, сравнениями и кончетти барочного стиля.

2 Испанцу было очень трудно произнести последние две буквы этого имени, которые звучали необычно для языков континента. - Речь идет об орфографическом сочетании, выражаемом в английском алфавите буквами "ти" и "ейч" (th) в конце имени Мельмот (Melmoth).

3 ...мантилья... - В русском языке испанское слово "мантилья" (mantilla) употреблялось в двойном значении: "женская накидка на плечи" и "головное покрывало". В данном случае слово дважды упоминается в первом из указанных значений.

## Глава XX

1 Такова лишь любовь... - Эпиграф представляет собою строчки 5-8 из стихотворения английского поэта Томаса Мура (1779-1852), входящего в VI серию "Ирландских мелодий" (1815): "Come, rest in this bosom, my own stricken dear!".

2 ...настоящие гранды. - Исп. grande - человек знатного происхождения.

3 ..."дитя веселое стихии"... - Неточная цитата из стихотворной "маски" Дж. Мильтона "Комус" ("Cornus", I, 299).

4 ...это время съесты... - Итальянск. siesta - послеобеденный отдых.

5 ...лепестки царицы ночи. - Растение семейства кактусовых (Cereus grandiflorus), дикорастущее в жарких странах Азии и Южной Америки: имеет крупные одиночные цветы, цветет ночью.

6 Легкие ветерки обвевают остров блаженных ( ). - Цитата заимствована из второй "Олимпийской оды" (II, 72) древнегреческого поэта Пиндара (522-442 г. до н. э.).

7 ...житие польского святого... - Речь идет о св. Казимире (Казимеже, 1456-1480), патроне Польши, умершем в Кракове двадцати четырех лет от роду и причисленном к лику святых. В житии его (см.: Acta sanctorum, 1668, tomus I, под 4 марта) повествуется о его целомудрии и крайней застенчивости, которой он отличался с детских лет.

8 Тайны дома узнать нороят... - Цитата заимствована из Ювенала (III, 113); эта же цитата была уже приведена в гл. "Рассказ испанца" (см. прим. 22).

9 ...этой посылки сорита. - Соритом в логике называется "вид сложного силлогизма, в котором приводится только последнее заключение, проводимое через ряд посылок; остальные же промежуточные заключения не высказываются, а подразумеваются" (подробнее см.: Н. И. Кондаков. Логический словарь. М., 1971, с. 491).

10 Он ослепил их, да не видят. - Сокращенная цитата из Евангелия от Иоанна (12, 40).

11 Инквизиция в Гоа... - См. выше, прим. 8 к гл. XI.

12 Время, удобное для разговора. - Цитата из "Энеиды" Вергилия (IV. 293).

13 Всегда куропатка (toujours perdrix). - По преданию, эта фраза принадлежит исповеднику французского короля Генриха IV; в отместку за упреки в любовных связях король велел подавать исповеднику только жареную куропатку (The Oxford Dictionary of Quotations, 2d ed., 1959, p. 12, N 20).

14 ...поистине я могу сказать: "ревность по доме твоём снедает меня". Цитата из Псалтыри (68, 10).

15 ...слоено изображая собою Сикста... - См. выше, прим. 15 к гл. "Рассказ испанца".

16 ..."новым небом и новой землей"... - Неточная цитата из Откровения Иоанна Богослова (21, 1). Полный текст: "И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет".

17 ..."тот, кто всего нужней". - Неточная цитата из трагедии Шекспира "Ричард III" (I, 2, 256).

18 ...что Деянира послала своему мужу... - По античному преданию, Деянира, жена Геракла, чтобы привязать его к себе, послала ему тунику, подаренную ей кентавром Нессом и пропитанную, как она думала, любовным зельем; однако яд, которым она была пропитана на самом деле, начал жечь тело Геракла, как только он ее надел; доведенный до бешенства ужасной болью, Геракл разжег костер, бросился в огонь и погиб.

19 Скорее всего, "Ромео и Джульетты". - Речь несомненно идет о "Ромео и Джульетте" Шекспира. Имеются в виду те слова (II, 2, 143-148), которые Джульетта, расставаясь с Ромео после их первой встречи, говорит ему:

Три слова, мой Ромео, и тогда уж  
Простимся. Если искренно ты любишь  
И думаешь о браке - завтра утром  
Ты с посланной моею дай мне знать.  
Где и когда обряд свершить ты хочешь,  
И я сложу всю жизнь к твоим ногам  
И за тобой пойду на край вселенной...

(Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник)

20 ...Александры и Цезари, Птолемеи и фараоны... Аларихи... - Мельмот перечисляет здесь знаменитых властителей древнего мира: Александра Македонского, римских императоров; или Птолемеи - династия властителей Египта, которым досталась часть империи Александра Македонского (Птолемею Сотеру в 323 г. до н. э., его сыну - Птолемею Филадельфу, 311-247 гг. до н. э., Птолемею Епифану, 210-181 гг. до н. э., и т. д.); "властителями Севера", вероятно по ошибке, названы Один - верховное божество скандинавской мифологии, а также исторический вождь гуннов Аттила (406-453 г. н. э.), знаменитый завоеватель мира V в., прозванный "бичом божьим", за ними следует Аларих (ум. 410 г. н. э.) - король вестготов, завоевавший Рим (в 402 г.); среди "восточных государей... своих времен" Мельмот называет царя Немврода основателя Вавилонской империи, Валтасара - последнего царя Вавилона и внука Навуходоносора, Олоферна - полководца Навуходоносора, завоевавшего Палестину в 689 г. до н. э.

21 ...победы гром и яростные крики. - Измененная цитата из Книги Иова (39, 25).

22 ...владык Запада, которые прячут свои бритые головы под тройной короной... - Несомненно имеются в виду римские папы с их головными уборами трехъярусными тиарами. Мильтон в своем сонете (XVIII) на этом же основании называет папу "тронным тираном" (the triple tyrant), а в латинском стихотворении, цитируемом ниже (см. прим. 12 к гл. XXX), - "На пятое ноября" (стих 55) называет "Tricoronifer" ("несущий [на голове] три короны").

23 ...о музыке небесных сфер! - По учению древних пифагорейцев, движение небесных светил порождает прекрасную музыку.

24 ...освещать собой сады Нерона в Риме. - Тиберий Клавдий Нерон римский император (37-68 г. н. э.). Историк Корнелий Тацит, рассказывая в своих "Анналах" о неслыханных жестокостях Нерона, упоминает, в частности, что он поджег Рим и, чтобы отвести от себя негодование народа, обвинил в этом поджоге христиан, подвергшихся жестоким гонениям. "Их

умерщвление сопровождалось издевательствами, - пишет Тацит, - ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради освещения. Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады" (Корнелий Тацит. Сочинения, т. 1. Л., 1969, с. 298).

25 ...начиная с Иувала с его первыми опытами... - В этом месте текста Метьюрин или сам сделал опisku, или при публикации рукописи допущена была типографская опечатка, оставшаяся неисправленной во всех изданиях "Мельмота Скитальца" вплоть до самых последних. Изобретатель музыки, упоминаемый в Библии, в изданиях романа Метьюрина именуется Тувал-Каином (Tubal-Cain), тогда как в Книге Бытия (4, 21) в перечислении всего многочисленного потомства сына Каина - Еноха он назван ИувалКаин (Jubal-Cain): "...он был отец всех, играющих на гуслях и свирели"; тот же источник называет Тувала-Каина первым "ковачом орудий из меди и железа" (IV, 22), т. е. изобретателем кузнечного искусства. На этом основании мы восстанавливаем в переводе имя - Иувал вместо ошибочно стоявшего в тексте Тувала; к этому следует также прибавить, что смешение этих имен в письменности разных народов (благодаря графической близости литер J и T) наблюдалось часто и поэтому стало почти традиционным.

26 ...кончая Люлли... - Знаменитый французский композитор Жан Батист Люлли (Jean Baptiste Lully, род. во Флоренции в 1633 г., ум. в Париже в 1687 г.). Что касается легенды о смерти Люлли, то она передана Метьюрином неверно. Люлли повредил себе ногу собственной тростью, отбивая ею такт на репетиции благодарственной молитвы, сочиненной им по случаю выздоровления Людовика XIV. Образовавшийся на ноге нарыв свел Люлли в могилу, так как алчный знахарь-шарлатан, нанятый за крупную сумму одним из почитателей Люлли и взявшийся вылечить его, отстранил профессиональных врачей от участия в лечении больного музыканта.

27 Демокрит - древнегреческий философ-материалист (471-361 г. до н. э.). Еще Ювеналу принадлежит определение Демокрита как мудреца, смеющегося над человечеством, и противопоставление его другому философу - "пессимисту" Гераклиту. Представление о "смеющемся Демокрите" сохранялось и в новое время, хотя оно и не подтвердилось изучением его литературного наследия.

28 ...смех - это безумие. - Неточная цитата из Книги Екклезиаста (2, 2).

29 ...какая ряса надета на монахе в минуту смерти. - См. выше, прим. 8 к гл. XVII (споры о церковных облачениях).

## Глава XXI

1 Он видел бездну под ногами... - Английские исследователи высказывают очень правдоподобное предположение, что эти стихи сочинены самим Метьюрином (см.: D. Grant, p. 554).

2 Море бесплодное. - Латинское выражение. Mare infructuosum, очевидно, было почерпнуто Метьюрином из распространенных в учебной практике его времени греческолатинских словарей или из какого-либо комментария к "Илиаде", где этими латинскими словами передавалось гомеровское  $\sigma$ , содержащее в себе неясный уже для античных филологов эпитет  $\sigma$ . Грамматической традиции, этимологически сближающей это слово с глаголом ("пожинать", "собирать плоды"), следовал и Н. Гнедич в переводе "Илиады", например:

После, избрав совершенные Фебу царю гекатомбы.

Коз и тельцов сожигали у берега бесплодного моря.

(I. 315-316)

3 ..."со всех очей будут отерты слезы". - Неточная цитата из Откровения Иоанна Богослова (7, 17).

4 "Пойдемте в лом скорби". - Измененная и сокращенная цитата из Книги Екклезиаста (7, 2). Полный текст: "Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; ибо таков конец всякого человека".

5 ..."плывшая по небу светлая луна". - Измененная цитата из Книги Иова (31, 26). Эта цитата в тексте "Мельмота Скитальца" приведена несколько раз (см. выше, прим. 21 к гл. "Рассказ испанца" и прим. 9 к гл. IX).

6 ...пока прикосновение Пигмалиона... - По античному преданию, Пигмалион, царь Кипрский, изваял образ прекрасной женщины, влюбился в свое творение и, умолив Афродиту оживить ее, женился на ней. Об этом было рассказано у Публия Овидия Назона в "Метаморфозах" (X, 244-249), что очень способствовало распространению этой легенды.

7 ..."ничто не было ново под солнцем". - Неточная цитата из Книги Екклезиаста

8 ..."зловещим предвкусием возмездия и суда"... - Сокращенная и неточная цитата из Послания апостола Павла к евреям (10, 27).

9 ...в горло посланцу Рима. - Митридат VI Евпатор - царь Понтийского государства (121-64 г. до н. э.), подчинивший себе почти все греческие города Черноморья. Во время первой войны с Римом Митридат взял в плен Мания Аттилия (Аквилия), главу римского посольства, и, по рассказу историка Аппиана, "его связанного он всюду возил на осле, громко объявляя зрителям, что это Маний; наконец в Пергаме велел влить ему в горло расплавленное золото, с позором указывая этим на римское взяточничество" (Аппиан. Митридатовы войны. - Вестник древней истории, 1946, Э 4, с. 246).

10 ...выражаясь высоким языком еврейского поэта (вернее, пророка)... Очевидно, имеется в виду "псалмопевец" - библейский царь Давид. Возможно, что неточно цитируемые Метьюрином слова восходят к Псалму 18 (3-5), в котором имеются следующие слова: "День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их и до пределов вселенной слова их".

11 ...откликается на него звуками музыки.. - Речь идет о так называемой статуе (или колоссе) Мемнона близ Фив, представлявшей собою сидящую фигуру, сделанную из темного мрамора, с крепко сжатыми ногами. Статуя эта была разрушена землетрясением (вероятно, в 27 г. до н. э.); верхняя ее часть отвалилась. Тем не менее статуя представляла замечательное явление, потому что при первых лучах восходящего солнца она издавала звук, похожий на звук лопающейся струны; на этом основании говорили, будто Мемнон отвечает этим на призыв своей матери Зари (звук получался, по-видимому, от прохождения воздуха сквозь поры и скважины, образовавшиеся в каменной скульптуре от землетрясения). Миф о Мемноне проник в Египет только в александрийское время благодаря грекам, которые связали его с колоссальной статуей близ Фив, посвященной египетскому царю Аменофу, Первым из античных писателей, упомянувшим колосс Мемнона, был Страбон; вслед за ним эту статую упоминали и многие другие путешественники и писатели. Метьюрин мог знать о ней из самых разнообразных источников, в частности из "Дон Кихота" Сервантеса (II, LXI), где также находится намек на ту музыку, которой, согласно античной легенде, статуя Мемнона каждое утро встречала появление на небе своей матери Зари.

## Глава XXII

1 ...Мой муж Ромео. - Слова Джульетты из пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта" в редакции Д. Гаррика (V, 5).

2 ...распрями между молинистами и янсенистами... - Молинисты последователи знаменитого испанского богослова, иезуита Луиса де Молина (Luis de Molina, 1535-1600), в течение двадцати лет читавшего лекции в университете города Эвора в Португалии. В своем главном труде "О согласовании свободного выбора с милостью божьей" ("De Hberi arbitra cum

gratiae donis concordia", 1588) Молина пытался примирить учение о предопределении с представлением о свободной воле человека и утверждал, что милость божия недействительна сама по себе, но становится таковой лишь по собственному волеизъявлению человека. Изворотливые схоластические рассуждения Луиса де Молины показали многим современникам неубедительными, и они обвинили испанского богослова в том, что он вступил в противоречие с учением Фомы Аквинского; это послужило поводом для долговременных споров разделившихся на партии "молинистов" и "томистов" (thomistes), в которых приняли участие иезуиты, доминиканцы и янсенисты. Последние получили свое прозвание от Корнелия Отто Янсена (Cornelius Otto Jansen, 1585-1638), епископа города Ипра, защищавшего учение о неотразимости милости божьей, без которой человек не может принять его велений. Это учение изложено им в трактате "Августин" ("Augustinus", 1640), в котором тезисы Молины опровергались доводами блаженного Августина.

3 ...высалился отнюдь не в Осуне... - Оссуна (или Осу на) - небольшой испанский город в провинции Севилья; в нем есть и университет, основанный в 1548 г. В XVI-XVII вв. принято было высмеивать крошечные учреждения, подобные тем, которые имелись в Осуне; городок этот вошел в поговорку, после того как над ним посмеялся Сервантес в "Дон Кихоте" (см.: Richard L. Predmore. An Index to Don Quijote. New Brunswick, 1938, p. 64). Очень возможно, что и к Метьюрину имя этого городка попало из того же источника. В гл. XXX первой части "Дон Кихота" Доротея признается, говоря о ламанчском рыцаре: "...не успела я высадиться в Осуне, как до меня уже дошла весть о неисчислимых его подвигах.. - Каким же образом ваша милость высадилась в Осуне, коль скоро это не морская гавань? - спросил Дон Кихот. Однако ж, прежде чем Доротея успела что-нибудь ответить, взял слово священник и сказал: "Сеньора принцесса, видимо, хочет сказать, что, высадившись в Малаге, она впервые услышала о вашей милости в Осуне. - Это я и хотела сказать", - сказала Доротея". - Английский перевод "Дон Кихота", сделанный Т. Смоллеттом, на который ссылается Метьюрин, вышел в свет в 1755 г.

4 ...житие святого Ксаверия... - См. выше, прим. 20 к гл. "Рассказ испанца".

6 Человека-рыбу (hombre pez). - В литературах Западной Европы XVI-XVII вв. обращалось много фантастических рассказов о диковинных чудовищах, которых находили в лесах или на морском берегу. Одна из фацетий Поджо Браччолини (Э XXXI) повествует о человеке-рыбе, пойманном в Средиземном море и имевшем человеческое тело сверху и рыбе - снизу. В гл. XVIII II тома "Дон Кихота" сам герой упоминает "Николао-рыбу" (итал. Pesce Nicolas или Cola) фантастического получеловека, полурыбу, о котором легенда возникла в XV в. в городе Мессине в Сицилии. Существовала даже русская лубочная картинка с изображением пойманного в 1739 г. "гишпанскими рыбаками" "чудовища морского или так называемого водяного мужика" (см.: Д. А. Ровинский. Русские народные картинки. СПб.. 1881. ч. IV, с. 385; Культура Испании. Л.. 1940, с. 385). В переделках и продолжениях известного испанского плутовского романа "Ласарильо с Тормеса" (1554) был рассказ о том, как Ласарильо потерпел крушение на пути в Африку и был обращен в "морское чудовище", чтобы обманывать легковверных; его поймали рыбаки, которые возили его по Испании и показывали в разных городах; затем он был освобожден, обратился в пустынножителя и т. д.; эпизод о "морском чудовище" включен во вторую часть "Ласарильо с Тормеса", изданную Хуаном де Луна в 1620 г.

6 Многословное и длинное послание (verbosa et grandis epistola). Цитата из Ювенала (Сатиры, X, 71; ср.: Римская сатира. М., 1957, с. 236).

7 ...погубившее и его врагов и его самого... - Имеется в виду Самсон, разрушивший храм Дагона и погибший под его развалинами вместе с находившимися в храме филистимлянами (Книга Судей, 16, 23-30).

macarwnAuraiperipneousinpontoVatrugetoVatrugetoVtruga



## КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

### Глава XXIII

1 Коль не ответит лиходей... - Четверостишие сочинено самим Метьгорином. Венчаются... - слова Констанции из исторической хроники Шекспира "Король Иоанн" (Ш. 1, 1).

2 ...встречу царя Соломона с царицей Савской. - О посещении в Иерусалиме Соломона царицей савеев, приехавшей из Аравии, подробно рассказано в Библии. Царицу сопровождала чрезвычайно большая свита; верблюды ее были навьючены благовониями, грузом золота и множеством драгоценных камней. Царица Савская явилась к Соломону, чтобы испытать его мудрость различными загадками и осмотреть достопримечательности его дома. В ответ на подарки Соломон одарил ее с неменьшей щедростью (Третья книга Царств, 10, 1-13).

3 ...в кукольном спектакле Маэсе Педро... - Метьюрин вспоминает эпизод из главы XXVI II части "Дон Кихота", в котором рассказано о спектакле кукольного театра, данного знаменитым раешником сеньором Маэсе ("маэстро", "мастером") Педро, в котором представлено было, как доблестный Гайферос освободил Мелисандру. Присутствовавший на спектакле Дон Кихот услышал следующие слова мальчика, пояснявшего, что изображается на сцене: "Посмотрите, какое множество блестящей конницы выступает из города в погоню за любовниками-христианами... Я боюсь, что они догонят беглецов и приведут их обратно, прикрепив их к хвосту собственного коня... Какое это будет ужасное зрелище! Увидев перед собою столько мавров и услышав такой грохот, Дон Кихот подумал, что ему следовало помочь беглецам; он вскочил и громким голосом сказал: "Я не допущу, покуда я жив, чтобы в моем присутствии была нанесена такая обида знаменитому рыцарю и неустрашимому любовнику, дону Гайферосу. Стой, подлая сволочь! Не смей гнаться и догонять его, - не то тебе придется иметь дело со мной!" И перейдя от слов к делу, он обнажил свой меч, одним скачком очутился у сцены и с невиданной яростью и быстротой стал осыпать ударами кукол-мавров; он валил их с ног, снимал головы, калечил и рассекал".

4 Мала ее доля (*Minima est pars sui*). - Очевидно, реминисценция стиха из "Энеиды" (II, 6) Вергилия, взятого эпиграфом к XXVII главе (ср. ниже, прим. 1 к гл. XXVII).

5 ...потомком самого Кампеадора... - Имеется в виду Сид - герой прославленного цикла испанского эпоса (см. выше, прим. 7 к гл. III). Исторический Сид (имя его было Руй Диас) первые свои подвиги совершил на службе у инфанта Санчо, сына короля Кастилии Фернандо I. Когда Санчо стал королем Кастилии, Руй Диас сделался верным его помощником, начальником всех его войск. Когда в 1066 г. между Кастилией и Наваррой возник спор из-за одного замка, постановлено было решить дело поединком. Сид - Руй Диас, выступивший на стороне Кастилии, победил соперника и получил за этот подвиг прозвание "Кампеадор", что значит "Ратоборец".

6 ...Гонсало из Кордовы. - Имеется в виду знаменитый испанский полководец Фернандес Гонсало де Кордова (*Gonzalo de Cordova*, 1453-1515), овладевший в 1492 г. Гранадой, последней опорой мавров на Иберийском полуострове.

7 "Помилуй" ("*Miserere*")... - Католическая молитва на слова 56 псалма ("*Miserere mei, Deus, miserere mei, quoniam in te confidit anima mea*", т. е. "Помилуй мя, боже, помилуй мя, ибо на тебя уповаешь душа моя").

8 ...веселые фанданго сменялись нежными звуками сегидильи... Испанские народные танцы *fandango* и *seguidilla* (испанская песня и танец быстрого темпа).

9 ...кое-какие отрывки из Плиния, Артемидора и других... - О Плинии см. выше, прим. 1 к гл. III. Артемидор Эфесский, живший в конце II в. до н. э., был автором сочинения в 5 книгах "Онейрокритика", имевшего целью подтвердить фактами пророческое значение снов и содержащего в себе также разносторонние сведения о нравах и обычаях античного мира.

10 Появлялся призрак... обгащенный кровью ("*Apparebat eidolon senex... confectus*"). Та же

цитата из "Писем" Плиния, но в усеченном виде, была уже приведена в эпитафье к гл. III (см. прим. 1).

#### Глава XXIV

1 Остроумие во всеоружии. - Второстепенная пьеса "Остроумие во всеоружии" ("Wit at several weapons") начала XVII в., авторами которой без достаточных оснований считались драматурги Бомонт (1585-1615) и Флетчер (1576-1625); этот эпитафья взят Метьюрином из первого действия пьесы, но фраза цитирована им неточно.

2 ...на что он намекает. - Книга, которую Мельмот имеет в виду в разговоре с Исидорой, - это Евангелие и, в частности, входящее в него Соборное послание апостола Иакова (2, 19), где говорится: "...и бесы веруют и трепещут". См. также статью, с, 572,

#### Глава XXV

1 Души умерших... не дают подойти мне. - Цитата из "Илиады" (XXII, 72) уже была избрана эпитафья для гл. VI.

2 ...упоенный всем, чем он владеет... - Скрытая цитата из большой дидактической поэмы Роберта Блера (Robert Blair, 1699-1746) "Могила" ("The Grave", 1743), ст. 350-351.

3 ...он, подобно Дон Кихоту, воображал... - Вероятно, автор имел в виду XVI главу I части "Дон Кихота" Сервантеса, озаглавленную "О том, что случилось с хитроумным идалго на постоялом дворе, который он принял за замок".

#### Глава XXVI

1 ...На палубе их двое... - Стихотворные строки взяты из романтической поэмы Семьюэла Тейлора Колриджа (S. T. Coleridge, 1772-1834) "Старый моряк", или "Песнь о старом моряке" ("The Rhyme of the Ancient Mariner"), впервые напечатанной в 1798 г. (в сборнике Вордсворта и Колриджа "Лирические баллады"), а затем в обновленной редакции в 1817 г. Цитата взята из III части, ст. 54-58.

#### Повесть о семье Гусмана

1 ...были похожи на двух юных Геб... - По древнегреческому мифологическому преданию, Геба, дочь Зевса и Геры, была богиней юности; живя на Олимпе, она подносила богам в золотых чашах нектар и амброзию.

2 ...Тенирс и Воуверман... - Давид Тенирс Младший (D. Teniers, 1610-1690), имя которого долгое время произносили и писали у нас неправильно, на французский лад (Теньер), - фламандский художник-жанрист, изображавший деревенские праздники и сельские сцены, или его отец, Давид Тенирс Старший (1582-1649) - один из зачинателей жанризма во фламандской школе живописи. Филипп Воуверман (Ph. Wouverman, 1619-1668) - голландский художник, изображавший сцены повседневной жизни, рынки, охотничьи эпизоды.

3 ..."как тень от высокой скалы в земле жаждущей"... - Цитируется в сокращении то место из Книги пророка Исая (32, 1-2), где говорится: "...и князья будут править по закону; и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды; как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей".

4 ...блаженства вечного. - Неточная цитата из Второго послания коринфянам апостола Павла (4, 17-18): "Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимоеечно".

#### Глава XXVII

1 ...бедствия... пережил сам. - Вергилий. "Энеида" (II, 5-6).

2 ...истых идалго. - Словом "идальго" в Испании называли всякого потомственного дворянина, независимо от его общественного положения.

3 ...сердца сокрушенного и смиренного он не презрит. - Неточная передача псалма 50, 19.

4 Да что там говорить! (Quid multis morer?). - Цитата из комедии римского драматурга Теренция (Publius Terentius Afer, 195-159 г. до н. э.) "Девушка с Андроса" ("Andria", I, 1, 114. см.: Терентий. Комедии. Перевод А. В. Артюшкова. М.-Л., 1934, с. 51).

5 Улыбаясь сквозь слезы ( ). - Цитата из прославленной сцены прощания Гектора с Андромахой в "Илиаде" (VI, 484):

482 Рек, и супруге возлюбленной на руки он полагает  
Милого сына; дитя к благовонному лону прижала  
Мать, улыбаясь сквозь слезы. Супруг умилился душевно,  
Обнял ее и, рукою ласкающий, так говорил ей...

(Перевод Н. Гнедича)

Глава XXVIII

1 ...я с ними был на страже. - Слова Горацио в трагедии Шекспира "Гамлет" (I, 2, 206-208).

2 ...возвысил голос свой и заплакал. - Цитата из библейского рассказа об Иакове и Рахили (Книга Бытия, 29, 11).

3 ...фигура эта могла прельстить Мурильо, Сальватора Розу.. - Оба художника принадлежали к числу тех, творческое наследие которых Метьюрин, вероятно, хорошо знал. Выдающегося испанского художника Мурильо он упомянул уже в гл. "Рассказ испанца", изображая сцену, достойную его кисти (см. прим. 17 к этой главе и прим. 17 к гл. XI). Неаполитанский художник Сальватор Роза также упомянут был им несколько раз (см. выше, прим. 17 к гл. XI).

4 ...картины, изображающие святого Варфоломея, с которого палач содрал кусок кожи и держит его в руке, и святого Лаврентия, когда его жарят на решетке... - По-видимому, Метьюрин имеет в виду картины Хосе Риберы (J. Ribera, 1588-1656), знаменитого испанского художника, большую часть жизни проведенного в Италии и умершего в Неаполе (в то время находившегося под испанским владычеством). Картина Риберы "Мученичество св. Варфоломея" имеется в многочисленных авторских вариантах, находящихся в различных музеях Европы (Флоренция, Мадрид, Берлин, Дрезден и др.); судя по сделанному Метьюрином описанию картины, он имел в виду тот вариант, который принадлежит собранию дворца Питти во Флоренции. Что касается картины "Мученичество св. Лаврентия", то, вероятно, он имеет в виду ту картину, которая также принадлежит кисти Риберы (Дрезденская галерея). Обе картины, особенно вторая, были очень популярны благодаря воспроизводящим их гравюрам и литографиям; впрочем, тот же сюжет привлек многих других художников, большей частью второстепенных (Кортоне, Б. Гадди, Бандинелли и др.); наибольшей известностью пользуется эстамп французского рисовальщика и гравера XVII в. Жака Калло.

5 ...бледный, как вдова Сенеки... - Римский философ стоической школы и писатель Луций Анней Сенека (Lucius Annaeus Seneca), родом из римской Испании, воспитатель императора Нерона; за участие в заговоре Пизона Сенека был приговорен к смерти (причем род смерти предоставлено было избрать ему самому) и умер в 65 г. н. э., вскрыв себе вены. Вторая жена Сенеки, Помпея Павлина, хотела умереть вместе с ним такую же смертью, однако ей не удалось этого сделать, и она прожила еще несколько лет.

6 ...казалось, что это фигуры, сошедшие с картины Рембрандта. Рембрандт ван Рейн (Rembrandt van Ryn, 1607-1669) - выдающийся голландский художник. Комментируемое место повествования Метьюрина свидетельствует, что писателю была хорошо известна живописная манера этого мастера и открытые им эффекты противопоставления света и тени.

7 Тем временем явился алькальд... - В английском тексте "Мельмота" во всех изданиях дважды стоит испанское слово *alcaide*; мы исправляем его на другое слово *alcalde* в предположении, что в текст вкралась типографская опечатка: "алькайд" - начальник тюрьмы,

"алькальд" - судья, представитель местной администрации или судебной власти; представляется более естественным, что именно алькальду поручено было учинить следствие о внезапной смерти путешественника на постоялом дворе и представить цитируемое в тексте "Мельмота" заключение.

## Глава XXIX

1 В этом мире тяжка любовь... - Поздние греческие стихи, приписанные Анакреонту Теосскому (ум. в 459 г. до н. э.), см.: Анакреонт, XLVI ("Anacreontea", XXIX, 14). Цитируемые стихи известны в разных вариантах (в которых строки переставлены, от чего смысл не меняется) и переводились на русский язык, например, Л. А. Меем:

Безотраднo - не любить,  
Безотраднo - полюбить,  
Безотраднее - любовью  
Отвергаемыми быть.

2 "в лабиринте скал". - Имеется в виду гл. XXIX 1-й части "Дон Кихота" Сервантеса, где рассказывается об одном из дурачеств с переодеванием, разыгранном перед рыцарем в пустынном месте на холмах близ городка Убеды (Ubeda в провинции Хаен): некая "странствующая девица" Доротея по уговору со священником и цирюльником является к Дон Кихоту, называет себя "принцессой Микомиконой" и просит о защите; доверчивый рыцарь охотно верит этому и обещает ей свое покровительство.

3 еще заставляют говорить о ней всю Европу. - Речь идет об английской буржуазной "революции XVII в., казни короля Карла I (1649), о Кромвеле и последовавших событиях - реставрации Стюартов (1660) и перевороте 1688 г., возведшем на престол новую династию.

## Повесть о двух влюбленных

1 ...область, именуемая Шропшир... - Графство в Англии, на северо-западе от Лондона, в центре которого находится город Шрусбери (Shrewsbury) на реке Северн. Со времен норманского завоевания Англии город Шрусбери находился в оживленных торговых сношениях с Францией и Испанией.

2 ...войн, которые вели между собою Стефан и Матильда... - Король Англии Стефан (род. ок 1094 г., царствовал между 1135-1154 гг.) был сыном графа Блуа и Адели, дочери Вильгельма Завоевателя. Матильда (ум. в 1151 г.) - жена короля Стефана - была дочерью графа Булонского. Возможно, впрочем, что Метьюрин имеет в виду другую Матильду (ум. в 1165 г.), внучку короля шотландского Малькольма, которая вышла замуж за Генриха V, короля немецкого (в 1114 г.), а после его смерти - за Жоффруа Плантагенета, графа Анжуйского; она вела войну с королем Стефаном из-за короны, которую предназначал ей Генрих I. В царствование короля Стефана в Англии происходили непрерывные феодальные распри, доведшие страну до состояния полной анархии.

3 ...До Босвортского поля. - Битва при Босвортском поле между Ричардом III и Генри, графом Ричмондом (впоследствии Генрихом VII), состоялась 21 августа 1485 г.

4 ...напечатанную в Голландии Тиндалем. - Новый Завет в английском переводе был напечатан Вильямом Тиндалем (ум. в 1536 г.), но не в Голландии, а в Германии, в городах Кельне и Вормсе (1525-1526); выполненные тем же Тиндалем переводы Пятикнижия и Книги пророка Ионы опубликованы были в Марбурге (1530).

5 Во время недолгого царствования Эдуарда... - Эдуард VI (1538-1553), сын Генриха VIII и Джейн Сеймур, получил хорошее образование под присмотром сторонников Реформации, но по малолетству правил Англией под руководством Регентского совета из 16 членов, вынашивавших проекты дальнейших реформ англиканской церкви.

6 В царствование Марии... - Мария I, королева Англии (1516-1558), прозванная Кровавой,

дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской, взошла на престол в 1553 г. Царствование ее было отмечено господствующим влиянием католицизма и преследованиями протестантов, в особенности после того, как она вышла замуж за Филиппа II Испанского.

7 ...по случаю приезда Филиппа Испанского... - Филипп II (1527-1598) первым браком был женат на Изабелле Португальской, вторым - на Марии Английской (Тюдор). Хотя при Генрихе VIII в Англии сложилась сильная протестантская партия и общественное мнение было настроено против династического союза Англии с Испанией, брак ее с Филиппом, в то время еще испанским инфантом, состоялся. После женитьбы Филипп прожил некоторое время в Англии, безуспешно стараясь привлечь к себе симпатии англичан; впрочем, ему удалось добиться благосклонного отношения части английской аристократии. В октябре 1554 г. английский парламент утвердил зависимость английской церкви от папы. 29 августа 1555 г. Филипп по вызову отца (Карла V) покинул Англию и провозглашен был королем Испании; он вернулся в Англию только в марте 1557 г., за двадцать месяцев до смерти Марии.

8 ...Лейстеру, тогдашнему фавориту королевы. - Речь идет о Роберте Дадлее графе Лейстере (Robert Dudley, Earl of Leicester, 1532-1558), любимце королевы Елизаветы

9 В царствование Иакова... - Имеется в виду король Англии Иаков I (и VI Шотландии), сын шотландской королевы Марии Стюарт (и лорда Генри Дарнлея). казненной королевой Елизаветой в 1587 г.; после смерти Елизаветы в 1603 г. Иаков стал королем Англии.

10 ...на первом представлении "Варфоломеевской ярмарки"... - Имеется в виду комедия Бена Джонсона (Benjamin Jonson, 1573-1637) "Варфоломеевская ярмарка" (играна в 1614 г., опубликована только после смерти автора). Сложносоедательное имя выведенного в комедии в сатирическом свете пуританина (Zeal of the land Busy) только очень приблизительно может быть воспроизведено на русском языке как "Усердно-деятельный-хлопотун-соотечественник".

11 ...одетая в пурпур блудница. - Метьюрин искусно пользуется чрезвычайно популярным среди пуритан XVI-XVII вв. образом "вавилонской, блудницы" (как именовали они католическую церковь), восходящим к мистическим видениям Апокалипсиса (Откровения Иоанна Богослова), где мы читаем, например: "И повел меня [ангел] в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облачена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом... и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудниц и мерзостям земным" (17, 3-5) или: "...пал. пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу" (18, 2).

12 ...опустил руку на голову принцу Карлу... - Намек на то, что впоследствии, будучи уже королем, Карл I был казнен в 1649 г.

13 ...арминианин по вероисповеданию... - См. выше, прим. 78 к гл. III.

14 ...ревностный поборник заблудшего Лода... - Вильям Лод (William Laud, 1573-1645) - один из ближайших советников Карла I в церковной области, назначенный в 1633 г. архиепископом Кентерберийским, враг и гонитель пуритан, всячески содействовавший сближению англиканской епископальной церкви с католицизмом и стремившийся превратить ее в послушное орудие английского абсолютизма; обвиненный Парламентом, Лод после трехлетнего тюремного заключения был казнен в 1645 г.

15 ...закадычный друг злосчастного Стреффорда... - Английский государственный деятель граф Томас Уентворт Стреффорд (T. Strafford, 1593-1641) был любимым министром короля Карла I. Несмотря на поддержку короля и значительной части лордов, Стреффорд был обвинен в государственной измене специальным законодательным актом Парламента (так называемым актом об опале - Bill of Attainder) и казнен 12 мая; 1641 г.

16 ...для участия в битвах при Эджхилле и Марстон-Муре. - Битва при Эджхилле (23 октября

1642 г.) была первым сражением между войсками Карла I и парламентской армией во время гражданской войны в Англии. Эджхилл местность неподалеку от Кайнтон в Уорвикшире. Битва, в которой на стороне короля находилось 12 тысяч человек, а на стороне Парламента почти 10 тысяч, началась около двух часов пополудни и продолжалась до вечера. На другое утро королевские войска отступили в Оксфордшир, парламентские - в Уорвик. О битве при Марстон-Муре (2 июля 1644 г.), в которой победу над приверженцами короля одержали войска Парламента, см. в прим. 71 к гл. III.

17 ...когда короля Карла убедили положиться на недружелюбных и корыстных шотландцев... - См. выше, прим. 73 к гл. III.

18 ...старший сын погиб в битве при Ньюбери... - Во время гражданской войны в Англии при городе Ньюбери (в графстве Беркшир) происходили две битвы: первая - 20 сентября 1643 г. (когда Карл I предпринял новое наступление на Лондон) и вторая - 27 октября 1644 г., которую скорее всего Метьюрин и имеет в виду. Во время военных действий генералы парламентской армии имели план захватить короля, отрезав ему отступление к Оксфорду, но это их намерение не осуществилось, и 15 ноября парламентские войска оставили Ньюбери.

19 ...на дочери диссидента... - См. выше, прим. 9 к гл. XVII.

20 ...с тем стихом псалма... - Метьюрин приводит стих 6-й из 149-го псалма.

21 У тех, чей грех и в вас поныне жив. - Метьюрин цитирует первые четыре строки из стихотворения Джона Мильтона (1608-1674) "On the new forcers of conscience under the long parliament", написанного в 1646 г. после принятого Парламентом указа "Об уничтожении архиепископств и епископств в Англии и Уэльсе" (9 октября 1646 г.).

22 ...в полку, которым командовал Прайд... - Томас Прайд (Thomas Pride, ум. в 1658 г.), полковник парламентской армии, был одним из уполномоченных Парламентом для подписания смертного приговора королю Карлу I.

23 ...двух квакерш... - Квакеры (от англ. to quake - "трепетать") члены английской религиозной секты, называвшейся иначе "Обществом друзей", основанной в середине XVII в. сапожником Джорджем Фоксом (G. Fox, 1624-1690).

24 ...проповедь знаменитого Хью Питерса... - О нем см. выше, прим. 55 к гл. III.

25 ...к секте антиномианцев... - Антиномианцы, или пустословы (Ranters) - члены христианской религиозной секты (от греч. "антиномия" - противоречие между двумя принципами или положениями), учившей, что для спасения человека необходима лишь вера, но не следование определенным моральным правилам.

26 ...оратора "людей пятой монархии"... - Секта "людей пятой монархии", или "милленариев", веривших в грядущее наступление тысячелетнего "царства Христова" (после предшествующих четырех мировых царств, указанных в пророчестве Даниила, - ассирийского, персидского, греческого и римского). Одним из вождей этой секты был генерал Гаррисон (см. выше, прим. 58 и 64 к гл. III), когда-то друг Кромвеля, а затем его противник, подвергшийся при протекторате (правлении Кромвеля) репрессиям и казненный в 1660 г. Многочисленные казни "людей пятой монархии" были совершены в 1661 г. в связи с их попыткой провозгласить в Англии "царство Иисуса" и вслед за восстанием, которое они подняли 6 января 1661 г. После этого секта милленариев в Англии была почти совсем истреблена (см.: Герман Вейнгартен. Народная реформация в Англии XVII века. М., 1901, с. 175; Английская буржуазная революция XVII века, т. II, М., 1954, с. 129).

27 ...из числа камеронианцев... - Секта камеронианцев (Cameronians или Covenanters) получила свое наименование от ее основателя - шотландского проповедника Ричарда Камерона (ум. 20 июля 1680 г.). Камеронианцы были враждебны католикам, англиканским епископам, в особенности тем, кто был назначен при Карле II; проповедовали неповиновение королю,

признавали авторитет Библии как книги, дающей правила веры и поведения. Деятельность камеронианцев была запрещена в 1684 г. по политическим мотивам.

28 ...повторял слова Арчи... - Арча (Archy) - кличка Арчибальда Армстронга (ум. в 1672 г.), бывшего шутом Иакова I, а затем Карла I.

2В ..."головню, выхваченную из пожара". - Цитата заимствована из Книги пророка Амоса (4, 11): "Производил я среди вас разрушения, как разрушил бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь".

30 ...о неожиданной попытке Монка вернуть к власти находящегося в изгнании короля. - Джордж Монк, герцог Элбмарл (George Monk, Duke of Albemarle, 1608-1670), генерал парламентской армии, в 1660 г. ставший одним из главных деятелей, совершивших реставрацию монархии в Англии. К этому времени ситуация в стране складывалась так, что восстановление здесь "конституционной королевской власти" могло совершиться без кровопролития. Долгий парламент распустил себя сам 17 марта 1670 г. во время выборов в новый парламент, происходивших в марте-апреле этого года. Монк уже вел официальные переговоры с будущим Карлом II. По совету Монка Карл издал (4 апреля 1660 г) манифест (так называемую Бредскую декларацию, так как она была подписана в городе Бреде, в Голландии), провозглашавший амнистию участникам гражданской войны, религиозную свободу и право владения новыми земельными участками, приобретенными во время революции. 1 мая 1660 г. обе палаты парламента провозгласили Карла II королем.

31 ...ныне отпускаеши раба твоего... - Слова Симеона, увидевшего младенца Иисуса в иерусалимском храме; ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Христа (Евангелие от Луки, 2, 29).

### Глава XXX

1 О муках тех, кто в море. - Приведенные стихи взяты из проникнутой дидактическими тенденциями поэмы Вильяма Купера (William Cowper, 1731 -1800) "Задача" ("The Task", 1785), кн. I, ст. 540-541).

2 "Чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства". - Цитата воспроизводит известные слова Ирода к Саломее, дочери Иродиады, в ответ на которые Саломея по наущению матери попросила голову Иоанна Крестителя (Евангелие от Марка, 6, 23).

3 ...именно так называли в те времена незамужних женщин... - Маргарет Мортимер названа "миссис" (Mrs.), что, собственно, значит "хозяйка дома", "госпожа" в отличие от "мисс" (miss) - "девушка", "незамужняя женщина".

4 ...письмом от самой Екатерины Браганцской... - Речь идет о жене короля Карла II Екатерина Браганцкая (Catherine of Braganza, 1638-1705), дочь Иоанна (Жоао) IV Португальского, стала английской королевой в 1662 г., в 1693 г. вернулась в Португалию в качестве регентши при своем малолетнем брате Педро.

5 Смотри комедию Уичерли... - Все нижеследующие подробности повторяют полностью все то, что по поводу комедии Уичерли "Любовь в лесу" говорится выше, в гл. III (см. прим. 18 к ней).

6 Тейлор. Книга о мучениках. - Метьюрин допустил ошибку, назвав в примечании к этому месту автором "Книги о мучениках" ("Book of Martyrs") Тейлора; на самом деле автором названной книги является Джон Фоке (J. Fox, 1516-1587), живший в более раннюю эпоху, чем Иеремия Тейлор (1613-1667), епископ Дронморский, написавший "Святую жизнь" ("Holy Living", 1650), "Святую смерть" ("Holy Dying", 1651) и другие религиозно-наставительные сочинения. Что касается Джона Фокса, то его "Книга о мучениках" первоначально имела заглавие "Деяния и памятники, относящиеся к церкви в недавние опасные времена". Это огромный труд, представляющей собою, собственно, историю христианской церкви с

древнейших времен и тех преследований, которым она подвергалась; подробнее всего здесь, однако, говорится о протестантских мучениках Англии во время Марин Кровавой. Первая часть этой книги появилась на латинском языке в (Зграсбурге (1554) и в Базеле (1559); на английском языке она вышла первый раз в 1563 г. Широкую популярность эта книга приобрела в Англии под названием "Книга о мучениках" и при жизни автора издавалась четыре раза; очень ценилась эта книга и позже, в периоды революции и Реставрации в Англии.

7 ...читали Мезре, де Ту и Сюлли. - Речь идет о французских историках. Первый том капитального труда Франсуа Мезре (Francois Eudes de Mezeray, 1610-1683) "История Франции" вышел в Париже в 1643 г., второй - в 1646 и третий - в 1651 г. Огюст де Ту (Jacques Auguste de Thou или в латинизированной форме - Thuanus, 1553-1617) написал по-латыни свой главный труд "История моего времени" (J.-A. Thuanus historiarum sui temporis) в четырех больших томах (1604-1608). Максимилиан де Бетюн, герцог Сюлли (Maximilien de Bethune, duc de Sully, 1559-1641) - французский государственный деятель и историк, автор четырехтомных мемуаров, являющихся важным источником для истории французского короля Генриха IV ("Economies royales", 1634-1662).

8 ...Фруассара в переводе Пинсона... - Фруассар (Jehan Froissart, 1333 - ок. 1400) французский поэт и историк, автор знаменитой "Хроники", важнейшего памятника французской прозы XIV в. Метьюрин, однако, ошибается, называя Пинсона (Richard Pynson, ум. в 1530 г.) английским переводчиком "Хроники" Фруассара; Пинсон был лишь издателем перевода, выполненного лордом Бернером.

9 И а поэтов... они уделяли внимание Уоллеру, Донну... - Эдмунд Уоллер (Edmund Waller, 1606-1687) - английский поэт, произведения которого, преимущественно лирические стихотворения (в которых он, в частности, воспевал под именем "Сакариссы" Дороти Сидни), песни, переводы (среди них IV книги "Энеиды"), охотно читались во второй половине XVII в. Джон Донн (John Donne, 1571 (1572?) - 1631) являлся младшим современником Шекспира, но произведения его начали появляться в печати лишь с 1633 г. и до конца XVII в. оказывали большое воздействие на английскую поэзию; Донн считается основоположником так называемой метафизической школы поэтов, воплотивших в своем творчестве стилистические тенденции барокко. Донна Метьюрин упомянул ранее в гл. III (см. прим. 27 к ней).

10 ...Марло, и Мессинджера, и Шерли, и Форда... - Даваемый Метьюрином перечень драматургов "последних лет царствования Елизаветы и начала царствования Иакова" представляется несколько случайным по выбору и отличается некоторыми неточностями; здесь названы далеко не все известные Метьюрину драматурги из "созвездия писателей", в том числе даже не все, которые цитируются или упоминаются в тексте "Мельмота Скитальца" (Бомонт и Флетчер, Бен Джонсон и др.). В приведенном перечне на первом месте стоит один из предшественников Шекспира Кристофер Марло (Christopher Marlowe, 1564-1593), на втором Филип Мессинджер (Philip Massinger, 1583-1640), писавший пьесы в 20-30-х годах XVII в.; к еще более позднему времени относятся пьесы Джеймса Шерли (James Shirley, 1596-1666). Из его пьесы 1640 г. Метьюрин взял эпиграф для XII главы "Мельмота" (см. выше, прим. 2 к ней). Последним в приведенном перечне назван Джон Форд (1586-1639?), пьесы которого знаменуют упадок "елизаветинской" школы драматургов.

11 ...с поэтами континента в переводах Ферфакса... - Эдуард Ферфакс (Edward Fairfax, ум. 1635) в 1660 г. перевел с итальянского поэму Т. Тассо "Освобожденный Иерусалим".

12 "На пятое ноября" ("In Quintum Novembris"). - Стихотворение Дж. Мильтона, написанное км в 1626 г. латинскими гекзаметрами, впервые напечатано было в 1645 г. 5 ноября 1605 г. - день так называемого порохового заговора, организованного английскими католиками с целью взорвать Парламент (во время заседания в присутствии короля Иакова I). Год спустя, в память



раскрытия заговора и предотвращения взрыва, ученая коллегия Кембриджского университета постановила отмечать ежегодно день 5 ноября проповедью в церкви Кингс-колледжа или какими-нибудь другими церемониями, приличествующими этому случаю. Вероятно, юношеская поэма Мильтона, состоявшая из 626 гекзаметров, сочинена по этому же поводу. Хотя в стихотворении действует Сатана и аллегорические фигуры и автор явно подражает придам античного эпоса, он имеет в виду современную ему действительность; поэт осуждает преступные замыслы заговорщиков-католиков в Англии и объясняет, что благодаря своевременному раскрытию порохового заговора "в году нет большего праздника, чем день пятого ноября".

13 ...великий поэт этой нации, которого ваша праведная и непогрешимая вера заслуженно обрекает на вечные муки. - Произнося эти проникнутые горькой иронией слова, Мельмот имеет в виду Шекспира; из двух его пьес приведены и нижеследующие цитаты.

14 Мы вспоминали тягостные дни. - Хотя приведенные цитаты выбраны с таким расчетом, чтобы они могли в совокупности производить впечатление некоего целого, они представляют собою искусственную контаминацию цитат из двух источников. Первые четыре строки заимствованы из трагедии "Ричард II" Шекспира (V, 1, 40-43, с усечением начала стиха 42); последняя строка взята из другой пьесы Шекспира - трагедии "Ричард III" (I, 4, 14).

15 ...королеве Генриетте... - Здесь и ниже, говоря о веселости "несчастной Генриетты", Метьюрин имеет в виду королеву Англии Генриетту Марию (1609-1669), жену короля Карла I; о ней см. выше, прим. 2 к гл. XI.

16 ...разрубить его на куски перед господом в Галгале. - Это цитата из Первой книги Царств (15, 32-33), где рассказывается история царя амаликитян Агага, плененного Саулом и казненного в Галгале, городе, находившемся между Иорданом и Иерихоном. Самуил, царь израильский, поразивший амаликитян, пощадил было царя их Агага и лучшую часть добычи; но бог судил недостойным оставлять в живых человека, который не щадил матерей, убивал детей их, и Агаг предан был смерти: "...сказал Самуил: приведите ко мне Агага, царя Амаликитского. И подошел к нему Агаг дрожащий... Но Самуил сказал: как меч твой жен лишил детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага пред господом в Галгале".

17 ...из отряда принца Руперта... - принц Руперт (1619-1682) - сын курфюрста Пфальцского Фридриха V и Елизаветы, дочери короля Иакова I. Принц Руперт был племянником английского короля Карла I и сражался в его войсках во время гражданской войны в Англии.

18 Когда предметом их была поэзия Уоллера... - См. выше, прим. 9.

19 ...об очаровательной Сакариссе... - Под этим условным именем Уоллер воспел леди Дороти Сидни (Dorothea Sidney), ставшую впоследствии графиней Сандерленд (1617-1684). Ниже упомянута леди София Маррей (Sophia Murray), предполагаемая "Araoret" в стихах того же Уоллера.

20 ...Люций, лорд Фокленд... - Речь идет о Люции Кери Фокленде (Lucius Cary, second viscount Falkland, 1610-1643), политическом деятеле, философе и поэте. Член Долгого парламента в начале революции, Фокленд, однако, предпочитал общественной деятельности уединенные умственные занятия и беседы в кругу избранных друзей. Когда в мае 1642 г. Карл I предпринял неудачную попытку арестовать пятерых членов Палаты общин - наиболее видных деятелей оппозиции, Фокленд вместе с другими сторонниками короля вышел из Парламента в знак протеста против совершенного им насилия. Когда Карл I покинул Лондон, решив начать гражданскую войну, Фокленд направился к королю в город Йорк, где пытался отговорить его от подобных воинственных планов, но это оказалось невозможным. Современники свидетельствуют, что Фокленду пришлось сражаться на стороне короля и что он искал смерти,

которую и нашел в ожесточенной битве при Ньюбери 20 сентября 1643 г. (см. выше, прим. 18 к гл. "Повесть о двух влюбленных").

21 ...из ненавистного ей Назарета... - Метьюрин намекает на то известное его читателям место из Евангелия от Иоанна, где Нафанаил говорит Филиппу: "Из Назарета может ли быть что доброе?" (1, 46). Под "Назаретом" в данном случае роялистка Маргарет Мортимер разумела революционно настроенных пуритан.

22 ...выразительных фигур Гвидо... - Речь идет об итальянском художнике Гвидо Рени (1575-1642).

23 ...подобно несчастной царице в поэме Вергилия... - Дидона (или Элисса) - мифическая основательница Карфагена, почитавшаяся жителями этого города как богиня (родственная финикийской Астарте). В легендах образ Дидоны был преобразован в историческое лицо. Вергилий в IV книге эпической поэмы "Энеида" дал новый оборот древним сказаниям о Дидоне, отнеся время ее жизни к концу войны в Трое. Эней, сын Анхиса и Афродиты, отправился в Трою на помощь Приаму, но, отчаявшись спасти Трою, покинул ее и отплыл со спутниками, чтобы основать в Гесперии (Италии) новое (римское) государство. По воле богини Юноны, которая из расположения к Карфагену желала воспрепятствовать основанию Рима, поднялась буря и отбросила корабль к африканскому берегу, где Энея ласково приняла Дидона, только что основавшая Карфаген. Однако боги воспротивились их пламенной любви и повелели Энею тайно покинуть Карфаген; тогда оскорбленная и покинутая Дидона взошла на костер. В комментируемой фразе своего повествования Метьюрин скорее всего имел в виду следующие стихи "Энеиды" (IV, 84 и след.):

...или Аскания, сходством с отцом прельщена, на коленях

Долго, любовь несказанную жаждая, держит.

(Перевод В. Брюсова)

24 Началась война с Нидерландами... - Речь идет о так называемой второй англо-голландской войне 1665-1667 гг., ср. ниже (прим. 26), где приводятся даты начала военных действий.

25 ...сопровождал сэра Уолтера Ралея... - Уолтер Ралей (Рэлей, Рэли или Роли, Raleigh, Raleigh, ок. 1552-1618) - английский мореплаватель, путешественник, пират, поэт и историк. Говоря о "трагической экспедиции" Ралея, Метьюрин имеет в виду вторую экспедицию его в Южную Америку. Первая была совершена еще в 1595 г., когда он проник в глубь южноамериканского материка в поисках изобилующей золотом легендарной страны "Эльдорадо". Эта экспедиция Ралея описана им в книге "Открытие обширной, богатой гвианской империи, с прибавлением рассказа о великом и золотом городе Маноя (который испанцы называют Эльдорадо)..." (London, 1596; русский перевод - М., 1963). После восшествия на английский престол Иакова I (Стюарта) Ралей был обвинен в участии в заговоре против короля и присужден к смертной казни, замененной пожизненным заключением в Тауэре. В 1616 г. выдвинувший перед Иаковом I проект добычи золота в Гвиане Ралей был освобожден из тюрьмы и поставлен во главе небольшой эскадры, отправившейся в Южную Америку. Эта вторая экспедиция Ралея была неудачной; вскоре по возвращении своем на родину он был казнен.

26 ...с февраля 1665 года, с первого известия о действиях де Рейтера... - Вторая англо-голландская война была официально объявлена Англии Голландией 24 января 1665 г., но фактически началась еще в 1664 г. захватом англичанами голландской колонии в Северной-Америке. Де Рейтер (Michael de Ruyter, 1607-1676) - голландский адмирал, командовавший голландским флотом во время войны.

27 ...назначением герцога Йоркского... - ЯВо главе английского королевского флота

поставлен был брат короля Иакова герцог Йоркский. В ходе этой войны обнаружилась совершенная неподготовленность к ней Англии. Английский флот представлял собою картину крайнего разложения и коррупции, что повлекло за собой полное поражение Англии; английский флот был в конце концов уничтожен голландскими кораблями, появившимися в устье Темзы и угрожавшими самому Лондону.

28 ...корабль голландского адмирала Опдама был взорван... - Речь идет о морском сражении 3 июня 1665 г.

29 ...герцог Йоркский был выпачкан с головы до ног. - Эти события происходили на флагманском корабле герцога Йоркского "The Royal Charles".

30 ...как у Мисцелла... - По античному преданию, Мисцеллу (Myscellus, у Метьюрина ошибочно - Micyllus), жившему в Аргосе, во сне явился Геракл и повелел ему построить город в том месте, где дождь идет в ясную погоду. Мисцелл покинул Аргос и направился в Италию; здесь он очутился около могилы некоего Кротона, которого оплакивала его вдова. Мисцелл решил, что ее слезы и есть тот дождь, о котором ему во сне говорил Геракл, и основал здесь город, названный им Кротоной. Вероятно, упоминание "меда" на веках Мисцелла есть ошибка памяти Метьюрина.

31 ...более склонным переходить через Альпы, чем нежиться в Кампанье. Фраза, напечатанная курсивом, вероятно, представляет собою реминисценцию из труда римского историка Тита Ливия (XXI-XXII); она содержит в себе намек на карфагенского военачальника Ганнибала, который, после героического перехода через Альпы и ряда блестящих побед над римлянами, повел войско на зимовку в богатую Капую и тем дал римлянам возможность восстановить свои силы.

32 ...подобно древней статуе, на каждый падавший на нее луч света отвечает сладостным голосом... - Речь идет о так называемой статуе Мемнона; см. о ней выше, прим. 11 к гл. XXI.

33 ...в день свадьбы принцессы Елизаветы с курфюрстом Пфальцским... Речь идет о свадьбе дочери короля Иакова I с Фридрихом V, состоявшейся в "Валентинов день" 1613 г.

34 ...встречать Принна, когда тот был освобожден от стояния у позорного столба... - О пуританском проповеднике и памфлетисте Вильяме Принне см. выше, прим. 21 к гл. III и ниже, прим. 37. К стоянию у позорного столба Принн был приговорен Звездной палатой в 1634 г.

35 ...именно так леди Лемберт и леди Десборо шествовали на молитву... Имеются в виду персонажи комедии Афры Бен "Круглоголовые" (1682), о которых Метьюрин упомянул в гл. III (см. прим. 61).

36 ...на картине великого итальянского художника... - По-видимому, Метьюрин имеет в виду знаменитый плафон в Сикстинской капелле Ватикана работы Микеланджело "Сотворение солнца и луны". Хотя на этой фреске изображен христианский бог-отец, протягивающий руки к солнцу и луне, но по своему внешнему облику он походит на античного Зевса. Так как Метьюрин никогда не был в Италии, следует предположить, что он видел гравюру, воспроизводящую эту фреску, и сознательно или бессознательно затемнил свое сравнение, указав на "языческого бога", изображенного великим итальянским художником. Возможно, впрочем, и другое объяснение, что, упоминая этого художника, но не называя его по имени, Метьюрин подразумевал не Микеланджело, а Рафаэля, более популярного в это время в Англии, - и принадлежащую ему или его мастерской фреску из ватиканских лоджий, восходящую к сикстинской работе Микеланджело, того же содержания и композиции. Эта фреска, как и вся серия Рафаэля, особенно часто гравировалась и могла быть известна Метьюрину. Свидетельством известности фресок Сикстинской капеллы в Англии во второй половине XVIII в. могут служить трактаты о живописи Джошуа Рейнольдса, в которых он часто говорит об этих фресках, сопоставляя Микеланджело и Рафаэля (см.: R. Marshall. Italy in English Literature 1755-

37 ...тут же появлялись "Вестминстерское исповедание" или "Histriomastix" Принна... - "Вестминстерское исповедание" было принято Вестминстерской ассамблеей, созданной по распоряжению Долгого парламента летом 1643 г. для обсуждения церковных вопросов; "Исповедание" содержало в себе полный и краткий катехизис и сформулировало основные принципы вероучения пресвитериан. Тяжеловесное сочинение Принна "Бич актеров" ("Histriomastix") было направлено против театра и возводило на актеров разнообразные обвинения в безнравственности, развращении нравов и т. д. За издание этой книги Принн был присужден Звездной палатой к выставлению у позорного столба, к отрезанию ушей и тюремному заключению, кроме того, исключен из сословия юристов и лишен университетской степени (см. также выше, прим. 34).

38 ...пуританское развлекательное чтение - "Священная война" или "Жизнь м-ра Бедмена" Джона Бениена. - Речь идет о двух знаменитых в ту пору книгах пуританского писателя Джона Бениена (John Bunian, 1628-1688). "Священная война" ("Holy War", 1680) в аллегорической форме изображает борьбу пуритан ("святых") с королем Карлом I; другое сочинение Бениена "Жизнь и смерть мистера Бедмена" ("The Life and Death of Mr. Badman", 1680) также в известной степени аллегорично, но Бениен дает здесь в повествовательно-диалогической форме картину жизни и быта средних классов во второй половине XVII в. Действующие лица носят характеризующие их имена. Повествование разворачивается в форме диалога между м-ром Уайзменом (Мудрым человеком) и м-ром Аттивентом; они обсуждают злосчастную жизнь м-ра Бедмена (Дурного человека), смахивающую на типичный плутовской роман.

39 ...придавлены к земле тяжестью варфоломеевского ига... чтобы сказать драгоценные слова... - Имеется в виду "Акт об единообразии" (богослужения или об единоверии), "Act of Uniformity", устанавливавший исключительное положение англиканской епископальной церкви и открывший эпоху гонений на всевозможные пуританские секты Англии в период Реставрации; акт имел также сугубо политическое значение, так как он считал незаконным восстания и оппозиционную деятельность со стороны духовенства против королевской власти. Одновременно акт имел целью прекратить всякое общение англиканской церкви с протестантской церковью на континенте Европы, запрещая духовным лицам, посвященным за пределами Англии, пользоваться своими бенефициями или совершать церковные таинства, если священники эти не были рукоположены вторично англиканскими епископами. Очень внушительным представлялся тот параграф указанного "Акта", в котором требовалось, чтобы все приходские священники, школьные учителя и частные преподаватели придерживались установленной формы литургии и "не пытались бы ввести какие-либо изменения в управление церковью или государством". В тексте "Мельмота Скитальца" этот акт назван метафорически - "варфоломеевским игом" (Bartholomew's bushel), как его называли современники, - на том основании, что хотя он был принят Парламентом уже 19 мая 1662 г., но вошел в силу в день св. Варфоломея - 24 августа 1662 г. Пресвитериане твердо решили не подчиняться тяжело ударившему их "Акту об единообразии"; в воскресенье 17 августа 1662 г. священники, не подчинившиеся новому закону, со всех пресвитерианских кафедр произнесли свои прощальные проповеди при большом стечении прихожан, а через неделю, 24 августа, не менее двух тысяч священников удалились в добровольное изгнание, покинув свои приходы. Метьюрин хорошо знал дату этого акта, знаменитого в истории церкви Англии, и поэтому в примечании к указанным словам открыто признал допущенный им "анахронизм".

40 ...она, подобно Иосифу, искала места,... где бы никто ее не заметил... - Имеется в виду библейский рассказ о пребывании Иосифа у египетского фараона (Книга Бытия, 42, 24).

41 ...сочинение Маршалла "О причислении к лику святых". - Метьюрин имеет в виду книгу

Уолтера Маршалла (1628-1680) "Евангельская тайна санктификации" ("The Gospel Mystery of Sanctification", 1694).

42 Старый священник-диссидент... был арестован городскими властями. Арест произошел в силу "Акта об единообразии", о котором см. выше, прим. 39.

43 ...и господь это услышал". - Измененная цитата из Книги пророка Малахии - одного из "малых пророков" и последнего из пророков ветхозаветных: "Но боящиеся бога говорят друг другу: "внимает господь и слышит это, и пред лицом его пишется памятная книга о боящихся господа и чтущих имя его"" (3, 16).

44 Подобно жене Финееса, она постаралась дать жизнь сыну, хоть и нарекла его Ихавод... - Имеется в виду библейский рассказ о жене Финееса, сына первосвященника Илия, которая назвала своего сына "Ихавод" (что значит "нет славы", "бесславный\*"): он родился во время бедственной войны с филистимлянами, когда дети Илия (Офни и Финеес) пали мертвыми и сам Илий умер (Первая книга Царств, 4, 21). Ср.: П. Солярский. Опыт библейского словаря собственных имен, т. II, с. 109.

45 ...кое-какие письма леди Рассел... - Леди Рэчел Рассел (Lady Rachel Russell, 1636-1723), вдова лорда Вильяма Рассела, одного из лидеров вигов, казненного при Карле II в 1683 г., стала известной своими "Письмами", изданными вскоре после трагической смерти ее супруга ("Letters", 1683); большая часть этих писем адресована английским богословам того времени, в частности знаменитому проповеднику Джону Тиллотсону (1630-1694), с 1689 г. являющемуся архиепископом Кентерберийским.

46 ...нельсоновские "Посты и праздники англиканской церкви"... Заглавие известного труда английского писателя Роберта Нельсона (Robert Nelson, 1656-1715), очевидно, указано Метьюрином по памяти и неточно, следует: "Календарь постов и праздников английской церкви" ("Companion for the Festivals and Feasts of the Church of England". London, 1704).

47 Непереносимой жизни (στῆκουγος (ζίος). - Возможно, реминисценция из комедии древнегреческого писателя Аристофана (V в. до н. э.) "Плутос" ("Богатство"), ст. 969 (см.: Аристофан. Комедии, т. II, М. - Л., 1934, с. 564).

48 ...танцевала в молодые годы Канарский танец. - О пьесе А. Каули "Щеголь с Колмен-стрит" см. выше, прим. 60 к гл. III. О Канарском танце там же, прим. 63.

49 ...в "Собрании исторических бумаг" Ращуорта... - Имеется в виду известный сборник первоисточников для истории общественной жизни Англии первой половины XVII в., в особенности периода подготовки гражданской войны и революции, см.: [J. Rushworth]. Historical collections of private passages of state, weighty matters in law, icmarkable proceedings (1618-1648)... publ. by J. Rushworth, vols. 1-8. London, 17211722 (1-st. ed., vols. 1-7, 1659-1701). В этом издании широко освещены процессы, которые велись против пуританина Дж. Принна, нападавшего в своих памфлетах на театр и развлечения в Англии (см. о нем выше, прим. 21 к гл. III и прим. 34 и 37 к гл. XXX).

50 ...к такому степенному и спокойному танцу, как Такты. - Танец, называвшийся "The Measure", пользовался в Англии большой популярностью в XVI-XVII вв.; мы переводим его название условным наименованием "Такты", так как общеизвестное слово measure (мера, размер) являлось неоднократно поводом непонимания тех литературных текстов, в которых речь идет именно об этом танце, а не о "мере" вообще. Примером могут служить известные слова Беатриче в комедии Шекспира "Много шуму из ничего" (II, 1), где она "Такты" (Measure) уподобляет шотландской джиге - "горячей и бурной" ("hot and hasty, like a Sketch jig"), тогда как "Такты" - "степенны и старомодны" ("as a measure full of state and ancientry"); по свидетельству Давенанта, танец "The Measure" был "серьезным и важным", благодаря чему его нередко исполняли "самые степенные юристы" ("the gravest lawyers were often found treading the

measures"). См. также прим. 63 к гл. III.

51 ...благость учения Кальвина... - Жан Кальвин (Jean Calvin, 1509-1564) - один из основателей и деятелей реформационного движения во Франции и Швейцарии; последователи кальвинизма в Шотландии и в Англии разделялись на различные секты, но имели общее наименование пуритане.

52 Разве тот, кто непогрешим, не сказал грешнице... - Автор вспоминает слова Христа о грешнице из города Капернаума: "...прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много; а кому мало прощается, тот мало любит" (Евангелие от Луки, 7, 47).

#### Глава XXXI

1 Есть дуб неподалеку от пруда... - Эпиграф заимствован из трагедии Джона Хома (John Home, 1722-1808) "Роковое открытие" ("The Fatal Discovery", 1769), д. V.

2 ...стало казаться ей ангельским ликом. - Неточная цитата из Деяний св. апостолов (6, 15).

3 ...бродивший по лесу деревенский мальчик. - О значении приведенного здесь нотного примера см. в статье, с. 578.

#### Глава XXXII

1 Мы были, нас нет (Fuius non sumus). - Латинская фраза представляет собою, вероятно, надгробную надпись, которая в различных сходных редакциях встречалась на римских кладбищах.

2 ...жил на ту помощь, которую получал от Людовика XIV.. - Это утверждение Метьюрина вполне соответствует исторической истине. Еще до своего вступления на английский престол, находясь в эмиграции во Франции, будущий Карл II жил в значительной степени на иждивении французского короля. После Реставрации субсидии Карлу II от Людовика XIV стали обычным явлением. Так, например, в 1664 г. первый министр Карла II граф Кларендон обратился к Людовику XIV с просьбой о предоставлении английскому королю 50 тысяч фунтов стерлингов "заимообразно", но на самом деле в виде безвозвратной ссуды; последующие регулярные ссуды Карлу II французского казначейства ставили его в зависимость от французской монархии и получались им тайно; поэтому в 1678 г., когда стало известно, что тогдашний премьер-министр Карла II граф Денби играл роль посредника в получении денег английским королем от Людовика XIV. Парламент потребовал предания графа Денби суду. Тем не менее весной 1681 г. Карлу II удалось договориться с Людовиком XIV о размерах крупной пенсии (в 5 миллионов ливров каждый год), которую должна была выплачивать ему Франция, и сразу получить вперед большую сумму (в 12<sup>1</sup>/<sub>г</sub> миллионов ливров). Подобно Карлу II, его преемник на престоле Иаков II продолжал тайно получать субсидии от Людовика XIV и в конце концов в 1688 г. бежал во Францию.

3 ...словами, которые приписывают епископу Бернету.. - Речь идет о Гильберте Вернете (Gilbert Burnet, 1643-1715), с 1689 г. бывшем епископом Солсберийским. Бернету принадлежит печатное известие о покаянии на смертном одре известного поэта, кутилы и мота при дворе Карла II, графа Рочестера ("Some passages of the Life and Death of the Right Honourable John Earl of Rochester", 1680), которое в данном случае, вероятно, имеется в виду: кроме того, Г. Вернет был автором трехтомной "Истории реформации в Англии" (1679. 1681, 1714) и наиболее известного труда, изданного после его смерти, "Истории моего времени" (1724-1784).

4 ...говоря словами божественного слепого старца... - Рассказчик Мельмот имеет в виду английского поэта Джона Мильтона (1608-1674), слава которого действительно еще не достигла Испании в то время, к которому относится рассказ.

5 Отрадой было ей его увидеть Дома... - Строка взята из трагедии Мильтона "Самсон борец" ("Samson Agonistes", опубликована в 1671 г.); эти слова в трагедии произносит отец Самсона Маной.

6 ..."много претерпела от многих врачей"... - Сокращенная цитата из Евангелия от Марка (5, 26): "...много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние".

7 ..."неустанно творящей добро"... - Сокращенная цитата из Послания к галатам апостола Павла (6, 9); "Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем".

8 ...необычайных историй о докторе Ди и Альберте Аляско... - Имеется в виду Джон Ди (John Dee, 1527-1608), известный английский математик, географ и алхимик, которому молва приписывала также занятия магией и чародейством. Любопытно, что в 1586 г. царь Феодор приглашал Джона Ди приехать в Москву и поступить на русскую службу, от чего, впрочем, Джон Ди отказался (см.: С. F. Smith. John Dee. 1527-1608. London, 1909, p. 176-178); известно зато, что сын его Артур Ди (Arthur Dee, 1570-1651) приехал в Россию и сделался главным врачом царя Алексея Михайловича; как и его отец, он увлекался алхимией и астрологией. "Альбертом Аляске" Метьюрин именуется польского ученого Альберта Лаского, занимавшегося алхимией и кристалломантией, жившего некоторое время в Англии, приятеля Джона Ди (также посетившего Польшу в 1584 г.).

### Глава XXXIII

4 Но ни воры, ни звери... - Гораций. Сатиры, I, VIII, 17-20. Перевод М. Дмитриева.

2 ...легенда о Сиде... - См. выше, прим. 7 к гл. III и прим. 5 к гл. XXIII.

3 ...в "Песни о Роланде"... - Героическое сказание французского эпоса раннего средневековья, дошедшее до нас в нескольких редакциях (наиболее ранняя и совершенная - оксфордская, ок. 1170 г.) и повествующее о событиях VIII в.

4 ...в городе Бенаресе. - См. о нем выше, прим. 9 к гл. "Повесть об индийских островитянах".

5 ...гуляк (sacra vias). - Так назывались завсегда и улицы в Риме, именовавшейся Via Sacra, любившие прогулки по ней.

### Глава XXXIV

1 Колечко подарил ты мне... - Цитируемые строки заимствованы из юношеской баллады Томаса Мура "Кольцо" ("The Ring"), напечатанной в его стихотворном сборнике в 1802 г. под псевдонимом Томаеа Литтла.

2 ...бутылочку фонкарраля или вальдепеньяса... - Весь этот абзац заимствован из книги, на которую сам Метьюрин ссылается в примечании к этой же странице, - "Путешествие по Испании" Джона Тальбота Диллона (John Talbot Dillon, 1740-1805) ("Travels through Spain, with a view to illustrate the natural history and physical geography of that Kingdom, in a series of letters... etc". London, 1780); эта книга пользовалась известностью и переиздавалась несколько раз. В "Библиографическом указателе путешествий по Испании и Португалии" Фуше-Дельбоска названы, кроме указанного выше, также лондонское издание 1781 г., два дублинских 1781 и 1782 гг., еще одно лондонское 1783 г. и немецкий перевод - Лейпциг, 1782. Некоторые из этих изданий хорошо иллюстрированы и снабжены картами; лондонское издание 1781 г. (R. Baldwin) имеет другое заглавие: "Письма английского путешественника по Испании в 1778 г., о происхождении и развитии поэзии в этом государстве с некоторыми размышлениями о правах и обычаях, а также пояснениями к роману о Дон Кихоте" (см.: R. Foulche-Delbosc. Bibliographie des voyages, en Espagne et en Portugal. Paris. 1896, p. 127-128). Метьюрин довольно широко воспользовался этой книгой. В частности, он взял отсюда названия испанских вин, перечисленных Диллоном на трех страницах 14-го письма, где эти вина расположены по провинциям, которые их производят, от - "чаколи" в провинции Бискайя до "матаро" в Каталонии. В провинции Кастилия первым из производимых здесь вин стоит "фонкарраль" (Fonkarral) - "легкое красное вино, одно из лучших этого рода, которое пьют в Мадриде; название его происходит от названия одной деревни, недалеко от Мадрида", - объясняет здесь

Дж. Диллон; о "вальдепеньясе" (Val de Penas) он замечает здесь же: "Отличное легкое красное вино приятного вкуса". В этом же перечне названа и "малага" - вино, которое упоминается ниже в тексте этой главы ("бокал малаги").

3 ...послать в Ильдефонсо... - Сведения о фабрике стеклянных изделий в San-Idefonso в горах Гуадаррамы вместе с подробным описанием других достопримечательностей этой местности - королевского замка и сада находятся в 8-м и 10-м письмах того же "Путешествия" Дж. Диллона (см. выше, прим. 2). Замок в Сан-Ильдефонсо (почти в 50 км от Мадрида) был построен Филиппом V.

4 ...от Дана до Вурсаеиш... - Книга Судей, 20, 1. Дан - город на севере Палестины, Вирсавия - город на южной оконечности Палестины, на границе земли филистимлян (см.: П. Солярский. Опыт библейского словаря собственных имен, т. I, с. 328 и 465); следовательно, это выражение означает "от края и до края".

5 Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? Сторож, сколько ночи? Исайя. - Цитата из Книги пророка Исайи, 21, 11-12. Сеир - горный хребет на юге Палестины, в Идумее, и земля Идумейская вообще (Я. Солярский. Опыт библейского словаря собственных имен, т. III, с. 507-509).

#### Глава XXXV

1 ...Сжался, Гримбальд!.. - Текст эпиграфа заимствован из пьесы Джона Драйдена "Король Артур" ("King Arthur", 1691; III, 2).

2 ...прелестную сказку об Авгите, принцессе Египетской, и колдуне Мограбе в Арабских сказках. - Сказку об Авгите (Auheta), как видно из данного примечания, Метьюрин знал из дважды переведенного на английский язык французского источника под заглавием "Арабские сказки, или Продолжение арабских ночных развлечений" ("Arabian Tales, or a Continuation of the Arabian Nights Entertainments... newly translated from the original Arabic into French by Dom Chavis... and M. Casotte... and transi, from the French into English by Robert Heron. Edinburgh and London, 1792, 4 vols.; другое издание - London, 1794). Сказка об Авгите и Мограбе напечатана здесь в III томе (р. 200 - 221). Французский оригинал напечатан ранее в серии "Cabinet des Fees", 1788, vol. XXVIII (см.: V. Chauvin. Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux arabes, vol. IV, Liege - Leipzig, 1900, p. 88, 148). Сюжет этой арабской сказки был Метьюрину известен также из другого источника: поэмы Роберта Саути "Талаба-разрушитель", которая, по собственным словам поэта, была написана под ее воздействием; см.: Martha Pike Conant The oriental Tale in England in the eighteenth Century. N. Y., 1908, p. 41-42, 252, 263.

#### Глава XXXVI

1 То сокрушаясь душой, материнскою мучась любовью. - Латинский стих заимствован из "Метаморфоз" Овидия (VIII, 508), где он вложен в уста матери Мелеагра. Цитируем по переводу С. В. Шервинского (см.: Публий Овидий Назон. Метаморфозы. М.-Л., 1937, с. 166).

2 ...если уж Далила попала к нам в руки... - Далила (Далида) - красивая куртизанка, которую, по рассказу библейской Книги Судей (16, 4 - 21), филистимляне сделали орудием своей борьбы с Самсоном.

#### Глава XXXVII

1 Не страшась изнеможенья... - Стихотворные строчки заимствованы из трагедии Вильяма Мейсона (William Mason, 1724 - 1797) "Карактак" (1759). Карактак (Caractacus), или Карадок (Caradoc), - король одного из кельтских племен Западной Британии, живший во времена императора Клавдия, плененный и привезенный в Рим в 51 г. н. э.

2 ...они медлили, как вестники возле шатра Ахиллеса... - Имеется в виду следующий эпизод из "Илиады" Гомера (I, 320 и сл.):

320 Он [Агамемнон], призвав пред лицо Талфибня и с ним Эвриата,



Верных клеветов и вестников, так заповедовал гневный:

"Шествуйте, верные вестники, в сень Ахиллеса Пелида,  
За руки взяв, пред меня Бризеиду, не медля представьте.

.....

327 Мужичи пошли неохотно по берегу шумной пучины;  
И приближася к кушам и быстрым судам мирмидонов.

Там обретают его, пред кущей своею сидящим

330 В думе; пришедших увидя, не радость Пелид обнаружил.

Оба смутились они и в почтительном страхе к владыке

Стали, ни вести сказать, ни его воспросить не дерзая...

(Перевод Н. Гнедича)

Глава XXXVIII

1 Звонили в колокол, месса шла... - Стихотворные строчки заимствованы из баллады Роберта Саути "Старуха из Беркли. Баллада, рассказывающая о том, как она ехала верхом вдвоем и кто сидел перед ней" (1798), известной русскому читателю по вольному переводу В. А. Жуковского. Из 190 стихов этой баллады Саути Метьюрин цитирует лишь выдержки, а именно стихи 102-105, 112, 122-125, 134, 146-149).

2 ...серьезное намерение... - Шекспир. "Отелло" (I, 3).

3 Сокрытая в нем сила не ослабела, однако взгляд его потускнел...Начало этой фразы восходит к словам во Второзаконии (34, 7): "Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась"; конец фразы восходит к Книге Бытия (27, 1): "Когда Исаак состарился, и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава". Таким образом, эта фраза контаминирована Метьюрином из двух совершенно различных и даже противоположных по смыслу фраз из сочинений, входящих в Библию.

4 ...как сложилась судьба Дон Жуана... - Говоря об истории Дон Жуана "не в той пьесе, что представляют на нашей жалкой сцене" (т. е. английской), Метьюрин, вероятно, как это видно и из авторского примечания к этому месту, заставляет Мельмота Скитальца вспомнить первую в Англии обработку сюжета о Дон Жуане в эпизоде пьесы Эстона Кокейна (Sir Aston Cokeyne, 1608-1684) "Трагедия Овидия" ("The Tragedy of Ovid", 1662). Герой этой пьесы итальянский капитан по имени Ганнибал, дебошир и забияка, вместе со своим слугой видит виселицу с повешенным на ней, и Ганнибалу приходит мысль выкинуть шутку - пригласить повешенного к себе на ужин. Висельник является в назначенное время, рассказывает, что он был повешен за кражу золотой статуи, воздвигнутой в честь поэта Овидия, и в свою очередь приглашает к себе Капитана на ужин у виселицы. Ганнибал является и попадает на маскированный бал у виселицы, в котором принимают участие мертвецы и мифологические персонажи - Эак, Радамонт, Минос, Алекто, Тисифона, Мегера и т. д. Источниками этой пьесы Кокейна, вероятно, были итальянская пьеса Чиконьини или французская анонимная пьеса 1630 г., восходящие к испанским образцам; напомним в связи с этим, что пьеса испанского драматурга Тирсо де Молины "Севильский озорник, или Каменный гость" ("Burlador de Sevilla y Convidado di Piedra") - первая испанская литературная обработка испанского фольклорного источника - появилась в 1625 г. (см.: G. G. de Bevolte. La legende de Don Juan, vol. I. Paris, 1911, p. 187-189; Leo Weinstein. The Metamorphoses of Don Juan. Stanford Calif., 1959, p. 35, 199). Ср. выше, прим. 11 к гл. VI.

Глава XXXIX

1 И пришел тогда... - Стихотворные строки заимствованы из той же баллады Р. Саути "Старуха из Беркли", из которой эпиграф взят для предшествующей главы (см. выше, прим. 1 к гл. XXXVIII); строки эти неточно передают стихи 163-164 оригинала баллады Саути.